THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3332
.A 1
1910z

a 00002 66869 7

This book is due at the WALTER R. DAVIS LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

DATE DUE	RET.	DATE DUE	RET.
JAN 02 2007			
MAR 10 2007			

Form No. 513, Rev. 1/84

ВУ 2
31
ec
C PG3332
.A1
1910z
t.2

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ
Н. В. ГОГОЛЯ.

Томъ II.

Polnoe sobranie sochineniĭ
N.V. Gogolia
Tom II

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL

ПЕТРОГРАДЪ.
Изданіе Акціонернаго Общ-ва Издательскаго Дѣла «КОПѢЙКА».
1914.

Типографія
Акціонернаго Об-ва Издательскаго Дѣла «Копѣйка».
Лиговская, 34.

ДРАМАТИЧЕСКІЕ ОТРЫВКИ
и
ОТДѢЛЬНЫЯ СЦЕНЫ.
(1832 по 1837 годъ).

Dramaticheskie otrywki i otdiel'nyia stseny

Игроки.

Дѣла давно минувшихъ дней.

Комната въ городскомъ трактирѣ.

ЯВЛЕНІЕ I.

Ихаревъ *входитъ въ сопровожденіи трактирнаго слуги* Алексѣя *и своего собственнаго,* Гаврюшки.

Алексѣй. Пожалуйте-съ, пожалуйте! Вотъ-съ покойчикъ! ужъ самый покойный, и шуму нѣтъ вовсе.

Ихаревъ. Шума нѣтъ да, чай, коннаго войска вдоволь, скакуновъ?

Алексѣй. То-есть, изволите говорить насчетъ блохъ? ужъ будьте покойны. Если блоха или клопъ укуситъ, ужъ это наша отвѣтственность: ужъ на томъ стоимъ.

Ихаревъ (*Гаврюшкѣ*). Ступай выносить изъ коляски (*Гаврюшка уходитъ. Алексѣю*). Тебя какъ зовутъ?

Алексѣй. Алексѣй-съ.

Ихаревъ. Ну, послушай! (*значительно*) разсказывай: кто у васъ живетъ?

Алексѣй. Да живутъ теперь много. Всѣ номера почти заняты.

Ихаревъ. Кто-жъ именно?

Алексѣй. Швохневъ Петръ Петровичъ, Кругель, полковникъ, Степанъ Ивановичъ Утѣшительный.

Ихаревъ. Играютъ?

Алексѣй. Да вотъ ужъ шесть ночей сряду играютъ.

Ихаревъ. Пара цѣлковиковъ! (*Суетъ ему въ руку*).

Алексѣй (*кланяясь*). Покорнѣйше благодарю.

Ихаревъ. Послѣ еще будетъ.

Алексѣй. Покорнѣйше-съ благодарю.

Ихаревъ. Между собой играютъ?

Алексѣй. Нѣтъ, недавно обыграли поручика Артуновскаго; у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысячъ.

Ихаревъ. Вотъ тебѣ еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупалъ?

Алексѣй. Нѣтъ-съ, они сами брали вмѣстѣ.

Ихаревъ. Да у кого?

Алексѣй. Да у здѣшняго купца Вахрамейкина.

Ихаревъ. Врешь, врешь, плутъ!

Алексѣй. Ей Богу!

Ихаревъ. Хорошо. Мы съ тобой потолкуемъ ужо. (*Гаврюшка вноситъ шкатулку*). Стань ее здѣсь! Теперь ступайте, приготовьте мнѣ умыться и побриться. (*Слуги уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ II.

Ихаревъ (*одинъ, отпираетъ шкатулку, всю наполненную карточными колодами*).

Каковъ видъ, а? Каждая дюжина золотая. Потомъ, трудомъ досталась всякая. Легко сказать, до сихъ поръ рябитъ въ глазахъ проклятый крапъ. Но вѣдь зато, вѣдь это тотъ же капиталъ. Дѣтямъ можно оставить на наслѣдство! Вотъ она, заповѣдная колодушка— просто перлъ! Зато-жъ ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мнѣ, душенька, такъ, какъ послужила сестрица твоя: выиграй мнѣ также восемьдесятъ тысячъ, такъ я тебѣ, пріѣхавши въ деревню, мраморный памятникъ поставлю; въ Москвѣ закажу. (*Услыша шумъ, поспѣшно закрываетъ шкатулку*).

ЯВЛЕНІЕ III.

Алексѣй и Гаврюшка (*несутъ лоханку, рукомойникъ и полотенце*).

Ихаревъ. Что, эти господа гдѣ теперь? дома?

Алексѣй. Да-съ, они теперь въ общей залѣ.

Ихаревъ. Пойду взглянуть на нихъ, что за народъ. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ IV.

Алексѣй и Гаврюшка.

Алексѣй. Что, издалека ѣдете?

Гаврюшка. А изъ Рязани.

Алексѣй. А сами тамошней губерніи?

Гаврюшка. Нѣтъ, сами изъ Смоленской.

Алексѣй. Такъ-съ. Такъ помѣстье-то, выходитъ, въ Смоленской губерніи?

Гаврюшка. Нѣтъ, не въ Смоленской. Въ Смоленской сто душъ, да въ Калужской восемьдесятъ.

Алексѣй. Понимаю, въ двухъ, то-есть, губерніяхъ.

Гаврюшка. Да, въ двухъ губерніяхъ. У насъ одной дворни:

Игнатій буфетчикъ, Павлушка, который прежде съ бариномъ ѣздилъ, Герасимъ лакей, Иванъ тоже опять лакей, Иванъ псарь, Иванъ опять музыкантъ, потомъ поваръ Григорій, поваръ Семенъ, Варухъ садовникъ, Дементій кучеръ, вотъ какъ у насъ!

ЯВЛЕНІЕ V.

Тѣ же, Кругель, Швохневъ (*осторожно входя*).

Кругель. Право, я боюсь, чтобъ онъ насъ не засталъ здѣсь.

Швохневъ. Ничего, Степанъ Ивановичъ его удержитъ. (*Алексѣю*) Ступай, братъ, тебя зовутъ! (*Алексѣй уходитъ. Швохневъ, подходя поспѣшно къ Гаврюшкѣ*). Откуда баринъ?

Гаврюшка. Да теперь изъ Рязани.

Швохневъ. Помѣщикъ?

Гаврюшка. Помѣщикъ.

Швохневъ. Играетъ?

Гаврюшка. Играетъ.

Швохневъ. Вотъ тебѣ красуля (*даетъ ему бумажку*). Разсказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете барину?

Оба. Ни, ни, не бойся!

Швохневъ. Что, какъ онъ теперь,—въ выигрышѣ? а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева не знаете?

Швохневъ. Нѣтъ, а что?

Гаврюшка. Недѣли три тому назадъ мы его обыграли на восемьдесятъ тысячъ деньгами, да коляску варшавскую; да шкатулку, да коверъ, да золотые эполеты... одной выжиги дали на 600 рублей.

Швохневъ (*взглянувъ на Кругеля значительно*). А? восемьдесятъ тысячъ! (*Кругель покачалъ головою*). Думаешь—не чисто? Это мы сейчасъ узнаемъ. (*Гаврюшкѣ*). Послушай: когда баринъ остается дома одинъ, что дѣлаетъ?

Гаврюшка. Да какъ—что дѣлаетъ? Извѣстно, что дѣлаетъ. Онъ ужъ баринъ, такъ держитъ себя хорошо: онъ ничего не дѣлаетъ.

Швохневъ. Врешь, чай картъ изъ рукъ не выпускаетъ.

Гаврюшка. Не могу знать, я съ бариномъ всего двѣ недѣли; съ нимъ прежде все Павлушка ѣздилъ. У насъ тоже есть Герасимъ лакей, опять Иванъ лакей, Иванъ псарь, Иванъ музыкантъ, Дементій кучеръ, да намедни изъ деревни одного взяли.

Швохневъ (*Кругелю*). Думаешь—шулеръ?

Кругель. И очень можетъ быть.

Швохневъ. А попробовать, все-таки попробуемъ. (*Оба убѣгаютъ*).

ЯВЛЕНІЕ VI.

Гаврюшка (*одинъ*).

Проворные господа! А за бумажку спасибо. Будетъ Матренѣ на чепецъ, да пострѣльчонкамъ тоже по прянику. Эхъ, люблю походную жисть! Ужъ всегда что-нибудь пріобрѣтешь: баринъ пошлетъ купить чего-нибудь—все ужъ съ рубля гривенничекъ положишь себѣ въ карманъ. Какъ подумаешь, что за житье господамъ на свѣтѣ! куда хошь, катай! Въ Смоленскѣ наскучило, поѣхалъ въ Рязань; не захотѣлъ въ Рязань—въ Казань; въ Казань не захотѣлъ, валяй подъ самый Ярославъ. Вотъ только до сихъ поръ не знаю, который изъ городовъ будетъ партикулярнѣй, Рязань или Казань?—Казань будетъ потому партикулярнѣй, что въ Казани...

ЯВЛЕНІЕ VII.

Ихаревъ, Гаврюшка, *потомъ* Алексѣй.

Ихаревъ. Въ нихъ нѣтъ ничего особеннаго, какъ мнѣ кажется А впрочемъ... Эхъ, хотѣлось бы мнѣ ихъ обчистить! Господи Боже, какъ бы хотѣлось! Какъ подумаешь, право, сердце бьется. (*Беретъ щетку, мыло, садится передъ зеркаломъ и начинаетъ бриться*). Просто рука дрожитъ, никакъ не могу бриться. (*Входитъ Алексѣй*).

Алексѣй. Не прикажете ли чего покушать?

Ихаревъ. Какъ же, какъ же! Принеси закуску на четыре человѣка: икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчасъ его (*указывая на Гаврюшку*).

Алексѣй (*Гаврюшкѣ*). Пожалуйте въ кухню, тамъ для васъ приготовлено. (*Гаврюшка уходитъ*).

Ихаревъ (*продолжая бриться*). Послушай! много они тебѣ дали?

Алексѣй. Кто-съ?

Ихаревъ. Ну, да ужъ не изворачивайся, говори!

Алексѣй. Да-съ, за прислугу пожаловали.

Ихаревъ. Сколько? пятьдесятъ рублей?

Алексѣй. Да-съ, пятьдесятъ рублей дали.

Ихаревъ. А отъ меня не пятьдесятъ, а вонъ, видишь, на столѣ лежитъ сторублевая бумажка, возьми ее. Что боишься, не укуситъ. Отъ тебя не потребуется больше ничего, какъ только честности, понимаешь? Карты пусть будутъ у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дѣло, а вотъ тебѣ въ придачу отъ меня дюжину. (*Даетъ ему запечатанную дюжину*). Понимаешь?

Алексѣй. Да ужъ какъ не понять? Извольте положиться, это ужъ наше дѣло.

Ихаревъ. Да карты спрячь хорошенько, чтобъ какъ-нибудь тебя не ощупали, или не увидѣли. (*Кладетъ щетку и мыло и вытира-*

ется полотенцемъ. Алексѣй уходитъ). Хорошо бы было и очень бы хорошо. А ужъ какъ, признаюсь, хочется поддѣть ихъ.

ЯВЛЕНІЕ VIII.

Швохневъ, Кругель и Степанъ Ивановичъ Утѣшительный (*входятъ съ поклонами*).

Ихаревъ (*съ поклономъ къ нимъ навстрѣчу*). Прошу простить. Комната, какъ видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утѣшительный. Привѣтливыя ласки хозяина дороже всякихъ удобствъ.

Швохневъ. Не съ комнатой жить, а съ добрыми людьми.

Утѣшительный. Именно правда. Я бы не могъ быть безъ общества. (*Кругелю*). Помнишь, почтеннѣйшій, какъ я пріѣхалъ сюда: одинъ-одинешенекъ. Вообразите: знакомыхъ никого. Хозяйка—старуха. На лѣстницѣ какая-то поломойка, уродъ естественнѣйшій; вижу, увивается около нея какой-то армейщина, видно, натощакъ... Словомъ, скука смертная. Вдругъ судьба послала вотъ его, а потомъ случай свелъ съ нимъ... Ну, ужъ какъ я былъ радъ. Не могу, не могу часу пробыть безъ дружескаго общества. Все, что ни есть на душѣ, готовъ разсказать каждому.

Кругель. Это, братъ, порокъ твой, а не добродѣтель. Излишество вредитъ. Ты, вѣрно, ужъ не разъ былъ обманутъ.

Утѣшительный. Да обманывался, обманывался, и всегда буду обманываться. А всетаки не могу безъ откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенну со всякимъ. Дружба—это другое дѣло.

Утѣшительный. Такъ; но человѣкъ принадлежитъ обществу.

Кругель. Принадлежитъ, но не весь.

Утѣшительный. Нѣтъ, весь.

Кругель. Нѣтъ, не весь.

Утѣшительный. Нѣтъ, весь.

Кругель. Нѣтъ, не весь.

Утѣшительный. Нѣтъ, весь!

Швохневъ (*Утѣшительному*). Не спорь, братъ: ты неправъ.

Утѣшительный (*горячась*). Нѣтъ, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долгъ! это, это, это...

Швохневъ. Ну, зарапортовался! Горячъ необыкновенно: еще первыя два слова можно понять изъ того, что онъ говоритъ, а ужъ дальше ничего не поймешь.

Утѣшительный. Не могу, не могу! Если дѣло коснется обязанностей или долга, я ужъ ничего не помню. Я обыкновенно впередъ ужъ объявляю: «господа, если будетъ о чемъ подобномъ толкъ, извините,

увлекусь, право увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь такъ и кипитъ, такъ и кипитъ.

Ихаревъ (*про себя*). Ну, нѣтъ, пріятель! Знаемъ мы тѣхъ людей, которые увлекаются и горячатся при словѣ «обязанность». У тебя, можетъ-быть, и кипитъ желчь, да только не въ этомъ случаѣ. (*Вслухъ*). А что, господа, покамѣстъ споръ о священныхъ обязанностяхъ, не засѣсть ли намъ въ банчикъ?

(*Въ продолженіе ихъ разговора приготовленъ на столѣ завтракъ*).

Утѣшительный. Извольте; если не въ большую игру, почему нѣтъ?

Кругель. Отъ невинныхъ удовольствій я никогда не прочь.

Ихаревъ. А что, вѣдь въ здѣшнемъ трактирѣ, чай, есть карты?

Швохневъ. О, только прикажите!

Ихаревъ. Карты! (*Алексѣй хлопочетъ около карточнаго стола*). А между тѣмъ, прошу, господа! (*Указысая рукой на закуску и подходя къ ней*). Балыкъ, кажется, не того, а икра еще такъ и сякъ.

Швохневъ (*посылая въ ротъ кусокъ*). Нѣтъ, и балыкъ того.

Кругель (*также*). И сыръ хорошъ. Икра тоже недурна.

Швохневъ (*Кругелю*). Помнишь, какой отличный сыръ ѣли мы недѣли двѣ тому назадъ?

Кругель. Нѣтъ, никогда въ жизни не позабуду я сыра, который ѣлъ я у Петра Александровича Александрова.

Утѣшительный. Да вѣдь сыръ, почтеннѣйшій, когда хорошъ? Хорошъ онъ тогда, когда сверхъ одного обѣда наворотишь другой— вотъ гдѣ есть настоящее значеніе. Онъ все равно, что добрый квартермистръ, говоритъ: «Добро пожаловать, господа, есть еще мѣсто».

Ихаревъ. Добро пожаловать, господа, карты на столѣ.

Утѣшительный (*подходя къ карточному столу*). А, вотъ оно старина, старина! Слышь, Швохневъ, карты, а? Сколько лѣтъ...

Ихаревъ (*въ сторону*). Да полно тебѣ корчить!..

Утѣшительный. Хотите вы держать банчикъ?

Ихаревъ. Небольшой, извольте, пятьсотъ рублей. Угодно снять? (*Мечетъ банкъ*).

Начинается игра. Раздаются восклицанія.

Швохневъ. Четверка, тузикъ,—оба по десяти.

Утѣшительный. Подай-ка, братъ, мнѣ свою колоду: я выберу себѣ карту на счастье нашей губернской предводительши.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утѣшительный. Швохневъ, подай мѣлъ. Приписываю и списываю.

Швохневъ. Чортъ побери, пароле!

Утѣшительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! позвольте посмотрѣть, кажется, еще двѣ тройки должны быть въ колодѣ.

Утѣшительный (*вскакиваетъ съ мѣста, про себя*). Чортъ побери, тутъ что-то не такъ. Карты другія, это очевидно.

(*Игра продолжается*).

Ихаревъ (*Кругелю*). Позвольте узнать: обѣ идутъ?

Кругель. Обѣ.

Ихаревъ. Не возвышаете?

Кругель. Нѣтъ.

Ихаревъ (*Швохневу*). А вы что-жь? не ставите?

Швохневъ. Позвольте мнѣ эту талію переждать. (*Встаетъ со стула, торопливо подходитъ къ Утѣшительному и говоритъ скоро*). Чортъ возьми, гралъ! И передергиваетъ, и все, что хочешь! Шулеръ первой степени!

Утѣшительный (*въ волненіи*). Неужли, однакожь, отказаться отъ восьмидесяти тысячъ?

Швохневъ. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утѣшительный. Ну, это еще вопросъ, а пока съ нимъ объясниться!

Швохневъ. Какъ?

Утѣшительный. Открыться ему во всемъ.

Швохневъ. Для чего?

Утѣшительный. Послѣ скажу. Пойдемъ. (*Подходятъ оба къ Ихареву и ударяютъ его съ обѣихъ сторонъ по плечу*).

Утѣшительный. Да полно вамъ тратить попусту заряды!

Ихаревъ (*вздрогнувъ*). Какъ?

Утѣшительный. Да что тутъ толковать, свой своего развѣ не узналъ?

Ихаревъ (*учтиво*). Позвольте узнать, въ какомъ смыслѣ я долженъ разумѣть?..

Утѣшительный. Да просто, безъ дальнѣйшихъ словъ и церемоній. Мы видѣли ваше искусство и, повѣрьте, умѣемъ отдавать справедливость достоинству. И потому, отъ лица нашихъ товарищей, предлагаю вамъ дружескій союзъ. Соединя наши познанія и капиталы, мы можемъ дѣйствовать несравненно успѣшнѣй, чѣмъ порознь.

Ихаревъ. Въ какой степени я долженъ понимать справедливость словъ вашихъ?..

Утѣшительный. Да вотъ въ какой степени: за искренность мы платимъ искренностью. Мы признаемся тутъ же вамъ откровенно, что сговорились обыграть васъ, потому что приняли васъ за человѣка обыкновеннаго. Но теперь видимъ, что вамъ знакомы высшія тайны. Итакъ, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихаревъ. Отъ такого радушнаго предложенія не могу отказаться.

Утѣшительный. Итакъ, подадимте же, всякій изъ насъ, другъ другу руки. (*Всѣ попеременно пожимаютъ руку Ихареву*). Отнынѣ

все общее; притворство и церемоніи въ сторону! Позвольте узнать, съ какихъ поръ начали изслѣдовать глубину познаній?

Ихаревъ. Признаюсь, это уже съ самыхъ юныхъ лѣтъ было моимъ стремленіемъ. Еще въ школѣ, во время профессорскихъ лекцій, я уже подъ скамьей держалъ банкъ моимъ товарищамъ.

Утѣшительный. Я такъ и полагалъ. Подобное искусство не можетъ быть пріобрѣтено безъ практики въ лѣта гибкаго юношества. Помнишь, Швохневъ, этого необыкновеннаго ребенка?

Ихаревъ. Какого ребенка?

Утѣшительный. А вотъ разскажи.

Швохневъ. Подобнаго событія я никогда не позабуду. Говоритъ мнѣ его зять (*указывая на Утѣшительнаго*), Андрей Ивановичъ Пяткинъ! «Швохневъ, хочешь видѣть чудо? Мальчикъ одиннадцати лѣтъ, сынъ Ивана Михайловича Кубышева, передергиваетъ съ такимъ искусствомъ, какъ ни одинъ изъ игроковъ. Поѣзжай въ Тетюшевскій уѣздъ и посмотри!» Я, признаюсь, тотъ же часъ отправился въ Тетюшевскій уѣздъ. Спрашиваю деревню Ивана Михайловича Кубышева и пріѣзжаю прямо къ нему. Приказываю о себѣ доложить. Выходитъ человѣкъ почтенныхъ лѣтъ. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышалъ, что Богъ наградилъ васъ необыкновеннымъ сыномъ».— «Да, признаюсь», говоритъ (и мнѣ понравилось то, что безъ всякихъ, понимаете, этихъ претензій и отговорокъ), «да», говоритъ, «точно, хотя отцу и неприлично хвалить собственнаго сына, но это дѣйствительно въ нѣкоторомъ родѣ чудо. Миша!» говоритъ, «поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчикъ, просто, ребенокъ, мнѣ по плечо не будетъ, и въ глазахъ ничего нѣтъ особеннаго. Началъ онъ метать—я просто потерялся. Это превосходитъ всякое описанье.

Ихаревъ. Неужто ничего нельзя было примѣтить?

Швохневъ. Ни, ни, никакихъ слѣдовъ! Я смотрѣлъ въ оба глаза.

Ихаревъ. Это непостижимо!

Утѣшительный. Феноменъ, феноменъ!

Ихаревъ. И какъ я подумаю, что при этомъ еще нужны познанія, основанныя на остротѣ глазъ, внимательное изученье крапа...

Утѣшительный. Да вѣдь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливанье и отмѣтины вышли вовсе изъ употребленія; стараются изучить ключъ.

Ихаревъ. То-есть, ключъ рисунка?

Утѣшительный. Да, ключъ рисунка обратной стороны. Есть въ одномъ городѣ, въ какомъ именно—я не хочу назвать, одинъ почтенный человѣкъ, который больше ничѣмъ ужъ и не занимается, какъ только этимъ. Ежегодно получаетъ онъ изъ Москвы нѣсколько сотенъ колодъ, отъ кого именно—это покрыто тайною. Вся обязанность его состоитъ въ томъ, чтобы разобрать крапъ всякой карты и послать

отъ себя только ключъ. Смотри, молъ, у двойки вотъ какъ расположенъ рисунокъ! у такой-то вотъ какъ! За это одно онъ получаетъ чистыми деньгами пять тысячъ въ годъ.

Ихаревъ. Это, однакожъ, важная вещь.

Утѣшительный. Да оно, впрочемъ, такъ и быть должно. Это то, что называется въ политической экономіи—распредѣленіе работъ. Все равно—каретникъ: вѣдь онъ не весь же экипажъ дѣлаетъ самъ: онъ отдаетъ и кузнецу, и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человѣческой.

Ихаревъ. Позвольте вамъ сдѣлать одинъ вопросъ: какъ поступали вы доселѣ, чтобы пустить въ ходъ колоды? Подкупать слугъ вѣдь не всегда можно.

Утѣшительный. Сохрани Богъ! да и опасно. Это значитъ иногда самого себя продать. Мы дѣлаемъ это иначе. Одинъ разъ мы поступили вотъ какъ. Пріѣзжаетъ на ярмарку нашъ агентъ, останавливается подъ именемъ купца въ городскомъ трактирѣ; лавки еще не успѣлъ нанять; сундуки и вьюки пока въ комнатѣ. Живетъ онъ въ трактирѣ, издерживается, ѣстъ, пьетъ и вдругъ пропадаетъ, неизвѣстно куда, не заплативши. Хозяинъ шаритъ въ комнатѣ; видитъ, остался одинъ вьюкъ; распаковываетъ—сто дюжинъ картъ. Карты, натурально, сей же часъ проданы съ публичнаго торга; пустили рублемъ дешевле, купцы вмигъ расхватали въ свои лавки; а въ четыре дня проигрался весь городъ.

Ихаревъ. Это очень ловко.

Швохневъ. Ну, а у того, у помѣщика?

Ихаревъ. Что у помѣщика?

Утѣшительный. А это дѣло тоже было поведено не дурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помѣщикъ Аркадій Андреевичъ Дергуновъ, богатѣйшій человѣкъ. Игру ведетъ отличную, честности безпримѣрной, къ поползновенію, понимаете, никакихъ путей: за всѣмъ смотритъ самъ, люди у него воспитаны—камергеры, домъ—дворецъ, деревня, сады,—все это по аглицкому образцу, словомъ, русскій баринъ въ полномъ смыслѣ слова. Мы живемъ ужъ тамъ три дня. Какъ приступить къ дѣлу?—просто, нѣтъ возможности. Наконецъ, придумали. Въ одно утро пролетаетъ мимо самого двора тройка. На телѣгѣ сидятъ молодцы. Все это пьяно, какъ нельзя больше, оретъ пѣсни и дуетъ во весь опоръ. На такое зрѣлище, какъ водится, выбѣжала вся дворня. Ротозѣютъ, смѣются и замѣчаютъ, что изъ телѣги что-то выпало; подбѣгаютъ, видятъ чемоданъ. Машутъ, кричатъ: «остановись!» куда! никто не слышитъ, умчались, только пыль осталась по всей дорогѣ.— Развязали чемоданъ, видятъ: бѣлье, кое-какое платье, двѣсти рублей денегъ и дюжинъ сорокъ картъ. Ну, натурально, отъ денегъ не захотѣли отказаться, карты пошли на барскіе столы, и на другой же день,

ввечеру, всѣ, и хозяинъ, и гости, остались безъ копѣйки въ карманѣ, и кончился банкъ.

Ихаревъ. Очень остроумно! Вѣдь вотъ называютъ это плутовствомъ и разными подобными именами, а вѣдь это тонкость ума, развитіе.

Утѣшительный. Эти люди не понимаютъ игры. Въ игрѣ нѣтъ лицепріятія. Игра не смотритъ ни на что. Пусть отецъ сядетъ со мною въ карты—я обыграю отца: не садись! Здѣсь всѣ равны.

Ихаревъ. Именно, этого не понимаютъ, что игрокъ можетъ быть добродѣтельнѣйшій человѣкъ. Я знаю одного, который наклоненъ къ передержкамъ и къ чему хотите, но нищему онъ отдастъ послѣднюю копѣйку. А между тѣмъ ни за что не откажется соединиться втроемъ противъ одного обыграть навѣрняка. Но, господа, такъ какъ пошло на откровенность, я вамъ покажу удивительную вещь. Знаете ли вы то, что называютъ сводная или подобранная колода, въ которой всякая карта можетъ быть угадана мною на значительномъ разстояніи?

Утѣшительный. Знаю, но, можетъ быть, другого рода.

Ихаревъ. Могу вамъ похвастаться, что подобной нигдѣ не сыщете. Почти полгода трудовъ. Я двѣ недѣли послѣ того не могъ на солнечный свѣтъ смотрѣть. Докторъ опасался воспаленія въ глазахъ. (*Вынимаетъ изъ шкатулки*). Вотъ она! Зато ужъ, не прогнѣвайтесь, она у меня носитъ имя, какъ человѣкъ.

Утѣшительный. Какъ имя?

Ихаревъ. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утѣшительный (*усмѣхаясь*). Слышь, Швохневъ, вѣдь это совершенно новая идея—назвать колоду картъ Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохневъ. Прекрасно: Аделаида Ивановна! очень хорошо!

Утѣшительный. Аделаида Ивановна! Нѣмка даже! Слышь, Кругель, это тебѣ жена.

Кругель. Что я за нѣмецъ? Дѣдъ былъ нѣмецъ, да и тотъ не зналъ по-нѣмецки.

Утѣшительный (*разсматривая колоду*). Это, точно, сокровище. Да, никакихъ совершенно признаковъ. Неужели, однакожъ, всякая карта можетъ быть вами угадана на какомъ угодно разстояніи?

Ихаревъ. Извольте, я стану отъ васъ въ пяти шагахъ и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готовъ асикурировать, если ошибусь.

Утѣшительный. Ну, это какая карта?

Ихаревъ. Семерка.

Утѣшительный. Такъ точно. Эта?

Ихаревъ. Валетъ.

Утѣшительный. Чортъ возьми, да! Ну, эта?

Ихаревъ. Тройка.

Утѣшительный. Непостижимо!

Кругель (*пожимая плечами*). Непостижимо!

Швохневъ. Непостижимо!

Утѣшительный. Позвольте еще разъ разсмотрѣть. (*Разсматривая колоду*). Удивительная вещь! стоитъ того, чтобы назвать ее именемъ. Но, позвольте замѣтить, употребить ее въ дѣло трудно: развѣ съ слишкомъ неопытнымъ игрокомъ: вѣдь это нужно подмѣнить самому.

Ихаревъ. Да вѣдь это во время самой жаркой игры только дѣлается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрокъ дѣлается неспокойнымъ; а потеряйся только немного человѣкъ—съ нимъ можно все сдѣлать. Вы знаете, что съ лучшими игроками случается то, что называютъ—заиграться. Какъ поиграетъ два дня и двѣ ночи сряду, не поспавши,—ну, и заиграется. Въ азартной игрѣ я всегда подмѣню колоду. Повѣрьте, вся штука въ томъ, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средствъ отвлечь вниманье другихъ—есть тысяча. Придеритесь тутъ же къ кому-нибудь изъ понтеровъ, скажите, что у него не такъ записано: глаза всѣхъ обратятся на него, а въ это время колода уже и подмѣнена.

Утѣшительный. Но, однакоже, я вижу, что, кромѣ искусства, вы владѣете еще достоинствомъ хладнокровія—это важная вещь. Пріобрѣтеніе вашего знакомства теперь стало для насъ еще значительнѣй. Будемъ безъ церемоніи, оставимъ лишніе этикеты и станемъ говорить другъ другу «ты».

Ихаревъ. Этакъ-бы давно слѣдовало.

Утѣшительный. Человѣкъ, шампанскаго. Въ память дружескаго союза!

Ихаревъ. Именно, это стоитъ того, чтобы запить.

Швохневъ. Да вѣдь вотъ, мы собрались для подвиговъ, орудія всѣ у насъ въ рукахъ, силы есть, одного недостаетъ только...

Ихаревъ. Именно, именно, крѣпости недостаетъ только, на которую бы идти, вотъ бѣда!

Утѣшительный. Что-жъ дѣлать? непріятеля пока нѣтъ. (*Смотря пристально на Швохнева*). Что? у тебя какъ будто лицо такое, которое хочетъ сказать, что есть непріятель.

Швохневъ. Есть, да... (*останавливается*).

Утѣшительный. Знаю я, на кого ты мѣтишь.

Ихаревъ (*съ живостью*). А на кого, на кого? кто это?

Утѣшительный. Э, вздоръ, вздоръ! Онъ выдумалъ пустяки. Вотъ видите ли, есть здѣсь одинъ пріѣзжій помѣщикъ, Михалъ Александровичъ Гловъ. Ну, да что объ этомъ толковать, когда онъ не играетъ вовсе? Мы ужъ возились около него... Я мѣсяцъ за нимъ ухаживалъ и въ дружбу, и въ довѣренность вошелъ, а все ничего не сдѣлалъ.

Ихаревъ. Ну, да, послушай, нельзя ли какъ-нибудь увидѣться съ нимъ? Можетъ-быть, почему знать...

Утѣшительный. Ну, я тебѣ впередъ говорю, что это будетъ вовсе напрасный трудъ.

Ихаревъ. Ну, да попробуемъ, попробуемъ еще разъ.

Швохневъ. Ну, да приведи его по крайней мѣрѣ! Ну, не успѣемъ, поговоримъ просто. Почему не попробовать?

Утѣшительный. Да пожалуй, мнѣ ничего это не значитъ, я приведу его.

Ихаревъ. Приведи его теперь же, пожалуйста!

Утѣшительный. Изволь, изволь! (*Уходитъ*)

ЯВЛЕНІЕ IX.

Тѣ-же, кромѣ Утѣшительнаго.

Ихаревъ. Вѣдь, точно, почему знать? Иногда дѣло кажется совсѣмъ невозможное...

Швохневъ. Я самъ того же мнѣнія. Вѣдь не съ Богомъ здѣсь имѣешь дѣло, а съ человѣкомъ: а человѣкъ—все-таки человѣкъ. Сегодня нѣтъ, завтра нѣтъ, послѣзавтра нѣтъ, а на четвертый день, какъ насядешь на него хорошенько, скажетъ: «да». Иной вѣдь съ виду корчитъ, что онъ недоступный, а разгляди его поближе, увидишь: просто, даромъ тревогу подымалъ.

Кругель. Ну, однакожъ этотъ не таковъ.

Ихаревъ. Эхъ, если бы!.. Повѣрить нельзя, какъ возродилась во мнѣ теперь жажда къ дѣятельности. Нужно вамъ знать, что послѣдній мой выигрышъ восемьдесятъ тысячъ у полковника Чеботарева былъ сдѣланъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ. Съ тѣхъ поръ я не имѣлъ практики въ продолженіе цѣлаго мѣсяца. Представить не можете, какую испыталъ я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохневъ. Я понимаю это положеніе. Это все равно, что полководецъ: что онъ долженъ чувствовать, когда нѣтъ войны? Это, любезнѣйшій, просто фатальный антрактъ. Я знаю по себѣ, съ этимъ нечего шутить.

Ихаревъ. Повѣришь ли, приходитъ такъ, что, если бы кто сдѣлалъ пять рублей банку—я готовъ сѣсть и играть.

Швохневъ. Естественная вещь. Этакъ проигрывались иногда искуснѣйшіе игроки: стоскуется, работы нѣтъ, и наскочитъ съ горя на одного изъ тѣхъ, которыхъ называютъ голь и перетыка,—ну, и проиграется ни за что!

Ихаревъ. А богатъ этотъ Гловъ?

Кругель. О, деньги есть! Кажется, около тысячи душъ крестьянъ.

Ихаревъ. Эхъ, чортъ возьми, подпоить развѣ его, шампанскаго велѣть подать.

Швохневъ. Въ ротъ не беретъ.

Ихаревъ. Что-жъ съ нимъ дѣлать? Какъ подъѣхать? Но нѣтъ, однакожъ, все я думаю... вѣдь игра соблазнительная вещь. Мнѣ кажется, если бы онъ подсѣлъ только къ играющимъ, онъ бы не утерпѣлъ потомъ.

Швохневъ. Да вотъ мы попробуемъ. Мы вотъ здѣсь въ сторонѣ съ Кругелемъ сдѣлаемъ самую маленькую игру. Но не нужно къ нему оказывать большого вниманія: старики подозрительны. (*Садятся въ сторонѣ съ картами*).

ЯВЛЕНІЕ X.

(Тѣ же, Утѣшительный и Михайло Александровичъ Гловъ, *человѣкъ пожилыхъ лѣтъ*).

Утѣшительный. Вотъ тебѣ, Ихаревъ, рекомендую: Михаилъ Александровичъ Гловъ!

Ихаревъ. Я, признаюсь, давно искалъ этой чести. Живя въ одномъ трактирѣ...

Гловъ. Мнѣ тоже очень пріятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выѣздѣ...

Ихаревъ (*подавая ему стулъ*). Прошу покорнѣйше!.. Давно изволите жить въ этомъ городѣ?

(*Утѣшительный, Швохневъ и Кругель перешептываются между собою*).

Гловъ. Ахъ, батюшка, ужъ онъ мнѣ такъ надоѣлъ, этотъ городъ. И тѣломъ и душой радъ бы отсюда поскорѣй вырваться.

Ихаревъ. Что-жъ, удерживаютъ дѣла?..

Гловъ. Дѣла, дѣла. Такая комиссія мнѣ эти дѣла!

Ихаревъ. Вѣроятно, тяжба?

Гловъ. Нѣтъ, слава Богу, тяжбы нѣтъ, но тѣмъ не менѣе затруднительныя обстоятельства. Выдаю замужъ дочь, батюшка, осьмнадцатилѣтнюю дѣвицу. Понимаете ли вы отцовское положеніе? Пріѣхалъ за разными покупками, а главное заложить имѣніе. Дѣло бы уже все кончено, да Приказъ денегъ до сихъ поръ не выдаетъ. Даромъ совершенно живу.

Ихаревъ. А позвольте узнать, въ какую сумму изволили заложить имѣніе?

Гловъ. Въ двухъ стахъ тысячахъ. На-дняхъ бы должны выдать, да вотъ затянулось. А мнѣ ужъ такъ опротивѣло здѣсь жить! Дома-то, знаете, все это оставилъ на самое короткое время. Дочь — невѣста. Все это ждетъ... Я ужъ рѣшился не дожидаться и бросить все.

Ихаревъ. Какъ же, и денегъ не хотите дождаться?

Гловъ. Что-жъ дѣлать, батюшка? Вы разсмотрите и мое положеніе: вѣдь вотъ ужъ мѣсяцъ, какъ не видался съ женой и дѣтьми; писемъ даже не получаю; Богъ вѣсть, что тамъ дѣлается. Я ужъ все

дѣло поручаю сыну, который здѣсь остается. Надоѣло возиться. (*Обращаясь къ Швохневу и Кругелю*)... А что-жъ вы, господа? Я, кажется, вамъ помѣшалъ: вы чѣмъ-то занимались?

Кругель. Вздоръ. Это такъ. Отъ нечего дѣлать вздумали поиграть.

Головъ. Кажется, что-то похоже на банчикъ!

Швохневъ. Какое! для препровожденья времени, грошовый банчикъ.

Головъ. Эхъ, господа, послушайте старика. Вы—молодые люди. Конечно, тутъ ничего нѣтъ худого, больше для развлеченья, да и въ грошовую игру нельзя много проиграть, все это такъ; но все... эхъ, господа, я самъ игралъ и знаю по опыту. Все на свѣтѣ начинается грошовымъ дѣломъ, а смотришь, маленькая игра какъ разъ кончилась большой.

Швохневъ (*Ихареву*). Ну, пошелъ ужъ старикашка плесть свое. (*Глову*). Ну, вотъ видите, вы ужъ тотчасъ припишите важное слѣдствіе всякому вздору,—это всегда ужъ обыкновенная замашка всѣхъ пожилыхъ людей.

Головъ. Да что-жъ, вѣдь я еще не такъ пожилой человѣкъ. Я сужу по опыту.

Швохневъ. Я не объ васъ буду говорить; но вообще у стариковъ есть это: напримѣръ, если они на чемъ-нибудь обожглись, они твердо увѣрены, что и другой непремѣнно обожжется на томъ же. Если они пошли какой-нибудь дорогою, да, зазѣвавшись, шлепнулись о гололедь—они ужъ кричатъ и выдаютъ правило, что по такой-то дорогѣ никому нельзя ходить, потому что на ней есть въ одномъ мѣстѣ гололедь и всякій непремѣнно на ней шлепнется лбомъ, никакъ не принимая въ уваженье того, что другой, можетъ быть, не зазѣвается, и сапоги у него не на скользкой подошвѣ. Нѣтъ, у нихъ для этого нѣтъ соображенія. Собака укусила человѣка на улицѣ—всѣ кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Головъ. Такъ, батюшка; оно точно, съ одной стороны есть тотъ грѣхъ. Да вѣдь за то-жъ и молодые! Вѣдь ужъ слишкомъ много рыси: того и смотри, что сломитъ шею!

Швохневъ. Вотъ то-то и есть что у насъ нѣтъ середины. Молодымъ бѣсится, такъ что невтерпежъ другимъ, а подъ старость прикинется ханжой, такъ что невтерпежъ другимъ.

Головъ. Такого-то вы обиднаго мнѣнія насчетъ стариковъ?

Швохневъ. Да нѣтъ, что за обидное мнѣніе? это правда, больше ничего.

Ихаревъ. Позвольте мнѣ замѣтить; твое мнѣніе рѣзко...

Утѣшительный. Насчетъ картъ я совершенно согласенъ съ Михалъ Александровичемъ. Я самъ игралъ, игралъ сильно; но, благодарю судьбу, бросилъ навсегда,—не потому, чтобы проигрался или былъ вооруженъ противъ судьбы; повѣрьте мнѣ; это еще ничего: про-

игрышъ не такъ важенъ, какъ важно душевное спокойствіе. Одно это волненіе, чувствуемое во время игры, кто что ни говори, а это сокращаетъ видимо нашу жизнь.

Г л о в ъ. Такъ, батюшка, ей Богу! Какъ вы премудро замѣтили! Позвольте сдѣлать вамъ нескромный вопросъ: сколько времени имѣю честь пользоваться вашимъ знакомствомъ, а вотъ до сихъ поръ...

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Какой вопросъ?

Г л о в ъ. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вамъ годъ?

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Тридцать девять лѣтъ.

Г л о в ъ. Представьте! Что-жъ такое тридцать девять лѣтъ? Еще молодой человѣкъ. Ну, что, если бы у насъ въ Россіи было побольше такихъ, которые бы такъ мудро разсуждали? Господи Ты Боже мой, что бы это было? просто, золотой вѣкъ-съ, та же астрея. Ужъ какъ, ей Богу, благодаренъ судьбѣ я за то, что познакомился съ вами.

И х а р е в ъ. Повѣрьте мнѣ, я тоже раздѣляю это мнѣніе. Мальчишкамъ я бы не позволилъ и въ руки взять картъ. Но благоразумнымъ людямъ почему не поразвлечься, не позабавиться? Напримѣръ, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцовать?

Г л о в ъ. Такъ, все такъ; но, повѣрьте, въ жизни нашей есть столько удовольствій, столько обязанностей, такъ сказать, священныхъ. Эхъ, господа, послушайте старика! Нѣтъ для человѣка лучшаго назначенія, какъ семейная жизнь, въ домашнемъ кругу. Все это, что васъ окружаетъ, вѣдь это все волненіе, ей Богу-съ, волненіе, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Вѣдь вотъ я, повѣрите ли, минуты не дождусь, чтобы увидать своихъ, ей Богу! Какъ воображу: дочь кинется на шею: «папашъ ты мой, милый папашъ!» сынъ опять пріѣхалъ изъ гимназіи... полгода не видалъ... Просто, словъ недостаетъ; ей Богу, такъ. Да послѣ этого на карты смотрѣть не захочешь.

И х а р е в ъ. Но зачѣмъ же отеческія чувства мѣшать съ картами? Отеческія чувства сами по себѣ, а карты тоже...

А л е к с ѣ й (*входя, говоритъ Глову*). Вашъ человѣкъ спрашиваетъ насчетъ чемодановъ: прикажете выносить? Лошади уже готовы.

Г л о в ъ. А вотъ я сейчасъ! Извините, господа, на одну минуточку васъ оставлю. (*Уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XI.

Швохневъ, Ихаревъ, Кругель, Утѣшительный.

И х а р е в ъ. Ну! нѣтъ никакой надежды!

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Я говорилъ это прежде. Не понимаю, какъ вы не можете видѣть человѣка. Вѣдь стоитъ только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположенъ играть.

И х а р е в ъ. Ну, да все бы таки насѣсть на него хорошенько. Ну, зачѣмъ ты самъ его поддерживалъ?

Утѣшительный. Да иначе, братецъ, нельзя. Съ этими людьми нужно тонко поступать, не то, какъ разъ догадается, что его хотятъ обыграть.

Ихаревъ. Ну, да вѣдь что-жъ вышло изъ того? Вѣдь вотъ уѣдетъ—все равно.

Утѣшительный. Ну, да постой, еще не все дѣло кончено.

ЯВЛЕНІЕ XII.

Тѣ же и Гловъ.

Гловъ. Покорнѣйше благодарю васъ, господа, за пріятное знакомство. Жаль только, право, что вотъ передъ самымъ концомъ. А впрочемъ, авось приведетъ Богъ опять гдѣ-нибудь столкнуться...

Швохневъ. О, вѣроятно. Дороги битыя, а люди толкутся, какъ не столкнуться? Захоти только судьба.

Гловъ. Ей Богу, такъ, совершенная правда! Судьба захочетъ, такъ завтра же увидимся— совершенная правда. Прощайте, господа! Истинно благодарю! А ужъ вамъ, Степанъ Ивановичъ, такъ обязанъ: право, вы усладили мое уединеніе.

Утѣшительный. Помилуйте, не за что. Чѣмъ могъ служить, служилъ.

Гловъ. Ну, ужъ если вы такъ добры, такъ сдѣлайте еще одну милость! Можно ли васъ просить?

Утѣшительный. Какую? скажите! Все, что угодно, готовъ.

Гловъ. Успокойте старика-отца!

Утѣшительный. Какъ?

Гловъ. Я оставляю здѣсь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но все еще ненадеженъ: двадцать два года,—ну, что это за лѣта? Почти ребенокъ... Кончилъ учебный курсъ и ужъ больше ни о чемъ и слышать не хочетъ, какъ объ гусарахъ. Я говорю ему: «Рано, Саша! погоди, осмотрись прежде! Что тебѣ въ гусары? почему знать, можетъ быть, у тебя штатскія наклонности. Ты еще не видѣлъ почти свѣта; время не уйдетъ отъ тебя...» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему ужъ тамъ въ гусарахъ все это блеститъ, шитье, богатый мундиръ. Что-жъ прикажете? Склонностей вѣдь удержать никакъ нельзя... Такъ будьте такъ великодушны, батюшка Степанъ Ивановичъ! Онъ остается теперь одинъ; я возложилъ на него кое-какія дѣлишки. Молодой человѣкъ, все можетъ случиться; чтобы приказные какъ-нибудь его не обманули... мало ли чего... такъ возьмите его подъ свое покровительство, надзирайте надъ его поступками, отвлеките его отъ дурного. Будьте такъ добры, батюшка! (*Беретъ его за обѣ руки*).

Утѣшительный. Извольте, извольте. Все, что можетъ сдѣлать отецъ для своего сына, все это я сдѣлаю для него.

Гловъ. Ахъ, батюшка! (*Обнимаются и цѣлуются*). Вѣдь какъ

видно, когда у человѣка-то доброе сердце, ей Богу! Богъ васъ наградитъ за это! Прощайте, господа, отъ души желаю вамъ счастливо оставаться.

Ихаревъ. Прощайте, доброй дороги!

Швохневъ. Счастливо найти всѣхъ домашнихъ!

Гловъ. Благодарю васъ, господа!

Утѣшительный. А я васъ таки провожу къ самой коляскѣ и посажу!

Гловъ. Ахъ, батюшка, какъ вы добры! (*Оба уходятъ*).

ЯВЛЕНІЕ XIII.

Швохневъ, Кругель, Ихаревъ.

Ихаревъ. Улетѣла птица!

Швохневъ. Да, а было бы чѣмъ поживиться.

Ихаревъ. Признаюсь, какъ онъ сказалъ: двѣсти тысячъ—у меня вздрогнуло въ самомъ сердцѣ.

Кругель. О такой суммѣ и подумать даже сладко.

Ихаревъ. Вѣдь какъ подумаешь, сколько денегъ пропадаетъ даромъ, безъ всякой совершенно пользы! Ну, что изъ того, что у него будетъ двѣсти тысячъ? Вѣдь это все такъ пойдетъ, на покупку какихъ-нибудь тряпокъ, ветошекъ.

Швохневъ. И все это дрянь, гниль.

Ихаревъ. А вѣдь сколько даже такъ пропадаетъ на свѣтѣ, не обращаясь! Сколько есть мертвыхъ капиталовъ, которые именно, какъ мертвецы, лежатъ въ ломбардахъ! Право, даже жалость. Я бы больше не хотѣлъ имѣть у себя денегъ, какъ столько, сколько лежитъ въ Опекунскомъ Совѣтѣ.

Швохневъ. Я помирюсь и на половинѣ.

Кругель. Я доволенъ буду и четвертью.

Швохневъ. Ну, не ври, нѣмецъ; захочешь больше.

Кругель. Какъ честный человѣкъ...

Швохневъ. Надуешь.

ЯВЛЕНІЕ XIV.

Тѣ же и Утѣшительный (*входитъ поспѣшно и съ радостнымъ видомъ*).

Утѣшительный. Ничего, ничего, господа! Уѣхалъ, чортъ его побери, тѣмъ лучше! Остался сынъ. Отецъ передалъ ему и довѣренность и всѣ права на полученіе изъ Приказа денегъ и поручилъ надсматривать за тѣмъ мнѣ. Сынъ—молодецъ: такъ и рвется въ гусары. Будетъ жатва! Я пойду и сей же часъ приведу его къ вамъ. (*Убѣгаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ XV.

Швохневъ, Кругель, Ихаревъ.

Ихаревъ. Ай да Утѣшительный!

Швохневъ. Браво! дѣло возымѣло славный оборотъ! (*Всѣ потираютъ въ радости руки*).

Ихаревъ. Молодецъ Утѣшительный! Теперь я понялъ, зачѣмъ онъ подбирался къ отцу и потакалъ ему. И какъ все это ловко, какъ тонко!

Швохневъ. О, у него на это талантъ необыкновенный.

Кругель. Способности невѣроятныя!

Ихаревъ. Признаюсь, когда отецъ сказалъ, что оставляетъ здѣсь сына, у меня у самого промелькнула въ головѣ мысль, да вѣдь только на мигъ, а ужъ онъ тотчасъ... Смѣтливость какая!

Швохневъ. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

ЯВЛЕНІЕ XVI.

Тѣ же, Утѣшительный и Гловъ Александръ Михайловичъ (*молодой человѣкъ*).

Утѣшительный. Господа! рекомендую: Александръ Михалычъ Гловъ, отличный товарищъ! Прошу полюбить, какъ меня.

Швохневъ. Очень радъ... (*Пожимаетъ ему руку*).

Ихаревъ. Знакомство ваше намъ...

Кругель. Позвольте васъ прямо въ наши объятья.

Гловъ. Господа! я...

Утѣшительный. Безъ церемоніи, безъ церемоніи. Равенство первая вещь, господа! Гловъ, здѣсь, видишь,—всѣ товарищи, и потому къ черту всѣ этикеты! Съѣдемъ прямо на «ты»!

Швохневъ. Именно на «ты»!

Гловъ. На «ты»! (*Подаетъ имъ всѣмъ руку*).

Утѣшительный. Такъ! браво! Человѣкъ, шампанскаго! Замѣчаете, господа, какъ у него даже теперь уже видно что-то гусарское? Нѣтъ, твой отецъ, не говоря дурного слова, большая скотина, извини,—вѣдь мы на ты,—ну, какъ этого молодца вздумалъ было въ чернильную службу? Ну, что, братъ, скоро свадьба сестры твоей?

Гловъ. Чортъ ее побери съ ея свадьбой! Мнѣ досадно, что изъза нея отецъ меня продержалъ три мѣсяца въ деревнѣ.

Утѣшительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Гловъ. А такъ хороша... будь она не сестра, ну, ужь я бы ей не спустилъ.

Утѣшительный. Браво, браво, гусаръ! Сейчасъ видно гусара! Ну, послушай, а помогъ бы ты мнѣ, если бы я захотѣлъ ее увезти?

Гловъ. Почему-жъ? помогъ бы.

Утѣшительный. Браво, гусаръ! Вотъ оно, что называется настоящій гусаръ, чортъ побери! Человѣкъ, шампанскаго! Вотъ это мой рѣшительно вкусъ: этакихъ открытыхъ людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохневъ. Дай же и мнѣ обнять его. (*Обнимаетъ его*).

Ихаревъ. Пусть же и я обниму его. (*Обнимаетъ*).

Кругель. Ну, такъ и я-жъ обниму его, если такъ. (*Обнимаетъ*).

(*Алексѣй несетъ бутылку, придерживая пальцемъ пробку, которая хлопаетъ и летитъ въ потолокъ; наливаетъ бокалы*).

Утѣшительный. Господа, за здравіе будущаго гусарскаго юнкера! Пусть онъ будетъ первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словомъ, пусть его будетъ, что хочетъ!

Всѣ. Пусть его будетъ, что хочетъ! (*Пьютъ*).

Гловъ. За здравіе всего гусарства! (*Подымая бокалъ*).

Всѣ. За здравіе всего гусарства! (*Пьютъ*).

Утѣшительный. Господа! нужно его теперь же посвятить во всѣ гусарскіе обычаи. Пьетъ онъ, какъ видно, уже сносно; но вѣдь это вздоръ: нужно, чтобы онъ былъ картежникъ во всей силѣ! Играешь въ банкъ?

Гловъ. Игралъ бы, смерть бы хотѣлось, да денегъ нѣтъ.

Утѣшительный. Экой вздоръ: нѣтъ денегъ! Было бы только съ чѣмъ сѣсть, а тамъ деньги будутъ, сейчасъ выиграешь.

Гловъ. Да вѣдь и сѣсть-то не съ чѣмъ.

Утѣшительный. Да мы тебѣ повѣримъ въ долгъ. Вѣдь у тебя есть довѣренность на полученіе денегъ изъ Приказа. Мы подождемъ; а какъ тебѣ выдадутъ, ты намъ тотчасъ и заплатишь; а до того времени ты можешь намъ дать вексель. Да, впрочемъ, что я говорю? Какъ будто ты ужъ непремѣнно проиграешь! Ты можешь тутъ же выиграть нѣсколько тысячъ чистоганомъ.

Гловъ. А какъ проиграю?

Утѣшительный. Стыдись! что-жъ ты за гусаръ послѣ этого? Натурально, одно изъ двухъ: либо выиграешь, либо проиграешь. Да въ этомъ-то и дѣло, въ рискѣ-то и есть главная добродѣтель. А не рискнуть, пожалуй, всякій можетъ; навѣрняка и приказная строка отважится, и жидъ полѣзетъ на крѣпость.

Гловъ (*махнувъ рукой*). Чортъ побери! если такъ, играю! Что мнѣ смотрѣть на отца!

Утѣшительный. Браво, юнкеръ! Человѣкъ, карты! (*Наливаетъ ему въ стаканъ*). Главное что нужно?—Нужна отвага, ударъ, сила... Такъ и быть, господа, я вамъ сдѣлаю банчикъ въ двадцать пять тысячъ. (*Мечетъ направо и налѣво*). Ну, гусаръ... Ты, Швох-

невъ, что ставишь? (*Мечетъ*). Какое странное теченіе картъ! Вотъ любопытно для вычисленій! Валетъ убитъ, девятка взята. Что тамъ, что у тебя? И четверка взяла! А гусаръ, гусаръ-то, каковъ гусаръ? Замѣчаешь, Ихаревъ, какъ ужъ онъ мастерски возвышаетъ ставки? А тузъ все еще не выходитъ. Что-жъ ты, Швохневъ, не наливаешь ему? Вона, вона, вонъ тузъ! Вонъ ужъ Кругель потащилъ себѣ. Нѣмцу всегда везетъ! Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусаръ! Слышишь, Швохневъ? гусаръ уже около пяти тысячъ въ выигрышѣ.

Г л о в ъ (*перегибаетъ карту*). Чортъ побери! Пароле пе! да вонъ еще девятка на столѣ, идетъ и она, и пятьсотъ рублей мазу!

У т ѣ ш и т е л ь н ы й (*продолжая метать*). У, молодецъ гусаръ! Семерка... уби... ахъ, нѣтъ! пліе, чортъ побери, пліе! опять пліе! А, проигралъ гусаръ. Ну, что-жъ, братъ, дѣлать? Не у всякаго жена Марья, кому Богъ далъ. Кругель, да полно тебѣ разсчитывать! ну, ставь эту, которую выдернулъ. Браво, выигралъ гусаръ! Что-жъ вы не поздравляете его? (*Всѣ пьютъ и поздравляютъ его, чокаясь стаканами*). Говорятъ, пиковая дама всегда продастъ, а я не скажу этого... Помнишь, Швохневъ, свою брюнетку, что называлъ ты пиковой дамой? Гдѣ-то она теперь, сердечная? Чай, пустилась во всѣ тяжкія! Кругель, твоя убита! (*Ихареву*) и твоя убита! Швохневъ, твоя также убита; гусаръ также лопнулъ.

Г л о в ъ. Чортъ побери, ва-банкъ!

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Браво, гусаръ! Вотъ она, наконецъ, настоящая гусарская замашка! Замѣчаешь, Швохневъ, какъ настоящее чувство выходитъ наружу? До сихъ поръ все еще въ немъ было видно, что будетъ гусаръ; а теперь видно, что онъ ужъ теперь гусаръ. Вона натура-то какъ того... Убитъ гусаръ.

Г л о в ъ. Ва-банкъ!

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. У, браво, гусаръ! на всѣ пятьдесятъ тысячъ! Вотъ оно, что называется великодушіе! Ну, поди-ка, поищи —гдѣ отыщешь этакую черту?.. Это именно подвигъ! Лопнулъ гусаръ.

Г л о в ъ. Ва-банкъ, чортъ побери, ва-банкъ!

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Ого, го, гусаръ! на сто тысячъ! Каковъ, а? А глазки-то, глазки? Замѣчаешь, Швохневъ, какъ у него глазки горятъ? Барклай-де-Тольевское что-то видно. Вотъ онъ героизмъ! А короля все нѣтъ. Вотъ тебѣ, Швохневъ, бубновая дама! На, нѣмецъ, возьми, съѣшь семерку! Руте, рѣшительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, въ колодѣ нѣтъ: право даже странно. А! вотъ онъ, вотъ онъ... Лопнулъ гусаръ!

Г л о в ъ (*горячась*). Ва-банкъ, чортъ побери, ва-банкъ.

У т ѣ ш и т е л ь н ы й. Нѣтъ, братъ, стой! Ты ужъ просадилъ двѣсти тысячъ. Прежде заплати, безъ этого нельзя начинать новой игры: мы такъ много не можемъ тебѣ вѣрить.

Г л о в ъ. Да гдѣ-жъ у меня? у меня теперь нѣтъ.

Утѣшительный. Да, намъ вексель, подпишись.

Гловъ. Извольте, я готовъ. (*Беретъ перо*).

Утѣшительный. Да и довѣренность на полученіе денегъ тоже отдай намъ.

Гловъ. Вотъ вамъ и довѣренность.

Утѣшительный. Теперь подпиши вотъ это, да вотъ это. (*Даютъ ему подписаться*).

Гловъ. Извольте, я готовъ все сдѣлать. Ну, вотъ я и подписалъ. Ну, давайте-жъ играть!

Утѣшительный. Нѣтъ, братъ, постой; покажи-ка прежде деньги!

Гловъ. Да я вамъ заплачу, ужъ будьте увѣрены.

Утѣшительный. Нѣтъ, братъ, деньги на столъ!

Гловъ. Да что-жъ это?.. Вѣдь это. просто, подлость.

Кругель. Нѣтъ, это не подлость.

Ихаревъ. Нѣтъ, это совсѣмъ другое дѣло; шансы, братъ, не равны.

Швохневъ. Этакъ ты, пожалуй, сядешь съ тѣмъ, чтобы обыграть насъ. Дѣло извѣстное: кто садится безъ денегъ, тотъ садится съ тѣмъ, чтобы обыграть навѣрное.

Гловъ. Ну, что-жъ? чего вы хотите? назначьте какіе угодно проценты, я на все готовъ. Я вдвое заплачу вамъ.

Утѣшительный. Что, братъ, намъ съ твоихъ процентовъ? Мы сами готовы тебѣ заплатить какіе угодно проценты, дай только намъ взаймы.

Гловъ (*отчаянно и рѣшительно*). Ну, такъ скажите послѣднее слово: не хотите играть?

Швохневъ. Принеси деньги, сейчасъ станемъ играть.

Гловъ (*вынимая изъ кармана пистолетъ*). Ну, такъ прощайте же, господа! Больше вы меня не встрѣтите на этомъ свѣтѣ. (*Убѣгаетъ съ пистолетомъ*).

Утѣшительный (*въ испугѣ*). Ты! ты! что ты? съ ума сошелъ! Побѣжать за нимъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтобъ еще какъ-нибудь не застрѣлился! (*Убѣгаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ XVII.

Швохневъ, Кругель, Ихаревъ.

Ихаревъ. Еще выйдетъ исторія, если этотъ чортъ вздумаетъ застрѣлиться.

Швохневъ. Чортъ его возьми, пусть себѣ стрѣляется, да не теперь только: еще деньги не въ нашихъ рукахъ. Вотъ бѣда!

Кругель. Я всего боюсь. Это такъ возможно...

ЯВЛЕНІЕ XVIII.

Тѣ же, Утѣшительный и Гловъ.

Утѣшительный (*держа Глова за руку съ пистолетомъ*). Что ты, что ты, братъ, рехнулся? Слышите, слышите, господа, ужъ пистолетъ вздумалъ было всунуть въ ротъ, а? Стыдись!

Всѣ (*приступая къ нему*). Что ты! что ты! Помилуй, что ты!

Швохневъ. А еще и умный человѣкъ, изъ дряни вздумалъ стрѣляться!

Ихаревъ. Этакъ пожалуй вся Россія должна застрѣлиться: всякій или проигрался, или намѣренъ проиграться. Да если бы этого не было, такъ какъ же можно выиграть, ты посуди только самъ.

Утѣшительный. Ты дуракъ просто, позволь тебѣ сказать. Ты счастья своего не видишь. Развѣ ты не чувствуешь, какъ ты выигралъ тѣмъ, что проигралъ?

Гловъ (*съ досадой*). Что-жъ вы въ самомъ дѣлѣ меня ужъ за дурака считаете? Какой тутъ выигрышъ—проиграть двѣсти тысячъ, чортъ возьми!

Утѣшительный. Эхъ, ты простофиля! Да знаешь ли, какую ты этимъ себѣ славу сдѣлаешь въ полку? Слышь, бездѣлица! Еще не будучи юнкеромъ, да ужъ проигралъ двѣсти тысячъ! Да тебя гусары на рукахъ будутъ носить.

Гловъ (*ободрившись*). Что-жъ вы думаете? У меня развѣ не станетъ духу наплевать на все это, если ужъ на то пошло? Чортъ побери, да здравствуетъ гусарство!

Утѣшительный. Браво! Да здравствуютъ гусары! Теремтете! Шампанскаго! (*Несутъ бутылки*).

Гловъ (*со стакаиомъ*). Да здравствуютъ гусары!

Ихаревъ. Да здравствуютъ гусары, чортъ побери!

Швохневъ. Теремтете! Да здравствуютъ гусары!

Гловъ. На все плюю, когда такъ!.. (*Ставитъ на столъ стаканъ*). Вотъ бѣда только: домой какъ пріѣду? Отецъ, отецъ!.. (*Хватаетъ себя за волосы*).

Утѣшительный. Да зачѣмъ тебѣ ѣхать къ отцу? не нужно!

Гловъ (*вытаращивъ глаза*). Какъ?

Утѣшительный. Ты отсюда—прямо въ полкъ! Мы тебѣ дадимъ на обмундировку. Нужно, братъ Швохневъ, дать ему теперь рублей двѣсти, пусть его погуляетъ юнкеръ! Тамъ, я ужъ замѣтилъ, у него есть одна... Черномазая-то, а?

Гловъ. Чортъ побери, побѣгу прямо къ ней, возьму приступомъ!

Утѣшительный. Какоеъ гусаръ, а? Швохневъ, нѣтъ у тебя двухсотрублевой?

Ихаревъ. Да вотъ ужъ я ему дамъ, пусть его погуляетъ на славу!

Гловъ (*беретъ ассигнацію и помахивая ею на воздухѣ*). Шампанскаго!

Всѣ. Шампанскаго! (*Несутъ бутылки*).

Гловъ. Да здравствуютъ гусары!

Утѣшительный. Да здравствуютъ!.. Знаешь ли, Швохневъ, что мнѣ пришло на умъ? Покачаемъ его на рукахъ, такъ, какъ у насъ качали въ полку! Ну, приступай, бери его! (*Всѣ приступаютъ къ нему, схватываютъ его за руки и ноги, качаютъ, припѣвая на извѣстный припѣвъ извѣстную пѣсню*):

Мы тебя любимъ сердечно,
Будь ты начальникъ нашъ вѣчно!
Наши зажегъ ты сердца,
Мы въ тебѣ видимъ отца!

Гловъ (*съ поднятой рюмкой*). Ура!

Всѣ. Ура! (*Становятъ его на землю. Гловъ хлопнулъ рюмку объ полъ, всѣ разбиваютъ тоже свои рюмки, кто о каблукъ своего сапога, кто о полъ*).

Гловъ. Иду прямо къ ней!

Утѣшительный. А намъ нельзя за тобой, а?

Гловъ. Ни, никому! А кто сколько-нибудь... раздѣлка на сабляхъ!

Утѣшительный. А, рубака какой! а? Ревнивъ и задоренъ, какъ чортъ. Я думаю, господа, что изъ него просто выйдетъ Бурцовъ, іора, забіяка. Ну, прощай, прощай, гусаръ! Не держимъ тебя.

Гловъ. Прощайте.

Швохневъ. Да приходи намъ послѣ разсказать. (*Гловъ уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XIX.

Тѣ же, кромѣ Гловa.

Утѣшительный. Нужно его покамѣстъ ласкать, пока еще деньги не въ нашихъ рукахъ; а тамъ чортъ съ нимъ!

Швохневъ. Одного боюсь я, чтобъ какъ-нибудь не затянулась въ Приказѣ выдача денегъ.

Утѣшительный. Да, это будетъ скверно; а впрочемъ... вѣдь на это, сами знаете, есть понукатели. Какъ ни ворочай, а все-таки придется всунуть въ руку тому и другому для соблюденія порядка.

ЯВЛЕНІЕ XX.

Тѣ же и чиновникъ Замухрышкинъ (*высовываетъ голову въ дверь, одѣтъ въ нѣсколько поношенномъ фракѣ*).

Замухрышкинъ. Позвольте узнать: не здѣсь ли Гловъ, Александръ Михайловичъ?

Швохневъ. Нѣтъ, онъ сейчасъ вышелъ. А что вамъ угодно?

Замухрышкинъ. Да вотъ по дѣлу ихъ насчетъ выдачи денегъ.

Утѣшительный. А вы кто?

Замухрышкинъ. Да я чиновникъ изъ Приказа.

Утѣшительный. А, милости просимъ! Прошу покорнѣйше садиться! Въ этомъ дѣлѣ мы всѣ принимаемъ живѣйшее участіе, тѣмъ болѣе, что заключили кое-какія дружелюбныя сдѣлки съ Александръ Михайловичемъ. И потому можете понять, что вотъ и отъ него, и отъ него, и отъ него (*указывая пальцами на всѣхъ*) будетъ искреннѣйшая благодарность. Дѣло въ томъ только, чтобы скорѣе, какъ можно, получить изъ Приказа деньги.

Замухрышкинъ. Да ужъ, какъ хотите, раньше двухъ недѣль никакъ нельзя.

Утѣшительный. Нѣтъ, это страшно далеко. Вѣдь вы все позабываете, что со стороны нашей благодарность...

Замухрышкинъ. Да ужъ это само собой. Все это пріемлется. Какъ это позабыть? Мы потому и говоримъ: «двѣ недѣли», а то бы, пожалуй, вы и три мѣсяца у насъ провозились. Деньги къ намъ придутъ не раньше, какъ черезъ полторы недѣли, а теперь во всемъ Приказѣ ни копѣйки. На прошлой недѣлѣ получили полтораста тысячъ, всѣ роздали—три помѣщика ожидаютъ, еще съ февраля заложили имѣніе.

Утѣшительный. Ну, это такъ для другихъ, а для насъ по дружбѣ... Нужно, чтобы мы съ вами покороче познакомились... Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, какъ васъ зовутъ? какъ? Фентефлей Перпентьичъ, что ли?

Замухрышкинъ. Псой Стахичъ-съ.

Утѣшительный. Ну, все одно почти. Ну, такъ послушайте, Псой Стахичъ! Будемъ такъ, какъ давніе пріятели. Ну, что, какъ вы? Какъ дѣлишки, какъ служба ваша?

Замухрышкинъ. Да что служба? Извѣстное дѣло—служимъ.

Утѣшительный. Ну, а доходовъ по службѣ этихъ, знаете, разныхъ... а просто, много ли берете?

Замухрышкинъ. Конечно, сами посудите, чѣмъ же и жить?

Утѣшительный. Ну, что, какъ въ Приказѣ у васъ, скажите откровенно: всѣ хапуги?

Замухрышкинъ. Ну, что! Вы ужъ, я вижу, смѣетесь! Эхъ, господа!.. Вѣдь вотъ тоже и господа сочинители все подсмѣиваются надъ тѣми, которые берутъ взятки; а какъ разсмотришь хорошенько, такъ взятки берутъ и тѣ, которые повыше насъ. Ну, да вотъ хоть и вы, господа, только развѣ что придумали названья по-

благороднѣй: пожертвованье тамъ, или тамъ, Богъ вѣдаетъ, что такое; а на дѣлѣ выходитъ—такія же взятки; тотъ же Савка, да на другихъ санкахъ.

Утѣшительный. Вотъ ужъ Псой Стахичъ и обидѣлся, какъ я вижу. Вотъ что значитъ задѣть за честь!

Замухрышкинъ. Да вѣдь честь, сами знаете, дѣло щекотливое. А сердиться тутъ не изъ чего. Я ужъ, батюшка, прожилъ свое.

Утѣшительный. Ну, полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахичъ! Ну, что-жъ, какъ вы? Какъ у васъ? Какъ поживаете? Какъ маячитесь на свѣтѣ? Есть женушка, дѣтки?

Замухрышкинъ. Слава Богу, Богъ наградилъ. Двое сыновей ужъ въ уѣздное училище ходятъ; два другихъ поменьше. Одинъ бѣгаетъ пока въ рубашонкѣ, а другой на карачкахъ ползаетъ.

Утѣшительный. Ну, а ручонками, я чай, ужъ всѣ этакъ (*показываетъ рукою, какъ будто беретъ деньги*) умѣютъ?

Замухрышкинъ. Вѣдь вотъ вы, право, какіе, господа! Вѣдь вотъ опять начали!

Утѣшительный. Ничего, ничего, Псой Стахичъ! Вѣдь это по дружбѣ. Ну, что-жъ тутъ такого? свои! Эй, дай-ка бокалъ шампанскаго Псою Стахичу! скорѣй! Мы вѣдь теперь должны быть, какъ короткіе знакомые. Вотъ мы къ вамъ соберемся тоже въ гости.

Замухрышкинъ (*принимая бокалъ*). А милости просимъ господа! Откровенно вамъ скажу, что такого чаю, какъ вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утѣшительный. Небось, даровой, отъ купца?

Замухрышкинъ. Отъ купца-съ, выписной изъ Кяхты.

Утѣшительный. Да какъ же, Псой Стахичъ? Вѣдь вы дѣлъ съ купцами не имѣете.

Замухрышкинъ (*выпивъ бокалъ и упираясь руками въ колѣни*). А вотъ какъ: купецъ здѣсь больше по причинѣ глупости своей долженъ былъ приплатиться. Помѣщикъ Фракасовъ, если изволите знать, закладываетъ имѣніе; все ужъ сдѣлано, какъ слѣдуетъ, завтра остается получить деньги. Затѣяли они заводъ какой-то въ половинѣ съ купцомъ. Ну, намъ-то, понимаете, какое дѣло знать, на заводъ ли, или на что другое нужны деньги, и съ кѣмъ онъ въ половинѣ? Это не наша часть. Да купецъ по глупости своей и проговорись въ городѣ, что онъ съ нимъ въ половинѣ и ждетъ отъ него съ часу на часъ денегъ. Мы и подослали къ нему сказать, что вотъ пришли двѣ тысячи, сейчасъ выдадутъ деньги, а не то—будешь ждать! А ужъ къ нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы и посуду, ожидаютъ только задатковъ. Купецъ видитъ, плетью обуха не перешибешь, заплатилъ двѣ тысячи, да по три фунтика чаю каждому изъ насъ. Скажутъ—взятки, да вѣдь за дѣло: не будь глупъ; кто его толкалъ, языка развѣ не могъ придержать?

Утѣшительный. Послушайте, Псой Стахичъ, ну, пожалуйста же насчетъ этого дѣльца. Мы ужъ вамъ дадимъ, а вы ужъ тамъ съ начальниками своими сдѣлайтесь, какъ слѣдуетъ. Только ради Бога, Псой Стахичъ, поскорѣе, а?

Замухрышкинъ. Да будемъ стараться. (*Вставая*). Но откровенно скажу вамъ: такъ скоро, какъ вы хотите, нельзя: предъ Богомъ, въ Приказѣ ни копѣйки денегъ. А будемъ стараться.

Утѣшительный. Ну, какъ васъ тамъ спросить?

Замухрышкинъ. Такъ и спросите: Псой Стахичъ Замухрышкинъ. Прощайте, господа! (*Идетъ къ дверямъ*).

Швохневъ. Псой Стахичъ, а Псой Стахичъ! (*оглядывается*) постарайтесь!

Утѣшительный. Псой Стахичъ, Псой Стахичъ! выручайте поскорѣе!

Замухрышкинъ (*уходя*). Да ужъ сказалъ: будемъ стараться.

Утѣшительный. Чортъ побери, какъ это долго! (*Бьетъ себя рукой по лбу*). Нѣтъ, побѣгу, побѣгу за нимъ, авось что-нибудь успѣю, не пожалѣю денегъ. Чортъ его побери! три тысячи дамъ ему своихъ. (*Убѣгаетъ*).

ЯВЛЕНІЕ XXI.

Швохневъ, Кругель, Ихаревъ.

Ихаревъ. Конечно лучше, если бы получить поскорѣе.

Швохневъ. Да ужъ намъ какъ нужно! какъ намъ нужно!

Кругель. Эхъ, если бы онъ уломалъ его какъ-нибудь!

Ихаревъ. Да что, развѣ ваши дѣла...

ЯВЛЕНІЕ XXII.

Тѣ же и Утѣшительный.

Утѣшительный (*входитъ съ отчаяньемъ*). Чортъ побери! раньше четырехъ дней никакъ не можетъ. Я готовъ просто лобъ расшибить себѣ объ стѣну.

Ихаревъ. Да что тебѣ такъ приспичило? Неужто четырехъ дней нельзя обождать?

Швохневъ. Въ томъ-то и штука, братъ, что для насъ это слишкомъ важно.

Утѣшительный. Обождать! Да знаешь ли, что насъ въ Нижнемъ съ часу на часъ ждутъ? Мы тебѣ не сказывали еще, а ужъ четыре дня назадъ тому мы имѣемъ извѣстіе спѣшить какъ можно скорѣе, добывши, во что бы ни стало, хоть сколько-нибудь денегъ. Купецъ привезъ на шестьсотъ тысячъ желѣза. Во вторникъ окончательная сдѣлка, и деньги получаетъ чистоганомъ; да вчера пріѣхалъ одинъ съ пенькой на полмиліона.

Ихаревъ. Ну, такъ что-жъ?

Утѣшительный. Какъ—что-жъ? Да вѣдь старики-то остались дома, а выслали вмѣсто себя сыновей.

Ихаревъ. Да будто сыновья ужъ непремѣнно станутъ играть?

Утѣшительный. Да гдѣ ты живешь, въ китайскомъ государствѣ, что ли? Не знаешь, что такое купеческіе сынки? Вѣдь купецъ какъ воспитываетъ сына?—или чтобъ онъ ничего не зналъ, или чтобы зналъ то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, онъ ужъ такъ и глядитъ: ходитъ подъ руку съ офицерами, кутитъ.—Это, братъ, для насъ самый выгодный народъ. Они, дурачье, не знаютъ, что за всякій рубль, который они выплутуютъ у насъ, они намъ платятъ тысячами. Да это счастье наше, что купецъ только и думаетъ о томъ, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чинъ.

Ихаревъ. И дѣла совершенно вѣрныя?

Утѣшительный. Какъ не вѣрныя! Ужъ насъ не увѣдомляли бы. Все почти въ нашихъ рукахъ; теперь всякая минута дорога.

Ихаревъ. Эхъ, чортъ возьми! что-жъ мы сидимъ? Господа, а вѣдь условіе-то дѣйствовать вмѣстѣ!

Утѣшительный. Да, въ этомъ наша польза. Послушай, что мнѣ пришло на умъ. Тебѣ вѣдь спѣшить пока еще не зачѣмъ. Деньги у тебя есть—восемьдесятъ тысячъ. Дай ихъ намъ, а отъ насъ возьми векселя Глова. Ты вѣрныхъ получаешь полтораста тысячъ, стало-быть, ровно вдвое, а насъ ты даже одолжишь еще, потому что деньги намъ теперь такъ нужны, что мы съ радостью готовы платить алтынъ за всякую копѣйку.

Ихаревъ. Позвольте, почему нѣтъ; чтобы доказать вамъ, что узы товарищества... (*Подходитъ къ шкатулкѣ и вынимаетъ кипу ассигнацій*). Вотъ вамъ восемьдесятъ тысячъ!

Утѣшительный. А вотъ тебѣ и векселя! Теперь я побѣгу сейчасъ за Гловымъ: нужно его привесть и все устроить по формѣ. Кругель, отнеси деньги въ мою комнату, вотъ тебѣ ключъ отъ моей шкатулки. (*Кругель уходитъ*). Эхъ, если бы такъ устроить, чтобы къ вечеру можно было ѣхать! (*Уходитъ*).

Ихаревъ. Натурально, натурально; тутъ и минуты незачѣмъ терять?

Швохневъ. А тебѣ совѣтую тоже не засиживаться. Какъ только деньги получишь, сейчасъ пріѣзжай къ намъ. Съ двумя стами тысячь, знаешь, что можно сдѣлать? Просто, ярмарку можно подорвать... Ахъ, я и позабылъ сказать Кругелю пренужное дѣло. Погоди, я сейчасъ возвращусь. (*Поспѣшно уходитъ*).

ЯВЛЕНІЕ XXIII.

Ихаревъ (*одинъ*).

Каковъ ходъ приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесятъ тысячъ, а къ вечеру уже двѣсти. А? Вѣдь это для иного вѣкъ службы, трудовъ, цѣна вѣчныхъ сидѣній, лишеній, здоровья, а тутъ въ нѣсколько часовъ, въ нѣсколько минутъ—владѣтельный принцъ! Шутка—двѣсти тысячъ! Да гдѣ теперь найдешь двѣсти тысячъ? Какое имѣніе, какая фабрика дастъ двѣсти тысячъ? Воображаю, хорошъ бы я былъ, если бы сидѣлъ въ деревнѣ, да возился со старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегоднаго дохода. А образованье-то развѣ пустая вещь? Невѣжество-то, которое пріобрѣтешь въ деревнѣ, вѣдь его ножомъ послѣ не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки съ старостой, съ мужикомъ... Да я хочу съ образованнымъ человѣкомъ поговорить! Теперь вотъ я обезпеченъ, теперь время у меня свободно. Могу заняться тѣмъ, что споспѣшествуетъ къ образованью. Захочу поѣхать въ Петербургъ—поѣду и въ Петербургъ: посмотрю театръ, монетный дворъ, пройдусь мимо дворца, по аглицкой набережной, въ Лѣтнемъ саду. Поѣду въ Москву, пообѣдаю у Яра. Могу одѣться по столичному образцу, могу стать наравнѣ съ другими, исполнить долгъ просвѣщеннаго человѣка. А что всему причина? чему обязанъ? —именно тому, что называютъ плутовствомъ. И вздоръ, вовсе не плутовство! Плутомъ можно сдѣлаться въ одну минуту, а вѣдь тутъ практика, изученье. Ну, положимъ—плутовство. Да вѣдь необходимая вещь: что-жъ можно безъ него сдѣлать? Оно нѣкоторымъ образомъ предостерегательство. Ну, не знай я, напримѣръ, всѣхъ тонкостей, не постигни всего этого, меня бы какъ разъ обманули. Вѣдь вотъ же хотѣли обмануть, да увидѣли, что дѣло съ не простымъ человѣкомъ имѣютъ, сами прибѣгнули къ моей помощи. Нѣтъ, умъ великая вещь. Въ свѣтѣ нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно съ другой точки. Этакъ прожить, какъ дуракъ проживетъ, это не штука; но прожить съ тонкостью, съ искусствомъ, обмануть всѣхъ и не быть обмануту самому—вотъ настоящая задача и цѣль!

ЯВЛЕНІЕ XXIV.

Ихаревъ и Гловъ (*вбѣгающій торопливо*).

Гловъ. Гдѣ-жъ они? Я сейчасъ былъ въ комнатѣ, тамъ пусто.
Ихаревъ. Да они сію минуту здѣсь были: на минуту вышли.
Гловъ. Какъ, вышли ужъ? И деньги у тебя взяли?
Ихаревъ. Да, мы съ ними сдѣлались, за тобою остановка.

ЯВЛЕНІЕ XXV.

Тѣ же и Алексѣй.

Алексѣй (*обращаясь къ Глову*). Изволили спрашивать, гдѣ господа?

Гловъ. Да.

Алексѣй. Да они ужъ уѣхали.

Гловъ. Какъ уѣхали?

Алексѣй. Да такъ-съ. Ужъ у нихъ съ полчаса стояла телѣжка и готовыя лошади.

Гловъ (*всплеснувъ руками*). Ну, мы надуты оба!

Ихаревъ. Что за вздоръ! Я не могу понять ни одного слова. Утѣшительный сію минуту долженъ возвратиться сюда. Вѣдь ты знаешь, что теперь долженъ весь долгъ твой заплатить мнѣ. Они перевели.

Гловъ. Какой чортъ долгъ? Получишь ты долгъ! Развѣ ты не чувствуешь, что въ дуракахъ и проведенъ, какъ пошлый пень?

Ихаревъ. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сихъ поръ въ головѣ хмель распоряжается.

Гловъ. Ну, видно, хмель у обоихъ насъ. Да проснись ты! Думаешь, я Гловъ? Я такой же Гловъ, какъ ты китайскій императоръ.

Ихаревъ (*безпокойно*). Что ты, помилуй, что за вздоръ? И отецъ твой... и...

Гловъ. Старикъ-то? Во-первыхъ, онъ и не отецъ, да и чорта ли и будутъ отъ него дѣти! А во-вторыхъ, тоже не Гловъ, а Крыницынъ, да и не Михалъ Александровичъ, а Иванъ Климычъ, изъ ихъ же компаніи.

Ихаревъ. Послушай ты! говори серьезно! этимъ не шутятъ.

Гловъ. Какія шутки! Я самъ участвовалъ и такъ же обманутъ. Мнѣ обѣщали три тысячи за труды.

Ихаревъ (*подходя къ нему, запальчиво*). Эй, не шути, говорю тебѣ! Думаешь, я ужъ дуракъ такой!.. И довѣренность, и Приказъ... и чиновникъ сейчасъ былъ изъ Приказа, Псой Стахичъ Замухрышкинъ. Ты думаешь, я не могу за нимъ сейчасъ послать?

Гловъ. Во-первыхъ, онъ и не чиновникъ изъ Приказа, а отставной штабсъ-капитанъ изъ ихъ же компаніи; да и не Замухрышкинъ, а Мурзафейкинъ, да и не Псой Стахичъ, а Флоръ Семеновичъ.

Ихаревъ (*отчаянно*). Да ты кто? чортъ ты? Говори: кто ты?

Гловъ. Да кто я? Я былъ благородный человѣкъ, поневолѣ сталъ плутомъ: меня обыграли въ пухъ, рубашки не оставили. Что-жъ мнѣ дѣлать? не умирать же съ голода! За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебѣ это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихаревъ (*въ бѣшенствѣ схватываетъ его за воротникъ*). Мошенникъ ты...

Алексѣй (*въ сторону*). Ну, дѣло-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убраться. (*Уходитъ*).

Ихаревъ (*таща его*). Пойдемъ, пойдемъ!

Гловъ. Куда, куда?

Ихаревъ (*въ изступленіи*). Куда? къ правосудью! къ правосудью!

Гловъ. Помилуй, не имѣешь никакого права.

Ихаревъ. Какъ? не имѣю права? Обворовать, украсть деньги... среди дня... мошенническимъ образомъ! Не имѣю права? Дѣйствовать плутовскими средствами! Не имѣю права! А вотъ ты у меня въ тюрьмѣ, въ Нерчинскѣ скажешь, что не имѣю права! Вотъ погоди— переловятъ всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, какъ обманывать довѣріе и честность добродушныхъ людей. Законъ! законъ! законъ призову! (*Тащитъ его*).

Гловъ. Да вѣдь законъ ты могъ бы призвать тогда, если бы самъ не дѣйствовалъ противузаконнымъ образомъ. Но вспомни: вѣдь ты соединился вмѣстѣ съ ними съ тѣмъ, чтобы обмануть и обыграть навѣрное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нѣтъ, братъ, въ томъ и штука, что ты не имѣешь никакого права жаловаться.

Ихаревъ (*въ отчаяньи бьетъ себя рукой по лбу*). Чортъ побери, въ самомъ дѣлѣ! (*Въ изнеможеніи упадаетъ на стулъ; Гловъ между тѣмъ убѣгаетъ*). Но только какой дьявольскій обманъ!

Гловъ (*выглядывая въ дверь*). Утѣшься! Вѣдь тебѣ еще съ полугоря: у тебя есть Аделаида Ивановна! (*Исчезаетъ*).

Ихаревъ (*въ ярости*). Чортъ побери Аделаиду Ивановну! (*Схватываетъ Аделаиду Ивановну и швыряетъ ею въ дверь, дамы и двойки летятъ на полъ*). Вѣдь существуютъ же, къ стыду и поношенью человѣковъ, этакіе мошенники! Но только я просто готовъ сойти съ ума—какъ это все было чертовски разыграно, какъ тонко! И отецъ, и сынъ, и чиновникъ Замухрышкинъ! и концы всѣ спрятаны! и жаловаться даже не могу! (*Схватывается со стула и въ волненіи ходитъ по комнатѣ*). Хитри послѣ этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Чортъ побери, не стоитъ, просто, ни благороднаго рвенья, ни трудовъ! Тутъ же, подъ бокомъ, отыщется плутъ, который тебя переплутуетъ! мошенникъ, который за одинъ разъ подорветъ строеніе, надъ которымъ работалъ нѣсколько лѣтъ! (*Съ досадой махнувъ рукой*). Чортъ возьми! Такая ужъ надувательная земля! Только и лѣзетъ тому счастье, кто глупъ, какъ бревно, ничего не смыслитъ, ни о чемъ не думаетъ, ничего не дѣлаетъ, а играетъ только по грошу въ бостонъ подержанными картами'

Утро дѣлового человѣка.

I.

Кабинетъ; нѣсколько шкафовъ съ книгами; на столѣ разбросаны бумаги. Иванъ Петровичъ, дѣловой человѣкъ, потягиваясь, выходитъ въ халатѣ и звонитъ. Изъ передней слышенъ голосъ: «сейчасъ!» Иванъ Петровичъ звонитъ во второй разъ—опять тотъ же голосъ: «сейчасъ!» Иванъ Петровичъ съ нетерпѣніемъ звонитъ въ третій разъ; входитъ слуга.

Иванъ Петровичъ. Что ты, оглохъ!?

Лакей. Никакъ нѣтъ.

Иванъ Петровичъ. Что-жъ ты не изволилъ являться, когда я звоню въ третій разъ?

Лакей. Какъ же прикажете: мнѣ нельзя было бросить дѣла—я сапоги чистилъ.

Иванъ Петровичъ. А Иванъ что дѣлалъ?

Лакей. Иванъ мелъ комнату, а потомъ пошелъ въ конюшню.

Иванъ Петровичъ. Подай сюда собачку! *(Лакей приноситъ собачку)*. Зюзюшка! Зюзюшка! а, Зюзюшка! Вотъ я тебѣ бумажку привяжу. *(Нацѣпляетъ ей на хвостъ бумажку)*.

(Вбѣгаетъ другой лакей). Александръ Ивановичъ!

Иванъ Петровичъ. Проси! *(Бросаетъ поспѣшно собаку и развертываетъ Сводъ Законовъ)*.

II.

Иванъ Петровичъ и Александръ Ивановичъ *(также дѣловой человѣкъ.*

Александръ Ивановичъ. Добраго утра, Иванъ Петровичъ!

Иванъ Петровичъ. Какъ здоровье ваше, Александръ Ивановичъ?

Александръ Ивановичъ. Очень благодаренъ. Не помѣшалъ ли я вамъ?

Иванъ Петровичъ. О, какъ можно! Вѣдь я всегда занятъ. Ну, что, въ которомъ часу пріѣхали домой?

Александръ Ивановичъ. Часъ шестой былъ. Я какъ поворотилъ изъ Офицерской, то спросилъ, подъѣзжая къ будочнику: «Не слыхалъ ли, братецъ, который часъ?»—«Да шестой уже», говоритъ, «пробило». Вотъ я и узналъ, что ужъ былъ шестой часъ.

Иванъ Петровичъ. Представьте, я самъ въ то же почти время! Ну, что, каковъ былъ вистецъ, хе, хе, хе?

Александръ Ивановичъ. Хе, хе, хе! Да, признаюсь, мнѣ даже во снѣ онъ мерещился.

Иванъ Петровичъ. Хе, хе, хе, хе! Я гляжу, что это значитъ, что онъ кладетъ короля? У меня вѣдь на рукахъ самъ-третей дама крестовъ, а у Лукьянова Федосѣевича, я давно вижу, что ренонсъ.

Александръ Ивановичъ. Длиннѣе всего тянулся осьмой робертъ.

Иванъ Петровичъ. Да! *(Помолчавъ)*. Я уже мигаю Лукьяну Федосѣевичу, чтобъ онъ козырялъ—нѣтъ. А вѣдь тутъ только козырни—валетъ мой пикъ и беретъ.

Александръ Ивановичъ. Позвольте, Иванъ Петровичъ, валетъ не беретъ.

Иванъ Петровичъ. Беретъ.

Александръ Ивановичъ. Не беретъ, потому что вамъ никоимъ образомъ нельзя взять въ руку.

Иванъ Петровичъ. А семерка пикъ у Лукьяна Федосѣевича—позабыли развѣ?

Александръ Ивановичъ. Да развѣ у него была пиковка? Я что-то не помню.

Иванъ Петровичъ. Конечно, у него были двѣ пики: четверка, которую онъ сбросилъ на даму, и семерка.

Александръ Ивановичъ. Только нѣтъ, позвольте, Иванъ Петровичъ, у него не могло быть больше одной пиковки.

Иванъ Петровичъ. Ахъ, Боже мой, Александръ Ивановичъ, кому вы это говорите! Двѣ пиковки! я какъ теперь помню: четверка и семерка.

Александръ Ивановичъ. Четверка была—это такъ; но семерки не было. Вѣдь онъ бы козырнулъ; согласитесь сами, вѣдь онъ бы козырнулъ?

Иванъ Петровичъ. Ей Богу, Александръ Ивановичъ, ей Богу!

Александръ Ивановичъ. Нѣтъ, Иванъ Петровичъ. Это совершенно невозможное дѣло.

Иванъ Петровичъ. Да позвольте, Александръ Ивановичъ! Вотъ лучше всего: поѣдемъ завтра къ Лукьяну Федосѣевичу. Согласны ли вы?

Александръ Ивановичъ. Хорошо.

Иванъ Петровичъ. Ну, и спросимъ у него лично, была ли на рукахъ у него семерка пикъ?

Александръ Ивановичъ. Извольте, я не прочь. Впрочемъ, если посудить, странно, что Лукьянъ Федосѣевичъ такъ дурно играетъ. Вѣдь нельзя сказать, чтобы онъ былъ безъ ума. Человѣкъ тонкій и въ обращеніи...

Иванъ Петровичъ. И прибавьте: большихъ свѣдѣній!—человѣкъ, какихъ, сказать по секрету, у насъ мало на Руси. Были ли у его высокопревосходительства?

Александръ Ивановичъ. Былъ. Я теперь только отъ него. Сегодня поутру было немножко холодненько. Вѣдь, я, какъ, думаю,вамъ извѣстно, имѣю обыкновеніе носить лосинную фуфайку: она гораздо лучше фланелевой и притомъ не горячитъ. По этому-то случаю я велѣлъ себѣ подать шубу. Пріѣзжаю къ его высокопревосходительству,—его высокопревосходительство еще спитъ. Однакожъ, я дождался. Ну, тутъ пошли разсказы о томъ и о семъ.

Иванъ Петровичъ. А про меня не было ничего говорено?

Александръ Ивановичъ. Какъ же, было и про васъ. Да еще прелюбопытный вышелъ разговоръ.

Иванъ Петровичъ *(оживляется)*. Что, что такое?

Александръ Ивановичъ. Позвольте, позвольте разсказать по порядку. Тутъ презанимательная вещь. Его высокопревосходительство, между прочимъ, спросилъ, гдѣ я бываю, что такъ давно онъ меня не видитъ? и пожелалъ узнать о вчерашней вечеринкѣ, и кто былъ. Я сказалъ: «Были, ваше высокопревосходительство, Павелъ Григорьевичъ Борщовъ, Илья Владиміровичъ Бубуницынъ». Его высокопревосходительство послѣ каждаго слова говорилъ: « гем!» Я сказалъ: «И еще былъ одинъ извѣстный вашему высокопревосходительству...»

Иванъ Петровичъ. Кто-жъ это такой?

Александръ Ивановичъ. Позвольте! что-жъ бы, вы думали, сказалъ на это его высокопревосходительство?

Иванъ Петровичъ. Не знаю.

Александръ Ивановичъ. Онъ сказалъ: «кто-жъ бы это такой?»—«Иванъ Петровичъ Барсуковъ», отвѣчалъ я. «Гемъ!» сказалъ его высокопревосходительство: «это чиновникъ и притомъ...» *(Поднимаетъ вверхъ глаза)*. Довольно хорошо у васъ потолки расписаны: на свой или хозяйскій счетъ?

Иванъ Петровичъ. Нѣтъ, вѣдь это казенная квартира.

Александръ Ивановичъ. Очень, очень не дурно: корзиночки, лира, вокругъ сухарики, бубны и барабанъ! очень, очень натурально!

Иванъ Петровичъ *(съ нетерпѣніемъ)*. Такъ что же сказалъ его высокопревосходительство?

Александръ Ивановичъ. Да, я и позабылъ. Что-жъ онъ сказалъ?..

Иванъ Петровичъ. Сказалъ «гем!» его высокопревосходительство: «это чиновникъ...»

Александръ Ивановичъ. Да, да; «это чиновникъ»... ну, «и служитъ у меня». Послѣ того разговоръ не былъ уже такъ интересенъ и начался объ обыкновенныхъ вещахъ.

Иванъ Петровичъ. А больше ничего не заговаривалъ обо мнѣ?

Александръ Ивановичъ. Нѣтъ.

Иванъ Петровичъ *(про себя)*. Ну, покамѣстъ еще не много. Господи, Боже мой! ну, что, если бы сказалъ онъ: «Такого-то Барсукова, въ уваженіе тѣхъ и тѣхъ и прочихъ заслугъ его, представляю...»

III.

Тѣ же и Шрейдеръ *(выглядываетъ въ дверь)*.

Иванъ Петровичъ. Войдите, войдите, ничего, пожалуйте сюда: что это—для доклада?

Шрейдеръ. Для подписанія. Здѣсь отношеніе въ палату и рапортъ управляющему.

Иванъ Петровичъ *(между тѣмъ читаетъ)*. «...Господину управляющему...» Это что значитъ? у васъ поля по краямъ бумаги неровны. Какъ же это? Знаете ли, что васъ можно посадить подъ арестъ?.. *(Устремляетъ на него глубокомысленный взоръ)*.

Шрейдеръ. Я говорилъ объ этомъ Ивану Ивановичу: онъ мнѣ сказалъ, что министръ не будетъ смотрѣть на эту мелочь.

Иванъ Петровичъ. Мелочь! Ивану Ивановичу хорошо такъ говорить. Я самъ то же думаю: министръ, точно, не войдетъ въ это. Ну, а вдругъ вздумается?

Шрейдеръ. Можно переписать; только будетъ поздно. Но такъ какъ изволили сами сказать, что министръ не войдетъ...

Иванъ Петровичъ. Такъ! это все правда. Я съ вами совершенно согласенъ: онъ не займется этими пустяками. Ну, а въ случаѣ такъ ему придется: дай-ка посмотрю, велико ли мѣсто оставлено для полей?

Шрейдеръ. Если такъ, я сейчасъ перепишу.

Иванъ Петровичъ. То-то «если такъ». Вѣдь я съ вами говорю и объясняюсь, потому что вы воспитывались въ университетѣ. Съ другимъ бы я не сталъ тратить словъ.

Шрейдеръ. Я осмѣлился только, потому что г. министръ...

Иванъ Петровичъ. Позвольте, позвольте! Это совершенная истина: я съ вами не спорю ни на волосъ. Такъ, министръ на это никогда не посмотритъ и не вспомнитъ даже про это. Ну, а вдругъ... Что тогда?

Шрейдеръ. Я перепишу. *(Уходитъ)*.

IV.

Иванъ Петровичъ *(пожимая плечами, оборачивается къ Александру Ивановичу)*. Все еще вѣтеръ ходитъ въ головѣ! Порядочный молодой человѣкъ, недавно изъ университета, но вотъ тутъ *(показывая на лобъ)* нѣтъ. Вы себѣ не можете представить, почтеннѣйшій Александръ Ивановичъ, сколькихъ трудовъ мнѣ стоило привесть все

это въ порядокъ; посмотрѣли бы вы, въ какомъ видѣ принялъ я нынѣшнее мѣсто! Вообразите, что ни одинъ канцелярскій не умѣлъ порядочно буквы написать. Смотришь: иной *къ* перенесетъ въ другую строку; иной въ одной строкѣ пишетъ: *сі*, а въ другой: *ятельству*. Словомъ сказать: это былъ ужасъ! столпотвореніе вавилонское! Теперь возьмите вы бумагу: красиво! хорошо! душа радуется, духъ торжествуетъ. А порядокъ?—порядокъ во всемъ.

Александръ Ивановичъ. Такъ вамъ чины, можно сказать, потомъ и кровью достались!

Иванъ Петровичъ *(вздохнувъ)*. Именно, потомъ и кровью. Что-жъ будете дѣлать, вѣдь у меня такой характеръ. Чѣмъ бы я теперь не былъ, если бы самъ доискивался? У меня бы мѣста на груди не нашлось для орденовъ. Но, что прикажете? не могу! Стороною я буду намекать часто, и экивоки подпускать, но сказать прямо, попросить чего непосредственно для себя... нѣтъ, это не мое дѣло! Другіе выигрываютъ безпрестанно... А у меня ужъ такой характеръ: до всего могу унизиться, но до подлости никогда! *(Вздохнувши)*. Мнѣ бы теперь одного только хотѣлось... если-бъ получить хоть орденокъ на шею. Не потому, чтобы это слишкомъ занимало, но единственно, чтобы видѣли только вниманіе ко мнѣ начальства. Я васъ буду просить, великодушнѣйшій Александръ Ивановичъ, этакъ, при случаѣ, натурально мимоходомъ, намекнуть его высокопревосходительству, что у Барсукова-де въ канцеляріи такой порядокъ, какой вы рѣдко гдѣ встрѣчали, или что-нибудь подобное.

Александръ Ивановичъ. Съ большимъ удовольствіемъ, если представится случай...

V.

Тѣ же и Катерина Александровна *(жена Ивана Петровича)*.

Катерина Александровна *(увидѣвъ Александра Ивановича)*. А! Александръ Ивановичъ! Боже мой, какъ давно мы не видались. Позабыли меня! Что Наталья Фоминишна?

Александръ Ивановичъ. Слава Богу, недѣлю впрочемъ назадъ было захворала.

Катерина Александровна. Э!

Александръ Ивановичъ. Въ груди подъ ложечкой сдѣлалась колика и стѣсненіе. Докторъ прописалъ очистительное и припарку изъ ромашки и нашатыря.

Катерина Александровна. Вы бы попробовали омеопатическаго средства.

Иванъ Петровичъ. Чудно право, какъ подумаешь, до чего не доходитъ просвѣщеніе. Вотъ, ты говоришь, Катерина Александровна, про омеопатію. Недавно былъ я въ представленіи. Что жъ бы вы думали? Мальчишка, росту—какъ бы вамъ сказать?—вотъ эта-

кого *(показываетъ рукою)*, лѣтъ трехъ не больше: посмотрѣли бы вы, какъ онъ пляшетъ на тончайшемъ канатѣ! Я васъ увѣряю серьезно, что духъ занимается отъ страха.

Александръ Ивановичъ. Очень хорошо поетъ Меласъ.

Иванъ Петровичъ *(значительно)*. Меласъ? О, да! съ большимъ чувствомъ.

Александръ Ивановичъ. Очень хорошо.

Иванъ Петровичъ. Замѣтили ли вы, какъ она ловко беретъ вотъ это... *(вертитъ рукою передъ глазами)*.

Александръ Ивановичъ. Именно, это она удивительно хорошо беретъ. Однако ужъ скоро два часа.

Иванъ Петровичъ. Куда же это вы, Александръ Ивановичъ?

Александръ Ивановичъ. Пора! Мнѣ нужно еще мѣста въ три заѣхать до обѣда.

Иванъ Петровичъ. Ну, такъ до свиданія. Когда-жъ увидимся? Да, я и позабылъ: вѣдь мы завтра у Лукьяна Федосѣевича?

Александръ Ивановичъ. Непремѣнно! *(Кланяется)*.

Катерина Александровна. Прощайте, Александръ Ивановичъ!

Александръ Ивановичъ *(въ лакейской, накидывая шубу)*. Не терплю я людей такого рода. Ничего не дѣлаетъ, жирѣетъ только, а прикидывается, что онъ такой, сякой, и то надѣлалъ, и то поправилъ—настоящая добродѣтель! Вишь чего захотѣлъ! ордена! И вѣдь получитъ! Получитъ, мошенникъ, получитъ! Этакіе люди всегда успѣваютъ. А я? а? вѣдь пятью годами старѣе его по службѣ, и до сихъ поръ не представленъ. Какая противная физіономія! И разнѣжился; ему совсѣмъ не хотѣлось бы, но только для того, чтобы показать вниманіе начальства. Еще просить, чтобы я замолвилъ за него! Да, нашелъ кого просить, голубчикъ! Я таки тебѣ удружу порядочно, и ты таки ордена не получишь! не получишь! не получишь! *(Подтвердительно ударяетъ нѣсколько разъ кулакомъ по ладони и уходитъ)*.

Тяжба.

Кабинетъ.

I.

Пролетовъ, секретарь *(одинъ, сидитъ въ креслахъ и поминутно икаетъ)*.

Что это у меня? точно отрыжка! Вчерашній обѣдъ засѣлъ въ горлѣ. Эти грибки да ботвиньи!.. Ѣшь, ѣшь, просто, чортъ знаетъ, чего не ѣшь! *(икаетъ)*. Вотъ оно! *(икаетъ)* еще! *(икаетъ)* еще разъ! *(икаетъ)*.

Ну, теперь въ четвертый *(икаетъ)*. Туда къ чорту, и въ четвертый! Прочитать еще «Сѣверную Пчелу», что тамъ такое? Надоѣла мнѣ эта «Сѣверная Пчела»: точь-въ-точь баба, засидѣвшаяся въ дѣвкахъ. *(Читаетъ и вскрикиваетъ)*. Крахманову награда! а? Петрушкѣ Крахманову! Вотъ какимъ былъ мальчишкой *(показываетъ рукой)*, я помѣстилъ самъ его кадетомъ въ корпусъ, а? *(Продолжаетъ читать и вскрикиваетъ, вытаращивъ глаза)*. Что это? Что это? Неужели Бурдюковъ? Да, онъ, Павелъ Петровичъ Бурдюковъ, произведенъ! А? каково! Взяточникъ, два раза былъ подъ судомъ, отецъ—воръ, обокралъ казну, гнуснѣйшій человѣкъ, какого только можно представить себѣ—каково? И вѣдь весь свѣтъ почитаетъ его за прямодушнаго человѣка! Подлецъ! Говоритъ: «дѣло Бухтелева рѣшено не такъ, сенатъ не вникнулъ»—а? Просто, подлецъ, узналъ, что на мою долю пришлось двадцать тысячъ, такъ вотъ зачѣмъ не ему! Какъ собака на сѣнѣ: ни себѣ, ни другимъ. Ну, да я знаю тебя, ступай морочь другихъ, прикидывайся передъ другими. Я слышалъ про тебя кое-что такое. Право, досадно, что заглянулъ въ газету: прочитаешь—чувствуешь тоску, гадость и—больше ничего. Эй, Андрей!

II.

Лакей *(входя)*. Чего изволите-съ?

Пролетовъ. Возьми вонъ эту газету! И къ чему, зачѣмъ ты принесъ эту газету? Дуракъ этакой! *(Андрей уноситъ газету)*. Каковъ Бурдюковъ, а? Вотъ кого, не говоря дальнихъ словъ, упряталъ бы въ Камчатку. Съ большимъ наслажденіемъ, признаюсь, нагадилъ бы ему, хоть сію минуту, да вотъ до сихъ поръ нѣтъ да и нѣтъ случая. Что прикажешь дѣлать? Разгнѣвался Богъ. А я бы тебя погладилъ, мазнулъ бы тебя по губамъ. Да ужъ и губы зато какія! какъ у вола, у каналъи!

Лакей. Бурдюковъ пріѣхалъ.

Пролетовъ. Что?

Лакей. Бурдюковъ пріѣхалъ.

Пролетовъ. Что ты вздоръ несешь!

Лакей. Такъ точно-съ.

Пролетовъ. Врешь ты, дуракъ! Бурдюковъ, Павелъ Петровичъ Бурдюковъ?

Лакей. Нѣтъ, не Павелъ Петровичъ, а другой какой-то.

Пролетовъ. Какой другой?

Лакей. Да вотъ извольте сами видѣть: онъ здѣсь.

Пролетовъ. Проси.

III.

Пролетовъ и Христоферъ Петровичъ Бурдюковъ.

Бурдюковъ. Прошу извинить за безпокойство, что наношу

вамъ. Обстоятельства и дѣла понудили оставить городишку. Пріѣхалъ просить личной помощи, заступничества!

Пролетовъ *(въ сторону)*. Это, точно, другой: а есть однакоже какое-то сходство. *(Вслухъ)*. Что прикажете? въ чемъ могу быть вамъ полезнымъ?

Бурдюковъ *(съ пожатіемъ плечъ)*. Дѣло, тяжба.

Пролетовъ. Тяжба? съ кѣмъ?

Бурдюковъ. Съ роднымъ братомъ.

Пролетовъ. Прежде позвольте узнать фамилію, а потомъ изъясните свое дѣло. Прошу покорно садиться.

Бурдюковъ. Фамилія: Бурдюковъ, Христофоръ Петровъ сынъ, а дѣло съ роднымъ братомъ, Павломъ Петровичемъ Бурдюковымъ.

Пролетовъ. Что вы? что? нѣтъ!

Бурдюковъ. Да что-жъ вы на меня уставили глаза? или думаете, я бы захотѣлъ оставлять напрасно Тамбовъ и скакать на почтовыхъ?

Пролетовъ. Господи благослови васъ за такое доброе дѣло! Позвольте съ вами покороче познакомиться. Умнѣе этого дѣла вы не могли никогда бы придумать. Вотъ разсказывай теперь, что нѣтъ великодушія, и справедливости, а это что же? Вѣдь вотъ родной братъ, узы крови, связи, а вѣдь не пощадилъ! На брата—процессъ! Позвольте васъ обнять.

Бурдюковъ. Извольте! Я самъ обниму васъ за такую готовность! *(Обнимаются)*. А прежде, признаюсь, взглянувши на вашу физіономію, никакъ нельзя было думать, чтобы вы были путный человѣкъ.

Пролетовъ. Вотъ тебѣ разъ! какъ такъ?

Бурдюковъ. Да серьезно. Позвольте спросить: вѣрно покойница матушка ваша, когда была брюхата вами, переругалась чего-нибудь?

Пролетовъ. Что за чепуху несетъ онъ?

Бурдюковъ. Нѣтъ, я вамъ скажу, вы не будьте въ претензіи, это очень часто случается. Вотъ у нашего засѣдателя вся нижняя часть лица баранья, такъ сказать, какъ будто отрѣзана и поросла шерстью, совершенно какъ у барана. А вѣдь отъ незначительнаго обстоятельства: когда покойница рожала, подойди къ окну баранъ, и нелегкая подстрекни его заблеять.

Пролетовъ. Ну, оставимъ въ покоѣ засѣдателя и барана!.. Какъ же я радъ!

Бурдюковъ. А ужъ я какъ радъ, пріобрѣтши такое покровительство! Теперь только, какъ начинаю всматриваться въ васъ, вижу, что лицо ваше какъ будто знакомо: у насъ въ карабинерномъ полку былъ поручикъ, вотъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на васъ! Пьяница

страшнѣйшій, то-есть, я вамъ скажу, что дня не проходило, чтобы у него рожа не была разбита.

Пролетовъ *(въ сторону)*. У этого уѣзднаго медвѣдя, какъ видно, нѣтъ совсѣмъ обычая держать языкъ за зубами. Вся дрянь, какая ни есть на душѣ, у него на языкѣ. *(Вслухъ)*. Времени у меня немного, пожалуйста, приступимъ же къ дѣлу.

Бурдюковъ. Позвольте, сидя не разскажешь. Это дѣло казусное! Знавали ли въ Устюжскомъ уѣздѣ помѣщицу Евдокію Малафѣевну Меринову? Не знали? Хорошо. Она доводится родной теткой мнѣ и бестіи, моему брату. У ней ближайшими наслѣдниками я да братъ—изволите видѣть: вотъ оно куда пошло! Кромѣ того, еще сестра, что вышла за генерала Повалищева; ну, о той ни слова: та и безъ того получила слѣдуемую ей часть. Позвольте: вотъ этотъ мошенникъ, братъ,—онъ на это хоть чорту въ дядьки годится,—вотъ и подъѣхалъ онъ къ ней: «Вы де, тетушка, уже прожили, слава Богу, семьдесятъ лѣтъ; гдѣ уже вамъ въ такихъ преклонныхъ лѣтахъ мѣшаться самимъ въ хозяйство: пусть, лучше, я буду приберегать и кормить». Вона! замѣчайте, замѣчайте! Переѣхалъ къ ней въ домъ, живетъ и распоряжается, какъ настоящій хозяинъ. Да вы слышите ли это?

Пролетовъ. Слышу.

Бурдюковъ. То-то! Да. Вотъ занемогаетъ тетушка, отчего—Богъ знаетъ, можетъ-быть, онъ самъ и подсунулъ ей чего-нибудь. Мнѣ даютъ ужъ знать стороною. Замѣчайте! Пріѣзжаю: въ сѣняхъ встрѣчаетъ меня эта бестія, то-есть братъ, въ слезахъ такъ весь и заливается, и растаялъ, и говоритъ: «Ну», говоритъ, «братецъ, на-вѣки мы несчастны съ тобою: благодѣтельница наша...»—«Что, отдала Богу душу?»—«Нѣтъ, при смерти». Я вхожу, и точно, тетушка лежитъ на карачкахъ и только глазами хлопаетъ. Ну, что-жъ? плакать? Не поможетъ. Вѣдь не поможетъ?

Пролетовъ. Не поможетъ.

Бурдюковъ. Ну, что-жъ? нечего дѣлать! Такъ, видно, Богу угодно! Я приступилъ поближе. «Ну», говорю, «тетушка, мы всѣ смертны, одинъ Богъ, какъ говорятъ, не сегодня, такъ завтра властенъ въ нашей жизни: такъ не угодно ли вамъ заблаговременно сдѣлать какое нибудь распоряженіе?» Что-жъ тетушка? Я вижу, не можетъ уже языкомъ поворотить, и только сказала: «э... э... э... э...» А эта шельма, что стоялъ возлѣ кровати ея, братъ, говоритъ: «Тетушка симъ изъясняетъ, что уже распорядилась». Слышите, слышите!

Пролетовъ. Какой же! Да вѣдь она развѣ сказала это?

Бурдюковъ. Кой чортъ сказала! Она сказала только: «э... э... э...» Я все подступаю: «Но позвольте же узнать, тетушка, какое же это распоряженіе?» Что-жъ тетушка? Тетушка опять отвѣчаетъ: «э, э, э»... А тотъ подлецъ опять: «тетушка говоритъ, что все распоряженіе по этой части находится въ духовномъ завѣщаніи». Слышите!

слышите! Что-жъ мнѣ было дѣлать? Я замолчалъ и не сказалъ ни слова.

Пролетовъ. Однакожъ позвольте: какъ же вы не уличили тутъ же ихъ во лжи?

Бурдюковъ. Что-жъ? *(Размахиваетъ руками)*. Стали божиться, что она точно все это говорила—ну, вѣдь... и повѣрилъ.

Пролетовъ. А духовное завѣщаніе распечатали?

Бурдюковъ. Распечатали.

Пролетовъ. Что-жъ?

Бурдюковъ. А вотъ что. Какъ только все это, какъ слѣдуетъ, христіанскимъ долгомъ было отправлено, я и говорю, что не пора ли прочесть волю умершей. Братъ ничего и говорить не можетъ: страданья, отчаянья такія, что люли только! «Возьмите», говоритъ, «чи»-тайте сами». Собрались свидѣтели и прочитали. Какъ же бы вы думали было написано завѣщаніе? А вотъ какъ: «Племяннику моему, Павлу Петрову сыну Бурдюкову»,—слушайте!—«въ возмездіе его сыновнихъ попеченій и неотлучнаго себя при мнѣ обрѣтенія до смерти»,—замѣчайте!—«оставляю во владѣніе родовое и благопріобрѣтенное имѣніе мое въ Устюжскомъ уѣздѣ,»—вона! вона! вона куда пошло!—«пятьсотъ ревижскихъ душъ, угодья и прочее». А? слышите ли вы это? «Племянницѣ моей Маріи Петровой дочери Повалищевой, урожденной Бурдюковой, оставляю слѣдуемую ей деревню изъ ста душъ». «Племяннику».—вона! замѣчайте! вотъ тутъ настоящій типунъ!—«Хрисанфію сыну Петрову Бурдюкову»,—слушайте, слушайте!—«на память обо мнѣ», ого! го! «завѣщаю: три стаметовыя юбки и всю рухлядь, находящуюся въ амбарѣ, какъ-то: пуховика два, посуду фаянсовую, простыни, чепцы», и тамъ чортъ знаетъ еще какое тряпье! А? какъ вамъ кажется? Я спрашиваю: на кой чортъ мнѣ стаметовыя юбки?

Пролетовъ. Ахъ, онъ мошенникъ этакой! Прошу покорно.

Бурдюковъ. Мошенничество—это такъ, я съ вами согласенъ; но, спрашиваю я васъ, на что мнѣ стаметовыя юбки? Что я съ ними буду дѣлать? развѣ себѣ на голову надѣну?

Пролетовъ. И свидѣтели подписались при этомъ?

Бурдюковъ. Какъ же! набралъ какой-то сволочи.

Пролетовъ. А покойница собственноручно подписалась?

Бурдюковъ. Вотъ то-то и есть, что подписалась, да чортъ знаетъ какъ.

Пролетовъ. Какъ?

Бурдюковъ. А вотъ какъ: покойницу звали Евдокія, а она нацарапала такую дрянь, что разобрать нельзя.

Пролетовъ. Какъ такъ?

Бурдюковъ. Чортъ знаетъ, что такое! Ей нужно было написать Евдокія, а она написала: «обмокни».

Пролетовъ. Что вы!

Бурдюковъ. О, я вамъ скажу, что онъ гораздъ на все. «А племяннику моему Хрисанфію Петрову три стаметовыя юбки».

Пролетовъ *(въ сторону)*. Молодецъ, однакожъ, Павелъ Петровичъ Бурдюковъ: я бы никакъ не могъ думать, чтобы онъ ухитрился такъ.

Бурдюковъ *(размахивая руками)*. «Обмокни!» Что-жъ это значитъ? Вѣдь это не имя: «обмокни?»

Пролетовъ. Какъ же вы намѣрены поступить теперь?

Бурдюковъ. Я подалъ уже прошеніе объ уничтоженіи завѣщанія, потому что подпись ложная. Пусть они не врутъ: покойницу звали Евдокіей, а не «обмокни».

Пролетовъ. И хорошо! Позвольте теперь мнѣ за все это взяться. Я сейчасъ напишу записку къ одному знакомому секретарю, а вы между тѣмъ достаньте мнѣ копію съ завѣщанія вашего.

Бурдюковъ. Несказанно обязанъ вамъ! *(Беретъся за шапку)*. А въ которыя двери нужно выходить—въ тѣ, или въ эти?

Пролетовъ. Пожалуйте въ эти.

Бурдюковъ. То-то! Я потому спросилъ, что мнѣ нужно еще будетъ по своей надобности. До свиданія, почтеннѣйшій... какъ васъ? я все позабываю.

Пролетовъ. Александръ Ивановичъ.

Бурдюковъ. Александръ Ивановичъ! Александръ Ивановичъ есть Прольдюковскій, вы не знакомы съ нимъ?

Пролетовъ. Нѣтъ.

Бурдюковъ. Онъ еще живетъ въ пяти верстахъ отъ моей деревни. Прощайте!

Пролетовъ. Прощайте, почтеннѣйшій, прощайте!..

IV.

Пролетовъ, потомъ слуга.

Пролетовъ. Вотъ неожиданный кладъ! вотъ подарокъ! Просто Богъ на шапку послалъ. Странно сказать, а по душѣ чувствуешь такое какое-то этакое неизъяснимое удовольствіе, какъ будто или жена въ первый разъ сына родила, или министръ поцѣловалъ тебя, при всѣхъ чиновникахъ, въ полномъ присутствіи. Ей Богу, этакое магнетическое какое-то! Эй Андрей! *(Андрей входитъ)*. Ступай сейчасъ къ моему секретарю и проси его сюда. Слышишь!? Да постой: вотъ тебѣ на водку, напейся пьянъ, какъ стелька—для сегодняшняго дня я тебѣ позволяю; а вотъ еще сыну на пряники. Да скажи секретарю, чтобы—сейчасъ: самонужнѣйшее дѣло. А, наконецъ-таки, насилу! и на нашу улицу пришло веселье! Постой же, теперь я сяду играть, да и посмотримъ, какъ ты будешь подплясывать! А ужъ коли изъ своихъ пріятелей-чиновниковъ наберу оркестръ музыкантовъ, такъ ты у меня такъ запляшешь, что во всю жизнь не отдохнутъ у тебя бока.

Лакейская.

I.

Театръ представляетъ переднюю. Направо дверь на лѣстницу, налѣво—въ залъ. На заднемъ занавѣсѣ дверь, нѣсколько сбоку, въ кабинетъ. До самыхъ дверей во всю стѣну длинная скамья. Петръ, Иванъ и Григорій сидятъ на ней и спятъ, уткнувши головы одинъ другому въ плечо. Въ дверяхъ съ лѣстницы звенитъ громкій звонокъ. Лакеи пробуждаются.

Григорій. Ступай, отвори дверь! звонятъ.

Петръ. Да ты что сидишь? На ногахъ у тебя пузыри, что ли? встать не можешь?

Иванъ *(махнувъ рукой)*. Ну, ужъ я пойду, такъ и быть, отворю! *(Отворяя дверь, вскрикиваетъ)*. Это Андрюшка!

Чужой слуга *входитъ въ картузѣ, въ шинели и съ узелкомъ въ рукѣ.*

Григорій. А, московская ворона! откуда тебя принесло?

Чужой слуга. Ахъ, ты, чухонскій сычъ! Побѣгалъ бы ты съ мое. Вонъ *(подымая узелокъ)* къ цвѣточницѣ велѣла снесть, что на Петербургской. Небось, четвертака на извозчика не дастъ. Да и къ вашему тожъ. Что, спитъ?

Григорій. Кто? Медвѣдь? Нѣтъ, еще не рычалъ изъ берлоги.

Петръ. Правда ли, что барыня ваша даетъ вамъ чулки штопать? *(Всѣ смѣются)*.

Григорій. Ну, ужъ ты, братъ, будь теперь штопальница. Ужъ мы такъ и звать тебя будемъ.

Чужой лакей. Врешь, а вотъ же и не штопалъ никогда.

Петръ. Да вѣдь у васъ извѣстно: дворовый человѣкъ до обѣда поваръ, а послѣ обѣда ужъ онъ кучеръ, или лакей, или башмаки шьетъ.

Чужой лакей. Ну, такъ что-жъ? ремесло другому не помѣшаетъ. Не сидѣть же безъ дѣла. Конечно, я и лакей, да и женскій портной вмѣстѣ. И на барыню шью, и на другихъ тоже—копѣйку добываю. А вы что, вѣдь вотъ ничего-жъ не дѣлаете.

Григорій. Нѣтъ, братъ, у хорошаго барина лакея не займутъ работой: на то есть мастеровой. Вонъ у графа Булкина тридцать, братъ, человѣкъ слугъ однихъ. И ужъ тамъ, братъ, нельзя такъ: «Эй, Петрушка, сходи-ка туды!» «Нѣтъ, молъ», скажетъ, «это не мое дѣло; извольтесъ приказать Ивану». Вотъ оно какъ! Вотъ оно что значитъ, если баринъ хочетъ жить, какъ баринъ. А вонъ ваша пиголица изъ Москвы пріѣхала, коляска-то орѣхъ раскушенный, веревками хвосты лошадямъ позавязаны. *(Смѣются)*.

Чужой лакей. Ну, ты, смѣхунъ, смѣхунъ! Что-жъ изъ этого, что лежишь весь день? вѣдь за то-жъ ни копѣйки за душой у тебя нѣтъ.

Григорій. Да на что-жъ мнѣ твоя копѣйка? А баринъ-то зачѣмъ? Вѣдь жалованье-то ужъ онъ мнѣ выдастъ, хоть я работай или не работай. А копить мнѣ на старость зачѣмъ? Что-жъ за баринъ, коли ужъ пенсіона слугѣ не выдастъ за службу?

Чужой лакей. Что, говорятъ, ребята балъ затѣяли?

Петръ. Да. А ты будешь?

Чужой лакей. Да вѣдь что-жъ этотъ балъ! только, чай, слава, что балъ.

Григорій. Нѣтъ, братъ, балъ будетъ на всю руку. По цѣлковому жертвуютъ и больше. Княжой поваръ далъ пять рублей и самъ берется столъ готовить. Угощенье будетъ—не то, что орѣхи! ужъ полпуда конфектъ купили, мороженаго тоже... *(Слышенъ тоненькій звонокъ изъ барскаго кабинета.*

Чужой лакей. Ступай, звонитъ баринъ.

Григорій. Подождетъ. Лиминацію тоже зажгутъ. Музыку торговали, только не сошлись, баса нѣтъ, а то ужъ было... *(Слышенъ звонокъ изъ кабинета громче прежняго).*

Чужой лакей. Ступай, ступай! звонитъ.

Григорій. Подождетъ! Ну, ты сколько даешь?

Чужой лакей. Да вѣдь что-жъ этотъ балъ? вѣдь это все такъ.

Григорій. Ну, развязывай мошну, ты, штопальница! Вонъ, смотри, Петрушка, на него, какой онъ... *(Тыкаетъ на него пальцемъ. Въ это время отворяется дверь и баринъ, въ халатѣ, протянувши руку, схватываетъ Григорія за ухо; всѣ подымаются со своихъ мѣстъ).*

II.

Баринъ. Что вы, бездѣльники? Три человѣка, и хоть бы одинъ поднялся съ своего мѣста! Я звоню, что есть мочи, чуть тесьмы не оборвалъ.

Григорій. Да ничего не было слышно, сударь!

Баринъ. Врешь!

Григорій. Ей Богу! Что-жъ мнѣ лгать? Вотъ Петрушка тоже сидѣлъ. Ужъ это такой колокольчикъ, сударь, никуды не годится: никогда ничего не слыхать. Нужно будетъ слесаря позвать.

Баринъ. Ну, такъ позвать слесаря.

Григорій. Да я ужъ сказывалъ дворецкому. Да вѣдь что-жъ? ему говоришь, а вѣдь онъ еще и выбранитъ за это.

Баринъ *(увидя чужого лакея)*. Это что за человѣкъ?

Григорій. Это-съ человѣкъ отъ Анны Петровны, зачѣмъ-то пришелъ къ вамъ.

Баринъ. Что скажешь, братъ?

Чужой лакей. Барыня приказала кланяться и доложить, что будутъ сегодня къ вамъ.

Баринъ. Зачѣмъ, не знаешь?

Чужой лакей. Не могу знать. Онѣ только сказали: «Скажи Федору Федоровичу, что я приказала кланяться и буду къ нимъ».

Баринъ. Да когда, въ которомъ часу?

Чужой лакей. Не могу знать, въ которомъ часу. Онѣ сказали только, что доложи, де, говоритъ, Федору Федоровичу, что я, говоритъ, къ нимъ сама, де, буду у нихъ-съ...

Баринъ. Хорошо. Петрушка, дай мнѣ поскорѣй одѣться: я иду со двора. А вы—не принимать никого! Слышишь, всѣмъ говорить, что меня нѣтъ дома! *(Уходитъ, за нимъ Петрушка).*

III.

Чужой лакей *(Григорію)*. Ну, видишь, вѣдь вотъ и досталось.

Григорій *(махнувъ рукой)*. А! ужъ служба такая! какъ ни старайся—все выбранятъ. *(Въ дверяхъ, что у лѣстницы, раздается звонокъ).*

Григорій. Вотъ опять какой-то чортъ лѣзетъ *(Ивану)*. Ступай, отворяй, что-жъ ты зѣваешь? *(Иванъ отворяетъ дверь; входитъ господинъ въ шубѣ).*

IV.

Господинъ въ шубѣ. Федоръ Федоровичъ дома?

Григорій. Никакъ нѣтъ.

Господинъ. Досадно. Не знаешь, куда уѣхалъ?

Григорій. Неизвѣстно. Должно-быть, въ департаментъ. А какъ объ васъ доложить?

Господинъ. Скажи, что былъ Нѣвелещагинъ. Очень, молъ, жалѣлъ, что не засталъ дома. Слышишь? не позабудешь? Невѣлещагинъ.

Григорій. Лентягинъ-съ?

Господинъ *(вразумительнѣе)*. Нѣвелещагинъ.

Григорій. Да вы нѣмецъ?

Господинъ. Какой нѣмецъ! просто, русскій: Нѣ-ве-ле-щагинъ.

Григорій. Слышь, Иванъ , не позабудь: Ердащагинъ! *(Господинъ уходитъ).*

V.

Чужой лакей. Прощайте, братцы! Пора ужъ и мнѣ.

Григорій. Да что-жъ на балъ будешь, что ли?

Чужой лакей. Ну, да ужъ тамъ посмотрю послѣ. Прощай, Иванъ!

Иванъ. Прощай! *(Идетъ отворять дверь).*

VI.

Горничная дѣвушка *бѣжитъ бѣгомъ черезъ лакейскую.*

Григорій. Куды, куды? Удостойте взглядомъ! *(Хватаетъ ее за полу платья).*

Дѣвушка. Нельзя, нельзя, Григорій Павловичъ! Не держите меня, совсѣмъ-съ некогда! *(Вырывается и убѣгаетъ въ дверь на лѣстницу).*

Григорій *(смотря вслѣдъ ей).* Вонъ она, какъ поплелась! *(Смѣется).* Хе, хе, хе!

Иванъ *(смѣется).* Хи, хи, хи! *(Выходитъ баринъ; Григорій и Иванъ вдругъ насупливаютъ рожи и становятся серьезны. Григорій снимаетъ съ вѣшалки шубу и накидываетъ барину на плечи; баринъ уходитъ; Григорій стоитъ среди комнаты, чистя пальцемъ въ носу).*

Григорій. Вѣдь вотъ свободное время: баринъ ушелъ, чего бы, кажется, лучше,—нѣтъ, сейчасъ привалитъ этотъ чортъ, брюхачъ-дворецкій.

За сценой слышенъ крикъ дворецкаго: Вѣдь вотъ точно Божеское наказаніе: десять человѣкъ въ домѣ, и хоть бы одинъ что-нибудь прибралъ.

Григорій. Вотъ ужь пошелъ кричать, толсто брюхій.

VII.

Пузатый дворецкій *(входитъ съ сильными движеньями и размахами рукъ).*

Побоялись бы хоть совѣсти своей, коли Бога не боитесь. Вѣдь ковры до сихъ поръ не выколочены. Вы бы, Григорій Павловичъ, примѣръ другимъ должны бы дать, а вы спите ровно отъ утра до вечера, вѣдь глаза-то у васъ совсѣмъ заплыли отъ сна, ей Богу! Вѣдь вы совсѣмъ подлецъ послѣ этого, Григорій Павловичъ!

Григорій. Да что-жъ, нешто я не человѣкъ, что ужъ и заснуть нельзя?

Дворецкій. Да кто-жъ противъ этого и слово говоритъ? Почему-же не заснуть? но вѣдь не весь же день спать. Ну, вотъ хоть бы и ты, Петръ Ивановичъ! вѣдь ты, не говоря дурного слова, на свинью похожъ, ей Богу! Вѣдь что тебѣ заботы! всего два-три какихъ-нибудь подсвѣчника вычистить. Ну, зачѣмъ ты тутъ баишься? *(Петръ медленно уходитъ).* А тебѣ, Ванька, просто толчка въ затылокъ слѣдуетъ.

Григорій *(уходя).* Эхъ ты, житье, житье! вставши, да за вытье!

Дворецкій *(оставшись одинъ).* Въ томъ-то и есть поведенье, что всякій человѣкъ долженъ знать долгъ. Коли слуга, такъ слуга; дворянинъ, такъ дворянинъ; архіерей, такъ архіерей. А то бы, пожалуй, всякій зачалъ... Я бы сейчасъ сказалъ: «Нѣтъ, я не дворецкій,

а губернаторъ, или тамъ какой-нибудь отъ инфантеріи». Да вѣдь зато мнѣ всякій бы сказалъ: «Нѣтъ, врешь, ты дворецкій, а не генералъ»—вотъ что! «Твоя обязанность смотрѣть за домомъ, за поведеньемъ слугъ» —вотъ что! «Тебѣ не то, что бонъ журъ, команъ ву франсе, а веди порядокъ, распоряженье»—вотъ что! Да.

VIII.

Входитъ Аннушка, *горничная дѣвушка изъ другого дома.*

Дворецкій. А, Анна Гавриловна! Насчетъ моего почтенія съ большимъ удовольствіемъ васъ вижу.

Аннушка. Не безпокойтесь, Лаврентій Павловичъ! Я нарочно зашла къ вамъ на минуту: я встрѣтила карету барина и узнала, что его нѣтъ дома.

Дворецкій. И очень хорошо сдѣлали: я и жена будемъ очень рады. Пожалуйте, садитесь!

Аннушка *(сѣвши)*. Скажите, вѣдь вы знаете что-нибудь о балѣ, который на-дняхъ затѣвается?

Дворецкій. Какъ же. Оно, примѣрно, вотъ изволите видѣть, складчина: одинъ человѣкъ, другой, примѣрно также сказать, третій. Конечно, это впрочемъ составитъ большую сумму. Я пожертвовалъ вмѣстѣ съ женою пять рублей. Ну, натурально, балъ или, что обыкновенно говорится, вечеринка. Конечно, будетъ угощеніе, примѣрно сказать, прохладительное. Для молодыхъ людей танцы и тому прочія подобныя удовольствія.

Аннушка. Непремѣнно, непремѣнно буду! Я только зашла за тѣмъ, чтобы узнать, будете ли вы вмѣстѣ съ Агафьей Ивановной?

Дворецкій. Ужъ Агафья Ивановна только и говоритъ, что объ васъ.

Аннушка. Я боюсь только насчетъ общества.

Дворецкій. Нѣтъ, Анна Гавриловна, у насъ будетъ общество хорошее. Не могу сказать навѣрно, но слышалъ, что будетъ камердинеръ графа Толстогуба, буфетчикъ и кучера князя Брюховецкаго, горничная какой-то княгини... Я думаю, тоже чиновники нѣкоторые будутъ.

Аннушка. Одно мнѣ только очень не нравится, что будутъ кучера: отъ нихъ всегда запахъ простого табаку или водки; притомъ же всѣ они такіе необразованные, невѣжи.

Дворецкій. Позвольте вамъ доложить, Анна Гавриловна, что кучера кучерамъ рознь. Оно конечно, такъ какъ кучера, по обыкновенію больше своему, находятся неотлучно при лошадяхъ, иногда подчищаютъ, съ позволенія сказать, навозъ; конечно, человѣкъ простой, выпьетъ стаканъ водки или, по недостаточности больше, выкуритъ обыкновеннаго бакуну, какой большею частью простой народъ употребляетъ: да, такъ оно натурально, что отъ него иногда, примѣрно ска-

зать, воняетъ навозомъ или водкой,—конечно, все это такъ; да, однакожъ, согласитесь сами, Анна Гавриловна, что есть и такіе кучера, которые, хотя и кучера, однакожъ, по обыкновенію своему, больше, примѣрно сказать, конюхи, нежели кучера. Ихъ должность или, такъ выразиться, дирекція состоитъ въ томъ, чтобы отпустить овесъ или укорить въ чемъ, если провинился форейторъ или кучеръ.

Аннушка. Какъ вы хорошо говорите, Лаврентій Павловичъ! Я всегда васъ заслушиваюсь.

Дворецкій (*съ довольною улыбкою*). Не стоитъ благодарности, сударыня! Оно конечно, не всякій человѣкъ имѣетъ, примѣрно сказать, рѣчь, то-есть, даръ слова. Натурально, бываетъ иногда... что, какъ обыкновенно говорятъ, косноязычіе... да, или иные прочіе подобные случаи, что впрочемъ уже происходитъ отъ натуры... Да не угодно ли вамъ пожаловать въ мою комнату?

(*Аннушка идетъ, Лаврентій за нею*).

Отрывокъ.

Комната въ домѣ Марьи Александровны.

I.

Марья Александровна (*пожилыхъ лѣтъ дама*) и Михайло Андреевичъ (*ея сынъ*).

Марья Александровна. Слушай, Миша, я давно хотѣла съ тобой переговорить:тебѣ должно перемѣнить службу.

Миша. Пожалуй, хоть завтра же.

Марья Александровна. Ты долженъ служить въ военной.

Миша (*вытаращивъ глаза*). Въ военной?

Марья Александровна. Да.

Миша. Что вы, маменька, въ военной?

Марья Александровна. Ну, что-жъ ты такъ изумился?

Миша. Помилуйте, да развѣ вы не знаете: вѣдь нужно начинать съ юнкеровъ?

Марья Александровна. Ну, да, послужишь годъ юнкеромъ, а потомъ произведутъ въ офицеры—ужъ это мое дѣло.

Миша. Да что вы нашли во мнѣ военнаго? и фигура моя совершенно не военная. Помилуйте, матушка, право, вы меня совершенно изумили этакими словами, такъ что я... я... я, просто, не знаю, что и подумать... Я, слава Богу, и толстенекъ немножко, а какъ надѣну юнкерскій мундиръ съ короткими хвостиками—совѣстно даже будетъ смотрѣть.

Марья Александровна. Нѣтъ нужды. Произведутъ въ офицеры, будешь носить мундиръ съ длинными фалдами и совершенно

закроешь толщину свою, такъ что ничего не будетъ замѣтно. Притомъ это и лучше, что ты немножко толстъ—скорѣе пойдетъ производство: имъ же будетъ совѣстно, что у нихъ въ полку такой толстый прапорщикъ.

Миша. Но, матушка, вѣдь мнѣ годъ, всего годъ осталось до коллежскаго асессора. Я ужъ два года, какъ въ чинѣ титулярнаго совѣтника.

Марья Александровна. Перестань, перестань! Это слово «титулярный» тиранитъ мои уши; мнѣ такъ и приходитъ на умъ Богъ знаетъ что. Я хочу, чтобы сынъ мой служилъ въ гвардіи. На штафирку, просто, не могу и смотрѣть теперь.

Миша. Но посудите, матушка, разсмотрите меня хорошенько и наружность мою также: меня еще въ школѣ звали хомякомъ. Въ военной службѣ все же нужно, чтобы и на лошади лихо ѣздилъ, и голосъ бы имѣлъ звонкій, и ростъ бы имѣлъ богатырскій, и талію.

Марья Александровна. Пріобрѣтешь, все пріобрѣтешь. Я хочу, чтобъ ты непремѣнно служилъ; на это есть очень важная причина.

Миша. Да какая же причина?

Марья Александровна. Ну, ужъ причина важная.

Миша. Все-же таки скажите, какая причина.

Марья Александровна. Такая причина... я не знаю даже, поймешь ли ты хорошенько. Губомазова, эта дура, третьяго дня у Рогожинскихъ говоритъ и нарочно такъ, чтобы я слышала,—а я сижу третьею: передо мной Софи Вотрушкова, княгиня Александрина и за княгиней Александриной сейчасъ я,—что бы ты думалъ, эта негодная осмѣлилась говорить?.. Я, право, такъ и хотѣла встать съ мѣста, и если бы не княгиня Александрина, я бы, не знаю, что я сдѣлала. Говоритъ: «Я очень рада, что на придворныхъ балахъ не пускаютъ штатскихъ. Это такіе все », говоритъ, «mauvais genre, чѣмъ-то неблагороднымъ отъ нихъ отзывается. Я рада», говоритъ, «что мой Алексисъ не носитъ этого скверная фрака».—И все это произнесла съ такимъ жеманствомъ, съ такимъ тономъ... такъ право... я не знаю, что бы я сдѣлала съ нею. А ея сынъ просто дуракъ набитый: только всего и умѣетъ, что подымать ногу. Такая противная мерзавка!

Миша. Какъ, матушка, такъ въ этомъ вся причина?

Марья Александровна. Да, я хочу на зло, чтобы мой сынъ тоже служилъ въ гвардіи и былъ бы на всѣхъ придворныхъ балахъ.

Миша. Помилуйте, матушка, изъ того только, что она дура...

Марья Александровна. Нѣтъ, ужъ я рѣшилась. Пусть-ка она себѣ треснетъ съ досады, пусть побѣсится.

Миша. Однакожъ...

Марья Александровна. О, я ей покажу! Ужъ какъ она

хочетъ, я употреблю всѣ старанья, и мой сынъ будетъ тоже въ гвардіи. Ужъ хоть чрезъ это и потеряетъ, а ужъ непремѣнно будетъ. Чтобы я позволила всякой мерзавкѣ дуться предо мною и подымать и безъ того курносый носъ свой! Нѣтъ, ужъ вотъ этого-то никогда не будетъ! Ужъ какъ вы себѣ хотите, Наталья Андреевна!

Миша. Да развѣ этимъ вы ей досадите?

Марья Александровна. О, ужъ этого-то не позволю!

Миша. Если вы этого требуете, маменька, я перейду въ военную; только, право, мнѣ самому будетъ смѣшно, когда увижу себя въ мундирѣ.

Марья Александровна. Ужъ, по крайней мѣрѣ, гораздо благороднѣе этого фрачишки. Теперь второе: я хочу женить тебя.

Миша. За однимъ разомъ и перемѣнить службу, и женить?

Марья Александровна. Что-жъ? Какъ будто нельзя и перемѣнить службу, и жениться?

Миша. Да вѣдь я и намѣренья еще не имѣлъ. Я еще не хочу жениться.

Марья Александровна. Захочешь, если только узнаешь, на комъ. Этой женитьбой доставишь ты себѣ счастье и въ службѣ, и въ семейственной жизни. Словомъ, я хочу женить тебя на княжнѣ Шлепохвостовой.

Миша. Да, вѣдь она, матушка, дура первоклассная.

Марья Александровна. Вовсе не первоклассная, а такая же, какъ и всѣ другія. Прекрасная дѣвушка, вотъ только что памяти нѣтъ: иной разъ забывается, скажетъ невпопадъ; но это отъ разсѣянности, а ужъ зато вовсе не сплетница и никогда ничего дурного не выдумаетъ.

Миша. Помилуйте, куда ей сплетничать! Она насилу слово можетъ связать, да и то такое, что только руки разставишь, какъ услышишь. Вы знаете сами, матушка, что женитьба дѣло сердечное, нужно, чтобы душа....

Марья Александровна. Ну, такъ! Я вотъ какъ будто предчувствовала. Послушай, перестань либеральничать. Тебѣ это не пристало, я тебѣ двадцать разъ уже говорила. Другому еще это идетъ какъ-то, а тебѣ совсѣмъ нейдетъ.

Миша. Ахъ, маменька, но когда и въ чемъ я былъ не послушенъ вамъ? Мнѣ ужъ скоро тридцать лѣтъ, а между тѣмъ я, какъ дитя, покоренъ вамъ во всемъ. Вы мнѣ велите ѣхать туда, куда бы мнѣ смерть не хотѣлось ѣхать,—и я ѣду, не показывая даже и вида, что мнѣ это тяжело. Вы мнѣ приказываете потереться въ передней такого-то—и я трусь въ передней такого-то, хоть мнѣ это вовсе не по сердцу. Вы мнѣ велите танцовать на балахъ— и я танцую, хоть всѣ надо мною смѣются и надъ моей фигурой. Вы, наконецъ, велите мнѣ перемѣнить службу—и я перемѣняю службу: въ тридцать лѣтъ иду въ юнкера, въ

тридцать лѣтъ я перерождаюсь въ ребенка, въ угодность вамъ, и при всемъ томъ вы мнѣ всякій день колете глаза либеральничествомъ. Не пройдетъ минуты, чтобы вы меня не назвали либераломъ. Послушайте, матушка, это больно; клянусь вамъ, это больно! Я достоинъ за мою искреннюю любовь и привязанность къ вамъ болѣе...

Марья Александровна. Пожалуйста, не говори этого! Будто я не знаю, что ты либералъ! И знаю даже, кто тебѣ все это внушаетъ: все этотъ скверный Собачкинъ.

Миша. Нѣтъ, матушка, это уже слишкомъ, чтобы Собачкина я даже сталъ слушаться. Собачкинъ мерзавецъ, картежникъ и все, что вы хотите. Но тутъ онъ невиненъ. Я никогда не позволю ему надо мною имѣть и тѣни вліянія.

Марья Александровна. Ахъ, Боже мой, какой ужасный человѣкъ! Я испугалась, когда его узнала. Безъ правилъ, безъ добродѣтели—какой гнусный, какой гнусный человѣкъ! Если-бъ ты зналъ, что такое онъ разнесъ про меня!.. я три мѣсяца не могла никуда носа показать: что у меня подаютъ сальные огарки, что у меня по цѣлымъ недѣлямъ не вытираются въ комнатахъ ковры щеткою; что я выѣхала на гулянье въ упряжи изъ простыхъ веревокъ на извозчичьихъ хомутахъ... Я вся краснѣла, я болѣе недѣли была больна; я не знаю, какъ я могла перенести все это. Подлинно, одна вѣра въ Провидѣніе подкрѣпила меня.

Миша. И этакій человѣкъ, вы думаете, можетъ имѣть надо мною власть? И, думаете, я позволю?..

Марья Александровна. Я сказала, чтобы онъ не смѣлъ мнѣ на глаза показываться, и ты однимъ только можешь оправдать себя, когда безъ всякаго упорства сдѣлаешь княжнѣ déclaration сегодня же.

Миша. Но, матушка, а если нельзя этого сдѣлать?

Марья Александровна. Какъ нельзя? это почему?

Миша *(въ сторону)*. Ну, рѣшительная минута!.. *(Вслухъ)*. Позвольте мнѣ хотя здѣсь имѣть свой голосъ, хотя въ дѣлѣ, отъ котораго зависитъ счастіе моей будущей жизни. Вы не спросили еще меня... ну, если я влюбленъ въ другую?

Марья Александровна. Это, признаюсь, для меня новость. Объ этомъ я еще ничего не слышала. Да кто-жъ такая эта другая?

Миша. Ахъ, маменька, клянусь, никогда еще не было подобной—ангелъ, ангелъ, и лицомъ, и душою.

Марья Александровна. Да чьихъ она, кто отецъ ея?

Миша. Отецъ—Александръ Александровичъ Одосимовъ.

Марья Александровна. Одосимовъ! Фамилія неслышная! Я ничего не знаю про Одосимова... Да что онъ, богатый человѣкъ?

Миша. Рѣдкій человѣкъ! удивительный человѣкъ!

Марья Александровна. И богатый?

Миша. Какъ вамъ сказать? Нужно, чтобъ вы его видѣли. Такихъ достоинствъ души не сыщешь въ свѣтѣ.

Марья Александровна. Да что онъ, какъ? въ чемъ состоитъ его чинъ, имущество?

Миша. Я понимаю, маменька, чего вы хотите? Позвольте мнѣ на счетъ этотъ сказать откровенно мои мысли. Вѣдь теперь, какъ бы то ни было, можетъ быть, во всей Россіи нѣтъ жениха, который бы не искалъ богатой невѣсты. Всякій хочетъ поправиться на счетъ женина приданаго. Ну, пусть еще въ нѣкоторомъ отношеніи это извинительно: я понимаю, что бѣдный человѣкъ, которому не повезло по службѣ, или въ чемъ другомъ, которому, можетъ быть, излишняя честность помѣшала составить состояніе,—словомъ, чтобы то ни было, но я понимаю, что онъ въ правѣ искать богатой невѣсты, и, можетъ быть, несправедливы бы были родители, если-бъ не отдали должнаго его достоинствамъ и не выдали бы за него дочери. Но вы посудите, справедливъ ли человѣкъ богатый, который будетъ искать тоже богатыхъ невѣстъ—что-жъ будетъ тогда на свѣтѣ? Вѣдь это все равно, что сверхъ шубы да надѣть шинель, когда и безъ того жарко, когда эта шинель, можетъ быть, прикрыла бы чьи-нибудь плечи. Нѣтъ, маменька, это несправедливо! Отецъ пожертвовалъ всѣмъ имуществомъ на воспитанье дочери.

Марья Александровна. Довольно, довольно! Больше я не въ силахъ слушать. Все знаю, все: влюбился въ потаскушку, дочь какого-нибудь фурьера, которая, можетъ быть, Богъ знаетъ чѣмъ занимается.

Миша. Матушка!..

Марья Александровна. Отецъ—пьяница, мать—стряпуха, родня—кварташки или служащіе по питейной части... И я должна все это слышать, все это терпѣть, терпѣть отъ родного сына, для котораго я не щадила жизни!!.. Нѣтъ, я не переживу этого!

Миша. Но, матушка, позвольте...

Марья Александровна. Боже мой, какая теперь нравственность у молодыхъ людей! Нѣтъ, я не переживу этого; клянусь, не переживу этого... Ахъ! что это? у меня закружилась голова! *(Вскрикиваетъ)*. Ахъ, въ боку колика!.. Машка! Машка, стклянку!.. Я не знаю, проживу ли я до вечера. Жестокій сынъ!

Миша. *(бросаясь)*. Матушка, успокойтесь! Вы сами создаете для себя...

Марья Александровна. И все это надѣлалъ этотъ скверный Собачкинъ. Я не знаю, какъ не выгонятъ до сихъ поръ эту чуму.

Лакей *(въ дверяхъ)*. Собачкинъ пріѣхалъ.

Марья Александровна. Какъ! Собачкинъ? Отказать, отказать, чтобъ его и духу здѣсь не было!

II.

Тѣ же и Собачкинъ.

Собачкинъ. Марья Александровна, извините великодушно, что такъ давно не былъ. Ей Богу, никакъ не могъ! Повѣрить не можете, сколько дѣлъ; зналъ, что будете гнѣваться; право, зналъ... *(Увидя Мишу)*. Здравствуй, братъ! Какъ ты?

Марья Александровна *(въ сторону)*. У меня, просто, словъ недостаетъ! Каковъ! еще извиняется, что давно не былъ!

Собачкинъ. Какъ я радъ, что вы, судя по лицу, такъ свѣжи и здоровы! А братца вашего какъ здоровье? Я полагалъ, признаюсь, и его также застать у васъ.

Марья Александровна. Для этого вы бы могли отправиться къ нему, а не ко мнѣ.

Собачкинъ *(усмѣхаясь)*. Я пріѣхалъ разсказать вамъ одинъ преинтересный анекдотъ.

Марья Александровна. Я не охотница до анекдотовъ.

Собачкинъ. Объ Натальѣ Андреевнѣ Губомазовой.

Марья Александровна. Какъ, объ Губомазовой?.. *(Стараясь скрыть любопытство)*. Такъ это, вѣрно, недавно случилось?

Собачкинъ. На-дняхъ.

Марья Александровна. Что-жъ такое?

Собачкинъ. Знаете ли, что она сама сѣчетъ своихъ дѣвокъ?

Марья Александровна. Нѣтъ! что вы говорите? Ахъ, какой срамъ! Можно ли это?

Собачкинъ. Вотъ вамъ крестъ! Позвольте же разсказать. Одинъ разъ велитъ она виноватой дѣвушкѣ лечь, какъ слѣдуетъ, на кровать, а сама пошла въ другую комнату, не помню за чѣмъ-то, кажется, за розгами. Въ это время дѣвушка за чѣмъ-то выходитъ изъ комнаты, а на мѣсто ея приходитъ Натальи Андреевны мужъ, ложится и засыпаетъ. Является Наталья Андреевна, какъ слѣдуетъ, съ розгами, велитъ одной дѣвушкѣ сѣсть ему на ноги, накрыла простыней и высѣкла мужа.

Марья Александровна *(всплеснувъ руками)*. Ахъ, Боже мой, какой срамъ! Какъ это до сихъ поръ я ничего объ этомъ не знала? Я вамъ скажу, что я почти всегда была увѣрена, что она въ состояніи это сдѣлать.

Собачкинъ. Натурально. Я это говорилъ всему свѣту. Толкуютъ: «Примѣрная жена, сидитъ дома, занимается воспитаніемъ дѣтей, сама учитъ ихъ по-англійски!» Какое воспитанье! сѣчетъ всякій день мужа, какъ кошку!.. Какъ мнѣ жаль право, что я не могу пробыть у васъ подолѣе. *(Раскланивается)*.

Марья Александровна. Куда-жъ это вы, Андрей Кондратьевичъ? Не совѣстно ли вамъ, столько времени у меня не бывши... Я всегда привыкла васъ видѣть, какъ друга дома: останьтесь! Мнѣ хотѣлось еще съ вами переговорить кое-о-чемъ. Послушай, Миша, у меня въ комнатѣ дожидается каретникъ; пожалуйста, переговори съ нимъ. Спроси, возьмется ли онъ передѣлать карету къ первому числу. Цвѣтъ чтобы былъ голубой съ свѣтлой уборкой, на манеръ кареты Губомазовой. *(Миша уходитъ).*

Марья Александровна. Я нарочно услала сына, чтобы переговорить съ вами наединѣ. Скажите, вы вѣрно знаете: есть какой-то Александръ Александровичъ Одосимовъ.

Собачкинъ. Одосимовъ?.. Одосимовъ... Одосимовъ... Знаю, есть гдѣ-то Одосимовъ; а впрочемъ, я могу справиться.

Марья Александровна. Пожалуйста.

Собачкинъ. Помню, помню, есть Одосимовъ, столоначальникъ или начальникъ отдѣленія... точно, есть.

Марья Александровна. Вообразите, вышла одна смѣшная исторія... Вы мнѣ можете сдѣлать большое одолженіе.

Собачкинъ. Вамъ стоитъ только приказать. Для васъ я готовъ на все; вы сами это знаете.

Марья Александровна. Вотъ въ чемъ дѣло: мой сынъ влюбился или, лучше, не влюбился, а просто зашло въ голову сумасбродство... Ну, молодой человѣкъ... Словомъ, онъ бредитъ дочерью этого Одосимова.

Собачкинъ. Бредитъ? А, однакожъ, онъ мнѣ ничего объ этомъ не сказалъ. Да впрочемъ, конечно, бредитъ, если вы говорите.

Марья Александровна. Я хочу отъ васъ, Андрей Кондратьевичъ, большой услуги: вы, я знаю, нравитесь женщинамъ.

Собачкинъ. Хе, хе, хе! Да вы почему это думаете? А вѣдь, точно, вообразите: на Масляной шесть купчихъ... можетъ-быть, вы думаете, что я съ своей стороны, какъ-нибудь... волочился или что-нибудь другое... Клянусь, даже не посмотрѣлъ! Да вотъ еще лучше: вы знаете того, какъ бишь его, Ермолай, Ермолай... Ахъ, Боже, Ермолай, вотъ что жилъ на Литейной недалеко отъ Кирочной?,

Марья Александровна. Не знаю тамъ никого.

Собачкинъ. Ахъ, Боже мой, Ермолай Ивановичъ, кажется, вотъ хоть убей, позабылъ фамилію. Еще жена его, лѣтъ пять тому назадъ, попала въ исторію... Ну, да вы знаете ее—Сильфида Петровна.

Марья Александровна. Совсѣмъ нѣтъ; не знаю я никакого ни Ермолая Ивановича, ни Сильфиды Петровны.

Собачкинъ. Боже мой! онъ еще жилъ недалеко отъ Куропаткина.

Марья Александровна. Да и Куропаткина я не знаю.

Собачкинъ. Да вы послѣ припомните. Дочь—богачка

страшная, до двухсотъ тысячъ приданаго и не то, чтобы съ надуваньемъ, а еще до вѣнца ломбардный билетъ въ руки.

Марья Александровна. Что-жъ вы? не женились?

Собачкинъ. Не женился. Отецъ три дня на колѣняхъ стоялъ, упрашивалъ; и дочь не перенесла, и теперь въ монастырѣ сидитъ.

Марья Александровна. Почему-жъ вы не женились?

Собачкинъ. Да такъ какъ-то. Думаю себѣ: отецъ— откупщикъ, родня—что ни попало. Повѣрьте, самому, право, было потомъ жалко. Чортъ побери, право, какъ устроенъ свѣтъ: все условія, да приличія. Сколькихъ людей уже погубили!

Марья Александровна. Ну, да что же вамъ смотрѣть на свѣтъ? *(Въ сторону)*. Прошу покорно! Теперь всякая чуть вылѣзшая козявка ужъ думаетъ, что онъ аристократъ. Вотъ всего какой-нибудь титулярный, а послушай-ка, какъ говоритъ.

Собачкинъ. Ну, да нельзя, Марья Александровна, право нельзя, все какъ-то... Ну, понимаете... станутъ говорить: «Ну, вотъ женился чортъ знаетъ на комъ...» Да со мной, впрочемъ, всегда такія исторіи. Иной разъ, право, совсѣмъ не виноватъ, съ своей стороны рѣшительно ничего... ну, что ты прикажешь дѣлать? *(Говоритъ тихо)*. Вѣдь вотъ по вскрытіи Невы всегда находятъ двухъ, трехъ утонувшихъ женщинъ,—я ужъ только молчу, потому что въ такую еще впутаешься исторію... Да, любятъ; а вѣдь за что бы, кажется? лицомъ нельзя сказать, чтобы очень...

Марья Александровна. Полно, будто вы сами не знаете, что вы хороши.

Собачкинъ *(усмѣхается)*. А вѣдь вообразите, что еще какъ былъ мальчишкой, ни одна бывало не пройдетъ безъ того, чтобы не ударить пальцемъ подъ подбородокъ и не сказать: «Плутишка, какъ хорошъ!»

Марья Александровна *(въ сторону)*. Прошу покорно! Вѣдь вотъ насчетъ красоты тоже—вѣдь моська совершенная, а воображаетъ, что хорошъ. *(Вслухъ)*. Ну, такъ послушайте же, Андрей Кондратьевичъ, съ вашею наружностью можно это сдѣлать. Мой сынъ влюбленъ до дурачества и воображаетъ, что она совершенная доброта и невинность. Нельзя ли какъ-нибудь, знаете, представить ее не въ томъ видѣ, какъ-нибудь этакъ, что называется, немножко замарать... Если вы, положимъ, не произведете на нее дѣйствія и она не сойдетъ съ ума отъ васъ...

Собачкинъ. Марья Александровна, сойдетъ! Не спорьте, сойдетъ: я голову дамъ отрубить, если не сойдетъ. Я вамъ скажу, Марья Александровна, со мной не такія бывали исторіи... Вотъ еще на-дняхъ...

Марья Александровна. Ну, какъ бы то ни было, сой-

детъ, или не сойдетъ, только нужно, чтобы по городу разнеслись слухи, что вы съ нею въ связи... и чтобы это дошло до моего сына.

Собачкинъ. До вашего сына?

Марья Александровна. Да, до моего сына.

Собачкинъ. Да.

Марья Александровна. Что—да?

Собачкинъ. Ничего, я такъ сказалъ: *да.*

Марья Александровна. Развѣ вы находите, что это для васъ трудно?

Собачкинъ. О, нѣтъ, ничего! Но всѣ эти влюбленные... вы не повѣрите, какія у нихъ несообразности, неумѣстныя ребячества разныя: то пистолеты, то... чортъ знаетъ что такое... Конечно, я не то, чтобы этимъ какъ-нибудь... но, знаете, неприлично въ хорошемъ обществѣ.

Марья Александровна. О! насчетъ этого будьте покойны. Положитесь на меня, я не допущу его до этого.

Собачкинъ. Впрочемъ, я такъ только замѣтилъ. Повѣрьте, Марья Александровна, я для васъ, если бы пришлось точно порисковать гдѣ жизнью, то съ удовольствіемъ, ей Богу, съ удовольствіемъ... Я такъ васъ люблю, что, признаться сказать, даже совѣстно; вы подумать можете, Богъ знаетъ что, а это именно одно только глубочайшее уваженіе. Ахъ, вотъ хорошо, что вспомнилъ! Я попрошу васъ, Марья Александровна, одолжить мнѣ на самое короткое время тысячонки двѣ. Чортъ его знаетъ, какая дурацкая память! Одѣваясь, все думалъ, какъ бы не позабыть книжку, нарочно положилъ на столъ передъ глазами. Что прикажете, все взялъ, табакерку взялъ, платокъ даже лишній взялъ, а книжка осталась на столѣ.

Марья Александровна *(въ сторону)*. Что съ нимъ дѣлать? Дашь—замотаетъ, а не дашь—распуститъ по городу такую чепуху, что мнѣ никуда нельзя будетъ носа показать. И мнѣ нравится, что еще говоритъ: позабылъ книжку! Книжка-то у тебя есть, я знаю, да пуста. А нечего дѣлать, нужно дать. *(Вслухъ)*. Извольте, Андрей Кондратьевичъ! обождите только здѣсь, я вамъ ихъ сейчасъ принесу.

Собачкинъ. Очень хорошо, я посижу здѣсь.

Марья Александровна *(уходя, въ сторону)*. Безъ денегъ ничего, мерзавецъ,не можетъ сдѣлать.

Собачкинъ *(одинъ)*. Да, эти двѣ тысячи теперь мнѣ и очень пригодятся. Долговъ-то я отдавать не буду: и сапожникъ подождетъ, и портной подождетъ, и Анна Ивановна тоже подождетъ; конечно, раскричится, ну, да что-жъ дѣлать? нельзя же деньги сорить на все, съ нея довольно и любви моей, а платье, она вретъ, у нея есть. А я сдѣлаю вотъ какъ: скоро будетъ гулянье; колясчонка моя хоть и новая, ну, да ее всякій уже видѣлъ и знаетъ, а есть, говорятъ, у Іохима только-что отдѣланная, послѣдней моды, еще онъ даже никому не по-

казываетъ ее. Если прибавлю эти двѣ тысячи къ моей коляскѣ, такъ я могу ее и весьма вымѣнять. Такъ, я, знаете, какого задамъ тогда эффекту! Можетъ-быть, на всемъ гуляньи всего и будетъ только одна или двѣ такія коляски. Такъ обо мнѣ вездѣ заговорятъ. А между тѣмъ нужно подумать о порученіи Марьи Александровны. Мнѣ кажется, благоразумнѣе всего начать съ любовныхъ писемъ. Написать письмо отъ имени этой дѣвушки, да и выронить какъ-нибудь нечаянно при немъ или позабыть на столѣ въ его комнатѣ. Конечно, можетъ выйти какъ-нибудь плохо. Да впрочемъ что-жъ? надаетъ вѣдь только тузановъ? Тузаны, конечно, больно, да все же вѣдь не до такой же степени, чтобы... Да вѣдь я могу и удрать, и если что—въ спальню Марьи Александровны, и прямо подъ кровать, и пусть ка онъ оттуда меня вытащитъ! Но, главное, какъ написать письмо? Смерть не люблю писать, то-есть, просто хоть зарѣжь. Чортъ его знаетъ, такъ, кажется, на словахъ все бы славно изъяснилъ, а примешься за перо—просто, какъ будто бы кто-нибудь оплеуху далъ: конфузія, конфузія, не подымается рука, да и полно. Развѣ вотъ что: у меня есть кое-какія письма, еще недавно ко мнѣ писанныя—выбрать, которое получше, подскоблить фамилію, а на мѣсто ея написать другую. Что-жъ, чѣмъ это не хорошо? право! Пошарить въ карманѣ, можетъ-быть, тутъ же посчастливится найти именно такое, какъ нужно. *(Вынимаетъ изъ кармана пучокъ писемъ)*. Ну, хоть бы это напримѣръ *(читаетъ)*. «Я очинь слава Богу здарова но за немогаю отъ болѣ. Али вы душенька совсѣмъ позабыли. Иванъ Даниловичъ виделъ васъ душинька въ тіатрѣ и то пришли бы успокоили веселостями разговора». Чортъ возьми! кажется, правописанія нѣтъ. Нѣтъ, этимъ, я думаю, не надуешь. *(Продолжаетъ)*. «Я для васъ душинька вышила подвязку». Ну, и разносилась съ нѣжностями! Что-то буколическаго много, Шатобріаномъ пахнетъ. А вотъ, можетъ-быть, не будетъ ли здѣсь чего-нибудь? *(Развертываетъ другое и прищуриваетъ глазъ, стараясь разобрать)*. «Лю-без-ный другъ!» Нѣтъ, это, однакожъ, не любезный другъ; что же однакожъ? «Нѣжнѣйшій, дражайшій?» Нѣтъ, и не дражайшій, нѣтъ, нѣтъ. *(Читаетъ)*. «Ме, ме, е... рзавецъ». Хм! *(Сжимаетъ губы)*. «Если ты, коварный обольститель моей невинности, не отдашь задолженныя мною въ мелочную лавочку деньги, которыя я по неопытности сердечной для тебя, скверная рожа *(Послѣднее слово читаетъ почти сквозь зубы)*... то я тебя въ полицію». Чортъ знаетъ что! Вотъ ужъ, просто, чортъ знаетъ что!» Вотъ, ужъ именно ничего нѣтъ въ этомъ письмѣ. Конечно, обо всемъ можно сказать, но можно сказать благопристойно, выраженіями такими, которыя бы не оскорбляли человѣка. Нѣтъ, нѣтъ, всѣ эти письма, я вижу, какъ-то не то... совсѣмъ не годятся. Нужно поискать чего-нибудь сильнаго, чтобы виденъ кипятокъ,—кипятокъ, что называютъ. А вотъ, вотъ, посмотримъ это. *(Читаетъ)*. «Жестокій тиранъ души моей!» А, это что-то хорошее однакожъ. «Тронь-

ся сердечной моей участью!» И преблагородно! ей Богу, преблагородно. Вѣдь вотъ видно воспитаніе! Ужъ по началу видно, кто какъ себя поведетъ. Вотъ, какъ нужно писать! Чувствительно, а между тѣмъ и человѣкъ не оскорбленъ. Вотъ это письмо я ему и подсуну. Далѣе ужъ и читать не нужно; только не знаю, какъ бы выскоблить такъ, чтобы не было замѣтно. *(Смотритъ на подпись)*. Э, э! вотъ хорошо, даже имени не выставлено! Прекрасно! это и подписать. Каково обдѣлалось дѣльцо само собою! А вѣдь, говорятъ, наружность вздоръ: ну, не будь смазливъ, не влюбились бы въ тебя, а не влюбившись, не написали бы писемъ, а не имѣя писемъ, не знали бы, какъ взяться за это дѣло. *(Подходя къ зеркалу)*. Еще сегодня какъ-то опустился, а то вѣдь иной разъ, точно, даже что-то значительное въ лицѣ... Жаль только, что зубы скверные, а то бы совсѣмъ былъ похожъ на Багратіона. Вотъ не знаю, какъ запустить бакенбарды: такъ ли, чтобы рѣшительно вокругъ было бахромкой, какъ говорятъ—сукномъ обшитъ, или выбрить все гольемъ, а подъ губой завести что-нибудь, а?

Театральный разъѣздъ

послѣ

представленія новой комедіи.

(сѣни театра. съ одной стороны видны лѣстницы, ведущія въ ложи и галлереи; посрединѣ входъ въ кресла и амфитеатръ, съ другой стороны—выходъ. смышенъ отдаленный гулъ рукоплесканій).

Авторъ пьесы *) *(выходя)*. Я вырвался, какъ изъ омута! Вотъ наконецъ и крики, и рукоплесканья! Весь театръ гремитъ!.. Вотъ и слава! Боже, какъ бы забилось назадъ тому лѣтъ семь, восемь мое сердце! какъ бы встрепенулось все во мнѣ! Но это было давно. Я былъ тогда молодъ, дерзномысленъ, какъ юноша. Благъ Промыслъ, не давшій вкусить мнѣ раннихъ восторговъ и хвалъ! Теперь... Но разумный холодъ лѣтъ умудритъ хоть кого. Узнаешь наконецъ, что рукоплесканья еще не много значатъ и готовы служить всему наградой: актеръ ли постигнетъ всю тайну души и сердца человѣка, танцоръ ли добьется умѣнья выводить вензеля ногами, фокусникъ ли —всѣмъ имъ гремитъ рукоплесканье! Голова ли думаетъ, сердце ли чувствуетъ, звучитъ ли глубина души, работаютъ ли ноги, или руки перевертываютъ стаканы—все покрывается разными плесками. Нѣтъ, не рукоплесканій я бы теперь желалъ: я бы желалъ теперь вдругъ пересе-

---

*) Само собою разумѣется, что авторъ пьесы лицо идеальное: въ немъ изображено положеніе комика въ обществѣ,—комика, избравшаго предметомъ осмѣяніе злоупотребленій въ кругу различныхъ сословій и должностей.

литься въ ложи, въ галлереи, въ кресла, въ раекъ, проникнуть всюду, услышать всѣхъ мнѣнья и впечатлѣнья, пока они еще дѣвственны и свѣжи, пока еще не покорились толкамъ и сужденьямъ знатоковъ и журналистовъ, пока каждый подъ вліяніемъ своего собственнаго суда. Мнѣ это нужно: я комикъ. Всѣ другія произведенія и роды подлежатъ суду немногихъ, одинъ комикъ подлежитъ суду всѣхъ; надъ нимъ всякій зритель уже имѣетъ право, всякаго званія человѣкъ уже становится судьей его. О, какъ бы хотѣлъ я, чтобы каждый указалъ мнѣ мои недостатки и пороки! Пусть даже посмѣется надо мной, пусть недоброжелательство правитъ устами его, пристрастье, негодованье, ненависть—все, что угодно, но пусть только произнесутся эти толки. Не можетъ безъ причины произнестись слово, и вездѣ можетъ зародиться искра правды. Тотъ, кто рѣшился указать смѣшныя стороны другимъ, тотъ долженъ разумно принять указанія слабыхъ и смѣшныхъ собственныхъ сторонъ. Попробую, останусь здѣсь въ сѣняхъ во все время разъѣзда. Нельзя, чтобы не было толковъ о новой пьесѣ: человѣкъ подъ вліяніемъ перваго впечатлѣнія всегда живъ и спѣшитъ имъ подѣлиться съ другимъ. *(Отходитъ въ сторону. Показываются нѣсколько прилично одѣтыхъ людей; одинъ говоритъ, обращаясь къ другому)*. Выйдемъ лучше теперь: играться будетъ незначительный водевиль. *(Оба уходятъ)*.

Два comme il faut, *плотнаго свойства, сходятъ съ лѣстницы.*

Первый comme il faut. Хорошо, если бы полиція не далеко отогнала мою карету. Какъ зовутъ эту молоденькую актрису, ты не знаешь?

Второй comme il faut. Нѣтъ, а очень недурна.

Первый comme il faut. Да, недурна; но все чего-то еще нѣтъ. Да, рекомендую: новый ресторанъ: вчера намъ подали свѣжій зеленый горохъ *(цѣлуетъ концы пальцевъ)*—прелесть! *(Уходятъ оба)*.

Бѣжитъ офицеръ, *другой удерживаетъ его за руку.*

Другой офицеръ. Да останемся.

Первый офицеръ. Нѣтъ, братъ, на водевиль и калачомъ не заманишь. Знаемъ мы эти пьесы, которыя даются на закуску, лакеи вмѣсто актеровъ, а женщины—уродъ на уродѣ. *(Уходятъ)*.

Свѣтскій человѣкъ, щеголевато одѣтый *(сходя съ лѣстницы)*. Плутъ портной, претѣсно сдѣлалъ мнѣ панталоны, все время было страхъ неловко сидѣть.. За это я намѣренъ еще проволочить его и годика два не заплачу долговъ. *(Уходитъ)*.

Тожесвѣтскій человѣкъ, поплотнѣе *(говоритъ съ живостью другому)*. Никогда, никогда, повѣрь мнѣ, онъ съ тобою не сядетъ играть. Меньше какъ по полтораста рублей робертъ онъ не играетъ. Я знаю это хорошо, потому что шуринъ мой, Пафнутьевъ, всякій день съ нимъ играетъ.

Авторъпьесы *(про себя)*. И все еще никто ни слова о комедіи!

Чиновникъ среднихъ лѣтъ *(выходя съ растопыренными руками)*. Это, просто, чортъ знаетъ, что такое!.. Этакое!.. этакое!.. Это ни на что не похоже. *(Ушелъ)*.

Господинъ, нѣсколько беззаботный насчетъ литературы *(обращаясь къ другому)*. Вѣдь это, однакожъ, кажется, переводъ?

Другой. Помилуй, что за переводъ! Дѣйствіе происходитъ въ Россіи, наши обычаи и чины даже.

Господинъ беззаботный насчетъ литературы. Я помню, однакожъ, было что-то на французскомъ, не совсѣмъ въ этомъ родѣ. *(Оба уходятъ)*.

Одинъ изъ двухъ зрителей, *тоже выходящихъ вонъ*. Теперь еще ничего нельзя знать. Погоди, что скажутъ въ журналахъ, тогда и узнаешь.

Двѣ бекеши *(одна другой)*. Ну, какъ вы? Я бы желалъ знать ваше мнѣніе о комедіи.

Другая бекеша *(дѣлая значительныя движенія губами)*. Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... въ своемъ родѣ... Ну, конечно, кто-жъ противъ этого и стоитъ, чтобы опять не было и... гдѣ-жъ, такъ сказать... а впрочемъ... *(Утвердительно сжимая губами)* Да, да! *(Уходятъ)*.

Авторъ *(про себя)*. Ну, эти пока еще не много сказали. Толки однакоже будутъ: я вижу, впереди горячо размахиваютъ руками.

Два офицера.

Одинъ. Я еще никогда такъ не смѣялся.

Другой. Я полагаю: отличная комедія.

Первый. Ну, нѣтъ, посмотримъ еще, что скажутъ въ журналахъ: нужно подвергнуть суду критики... Смотри, смотри! *(Толкаетъ его подъ руку)*.

Второй. Что?

Первый *(указывая пальцемъ на одного изъ двухъ идущихъ съ лѣстницы)*. Литераторъ!

Второй *(торопливо)*. Который?

Первый. Вотъ этотъ. Чш! послушаемъ, что будутъ говорить.

Второй. А другой кто съ нимъ?

Первый. Не знаю; неизвѣстно, какой человѣкъ. *(Оба офицера посторанваются и даютъ имъ мѣсто)*.

Неизвѣстно какой человѣкъ. Я не могу судить относительно литературнаго достоинства: но мнѣ кажется, есть остроумныя замѣтки. Остро, остро.

Литераторъ. Помилуйте, что-жъ тутъ остроумнаго? Что за низкій народъ выведенъ, что за тонъ? Шутки самыя плоскія; просто, даже сально!

Неизвѣстно какой человѣкъ. А, это другое дѣло. Я и говорю: въ отношеніи литературнаго достоинства я не могу судить; я только замѣтилъ, что пьеса смѣшна, доставила удовольствіе.

Литераторъ. Да и не смѣшна. Помилуйте, что-жъ тутъ смѣшного и въ чемъ удовольствіе? Сюжетъ невѣроятнѣйшій. Все несообразности; ни завязки, ни дѣйствія, ни соображенія никакого.

Неизвѣстно какой человѣкъ. Ну, да противъ этого я и не говорю ничего. Въ литературномъ отношеніи такъ, въ литературномъ отношеніи она смѣшна; но въ отношеніи, такъ сказать, со стороны въ ней есть...

Литераторъ. Да что же есть? Помилуйте, и этого даже нѣтъ! Ну, что за разговорный языкъ? Кто говоритъ этакъ въ высшемъ обществѣ? Ну, скажите сами, ну, говоримъ ли мы съ вами этакъ?

Неизвѣстно какой человѣкъ. Это правда; это вы очень тонко замѣтили. Именно, я вотъ самъ про это думалъ: въ разговорѣ благородства нѣтъ. Всѣ лица, кажется, какъ будто не могутъ скрыть низкой природы своей—это правда.

Литераторъ. Ну, а вы еще хвалите!

Неизвѣстно какой человѣкъ. Кто-жъ хвалитъ? я не хвалю. Я самъ теперь вижу, что пьеса—вздоръ. Но, вѣдь, вдругъ нельзя же этого узнать, я не могу судить въ литературномъ отношеніи. *(Оба уходятъ).*

Еще литераторъ *(входитъ въ сопровожденіи слушателей, которымъ говоритъ, размахивая руками).* Повѣрьте мнѣ, я знаю это дѣло: отвратительная пьеса! грязная, грязная пьеса! Нѣтъ ни одного лица истиннаго, все—карикатуры! Въ натурѣ нѣтъ этого; повѣрьте мнѣ, нѣтъ, я лучше это знаю: я самъ литераторъ. Говорятъ: живость, наблюденіе... да вѣдь это все вздоръ, это все пріятели, пріятели хвалятъ, все пріятели! Я ужъ слышалъ, что его чуть не въ Фонвизины суютъ, а пьеса, просто, недостойна даже быть названа комедіею. Фарсъ, фарсъ, да и фарсъ самый неудачный. Послѣдняя пустѣйшая комедійка Коцебу въ сравненіи съ нею—Монбланъ передъ Пулковскою горою. Я это имъ всѣмъ докажу, докажу математически, какъ дважды два. Просто, друзья и пріятели захватили его не въ мѣру, такъ вотъ онъ ужъ теперь, чай, думаетъ о себѣ, что онъ чуть-чуть не Шекспиръ. У насъ всегда пріятели захвалятъ. Вотъ, напримѣръ, и Пушкинъ. Отчего вся Россія теперь говоритъ о немъ?—Все пріятели: кричали, кричали, а потомъ вслѣдъ за ними и вся Россія стала кричать. *(Уходитъ вмѣстѣ съ слушателями).*

Оба офицера *(подаются впередъ и занимаютъ ихъ мѣста).*

Первый. Это справедливо, это совершенно справедливо: именно фарсъ; я это и прежде говорилъ, глупый фарсъ, поддержанный пріятелями. Признаюсь, на многое даже отвратительно было смотрѣть.

Второй. Да вѣдь ты-жъ говорилъ, что еще никогда такъ не смѣялся?

Первый. А это опять другое дѣло. Ты не понимаешь, тебѣ нужно растолковать. Тутъ что въ этой пьесѣ? Во-первыхъ, завязки никакой, дѣйствія тоже нѣтъ, соображенья рѣшительно никакого; все невѣроятности и притомъ все карикатуры.

Двое другихъ офицеровъ *позади.*

Одинъ (*другому*). Кто это разсуждаетъ? Кажется, изъ вашихъ?

Другой, *заглянувъ сбоку въ лицо разсуждавшаго, махнулъ рукой.*

Первый. Что? глупъ?

Второй. Нѣтъ, не то, чтобы. У него есть умъ, но сейчасъ по выходѣ журнала, а запоздала выходомъ книжка—и въ головѣ ничего.— Но, однакожъ, пойдемъ. (*Уходятъ*).

Два любителя искусствъ.

Первый. Я вовсе не изъ числа тѣхъ, которые прибѣгаютъ только къ словамъ: грязная, отвратительная, дурного тона и тому подобное. Это уже доказанное почти дѣло, что такія слова большею частью исходятъ изъ устъ тѣхъ, которые сами очень сомнительнаго тона, толкуютъ о гостиныхъ, и допускаются только въ переднія. Но не объ нихъ рѣчь. Я говорю насчетъ того, что въ пьесѣ, точно, нѣтъ завязки.

Второй. Да, если принимать завязку въ томъ смыслѣ, какъ ее обыкновенно принимаютъ, то-есть въ смыслѣ любовной интриги, такъ ея, точно, нѣтъ. Но, кажется, уже пора перестать опираться до сихъ поръ на эту вѣчную завязку. Стоитъ вглядѣться пристально вокругъ. Все измѣнилось давно въ свѣтѣ. Теперь сильнѣй завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы ни стало, другого, отмстить за пренебреженье, за насмѣшку. Не болѣе ли теперь имѣютъ электричества чинъ, денежный капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?

Первый. Все это хорошо; но и въ этомъ отношеніи все-таки я не вижу въ пьесѣ завязки.

Второй. Я не буду теперь утверждать, есть ли въ пьесѣ завязка, или нѣтъ. Я скажу только, что вообще ищутъ частной завязки и не хотятъ видѣть общей. Люди простодушно привыкли уже къ этимъ безпрестаннымъ любовникамъ, безъ женитьбы которыхъ никакъ не можетъ окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка?— точный узелокъ на уголкѣ платка. Нѣтъ, комедія должна вязаться сама собою, всей своей массою, въ одинъ большой общій узелъ. Завязка должна обнимать всѣ лица, а не одно или два,—коснуться того, что волнуетъ, болѣе или менѣе, всѣхъ дѣйствующихъ. Тутъ всякій герой; теченіе и ходъ пьесы производятъ потрясеніе всей машины: ни одно колесо не должно оставаться, какъ ржавое и не входящее въ дѣло.

Первый. Но всѣ не могутъ же быть героями; одинъ или два должны управлять другими.

Второй. Совсѣмъ не управлять, а развѣ преобладать. И въ машинѣ одни колеса замѣтнѣй и сильнѣй движутся, ихъ можно только назвать главными; но правитъ пьесою идея, мысль: безъ нея нѣтъ въ ней единства. А завязать можетъ все: самый ужасъ, страхъ ожиданія, гроза идущаго вдали закона...

Первый. Но это выходитъ ужъ придавать комедіи какое-то значеніе болѣе всеобщее.

Второй. Да развѣ не есть это ея прямое и настоящее значеніе? Уже въ самомъ началѣ комедія была общественнымъ, народнымъ созданіемъ. По крайней мѣрѣ, такою показалъ ее самъ отецъ ея, Аристофанъ. Послѣ уже она вошла въ узкое ущелье частной завязки, внесла любовный ходъ, одну и ту же непремѣнную завязку. Зато какъ слаба эта завязка у самыхъ лучшихъ комиковъ! какъ ничтожны эти театральные любовники съ ихъ картонной любовью!

Третій *(подходя и ударивъ его слегка по плечу)*. Ты не правъ: любовь такъ же, какъ и другія чувства, можетъ тоже войти въ комедію.

Второй. Я и не говорю, чтобы она не могла войти. Но только и любовь, и всѣ другія чувства, болѣе возвышенныя, тогда только произведутъ высокое впечатлѣніе, когда будутъ развиты во всей глубинѣ. Занявшись ими, неминуемо должно пожертвовать всѣмъ прочимъ. Все то, что составляетъ именно сторону комедіи, тогда уже поблѣднѣетъ, и значеніе комедіи общественной непремѣнно исчезнетъ.

Третій. Стало-быть, предметомъ комедіи должно быть непремѣнно низкое? Комедія выйдетъ уже низкій родъ.

Второй. Для того, кто будетъ глядѣть на слова, а не вникать въ смыслъ, это такъ. Но развѣ положительное и отрицательное не можетъ послужить той же цѣли? Развѣ комедія и трагедія не могутъ выразить ту же высокую мысль? Развѣ всѣ, до малѣйшей, излучины души подлаго и безчестнаго человѣка не рисуютъ уже образъ честнаго человѣка? Развѣ все это накопленіе низостей, отступленій отъ законовъ и справедливости, не даетъ уже ясно знать, чего требуютъ отъ насъ законъ, долгъ и справедливость? Въ рукахъ искуснаго врача и холодная и горячая вода лѣчитъ съ равнымъ успѣхомъ однѣ и тѣ же болѣзни: въ рукахъ таланта все можетъ служить орудіемъ къ прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному.

Четвертый *(подходя)*. Что можетъ послужить прекрасному и о чемъ у васъ толки?

Первый. Споръ завязался у насъ о комедіи. Мы всѣ говоримъ о комедіи вообще, а никто еще не сказалъ ничего о новой комедіи. Что вы скажете?

Четвертый. А вотъ что скажу: виденъ талантъ, наблюденіе жизни, много смѣшного, вѣрнаго, взятаго съ натуры, но вообще во всей пьесѣ чего-то нѣтъ. Какъ-то не видишь ни завязки, ни развязки. Странно, что наши комики никакъ не могутъ обойтись безъ правительства. Безъ него у насъ не развяжется ни одна комедія.

Третій. Это правда. А впрочемъ, съ другой стороны, это очень естественно. Мы всѣ принадлежимъ правительству, всѣ почти служимъ; интересы всѣхъ насъ болѣе или менѣе соединены съ правительствомъ. Стало-быть, не мудрено, что это отражается въ созданьяхъ нашихъ писателей.

Четвертый. Такъ. Ну, и пусть эта связь будетъ слышна; но смѣшно то, что пьеса никакъ не можетъ кончиться безъ правительства. Оно непремѣнно явится, точно неизбѣжный рокъ въ трагедіяхъ у древнихъ.

Второй. Ну, видите: стало-быть, это уже что-то невольное у нашихъ комиковъ. Стало-быть, это уже составляетъ какой-то отличительный характеръ нашей комедіи. Въ груди нашей заключена какая-то тайная вѣра въ правительство. Что-жъ? тутъ нѣтъ ничего дурного: дай Богъ, чтобы правительство всегда и вездѣ слышало призванье свое—быть представителемъ Провидѣнія на землѣ, и чтобы мы вѣровали въ него,какъ древніе вѣровали въ рокъ,настигавшій преступленія.

Пятый. Здравствуйте, господа! Я только и слышу слово «правительство». Комедія возбудила крики и толки...

Второй. Поговоримте лучше объ этихъ толкахъ и крикахъ у меня, чѣмъ здѣсь, въ театральныхъ сѣняхъ. (*Уходятъ*).

Нѣсколько почтенныхъ и прилично одѣтыхъ людей *появляются одинъ за другимъ.*

№ 1.

Такъ, такъ я вижу: это вѣрно, это есть у насъ и случается въ иныхъ мѣстахъ и похуже; но для какой цѣли, къ чему выводить это?—вотъ вопросъ! Зачѣмъ эти представленія? какая польза отъ нихъ?—вотъ что разрѣшите мнѣ! Что мнѣ нужды знать, что въ такомъ-то мѣстѣ есть плуты? Я просто... я не понимаю надобности такихъ представленій. (*Уходитъ*).

№ 2.

Нѣтъ, это не осмѣяніе пороковъ; это отвратительная насмѣшка надъ Россіею—вотъ что. Это значитъ выставить въ дурномъ видѣ самое правительство, потому что выставлять дурныхъ чиновниковъ и злоупотребленія, которыя бываютъ въ разныхъ сословіяхъ, значитъ выставить самое правительство. Просто, даже не слѣдуетъ дозволять такихъ представленій. (*Уходитъ*).

Входятъ господинъ А. и господинъ Б., *люди не маловажныхъ чиновъ.*

Господинъ А. Я не насчетъ этого говорю; напротивъ, злоупотребленья намъ нужно показывать; нужно, чтобы мы видѣли свои проступки; и я ничуть не раздѣляю мнѣній многихъ, черезчуръ разгорячившихся патріотовъ; но только мнѣ кажется, что не слишкомъ ли много здѣсь чего-то печальнаго...

Господинъ Б. Я бы очень хотѣлъ, чтобы вы услыхали замѣчаніе одного очень скромно одѣтаго человѣка, который сидѣлъ возлѣ меня въ креслахъ... Ахъ, вотъ онъ самъ!

Господинъ А. Кто?

Господинъ Б. Именно этотъ очень скромно одѣтый человѣкъ. *(Обращаясь къ нему).* Мы съ вами не кончили разговора, котораго начало было такъ для меня интересно.

Очень скромно одѣтый человѣкъ. А я, признаюсь, очень радъ продолжать его. Сейчасъ только я слышалъ толки, именно: что это все неправда, что это насмѣшка надъ правительствомъ, надъ нашими обычаями, и что этого не слѣдуетъ вовсе представлять. Это заставило меня мысленно припомнить и обнять всю пьесу, и, признаюсь, выраженіе комедіи показалось мнѣ теперь еще даже значительнѣй. Въ ней, какъ мнѣ кажется, сильнѣй и глубже всего поражено смѣхомъ лицемѣріе, благопристойная маска, подъ которою является низость и подлость, плутъ, корчащій рожу благонамѣреннаго человѣка. Признаюсь, я чувствовалъ радость, видя, какъ смѣшны благонамѣренныя слова въ устахъ плута, и какъ уморительно смѣшна стала всѣмъ, отъ креселъ до райка, надѣтая имъ маска. И послѣ этого есть люди, которые говорятъ, что не нужно выводить этого на сцену! Я слышалъ одно замѣчаніе, сдѣланное, какъ мнѣ показалось, впрочемъ, довольно порядочнымъ человѣкомъ: «А что скажетъ народъ, когда увидитъ, что у насъ бываютъ вотъ какія злоупотребленія?»

Господинъ А. Признаюсь! вы извините меня, но мнѣ самому тоже невольно предста вился вопросъ: а что скажетъ народъ нашъ, глядя на все это?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Что скажетъ народъ? (*Посторанивается, проходятъ двое въ армякахъ*).

Синій армякъ сѣрому. Небось, прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа! (*Оба выходятъ вонъ*).

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Вотъ что скажетъ народъ, вы слышали?

Господинъ А. Что?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Скажетъ: небось, прыткіе были воеводы, а всѣ поблѣднѣли, когда пришла царская расправа!» Слышите ли вы, какъ вѣренъ естественному чутью

и чувству человѣкъ? Какъ вѣренъ самый простой глазъ, если онъ не отуманенъ теоріями и мыслями, надерганными изъ книгъ, а черпаетъ ихъ изъ самой природы человѣка! Да развѣ это не очевидно ясно, что послѣ такого представленія народъ получитъ болѣе вѣры въ правительство? Да, для него нужны такія представленія. Пусть онъ отдѣлитъ правительство отъ дурныхъ исполнителей правительства. Пусть видитъ онъ, что злоупотребленія происходятъ не отъ правительства, а отъ непонимающихъ требованій правительства, отъ нехотящихъ отвѣтствовать правительству. Пусть онъ видитъ, что благородно правительство, что бдитъ равно надъ всѣми его недремлющее око, что рано или поздно настигнетъ оно измѣнившихъ закону, чести и святому долгу человѣка, что поблѣднѣютъ предъ нимъ имѣющіе нечистую совѣсть. Да, эти представленія ему должно видѣть; повѣрьте, что если и случится ему испытать на себѣ прижимки и несправедливости, онъ выйдетъ утѣшенный послѣ такого представленія, съ твердой вѣрой въ недремлющій высшій законъ. Мнѣ нравится тоже еще замѣчаніе: «народъ получитъ дурное мнѣніе о своихъ начальникахъ». То-есть, они воображаютъ, что народъ только здѣсь, въ первый разъ, въ театрѣ, увидитъ своихъ начальниковъ; что если дома какой-нибудь плутъ староста сожметъ его въ лапу, такъ этого онъ никакъ не увидитъ, а вотъ какъ пойдетъ въ театръ, такъ тогда и увидитъ. Они, право, народъ нашъ считаютъ глупѣе бревна,—глупымъ до такой степени, что будто уже онъ не въ силахъ отличить, который пирогъ съ мясомъ, который съ кашей. Нѣтъ, теперь мнѣ кажется даже хорошо то, что не выведенъ на сцену честный человѣкъ. Самолюбивъ человѣкъ: выстави ему при множествѣ дурныхъ сторонъ одну хорошую, онъ уже гордо выйдетъ изъ театра. Нѣтъ, хорошо, что выставлены одни только исключенья и пороки, которые колютъ теперь до того глаза, что не хотятъ быть ихъ соотечественниками, стыдятся даже сознаться, что это можетъ быть.

Господинъ А. Но неужели, однакожъ, существуютъ у насъ точь-въ-точь такіе люди?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Позвольте мнѣ сказать вамъ на это вотъ что: я не знаю, почему мнѣ всякій разъ становится грустно, когда я слышу подобный вопросъ. Я могу съ вами говорить откровенно: въ чертахъ лицъ вашихъ я вижу что-то такое, что располагаетъ меня къ откровенности. Человѣкъ прежде всего дѣлаетъ запросъ: «Неужели существуютъ такіе люди?» Но когда было видано, чтобы человѣкъ сдѣлалъ такой вопросъ: «Неужели я самъ чистъ вовсе отъ такихъ пороковъ?» Никогда, никогда! Да вотъ что,—я буду съ вами говорить прямодушно,—у меня доброе сердце, любви много въ моей груди, но если бы вы знали, какихъ душевныхъ усилій и потрясеній мнѣ было нужно, чтобы не впасть во многія порочныя наклонности, въ которыя впадаешь невольно, живя съ людьми! И какъ я

могу сказать теперь, что во мнѣ нѣтъ сію же минуту тѣхъ самыхъ наклонностей, которымъ только-что посмѣялись назадъ тому десять минутъ всѣ, и надъ которыми я самъ посмѣялся?

Господинъ А. *(Послѣ нѣкотораго молчанія).* Признаюсь, надъ словами вашими призадумаешься. И когда я вспомню, представлю себѣ, какъ гордыми сдѣлало насъ европейское наше воспитаніе, вообще какъ скрыло насъ отъ самихъ себя, какъ свысока и съ какимъ презрѣніемъ глядимъ мы на тѣхъ, которые не получили подобной намъ наружной полировки, какъ всякій изъ насъ ставитъ себя чуть не святымъ, а о дурномъ говоритъ вѣчно въ третьемъ лицѣ,—то, признаюсь, невольно становится грустно душѣ... Но простите мою нескромность,—вы, впрочемъ, виноваты въ ней сами,—позвольте узнать: съ кѣмъ я имѣю удовольствіе говорить?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. А я ни болѣе, ни менѣе, какъ одинъ изъ тѣхъ чиновниковъ, въ должности которыхъ выведены были лица комедіи, и третьяго дня только пріѣхалъ изъ своего городка.

Господинъ Б. Я бы этого не могъ думать. И неужели вамъ не кажется послѣ этого обидно жить и служить съ такими людьми?

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Обидно? А вотъ, что я вамъ скажу на это: признаюсь, мнѣ приходилось часто терять терпѣнье. Въ городкѣ нашемъ не всѣ чиновники изъ честнаго десятка; часто приходится лѣзть на стѣну, чтобы сдѣлать какое-нибудь доброе дѣло. Уже нѣсколько разъ хотѣлъ было я бросить службу; но теперь, именно послѣ этого представленія, я чувствую свѣжесть и вмѣстѣ съ тѣмъ новую силу продолжать свое поприще. Я утѣшенъ уже мыслью, что подлость у насъ не остается скрытою или потворствуемой, что тамъ, въ виду всѣхъ благородныхъ людей, она поражена осмѣяніемъ, что есть перо, которое не укоснитъ обнаружить [illegible]жія наши движенія, хотя это и не льститъ національной нашей гордости, и что есть благородное правительство, которое дозволитъ показать это всѣмъ, кому слудѣетъ, въ очи; и уже это одно даетъ мнѣ рвеніе продолжать мою полезную службу.

Господинъ А. Позвольте сдѣлать вамъ одно предложеніе. Я занимаю государственную должность довольно значительную. Мнѣ нужны истинно благородные и честные помощники. Я вамъ предлагаю мѣсто, гдѣ вамъ будетъ обширное поле дѣйствія, гдѣ вы получите несравненно болѣе выгодъ и будете на виду.

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Позвольте мнѣ отъ всей души и отъ всего сердца поблагодарить васъ за такое предложеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ позвольте отказаться отъ него. Если я уже чувствую, что полезенъ своему мѣсту, то благородно ли съ моей стороны его бросить? И какъ я могу оставить его, не будучи увѣренъ твердо, что послѣ меня не сядетъ какой-нибудь молодецъ, который

начнетъ дѣлать прижимки. Если же это предложеніе сдѣлано вами въ видѣ награды, то позвольте сказать вамъ: я аплодировалъ автору пьесы наравнѣ съ другими, но я не вызывалъ его. Какая ему награда? Пьеса понравилась—хвали ее, а онъ—онъ только выполнилъ долгъ свой. У насъ, право, до того дошло, что не только по случаю какого-нибудь подвига, но просто, если только иной не нагадитъ никому въ жизни и на службѣ, то уже считаетъ себя Богъ вѣсть какимъ добродѣтельнымъ человѣкомъ, сердится серьезно, если не замѣчаютъ и не награждаютъ его. «Помилуйте», говоритъ, «я цѣлый вѣкъ честно жилъ, совсѣмъ почти не дѣлалъ подлостей,—какъ же мнѣ не даютъ ни чина, ни ордена?» Нѣтъ, по мнѣ кто не въ силахъ быть благороднымъ безъ поощренія—не вѣрю я его благородству; не стоитъ гроша его мышиное благородство.

Господинъ А. По крайней мѣрѣ вы мнѣ не откажете въ вашемъ знакомствѣ. Простите мою неотвязчивость; вы сами видите, что она есть слѣдствіе моего искренняго уваженія. Дайте мнѣ вашъ адресъ.

Очень скромно одѣтый человѣкъ. Вотъ вамъ мой адресъ; но будьте увѣрены, что я не допущу васъ имъ воспользоваться и завтра же поутру явлюсь къ вамъ. Извините меня, я не воспитанъ въ большомъ свѣтѣ и не умѣю говорить... Но встрѣтить такое великодушное вниманіе въ государственномъ человѣкѣ, такое стремленіе къ добру... дай Богъ, чтобы всякій государь былъ окруженъ такими людьми! (*Поспѣшно уходитъ*).

Господинъ А. (*Переворачивая въ рукахъ карточку*). Я смотрю на эту карточку и на эту извѣстную мнѣ фамилію, и какъ то полно становится на душѣ моей. Это въ началѣ грустное впечатлѣніе разсѣялось само собою. Да хранитъ тебя Богъ, наша малознаемая нами Россія! Въ глуши, въ забытомъ углу твоемъ, скрывается подобный перлъ, и вѣроятно, онъ не одинъ. Они, какъ искры золотой руды, разсыпаны среди грубыхъ и темныхъ ея гранитовъ. Есть глубоко утѣшительное чувство въ семъ явленіи, и душа моя освѣтилась послѣ встрѣчи съ этимъ чиновникомъ, какъ освѣтилась его собственная послѣ представленія комедіи. Прощайте! Благодарю васъ, что вы доставили мнѣ эту встрѣчу. (*Уходитъ*).

Господинъ В. (*Подходя къ господину Б.*). Кто это былъ съ вами? Кажется, онъ министръ—а?

Господинъ П. (*Подходя съ другой стороны*). Помилуй, братецъ, ну, что это такое, какъ же это въ самомъ дѣлѣ?..

Господинъ Б. Что?

Господинъ П. Ну, да какъ же выводить это?

Господинъ Б. Почему же нѣтъ?

Господинъ П. Ну, да самъ посуди ты: ну, какъ же, право? Все пороки, да пороки; ну, какой примѣръ подастъ это зрителямъ?

Господинъ Б. Да развѣ пороки хвалятся? Вѣдь они же выведены на осмѣяніе.

Господинъ П. Ну, да все, братъ, какъ ни говори: уваженье... вѣдь черезъ это теряется уваженіе къ чиновникамъ и должностямъ.

Господинъ Б. Уваженіе не теряется ни къ чиновникамъ, ни къ должностямъ, а къ тѣмъ, которые скверно исполняютъ свои должности.

Господинъ В. Но позвольте, однакоже, замѣтить: все это нѣкоторымъ образомъ есть уже оскорбленіе, которое болѣе или менѣе распространяется на всѣхъ.

Господинъ П. Именно. Вотъ это я самъ хотѣлъ ему замѣтить. Это именно оскорбленіе, которое распространяется. Теперь, напримѣръ, выведутъ какого-нибудь титулярнаго совѣтника, а потомъ... э... пожалуй, выведутъ... и дѣйствительнаго статскаго совѣтника...

Господинъ Б. Ну, такъ что-жъ? Личность только должна быть неприкосновенна; а если я выдумалъ собственное лицо и придалъ ему кое-какіе пороки, какіе случаются между нами, и далъ ему чинъ, какой мнѣ вздумалось, хоть бы даже и дѣйствительнаго статскаго совѣтника, и сказалъ бы, что этотъ дѣйствительный статскій совѣтникъ не таковъ, какъ слѣдуетъ: что-жъ тутъ такого? Развѣ не попадается гусь и между дѣйствительными статскими совѣтниками?

Господинъ П. Ну, ужъ, братъ, это слишкомъ. Какъ же можетъ быть гусь дѣйствительный статскій совѣтникъ? Ну, пусть еще титулярный... Нѣтъ, ты ужъ слишкомъ.

Господинъ В. Чѣмъ выставлять дурное, зачѣмъ же не выставить хорошее, достойное подражанія?..

Господинъ Б. Зачѣмъ? странный вопросъ: «зачѣмъ?» Много можно сдѣлать этакихъ *зачѣмъ*. Зачѣмъ одинъ отецъ, желая исторгнуть своего сына изъ безпорядочной жизни, не тратилъ словъ и наставленій, а привелъ его въ лазаретъ, гдѣ предстали предъ нимъ во всемъ ужасѣ страшные слѣды безпорядочной жизни? Зачѣмъ онъ это сдѣлалъ?

Господинъ В. Но позвольте вамъ замѣтить: это уже нѣкоторымъ образомъ наши общественныя раны, которыя нужно скрывать, а не показывать.

Господинъ Б. Если бы слова эти были сказаны кѣмъ другимъ, а не вами, я бы сказалъ, что ими водило лицемѣріе, а не истинная любовь къ отечеству. По-вашему, нужно бы только закрыть, залѣчить какъ-нибудь снаружи эти, какъ вы называете, общественныя раны, лишь бы только покамѣстъ онѣ не были видны, а внутри пусть свирѣпствуетъ болѣзнь—до того нѣтъ нужды. Нѣтъ нужды, что она можетъ взорваться и обнаружиться такими симптомами, когда уже всякое лѣченіе поздно. До того нѣтъ нужды. Вы не хотите знать того, что безъ глубокой сердечной исповѣди, безъ христіанскаго сознанія

грѣховъ своихъ, безъ преувеличенья ихъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ, не въ силахъ мы возвыситься надъ ними, не въ силахъ возлетѣть душой выше презрѣннаго въ жизни. Вы не хотите знать этого! Пусть глухъ остается человѣкъ, пусть сонно проходитъ жизнь свою, пусть не содрагается, пусть не плачетъ въ глубинѣ сердца, пусть низведетъ до такого усыпленья свою душу, чтобы уже ничто не произвело въ ней потрясенія! Нѣтъ... простите меня! Холодный эгоизмъ движетъ устами, произносящими такія рѣчи, а не святая, чистая любовь къ человѣчеству. (*Уходитъ*).

Господинъ П. (*послѣ нѣкотораго молчанія*). Что-жъ ты молчишь? Каковъ? Чего не наговорилъ, а?

Господинъ В. (*молчитъ*).

Господинъ П. (*продолжая*). Онъ можетъ себѣ говорить, что ему угодно, а вѣдь это все-таки наши, такъ сказать, раны.

Господинъ В. (*въ сторону*). Ну, попались ему на языкъ эти раны! Будетъ онъ толковать о нихъ и встрѣчному, и поперечному!

Господинъ П. Этакъ, пожалуй, и я могу насказать кучу всего, да вѣдь что-жъ изъ этого?.. А вотъ князь N. Послушай, князь, не уходи!

Князь N. А что?

Господинъ П. Ну, потолкуемъ, остановись! Ну, что, какъ пьеса?

Князь N. Да смѣшна.

Господинъ П. Но, однакожъ, скажи: какъ это представлять? на что это похоже...

Князь N. Почему-жъ не представлять?

Господинъ П. Ну, да посуди самъ, ну, да какъ же это: вдругъ на сценѣ плутъ—вѣдь это все наши раны.

Князь N. Какія раны?

Господинъ П. Да, это наши раны, наши, такъ сказать, общественныя раны.

Князь N. (*съ досадою*). Возьми ихъ себѣ! Пусть онѣ будутъ твои, а не мои раны! Что ты мнѣ ихъ тычешь? Мнѣ пора домой. (*Уходитъ*).

Господинъ П. (*продолжая*). И потомъ опять, что за чепуху онъ наговорилъ здѣсь? Говоритъ: дѣйствительный статскій совѣтникъ можетъ быть гусь. Ну, еще пусть титулярный, это можно допустить...

Господинъ В. Однакожъ, пойдемъ, полно толковать; я думаю, всѣ проходящіе узнали уже, что ты дѣйствительный статскій совѣтникъ. (*Въ сторону*). Есть люди, которые имѣютъ искусство все охаять. Твою же мысль, повторивши, они умѣютъ сдѣлать ее такъ пошлою, что самъ краснѣешь. Скажешь глупость, она бы, можетъ-быть, такъ и проскользнула незамѣченной,—нѣтъ, отыщется поклон-

никъ и пріятель, который непремѣнно пуститъ ее въ ходъ и сдѣлаетъ еще глупѣе, чѣмъ она есть. Даже досадно право: точно въ грязь посадилъ. (*Уходятъ*).

Военный и статскій (*выходятъ вмѣстѣ*).

Статскій. Вѣдь, вотъ вы какіе, господа военные! Вы говорите: «это нужно выводить на сцену»; вы готовы вдоволь посмѣяться надъ какимъ-нибудь штатскимъ чиновникомъ; а затронь какъ-нибудь военныхъ, скажи только, что есть въ такомъ-то полку офицеры, не говоря уже о порочныхъ наклонностяхъ, но просто скажи: есть офицеры дурного тона, съ неприличными ухватками—да вы изъ-за одного этого готовы съ жалобой полѣзть въ самый государственный совѣтъ.

Военный. Ну, послушайте, за кого же вы меня считаете? Конечно, есть между нами такіе Донкишоты, но повѣрьте также, что есть много истинно-разсудительныхъ людей, которые будутъ рады всегда, если будетъ выведенъ на всеобщее осмѣяніе порочащій свое званіе. Да и въ чемъ здѣсь обида? Подавайте, подавайте намъ его! Мы всякій день готовы смотрѣть.

Статскій (*въ сторону*). Этакъ всегда кричитъ человѣкъ: «подавайте! подавайте!» а подашь—такъ и разсердится. (*Уходятъ*).

Двѣ бекеши.

Первая бекеша. У французовъ тоже, напримѣръ, но у нихъ все это очень мило. Ну, вотъ, помнишь, во вчерашнемъ водевилѣ: раздѣвается, ложится въ постель, схватываетъ со стола салатникъ и ставитъ его подъ кровать. Оно, конечно, нескромно, но мило. На все это можно смотрѣть, это не оскорбляетъ... У меня жена и дѣти всякій день въ театрѣ. А здѣсь—ну, что это, право?—какой-нибудь мерзавецъ, мужикъ, котораго я бы въ переднюю не пустилъ, развалится съ сапогами, зѣваетъ или ковыряетъ въ зубахъ,—ну, что это, право? на что это похоже?

Другая бекеша. У французовъ другое дѣло. Тамъ société, mon cher! У насъ это невозможно. У насъ вѣдь сочинители совершенно безъ всякаго образованья: все это большею частью воспитывалось въ семинаріи. Онъ и къ вину наклоненъ, онъ и потаскунъ. Къ моему лакею тоже ходилъ въ гости одинъ какой-то сочинитель: гдѣ-жъ ему имѣть понятіе о хорошемъ обществѣ? (*Уходятъ*).

Свѣтская дама (*Въ сопровожденіи двухъ мужчинъ: одного во фракѣ, другого въ мундирѣ*). Но что за люди, что за лица выведены! хотя бы одинъ привлекъ... Ну, отчего не пишутъ у насъ такъ, какъ французы пишутъ, напримѣръ, какъ Дюма и другіе? Я не требую образцовъ добродѣтели; выведите мнѣ женщину, которая бы заблуждалась, которая бы даже измѣнила мужу, предалась, положимъ, самой порочной и непозволенной любви; но представьте это увлекательно, такъ, чтобы я побуждена была къ ней участіемъ,

чтобы я полюбила ее... А вѣдь здѣсь всѣ лица—одинъ отвратительнѣй другого.

Мужчина въ мундирѣ. Да, тривіально, тривіально.

Свѣтская дама. Скажите: отчего у насъ въ Россіи все еще такъ тривіально?

Мужчина во фракѣ. Душа моя, послѣ разскажешь, отчего тривіально: кричатъ нашу карету. (*Уходятъ*).

Выходятъ трое мужчинъ *вмѣстѣ*.

Первый. Почему-жъ не посмѣяться? смѣяться можно; но что за предметъ для насмѣшки—злоупотребленія и пороки? Какая здѣсь насмѣшка!

Второй. Такъ надъ чѣмъ же смѣяться? Развѣ надъ добродѣтелями, надъ достоинствами человѣка?

Первый. Нѣтъ; да это не предметъ для комедіи, мой милый! Это уже нѣкоторымъ образомъ касается правительства. Какъ будто нѣтъ другихъ предметовъ, о чемъ можно писать?

Второй. Какіе же другіе предметы?

Первый. Ну, да мало ли есть всякихъ смѣшныхъ свѣтскихъ случаевъ? Ну, положимъ, напримѣръ, я отправился на гулянье на Аптекарскій островъ, а кучеръ меня вдругъ завезъ тамъ на Выборгскую или къ Смольному монастырю. Мало ли есть всякихъ смѣшныхъ сцѣпленій?

Второй. То-есть вы хотите отнять у комедіи всякое серьезное значеніе. Но зачѣмъ же издавать непремѣнный законъ? Комедій въ томъ именно вкусѣ, въ какомъ вы желаете, есть множество. Почему же не допустить существованія двухъ, трехъ такихъ, какова была игранная теперь? Если же вамъ нравятся тѣ, о которыхъ вы говорите, поѣзжайте только въ театръ: тамъ всякій день вы увидите пьесу, гдѣ одинъ спрятался подъ стулъ, а другой вытащилъ его оттуда за ногу.

Третій. Ну, нѣтъ, послушайте: это не то. Всему есть свои границы. Есть вещи, надъ которыми, такъ сказать, не слѣдуетъ смѣяться, которыя въ нѣкоторомъ родѣ уже святыня.

Второй (*про себя, съ горькой усмѣшкой*). Такъ всегда на свѣтѣ: посмѣйся надъ истинно-благороднымъ, надъ тѣмъ, что составляетъ высокую святыню души, никто не станетъ заступникомъ; посмѣйся же надъ порочнымъ, подлымъ и низкимъ—всѣ закричатъ: «онъ смѣется надъ святыней».

Первый. Ну, вотъ видите ли, вы я вижу, теперь убѣждены: не говорите ни слова. Повѣрьте, нельзя не быть убѣждену: это истина. Я самъ человѣкъ безпристрастный и говорю не то, чтобы... но, просто, это не авторское дѣло, это не предметъ для комедіи. (*Уходитъ*).

Второй (*про себя*). Признаюсь, я бы ни за что не захотѣлъ быть на мѣстѣ автора. Прошу угодить! Избери маловажные свѣт-

скіе случаи, всѣ будутъ говорить: «Онъ пишетъ вздоръ, никакой нѣтъ глубокой нравственной цѣли»; избери предметъ, сколько-нибудь имѣющій серьезную нравственную цѣль—будутъ говорить: «Не его дѣло, пиши пустяки!» *(Уходитъ).*

Молодая дама *большого свѣта въ сопровожденіи мужа.*

Мужъ. Карета наша не должна быть далеко, мы можемъ скоро уѣхать.

Господинъ N. *(подходя къ дамѣ).* Что вижу! Вы пріѣхали смотрѣть русскую пьесу!

Молодая дама. Что-жъ тутъ такого? развѣ я уже ничуть не патріотка?

Господинъ N. Ну, если такъ, то вы не очень насытили патріотизмъ свой. Вы, вѣрно, браните пьесу.

Молодая дама. Совсѣмъ нѣтъ. Я нахожу, что многое очень вѣрно: я смѣялась отъ души.

Господинъ N. Отчего-жъ вы смѣялись? Оттого ли, что любите посмѣяться надъ всѣмъ, что русское?

Молодая дама. Оттого, что, просто, было смѣшно. Оттого, что выведена была наружу та подлость, низость, которая въ какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и не въ уѣздномъ городкѣ, а здѣсь, вокругъ насъ,—она была бы такая же подлость или низость: вотъ отчего смѣялась.

Господинъ N. Мнѣ говорила сейчасъ одна очень умная дама, что она тоже смѣялась, но что при всемъ томъ пьеса произвела на нее грустное впечатлѣніе.

Молодая дама. Я не хочу знать, что чувствовала ваша умная дама; но у меня не такъ чувствительны нервы, и я всегда рада смѣяться надъ тѣмъ, что внутренно смѣшно. Я знаю, что есть иныя изъ насъ, которыя отъ души готовы посмѣяться надъ кривымъ носомъ человѣка и не имѣютъ духа посмѣяться надъ кривою душою человѣка.

Вдали показывается тоже молодая дама съ мужемъ.

Господинъ N. А вотъ идетъ ваша пріятельница. Я бы желалъ знать ея мнѣніе о комедіи. *(Обѣ дамы подаютъ другъ другу руки).*

Первая дама. Я видѣла издали, какъ ты смѣялась.

Вторая дама. Да кто же не смѣялся? всѣ смѣялись.

Господинъ N. А не чувствовали вы никакого грустнаго чувства?

Вторая дама. Признаюсь, мнѣ было, точно, грустно. Я знаю, все это очень вѣрно; я сама тоже видѣла много подобнаго, но при всемъ томъ мнѣ было тяжело.

Господинъ N. Стало-быть, комедія вамъ не понравилась?

Вторая дама. Ну, послушайте, кто-жъ это говоритъ? Я вамъ говорю уже, что я смѣялась отъ всей души, и больше даже, нежели всѣ другіе; я думаю, меня приняли даже за безумную... Но мнѣ было грустно оттого, что хотѣлось бы отдохнуть хоть на одномъ добромъ лицѣ. Это излишество и множество низкаго...

Господинъ N. Говорите, говорите!

Вторая дама. Послушайте, посовѣтуйте автору, чтобы онъ вывелъ хоть одного честнаго человѣка. Скажите ему, что объ этомъ его просятъ, что это будетъ, право, хорошо.

Мужъ первой дамы. А вотъ же этого именно и не совѣтуйте. Дамамъ хочется непремѣнно рыцаря, чтобы онъ тутъ же твердилъ имъ за всякимъ словомъ о благородствѣ, хотя бы самымъ пошлымъ слогомъ.

Вторая дама. Совсѣмъ нѣтъ. Какъ вы мало знаете насъ! Вотъ вамъ-то принадлежитъ это! Вы именно любите только одни слова и толки о благородствѣ. Я слышала сужденіе одного изъ васъ: одинъ толстякъ кричалъ такъ, что, я думаю, всѣхъ заставилъ на себя обратиться,—что это клевета, что подобныхъ низостей и подлостей у насъ никогда не дѣлается. А кто говорилъ?—Самый низкій и подлый человѣкъ, который готовъ продать свою душу, совѣсть, и все, что хотите. Я не хочу только назвать его по имени.

Господинъ N. Ну, скажите же, кто это былъ?

Вторая дама. Зачѣмъ вамъ знать? Да не онъ одинъ; я слышала безпрестанно, какъ около насъ кричали: «Это отвратительная насмѣшка надъ Россіей, насмѣшка надъ правительствомъ! Да какъ это позволить? Да что скажетъ народъ?» А отчего они кричали? Оттого ли, что въ самомъ дѣлѣ думали и чувствовали это?—Извините. Затѣмъ, чтобы произвести шумъ, чтобы запретили пьесу, потому что въ ней, можетъ-быть, отыскали кое-что похожее на самихъ себя. Вотъ каковы ваши настоящіе, не театральные рыцари!

Мужъ первой дамы. О! да у васъ ужъ начинаетъ рождаться маленькая злость!

Вторая дама. Злость, именно злость. Да, я зла, очень зла. И нельзя не быть злою, видя, какъ подлость является подъ всякими личинами.

Мужъ первой дамы. Ну, да: вамъ бы хотѣлось, чтобы сейчасъ выскочилъ рыцарь, прыгнулъ черезъ какую-нибудь пропасть, сломилъ бы себѣ шею...

Вторая дама. Извините.

Мужъ первой дамы. Натурально: женщинѣ что нужно?—Ей непремѣнно нужно, чтобы въ жизни былъ романъ.

Вторая дама. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Двѣсти разъ готова говорить: нѣтъ! Это пошлая, старая мысль, которую вы намъ навязываете безпрестанно. У женщины больше истиннаго великодушія, чѣмъ у

мужчины. Женщина не можетъ, женщина не въ силахъ сдѣлать тѣхъ подлостей и гадостей, какія дѣлаете вы. Женщина не можетъ тамъ лицемѣрить, гдѣ лицемѣрите вы, не можетъ смотрѣть сквозь пальцы на тѣ низости, на которыя вы смотрите. Въ ней есть довольно благородства для того, чтобы сказать все это, не осматриваясь по сторонамъ, понравится ли это кому-либо, или нѣтъ,—потому что это нужно говорить. Что подло, то подло, какъ вы ни скрывайте и какой ни давайте видъ. Это подло, подло, подло!

Мужъ первой дамы. Да вы, я вижу, разсердились во всѣхъ отношеніяхъ.

Вторая дама. Потому что я откровенна и не могу вынести, когда говорятъ неправду.

Мужъ первой дамы. Ну, не сердитесь же, дайте мнѣ вашу ручку! Я пошутилъ.

Вторая дама. Вотъ вамъ рука моя, я не сержусь. *(Обращаясь къ г-ну* N*)*. Послушайте, посовѣтуйте автору, чтобы онъ вывелъ въ комедіи благороднаго и честнаго человѣка.

Господинъ N. Да какъ же это сдѣлать? Ну, если онъ выведетъ честнаго человѣка, а этотъ честный человѣкъ будетъ похожъ на театральнаго рыцаря?

Вторая дама. Нѣтъ, если онъ сильно и глубоко чувствуетъ, то герой его не будетъ театральнымъ рыцаремъ.

Господинъ N. Да вѣдь, я думаю, это не такъ легко сдѣлать.

Вторая дама. Просто, скажите лучше, что у автора вашего нѣтъ глубокихъ и сильныхъ движеній сердечныхъ.

Господинъ N. Отчего-жъ такъ?

Вторая дама. Ну, да ужъ кто безпрестанно и вѣчно смѣется, тотъ не можетъ имѣть слишкомъ высокихъ чувствъ: ему не можетъ быть знакомо то, что чувствуетъ одно только нѣжное сердце.

Господинъ N. Вотъ хорошо! Стало-быть, по-вашему, авторъ не долженъ быть благородный человѣкъ?

Вторая дама. Ну, вотъ видите, вы сейчасъ перетолковываете въ другую сторону. Я не говорю ни слова о томъ, чтобы у комика не было благородства и строгаго понятія о чести во всемъ смыслѣ слова. Я говорю только, что онъ не могъ бы... выронить сердечную слезу, любить что-нибудь сильно, всей глубиной души.

Мужъ второй дамы. Но какъ же ты можешь сказать это утвердительно?

Вторая дама. Могу, потому что знаю. Всѣ люди, которые смѣялись, или были насмѣшниками, всѣ они были самолюбивы, всѣ почти эгоисты; конечно, благородные эгоисты, но все же эгоисты.

Господинъ N. Стало-быть, вы рѣшительно предпочитаете только тотъ родъ сочиненій, гдѣ дѣйствуютъ одни высокія движенія человѣка?

Вторая дама. О, конечно! Я ихъ всегда поставлю выше и, признаюсь, я больше имѣю душевной вѣры къ такому автору.

Мужъ первой дамы *(Обращаясь къ господину N)*. Ну, развѣ ты не видишь—выходитъ опять то же? Это женскій вкусъ. Для нихъ самая пошлая трагедія выше самой лучшей комедіи, ужъ потому только, что она трагедія...

Вторая дама. Молчите, я опять булу зла. *(Обращаясь къ господину N)*. Ну, скажите, не правду ли я сказала: вѣдь у комика душа непремѣнно должна быть холодная?

Мужъ второй дамы. Или горячая, потому что раздражительность характера возбуждаетъ тоже къ насмѣшкамъ и сатирамъ.

Вторая дама. Ну, или раздражительная. Но что же это значитъ?—Это значитъ, что причиною такихъ произведеній все же была желчь, ожесточеніе, негодованіе, можетъ-быть, и справедливое во всѣхъ отношеніяхъ. Но нѣтъ того, что бы показывало, что это порождено высокой любовью къ человѣчеству... словомъ, любовью. Не правда ли?

Господинъ N. Это правда.

Вторая дама. Ну, скажите: похожъ авторъ комедіи на этотъ портретъ?

Господинъ N. Какъ вамъ сказать? Я не знаю такъ коротко его, чтобы могъ судить о душѣ его. Но соображая все, что я о немъ слышалъ, онъ, точно, долженъ быть или эгоистъ, или очень раздражительный человѣкъ.

Вторая дама. Ну, видите ли, я это хорошо знала.

Первая дама. Не знаю почему, но мнѣ бы не хотѣлось, чтобы онъ былъ эгоистомъ.

Мужъ первой дамы. А вотъ идетъ нашъ лакей, сталобыть, карета готова. Прощайте. *(Пожимая руку второй дамы)*. Вы къ намъ, не правда ли? Чай пьемъ у насъ?

Первая дама *(уходя)*. Пожалуйста!

Вторая дама. Непремѣнно.

Мужъ второй дамы. Кажется, наша карета тоже готова. *(Уходятъ за ними)*.

Выходятъ двое зрителей.

Первый. Вотъ это растолкуйте мнѣ: отчего, разбирая порознь всякое дѣйствіе, лицо и характеръ, видишь: все это правда, живо, взято съ натуры, а вмѣстѣ кажется уже чѣмъ-то громаднымъ, преувеличеннымъ, карикатурнымъ, такъ что, выходя изъ театра, невольно спрашиваешь: неужели существуютъ такіе люди? А между тѣмъ вѣдь они не то, чтобы злодѣи.

Второй. Ничуть, они вовсе не злодѣи. Они именно то, что говоритъ пословица: «не душой худъ, а просто плутъ».

Первый. И потомъ еще одно: это громадное накопленіе, это излишество—не есть ли уже недостатокъ комедіи? Скажите мнѣ, гдѣ есть такое общество, которое бы состояло все изъ такихъ людей, чтобы не было если не половины, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторой части порядочныхъ людей? Если комедія должна быть картиной и зеркаломъ общественной нашей жизни, то она должна отразить ее во всей вѣрности.

Второй. Во-первыхъ, по моему мнѣнію, эта комедія вовсе не картина, а скорѣе фронтисписъ. Вы видите—и сцена, и мѣсто дѣйствія идеальныя. Иначе авторъ не сдѣлалъ бы очевидныхъ погрѣшностей и анахронизмовъ, не вставилъ бы даже инымъ лицамъ тѣхъ рѣчей, которыя, по свойству своему и по мѣсту, занимаемому лицами, не принадлежатъ имъ. Только первая раздражительность приняла за личность то, въ чемъ нѣтъ и тѣни личности и что принадлежитъ болѣе или менѣе личности всѣхъ людей. Это—сборное мѣсто: отовсюду, изъ разныхъ угловъ Россіи, стеклись сюда исключенія изъ правды, заблужденія и злоупотребленія, чтобы послужить одной идеѣ—произвести въ зрителѣ яркое, благородное отвращеніе отъ многаго кое-чего низкаго. Впечатлѣніе еще сильнѣй оттого, что никто изъ приведенныхъ лицъ не утратилъ своего человѣческаго образа: человѣческое слышится вездѣ. Оттого еще глубже сердечное содроганіе. И смѣясь, зритель невольно оборачивается назадъ, какъ бы чувствуя, что близко отъ него то, надъ чѣмъ онъ посмѣялся, и что ежеминутно долженъ онъ стоять на стражѣ, чтобы не ворвалось оно въ его собственную душу. Я думаю, забавнѣй всего слышать автору упреки: «зачѣмъ лица и герои его не привлекательны», тогда какъ онъ употребилъ все, чтобы оттолкнуть отъ нихъ. Да если бы хотя одно лицо честное было помѣщено въ комедію, и помѣщено со всей увлекательностью, то уже всѣ до одного перешли бы на сторону этого честнаго лица и позабыли бы вовсе о тѣхъ, которые такъ испугали ихъ теперь. Эти образы, можетъ-быть, не мерещились бы безпрестанно, какъ живые, по окончаніи представленія; зритель не унесъ бы грустнаго чувства и не говорилъ бы: «Неужели существуютъ такіе люди?»

Первый. Да. Ну, это однакоже не вдругъ поймутъ.

Второй. Весьма естественно. Смыслъ внутренній всегда постигается послѣ. И чѣмъ живѣе, чѣмъ ярче тѣ образы, въ которые онъ облекся и на которые раздробился, тѣмъ болѣе останавливается всеобщее вниманіе на образахъ. Только сложивши ихъ вмѣстѣ, получишь итогъ и смыслъ созданія. Но разбирать и складывать такія буквы быстро, читать по верхамъ и вдругъ—не всякій можетъ; а до тѣхъ поръ долго будутъ видѣть однѣ буквы. И вы увидите, вотъ я вамъ говорю это впередъ: прежде всего разсердится всякій уѣздный городишка въ Россіи и будетъ утверждать, что это злая сатира, пошлая, низкая выдумка, направленная именно на него. *(Уходятъ).*

Одинъ чиновникъ. Это пошлая, низкая выдумка, это сатира, пасквиль!

Другой чиновникъ. Теперь, значитъ, ужъ ничего не осталось. Законовъ не нужно, служить не нужно. Вицмундиръ, вотъ который на мнѣ,—его, значитъ, нужно бросить: онъ ужъ теперь тряпка.

Бѣгутъ двое малодыхъ людей.

Одинъ. Ну, всѣ разсердились. Я ужъ столько наслышался толковъ, что могу, взглянувши, угадать, что каждый думаетъ о пьесѣ.

Другой. Ну, что думаетъ вотъ этотъ?

Первый. Вотъ тотъ, который надѣваетъ шинель въ рукава?

Другой. Да.

Первый. Вотъ что онъ думаетъ: «За такую комедію тебя бы въ Нерчинскъ!..» Однакожъ, тронулось, кажется, верхнее населеніе; водевиль, какъ видно, кончился. Сейчасъ нахлынутъ разночинцы. Уйдемъ! *(Оба уходятъ).*

(Шумъ увеличивается; по всѣмъ лѣстницамъ раздается бѣготня. Бѣгутъ армяки, полушубки, чепцы, нѣмецкіе долгополые кафтаны купцовъ, треугольныя шляпы и султаны, шинели всѣхъ родовъ: фризовыя, военныя, подержанныя и щегольскія—съ бобрами. Толпа сталкиваетъ господина, надѣвающаго въ рукава шинель; господинъ посторанивается и продолжаетъ надѣвать ее въ сторонѣ. Показываются въ толпѣ господа и чиновники всѣхъ родовъ и сортовъ. Лакеи въ ливреяхъ прочищаютъ для барынь дорогу. Слышенъ бабій крикъ: «Батюшки, припихнули со всѣхъ сторонъ!»)

Молоденькій чиновникъ уклончиваго свойства *(подбѣгая къ господину, надѣвающему шинель).* Ваше превосходительство, позвольте, я вамъ подержу!

Господинъ въ шинели. А, здравствуй! Ты здѣсь? Пришелъ смотрѣть?

Молоденькій чиновникъ. Да-съ, ваше превосходительство! забавно подмѣчено.

Господинъ въ шинели. Вздоръ! ничего нѣтъ забавнаго!

Молоденькій чиновникъ. Это правда, ваше превосходительство: совсѣмъ ничего нѣтъ.

Господинъ въ шинели. За этакія вещи нужно сѣчь, а не хвалить.

Молоденькій чиновникъ. Это правда, ваше превосходительство!

Господинъ въ шинели. Вотъ, пускаютъ молодыхъ людей въ театръ. Много полезнаго вынесутъ! Вотъ и ты: теперь ужъ, чай, придешь въ канцелярію, прямо грубить станешь?

Молоденькій чиновникъ. Какъ можно, ваше превосходительство!.. Позвольте, я вамъ прочищу дорогу впередъ! *(На-*

роду, толкая того и другого). Эй, вы, посторонитесь, генералъ идетъ!

(Подходя съ необыкновенною учтивостью къ двумъ щегольски одѣтымъ). Господа, сдѣлайте милость, позвольте пройти генералу!

Хорошо одѣтые *(постораниваясь и давая дорогу).*

Первый. Не знаешь, какой генералъ? Долженъ быть какой-нибудь извѣстный?

Второй. Не знаю, я никогда не видывалъ его.

Чиновникъ разговорчиваго свойства *(Подхватывая сзади).* Просто, статскій совѣтникъ, по мѣсту только числится въ четвертомъ классѣ. Каково счастье? Въ пятнадцать лѣтъ службы Владиміра, Анну, Станислава, 3000 рублей жалованья, двѣ тысячи столовыхъ, да отъ совѣта, да отъ комиссіи, да еще по департаменту.

Господа хорошо одѣтые *(одинъ другому)* Уйдемъ! *(Уходятъ).*

Чиновникъ разговорчиваго свойства. Должны быть матушкины сынки. Чай, въ иностранной коллегіи служатъ. Я не люблю комедій; на мой вкусъ больше нравятся трагедіи. *Уходитъ).*

Голосъ изъ толпы. Экъ народу навалило!

Офицеръ *(пробираясь съ дамой подъ руку).* Эй, вы, бороды, что напираете? Развѣ не видишь—дама?

Купецъ *(съ дамой подъ-руку).* У самихъ, батюшка, дама.

Голосъ изъ толпы. Вотъ она поворотилась, видишь, видишь? Еще теперь подурнѣла, но года три тому назадъ...

Разные голоса. Да три гривны, слышь ты, взялъ съ него сдачи.—Подлая, скверная пьеса!—Забавная пьеска!—Ты что лѣзешь въ самое горло?

Голосъ въ одномъ концѣ толпы. Все это вздоръ! Гдѣ могло случиться такое происшествіе? Этакое происшествіе могло только развѣ случиться на Чукотскомъ островѣ.

Голосъ въ другомъ концѣ. Ну, вотъ точь-въ-точь этакое событіе было въ нашемъ городкѣ. Я подозрѣвалъ, что авторъ если не былъ самъ тамъ, то, вѣроятно, слышалъ.

Голосъ купца. Оно, вотъ изволите видѣть, оно здѣсь больше, такъ сказать, съ маральной стороны. Конечно, бываютъ, такъ сказать, всякіе-съ. Да вѣдь и то извольте посудить, что и честный человѣкъ, случаемъ придется... А насчетъ маральности, такъ и за дворянами это водится.

Голосъ господина поощрительнаго свойства. Долженъ быть бестія, пройдоха сочинитель; все извѣдалъ, все знаетъ!

Голосъ сердитаго чиновника, но, какъ видно, опытнаго. Что онъ знаетъ?—чорта онъ знаетъ. И вретъ онъ,

вретъ: все это, что ни написалъ онъ, все—враки. И взятки не такъ берутъ, если ужъ пошло на то...

Голосъ другого чиновника изъ толпы. Да что вы говорите: «смѣшно, смѣшно!» знаете ли, отчего смѣшно? Вѣдь это все личности. Вѣдь это все онъ вывелъ своихъ бабушекъ да тетушекъ. Вотъ отчего это смѣшно.

Неизвѣстный голосъ. Стой, украли платокъ!

Два офицера *(узнавшіе другъ друга, переговариваются черезъ толпу)*.

Первый. Мишель, ты туда?

Второй. Туда.

Первый. Ну, и я тамъ.

Чиновникъ важной наружности. Я бывсезапретилъ. Ничего не нужно печатать. Просвѣщеньемъ пользуйся, читай, а не пиши. Книгъ ужъ довольно написано, больше не нужно.

Голосъ въ народѣ. Что-жъ, коли подлецъ, то и подлецъ. Не будь подлецомъ, то и не будутъ надъ тобой смѣяться.

Красивый и плотный господинъ *(говоритъ съ жаромъ невзрачному и низенькому)*. Нравственность, нравственность страждетъ, вотъ что главное!

Господинъ низенькій и невзрачный, но ядовитаго свойства. Да вѣдь нравственность—вещь относительная.

Красивый и плотный господинъ. Что вы разумѣете подъ именемъ «относительная»?

Невзрачный, но ядовитаго свойства господинъ. То, что нравственность всякій мѣряетъ относительно къ себѣ. Одинъ называетъ нравственностью сниманье ему шляпы на улицѣ; другой называетъ нравственностью смотрѣнье сквозь пальцы на то, какъ онъ воруетъ; третій называетъ нравственностью услуги, оказываемыя его любовницѣ. Вѣдь, обыкновенно, какъ говоритъ всякій изъ нашей братьи своимъ подчиненнымъ?—Свысока говоритъ: «Милостивый государь, старайтесь исполнить свой долгъ относительно Бога, государя, отечества», а ты, молъ, ужъ тамъ себѣ разумѣй, относительно чего. Впрочемъ, это такъ только въ провинціяхъ водится; въ столицахъ этого не бываетъ, не правда ли? Тутъ если и явится у когонибудь въ три года два дома, такъ вѣдь это отчего? Все отъ честности, не такъ ли?

Красивый и плотный господинъ *(въ сторону)*. Скверенъ какъ чортъ, а языкъ какъ у змѣи.

Невзрачный, но ядовитаго свойства господинъ *(толкая подъ руку вовсе незнакомаго ему, кивая на красиваго господина)*. Четыре дома въ одной улицѣ; всѣ рядомъ, одинъ возлѣ другого, въ шесть лѣтъ выросли! Каково дѣйствуетъ честность на прозябательную силу, а?

Незнакомецъ *(уходя поспѣшно)*. Извините, я не дослышалъ.

Невзрачный, но ядовитаго свойства человѣкъ *(толкая подъ руку незнакомаго сосѣда)*. Глухота-то какъ нынче распространилась въ городѣ, а? Вотъ что значитъ нездоровый и сырой климатъ!

Незнакомый сосѣдъ. Да вотъ и гриппъ тоже. У меня всѣ дѣти переболѣли.

Невзрачный, но ядовитаго свойства человѣкъ. Да, и гриппъ, и глухота; свинка тоже въ горлѣ. *(Пропадаетъ въ толпѣ)*.

Разговоръ въ группѣ на сторонѣ.

Первый. А говорятъ, что подобное происшествіе случилось съ самимъ авторомъ: онъ въ какомъ-то городкѣ сидѣлъ въ тюрьмѣ за долги.

Господинъ съ другой стороны группы *(Подхватывая рѣчь)*. Нѣтъ, это не въ тюрьмѣ, это было на башнѣ. Это видѣли тѣ, которые проѣзжали. Говорятъ, это было что-то необыкновенное. Вообразите: поэтъ на высочайшей башнѣ, вокругъ горы, мѣстоположеніе восхитительное, и онъ оттуда читаетъ стихи. Не правда ли, что здѣсь является какая-то особенная черта писателя?

Господинъ положительнаго свойства. Авторъ долженъ быть умный человѣкъ.

Господинъ отрицательнаго свойства. Ничуть не умный. Я знаю, онъ служилъ, его чуть не выгнали изъ службы: просьбы не умѣлъ написать.

Простой враль. Бойкая, бойкая голова! Ему мѣста долго не давали, такъ что-жъ вы думаете? Онъ прямо написалъ письмо къ министру. Да вѣдь какъ написалъ!—Квинтильяновскимъ манеромъ. Одно ужъ то, какъ началъ: «милостивый государь»! А потомъ и пошелъ, и пошелъ, и пошелъ... страницъ восемь отвалялъ кругомъ. Министръ, какъ прочиталъ: «Ну», говоритъ, «благодарю, благодарю! Я вижу, у тебя много враговъ. Будь начальникъ отдѣленія!» И прямо изъ писцовъ махнулъ онъ въ начальники отдѣленія.

Господинъ добродушнаго свойства *(Обращаясь къ другому человѣку хладнокровнаго свойства)*. Чортъ его знаетъ, кому и вѣрить! И въ тюрьмѣ сидѣлъ, и на башню лазилъ! И выгнали изъ службы, и мѣсто дали!

Господинъ хладнокровнаго свойства. Да вѣдь это все говорится экспромптомъ?

Господинъ добродушнаго свойства. Какъ экспромптомъ?

Господинъ хладнокровный. Такъ. Вѣдь они еще

за двѣ минуты не знаютъ сами, что услышатъ отъ себя. Языкъ у нихъ безъ вѣдома хозяина вдругъ брякнетъ новость, а хозяинъ и радъ—возвращается домой, какъ будто бы наѣлся. А на другой день онъ ужъ и позабылъ о томъ, что самъ выдумалъ. Ему кажется, что онъ услышалъ отъ другихъ—и пошелъ передавать ее по городу всѣмъ.

Господинъ добродушный. Это, однакоже, безсовѣстно: лгать и не чувствовать самому.

Господинъ хладнокровный. Да есть и чувствительные. Есть такіе, которые чувствуютъ, что лгутъ, но считаютъ уже надобностью для разговора: красно поле рожью, а рѣчь ложью.

Дама средняго свѣта. Но только какой злой насмѣшникъ долженъ быть этотъ авторъ! Я, признаюсь, ни за что бы не хотѣла попасться ему на глаза: этакъ онъ вдругъ замѣтитъ во мнѣ смѣшное.

Господинъ съ вѣсомъ. Я не знаю, что это за человѣкъ. Это, это, это... Для этого человѣка нѣтъ ничего священнаго; сегодня онъ скажетъ: такой-то совѣтникъ не хорошъ, а завтра скажетъ, что и Бога нѣтъ. Вѣдь тутъ всего только одинъ шагъ.

Второй господинъ. Осмѣять! Да вѣдь со смѣхомъ шутить нельзя. Это значитъ разрушать всякое уваженіе—вотъ что это значитъ. Да вѣдь меня послѣ всего этого всякій прибьетъ на улицѣ, скажетъ: «Да вѣдь надъ вами смѣются; а на тебѣ такой же чинъ, такъ вотъ тебѣ затрещина!» Вѣдь это вотъ что значитъ.

Третій господинъ. Еще бы! Это серьезная вещь! Говорятъ: «бездѣлушка, пустяки, театральное представленіе». Нѣтъ, это не простыя бездѣлушки; на это обратить нужно строгое вниманіе. За этакія вещи и въ Сибирь посылаютъ. Да если бы я имѣлъ власть, у меня бы авторъ не пикнулъ. Я бы его въ такое мѣсто засадилъ, что онъ бы и свѣта Божьяго не взвидѣлъ.

Появляется группа людей, *Богъ вѣсть, какого свойства, впрочемъ, благородной наружности и прилично одѣтыхъ.*

Первый. Постоимте лучше здѣсь, покамѣстъ выйдетъ толпа. Ну, что это право! Затѣвать шумъ, рукоплесканье, какъ будто бы Богъ знаетъ что! Бездѣлка, какая-нибудь пустая театральная пьеса и подымать такую тревогу, кричать, вызывать автора—ну, что это такое!

Второй. Однакожъ, пьеса повеселила, развлекла.

Первый. Ну, да, повеселила, какъ обыкновенно веселитъ всякая бездѣлка. Но зачѣмъ же изъ этого такіе крики, толки? Разсуждаютъ, какъ будто о какой-нибудь важной вещи, апплодируютъ... Ну, что это такое! Ну, я понимаю, если бы какая-нибудь пѣвица или танцовщица—ну, тамъ я понимаю: тамъ удивляешься искусству, гибкости, проворству, природному таланту. Ну, а здѣсь что? Кричатъ:

«литераторъ! литераторъ! писатель!» Да что такое писатель? Что иной разъ попадется остроумное словцо, да спишетъ кое-что съ натуры... Да что же здѣсь за трудъ? Что-жъ тутъ такого? Вѣдь это все побасенки —и больше ничего.

Второй. Да, конечно, вещь не важная.

Первый. Разсудите: ну, танцоръ, напримѣръ: тамъ все-таки искусство, ужъ этого никакъ не сдѣлаешь, что онъ дѣлаетъ. Ну, захоти я напримѣръ: да у меня, просто, ноги не подымутся. Ну, сдѣлай я антраша—не сдѣлаю ни за что. А вѣдь, писать можно не учившись. Я не знаю, кто такой авторъ, но мнѣ сказывали, что онъ невѣжа совершенный, ничего не знаетъ: его откуда-то, кажется, выгнали.

Второй. Но, однакожъ, все-таки что-нибудь онъ долженъ знать: безъ этого нельзя писать.

Первый. Да помилуйте, что-жъ онъ можетъ знать? Вы сами знаете, что такое литераторъ: пустѣйшій человѣкъ! Это всему свѣту извѣстно—ни на какое дѣло не годится. Ужъ ихъ пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну, что такое они пишутъ?— Вѣдь это все пустяки, побасенки! Захоти, я сей же часъ это напишу, и вы напишете, и онъ напишетъ, и всякій напишетъ.

Второй. Да, конечно, почему-жъ и не написать. Будь только капля ума въ головѣ, такъ ужъ и можно.

Первый, Да и ума не нужно. Зачѣмъ тутъ умъ? Вѣдь это все побасенки. Ну, если бы еще была, положимъ, какая-нибудь ученая наука, какой-нибудь предметъ, котораго еще не знаешь, а вѣдь это что такое? Вѣдь это всякій мужикъ знаетъ. Это всякій день увидишь на улицѣ. Садись только у окна, да записывай все, что ни дѣлается— вотъ и вся штука!

Третій. Это правда. Какъ подумаешь, право, на какой вздоръ употребляютъ время!

Первый. Именно, трата времени—больше ничего. Побасенки, пустяки! Просто бы нужно запретить давать имъ перо и чернила въ руки. Однакожъ народъ выходитъ, пойдемте! Подымать шумъ, кричать, поощрять! а дѣло, просто, вздоръ! Побасенки! пустяки! побасенки! (*Уходятъ. Толпа рѣдѣетъ, бѣгутъ кое-какіе отставшіе*).

Добродушный чиновникъ. А все бы, право, ну, что бы хоть одного честнаго человѣка выставить! Все плуты, да плуты.

Одинъ изъ народа. Слышь ты, жди меня на перекресткѣ! Я забѣгу, возьму рукавицы.

Одинъ изъ господъ (*смотря на часы*). Однако, скоро часъ. Никогда я такъ поздно не выходилъ изъ театра. (*Уходитъ*).

Отставшій чиновникъ. Только время даромъ пропало! Нѣтъ, никогда больше не пойду въ театръ! (*Уходитъ. Сцѣни пустѣютъ*).

Авторъ пьесы (*выходя*). Я услышалъ болѣе, чѣмъ пред-

полагалъ. Какая пестрая куча толковъ! Счастье комику, который родился среди націи, гдѣ общество еще не слилось въ одну недвижную массу, гдѣ оно не облеклось одной корой стараго предразсудка, заключающаго мысли всѣхъ въ одну и ту же форму и мѣрку, гдѣ что человѣкъ, то и мнѣнье, гдѣ всякій самъ создатель своего характера. Какое разнообразіе въ этихъ мнѣніяхъ, и какъ вездѣ блеснулъ этотъ твердый, ясный русскій умъ; и въ семъ благородномъ стремленіи государственнаго мужа! и въ семъ высокомъ самоотверженьи забившагося въ глушь чиновника! и въ нѣжной красотѣ великодушной женской души! и въ эстетическомъ чувствѣ цѣнителей! и въ простомъ вѣрномъ чутьѣ народа. Какъ даже въ сихъ недоброжелательныхъ осужденіяхъ много того, что нужно знать комику! Какой живой урокъ! Да, я удовлетворенъ. Но отчего же грустно становится моему сердцу? Странно: мнѣ жаль, что никто не замѣтилъ честнаго лица, бывшаго въ моей пьесѣ. Да, было одно честное, благородное лицо, дѣйствовавшее въ ней во все продолженіе ея. Это честное, благородное лицо былъ—*смѣхъ*. Онъ былъ благороденъ, потому что рѣшился выступить, несмотря на низкое значеніе, которое дается ему въ свѣтѣ. Онъ былъ благороденъ, потому что рѣшился выступить несмотря на то, что доставилъ обидное прозваніе комику,—прозваніе холоднаго эгоиста, и заставилъ даже усомниться въ присутствіи нѣжныхъ движеній души его. Никто не вступился за этотъ смѣхъ. Я комикъ, я служилъ ему честно, и потому долженъ стать его заступникомъ. Нѣтъ, смѣхъ значительнѣй и глубже, чѣмъ думаютъ,—не тотъ смѣхъ, который порождается временной раздражительностью, желчнымъ, болѣзненнымъ расположеніемъ характера; не тотъ также легкій смѣхъ, служащій для празднаго развлеченія и забавы людей;—но тотъ смѣхъ, который весь излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка,—излетаетъ изъ ней потому, что на днѣ ея заключенъ вѣчно-бьющій родникъ его, который углубляетъ предметъ, заставляетъ выступить ярко то, что проскользнуло бы, безъ проникающей силы, котораго мелочь и пустота жизни не испугала бы такъ человѣка. Презрѣнное и ничтожное, мимо котораго онъ равнодушно проходитъ твсякій день, не возросло бы предъ нимъ въ такой страшной, почти карикатурной силѣ, и онъ не вскрикнулъ бы, содрогаясь: «неужели есть такіе люди?» тогда какъ, по собственному сознанію его, бываютъ хуже люди. Нѣтъ, несправедливы тѣ, которые говорятъ, будто возмущаетъ смѣхъ. Возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей; но, озаренное силою смѣха, несетъ оно уже примиреніе въ душу. И тотъ, кто бы понесъ мщеніе противъ злобнаго человѣка, уже почти мирится съ нимъ, видя осмѣянными низкія движенья души его. Несправедливы тѣ, которые говорятъ, что смѣхъ не дѣйствуетъ на тѣхъ, противъ которыхъ устремленъ, и что плутъ первый посмѣется надъ плутомъ, выведеннымъ на сцену:

плутъ-потомокъ посмѣется, но плутъ-современникъ не въ силахъ посмѣяться! Онъ слышитъ, что уже у всѣхъ остался неотразимый образъ, что одного низкаго движенья съ его стороны достаточно, чтобы этотъ образъ пошелъ ему въ вѣчное прозвище; а насмѣшки боится даже тотъ, который уже ничего не боится на свѣтѣ. Нѣтъ, засмѣяться добрымъ, свѣтлымъ смѣхомъ можетъ только одна глубоко-добрая душа. Но не слышатъ могучей силы такого смѣха: «что смѣшно, то низко», говоритъ свѣтъ; только тому, что произносится суровымъ, напряженнымъ голосомъ, тому только даютъ названье высокаго. Но Боже! сколько проходитъ ежедневно людей, для которыхъ нѣтъ вовсе высокаго въ мірѣ! Все, что ни творилось вдохновеньемъ, для нихъ—пустяки и побасенки; созданія Шекспира—для нихъ побасенки; святыя движенья души—для нихъ побасенки. Нѣтъ, не оскорбленное мелочное самолюбіе писателя заставляетъ меня сказать это, не потому, что мои незрѣлыя, слабыя созданія были сейчасъ названы побасенками,— нѣтъ, я вижу свои пороки и вижу, что достоинъ упрековъ; но не могла выносить равнодушно душа моя, когда совершеннѣйшія творенія честились именами пустяковъ и побасенокъ, когда всѣ свѣтила и звѣзды міра признавались творцами однихъ пустяковъ и побасенокъ! Ныла душа моя, когда я видѣлъ, какъ много тутъ же, среди самой жизни, безотвѣтныхъ, мертвыхъ обитателей, страшныхъ недвижнымъ холодомъ души своей и безплодной пустыней сердца; ныла душа моя, когда на безчувственныхъ ихъ лицахъ не вздрагивалъ даже ни призракъ выраженія отъ того, что повергало въ небесныя слезы глубоко-любящую душу, и не коснѣлъ языкъ ихъ произнести свое вѣчное слово: «побасенки!» Побасенки!.. А вонъ протекли вѣка, города и народы снеслись и исчезли съ лица земли, какъ дымъ унеслось все, что было, а побасенки живутъ и повторяются понынѣ, и внемлютъ имъ мудрые цари, глубокіе правители, прекрасный старецъ и полный благороднаго стремленія юноша. Побасенки!.. А вонъ стонутъ балконы и перила театровъ: все потряслось снизу до верху, превратясь въ одно чувство, въ одинъ мигъ, въ одного человѣка, всѣ люди встрѣтились, какъ братья, въ одномъ душевномъ движеньи, и гремитъ дружнымъ рукоплесканьемъ благородный гимнъ тому, котораго уже пятьсотъ лѣтъ какъ нѣтъ на свѣтѣ. Слышатъ ли это въ могилѣ истлѣвшія его кости? Отзывается ли душа его, терпѣвшая суровое горе жизни? Побасенки!.. А вонъ, среди сихъ же рядовъ потрясенный толпы, пришелъ удрученный горемъ и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку—и брызнули вдругъ свѣжительныя слезы изъ его очей, и вышелъ онъ примиренный съ жизнью и проситъ вновь у Неба горя и страданій, чтобы только жить и залиться вновь слезами отъ такихъ побасенокъ. Побасенки!.. Но міръ задремалъ бы безъ такихъ побасенокъ, обмелѣла бы жизнь, плѣсенью и тиной покрылись бы души. Побасенки!.. О, да пребудутъ же вѣчно святы въ потомствѣ имена бла-

госклонно внимавшихъ такимъ побасенкамъ: чудный перстъ Провидѣнія былъ неотлучно надъ главами творцовъ ихъ. Въ минуты даже бѣдъ и гоненій, все, что было благороднѣйшаго въ государствахъ, становилось прежде всего ихъ заступникомъ: Вѣнчанный Монархъ осѣнялъ ихъ царскимъ щитомъ своимъ съ вышины недоступнаго престола.

Бодрѣй же въ путь! И да не смутится душа отъ осужденій, но да приметъ благодарно указанья недостатковъ, не омрачась даже и тогда, если бы отказали ей въ высокихъ движеньяхъ и въ святой любви къ человѣчеству! Міръ—какъ водоворотъ: движутся въ немъ вѣчно мнѣнія и толки; но все перемалываетъ время: какъ шелуха, слетаютъ ложныя, и, какъ твердыя зерна, остаются недвижныя истины. Что признавалось пустымъ, можетъ явиться потомъ вооруженное строгимъ значеньемъ. Во глубинѣ холоднаго смѣха могутъ отыскаться горячія искры вѣчной могучей любви. И почему знать, можетъ-быть, будетъ признано потомъ всѣми, что въ силу тѣхъ же законовъ, почему гордый и сильный человѣкъ является ничтожнымъ и слабымъ въ несчастіи, а слабый возрастаетъ, какъ исполинъ, среди бѣдъ,—въ силу тѣхъ же самыхъ законовъ, кто льетъ часто душевныя, глубокія слезы, тотъ, кажется, болѣе всѣхъ смѣется на свѣтѣ!..

Похожденія Чичикова
или
Мертвыя души.

ПОЭМА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Глава I.

Въ ворота гостиницы губернскаго города NN въѣхала довольно красивая рессорная небольшая бричка, въ какой ѣздятъ холостяки, отставные подполковники, штабсъ-капитаны, помѣщики, имѣющіе около сотни душъ крестьянъ,—словомъ, всѣ тѣ, которыхъ называютъ господами средней руки. Въ бричкѣ сидѣлъ господинъ, не красавецъ, но и не дурной наружности, ни слишкомъ толстъ, ни слишкомъ тонокъ; нельзя сказать, чтобы старъ, однакожъ и не такъ, чтобы слишкомъ молодъ. Въѣздъ его не произвелъ въ городѣ совершенно никакого шума и не былъ сопровожденъ ничѣмъ особеннымъ; только два русскіе мужика, стоявшіе у дверей кабака противъ гостиницы, сдѣлали кое-какія замѣчанія, относившіяся, впрочемъ, болѣе къ экипажу, чѣмъ къ сидѣвшему въ немъ. «Вишь ты»—сказалъ одинъ другому: «вотъ какое колесо! Что ты думаешь: доѣдетъ то колесо, если бъ случилось, въ Москву, или не доѣдетъ?»—«Доѣдетъ»,—отвѣчалъ другой.—«А въ Казань-то, я думаю, не доѣдетъ?»—«Въ Казань не доѣдетъ»,—отвѣчалъ другой. Этимъ разговоръ и кончился. Да еще, когда бричка подъѣхала къ гостиницѣ, встрѣтился молодой человѣкъ въ бѣлыхъ канифасовыхъ панталонахъ, весьма узкихъ и короткихъ, во фракѣ съ покушеньями на моду, изъ-подъ котораго видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою съ бронзовымъ пистолетомъ. Молодой человѣкъ оборотился назадъ, посмотрѣлъ экипажъ, придержалъ рукою картузъ, чуть не слетѣвшій отъ вѣтра, и пошелъ своей дорогой.

Когда экипажъ въѣхалъ на дворъ, господинъ былъ встрѣченъ трактирнымъ слугою, или половымъ, какъ ихъ называютъ въ русскихъ трактирахъ, живымъ и вертлявымъ до такой степени, что даже нельзя было разсмотрѣть, какое у него было лицо. Онъ выбѣжалъ проворно съ салфеткой въ рукѣ, весь длинный и въ длинномъ демикотонномъ сюртукѣ, со спинкою чуть не на самомъ затылкѣ, встряхнулъ волосами и повелъ проворно господина вверхъ по всей деревянной галдареѣ показывать ниспосланный ему Богомъ покой. Покой былъ извѣстнаго

рода, ибо гостиница была тоже извѣстнаго рода, то-есть именно такая, какъ бываютъ гостиницы въ губернскихъ городахъ, гдѣ за два рубля въ сутки проѣзжающіе получаютъ покойную комнату съ тараканами, выглядывающими, какъ черносливъ, изъ всѣхъ угловъ, и дверью въ сосѣднее помѣщеніе, всегда заставленною комодомъ, гдѣ устраивается сосѣдъ, молчаливый и спокойный человѣкъ, но чрезвычайно любопытный, интересующійся знать о всѣхъ подробностяхъ проѣзжающаго. Наружный фасадъ гостиницы отвѣчалъ ея внутренности: она была очень длинна, въ два этажа; нижній не былъ выштукатуренъ и оставался въ темно-красныхъ кирпичикахъ, еще болѣе потемнѣвшихъ отъ лихихъ погодныхъ перемѣнъ и грязноватыхъ уже самихъ по себѣ; верхній былъ выкрашенъ вѣчною желтою краскою; внизу были лавочки съ хомутами, веревками и баранками. Въ угольной изъ этихъ лавочекъ или, лучше, въ окнѣ помѣщался сбитенщикъ, съ самоваромъ изъ красной мѣди и лицомъ такъ же краснымъ, какъ самоваръ, такъ что издали можно бы подумать, что на окнѣ стояло два самовара, если-бъ одинъ самоваръ не былъ съ черною какъ смоль бородою.

Пока пріѣзжій господинъ осматривалъ свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемоданъ изъ бѣлой кожи, нѣсколько поистасканный, показывавшій, что былъ не въ первый разъ въ дорогѣ. Чемоданъ внесли кучеръ Селифанъ, низенькій человѣкъ въ тулупчикѣ, и лакей Петрушка, малый лѣтъ тридцати, въ просторномъ подержанномъ сюртукѣ, какъ видно, съ барскаго плеча, малый немного суровый на взглядъ, съ очень крупными губами и носомъ. Вслѣдъ за чемоданомъ внесенъ былъ небольшой ларчикъ краснаго дерева, съ штучными выкладками изъ корельской березы, сапожныя колодки и завернутая въ синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучеръ Селифанъ отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка сталъ устраиваться въ маленькой передней, очень темной конуркѣ, куда уже успѣлъ притащить свою шинель и вмѣстѣ съ нею какой-то свой собственный запахъ, который былъ сообщенъ и принесенному вслѣдъ за тѣмъ мѣшку съ разнымъ лакейскомъ туалетомъ. Въ этой конуркѣ онъ приладилъ къ стѣнѣ узенькую трехногую кровать, накрывъ ее небольшимъ подобіемъ тюфяка, убитымъ и плоскимъ какъ блинъ и, можетъ-быть, такъ же замаслившимся какъ блинъ, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамѣстъ слуги управлялись и возились, господинъ отправился въ общую залу. Какія бываютъ эти общія залы—всякій проѣзжающій знаетъ очень хорошо: тѣ же стѣны, выкрашенныя масляной краской, потемнѣвшія вверху отъ трубочнаго дыма и залосненныя снизу спинами разныхъ проѣзжающихъ, а еще болѣе туземными купеческими, ибо купцы по торговымъ днямъ приходили сюда самъ-шестъ и самъ-семъ испивать свою извѣстную пару чаю; тотъ же за-

копченый потолокъ; та же копченая люстра со множествомъ висящихъ стеклышекъ, которыя прыгали и звенѣли всякій разъ, когда половой бѣгалъ по истертымъ клеенкамъ, помахивая бойко подносомъ, на которомъ сидѣла такая же бездна чайныхъ чашекъ, какъ птицъ на морскомъ берегу; тѣ же картины во всю стѣну, писанныя масляными красками; словомъ, все то же, что и вездѣ; только и разницы, что на одной картинѣ изображена была нимфа съ такими огромными грудями, какихъ читатель, вѣрно, никогда не видывалъ. Подобная игра природы, впрочемъ, случается на разныхъ историческихъ картинахъ, неизвѣстно, въ какое время, откуда и кѣмъ привезенныхъ къ намъ въ Россію, иной разъ даже нашими вельможами, любителями искусствъ, накупившими ихъ въ Италіи, по совѣту везшихъ ихъ курьеровъ. Господинъ скинулъ съ себя картузъ и размоталъ съ шеи шерстяную, радужныхъ цвѣтовъ косынку, какую женатымъ приготовляетъ своими руками супруга, снабжая приличными наставленіями, какъ закутываться, а холостымъ—навѣрное не могу сказать, кто дѣлаетъ, Богъ ихъ знаетъ: я никогда не носилъ такихъ косынокъ. Размотавши косынку, господинъ велѣлъ подать себѣ обѣдъ. Покамѣстъ ему подавались разныя обычныя въ трактирахъ блюда, какъ-то: щи съ слоенымъ пирожкомъ, нарочно сберегаемымъ для проѣзжающихъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, мозги съ горошкомъ, сосиски съ капустой, пулярка жареная, огурецъ соленый и вѣчный слоеный сладкій пирожокъ, всегда готовый къ услугамъ; покамѣстъ ему все это подавалось, и разогрѣтое, и просто холодное, онъ заставилъ слугу, или полового, разсказывать всякій вздоръ о томъ, кто содержалъ прежде трактиръ и кто теперь, и много ли даетъ дохода, и большой ли подлецъ ихъ хозяинъ, на что половой, по обыкновенію, отвѣчалъ: «О, большой, сударь, мошенникъ!» Какъ въ просвѣщенной Европѣ, такъ и въ просвѣщенной Россіи есть теперь весьма много почтенныхъ людей, которые безъ того не могутъ покушать въ трактирѣ, чтобъ не поговорить съ слугою, а иногда даже забавно пошутить надъ нимъ. Впрочемъ, пріѣзжій дѣлалъ не все пустые вопросы: онъ съ чрезвычайною точностью разспросилъ, кто въ городѣ губернаторъ, кто предсѣдатель палаты, кто прокуроръ,—словомъ, не пропустилъ ни одного значительнаго чиновника; но еще съ большею точностью, если даже не съ участіемъ, разспросилъ обо всѣхъ значительныхъ помѣщикахъ: сколько кто имѣетъ душъ крестьянъ, какъ далеко живетъ отъ города, какого даже характера и какъ часто пріѣзжаетъ въ городъ; разспросилъ внимательно о состояніи края: не было ли какихъ болѣзней въ ихъ губерніи—повальныхъ горячекъ, убійственныхъ какихъ-либо лихорадокъ, оспы и тому подобнаго, и все такъ и съ такою точностью, которая показывала болѣе, чѣмъ одно простое любопытство. Въ пріемахъ своихъ господинъ имѣлъ что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвѣстно, какъ онъ это дѣлалъ, но только носъ его звучалъ какъ труба.

Это, повидимому, совершенно невинное достоинство пріобрѣло, однакожъ, ему много уваженія со стороны трактирнаго слуги, такъ что онъ всякій разъ, когда слышалъ этотъ звукъ, встряхивалъ волосами, выпрямливался почтительнѣе и, нагнувши съ вышины свою голову, спрашивалъ: «не нужно ли чего?» Послѣ обѣда господинъ выкушалъ чашку кофею и сѣлъ на диванъ, подложивши себѣ за спину подушку, которую въ русскихъ трактирахъ вмѣсто эластической шерсти набиваютъ чѣмъ-то чрезвычайно похожимъ на кирпичъ и булыжникъ. Тутъ началъ онъ зѣвать и приказалъ отвести себя въ свой номеръ, гдѣ, прилегши, заснулъ два часа. Отдохнувши, онъ написалъ на лоскуткѣ бумажки, по просьбѣ трактирнаго слуги, чинъ, имя и фамилію, для сообщенія, куда слѣдуетъ, въ полицію. На бумажкѣ половой, спускаясь съ лѣстницы, прочиталъ по складамъ слѣдующее: «Коллежскій совѣтникъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, помѣщикъ, по своимъ надобностямъ». Когда половой все еще разбиралъ по складамъ записку, самъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ отправился посмотрѣть городъ, которымъ былъ, какъ казалось, удовлетворенъ, ибо нашелъ, что городъ не уступалъ другимъ губернскимъ городамъ: сильно била въ глаза желтая краска на каменныхъ домахъ и скромно темнѣла сѣрая на деревянныхъ. Дома были въ одинъ, два и полтора этажа, съ вѣчнымъ мезониномъ, очень красивымъ, по мнѣнію губернскихъ архитекторовъ. Мѣстами эти дома казались затерянными среди широкой какъ поле улицы и нескончаемыхъ деревянныхъ заборовъ, мѣстами сбивались въ кучу, и здѣсь было замѣтно болѣе движенія народа и живости. Попадались почти смытыя дождемъ вывѣски съ кренделями и сапогами, кое-гдѣ съ нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавскаго портного; гдѣ магазинъ съ картузами, фуражками и надписью: «Иностранецъ Василій Федоровъ»; гдѣ нарисованъ былъ бильярдъ съ двумя игроками во фракахъ, въ какіе одѣваются у насъ на театрахъ гости, входящіе въ послѣднемъ актѣ на сцену. Игроки были изображены съ прицѣлившимися кіями, нѣсколько вывороченными назадъ руками и косыми ногами, только-что сдѣлавшими на воздухѣ антраша. Подъ всѣмъ этимъ было написано: «И вотъ заведеніе». Кое-гдѣ просто на улицѣ стояли столы съ орѣхами, мыломъ и пряниками, похожими на мыло; гдѣ харчевня съ нарисованною толстою рыбою и воткнутою въ нее вилкою. Чаще же всего замѣтно было потемнѣвшихъ двуглавыхъ государственныхъ орловъ, которые теперь уже замѣнены лаконическою надписью: «Питейный домъ». Мостовая вездѣ была плохована. Онъ заглянулъ и въ городской садъ, который состоялъ изъ тоненькихъ деревъ, дурно принявшихся, съ подпорками внизу, въ видѣ треугольниковъ, очень красиво выкрашенныхъ зеленою масляною краскою. Впрочемъ, хотя и деревца были не выше тростника, о нихъ было сказано въ газетахъ при описаніи иллюминаціи, что «городъ нашъ украсился,

благодаря попеченію гражданскаго правителя, садомъ, состоящимъ изъ тѣнистыхъ, широко-вѣтвистыхъ деревъ, дающихъ прохладу въ знойный день», и что при этомъ «было очень умилительно глядѣть, какъ сердца гражданъ трепетали въ избыткѣ благодарности и струили потоки слезъ, въ знакъ признательности къ господину градоначальнику». Разспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, къ собору, къ присутственнымъ мѣстамъ, къ губернатору, онъ отправился взглянуть на рѣку, протекавшую посреди города; дорогою оторвалъ прибитую къ столбу афишу, съ тѣмъ чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрѣлъ пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой слѣдовалъ мальчикъ въ военной ливреѣ, съ узелкомъ въ рукѣ, и еще разъ окинувши все глазами, какъ бы съ тѣмъ, чтобы хорошо припомнить положеніе мѣста, отправился домой прямо въ свой нумеръ, поддерживаемый слегка на лѣстницѣ трактирнымъ слугою. Накушавшись чаю, онъ усѣлся передъ столомъ, велѣлъ подать себѣ свѣчу, вынулъ изъ кармана афишу, поднесъ ее къ свѣчѣ и сталъ читать, прищуря немного правый глазъ. Впрочемъ, замѣчательнаго не много было въ афишѣ: давалась драма г. Коцебу, въ которой Ролла игралъ г. Поплевинъ, Кору—дѣвица Зяблова, прочія лица были и того менѣе замѣчательны; однакожъ онъ прочелъ ихъ всѣхъ, добрался даже до цѣны партера и узналъ, что афиша напечатана въ типографіи губернскаго правленія; потомъ переворотилъ на другую сторону—узнать, нѣтъ ли и тамъ чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протеръ глаза, свернулъ опрятно и положилъ въ свой ларчикъ, куда имѣлъ обыкновеніе складывать все, что ни попадалось. День, кажется, былъ заключенъ порціей холодной телятины, бутылкою кислыхъ щей и крѣпкимъ сномъ во всю носовую завертку, какъ выражаются въ иныхъ мѣстахъ обширнаго русскаго государства.

Весь слѣдующій день посвященъ былъ визитамъ. Пріѣзжій отправился дѣлать визиты всѣмъ городскимъ сановникамъ. Былъ съ почтеніемъ у губернатора, который, какъ оказалось, подобно Чичикову, былъ ни толстъ, ни тонокъ собой, имѣлъ на шеѣ Анну и поговаривали, даже, что былъ представленъ къ звѣздѣ; впрочемъ, былъ большой добрякъ и даже самъ вышивалъ иногда по тюлю. Потомъ отправился къ вице-губернатору, потомъ былъ у прокурора, у предсѣдателя палаты, полиціймейстера, у откупщика, у начальника надъ казенными фабриками... жаль, что нѣсколько трудно упомнить всѣхъ сильныхъ міра сего; но довольно сказать, что пріѣзжій оказалъ необыкновенную дѣятельность насчетъ визитовъ: онъ явился даже засвидѣтельствовать почтеніе инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потомъ еще долго сидѣлъ въ бричкѣ, придумывая, кому бы еще отдать визитъ, да ужъ больше въ городѣ не нашлось

чиновниковъ. Въ разговорахъ съ сими властителями, онъ очень искусно умѣлъ польстить каждому. Губернатору намекнулъ какъ-то вскользь, что въ его губернію въѣзжаешь какъ въ рай, дороги вездѣ бархатныя, и что тѣ правительства, которыя назначаютъ мудрыхъ сановниковъ, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказалъ что-то очень лестное насчетъ городскихъ будочниковъ; а въ разговорахъ съ вице-губернаторомъ и предсѣдателемъ палаты, которые были еще только статскіе совѣтники, сказалъ даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень имъ понравилось. Слѣдствіемъ этого было то, что губернаторъ сдѣлалъ ему приглашеніе пожаловать къ нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочіе чиновники тоже, съ своей стороны, кто на обѣдъ, кто на бостончикъ, кто на чашку чаю.

О себѣ пріѣзжій, какъ казалось, избѣгалъ много говорить; если же говорилъ, то какими-то общими мѣстами, съ замѣтною скромностью, и разговоръ его въ такихъ случаяхъ принималъ нѣсколько книжные обороты: что онъ незначащій червь міра сего и недостоинъ того, чтобы много о немъ заботились, что испыталъ много на вѣку своемъ, претерпѣлъ на службѣ за правду, имѣлъ много непріятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищетъ избрать наконецъ мѣсто для жительства, и что, прибывши въ этотъ городъ, почелъ за непремѣнный долгъ засвидѣтельствовать свое почтеніе первымъ его сановникамъ. Вотъ все, что узнали въ городѣ объ этомъ новомъ лицѣ, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринкѣ. Приготовленіе къ этой вечеринкѣ заняло слишкомъ два часа времени, и здѣсь въ пріѣзжемъ оказалась такая внимательность къ туалету, какой даже не вездѣ видывано. Послѣ небольшого послѣобѣденнаго сна, онъ приказалъ подать умыться и чрезвычайно долго теръ мыломъ обѣ щеки, подперши ихъ изнутри языкомъ; потомъ, взявши съ плеча трактирнаго слуги полотенце, вытеръ имъ со всѣхъ сторонъ полное свое лицо, начавъ изъ-за ушей и фыркнувъ прежде раза два въ самое лицо трактирнаго слуги; потомъ надѣлъ передъ зеркаломъ манишку, выщипнулъ вылѣзшіе изъ носу два волоска и непосредственно за тѣмъ очутился во фракѣ брусничнаго цвѣта съ искрой. Такимъ образомъ одѣвшись, покатился онъ въ собственномъ экипажѣ по безконечно широкимъ улицамъ, озареннымъ тощимъ освѣщеніемъ изъ кое-гдѣ мелькавшихъ оконъ. Впрочемъ, губернаторскій домъ былъ такъ освѣщенъ, хоть бы и для бала; коляски съ фонарями, передъ подъѣздомъ два жандарма, форейторскіе крики вдали,—словомъ все, какъ нужно. Вошедши въ залъ, Чичиковъ долженъ былъ на минуту зажмурить глаза, потому что блескъ отъ свѣчей, лампъ и дамскихъ платьевъ былъ страшный. Все было залито свѣтомъ. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами тамъ и и тамъ, какъ носятся мухи на бѣломъ сіяющемъ рафинадѣ въ пору жаркаго іюльскаго лѣта, когда старая ключница рубитъ и дѣлитъ

его на сверкающіе обломки передъ открытымъ окномъ: дѣти всѣ глядятъ, собравшись вокругъ, слѣдя любопытно за движеніемъ жесткихъ рукъ ея, подымающихъ молотъ, а воздушные эскадроны мухъ, поднятые легкимъ воздухомъ, влетаютъ смѣло, какъ полные хозяева, и, пользуясь подслѣповатостью старухи и солнцемъ, безпокоющимъ глаза ея, обсыпаютъ лакомые куски, гдѣ въ-разсыпную, гдѣ густыми кучами. Насыщенныя богатымъ лѣтомъ, и безъ того на всякомъ шагу разставляющимъ лакомыя блюда, онѣ влетѣли вовсе не съ тѣмъ, чтобы ѣсть, но чтобы только показать себя, пройтись взадъ и впередъ по сахарной кучѣ, потереть одна о другую заднія или переднія ножки, или почесать ими у себя подъ крылышками, или, протянувши обѣ переднія лапки, потереть ими у себя надъ головою, повернуться, и опять улетѣть, и опять прилетѣть съ новыми докучными эскадронами. Не успѣлъ Чичиковъ осмотрѣться, какъ уже былъ схваченъ подъ руку губернаторомъ, который представилъ его тутъ же губернаторшѣ. Пріѣзжій гость и тутъ не уронилъ себя: онъ сказалъ какой-то комплиментъ, весьма приличный для человѣка среднихъ лѣтъ, имѣющаго чинъ не слишкомъ большой и не слишкомъ малый. Когда установившіяся пары танцующихъ притиснули всѣхъ къ стѣнѣ, онъ, заложивши руки назадъ, глядѣлъ на нихъ минуты двѣ очень внимательно. Многія дамы были хорошо одѣты и по модѣ, другія одѣлись во что Богъ послалъ въ губернскій городъ. Мужчины здѣсь, какъ и вездѣ, были двухъ родовъ: одни тоненькіе, которые все увивались около дамъ; нѣкоторые изъ нихъ были такого рода, что съ трудомъ можно было отличить ихъ отъ петербургскихъ: имѣли такъ же весьма обдуманно и со вкусомъ зачесанныя бакенбарды, или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лицъ, такъ же небрежно подсѣдали къ дамамъ, такъ же говорили по-французски и смѣшили дамъ такъ же, какъ и въ Петербургѣ. Другой родъ мужчинъ составляли толстые или такіе же, какъ Чичиковъ, т. е. не такъ чтобы слишкомъ толстые, однакожъ и не тонкіе. Эти, напротивъ того, косились и пятились отъ дамъ и посматривали только по сторонамъ, не разставлялъ ли гдѣ губернаторскій слуга зеленаго стола для виста. Лица у нихъ были полныя и круглыя, на иныхъ даже были бородавки, кое-кто былъ и рябоватъ; волосъ они на головѣ не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манеръ *чорта меня побери*, какъ говорятъ французы; волосы у нихъ были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленныя и крѣпкія. Это были почетные чиновники въ городѣ. Увы! толстые умѣютъ лучше на этомъ свѣтѣ обдѣлывать дѣла свои, нежели тоненькіе. Тоненькіе служатъ больше по особеннымъ порученіямъ, или только числятся и виляютъ туда и сюда; ихъ существованіе какъ-то слишкомъ легко, воздушно и совсѣмъ ненадежно. Толстые же никогда не занимаютъ косвенныхъ мѣстъ, а все прямыя, и ужъ если сядутъ гдѣ, то сядутъ надежно и крѣпко,

такъ что скорѣй мѣсто затрещитъ и угнется подъ ними, а ужъ они не слетятъ. Наружнаго блеска они не любятъ; на нихъ фракъ не такъ ловко скроенъ, какъ у тоненькихъ, зато въ шкатулкахъ благодать Божія. У тоненькаго въ три года не остается ни одной души, не заложенной въ ломбардъ; у толстаго спокойно, глядь—и явился гдѣ-нибудь въ концѣ города домъ, купленный на имя жены, потомъ въ другомъ концѣ другой домъ, потомъ близъ города деревенька, потомъ и село со всѣми угодьями. Наконецъ, толстый, послуживши Богу и государю, заслуживши всеобщее уваженіе, оставляетъ службу, перебирается и дѣлается помѣщикомъ, славнымъ русскимъ бариномъ, хлѣбосоломъ, и живетъ, и хорошо живетъ. А послѣ него опять тоненькіе наслѣдники спускаютъ, по русскому обычаю, на курьерскихъ все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышленія занимали Чичикова въ то время, когда онъ разсматривалъ общество, и слѣдствіемъ этого было то, что онъ наконецъ присоединился къ толстымъ, гдѣ встрѣтилъ почти все знакомыя лица: прокурора, съ весьма черными густыми бровями и нѣсколько подмигивавшимъ лѣвымъ глазомъ, такъ, какъ будто бы говорилъ: «пойдемъ, братъ, въ другую комнату, тамъ я тебѣ что-то скажу», —человѣка, впрочемъ, серьезнаго и молчаливаго; почтмейстера, низенькаго человѣка, но остряка и философа; предсѣдателя палаты, весьма разсудительнаго и любезнаго человѣка,—которые всѣ привѣтствовали его какъ стариннаго знакомаго, на что Чичиковъ раскланивался, нѣсколько на бокъ, впрочемъ не безъ пріятности. Тутъ же познакомился онъ съ весьма обходительнымъ и учтивымъ помѣщикомъ Маниловымъ и нѣсколько неуклюжимъ на взглядъ Собакевичемъ, который съ перваго раза ему наступилъ на ногу, сказавши : «Прошу прощенія». Тутъ же ему всунули карту на вистъ, которую онъ принялъ съ такимъ же вѣжливымъ поклономъ. Они сѣли за зеленый столъ и не вставали уже до ужина. Всѣ разговоры совершенно прекратились, какъ случается всегда, когда наконецъ предаются занятію дѣльному. Хотя почтмейстеръ былъ очень рѣчистъ, но и тотъ, взявши въ руки карты, тотъ же часъ выразилъ на лицѣ своемъ мыслящую физіономію, покрылъ нижнею губою верхнюю и сохранилъ такое положеніе во все время игры. Выходя съ фигуры, онъ ударялъ по столу крѣпко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!» если же король: «Пошелъ, тамбовскій мужикъ!» А предсѣдатель приговаривалъ: «А я его по усамъ! А я ее по усамъ!» Иногда при ударѣ картъ по столу вырывались выраженія: «А! была не была, не съ чего, такъ съ бубенъ!» или же просто восклицанія: «черви! червоточина! пикенція!» или «пикендрасъ! пичуру щухъ! пичура»! и даже просто: «пичукъ»! —названія, которыми перекрестили они масти въ своемъ обществѣ. По окончаніи игры спорили, какъ водится, довольно громко. Пріѣзжій нашъ гость также спорилъ, но какъ-то чрезвычайно искусно,

такъ что всѣ видѣли, что онъ спорилъ, а между тѣмъ пріятно спорилъ. Никогда онъ не говорилъ: «Вы пошли», но «вы изволили пойти»; имѣлъ честь покрыть вашу двойку», и тому подобное. Чтобы еще болѣе согласить въ чемъ-нибудь своихъ противниковъ, онъ всякій разъ подносилъ имъ всѣмъ свою серебряную съ финифтью табакерку, на днѣ которой замѣтили двѣ фіалки, положенныя туда для запаха. Вниманіе пріѣзжаго особенно заняли помѣщики Маниловъ и Собакевичъ, о которыхъ было упомянуто выше. Онъ тотчасъ же освѣдомился о нихъ, отозвавши тутъ же нѣсколько въ сторону предсѣдателя и почтмейстера. Нѣсколько вопросовъ, имъ сдѣланныхъ, показали въ гостѣ не только любознательность, но и основательность, ибо прежде всего разспросилъ онъ, сколько у каждаго изъ нихъ душъ крестьянъ, и въ какомъ положеніи находятся ихъ имѣнія, а потомъ уже освѣдомился, какъ имя и отчество. Въ немного времени онъ совершенно успѣлъ очаровать ихъ. Помѣщикъ Маниловъ, еще вовсе человѣкъ не пожилой, имѣвшій глаза сладкіе какъ сахаръ, и щурившій ихъ всякій разъ, когда смѣялся, былъ отъ него безъ памяти. Онъ очень долго жалъ ему руку и просилъ убѣдительно сдѣлать ему честь своимъ пріѣздомъ въ деревню, къ которой, по его словамъ, было только пятнадцать верстъ отъ городской заставы, на что Чичиковъ, съ весьма вѣжливымъ наклоненіемъ головы и искреннимъ пожатіемъ руки, отвѣчалъ, что онъ не только съ большою охотою готовъ это исполнить, но даже почтетъ за священнѣйшій долгъ. Собакевичъ тоже сказалъ нѣсколько лаконически: «И ко мнѣ прошу», шаркнувши ногою, обутою въ сапогъ такого исполинскаго размѣра, которому врядъ ли гдѣ можно найти отвѣчающую ногу, особливо въ нынѣшнее время, когда и на Руси начинаютъ выводиться богатыри.

На другой день Чичиковъ отправился на обѣдъ и вечеръ къ полицеймейстеру, гдѣ съ трехъ часовъ послѣ обѣда засѣли въ вистъ и играли до двухъ часовъ ночи. Тамъ, между прочимъ, онъ познакомился съ помѣщикомъ Ноздревымъ, человѣкомъ лѣтъ тридцати, разбитнымъ малымъ, который ему, послѣ трехъ-четырехъ словъ, началъ говорить *ты*. Съ полицеймейстеромъ и прокуроромъ Ноздревъ тоже былъ на *ты* и обращался по-дружески; но, когда сѣли играть въ большую игру, полицеймейстеръ и прокуроръ чрезвычайно внимательно разсматривали его взятки и слѣдили почти за всякою картою, съ которой онъ ходилъ. На другой день Чичиковъ провелъ вечеръ у предсѣдателя палаты, который принималъ гостей своихъ въ халатѣ, нѣсколько замасленомъ, и въ томъ числѣ двухъ какихъ-то дамъ. Потомъ былъ на вечерѣ у вице-губернатора, на большомъ обѣдѣ у откупщика, на небольшомъ обѣдѣ у прокурора, который впрочемъ стоилъ большого; на закускѣ послѣ обѣдни, данной городскимъ головою, которая тоже стоила обѣда. Словомъ, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и въ гостиницу пріѣзжалъ онъ съ тѣмъ только, чтобъ заснуть.

Пріѣзжій во всемъ какъ-то умѣлъ найтись и показалъ въ себѣ опытнаго свѣтскаго человѣка. О чемъ бы разговоръ ни былъ, онъ всегда умѣлъ поддержать его: шла ли рѣчь о лошадиномъ заводѣ—онъ говорилъ и о лошадиномъ заводѣ; говорили ли о хорошихъ собакахъ, и здѣсь онъ сообщалъ очень дѣльныя замѣчанія; трактовали ли касательно слѣдствія, произведеннаго казенною палатою—онъ показалъ, что ему не безъизвѣстны и судейскія продѣлки; было ли разсужденіе о бильярдной игрѣ—и въ бильярдной игрѣ не давалъ онъ промаха; говорили ли о добродѣтели—и о добродѣтели разсуждалъ онъ очень хорошо, даже со слезами на глазахъ; объ выдѣлкѣ горячаго вина—и въ горячемъ винѣ зналъ онъ прокъ; о таможенныхъ надсмотрищикахъ и чиновникахъ—и о нихъ онъ судилъ такъ, какъ будто бы и самъ былъ и чиновникомъ, и надсмотрщикомъ. Но замѣчательно, что онъ все это умѣлъ облекать какою-то степенностью, умѣлъ хорошо держать себя. Говорилъ ни громко, ни тихо, а совершенно такъ, какъ слѣдуетъ. Словомъ, куда ни повороти, былъ очень порядочный человѣкъ. Всѣ чиновники были довольны пріѣздомъ новаго лица. Губернаторъ объ немъ изъяснился, что онъ благонамѣренный человѣкъ; прокуроръ—что онъ дѣльный человѣкъ; жандармскій полковникъ говорилъ, что онъ ученый человѣкъ; предсѣдатель палаты—что онъ знающій и почтенный человѣкъ; полицеймейстеръ—что онъ почтенный и любезный человѣкъ; жена полицеймейстера—что онъ любезнѣйшій и обходительнѣйшій человѣкъ. Даже самъ Собакевичъ, который рѣдко отзывался о комъ-нибудь съ хорошей стороны, пріѣхавши довольно поздно изъ города и уже совершенно раздѣвшись и легши на кровать возлѣ худощавой жены своей, сказалъ ей: «Я, душенька, былъ у губернатора на вечерѣ, и у полицеймейстера обѣдалъ, и познакомился съ коллежскимъ совѣтникомъ Павломъ Ивановичемъ Чичиковымъ: препріятный человѣкъ!» На что супруга отвѣчала: «Гм!» и толкнула его ногою.

Такое мнѣніе, весьма лестное для гостя, составилось о немъ въ городѣ, и оно держалось до тѣхъ поръ, покамѣстъ одно странное свойство гостя и предпріятіе, или, какъ говорятъ въ провинціяхъ, пассажъ, о которомъ читатель скоро узнаетъ, не привело въ совершенное недоумѣніе почти весь городъ.

ГЛАВА II.

Уже болѣе недѣли пріѣзжій господинъ жилъ въ городѣ, разъѣзжая по вечеринкамъ и обѣдамъ и такимъ образомъ проводя, какъ говорится, очень пріятно время. Наконецъ, онъ рѣшился перенести свои визиты за городъ и навѣстить помѣщиковъ Манилова и Собакевича, которымъ далъ слово. Можетъ-быть, къ сему побудила его другая, болѣе существенная причина, дѣло болѣе серьезное, близшее къ сердцу... Но обо всемъ этомъ читатель узнаетъ постепенно и

въ свое время, если только будетъ имѣть терпѣніе прочесть предлагаемую повѣсть, очень длинную, имѣющую потомъ раздвинуться шире и просторнѣе, по мѣрѣ приближенія къ концу, вѣнчающему дѣло. Кучеру Селифану отдано было приказаніе рано поутру заложить лошадей въ извѣстную бричку; Петрушкѣ приказано было оставаться дома, смотрѣть за комнатой и чемоданомъ. Для читателя будетъ не лишнимъ познакомиться съ сими двумя крѣпостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не такъ замѣтныя и то, что называютъ второстепенныя или даже третьестепенныя, хотя главные ходы и пружины поэмы не на нихъ утверждены и развѣ кое-гдѣ касаются и легко зацѣпляютъ ихъ; но авторъ любитъ чрезвычайно быть обстоятельнымъ во всемъ, и съ этой стороны, несмотря на то, что самъ человѣкъ русскій, хочетъ быть аккуратенъ, какъ нѣмецъ. Это займетъ, впрочемъ, не много времени и мѣста, потому что не много нужно прибавить къ тому, что уже читатель знаетъ, то-есть, что Петрушка ходилъ въ нѣсколько широкомъ коричневомъ сюртукѣ съ барскаго плеча и имѣлъ, по обычаю людей своего званія, крупный носъ и губы. Характера онъ былъ больше молчаливаго, чѣмъ разговорчиваго; имѣлъ даже благородное побужденіе къ просвѣщенію, т. е. чтенію книгъ, содержаніемъ которыхъ не затруднялся: ему было совершенно все равно, похожденіе ли влюбленнаго героя, просто букварь, или молитвенникъ,—онъ все читалъ съ равнымъ вниманіемъ; если бы ему подвернули химію, онъ и отъ нея бы не отказался. Ему нравилось не то, о чемъ читалъ онъ, но больше самое чтеніе, или, лучше сказать, процессъ самого чтенія, что вотъ-де изъ буквъ вѣчно выходитъ какое-нибудь слово, которое, иной разъ, чортъ знаетъ, что и значитъ. Это чтеніе совершалось болѣе въ лежачемъ положеніи, въ передней, на кровати и на тюфякѣ, сдѣлавшемся отъ такого обстоятельства убитымъ и тоненькимъ, какъ лепешка. Кромѣ страсти къ чтенію, онъ имѣлъ еще два обыкновенія, составлявшія двѣ другія его характеристическія черты: спать не раздѣваясь, такъ, какъ есть, въ томъ же сюртукѣ, и носить всегда съ собой какой-то свой особенный воздухъ, своего собственнаго запаха, отзывавшійся нѣсколько жилымъ покоемъ, такъ что достаточно было ему только пристроить гдѣ-нибудь свою кровать, хоть даже въ необитаемой дотолѣ комнатѣ, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что въ этой комнатѣ лѣтъ десять жили люди. Чичиковъ, будучи человѣкъ весьма щекотливый и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ привередливый, потянувши къ себѣ воздухъ на свѣжій носъ поутру, только помарщивался, да встряхивалъ головою, приговаривая: «Ты, братъ, чортъ тебя знаетъ, потѣешь, что ли. Сходилъ бы ты хоть въ баню». На что Петрушка ничего не отвѣчалъ и старался тутъ же заняться какимъ-нибудь дѣломъ: или подходилъ со щеткой къ висѣвшему барскому фраку, или просто прибиралъ что-нибудь. Что думалъ онъ въ то время, когда молчалъ? Можетъ-быть,

онъ говорилъ про себя :«И ты однакожъ хорошъ; не надоѣло тебѣ сорокъ разъ повторять одно и то же...» Богъ вѣдаетъ, трудно знать, что думаетъ дворовый крѣпостной человѣкъ въ то время, когда баринъ ему даетъ наставленіе. Итакъ, вотъ что на первый разъ можно сказать о Петрушкѣ. Кучеръ Селифанъ былъ совершенно другой человѣкъ... Но авторъ весьма совѣстится занимать такъ долго читателей людьми низкаго класса, зная по опыту, какъ неохотно они знакомятся съ низкими сословіями. Таковъ уже русскій человѣкъ: страсть сильная зазнаться съ тѣмъ, который бы хотя однимъ чиномъ былъ его повыше, и шапочное знакомство съ графомъ или княземъ для него лучше всякихъ тѣсныхъ дружескихъ отношеній. Авторъ даже опасается за своего героя, который только коллежскій совѣтникъ. Надворные совѣтники, можетъ быть, и познакомятся съ нимъ, но тѣ, который подобрались уже къ чинамъ генеральскимъ,—тѣ, Богъ вѣсть, можетъ-быть, даже бросятъ одинъ изъ тѣхъ презрительныхъ взглядовъ, которые бросаются гордо человѣкомъ на все, что ни пресмыкается у ногъ его, или, что еще хуже, можетъ-быть, пройдутъ убійственнымъ для автора невниманіемъ. Но какъ ни прискорбно то и другое, а все однакожъ нужно возвратиться къ герою. Итакъ, отдавши нужныя приказанія еще съ вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись съ ногъ до головы мокрою губкой, что дѣлалось только по воскреснымъ днямъ— а въ тотъ день случилось воскресенье,—выбрившись такимъ образомъ, что щеки сдѣлались настоящій атласъ, въ разсужденіи гладкости и лоска, надѣвши фракъ брусничнаго цвѣта съ искрой и потомъ шинель на большихъ медвѣдяхъ, онъ сошелъ съ лѣстницы, поддерживаемый подъ руку то съ одной, то съ другой стороны трактирнымъ слугою, и сѣлъ въ бричку. Съ громомъ выѣхала бричка изъ-подъ воротъ гостиницы на улицу. Проходившій попъ снялъ шляпу, нѣсколько мальчишекъ въ замаранныхъ рубашкахъ протянули руки, приговаривая: «Баринъ, подай сиротинкѣ!» Кучеръ, замѣтивши, что одинъ изъ нихъ былъ большой охотникъ становиться на запятки, хлыснулъ его кнутомъ, и бричка пошла прыгать по камнямъ. Не безъ радости былъ вдали узрѣтъ полосатый шлагбаумъ, дававшій знать, что мостовой, какъ и всякой другой мукѣ, будетъ скоро конецъ, и, еще нѣсколько разъ ударившись довольно крѣпко головою въ кузовъ, Чичиковъ понесся наконецъ по мягкой землѣ. Едва только ушелъ назадъ городъ, какъ уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обѣимъ сторонамъ дороги: кочки, ельникъ, низенькіе, жидкіе кусты молодыхъ сосенъ, обгорѣлые стволы старыхъ, дикій вересковъ и тому подобный вздоръ. Попадались вытянутыя по шнурку деревни, постройкою похожія на старыя складенныя дрова, покрытыя сѣрыми крышами съ рѣзными деревянными подъ ними украшеніями, въ видѣ висячихъ шитыхъ узорами утиральниковъ. Нѣсколько мужиковъ, по обыкновенію, зѣвали, сидя на лавкахъ передъ воротами, въ своихъ овчинныхъ

тулупахъ; бабы, съ толстыми лицами и перевязанными грудями, смотрѣли изъ верхнихъ оконъ; изъ нижнихъ глядѣлъ теленокъ, или высосывала слѣпую морду свою свинья. Словомъ, виды извѣстные. Проѣхавши пятнадцатую версту, онъ вспомнилъ, что здѣсь, по словамъ Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетѣла мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшіеся навстрѣчу, то врядъ ли бы довелось имъ потрафить на ладъ. На вопросъ: «далеко ли деревня Заманиловка»,—мужики сняли шляпы, и одинъ изъ нихъ, бывшій поумнѣе и носившій бороду клиномъ, отвѣчалъ: «Маниловка, можетъ-быть, а не Заманиловка?»

«Ну, да, Маниловка».

«Маниловка! А какъ проѣдешь еще одну версту, такъ вотъ тебѣ, то-есть, такъ прямо направо».

«Направо?»—отозвался кучеръ.

«Направо»—сказалъ мужикъ. «Это будетъ тебѣ дорога въ Маниловку; а Заманиловки никакой нѣтъ. Она зовется такъ, то-есть, ея прозваніе Маниловка, а Заманиловки тутъ вовсе нѣтъ. Тамъ прямо на горѣ увидишь домъ, каменный, въ два этажа,—господскій домъ, въ которомъ, то-есть, живетъ самъ господинъ. Вотъ это тебѣ и есть Маниловка, а Заманиловки совсѣмъ нѣтъ никакой здѣсь и не было».

Поѣхали отыскивать Маниловку. Проѣхавши двѣ версты, встрѣтили поворотъ на проселочную дорогу; но уже и двѣ, и три, и четыре версты, кажется, сдѣлали, а каменнаго дома въ два этажа все еще не было видно. Тутъ Чичиковъ вспомнилъ, что если пріятель приглашаетъ къ себѣ въ деревню за пятнадцать верстъ, то значитъ, что къ ней есть вѣрныхъ тридцать. Деревня Маниловка немногихъ могла заманить своимъ мѣстоположеніемъ. Домъ господскій стоялъ одиночкой на юру, то-есть на возвышеніи, открытомъ всѣмъ вѣтрамъ, какимъ только вздумается подуть; покатость горы, на которой онъ стоялъ, была одѣта подстриженнымъ дерномъ. На ней были разбросаны по-англійски двѣ-три клумбы съ кустами сиреней и желтыхъ акацій, пять шесть березъ небольшими купами кое-гдѣ возносили свои мелколистныя, жиденькія вершины. Подъ двумя изъ нихъ была бесѣдка съ плоскимъ зеленымъ куполомъ, деревянными голубыми колоннами и надписью: «храмъ уединеннаго размышленія»; пониже прудъ, покрытый зеленью, что, впрочемъ, не въ диковинку въ аглицкихъ садахъ русскихъ помѣщиковъ. У подошвы этого возвышенія, и частію по самому скату, темнѣли вдоль и поперекъ сѣренькія бревенчатыя избы, которыя герой нашъ, неизвѣстно, по какимъ причинамъ, въ ту-жъ минуту принялся считать и насчиталъ болѣе двухсотъ. Нигдѣ между ними растущаго деревца или какой-нибудь зелени; вездѣ глядѣло только одно бревно. Видъ оживляли двѣ бабы, которыя, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всѣхъ сторонъ, брели по колѣни въ прудѣ, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, гдѣ видны были два

запутавшіеся рака и блестѣла попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою въ ссорѣ и за что-то перебранивались. Поодаль, въ сторонѣ, темнѣлъ какимъ-то скучно-синеватымъ цвѣтомъ сосновый лѣсъ. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день былъ не то мрачный, а какого-то свѣтло-сѣраго цвѣта,—какой бываетъ только на старыхъ мундирахъ гарнизонныхъ солдатъ, этого, впрочемъ, мирнаго войска, но отчасти нетрезваго по воскреснымъ днямъ. Для пополненія картины не было недостатка въ пѣтухѣ, предвозвѣстникѣ перемѣнчивой погоды, который, несмотря на то, что голова продолблена была до самаго мозга носами другихъ пѣтуховъ по извѣстнымъ дѣламъ волокитства, горланилъ очень громко и даже похлопывалъ крыльями, обдерганными какъ старыя рогожки. Подъѣзжая ко двору, Чичиковъ замѣтилъ на крыльцѣ самого хозяина, который стоялъ въ зеленомъ шалоновомъ сюртукѣ, приставивъ руку ко лбу, въ видѣ зонтика надъ глазами, чтобы разсмотрѣть получше подъѣзжавшій экипажъ. По мѣрѣ того, какъ бричка близилась къ крыльцу, глаза его дѣлались веселѣе, и улыбка раздвигалась болѣе и болѣе.

«Павелъ Ивановичъ!»—вскричалъ онъ наконецъ, когда Чичиковъ вылѣзалъ изъ брички. «Насилу вы таки насъ вспомнили!»

Оба пріятеля очень крѣпко поцѣловались, и Маниловъ увелъ своего гостя въ комнату. Хотя время, въ продолженіе котораго они будутъ проходить сѣни, переднюю и столовую, нѣсколько коротковато, но попробуемъ, не успѣемъ ли какъ-нибудь имъ воспользоваться и сказать кое-что о хозяинѣ дома. Но тутъ авторъ долженъ признаться, что подобное предпріятіе очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размѣра: тамъ просто бросай краски со всей руки на полотно—черные палящіе глаза, нависшія брови, перерѣзанный морщиною лобъ, перекинутый черезъ плечо черный или алый какъ огонь плащъ,—и портретъ готовъ; но вотъ эти всѣ господа, которыхъ много на свѣтѣ, которые съ вида очень похожи между собою, а между тѣмъ, какъ приглядишься, увидишь много самыхъ неуловимыхъ особенностей,—эти господа страшно трудны для портретовъ. Тутъ придется сильно напрягать вниманіе, пока заставишь передъ собою выступить всѣ тонкія, почти невидимыя черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный въ наукѣ выпытыванія взглядъ.

Одинъ Богъ развѣ могъ сказать, какой былъ характеръ Манилова. Есть родъ людей, извѣстныхъ подъ именемъ: *люди такъ себѣ ни то, ни се, ни въ городѣ Богданъ, ни въ селѣ Селифанъ*, по словамъ пословицы. Можетъ быть, къ нимъ слѣдуетъ примкнуть и Манилова. На взглядъ онъ былъ человѣкъ видный; черты лица его были не лишены пріятности, но въ эту пріятность, казалось, черезчуръ было передано сахару; въ пріемахъ и оборотахъ его было что-то заискивающее расположенія и знакомства. Онъ улы-

бался заманчиво, былъ бѣлокуръ, съ голубыми глазами. Въ первую минуту разговора съ нимъ не можешь не сказать: «Какой пріятный и добрый человѣкъ!» Въ слѣдующую затѣмъ минуту ничего не скажешь, а въ третью скажешь: «Чортъ знаетъ, что такое!» и отойдешь подальше: если-жъ не отойдешь, то почувствуешь скуку смертельную. Отъ него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчиваго слова, какое можешь услышать почти отъ всякаго, если коснешься задирающаго его предмета. У всякаго есть свой задоръ: у одного задоръ обратился на борзыхъ собакъ; другому кажется, что онъ сильный любитель музыки и удивительно чувствуетъ всѣ глубокія мѣста въ ней; третій мастеръ лихо пообѣдать; четвертый сыграть роль, хоть однимъ вершкомъ повыше той, которая ему назначена; пятый съ желаніемъ болѣе ограниченнымъ, спитъ и грезитъ о томъ, какъ бы пройтиться на гуляньи съ флигель-адъютантомъ, напоказъ своимъ пріятелямъ, знакомымъ и даже незнакомымъ; шестой уже одаренъ такою рукою, которая чувствуетъ желаніе сверхъестественное заломить уголъ какому-нибудь бубновому тузу или двойкѣ, тогда какъ рука седьмого такъ и лѣзетъ произвести гдѣ-нибудь порядокъ, подобраться поближе къ личности станціоннаго смотрителя или ямщиковъ, словомъ—у всякаго есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома онъ говорилъ очень мало и большею частью размышлялъ и думалъ, но о чемъ онъ думалъ, тоже развѣ Богу было извѣстно. Хозяйствомъ, нельзя сказать, чтобы онъ занимался, онъ даже никогда не ѣздилъ на поля; хозяйство шло какъ-то само собою. Когда приказчикъ говорилъ: «хорошо бы, баринъ, то и то сдѣлать»; «да, не дурно», отвѣчалъ онъ обыкновенно, куря трубку, которую курить сдѣлалъ привычку, когда еще служилъ въ арміи, гдѣ считался скромнѣйшимъ, деликатнѣйшимъ и образованнѣйшимъ офицеромъ. «Да, именно не дурно», повторялъ онъ. Когда приходилъ къ нему мужикъ и, почесавши рукою затылокъ, говорилъ: «Баринъ, позволь отлучиться на работу, подать заработать»; «ступай», говорилъ онъ, куря трубку, и ему даже въ голову не приходило, что мужикъ шелъ пьянствовать. Иногда, глядя съ крыльца на дворъ и на прудъ, говорилъ онъ о томъ, какъ бы хорошо было, если бы вдругъ отъ дома провести подземный ходъ, или чрезъ прудъ выстроить каменный мостъ, на которомъ бы были по обѣимъ сторонамъ лавки, и чтобы въ нихъ сидѣли купцы и продавали разные мелкіе товары, нужные для крестьянъ. При этомъ глаза его дѣлались чрезвычайно сладкими, и лицо принимало самое довольное выраженіе. Впрочемъ, всѣ эти прожекты такъ и оканчивались только одними словами. Въ его кабинетѣ всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на 14 страницѣ, которую онъ постоянно читалъ уже два года. Въ домѣ его чего-нибудь вѣчно недоставало: въ гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой матеріей, которая, вѣрно, стоила весьма

недешево; но на два кресла ея не достало, и кресла стояли обтянутыми просто рогожею; впрочемъ, хозяинъ въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ всякій разъ предостерегалъ своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». Въ иной комнатѣ и вовсе не было мебели, хотя и было говорено въ первые дни послѣ женитьбы: «Душенька, нужно будетъ завтра похлопотать, чтобы въ эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на столъ очень щегольской подсвѣчникъ изъ темной бронзы, съ тремя античными граціями, съ перламутнымъ щегольскимъ щитомъ, и рядомъ съ нимъ ставился какой-то просто мѣдный инвалидъ, хромой, свернувшійся на сторону и весь въ салѣ, хотя этого не замѣчалъ ни хозяинъ, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочемъ, они были совершенно довольны другъ другомъ... Несмотря на то, что минуло болѣе восьми лѣтъ супружества, изъ нихъ все еще каждый приносилъ другому или кусочекъ яблочка, или конфетку, или орѣшекъ и говорилъ трогательно-нѣжнымъ голосомъ, выражавшимъ совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ». Само собою разумѣется, что ротикъ раскрывался при этомъ случаѣ очень граціозно. Ко дню рожденія приготовляемы были сюрпризы— какой-нибудь бисерный чехольчикъ на зубочистку. И весьма часто, сидя на диванѣ, вдругъ совершенно неизвѣстно, изъ какихъ причинъ, одинъ, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору въ рукахъ, они напечатлѣвали другъ другу такой томный и длинный поцѣлуй, что въ продолженіе его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словомъ, они были то, что говорится, счастливы. Конечно, можно бы замѣтить, что въ домѣ есть много другихъ занятій, кромѣ продолжительныхъ поцѣлуевъ и сюрпризовъ, и много бы можно сдѣлать разныхъ запросовъ. Зачѣмъ, напримѣръ, глупо и безъ толку готовится на кухнѣ? Зачѣмъ довольно пусто въ кладовой? Зачѣмъ воровка ключница? Зачѣмъ нечистоплотны и пьяницы слуги? Зачѣмъ вся дворня спитъ немилосерднымъ образомъ и повѣсничаетъ все остальное время? Но все это предметы низкіе, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитаніе, какъ извѣстно, получается въ пансіонахъ; а въ пансіонахъ, какъ извѣстно, три главные предмета составляютъ основу человѣческихъ добродѣтелей: французскій языкъ, необходимый для счастія семейственной жизни, фортепьяно, для доставленія пріятныхъ минутъ супругу и, наконецъ, собственно хозяйственная часть: вязаніе кошельковъ и другихъ сюрпризовъ. Впрочемъ, бываютъ разныя усовершенствованія и измѣненія въ методахъ, особенно въ нынѣшнее время: все это болѣе зависитъ отъ благоразумія и способностей самихъ содержательницъ пансіона. Въ другихъ пансіонахъ бываетъ такимъ образомъ, что прежде фортепьяно, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже хозяйственная часть. А иногда бываетъ и такъ, что прежъ-

де хозяйственная часть, т.-е. вязаніе сюрпризовъ, потомъ французскій языкъ, а тамъ уже фортепьяно. Разныя бываютъ методы. Не мѣшаетъ сдѣлать еще замѣчаніе, что Манилова... но, признаюсь, о дамахъ я очень боюсь говорить, да притомъ мнѣ пора возвратиться къ нашимъ героямъ, которые стояли уже нѣсколько минутъ передъ дверями гостиной, взаимно упрашивая другъ друга пройти впередъ.

«Сдѣлайте милость, не безпокойтесь такъ для меня, я пройду послѣ»,—говорилъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, нѣтъ, вы—гость»,—говорилъ Маниловъ, показывая ему рукою на дверь.

«Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь; пожалуйста, проходите»,—говорилъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, ужъ извините, не допущу пройти позади такому пріятному, образованному гостю».

«Почему-жъ образованному?.. Пожалуйста, проходите!»

«Ну, да ужъ извольте проходить вы».

«Да отчего-жъ?»

«Ну, да ужъ оттого!»—сказалъ съ пріятною улыбкою Маниловъ.

Наконецъ, оба пріятеля вошли въ дверь бокомъ и нѣсколько притиснули другъ друга.

«Позвольте мнѣ вамъ представить жену мою»,—сказалъ Маниловъ. «Душенька! Павелъ Ивановичъ!»

Чичиковъ, точно, увидѣлъ даму, которую онъ совершенно было не примѣтилъ, раскланиваясь въ дверяхъ съ Маниловымъ. Она была недурна, одѣта къ лицу. На ней хорошо сидѣлъ матерчатый шелковый капотъ блѣднаго цвѣта; тонкая небольшая кисть руки ея что-то бросила поспѣшно на столъ и сжала батистовый платокъ съ вышитыми уголками. Она поднялась съ дивана, на которомъ сидѣла. Чичиковъ не безъ удовольствія подошелъ къ ея ручкѣ. Манилова проговорила, нѣсколько даже картавя, что онъ очень обрадовалъ ихъ своимъ пріѣздомъ, и что мужъ ея, не проходило дня, чтобы не вспоминалъ о немъ.

«Да»,—примолвилъ Маниловъ: «ужъ она бывало все спрашиваетъ меня: «Да что же твой пріятель не ѣдетъ?» «Погоди, душенька, пріѣдетъ». А вотъ вы наконецъ и удостоили насъ своимъ посѣщеніемъ. Ужъ такое право доставили наслажденіе—майскій день... именины сердца»...

Чичиковъ, услышавши, что дѣло уже дошло до именинъ сердца, нѣсколько даже смутился и отвѣчалъ скромно, что ни громкаго имени не имѣетъ, ни даже ранга замѣтнаго.

«Вы все имѣете»,—прервалъ Маниловъ съ такою же пріятною улыбкою: «все имѣете, даже еще болѣе».

«Какъ вамъ показался нашъ городъ?»—примолвила Манилова. «Пріятно ли провели тамъ время?»

«Очень хорошій городъ, прекрасный городъ»,—отвѣчалъ Чичиковъ: «и время провелъ очень пріятно: общество самое обходительное».

«А какъ вы нашли нашего губернатора?»—сказала Манилова.

«Не правда ли, что препочтеннѣйшій и прелюбезнѣйшій человѣкъ?»—прибавилъ Маниловъ.

«Совершенная правда»,—сказалъ Чичиковъ: «препочтеннѣйшій человѣкъ. И какъ онъ вошелъ въ свою должность, какъ понимаетъ ее! Нужно желать побольше такихъ людей».

«Какъ онъ можетъ этакъ, знаете, принять всякаго, наблюсти деликатность въ своихъ поступкахъ»,—присовокупилъ Маниловъ съ улыбкою, и отъ удовольствія почти совсѣмъ зажмурилъ глаза, какъ котъ, у котораго слегка пощекотали за ушами пальцемъ.

«Очень обходительный и пріятный человѣкъ»,—продолжалъ Чичиковъ: «и какой искусникъ! Я даже никакъ не могъ предполагать этого: какъ хорошо вышиваетъ разные домашніе узоры! Онъ мнѣ показывалъ своей работы кошелекъ: рѣдкая дама можетъ такъ искусно вышить».

«А вице-губернаторъ, не правда-ли какой милый человѣкъ?»—сказалъ Маниловъ, опять нѣсколько прищуривъ глаза.

«Очень, очень достойный человѣкъ»,—отвѣчалъ Чичиковъ.

«Ну, позвольте, а какъ вамъ показался полицеймейстеръ? Не правда ли, что очень пріятный человѣкъ?»

«Чрезвычайно пріятный, и какой умный, какой начитанный человѣкъ! Мы у него проиграли въ вистъ вмѣстѣ съ прокуроромъ и предсѣдателемъ палаты до самыхъ позднихъ пѣтуховъ. Очень, очень достойный человѣкъ!»

«Ну, а какого вы мнѣнія о женѣ полицеймейстера?»—прибавила Манилова. «Не правда-ли, прелюбезная женщина?»

«О, это одна изъ достойнѣйшихъ женщинъ, какихъ только я знаю»,—отвѣчалъ Чичиковъ.

За симъ не пропустили предсѣдателя палаты, почтмейстера, и такимъ образомъ перебрали почти всѣхъ чиновниковъ города, которые всѣ оказались самыми достойными людьми.

«Вы всегда въ деревнѣ проводите время?»—сдѣлалъ наконецъ въ свою очередь вопросъ Чичиковъ.

«Больше въ деревнѣ»,—отвѣчалъ Маниловъ. «Иногда, впрочемъ, пріѣзжаемъ въ городъ для того только, чтобы увидѣться съ образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти».

«Правда, правда»,—сказалъ Чичиковъ.

«Конечно»,—продолжалъ Маниловъ: «другое дѣло, если бы сосѣдство было хорошее, если бы, напримѣръ, такой человѣкъ, съ которымъ бы, въ нѣкоторомъ родѣ, можно было поговорить о любезности, о хорошемъ обращеніи, слѣдить какую-нибудь этакую науку, чтобы

этакъ расшевелило душу, дало бы, такъ сказать, паренье этакое...» Здѣсь онъ еще что-то хотѣлъ выразить, но замѣтивши, что нѣсколько зарапортовался, ковырнулъ только рукою въ воздухѣ и продолжалъ: «тогда, конечно, деревня и уединеніе имѣли бы очень много пріятностей. Но рѣшительно нѣтъ никого... Вотъ только иногда почитаешь «Сынъ Отечества».

Чичиковъ согласился съ этимъ совершенно, прибавивши, что ничего не можетъ быть пріятнѣе, какъ жить въ уединеньи, наслаждаться зрѣлищемъ природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

«Но знаете ли»,—прибавилъ Маниловъ: «все, если нѣтъ друга, съ которымъ бы можно подѣлиться...»

«О, это справедливо, это совершенно справедливо!»—прервалъ Чичиковъ. «Что всѣ сокровища тогда въ мірѣ! *Не имѣй денегъ, имѣй хорошихъ людей для обращенія*, сказалъ одинъ мудрецъ».

«И знаете, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ Маниловъ, явя въ лицѣ своемъ выраженіе не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстурѣ, которую ловкій свѣтскій докторъ засластилъ немилосердно, воображая ею обрадовать паціента: «тогда чувствуешь какое-то, въ нѣкоторомъ родѣ, духовное наслажденіе... Вотъ какъ, напримѣръ, теперь, когда случай мнѣ доставилъ счастіе, можно сказать, рѣдкое, образцовое, говорить съ вами и наслаждаться пріятнымъ вашимъ разговоромъ...»

«Помилуйте, что-жъ за пріятный разговоръ?.. Ничтожный человѣкъ, и больше ничего»,—отъѣчалъ Чичиковъ.

«О, Павелъ Ивановичъ! Позвольте мнѣ быть откровеннымъ я бы съ радостью отдалъ половину всего моего состоянія, чтобы имѣть часть тѣхъ достоинствъ, которыя имѣете вы!..»

«Напротивъ, я бы почелъ съ своей стороны за величайшее...»

Неизвѣстно, до чего бы дошло взаимное изліяніе чувствъ обоихъ пріятелей, если бы вошедшій слуга не доложилъ, что кушанье готово

«Прошу покорнѣйше»,—сказалъ Маниловъ.

«Вы извините, если у насъ нѣтъ такого обѣда, какой на паркетахъ, и въ столицахъ: у насъ просто, по русскому обычаю, щи, но отъ чистаго сердца. Покорнѣйше прошу».

Тутъ они еще нѣсколько времени поспорили о томъ, кому первому войти, и наконецъ Чичиковъ вошелъ бокомъ въ столовую.

Въ столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были въ тѣхъ лѣтахъ, когда сажаютъ уже дѣтей за столъ, но еще на высокихъ стульяхъ. При нихъ стоялъ учитель, поклонившійся вѣжливо и съ улыбкою. Хозяйка сѣла за свою суповую чашку; гость былъ посаженъ между хозяиномъ и хозяйкою, слуга завязалъ дѣтямъ на шею салфетки

«Какія миленькія дѣти!»—сказалъ Чичиковъ, посмотрѣвъ на нихъ: «а который годъ?»

«Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть»,—сказала Манилова.

«Фемистоклюсъ!»—сказалъ Маниловъ, обратившись къ старшему, который старался освободить свой подбородокъ, завязанный лакеемъ въ салфетку. Чичиковъ поднялъ нѣсколько бровь, услышавъ такое отчасти греческое имя, которому, не извѣстно почему, Маниловъ далъ окончаніе на *іосъ*; но постарался тотъ же часъ привесть лицо въ обыкновенное положеніе.

«Фемистоклюсъ, скажи мнѣ: какой лучшій городъ во Франціи?»

Здѣсь учитель обратилъ все вниманіе на Фемистоклюса и, казалось, хотѣлъ ему вскочить въ глаза, но, наконецъ, совершенно успокоился и кивнулъ головою, когда Фемистоклюсъ сказалъ: «Парижъ».

«А у насъ какой лучшій городъ?»—спросилъ опять Маниловъ.

Учитель опять настроилъ вниманіе.

«Петербургъ»,—отвѣчалъ Фемистоклюсъ.

«А еще какой?»

«Москва»,—отвѣчалъ Фемистоклюсъ.

«Умница, душенька!»—сказалъ на это Чичиковъ. «Скажите однакожъ...» продолжалъ онъ, обратившись тутъ же съ нѣкоторымъ видомъ изумленія къ Маниловымъ. «Въ такія лѣта и уже такія свѣдѣнія. Я долженъ вамъ сказать, что въ этомъ ребенкѣ будутъ большія способности!»

«О, вы еще не знаете его!»—отвѣчалъ Маниловъ: «у него чрезвычайно много остроумія. Вотъ меньшой, Алкидъ, тотъ не такъ быстръ, а этотъ сейчасъ, если что-нибудь встрѣтитъ: букашку, козявку, такъ ужъ у него вдругъ глазенки и забѣгаютъ; побѣжитъ за ней слѣдомъ и тотчасъ обратитъ вниманіе. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюсъ!»—продолжалъ онъ, снова обратясь къ нему: «хочешь быть посланникомъ?»

«Хочу»,—отвѣчалъ Фемистоклюсъ, жуя хлѣбъ и болтая головой направо и налѣво.

Въ это время стоявшій позади лакей утеръ посланнику носъ и очень хорошо сдѣлалъ, иначе бы канула въ супъ препорядочная посторонняя капля. Разговоръ начался за столомъ объ удовольствіи спокойной жизни, прерываемый замѣчаніями хозяйки о городскомъ театрѣ и объ актерахъ. Учитель очень внимательно глядѣлъ на разговаривающихъ и, какъ только замѣчалъ, что они были готовы усмѣхнуться, въ ту же минуту открывалъ ротъ и смѣялся съ усердіемъ. Вѣроятно, онъ былъ человѣкъ признательный и хотѣлъ заплатить этимъ хозяину за хорошее обращеніе. Одинъ разъ, впрочемъ, лицо его приняло суровый видъ, и онъ строго застучалъ по столу, устремивъ глаза на сидѣвшихъ насупротивъ его дѣтей. Это было у мѣста, потому что

Фемистоклюсъ укусилъ за ухо Алкида, и Алкидъ, зажмуривъ глаза и открывъ ротъ, готовъ былъ зарыдать самымъ жалкимъ образомъ, но, почувствовавъ, что за это легко можно было лишиться блюда, привелъ ротъ въ прежнее положеніе и началъ со слезами грызть баранью кость, отъ которой у него обѣ щеки лоснились жиромъ.

Хозяйка очень часто обращалась къ Чичикову со словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиковъ отвѣчалъ всякій разъ: «Покорнѣйше благодарю, я сытъ. Пріятный разговоръ лучше всякаго блюда».

Уже встали изъ-за стола. Маниловъ былъ доволенъ чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился такимъ образомъ препроводить его въ гостиную, какъ вдругъ гость объявилъ, съ весьма значительнымъ видомъ, что онъ намѣренъ съ нимъ поговорить объ одномъ очень нужномъ дѣлѣ.

«Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ васъ попросить въ мой кабинетъ»,—сказалъ Маниловъ, и повелъ въ небольшую комнату, обращенную окномъ на синѣвшій лѣсъ. «Вотъ мой уголокъ»,—сказалъ Маниловъ.

«Пріятная комнатка»!—сказалъ Чичиковъ, окинувши ее глазами. Комната была, точно, не безъ пріятности: стѣны были выкрашены какой-то голубенькой краской, въ родѣ сѣренькой; четыре стула, одно кресло, столъ, на которомъ лежала книжка съ заложенною закладкою, о которой мы уже имѣли случай упомянуть; нѣсколько исписанныхъ бумагъ; но больше всего было табаку. Онъ былъ въ разныхъ видахъ: въ картузахъ и въ табашницѣ, и, наконецъ, насыпанъ былъ просто кучею на столѣ. На обоихъ окнахъ тоже помѣщены были горки выбитой изъ трубки золы, разставленныя не безъ старанія очень красивыми рядками. Замѣтно было, что это иногда доставляло хозяину препровожденіе времени.

«Позвольте васъ попросить расположиться въ этихъ креслахъ»—сказалъ Маниловъ. «Здѣсь вамъ будетъ покойнѣе».

«Позвольте, я сяду на стулѣ».

«Позвольте вамъ этого не позволить»,—сказалъ Маниловъ съ улыбкою. «Это кресло у меня ужъ ассигновано для гостя: ради, или не ради, но должны сѣсть».

Чичиковъ сѣлъ.

«Позвольте мнѣ васъ попотчивать трубочкою».

«Нѣтъ, не курю»,—отвѣчалъ Чичиковъ ласково и какъ бы съ видомъ сожалѣнія.

«Отчего?»—сказалъ Маниловъ, тоже ласково и съ видомъ сожалѣнія.

«Не сдѣлалъ привычки, боюсь; говорятъ, трубка сушитъ».

«Позвольте мнѣ вамъ замѣтить, что это предубѣжденіе. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровѣе, нежели нюхать табакъ. Въ нашемъ полку былъ поручикъ, прекраснѣйшій и образованнѣйшій

человѣкъ, который не выпускалъ изо рта трубки не только за столомъ, но даже, съ позволенія сказать, во всѣхъ прочихъ мѣстахъ. И вотъ ему теперь уже сорокъ слишкомъ лѣтъ, но, благодаря Бога, до сихъ поръ такъ здоровъ, какъ нельзя лучше».

Чичиковъ замѣтилъ, что это точно случается и что въ натурѣ находится много вещей, неизъяснимыхъ даже для обширнаго ума.

«Но позвольте прежде одну просьбу...»—проговорилъ онъголосомъ, въ которомъ отдалось какое-то странное, или почти странное выраженіе, и вслѣдъ за тѣмъ, неизвѣстно отчего, оглянулся назадъ. Маниловъ тоже, неизвѣстно отчего, оглянулся назадъ. «Какъ давно вы изволили подавать ревизскую сказку?»

«Да, ужъ давно; а лучше сказать—не припомню».

«Какъ съ того времени много у васъ умерло крестьянъ?»

«А не могу знать: объ этомъ, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человѣкъ! позови приказчика; онъ долженъ быть сегодня здѣсь».

Приказчикъ явился. Это былъ человѣкъ лѣтъ подъ сорокъ, брившій бороду, ходившій въ сюртукѣ и, повидимому, проводившій очень покойную жизнь, потому что лицо его глядѣло какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвѣтъ кожи и маленькіе глаза показывали, что онъ зналъ слишкомъ хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видѣть тотчасъ, что онъ совершилъ свое поприще, какъ совершаютъ его всѣ господскіе приказчики: былъ прежде просто грамотнымъ мальчишкой въ домѣ, потомъ женился на какой-нибудь Агашкѣ, ключницѣ, барыниной фавориткѣ, сдѣлался самъ ключникомъ, а тамъ и приказчикомъ. А сдѣлавшись приказчикомъ, поступалъ, разумѣется, какъ всѣ приказчики: водился и кумился съ тѣми, которые на деревнѣ были побогаче, подбавлялъ на тягла побѣднѣе; проснувшись въ девятомъ часу утра, поджидалъ самовара и пилъ чай.

«Послушай, любезный! сколько у насъ умерло крестьянъ съ тѣхъ поръ, какъ подавали ревизію?»

«Да какъ—сколько? Многіе умирали съ тѣхъ поръ»,—сказалъ приказчикъ, и при этомъ икнулъ, заслонивъ ротъ слегка рукою, наподобіе щитка.

«Да, признаюсь, я самъ такъ думалъ»,—подхватилъ Маниловъ: «именно очень многіе умирали!» Тутъ онъ оборотился къ Чичикову и прибавилъ еще: «точно, очень многіе».

«А какъ, напримѣръ, числомъ?»—спросилъ Чичиковъ.

«Да, сколько числомъ?»—подхватилъ Маниловъ.

«Да какъ сказать—числомъ? Вѣдь не извѣстно, сколько умирало: ихъ никто не считалъ».

«Да, именно»,—сказалъ Маниловъ, обратясь къ Чичикову: «я тоже предполагалъ, большая смертность; совсѣмъ не извѣстно, сколько умерло».

«Ты, пожалуйста, ихъ перечти»,—сказалъ Чичиковъ: «и сдѣлай подробный реестрикъ всѣхъ поименно».

«Да, всѣхъ поименно»,—сказалъ Маниловъ.

Приказчикъ сказалъ: «Слушаю!» и ушелъ.

«А для какихъ причинъ вамъ это нужно?»—спросилъ, по уходѣ приказчика, Маниловъ.

Этотъ вопросъ, казалось, затруднилъ гостя: въ лицѣ его показалось какое-то напряженное выраженіе, отъ котораго онъ даже покраснѣлъ,—напряженіе что-то выразить не совсѣмъ покорное словамъ. И въ самомъ дѣлѣ, Маниловъ наконецъ услышалъ такія странныя и необыкновенныя вещи, какихъ еще никогда не слыхали человѣческія уши.

«Вы спрашиваете, для какихъ причинъ? Причины вотъ какія: я хотѣлъ бы купить крестьянъ...»—сказалъ Чичиковъ, заикнулся и не кончилъ рѣчи.

«Но позвольте спросить васъ»,—сказалъ Маниловъ: «какъ желаете вы купить крестьянъ: съ землею, или просто на выродъ, то-есть безъ земли?»

«Нѣтъ, я не то, чтобы совершенно крестьянъ»,—сказалъ Чичиковъ: «я желаю имѣть мертвыхъ...»

«Какъ-съ? Извините... я нѣсколько тугъ на ухо, мнѣ послышалось престранное слово...»

« Я полагаю пріобрѣсть мертвыхъ, которые, впрочемъ, значились бы по ревизіи, какъ живые»,—сказалъ Чичиковъ.

Маниловъ выронилъ тутъ же чубукъ съ трубкою на полъ, и какъ разинулъ ротъ, такъ и остался съ разинутымъ ртомъ въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ. Оба пріятеля, разсуждавшіе о пріятностяхъ дружеской жизни, остались недвижимы, вперя другъ въ друга глаза, какъ тѣ портреты, которые вѣшались въ старину одинъ противъ другого, по обѣимъ сторонамъ зеркала. Наконецъ, Маниловъ поднялъ трубку съ чубукомъ и поглядѣлъ снизу ему въ лицо, стараясь высмотрѣть, не видно ли какой усмѣшки на губахъ его, не пошутилъ ли онъ; но ничего не было видно такого; напротивъ, лицо даже казалось степеннѣе обыкновеннаго. Потомъ подумалъ, не спятилъ ли гость какъ-нибудь невзначай съ ума, и со страхомъ посмотрѣлъ на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны; не было въ нихъ дикаго, безпокойнаго огня, какой бѣгаетъ въ глазахъ сумасшедшаго человѣка; все было прилично и въ порядкѣ. Какъ ни придумывалъ Маниловъ, какъ ему быть и что ему сдѣлать, но ничего другого не могъ придумать, какъ только выпустить изо рта оставшійся дымъ очень тонкою струею.

«Итакъ, я бы желалъ знать, можете ли вы мнѣ таковыхъ, не живыхъ въ дѣйствительности, но живыхъ относительно законной формы, передать, уступить, или какъ вамъ заблагоразсудится лучше?»

Но Маниловъ такъ сконфузился и смѣшался, что только смотрѣлъ на него.

«Мнѣ кажется, вы затрудняетесь?»—замѣтилъ Чичиковъ.

«Я?.. нѣтъ, я не то»,—сказалъ Маниловъ; «но я не могу постичь... извините... я, конечно,не могъ получить такого блестящаго образованія, какое, такъ сказать, видно во всякомъ вашемъ движеніи; не имѣю высокаго искусства выражаться... Можетъ-быть, здѣсь... въ этомъ, вами сейчасъ выраженномъ изъясненіи... скрыто другое... Можетъ-быть, вы изволили выразиться такъ для красоты слога?»

«Нѣтъ»,—подхватилъ Чичиковъ: «нѣтъ, я разумѣю предметъ таковъ, какъ есть, то-есть, тѣ души, которыя точно уже умерли».

Маниловъ совершенно растерялся. Онъ чувствовалъ, что ему нужно что-то сдѣлать, предложить вопросъ, а какой вопросъ—чортъ его знаетъ. Кончилъ онъ, наконецъ, тѣмъ, что выпустилъ опять дымъ, но только уже не ртомъ, а черезъ носовыя ноздри.

«Итакъ, если нѣтъ препятствій, то съ Богомъ можно бы приступить къ совершенію купчей крѣпости»,—сказалъ Чичиковъ.

«Какъ, на мертвыя души купчую?»

«А, нѣтъ!»—сказалъ Чичиковъ. «Мы напишемъ, что онѣ живы, такъ, какъ стоитъ дѣйствительно въ ревизской сказкѣ. Я привыкъ ни въ чемъ не отступать отъ гражданскихъ законовъ; хотя за это и потерпѣлъ на службѣ, но ужъ извините: обязанность для меня—дѣло священное, законъ—я нѣмѣю предъ закономъ».

Послѣднія слова понравились Манилову, но въ толкъ самаго дѣла онъ все-таки никакъ не вникъ и, вмѣсто отвѣта, принялся насасывать свой чубукъ такъ сильно, что тотъ началъ, наконецъ, хрипѣть какъ фаготъ. Казалось, какъ будто онъ хотѣлъ вытянуть изъ него мнѣніе относительно такого неслыханнаго обстоятельства; но чубукъ хрипѣлъ—и больше ничего.

«Можетъ-быть, вы имѣете какія-нибудь сомнѣнія?»

«О, помилуйте, ничуть! Я не насчетъ того говорю, чтобы имѣлъ какое-нибудь, то-есть, критическое предосужденіе о васъ. Но позвольте доложить, не будетъ ли это предпріятіе, или, чтобъ еще болѣе, такъ сказать, выразиться, негоція,—такъ не будетъ ли эта негоція несоотвѣтствующею гражданскимъ постановленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи?»

Здѣсь Маниловъ, сдѣлавши нѣкоторое движеніе головою, посмотрѣлъ очень значительно въ лицо Чичикова, показавъ во всѣхъ чертахъ лица своего и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выраженіе, какого, можетъ быть, не видано было на человѣческомъ лицѣ, развѣ только у какого-нибудь слишкомъ умнаго министра, да и то въ минуту самаго головоломнаго дѣла.

Но Чичиковъ сказалъ просто, что подобное предпріятіе, или негоція никакъ не будетъ несоотвѣтствующею гражданскимъ поста-

новленіямъ и дальнѣйшимъ видамъ Россіи, а чрезъ минуту потомъ прибавилъ, что казна получитъ даже выгоды, ибо получитъ законныя пошлины.

«Такъ вы полагаете?..»

«Я полагаю, что это будетъ хорошо».

«А, если хорошо, это другое дѣло: я противъ того ничего»,—сказалъ Маниловъ и совершенно успокоился.

«Теперь остается условиться въ цѣнѣ...»

«Какъ въ цѣнѣ?»—сказалъ опять Маниловъ и остановился. «Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которыя въ нѣкоторомъ родѣ окончили свое существованіе? Если ужъ вамъ пришло этакое, такъ сказать, фантастическое желаніе, то, съ своей стороны, я продаю ихъ вамъ безъинтересно и купчую беру на себя».

Великій упрекъ былъ бы историку предлагаемыхъ событій, если бы онъ упустилъ сказать, что удовольствіе одолѣло гостя послѣ такихъ словъ, произнесенныхъ Маниловымъ. Какъ онъ ни былъ степененъ и разсудителенъ, но тутъ чуть не произвелъ даже скачокъ по образцу козла, что, какъ извѣстно, производится только въ самыхъ сильныхъ порывахъ радости. Онъ поворотился такъ сильно въ креслахъ, что лопнула шерстяная матерія, обтягивавшая подушку; самъ Маниловъ посмотрѣлъ на него въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Побужденный признательностью, онъ наговорилъ тутъ же столько благодарностей, что тотъ смѣшался, весь покраснѣлъ, производилъ головою отрицательный жестъ, и, наконецъ, уже выразился, что это сущее ничего, что онъ, точно, хотѣлъ бы доказать чѣмъ-нибудь сердечное влеченіе, магнетизмъ души; а умершія души въ нѣкоторомъ родѣ— совершенная дрянь.

«Очень не дрянь»,—сказалъ Чичиковъ, пожавъ ему руку.

Здѣсь былъ испущенъ очень глубокій вздохъ. Казалось, онъ былъ настроенъ къ сердечнымъ изліяніямъ; не безъ чувства и выраженія произнесъ онъ, наконецъ, слѣдующія слова: «Если-бъ вы знали, какую услугу оказали сей, повидимому, дрянью человѣку безъ племени и роду! Да и дѣйствительно, чего не потерпѣлъ я? Какъ барка какая-нибудь среди свирѣпыхъ волнъ... Какихъ гоненій, какихъ преслѣдованій не испыталъ, какого горя не вкусилъ! А за что? За то, что соблюдалъ правду, что былъ чистъ на своей совѣсти, что подавалъ руку и вдовицѣ безпомощной, и сиротѣ горемыкѣ!..» Тутъ даже онъ отеръ платкомъ выкатившуюся слезу.

Маниловъ былъ совершенно растроганъ. Оба пріятеля долго жали другъ другу руку и долго смотрѣли молча одинъ другому въ глаза, въ которыхъ видны были навернувшіяся слезы. Маниловъ никакъ не хотѣлъ выпустить руки нашего героя и продолжалъ жать ее такъ горячо, что тотъ уже не зналъ, какъ ее выручить. Наконецъ, выдернувши ее потихоньку, онъ сказалъ, что не худо бы купчую со-

вершить поскорѣе и хорошо бы, если бы онъ самъ понавѣдался въ городъ; потомъ взялъ шляпу и сталъ откланиваться.

«Какъ? Вы ужъ хотите ѣхать?»—сказалъ Маниловъ, вдругъ очнувшись и почти испугавшись.

Въ это время вошла въ кабинетъ Манилова.

«Лизанька»,—сказалъ Маниловъ съ нѣсколько жалостливымъ видомъ: «Павелъ Ивановичъ оставляетъ насъ!»

«Потому что мы надоѣли Павлу Ивановичу», отвѣчала Манилова.

«Сударыня! Здѣсь»,—сказалъ Чичиковъ: «здѣсь, вотъ гдѣ»,—тутъ онъ положилъ руку на сердце:—«да, здѣсь пребудетъ пріятность времени, проведеннаго съ вами! И, повѣрьте, не было бы для меня, большаго блаженства, какъ жить съ вами, если не въ одномъ домѣ то, по крайней мѣрѣ, въ самомъ ближайшемъ сосѣдствѣ».

«А знаете, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ Маниловъ, которому очень понравилась такая мысль: «какъ было бы въ самомъ дѣлѣ хорошо, если бы жить этакъ вмѣстѣ, подъ одною кровлею или подъ тѣнью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чемъ-нибудь, углубиться!..»

«О, это была бы райская жизнь!»—сказалъ Чичиковъ, вздохнувши. «Прощайте, сударыня!»—продолжалъ онъ, подходя къ ручкѣ Маниловой. «Прощайте, почтеннѣйшій другъ! Не позабудьте просьбы!»

«О, будьте увѣрены!»—отвѣчалъ Маниловъ. «Я съ вами разстаюсь не долѣе, какъ на два дня».

Всѣ вышли въ столовую.

«Прощайте, миленькія малютки!»—сказалъ Чичиковъ, увидѣвши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались какимъ-то деревяннымъ гусаромъ, у котораго уже не было ни руки, ни носа. «Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привезъ вамъ гостинца, потому что, признаюсь, не зналъ даже, живете ли вы на свѣтѣ; но теперь, какъ пріѣду, непремѣнно привезу. Тебѣ привезу саблю. Хочешь саблю?»

«Хочу»,—отвѣчалъ Фемистоклюсъ.

«А тебѣ барабанъ. Не правда ли, тебѣ барабанъ?»—продолжалъ Чичиковъ, наклонившись къ Алкиду.

«Парапанъ»,—отвѣчалъ шопотомъ и потупивъ голову Алкидъ.

«Хорошо, я тебѣ привезу барабанъ,—такой славный барабанъ! Этакъ все будетъ туррр... ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! Прощай!» Тутъ поцѣловалъ онъ его въ голову и обратился къ Манилову и его супругѣ съ небольшимъ смѣхомъ, съ какимъ обыкновенно обращаются къ родителямъ, давая имъ знать о невинности желаній ихъ дѣтей.

«Право, останьтесь, Павелъ Ивановичъ!»—сказалъ Маниловъ, когда уже всѣ вышли на крыльцо. «Посмотрите, какія тучи».

«Это маленькія тучки»,—отвѣчалъ Чичиковъ.

«Да знаете ли вы дорогу къ Собакевичу?»

«Объ этомъ хочу спросить васъ».

«Позвольте, я сейчасъ разскажу вашему кучеру». Тутъ Маниловъ съ такою же любезностью разсказалъ дѣло кучеру, и сказалъ ему даже одинъ разъ *вы*.

Кучеръ, услышавъ, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третій, сказалъ: «Потрафимъ, ваше благородіе», и Чичиковъ уѣхалъ, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочкахъ хозяевъ.

Маниловъ долго стоялъ на крыльцѣ, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала невидна, онъ все еще стоялъ, куря трубку. Наконецъ, вошелъ онъ въ комнату, сѣлъ на стулѣ и предался размышленію, душевно радуясь, что доставилъ гостю своему небольшое удовольствіе. Потомъ мысли его перенеслись незамѣтно къ другимъ предметамъ и наконецъ занеслись, Богъ знаетъ, куда. Онъ думалъ о благополучіи дружеской жизни, о томъ, какъ бы хорошо было жить съ другомъ на берегу какой-нибудь рѣки, потомъ чрезъ эту рѣку началъ строиться у него мостъ, потомъ огромнѣйшій домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что можно оттуда видѣть даже Москву, и тамъ пить вечеромъ чай, на открытомъ воздухѣ, и разсуждать о какихъ-нибудь пріятныхъ предметахъ; потомъ, что они вмѣстѣ съ Чичиковымъ пріѣхали въ какое-то общество, въ хорошихъ каретахъ, гдѣ обворожаютъ всѣхъ пріятностью обращенія, и что будто бы государь, узнавши о такой ихъ дружбѣ, пожаловалъ ихъ генералами, и далѣе, наконецъ, Богъ знаетъ, что такое, чего уже онъ и самъ никакъ не могъ разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдругъ всѣ его мечтанія. Мысль о ней какъ-то особенно не варилась въ его головѣ: какъ ни переворачивалъ онъ ее, но никакъ не могъ изъяснить себѣ, и все время сидѣлъ онъ и курилъ трубку, что тянулось до самаго ужина.

ГЛАВА III

А Чичиковъ, въ довольномъ расположеніи духа, сидѣлъ въ своей бричкѣ, катившейся давно по столбовой дорогѣ. Изъ предыдущей главы уже видно, въ чемъ состоялъ главный предметъ его вкуса и склонностей, а потому не диво, что онъ скоро погрузился весь въ него и тѣломъ, и душою. Предположенія, смѣты и соображенія, блуждавшія по лицу его, видно, были очень пріятны, ибо ежеминутно оставляли послѣ себя слѣды довольной усмѣшки. Занятый ими, онъ не обращалъ никакого вниманія на то, какъ его кучеръ, довольный пріемомъ дворовыхъ людей Манилова, дѣлалъ весьма дѣльныя замѣчанія чубарому пристяжному коню, запряженному съ правой стороны. Этотъ чубарый конь былъ сильно лукавъ и показывалъ только для вида, будто бы везетъ, тогда какъ коренной гнѣдой и при-

стяжной каурой масти, называвшійся Засѣдателемъ, потому что былъ пріобрѣтенъ отъ какого-то засѣдателя, трудились отъ всего сердца, такъ что даже въ глазахъ ихъ было замѣтно получаемое ими отъ того удовольствіе. «Хитри, хитри! Вотъ я тебя перехитрю!»—говорилъ Селифанъ, приподнявшись и хлыснувъ кнутомъ лѣнивца. «Ты знай свое дѣло, панталонникъ ты нѣмецкій! Гнѣдой—почтенный конь, онъ сполнятъ свой долгъ; я ему съ охотою дамъ лишнюю мѣру, потому что онъ почтенный конь; и Засѣдатель—тожъ хорошій конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дуракъ, слушай, коли говорятъ! Я тебя, невѣжа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползетъ!» Здѣсь онъ опять хлыснулъ его кнутомъ, примолвивъ: «У, варваръ! Бонапартъ ты проклятый!..» Потомъ прикрикнулъ на всѣхъ: «Эй, вы, любезные!» и стегнулъ по всѣмъ по тремъ уже не въ видѣ наказанія, но чтобы показать, что былъ ими доволенъ. Доставивъ такое удовольствіе, онъ опять обратилъ рѣчь къ чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведеніе. Нѣтъ, ты живи по правдѣ, когда хочешь, чтобы тебѣ оказывали почтеніе. Вотъ у помѣщика, что мы были, хорошіе люди. Я съ удовольствіемъ поговорю, коли хорошій человѣкъ; съ человѣкомъ хорошимъ мы всегда свои други, тонкіе пріятели: выпить ли чаю, или закусить—съ охотою, коли хорошій человѣкъ. Хорошему человѣку всякій отдастъ почтеніе. Вотъ барина нашего всякій уважаетъ, потому что онъ, слышь ты, сполнялъ службу государскую. Онъ сколѣской совѣтникъ...»

Такъ разсуждая, Селифанъ забрался наконецъ въ самыя отдаленныя отвлеченности. Если бы Чичиковъ прислушался, то узналъ бы много подробностей, относившихся лично къ нему; но мысли его такъ были заняты своимъ предметомъ, что одинъ только сильный ударъ грома заставилъ его очнуться и посмотрѣть вокругъ себя: все небо было совершенно обложено тучами, пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконецъ, громовый ударъ раздался въ другой разъ громче и ближе, и дождь хлынулъ вдругъ, какъ изъ ведра. Сначала, принявши косое направленіе, хлесталъ онъ въ одну сторону кузова кибитки, потомъ въ другую; потомъ, измѣнивши образъ нападенія и сдѣлавшись совершенно прямымъ, барабанилъ прямо въ верхъ его кузова; брызги, наконецъ, стали долетать ему въ лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавѣсками съ двумя круглыми окошечками, опредѣленными на разсматриваніе дорожныхъ видовъ, и приказать Селифану ѣхать скорѣе. Селифанъ, прерванный тоже на самой серединѣ рѣчи, смекнулъ, что, точно, не нужно мѣшкать, вытащилъ тутъ же изъ-подъ козелъ какую-то дрянь изъ сѣраго сукна, надѣлъ ее въ рукава; схватилъ въ руки вожжи и прикрикнулъ на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала пріятное разслабленіе отъ поучительныхъ рѣчей. Но Селифанъ никакъ не могъ припомнить, два или три поворота проѣхалъ. Сообра-

зивъ и припоминая нѣсколько дорогу, онъ догадался, что много было поворотовъ, которые всѣ пропустилъ онъ мимо. Такъ какъ русскій человѣкъ въ рѣшительныя минуты найдется, что сдѣлать, не вдаваясь въ дальнія разсужденія, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнулъ онъ: «Эй, вы, други почтенные!» и пустился вскачь, мало помышляя о томъ, куда приведетъ взятая дорога.

Дождь, однакоже, казалось, зарядилъ надолго. Лежавшая на дорогѣ пыль быстро замѣсилась въ грязь, и лошадямъ ежеминутно становилось тяжелѣе тащить бричку. Чичиковъ уже начиналъ сильно безпокоиться, не видя такъ долго деревни Собакевича. По разсчету его, давно бы пора было пріѣхать. Онъ высматривалъ по сторонамъ, но темнота была такая—хоть глазъ выколи.

«Селифанъ!»—сказалъ онъ наконецъ, высунувшись изъ брички.

«Что, баринъ?»—отвѣчалъ Селифанъ.

«Погляди-ка, не видно ли деревни?»

«Нѣтъ, баринъ, нигдѣ не видно!» Послѣ чего Селифанъ, помахивая кнутомъ, затянулъ—пѣсню не пѣсню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: всѣ ободрительные и понудительные крики, которыми потчиваютъ лошадей по всей Россіи отъ одного конца ея до другого, прилагательныя всѣхъ родовъ безъ дальнѣйшаго разбора, а какъ что первое попалось на языкъ. Такимъ образомъ дошло до того, что онъ началъ называть ихъ, наконецъ, секретарями.

Между тѣмъ Чичиковъ сталъ примѣчать, что бричка качалась на всѣ стороны и надѣляла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили съ дороги и, вѣроятно, тащились по взбороненному полю. Селифанъ, казалось, самъ смекнулъ, но не говорилъ ни слова.

«Что, мошенникъ, по какой дорогѣ ты ѣдешь?»—сказалъ Чичиковъ.

«Да что-жъ, баринъ, дѣлать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма!» Сказавши это, онъ такъ покосилъ бричку, что Чичиковъ принужденъ былъ держаться обѣими руками. Тутъ только замѣтилъ онъ, что Селифанъ подгулялъ.

«Держи, держи, опрокинешь!»—кричалъ онъ ему.

«Нѣтъ, баринъ, какъ можно, чтобъ я опрокинулъ»,—говорилъ Селифанъ. «Это не хорошо опрокинуть, я ужъ самъ знаю; ужъ я никакъ не опрокину». Затѣмъ началъ онъ слегка поворачивать бричку, поворачивалъ, поворачивалъ и, наконецъ, выворотилъ ее совершенно на бокъ. Чичиковъ и руками, и ногами шлепнулся въ грязь. Селифанъ лошадей, однакожъ, остановилъ; впрочемъ, онѣ остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвидѣнный случай совершенно изумилъ его. Слѣзши съ козелъ, онъ сталъ передъ бричкою, подперся въ бока обѣими руками, въ то время, какъ

баринъ барахтался въ грязи, силясь оттуда вылѣзть, и сказалъ послѣ нѣкотораго размышленія: «Вишь ты, и перекинулась!»

«Ты пьянъ, какъ сапожникъ!»—сказалъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, баринъ; какъ можно, чтобъ я былъ пьянъ! Я знаю, что это не хорошее дѣло—быть пьянымъ. Съ пріятелемъ поговорилъ, потому что съ хорошимъ человѣкомъ можно поговорить,—въ томъ нѣтъ худого,—и закусили вмѣстѣ. Закуска не обидное дѣло: съ хорошимъ человѣкомъ можно закусить».

«А что я тебѣ сказалъ послѣдній разъ, когда ты напился? а? забылъ?»—сказалъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, ваше благородіе, какъ можно, чтобы я позабылъ! Я уже дѣло свое знаю. Я знаю, что не хорошо быть пьянымъ. Съ хорошимъ человѣкомъ поговорилъ, потому что...»

«Вотъ я тебя какъ высѣку, такъ ты у меня будешь знать, какъ говорить съ хорошимъ человѣкомъ».

«Какъ милости вашей будетъ завгодно», отвѣчалъ на все согласный Селифанъ: «коли высѣчь, то и высѣчь: я ничуть не прочь отъ того. Почему-жъ не посѣчь, коли за дѣло? на то воля господская. Оно нужно посѣчь, потому что мужикъ балуется; порядокъ нужно наблюдать. Коли за дѣло, то и посѣки; почему-жъ не посѣчь?»

На такое разсужденіе баринъ совершенно не нашелся, что отвѣчать. Но въ это время, казалось, какъ будто сама судьба рѣшилась надъ нимъ сжалиться. Издали послышался собачій лай. Обрадованный Чичиковъ далъ приказаніе погонять лошадей. Русскій возница имѣетъ доброе чутье вмѣсто глазъ; отъ этого случается, что онъ, зажмуря глаза, качаетъ иногда во весь духъ и всегда куда-нибудь да пріѣзжаетъ. Селифанъ, не видя ни зги, направилъ лошадей такъ прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилась оглоблями въ заборъ и когда рѣшительно уже некуда было ѣхать. Чичиковъ только замѣтилъ, сквозь густое покрывало лившаго дождя, что-то похожее на крышу. Онъ послалъ Селифана отыскивать ворота, что, безъ сомнѣнія, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было, вмѣсто швейцаровъ, лихихъ собакъ, которыя доложили о немъ такъ звонко, что онъ поднесъ пальцы къ ушамъ своимъ. Свѣтъ мелькнулъ въ одномъ окошкѣ и досягнулъ туманною струею до забора, указавши нашимъ дорожнымъ ворота. Селифанъ принялся стучать, и скоро, отворивъ калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армякомъ, и баринъ со слугою услышали хриплый бабій голосъ: «Кто стучитъ? Чего расходились?»

«Пріѣзжіе, матушка, пусти переночевать»,—произнесъ Чичиковъ.

«Вишь, ты какой востроногій»,—сказала старуха: «пріѣхалъ въ какое время! Здѣсь тебѣ не постоялый дворъ: помѣщица живетъ».

«Что-жъ дѣлать, матушка? Вишь, съ дороги сбились. Не ночевать же въ такое время въ степи».

«Да, время темное, нехорошее время»,—прибавилъ Селифанъ
«Молчи, дуракъ»,—сказалъ Чичиковъ.
«Да кто вы такой?» сказала старуха.
«Дворянинъ, матушка».

Слово *дворянинъ* заставило старуху какъ будто нѣсколько подумать. «Погодите, я скажу—барынѣ», произнесла она, и минуты черезъ двѣ уже возвратилась съ фонаремъ въ рукѣ. Ворота отперлись. Огонекъ мелькнулъ и въ другомъ окнѣ. Бричка, въѣхавши на дворъ, остановилась передъ небольшимъ домикомъ, который за темнотою трудно было разсмотрѣть. Только одна половина его была озарена свѣтомъ, исходившимъ изъ оконъ; видна была еще лужа передъ домомъ, на которую прямо ударялъ тотъ же свѣтъ. Дождь стучалъ звонко по деревянной крышѣ и журчащими ручьями стекалъ въ подставленную бочку. Между тѣмъ псы заливались всѣми возможными голосами: одинъ, забросивши вверхъ голову, выводилъ такъ протяжно и съ такимъ стараніемъ, какъ будто за это получалъ, Богъ знаетъ, какое жалованье; другой отхватывалъ наскоро, какъ понамарь; промежъ нихъ звенѣлъ, какъ почтовый звонокъ, неугомонный дискантъ, вѣроятно, молодого щенка, и все это наконецъ повершалъ басъ, можетъ-быть, старикъ, надѣленный дюжею собачьей натурой, потому что хрипѣлъ, какъ хрипитъ пѣвческій контрабасъ, когда концертъ въ полномъ разливѣ: тенора поднимаются на цыпочки отъ сильнаго желанія вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а онъ одинъ, засунувши небритый подбородокъ въ галстукъ, присѣвъ и опустившись почти до земли, пропускаетъ оттуда свою ноту, отъ которой трясутся и дребезжатъ стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному изъ такихъ музыкантовъ, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокшій и озябшій герой нашъ ни о чемъ не думалъ, какъ только о постели. Не успѣла бричка совершенно остановиться, какъ онъ уже соскочилъ на крыльцо, пошатнулся и чуть не упалъ. На крыльцо вышла опять какая-то женщина помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его въ комнату. Чичиковъ кинулъ вскользь два взгляда: комната была обвѣшана старенькими, полосатыми обоями; картины съ какими-то птицами; между оконъ—старинныя маленькія зеркала, съ темными рамками въ видѣ свернувшихся листьевъ; за всякимъ зеркаломъ заложены были или письмо, или старая колода картъ, или чулокъ; стѣнные часы, съ нарисованными цвѣтами на циферблатѣ... не въ мочь было ничего болѣе замѣтить. Онъ чувствовалъ, что глаза его липнули, какъ будто ихъ кто-нибудь вымазалъ медомъ. Минуту спустя, вошла хозяйка, женщина пожилыхъ лѣтъ, въ какомъ-то спальномъ чепцѣ, надѣтомъ наскоро, съ фланелью на шеѣ, одна изъ тѣхъ матушекъ, небольшихъ помѣщицъ, которыя плачутся на неурожаи, убытки, и держатъ голову нѣсколько на-бокъ, а между

тѣмъ набираютъ понемногу деньжонокъ въ пестрядевые мѣшечки, размѣщенные по ящичкамъ комодовъ. Въ одинъ мѣшечекъ отбираютъ все цѣлковики, въ другой полтинники, въ третій четвертачки, хотя съ виду и кажется, будто бы въ комодѣ ничего нѣтъ кромѣ бѣлья, да ночныхъ кофточекъ, да нитяныхъ моточковъ, да распоротаго салопа, имѣющаго потомъ обратиться въ платье, если старое какъ-нибудь прогоритъ во время печенія праздничныхъ лепешекъ со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгоритъ платье и не изорвется само собою: бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго въ распоротомъ видѣ, а потомъ достаться, по духовному завѣщанію, племянницѣ внучатной сестры, вмѣстѣ со всякимъ другимъ хламомъ.

Чичиковъ извинился, что побезпокоилъ неожиданнымъ пріѣздомъ. «Ничего, ничего!»—сказала хозяйка. «Въ какое это время васъ Богъ принесъ! Сумятица и вьюга такая... Съ дороги бы слѣдовало поѣсть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя».

Слова хозяйки были прерваны страннымъ шипѣніемъ, такъ что гость было испугался: шумъ походилъ на то, какъ бы вся комната наполнилась змѣями; но, взглянувши вверхъ, онъ успокоился, ибо смекнулъ, что стѣннымъ часамъ пришла охота бить. За шипѣньемъ тотчасъ же послѣдовало хрипѣнье и, наконецъ, понатужась всѣми силами, они пробили два часа, такимъ звукомъ, какъ бы кто колотилъ палкой по разбитому горшку, послѣ чего маятникъ пошелъ опять покойно щелкать направо и налѣво.

Чичиковъ поблагодарилъ хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не безпокоилась ни о чемъ, что кромѣ постели онъ ничего не требуетъ, и полюбопытствовалъ только знать, въ какія мѣста заѣхалъ онъ, и далеко ли отсюда пути къ помѣщику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени, и что такого помѣщика вовсе нѣтъ.

«По крайней мѣрѣ, знаете Манилова?»—сказалъ Чичиковъ.

«А кто таковъ Маниловъ?»

«Помѣщикъ, матушка».

«Нѣтъ, не слыхивала; нѣтъ такого помѣщика».

«Какіе же есть?»

«Бобровъ, Свиньинъ, Канапатьевъ, Харпакинъ, Трепакинъ. Плѣшаковъ».

«Богатые люди, или нѣтъ?»

«Нѣтъ, отецъ, богатыхъ слишкомъ нѣтъ. У кого двадцать душъ, у кого тридцать; а такихъ, чтобъ по сотнѣ, такихъ нѣтъ».

Чичиковъ замѣтилъ, что онъ заѣхалъ въ порядочную глушь.

«Далеко ли, по крайней мѣрѣ, до города?»

«А верстъ шестьдесятъ будетъ. Какъ жаль мнѣ, что нечего вамъ покушать! Не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

«Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кромѣ постели».

«Правда, съ такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вотъ здѣсь и расположитесь, батюшка, на этомъ диванѣ. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послалъ Богъ: громъ такой—у меня всю ночь горѣла свѣча передъ образомъ. Эхъ, отецъ мой, да у тебя-то, какъ у борова, вся спина и бокъ въ грязи; гдѣ такъ изволилъ засалиться?»

«Еще слава Богу, что только засалился; нужно благодарить, что не отломалъ совсѣмъ боковъ».

«Святители, какія страсти! Да не нужно ли чѣмъ потереть спину?»

«Спасибо, спасибо. Не безпокойтесь, а прикажите только вашей дѣвкѣ повысушить и вычистить мое платье».

«Слышишь, Фетинья!»—сказала хозяйка, обратясь къ женщинѣ, выходившей на крыльцо со свѣчою, которая успѣла уже притащить перину, и, взбивши ее съ обоихъ боковъ руками, напустила цѣлый потопъ перьевъ по всей комнатѣ. «Ты возьми ихній-то кафтанъ вмѣстѣ съ исподнимъ и прежде просуши ихъ передъ огнемъ, какъ дѣлывали покойнику барину, а послѣ перетри и выколоти хорошенько».

«Слушаю, сударыня!»—говорила Фетинья, постилая сверхъ перины простыню и кладя подушки.

«Ну, вотъ тебѣ постель готова»,—сказала хозяйка. «Прощай, батюшка; желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Можетъ, ты привыкъ, отецъ мой, чтобы кто-нибудь почесалъ на ночь пятки. Покойникъ мой безъ этого никакъ не засыпалъ».

Но гость отказался и отъ почесыванія пятокъ. Хозяйка вышла, и онъ тотъ же часъ поспѣшилъ раздѣться, отдавъ Фетиньѣ всю снятую съ себя сбрую, какъ верхнюю, такъ и нижнюю, и Фетинья, пожелавъ также съ своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспѣхи. Оставшись одинъ, онъ не безъ удовольствія взглянулъ на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, какъ видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стулъ, взобрался онъ на постель, она опустилась подъ нимъ почти до самаго пола, и перья, вытѣсненныя имъ изъ предѣловъ, разлетѣлись во всѣ углы комнаты. Погасивъ свѣчу, онъ накрылся ситцевымъ одѣяломъ и, свернувшись подъ нимъ кренделемъ, заснулъ въ ту же минуту. Проснулся на другой день онъ уже довольно позднимъ утромъ. Солнце сквозь окно блистало ему прямо въ глаза, и мухи, которыя вчера спали спокойно на стѣнахъ и на потолкѣ, всѣ обратились къ нему: одна сѣла ему на губу, другая на ухо, третья норовила, какъ бы усѣсться на самый глазъ; ту же, которая имѣла неосторожность подсѣсть близко къ носовой ноздрѣ, онъ потянулъ впросонкахъ въ самый носъ, что заставило его крѣпко чихнуть—обстоятельство, бывшее причиною его пробужденія. Окинувши взглядомъ комнату, онъ теперь замѣтилъ, что на картинахъ не все были птицы: между ними висѣлъ портретъ Кутузова и писанный масля-

ными красками как [illegible] старикъ съ красными обшлагами на мундирѣ, какъ нашивали при Павлѣ Петровичѣ. Часы опять испустили шипѣніе и пробили десять; въ дверь выглянуло женское лицо и въ ту же минуту спряталось, ибо Чичиковъ, желая получше заснуть, скинулъ съ себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему какъ будто нѣсколько знакомо. Онъ сталъ припоминать себѣ, кто бы это былъ, и наконецъ вспомнилъ, что это была хозяйка. Онъ надѣлъ рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возлѣ него. Одѣвшись, подошелъ онъ къ зеркалу и чихнулъ опять такъ громко, что подошедшій въ это время къ окну индѣйскій пѣтухъ,—окно же было очень близко отъ земли,—заболталъ ему что-то вдругъ и весьма скоро на своемъ странномъ языкѣ, вѣроятно: «желаю здравствовать», на что Чичиковъ сказалъ ему дурака. Подошедши къ окну, онъ началъ разсматривать бывшіе передъ нимъ виды; окно глядѣло едва ли не въ курятникъ; по крайней мѣрѣ, находившійся передъ нимъ узенькій дворикъ весь былъ наполненъ птицами и всякой домашней тварью. Индѣйкамъ и курамъ не было числа; промежъ нихъ расхаживалъ пѣтухъ мѣрными шагами, потряхивая гребнемъ и поворачивая голову на-бокъ, какъ будто къ чему-то прислушиваясь; свинья съ семействомъ очутилась тутъ же; тутъ же, разгребая кучу сора, съѣла она мимоходомъ цыпленка и, не замѣчая этого, продолжала уписывать арбузныя корки своимъ порядкомъ. Этотъ небольшой дворикъ, или курятникъ перегораживалъ дощатый заборъ, за которымъ тянулись пространные огороды съ капустой, лукомъ, картофелемъ, свеклой и прочимъ хозяйственнымъ овощемъ. По огороду были разбросаны кое-гдѣ яблони и другія фруктовыя деревья, накрытыя сѣтями для защиты отъ сорокъ и воробьевъ, изъ которыхъ послѣдніе цѣлыми косвенными тучами переносились съ одного мѣста на другое. Для этой же самой причины водружено было нѣсколько чучелъ на длинныхъ шестахъ съ растопыренными руками; на одномъ изъ нихъ надѣтъ былъ чепецъ самой хозяйки. За огородами слѣдовали крестьянскія избы, которыя хотя были выстроены вразсыпанную и не заключены въ правильныя улицы, но, по замѣчанію, сдѣланному Чичиковымъ, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы, какъ слѣдуетъ: изветшавшій тесъ на крышахъ вездѣ былъ замѣненъ новымъ; ворота нигдѣ не покосились; а въ обращенныхъ къ нему крестьянскихъ крытыхъ сараяхъ замѣтилъ онъ—гдѣ стоявшую запасную, почти новую, телѣгу, а гдѣ и двѣ. «Да у ней деревушка не маленькая», сказалъ онъ и положилъ тутъ же разговориться и познакомиться съ хозяйкой покороче. Онъ заглянулъ въ щелочку двери, изъ которой она было высунула голову, и, увидѣвъ ее, сидящую за чайнымъ столикомъ, вошелъ къ ней съ веселымъ и ласковымъ видомъ.

«Здравствуйте, батюшка. Каково почивали?»—сказала хозяйка, приподнимаясь съ мѣста. Она была одѣта лучше нежели вчера,—въ

темномъ платьѣ и уже не въ спальномъ чепцѣ; но на шеѣ все такъ же было что-то навязано.

«Хорошо, хорошо»,—говорилъ Чичиковъ, садясь въ кресла. «Вы какъ, матушка?»

«Плохо, отецъ мой».

«Какъ такъ?»

«Безсонница. Все поясница болитъ, и нога, что повыше косточки, такъ вотъ и ломитъ».

«Пройдетъ, пройдетъ, матушка. На это нечего глядѣть».

«Дай Богъ, чтобы прошло. Я-то смазывала свинымъ саломъ и скипидаромъ тоже смачивала. А съ чѣмъ прихлебнете чайку? Во фляжкѣ фруктовая».

«Не дурно, матушка; хлебнемъ и фруктовой».

Читатель, я думаю, уже замѣтилъ, что Чичиковъ, несмотря на ласковый видъ, говорилъ, однакоже, съ большею свободою, нежели съ Маниловымъ, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у насъ на Руси если не угнались еще кой въ чемъ другомъ за иностранцами, то далеко перегнали ихъ въ умѣніи обращаться. Пересчитать нельзя всѣхъ оттѣнковъ и тонкостей нашего обращенія. Французъ или нѣмецъ вѣкъ не смекнетъ и не пойметъ всѣхъ его особенностей и различій; онъ почти тѣмъ же голосомъ и тѣмъ же языкомъ станетъ говорить и съ милліонщикомъ, и съ мелкимъ табачнымъ торгашомъ, хотя, конечно, въ душѣ поподличаетъ въ мѣру передъ первымъ. У насъ не то; у насъ есть такіе мудрецы, которые съ помѣщикомъ, имѣющимъ двѣсти душъ, будутъ говорить совсѣмъ иначе, нежели съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, а съ тѣмъ, у котораго ихъ триста, будутъ говорить опять не такъ, какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, а съ тѣмъ, у котораго ихъ пятьсотъ, опять не такъ, какъ съ тѣмъ, у котораго ихъ восемьсотъ; словомъ, хоть восходи до милліона, все найдутся оттѣнки. Положимъ, напримѣръ, существуетъ канцелярія—не здѣсь, а въ тридевятомъ государствѣ, а въ канцеляріи, положимъ, существуетъ правитель канцеляріи. Прошу посмотрѣть на него, когда онъ сидитъ среди своихъ подчиненныхъ—да просто отъ страха и слова не выговоришь. Гордость и благородство... и ужъ чего не выражаетъ лицо его? Просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, рѣшительный Прометей! Высматриваетъ орломъ, выступаетъ плавно, мѣрно. Тотъ же самый орелъ, какъ только вышелъ изъ комнаты и приближается къ кабинету своего начальника, куропаткой такой спѣшитъ съ бумагами подъ мышкой, что мочи нѣтъ. Въ обществѣ и на вечеринкѣ, будь все небольшого чина, Прометей такъ и останется Прометеемъ, а чуть немного повыше его, съ Прометеемъ сдѣлается такое превращеніе, какого и Овидій не выдумаетъ: муха, меньше даже мухи,—уничтожился въ песчинку! «Да это не Иванъ Петровичъ»,—говоришь, глядя на него. «Иванъ Петровичъ выше ростомъ, а этотъ и низенькій, и худенькій; тотъ говоритъ громко, баситъ и ни-

когда не смѣется, а этотъ чортъ знаетъ что: пищитъ птицей и все смѣется. Подходишь ближе, глядишь—точно Иванъ Петровичъ! «Эхе, хе, хе!» думаешь себѣ... Но однакожъ обратимся къ дѣйствующимъ лицамъ. Чичиковъ, какъ мы ужъ видѣли, рѣшился вовсе не церемониться, и потому, взявши въ руки чашку съ чаемъ и вливши туда фруктовой, повелъ такія рѣчи:

«У васъ, матушка, хорошая деревенька. Сколько въ ней душъ?»

«Душъ-то въ ней, отецъ мой, безъ малаго 80»,—сказала хозяйка, «да бѣда, времена плохи: вотъ и прошлый годъ былъ такой неурожай: что Боже храни».

«Однакожъ мужички на видъ дюжіе, избенки крѣпкія. А позвольте узнать фамилію вашу. Я такъ разсѣялся... пріѣхалъ въ ночное время...»

«Коробочка, коллежская секретарша».

«Покорнѣйше благодарю. А имя и отчество?»

«Настасья Петровна».

«Настасья Петровна? Хорошее имя—Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна».

«А ваше имя какъ?»—спросила помѣщица: «вѣдь вы, я чай, засѣдатель?»

«Нѣтъ, матушка!»—отвѣчалъ Чичиковъ, усмѣхнувшись: «чай, не засѣдатель, а такъ ѣздимъ по своимъ дѣлишкамъ».

«А, такъ вы покупщикъ! Какъ же жаль, право, что я продала медъ купцамъ такъ дешево; а вотъ ты бы, отецъ мой, у меня, вѣрно, его купилъ».

«А вотъ меду и не купилъ бы».

«Что-жъ другое? Развѣ пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато—полпуда всего».

«Нѣтъ, матушка, другого рода товарецъ: скажите, у васъ умирали крестьяне?»

«Охъ, батюшка, осьмнадцать человѣкъ!» сказала старуха, вздохнувши. «И умеръ такой все славный народъ, все работники. Послѣ того, правда, народилось, да что въ нихъ? все такая мелюзга. А засѣдатель подъѣхалъ—подать, говоритъ, уплачивать съ души. Народъ мертвый, а платили какъ за живого. На прошлой недѣлѣ сгорѣлъ у меня кузнецъ, такой искусный кузнецъ и слесарное мастерство зналъ».

«Развѣ у васъ былъ пожаръ, матушка?»

«Богъ приберегъ отъ такой бѣды; пожаръ бы еще хуже: самъ сгорѣлъ, отецъ мой. Внутри у него какъ-то загорѣлось, черезчуръ выпилъ; только синій огонекъ пошелъ отъ него, весь истлѣлъ и почернѣлъ, какъ уголь; а такой былъ преискусный кузнецъ! И теперь мнѣ выѣхать не на чемъ: некому лошадей подковать».

«На все воля Божья, матушка!»—сказалъ Чичиковъ, вздохнувши: «противъ мудрости Божіей ничего нельзя сказать... Уступите-ка ихъ мнѣ, Настасья Петровна!»

«Кого, батюшка?»

«Да вотъ этихъ-то всѣхъ, что умерли».

«Да какъ же уступить ихъ?»

«Да такъ просто. Или, пожалуй, продайте. Я вамъ за нихъ дамъ деньги».

«Да какъ же? Я, право, въ толкъ-то не возьму. Нешто хочешь ты ихъ откапывать изъ земли?»

Чичиковъ увидѣлъ, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, въ чемъ дѣло. Въ немногихъ словахъ объяснилъ онъ ей, что переводъ или покупка будетъ значиться только на бумагѣ и души будутъ прописаны какъ бы живыя.

«Да на что-жъ онѣ тебѣ?» — сказала старуха, выпучивъ на него глаза.

«Это ужъ мое дѣло».

«Да вѣдь онѣ-жъ мертвыя».

«Да кто же говоритъ, что онѣ живыя? Потому-то и въ убытокъ вамъ, что мертвыя: вы за нихъ платите, а теперь я васъ избавлю отъ хлопотъ и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверхъ того дамъ вамъ пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?»

«Право, не знаю»,—произнесла хозяйка съ разстановкой: «вѣдь я мертвыхъ никогда еще не продавала».

«Еще бы! Это бы скорѣй походило на диво, если бы вы ихъ кому-нибудь продали. Или вы думаете, что въ нихъ есть въ самомъ дѣлѣ какой-нибудь прокъ?»

«Нѣтъ, этого-то я не думаю. Что-жъ въ нихъ за прокъ? Проку никакого нѣтъ. Меня только то и затрудняетъ, что онѣ уже мертвыя».

«Ну, баба, кажется, крѣпколобая!» подумалъ про себя Чичиковъ. «Послушайте, матушка! Да вы разсудите только хорошенько: вѣдь вы разоряетесь, платите за него подать, какъ за живого...»

«Охъ, отецъ, мой, и не говори объ этомъ!»—подхватила помѣщица. «Еще третью недѣлю взнесла больше полутораста, да засѣдателя подмаслила».

«Ну, видите, матушка! А теперь примите въ соображеніе только то, что засѣдателя вамъ подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за нихъ,—я, а не вы; я принимаю на себя всѣ повинности; я совершу даже крѣпость на свои деньги, понимаете ли вы это?»

Старуха задумалась. Она видѣла, что дѣло, точно, какъ будто выгодно, да только ужъ слишкомъ новое и небывалое, а потому начала сильно побаиваться, чтобы какъ-нибудь не надулъ ее этотъ покупщикъ; пріѣхалъ же, Богъ знаетъ, откуда, да еще и въ ночное время.

«Такъ что-жъ, матушка, по рукамъ, что ли?»—говорилъ Чичиковъ.

«Право, отецъ мой, никогда еще не случалось продавать мнѣ покойниковъ. Живыхъ-то я уступила вотъ и третьяго года Протопопову—

двухъ дѣвокъ по сто рублей каждую, и очень благодарилъ: такія вышли славныя работницы: сами салфетки ткутъ».

«Ну, да не о живыхъ дѣло; Богъ съ ними! Я спрашиваю мертвыхъ».

«Право, я боюсь на первыхъ-то порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку. Можетъ-быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а они того... они больше какъ нибудь стоютъ».

«Послушайте, матушка... эхъ какія вы! что-жъ они могутъ стоить? Разсмотрите; вѣдь это прахъ. Понимаете ли? это, просто, прахъ. Вы возьмите всякую негодную, послѣднюю вещь, напримѣръ, даже простую тряпку,—и тряпкѣ есть цѣна: ее хоть, по крайней мѣрѣ, купятъ на бумажную фабрику, а вѣдь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно!»

«Ужъ это, точно, правда. Ужъ совсѣмъ ни на что не нужно; да вѣдь меня одно только и останавливаетъ, что вѣдь они уже мертвые».

«Экъ ее, дубинно-головая какая!»—сказалъ про себя Чичиковъ, уже начиная выходить изъ терпѣнія. «Пойди ты, сладь съ нею! Въ потъ бросила, проклятая старуха!» Тутъ онъ, вынувши изъ кармана платокъ, началъ отирать потъ, въ самомъ дѣлѣ выступившій на лбу. Впрочемъ, Чичиковъ напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человѣкъ, а на дѣлѣ выходитъ совершенная Коробочка. Какъ зарубилъ что себѣ въ голову, то ужъ ничѣмъ его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводовъ, ясныхъ какъ день, все отскакиваетъ отъ него, какъ резиновый мячъ отскакиваетъ отъ стѣны. Отерши потъ, Чичиковъ рѣшился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною. «Вы, матушка»,—сказалъ онъ: «или не хотите понимать словъ моихъ, или такъ нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вамъ даю деньги пятнадцать рублей ассигнаціями,—понимаете ли? Вѣдь это деньги. Вы ихъ не сыщете на улицѣ. Ну, признайтесь, почемъ продали медъ?»

«По 12-ти рублей пудъ».

«Хватили немножко грѣха на душу, матушка. По двѣнадцати не продали».

«Ей Богу, продала».

«Ну, видите-ль? Такъ зато—это медъ. Вы собирали его, можетъ-быть, около года съ заботами, со стараніемъ, хлопотами; ѣздили, морили пчелъ, кормили ихъ въ погребѣ цѣлую зиму, а мертвыя души—дѣло не отъ міра сего. Тутъ вы съ своей стороны никакого не прилагали старанія: на то была воля Божія, чтобы онѣ оставили міръ сей, нанеся ущербъ вашему хозяйству. Тамъ вы получили за трудъ, за стараніе двѣнадцать рублей, а тутъ вы берете ни за что, даромъ, да и не двѣнадцать, а пятнадцать, да и не серебромъ, а все синими ассигнаціями». Послѣ такихъ сильныхъ убѣжденій Чичиковъ почти уже не сомнѣвался что старуха, наконецъ, подастся.

«Право»,—отвѣчала помѣщица: «мое такое неопытное вдовье дѣло!

Лучше-жъ я маленько повременю, авось понаѣдутъ купцы, да примѣнюсь къ цѣнамъ».

«Страмъ, страмъ, матушка! просто, страмъ! Ну, что вы это говорите, подумайте сами! Кто-жъ станетъ покупать ихъ? Ну, какое употребленіе онъ можетъ изъ нихъ сдѣлать?»

«А, можетъ, въ хозяйствѣ-то какъ-нибудь подъ случай понадобятся...» возразила старуха, да и не кончила рѣчи, открыла ротъ и смотрѣла на него почти со страхомъ, желая знать, что онъ на это скажетъ.

«Мертвые въ хозяйствѣ! Экъ куда хватили! Воробьевъ развѣ пугать по ночамъ въ вашемъ огородѣ, что-ли?»

«Съ нами крестная сила! Какія ты страсти говоришь!»—проговорила старуха, крестясь.

«Куда-жъ еще вы ихъ хотѣли пристроить? Да, впрочемъ, вѣдь кости и могилы—все вамъ остается: переводъ только на бумагѣ. Ну, такъ что же? Какъ же? Отвѣчайте, по крайней мѣрѣ».

Старуха вновь задумалась.

«О чемъ же вы думаете, Настасья Петровна?»

«Право, я все не приберу, какъ мнѣ быть; лучше я вамъ пеньку продамъ».

«Да что-жъ пенька? Помилуйте, я васъ прошу совсѣмъ о другомъ, а вы мнѣ пеньку суете. Пенька—пенькою, въ другой разъ пріѣду—заберу и пеньку. Такъ какъ же, Настасья Петровна?»

«Ей Богу, товаръ такой странный, совсѣмъ небывалый!»

Здѣсь Чичиковъ вышелъ совершенно изъ границъ всякаго терпѣнія, хватилъ въ сердцахъ стуломъ объ полъ и посулилъ ей чорта.

Чорта помѣщица испугалась необыкновенно. «Охъ, не припоминай его, Богъ съ нимъ!»—вскрикнула она, вся поблѣднѣвъ. «Еще третьяго дня всю ночь мнѣ снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картахъ послѣ молитвы, да, видно, въ наказаніе-то Богъ и наслалъ его. Такой гадкій привидѣлся; а рога-то длиннѣе бычачьихъ».

«Я дивлюсь, какъ они вамъ десятками не снятся. Изъ одного христіанскаго человѣколюбія хотѣлъ: вижу—бѣдная вдова убивается, терпитъ нужду... Да пропади и околѣй со всей вашей деревней!...»

«Ахъ, какія ты забранки пригинаешь!»—сказала старуха, глядя на него со страхомъ.

«Да не найдешь словъ съ вами! Право словно какая нибудь, не говоря дурного слова, дворняшка, что лежитъ на сѣнѣ: и сама не ѣстъ сѣна, и другимъ не даетъ. Я хотѣлъ было закупать у васъ хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду...» Здѣсь онъ прилгнулъ, хоть и вскользь, и безъ всякаго дальнѣйшаго размышленія, но неожиданно-удачно. Казенные подряды подѣйствовали сильно на Настасью Петровну; по крайней мѣрѣ, она произнесла уже почти просительнымъ голосомъ: «Да чего-жъ ты

разсердился такъ горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсѣмъ тебѣ и не прекословила».

«Есть изъ чего сердиться! Дѣло яйца выѣденнаго не стоитъ, а я стану изъ-за него сердиться!»

«Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнаціей! Только смотри, отецъ мой, насчетъ подрядовъ-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или крупъ, или скотины битой, такъ ужъ, пожалуйста, не обидь меня».

«Нѣтъ, матушка, не обижу»,—говорилъ онъ, а между тѣмъ отиралъ рукою потъ, который въ три ручья катился по лицу его. Онъ разспросилъ ее, не имѣетъ ли она въ городѣ какого-нибудь повѣреннаго или знакомаго, котораго бы могла уполномочить на совершеніе крѣпости и всего, что слѣдуетъ.—«Какъ же! Протопопа, отца Кирилла, сынъ служитъ въ палатѣ»,—сказала Коробочка. Чичиковъ попросилъ ее написать къ нему довѣренное письмо и, чтобы избавить лишнихъ затрудненій, самъ даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было»,—подумала между тѣмъ про себя Коробочка «если бы онъ забиралъ у меня въ казну муку и скотину. Нужно его задобрить: тѣста со вчерашняго вечера еще осталось, такъ пойти сказать Фетиньѣ, чтобъ спекла блиновъ. Хорошо бы также загнуть пирогъ прѣсный съ яйцомъ: у меня его славно загибаютъ, да и времени беретъ не много». Хозяйка вышла съ тѣмъ, чтобы привести въ исполненіе мысль насчетъ загнутія пирога, и, вѣроятно, пополнить ее и другими произведеніями домашней пекарни и стряпни; а Чичиковъ вышелъ въ гостиную, гдѣ провелъ ночь, съ тѣмъ, чтобы вынуть нужныя бумаги изъ своей шкатулки. Въ гостиной давно уже было все прибрано, роскошныя перины вынесены вонъ, передъ диваномъ стоялъ покрытый столъ. Поставивъ на него шкатулку, онъ нѣсколько отдохнулъ, ибо чувствовалъ, что былъ весь въ поту, какъ въ рѣкѣ: все, что ни было на немъ, начиная отъ рубашки до чулокъ, все было мокро. «Экъ уморила какъ, проклятая старуха!»—сказалъ онъ, немного отдохнувши, и отперъ шкатулку. Авторъ увѣренъ, что есть читатели такіе любопытные, которые пожелаютъ даже узнать планъ и внутреннее расположеніе шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вотъ оно, внутреннее расположеніе: въ самой серединѣ мыльница, за мыльницею шесть-семь узенькихъ перегородокъ для бритвъ; потомъ квадратные закоулки для песочницы и чернильницы съ выдолбленною между ними лодочкою для перьевъ, сургучей и всего, что подлиннѣе; потомъ всякія перегородки съ крышечками и безъ крышечекъ для того, что покороче, наполненныя билетами, визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхній ящикъ со всѣми перегородками вынимался, и подъ нимъ находилось пространство, занятое кипами бумагъ въ листъ; потомъ слѣдовалъ маленькій потаенный ящикъ для денегъ, выдвигавшійся незамѣтно

сбоку шкатулки. Онъ всегда такъ поспѣшно выдвигался и задвигался въ ту же минуту хозяиномъ, что навѣрно нельзя сказать, сколько было тамъ денегъ. Чичиковъ тутъ же занялся и, очинивъ перо, началъ писать. Въ это время вошла хозяйка.

«Хорошъ у тебя ящикъ, отецъ мой»,—сказала она, подсѣвши къ нему. «Чай, въ Москвѣ купилъ его?»

«Въ Москвѣ»,—отвѣчалъ Чичиковъ, продолжая писать.

«Я ужъ знала это: тамъ все хорошая работа. Третьяго года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для дѣтей: такой прочный товаръ —до сихъ поръ носится. Ахти, сколько у тебя тутъ гербовой бумаги!» продолжала она, заглянувши къ нему въ шкатулку. И въ самомъ дѣлѣ, гербовой бумаги было тамъ не мало. «Хоть бы мнѣ листокъ подарилъ! А у меня такой недостатокъ: случится въ судъ просьбу подать, а и не на чемъ».

Чичиковъ объяснилъ ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершенія крѣпостей, а не для просьбъ. Впрочемъ, чтобы успокоить ее, онъ далъ ей какой-то листъ въ рубль цѣною. Написавши письмо, далъ онъ ей подписаться и попросилъ маленькій списочекъ мужиковъ. Оказалось, что помѣщица не вела никакихъ записокъ, ни списковъ, а знала почти всѣхъ наизусть. Она заставилъ ее тутъ же продиктовать ихъ. Нѣкоторые крестьяне нѣсколько изумили его своими фамиліями, а еще болѣе прозвищами, такъ что онъ всякій разъ, слыша ихъ, прежде останавливался, а потомъ уже начиналъ писать. Особенно поразилъ его какой-то Петръ Савельевъ Неуважай-Корыто, такъ что онъ не могъ не сказать: «Экой длинный!» Другой имѣлъ прицѣпленный къ имени—«Коровій Кирпичъ», иной оказался просто: «Колесо Иванъ». Оканчивая писать, онъ потянулъ нѣсколько къ себѣ носомъ воздухъ и услышалъ завлекательный запахъ чего-то горячаго въ маслѣ.

«Прошу покорно закусить»,—сказала хозяйка. Чичиковъ оглянулся и увидѣлъ, что на столѣ стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой съ лучкомъ, припекой съ макомъ, припекой съ творогомъ, припекой со сняточками, и ни вѣсть чего не было.

«Прѣсный пирогъ съ яйцомъ!»—сказала хозяйка.

Чичиковъ подвинулся къ прѣсному пирогу съ яйцомъ и, съѣвши тутъ же съ небольшимъ половину, похвалилъ его. И въ самомъ дѣлѣ, пирогъ самъ по себѣ былъ вкусенъ, а послѣ всей возни и продѣлокъ со старухой показался еще вкуснѣе.

«А блинковъ?»—сказала хозяйка.

Въ отвѣтъ на это Чичиковъ свернулъ три блина вмѣстѣ и, обмакнувши ихъ въ растопленное масло, отправилъ въ ротъ, а губы и руки вытеръ салфеткой. Повторивши это раза три, онъ попросилъ хозяйку

приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тутъ же послала Фетинью, приказавши въ то же время принести еще горячихъ блиновъ.

«У васъ, матушка, блинцы очень вкусны»,—сказалъ Чичиковъ, принимаясь за принесенные горячіе.

«Да у меня-то ихъ хорошо пекутъ»,—сказала хозяйка: «да вотъ бѣда: урожай плохъ, мука ужъ такая не авантажная... Да что же, батюшка, вы такъ спѣшите?»—проговорила она, увидя, что Чичиковъ взялъ въ руки картузъ: «вѣдь и бричка еще не заложена».

«Заложатъ, матушка, заложатъ. У меня скоро закладываютъ».

«Такъ ужъ, пожалуйста, не позабудьте насчетъ подрядовъ».

«Не забуду, не забуду»,—говорилъ Чичиковъ, выходя въ сѣни.

«А свиного сала не покупаете?» сказала хозяйка, слѣдуя за нимъ.

«Почему не покупать? Покупаю, только послѣ».

«У меня о святкахъ и свиное сало будетъ».

«Купимъ, купимъ, всего купимъ, и свиного сала купимъ».

«Можетъ-быть, понадобится птичьихъ перьевъ. У меня къ Филиппову посту будутъ и птичьи перья».

«Хорошо, хорошо»,—говорилъ Чичиковъ.

«Вотъ видишь, отецъ мой, и бричка твоя еще не готова»,—сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

«Будетъ, будетъ готова. Разскажите только мнѣ, какъ добраться до большой дороги».

«Какъ же бы это сдѣлать?»—сказала хозяйка. «Разсказать-то мудрено, поворотовъ много; развѣ я тебѣ дамъ дѣвчонку, чтобы проводила. Вѣдь у тебя, чай, мѣсто есть на козлахъ, гдѣ бы присѣсть ей?»

«Какъ не быть».

«Пожалуй, я тебѣ дамъ дѣвчонку; она у меня знаетъ дорогу; только ты смотри, не завези ее: у меня уже одну завезли купцы».

Чичиковъ увѣрилъ ее, что не завезетъ, и Коробочка, успокоившись, уже стала разсматривать все, что было во дворѣ ея: вперила глаза на ключницу, выносившую изъ кладовой деревянную побратиму съ медомъ, на мужика, показавшагося въ воротахъ, и мало-по-малу вся переселилась въ хозяйственную жизнь. Но зачѣмъ такъ долго заниматься Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная—мимо ихъ! Не то на свѣтѣ дивно устроено: веселое мигомъ обратится въ печальное, если только долго застоишься передъ нимъ, и тогда, Богъ знаетъ, что взбредетъ въ голову. Можетъ-быть, станешь даже думать: «Да полно, точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстницѣ человѣческаго совершенствованія? Точно ли такъ велика пропасть, отдѣляющая ее отъ сестры ея, недосягаемо огражденной стѣнами аристократическаго дома съ благовонными чугунными лѣстницами, сіяющими мѣдью, краснымъ деревомъ и коврами, зѣвающей за недочитанной книгой, въ ожиданіи остроум-

но-свѣтскаго визита, гдѣ ей предстанетъ поле блеснуть умомъ и высказать вытверженныя мысли,—мысли, занимающія, по законамъ моды, на цѣлую недѣлю городъ, мысли не о томъ, что дѣлается въ ея домѣ и въ ея помѣстьяхъ, запутанныхъ и разстроенныхъ, благодаря незнанью хозяйственнаго дѣла, а о томъ, какой политическій переворотъ готовится во Франціи, какое направленіе принялъ модный католицизмъ. Но мимо, мимо! Зачѣмъ говорить объ этомъ? Но зачѣмъ же среди недумающихъ, веселыхъ, безпечныхъ минутъ сама собою вдругъ пронесется иная, чудная струя? Еще смѣхъ не успѣлъ совершенно сбѣжать съ лица, а уже сталъ другимъ среди тѣхъ же людей, и уже другимъ свѣтомъ освѣтилось лицо...

«А вотъ бричка, вотъ бричка!»—вскричалъ Чичиковъ, увидя наконецъ подъѣзжавшую свою бричку. «Что ты, болванъ, такъ долго копался? Видно, вчерашній хмель у тебя не весь еще вывѣтрило?»

Селифанъ на это ничего не отвѣчалъ.

«Прощайте, матушка! А что же? гдѣ ваша дѣвчонка?»

«Эй, Пелагея!»—сказала помѣщица стоявшей около крыльца дѣвчонкѣ лѣтъ одиннадцати, въ платьѣ изъ домашней крашенины и съ босыми ногами, которыя издали можно было принять за сапоги, такъ онѣ были облѣплены свѣжею грязью: «покажи-ка барину дорогу».

Селифанъ помогъ взлѣзть дѣвчонкѣ на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потомъ уже взобралась на верхушку и помѣстилась возлѣ него. Вслѣдъ за нею и самъ Чичиковъ занесъ ногу на ступеньку, и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что былъ тяжеленекъ, наконецъ помѣстился, сказавши: «А, теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись.

Селифанъ былъ во всю дорогу суровъ и съ тѣмъ вмѣстѣ очень внимателенъ къ своему дѣлу, что случалось съ нимъ всегда послѣ того, когда либо въ чемъ провинился, либо былъ пьянъ. Лошади были удивительно какъ вычищены. Хомутъ на одной изъ нихъ, надѣвавшійся дотолѣ почти всегда въ разодранномъ видѣ, такъ что изъ-подъ кожи выглядывала пакля, былъ искусно зашитъ. Во всю дорогу былъ онъ молчаливъ, только похлестывалъ кнутомъ и не обращалъ никакой поучительной рѣчи къ лошадямъ, хотя чубарому коню, конечно, хотѣлось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо въ это время вожжи всегда какъ-то лѣниво держались въ рукахъ словоохотнаго возницы, и кнутъ только для формы гулялъ поверхъ спинъ. Но изъ угрюмыхъ устъ слышны были на сей разъ одни однообразно непріятныя восклицанія: «Ну же, ну, ворона! зѣвай, зѣвай!» и больше ничего. Даже самъ гнѣдой и Засѣдатель были не довольны, не услышавши ни разу ни *любезныя*, ни *почтенныя*. Чубарый чувствовалъ пренепріятные удары по своимъ полнымъ и широкимъ частямъ. «Вишь ты какъ разнесло его!» думалъ онъ самъ про себя, нѣсколько припрядывая

ушами. «Небось знаетъ, гдѣ бить! Не хлыснетъ прямо по спинѣ, а такъ и выбираетъ мѣсто, гдѣ поживѣе: по ушамъ зацѣпитъ, или подъ брюхо захлыснетъ».

«Направо, что ли?»—съ такимъ сухимъ вопросомъ обратился Селифанъ къ сидѣвшей возлѣ него дѣвчонкѣ, показывая ей кнутомъ на почернѣвшую отъ дождя дорогу между ярко-зелеными, освѣженными полями.

«Нѣтъ, нѣтъ, я ужъ покажу»,—отвѣчала дѣвчонка.

«Куда-жъ»?—сказалъ Селифанъ, когда подъѣхали поближе.

«Вотъ куды»,—отвѣчала дѣвчонка, показывая рукою.

«Эхъ ты!»—сказалъ Селифанъ. «Да это и есть направо: не знаетъ, гдѣ право, гдѣ лѣво!»

Хотя день былъ очень хорошъ, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сдѣлались скоро покрытыми ею, какъ войлокомъ, что значительно отяжелило экипажъ; къ тому же почва была глиниста и цѣпка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться изъ проселковъ раньше полудня. Безъ дѣвчонки было бы трудно сдѣлать и это, потому что дороги расползались во всѣ стороны, какъ пойманные раки, когда ихъ высыплютъ изъ мѣшка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей винѣ. Скоро дѣвчонка показала рукою на чернѣвшее вдали строеніе, сказавши: «Вонъ столбовая дорога!»

«А строеніе?»—спросилъ Селифанъ.

«Трактиръ»,—сказала дѣвчонка.

«Ну, теперь мы сами доѣдемъ»,—сказалъ Селифанъ: «ступай себѣ домой».

Онъ остановился и помогъ ей сойти, проговоривъ сквозь зубы: «Эхъ ты, черноногая!»

Чичиковъ далъ ей мѣдный грошъ, и она побрела во-свояси, уже довольная тѣмъ, что посидѣла на козлахъ.

ГЛАВА IV.

Подъѣхавши къ трактиру, Чичиковъ велѣлъ остановиться по двумъ причинамъ: съ одной стороны, чтобъ дать отдохнуть лошадямъ, а съ другой стороны, чтобъ и самому нѣсколько закусить и подкрѣпиться. Авторъ долженъ признаться, что весьма завидуетъ аппетиту и желудку такого рода людей. Для него рѣшительно ничего не значатъ всѣ господа большой руки, живущіе въ Петербургѣ и Москвѣ, проводящіе время въ обдумываніи, чтобы такое поѣсть завтра и какой бы обѣдъ сочинить на послѣзавтра, и принимающіеся за этотъ обѣдъ не иначе, какъ отправивши прежде въ ротъ пилюли, глотающіе устрицъ, морскихъ пауковъ и прочихъ чудъ, а потомъ отправляющіеся въ Карлсбадъ или на Кавказъ. Нѣтъ, эти господа никогда не возбуждали въ немъ зависти. Но господа средней руки, что на одной станціи потре-

буютъ ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу съ лукомъ, и потомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, садятся за столъ, въ какое хочешь время, и стерляжья уха съ налимами и молоками шипитъ и ворчитъ у нихъ межъ зубами, заѣдаемая растегаемъ или кулебякой съ сомовьимъ плесомъ, такъ что вчужѣ пронимаетъ аппетитъ,—вотъ эти господа, точно, пользуются завиднымъ даяніемъ неба! Не одинъ господинъ большой руки пожертвовалъ бы сію минуту половину душъ крестьянъ и половину имѣній, заложенныхъ и незаложенныхъ, со всѣми улучшеніями на иностранную и русскую ногу, съ тѣмъ только, чтобы имѣть такой желудокъ, какой имѣетъ господинъ средней руки; но то бѣда, что ни за какія деньги, ниже имѣнія, съ улучшеніями и безъ улучшеній, нельзя пріобрѣсть такого желудка, какой бываетъ у господина средней руки.

Деревянный, потемнѣвшій трактиръ принялъ Чичикова подъ свой узенькій гостепріимный навѣсъ, на деревянныхъ выточенныхъ столбикахъ, похожихъ на старинные церковные подсвѣчники. Трактиръ былъ что-то въ родѣ русской избы, нѣсколько въ большемъ размѣрѣ. Рѣзные узорочные карнизы изъ свѣжаго дерева, вокругъ оконъ и подъ крышей, рѣзко и живо пестрили темныя его стѣны; на ставняхъ были нарисованы кувшины съ цвѣтами.

Взобравшись узенькою деревянною лѣстницею наверхъ, въ широкія сѣни, онъ встрѣтилъ отворявшуюся со скрипомъ дверь и толстую старуху въ пестрыхъ ситцахъ, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» Въ комнатѣ попались все старые пріятели, попадающіеся всякому въ небольшихъ деревянныхъ трактирахъ, какихъ не мало выстроено по дорогамъ, а именно: заиндивѣвшій самоваръ, выскобленныя гладко сосновыя стѣны, треугольный шкафъ съ чайниками и чашками въ углу, фарфоровыя вызолоченныя яички предъ образами, висѣвшія на голубыхъ и красныхъ ленточкахъ, окотившаяся недавно кошка, зеркало, показывавшее вмѣсто двухъ—четыре глаза, а вмѣсто лица какую-то лепешку, наконецъ натыканныя пучками душистыя травы и гвоздики у образовъ, высохшія до такой степени, что желавшій понюхать ихъ только чихалъ, и больше ничего.

«Поросенокъ есть?»—съ такимъ вопросомъ обратился Чичиковъ къ стоявшей бабѣ.

«Есть».

«Съ хрѣномъ и со сметаною?»

«Съ хрѣномъ и со сметаною».

«Давай его сюда!»

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, какъ засохшая кора, потомъ ножъ съ пожелтѣвшею костяною колодочкою, тоненькій, какъ перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никакъ нельзя было поставить прямо на столъ.

Герой нашъ, по обыкновенію, сейчасъ вступилъ съ нею въ разговоръ и разспросилъ, сама ли она держитъ трактиръ, или есть хозяинъ, и сколько даетъ доходу трактиръ, и съ ними ли живутъ сыновья, и что старшій сынъ—холостой или женатый человѣкъ, и какую взялъ жену, съ большимъ ли приданымъ, или нѣтъ, и доволенъ ли былъ тесть, и не сердился ли, что мало подарковъ получилъ на свадьбѣ; словомъ, не пропустилъ ничего. Само собою разумѣется, что полюбопытствовалъ узнать, какіе въ окружности находятся у нихъ помѣщики, и узналъ, что всякіе есть помѣщики: Блохинъ, Почитаевъ, Мыльной, Чепраковъ, полковникъ, Собакевичъ. «А! Собакевича знаешь?—спросилъ онъ и тутъ же услышалъ, что старуха знаетъ не только Собакевича, но и Манилова, и что Маниловъ будетъ повеликатнѣй Собакевича: велитъ тотчасъ сварить курицу, спроситъ и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спроситъ, и всего только, что попробуетъ, а Собакевичъ одного чего-нибудь спроситъ, да ужъ зато все съѣстъ, даже и надбавки потребуетъ за ту же цѣну.

Когда онъ такимъ образомъ разговаривалъ, кушая поросенка, котораго оставался уже послѣдній кусокъ, послышался стукъ колесъ подъѣхавшаго экипажа. Выглянувши въ окно, увидѣлъ онъ остановившуюся передъ трактиромъ легонькую бричку, запряженную тройкою добрыхъ лошадей. Изъ брички вылѣзали двое какихъ-то мужчинъ: одинъ бѣлокурый, высокаго роста, другой немного пониже, чернявый. Бѣлокурый былъ въ темносиней венгеркѣ, чернявый — просто въ полосатомъ архалукѣ. Издали тащилась еще колясочка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней съ изорванными хомутами и веревочной упряжью. Бѣлокурый тотчасъ же отправился по лѣстницѣ наверхъ, между тѣмъ, какъ черномазый еще оставался и щупалъ что-то въ бричкѣ, разговаривая тутъ же со слугою и махая въ то же время ѣхавшей за ними коляскѣ. Голосъ его показался Чичикову какъ будто нѣсколько знакомымъ. Пока онъ его разсматривалъ, бѣлокурый успѣлъ уже нащупать дверь и отворить ее. Это былъ мужчина высокаго роста, лицомъ худощавый, или, что называется, издержанный, съ рыжими усиками. По загорѣвшему лицу его можно было заключить, что онъ зналъ, что такое дымъ, если не пороховой, то, по крайней мѣрѣ, табачный. Онъ вѣжливо поклонился Чичикову, на что послѣдній отвѣтилъ тѣмъ же. Въ продолженіе немногихъ минутъ они, вѣроятно, бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сдѣлано и оба почти въ одно и то же время изъявили удовольствіе, что пыль по дорогѣ была совершенно прибита вчерашнимъ дождемъ и теперь ѣхать и прохладно, и пріятно, какъ вошелъ чернявый его товарищъ, сбросивъ съ головы на столъ картузъ свой, молодцовато взъерошивъ рукой свои черные густые волосы. Это былъ средняго роста, очень недурно сложенный молодецъ, съ полными румяными щеками, съ бѣлыми, какъ снѣгъ, зубами и чер-

ными, какъ смоль, бакенбардами. Свѣжъ онъ былъ, какъ кровь съ молокомъ; здоровье, казалось, такъ и прыскало съ лица его.

«Ба, ба, ба!»—вскричалъ онъ вдругъ, разставивъ обѣ руки при видѣ Чичикова. «Какими судьбами?»

Чичиковъ узналъ Ноздрева, того самаго, съ которымъ онъ вмѣстѣ обѣдалъ у прокурора и который съ нимъ, въ нѣсколько минутъ, сошелся на такую короткую ногу, что началъ уже говорить *ты*, хотя, впрочемъ, онъ съ своей стороны не подалъ къ тому никакого повода.

«Куда ѣздилъ?»—говорилъ Ноздревъ и, не дождавшись отвѣта, продолжалъ: «А я, братъ, съ ярмарки. Поздравь: продулся въ пухъ! Вѣришь ли, что никогда въ жизни такъ не продувался? Вѣдь я на обывательскихъ пріѣхалъ! Вотъ посмотри нарочно въ окно!» Здѣсь онъ нагнулъ самъ голову Чичикова, такъ что тотъ чуть не ударился ею объ рамку. «Видишь, какая дрянь? Насилу дотащили, проклятыя; я уже перелѣзъ вотъ въ его бричку». Говоря это, Ноздревъ показалъ пальцемъ на своего товарища. «А вы еще не знакомы? Зять мой, Мижуевъ! Мы съ нимъ все утро говорили о тебѣ. «Ну, смотри», говорю, «если мы не встрѣтимъ Чичикова». Ну, братъ, если-бъ ты зналъ, какъ я продулся! Повѣришь ли, что не только убухалъ четырехъ рысаковъ—все спустилъ. Вѣдь на мнѣ нѣтъ ни цѣпочки, ни часовъ...» Чичиковъ взглянулъ и увидѣлъ, точно, что на немъ не было ни цѣпочки, ни часовъ. Ему даже показалось, что и одинъ бакенбардъ былъ у него меньше и не такъ густъ, какъ другой. «А вѣдь будь только двадцать рублей въ карманѣ»,—продолжалъ Ноздревъ: «именно не больше, какъ двадцать, я отыгралъ бы все, то-есть, кромѣ того, что отыгралъ бы, вотъ, какъ честный человѣкъ, тридцать тысячъ сейчасъ положилъ бы въ бумажникъ».

«Ты, однако, и тогда такъ говорилъ»,—отвѣчалъ бѣлокурый: «а когда я тебѣ далъ пятьдесятъ рублей, тутъ же просадилъ ихъ».

«И не просадилъ бы! Ей Богу, не просадилъ бы! Не сдѣлай я самъ глупость, право, не просадилъ бы. Не загни я послѣ пароле на проклятой семеркѣ утку, я бы могъ сорвать весь банкъ».

«Однакожъ не сорвалъ»,—сказалъ бѣлокурый.

«Не сорвалъ, потому что загнулъ утку не во-время. А ты думаешь, маіоръ твой хорошо играетъ?»

«Хорошо или не хорошо, однакожъ онъ тебя обыгралъ».

«Эка важность!»—сказалъ Ноздревъ: «этакъ и я его обыграю. Нѣтъ, вотъ попробуй онъ играть дублетомъ, такъ вотъ тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой онъ игрокъ! Зато, братъ Чичиковъ, какъ покутили мы въ первые дни! Правда, ярмарка была отличнѣйшая. Сами купцы говорятъ, что никогда не было такого съѣзда. У меня все, что ни привезли изъ деревни, продали по самой выгоднѣйшей цѣнѣ. Эхъ, братецъ, какъ покутили! Теперь даже, какъ вспомнишь, какъ вспомнишь... чортъ возьми! то-есть, какъ жаль, что ты не былъ! Вообрази,

что въ трехъ верстахъ отъ города стоялъ драгунскій полкъ. Вѣришь ли, что офицеры, сколько ихъ ни было, сорокъ человѣкъ однихъ офицеровъ было въ городѣ... Какъ начали мы, братецъ, пить... Штабъ-ротмистръ Поцѣлуевъ... такой славный! усы, братецъ, такіе! Бордо называетъ просто бурдашкой. «Принеси-ка, братъ», говоритъ, «бурдашки!» Поручикъ Кувшинниковъ... Ахъ, братецъ, какой премилый человѣкъ! Вотъ ужъ, можно сказать, во всей формѣ кутила. Мы все были съ нимъ вмѣстѣ. Какого вина отпустилъ намъ Пономаревъ! Нужно тебѣ знать, что онъ мошенникъ, и въ его лавкѣ ничего нельзя брать: въ вино мѣшаетъ всякую дрянь: сандалъ, жженую пробку, и даже бузиной, подлецъ, затираетъ; но зато, ужъ если вытащитъ изъ дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку, ну, просто, братъ, находишься въ эмпиреяхъ. Шампанское у насъ было такое... что предъ нимъ губернаторское?—просто квасъ. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура; это значитъ—двойное клико. И еще досталъ одну бутылочку французскаго подъ названіемъ: бонбонъ. Запахъ?—розетка и все, что хочешь. Ужъ такъ покутили!.. Послѣ насъ пріѣхалъ какой-то князь, послалъ въ лавку за шампанскимъ—нѣтъ ни одной бутылки во всемъ городѣ: все офицеры выпили. Вѣришь ли, что я одинъ въ продолженіе обѣда выпилъ семнадцать бутылокъ шампанскаго!»

«Ну, семнадцать бутылокъ ты не выпьешь», замѣтилъ бѣлокурый.

«Какъ честный человѣкъ говорю, что выпилъ»,—отвѣчалъ Ноздревъ.

«Ты можешь себѣ говорить, что хочешь, а я тебѣ говорю, что и десяти не выпьешь».

«Ну, хочешь объ закладъ, что выпью?»

«Къ чему же объ закладъ?»

«Ну, поставь свое ружье, которое купилъ въ городѣ».

«Не хочу».

«Ну, да поставь, попробуй!»

«И пробовать не хочу».

«Да, былъ бы ты безъ ружья, какъ безъ шапки. Эхъ, братъ Чичиковъ, то-есть, какъ я жалѣлъ, что тебя не было! Я знаю, что ты бы не разстался съ поручикомъ Кувшинниковымъ. Ужъ какъ бы вы съ нимъ хорошо сошлись! Это не то, что прокуроръ и всѣ губернскіе скряги въ нашемъ городѣ, которые такъ и трясутся за каждую копѣйку. Этотъ, братецъ, и въ гальбикъ, и въ банчишку, и во все, что хочешь. Эхъ, Чичиковъ, ну что бы тебѣ стоило пріѣхать? Право, свинтусъ ты за это, скотоводъ этакой! Поцѣлуй меня, душа; смерть люблю тебя! Мижуевъ, смотри: вотъ судьба свела! Ну, что онъ мнѣ, или я ему? Онъ пріѣхалъ, Богъ знаетъ откуда, я тоже здѣсь живу... А сколько было, братъ, каретъ, и все это en gros. Въ фортунку крутнулъ, выигралъ двѣ банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потомъ опять поставилъ одинъ разъ и прокутилъ, канальство, еще сверхъ шесть цѣлковыхъ.

А какой, если-бъ ты зналъ, волокита Кувшинниковъ! Мы съ нимъ были на всѣхъ почти балахъ. Одна была такая разодѣтая, рюши на ней и трюши, и чортъ знаетъ, чего не было... Я думаю себѣ только: «Чортъ возьми!» А Кувшинниковъ, то-есть, это такая бестія, подсѣлъ къ ней и на французскомъ языкѣ подпускаетъ ей такіе комплименты... Повѣришь ли, простыхъ бабъ не пропустилъ. Это онъ называетъ: «попользоваться насчетъ клубнички». Рыбъ и балыковъ навезли чудныхъ. Я таки привезъ съ собою одинъ,—хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь ѣдешь?»

«А я къ человѣчку къ одному»,—сказалъ Чичиковъ.

«Ну, что человѣчекъ? брось его! Поѣдемъ ко мнѣ!»

«Нельзя, нельзя, есть дѣло».

«Ну, вотъ ужъ и дѣло! ужъ и выдумалъ! Ахъ, ты Оподельдокъ Ивановичъ!»

«Право, дѣло, да еще и нужное».

«Пари держу, врешь! Ну, скажи только, къ кому ѣдешь?»

«Ну, къ Собакевичу».

Здѣсь Ноздревъ захохоталъ тѣмъ звонкимъ смѣхомъ, какимъ заливается только свѣжій, здоровый человѣкъ, у котораго всѣ до послѣдняго выказываются бѣлые, какъ сахаръ, зубы, дрожатъ и прыгаютъ щеки, и сосѣдъ за двумя дверями, въ третьей комнатѣ, вскидывается со сна, вытаращивъ очи, и произноситъ: «Экъ его разобрало!»

«Что-жъ тутъ смѣшного?»—сказалъ Чичиковъ, отчасти недовольный такимъ смѣхомъ.

Но Ноздревъ продолжалъ хохотать во все горло, приговаривая: «Ой, пощади! право, тресну со смѣху!»

«Ничего нѣтъ смѣшного: я далъ ему слово»,—сказалъ Чичиковъ.

«Да вѣдь ты жизни не будешь радъ, когда пріѣдешь къ нему; это просто жидоморъ! Вѣдь я знаю твой характеръ: ты жестоко опѣшишься, если думаешь найти тамъ банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братецъ: ну, къ чорту Собакевича! Поѣдемъ ко мнѣ! Какимъ балыкомъ попотчую! Пономаревъ, бестія, такъ раскланивался, говоритъ: «Для васъ только; всю ярмарку», говоритъ, «обыщите, не найдете такого». Плутъ, однакожъ, ужасный. Я ему въ глаза это говорилъ. «Вы», говорю, «съ нашимъ откупщикомъ первые мошенники!» Смѣется, бестія, поглаживая бороду. Мы съ Кувшинниковымъ каждый день завтракали въ его лавкѣ. Ахъ, братъ, вотъ позабылъ тебѣ сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысячъ не отдамъ, напередъ говорю.—Эй, Порфирій!»—закричалъ онъ, подошедши къ окну, на своего человѣка, который держалъ въ одной рукѣ ножикъ, а въ другой корку хлѣба съ кускомъ балыка, который посчастливилось ему мимоходомъ отрѣзать, вынимая что-то изъ брички. «Эй, Порфирій!»—кричалъ Ноздревъ: «принеси-ка щенка! Каковъ щенокъ!» продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову. «Краденый, ни за самого себя

не отдавалъ хозяинъ. Я ему сулилъ каурую кобылу, которую, помнишь, вымѣнялъ у Хвостырева...» Чичиковъ, впрочемъ, отъ роду не видалъ ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

«Баринъ! ничего не хотите закусить?»—сказала въ это время, подходя къ нему, старуха.

«Ничего. Эхъ, братъ, какъ покутили! Впрочемъ, давай рюмку водки. Какая у тебя есть?»

«Анисовая»,—отвѣчала старуха.

«Ну, давай анисовой»,—сказалъ Ноздревъ.

«Давай ужъ и мнѣ рюмку!»—сказалъ бѣлокурый.

«Въ театрѣ одна актриса, такъ, каналья, пѣла, какъ канарейка! Кувшинниковъ, который сидѣлъ возлѣ меня, «вотъ», говоритъ, «братъ, попользоваться бы насчетъ клубнички!» Однихъ балагановъ, я думаю, было пятьдесятъ. Фенарди четыре часа вертѣлся мельницею». Здѣсь онъ принялъ рюмку изъ рукъ старухи, которая ему за то низко поклонилась. «А, давай его сюда!» закричалъ онъ, увидѣвши Порфирія, вошедшаго со щенкомъ. Порфирій былъ одѣтъ такъ же, какъ и баринъ, въ какомъ-то архалукѣ, стеганомъ на ватѣ, но нѣсколько позамасленѣй.

«Давай его, клади сюда на полъ!»

Порфирій положилъ щенка на полъ, который, растянувшись на всѣ четыре лапы, нюхалъ землю.

«Вотъ щенокъ!» — сказалъ Ноздревъ, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенокъ испустилъ довольно жалобный вой.

«Ты, однакожъ, не сдѣлалъ того, что я тебѣ говорилъ»,—сказалъ Ноздревъ, обратившись къ Порфирію и разсматривая тщательно брюхо щенка: «и не подумалъ вычесать его?»

«Нѣтъ, я его вычесывалъ».

«А отчего же блохи?»

«Не могу знать. Статься можетъ, какъ-нибудь изъ брички поналѣзли».

«Врешь, врешь, и не воображалъ чесать; я думаю, дуракъ, еще своихъ напустилъ. Вотъ посмотри-ка, Чичиковъ, посмотри, какія уши; на-ка, пощупай рукою».

«Да зачѣмъ? я и такъ вижу: доброй породы!»—отвѣчалъ Чичиковъ.

«Нѣтъ, возьми-ка нарочно, пощупай уши!»

Чичиковъ въ угодность ему пощупалъ уши, примолвивши: «Да, хорошая будетъ собака».

«А носъ, чувствуешь, какой холодный? Возьми-ка рукою». Не желая обидѣть его, Чичиковъ взялъ и за носъ, сказавши: «Хорошее чутье».

«Настоящій мордашъ»,—продолжалъ Ноздревъ: «я, признаюсь, давно острилъ зубы на мордаша. На, Порфирій, отнеси его!»

Порфирій, взявши щенка подъ брюхо, унесъ его въ бричку.

«Послушай, Чичиковъ, ты долженъ непремѣнно теперь ѣхать ко мнѣ; пять верстъ всего, духомъ домчимся, а тамъ, пожалуй, можешь и къ Собакевичу».

«А что-жъ»,—подумалъ про себя Чичиковъ: «заѣду-ка я въ самомъ дѣлѣ къ Ноздреву. Чѣмъ же онъ хуже другихъ? такой же человѣкъ, да еще и проигрался. Гораздъ онъ, какъ видно, на все; стало-быть, у него даромъ можно кое-что выпросить».—»Изволь, ѣдемъ»,—сказалъ онъ: «но чуръ не задержать мнѣ время дорого».

«Ну, душа, вотъ это такъ! Вотъ это хорошо! Постой же! я тебя поцѣлую за это». Здѣсь Ноздревъ и Чичиковъ поцѣловались. «И славно: втроемъ и покатимъ!»

«Нѣтъ, ты ужъ пожалуйста, меня-то отпусти»,—говорилъ бѣлокурый: «мнѣ нужно домой».

«Пустяки, пустяки, братъ; не пущу».

«Право, жена будетъ сердиться; теперь же ты можешь пересѣсть вотъ въ ихнюю бричку».

«Ни, ни, ни! И не думай».

Бѣлокурый былъ одинъ изъ тѣхъ людей, въ характерѣ которыхъ на первый взглядъ есть какое-то упорство. Еще не успѣешь открыть рта, какъ они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противоположно ихъ образу мыслей, что никогда не назовутъ глупаго умнымъ и что въ особенности не согласятся плясать по чужой дудкѣ; а кончится всегда тѣмъ, что въ характерѣ ихъ окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовутъ умнымъ и пойдутъ потомъ поплясывать, какъ нельзя лучше, подъ чужую дудку—словомъ, начнутъ гладью, а кончатъ гадью.

«Вздоръ!»—сказалъ Ноздревъ въ отвѣтъ на какое-то представленіе бѣлокураго, надѣлъ ему на голову картузъ, и—бѣлокурый отправился вслѣдъ за ними.

«За водочку! баринъ, не заплатили...»—сказала старуха.

«А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятекъ! заплати пожалуйста. У меня нѣтъ ни копѣйки въ карманѣ».

«Сколько тебѣ?»—сказалъ зятекъ.

«Да, что, батюшка? двугривенникъ всего»,—сказала старуха.

«Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно съ нея».

«Маловато, баринъ», сказала старуха, однакожъ взяла деньги съ благодарностью и еще побѣжала впопыхахъ отворять имъ дверь. Она была не въ убыткѣ, потому что запросила вчетверо противъ того, что стоила водка.

Пріѣзжіе усѣлись. Бричка Чичикова ѣхала рядомъ съ бричкой, въ которой сидѣли Ноздревъ и его зять, и потому они всѣ трое могли свободно между собою разговаривать въ продолженіе дороги. За ними слѣдовала, безпрестанно отставая, небольшая колясочка Ноздрева

на тощихъ обывательскихъ лошадяхъ. Въ ней сидѣлъ Порфирій со щенкомъ.

Такъ какъ разговоръ, который путешественники вели между собою, былъ не очень интересенъ для читателя, то сдѣлаемъ лучше, если скажемъ что-нибудь о самомъ Ноздревѣ, которому, можетъ-быть, доведется сыграть не вовсе послѣднюю роль въ нашей поэмѣ.

Лицо Ноздрева, вѣрно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Такихъ людей приходилось всякому встрѣчать не мало. Они называются разбитными малыми, слывутъ еще въ дѣтствѣ и въ школѣ за хорошихъ товарищей, и при всемъ томъ бываютъ весьма больно поколачиваемы. Въ ихъ лицахъ всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успѣешь оглянуться, какъ уже говорятъ тебѣ *ты*. Дружбу заведутъ, кажется, навѣкъ; но всегда почти такъ случается, что подружившійся подерется съ ними того же вечера на дружеской пирушкѣ. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народъ видный. Ноздревъ въ тридцать пять лѣтъ былъ таковъ же совершенно, какимъ былъ въ осьмнадцать и двадцать: охотникъ погулять. Женитьба его ничуть не перемѣнила, тѣмъ болѣе, что жена скоро отправилась на тотъ свѣтъ, оставивши двухъ ребятишекъ, которые рѣшительно ему были не нужны. За дѣтьми, однакожъ, присматривала смазливая нянька. Дома онъ больше дня никакъ не могъ усидѣть. Чуткій носъ его слышалъ за нѣсколько десятковъ верстъ, гдѣ была ярмарка со всякими съѣздами и балами; онъ ужъ въ одно мгновенье ока былъ тамъ, спорилъ и заводилъ сумятицу за зеленымъ столомъ, ибо имѣлъ, подобно всѣмъ таковымъ, страстишку къ картишкамъ. Въ картишки, какъ мы уже видѣли изъ первой главы, игралъ онъ несовсѣмъ безгрѣшно и чисто, зная много разныхъ передержекъ и другихъ тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густымъ и очень хорошимъ бакенбардамъ, такъ что возвращался домой онъ иногда съ одной только бакенбардой и то довольно жидкой. Но здоровыя и полныя щеки его такъ хорошо были сотворены и вмѣщали въ себѣ столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежнихъ. И, что всего страннѣе, что можетъ только на одной Руси случиться, онъ чрезъ нѣсколько времени уже встрѣчался опять съ тѣми пріятелями, которые его тузили, и встрѣчался, какъ ни въ чемъ не бывало: и онъ, какъ говорится, ничего, и они ничего.

Ноздревъ былъ въ нѣкоторомъ отношеніи историческій человѣкъ. Ни на одномъ собраніи, гдѣ онъ былъ, не обходилось безъ исторіи. Какая-нибудь исторія непремѣнно происходила: или выведутъ его подъ руки изъ зала жандармы, или принуждены бываютъ вытолкать свои же пріятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будетъ такое, чего съ другимъ никакъ не будетъ: или нарѣжется въ буфетѣ такимъ

образомъ, что только смѣется, или проврется самымъ жестокимъ образомъ, такъ что наконецъ самому сдѣлается совѣстно. И навретъ совершенно безъ всякой нужды: вдругъ разскажетъ, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти и тому подобную чепуху, такъ что слушающіе наконецъ всѣ отходятъ, произнесши: «Ну, братъ, ты, кажется, ужъ началъ пули лить». Есть люди, имѣющіе страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе безъ всякой причины. Иной, напримѣръ, даже человѣкъ въ чинахъ, съ благородною наружностью, со звѣздой на груди, будетъ вамъ жать руку, разговорится съ вами о предметахъ глубокихъ, вызывающихъ на размышленія, а потомъ, смотришь, тутъ же, предъ вашими глазами, и нагадитъ вамъ; и нагадитъ такъ, какъ простой коллежскій регистраторъ, а вовсе не такъ, какъ человѣкъ со звѣздой на груди, разговаривающій о предметахъ, вызывающихъ на размышленіе, такъ что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего болѣе. Такую же странную страсть имѣлъ и Ноздревъ. Чѣмъ кто ближе съ нимъ сходился, тому онъ скорѣе всѣхъ насаливалъ: распускалъ небылицу, глупѣе которой трудно выдумать, разстраивалъ свадьбу, торговую сдѣлку и вовсе не почиталъ себя вашимъ непріятелемъ; напротивъ, если случай приводилъ его опять встрѣтиться съ вами, онъ обходился вновь по-дружески и даже говорилъ: «Вѣдь ты такой подлецъ,—никогда ко мнѣ не заѣдешь». Ноздревъ во многихъ отношеніяхъ былъ многосторонній человѣкъ, то-есть человѣкъ на всѣ руки. Въ ту же минуту онъ предлагалъ вамъ ѣхать, куда угодно, хоть на край свѣта, войти въ какое хотите предпріятіе, мѣнять все, что ни есть, на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь—все было предметомъ мѣны, но вовсе не съ тѣмъ, чтобы выиграть; это происходило просто отъ какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмаркѣ посчатливилось напасть на простака и обыграть его, онъ накупалъ кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза въ лавкахъ: хомутовъ, курительныхъ свѣчекъ, платковъ для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойникъ, голландскаго холста, крупичатой муки, табаку, пистолетовъ, селедокъ, картинъ, точильный инструментъ, горшковъ, сапоговъ, фаянсовую посуду—насколько хватало денегъ. Впрочемъ, рѣдко случалось, чтобы это было довезено домой: почти въ тотъ же день спускалось оно все другому, счастливѣйшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка съ кисетомъ и мундштукомъ, а въ другой разъ и вся четверня со всѣмъ—съ коляской и кучеромъ, такъ что самъ хозяинъ отправлялся въ коротенькомъ сюртучкѣ, или архалукѣ, искать какого-нибудь пріятеля, чтобы попользоваться его экипажемъ. Вотъ какой былъ Ноздревъ! Можетъ-быть, назовутъ его характеромъ избитымъ, станутъ говорить, что теперь нѣтъ уже Ноздрева. Увы, несправедливы будутъ тѣ, которые станутъ говорить такъ. Ноздревъ долго еще не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть, только хо-

дитъ въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ.

Между тѣмъ три экипажа подкатили уже къ крыльцу дома Ноздрева. Въ домѣ не было никакого приготовленія къ ихъ принятію. Посерединѣ столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на нихъ, бѣлили стѣны, затягивая какую-то безконечную пѣсню; полъ весь былъ обрызганъ бѣлилами. Ноздревъ приказалъ тотъ же часъ мужиковъ и козлы вонъ и выбѣжалъ въ другую комнату отдавать повелѣнія. Гости слышали, какъ онъ заказывалъ повару обѣдъ; сообразивъ это, Чичиковъ, начинавшій уже нѣсколько чувствовать аппетитъ, увидѣлъ, что раньше пяти часовъ они не сядутъ за столъ. Ноздревъ, возвратившись, повелъ гостей осматривать все, что ни было у него на деревнѣ, и, въ два часа съ небольшимъ, показалъ рѣшительно все, такъ что ничего ужъ больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, гдѣ видѣли двухъ кобылъ, одну сѣрую въ яблокахъ, другую каурую, потомъ гнѣдого жеребца, на видъ и не казистаго, но за котораго Ноздревъ божился, что заплатилъ десять тысячъ.

«Десяти тысячъ ты за него не далъ»,—замѣтилъ зять. «Онъ и одной не стоитъ».

«Ей Богу, далъ десять тысячъ»,—сказалъ Ноздревъ.

«Ты себѣ можешь божиться, сколько хочешь»,—отвѣчалъ зять.

«Ну, хочешь, побьемся объ закладъ?»—сказалъ Ноздревъ.

Объ закладъ зять не захотѣлъ биться.

Потомъ Ноздревъ показалъ пустыя стойла, гдѣ были прежде тоже хорошія лошади. Въ этой же конюшнѣ видѣли козла, котораго, по старому повѣрью, почитали необходимымъ держать при лошадяхъ, который, какъ казалось, былъ съ ними въ ладу, гулялъ подъ ихъ брюхами, какъ у себя дома. Потомъ Ноздревъ повелъ ихъ глядѣть волченка, бывшаго на привязи. «Вотъ волченокъ!»—сказалъ онъ «я его нарочно кормлю сырымъ мясомъ. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ совершеннымъ звѣремъ». Пошли смотрѣть прудъ, въ которомъ, по словамъ Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человѣка съ трудомъ вытаскивали штуку, въ чемъ, однакожъ, родственникъ не преминулъ усомниться. «Я тебѣ, Чичиковъ»,—сказалъ Ноздревъ: «покажу отличнѣйшую пару собакъ: крѣпость черныхъ мясовъ, просто, наводитъ изумленіе, щитокъ—игла!» и повелъ ихъ къ выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большимъ, загороженнымъ со всѣхъ сторонъ дворомъ. Вошедши на дворъ, увидѣли тамъ всякихъ собакъ, и густо-псовыхъ, и чисто-псовыхъ, всѣхъ возможныхъ цвѣтовъ и мастей: муругихъ, черныхъ съ подпалинами, полвопѣгихъ, муругопѣгихъ, красно-пѣгихъ, черно-ухихъ, сѣроухихъ... Тутъ были всѣ клички, всѣ повелительныя наклоненія: стрѣляй, обругай, порхай, пожаръ, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, на-

града, попечительница. Ноздревъ былъ среди ихъ совершенно, какъ отецъ среди семейства: всѣ онѣ, тутъ-же пустивши вверхъ хвосты, зовомые у собачеевъ правилами, полетѣли прямо навстрѣчу гостямъ и стали съ ними здороваться. Штукъ десять изъ нихъ положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказалъ такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на заднія ноги, лизнулъ его языкомъ въ самыя губы, такъ что Чичиковъ тутъ же выплюнулъ. Осмотрѣли собакъ, наводившихъ изумленіе крѣпостью черныхъ мясовъ—хорошія были собаки. Потомъ пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слѣпая и, по словамъ Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но, года два тому назадъ, была очень хорошая сука. Осмотрѣли и суку—сука, точно, была слѣпая. Потомъ пошли осматривать водяную мельницу, гдѣ недоставало порхлицы, въ которую утверждается верхній камень, быстро вращающійся на веретенѣ,—*порхающій*, по чудному выраженію русскаго мужика. «А вотъ тутъ скоро будетъ и кузница»—сказалъ Ноздревъ. Немного прошедши, они увидѣли, точно, кузницу; осмотрѣли и кузницу.

«Вотъ на этомъ полѣ»,—сказалъ Ноздревъ, указывая пальцемъ на поле: «русаковъ такая гибель, что земли не видно; я самъ своими руками поймалъ одного за заднія ноги».

«Ну, русака ты не поймаешь рукою»,—замѣтилъ зять.

«А вотъ же поймалъ, нарочно поймалъ!»—отвѣчалъ Ноздревъ. «Теперь я поведу тебя посмотрѣть», продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову: «границу, гдѣ оканчивается моя земля».

Ноздревъ повелъ своихъ гостей полемъ, которое во многихъ мѣстахъ состояло изъ кочекъ. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиковъ начиналъ чувствовать усталость. Во многихъ мѣстахъ ноги ихъ выдавливали подъ собою воду: до такой степени мѣсто было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потомъ, увидя, что это ни къ чему не служитъ, брели прямо, не разбирая, гдѣ большая, а гдѣ меньшая грязь. Прошедши порядочное разстояніе, увидѣли, точно, границу, состоявшую изъ деревяннаго столбика и узенькаго рва.

«Вотъ граница!»—сказалъ Ноздревъ: «все, что ни видишь по эту сторону,—все это мое, и даже по ту сторону, весь этотъ лѣсъ, который вонъ синѣетъ, и все, что за лѣсомъ—все мое».

«Да когда же этотъ лѣсъ сдѣлался твоимъ?»—спросилъ зять. «Развѣ ты недавно купилъ его? Вѣдь онъ не былъ твой».

«Да, я купилъ его недавно»,—отвѣчалъ Ноздревъ.

«Когда же ты успѣлъ его такъ скоро купить?»

«Какъ же, я еще третьяго дня купилъ, и дорого, чортъ возьми, далъ».

«Да вѣдь ты былъ въ то время на ярмаркѣ».

«Эхъ ты, Софронъ! Развѣ нельзя быть въ одно время и на ярмаркѣ,

и купить землю? Ну, я былъ на ярмаркѣ, а приказчикъ мой тутъ безъ меня и купилъ».

«Да, ну развѣ приказчикъ»,—сказалъ зять, но и тутъ усомнился и покачалъ головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою къ дому. Ноздревъ повелъ ихъ въ свой кабинетъ, въ которомъ, впрочемъ, не было замѣтно слѣдовъ того, что бываетъ въ кабинетахъ, то-есть книгъ или бумаги; висѣли только сабли и два ружья, одно въ триста, а другое въ восемьсотъ рублей. Зять, осмотрѣвши, покачалъ только головою. Потомъ были показаны турецкіе кинжалы, на одномъ изъ которыхъ, по ошибкѣ, было вырѣзано: *Мастеръ Савелій Сибиряковъ*. Вслѣдъ затѣмъ показалась гостямъ шарманка. Ноздревъ, тутъ же, провертѣлъ предъ ними кое-что. Шарманка играла не безъ пріятности, но въ срединѣ ея, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась пѣснью: *Мальбругъ въ походъ поѣхалъ, а Мальбругъ въ походъ поѣхалъ* неожиданно завершался какимъ-то давно-знакомымъ вальсомъ. Уже Ноздревъ давно пересталъ вертѣть, но въ шарманкѣ была одна дудка, очень бойкая, никакъ не хотѣвшая угомониться, и долго еще потомъ свистѣла она одна! Потомъ показались трубки деревянныя, глиняныя, пѣнковыя, обкуренныя и необкуренныя, обтянутыя замшею и необтянутыя, чубукъ съ янтарнымъ мундштукомъ, недавно выигранный, кисетъ, вышитый какою-то графинею, гдѣ-то на почтовой станціи влюбившеюся въ него по уши, у которой ручки, по словамъ его, были самой субдительной *сюперфлю*,—слово, вѣроятно, означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыкомъ, они сѣли за столъ близъ пяти часовъ. Обѣдъ, какъ видно, не составлялъ у Ноздрева главнаго въ жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорѣло, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что поваръ руководствовался какимъ-то вдохновеньемъ и клалъ первое, что попадалось подъ руку; стоялъ ли возлѣ него перецъ—онъ сыпалъ перецъ, капуста ли попалась—совалъ капусту, пичкалъ молоко, ветчину, горохъ,—словомъ: катай-валяй, было бы горячо, а вкусъ какой-нибудь, вѣрно, выйдетъ. Зато Ноздревъ налегъ на вина: еще не подавали супа, онъ ужъ налилъ гостямъ по большому стакану портвейна и по другому го-сотерна, потому что въ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ не бываетъ простого сотерна. Потомъ Ноздревъ велѣлъ принести бутылку мадеры, «лучше которой не пивалъ самъ фельдмаршалъ». Мадера, точно, даже горѣла во рту, ибо купцы, зная уже вкусъ помѣщиковъ, любившихъ добрую мадеру, заправляли ее безпощадно ромомъ, а иной разъ вливали туда и царской водки, въ надеждѣ, что все вынесутъ русскіе желудки. Потомъ Ноздревъ велѣлъ еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словамъ его, была и бургоньонъ, и шампаньонъ вмѣстѣ. Онъ наливалъ очень усердно въ оба стакана—и направо, и налѣво, и зятю, и Чичикову; Чичиковъ замѣтилъ однакоже, какъ-то вскользь, что самому

себѣ онъ не много прибавлялъ. Это заставило его быть осторожнымъ, и какъ только Ноздревъ какъ-нибудь заговаривался или наливалъ зятю, онъ опрокидывалъ въ ту же минуту свой стаканъ въ тарелку. Въ непродолжительномъ времени была принесена на столъ рябиновка, имѣвшая, по словамъ Ноздрева, совершенный вкусъ сливокъ, но въ которой, къ изумленію, слышна была сивушица во всей своей силѣ. Потомъ пили какой-то бальзамъ, носившій такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и самъ хозяинъ въ другой разъ назвалъ его уже другимъ именемъ. Обѣдъ давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости все еще сидѣли за столомъ. Чичиковъ никакъ не хотѣлъ заговорить съ Ноздревымъ при зятѣ насчетъ главнаго предмета, все-таки зять былъ человѣкъ посторонній, а предметъ требовалъ уединеннаго и дружескаго разговора. Впрочемъ, зять врядъ ли могъ быть человѣкомъ опаснымъ, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стулѣ, ежеминутно клевалъ носомъ. Замѣтивъ и самъ, что находился не въ надежномъ состояніи, онъ сталъ, наконецъ, отпрашиваться домой, но такимъ лѣнивымъ и вялымъ голосомъ, какъ будто бы, по русскому выраженію, натаскивалъ клещами на лошадь хомутъ.

«И ни, ни! не пущу!»—сказалъ Ноздревъ.

«Нѣтъ, не обижай меня, другъ мой, право, поѣду»,—говорилъ зять: «ты меня очень обидишь».

«Пустяки, пустяки! Мы соорудимъ сію минуту банчишку».

«Нѣтъ, сооружай, братъ, самъ, а я не могу, жена будетъ въ большой претензіи, право; я долженъ ей разсказать о ярмаркѣ. Нужно, братъ, право нужно, доставить ей удовольствіе. Нѣтъ, ты не держи меня!»

«Ну ее, жену къ!.. важное въ самомъ дѣлѣ дѣло станете дѣлать вмѣстѣ!»

«Нѣтъ, братъ! Она такая добрая жена. Ужъ, точно, примѣрная, такая почтенная и вѣрная! Услуги оказываетъ такія... повѣришь? у меня слезы на глазахъ. Нѣтъ, ты не держи меня; какъ честный человѣкъ, поѣду. Я тебя въ этомъ увѣряю по истинной совѣсти».

«Пусть его ѣдетъ, что въ немъ проку?»—сказалъ тихо Чичиковъ Ноздреву.

«А и вправду!»—сказалъ Ноздревъ: «смерть не люблю такихъ разстепелей!» и прибавилъ вслухъ: «Ну, чортъ съ тобою, поѣзжай бабиться съ женою, ѳетюкъ!»

«Нѣтъ, братъ, ты не ругай меня ѳетюкомъ» *), отвѣчалъ зять: «я ей жизнью обязанъ. Такая, право, добрая, милая, такія ласки оказываетъ... до слезъ разбираетъ. Спроситъ, что видѣлъ на ярмаркѣ,—нужно все разсказать... такая, право, милая».

---

*) Ѳетюкъ—слово обидное для мужчины, происходитъ отъ Ѳ, буквы почитаемой нѣкоторыми неприличной буквою.

«Ну, поѣзжай, ври ей чепуху! Вотъ картузъ твой».

«Нѣтъ, братъ, тебѣ совсѣмъ не слѣдуетъ о ней такъ отзываться; этимъ ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая».

«Ну, такъ и убирайся къ ней скорѣе!»

«Да, братъ, поѣду; извини, что не могу остаться. Душой радъ бы былъ, но не могу». Зять еще долго повторялъ свои извиненія, не замѣчая, что самъ уже давно сидѣлъ въ бричкѣ, давно выѣхалъ за ворота, и передъ нимъ давно были одни пустыя поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмаркѣ.

«Такая дрянь!»—говорилъ Ноздревъ, стоя передъ окномъ и глядя на уѣзжавшій экипажъ. «Вонъ какъ потащился! Конекъ пристяжной не дуренъ, я давно хотѣлъ подцѣпить его. Да вѣдь съ нимъ нельзя никакъ сойтиться. Ѳетюкъ, просто ѳетюкъ!»

За симъ вошли они въ комнату. Порфирій подалъ свѣчи и Чичиковъ замѣтилъ въ рукахъ хозяина, неизвѣстно откуда взявшуюся, колоду картъ.

«А что, братъ»,—говорилъ Ноздревъ, прижавши бока колоды пальцами и нѣсколько погнувши ее, такъ что треснула и отскочила бумажка: «ну, для препровожденія времени, держу триста рублей банку!»

Но Чичиковъ прикинулся какъ будто и не слышалъ, о чемъ рѣчь, и сказалъ, какъ бы вдругъ припомнивъ: «А! чтобъ не позабыть: у меня къ тебѣ просьба».

«Какая?»

«Дай прежде слово, что исполнишь».

«Да какая просьба?»

«Ну, да ужъ дай слово!»

«Изволь».

«Честное слово?»

«Честное слово».

«Вотъ какая просьба: у тебя есть, чай, много умершихъ крестьянъ, которые еще не вычеркнуты изъ ревизіи?»

«Ну, есть; а что?»

«Переведи ихъ на меня, на мое имя».

«А на что тебѣ?»

«Ну, да мнѣ нужно»

«Да на что?»

«Ну, да ужъ нужно... ужъ это мое дѣло,—словомъ, нужно».

«Ну, ужъ вѣрно, что-нибудь затѣялъ. Признайся, что?»

«Да что-жъ затѣялъ? Изъ этакого пустяка и затѣять ничего нельзя».

«Да зачѣмъ же они тебѣ?»

«Охъ, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотѣлось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!»

«Да къ чему-жъ ты не хочешь сказать?»

«Да что же тебѣ за прибыль знать? Ну, просто, такъ, пришла фантазія».

Такъ вотъ же: до тѣхъ поръ, пока не скажешь, не сдѣлаю».

«Ну, вотъ видишь, вотъ ужъ и нечестно съ твоей стороны: слово далъ, да и на попятный дворъ».

«Ну, какъ ты себѣ хочешь, а не сдѣлаю, пока не скажешь, на что».

«Что бы такое сказать ему?» подумалъ Чичиковъ, и, послѣ минутнаго размышленія, объявилъ, что мертвыя души нужны ему для пріобрѣтенія вѣсу въ обществѣ, что онъ помѣстьевъ большихъ не имѣетъ, такъ до того времени хоть бы какія-нибудь душонки.

«Врешь, врешь!»—сказалъ Ноздревъ, не давши окончить: «врешь, братъ!»

Чичиковъ и самъ замѣтилъ, что придумалъ не очень ловко, и предлогъ довольно слабъ. «Ну, такъ я-жъ тебѣ скажу прямѣе», сказалъ онъ, поправившись: «только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумалъ жениться; но нужно тебѣ знать, что отецъ и мать невѣсты преамбиціонные люди. Такая, право, комиссія! не радъ, что связался: хотятъ непремѣнно , чтобы у жениха было никакъ не меньше трехсотъ душъ, а такъ какъ у меня цѣлыхъ почти полутораста крестьянъ недостаетъ...»

«Ну, врешь! врешь!»—закричалъ опять Ноздревъ.

«Ну, вотъ ужъ здѣсь»,—сказалъ Чичиковъ: ни вотъ на столько не солгалъ»,—и показалъ большимъ пальцемъ на своемъ мизинцѣ самую маленькую часть.

«Голову ставлю, что врешь!»

«Однакожъ это обидно! Что же я такое въ самомъ дѣлѣ? Почему я непремѣнно лгу?»

«Ну, да вѣдь я знаю тебя: вѣдь ты большой мошенникъ—позволь мнѣ это сказать тебѣ по дружбѣ! Ежели бы я былъ твоимъ начальникомъ, я бы тебя повѣсилъ на первомъ деревѣ».

Чичиковъ оскорбился такимъ замѣчаніемъ. Уже всякое выраженіе, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему непріятно. Онъ даже не любилъ допускать съ собой ни въ какомъ случаѣ фамильярнаго обращенія, развѣ только если особа была слишкомъ высокаго званія. И потому теперь онъ совершенно обидѣлся.

«Ей Богу, повѣсилъ бы»,—повторилъ Ноздревъ: «я тебѣ говорю это откровенно, не съ тѣмъ, чтобы тебя обидѣть, а просто по-дружески говорю».

«Всему есть границы»,—сказалъ Чичиковъ, съ чувствомъ достоинства: «если хочешь пощеголять подобными рѣчами, такъ ступай въ казармы»,—и потомъ присовокупилъ: «не хочешь подарить, такъ продай».

«Продать! Да вѣдь я знаю тебя, вѣдь ты подлецъ, вѣдь ты дорого не дашь за нихъ?»

«Эхъ! да ты вѣдь тоже хорошъ! Смотри ты! Что онѣ у тебя, брильян товыя, что ли?»

«Ну, такъ и есть. Я ужъ тебя зналъ».

«Помилуй, братъ, что-жъ у тебя за жидовское побужденіе! Ты бы долженъ просто отдать мнѣ ихъ».

«Ну, послушай: чтобъ доказать тебѣ, что я вовсе не какой-нибудь скалдырникъ, я не возьму за нихъ ничего. Купи у меня жеребца, я тебѣ дамъ ихъ въ придачу».

«Помилуй, на что-жъ мнѣ жеребецъ?»—сказалъ Чичиковъ, изумленный въ самомъ дѣлѣ такимъ предложеніемъ.

«Какъ на что? Да вѣдь я за него заплатилъ десять тысячъ, а тебѣ отдаю за четыре».

«Да на что мнѣ жеребецъ? Завода я не держу».

«Да послушай, ты не понимаешь: вѣдь я съ тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мнѣ послѣ».

«Да не нуженъ мнѣ жеребецъ, Богъ съ нимъ!»

«Ну, купи каурую кобылу».

«И кобылы не нужно».

«За кобылу и за сѣраго коня, котораго ты у меня выдѣлъ, возьму я съ тебя только двѣ тысячи».

«Да не нужны мнѣ лошади».

«Ты ихъ продашь: тебѣ на первой ярмаркѣ дадутъ за нихъ втрое больше».

«Такъ лучше-жъ ты ихъ самъ продай, когда увѣренъ, что выиграешь втрое».

«Я знаю, что выиграю, да мнѣ хочется, чтобы и ты получилъ выгоду».

Чичиковъ поблагодарилъ за расположеніе и напрямикъ отказался и отъ сѣраго коня, и отъ каурой кобылы.

«Ну, такъ купи собакъ. Я тебѣ продамъ такую пару, просто—морозъ по кожѣ подираетъ! брудастая съ усами; шерсть стоитъ вверхъ, какъ щетина; бочковатость реберъ уму непостижимая; лапа вся въ комкѣ—земли не задѣнетъ!»

«Да зачѣмъ мнѣ собаки? я не охотникъ».

«Да мнѣ хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если ужъ не хочешь собакъ, такъ купи у меня шарманку. Чудная шарманка! Самому, какъ честный человѣкъ, обошлась въ полторы тысячи; тебѣ отдаю за 900 рублей».

«Да зачѣмъ же мнѣ шарманка? Вѣдь я не нѣмецъ, чтобы, тащася съ ней по дорогамъ, выпрашивать деньги».

«Да вѣдь это не такая шарманка, какъ носятъ нѣмцы. Это органъ; посмотри нарочно: вся изъ краснаго дерева. Вотъ я тебѣ покажу ее еще!» Здѣсь Ноздревъ, схвативши за руку Чичикова, сталъ тащить его

въ другую комнату, и какъ тотъ ни упирался ногами въ полъ и ни увѣрялъ, что онъ знаетъ уже какая шарманка, но долженъ былъ услышать еще разъ, какимъ образомъ поѣхалъ въ походъ Мальбругъ. «Когда ты не хочешь на деньги, такъ вотъ что, слушай: я тебѣ дамъ шарманку и всѣ, сколько ни есть у меня, мертвыя души, а ты мнѣ дай свою бричку и триста рублей придачи».

«Ну, вотъ еще! А я-то въ чемъ поѣду?»

«Я тебѣ дамъ другую бричку. Вотъ пойдемъ въ сарай, я тебѣ покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будетъ чудо-бричка».

«Эхъ его неугомонный бѣсъ какъ обуялъ!»—подумалъ про себя Чичиковъ и рѣшился, во что бы то ни стало, отдѣлаться отъ всякихъ бричекъ, шарманокъ и всѣхъ возможныхъ собакъ, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребръ и комкость лапъ.

«Да вѣдь бричка, шарманка и мертвыя души—все вмѣстѣ».

«Не хочу!»—сказалъ еще разъ Чичиковъ.

«Отчего-жъ ты не хочешь?»

«Оттого, что, просто, не хочу—да и полно».

«Экой ты, право, такой! Съ тобой, какъ я вижу, нельзя, какъ водится между хорошими друзьями и товарищами... такой, право!.. Сейчасъ видно, что двуличный человѣкъ!»

«Да что же я, дуракъ, что ли? Ты посуди самъ: зачѣмъ же пріобрѣтать вещь, рѣшительно для меня ненужную?»

«Ну, ужъ, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалія! Ну, послушай: хочешь метнемъ банчикъ? Я поставлю всѣхъ умершихъ на карту, шарманку тоже».

«Ну, рѣшаться въ банкъ—значитъ подвергаться неизвѣстности»,—говорилъ Чичиковъ и между тѣмъ взглянулъ искоса на бывшія въ рукахъ у него карты. Обѣ таліи ему показались очень похожими на искусственныя, и самый крапъ глядѣлъ весьма подозрительно.

«Отчего-жъ неизвѣстности?»—сказалъ Ноздревъ. «Никакой неизвѣстности! Будь только на твоей сторонѣ счастіе, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вонъ она! Экое счастье!» говорилъ онъ, начиная метать для возбужденія задору. «Экое счастье! экое счастье! Вонъ: такъ и колотитъ! Вотъ та проклятая девятка, на которой я все просадилъ! Чувствовалъ, что продастъ, да уже, зажмуривъ глаза, думаю себѣ: «чортъ тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздревъ это говорилъ, Порфирій принесъ бутылку. Но Чичиковъ отказался рѣшительно какъ играть, такъ и пить.

«Отчего-жъ ты не хочешь играть?»—сказалъ Ноздревъ.

«Ну, оттого, что не расположенъ. Да признаться сказать, я вовсе не охотникъ играть».

«Отчего-жъ не охотникъ?»

Чичиковъ пожалъ плечами и добавилъ: «Потому что не охотникъ».

«Дрянь же ты!»

«Что-жъ дѣлать? такъ Богъ создалъ».

«Ѳетюкъ, просто! Я думалъ было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человѣкъ, а ты никакого не понимаешь обращенія. Съ тобой никакъ нельзя говорить, какъ съ человѣкомъ близкимъ... Никакого прямодушія, ни искренности! Совершенный Собакевичъ, такой подлецъ!»

«Да за что же ты бранишь меня? Виноватъ развѣ я, что не играю? Продай мнѣ душъ однѣхъ, если ужъ ты такой человѣкъ, что дрожишь изъ-за этого вздору».

«Чорта лысаго получишь! Хотѣлъ было, даромъ хотѣлъ отдать, но теперь вотъ не получишь же! Хоть три царства давай—не отдамъ. Такой шильникъ, печникъ гадкій! Съ этихъ поръ съ тобою никакого дѣла не хочу имѣть. Порфирій, ступай, скажи конюху, чтобы не давалъ овса лошадямъ его, пусть ихъ ѣдятъ одно сѣно».

Послѣдняго заключенія Чичиковъ никакъ не ожидалъ.

«Лучше-бъ ты мнѣ, просто, на глаза не показывался!»—сказалъ Ноздревъ.

Несмотря, однакожъ, на такую размолвку, гость и хозяинъ поужинали вмѣстѣ, хотя на этотъ разъ не стояло на столѣ никакихъ винъ съ затѣйливыми именами. Торчала одна только бутылка съ какимъ-то кипрскимъ, которое было то, что называютъ кислятина во всѣхъ отношеніяхъ. Послѣ ужина Ноздревъ сказалъ Чичикову, отведя его въ боковую комнату, гдѣ была приготовлена для него постель: «Вотъ тебѣ постель! Не хочу и доброй ночи желать тебѣ».

Чичиковъ остался по уходѣ Ноздрева въ самомъ непріятномъ расположеніи духа. Онъ внутренно досадовалъ на себя, бранилъ себя за то, что къ нему заѣхалъ и потерялъ даромъ время; но еще болѣе бранилъ себя за то, что заговорилъ съ нимъ о дѣлѣ; поступилъ неосторожно, какъ ребенокъ, какъ дуракъ: ибо дѣло совсѣмъ не такого рода, чтобы быть ввѣрену Ноздреву... Ноздревъ—человѣкъ-дрянь, Ноздревъ можетъ наврать, прибавить, распустить, чортъ знаетъ, что, выйдутъ еще какія-нибудь сплетни... Не хорошо, не хорошо. «Просто, дуракъ я!»—говорилъ онъ самъ себѣ. Ночь спалъ онъ очень дурно. Какія-то маленькія, пребойкія насѣкомыя кусали его нестерпимо больно, такъ что онъ всей горстью скребъ по уязвленному мѣсту, приговаривая: «А, чтобъ васъ чортъ побралъ вмѣстѣ съ Ноздревымъ!» Проснулся онъ раннимъ утромъ. Первымъ дѣломъ его было, надѣвши халатъ и сапоги, отправиться черезъ дворъ въ конюшню, приказать Селифану сей же часъ закладывать бричку. Возвращаясь черезъ дворъ, онъ встрѣтился съ Ноздревымъ, который былъ также въ халатѣ, съ трубкою въ зубахъ.

Ноздревъ привѣтствовалъ его по-дружески и спросилъ, каково ему спалось.

«Такъ себѣ»,—отвѣчалъ Чичиковъ весьма сухо.

«А я, братъ»,—говорилъ Ноздревъ: «такая мерзость лѣзла всю ночь, что гнусно разсказывать; и во рту послѣ вчерашняго точно эскадронъ переночевалъ. Представь, снилось, что меня высѣкли, ей, ей! И вообрази, кто? Вотъ ни за что не угадаешь:—штабъ-ротмистръ Поцѣлуевъ вмѣстѣ съ Кувшинниковымъ».

«Да», подумалъ про-себя Чичиковъ: «хорошо бы, если-бъ тебя отодрали на-яву».

«Ей Богу! Да пребольно! Проснулся, чортъ возьми, въ самомъ дѣлѣ что-то почесывается; вѣрно, вѣдьмы-блохи. Ну, ты ступай теперь, одѣвайся; я къ тебѣ сейчасъ приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».

Чичиковъ ушелъ въ комнату одѣться и умыться. Когда послѣ того вышелъ онъ въ столовую, тамъ уже стоялъ на столѣ чайный приборъ съ бутылкою рома. Въ комнатѣ были слѣды вчерашняго обѣда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу валялись хлѣбныя крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Самъ хозяинъ, не замедлившій скоро войти, ничего не имѣлъ у себя подъ халатомъ, кромѣ открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа въ рукѣ чубукъ и прихлебывая изъ чашки, онъ былъ хорошъ для живописца, не любящаго страхъ господъ прилизанныхъ и завитыхъ, подобно цырюльнымъ вывѣскамъ, или выстриженныхъ подъ гребенку.

«Ну, такъ какъ же думаешь?»—сказалъ Ноздревъ, немного помолчавши: «не хочешь играть на души?»

«Я уже сказалъ тебѣ, братъ, что не играю; купить,—изволь, куплю».

«Продать я не хочу: это будетъ не по-пріятельски. Я не стану снимать плевы съ чортъ знаетъ чего. Въ банчикъ—другое дѣло. Прокинемъ хоть талію!»

«Я ужъ сказалъ, что нѣтъ».

«А мѣняться не хочешь?»

«Не хочу».

«Ну, послушай: сыграемъ въ шашки; выиграешь—твои всѣ. Вѣдь у меня много такихъ, которыхъ нужно вычеркнуть изъ ревизіи. Эй, Порфирій, принеси-ка сюда шашечницу!»

«Напрасенъ трудъ: я не буду играть».

«Да вѣдь это не въ банкъ; тутъ никакого не можетъ быть счастія или фальши: все вѣдь отъ искусства. Я даже тебя предваряю, что я совсѣмъ не умѣю играть, развѣ что-нибудь мнѣ дашь впередъ».

«Сѣмъ-ка я»,—подумалъ про себя Чичиковъ,—«сыграю съ нимъ въ шашки. Въ шашки игрывалъ я недурно, а на штуки ему здѣсь трудно подняться».

«Изволь, такъ и быть, въ шашки сыграю».

«Души идутъ въ ста рубляхъ!»

«Зачѣмъ же? Довольно, если пойдутъ въ пятидесяти».

«Нѣтъ, что-жъ за кушъ пятьдесятъ? Лучше-жъ въ эту сумму я включу тебѣ какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку къ часамъ».

«Ну, изволь!»—сказалъ Чичиковъ.

«Сколько же ты мнѣ дашь впередъ?»—сказалъ Ноздревъ.

«Это съ какой стати? Конечно, ничего».

«По крайней мѣрѣ, пусть будутъ мои два хода».

«Не хочу: я самъ плохо играю».

«Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!» сказалъ Ноздревъ, выступая шашкой.

«Давненько не бралъ я въ руки шашекъ!»—говорилъ Чичиковъ, подвигая тоже шашку.

«Знаемъ мы васъ, какъ вы плохо играете!»—сказалъ Ноздревъ, подвигая шашку, да въ то же самое время подвинулъ обшлагомъ рукава и другую шашку.

«Давненько не бралъ я въ руки!.. Э, э! Это, братъ, что? отсадика ее назадъ!»—говорилъ Чичиковъ.

«Кого?»

«Да шашку-то»,—сказалъ Чичиковъ, и въ то же время увидѣлъ почти передъ самымъ носомъ своимъ и другую, которая, какъ казалось, пробиралась въ дамки. Откуда она взялась, это одинъ только Богъ зналъ. «Нѣтъ»,—сказалъ Чичиковъ, вставши изъ-за стола: «съ тобой нѣтъ никакой возможности играть. Этакъ не ходятъ—по три шашки вдругъ!»

«Отчего-жъ по три? Это по ошибкѣ. Одна подвинулась нечаянно; я ее отодвину, изволь».

«А другая-то откуда взялась?»

«Какая другая?»

«А вотъ эта, что пробирается въ дамки?»

«Вотъ тебѣ на! будто не помнишь!»

«Нѣтъ, братъ, я всѣ ходы считалъ, и все помню; ты ее только теперь пристроилъ. Ей мѣсто вонъ гдѣ!»

«Какъ—гдѣ мѣсто?»—сказалъ Ноздревъ, покраснѣвши: «да ты, братъ, какъ я вижу, сочинитель!»

«Нѣтъ, братъ, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно».

«За кого-жъ ты меня почитаешь?»—говорилъ Ноздревъ: «стану я развѣ плутовать?»

«Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть съ этихъ поръ никогда не буду».

«Нѣтъ, ты не можешь отказаться»,—говорилъ Ноздревъ, горячась: «игра начата!»

«Я имѣю право отказаться, потому что ты не такъ играешь, какъ прилично честному человѣку».

«Нѣтъ, врешь, ты этого не можешь сказать!»

«Нѣтъ, братъ, самъ ты врешь!»

«Я не плутовалъ, а ты отказаться не можешь: ты долженъ кончить партію!»

«Этого ты меня не заставишь сдѣлать»,—сказалъ Чичиковъ хладнокровно и, подошедши къ доскѣ, смѣшалъ шашки.

Ноздревъ вспыхнулъ и подошелъ къ Чичикову такъ близко, что тотъ отступилъ шага два назадъ.

«Я тебя заставлю играть. Это ничего, что ты смѣшалъ шашки! Я помню всѣ ходы. Мы ихъ поставимъ опять такъ, какъ были».

«Нѣтъ, братъ, дѣло кончено: я съ тобою не стану играть».

«Такъ ты не хочешь играть?»

«Ты самъ видишь, что съ тобою нѣтъ возможности играть».

«Нѣтъ, скажи напрямикъ: ты не хочешь играть?»—говорилъ Ноздревъ, подступая еще ближе.

«Не хочу»,—сказалъ Чичиковъ и поднесъ, однакожъ, обѣ руки на всякій случай поближе къ лицу, ибо дѣло становилось въ самомъ дѣлѣ жарко. Эта предосторожность была весьма у мѣста, потому что Ноздревъ размахнулся рукой... и очень могло статься, что одна изъ пріятныхъ и полныхъ щекъ нашего героя покрылась бы несмываемымъ безчестіемъ; но, счастливо отведши ударъ, онъ схватилъ Ноздрева за обѣ задорныя его руки и держалъ его крѣпко.

«Порфирій, Павлушка!»—кричалъ Ноздревъ въ бѣшенствѣ, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиковъ, чтобы не сдѣлать дворовыхъ людей свидѣтелями соблазнительной сцены и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуя, что держать Ноздрева было безполезно, выпустилъ его руки. Въ это самое время вошелъ Порфирій и съ нимъ Павлушка, парень дюжій, съ которымъ имѣть дѣло было совсѣмъ невыгодно.

«Такъ ты не хочешь оканчивать партіи?»—говорилъ Ноздревъ. «Отвѣчай мнѣ напрямикъ!»

«Партіи нѣтъ возможности оканчивать»,—говорилъ Чичиковъ, и заглянулъ въ окно. Онъ увидѣлъ свою бричку, которая стояла совсѣмъ готовая, а Селифанъ ожидалъ, казалось, мановенія, чтобы подкатить подъ крыльцо; но изъ комнаты не было никакой возможности выбраться: въ дверяхъ стояли два дюжихъ крѣпостныхъ дурака.

«Такъ ты не хочешь доканчивать партіи?»—повторилъ Ноздревъ съ лицомъ, горѣвшимъ какъ въ огнѣ.

«Если-бы ты игралъ, какъ прилично честному человѣку... но теперь не могу».

«А! такъ ты не можешь, подлецъ! Когда увидѣлъ, что не твоя береть, такъ и не можешь! Бейте его!»—кричалъ онъ изступленно, обратившись къ Порфирію и Павлушкѣ, а самъ схватилъ въ руку черешневый

невый чубукъ. Чичиковъ сталъ блѣденъ, какъ полотно. Онъ хотѣлъ что-то сказать, но чувствовалъ, что губы его шевелились безъ звука.

«Бейте его!»—кричалъ Ноздревъ, порываясь впередъ съ черешневымъ чубукомъ, весь въ жару, въ поту, какъ будто подступалъ подъ неприступную крѣпость.—Бейте его!»—кричалъ онъ такимъ же голосомъ, какъ во время великаго приступа кричитъ своему взводу: «Ребята, впередъ!» какой-нибудь отчаянный поручикъ, котораго взбалмошная храбрость уже пріобрѣла такую извѣстность, что дается нарочный приказъ держать его за руки во время горячихъ дѣлъ. Но поручикъ уже почувствовалъ бранный задоръ, все пошло кругомъ въ головѣ его; передъ нимъ носится Суворовъ, онъ лѣзетъ на великое дѣло. «Ребята, впередъ!»—кричитъ онъ, порываясь, не помышляя, что вредитъ уже обдуманному плану общаго приступа, что милліоны ружейныхъ дулъ выставились въ амбразуры неприступныхъ, уходящихъ за облака крѣпостныхъ стѣнъ, что взлетитъ на воздухъ его безсильный взводъ, и что уже свищетъ роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздревъ выразилъ собою подступавшаго подъ крѣпость отчаяннаго, потерявшагося поручика, то крѣпость, на которую онъ шелъ, никакъ не была похожа на неприступную. Напротивъ, крѣпость чувствовала такой страхъ, что душа ея спряталась въ самыя пятки. Уже стулъ, которымъ онъ вздумалъ было защищаться, былъ вырванъ крѣпостными людьми изъ рукъ его; уже, зажмуривъ глаза, ни живъ, ни мертвъ, онъ готовился отвѣдать черкесскаго чубука своего хозяина и, Богъ знаетъ, чего бы ни случилось съ нимъ; но судьбамъ угодно было спасти бока, плеча и всѣ благовоспитанныя части нашего героя. Неожиданнымъ образомъ звякнули вдругъ, какъ съ облаковъ, задребезжавшіе звуки колокольчика, раздался ясно стукъ колесъ подлетѣвшей къ крыльцу телѣги и отозвались даже въ самой комнатѣ тяжелый храпъ и тяжкая одышка разгоряченныхъ коней остановившейся тройки. Всѣ невольно глянули въ окно: кто-то съ усами, въ полувоенномъ сюртукѣ, вылѣзалъ изъ телѣги. Освѣдомившись въ передней, вошелъ онъ въ ту самую минуту, когда Чичиковъ не успѣлъ еще опомниться отъ своего страха и былъ въ самомъ жалкомъ положеніи, въ какомъ когда-либо находился смертный.

«Позвольте узнать, кто здѣсь г. Ноздревъ?»—сказалъ незнакомецъ, посмотрѣвши въ нѣкоторомъ недоумѣніи на Ноздрева, который стоялъ съ чубукомъ въ рукѣ, и на Чичикова, который едва начиналъ оправляться отъ своего невыгоднаго положенія.

«Позвольте прежде узнать, съ кѣмъ имѣю честь говорить?»—сказалъ Ноздревъ, подходя къ нему ближе.

«Капитанъ-исправникъ».

«А что вамъ угодно?»

«Я пріѣхалъ вамъ объявить сообщенное мнѣ извѣщеніе, что вы

находитесь подъ судомъ до времени окончанія рѣшенія по вашему дѣлу».

«Что за вздоръ, по какому дѣлу?»—сказалъ Ноздревъ.

Вы были замѣшаны въ исторію, по случаю нанесенія помѣщику Максимову личной обиды розгами, въ пьяномъ видѣ.

«Вы врете! Я и въ глаза не видалъ помѣщика Максимова».

«Милостивый государь! позвольте вамъ доложить, что я офицеръ. Вы можете это сказать вашему слугѣ, а не мнѣ».

Здѣсь Чичиковъ, не дожидаясь, что будетъ отвѣчать на это Ноздревъ, скорѣе за шапку, да по-за спиною капитана-исправника выскользнулъ на крыльцо, сѣлъ въ бричку и велѣлъ Селифану погонять лошадей во весь духъ.

ГЛАВА V.

Герой нашъ трухнулъ, однакожъ, порядкомъ. Хотя бричка мчалась во всю пропалую, и деревня Ноздрева давно унеслась изъ вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками; но онъ все еще поглядывалъ назадъ со страхомъ, какъ бы ожидая, что вотъ-вотъ налетитъ погоня. Дыханіе его переводилось съ трудомъ, и когда онъ попробовалъ приложить руку къ сердцу, то почувствовалъ, что оно билось, какъ перепелка въ клѣткѣ. «Экъ, какую баню задалъ! Смотри ты, какой!» Тутъ много было посулено Ноздреву всякихъ нелегкихъ и сильныхъ желаній; попались даже и нехорошія слова. Что-жъ дѣлать? Русскій человѣкъ, да еще и въ сердцахъ! Къ тому-жъ дѣло было совсѣмъ нешуточное. «Что ни говори», сказалъ онъ самъ въ себѣ: «а не подоспѣй капитанъ-исправникъ, мнѣ бы, можетъ быть, не далось болѣе и на свѣтъ Божій взглянуть! Пропалъ бы, какъ волдырь на водѣ, безъ всякаго слѣда, не оставивши потомковъ, не доставивъ будущимъ дѣтямъ ни состоянія, ни честнаго имени!» Герой нашъ очень заботился о своихъ потомкахъ.

«Экой скверный баринъ!»—думалъ про себя Селифанъ: «я еще не видалъ такого барина. То-есть, плюнуть бы ему за это! Ты лучше человѣку не дай ѣсть, а коня ты долженъ накормить, потому что конь любитъ овесъ. Это его продовольство: что, примѣромъ, намъ коштъ, то для него овесъ: онъ его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно объ Ноздревѣ: не только гнѣдой и Засѣдатель, но и самъ чубарый былъ не въ духѣ. Хотя ему на часть и доставался всегда овесъ похуже, и Селифанъ не иначе всыпалъ ему въ корыто, какъ сказавши прежде: «Эхъ, ты подлецъ», но, однакожъ, это все-таки былъ овесъ, а не простое сѣно: онъ жевалъ его съ удовольствіемъ и часто засовывалъ длинную морду свою въ корытца къ товарищамъ, поотвѣдать, какое у нихъ было продовольствіе, особливо когда Селифана не было въ конюшнѣ; но теперь одно сѣно,—не хорошо! Всѣ были недовольны.

Но скоро всѣ недовольные были прерваны, среди изліяній своихъ, внезапнымъ и совсѣмъ неожиданнымъ образомъ. Всѣ, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на нихъ наскакала коляска съ шестерикомъ коней и почти надъ головами ихъ раздались крикъ сидѣвшихъ въ коляскѣ дамъ, брань и угрозы чужого кучера: «Ахъ, ты, мошенникъ этакой! Вѣдь я тебѣ кричалъ въ голосъ: «сворачивай, ворона, направо!»—«Пьянъ ты, что ли?» Селифанъ почувствовалъ свою оплошность, но такъ какъ русскій человѣкъ не любитъ сознаться передъ другимъ, что онъ виноватъ, то тутъ же вымолвилъ онъ, пріосанясь: «А ты что такъ разскакался? Глаза-то свои въ кабакѣ заложилъ, что ли?» Вслѣдъ за симъ онъ принялся отсаживать назадъ бричку, чтобы высвободиться такимъ образомъ изъ чужой упряжи, но не тутъ-то было,—все перепуталось. Чубарый съ любопытствомъ обнюхивалъ новыхъ своихъ пріятелей, которые очутились по обѣимъ сторонамъ его. Между тѣмъ сидѣвшія въ коляскѣ дамы глядѣли на все это съ выраженіемъ страха въ лицахъ. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилѣтняя, съ золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головкѣ. Хорошенькій овалъ лица ея круглился, какъ свѣженькое яичко, и, подобно ему, бѣлѣлъ какою-то прозрачною бѣлизною, когда свѣжее, только что снесенное, оно держится противъ свѣта въ смуглыхъ рукахъ испытующей его ключницы и пропускаетъ сквозь себя лучи сіяющаго солнца: ея тоненькія ушки также сквозили, рдѣя проникавшимъ ихъ теплымъ свѣтомъ. При этомъ испугѣ въ открытыхъ, остановившихся устахъ, на глазахъ слезы—все это въ ней было такъ мило, что герой нашъ глядѣлъ на нее нѣсколько минутъ, не обращая никакого вниманія на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!»—кричалъ чужой кучеръ. Селифанъ потянулъ поводья назадъ, чужой кучеръ сдѣлалъ то же, лошади нѣсколько попятились назадъ и потомъ опять сшиблись, переступивши постромки. При этомъ обстоятельствѣ чубарому коню такъ понравилось новое знакомство, что онъ никакъ не хотѣлъ выходить изъ колеи, въ которую попалъ непредвидѣнными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего новаго пріятеля, казалось, что-то нашептывалъ ему въ самое ухо, вѣроятно, чепуху страшную, потому что пріѣзжій безпрестанно встряхивалъ ушами.

На такую сумятицу успѣли, однакожъ, собраться мужики изъ деревни, которая была, къ счастью, неподалеку. Такъ какъ подобное зрѣлище для мужика—сущая благодать, все равно, что для нѣмца газеты или клубъ, то скоро около экипажа накопилась ихъ бездна, и въ деревнѣ остались только старыя бабы да малые ребята. Постромки отвязали; нѣсколько тычковъ чубарому коню въ морду заставили его попятиться; словомъ, ихъ разрознили и развели. Но досада-ли,

которую почувствовали пріѣзжіе кони за то, что разлучили ихъ съ пріятелями, или, просто, дурь—только, сколько ни хлесталъ ихъ кучеръ, они не двигались и стояли, какъ вкопанные. Участіе мужиковъ возросло до невѣроятной степени. Каждый наперерывъ совался съ совѣтомъ: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что съ правой стороны, а дядя Митяй пусть сядетъ верхомъ на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй, съ рыжей бородой, взобрался на коренного коня и сдѣлался похожимъ на деревенскую колокольню или, лучше, на крючокъ, которымъ достаютъ воду въ колодцахъ. Кучеръ ударилъ по лошадямъ, но не тутъ-то было: ничего не пособилъ дядя Митяй. «Стой, стой!» кричали мужики: «садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядетъ дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечій мужикъ, съ черною какъ уголь бородою, и брюхомъ, похожимъ на тотъ исполинскій самоваръ, въ которомъ варится сбитень для всего прозябнувшаго рынка, съ охотою сѣлъ на коренного, который чуть не пригнулся подъ нимъ до земли. «Теперь дѣло пойдетъ», кричали мужики. «Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутомъ вонъ того, соловаго,—что онъ корячится, какъ корамора?» *) Но, увидѣвши, что дѣло не шло, и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сѣли оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконецъ кучеръ, потерявши терпѣніе, прогналъ и дядю Митяя, и дядю Миняя; и хорошо сдѣлалъ, потому что отъ лошадей пошелъ такой паръ, какъ будто бы онѣ отхватали, не переводя духа, станцію. Онъ далъ имъ минуту отдохнуть, послѣ чего онѣ пошли сами собою. Во все продолженіе этой продѣлки Чичиковъ глядѣлъ очень внимательно на молоденькую незнакомку. Онъ пытался нѣсколько разъ съ нею заговорить, но какъ-то не пришлось такъ. А между тѣмъ дамы уѣхали, хорошенькая головка, съ тоненькими чертами лица и тоненькимъ станомъ, скрылась, какъ что-то похожее на видѣнье, и опять осталась—дорога, бричка, тройка знакомыхъ читателю лошадей, Селифанъ, Чичиковъ, гладь и пустота окрестныхъ полей. Вездѣ, гдѣ бы ни было, въ жизни, среди ли черствыхъ, шероховато-блѣдныхъ и неопрятно-плѣснѣющихъ низменныхъ рядовъ ея, или среди однообразно-хладныхъ и скучно-опрятныхъ сословій высшихъ,—вездѣ, хоть разъ, встрѣтится на пути человѣку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видѣть дотолѣ, которое, хоть разъ, пробудитъ въ немъ чувство, не похожее на тѣ, которыя суждено было чувствовать всю жизнь. Вездѣ, поперекъ какимъ бы ни было печалямъ, изъ которыхъ плетет-

*) *Корамора*, большой, длинный, вялый комаръ; иногда залетаетъ онъ въ комнату и торчитъ гдѣ-нибудь одиночкой на стѣнѣ. Къ нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, въ отвѣтъ на что онъ только топырится, или корячится, какъ говоритъ народъ.

ся наша жизнь, весело промчится блистающая радость, какъ иногда блестящій экипажъ съ золотой упряжью, картинными конями и сверкающимъ блескомъ стеколъ, вдругъ, неожиданно, пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бѣдной деревушки, не видавшей ничего, кромѣ сельской телѣги: и долго мужики стоятъ, зѣвая съ открытыми ртами, не надѣвая шапокъ, хотя давно уже унесся и пропалъ изъ виду дивный экипажъ. Такъ и блондинка тоже, вдругъ, совершенно неожиданнымъ образомъ, показалась въ нашей повѣсти и такъ же скрылась. Попадись на ту пору вмѣсто Чичикова какой-нибудь двадцатилѣтній юноша—гусаръ ли онъ, студентъ ли онъ, или, просто, только-что начавшій жизненное поприще—и, Боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило въ немъ! Долго бы стоялъ онъ безчувственно на одномъ мѣстѣ, вперивши безсмысленно очи въ даль, позабывъ и дорогу, и всѣ ожидающіе впереди выговоры и распеканья за промедленіе, позабывъ и себя, и службу, и все, что ни есть въ мірѣ.

Но герой нашъ уже былъ среднихъ лѣтъ и осмотрительно-охлажденнаго характера. Онъ тоже задумался и думалъ, но положительнѣе: не такъ безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабешка!» сказалъ онъ, открывши табакерку и понюхавши табаку. «Но вѣдь что, главное, въ ней хорошо?—Хорошо то, что она сейчасъ только, какъ видно, выпущена изъ какого-нибудь пансіона или института; что въ ней, какъ говорится, нѣтъ еще ничего бабьяго, то-есть именно того, что у нихъ есть самаго непріятнаго. Она теперь, какъ дитя; все въ ней просто: она скажетъ, что ей вздумается, засмѣется, гдѣ захочетъ засмѣяться. Изъ нея все можно сдѣлать, она можетъ быть чудо, а можетъ выдти и дрянь,—и выйдетъ дрянь! Вотъ пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. Въ одинъ годъ такъ ее наполнятъ всякимъ бабьемъ, что самъ родной отецъ не узнаетъ. Откуда возьмется и надутость, и чопорность; станетъ ворочаться по вытверженнымъ наставленіямъ, станетъ ломать голову и придумывать, съ кѣмъ и какъ, и сколько нужно говорить, какъ на кого смотрѣть; всякую минуту будетъ бояться, чтобы не сказать больше, чѣмъ нужно; запутается наконецъ сама, и кончится тѣмъ, что станетъ наконецъ врать всю жизнь, и выйдетъ, просто, чортъ знаетъ что!» Здѣсь онъ нѣсколько времени помолчалъ и потомъ прибавилъ: «А любопытно бы знать, чьихъ она? что, какъ ея отецъ? богатый ли помѣщикъ почтеннаго нрава или, просто, благомыслящій человѣкъ, съ капиталомъ, пріобрѣтеннымъ на службѣ? Вѣдь, если, положимъ, этой дѣвушкѣ да придать тысячонокъ двѣсти приданаго изъ нея могъ бы выдти очень, очень лакомый кусочекъ. Это бы могло составить, такъ сказать, счастье порядочнаго человѣка». Двѣсти тысячонокъ такъ привлекательно стали рисоваться въ головѣ его, что онъ внутренно началъ досадовать на самого себя, зачѣмъ, въ продол-

женіе хлопотни около экипажей, не развѣдалъ отъ форейтора или кучера, кто такія были проѣзжающія. Скоро, однакожъ, показавшаяся деревня Собакевича разсѣяла его мысли и заставила ихъ обратиться къ своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два лѣса, березовый и сосновый, какъ два крыла—одно темнѣе, другое свѣтлѣе, были у ней справа и слѣва; посреди виднѣлся деревянный домъ съ мезониномъ красной крышей и темно-сѣрыми или, лучше, дикими стѣнами,—домъ въ родѣ тѣхъ, какіе у насъ строятъ для военныхъ поселеній и нѣмецкихъ колонистовъ. Было замѣтно, что при постройкѣ его зодчій безпрестанно боролся со вкусомъ хозяина. Зодчій былъ педантъ и хотѣлъ симметріи, хозяинъ—удобства и, какъ видно, вслѣдствіе того, заколотилъ на одной сторонѣ всѣ отвѣчающія окна и провертѣлъ на мѣсто ихъ одно маленькое, вѣроятно, понадобившееся для темнаго чулана. Фронтонъ тоже никакъ не пришелся посреди дома, какъ ни бился архитекторъ, потому что хозяинъ приказалъ одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, какъ было назначено, а только три. Дворъ окруженъ былъ крѣпкою и непомѣрно толстою деревянною рѣшеткой. Помѣщикъ, казалось, хлопоталъ много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновѣсныя и толстыя бревна, опредѣленныя на вѣковое стояніе. Деревенскія избы мужиковъ тожъ срублены были на диво: не было кирченыхъ стѣнъ, рѣзныхъ узоровъ и прочихъ затѣй, но все было пригнано плотно и какъ слѣдуетъ. Даже колодецъ былъ обдѣланъ въ такой крѣпкій дубъ, какой идетъ только на мельницы да на корабли. Словомъ, все, на что ни глядѣлъ онъ, было упористо, безъ пошатки, въ какомъ-то крѣпкомъ и неуклюжемъ порядкѣ. Подъѣзжая къ крыльцу, замѣтилъ онъ выглянувшія изъ окна, почти въ одно время, два лица: женское, въ чепцѣ, узкое, длинное, какъ огурецъ, и мужское—круглое, широкое, какъ молдаванскія тыквы, называемыя горлянками, изъ которыхъ дѣлаютъ на Руси балалайки, красу и потѣху ухватливаго двадцатилѣтняго парня, мигача и щеголя, и подмигивающаго, и посвистывающаго на бѣлогрудыхъ и бѣлошейныхъ дѣвицъ, собравшихся послушать его тихоструннаго треньканья. Выглянувши, оба лица въ ту же минуту спрятались. На крыльцо вышелъ лакей, въ сѣрой курткѣ съ голубымъ стоячимъ воротникомъ, и ввелъ Чичикова въ сѣни, куда вышелъ уже самъ хозяинъ. Увидѣвъ гостя, онъ сказалъ отрывисто: «Прошу!» и повелъ его во внутреннія жилья.

Когда Чичиковъ взглянулъ искоса на Собакевича, онъ ему на этотъ разъ показался весьма похожимъ на средней величины медвѣдя. Для довершенія сходства, фракъ на немъ былъ совершенно медвѣжьяго цвѣта, рукава длинны, пантолоны длинны, ступнями ступалъ онъ и вкривь, и вкось и наступалъ безпрестанно на чужія ноги. Цвѣтъ лица имѣлъ каленый, горячій, какой бываетъ на мѣдномъ пятакѣ.

Извѣстно, что есть много на свѣтѣ такихъ лицъ, надъ отдѣлкою которыхъ натура не долго мудрила, не употребляла никакихъ мелкихъ инструментовъ, какъ-то: напильниковъ, буравчиковъ и прочаго, но просто рубила со всего плеча: хватила топоромъ разъ—вышелъ носъ, хватила въ другой—вышли губы, большимъ сверломъ ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила въ свѣтъ, сказавши: «живетъ!» Такой же самый крѣпкій и на диво стаченный образъ былъ у Собакевича; держалъ онъ его болѣе внизъ, чѣмъ вверхъ, шеей не ворочалъ вовсе и, въ силу такого неповорота, рѣдко глядѣлъ на того, съ которымъ говорилъ, но всегда или на уголъ печки, или на дверь. Чичиковъ еще разъ взглянулъ на него искоса, когда проходили они столовую: медвѣдь! совершенный медвѣдь! Нужно же такое странное сближеніе: его даже звали Михайломъ Семеновичемъ. Зная привычку его наступать на ноги, онъ очень осторожно передвигалъ своими и давалъ ему дорогу впередъ. Хозяинъ, казалось, самъ чувствовалъ за собою этотъ грѣхъ и тотъ же часъ спросилъ: «Не побезпокоилъ ли я васъ?» Но Чичиковъ поблагодарилъ, сказавъ, что еще не произошло никакого безпокойства.

Вошедъ въ гостиную, Собакевичъ показалъ на кресла, сказавши опять: «прошу!» Садясь, Чичиковъ взглянулъ на стѣны и на висѣвшія на нихъ картины. На картинахъ все были молодцы, все греческіе полководцы, гравированные во весь ростъ: Маврокордато въ красныхъ панталонахъ и мундирѣ, съ очками на носу, Міаули, Канари. Всѣ эти герои были съ такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по тѣлу. Между крѣпкими греками, неизвѣстно, какимъ образомъ и для чего, помѣстился Багратіонъ, тощій, худенькій, съ маленькими знаменами и пушками внизу и въ самыхъ узенькихъ рамкахъ. Потомъ опять слѣдовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тѣхъ щеголей, которые наполняютъ нынѣшнія гостиныя. Хозяинъ, будучи самъ человѣкъ здоровый и крѣпкій, казалось, хотѣлъ, чтобы и комнату его украшали тоже люди крѣпкіе и здоровые. Возлѣ Бобелины, у самаго окна, висѣла клѣтка, изъ которой глядѣлъ дроздъ темнаго цвѣта съ бѣлыми крапинками, очень похожій тоже на Собакевича. Гость и хозяинъ не успѣли помолчать двухъ минутъ, какъ дверь въ гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, въ чепцѣ съ лентами, перекрашенными домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, какъ пальма.

«Это моя Ѳеодулія Ивановна», сказалъ Собакевичъ.

Чичиковъ подошелъ къ ручкѣ Ѳеодуліи Ивановны, которую она почти впихнула ему въ губы, при чемъ онъ имѣлъ случай замѣтить, что руки были вымыты огуречнымъ разсоломъ.

«Душенька, рекомендую тебѣ», продолжалъ Собакевичъ:—«Па-

велъ Ивановичъ Чичиковъ! У губернатора и почтмейстера имѣлъ честь познакомиться».

Ѳеодулія Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» и сдѣлавъ движеніе головою, подобно актрисамъ, представляющимъ королевъ. Затѣмъ она усѣлась на диванѣ, накрылась своимъ мериновымъ платкомъ и уже не двигнула болѣе ни глазомъ, ни бровью.

Чичиковъ опять поднялъ глаза вверхъ и опять увидѣлъ Канари съ толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда въ клѣткѣ.

Почти въ теченіе цѣлыхъ пяти минутъ всѣ хранили молчаніе; раздавался только стукъ, производимый носомъ дрозда о дерево деревянной клѣтки, на днѣ которой удилъ онъ хлѣбныя зернышки. Чичиковъ еще разъ окинулъ комнату и все, что въ ней ни было: все было прочно, неуклюже въ высочайшей степени и имѣло какое-то странное сходство съ самимъ хозяиномъ дома. Въ углу гостиной стояло пузатое орѣховое бюро на пренелѣпыхъ четырехъ ногахъ—совершенный медвѣдь. Столъ, кресла, стулья—все было самаго тяжелаго и безпокойнаго свойства; словомъ, каждый предметъ, каждый стулъ, казалось, говорилъ: «И я тоже Собакевичъ!» или: «И я тоже очень похожъ на Собакевича!»

«Мы объ васъ вспоминали у предсѣдателя палаты, у Ивана Григорьевича»,—сказалъ, наконецъ, Чичиковъ, видя, что никто не располагается начинать разговора: «въ прошедшій четвергъ. Очень пріятно провели тамъ время».

«Да, я не былъ тогда у предсѣдателя,—отвѣчалъ Собакевичъ.

«А прекрасный человѣкъ!»

«Кто такой?»—сказалъ Собакевичъ, глядя на уголъ печи.

«Предсѣдатель».

«Ну, можетъ-быть, это вамъ такъ показалось; онъ только что массонъ, а такой дуракъ, какого свѣтъ не производилъ».

Чичиковъ немного озадачился такимъ, отчасти рѣзкимъ, опредѣленіемъ, но потомъ, поправившись, продолжалъ: «Конечно, всякій человѣкъ не безъ слабостей, но зато губернаторъ—какой превосходный человѣкъ!»

«Губернаторъ превосходный человѣкъ?»

«Да, не правда ли?»

«Первый разбойникъ въ мірѣ!»

«Какъ, губернаторъ разбойникъ!»—сказалъ Чичиковъ, и совершенно не могъ понять, какъ губернаторъ могъ попасть въ разбойники. «Признаюсь, этого я бы никакъ не подумалъ», продолжалъ онъ. «Но позвольте, однакоже, замѣтить: поступки его совершенно не такіе; напротивъ, скорѣе даже мягкости въ немъ много». Тутъ онъ привелъ въ доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками и отозвался съ похвальбою объ ласковомъ выраженіи лица его.

«И лицо разбойничье!»—сказалъ Собакевичъ. «Дайте ему только ножъ, да выпустите его на большую дорогу,—зарѣжетъ, за копѣйку зарѣжетъ! Онъ да еще вице-губернаторъ—это Гога и Магога».

«Нѣтъ, онъ съ ними не въ ладахъ», подумалъ про себя Чичиковъ. «А вотъ заговорю я съ нимъ объ полицеймейстерѣ: онъ, кажется, другъ его».—«Впрочемъ, что до меня» —сказалъ онъ: «мнѣ, признаюсь, болѣе всѣхъ нравится полицеймейстеръ. Какой-то этакой характеръ прямой, открытый; въ лицѣ видно что-то простосердечное».

«Мошенникъ!»—сказалъ Собакевичъ очень хладнокровно: «продастъ, обманетъ, еще и пообѣдаетъ съ вами. Я ихъ знаю всѣхъ: это все мошенники; весь городъ тамъ такой: мошенникъ на мошенникѣ сидитъ и мошенникомъ погоняетъ. Всѣ христопродавцы. Одинъ тамъ только и есть порядочный человѣкъ—прокуроръ, да и тотъ, если сказать правду, свинья».

Послѣ такихъ похвальныхъ, хотя нѣсколько краткихъ біографій, Чичиковъ увидѣлъ, что о другихъ чиновникахъ нечего упоминать, и вспомнилъ, что Собакевичъ не любилъ ни о комъ хорошо отзываться.

«Что-жъ, душенька, пойдемъ обѣдать»,—сказала Собакевичу его супруга.

«Прошу!»—сказалъ Собакевичъ. За симъ, подошедши къ столу, гдѣ была закуска, гость и хозяинъ выпили, какъ слѣдуетъ, по рюмкѣ водки; закусили, какъ закусываетъ вся пространная Россія по городамъ и деревнямъ, то есть, всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли всѣ въ столовую; впереди ихъ, какъ плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой столъ былъ накрытъ на четыре прибора. На четвертое мѣсто явилась очень скоро—трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или дѣвица, родственница, домоводка, или, просто, проживающая въ домѣ, что-то безъ чепца, около тридцати лѣтъ, въ пестромъ платкѣ. Есть лица, которыя существуютъ на свѣтѣ не какъ предметъ, а какъ постороннія крапинки или пятнышки на предметѣ. Сидятъ они на томъ же мѣстѣ, одинаково держатъ голову, ихъ почти готовъ принять за мебель и думаешь, что отъ роду еще не выходило слово изъ такихъ устъ; а гдѣ-нибудь въ дѣвичьей или въ кладовой окажется просто—ого-го!

«Щи, моя душа, сегодня очень хороши»,—сказалъ Собакевичъ, хлебнувши щей и отваливши себѣ съ блюда огромный кусокъ няни, извѣстнаго блюда, которое подается къ щамъ и состоитъ изъ баранья-го желудка, начиненнаго гречневой кашей, мозгомъ и ножками. «Этакой няни»,—продолжалъ онъ, обратившись къ Чичикову,—«вы не будете ѣсть въ городѣ: тамъ вамъ чортъ знаетъ что подадутъ!»

«У губернатора, однакожъ, недуренъ столъ»,—сказалъ Чичиковъ.

«Да знаете ли, изъ чего это все готовится? Вы ѣсть не станете, когда узнаете».

«Не знаю, какъ приготовляется, объ этомъ я не могу судить; но свиныя котлеты и разварная рыба были превосходны».

«Это вамъ такъ показалось. Вѣдь я знаю, что они на рынкѣ покупаютъ. Купитъ вонъ тотъ каналья-поваръ, что выучился у француза, кота, обдеретъ его да и подаетъ на столъ вмѣсто зайца».

«Фу, какую ты непріятность говоришь!»—сказала супруга Собакевича.

«А что-жъ, душенька! такъ у нихъ дѣлается; я не виноватъ, такъ у нихъ у всѣхъ дѣлается. Все, что ни есть ненужнаго, что Акулька у насъ бросаетъ, съ позволенія сказать, въ помойную лохань, они его въ супъ, да въ супъ! туда его!»

«Ты за столомъ всегда этакое разскажешь»,—возразила опять супруга Собакевича.

«Что-жъ, душа моя»,—сказалъ Собакевичъ: «если-бъ я самъ это дѣлалъ, но я тебѣ прямо въ глаза скажу, что я гадостей не стану ѣсть. Мнѣ лягушку хоть сахаромъ облѣпи, не возьму ея въ ротъ, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана», продолжалъ онъ, обращаясь къ Чичикову: «это бараній бокъ съ кашей. Это не тѣ фрикасе, что дѣлаются на барскихъ кухняхъ изъ баранины, какая сутокъ по четыре на рынкѣ валяется. Это все выдумали доктора нѣмцы да французы; я бы ихъ перевѣшалъ за это. Выдумали діэту—лѣчить голодомъ! Что у нихъ нѣмецкая жидкокостная натура, такъ они воображаютъ, что съ русскимъ желудкомъ сладятъ! Нѣтъ, это все не то, это все выдумки, это все...» Здѣсь Собакевичъ даже сердито покачалъ головою. «Толкуютъ—просвѣщенье, просвѣщенье, а это просвѣщенье... фукъ! Сказалъ бы и другое слово, да вотъ только что за столомъ неприлично. У меня не такъ. У меня, когда свинина—всю свинью давай на столъ, баранина—всего барана тащи, гусь—всего гуся! Лучше я съѣмъ двухъ блюдъ, да съѣмъ въ мѣру, какъ душа требуетъ». Собакевичъ подтвердилъ это дѣломъ: онъ опрокинулъ половину бараньяго бока къ себѣ на тарелку, съѣлъ все, обгрызъ, обсосалъ до послѣдней косточки.

«Да»,—подумалъ Чичиковъ,—«у этого губа не дура».

«У меня не такъ»,—говорилъ Собакевичъ, вытирая салфеткою руки: «у меня не такъ, какъ у какого-нибудь Плюшкина: 800 душъ имѣетъ, а живетъ и обѣдаетъ хуже моего пастуха».

«Кто такой этотъ Плюшкинъ?»—спросилъ Чичиковъ.

«Мошенникъ»,—отвѣчалъ Собакевичъ. «Такой скряга, какого вообразить трудно. Въ тюрьмѣ колодники лучше живутъ, чѣмъ онъ: всѣхъ людей переморилъ голодомъ».

«Вправду?»—подхватилъ съ участіемъ Чичиковъ: «и вы говорите, что у него, точно, люди умираютъ въ большомъ количествѣ?»

«Какъ мухи мрутъ».

«Неужели, какъ мухи? А позвольте спросить: какъ далеко живетъ онъ отъ васъ?»

«Въ пяти верстахъ».

«Въ пяти верстахъ!»—воскликнулъ Чичиковъ и даже почувствовалъ небольшое сердечное біеніе. «Но если выѣхать изъ вашихъ воротъ, это будетъ направо или налѣво?»

«Я вамъ даже не совѣтую дороги знать къ этой собакѣ!»—сказалъ Собакевичъ. «Извинительнѣй сходить въ какое-нибудь непристойное мѣсто, чѣмъ къ нему».

«Нѣтъ, я спросилъ не для какихъ-либо... а потому только, что интересуюсь познаніемъ всякаго рода мѣстъ»,—отвѣчалъ на это Чичиковъ.

За бараньимъ бокомъ послѣдовали ватрушки, изъ которыхъ каждая была гораздо больше тарелки, потомъ индюкъ ростомъ въ теленка, набитый всякимъ добромъ: яйцами, рисомъ, печенками и ни вѣсть чѣмъ, что все ложилось комомъ въ желудкѣ. Этимъ обѣдъ и кончился; но, когда встали изъ-за стола, Чичиковъ почувствовалъ въ себѣ тяжести на цѣлый пудъ больше. Пошли въ гостиную, гдѣ уже очутилось на блюдечкѣ варенье,—ни груша, ни слива, ни иная ягода,—до котораго, впрочемъ, не дотронулись ни гость, ни хозяинъ. Хозяйка вышла съ тѣмъ, чтобы накласть его и на другія блюдечки. Воспользовавшись ея отсутствіемъ, Чичиковъ обратился къ Собакевичу, который, лежа въ креслахъ, только покряхтывалъ послѣ такого сытнаго обѣда и издавалъ ртомъ какіе-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиковъ обратился къ нему съ такими словами: «Я хотѣлъ было поговорить съ вами объ одномъ дѣльцѣ».

«Вотъ еще варенье»,—сказала хозяйка, возвращаясь съ блюдечкомъ: «рѣдька, вареная въ меду!»

«А вотъ мы его послѣ!»—сказалъ Собакевичъ. «Ты ступай теперь въ свою комнату, мы съ Павломъ Ивановичемъ скинемъ фраки, маленько пріотдохнемъ!»

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяинъ сказалъ: «Ничего, мы отдохнемъ въ креслахъ», и хозяйка ушла.

Собакевичъ слегка пригнулъ голову, приготовляясь слушать, въ чемъ было дѣльцо.

Чичиковъ началъ какъ-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русскаго государства, и отозвался съ большою похвалою объ его пространствѣ, сказалъ, что даже самая древняя римская монархія не была такъ велика, и иностранцы справедливо удивляются... (Собакевичъ все слушалъ, наклонивши голову) и что по существующимъ положеніямъ этого государства, въ славѣ которому нѣтъ равнаго, ревизскія души, окончивши жизненное поприще, числятся, однакожъ, до подачи новой ревизской сказки, наравнѣ съ живыми, чтобъ та-

кимъ образомъ не обременить присутственныя мѣста множествомъ мелочныхъ и безполезныхъ справокъ и не увеличить сложность, и безъ того уже весьма сложнаго, государственнаго механизма... (Собакевичъ все слушалъ, наклонивши голову) и что однакоже, при всей справедливости этой мѣры, она бываетъ отчасти тягостна для многихъ владѣльцевъ, обязывая ихъ взносить подати такъ, какъ бы за живой предметъ, и что онъ, чувствуя уваженіе личное къ нему, готовъ бы даже отчасти принять на себя эту дѣйствительно тяжелую обязанность. Насчетъ главнаго предмета Чичиковъ выразился очень осторожно: никакъ не назвалъ души умершими, а только—несуществующими.

Собакевичъ слушалъ все попрежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь, похожее на выраженіе, показалось на лицѣ его. Казалось, въ этомъ тѣлѣ совсѣмъ не было души, или она у него была, но вовсе не тамъ, гдѣ слѣдуетъ, а, какъ у безсмертнаго Кощея, гдѣ-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на днѣ ея, не производило рѣшительно никакого потрясенія на поверхности.

«Итакъ?..»—сказалъ Чичиковъ, ожидая, не безъ нѣкотораго волненія, отвѣта.

«Вамъ нужно мертвыхъ душъ?»—спросилъ Собакевичъ, очень просто, безъ малѣйшаго удивленія, какъ бы рѣчь шла о хлѣбѣ.

«Да»,—отвѣчалъ Чичиковъ и опять смягчилъ выраженіе, прибавивши: «несуществующихъ».

«Найдутся; почему не быть...»—сказалъ Собакевичъ.

«А если найдутся, то вамъ, безъ сомнѣнія... будетъ пріятно отъ нихъ избавиться?»

«Извольте, я готовъ продать»,—сказалъ Собакевичъ, уже нѣсколько поднявши голову и смекнувши, что покупщикъ, вѣрно, долженъ имѣть здѣсь какую-нибудь выгоду.

«Чортъ возьми!»—подумалъ Чичиковъ про себя: «этотъ ужъ продаетъ прежде, чѣмъ я заикнулся!» И проговорилъ вслухъ: «А, напримѣръ, какъ же цѣна? хотя, впрочемъ, это такой предметъ... что о цѣнѣ даже странно....»

«Да чтобы не запрашивать съ васъ лишняго, по сту рублей за штуку»,—сказалъ Собакевичъ.

«По сту!»—вскричалъ Чичиковъ, разинувъ ротъ и поглядѣвши ему въ самые глаза, не зная, самъ ли онъ ослышался, или языкъ Собакевича, по своей тяжелой натурѣ, не такъ поворотившись, брякнулъ, вмѣсто одного, другое слово.

«Что-жъ, развѣ это для васъ дорого?» — произнесъ Собакевичъ, и потомъ прибавилъ: «А какая бы, однакожъ, ваша цѣна?»

«Моя цѣна! Мы, вѣрно, какъ-нибудь ошиблись или не понимаемъ другъ друга, позабыли, въ чемъ состоитъ предметъ. Я полагаю съ своей

стороны, положа руку на сердце: по восьми гривенъ за душу—это самая красная цѣна!»

«Экъ куда хватили—по восьми гривенокъ!»

«Что-жъ, по моему сужденію, какъ я думаю, больше нельзя».

«Вѣдь я продаю не лапти».

«Однакожъ, согласитесь сами, вѣдь это тоже и не люди».

«Такъ вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вамъ продалъ по двугривенному ревизскую душу?»

«Но позвольте: зачѣмъ вы ихъ называете ревизскими? Вѣдь души-то самыя давно уже умерли, остался одинъ неосязаемый чувствами звукъ. Впрочемъ, чтобы не входить въ дальнѣйшіе разговоры по этой части, по полтора рубля, извольте, дамъ, а больше не могу».

«Стыдно вамъ и говорить такую сумму! Вы торгуйтесь, говорите настоящую цѣну!»

«Не могу, Михаилъ Семеновичъ; повѣрьте моей совѣсти, не могу: чего ужъ невозможно сдѣлать, того никакъ невозможно сдѣлать»,—говорилъ Чичиковъ, однакожъ по полтинкѣ еще прибавилъ.

«Да чего вы скупитесь?»—сказалъ Собакевичъ: «право, не дорого! Другой мошенникъ обманетъ васъ, продастъ вамъ дрянь, а не души; а у меня, что ядреный орѣхъ, всѣ на отборъ; не мастеровой, такъ иной какой-нибудь здоровый мужикъ. Вы разсмотрите: вотъ, напримѣръ, каретникъ Михѣевъ! вѣдь больше никакихъ экипажей и не дѣлалъ, какъ только рессорные. И не то, какъ бываетъ московская работа, что на одинъ часъ: прочность такая... самъ и обобьетъ, и лакомъ покроетъ!»

Чичиковъ открылъ ротъ съ тѣмъ, чтобы замѣтить, что Михѣева, однакоже, давно нѣтъ на свѣтѣ; но Собакевичъ вошелъ, какъ говорится, въ самую силу рѣчи: откуда взялась рысь и даръ слова.

«А Пробка Степанъ, плотникъ? Я голову прозакладую, если вы гдѣ сыщете такого мужика. Вѣдь что за силища была! Служи онъ въ гвардіи—ему бы, Богъ знаетъ, что дали: трехъ аршинъ съ вершкомъ ростомъ!»

Чичиковъ опять хотѣлъ замѣтить, что и Пробки нѣтъ на свѣтѣ; но Собакевича, какъ видно, пронесло: полились такіе потоки рѣчей, что только нужно было слушать.

«Милушкинъ, кирпичникъ! могъ поставить печь въ какомъ угодно домѣ. Максимъ Телятниковъ, сапожникъ: что шиломъ кольнетъ, то и сапоги; что сапоги, то и спасибо, и хоть бы въ ротъ хмельнаго. А Еремѣй Сорокоплехинъ! Да этотъ мужикъ одинъ станетъ за всѣхъ: въ Москвѣ торговалъ, одного оброку приносилъ по пятисотъ рублей. Вѣдь вотъ какой народъ! Это не то, что вамъ продастъ какой-нибудь Плюшкинъ».

«Но, позвольте»,—сказалъ наконецъ Чичиковъ, изумленный такимъ обильнымъ наводненіемъ рѣчей, которымъ, казалось, и конца не было:

«зачѣмъ вы исчисляете всѣ ихъ качества? Вѣдь въ нихъ толку теперь нѣтъ никакого, вѣдь это все народъ мертвый. Мертвымъ тѣломъ хоть заборъ подпирай, говоритъ пословица».

«Да, конечно, мертвые»,—сказалъ Собакевичъ, какъ бы одумавшись и припомнивъ, что они въ самомъ дѣлѣ были уже мертвые; а потомъ прибавилъ: «впрочемъ и то сказать: что изъ этихъ людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди?—мухи, а не люди».

«Да все же они существуютъ, а это вѣдь мечта».

«Ну, нѣтъ, не мечта! Я вамъ доложу, каковъ былъ Михѣевъ, такъ вы такихъ людей не сыщете: машинища такая, что въ эту комнату не войдетъ: нѣтъ, это не мечта! А въ плечищахъ у него была такая силища, какой нѣтъ у лошади. Хотѣлъ бы я знать, гдѣ бы вы въ другомъ мѣстѣ нашли такую мечту!» Послѣднія слова онъ уже сказалъ, обратившись къ висѣвшимъ на стѣнѣ портретамъ Багратіона и Колокотрони, какъ обыкновенно случается съ разговаривающими, когда одинъ изъ нихъ вдругъ, неизвѣстно почему, обратится не къ тому лицу, къ которому относятся слова, а къ какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, отъ котораго, знаетъ, что не услышитъ ни отвѣта, ни мнѣнія, ни подтвержденія, но на котораго, однакожъ, такъ устремитъ взглядъ, какъ будто призываетъ его въ посредники; и нѣсколько смѣшавшійся въ первую минуту незнакомецъ не знаетъ, отвѣчать ли ему на то дѣло, о которомъ ничего не слышалъ, или такъ постоять, соблюдши надлежащее приличіе, и потомъ уже уйти прочь.

«Нѣтъ, больше двухъ рублей я не могу дать»,—сказалъ Чичиковъ.

«Извольте, чтобъ не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сдѣлать вамъ никакого одолженія, извольте—по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнаціями,—право, только для знакомства!»

«Что онъ въ самомъ дѣлѣ», подумалъ про себя Чичиковъ: «за дурака, что ли, принимаетъ меня?» и прибавилъ потомъ вслухъ: «Мнѣ странно право: кажется, между нами происходитъ какое-то театральное представленіе, или комедія: иначе я не могу себѣ объяснить... Вы, кажется, человѣкъ, довольно умный, владѣете свѣдѣніями образованности. Вѣдь предметъ просто—фу, фу! Что-жъ онъ стоитъ? кому нуженъ?»

«Да, вотъ, вы же покупаете, стало-быть, нуженъ».

Здѣсь Чичиковъ закусилъ губу и не нашелся, что отвѣчать. Онъ сталъ было говорить про какія-то обстоятельства фамильныя и семейственныя, но Собакевичъ отвѣчалъ просто:

«Мнѣ не нужно знать, какія у васъ отношенія: я въ дѣла фамильныя не мѣшаюсь,—это ваше дѣло. Вамъ понадобились души, я и продаю вамъ, и будете раскаиваться, что не купили».

«Два рублика»,—сказалъ Чичиковъ.

«Экъ право! *Затвердила сорока Якова—одно про всякаго*, какъ

говоритъ пословица: какъ наладили на два, такъ и не хотите съ нихъ и съѣхать. Вы давайте настоящую цѣну!»

«Ну, ужъ чортъ его побери!»—подумалъ про себя Чичиковъ: «по полтинѣ ему прибавлю, собакѣ, на орѣхи!»—«Извольте, по полтинѣ прибавлю».

«Ну, извольте, и я вамъ скажу тоже мое послѣднее слово: пятьдесятъ рублей! Право, убытокъ себѣ, дешевле нигдѣ не купите такого хорошаго народа!»

«Экой кулакъ!»—сказалъ про себя Чичиковъ, и потомъ продолжалъ вслухъ съ нѣкоторою досадою: «Да что въ самомъ дѣлѣ?.. Какъ будто точно серьезное дѣло! Да я въ другомъ мѣстѣ нипочемъ возьму. Еще мнѣ всякій съ охотой сбудетъ ихъ, чтобы только поскорѣй избавиться отъ нихъ. Дуракъ развѣ станетъ держать ихъ при себѣ и платить за нихъ подать!»

«Но знаете ли, что такого рода покупки,—я это говорю между нами, по дружбѣ,—не всегда позволительны, и разскажи я, или кто иной—такому человѣку не будетъ никакой довѣренности относительно контрактовъ или вступленія въ какія-нибудь выгодныя обязательства».

«Вишь, куда мѣтитъ, подлецъ!»—подумалъ Чичиковъ и тутъ же произнесъ съ самымъ хладнокровнымъ видомъ: «Какъ вы себѣ хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, какъ вы думаете, а такъ... по наклонности собственныхъ мыслей. Два съ полтиною не хотите—прощайте!»

«Его не собьешь, не податливъ!»—подумалъ Собакевичъ. «Ну, Богъ съ вами, давайте по тридцати и бсрите ихъ себѣ!»

«Нѣтъ, я вижу, вы не хотите продать; прощайте!»

«Позвольте, позвольте!»—сказалъ Собакевичъ, не выпуская его руки и наступивъ ему на ногу, ибо герой нашъ позабылъ поберечься, въ наказанье за что долженъ былъ зашипѣть и подскочить на одной ногѣ.

«Прошу прощенья! Я, кажется, васъ побезпокоилъ. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу!» Здѣсь онъ усадилъ его въ кресла съ нѣкоторою даже ловкостію, какъ такой медвѣдь, который уже побывалъ въ рукахъ, умѣетъ и перевертываться, и дѣлать разныя штуки на вопросы: «А покажи, Миша, какъ бабы парятся?» или: «А какъ, Миша, малые ребята горохъ крадутъ?»

«Право, я напрасно время трачу; мнѣ нужно спѣшить».

«Посидите одну минуточку, я вамъ сейчасъ скажу одно пріятное для васъ слово». Тутъ Собакевичъ подсѣлъ поближе и сказалъ ему тихо будто секретъ: «Хотите—уголъ?»

«То-есть, двадцать пять рублей? Ни, ни, ни! Даже четверти угла не дамъ, копѣйки на прибавлю».

Собакевичъ замолчалъ, Чичиковъ тоже замолчалъ. Минуты двѣ длилось молчаніе. Багратіонъ съ орлинымъ носомъ глядѣлъ со стѣны чрезвычайно внимательно на эту покупку.

«Какая-жъ ваша будетъ послѣдняя цѣна?»—сказалъ наконецъ Собакевичъ.

«Два съ полтиною».

«Право, у васъ душа человѣческая все равно, что пареная рѣпа. Ужъ хоть по три рубля дайте!»

«Не могу».

«Ну, нечего съ вами дѣлать, извольте. Убытокъ, да ужъ нравъ такой собачій: не могу не доставить удовольствія ближнему. Вѣдь я, чай, нужно и купчую совершить, чтобъ все было въ порядкѣ?»

«Разумѣется».

«Ну, вотъ то-то же; нужно будетъ ѣхать въ городъ».

Такъ совершилось дѣло. Оба рѣшили, чтобы завтра же быть въ городѣ и управиться съ купчей крѣпостью. Чичиковъ попросилъ списочка крестьянъ. Собакевичъ согласился охотно и тутъ же, подошедъ къ бюро, собственноручно принялся выписывать всѣхъ не только поименно, но даже съ означеніемъ похвальныхъ качествъ.

А Чичиковъ, отъ нечего дѣлать, занялся, находясь позади, разсматриваньемъ всего просторнаго его оклада. Какъ взглянулъ онъ на его спину, широкую, какъ у вятскихъ приземистыхъ лошадей, и на ноги его, походившія на чугунныя тумбы, которыя ставятъ на тротуарахъ, не могъ не воскликнуть внутренно: «Экъ наградилъ-то тебя Богъ! Вотъ ужъ, точно, какъ говорятъ, не ладно скроенъ, да крѣпко сшитъ!.. Родился ли ты ужъ такъ медвѣдемъ, или омедвѣдила тебя захолустная жизнь, хлѣбные посѣвы, возня съ мужиками, и ты чрезъ нихъ сдѣлался то, что называютъ человѣкъ-кулакъ? Но нѣтъ: я думаю, ты все былъ бы тотъ-же, хотя бы даже воспитали тебя по модѣ, пустили бы въ ходъ и жилъ бы ты въ Петербургѣ, а не въ захолустьи. Вся разница въ томъ, что теперь ты упишешь полъ-бараньяго бока съ кашей, закусивши вотрушкою въ тарелку, а тогда бы ты ѣлъ какія-нибудь котлетки съ трюфелями. Да вотъ теперь у тебя подъ властью мужики: ты съ ними въ ладу, и, конечно, ихъ не обидишь, потому что они твои—тебѣ же будетъ хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которыхъ бы ты сильно пощелкивалъ, смекнувши, что они не твои же крѣпостные, или грабилъ бы ты казну! Нѣтъ, кто ужъ кулакъ, тому не разогнуться въ ладонь! А разогни кулаку одинъ или два пальца—выйдетъ еще хуже. Попробуй онъ слегка верхушекъ какой-нибудь науки, дастъ онъ знать потомъ, занявши мѣсто повиднѣе, всѣмъ тѣмъ, которые въ самомъ дѣлѣ узнали какую-нибудь науку! Да еще, пожалуй, скажетъ потомъ: «Дай-ка, себя покажу!» Да такое выдумаетъ мудрое постановленіе, что многимъ придется солоно... Эхъ, если бы всѣ кулаки!..»

«Готова записка!»—сказалъ Собакевичъ, оборотившись.

«Готова? Пожалуйте ее сюда!» Онъ пробѣжалъ ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, званіе, лѣта и семейное состояніе, но даже на поляхъ

находились особенныя отмѣтки насчетъ поведенія, трезвости,—словомъ: любо было глядѣть.

«Теперь пожалуйте же задаточекъ»,—сказалъ Собакевичъ.

«Къ чему же вамъ задаточекъ? Вы получите въ городѣ за однимъ разомъ всѣ деньги».

«Все, знаете, такъ ужъ водится»,—возразилъ Собакевичъ.

«Не знаю, какъ вамъ дать: я не взялъ съ собою денегъ. Да, вотъ, десять рублей есть».

«Что-жъ десять! Дайте, по крайней мѣрѣ, хоть пятьдесятъ!»

Чичиковъ сталъ было отговариваться, что нѣтъ; но Собакевичъ такъ сказалъ утвердительно, что у него есть деньги, что онъ вынулъ еще бумажку, сказавши: «Пожалуй, вотъ вамъ еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйте только росписку».

«Да на что-жъ вамъ росписка?»

«Все, знаете, лучше росписку. Не ровенъ часъ... все можетъ случиться».

«Хорошо, дайте же сюда деньги».

«На что-жъ деньги? У меня вотъ онѣ въ рукѣ! Какъ только напишете росписку, въ ту же минуту ихъ возьмете».

«Да позвольте, какъ же мнѣ писать росписку? Прежде нужно видѣть деньги».

Чичиковъ выпустилъ изъ рукъ бумажки Собакевичу, который, приблизившись къ столу и накрывши ихъ пальцами лѣвой руки, другою написалъ на лоскуткѣ бумаги, что задатокъ двадцать пять рублей государственными ассигнаціями за проданныя души получилъ сполна. Написавши записку, онъ пересмотрѣлъ еще разъ ассигнаціи.

«Бумажка-то старенькая»,—произнесъ онъ, разсматривая одну изъ нихъ на свѣтѣ: «немножко разорвана: ну, да между пріятелями нечего на это глядѣть».

«Кулакъ, кулакъ!»—подумалъ про себя Чичиковъ: «да еще и бестія въ придачу!»

«А женскаго пола не хотите?»

«Нѣтъ, благодарю».

«Я бы недорого и взялъ. Для знакомства, по рублику за штуку».

«Нѣтъ, въ женскомъ полѣ не нуждаюсь».

«Ну, когда не нуждаетесь, такъ нечего и говорить. На вкусы нѣтъ закона: *кто любитъ попа, а кто попадью*, говоритъ пословица».

«Еще я хотѣлъ васъ попросить, чтобы эта сдѣлка осталась между нами»,—говорилъ Чичиковъ, прощаясь.

«Да ужъ само собою разумѣется. Третьяго сюда нечего мѣшать: что по искренности происходитъ между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной ихъ дружбѣ. Прощайте! Благодарю, что посѣтили; прошу и впередъ не забывать; коли выберется свободный ча-

сикъ, пріѣзжайте пообѣдать, время провести. Можетъ-быть, опять случится услужить чѣмъ-нибудь другъ другу».

«Да, какъ бы не такъ!»—думалъ про себя Чичиковъ, садясь въ бричку. «По два съ полтиною содралъ за мертвую душу, чертовъ кулакъ!»

Онъ былъ недоволенъ поведеніемъ Собакевича. Все-таки, какъ бы то ни было, человѣкъ знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступилъ, какъ бы совершенно чужой: за дрянь взялъ деньги! Когда бричка выѣхала со двора, онъ оглянулся назадъ и увидѣлъ, что Собакевичъ все еще стоялъ на крыльцѣ и, какъ казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поѣдетъ.

«Подлецъ, до сихъ поръ еще стоитъ!» проговорилъ онъ сквозь зубы и велѣлъ Селифану, повернувши къ крестьянскимъ избамъ, отъѣхать, такимъ образомъ, чтобы нельзя было видѣть экипажа со стороны господскаго двора. Ему хотѣлось заѣхать къ Плюшкину, у котораго, по словамъ Собакевича, люди умирали, какъ мухи, но не хотѣлось, чтобы Собакевичъ зналъ про это. Когда бричка была уже на концѣ деревни, онъ подозвалъ къ себѣ перваго мужика, который, поднявши гдѣ-то на дорогѣ претолстое бревно, тащилъ его на плечѣ, подобно неутомимому муравью, къ себѣ въ избу.

«Эй, борода! а какъ проѣхать отсюда къ Плюшкину, такъ, чтобы не мимо господскаго дома?»

Мужикъ, казалось, затруднился симъ вопросомъ.

«Что-жъ, не знаешь?»

«Нѣтъ, баринъ, не знаю».

«Эхъ, ты! А и сѣдымъ волосомъ еще подернуло! Скрягу Плюшкина не знаешь,—того, что плохо кормитъ людей?»

«А! заплатанной, заплатанной!»—вскрикнулъ мужикъ. Было имъ прибавлено и существительное къ слову *заплатанной*, очень удачное, но не употребительное въ свѣтскомъ разговорѣ, а потому мы его пропустимъ. Впрочемъ, можно догадываться, что оно выражено было очень мѣтко, потому что Чичиковъ, хотя мужикъ давно уже пропалъ изъ виду и много уѣхали впередъ, однакожъ все еще усмѣхался, сидя въ бричкѣ. Выражается сильно россійскій народъ! И если наградитъ кого словцомъ, то пойдетъ оно ему въ родъ и потомство, утащитъ онъ его съ собою и на службу, и въ отставку, и въ Петербургъ, и на край свѣта. И какъ ужъ потомъ ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущихъ людишекъ выводить его за наемную плату отъ древне-княжескаго города, ничто не поможетъ: каркнетъ само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажетъ ясно, откуда вылетѣла птица. Произнесенное мѣтко, все равно, что писанное, не вырубливается топоромъ. А ужъ куда бываетъ мѣтко все то, что вышло изъ глубины Руси, гдѣ нѣтъ ни нѣмецкихъ, ни чухонскихъ, ни всякихъ иныхъ племенъ, а все самъ-самородокъ, живой и бойкій русскій умъ, что не лѣзетъ за словомъ въ карманъ, не высиживаетъ его, какъ на-

сѣдка цыплятъ, а влѣпливаетъ сразу, какъ пашпортъ на вѣчную носку, и нечего прибавлять уже потомъ, какой у тебя носъ или губы: одной чертой обрисованъ ты съ ногъ до головы!

Какъ несмѣтное множество церквей, монастырей съ куполами, главами, крестами, разсыпано на святой благочестивой Руси, такъ несмѣтное множество племенъ, поколѣній, народовъ толпится, пестрѣетъ и мечется по лицу земли. И всякій народъ, носящій въ себѣ залогъ силъ, полный творящихъ способностей души, своей яркой особенности и другихъ даровъ Бога, своеобразно отличился каждый своимъ собственнымъ словомъ, которымъ, выражая какой ни есть предметъ, отражаетъ въ выраженьи его часть собственнаго своего характера. Сердцевѣдѣніемъ и мудрымъ познаньемъ жизни отзовется слово британца; легкимъ щеголемъ блеснетъ и разлетится недолговѣчное слово француза; затѣйливо придумаетъ свое не всякому доступное, умнохудощавое слово нѣмецъ; но нѣтъ слова, которое было бы такъ замашисто, бойко, такъ вырвалось бы изъ-подъ самаго сердца, такъ бы кипѣло и животрепетало, какъ мѣтко сказанное русское слово.

ГЛАВА VI.

Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, мнѣ было весело подъѣзжать въ первый разъ къ незнакомому мѣсту: все равно, была ли то деревушка, бѣдный уѣздный городишка, село ли, слободка,—любопытнаго много открывалъ въ немъ дѣтскій любопытный взглядъ. Всякое строеніе, все, что носило только на себѣ напечатлѣніе какой-нибудь замѣтной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный домъ извѣстной архитектуры, съ половиною фальшивыхъ оконъ, одинъ одинешенекъ торчавшій среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажныхъ мѣщанскихъ обывательскихъ домиковъ; круглый ли правильный куполъ, весь обитый листовымъ бѣлымъ желѣзомъ, вознесенный надъ выбѣленною, какъ снѣгъ, новою церковью, рынокъ ли, франтъ ли уѣздный, попавшійся среди города,—ничто не ускользало отъ свѣжаго, тонкаго вниманія, и, высунувши носъ изъ походной телѣги своей, я глядѣлъ и на невиданный дотолѣ покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики съ гвоздями, съ сѣрой, желтѣвшей вдали, съ изюмомъ и мыломъ, мелькавшіе изъ дверей овощной лавки вмѣстѣ съ банками высохшихъ, московскихъ конфектъ; глядѣлъ и на шедшаго въ сторонѣ пѣхотнаго офицера, занесеннаго, Богъ знаетъ, изъ какой губерніи, на уѣздную скуку, и на купца, мелькнувшаго въ сибиркѣ на бѣговыхъ дрожкахъ,—и уносился мысленно за ними въ бѣдную жизнь ихъ. Уѣздный чиновникъ пройди мимо—я уже и задумывался: куда онъ идетъ, на вечеръ ли къ какому-нибудь своему брату, или прямо къ себѣ домой, чтобы, посидѣвши съ полчаса на крыльцѣ, пока не совсѣмъ еще сгустились сумерки, сѣсть за ранній ужинъ съ матушкой,

съ женой, съ сестрой жены и всей семьей; и о чемъ будетъ веденъ разговоръ у нихъ въ то время, когда дворовая дѣвка въ монистахъ или мальчикъ въ толстой курткѣ принесетъ, уже послѣ супа, сальную свѣчу въ долговѣчномъ домашнемъ подсвѣчникѣ. Подъѣзжая къ деревнѣ какого-нибудь помѣщика, я любопытно смотрѣлъ на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую, темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мнѣ издали, сквозь древесную зелень, красная крыша и бѣлыя трубы помѣщичьяго дома, и я ждалъ нетерпѣливо, пока разойдутся на обѣ стороны заступавшіе его сады и онъ покажется весь, съ своею, тогда, увы! вовсе не пошлою наружностью, и по немъ старался я угадать: кто таковъ самъ помѣщикъ, толстъ ли онъ, и сыновья ли у него, или цѣлыхъ шестеро дочерей, съ звонкимъ дѣвическимъ смѣхомъ, играми и вѣчною красавицей меньшою сестрицею, и черноглазы ли онѣ, и весельчакъ ли онъ самъ, или хмуренъ, какъ сентябрь въ послѣднихъ числахъ, глядитъ въ календарь, да говоритъ про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъѣзжаю ко всякой незнакомой деревнѣ и равнодушно гляжу на ея пошлую наружность; моему охлажденному взору непріятно, мнѣ не смѣшно, и то, что пробудило бы въ прежніе годы живое движеніе въ лицѣ, смѣхъ и немолчныя рѣчи, то скользитъ теперь мимо, и безучастное молчаніе хранятъ мои недвижныя уста. О, моя юность! о, моя свѣжесть!

Покамѣстъ Чичиковъ думалъ и внутренно посмѣивался надъ прозвищемъ, отпущеннымъ мужиками Плюшкину, онъ не замѣтилъ, какъ въѣхалъ въ средину обширнаго села, со множествомъ избъ и улицъ. Скоро, однакоже, далъ замѣтить ему это препорядочный толчокъ, произведенный бревенчатою мостовою, предъ которою городская каменная была ничто. Эти бревна, какъ фортепьянныя клавиши, подымались то вверхъ, то внизъ, и необеregшійся ѣздокъ пріобрѣталъ или шишку на затылокъ, или синее пятно на лобъ, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостикъ собственнаго же языка. Какую-то особенную ветхость замѣтилъ онъ на всѣхъ деревенскихъ строеніяхъ; бревно на избахъ было темно и старо; многія крыши сквозили, какъ рѣшето; на иныхъ оставался только конекъ вверху, да жерди по сторонамъ въ видѣ ребръ. Кажется, сами хозяева снесли съ нихъ дранье и тесъ, разсуждая, и, конечно, справедливо, что въ дождь избы не кроютъ, а въ ведро и сама не каплетъ, бабиться же въ ней не зачѣмъ, когда есть просторъ и въ кабакѣ, и на большой дорогѣ,—словомъ, гдѣ хочешь. Окна въ избенкахъ были безъ стеколъ, иныя были заткнуты тряпкой или зипуномъ; балкончики подъ крышами съ перилами, неизвѣстно для какихъ причинъ, дѣлаемые въ иныхъ русскихъ избахъ, покосились и почернѣли даже не живописно. Изъ-за избъ тянулись во многихъ мѣстахъ рядами огромныя клади хлѣба, застоявшіяся, какъ видно, долго: цвѣтомъ походили онѣ на

старый, плохо выжженный кирпичъ, на верхушкѣ ихъ росла всякая дрянь, и даже прицѣпился сбоку кустарникъ. Хлѣбъ, какъ видно, былъ господскій. Изъ-за хлѣбныхъ кладей и ветхихъ крышъ возносились и мелькали на чистомъ воздухѣ то справа, то слѣва, по мѣрѣ того, какъ бричка дѣлала повороты, двѣ сельскія церкви, одна возлѣ другой—опустѣвшая деревянная и каменная, съ желтенькими стѣнами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями сталъ выказываться господскій домъ и, наконецъ, глянулъ весь въ томъ мѣстѣ, гдѣ цѣпь избъ прервалась, и на мѣсто ихъ остался пустыремъ огородъ или капустникъ, обнесенный низкою, мѣстами изломанною городьбою. Какимъ-то дряхлымъ инвалидомъ глядѣлъ сей странный замокъ, длинный, длинный непомѣрно. Мѣстами былъ онъ въ одинъ этажъ, мѣстами въ два; на темной крышѣ, не вездѣ надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, одинъ противъ другого, оба уже пошатнувшіеся, лишенные когда-то покрывавшей ихъ краски. Стѣны дома ощеливали мѣстами нагую штукатурную рѣшетку и, какъ видно, много потерпѣли отъ всякихъ непогодъ, дождей, вихрей и осеннихъ перемѣнъ. Изъ оконъ только два были открыты, прочія были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, съ своей стороны, были тоже подслѣповаты; на одинъ изъ нихъ темнѣлъ наклеенный треугольникъ изъ синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выходившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и заглохлый, казалось, одинъ освѣжалъ эту обширную деревню и одинъ былъ вполнѣ живописенъ въ своемъ картинномъ опустѣніи. Зелеными облаками и неправильными, трепетолистными куполами лежали на небесномъ горизонтѣ соединенныя вершины разросшихся на свободѣ деревъ. Бѣлый колоссальный стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна; косой, остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался кверху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его, какъ шапка или черная птица. Хмель, глушившій внизу кусты бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ, наконецъ, вверхъ и обвивалъ до половины сломленную березу. Достигнувъ середины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣплять вершины другихъ деревъ или же висѣлъ на воздухѣ, завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко колеблемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленыя чащи, озаренныя солнцемъ, и показывали неосвѣщенное между нихъ углубленіе, зіявшее какъ темная пасть; оно было все окинуто тѣнью, и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его: бѣжавшая узкая дорожка, обрушенныя перилы, пошатнувшаяся бесѣдка, дуплистый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ, густой щетиною вытыкавшій изъ-за ивы изсохшіе отъ

страшной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья, и, наконецъ, молодая вѣтвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравшись, Богъ вѣсть какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, нѣсколько высокорослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя вороньи гнѣзда на трепетныя свои вершины. У иныхъ изъ нихъ отдернутыя и не вполнѣ отдѣленныя вѣтви висѣли внизъ вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо, какъ не выдумать ни природѣ, ни искусству, но какъ бываетъ только тогда, когда они соединятся вмѣстѣ, когда по нагроможденному, часто безъ толку, труду человѣка пройдетъ окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчитъ тяжелыя массы, уничтожитъ грубоощутительную правильность и нищенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый, нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создалось въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности.

Сдѣлавъ одинъ или два поворота, герой нашъ очутился, наконецъ, передъ самымъ домомъ, который показался теперь еще печальнѣе. Зеленая плѣсень уже покрыла ветхое дерево на оградѣ и воротахъ. Толпа строеній,—людскихъ, амбаровъ, погребовъ,—видимо ветшавшихъ, наполняла дворъ; возлѣ нихъ направо и налѣво видны были ворота въ другіе дворы. Все говорило, что здѣсь когда-то хозяйство текло въ обширномъ размѣрѣ, и все глядѣло нынѣ пасмурно. Ничего не замѣтно было оживляющаго картину—ни отворявшихся дверей, ни выходившихъ откуда-нибудь людей, никакихъ живыхъ хлопотъ и заботъ дома! Только одни главныя ворота были растворены, и то потому, что въѣхалъ мужикъ съ нагруженною телѣгою, покрытою рогожею, показавшійся какъ бы нарочно для оживленія сего вымершаго мѣста: въ другое время и они были заперты наглухо, ибо въ желѣзной петлѣ висѣлъ замокъ-исполинъ. У одного изъ строеній Чичиковъ скоро замѣтилъ какую-то фигуру, которая начала вздорить съ мужикомъ, пріѣхавшимъ на телѣгѣ. Долго онъ не могъ распознать, какого пола была фигура—баба или мужикъ. Платье на ней было совершенно неопредѣленное, похожее очень на женскій капотъ; на головѣ колпакъ, какой носятъ деревенскія дворовыя бабы; только одинъ голосъ показался ему нѣсколько сиплымъ для женщины. «Ой, баба!» подумалъ онъ про себя и тутъ же прибавилъ: «Ой, нѣтъ!»—«Конечно, баба!» наконецъ сказалъ онъ, разсмотрѣвъ попристальнѣе. Фигура, съ своей стороны, глядѣла на него тоже пристально. Казалось, гость былъ для нея въ диковинку, потому что она обсмотрѣла не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная съ хвоста и до морды. По висѣвшимъ у ней за поясомъ ключамъ и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиковъ заключилъ, что это, вѣрно, ключница.

«Послушай, матушка»,—сказалъ онъ, выходя изъ брички: «что баринъ?...»

«Нѣтъ дома»,—прерывала ключница, не дожидаясь окончанія вопроса, и потомъ, спустя минуту, прибавила: «А что вамъ нужно?»

«Есть дѣло».

«Идите въ комнаты!»—сказала ключница, отворотившись и показавъ ему спину, запачканную мукою, съ большой прорѣхою пониже.

Онъ вступилъ въ темныя, широкія сѣни, отъ которыхъ подуло холодомъ, какъ изъ погреба. Изъ сѣней онъ попалъ въ комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную свѣтомъ, выходившимъ изъ-подъ широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, онъ, наконецъ, очутился въ свѣту и былъ пораженъ представшимъ безпорядкомъ. Казалось, какъ будто въ домѣ происходило мытье половъ и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одномъ столѣ стоялъ даже сломанный стулъ и, рядомъ съ нимъ, часы съ остановившимся маятникомъ, къ которому паукъ уже приладилъ паутину. Тутъ же стоялъ, прислоненный бокомъ къ стѣнѣ, шкапъ съ стариннымъ серебромъ, графинчиками и китайскимъ фарфоромъ. На бюро, выложенномъ перламутною мозаикой, которая мѣстами уже выпала и оставила послѣ себя одни желтенькіе желобки, наполненные клеемъ, лежало множество всякой всячины: куча исписанныхъ мелко бумажекъ, накрытыхъ мраморнымъ позеленѣвшимъ прессомъ съ яичкомъ наверху, какая-то старинная книга въ кожаномъ переплетѣ съ краснымъ обрѣзомъ, лимонъ весь высохшій, ростомъ не болѣе лѣсного орѣха, отломленная ручка кресель, рюмка съ какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмомъ, кусочекъ сургучика, кусочекъ гдѣ-то поднятой тряпки, два пера, запачканныя чернилами, высохшія какъ въ чахоткѣ, зубочистка совершенно пожелтѣвшая, которою хозяинъ, можетъ-быть, ковырялъ въ зубахъ своихъ еще до нашествія на Москву французовъ.

По стѣнамъ навѣшано было весьма тѣсно и безтолково нѣсколько картинъ, длинный, пожелтѣвшій гравюръ какого-то сраженія, съ огромными барабанами, кричащими солдатами въ треугольныхъ шляпахъ и тонущими конями, безъ стекла, вставленный въ раму краснаго дерева съ тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по угламъ. Въ рядъ съ ними занимала полстѣны огромная почернѣвшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цвѣты, фрукты, разрѣзанный арбузъ, кабанью морду и висѣвшую головою внизъ утку. Съ середины потолка висѣла люстра въ холстинномъ мѣшкѣ, отъ пыли сдѣлавшаяся похожею на шелковый коконъ, въ которомъ сидитъ червякъ. Въ углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубѣе и что недостойно лежать на столахъ. Что именно находилось въ кучѣ—рѣшить было трудно, ибо пыли на ней было въ такомъ изобиліи, что руки всякаго касавшагося стано-

вились похожими на перчатки: замѣтнѣе прочаго высовывались оттуда отломленный кусокъ деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никакъ бы нельзя было сказать, чтобы въ комнатѣ сей обитало живое существо, если бы не возвѣщалъ его пребываніе старый, поношенный колпакъ, лежавшій на столѣ. Пока онъ разсматривалъ все странное ея убранство, отворилась боковая дверь, и взошла та же самая ключница, которую встрѣтилъ онъ на дворѣ. Но тутъ увидѣлъ онъ, что это былъ скорѣе ключникъ, чѣмъ ключница: ключница, по крайней мѣрѣ, не бреетъ бороды, а этотъ, напротивъ того, брилъ, и казалось, довольно рѣдко, потому что весь подбородокъ съ нижней частью щеки походилъ у него на скребницу изъ желѣзной проволоки, какою чистятъ на конюшнѣ лошадей. Чичиковъ, давши вопросительное выраженіе лицу своему, ожидалъ съ нетерпѣніемъ, что хочетъ сказать ему ключникъ. Ключникъ тоже, съ своей стороны, ожидалъ, что хочетъ ему сказать Чичиковъ. Наконецъ, послѣдній, удивленный такимъ страннымъ недоумѣніемъ, рѣшился спросить:

«Что-жъ баринъ? У себя, что ли?»

«Здѣсь хозяинъ»,—сказалъ ключникъ.

«Гдѣ же?»—повторилъ Чичиковъ.

«Что, батюшка, слѣпы-то, что ли?»—сказалъ ключникъ. «Эхва! А вить хозяинъ-то я!»

Здѣсь герой нашъ поневолѣ отступилъ назадъ и поглядѣлъ на него пристально. Ему случалось видѣть не мало всякаго рода людей, даже такихъ, какихъ намъ съ читателемъ, можетъ-быть, никогда не придется увидать; но такого онъ еще не видывалъ. Лицо его не представляло ничего особеннаго: оно было почти такое же, какъ у многихъ худощавыхъ стариковъ; одинъ подбородокъ только выступалъ очень далеко впередъ, такъ что онъ долженъ былъ всякій разъ закрывать его платкомъ, чтобы не заплевать; маленькіе глазки его не потухнули и бѣгали изъ-подъ высоко выросшихъ бровей, какъ мыши, когда, высунувши изъ темныхъ норъ остренькія морды, насторожа уши и моргая усомъ, онѣ высматриваютъ, не затаился ли гдѣ котъ или шалунъ мальчишка, и нюхаютъ подозрительно самый воздухъ. Гораздо замѣчательнѣе былъ нарядъ его. Никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, изъ чего состряпанъ былъ его халатъ: рукава и верхнія полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идетъ на сапоги; назади, вмѣсто двухъ, болталось четыре полы, изъ которыхъ охлопьями лѣзла хлопчатая бумага. На шеѣ у него тоже было повязано что-то такое, котораго нельзя было разобрать: чулокъ ли, подвязка ли, или набрюшникъ, только никакъ не галстукъ. Словомъ, если бы Чичиковъ встрѣтилъ его, такъ принаряженнаго, гдѣ-нибудь у церковныхъ дверей, то, вѣроятно, далъ бы ему мѣдный грошъ, ибо къ чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и онъ не могъ

никакъ удержаться, чтобы не подать бѣдному человѣку мѣднаго гроша. Но предъ нимъ стоялъ не нищій, предъ нимъ стоялъ помѣщикъ. У этого помѣщика была тысяча слишкомъ душъ, и попробовалъ бы кто найти у кого другого столько хлѣба, зерномъ, мукою и, просто, въ кладяхъ, у кого бы кладовыя, амбары и сушилы загромождены были такимъ множествомъ холстовъ, суконъ, овчинъ, выдѣланныхъ и сыромятныхъ, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянулъ бы кто-нибудь къ нему на рабочій дворъ, гдѣ наготовлено было на запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся,—ему бы показалось, ужъ не попалъ ли онъ какъ нибудь въ Москву на щепной дворъ, куда ежедневно отправляются расторопныя тещи и свекрухи, съ кухарками позади, дѣлать свои хозяйственные запасы, и гдѣ горами бѣлѣетъ всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересѣки, ушаты, лагуны, жбаны съ рыльцами и безъ рылецъ, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладутъ свои мочки и прочій дрязгъ, коробья изъ тонкой гнутой осины, бураки изъ плетеной берестки и много всего, что идетъ на потребу богатой и бѣдной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобныхъ издѣлій? Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже на два такихъ имѣнія, какія были у него; но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь симъ, онъ ходилъ еще каждый день по улицамъ своей деревни, заглядывалъ подъ мостики, подъ перекладины, и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, желѣзный гвоздь, глиняный черепокъ,—все тащилъ къ себѣ и складывалъ въ ту кучу, которую Чичиковъ замѣтилъ въ углу комнаты. «Вонъ, уже рыболовъ пошелъ на охоту!» говорили мужики, когда видѣли его, идущаго на добычу. И въ самомъ дѣлѣ, послѣ него не зачѣмъ было мести улицу: случилось проѣзжавшему офицеру потерять шпору,—шпора эта мигомъ отправилась въ извѣстную кучу; если баба, какъ-нибудь зазѣвавшись у колодца, позабывала ведро, онъ утаскивалъ и ведро. Впрочемъ, когда примѣтившій мужикъ уличалъ его тутъ же, онъ не спорилъ и отдавалъ похищенную вещь; но если только она попадала въ кучу, тогда все кончено: онъ божился, что вещь его, куплена имъ тогда-то, у того-то, или досталась отъ дѣда. Въ комнатѣ своей онъ подымалъ съ пола все, что ни видѣлъ: сургучикъ, лоскутокъ бумажки, перышко и все это клалъ на бюро или на окошко.

А вѣдь было время, когда онъ только былъ бережливымъ хозяиномъ! Былъ женатъ и семьянинъ, и сосѣдъ заѣзжалъ къ нему пообѣдать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размѣреннымъ ходомъ: двигались мельницы, валильни, работали суконныя фабрики, столярные станки, прядильни; вездѣ, во все входилъ зоркій взглядъ хозяина и, какъ трудолюбивый паукъ, бѣгалъ, хлопотливо, но расторопно, по всѣмъ

концамъ своей хозяйственной паутины. Слишкомъ сильныя чувства не отражались въ чертахъ лица его, но въ глазахъ былъ виденъ умъ: опытностью и познаніемъ свѣта была проникнута рѣчь его, и гостю было пріятно его слушать; привѣтливая и говорливая хозяйка славилась хлѣбосольствомъ; навстрѣчу выходили двѣ миловидныя дочки, обѣ бѣлокурыя и свѣжія, какъ розы; выбѣгалъ сынъ, разбитной мальчишка, и цѣловался со всѣми, мало обращая вниманія на то, радъ ли, или не радъ былъ этому гость. Въ домѣ были открыты всѣ окна; антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и былъ большой стрѣлокъ: приносилъ всегда къ обѣду тетерекъ или утокъ, а иногда и одни воробьиныя яйца, изъ которыхъ заказывалъ себѣ яичницу, потому что больше въ цѣломъ домѣ никто ея не ѣлъ. На антресоляхъ жила также его компатріотка, наставница двухъ дѣвицъ. Самъ хозяинъ являлся къ столу въ сюртукѣ, хотя нѣсколько поношенномъ, но опрятномъ; локти были въ порядкѣ; нигдѣ никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ, перешла къ нему. Плюшкинъ сталъ безпокойнѣе и, какъ всѣ вдовцы, подозрительнѣе и скупѣе. На старшую дочь, Александру Степановну, онъ не могъ во всемъ положиться, да и былъ правъ, потому что Александра Степановна скоро убѣжала съ штабсъ-ротмистромъ, Богъ вѣсть какого, кавалерійскаго полка и обвѣнчалась съ нимъ гдѣ-то наскоро, въ деревенской церкви, зная, что отецъ не любитъ офицеровъ по странному предубѣжденію, будто бы всѣ военные—картежники и мотишки. Отецъ послалъ ей на дорогу проклятіе, а преслѣдовать не заботился. Въ домѣ стало еще пустѣе. Во владѣльцѣ стала замѣтнѣе обнаруживаться скупость; сверкнувшая въ жесткихъ волосахъ его сѣдина, вѣрная подруга ея, помогла ей еще болѣе развиться. Учитель-французъ былъ отпущенъ, потому что сыну пришла пора на службу; мадамъ была прогнана, потому что оказалась не безгрѣшною въ похищеніи Александры Степановны. Сынъ, будучи отправленъ въ губернскій городъ съ тѣмъ, чтобы узнать въ палатѣ, по мнѣнію отца, службу существенную, опредѣлился вмѣсто того въ полкъ и написалъ къ отцу, уже по своемъ опредѣленіи, прося денегъ на обмундировку; весьма естественно, что онъ получилъ на это то, что называется въ простонародіи шишъ. Наконецъ послѣдняя дочь, остававшаяся съ нимъ въ домѣ, умерла, и старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, какъ извѣстно, имѣетъ волчій голодъ и, чѣмъ болѣе пожираетъ, тѣмъ становится ненасытнѣе; человѣческія чувства, которыя и безъ того не были въ немъ глубоки, мелѣли ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось въ этой изношенной развалинѣ. Случись же подъ такую минуту, какъ будто нарочно въ подтвержденіе его мнѣнія о военныхъ, что сынъ его проигрался въ карты; онъ послалъ

ему отъ души свое отцовское проклятіе и никогда уже не интересовался знать, существуетъ ли онъ на свѣтѣ, или нѣтъ. Съ каждымъ годомъ притворялись окна въ его домѣ, наконецъ осталось только два, изъ которыхъ одно, какъ уже видѣлъ читатель, было заклеено бумагою; съ каждымъ годомъ уходили изъ вида его, болѣе и болѣе, главныя части хозяйства, и мелкій взглядъ его обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, которыя онъ собиралъ въ своей комнатѣ; неуступчивѣе становился онъ къ покупщикамъ, которые пріѣзжали забирать у него хозяйственныя произведенія: покупщики торговались, торговались и наконецъ бросили его вовсе, сказавши, что это бѣсъ, а не человѣкъ; сѣно и хлѣбъ гнили; клади и стоги обращались въ чистый навозъ, хоть разводи на нихъ капусту; мука въ подвалахъ превратилась въ камень, и нужно было ее рубить; къ сукнамъ, холстамъ и домашнимъ матеріямъ страшно было притронуться: они обращались въ пыль. Онъ уже позабывалъ самъ, сколько у него было чего, и помнилъ только, въ какомъ мѣстѣ стоялъ у него въ шкапу графинчикъ съ остаткомъ какой-нибудь настойки, на которомъ онъ самъ сдѣлалъ намѣтку, чтобы никто воровскимъ образомъ ее не выпилъ, да гдѣ лежало перышко или сургучикъ. А между тѣмъ въ хозяйствѣ доходъ собирался попрежнему: столько же оброку долженъ былъ принесть мужикъ, такимъ же приносомъ орѣховъ обложена была всякая баба, столько же поставовъ холста должна была наткать ткачиха. Все это сваливалось въ кладовыя и все становилось гниль и прорѣха, и самъ онъ обратился, наконецъ, въ какую-то прорѣху на человѣчествѣ. Александра Степановна какъ-то пріѣзжала раза два съ маленькимъ сынкомъ, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить: видно, походная жизнь съ штабсъ-ротмистромъ не была такъ привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкинъ, однакоже, ее простилъ и даже далъ маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столѣ, но денегъ ничего не далъ. Въ другой разъ Александра Степановна пріѣхала съ двумя малютками и привезла ему куличъ къ чаю и новый халатъ, потому что у батюшки былъ такой халатъ, на который глядѣть не только было совѣстно, но даже стыдно. Плюшкинъ приласкалъ обоихъ внуковъ и, посадивши ихъ къ себѣ одного на правое колѣно, а другого на лѣвое, покачалъ ихъ совершенно такимъ образомъ, какъ будто они ѣхали на лошадяхъ; куличъ и халатъ взялъ, но дочери рѣшительно ничего не далъ; съ тѣмъ и уѣхала Александра Степановна.

Итакъ, вотъ какого рода помѣщикъ стоялъ передъ Чичиковымъ! Должно сказать, что подобное явленіе рѣдко попадается на Руси, гдѣ все любитъ скорѣе развернуться, нежели съежиться, и тѣмъ поразительнѣе бываетъ оно, что тутъ же, въ сосѣдствѣ, подвернется помѣщикъ, кутящій во всю ширину русской удали и барства, прожигающій, какъ говорится, насквозь жизнь. Небывалый проѣзжій оста-

новится съ изумленіемъ при видѣ его жилища, недоумѣвая, какой владѣтельный принцъ очутился внезапно среди маленькихъ, темныхъ владѣльцевъ: дворцами глядятъ его бѣлые, каменные дома съ безчисленнымъ множествомъ трубъ, бельведеровъ, флюгеровъ, окруженные стадомъ флигелей и всякими помѣщеньями для пріѣзжихъ гостей. Чего нѣтъ у него? Театры, балы; всю ночь сіяетъ убранный огнями, плошками, оглашенный громомъ музыки садъ. Полгуберніи разодѣто и весело гуляетъ подъ деревьями, и никому не является дикое и грозящее въ семъ насильственномъ освѣщеніи, когда театрально выскакиваетъ изъ древесной гущи озаренная поддѣльнымъ свѣтомъ вѣтвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнѣе, и суровѣе, и въ двадцать разъ грознѣе является чрезъ то ночное небо, и, далеко трепеща листьями въ вышинѣ, уходя глубже въ непробудный мракъ, негодуютъ суровыя вершины деревъ на сей мишурный блескъ, освѣтившій снизу ихъ корни.

Уже нѣсколько минутъ стоялъ Плюшкинъ, не говоря ни слова, а Чичиковъ все еще не могъ начать разговора, развлеченный какъ видомъ самого хозяина, такъ и всего того, что было въ его комнатѣ. Долго не могъ онъ придумать, въ какихъ бы словахъ изъяснить причину своего посѣщенія. Онъ уже хотѣлъ было выразиться въ такомъ духѣ, что, наслышась о добродѣтели и рѣдкихъ свойствахъ души его, почелъ долгомъ принести лично дань уваженія; но спохватился и почувствовалъ, что это слишкомъ. Искоса бросивъ еще одинъ взглядъ на все, что было въ комнатѣ, онъ почувствовалъ, что слово: *добродѣтель* и *рѣдкія свойства души* можно съ успѣхомъ замѣнить словами: *экономія* и *порядокъ*; и потому, преобразивши такимъ образомъ рѣчь, онъ сказалъ, что, наслышась объ экономіи его и рѣдкомъ управленіи имѣніями, онъ почелъ за долгъ познакомиться и принести лично свое почтеніе. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на умъ.

На это Плюшкинъ что-то пробормоталъ сквозь губы,—ибо зубовъ не было,—что именно, неизвѣстно, но, вѣроятно, смыслъ былъ таковъ: «А побралъ бы тебя чортъ съ твоимъ почтеніемъ!» Но такъ какъ гостепріимство у насъ въ такомъ ходу, что и скряга не въ силахъ преступить его законовъ, то онъ прибавилъ тутъ же нѣсколько внятнѣе: «Прошу покорнѣйше садиться!»

«Я давненько не вижу гостей»,—сказалъ онъ: «да, признаться сказать, въ нихъ мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ѣздить другъ къ другу, а въ хозяйствѣ-то упущенія... да и лошадей ихъ корми сѣномъ! Я давно ужъ отобѣдалъ, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсѣмъ развалилась: начнешь топить, еще пожару надѣлаешь».

«Вонъ оно какъ!» подумалъ про себя Чичиковъ: «хорошо же, что я у Собакевича перехватилъ вотрушку да ломоть бараньяго бока».

«И такой скверный анекдотъ, что сѣна хоть бы клокъ въ цѣломъ хозяйствѣ!»—продолжалъ Плюшкинъ. «Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ прибережешь его? Землишка маленькая, мужикъ лѣнивъ, работать не любитъ, думаетъ, какъ бы въ кабакъ... того и гляди, пойдешь на старости лѣтъ по-міру!»

«Мнѣ, однакоже, сказывали»,—скромно замѣтилъ Чичиковъ: «что у васъ болѣе тысячи душъ».

«А кто это сказывалъ? А вы бы, батюшка, наплевали въ глаза тому, который это сказывалъ! Онъ пересмѣшникъ, видно, хотѣлъ пошутить надъ вами. Вотъ, баютъ, тысяча душъ, а подитка сосчитай, а и ничего не начтешь! Послѣдніе три года проклятая горячка вымори-ла у меня здоровенной кушъ мужиковъ».

«Скажите! и много выморила?»—воскликнулъ Чичиковъ съ участіемъ.

«Да, снесли многихъ».

«А позвольте узнать: сколько числомъ?»

«Душъ восемьдесятъ».

«Нѣтъ?»

«Не стану лгать, батюшка».

«Позвольте еще спросить: вѣдь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи послѣдней ревизіи?»

«Это бы еще слава Богу»,—сказалъ Плюшкинъ: «да лихъ-то, что съ того времени, до ста двадцати наберется».

«Вправду? Цѣлыхъ сто двадцать?»—воскликнулъ Чичиковъ и даже разинулъ нѣсколько ротъ отъ изумленія.

«Старъ я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десятокъ живу!»—сказалъ Плюшкинъ. Онъ, казалось, обидѣлся такимъ, почти радостнымъ, восклицаніемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что въ самомъ дѣлѣ неприлично подобное безучастіе къ чужому горю, и потому вздохнулъ тутъ же и сказалъ, что соболѣзнуетъ.

«Да вѣдь соболѣзнованіе въ карманъ не положишь»,—сказалъ Плюшкинъ. «Вотъ возлѣ меня живетъ капитанъ, чортъ знаетъ его, откуда взялся, говоритъ—родственникъ: «Дядюшка, дядюшка!» и въ руку цѣлуетъ; а какъ начнетъ соболѣзновать, вой такой подыметъ, что уши береги. Съ лица весь красный: пѣннику, чай, на-смерть придерживается. Вѣрно, спустилъ денежки, служа въ офицерахъ, или театральная актерка выманила, такъ вотъ онъ теперь и соболѣзнуетъ!»

Чичиковъ постарался объяснить, что его соболѣзнованіе совсѣмъ не такого рода, какъ капитанское, и что онъ не пустыми словами, а дѣломъ готовъ доказать его и, не откладывая дѣла далѣе, безъ всякихъ обиняковъ, тутъ же изъявилъ готовность принять на себя обязанность платить подати за всѣхъ крестьянъ, умершихъ такими несчастными случаями. Предложеніе, казалось, совершенно изумило Плюш-

кина. Онъ, вытаращивъ глаза, долго смотрѣлъ на него и наконецъ спросилъ: «Да вы, батюшка, не служили ли въ военной службѣ?»

«Нѣтъ»,—отвѣчалъ Чичиковъ довольно лукаво: «служилъ по статской».

«По статской?»—повторилъ Плюшкинъ и сталъ жевать губами, какъ будто что-нибудь кушалъ. «Да вѣдь какъ же? Вѣдь это вамъ самимъ-то въ убытокъ?»

«Для удовольствія вашего готовъ и на убытокъ».

«Ахъ, батюшка! Ахъ, благодѣтель мой!»—вскрикнулъ Плюшкинъ, не замѣчая отъ радости, что у него изъ носа выглянулъ весьма некартинно табакъ, на образецъ густого кофея, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для разсматриванья. «Вотъ утѣшили старика! Ахъ, Господи ты мой! Ахъ, святители вы мои!..» Далѣе Плюшкинъ и говорить не могъ. Но не прошло и минуты, какъ эта радость, такъ мгновенно показавшаяся на деревянномъ лицѣ его, такъ же мгновенно и прошла, будто ея вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выраженіе. Онъ даже утерся платкомъ и, свернувши его въ комокъ, сталъ имъ возить себя по верхней губѣ.

«Какъ же, съ позволенія вашего, чтобы не разсердить васъ, вы за всякій годъ беретесь платить за нихъ подать и деньги будете выдавать мнѣ или въ казну?»

«Да мы вотъ какъ сдѣлаемъ: мы совершимъ на нихъ купчую крѣпость, какъ бы они были живые и какъ бы вы ихъ мнѣ продали».

«Да, купчую крѣпость...»—сказалъ Плюшкинъ, задумался и сталъ опять кушать губами. «Вѣдь вотъ купчую крѣпость—все издержки. Приказные такіе безсовѣстные! Прежде бывало полтиной мѣди отдѣлаешься, да мѣшкомъ муки, а теперь пошли цѣлую подводу крупъ, да и красную бумажку прибавь,—такое сребролюбіе! Я не знаю, какъ никто другой не обратитъ на это вниманье. Ну, сказалъ бы ему какъ-нибудь душеспасительное слово! Вѣдь словомъ хоть кого проймешь. Кто что ни говори, а противъ душеспасительнаго слова не устоишь».

«Ну, ты, я думаю, устоишь!»—подумалъ про-себя Чичиковъ и произнесъ тутъ же, что, изъ уваженія къ нему, онъ готовъ принять даже издержки по купчей на свой счетъ.

Услыша, что даже издержки по купчей онъ принимаетъ на себя, Плюшкинъ заключилъ, что гость долженъ быть совершенно глупъ и только прикидывается, будто служилъ по статской, а, вѣрно, былъ въ офицерахъ и волочился за актерками. При всемъ томъ онъ, однакожъ, не могъ скрыть своей радости и пожелалъ всякихъ утѣшеній не только ему, но даже и дѣткамъ его, не спросивъ, были ли они у него, или нѣтъ. Подошедъ къ окну, постучалъ онъ пальцами въ стекло и закричалъ: «Эй, Прошка!» Чрезъ минуту было слышно, что кто-то вбѣжалъ впопыхахъ въ сѣни, долго возился тамъ и стучалъ сапога-

ми, наконецъ, дверь отворилась, и вошелъ Прошка, мальчикъ лѣтъ тринадцати, въ такихъ большихъ сапогахъ, что, ступая, едва не вынулъ изъ нихъ ноги. Почему у Прошки были такіе большіе сапоги, это можно узнать сейчасъ же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ея въ домѣ, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться въ сѣняхъ. Всякій призываемый въ барскіе покои обыкновенно отплясывалъ черезъ весь дворъ босикомъ, но, входя въ сѣни, надѣвалъ сапоги и такимъ уже образомъ являлся въ комнату. Выходя изъ комнаты, онъ оставлялъ сапоги опять въ сѣняхъ и отправлялся вновь на собственной подошвѣ. Если бы кто взглянулъ изъ окошка въ осеннее время и особенно, когда по утрамъ начинаются маленькія измороси, то бы увидѣлъ, что вся дворня дѣлала такіе скачки, какіе врядъ ли удастся выдѣлать на театрахъ самому бойкому танцовщику.

«Вотъ посмотрите, батюшка, какая рожа!»—сказалъ Плюшкинъ Чичикову, указывая пальцемъ на лицо Прошки. «Глупъ вѣдь, какъ дерево, а попробуй что-нибудь положить—мигомъ украдетъ! Ну, чего ты пришелъ, дуракъ? скажи, чего?» Тутъ онъ произвелъ небольшое молчаніе, на которое Прошка отвѣчалъ тоже молчаніемъ. «Поставь самоваръ,—слышишь?—да вотъ возьми ключъ, да отдай Маврѣ, чтобы пошла въ кладовую: тамъ на полкѣ есть сухарь изъ кулича, который привезла Александра Степановна,—чтобы подали его къ чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! Эхва, дурачина!.. Бѣсъ у тебя въ ногахъ, что ли, чешется?.. Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху, чай, поиспортился, такъ пусть соскоблитъ его ножомъ, да крохъ не бросаетъ, а снесетъ въ курятникъ. Да смотри ты, ты не входи, братъ, въ кладовую; не то—я тебя, знаешь? березовымъ-то вѣникомъ, чтобы для вкуса-то! Вотъ у тебя теперь славный аппетитъ, такъ чтобы еще былъ получше! Вотъ попробуй-ка пойти въ кладовую, а я тѣмъ временемъ изъ окна стану глядѣть.—Имъ ни въ чемъ нельзя довѣрять», продолжалъ онъ, обратившись къ Чичикову послѣ того, какъ Прошка убрался вмѣстѣ съ своими сапогами. Вслѣдъ затѣмъ онъ началъ и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновеннаго великодушія стали ему казаться невѣроятными, и онъ подумалъ про-себя: «Вѣдь чортъ его знаетъ; можетъ-быть, онъ, просто, хвастунъ, какъ всѣ эти мотишки: наврetъ, наврetъ, чтобы поговорить да напиться чаю, а потомъ и уѣдетъ!» А потому изъ предосторожности и вмѣстѣ желая нѣсколько поиспытать его, сказалъ онъ, что не дурно совершить купчую поскорѣе, потому что де въ человѣкѣ не увѣренъ: сегодня живъ, а завтра и Богъ вѣсть.

Чичиковъ изъявилъ готовность совершить хоть сію же минуту и потребовалъ только списка всѣмъ крестьянамъ.

Это успокоило Плюшкина. Замѣтно было, что онъ придумывалъ что-то сдѣлать, и точно, взявши ключи, приблизился къ шкапу и,

отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконецъ, произнесъ: «Вѣдь вотъ не сыщешь, а у меня былъ славный ликерчикъ, если только не выпили: народъ—такіе воры! А вотъ развѣ не это ли онъ?» Чичиковъ увидѣлъ въ рукахъ его графинчикъ, который былъ весь въ пыли, какъ въ фуфайкѣ. «Еще покойница дѣлала», продолжалъ Плюшкинъ: «мошенница-ключница совсѣмъ-было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь соръ-то повынулъ и теперь вотъ чистенькая, я вамъ налью рюмочку».

Но Чичиковъ постарался отказаться отъ такого ликерчика, сказавши, что онъ уже и пилъ, и ѣлъ.

«Пили уже и ѣли!»—сказалъ Плюшкинъ. «Да, конечно, хорошаго общества человѣка хоть гдѣ узнаешь: онъ не ѣстъ, а сытъ; а какъ этакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Вѣдь вотъ капитанъ пріѣдетъ: «Дядюшка», говоритъ, «дайте чего-нибудь поѣсть!» А я ему такой же дядюшка, какъ онъ мнѣ дѣдушка. У себя дома ѣсть, вѣрно, нечего, такъ вотъ онъ и шатается! Да, вѣдь вамъ нуженъ реестрикъ всѣхъ этихъ тунеядцевъ? Какъ же! Я, какъ зналъ, всѣхъ ихъ списалъ на особую бумажку, чтобы, при первой подачѣ ревизіи, всѣхъ ихъ вычеркнуть».—Плюшкинъ надѣлъ очки и сталъ рыться въ бумагахъ. Развязывая всякія связки, онъ попотчивалъ своего гостя такою пылью, что тотъ чихнулъ. Наконецъ, вытащилъ бумажку, всю исписанную кругомъ. Крестьянскія имена усыпали ее тѣсно, какъ мошки. Были тамъ всякіе: и Парамоновъ, и Пименовъ, и Пантелеймоновъ, и даже выглянулъ какой-то Григорій Доѣзжайне-доѣдешь; всѣхъ было сто двадцать слишкомъ. Чичиковъ улыбнулся при видѣ такой многочисленности. Спрятавъ ее въ карманъ, онъ замѣтилъ Плюшкину, что ему нужно будетъ для совершенія крѣпости пріѣхать въ городъ.

«Въ городъ? Да какъ же?.. А домъ-то какъ оставить? Вѣдь у меня народъ—или воръ, или мошенникъ: въ день такъ оберутъ, что и кафтана не на чемъ будетъ повѣсить».

«Такъ не имѣете ли кого-нибудь знакомаго?»

«Да кого же знакомаго? Всѣ мои знакомые перемерли, или раззнакомились... Ахъ, батюшка! какъ не имѣть? имѣю!»—вскричалъ онъ. «Вѣдь знакомъ самъ предсѣдатель, ѣзжалъ даже въ старые годы ко мнѣ. Какъ не знать! однокорытниками были, вмѣстѣ по заборамъ лазили! Какъ не знакомый? Ужъ такой знакомый!.. Такъ ужъ не къ нему ли написать?»

«И конечно, къ нему».

«Какъ же, ужъ такой знакомый! Въ школѣ были пріятели».

И на этомъ деревянномъ лицѣ вдругъ скользнулъ какой-то теплый лучъ, выразилось—не чувство, а какое-то блѣдное отраженіе чувства: явленіе, подобное неожиданному появленію на поверхности

водъ утопающаго, произведшему радостный крикъ въ толпѣ, обступившей берегъ; но напрасно обрадовавшіеся братья и сестры кидаютъ съ берега веревку и ждутъ, не мелькнетъ ли вновь спина или утомленныя бореньемъ руки—появленіе было послѣднее. Глухо все, и еще страшнѣе и пустыннѣе становится послѣ того затихнувшая поверхность безотвѣтной стихіи. Такъ и лицо Плюшкина, вслѣдъ за мгновенно скользнувшимъ на немъ чувствомъ, стало еще безчувственнѣй и еще пошлѣе.

«Лежала на столѣ четвертка чистой бумаги»,—сказалъ онъ: да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такіе негодные!»—Тутъ сталъ онъ заглядывать и подъ столъ, и на столъ, шарилъ вездѣ и, наконецъ, закричалъ: «Мавра, а Мавра!» На зовъ явилась женщина съ тарелкой въ рукахъ, на которой лежалъ сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошелъ такой разговоръ:

«Куда ты дѣла, разбойница, бумагу?»

«Ей Богу, баринъ, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которымъ изволили прикрыть рюмку».

« А вотъ я по глазамъ вижу, что подтибрила».

«Да на что-жъ бы я подтибрила? Вѣдь мнѣ проку съ ней никакого: я грамотѣ не знаю».

«Врешь, ты снесла понамаренку: онъ маракуетъ, такъ ты ему и снесла».

«Да понамаренокъ, если захочетъ, такъ достанетъ себѣ бумаги. Не видалъ онъ вашего лоскутка!»

«Вотъ погоди-ко: на страшномъ судѣ черти припекутъ тебя за это желѣзными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ припекутъ!»

«Да за что же припекутъ, коли я не брала и въ руки четвертки? Ужъ скорѣе другой какой бабьей слабостью, а воровствомъ меня еще никто не попрекалъ».

«А вотъ черти-то тебя и пріпекутъ! Скажутъ: «А вотъ тебѣ, мошенница, за то, что барина-то обманывала!» да горячими-то тебя и припекутъ!»

«А я скажу: «Не за что! ей Богу, не за что: не брала я...» Да вонъ она лежитъ на столѣ. Всегда понапраслиной попрекаете!»

Плюшкинъ увидѣлъ, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевалъ губами и произнесъ: «Ну, что-жъ ты расходилась такъ? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она ужъ въ отвѣтъ десятокъ! Поди-ко принеси огоньку запечатать письмо. Да стой! ты схватишь сальную свѣчу; сало—дѣло топкое: сгоритъ да и нѣтъ, только убытокъ; а ты принеси-ко мнѣ лучинку!»

Мавра ушла, а Плюшкинъ, сѣвши въ кресла и взявши въ руку перо, долго еще ворочалъ на всѣ стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отдѣлить отъ нея еще осьмушку, но, наконецъ, убѣдился, что никакъ нельзя; всунулъ перо въ чернильницу съ какою-то заплѣс-

нѣвшею жидкостью и множествомъ мухъ на днѣ, и сталъ писать, выставляя буквы, похожія на музыкальныя ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая разскакивалась по всей бумагѣ, лѣпя скупо строка на строку и не безъ сожалѣнія подумывая о томъ, что все еще останется много чистаго пробѣла.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости могъ снизойти человѣкъ? могъ такъ измѣниться? И похоже это на правду?—Все похоже на правду, все можетъ статься съ человѣкомъ. Нынѣшній же пламенный юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему его же портретъ въ старости. Забирайте же съ собою въ путь, выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое, ожесточающее мужество,—забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: не подымете потомъ! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдаетъ назадъ и обратно! Могила милосерднѣе ея, на могилѣ напишется: «*здѣсь погребенъ человѣкъ*»; но ничего не прочитаешь въ хладныхъ, безчувственныхъ чертахъ безчеловѣчной старости.

«А не знаете ли вы какого-нибудь вашего пріятеля»,—сказалъ Плюшкинъ, складывая письмо: «которому бы понадобились бѣглыя души?»

«А у васъ есть и бѣглыя?»—быстро спросилъ Чичиковъ, очнувшись.

«Въ томъ-то и дѣло, что есть. Зять дѣлалъ выправки: говоритъ, будто и слѣдъ простылъ; но вѣдь онъ человѣкъ военный: мастеръ притопывать шпорой, а если бы похлопотать по судамъ...»

«А сколько ихъ будетъ числомъ?»

«Да десятковъ до семи тоже наберется».

«Нѣтъ?»

«А, ей Богу, такъ! Вѣдь у меня что годъ, то бѣгаютъ. Народъ-то больно прожорливъ, отъ праздности завелъ привычку трескать, а у меня ѣсть и самому нечего... А ужъ я бы за нихъ что ни дай, взялъ бы. Такъ посовѣтуйте вашему пріятелю-то: отыщись вѣдь только десятокъ, такъ вотъ ужъ у него славная деньга. Вѣдь ревизская душа стоитъ въ пятистахъ рубляхъ».

«Нѣтъ, этого мы пріятелю и понюхать не дадимъ»,—сказалъ про себя Чичиковъ и потомъ объяснилъ, что такого пріятеля никакъ не найдется, что однѣ издержки по этому дѣлу будутъ стоить болѣе, ибо отъ судовъ нужно отрѣзать полы собственнаго кафтана, да уходить подалѣе; но что если онъ уже дѣйствительно такъ стиснутъ, то, будучи подвигнутъ участіемъ, онъ готовъ дать... но что это такая бездѣлица, о которой даже не стоитъ и говорить».

«А сколько бы вы дали?»—спросилъ Плюшкинъ, и самъ ожидовѣлъ; руки его задрожали, какъ ртуть.

«Я бы далъ по двадцати пяти копѣекъ за душу».

«А какъ вы покупаете—на чистыя?»

«Да, сейчасъ деньги».

«Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копѣкъ».

«Почтеннѣйшій!»—сказалъ Чичиковъ: «не только по сорока копѣкъ, по пятисотъ рублей заплатилъ бы! Съ удовольствіемъ заплатилъ бы, потому что вижу—почтенный, добрый старикъ терпитъ по причинѣ собственнаго добродушія».

«А, ей Богу, такъ! Ей Богу, правда!»—сказалъ Плюшкинъ, свѣсивъ голову внизъ и сокрушительно покачавъ ее: «все отъ добродушія».

«Ну, видите ли, я вдругъ постигнулъ вашъ характеръ. Итакъ, почему-жъ не дать бы мнѣ по пятисотъ рублей за душу, но... состоянья нѣтъ; по пяти копѣекъ, извольте, готовъ прибавить, чтобы каждая душа обошлась такимъ образомъ въ тридцать копѣекъ».

«Ну, батюшка, воля ваша, хоть по двѣ копѣйки пристегните».

«По двѣ копѣечки пристегну, извольте. Сколько ихъ у васъ? Вы, кажется, говорили—семьдесятъ?»

«Нѣтъ, всего наберется семьдесятъ восемь».

«Семьдесятъ восемь, семьдесятъ восемь, по тридцати копѣекъ за душу, это будетъ...» Здѣсь герой нашъ одну секунду, не болѣе, подумалъ и сказалъ вдругъ: «это будетъ двадцать четыре рубля девяносто шесть копѣекъ!» Онъ былъ въ ариѳметикѣ силенъ. Тутъ же заставилъ онъ Плюшкина написать росписку и выдалъ ему деньги, которыя тотъ принялъ въ обѣ руки и понесъ ихъ къ бюро съ такою же осторожностью, какъ будто бы несъ какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши къ бюро, онъ переглядѣлъ ихъ еще разъ и уложилъ, тоже чрезвычайно осторожно, въ одинъ изъ ящиковъ, гдѣ, вѣрно, имъ суждено быть погребенными до тѣхъ поръ, покамѣстъ отецъ Карпъ и отецъ Поликарпъ, два священника его деревни, не погребутъ его самого, къ неописанной радости зятя и дочери, а можетъ-быть, и капитана, приписавшагося ему въ родню. Спрятавши деньги, Плюшкинъ сѣлъ въ кресла и уже, казалось, больше не могъ найти матеріи, о чемъ говорить.

«А что, вы ужъ собираетесь ѣхать?»—сказалъ онъ, замѣтивъ небольшое движеніе, которое сдѣлалъ Чичиковъ для того только, чтобы достать изъ кармана платокъ.

Этотъ вопросъ напомнилъ ему, что въ самомъ дѣлѣ незачѣмъ болѣе мѣшкать. «Да, мнѣ пора!»—произнесъ онъ, взявшись за шляпу.

«А чайку?»

«Нѣтъ, ужъ чайку пусть лучше когда-нибудь въ другое время».

«Какъ же? А я приказалъ самоваръ. Я, признаться сказать, не охотникъ до чаю: напитокъ дорогой, да и цѣна на сахаръ поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Маврѣ, слышишь? Пусть его положитъ на то же мѣсто; или, нѣтъ, подай его сюда! я ужо снесу его самъ. Прощайте, батюшка! Да благословитъ

васъ Богъ! А письмо-то предсѣдателю вы отдайте. Да! Пусть прочтетъ, онъ мой старый знакомый. Какъ же! Были съ нимъ однокорытниками!»

За симъ, это странное явленіе, этотъ съежившійся старичишка проводилъ его со двора, послѣ чего велѣлъ ворота тотъ же часъ запереть; потомъ обошелъ кладовыя, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть, на своихъ ли мѣстахъ сторожа, которые стояли на всѣхъ углахъ, колотя деревянными лопатками въ пустой боченокъ, намѣсто чугунной доски; послѣ того заглянулъ въ кухню, гдѣ, подъ видомъ того, чтобы попробовать, хорошо ли ѣдятъ люди, наѣлся препорядочно щей съ кашею и, выбранивши всѣхъ до послѣдняго за воровство и дурное поведеніе, возвратился въ свою комнату. Оставшись одинъ, онъ даже подумалъ о томъ, какъ бы ему возблагодарить гостя за такое, въ самомъ дѣлѣ, безпримѣрное великодушіе. «Я ему подарю»,—подумалъ онъ про себя:—«карманные часы: они вѣдь хорошіе, серебряные часы, а не то, чтобы какіе-нибудь томпаковые или бронзовые,—немножко поиспорчены, да вѣдь онъ себѣ переправитъ: онъ человѣкъ еще молодой, такъ ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невѣстѣ. Или нѣтъ»,—прибавилъ онъ, послѣ нѣкотораго размышленія—«лучше я оставлю ихъ ему послѣ моей смерти, въ духовной, чтобы вспоминалъ обо мнѣ».

Но герой нашъ, и безъ часовъ, былъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Такое неожиданное пріобрѣтеніе было сущій подарокъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говори, не только однѣ мертвыя души, но еще и бѣглыя, и всего двѣсти слишкомъ человѣкъ! Конечно, еще подъѣзжая къ деревнѣ Плюшкина, онъ уже предчувствовалъ, что будетъ кое-какая пожива, но такой прибыточной никакъ не ожидалъ. Всю дорогу онъ былъ веселъ необыкновенно, посвистывалъ, наигрывалъ губами, приставивши ко рту кулакъ, какъ будто игралъ на трубѣ, и наконецъ затянулъ какую-то пѣсню, до такой степени необыкновенную, что самъ Селифанъ слушалъ, слушалъ и потомъ, покачавъ слегка головой, сказалъ: «Вишь ты, какъ баринъ поетъ!» Были уже густыя сумерки, когда подъѣхали они къ городу. Тѣнь со свѣтомъ перемѣшалась совершенно и, казалось, самые предметы перемѣшались тоже. Пестрый шлагбаумъ принялъ какой-то неопредѣленный цвѣтъ, усы у стоявшаго на часахъ солдата казались на лбу и гораздо выше глазъ, а носа какъ будто не было вовсе. Громъ и прыжки дали замѣтить, что бричка взъѣхала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-гдѣ только начинали освѣщаться окна домовъ, а въ переулкахъ и закоулкахъ происходили сцены и разговоры, неразлучные съ этимъ временемъ во всѣхъ городахъ, гдѣ много солдатъ, извозчиковъ, работниковъ и особеннаго рода существъ, въ видѣ дамъ въ красныхъ шаляхъ и башмакахъ безъ чулокъ, которыя, какъ летучія мыши, шныряютъ по перекресткамъ. Чичиковъ не замѣчалъ ихъ и даже не замѣтилъ многихъ тоненькихъ чиновниковъ съ тросточками, которые, вѣроятно, сдѣлавши

прогулку за городомъ, возвращались домой. Изрѣдка доходили до слуха его какія-то, казалось, женскія восклицанія: «Врешь, пьяница, я никогда не позволяла ему такого грубіянства!» или: «Ты не дерись, невѣжа, а ступай въ часть, тамъ я тебѣ докажу!..» Словомъ, тѣ слова, которыя вдругъ обдадутъ, какъ варомъ, какого-нибудь замечтавшагося двадцатилѣтняго юношу, когда, возвращаясь изъ театра, несетъ онъ въ головѣ испанскую улицу, ночь, чудный женскій образъ съ гитарой и кудрями. Чего нѣтъ, и что не грезится въ головѣ его? Онъ въ небесахъ и къ Шиллеру заѣхалъ въ гости—и вдругъ раздаются надъ нимъ, какъ громъ, роковыя слова, и видитъ онъ, что вновь очутился на землѣ, и даже на Сѣнной площади, и даже близъ кабака, и вновь пошла по будничному щеголять передъ нимъ жизнь.

Наконецъ, бричка, сдѣлавши порядочный скачокъ, опустилась, какъ будто въ яму, въ ворота гостиницы, и Чичиковъ былъ встрѣченъ Петрушкою, который одною рукою придерживалъ полу своего сюртука, ибо не любилъ, чтобы расходились полы, а другою сталъ помогать ему вылѣзать изъ брички. Половой тоже выбѣжалъ со свѣчою въ рукѣ и салфеткою на плечѣ. Обрадовался ли Петрушка пріѣзду барина—неизвѣстно; по крайней мѣрѣ, они перемигнулись съ Селифаномъ, и обыкновенно суровая его наружность, на этотъ разъ, какъ будто нѣсколько прояснилась.

«Долго изволили погулять»,—сказалъ половой, освѣщая лѣстницу.

«Да»,—сказалъ Чичиковъ, когда взошелъ на лѣстницу. «Ну, а ты что?»

«Слава Богу»,—отвѣчалъ половой, кланяясь. «Вчера пріѣхалъ поручикъ какой-то военный, занялъ шестнадцатый номеръ»

«Поручикъ?»

«Неизвѣстно какой, изъ Рязани, гнѣдыя лошади».

«Хорошо, хорошо, веди себя и впередъ хорошо!»—сказалъ Чичиковъ и вошелъ въ свою комнату. Проходя переднюю, онъ покрутилъ носомъ и сказалъ Петрушкѣ: «Ты бы, по крайней мѣрѣ, хоть окна отперъ!»

«Да я ихъ отпиралъ»,—сказалъ Петрушка, да и совралъ. Впрочемъ, баринъ и самъ зналъ, что онъ совралъ, но ужъ не хотѣлъ ничего возражать. Послѣ сдѣланной поѣздки, онъ чувствовалъ сильную усталость. Потребовавши самый легкій ужинъ, состоявшій только въ поросенкѣ, онъ тотъ же часъ раздѣлся и, забравшись подъ одѣяло, заснулъ сильно, крѣпко, заснулъ чуднымъ образомъ, какъ спятъ одни только тѣ счастливцы, которые не вѣдаютъ ни геморроя, ни блохъ, ни слишкомъ сильныхъ умственныхъ способностей.

ГЛАВА VII.

Счастливъ путникъ, который, послѣ длинной, скучной дороги съ ея холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станціонными смотри-

телями, бряканьями колокольчиковъ, починками, перебранками ямщиками, кузнецами и всякаго рода дорожными подлецами, видитъ, наконецъ, знакомую крышу съ несущимися навстрѣчу огоньками — и, предстанутъ предъ нимъ знакомыя комнаты, радостный крикъ выбѣжавшихъ навстрѣчу людей, шумъ и бѣготня дѣтей, и успокоительныя тихія рѣчи, прерываемыя пылающими лобзаніями, властными истребить все печальное изъ памяти. Счастливъ семьянинъ, у кого есть такой уголъ, но горе холостяку!

Счастливъ писатель, который, мимо характеровъ скучныхъ, противныхъ, поражающихъ печальною своею дѣйствительностью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка, который изъ великаго омута ежедневно вращающихся образовъ, избралъ одни немногія исключенія, который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ничтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повергался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные образы. Вполнѣ завиденъ прекрасный удѣлъ его: онъ среди ихъ, какъ въ родной семьѣ; а между тѣмъ далеко и громко разносится его слава. Онъ окурилъ упоительнымъ куревомъ людскія очи: онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка. Все, рукоплеща, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной его колесницей. Великимъ всемірнымъ поэтомъ именуютъ его, парящимъ высоко надъ всѣми другими геніями міра, какъ паритъ орелъ надъ другими высоколетающими. При одномъ имени его уже объемлются трепетомъ молодыя пылкія сердца; отвѣтныя слезы ему блещутъ во всѣхъ очахъ... Нѣтъ равнаго ему въ силѣ—онъ Богъ! Но не таковъ удѣлъ, и другая судьба писателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога, и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченіемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданья, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта: ибо не признаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озирающія

солнцы и передающія движенья незамѣченныхъ насѣкомыхъ; ибо не признаетъ современный судъ, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья: ибо не признаетъ современный судъ, что высокій восторженный смѣхъ достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ, и что цѣлая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго скомороха! Не признаетъ сего современный судъ, и все обратитъ въ упрекъ и поношенье непризнанному писателю: безъ раздѣленья, безъ отвѣта, безъ участія, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуетъ онъ свое одиночество.

И долго еще опредѣленно мнѣ чудной властью идти объ руку съ моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и блистанье главы, и почуютъ, въ смущенномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей...

Въ дорогу! въ дорогу! Прочь набѣжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лица! Разомъ и вдругъ окунемся въ жизнь, со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками, и посмотримъ, что дѣлаетъ Чичиковъ.

Чичиковъ проснулся, потянулъ руки и ноги, и почувствовалъ, что выспался хорошо. Полежавъ минуты двѣ на спинѣ, онъ щелкнулъ рукою и вспомнилъ съ просіявшимъ лицомъ, что у него теперь безъ малаго четыреста душъ. Тутъ же вскочилъ онъ съ постели, не посмотрѣлъ даже на свое лицо, которое любилъ искренно и въ которомъ, какъ кажется, привлекательнѣе всего находилъ подбородокъ, ибо весьма часто хвалился имъ предъ кѣмъ-нибудь изъ пріятелей, особливо, если это происходило во время бритья. «Вотъ, посмотри»,—говорилъ онъ обыкновенно, поглаживая его рукою: «какой у меня подбородокъ, совсѣмъ круглый!»—Но теперь онъ не взглянулъ ни на подбородокъ, ни на лицо, а прямо, такъ, какъ былъ, надѣлъ сафьянные сапоги съ рѣзными выкладками всякихъ цвѣтовъ, какими бойко торгуетъ городъ Торжокъ, благодаря халатнымъ побужденьямъ русской натуры, и, по-шотландски, въ одной короткой рубашкѣ, позабывъ свою степенность и приличныя среднія лѣта, произвелъ по комнатѣ два прыжка, пришлепнувъ себя весьма ловко пяткой ноги. Потомъ, въ ту же минуту, приступилъ къ дѣлу: передъ шкатулкой потеръ руки съ такимъ же удовольствіемъ, какъ потираетъ ихъ, выѣхавшій на слѣдствіе, неподкупный земскій судъ, подходящій къ закускѣ, и тотъ же часъ вынулъ изъ нея бумаги. Ему хотѣлось поскорѣе кончить все, не откладывая въ долгій ящикъ. Самъ рѣшился онъ сочинить крѣпости, написать и переписать, чтобъ не платить ничего подъячимъ. Форменный

порядокъ былъ ему совершенно извѣстенъ: бойко выставилъ онъ большими буквами: *Тысяча восемьсотъ такого-то года;* потомъ вслѣдъ за тѣмъ мелкими: *помѣщикъ такой-то*, и все, что слѣдуетъ. Въ два часа готово было все. Когда взглянулъ онъ потомъ на эти листики, на мужиковъ, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали баръ, а можетъ-быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому, чувство овладѣло имъ. Каждая изъ записочекъ какъ будто имѣла какой-то особенный характеръ, и чрезъ то, какъ будто бы, самые мужики получали свой собственный характеръ. Мужики, принадлежавшіе Коробочкѣ, всѣ почти были съ придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостью въ слогѣ: часто были выставлены только начальныя слова именъ и отчествъ, и потомъ двѣ точки. Реестръ Собакевича поражалъ необыкновенною полнотою и обстоятельностью; ни одно изъ качествъ мужика не было пропущено: объ одномъ было сказано: «хорошій столяръ»; къ другому приписано: «дѣло смыслитъ и хмельного не беретъ». Означено было также обстоятельно, кто отецъ и кто мать, и какого оба были поведенія; у одного только, какого-то Федотова, было написано: «отецъ неизвѣстно кто, а родился отъ дворовой дѣвки Капитолины, но хорошаго нрава и не воръ». Всѣ сіи подробности придавали какой-то особенный видъ свѣжести: казалось, какъ будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена ихъ, онъ умилился духомъ и, вздохнувши, произнесъ: «Батюшки мои, сколько васъ здѣсь напичкано! Что вы, сердечные мои, подѣлывали на вѣку своемъ? какъ перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамиліи. Это былъ извѣстный Петръ Савельевъ Неуважай-Корыто, принадлежавшій когда-то помѣщицѣ Коробочкѣ. Онъ опять не утерпѣлъ, чтобъ не сказать: «Эхъ какой длинный, во всю строку разъѣхался! Мастеръ ли ты былъ, или просто мужикъ, и какою смертью тебя прибрало? Въ кабакѣ ли, или среди дороги переѣхалъ тебя соннаго неуклюжій обозъ?—Пробка Степанъ, *плотникъ, трезвости примѣрной.*—А! вотъ онъ, Степанъ Пробка, вотъ тотъ богатырь, что въ гвардію годился бы! Чай, всѣ губерніи исходилъ съ топоромъ за поясомъ и сапогами на плечахъ, съѣдалъ на грошъ хлѣба, да на два сушеной рыбы, а въ мошнѣ, чай, притаскивалъ всякій разъ домой цѣлковиковъ по сту, а можетъ, и государственную зашивалъ въ холстяные штаны или затыкалъ въ сапогъ. Гдѣ тебя прибрало? Взмостился ли ты для большаго прибытку подъ церковный куполъ, а можетъ-быть, и на крестъ потащился и, поскользнувшись оттуда съ перекладины, шлепнулся о-земь, и только какой-нибудь стоявшій возлѣ тебя дядя Михей, почесавъ рукою въ затылкѣ, примолвилъ: «Эхъ, Ваня, угораздило тебя!» а самъ, подвязавшись веревкой, полѣзъ на твое мѣсто.—Максимъ Телятниковъ, *сапожникъ*. Хе, сапожникъ! *Пьянъ, какъ сапожникъ*, говоритъ по-

словица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ; если хочешь, всю исторію разскажу. Учился ты у нѣмца, который кормилъ васъ всѣхъ вмѣстѣ, билъ ремнемъ по спинѣ за неаккуратность и не выпускалъ на улицу повѣсничать и былъ ты чудо, а не сапожникъ, и не нахвалился тобою нѣмецъ, говоря съ женой или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученье: «А вотъ теперь я заведусь своимъ домкомъ», сказалъ ты: «да не такъ, какъ нѣмецъ, что изъ копѣйки тянется, а вдругъ разбогатѣю». И вотъ, давши барину порядочный оброкъ, завелъ ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ гдѣ-то въ тридешева гнилушки кожи и выигралъ, точно, вдвое на всякомъ сапогѣ, да черезъ недѣли двѣ перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлѣйшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустѣла, и ты пошелъ попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: «Нѣтъ, плохо на свѣтѣ! Нѣтъ житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣшаютъ!»—«Это что за мужикъ: Елизавета Воробей? Фу, ты пропасть: баба! Она какъ сюда затесалась? Подлецъ Собакевичъ, и здѣсь надулъ!» Чичиковъ былъ правъ; это была, точно, баба. Какъ она забралась туда—неизвѣстно; но такъ искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика и даже имя оканчивалось на букву ъ, то-есть, не Елизавета, а Елазаветъ. Однакоже онъ это не принялъ въ уваженье и тутъ же ее вычеркнулъ.—«Григорій Доѣзжай-не-доѣдешь! Ты что былъ за человѣкъ? Извозомъ ли промышлялъ и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навѣки отъ дому, отъ родной берлоги, и пошелъ тащиться съ купцами на ярмарку? На дорогѣ ли ты отдалъ душу Богу, или уходили тебя твои же пріятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или приглядѣлись лѣсному бродягѣ ременныя твои рукавицы и тройка приземистыхъ, но крѣпкихъ коньковъ, или, можетъ, и самъ, лежа на полатяхъ, думалъ, думалъ, да и ни съ того, ни съ другого заворотилъ въ кабакъ, а потомъ прямо въ прорубь, и поминай какъ звали? Эхъ, русскій народецъ! Не любитъ умирать своею смертью. «А вы что, мои голубчики?» продолжалъ онъ, переводя глаза на бумажку, гдѣ были помѣчены бѣглыя души Плюшкина: «вы хоть и въ живыхъ еще, а что въ васъ толку? то же, что и мертвые. И гдѣ-то носятъ васъ теперь ваши быстрыя ноги? Плохо ли вамъ было у Плюшкина, или, просто, по своей охотѣ гуляете по лѣсамъ да дерете проѣзжихъ? По тюрьмамъ ли сидите, или пристали къ другимъ господамъ и пашете землю?—Еремей Карякинъ, Никита Волокита, сынъ его Антонъ Волокита. Эти, и по прозвищу видно, что хорошіе бѣгуны.—Поповъ, дворовый человѣкъ... Долженъ быть грамотей: ножа, я чай, не взялъ въ руки, а проворовался благороднымъ образомъ. Но вотъ ужъ тебя, безпашпортнаго, поймалъ капитанъ-исправникъ. Ты стоишь бодро на очной ставкѣ. «Чей ты?» говоритъ капитанъ-исправникъ, ввернувши тебѣ, при сей вѣрной оказіи, кое-какое крѣпкое словцо.

«Такого-то и такого-то помѣщика,» отвѣчаешь ты бойко. «Зачѣмъ ты здѣсь?» говоритъ капитанъ-исправникъ.—«Отпущенъ на оброкъ», отвѣчаешь ты безъ запинки. «Гдѣ твой пашпортъ?»—«У хозяина, у мѣщанина Пименова».—«Позвать Пименова! Ты Пименовъ?»—«Я Пименовъ».—«Давалъ онъ тебѣ пашпортъ свой?»—«Нѣтъ, не давалъ онъ мнѣ никакого пашпорта».—«Что-жъ ты врешь?» говоритъ капитанъ-исправникъ съ прибавкою кое-какого крѣпкаго словца. «Такъ точно», отвѣчаешь ты бойко: «я не давалъ ему, потому что пришелъ домой поздно, а отдалъ на подержаніе Антипу Прохорову, звонарю».—«Позвать звонаря! Давалъ онъ тебѣ пашпортъ?»—«Нѣтъ, не получалъ я отъ него пашпорта».—«Что-жъ ты опять врешь?» говоритъ капитанъ-исправникъ, скрѣпивши рѣчь кое-какимъ крѣпкимъ словцомъ. «Гдѣ-жъ твой пашпортъ?»—«Онъ у меня былъ», говоришь ты проворно: «да, статься-можетъ, видно, какъ-нибудь дорогой пообронилъ его».—«А солдатскую шинель», говоритъ капитанъ-исправникъ, загвоздивши тебѣ опять въ придачу кое-какое крѣпкое словцо: «зачѣмъ стащилъ? и у священника тоже сундукъ съ мѣдными деньгами?»—«Никакъ нѣтъ», говоришь ты, не сдвинувшись: «въ воровскомъ дѣлѣ никогда еще не оказывался».—«А почему же шинель нашли у тебя?»—«Не могу знать: вѣрно, кто-нибудь другой принесъ ее».—«Ахъ, ты бестія, бестія!» говоритъ капитанъ-исправникъ, покачивая головою и взявшись подъ бока. «А набейте ему на ноги колодки, да сведите въ тюрьму».—«Извольте! я съ удовольствіемъ», отвѣчаешь ты. И вотъ, вынувши изъ кармана табакерку, ты потчиваешь дружелюбно какихъ-то двухъ инвалидовъ, набивающихъ на тебя колодки, и разспрашиваешь ихъ, давно ли они въ отставкѣ и въ какой войнѣ бывали. И вотъ ты себѣ живешь въ тюрьмѣ, покамѣстъ въ судѣ производится твое дѣло. И пишетъ судъ: препроводить тебя изъ Царево-Кокшайска въ тюрьму такого-то города; а тотъ судъ пишетъ опять: препроводить тебя въ какой-нибудь Весьегонскъ; и ты переѣзжаешь себѣ изъ тюрьмы въ тюрьму, и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нѣтъ, вотъ весьегонская тюрьма будетъ почище: тамъ хоть и въ бабки, такъ есть мѣсто, да и общества больше».—«Абакумъ Фыровъ! Ты, братъ, что? гдѣ, въ какихъ мѣстахъ шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу, и взлюбилъ ты вольную жизнь, приставши къ бурлакамъ?..» Тутъ Чичиковъ остановился и слегка задумался. Надъ чѣмъ онъ задумался? Задумался ли онъ надъ участью Абакума Фырова, или задумался такъ, самъ собою, какъ задумывается всякій русскій, какихъ бы ни былъ лѣтъ, чина и состоянія, когда замыслитъ объ разгулѣ широкой жизни? И въ самомъ дѣлѣ, гдѣ теперь Фыровъ? Гуляетъ шумно и весело на хлѣбной пристани, порядившись съ купцами. Цвѣты и ленты на шляпѣ, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь съ любовницами и женами, высокими, стройными, въ монистахъ и лентахъ; хороводы, пѣсни; кипитъ вся площадь, а носильщики между тѣмъ, при крикахъ, браняхъ

и понуканьяхъ, нацѣпляя крючкомъ по девяти пудовъ себѣ на спину, съ шумомъ сыплютъ горохъ и пшеницу въ глубокія суда, валятъ кули съ овсомъ и крупой, и далече виднѣются по всей площади кучи наваленныхъ въ пирамиду, какъ ядра, мѣшковъ, и громадно выглядываетъ весь хлѣбный арсеналъ, пока не перегрузится весь въ глубокія суда-суряки и не понесется гусемъ, вмѣстѣ съ весенними льдами, безконечный флотъ. Тамъ-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, какъ прежде гуляли и бѣсились, приметесь за трудъ и потъ, таща лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пѣсню!

«Эхе-хе! двѣнадцать часовъ!»—сказалъ наконецъ Чичиковъ, взглянувъ на часы. «Что же я такъ закопался? Да еще пусть бы дѣло дѣлалъ, а то ни съ того, ни съ другого, сначала загородилъ околесину, а потомъ задумался. Экой я дуракъ въ самомъ дѣлѣ!» Сказавши это, онъ перемѣнилъ свой шотландскій костюмъ на европейскій, стянулъ покрѣпче пряжкой свой полный животъ, вспрыснулъ себя одеколономъ, взялъ въ руки теплый картузъ и бумаги подъ мышку и отправился въ гражданскую палату совершать купчую. Онъ спѣшилъ не потому, что боялся опоздать,—опоздать онъ не боялся, ибо предсѣдатель былъ человѣкъ знакомый и могъ продлить и укоротить, по его желанію, присутствіе, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрыя ночи, когда нужно было прекратить брань любезныхъ ему героевъ или дать имъ средство додраться; но онъ самъ въ себѣ чувствовалъ желаніе скорѣе, какъ можно, привести дѣло къ концу; до тѣхъ поръ ему казалось все неспокойно и неловко: все-таки приходила мысль, что души не совсѣмъ настоящія и что въ подобныхъ случаяхъ такую обузу всегда нужно поскорѣе съ плечъ. Не успѣлъ онъ выйти на улицу, размышляя обо всемъ этомъ и въ то же время таща на плечахъ медвѣди, крытые коричневымъ сукномъ, какъ, на самомъ поворотѣ въ переулокъ, столкнулся тоже съ господиномъ въ медвѣдяхъ, крытыхъ коричневымъ сукномъ, и въ тепломъ картузѣ съ ушами. Господинъ вскрикнулъ— это былъ Маниловъ. Они заключили тутъ же другъ друга въ объятія и минутъ пять оставались на улицѣ въ такомъ положеніи. Поцѣлуи съ обѣихъ сторонъ такъ были сильны, что у обоихъ весь день почти болѣли передніе зубы. У Манилова отъ радости остались только носъ да губы на лицѣ, глаза совершенно исчезли. Съ четверть часа держалъ онъ обѣими руками руку Чичикова и нагрѣлъ ее страшно. Въ оборотахъ самыхъ тонкихъ и пріятныхъ онъ разсказалъ, какъ летѣлъ обнять Павла Ивановича; рѣчь была заключена такимъ комплиментомъ, какой развѣ только приличенъ одной дѣвицѣ, съ которой идутъ танцовать. Чичиковъ открылъ ротъ, еще не зная самъ, какъ благодарить, какъ вдругъ Маниловъ вынулъ изъ-подъ шубы бумагу, свернутую въ трубочку и связанную розовою ленточкою.

«Это что?»

«Мужички».

«А!»—Онъ тутъ же развернулъ ее, пробѣжалъ глазами и подивился чистотѣ и красотѣ почерка. «Славно написано», сказалъ онъ: «не нужно и переписывать. Еще и каемка вокругъ! Кто это такъ искусно сдѣлалъ каемку?»

«Ну, ужъ не спрашивайте»,—сказалъ Маниловъ.

«Вы?»

«Жена».

«Ахъ, Боже мой! Мнѣ, право, совѣстно, что нанесъ столько затрудненій».

«Для Павла Ивановича не существуетъ затрудненій».

Чичиковъ поклонился съ признательностью. Узнавши, что онъ шелъ въ палату за совершеніемъ купчей, Маниловъ изъявилъ готовность ему сопутствовать. Пріятели взялись подъ руку и пошли вмѣстѣ. При всякомъ небольшомъ возвышеніи, или горкѣ, или ступенькѣ, Маниловъ поддерживалъ Чичикова и почти приподнималъ его рукою, присовокупляя съ пріятною улыбкою, что онъ не допуститъ никакъ Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиковъ совѣстился, не зная, какъ благодарить, ибо чувствовалъ, что нѣсколько былъ тяжеленекъ. Во взаимныхъ услугахъ, они дошли, наконецъ, до площади, гдѣ находились присутственныя мѣста—большой трехъэтажный каменный домъ, весь бѣлый, какъ мѣлъ, вѣроятно, для изображенія чистоты душъ помѣщавшихся въ немъ должностей. Прочія зданія на площади не отвѣчали огромностью каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоялъ солдатъ съ ружьемъ, двѣ-три извозчичьи биржи, и, наконецъ, длинные заборы, съ извѣстными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углемъ и мѣломъ, болѣе не находилось ничего на сей уединенной или, какъ у насъ выражаются, красивой площади. Изъ оконъ второго и третьяго этажа высовывались неподкупныя головы жрецовъ Ѳемиды и въ ту-жъ минуту пряталась опять: вѣроятно, въ то время входилъ въ комнату начальникъ. Пріятели не взошли, а взбѣжали по лѣстницѣ, потому что Чичиковъ, стараясь избѣгнуть поддерживанья подъ руку со стороны Манилова, ускорялъ шагъ, а Маниловъ тоже, съ своей стороны, летѣлъ впередъ, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили въ темный коридоръ. Ни въ коридорахъ, ни въ комнатахъ взоръ ихъ не былъ пораженъ чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, такъ и оставалось грязнымъ, не принимая привлекательной наружности. Ѳемида просто, какова есть, въ неглиже и халатѣ, принимала гостей. Слѣдовало бы описать канцелярскія комнаты, которыми проходили наши герои, но авторъ питаетъ сильную робость ко всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ. Если и случалось ему проходить ихъ даже въ блистательномъ и облагороженномъ видѣ, съ лакированными полами и столами, онъ старался пробѣжать, какъ можно, скорѣе, смиренно опустивъ и потупивъ

глаза въ землю, а потому совершенно не знаетъ, какъ тамъ все благоденствуетъ и процвѣтаетъ. Герои наши видѣли много бумаги, и черновой и бѣлой, наклонившіяся головы, широкіе затылки, фраки, сюртуки губернскаго покроя и даже, просто, какую-то свѣтло-сѣрую куртку, отдѣлившуюся весьма рѣзко, которая, своротивъ голову на-бокъ и положивъ ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протоколъ объ оттяганіи земли или опискѣ имѣнія, захваченнаго какимъ-нибудь мирнымъ помѣщикомъ, покойно доживающимъ вѣкъ свой подъ судомъ, нажившимъ себѣ и дѣтей, и внуковъ, подъ его покровомъ; да слышались урывками короткія выраженія, произносимыя хриплымъ голосомъ: «Одолжите, Федосѣй Федосѣевичъ, дѣльцо за № 368!»—«Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку съ казенной чернильницы!» Иногда голосъ, болѣе величавый, безъ сомнѣнія, одного изъ начальниковъ, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то—снимутъ сапоги, и просидишь ты у меня шесть сутокъ, не ѣвши». Шумъ отъ перьевъ былъ большой и походилъ на то, какъ будто бы нѣсколько телѣгъ съ хворостомъ проѣзжали лѣсъ, заваленный на четверть аршина изсохшими листьями.

Чичиковъ и Маниловъ подошли къ первому столу, гдѣ сидѣли два чиновника еще юныхъ лѣтъ, и спросили: «Позвольте узнать, гдѣ здѣсь дѣла по крѣпостямъ?»

«А что вамъ нужно?»—сказали оба чиновника, оборотившись.

«А мнѣ нужно подать просьбу».

«А вы что купили такое?»

«Я бы хотѣлъ прежде знать, гдѣ крѣпостной столъ, здѣсь или въ другомъ мѣстѣ?»

«Да скажите прежде, что купили и въ какую цѣну, такъ мы вамъ тогда и скажемъ, гдѣ; а такъ нельзя знать».

Чичиковъ тотчасъ увидѣлъ, что чиновники были, просто, любопытны, подобно всѣмъ молодымъ чиновникамъ, и хотѣли придать болѣе вѣсу и значенія себѣ и своимъ занятіямъ.

«Послушайте, любезные»,—сказалъ онъ: «я очень хорошо знаю, что всѣ дѣла по крѣпостямъ, въ какую бы ни было цѣну, находятся въ одномъ мѣстѣ, а потому прошу васъ показать намъ столъ; а если вы не знаете, что у васъ дѣлается, такъ мы спросимъ у другихъ». Чиновники на это ничего не отвѣчали, одинъ изъ нихъ только тыкнулъ пальцемъ въ уголъ комнаты , гдѣ сидѣлъ за столомъ какой-то старикъ, перемѣчавшій какія-то бумаги. Чичиковъ и Маниловъ прошли промежъ столами прямо къ нему. Старикъ занимался очень внимательно.

«Позвольте узнать»,—сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: «здѣсь дѣла по крѣпостямъ?»

Старикъ поднялъ глаза и произнесъ съ разстановкою: «Здѣсь нѣтъ дѣлъ по крѣпостямъ».

«А гдѣ же?»

«Это въ крѣпостной экспедиціи».

«А гдѣ же крѣпостная экспедиція?»

«Это у Ивана Антоновича».

«А гдѣ же Иванъ Антоновичъ?»

Старикъ тыкнулъ пальцемъ въ другой уголъ комнаты. Чичиковъ и Маниловъ отправились къ Ивану Антоновичу. Иванъ Антоновичъ уже запустилъ одинъ глазъ назадъ и оглянулъ ихъ искоса, но въ ту же минуту погрузился еще внимательнѣе въ писаніе.

«Позвольте узнать»,—сказалъ Чичиковъ съ поклономъ: «здѣсь крѣпостной столъ?»

Иванъ Антоновичъ какъ будто бы и не слыхалъ и углубился совершенно въ бумаги, не отвѣчая ничего. Видно было вдругъ, что это былъ уже человѣкъ благоразумныхъ лѣтъ,—не то, что молодой болтунъ и вертоплясъ. Иванъ Антоновичъ, казалось, имѣлъ уже далеко за сорокъ лѣтъ; волосъ на немъ былъ черный, густой; вся середина лица выступала у него впередъ и пошла въ носъ; словомъ, это было то лицо, которое называютъ въ общежитіи кувшиннымъ рыломъ.

«Позвольте узнать, здѣсь крѣпостная экспедиція?»—сказалъ Чичиковъ.

«Здѣсь»,—сказалъ Иванъ Антоновичъ, поворотилъ свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

«А у меня дѣло вотъ какое: куплены мною у разныхъ владѣльцевъ здѣшняго уѣзда крестьяне на выводъ; купчая есть, остается совершить».

«А продавцы на-лицо?»

«Нѣкоторые здѣсь, а отъ другихъ довѣренность».

«А просьбу принесли?»

«Принесъ и просьбу. Я бы хотѣлъ... мнѣ нужно поторопиться... такъ нельзя ли, напримѣръ, кончить дѣло сегодня?»

«Да, сегодня!.. Сегодня нельзя»,—сказалъ Иванъ Антоновичъ: «Нужно навести еще справки, нѣтъ ли еще запрещеній».

«Впрочемъ, что до того, чтобы ускорить дѣло, такъ Иванъ Григорьевичъ, предсѣдатель, мнѣ большой другъ...»

«Да вѣдь Иванъ Григорьевичъ не одинъ; бываютъ и другіе»,—сказалъ сурово Иванъ Антоновичъ.

Чичиковъ понялъ заковыку, которую завернулъ Иванъ Антоновичъ, и сказалъ: «Другіе тоже не будутъ въ обидѣ; я самъ служилъ, дѣло знаю...»

«Идите къ Ивану Григорьевичу»,– сказалъ Иванъ Антоновичъ, голосомъ нѣсколько поласковѣе: «Пусть онъ дастъ приказъ, кому слѣдуетъ, а за нами дѣло не постоитъ».

Чичиковъ, вынувъ изъ кармана бумажку, положилъ ее передъ Иваномъ Антоновичемъ, которую тотъ совершенно не замѣтилъ, и накрылъ тотчасъ ее книгою. Чичиковъ хотѣлъ было указать ему ее,

но Иванъ Антоновичъ движеніемъ головы далъ знать, что не нужно показывать.

«Вотъ, онъ васъ проведетъ въ присутствіе»,—сказалъ Иванъ Антоновичъ, кивнувъ головою, и одинъ изъ священнодѣйствующихъ, тутъ же находившихся,—приносившій съ такимъ усердіемъ жертвы Ѳемидѣ, что оба рукава лопнули на локтяхъ и давно лѣзла оттуда подкладка, за что и получилъ въ свое время коллежскаго регистратора,—прислужился нашимъ пріятелямъ, какъ нѣкогда Виргилій прислужился Данту, и провелъ ихъ въ комнату присутствія, гдѣ стояли однѣ только широкія кресла, и въ нихъ, передъ столомъ за зерцаломъ и двумя толстыми книгами, сидѣлъ одинъ, какъ солнце, предсѣдатель. Въ этомъ мѣстѣ новый Виргилій почувствовалъ такое благоговѣніе, что никакъ не осмѣлился занести туда ногу и поворотилъ назадъ, показавъ свою спину, вытертую какъ рогожка, съ прилипнувшимъ гдѣ-то куринымъ перомъ. Вошедши въ залу присутствія, они увидѣли, что предсѣдатель былъ не одинъ: подлѣ него сидѣлъ Собакевичъ, совершенно заслоненный зерцаломъ. Приходъ гостей произвелъ восклицаніе, правительственныя кресла были отодвинуты съ шумомъ. Собакевичъ тоже привсталъ со стула и сталъ виденъ со всѣхъ сторонъ съ длинными своими рукавами. Предсѣдатель принялъ Чичикова въ объятія, и комната присутствія огласилась поцѣлуями; спросили другъ друга о здоровьѣ; оказалось, что у обоихъ побаливаетъ поясница, что тутъ же было отнесено къ сидячей жизни. Предсѣдатель, казалось, уже былъ увѣдомленъ Собакевичемъ о покупкѣ, потому что принялся поздравлять, что сначала нѣсколько смѣшало нашего героя, особливо, когда онъ увидѣлъ, что и Собакевичъ, и Маниловъ, оба продавцы, съ которыми дѣло было улажено келейно, теперь стояли вмѣстѣ лицомъ другъ къ другу. Однакоже онъ поблагодарилъ предсѣдателя и, обратившись тутъ же къ Собакевичу, спросилъ: «А ваше какъ здоровье?»

«Слава Богу, не пожалуюсь»,—сказалъ Собакевичъ. И точно, не на что было жаловаться: скорѣе желѣзо могло простудиться и кашлять, чѣмъ этотъ на диво сформированный помѣщикъ.

«Да вы всегда славились здоровьемъ»,—сказалъ предсѣдатель: «и покойный вашъ батюшка былъ также крѣпкій человѣкъ».

«Да, на медвѣдя одинъ хаживалъ»,—отвѣчалъ Собакевичъ.

«Мнѣ кажется, однакожъ»,—сказалъ предсѣдатель: «вы бы тоже повалили медвѣдя, если бы захотѣли выйти противъ него».

«Нѣтъ, не повалю»,—отвѣчалъ Собакевичъ: «покойникъ былъ меня покрѣпче». И, вздохнувши, продолжалъ: «Нѣтъ, теперь не тѣ люди: вотъ хоть и моя жизнь, что за жизнь? Такъ какъ-то себѣ...»

«Чѣмъ же ваша жизнь не красна?»—сказалъ предсѣдатель.

«Не хорошо, не хорошо!»—сказалъ Собакевичъ, покачавъ головою.

«Вы посудите, Иванъ Григорьевичъ: пятый десятокъ живу, ни разу не былъ боленъ; хоть бы горло заболѣло, вередъ или чирей выскочилъ... Нѣтъ, не къ добру! Когда-нибудь придется поплатиться за это». Тутъ Собакевичъ погрузился въ меланхолію.

«Экъ его!» подумали въ одно время и Чичиковъ, и предсѣдатель: «на что вздумалъ пенять!»

«Къ вамъ у меня есть письмецо»,—сказалъ Чичиковъ, вынувъ изъ кармана письмо Плюшкина.

«Отъ кого?»—сказалъ предсѣдатель и, распечатавши, воскликнулъ «А, отъ Плюшкина! Онъ еще до сихъ поръ прозябаетъ на свѣтѣ. Вотъ судьба! Вѣдь какой былъ умнѣйшій, богатѣйшій человѣкъ! А теперь...»

«Собака»,—сказалъ Собакевичъ: «мошенникъ, всѣхъ людей переморилъ голодомъ».

«Извольте, извольте»,—сказалъ предсѣдатель, прочитавъ письмо: «я готовъ быть повѣреннымъ. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или послѣ?»

«Теперь»,—сказалъ Чичиковъ: «я буду просить даже васъ, если можно, сегодня, потому что мнѣ завтра хотѣлось бы выѣхать изъ города; я принесъ и крѣпости, и просьбу».

«Все это хорошо, только, ужъ какъ хотите, мы васъ не выпустимъ такъ рано. Крѣпости будутъ совершены сегодня, а вы все-таки съ нами поживите. Вотъ я сейчасъ отдамъ приказъ»,—сказалъ онъ и отворилъ дверь въ канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивымъ пчеламъ, разсыпавшимся по сотамъ, если только соты можно уподобить канцелярскимъ дѣламъ: «Иванъ Антоновичъ здѣсь?»

«Здѣсь!»—отозвался голосъ изнутри.

«Позовите его сюда!»

Уже извѣстный читателямъ Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, показался въ залѣ присутствія и почтительно поклонился.

«Вотъ возьмите, Иванъ Антоновичъ, всѣ эти крѣпости ихъ...»

«Да не позабудьте, Иванъ Григорьевичъ»,—подхватилъ Собакевичъ: «нужно будетъ свидѣтелей, хотя по два съ каждой стороны. Пошлите теперь же къ прокурору: онъ человѣкъ праздный и, вѣрно, сидитъ дома: за него все дѣлаетъ стряпчій Золотуха, первѣйшій хапуга въ мірѣ. Инспекторъ врачебной управы, онъ также человѣкъ праздный и, вѣрно, дома, если не поѣхалъ куда-нибудь играть въ карты; да еще тутъ много есть, кто поближе: Трухачевскій, Бѣгушкинъ — они всѣ даромъ бременятъ землю».

«Именно, именно!»—сказалъ предсѣдатель, и тотъ же часъ отрядилъ за ними всѣми канцелярскаго.

«Еще я попрошу васъ»,—сказалъ Чичиковъ: «пошлите за повѣреннымъ одной помѣщицы, съ которой я тоже совершилъ сдѣлку,—сыномъ протопопа отца Кирилла; онъ служитъ у васъ же».

«Какъ же, пошлемъ и за нимъ!»—сказалъ предсѣдатель: «все будетъ сдѣлано, а чиновнымъ вы никому не давайте ничего; объ этомъ я васъ прошу. Пріятели мои не должны платить». Сказавши это, онъ тутъ же далъ какое-то приказанье Ивану Антоновичу, какъ видно, ему не понравившееся. Крѣпости произвели, кажется, хорошее дѣйствіе на предсѣдателя, особливо, когда онъ увидѣлъ, что всѣхъ покупокъ было почти на сто тысячъ рублей. Нѣсколько минутъ онъ смотрѣлъ въ глаза Чичикову съ выраженьемъ большого удовольствія и, наконецъ, сказалъ: «Такъ вотъ какъ! Этакимъ-то образомъ, Павелъ Ивановичъ! Такъ вотъ вы пріобрѣли».

«Пріобрѣлъ»,—отвѣчалъ Чичиковъ.

«Благое дѣло! Право, благое дѣло!»

«Да я вижу самъ, что болѣе благого дѣла не могъ бы предпринять. Какъ бы то ни было, цѣль человѣка все еще не опредѣлена, если онъ не сталъ, наконецъ, твердою стопою на прочное основаніе, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности». Тутъ онъ весьма кстати выбранилъ за либерализмъ, и по-дѣломъ, всѣхъ молодыхъ людей. Но замѣчательно, что въ словахъ его была все какая-то нетвердость, какъ будто бы тутъ же сказалъ онъ самъ себѣ: «Эхъ, братъ, врешь ты, да еще и сильно!» Онъ даже не взглянулъ на Собакевича и Манилова, изъ боязни встрѣтить что-нибудь на ихъ лицахъ. Но напрасно боялся онъ: лицо Собакевича не шевельнулось, а Маниловъ, обвороженный фразою, отъ удовольствія только потряхивалъ одобрительно головою, погрузясь въ такое положеніе, въ какомъ находится любитель музыки, когда пѣвица перещеголяла самую скрипку и пискнула такую тонкую ноту, какая не въ мочь и птичьему горлу.

«Да что-жъ вы не скажете Ивану Григорьевичу»,—отозвался Собакевичъ: «что такое именно вы пріобрѣли? А вы, Иванъ Григорьевичъ, что вы не спросите, какое пріобрѣтеніе они сдѣлали? Вѣдь какой народъ! Просто, золото! Вѣдь я имъ продалъ и каретника Михѣева».

«Нѣтъ, будто и Михѣева продали?»—сказалъ предсѣдатель. «Я знаю каретника Михѣева: славный мастеръ; онъ мнѣ дрожки передѣлалъ. Только позвольте, какъ же... Вѣдь вы мнѣ сказывали, что онъ умеръ»...

«Кто, Михѣевъ умеръ?»—сказалъ Собакевичъ, ничуть не смѣшавшись. «Это его братъ умеръ; а онъ преживехонькій и сталъ здоровѣе прежняго. На-дняхъ такую бричку наладилъ, что и въ Москвѣ не сдѣлать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать».

«Да, Михѣевъ славный мастеръ»,—сказалъ предсѣдатель: «и я дивлюсь даже, какъ вы могли съ нимъ разстаться».

«Да будто одинъ Михѣевъ! А Пробка Степанъ, плотникъ, Милушкинъ, кирпичникъ, Телятниковъ Максимъ, сапожникъ,—вѣдь всѣ пошли, всѣхъ продалъ!» А когда предсѣдатель спросилъ, зачѣмъ же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Соба-

кевичъ отвѣчалъ, махнувши рукой: «А такъ, просто, нашла дурь: дай, говорю, продамъ, да и продалъ сдуру!» Засимъ онъ повѣсилъ голову такъ, какъ будто самъ раскаивался въ этомъ дѣлѣ, и прибавилъ: «Вотъ и сѣдой человѣкъ, а до сихъ поръ не набрался ума».

«Но позвольте, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ предсѣдатель: «какъ же вы покупаете крестьянъ безъ земли? Развѣ на выводъ?»

«На выводъ».

«Ну, на выводъ—другое дѣло; а въ какія мѣста?»

«Въ мѣста... въ Херсонскую губернію».

«О, тамъ отличныя земли?»—сказалъ предсѣдатель и отозвался съ большою похвалою насчетъ рослости тамошнихъ травъ.

«А земли въ достаточномъ количествѣ?»

«Въ достаточномъ,—столько, сколько нужно для купленныхъ крестьянъ».

«Рѣка или прудъ?»

«Рѣка. Впрочемъ, и прудъ есть». Сказавъ это, Чичиковъ взглянулъ ненарокомъ на Собакевича, и хотя Собакевичъ былъ попрежнему неподвиженъ, но ему казалось, будто бы было написано на лицѣ его: «Ой, врешь ты! Врядъ ли есть рѣка и прудъ, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-по-малу появляться свидѣтели: знакомый читателю прокуроръ-моргунъ, инспекторъ врачебной управы, Трухачевскій, Бѣгушкинъ и прочіе, по словамъ Собакевича, даромъ бременящіе землю. Многіе изъ нихъ были совсѣмъ незнакомы Чичикову; недостававшіе и лишніе набраны были тутъ же изъ палатскихъ чиновниковъ. Привели также не только сына протопопа отца Кирилла, но даже и самого протопопа. Каждый изъ свидѣтелей помѣстилъ себя со всѣми своими достоинствами и чинами, кто оборотнымъ шрифтомъ, кто косяками, кто, просто, чуть не вверхъ ногами, помѣщая такія буквы, какихъ даже и не видано было въ русскомъ алфавитѣ. Извѣстный Иванъ Антоновичъ управился весьма проворно, крѣпости были записаны, помѣчены, занесены въ книгу и куда слѣдуетъ, съ принятіемъ полупроцентовыхъ и за припечатку въ Вѣдомостяхъ, и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже предсѣдатель далъ приказаніе изъ пошлинныхъ денегъ взять съ него только половину, а другая, неизвѣстно какимъ образомъ, отнесена была на счетъ какого-то другого просителя.

«Итакъ»,—сказалъ предсѣдатель, когда все было кончено: «остается теперь только вспрыснуть покупочку».

«Я готовъ»,—сказалъ Чичиковъ. «Отъ васъ зависитъ только назначить время. Былъ бы грѣхъ съ моей стороны, если бы для этакого пріятнаго общества да не раскупорить другую, третью бутылочку шипучаго».

«Нѣтъ, вы не такъ приняли дѣло: шипучаго мы сами поставимъ»,—сказалъ предсѣдатель: «это наша обязанность, нашъ долгъ. Вы у насъ

гость: намъ должно угощать. Знаете ли что, господа? Покамѣстъ что, а мы вотъ какъ сдѣлаемъ: отправимтесь-ка всѣ, такъ какъ есть, къ полицеймейстеру: онъ у насъ чудотворецъ: ему стоитъ только мигнуть, проходя мимо рыбнаго ряда или погреба, такъ мы, знаете ли, какъ закусимъ! Да при этой оказіи и въ вистишку».

Отъ такого предложенія никто не могъ отказаться. Свидѣтели, уже при одномъ наименованьи рыбнаго ряда, почувствовали аппетитъ; взялись всѣ тотчасъ же за картузы и шапки, и присутствіе кончилось. Когда проходили они канцелярію, Иванъ Антоновичъ, кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказалъ потихоньку Чичикову: «Крестьянъ накупили на сто тысячъ, а за труды дали только одну бѣленькую».

«Да вѣдь какіе крестьяне?»—отвѣчалъ ему на это тоже шопотомъ Чичиковъ: «препустой и преничтожный народъ, и половины не стоитъ». Иванъ Антоновичъ понялъ, что посѣтитель былъ характера твердаго и больше не дастъ.

«А почемъ купили душу у Плюшкина?»—шепнулъ ему на другое ухо Собакевичъ.

«А Воробья зачѣмъ приписали?»—сказалъ ему въ отвѣтъ на это Чичиковъ.

«Какого Воробья?»—сказалъ Собакевичъ.

«Да бабу, Елисавету Воробья, еще и букву ъ поставили на концѣ».

«Нѣтъ, никакого Воробья я не приписывалъ»,—сказалъ Собакевичъ и отошелъ къ другимъ гостямъ.

Гости добрались наконецъ гурьбой до дому полицеймейстера. Полицеймейстеръ, точно, былъ чудотворецъ: какъ только услышалъ онъ, въ чемъ дѣло, въ ту-жъ минуту кликнулъ квартальнаго, бойкаго малаго въ лакированныхъ ботфортахъ, и, кажется, всего два слова шепнулъ ему на ухо, да прибавилъ только: «понимаешь?» а ужъ тамъ, въ другой комнатѣ, въ продолженіе того времени, какъ гости рѣзались въ вистъ, появилась на столѣ бѣлуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свѣжепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки,—это все было со стороны рыбнаго ряда. Потомъ появились прибавленія съ хозяйской стороны, издѣлія кухни: пирогъ съ головизною, куда вошли хрящъ и щеки 9-ти пудоваго осетра, другой пирогъ съ груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстеръ былъ, нѣкоторымъ образомъ, отецъ и благотворитель въ городѣ. Онъ былъ среди гражданъ совершенно, какъ въ родной семьѣ, а въ лавки и въ гостиный дворъ навѣдывался, какъ въ собственную кладовую. Вообще онъ сидѣлъ, какъ говорится, на своемъ мѣстѣ и должность свою постигнулъ въ совершенствѣ. Трудно было даже и рѣшить, онъ ли былъ созданъ для мѣста, или мѣсто для него. Дѣло было такъ поведено умно, что онъ получалъ вдвое больше доходовъ противъ всѣхъ своихъ предшественниковъ, а между тѣмъ заслужилъ

любовь всего города. Купцы первые его очень любили, именно за то, что не гордъ; и точно, онъ крестилъ у нихъ дѣтей, кумился съ ними и хоть дралъ подчасъ съ нихъ сильно, но какъ-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплетъ, и засмѣется, и чаемъ напоитъ, пообѣщается и самъ прійти поиграть въ шашки, разспросить обо всемъ: какъ дѣлишки, что и какъ; если узнаетъ, что дѣтенышъ какъ-нибудь прихворнулъ, и лѣкарство присовѣтуетъ; словомъ, молодецъ! Поѣдетъ на дрожкахъ, дастъ порядокъ, а между тѣмъ и словцо промолвитъ тому-другому: «Что, Михѣичъ! Нужно бы намъ съ тобою доиграть когда-нибудь въ горку».—«Да, Алексѣй Ивановичъ», отвѣчалъ тотъ, снимая шапку: «нужно бы».—«Ну, братъ, Илья Парамонычъ, приходи ко мнѣ поглядѣть рысака: въ обгонъ съ твоимъ пойдетъ, да и своего заложи въ бѣговыя; попробуемъ». Купецъ, который на рысакѣ былъ помѣшанъ, улыбался на это съ особенною, какъ говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорилъ: «Попробуемъ, Алексѣй Ивановичъ!» Даже всѣ сидѣльцы, обыкновенно въ это время снявши шапки, съ удовольствіемъ посматривали другъ на друга и какъ будто бы хотѣли сказать: «Алексѣй Ивановичъ хорошій человѣкъ!» Словомъ, онъ успѣлъ пріобрѣсть совершенную народность, и мнѣніе купцовъ было такое, что Алексѣй Ивановичъ «хоть оно и возьметъ, но за то ужъ никакъ тебя не выдастъ».

Замѣтивъ, что закуска была готова, полицеймейстеръ предложилъ гостямъ окончить вистъ послѣ завтрака, и всѣ пошли въ ту комнату, откуда несшійся запахъ давно начиналъ пріятнымъ образомъ щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевичъ давно заглядывалъ въ дверь, намѣтивъ издали осетра, лежавшаго въ сторонѣ на большомъ блюдѣ. Гости, выпивши по рюмкѣ водки темнаго-оливковаго цвѣта,—какой бываетъ только на сибирскихъ прозрачныхъ камняхъ, изъ которыхъ рѣжутъ на Руси печати,—приступили со всѣхъ сторонъ съ вилками къ столу и стали обнаруживать, какъ говорится, каждый свой характеръ и склонности, налегая, кто на икру, кто на семгу, кто на сыръ. Собакевичъ, оставивъ безъ всякаго вниманія всѣ эти мелочи, пристроился къ осетру и, покамѣстъ тѣ пили, разговаривали и ѣли, онъ въ четверть часа съ небольшимъ доѣхалъ его всего, такъ что, когда полицеймейстеръ вспомнилъ было о немъ и, сказавши: «А каково вамъ, господа, покажется вотъ это произведенье природы?» подошелъ было къ нему съ вилкою вмѣстѣ съ другими, то увидѣлъ, что отъ произведенья природы оставался всего одинъ хвостъ; а Собакевичъ пришипился такъ, какъ будто и не онъ, и, подошедши къ тарелкѣ, которая была подальше прочихъ, тыкалъ вилкою въ какую-то сушеную маленькую рыбку. Отдѣлавши осетра, Собакевичъ сѣлъ въ кресла и ужъ болѣе не ѣлъ, не пилъ, а только жмурилъ и хлопалъ глазами. Полицеймейстеръ, кажется, не любилъ жалѣть вина: тостамъ не было числа. Первый тостъ былъ выпитъ, какъ читатели, можетъ-

быть, и сами догадаются, за здоровье новаго херсонскаго помѣщика, потомъ за благоденствіе крестьянъ его и счастливое ихъ переселеніе, потомъ за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало пріятную улыбку съ устъ нашего героя. Приступили къ нему со всѣхъ сторонъ и стали упрашивать убѣдительно остаться хоть на двѣ недѣли въ городѣ: «Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ! Какъ вы себѣ хотите, это выходитъ—избу только выхолаживать: на порогъ и да назадъ! Нѣтъ, вы проведете время съ нами! Вотъ мы васъ женимъ. Не правда ли, Иванъ Григорьевичъ, женимъ его?»

«Женимъ, женимъ!»—подхватилъ предсѣдатель. «Ужъ какъ ни упирайтесь руками и ногами, мы васъ женимъ! Нѣтъ, батюшка, попали сюда, такъ не жалуйтесь. Мы шутить не любимъ».

«Что-жъ? зачѣмъ упираться руками и ногами»,—сказалъ, усмѣхнувшись, Чичиковъ: «женитьба еще не такая вещь, чтобы того... была бы невѣста».

«Будетъ и невѣста! Какъ не быть? Все будетъ, все, что хотите!..»

«А коли будетъ...»

«Браво, остается!»—закричали всѣ: «виватъ, ура, Павелъ Ивановичъ! ура!» И всѣ подошли къ нему чокаться съ бокалами въ рукахъ. Чичиковъ перечокался со всѣми. «Нѣтъ, нѣтъ, еще!» говорили тѣ, которые были позадорнѣе, и вновь перечокались; потомъ полѣзли въ третій разъ чокаться: перечокались и въ третій разъ. Въ непродолжительное время всѣмъ сдѣлалось весело необыкновенно. Предсѣдатель, который былъ премилый человѣкъ, когда развеселялся, обнималъ нѣсколько разъ Чичикова, произнеся въ изліяніи сердечномъ: «Душа ты моя! маменька моя!» и даже, щелкнувъ пальцами, пошелъ приплясывать вокругъ него, припѣвая извѣстную пѣсню: «Ахъ ты такой и этакой, комаринскій мужикъ!»—Послѣ шампанскаго, раскупорили венгерское, которое придало еще болѣе духу и развеселило общество. Объ вистѣ рѣшительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всемъ—объ политикѣ, объ военномъ даже дѣлѣ, излагали вольныя мысли, за которыя, въ другое время, сами бы высѣкли своихъ дѣтей. Рѣшили тутъ же множество самыхъ затруднительныхъ вопросовъ. Чичиковъ никогда не чувствовалъ себя въ такомъ веселомъ расположеніи, воображалъ себя уже настоящимъ херсонскимъ помѣщикомъ, говорилъ объ разныхъ улучшеніяхъ, о трехпольномъ хозяйствѣ, о счастіи и блаженствѣ двухъ душъ и сталъ читать Собакевичу посланіе, въ стихахъ, Вертера къ Шарлоттѣ, на которое тотъ хлопалъ только глазами, сидя въ креслахъ, ибо послѣ осетра чувствовалъ большой позывъ ко сну. Чичиковъ смекнулъ и самъ, что началъ уже слишкомъ развязываться, попросилъ экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорскій кучеръ, какъ оказалось въ дорогѣ, былъ малый опытный, потому что правилъ одной только рукой, а другую засунувъ назадъ, придерживалъ ею барина.

Такимъ образомъ уже на прокурорскихъ дрожкахъ доѣхалъ онъ къ себѣ въ гостиницу, гдѣ долго еще у него вертѣлся на языкѣ всякій вздоръ: бѣлокурая невѣста съ румянцемъ и ямочкой на правой щекѣ, херсонскія деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какія хозяйственныя приказанія собрать всѣхъ вновь переселившихся мужиковъ, чтобы сдѣлать всѣмъ лично поголовную перекличку. Селифанъ молча слушалъ очень долго и потомъ вышелъ изъ комнаты, сказавши Петрушкѣ: «Ступай раздѣвать барина!» Петрушка принялся снимать съ него сапоги и чуть не стащилъ вмѣстѣ съ ними на полъ и самого барина. Но, наконецъ, сапоги были сняты, баринъ раздѣлся, какъ слѣдуетъ, и, поворочавшись нѣсколько времени на постели, которая скрипѣла немилосердно, заснулъ рѣшительно херсонскимъ помѣщикомъ. А Петрушка между тѣмъ вынесъ на коридоръ панталоны и фракъ брусничнаго цвѣта съ искрой, который, растопыривши на деревянную вѣшалку, началъ бить хлыстомъ и щеткой, напустивши пыли на весь коридоръ. Готовясь уже снять ихъ, онъ взглянулъ съ галлереи внизъ и увидѣлъ Селифана, возвращавшагося изъ конюшни. Они встрѣтились взглядами и чутьемъ поняли другъ друга: баринъ де завалился спать—можно и заглянуть кое-куда. Тотъ же часъ, отнесши въ комнату фракъ и панталоны, Петрушка сошелъ внизъ, и оба пошли вмѣстѣ, не говоря другъ другу ничего о цѣли путешествія и балагуря дорогою совершенно о постороннемъ. Прогулку сдѣлали они недалекую: именно перешли только на другую сторону улицы, къ дому, бывшему насупротивъ гостиницы, и вошли въ низенькую, стеклянную, закоптившуюся дверь, приводившую почти въ подвалъ, гдѣ уже сидѣло за деревянными столами много всякихъ: и бривщихъ, и небривщихъ бороды, и въ нагольныхъ тулупахъ, и, просто, въ рубахѣ, а кое-кто и во фризовой шинели. Что дѣлали тамъ Петрушка съ Селифаномъ, Богъ ихъ вѣдаетъ; но вышли они оттуда черезъ часъ, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчаніе, оказывая другъ другу большое вниманіе и предостерегая взаимно отъ всякихъ угловъ. Рука въ руку, не выпуская другъ друга, они цѣлыя четверть часа взбирались на лѣстницу, наконецъ одолѣли ее и взошли. Петрушка остановился съ минуту передъ низенькою своею кроватью, придумывая, какъ бы лечь приличнѣе, и легъ совершенно поперекъ, такъ что ноги его упирались въ полъ. Селифанъ легъ и самъ на той же кровати, помѣстивъ голову у Петрушки на брюхѣ и позабывъ о томъ, что ему слѣдовало спать вовсе не здѣсь, а, можетъ быть, въ людской, если не въ конюшнѣ близъ лошадей. Оба заснули въ ту же минуту, поднявши храпъ неслыханной густоты, на который баринъ изъ другой комнаты отвѣчалъ тонкимъ носовымъ свистомъ. Скоро вслѣдъ за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробуднымъ сномъ; только въ одномъ окошечкѣ виденъ еще былъ свѣтъ, гдѣ жилъ какой-то пріѣхавшій изъ Рязани поручикъ,

то отвѣчалъ коротко и благоразумно пословицею: *Кому какое дѣло, что кума съ кумомъ сидѣла?* Еще нужно сказать, что дамы города N отличались, подобно многимъ дамамъ петербургскимъ, необыкновенною осторожностію и приличіемъ въ словахъ и выраженіяхъ. Никогда не говорили онѣ: «я высморкалась, я вспотѣла, я плюнула», а говорили «я облегчила себѣ носъ, я обошлась посредствомъ платка». Ни въ какомъ случаѣ нельзя было сказать: «этотъ стаканъ или эта тарелка воняетъ»; и даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намекъ на это, а говорили вмѣсто того: «этотъ стаканъ не хорошо ведетъ себя», или что-нибудь вродѣ этого. Чтобъ еще болѣе облагородить русскій языкъ, половина почти словъ была выброшена вовсе изъ разговора, и потому весьма часто было нужно прибѣгать къ французскому языку; зато ужъ тамъ, по-французски, другое дѣло: тамъ позволялись такія слова, которыя были гораздо пожестче упомянутыхъ. Итакъ, вотъ что можно сказать о дамахъ города N, говоря поповерхностнѣй. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иныхъ вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже въ дамскія сердца. Итакъ, ограничась поверхностью, будемъ продолжать. До сихъ поръ всѣ дамы какъ-то мало говорили о Чичиковѣ, отдавая, впрочемъ, ему полную справедливость въ пріятности свѣтскаго обращенія; но съ тѣхъ поръ, какъ пронеслись слухи объ его милліонствѣ, отыскались и другія качества. Впрочемъ, дамы были вовсе не интересанки: виною всему слово *милліонщикъ*, — не самъ милліонщикъ, а именно одно слово; ибо въ одномъ звукѣ этого слова, мимо всякаго денежнаго мѣшка, заключается что-то такое, которое дѣйствуетъ и на людей-подлецовъ, и на людей ни се, ни то, и на людей хорошихъ, словомъ—на всѣхъ дѣйствуетъ. Милліонщикъ имѣетъ ту выгоду, что можетъ видѣть подлость, совершенно безкорыстную, чистую подлость, не основанную ни на какихъ разсчетахъ: многіе очень хорошо знаютъ, что ничего не получатъ отъ него и не имѣютъ никакого права получить, но непремѣнно хоть забѣгутъ ему впередъ, хоть засмѣются, хоть снимутъ шляпу, хоть напросятся насильно на тотъ обѣдъ, куда, узнаютъ, что приглашенъ милліонщикъ. Нельзя сказать, чтобы это нѣжное расположеніе къ подлости было почувствовано дамами; однакоже во многихъ гостиныхъ стали говорить, что, конечно, Чичиковъ не первый красавецъ, но зато таковъ, какъ слѣдуетъ быть мужчинѣ, что будь онъ немного толще или полнѣе, ужъ это было бы не хорошо. При этомъ было сказано какъ-то даже нѣсколько обидно насчетъ тоненькаго мужчины,—что онъ больше ничего, какъ что-то вродѣ зубочистки, а не человѣка. Въ дамскихъ нарядахъ оказались многія разныя прибавленія. Въ гостиномъ дворѣ сдѣлалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье—до такой степени наѣхало экипажей. Купцы изумились, увидя, какъ нѣсколько кусковъ матерій, привезенныхъ ими съ ярмарки и не сходившихъ съ рукъ по причинѣ

цѣны, показавшейся высокою, пошли вдругъ въ ходъ и были раскуплены нарасхватъ. Во время обѣдни, у одной изъ дамъ замѣтили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, такъ что частный приставъ, находившійся тутъ же, далъ приказаніе подвинуться народу подалѣе, то-есть, поближе къ паперти, чтобъ какънибудь не измялся туалетъ ея высокоблагородія. Самъ даже Чичиковъ не могъ отчасти не замѣтить такого необыкновеннаго вниманія. Одинъ разъ, возвратясь къ себѣ домой, онъ нашелъ на столѣ у себя письмо. Откуда и кто принесъ его, ничего нельзя было узнать: трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велѣли сказывать, отъ кого. Письмо начиналось очень рѣшительно, именно такъ: «Нѣтъ, я должна къ тебѣ писать!» Потомъ говорено было о томъ, что есть тайное сочувствіе между душами; эта истина скрѣплена была нѣсколькими точками, занявшими почти полстроки. Потомъ слѣдовало нѣсколько мыслей, весьма замѣчательныхъ по своей справедливости, такъ что считаемъ почти необходимымъ ихъ выписать: «Что жизнь наша?—Долина, гдѣ поселились горести. Что свѣтъ?—Толпа людей, которая не чувствуетъ». Затѣмъ писавшая упоминала, что омочаетъ слезами строки нѣжной матери, которая, протекло двадцать пять лѣтъ, какъ уже не существуетъ на свѣтѣ; приглашали Чичикова въ пустыню—оставить навсегда городъ, гдѣ люди въ душныхъ оградахъ не пользуются воздухомъ; окончаніе письма отзывалось даже рѣшительнымъ отчаяньемъ и заключалось такими стихами:

Двѣ горлицы покажутъ
Тебѣ мой хладный прахъ;
Воркуя томно, скажутъ,
Что она умерла во слезахъ.

Въ послѣдней строкѣ не было размѣра, но это, впрочемъ, ничего: письмо было написано въ духѣ тогдашняго времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамиліи, ни даже мѣсяца и числа. Въ postscriptum было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую, и что на балѣ у губернатора, имѣющемъ быть завтра, будетъ присутствовать самъ оригиналъ.

Это очень его заинтересовало. Въ анонимѣ было такъ много заманчиваго и подстрекающаго любопытство, что онъ перечелъ и въ другой, и въ третій разъ письмо и, наконецъ, сказалъ: «Любопытно бы, однакожъ, знать, кто бы такая была писавшая!» Словомъ, дѣло, какъ видно, сдѣлалось серьезно; болѣе часу онъ все думалъ объ этомъ, наконецъ, разставивъ руки и наклоня голову, сказалъ: «А письмо очень кудряво написано!» Потомъ, само собою разумѣется, письмо было свернуто и уложено въ шкатулку, въ сосѣдствѣ съ какою-то афишею и пригласительнымъ свадебнымъ билетомъ, семь лѣтъ сохранявшимся въ томъ же положеніи и на томъ же мѣстѣ. Немного спустя, принесли къ нему, точно, приглашеніе на балъ къ губернато-

ру—дѣло весьма обыкновенное въ губернскихъ городахъ: гдѣ губернаторъ, тамъ и балъ, иначе никакъ не будетъ надлежащей любви и уваженія со стороны дворянства.

Все постороннее было въ ту-жъ минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовленіе къ балу; ибо, точно, было много побудительныхъ и задирающихъ причинъ. Зато, можетъ быть, отъ самаго созданья свѣта не было употреблено столько времени на туалетъ. Цѣлый часъ былъ посвященъ только на одно разсматриваніе лица въ зеркалѣ. Пробовалось сообщить ему множество разныхъ выраженій: то важное и степенное, то почтительное, но съ нѣкоторою улыбкою, то просто почтительное безъ улыбки; отпущено было въ зеркало нѣсколько поклоновъ въ сопровожденіи неясныхъ звуковъ, отчасти похожихъ на французскіе, хотя по-французски Чичиковъ не зналъ вовсе. Онъ сдѣлалъ даже самому себѣ множество пріятныхъ сюрпризовъ, подмигнулъ бровью и губами и сдѣлалъ кое-что даже языкомъ; словомъ, мало ли чего не дѣлаешь, оставшись одинъ, чувствуя притомъ, что хорошъ, да къ тому же будучи увѣренъ, что никто не заглядываетъ въ щелку. Наконецъ, онъ слегка трепнулъ себя по подбородку, сказавши: «Ахъ ты, мордашка этакой!» и сталъ одѣваться. Самое довольное расположеніе сопровождало его во все время одѣванія: надѣвая подтяжки или повязывая галстукъ, онъ расшаркивался и кланялся съ особенною ловкостію, и хотя никогда не танцовалъ, но сдѣлалъ антраша. Это антраша произвело маленькое невинное слѣдствіе: задрожалъ комодъ и упала со стола щетка.

Появленіе его на балѣ произвело необыкновенное дѣйствіе. Все, что ни было, обратилось къ нему навстрѣчу,—кто съ картами въ рукахъ, кто на самомъ интересномъ пунктѣ разговора, произнесши: «А нижній земскій судъ отвѣчаетъ на это...» Но что такое отвѣчаетъ земскій судъ, ужъ это онъ бросилъ въ сторону и спѣшилъ съ привѣтствіемъ къ нашему герою. «Павелъ Ивановичъ! Ахъ, Боже мой, Павелъ Ивановичъ! Любезный Павелъ Ивановичъ! Почтеннѣйшій Павелъ Ивановичъ! Душа моя Павелъ Ивановичъ! Вотъ вы гдѣ, Павелъ Ивановичъ! Вотъ онъ, нашъ Павелъ Ивановичъ! Позвольте прижать васъ, Павелъ Ивановичъ! Давайте-ка его сюда, вотъ я его поцѣлую покрѣпче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиковъ разомъ почувствовалъ себя въ нѣсколькихъ объятіяхъ. Не успѣлъ совершенно выкарабкаться изъ объятій предсѣдателя, какъ очутился уже въ объятіяхъ полицеймейстера; полицеймейстеръ сдалъ его инспектору врачебной управы; инспекторъ врачебной управы— откупщику, откупщикъ—архитектору... Губернаторъ, который въ то время стоялъ возлѣ дамъ и держалъ въ одной рукѣ конфектный билетъ, а въ другой болонку, увидя его, бросилъ на полъ и билетъ, и болонку,—только завизжала собачонка,—словомъ, распространилъ онъ радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на которомъ

бы не выразилось удовольствіе или, по крайней мѣрѣ, отраженіе всеобщаго удовольствія. Такъ бываетъ на лицахъ чиновниковъ во время осмотра пріѣхавшимъ начальникомъ ввѣренныхъ управленію ихъ мѣстъ: послѣ того, какъ уже первый страхъ прошелъ, они увидѣли, что многое ему нравится и онъ самъ изволилъ наконецъ пошутить, то-есть, произнести съ пріятною усмѣшкой нѣсколько словъ,—смѣются вдвое въ отвѣтъ на это обступившіе его приближенные чиновники; смѣются отъ души тѣ, которые, впрочемъ, нѣсколько плохо услыхали произнесенныя имъ слова, и, наконецъ, стоявшій далеко у дверей у самаго выхода, какой-нибудь полицейскій, отъ роду не смѣявшійся во всю жизнь свою и только-что показавшій передъ тѣмъ народу кулакъ, и тотъ, по неизмѣннымъ законамъ отраженія, выражаетъ на лицѣ своемъ какую-то улыбку, хотя эта улыбка болѣе похожа на то, какъ бы кто-нибудь собирался чихнуть послѣ крѣпкаго табаку. Герой нашъ отвѣчалъ всѣмъ и каждому и чувствовалъ какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налѣво, по обыкновенію своему, нѣсколько набокъ, но совершенно свободно, такъ что очаровалъ всѣхъ. Дамы тутъ же обступили его блистающею гирляндою и нанесли съ собой цѣлыя облака всякаго рода благоуханій: одна дышала розами, отъ другой несло весной и фіалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиковъ подымалъ только носъ кверху да нюхалъ. Въ нарядахъ ихъ вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были такихъ блѣдныхъ модныхъ цвѣтовъ, какимъ даже и названья нельзя было прибрать—до такой степени дошла тонкость вкуса! Ленточные банты и цвѣточные букеты порхали тамъ и тамъ по платьямъ, въ самомъ картинномъ безпорядкѣ, хотя надъ этимъ безпорядкомъ трудилась много порядочная голова. Легкій головной уборъ держался только на однихъ ушахъ и, казалось, говорилъ: «Эй, улечу! Жаль только, что не подыму съ собой красавицу!» Таліи были обтянуты и имѣли самыя крѣпкія и пріятныя для глазъ формы (нужно замѣтить, что вообще всѣ дамы города N были нѣсколько полны, но шнуровались такъ искусно и имѣли такое пріятное обращеніе, что толщины никакъ нельзя было примѣтить). Все было у нихъ придумано и предусмотрѣно съ необыкновенною осмотрительностью: шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никакъ не дальше; каждая обнажила свои владѣнія до тѣхъ поръ, пока чувствовала, по собственному убѣжденію, что они способны погубить человѣка; остальное все было припрятано съ необыкновеннымъ вкусомъ: или какой-нибудь легонькій галстучекъ изъ ленты легче пирожнаго, извѣстнаго подъ именемъ *поцѣлуя*, эвирно обнималъ шею, или выпущены были изъ-за плечъ, изъ-подъ платья маленькія зубчатыя стѣнки изъ тонкаго батиста, извѣстныя подъ именемъ *скромностей*. Эти *скромности* скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человѣку, а между тѣмъ заставляли подозрѣ-

вать, что тамъ-то именно и была самая погибель. Длинныя перчатки были надѣты не вплоть до рукавовъ, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительныя части рукъ повыше локтя, которыя у многихъ дышали завидною полнотою; у иныхъ даже лопнули лайковыя перчатки, побужденныя надвинуться далѣе,—словомъ, кажется, какъ будто на всемъ было написано: «Нѣтъ, это не губернія, это столица, это самъ Парижъ!» Только мѣстами вдругъ высовывался какой-нибудь невиданный землею чепецъ или даже какое-то, чуть не павлинье, перо, въ противность всѣмъ модамъ, по собственному вкусу. Но ужъ безъ этого нельзя—таково свойство губернскаго города: гдѣ-нибудь ужъ онъ непремѣнно оборвется. Чичиковъ, стоя передъ ними, думалъ: «Которая, однакоже, сочинительница письма?» и высунулъ было впередъ носъ; но по самому носу дернулъ его цѣлый рядъ локтей, обшлаговъ, рукавовъ, концовъ лентъ, душистыхъ шемизетокъ и платьевъ. Галопадъ летѣлъ во всю пропалую: почтмейстерша, капитанъ-исправникъ, дама съ голубымъ перомъ, дама съ бѣлымъ перомъ, грузинскій князь Чипхайхилидзевъ, чиновникъ изъ Петербурга, чиновникъ изъ Москвы, французъ Куку, Перхуновскій, Беребендовскій—все поднялось и понеслось...

«Вона! пошла писать губернія!»—проговорилъ Чичиковъ, попятившись назадъ и, какъ только дамы разсѣлись по мѣстамъ, вновь началъ выглядывать, нельзя ли по выраженію въ лицѣ и въ глазахъ узнать, которая была сочинительница; но никакъ нельзя было узнать ни по выраженію въ лицѣ, ни по выраженію въ глазахъ, которая была сочинительница. Вездѣ было замѣтно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое,—у, какое тонкое!.. «Нѣтъ», сказалъ самъ въ себѣ Чичиковъ: «женщины,—это такой предметъ...»—здѣсь онъ и рукой махнулъ: «просто, и говорить нечего! Поди-ка, попробуй разсказать или передать все то, что бѣгаетъ на ихъ лицахъ, всѣ тѣ излучинки, намеки... а вотъ, просто, ничего не передашь. Одни глаза ихъ такое безконечное государство, въ которое заѣхалъ человѣкъ—и поминай, какъ звали! Ужъ его оттуда и крючкомъ, ничѣмъ не вытащишь. Ну, попробуй, напримѣръ, разсказать одинъ блескъ ихъ: влажный, бархатный, сахарный—Богъ ихъ знаетъ, какого нѣтъ еще! и жесткій, и мягкій, и даже совсѣмъ томный, или, какъ иные говорятъ, въ нѣгѣ, или безъ нѣги, но пуще нежели въ нѣгѣ,—такъ вотъ зацѣпитъ за сердце, да и поведетъ по всей душѣ, какъ будто смычкомъ. Нѣтъ, просто, не приберешь слова: галантерная половина человѣческаго рода, да и ничего больше!»

Виноватъ! Кажется, изъ устъ нашего героя излетѣло словцо, подмѣченное на улицѣ. Что-жъ дѣлать? Таково на Руси положеніе писателя. Впрочемъ, если слово изъ улицы попало въ книгу, не писатель виноватъ, виноваты читатели и, прежде всего, читатели высшаго общества: отъ нихъ первыхъ не услышишь ни одного порядочнаго

русскаго слова, а французскими, нѣмецкими и англійскими они, пожалуй, надѣлятъ въ такомъ количествѣ, что и не захочешь, и надѣлятъ даже съ сохраненіемъ всѣхъ возможныхъ произношеній—по-французски въ носъ и картавя, по-англійски произнесутъ, какъ слѣдуетъ птицѣ; и даже физіономію сдѣлаютъ птичью, и даже посмѣются надъ тѣмъ, кто не сумѣетъ сдѣлать птичьей физіономіи. А вотъ только русскимъ ничѣмъ не надѣлятъ, развѣ изъ патріотизма выстроятъ для себя на дачѣ избу въ русскомъ вкусѣ. Вотъ каковы читатели высшаго сословія, а за ними и всѣ причитающіе себя къ высшему сословію! А между тѣмъ какая взыскательность! Хотятъ непремѣнно, чтобы все было написано языкомъ самымъ строгимъ, очищеннымъ и благороднымъ,—словомъ, хотятъ, чтобы русскій языкъ самъ собою опустился вдругъ съ облаковъ, обработанный, какъ слѣдуетъ, и сѣлъ бы имъ прямо на языкъ, а имъ бы больше ничего, какъ только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человѣческаго рода; но почтенные читатели, надо признаться, бываютъ еще мудренѣе.

А Чичиковъ приходилъ между тѣмъ въ совершенное недоумѣніе рѣшить, которая изъ дамъ была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнѣе взоръ, онъ увидѣлъ, что съ дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вмѣстѣ и надежду, и сладкія муки въ сердце бѣднаго смертнаго, что онъ наконецъ сказалъ: «Нѣтъ, никакъ нельзя угадать!» Это, однакоже, никакъ не уменьшило веселаго расположенія духа, въ которомъ онъ находился. Онъ непринужденно и ловко размѣнялся съ нѣкоторыми изъ дамъ пріятными словами, подходилъ къ той и другой дробнымъ, мелкимъ шагомъ, или, какъ говорятъ, сѣменилъ ножками, какъ обыкновенно дѣлаютъ маленькіе старички-щеголи на высокихъ каблукахъ, называемые мышиными жеребчиками, забѣгающіе весьма проворно около дамъ. Посѣменивши съ довольно ловкими поворотами направо и налѣво, онъ подшаркнулъ тутъ же ножкой, въ видѣ коротенькаго хвостика, или на подобіе запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали въ немъ кучу пріятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выраженіе въ лицѣ, что-то даже марсовское и военное, что, какъ извѣстно, очень нравится женщинамъ. Даже изъ-за него уже начинали нѣсколько ссориться: замѣтивши, что онъ становился обыкновенно около дверей, нѣкоторыя наперерывъ спѣшили занять стулъ поближе къ дверямъ, и когда одной посчастливилось сдѣлать это прежде, то едва не произошла пренепріятная исторія, и многимъ, желавшимъ себѣ сдѣлать то же, показалась уже черезчуръ отвратительною подобная наглость.

Чичиковъ такъ занялся разговорами съ дамами, или, лучше, дамы такъ заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самыхъ замысловатыхъ и тонкихъ аллегорій,—которыя всѣ нуж-

но было разгадывать, отчего даже выступилъ у него на лбу потъ,— что онъ позабылъ исполнить долгъ приличія и подойти прежде всего къ хозяйкѣ. Вспомнилъ онъ объ этомъ уже тогда, когда услышалъ голосъ самой губернаторши, стоявшей передъ нимъ уже нѣсколько минутъ. Губернаторша произнесла нѣсколько ласковымъ и лукавымъ голосомъ, съ пріятнымъ потряхиваніемъ головы: «А, Павелъ Ивановичъ, такъ вотъ какъ вы!..» Въ точности не могу передать словъ губернаторши, но было сказано что-то, исполненное большой любезности, въ томъ духѣ, въ которомъ изъясняются дамы и кавалеры въ повѣстяхъ нашихъ свѣтскихъ писателей, охотниковъ описывать гостиныя и похвалиться знаніемъ высшаго тона,—въ духѣ того, что «неужели овладѣли такъ вашимъ сердцемъ, что въ немъ нѣтъ болѣе ни мѣста, ни самаго тѣснаго уголка для безжалостно позабытыхъ вами?» Герой нашъ поворотился въ ту-жъ минуту къ губернаторшѣ и уже готовъ былъ отпустить ей отвѣтъ, вѣроятно, ничѣмъ не хуже тѣхъ, какіе отпускаютъ въ модныхъ повѣстяхъ Звонскіе, Линскіе, Лидины, Гремины и всякіе ловкіе военные люди, какъ, невзначай поднявши глаза, остановился вдругъ, будто оглушенный ударомъ.

Передъ нимъ стояла не одна губернаторша: она держала подъ руку молоденькую шестнадцатилѣтнюю дѣвушку, свѣженькую блондинку, съ тоненькими и стройными чертами лица, съ остренькимъ подбородкомъ, съ очаровательно круглившимся оваломъ лица, какое художникъ взялъ бы въ образецъ для Мадонны и какое только рѣдкимъ случаемъ попадается на Руси, гдѣ любитъ все оказаться въ широкомъ размѣрѣ, все, что ни есть: и горы, и лѣса, и степи, и лица, и губы, и ноги,—ту самую блондинку, которую онъ встрѣтилъ на дорогѣ, ѣхавши отъ Ноздрева, когда, по глупости кучеровъ или лошадей, ихъ экипажи такъ странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй съ дядею Миняемъ взялись распутывать дѣло. Чичиковъ такъ смѣшался, что не могъ произнести ни одного толковаго слова и пробормоталъ, чортъ знаетъ что такое, чего бы ужъ никакъ не сказалъ ни Греминъ, ни Звонскій, ни Лидинъ.

«Вы не знаете еще моей дочери?»—сказала губернаторша: «институтка, только-что выпущена».

Онъ отвѣчалъ, что уже имѣлъ счастіе нечаяннымъ образомъ познакомиться; попробовалъ еще кое-что прибавить, но кое-что совсѣмъ не вышло. Губернаторша, сказавъ два три слова, наконецъ отошла съ дочерью въ другой конецъ залы къ другимъ гостямъ; а Чичиковъ все еще стоялъ неподвижно на одномъ и томъ же мѣстѣ, какъ человѣкъ, который весело вышелъ на улицу съ тѣмъ, чтобы прогуляться, съ глазами, расположенными глядѣть на все, и вдругъ неподвижно остановился, вспомнивъ, что онъ позабылъ что-то; и ужъ тогда глупѣе ничего не можетъ быть такого человѣка; вмигъ беззаботное выраженіе слетаетъ съ лица его; онъ силится припомнить, что позабылъ онъ: не

платокъ ли? но платокъ въ карманѣ; не деньги ли? но деньги тоже въ карманѣ; все, кажется, при немъ, а между тѣмъ какой-то невѣдомый духъ шепчетъ ему въ уши, что онъ позабылъ что-то. И вотъ уже глядитъ онъ растерянно и смутно на движущуюся толпу передъ нимъ, на летающіе экипажи, на кивера и ружья проходящаго полка, на вывѣску, и ничего хорошо не видитъ. Такъ и Чичиковъ вдругъ сдѣлался чуждымъ всему, что ни происходило вокругъ него. Въ это время изъ дамскихъ благовонныхъ устъ къ нему устремилось множество намековъ и вопросовъ, проникнутыхъ насквозь тонкостію и любезностію: «Позволено ли намъ, бѣднымъ жителямъ земли, быть такими дерзкими, чтобы спросить васъ, о чемъ мечтаете?»—«Гдѣ находятся тѣ счастливыя мѣста, въ которыхъ порхаетъ мысль ваша?»—«Можно ли знать имя той, которая погрузила васъ въ эту сладкую долину задумчивости?» Но онъ отвѣчалъ на все рѣшительнымъ невниманіемъ, и пріятныя фразы канули какъ въ воду. Онъ даже до того былъ неучтивъ, что скоро ушелъ отъ нихъ въ другую сторону, желая повысмотрѣть, куда ушла губернаторша съ своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотѣли оставить его такъ скоро: каждая внутренно рѣшилась употребить всевозможныя орудія, столь опасныя для сердецъ нашихъ, и пустить въ ходъ все, что было лучшаго. Нужно замѣтить, что у нѣкоторыхъ дамъ,—я говорю у нѣкоторыхъ: это не то, что у всѣхъ,—есть маленькая слабость: если онѣ замѣтятъ у себя что-нибудь особенно хорошее—лобъ ли, ротъ ли, руки ли—то уже думаютъ, что лучшая часть лица ихъ такъ первая и бросится всѣмъ въ глаза, и всѣ вдругъ заговорятъ въ одинъ голосъ: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческій носъ!» или: «какой правильный, очаровательный лобъ!» У которой же хороши плечи, та увѣрена заранѣе, что всѣ молодые люди будутъ совершенно восхищены и, то и дѣло, станутъ повторять въ то время, когда она будетъ проходить мимо: «Ахъ, какія чудесныя у этой плечи!» а на лицо, волосы, носъ, лобъ даже не взглянутъ, если же и взглянутъ, то какъ на что-то постороннее. Такимъ образомъ думаютъ иныя дамы. Каждая дама дала себѣ внутренній обѣтъ быть какъ можно очаровательнѣй въ танцахъ и показать во всемъ блескѣ превосходство того, что у нея было самаго превосходнаго. Почтмейстерша, вальсируя, съ такой томностію опустила набокъ голову, что слышалось въ самомъ дѣлѣ что-то неземное. Одна очень любезная дама,—которая пріѣхала вовсе не съ тѣмъ, чтобы танцовать, по причинѣ приключившагося, какъ сама выразилась, небольшого инкомодите въ видѣ горошинки на правой ногѣ, вслѣдствіе чего должна была даже надѣть плисовые сапоги,—не вытерпѣла, однакоже, и сдѣлала нѣсколько круговъ въ плисовыхъ сапогахъ, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала ужъ въ самомъ дѣлѣ слишкомъ много себѣ въ голову.

Но все это никакъ не произвело предполагаемаго дѣйствія на Чичикова. Онъ даже не смотрѣлъ на круги, производимые дамами, но

безпрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверхъ головъ, куда бы могла забраться занимательная блондинка; присѣдалъ и внизъ тоже, высматривая промежъ плечей и спинъ, наконецъ доискался и увидѣлъ ее, сидящую вмѣстѣ съ матерью, надъ которою величаво колебалась какая-то восточная чалма съ перомъ. Казалось, какъ будто онъ хотѣлъ взять ихъ приступомъ. Весеннее ли расположеніе подѣйствовало на него, или толкалъ его кто сзади, только онъ протѣснялся рѣшительно впередъ, несмотря ни на что: откупщикъ получилъ отъ него такой толчокъ, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ногѣ, не то бы, конечно, повалилъ за собой цѣлый рядъ; почтмейстеръ тоже отступилъ и посмотрѣлъ на него съ изумленіемъ, смѣшаннымъ съ довольно тонкой ироніей, но онъ на нихъ не поглядѣлъ: онъ видѣлъ только вдали блондинку, надѣвавшую длинную перчатку и, безъ сомнѣнія, сгоравшую желаніемъ пуститься летать по паркету. А ужъ тамъ, въ сторонѣ, четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали полъ, и армейскій штабсъ-капитанъ работалъ и душою и тѣломъ, и руками и ногами, отвертывая такія па, какія и во снѣ никому не случалось отвертывать. Чичиковъ прошмыгнулъ мимо мазурки, почти по самымъ каблукамъ, и прямо къ тому мѣсту, гдѣ сидѣла губернаторша съ дочкой. Однакожъ онъ подступилъ къ нимъ очень робко, не сѣменилъ такъ бойко и франтовски ногами, даже нѣсколько замялся, и во всѣхъ движеніяхъ оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать навѣрно, точно ли пробудилось въ нашемъ героѣ чувство любви; даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть, не такъ чтобы толстые, однакожъ и не то, чтобы тонкіе, способны были къ любви; но при всемъ томъ здѣсь было что-то странное, что-то въ такомъ родѣ, чего онъ самъ не могъ себѣ объяснить: ему показалось, какъ самъ онъ потомъ сознавался, что весь балъ, со всѣмъ своимъ говоромъ и шумомъ, сталъ на нѣсколько минутъ какъ будто гдѣ-то вдали; скрипки и трубы нарѣзывали гдѣ-то за горами, и все подернулось туманомъ, похожимъ на небрежно замалеванное поле на картинѣ. И изъ этого мглистаго, кое-какъ набросаннаго поля выходили ясно и оконченно только однѣ тонкія черты увлекательной блондинки: ея овально-круглившееся личико, ея тоненькій, тоненькій станъ, какой бываетъ у институтки въ первые мѣсяцы послѣ выпуска, ея бѣлое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всѣхъ мѣстахъ молоденькіе и стройные члены, которые означались въ какихъ-то чистыхъ линіяхъ. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную изъ слоновой кости; она только одна бѣлѣла и выходила прозрачною и свѣтлою изъ мутной и непрозрачной толпы.

Видно, такъ ужъ бываетъ на свѣтѣ; видно, и Чичиковы, на нѣсколько минутъ въ жизни, обращаются въ поэтовъ; но слово *поэтъ* будетъ уже слишкомъ. По крайней мѣрѣ, онъ почувствовалъ себя совершенно чѣмъ-то въ родѣ молодого человѣка, чуть-чуть не гусаромъ.

Увидѣвши возлѣ нихъ пустой стулъ, онъ тотчасъ его занялъ. Разговоръ сначала не клеился, но послѣ дѣло пошло; онъ началъ даже получать форсъ, но... Здѣсь, къ величайшему прискорбію, надобно замѣтить, что люди степенные и занимающіе важныя должности какъ-то немного тяжеловаты въ разговорахъ съ дамами; на это мастера господа поручики, и никакъ не далѣе капитанскихъ чиновъ. Какъ они дѣлаютъ, Богъ ихъ вѣдаетъ: кажется, и не очень мудреныя вещи говорятъ, а дѣвица, то и дѣло, качается на стулѣ отъ смѣха; статскій же совѣтникъ, Богъ знаетъ что, разскажетъ: или поведетъ рѣчь о томъ, что Россія очень пространное государство, или отпуститъ комплиментъ, который, конечно, выдуманъ не безъ остроумія, но отъ него ужасно пахнетъ книгою; если же скажетъ что-нибудь смѣшное, то самъ несравненно больше смѣется, чѣмъ та, которая его слушаетъ. Здѣсь это замѣчено для того, чтобы читатели видѣли, почему блондинка стала зѣвать во время разсказовъ нашего героя. Герой, однакоже, совсѣмъ этого не замѣчалъ, разсказывая множество пріятныхъ вещей, которыя уже случалось ему произносить въ подобныхъ случаяхъ въ разныхъ мѣстахъ, именно: въ Симбирской губерніи, у Софрона Ивановича Безпечнаго, гдѣ были тогда дочь его Аделаида Софроновна съ тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева, въ Рязанской губерніи; у Фрола Васильевича Побѣдоноснаго, въ Пензенской губерніи, и у брата его Петра Васильевича, гдѣ были: свояченица его Катерина Михайловна и внучатныя сестры ея: Роза Федоровна и Эмилія Федоровна; въ Вятской губерніи, у Петра Варсонофьевича, гдѣ была сестра невѣстки его Пелагея Егоровна, съ племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами: Софьей Александровной и Маклатурой Александровной.

Всѣмъ дамамъ совершенно не понравилось такое обхожденіе Чичикова. Одна изъ нихъ нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это замѣтить, и даже задѣла блондинку довольно небрежно толстымъ руло своего платья, а шарфомъ, который порхалъ вокругъ плечъ ея, распорядилась такъ, что онъ махнулъ концомъ своимъ ее по самому лицу; въ то же самое время позади его изъ однихъ дамскихъ устъ изнеслось, вмѣстѣ съ запахомъ фіалокъ, довольно колкое и язвительное замѣчаніе. Но, или онъ не услышалъ въ самомъ дѣлѣ, или прикинулся, что не услышалъ, только это было не хорошо, ибо мнѣніемъ дамъ нужно дорожить: въ этомъ онъ и раскаялся, но уже послѣ, стало-быть, поздно.

Негодованіе, во всѣхъ отношеніяхъ справедливое, изобразилось во многихъ лицахъ. Какъ ни великъ былъ въ обществѣ вѣсъ Чичикова, хотя онъ и милліонщикъ, и въ лицѣ его выражалось величіе и даже что-то марсовское и военное; но есть вещи, которыхъ дамы не простятъ никому, будь онъ кто бы ни было, и тогда прямо пиши—пропало! Есть случаи, гдѣ женщина, какъ ни слаба и безсильна характеромъ въ срав-

неніи съ мужчиною, но становится вдругъ тверже не только мужчины-но и всего, что ни есть на свѣтѣ. Пренебреженіе, оказанное Чичико, вымъ, почти неумышленное, возстановило между дамами даже согласіе, бывшее было на краю погибели по случаю завладѣнія стуломъ. Въ произнесенныхъ имъ невзначай какихъ-то сухихъ и обыкновенныхъ словахъ нашли колкіе намеки. Въ довершеніе бѣдъ, какой-то изъ молодыхъ людей сочинилъ тутъ же сатирическіе стихи на танцовавшее общество, безъ чего, какъ извѣстно, никогда почти не обходится на губернскихъ балахъ. Эти стихи были приписаны тутъ же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о немъ въ разныхъ углахъ самымъ неблагопріятнымъ образомъ; а бѣдная институтка была уничтожена совершенно, и приговоръ ея уже былъ подписанъ.

А между тѣмъ герою нашему готовилась пренепріятнѣйшая неожиданность: въ то время, когда блондинка зѣвала, а онъ разсказывалъ ей кое-какія въ разныя времена случившіяся исторійки и даже коснулся было греческаго философа Діогена, показался изъ послѣдней комнаты Ноздревъ. Изъ буфета ли онъ вырвался, или изъ небольшой зеленой гостиной, гдѣ производилась игра посильнѣе, чѣмъ въ обыкновенный вистъ, своей ли волею, или вытолкали его, только онъ явился веселый, радостный, ухвативши подъ руку прокурора, котораго, вѣроятно, уже таскалъ нѣсколько времени, потому что бѣдный прокуроръ поворачивалъ на всѣ стороны свои густыя брови, какъ бы придумывая средство выбраться изъ этого дружескаго подручнаго путешествія. Въ самомъ дѣлѣ, оно было невыносимо. Ноздревъ, захлебнувъ куражу въ двухъ чашкахъ чаю, конечно, не безъ рома, вралъ немилосердно: Завидѣвъ еще издали его, Чичиковъ рѣшился даже на пожертвованіе, то-есть, оставить свое завидное мѣсто и, сколько можно, поспѣшнѣе удалиться: ничего хорошаго не предвѣщала ему эта встрѣча. Но, какъ на бѣду, въ это время подвернулся губернаторъ, изъявившій необыкновенную радость, что нашелъ Павла Ивановича, и остановилъ его, прося быть судьею въ спорѣ его съ двумя дамами насчетъ того, продолжительна ли женская любовь, или нѣтъ; а между тѣмъ Ноздревъ уже увидалъ его и шелъ прямо навстрѣчу.

«А, херсонскій помѣщикъ, херсонскій помѣщикъ!» — кричалъ онъ, подходя и заливаясь смѣхомъ, отъ котораго дрожали его свѣжія, румяныя, какъ весенняя роза, щеки. «Что? много наторговалъ мертвыхъ? Вѣдь вы не знаете, ваше превосходительство, горланилъ онъ тутъ же, обратившись къ губернатору: «онъ торгуетъ мертвыми душами! Ей Богу! Послушай, Чичиковъ! Вѣдь ты, я тебѣ говорю по дружбѣ, вотъ мы всѣ здѣсь твои друзья, вотъ и его превосходительство здѣсь,—я бы тебя повѣсилъ, ей Богу, повѣсилъ!»

Чичиковъ просто не зналъ, гдѣ сидѣлъ.

«Повѣрите ли, ваше превосходительство»,—продолжалъ Ноздревъ: «какъ сказалъ онъ мнѣ: «продай мертвыхъ душъ», я такъ и лопнулъ

со смѣха. Пріѣзжаю сюда! мнѣ говорятъ, что накупилъ на три милліона крестьянъ на выводъ. Какихъ на выводъ! Да онъ торговалъ у меня мертвыхъ. Послушай, Чичиковъ: да ты скотина, ей Богу, скотина! Вотъ и его превосходительство здѣсь... не правда ли, прокуроръ?»

Но прокуроръ, и Чичиковъ, и самъ губернаторъ пришли въ такое замѣшательство, что не нашлись совершенно, что отвѣчать; а между тѣмъ Ноздревъ, нимало не обращая вниманія, несъ полутрезвую рѣчь: «Ужъ ты, братъ, ты, ты... я не отойду отъ тебя, пока не узнаю, зачѣмъ ты покупалъ мертвыя души. Послушай, Чичиковъ, вѣдь тебѣ, право, стыдно; у тебя, ты самъ знаешь, нѣтъ лучшаго друга, какъ я. Вотъ и его превосходительство здѣсь... не правда ли, прокуроръ? Вы не повѣрите, ваше превосходительство, какъ мы другъ къ другу привязаны, то-есть, просто, если бы вы сказали,—вотъ, я тутъ стою, а вы бы сказали: «Ноздревъ, скажи по совѣсти, кто тебѣ дороже, отецъ родной, или Чичиковъ?» скажу: «Чичиковъ», ей Богу... Позволь, душа, я тебѣ влѣплю одинъ безе. Ужъ вы позвольте, ваше превосходительство, поцѣловать мнѣ его. Да, Чичиковъ, ужъ ты не противься, одну безешку позволь напечатлѣть тебѣ въ бѣлоснѣжную щеку твою!» Ноздревъ былъ такъ оттолкнутъ съ своими безе, что чуть не полетѣлъ на землю. Отъ него всѣ отступили и не слушали больше. Но все же слова его о покупкѣ мертвыхъ душъ были произнесены во всю глотку и сопровождены такимъ громкимъ смѣхомъ, что привлекли вниманіе даже тѣхъ, которые находились въ самыхъ дальнихъ углахъ комнаты. Эта новость такъ показалась странною, что всѣ остановились съ какимъ-то деревяннымъ, глупо-вопросительнымъ выраженіемъ. Чичиковъ замѣтилъ, что многія дамы перемигнулись между собою съ какою-то злобною, ѣдкою усмѣшкою, и въ выраженіи нѣкоторыхъ лицъ показалось что-то такое двусмысленное, которое еще болѣе увеличило это смущеніе. Что Ноздревъ лгунъ отъявленный, это было извѣстно всѣмъ, и вовсе не было въ диковинку слышать отъ него рѣшительную безсмыслицу; но смертный—право, трудно даже понять, какъ устроенъ этотъ смертный: какъ бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, онъ непремѣнно сообщитъ ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» А другой смертный съ удовольствіемъ преклонитъ ухо, хотя послѣ скажетъ самъ: «Да это совершенно пошлая ложь, нестоящая никакого вниманія!» И вслѣдъ за тѣмъ сей же часъ отправится искать третьяго смертнаго, чтобы, разсказавши ему, послѣ вмѣстѣ съ нимъ воскликнуть съ благороднымъ негодованіемъ: «Какая пошлая ложь!» И это непремѣнно обойдетъ весь городъ, и всѣ смертные, сколько ихъ ни есть, наговорятся непремѣнно досыта и потомъ признаютъ, что это не стоитъ вниманія и не достойно, чтобъ о немъ говорить.

Это вздорное, повидимому, происшествіе замѣтно разстроило на-

шего героя. Какъ ни глупы слова дурака, а иногда бываютъ они достаточны, чтобы смутить умнаго человѣка. Онъ сталъ чувствовать себя неловко, неладно, точь-въ точь, какъ будто прекрасно вычищеннымъ сапогомъ вступилъ вдругъ въ грязную, вонючую лужу; словомъ— нехорошо, совсѣмъ нехорошо! Онъ пробовалъ объ этомъ не думать, старался разсѣяться, развлечься, присѣлъ въ вистъ, но все пошло, какъ кривое колесо: два раза сходилъ онъ въ чужую масть и, позабывъ, что по третьей не бьютъ, размахнулся со всей руки и хватилъ сдуру свою же. Предсѣдатель никакъ не могъ понять, какъ Павелъ Ивановичъ, такъ хорошо и, можно сказать, тонко разумѣвшій игру, могъ сдѣлать подобныя ошибки и подвелъ даже подъ обухъ его пиковаго короля, на котораго онъ, по собственному выраженію, надѣялся, какъ на Бога. Конечно, почтмейстеръ, и предсѣдатель, и даже самъ полицеймейстеръ, какъ водится, подшучивали надъ нашимъ героемъ, что ужъ не влюбленъ ли онъ, и что мы знаемъ, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамываетъ, знаемъ, кѣмъ и подстрѣлено, но все это никакъ его не утѣшало, какъ онъ ни пробовалъ усмѣхаться и отшучиваться. За ужиномъ тоже онъ никакъ не былъ въ состояніи развернуться, несмотря на то, что общество за столомъ было пріятное и что Ноздрева давно уже вывели, ибо сами даже дамы наконецъ замѣтили, что поведеніе его черезчуръ становилось скандалезно. Посреди котильона, онъ сѣлъ на полъ и сталъ хватать за полы танцующихъ, что было уже ни на что не похоже, по выраженію дамъ. Ужинъ былъ очень веселъ: всѣ лица, мелькавшія передъ тройными подсвѣчниками цвѣтами, конфектами и бутылками, были озарены самымъ непринужденнымъ довольствомъ. Офицеры, дамы, фраки—все сдѣлалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульевъ и бѣжали отнимать у слугъ блюда, чтобы съ необыкновенною ловкостью предложить ихъ дамамъ. Одинъ полковникъ подалъ дамѣ тарелку съ соусомъ на концѣ обнаженной шпаги. Мужчины почтенныхъ лѣтъ, между которыми сидѣлъ Чичиковъ, спорили громко, заѣдая дѣльное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещаднымъ образомъ въ горчицу, и спорили о тѣхъ предметахъ, въ которыхъ онъ даже всегда принималъ участіе; но онъ былъ похожъ на какого-то человѣка, уставшаго или разбитаго дальней дорогой, которому ничто не лѣзетъ на умъ и который не въ силахъ войти ни во что. Даже не дождался онъ окончанія ужина и уѣхалъ къ себѣ несравненно ранѣе, чѣмъ имѣлъ обыкновеніе уѣзжать.

Тамъ, въ этой комнаткѣ, такъ знакомой читателю, съ дверью, заставленной комодомъ, и выглядывавшими иногда изъ угловъ тараканами, положеніе мыслей и духа его было такъ же неспокойно, какъ неспокойны тѣ кресла, въ которыхъ онъ сидѣлъ. Непріятно, смутно было у него на сердцѣ; какая-то тягостная пустота оставалась тамъ. «Чтобъ васъ чортъ побралъ всѣхъ, кто выдумалъ эти балы!»

говорилъ онъ въ-сердцахъ. «Ну, чему сдуру обрадовались? Въ гу: берніи неурожаи, дороговизна, такъ вотъ они за балы! Экъ штука-разрядились въ бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертѣла на себя тысячу рублей! А вѣдь на счетъ же крестьянскихъ оброковъ или, что еще хуже, на счетъ совѣсти нашего брата. Вѣдь извѣстно, зачѣмъ берешь взятку и покривишь душой: для того, чтобы женѣ достать на шаль или на разные роброны, провалъ ихъ возьми, какъ ихъ называютъ! А изъ чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстега Сидоровна, что на почтмейстершѣ лучше было платье, да изъ-за нея бухъ тысячу рублей. Кричатъ: «балъ, балъ, веселость!» Просто, дрянь балъ, не въ русскомъ духѣ, не въ русской натурѣ, чортъ знаетъ, что такое: взрослый, совершеннолѣтній, вдругъ выскочитъ весь въ черномъ, общипанный, обтянутый, какъ чортикъ, и давай мѣсить ногами. Иной даже, стоя въ парѣ, переговариваетъ съ другимъ объ важномъ дѣлѣ, а ногами въ то же самое время, какъ козленокъ, вензеля направо и налѣво... Все изъ обезьянства, все изъ обезьянства! Что французъ въ сорокъ лѣтъ такой же ребенокъ, какимъ былъ и въ пятнадцать, такъ вотъ давай же и мы! Нѣтъ, право... послѣ всякаго бала, точно, какъ будто какой грѣхъ сдѣлалъ; и вспомнить даже о немъ не хочется. Въ головѣ, просто, ничего, какъ послѣ разговора съ свѣтскимъ человѣкомъ: всего онъ наговоритъ, всего слегка коснется, все скажетъ, что понадергалъ изъ книжекъ, пестро, красно, а въ головѣ хоть бы что-нибудь изъ того вынесъ; и видишь потомъ, какъ даже разговоръ съ простымъ купцомъ, знающимъ одно свое дѣло, но знающимъ его твердо и опытно, лучше всѣхъ этихъ побрякушекъ. Ну, что изъ него выжмешь, изъ этого бала? Ну, если бы, положимъ, какой-нибудь писатель вздумалъ описывать всю эту сцену такъ, какъ она есть? Ну, и въ книгѣ, и тамъ была бы она такъ же безтолкова, какъ въ натурѣ. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто, чортъ знаетъ, что такое! Плюнешь, да и книгу потомъ закроешь». Такъ отзывался неблагопріятно Чичиковъ о балахъ вообще: но, кажется, сюда вмѣшалась другая причина негодованья. Главная досада была не на балъ, а на то, что случилось ему оборваться, что онъ вдругъ показался предъ всѣми, Богъ знаетъ, въ какомъ видѣ, что сыгралъ какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши окомъ благоразумнаго человѣка, онъ видѣлъ, что все это вздоръ, что глупое слово ничего не значитъ, особливо теперь, когда главное дѣло уже обдѣлано, какъ слѣдуетъ. Но—страненъ человѣкъ: его огорчало сильно нерасположенье тѣхъ самыхъ, которыхъ онъ не уважалъ и насчетъ которыхъ отзывался рѣзко, понося ихъ суетность и наряды. Это тѣмъ болѣе было ему досадно, что, разобравши дѣло ясно, онъ видѣлъ, какъ причиной этого былъ отчасти самъ. На себя, однакоже, онъ не разсердился, и въ томъ, конечно, былъ правъ. Всѣ мы имѣемъ маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше пріискать какого-

нибудь ближняго, на комъ бы выместить свою досаду, напримѣръ, на слугѣ, на чиновникѣ, намъ подвѣдомственномъ, который въ пору подвернулся, на женѣ, или, наконецъ, на стулѣ, который швырнется, чортъ знаетъ, куда, къ самымъ дверямъ, такъ что отлетитъ отъ него ручка и спинка,—пусть, молъ, его знаетъ, что такое гнѣвъ. Такъ и Чичиковъ скоро нашелъ ближняго, который потащилъ на плечахъ своихъ все, что только могла внушить ему досада. Ближній этотъ былъ Ноздревъ, и, нечего сказать, онъ былъ такъ отдѣланъ со всѣхъ боковъ и сторонъ, какъ развѣ только какой-нибудь плутъ-староста или ямщикъ бываетъ отдѣланъ какимъ-нибудь ѣзжалымъ, опытнымъ капитаномъ, а иногда и генераломъ, который, сверхъ многихъ выраженій, сдѣлавшихся классическими, прибавляетъ еще много неизвѣстныхъ, которыхъ изобрѣтеніе принадлежитъ ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многіе изъ членовъ его фамиліи въ восходящей линіи сильно потерпѣли.

Но въ продолженіе того, какъ онъ сидѣлъ въ жесткихъ своихъ креслахъ, тревожимый мыслями и безсонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и передъ нимъ теплилась сальная свѣчка, которой свѣтильня давно уже накрылась нагорѣвшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядѣла ему въ окна слѣпая, темная ночь, готовая посинѣть отъ приближавшагося разсвѣта, и пересвистывались вдали отдаленные пѣтухи, и въ совершенно заснувшемъ городѣ, можетъ-быть, плелась гдѣ-нибудь фризовая шинель, горемыка, неизвѣстно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишкомъ протертую русскимъ забубеннымъ народомъ дорогу,—въ это время на другомъ концѣ города происходило событіе, которое готовилось увеличить непріятность положенія нашего героя. Именно, въ отдаленныхъ улицахъ и закоулкахъ города дребезжалъ весьма странный экипажъ, наводившій недоумѣніе насчетъ своего названія. Онъ не былъ похожъ ни на тарантасъ, ни на коляску, ни на бричку, а былъ скорѣе похожъ на толстощекій выпуклый арбузъ, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то-есть дверцы, носившія слѣды желтой краски, затворялись очень плохо, по причинѣ плохого состоянія ручекъ и замковъ, кое-какъ связанныхъ веревками. Арбузъ былъ наполненъ ситцевыми подушками въ видѣ кисетовъ, валиковъ и, просто, подушекъ, напичканъ мѣшками съ хлѣбами, калачами, кокурками скородумками и кренделями изъ заварного тѣста. Пирогъ-курникъ и пирогъ-разсольникъ выглядывали даже наверхъ. Запятки были заняты лицомъ лакейскаго происхожденія, въ курткѣ изъ домашней пеструшки, съ небритой бородою, подернутой легкой просѣдью,—лицо извѣстное подъ именемъ *малаго*. Шумъ и визгъ отъ желѣзныхъ скобокъ и ржавыхъ винтовъ разбудили на другомъ концѣ города будочника, который, поднявъ свою алебарду, закричалъ спросонья, что

стало мочи: «кто идетъ?», но, увидѣвъ, что никто не шелъ, а слышалось только издали дребезжанье, поймалъ у себя на воротникѣ какого-то звѣря и, подошедъ къ фонарю, казнилъ его тутъ же у себя на ногтѣ, послѣ чего, оставивши алебарду, опять заснулъ, по уставамъ своего рыцарства. Лошади то и дѣло падали на переднія колѣнки, потому что не были подкованы, и притомъ, какъ видно, покойная городская мостовая была имъ мало знакома. Колымага, сдѣлавши нѣсколько поворотовъ изъ улицы въ улицу, наконецъ, поворотила въ темный переулокъ мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычкахъ и остановилась предъ воротами дома протопопши. Изъ брички вылѣзла дѣвка съ платкомъ на головѣ, въ тѣлогрѣйкѣ, и хватила обоими кулаками въ ворота такъ сильно, хоть бы и мужчинѣ (малый въ курткѣ изъ пеструшки былъ уже потомъ стащенъ за ноги, ибо спалъ мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись, наконецъ, проглотили, хотя съ большимъ трудомъ, это неуклюжее дорожное произведеніе. Экипажъ въѣхалъ въ тѣсный дворъ, заваленный дровами, курятниками и всякими клѣтухами; изъ экипажа вылѣзла барыня: эта барыня была помѣщица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка, вскорѣ послѣ отъѣзда нашего героя, въ такое пришла безпокойство насчетъ могущаго произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, рѣшилась ѣхать въ городъ,—несмотря на то, что лошади не были подкованы,—и тамъ узнать навѣрно, почемъ ходятъ мертвыя души и ужъ не промахнулась ли она, Боже сохрани, продавъ ихъ, можетъ-быть, въ-три-дешева. Какое произвело слѣдствіе это прибытіе, читатель можетъ узнать изъ одного разговора, который произошелъ между однѣми двумя дамами. Разговоръ сей... но пусть лучше сей разговоръ будетъ въ слѣдующей главѣ.

ГЛАВА IX.

Поутру, ранѣе даже того времени, которое назначено въ N для визитовъ, изъ дверей оранжеваго деревяннаго дома, съ мезониномъ и голубыми колоннами, выпорхнула дама въ клѣтчатомъ щегольскомъ клокѣ, сопровождаемая лакеемъ въ шинели съ нѣсколькими воротниками и золотымъ галуномъ на круглой лощеной шляпѣ. Дама вспорхнула въ тотъ же часъ съ необыкновенною поспѣшностью по откинутымъ ступенькамъ въ стоявшую у подъѣзда коляску. Лакей тутъ же захлопнулъ даму дверцами, закидалъ ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричалъ кучеру: «Пошелъ!» Дама везла только-что услышанную новость и чувствовала побужденіе непреодолимое скорѣе сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она изъ окна и видѣла, къ несказанной досадѣ, что все еще остается полдороги. Всякій домъ казался ей длиннѣе обыкновеннаго; бѣлая каменная богадѣльня съ узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, такъ что она наконецъ не вытерпѣла не сказать: «Проклятое строеніе, и конца

дурь почище сна. Поздно уже, почти въ сумерки, возвратился онъ къ себѣ въ гостиницу, изъ которой было вышелъ въ такомъ хорошемъ расположеніи духа, и отъ скуки велѣлъ подать себѣ чаю. Въ задумчивости и въ какомъ-то безсмысленномъ разсужденіи о странности положенія своего, сталъ онъ разливать чай, какъ вдругъ отворилась дверь его комнаты и предсталъ Ноздревъ никакъ неожиданнымъ образомъ.

«Вотъ говоритъ пословица: *для друга семь верстъ не околица!*» говорилъ онъ, снимая картузъ: «прохожу мимо, вижу, свѣтъ въ окнѣ. «Дай», думаю себѣ, «зайду! вѣрно, не спитъ». А! вотъ хорошо, что у тебя на столѣ чай, выпью съ удовольствіемъ чашечку: сегодня за обѣдомъ объѣлся всякой дряни, чувствую, что ужъ начинается въ желудкѣ возня. Прикажи-ка мнѣ набить трубку! Гдѣ твоя трубка?»

«Да вѣдь я не курю трубки», сказалъ сухо Чичиковъ.

«Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! какъ-бишь зовутъ твоего человѣка? Эй, Вахрамѣй, послушай!»

«Да не Вахрамѣй, а Петрушка!»

«Какъ же? да у тебя вѣдь прежде былъ Вахрамѣй?»

«Никакого не было у меня Вахрамѣя».

«Да, точно, это у Деребина Вахрамѣй. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась съ сыномъ за то, что женился на крѣпостной, и теперь записала ему все имѣнье. Я думаю себѣ, вотъ если бы этакую тетку имѣть для дальнѣйшихъ! Да что ты, братъ, такъ отдалился отъ всѣхъ, нигдѣ не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занятъ иногда учеными предметами, любишь читать (ужъ почему Ноздревъ заключилъ, что герой нашъ занимается учеными предметами и любитъ почитать, этого, признаемся, мы никакъ не можемъ сказать, а Чичиковъ и того менѣе). Ахъ, братъ, Чичиковъ! если бы ты только увидалъ... вотъ ужъ, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова былъ сатирическій умъ—это тоже неизвѣстно). Вообрази, братъ, у купца Лихачева играли въ горку,—вотъ ужъ гдѣ смѣхъ былъ! Перепендевъ, который былъ со мною: «Вотъ», говоритъ, «если бы теперь Чичиковъ, ужъ вотъ бы ему точно!..» (между тѣмъ Чичиковъ отъ роду не зналъ никакого Перепендева). А вѣдь признайся, братъ, вѣдь ты, право, преподло поступилъ тогда со мною, помнишь, какъ играли въ шашки? Вѣдь я выигралъ... Да, братъ, ты, просто, поддедюлилъ меня. Но вѣдь я, чортъ меня знаетъ, никакъ не могу сердиться. Намедни съ предсѣдателемъ... Ахъ, да! я вѣдь тебѣ долженъ сказать, что въ городѣ всѣ противъ тебя. Они думаютъ, что ты дѣлаешь фальшивыя бумажки, пристали ко мнѣ, да я за тебя горой—наговорилъ имъ, что съ тобой учился и отца зналъ; ну, и, ужъ нечего говорить, слилъ имъ пулю порядочную».

«Я дѣлаю фальшивыя бумажки?»—вскрикнулъ Чичиковъ, приподнявшись со стула.

«Зачѣмъ ты, однакожъ, такъ напугалъ ихъ?—продолжалъ Ноздревъ. «Они, чортъ знаетъ, съ ума сошли со страху: нарядили тебя въ разбойники и въ шпіоны... А прокуроръ съ испугу умеръ; завтра будетъ погребеніе. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся новаго генералъ-губернатора, чтобы изъ-за тебя чего нибудь не вышло; а я насчетъ генералъ-губернатора такого мнѣнія, что если онъ подыметъ носъ и заважничаетъ, то съ дворянствомъ рѣшительно ничего не сдѣлаетъ. Дворянство требуетъ радушія: не правда ли? Конечно, можно запрятаться къ себѣ въ кабинетъ и не дать ни одного бала, да вѣдь этимъ что-жъ? Вѣдь этимъ ничего не выиграешь. А вѣдь ты, однакожъ, Чичиковъ рискованное дѣло затѣялъ».

«Какое рискованное дѣло?»—спросилъ безпокойно Чичиковъ. «Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждалъ этого, ей Богу, ждалъ! Въ первый разъ, какъ только увидѣлъ васъ вмѣстѣ на балѣ: «Ну, ужъ», думаю себѣ, «Чичиковъ, вѣрно, не даромъ...» Впрочемъ, напрасно ты сдѣлалъ такой выборъ: я ничего въ ней не нахожу хорошаго. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, такъ вотъ ужъ дѣвушка! можно сказать: чудо коленкоръ!»

«Да что ты, что ты путаешь? Какъ увезти губернаторскую дочку? что ты?»—говорилъ Чичиковъ, выпуча глаза.

«Ну, полно, братъ: экой скрытный человѣкъ! Я, признаюсь, къ тебѣ съ тѣмъ пришелъ: изволь, я готовъ тебѣ помогать. Такъ и быть: подержу вѣнецъ тебѣ, коляска и перемѣнныя лошади будутъ мои, только съ уговоромъ: ты долженъ мнѣ дать три тысячи взаймы. Нужны, братъ, хоть зарѣжь!»

Въ продолженіе всей болтовни Ноздрева, Чичиковъ протиралъ нѣсколько разъ себѣ глаза, желая увѣриться, не во снѣ ли онъ все это слышитъ. Дѣлатель фальшивыхъ ассигнацій, увозъ губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы онъ, пріѣздъ генералъ-губернатора,—все это навело на него порядочный испугъ. «Ну, ужъ коли пошло на то»,—подумалъ онъ самъ въ себѣ,—«такъ мѣшкать болѣе нечего, нужно отсюда убираться поскорѣй».

Онъ постарался сбыть поскорѣе Ноздрева, призвалъ къ себѣ тотъ же часъ Селифана и велѣлъ ему быть готовымъ на зарѣ, съ тѣмъ, чтобы завтра же въ 6 часовъ утра выѣхать изъ города непремѣнно, чтобы все было пересмотрѣно, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифанъ произнесъ: «Слушаю, Павелъ Ивановичъ», и остановился, однакожъ, нѣсколько времени у дверей, не двигаясь съ мѣста. Баринъ тутъ же велѣлъ Петрушкѣ выдвинуть изъ-подъ кровати чемоданъ, покрывшійся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вмѣстѣ съ нимъ, безъ большого разбора, чулки, рубашки, бѣлье, мытое и немытое, сапожныя колодки, календарь... Все, это укладывалось, какъ попало: онъ хотѣлъ непремѣнно быть готовымъ съ вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифанъ, постоявши

минуты двѣ у дверей, наконецъ очень медленно вышелъ изъ комнаты. Медленно, какъ только можно вообразить себѣ медленно, спускался онъ съ лѣстницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами слѣды по сходившимъ внизъ избитымъ ступенямъ, и долго почесывалъ у себя рукою въ затылкѣ. Что означало это почесыванье? и что, вообще, оно значитъ? Досада ли на то, что вотъ не удалась задуманная назавтра сходка съ своимъ братомъ въ неприглядномъ тулупѣ, опоясанномъ кушакомъ, гдѣ-нибудь во царевомъ кабакѣ; или уже завязалась въ новомъ мѣстѣ какая зазнобушка сердечная, и приходится оставлять вечернее стоянье у воротъ и политичное держанье за бѣлы ручки въ тотъ часъ, какъ нахлобучиваются на городъ сумерки, дѣтина въ красной рубахѣ бренчитъ на балалайкѣ передъ дворовой челядью, и плететъ тихія рѣчи разночинный, отработавшійся народъ? или, просто, жаль оставлять отогрѣтое уже мѣсто на людской кухнѣ подъ тулупомъ, близъ печи, да щей съ городскимъ мягкимъ пирогомъ, съ тѣмъ, чтобы вновь тащиться подъ дождь и слякоть и всякую дорожную непогоду? Богъ вѣсть,—не угадаешь. Многое разное значитъ у русскаго народа почесыванье въ затылкѣ.

ГЛАВА XI.

Ничто, однакоже, не случилось такъ, какъ предполагалъ Чичиковъ. Во-первыхъ, проснулся онъ позже, нежели думалъ—это была первая непріятность. Вставши, онъ послалъ тотъ же часъ узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово—это была вторая непріятность. Онъ разсердился, приготовился даже задать что-то въ родѣ потасовки пріятелю нашему Селифану и ожидалъ только съ нетерпѣніемъ, какую тотъ съ своей стороны приведетъ причину въ оправданіе. Скоро Селифанъ показался въ дверяхъ, и баринъ имѣлъ удовольствіе услышать тѣ же самыя рѣчи, какія обыкновенно слышатся отъ прислуги, въ такомъ случаѣ, когда нужно скоро ѣхать.

«Да вѣдь, Павелъ Ивановичъ, нужно будетъ лошадей ковать».

«Ахъ, ты, чушка! чурбанъ! а прежде зачѣмъ объ этомъ не сказалъ? Не было развѣ времени?»

«Да время-то было... Да вотъ и колесо тоже, Павелъ Ивановичъ, шину нужно будетъ совсѣмъ перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой вездѣ пошелъ... Да если позволите доложить: передъ у брички совсѣмъ расшатался, такъ что она, можетъ-быть, и двухъ станцій не сдѣлаетъ».

«Подлецъ ты!»—вскрикнулъ Чичиковъ, всплеснувъ руками, и подошелъ къ нему такъ близко, что Селифанъ изъ боязни, чтобы не получить отъ барина подарка, попятился нѣсколько назадъ и посторонился.

«Убить ты меня собрался? а? зарѣзать меня хочешь? На большой дорогѣ меня собрался зарѣзать, разбойникъ, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недѣли сидѣли на мѣстѣ, а? Хоть бы заикнулся, безпутный, а вотъ теперь къ послѣднему часу и пригналъ! Когда ужъ почти на чеку: сѣсть бы да и ѣхать, а? а ты вотъ тутъ-то и напакостилъ, а? а? Вѣдь ты зналъ это прежде? Вѣдь ты зналъ это, а? а? Отвѣчай. Зналъ? а?»

«Зналъ»,—отвѣчалъ Селифанъ, потупивши голову.

«Ну, такъ зачѣмъ же тогда не сказалъ, а?»

На этотъ вопросъ Селифанъ ничего не отвѣчалъ, но, потупивши голову, казалось, говорилъ самъ себѣ: «Вишь ты, какъ оно мудрено случилось: и зналъ вѣдь, да не сказалъ!»

«А вотъ теперь ступай, приведи кузнеца, да чтобъ въ два часа все было сдѣлано. Слышишь? непремѣнно въ два часа; а если не будетъ, такъ я тебя, я тебя... въ рогъ согну и узломъ завяжу!» Герой нашъ былъ сильно разсерженъ.

Селифанъ оборотился было къ дверямъ съ тѣмъ, чтобъ идти выполнить приказаніе, но остановился и сказалъ: «Да еще, сударь, чубараго коня, право, хоть бы продать, потому что онъ, Павелъ Ивановичъ совсѣмъ подлецъ; онъ—такой конь, просто, не приведи Богъ, только помѣха».

«Да! вотъ пойду, побѣгу на рынокъ продавать!»

«Ей Богу, Павелъ Ивановичъ, онъ только что на видъ казистый, а на дѣлѣ самый лукавый конь: такого коня нигдѣ...»

«Дуракъ! Когда захочу продать, такъ продамъ. Еще пустился въ разсужденья! Вотъ посмотрю я: если ты мнѣ не приведешь сейчасъ кузнецовъ, да въ два часа не будетъ все готово, такъ я тебѣ такую дамъ потасовку... самъ на себѣ лица не увидишь! Пошелъ! ступай!» Селифанъ вышелъ.

Чичиковъ сдѣлался совершенно не въ духѣ и швырнулъ на полъ саблю, которая ѣздила съ нимъ въ дорогѣ для внушенія надлежащаго страха, кому слѣдуетъ. Около четверти часа слишкомъ провозился онъ съ кузнецами, покамѣстъ сладилъ, потому что кузнецы, какъ водится, были отъявленные подлецы, и смекнувъ, что работа нужна къ спѣху, заломили ровно вшестеро. Какъ онъ ни горячился, называлъ ихъ мошенниками, разбойниками, грабителями проѣзжающихъ, намекнулъ даже на страшный судъ, но кузнецовъ ничѣмъ не пронялъ: они совершенно выдержали характеръ: не только не отступились отъ цѣны, но даже провозились за работой, вмѣсто двухъ часовъ, цѣлыхъ пять съ половиною. Въ продолженіе этого времени онъ имѣлъ удовольствіе испытать пріятныя минуты, извѣстныя всякому путешественнику, когда въ чемоданѣ все уложено и въ комнатѣ валяются только веревочки, бумажки, да разный соръ, когда человѣкъ не принадлежитъ ни къ дорогѣ, ни къ сидѣнью на мѣстѣ, видитъ изъ окна проходящихъ,

плетущихся людей, толкующихъ объ своихъ гривнахъ и съ какимъ-то глупымъ любопытствомъ поднимающихъ глаза, чтобы, взглянувъ на него, опять продолжать свою дорогу, что еще болѣе растравлятъ нерасположеніе духа бѣднаго нѣдущаго путешественника. Все, что ни есть, все, что ни видитъ онъ: и лавчонка противъ его оконъ, и голова старухи, живущей въ супротивномъ домѣ, подходящей къ окну съ коротенькими занавѣсками,—все ему гадко, однакоже онъ не отходитъ отъ окна. Стоитъ, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное вниманіе на все, что передъ нимъ движется и не движется, и душитъ съ досады какую-нибудь муху, которая въ это время жужжитъ и бьется объ стекло подъ его пальцемъ. Но всему бываетъ конецъ, и желанная минута настала: все было готово, передъ у брички, какъ слѣдуетъ, былъ налаженъ, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены съ водопоя, и разбойники-кузнецы отправились, пересчитавъ полученные цѣлковые и пожелавъ благополучія. Наконецъ, и бричка была заложена, и два горячіе калача, только-что купленные, положены туда, и Селифанъ уже засунулъ кое-что для себя въ карманъ, бывшій у кучерскихъ козелъ, и самъ герой, наконецъ, при взмахиваніи картузомъ полового, стоявшаго въ томъ же демикотоновомъ сюртукѣ, при трактирныхъ и чужихъ лакеяхъ и кучерахъ, собравшихся позѣвать, какъ выѣзжаетъ чужой баринъ, и при всякихъ другихъ обстоятельствахъ, сопровождающихъ выѣздъ, сѣлъ въ экипажъ,—и бричка, въ которой ѣздятъ холостяки, которая такъ долго застоялась съ городѣ и такъ, можетъ-быть, надоѣла читателю, наконецъ выѣхала изъ воротъ гостиницы. «Слава же, Господи!» подумалъ Чичиковъ, и перекрестился. Селифанъ хлыснулъ кнутомъ, къ нему подсѣлъ сперва повисѣвшій нѣсколько времени на подножкѣ Петрушка, и герой нашъ, усѣвшись получше на грузинскомъ коврикѣ, заложилъ за спину себѣ кожаную подушку, притиснулъ два горячіе калача, и экипажъ пошелъ опять подплясывать и покачиваться, благодаря мостовой, которая, какъ извѣстно, имѣла подкидывающую силу. Съ какимъ-то неопредѣленнымъ чувствомъ глядѣлъ онъ на дома, стѣны, заборъ и улицы, которые также, съ своей стороны, какъ будто подскакивая, медленно уходили назадъ, и которые, Богъ знаетъ, судила ли ему участь увидѣть еще когда-либо въ продолженіе своей жизни. При поворотѣ въ одну изъ улицъ, бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ея проходила безконечная погребальная процессія. Чичиковъ, высунувшись, велѣлъ Петрушкѣ спросить, кого хоронятъ, и узналъ, что хоронятъ прокурора. Исполненный непріятныхъ ощущеній, онъ тотъ же часъ спрятался въ уголъ, закрылъ себя кожею и задернулъ занавѣски. Въ это время, когда экипажъ былъ такимъ образомъ остановленъ, Селифанъ и Петрушка, набожно снявши шляпу, разсматривали, кто, какъ, въ чемъ и на чемъ ѣхалъ, считая числомъ, сколько было всѣхъ и пѣшихъ и ѣхавшихъ, а баринъ, приказавши имъ не призна-

ваться и не кланяться никому изъ знакомыхъ лакеевъ, тоже принялся разсматривать робко сквозь стеклышка, находившіяся въ кожаныхъ занавѣскахъ. За гробомъ шли, снявши шляпы, всѣ чиновники. Онъ началъ было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа; но имъ было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какіе обыкновенно, ведутъ между собою провожающіе покойника. Всѣ мысли ихъ были сосредоточены въ это время въ самихъ себѣ: они думали, каковъ-то будетъ новый генералъ-губернаторъ, какъ возьмется за дѣло и какъ приметъ ихъ. За чиновниками, шедшими пѣшкомъ, слѣдовали кареты, изъ которыхъ выглядывали дамы въ траурныхъ чепцахъ. По движеніямъ губъ и рукъ ихъ видно было, что онѣ были заняты живымъ разговоромъ; можетъ-быть, онѣ тоже говорили о пріѣздѣ новаго генералъ-губернатора и дѣлали предположеніе насчетъ баловъ, какіе онъ дастъ, и хлопотали о бѣлыхъ своихъ фестончикахъ и нашивочкахъ. Наконецъ, за каретами слѣдовали нѣсколько пустыхъ дрожекъ, вытянувшихся гуськомъ, наконецъ и ничего уже не осталось, и герой намъ могъ ѣхать. Открывши кожаныя занавѣски, онъ вздохнулъ, произнесши отъ души: «Вотъ, прокуроръ! жилъ-жилъ, а потомъ и умеръ! И вотъ напечатаютъ въ газетахъ, что скончался, къ прискорбію подчиненныхъ и всего человѣчества, почтенный гражданинъ, рѣдкій отецъ, примѣрный супругъ, и много напишутъ всякой всячины; прибавятъ, пожалуй, что былъ сопровождаемъ плачемъ вдовъ и сиротъ; а вѣдь если разобрать хорошенько дѣло, такъ на повѣрку, у тебя всего только и было, что густыя брови». Тутъ онъ приказалъ Селифану ѣхать поскорѣе и между тѣмъ продумалъ про себя: «Это, однакожъ, хорошо, что встрѣтились похороны, говорятъ: значитъ счастіе, если встрѣтишь покойника».

Бричка между тѣмъ поворотила въ болѣе пустынныя улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвѣщавшіе конецъ города. Вотъ уже и мостовая кончилась, и шлагбаумъ, и городъ назади, и ничего нѣтъ—и опять въ дорогѣ. И опять по обѣимъ сторонамъ столбового пути пошли вновь писать версты, станціонные смотрители, колодцы, обозы, сѣрыя деревни съ самоварами, бабами и бойкимъ бородатымъ хозяиномъ, бѣгущимъ изъ постоялаго двора съ овсомъ въ рукѣ; пѣшеходъ въ протертыхъ лаптяхъ, плетущійся за 800 верстъ; городишки, выстроенные живьемъ, съ деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядныя и по ту сторону, и по другую, помѣщичьи рыдваны, солдатъ верхомъ на лошади, везущій зеленый ящикъ съ свинцовымъ горохомъ и подписью: «такой-то артиллерійской батареи», зеленыя, желтыя и свѣже-разрытыя черныя полосы, мелькающія по степямъ, затянутая вдали пѣсня, сосновыя верхушки въ туманѣ, пропадающій далече колокольный звонъ, вороны, какъ мухи, и горизонтъ безъ конца... Русь! Русь! вижу тебя,

изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бѣдно, разбросанно и непріютно въ тебѣ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, вѣнчанныя дерзкими дивами искусства,—города съ многооконными, высокими дворцами, вросшими въ утесы, картинныя дерева и плющи, вросшіе въ домы, въ шумѣ и въ вѣчной пыли водопадовъ; не опрокинется назадъ голова посмотрѣть на громоздящіяся безъ конца надъ нею и въ вышинѣ каменныя глыбы; не блеснутъ сквозь наброшенныя одна на другую темныя арки, опутанныя виноградными сучьями, плющами и несмѣтными милліонами дикихъ розъ, не блеснутъ сквозь нихъ вдали вѣчныя линіи сіяющихъ горъ, несущихся въ серебряныя, ясныя небеса. Открыто-пустынно и ровно все въ тебѣ; какъ точки, какъ значки, непримѣтно торчатъ среди равнинъ невысокіе твои города: ничто не обольститъ и не очаруетъ взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечетъ къ тебѣ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинѣ и ширинѣ твоей, отъ моря до моря, пѣсня? Что въ ней, въ этой пѣснѣ? Что зоветъ и рыдаетъ и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болѣзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты такъ, и зачѣмъ все, что ни есть въ тебѣ, обратило на меня полныя ожиданія очи?.. И еще, полный недоумѣнія, неподвижно стою я, а уже главу осѣнило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онѣмѣла мысль предъ твоимъ пространствомъ. Что пророчитъ сей необъятной просторъ? Здѣсь ли, въ тебѣ ли, не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему? И грозно объемлетъ меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубинѣ моей; неестественной властью освѣтились мои очи... У, какая сверкающая, чудная, незнакомая землѣ даль! Русь!..

«Держи, держи, дуракъ!»—кричалъ Чичиковъ Селифану.

«Вотъ я тебя палашомъ!»—кричалъ скакавшій навстрѣчу фельдъегерь, съ усами въ аршинъ. «Не видишь, лѣшій дери твою душу, казенный экипажъ!» И, какъ призракъ, исчезнула съ громомъ и пылью тройка.

Какое страннос, и манящее, и несущее, и чудесное въ словѣ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенніе листья, холодный воздухъ... покрѣпче въ дорожную шинель, шапку на уши тѣснѣй и уютнѣй прижмемся къ углу! Въ послѣдній разъ пробѣжав, шая дрожь прохватила члены, и уже смѣнила ее пріятная теплота... Кони мчатся... Какъ соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сонъ слышатся: и «Не бѣлы снѣги», и сапъ лошадей, и шумъ колесъ, и уже храпишь, прижавши къ углу своего сосѣда. Проснулся—пять станцій убѣжало назадъ; луна; невѣдомый городъ: церкви со старинными деревянными куполами и чернѣющими остро-

конечьями; темные бревенчатые и бѣлые каменные дома; сіяніе мѣсяца тамъ и тамъ: будто бѣлые полотняные платки развѣшались по стѣнамъ, по мостовой, по улицамъ; косяками пересѣкаютъ ихъ черныя, какъ уголь, тѣни; подобно сверкающему металлу, блистаютъ вкось озаренныя деревянныя крыши; и нигдѣ ни души: все спитъ. Одинъ-одинешенекъ, развѣ гдѣ-нибудь въ окошкѣ брезжитъ огонекъ: мѣщанинъ ли городской тачаетъ свою пару сапоговъ, пекарь ли возится въ печуркѣ—что до нихъ? А ночь!.. Небесныя силы! какая ночь совершается въ вышинѣ! А воздухъ, а небо, далекое, высокое, тамъ, въ недоступной глубинѣ своей, такъ необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышитъ свѣжо въ самыя очи холодное ночное дыханіе и убаюкиваетъ тебя, и вотъ уже дремлешь и забываешься, и храпишь—и ворочается сердито, почувствовавъ на себѣ тяжесть, бѣдный, притиснутый въ углу сосѣдъ. Проснулся—и уже опять передъ тобою поля и степи; нигдѣ ничего: вездѣ пустырь, все открыто. Верста съ цифрой летитъ тебѣ въ очи; занимается утро; на побѣлѣвшемъ холодномъ небосклонѣ золотая блѣдная полоса; свѣжѣе и жестче становится вѣтеръ: покрѣпче въ теплую шинель!.. Какой славный холодъ! какой чудный, вновь обнимающій тебя сонъ! Толчокъ—и опять проснулся. На вершинѣ неба солнце. «Полегче! легче!» слышится голосъ; телѣга спускается съ кручи; внизу плотина широкая и широкій ясный прудъ, сіяющій, какъ мѣдное дно, передъ солнцемъ; деревня, избы разсыпались на косогорѣ; какъ звѣзда, блеститъ въ сторонѣ крестъ сельской церкви; болтовня мужиковъ, и невыносимый аппетитъ въ желудкѣ... Боже! какъ ты хороша подчасъ далекая, далекая дорога! Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось въ тебѣ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, сколько перечувствовалось дивныхъ впечатлѣній!.. Но и другъ нашъ Чичиковъ чувствовалъ въ это время не вовсе прозаическія грезы. А посмотримъ, что онъ чувствовалъ. Сначала онъ не чувствовалъ ничего и поглядывалъ только назадъ, желая увѣриться, точно ли выѣхалъ изъ города; но когда увидѣлъ, что городъ уже давно скрылся, ни кузницъ, ни мельницъ, ни всего того, что находится вокругъ городовъ, не было видно, и даже бѣлыя верхушки каменныхъ церквей давно ушли въ землю, онъ занялся только одной дорогою, посматривалъ только направо и налѣво, и городъ N какъ будто не бывалъ въ его памяти, какъ будто проѣзжалъ онъ его давно, въ дѣтствѣ. Наконецъ, и дорога перестала занимать его, и онъ сталъ слегка закрывать глаза и склонять голову къ подушкѣ. Авторъ, признается, этому даже радъ, находя такимъ образомъ, случай поговорить о своемъ героѣ, ибо доселѣ, какъ читатель видѣлъ, ему безпрестанно мѣшали то Ноздревъ, то балы, то дамы, то городскія сплетни, то, наконецъ, тысячи тѣхъ мелочей, которыя кажутся только тогда мелочами, когда внесены въ книгу, а покамѣстъ обращаются въ свѣтѣ, по-

читаются за весьма важныя дѣла. Но теперь отложимъ совершенно все въ сторону и прямо займемся дѣломъ.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателямъ. Дамамъ онъ не понравился, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуютъ, чтобъ герой былъ рѣшительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или тѣлесное пятнышко, тогда—бѣда! Какъ глубоко ни загляни авторъ ему въ душу, хоть отрази чище зеркало его образъ, ему не дадутъ никакой цѣны. Самая полнота и среднія лѣта Чичикова много повредятъ ему: полноты ни въ какомъ случаѣ не простятъ герою, и весьма многія дамы, отворотившись, скажутъ: «Фи! такой гадкій!» Увы! все это извѣстно автору, и при всемъ тотъ онъ не можетъ взять въ герои добродѣтельнаго человѣка. Но... можетъ-быть, въ сей же самой повѣсти почуются иныя, еще доселѣ, небранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся предъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертва книга предъ живымъ словомъ! Подымутся русскія движенія... и увидятъ, какъ глубоко заронилось въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ... Но къ чему и зачѣмъ говорить о томъ, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужемъ, воспитанному суровой внутренней жизнью и свѣжительной трезвостью уединенія, забываться подобно юношѣ. Всему свой чередъ, и мѣсто, и время! А добродѣтельный человѣкъ все-таки не взятъ въ герои. И можно даже сказать, почему не взятъ. Потому что пора, наконецъ, дать отдыхъ бѣдному добродѣтельному человѣку; потому что праздно вращается на устахъ слово: *добродѣтельный человѣкъ;* потому что обратили въ лошадь добродѣтельнаго человѣка, и нѣтъ писателя, который бы не ѣздилъ на немъ, понукая и кнутомъ, и всѣмъ, чѣмъ ни попало; потому что изморили добродѣтельнаго человѣка до того, что теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались только ребра да кожа вмѣсто тѣла; потому что лицемѣрно призываютъ добродѣтельнаго человѣка; потому что не уважаютъ добродѣтельнаго человѣка. Нѣтъ, пора, наконецъ, припрячь и подлеца. Итакъ, припряжемъ подлеца!

Темно и скромно происхожденіе нашего героя. Родители его были дворяне, но столбовые или личные—Богъ вѣдаетъ. Лицомъ онъ на нихъ не походилъ; по крайней мѣрѣ, родственница, бывшая при его рожденіи, низенькая, коротенькая женщина, которыхъ обыкновенно называютъ пигалицами, взявши въ руки ребенка, вскрикнула: «Совсѣмъ вышелъ не такой, какъ я думала! Ему бы слѣдовало пойти въ бабку съ матерней стороны, что было бы и лучше, а онъ родился, просто, какъ говоритъ пословица: «*ни въ мать, ни въ отца, а въ проз-*

жаго молодца». Жизнь при началѣ взглянула на него какъ-то кисло-непріятно, сквозь какое-то мутное, занесенное снѣгомъ окошко: ни друга, ни товарища въ дѣтствѣ! Маленькая горенка съ маленькими окнами, не отворявшимися ни въ зиму, ни въ лѣто; отецъ—больной человѣкъ, въ длинномъ сюртукѣ на мерлушкахъ и въ вязаныхъ хлепанцахъ, надѣтыхъ на босую ногу, безпрестанно вздыхавшій, ходя по комнатѣ, и плевавшій въ стоявшую въ углу песочницу; вѣчное сидѣнье на лавкѣ, съ перомъ въ рукахъ, чернилами на пальцахъ и даже на губахъ; вѣчная пропись передъ глазами: «Не лги, послушествуй старшимъ и носи добродѣтель въ сердцѣ; вѣчный шаркъ и шлепанье по комнатѣ хлопанцевъ, знакомый, но всегда суровый голосъ: «опять задурилъ!» отзывавшійся въ то время, когда ребенокъ, наскуча однообразіемъ труда, придѣлывалъ къ буквѣ какую-нибудь кавыку или хвостъ; и вѣчно знакомое, всегда непріятное чувство, когда, вслѣдъ за сими словами, краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинныхъ протянувшихся сзади пальцевъ: вотъ бѣдная картина первоначальнаго его дѣтства, о которомъ едва сохранилъ онъ блѣдную память. Но въ жизни все мѣняется быстро и живо: и въ одинъ день, съ первымъ весеннимъ солнцемъ и разлившимися потоками, отецъ, взявши сына, выѣхалъ съ нимъ на телѣжкѣ, которую потащила мухортая пѣгая лошадка, извѣстная у лошадиныхъ барышниковъ подъ именемъ сороки; сю правилъ кучеръ, маленькій горбунокъ, родоначальникъ единственной крѣпостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавшій почти всѣ должности въ домѣ. На сорокѣ тащились они полтора дня слишкомъ; на дорогѣ ночевали, переправлялись черезъ рѣку, закусывали холоднымъ пирогомъ и жареною бараниною, и только на третій день утромъ добрались до города. Передъ мальчикомъ блеснули нежданнымъ великолѣпіемъ городскія улицы, заставившія его на нѣсколько минутъ разинуть ротъ. Потомъ сорока бултыхнула вмѣстѣ съ телѣжкою въ яму, которою начинался узкій переулокъ, весь стремившійся внизъ и запруженный грязью; долго работала она тамъ всѣми силами и мѣсила ногами, подстрекаемая и горбуномъ, и самимъ бариномъ, и наконецъ втащила ихъ въ небольшой дворикъ, стоявшій на косогорѣ, съ двумя расцвѣтшими яблонями предъ старенькимъ домикомъ и садикомъ позади его, низенькимъ, маленькимъ, состоявшимъ только изъ рябины, бузины и скрывавшейся во глубинѣ ея деревянной будочки, крытой драньемъ, съ узенькимъ матовымъ окошечкомъ. Тутъ жила родственница ихъ, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынокъ и сушившая потомъ чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щекѣ и полюбовалась его полнотою. Тутъ долженъ былъ онъ остаться и ходить ежедневно въ классы городского училища. Отецъ, переночевавши, на другой же день выбрался въ дорогу. При разставаніи, слезъ не было пролито изъ родительскихъ глазъ; дана была полтина мѣди на

расходъ и лакомства, и что гораздо важнѣе, умное наставленіе: «Смотри же, Павлуша: учись, не дури и не повѣсничай, а больше всего— угождай учителямъ и начальникамъ. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и въ наукѣ не успѣешь, и таланту Богъ не далъ, все пойдешь въ ходъ и всѣхъ опередишь. Съ товарищами не водись: они тебя добру не научатъ; а если ужъ пошло на то, такъ водись съ тѣми, которые побогаче, чтобы при случаѣ могли быть тебѣ полезными. Не угощай и не потчивай никого, а веди себя лучше такъ, чтобъ тебя угощали, а больше всего береги и копи копѣйку: эта вещь надежнѣе всего на свѣтѣ. Товарищъ или пріятель тебя надуетъ и въ бѣдѣ первый тебя выдастъ, а копѣйка не выдастъ, въ какой бы бѣдѣ ты ни былъ. Все сдѣлаешь и все прошибешь на свѣтѣ копѣйкой». Давши такое наставленіе, отецъ разстался съ сыномъ и потащился вновь домой на своей сорокѣ, и съ тѣхъ поръ уже никогда онъ больше его не видѣлъ; но слова и наставленія заронились глубоко ему въ душу.

Павлуша съ другого же дня принялся ходить въ классы. Особенныхъ способностей къ какой-нибудь наукѣ въ немъ не оказалось; отличился онъ больше прилежаніемъ и опрятностію; но зато оказался въ немъ большой умъ съ другой стороны—со стороны практической. Онъ вдругъ смекнулъ и понялъ дѣло, и повелъ себя въ отношеніи къ товарищамъ точно такимъ образомъ, что они его угощали, а онъ ихъ не только никогда, но даже иногда, припрятавъ полученное угощенье, потомъ продавалъ имъ же. Еще ребенкомъ, онъ умѣлъ уже отказать себѣ во всемъ. Изъ данной отцомъ полтины не издержалъ ни копѣйки, напротивъ, въ тотъ же годъ уже сдѣлалъ къ ней приращенія, показавъ оборотливость почти необыкновенную: слѣпилъ изъ воску снѣгиря, выкрасилъ его и продалъ очень выгодно. Потомъ, въ продолженіе нѣкотораго времени, пустился на другія спекуляціи, именно вотъ какія: накупивши на рынкѣ съѣстного, садился въ классѣ возлѣ тѣхъ, которые были побогаче, и какъ только замѣчалъ, что товарища начинало тошнить,—признакъ наступающаго голода,—онъ высовывалъ ему изъ-подъ скамьи, будто невзначай, уголъ пряника или булки, и, раззадоривши его, бралъ деньги, соображаясь съ аппетитомъ. Два мѣсяца онъ провозился у себя на квартирѣ безъ отдыха около мыши, которую засадилъ въ маленькую деревянную клѣточку, и добился, наконецъ, до того, что мышь становилась на заднія лапки, ложилась и вставала по приказу, и продалъ потомъ ее тоже очень выгодно. Когда набралось денегъ до пяти рублей, онъ мѣшочекъ зашилъ и сталъ копить въ другой. Въ отношеніи къ начальству онъ повелъ себя еще умнѣе. Сидѣть на лавкѣ никто не умѣлъ такъ смирно. Надобно замѣтить, что учитель былъ большой любитель тишины и хорошаго поведенія и терпѣть не могъ умныхъ и острыхъ мальчиковъ: ему казалось, что они непремѣнно должны надъ нимъ смѣяться. Достаточно было тому, который попалъ на замѣчаніе со стороны остроумія, достаточно

было ему только пошевелиться или какъ-нибудь ненарокомъ мигнуть бровью, чтобы подпасть вдругъ подъ гнѣвъ. Онъ его гналъ и показывалъ немилосердно. «Я, братъ, изъ тебя выгоню заносчивость и непокорность!» говорилъ онъ: «я тебя знаю насквозь, какъ ты самъ не знаешь. Вотъ ты у меня постоишь на колѣняхъ! ты у меня поголодаешь!» И бѣдный мальчишка, самъ не зная за что, натиралъ себѣ колѣни и голодалъ по суткамъ. «Способности и дарованія—это все вздоръ!» говаривалъ онъ: «я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всѣхъ наукахъ тому, кто ни аза не знаетъ, да ведетъ себя похвально: а въ комъ я вижу дурной духъ да насмѣшливость, я тому—нуль, хотя онъ Солона заткни за поясъ!» Такъ говорилъ учитель, нѣ любившій на-смерть Крылова за то, что онъ сказалъ: «По мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй», и всегда разсказывавшій, съ наслажденіемъ въ лицѣ и въ глазахъ, какъ въ томъ училищѣ, гдѣ онъ преподавалъ прежде, такая была тишина, что слышно было, какъ муха летитъ, что ни одинъ изъ учениковъ въ теченіе круглаго года не кашлянулъ и не высморкался въ классѣ, и что до самаго звонка нельзя было узнать, былъ ли кто тамъ, или нѣтъ. Чичиковъ вдругъ постигнулъ духъ начальника и въ чемъ должно состоять поведеніе. Не шевельнулъ онъ ни глазомъ, ни бровью во все время класса, какъ ни щипали его сзади; какъ только раздавался звонокъ, онъ бросался опрометью и подавалъ учителю прежде всѣхъ треухъ (учитель ходилъ въ треухѣ); подавши треухъ, онъ выходилъ первый изъ класса и старался ему попасться раза три на дорогѣ, безпрестанно снимая шапку. Дѣло имѣло совершенный успѣхъ. Во все время пребыванія въ училищѣ былъ онъ на отличномъ счету и при выпускѣ получилъ полное удостоеніе во всѣхъ наукахъ, аттестатъ и книгу съ золотыми буквами: *за примѣрное прилежаніе и благонадежное поведеніе*. Вышедъ изъ училища, онъ очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, съ подбородкомъ, потребовавшимъ бритвы. Въ это время умеръ отецъ его. Въ наслѣдствѣ оказались четыре заношенныя безвозвратно фуфайки, два старыхъ сюртука, подбитыхъ мерлушками и незначительная сумма денегъ. Отецъ, какъ видно, былъ свѣдущъ только въ совѣтѣ копить копѣйку, а самъ на копилъ ея немного. Чичиковъ продалъ тутъ же ветхій дворишка съ ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевелъ въ городъ, располагаясь основаться въ немъ и заняться службой. Въ это же время былъ выгнанъ изъ училища, за глупость или другую вину, бѣдный учитель, любитель тишины и похвальнаго поведенія. Учитель съ горя принялся пить; наконецъ, и пить уже было ему не на что; больной, безъ куска хлѣба и помощи, пропадалъ онъ гдѣ-то въ нетопленной, забытой конуркѣ. Бывшіе ученики его, умники и остряки, въ которыхъ ему мерещилось безпрестанно непокорность и заносчивое поведеніе, узнавши объ жалкомъ его положеніи, собрали тутъ же для него деньги, продавъ даже многое нужное; одинъ только Павлуша Чичиковъ от-

говорился неимѣніемъ и далъ какой-то пятакъ серебра, который тутъ же товарищи ему бросили, сказавши: «Эхъ ты, жила!» Закрылъ лицо руками бѣдный учитель, когда услышалъ о такомъ поступкѣ бывшихъ учениковъ своихъ: слезы градомъ полились изъ погасавшихъ очей, какъ у безсильнаго дитяти. «При смерти на одрѣ привелъ Богъ заплакать», произнесъ онъ слабымъ голосомъ, и тяжело вздохнулъ, услышавъ о Чичиковѣ, прибавивъ тутъ же: «Эхъ, Павлуша! Вотъ какъ перемѣняется человѣкъ! Вѣдь какой былъ благонравный! ничего буйнаго—шелкъ! Надулъ, сильно надулъ...»

Нельзя, однакоже, сказать, чтобы природа героя нашего была такъ сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы онъ не зналъ ни жалости, ни состраданія. Онъ чувствовалъ и то, и другое; онъ бы даже хотѣлъ помочь, но только, чтобы не заключалось это въ значительной суммѣ, чтобы не трогать уже тѣхъ денегъ, которыхъ положено было не трогать; словомъ, отцовское наставленіе: «береги и копи копѣйку» пошло въ прокъ. Но въ немъ не было привязанности собственно къ деньгамъ для денегъ; имъ не владѣли скряжничество и скупость. Нѣтъ, не онѣ двигали имъ: ему мерешилась впереди жизнь во всѣхъ довольствахъ, со всякими достатками; экипажи, домъ, отлично устроенный, вкусные обѣды—вотъ что безпрерывно носилось въ головѣ его. Чтобы, наконецъ, потомъ, со временемъ, вкусить непремѣнно все это, вотъ для чего береглась копѣйка, скупо отказываемая до времени и себѣ, и другому. Когда проносился мимо его богачъ на пролетныхъ красивыхъ дрожкахъ, на рысакахъ въ богатой упряжи, онъ какъ вкопанный останавливался на мѣстѣ и потомъ, очнувшись, какъ послѣ долгаго сна, говорилъ: «А вѣдь былъ конторщикъ, волосы носилъ въ кружокъ!» И все, что ни отзывалось богатствомъ и довольствомъ, производило на него впечатлѣніе, непостижимое имъ самимъ. Вышедъ изъ училища, онъ не хотѣлъ даже отдохнуть: такъ сильно было у него желанье скорѣе приняться за дѣло и службу. Однакоже, несмотря на похвальные аттестаты, съ большимъ трудомъ опредѣлился онъ въ казенную палату: и въ дальнихъ захолустьяхъ нужна протекція! Мѣстечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорокъ рублей въ годъ. Но рѣшился онъ жарко заняться службою, все побѣдить и преодолѣть. И, точно, самоотверженіе, терпѣнье и ограниченіе нуждъ показалъ онъ неслыханное. Съ ранняго утра до поздняго вечера, не уставая ни душевными, ни тѣлесными силами, писалъ онъ, погрязнувъ весь въ канцелярскія бумаги, не ходилъ домой, спалъ въ канцелярскихъ комнатахъ на столахъ, обѣдалъ подчасъ со сторожами и при всемъ томъ умѣлъ сохранить опрятность, порядочно одѣться, сообщить лицу пріятное выраженіе и даже что-то благородное въ движеніяхъ. Надобно сказать, что палатскіе чиновники особенно отличались невзрачностію и неблагообразіемъ. У иныхъ были лица—точно дурно выпеченный хлѣбъ; щеку раздуло въ одну сторону, под-

бородокъ покосило въ другую, верхнюю губу взнесло пузыремъ, которая, въ-прибавку къ тому, еще и треснула; словомъ, совсѣмъ не красиво. Говорили они всѣ какъ-то сурово, такимъ голосомъ, какъ бы собирались кого прибить; приносили частыя жертвы Вакху, показавъ такимъ образомъ, что въ славянской природѣ есть еще много остатковъ язычества; приходили даже подчасъ въ присутствіе, какъ говорится, нализавшись, отчего въ присутствіи было нехорошо и воздухъ былъ вовсе не ароматическій. Между такими чиновниками не могъ не быть замѣченъ и отличенъ Чичиковъ, представляя во всемъ совершенную противоположность и взрачностью лица, и привѣтливостью голоса, и совершеннымъ неупотребленьемъ никакихъ крѣпкихъ напитковъ. Но при всемъ томъ трудна была его дорога. Онъ попалъ подъ начальство уже престарѣлому повытчику, который былъ образъ какой-то каменной безчувственности и непотрясаемости: вѣчно тотъ же, неприступный, никогда въ жизни не явившій на лицѣ своемъ усмѣшки, не привѣтствовавшій ни разу никого даже запросомъ о здоровьѣ. Никто не видалъ, чтобы онъ хоть разъ былъ не тѣмъ, чѣмъ всегда, хоть на улицѣ, хоть у себя дома; хоть бы разъ показалъ онъ въ чемъ-нибудь участіе; хоть бы напился пьянъ и въ пьянствѣ разсмѣялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойникъ въ пьяную минуту; но даже тѣни не было въ немъ ничего такого. Ничего не было въ немъ ровно: ни злодѣйскаго, ни добраго, и что-то страшное являлось въ семъ отсутствіи всего. Черство-мраморное лицо его, безъ всякой рѣзкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; въ суровой соразмѣрности между собою были черты его. Однѣ только частыя рябины и ухабины, истыкавшія ихъ, причисляли его къ числу тѣхъ лицъ, на которыхъ, по народному выраженію, чортъ приходилъ по ночамъ молотить горохъ. Казалось, не было силъ человѣческихъ подбиться къ такому человѣку и привлечь его расположеніе; но Чичиковъ попробовалъ. Сначала онъ принялся угождать во всякихъ незамѣтныхъ мелочахъ: разсмотрѣлъ внимательно чинку перьевъ, какими писалъ онъ, и, приготовивши нѣсколько по образцу ихъ, клалъ ему всякій разъ ихъ подъ руку; сдувалъ и сметалъ со стола его песокъ и табакъ; завелъ новую тряпку для его чернильницы; отыскалъ гдѣ-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала въ мірѣ, и всякій разъ клалъ ее возлѣ него за минуту до окончанія присутствія; чистилъ ему спину, если тотъ запачкалъ ее мѣломъ у стѣны. Но все это осталось рѣшительно безъ всякаго замѣчанія, такъ, какъ будто ничего этого не было и дѣлано. Наконецъ, онъ пронюхалъ его домашнюю, семейственную жизнь: узналъ, что у него была зрѣлая дочь, съ лицомъ, тоже похожимъ на то, какъ будто бы на немъ происходила по ночамъ молотьба гороху. Съ этой-то стороны придумалъ онъ навести приступъ. Узналъ, въ какую церковь приходила она по воскреснымъ днямъ, становился всякій разъ насупротивъ ея, чисто одѣтый,

накрахмаливши сильно манишку, и дѣло возымѣло успѣхъ: пошатнулся суровый повытчикъ и зазвалъ его на чай! И въ канцеляріи не успѣли оглянуться, какъ устроилось дѣло такъ, что Чичиковъ переѣхалъ къ нему въ домъ, сдѣлался нужнымъ и необходимымъ человѣкомъ, закупалъ и муку, и сахаръ, съ дочерью обращался какъ съ невѣстой, повытчика звалъ папенькой и цѣловалъ его въ руку. Всѣ положили въ палатѣ, что въ концѣ февраля, передъ Великимъ постомъ, будетъ свадьба. Суровый повытчикъ сталъ даже хлопотать за него у начальства, и чрезъ нѣсколько времени Чичиковъ самъ сѣлъ повытчикомъ на одно открывшееся вакантное мѣсто. Въ этомъ, казалось, и заключалась главная цѣль связей его со старымъ повытчикомъ, потому что тутъ же сундукъ свой онъ отправилъ секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартирѣ. Повытчика пересталъ звать папенькой и не цѣловалъ больше его руки, а о свадьбѣ такъ дѣло и замялось, какъ будто вовсе ничего не происходило. Однакоже, встрѣчаясь съ нимъ, онъ всякій разъ ласково жалъ ему руку и приглашалъ его на чай, такъ что старый повытчикъ, несмотря на вѣчную неподвижность и черствое равнодушіе, всякій разъ встряхивалъ головою и произносилъ себѣ подъ носъ: «Надулъ, надулъ, чортовъ сынъ!»

Это былъ самый трудный порогъ, черезъ который перешагнулъ онъ. Съ этихъ поръ пошло легче и успѣшнѣе. Онъ сталъ человѣкомъ замѣтнымъ. Все оказалось въ немъ, что нужно для этого міра: и пріятность въ оборотахъ и поступкахъ, и бойкость въ дѣловыхъ дѣлахъ. Съ такими средствами добылъ онъ въ непродолжительное время то, что называютъ хлѣбное мѣстечко, и воспользовался имъ отличнымъ образомъ. Нужно знать, что въ то же самое время начались строжайшія преслѣдованія всякихъ взятокъ. Преслѣдованій онъ не испугался и обратилъ ихъ тотъ же часъ въ свою пользу, показавъ такимъ образомъ прямо русскую изобрѣтательность, являющуюся только во время прижимокъ. Дѣло устроено было вотъ какъ: какъ только приходилъ проситель и засовывалъ руку въ карманъ съ тѣмъ, чтобы вытащить оттуда извѣстныя рекомендательныя письма, за подписью князя Хованскаго, какъ выражаются у насъ на Руси,—«нѣтъ, нѣтъ», говорилъ онъ съ улыбкой, удерживая его руки: «вы думаете, что я... нѣтъ, нѣтъ! Это нашъ долгъ, наша обязанность; безъ всякихъ возмездій мы должны сдѣлать! Съ этой стороны ужъ будьте покойны: завтра же все будетъ сдѣлано. Позвольте узнать вашу квартиру; вамъ и заботиться не нужно самимъ: все будетъ принесено къ вамъ на домъ». Очарованный проситель возвращался домой чуть не въ восторгѣ, думая: «Вотъ, наконецъ, человѣкъ, какихъ нужно побольше! это, просто, драгоцѣнный алмазъ!» Но ждетъ проситель день, другой—не приносятъ дѣла на домъ; на третій тоже. Онъ въ канцеляріи—дѣло и не начиналось; онъ—къ драгоцѣнному алмазу. «Ахъ, извините!» говорилъ Чичиковъ очень учтиво, схвативши его за обѣ руки: «у насъ было столько дѣлъ.

но завтра же все будетъ сдѣлано, завтра непремѣнно! Право, мнѣ даже совѣстно!» И все это сопровождалось движеніями обворожительными. Если при этомъ распахивалась какъ-нибудь пола халата, то рука въ ту же минуту старалась дѣло поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послѣзавтра, ни на третій день не несутъ дѣла на домъ. Проситель берется за умъ: «да полно, нѣтъ ли чего?» Вывѣдывать— говорятъ: «нужно дать писарямъ».—Почему-жъ не дать? я готовъ четвертакъ, другой».—«Нѣтъ, не четвертакъ, а по бѣленькой».—«По бѣленькой писарямъ!» вскрикиваетъ проситель.—«Да чего вы такъ горячитесь?» отвѣчаютъ ему: «оно такъ и выйдетъ: писарямъ и достанется по четвертаку, а остальное пойдетъ къ начальнику». Бьется себя по лбу недогадливый проситель и бранитъ, на чемъ свѣтъ стоитъ, новый порядокъ вещей, преслѣдованіе взятокъ и вѣжливыя, облагороженныя обращенія чиновниковъ. «Прежде было знаешь, по крайней мѣрѣ, что дѣлать: принесъ правителю дѣлъ красную, да и дѣло въ шляпѣ; а теперь по бѣленькой, да еще недѣлю провозишься, пока догадаешься.. чортъ бы побралъ безкорыстіе и чиновное благородство!» Проситель, конечно, правъ; но зато теперь нѣтъ взяточниковъ: всѣ правители дѣлъ честнѣйшіе и благороднѣйшіе люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо просторнѣе: образовалась комиссія для построенія какого-то казеннаго, весьма капитальнаго строенія. Въ эту комиссію пристроился и онъ, и оказался однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ. Комиссія немедленно приступила къ дѣлу. Шесть лѣтъ возилась около зданія; но климатъ, что ли мѣшалъ, или матеріалъ уже былъ такой, только никакъ не шло казенное зданіе выше фундамента. А между тѣмъ въ другихъ концахъ города очутилось у каждаго изъ членовъ по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунтъ земли былъ тамъ получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семействомъ. Тутъ только и теперь только сталъ Чичиковъ понемногу выпутываться изъ-подъ суровыхъ законовъ воздержанья и неумолимаго своего самоотверженья. Тутъ только долговременный постъ, наконецъ, былъ смягченъ, и оказалось, что онъ всегда не былъ чуждъ разныхъ наслажденій, отъ которыхъ умѣлъ удержаться въ лѣта пылкой молодости, когда ни одинъ человѣкъ совершенно не властенъ надъ собою. Оказались кое-какія излишества: онъ завелъ довольно хорошаго повара, тонкія голландскія рубашки. Уже сукна купилъ онъ себѣ такого, какого не носила вся губернія, и съ этихъ поръ сталъ держаться болѣе коричневыхъ и красноватыхъ цвѣтовъ съ искрою; уже пріобрѣлъ онъ отличную пару и самъ держалъ одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцомъ; уже завелъ онъ обычай вытираться губкой, намоченной въ водѣ, смѣшанной съ одеколономъ; уже покупалъ онъ весьма недешево какое-то мыло для сообщенія гладкости кожѣ; уже...

Но вдругъ на мѣсто прежняго тюфяка, былъ присланъ новый начальникъ, человѣкъ военный, строгій, врагъ взяточниковъ и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнулъ онъ всѣхъ до одного, потребовалъ отчеты, увидѣлъ недочеты, на каждомъ шагу недостающія суммы, замѣтилъ въ ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры—и пошла переборка. Чиновники были отставлены отъ должности; дома гражданской архитектуры поступили въ казну и обращены были на разныя богоугодныя заведенія и школы для кантонистовъ; все распушено было въ пухъ и Чичиковъ болѣе другихъ. Лицо его вдругъ, несмотря на пріятность, не понравилось начальнику, —почему именно, Богъ вѣдаетъ: иногда даже, просто, не бываетъ на это причинъ,—и онъ возненавидѣлъ его на-смерть. И грозенъ былъ сильно для всѣхъ неумолимый начальникъ. Но, такъ какъ все же онъ былъ человѣкъ военный, стало-быть, не зналъ всѣхъ тонкостей гражданскихъ продѣлокъ, то чрезъ нѣсколько времени, посредствомъ правдивой наружности и умѣнья поддѣлаться ко всему, втерлись къ нему въ милость другіе чиновники, и генералъ скоро очутился въ рукахъ еще большихъ мошенниковъ, которыхъ онъ вовсе не почиталъ такими; даже былъ доволенъ, что выбралъ, наконецъ, людей, какъ слѣдуетъ, и хвастался не въ шутку тонкимъ умѣньемъ различать способности. Чиновники вдругъ постигнули духъ его и характеръ. Все, что ни было подъ начальствомъ его, сдѣлалось страшными гонителями неправды; вездѣ, во всѣхъ дѣлахъ они преслѣдовали ее, какъ рыбакъ острогой преслѣдуетъ какую-нибудь мясистую бѣлугу, и преслѣдовали ее съ такимъ успѣхомъ, что въ скоромъ времени у каждаго очутилось по нѣскольку тысячъ капиталу. Въ это время обратились на путь истины многіе изъ прежнихъ чиновниковъ и были вновь приняты на службу. Но Чичиковъ ужъ никакимъ образомъ не могъ втереться; какъ ни старался и не стоялъ за него, подстрекнутый письмами князя Хованскаго, первый генеральскій секретарь, постигнувшій совершенно управленье генеральскимъ носомъ, но тутъ онъ ничего рѣшительно не могъ сдѣлать. Генералъ былъ такого рода человѣкъ, котораго хотя и водили за носъ (впрочемъ, безъ его вѣдома), но зато уже, если въ голову ему западала какая-нибудь мысль, то она тамъ была все равно, что желѣзный гвоздь; ничѣмъ нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что могъ сдѣлать умный секретарь, было уничтоженье запачканнаго послужного списка, и на то уже онъ подвинулъ начальника не иначе, какъ состраданіемъ, изобразивъ ему въ живыхъ краскахъ трогательную судьбу несчастнаго семейства Чичикова, котораго, къ счастію, у него не было.

«Ну, что-жъ!»—сказалъ Чичиковъ: «зацѣпилъ, поволокъ, сорвалось—не спрашивай. Плачемъ горю не пособить, нужно дѣло дѣлать». И вотъ рѣшился онъ сызнова начать карьеру, вновь вооружиться терпѣніемъ, вновь ограничиться во всемъ какъ ни привольно и ни

хорошо было развернулся прежде. Нужно было переѣхать въ другой городъ, тамъ еще приводить себя въ извѣстность. Все какъ-то не клеилось. Двѣ, три должности долженъ онъ былъ перемѣнить въ самое короткое время. Должности какъ-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиковъ былъ самый благопристойный человѣкъ, какой когда либо существовалъ въ свѣтѣ. Хотя онъ и долженъ былъ вначалѣ протираться въ грязномъ обществѣ, но въ душѣ всегда сохранялъ чистоту, любилъ, чтобы въ канцеляріяхъ были столы изъ лакированнаго дерева и все бы было благородно. Никогда не позволялъ онъ себѣ въ рѣчи неблагопристойнаго слова и оскорблялся всегда, если въ словахъ другихъ видѣлъ отсутствіе должнаго уваженія къ чину или званію. Читателю, я думаю, пріятно будетъ узнать, что онъ всякіе два дня перемѣнялъ на себѣ бѣлье, а лѣтомъ, во время жаровъ, даже и всякій день: всякій сколько-нибудь непріятный запахъ уже оскорблялъ его. По этой причинѣ онъ всякій разъ, когда Петрушка приходилъ раздѣвать его и скидавать сапоги, клалъ себѣ въ носъ гвоздичку; и во многихъ случаяхъ нервы у него были щекотливы, какъ у дѣвушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь въ тѣхъ рядахъ, гдѣ все отзывалось пѣшникомъ и неприличьемъ въ поступкахъ. Какъ ни крѣпился онъ духомъ, однакоже похудѣлъ и даже позеленѣлъ во время такихъ невзгодъ. Уже начиналъ было онъ полнѣть и приходить въ тѣ круглыя и приличныя формы, въ какихъ читатель засталъ его при заключеніи съ нимъ знакомства, и уже не разъ, поглядывая въ зеркало, подумывалъ онъ о многомъ пріятномъ: о бабенкѣ, о дѣтской, и улыбка слѣдовала за такими мыслями; но теперь, когда онъ взглянулъ на себя какъ-то ненарокомъ въ зеркало, не могъ не вскрикнуть: «Мать ты моя Пресвятая! какой же я сталъ гадкій!» И послѣ долго не хотѣлъ смотрѣться. Но переносилъ все герой нашъ, переносилъ сильно, терпѣливо переносилъ, и—перешелъ, наконецъ, въ службу по таможнѣ. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предметъ его помышленій. Онъ видѣлъ, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какіе фарфоры и батисты пересылали кумушкамъ, тетушкамъ и сестрамъ. Не разъ давно уже онъ говорилъ со вздохомъ: «Вотъ бы куда перебраться! и граница близко, и просвѣщенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этомъ онъ подумывалъ еще объ особенномъ сортѣ французскаго мыла, сообщавшаго необыкновенную бѣлизну кожѣ и свѣжесть щекамъ; какъ оно называлось, Богъ вѣдаетъ, но, по его предположеніямъ, непремѣнно находилось на границѣ. Итакъ, онъ давно бы хотѣлъ въ таможню, но удерживали текущія разныя выгоды по строительной комиссіи, и онъ разсуждалъ справедливо, что таможня, какъ бы то ни было, все еще не болѣе, какъ журавль въ небѣ, а комиссія уже была синица въ рукахъ. Теперь же рѣшился онъ, во

что бы то ни стало, добраться до таможни—и добрался. За службу свою принялся онъ съ ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба опредѣлила ему быть таможеннымъ чиновникомъ. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. Въ три, четыре недѣли онъ уже такъ набилъ руку въ таможенномъ дѣлѣ, что зналъ рѣшительно все: даже не вѣсилъ, не мѣрялъ, а по фактурѣ узнавалъ, сколько въ какой штукѣ аршинъ сукна или иной матеріи; взявши въ руку свертокъ, онъ могъ сказать вдругъ, сколько въ немъ фунтовъ. Что же касается до обысковъ, то здѣсь, какъ выражались даже сами товарищи, у него, просто, было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, какъ у него доставало столько терпѣнія, чтобы ощупать всякую пуговицу, и все это производилось съ убійственнымъ хладнокровіемъ, вѣжливымъ до невѣроятности. И въ то время, когда обыскиваемые бѣсились, выходили изъ себя и чувствовали злобное побужденіе избить щелчками пріятную его наружность, онъ, не измѣняясь ни въ лицѣ, ни въ вѣжливыхъ поступкахъ, приговаривалъ только: «Не угодно ли вамъ будетъ немножко побезпокоиться и привстать?» или: «Неугодно ли вамъ будетъ, сударыня, пожаловать въ другую комнату? тамъ супруга одного изъ нашихъ чиновниковъ объяснится съ вами»; или: «Позвольте, вотъ я ножичкомъ немного распорю подкладку вашей шинели». И, говоря это, онъ вытаскивалъ оттуда шали, платки, хладнокровно, какъ изъ собственнаго сундука. Даже начальство изъяснилось, что это былъ чортъ, а не человѣкъ: онъ отыскивалъ въ колесахъ, дышлахъ, лошадиныхъ ушахъ и нивѣсть въ какихъ мѣстахъ, куда бы никакому автору не пришло въ мысль забраться и куда позволяется забираться только однимъ таможеннымъ чиновникамъ; такъ что бѣдный путешественникъ, переѣхавшій черезъ границу, все еще, въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ, не могъ опомниться и, отирая потъ, выступившій мелкою сыпью по всему тѣлу, только крестился да приговаривалъ: «Ну, ну!» Положеніе его весьма походило на положеніе школьника, выбѣжавшаго изъ секретной комнаты, куда начальникъ призвалъ его съ тѣмъ, чтобы дать кое-какое наставленіе, но вмѣсто того высѣкъ совершенно неожиданнымъ образомъ. Въ непродолжительное время не было отъ него никакого житья контрабандистамъ. Это была гроза и отчаяніе всего польскаго жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Онъ даже не составилъ себѣ небольшого капитальца изъ разныхъ конфискованныхъ товаровъ и отбираемыхъ кое-какихъ вещицъ, не поступающихъ въ казну во избѣжаніе лишней переписки. Такая ревностно-безкорыстная служба не могла не сдѣлаться предметомъ общаго удивленія и не дойти, наконецъ, до свѣдѣнія начальства. Онъ получилъ чинъ и повышеніе и вслѣдъ затѣмъ представилъ проектъ изловить всѣхъ контрабандистовъ, прося только средствъ исполнить его самому.

Ему тотъ же часъ вручена была команда и неограниченное право производить всякіе поиски. Это только ему и хотѣлось. Въ то время образовалось сильное общество контрабандистовъ обдуманно-правильнымъ образомъ; на милліоны сулило выгодъ дерзкое предпріятіе. Онъ давно уже имѣлъ свѣдѣніе о немъ и даже отказалъ посланнымъ подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получивъ же въ свое распоряженіе все, въ ту же минуту далъ онъ знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Разсчетъ былъ слишкомъ вѣренъ. Тутъ въ одинъ годъ онъ могъ получить то, чего не выигралъ бы въ двадцать лѣтъ самой ревностной службы. Прежде онъ не хотѣлъ вступать ни въ какія сношенія съ ними, потому что былъ не болѣе, какъ простой пѣшкой, стало-быть, не много получилъ бы; но теперь... теперь совсѣмъ другое дѣло: онъ могъ предложить, какія угодно, условія. Чтобы дѣло шло безпрепятственнѣй, онъ склонилъ и другого чиновника, своего товарища, который не устоялъ противъ соблазна, несмотря на то, что волосомъ былъ сѣдъ. Условія были заключены, и общество приступило къ дѣйствіямъ. Дѣйствія начались блистательно. Читатель, безъ сомнѣнія, слышалъ такъ часто повторяемую исторію объ остроумномъ путешествіи испанскихъ барановъ, которые, совершивъ переходъ черезъ границу въ двойныхъ тулупчикахъ, пронесли подъ тулупчиками на милліонъ брабантскихъ кружевъ. Это происшествіе случилось именно тогда, когда Чичиковъ служилъ при таможнѣ. Не участвуй онъ самъ въ этомъ предпріятіи, никакимъ жидамъ въ мірѣ не удалось бы привести въ исполненіе подобнаго дѣла. Послѣ трехъ или четырехъ бараньихъ походовъ черезъ границу у обоихъ чиновниковъ очутилось по четыреста тысячъ капиталу. У Чичикова, говорятъ, даже перевалило и за пятьсотъ, потому что былъ побойчѣе. Богъ знаетъ, до какой бы громадной цифры не возросли благодатныя суммы, если бы какой-то нелегкій звѣрь не перебѣжалъ поперекъ всему. Чортъ сбилъ съ толку обоихъ чиновниковъ: чиновники, говоря попросту, перебѣсились и поссорились ни за что. Какъ-то въ жаркомъ разговорѣ, а можетъ быть, нѣсколько и выпивши, Чичиковъ назвалъ другого чиновника поповичемъ, а тотъ, хотя дѣйствительно былъ поповичъ, неизвѣстно почему—обидѣлся жестоко и отвѣтилъ ему тутъ же сильно и необыкновенно рѣзко, именно вотъ какъ: «Нѣтъ, врешь: я статскій совѣтникъ, а не поповичъ; а вотъ ты—такъ поповичъ!» И потомъ еще прибавилъ ему въ пику для большей досады: «Да, вотъ, молъ, что!» Хотя онъ отбрилъ такимъ образомъ его кругомъ, обративъ на него имъ же приданное названіе и хотя выраженіе: «вотъ, молъ, что!» могло быть сильно, но, недовольный симъ, онъ послалъ еще на него тайный доносъ. Впрочемъ, говорятъ, что и безъ того была у нихъ ссора за какую-то бабенку, свѣжую и крѣпкую, какъ ядреная рѣпа, по выраженію таможенныхъ чиновниковъ; что были даже подкуплены люди, чтобы подъ вечерокъ, въ темномъ пе-

реулкѣ, поизбить нашего героя; но что оба чиновника были въ дуракахъ и бабенкой воспользовался какой-то штабсъ-капитанъ Шамшаревъ. Какъ было дѣло въ самомъ дѣлѣ—Богъ ихъ вѣдаетъ; пусть лучше читатель-охотникъ досочинитъ самъ. Главное въ томъ, что тайныя сношенія съ контрабандистами сдѣлались явными. Статскій совѣтникъ, хоть и самъ пропалъ, но таки упекъ своего товарища. Чиновниковъ взяли подъ судъ, конфисковали, описали все, что у нихъ ни было, и все это разрѣшилось вдругъ, какъ громъ, надъ головами ихъ. Какъ послѣ чаду, опомнились они и увидали съ ужасомъ, что надѣлали. Статскій совѣтникъ не устоялъ противъ судьбы и гдѣ-то погибъ въ глуши, но коллежскій устоялъ. Онъ умѣлъ затаить часть деньжонокъ, какъ ни чутко было обоняніе наѣхавшаго на слѣдствіе начальства; употребилъ всѣ тонкіе изгороты ума, уже слишкомъ опытнаго, слишкомъ знающаго хорошо людей: гдѣ подѣйствовалъ пріятностью оборотовъ, гдѣ трогательною рѣчью, гдѣ покурилъ лестью, ни въ какомъ случаѣ не портящею дѣла, гдѣ всунулъ деньжонку, словомъ—обработалъ дѣло, по крайней мѣрѣ, такъ, что отставленъ былъ не съ такимъ безчестьемъ, какъ товарищъ, и увернулся изъ-подъ уголовнаго суда. Но уже ни капитала, ни разныхъ заграничныхъ вещицъ—ничего не осталось ему: на все это нашлись другіе охотники. Удержалось у него тысячонокъ десятокъ, запрятанныхъ про черный день, да дюжины двѣ голландскихъ рубашекъ, да небольшая бричка, въ какой ѣздятъ холостяки, да два крѣпостныхъ человѣка: кучеръ Селифанъ и лакей Петрушка: да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусковъ мыла для сбереженія свѣжести щекъ—вотъ и все. Итакъ, вотъ въ какомъ положеніи вновь очутился герой нашъ! Вотъ какая громада бѣдствій обрушилась ему на голову! Это называлъ онъ: потерпѣть по службѣ за правду. Теперь можно бы заключить, что, послѣ такихъ бурь, испытаній, превратностей судьбы и жизненнаго горя, онъ удалится съ оставшимися кровными десятью тысячонками въ какое-нибудь мирное захолустье уѣзднаго городишка и тамъ заклекнетъ на-вѣки въ ситцевомъ халатѣ, у окна низенькаго домика, разбирая по воскреснымъ днямъ драку мужиковъ, возникшую предъ окнами, или, для освѣженія, пройдясь въ курятникъ пощупать лично курицу, назначенную въ супъ, и проведетъ такимъ образомъ нешумный, но, въ своемъ родѣ, тоже не безполезный вѣкъ. Но такъ не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силѣ его характера. Послѣ всего того, что-бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человѣка, въ немъ не потухла непостижимая страсть. Онъ былъ въ горѣ, въ досадѣ, ропталъ на весь свѣтъ, сердился на несправедливость судьбы, негодовалъ на несправедливость людей и, однакоже, не могъ отказаться отъ новыхъ попытокъ. Словомъ, онъ показалъ терпѣніе, предъ которымъ ничто деревянное терпѣніе нѣмца,

заключенное уже въ медленномъ, лѣнивомъ обращеніи крови его. Кровь Чичикова, напротивъ, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтобы набросить узду на все то, что хотѣло бы выпрыгнуть и погулять на свободѣ. Онъ разсуждалъ, и въ разсужденіи его видна была нѣкоторая сторона справедливости: «Почему-жъ я? Зачѣмъ на меня обрушилась бѣда? Кто-жъ зѣваетъ теперь на должности? —всѣ пріобрѣтаютъ. Несчастнымъ я не сдѣлалъ никого: я не ограбилъ вдову, я не пустилъ никого по міру; пользовался я отъ избытковъ; я бралъ тамъ, гдѣ всякій бралъ бы; не воспользуйся я—другіе воспользовались же. За что же другіе благоденствуютъ, и почему долженъ я пропасть червемъ? И что я теперь? Куда я гожусь? Какими глазами стану смотрѣть теперь въ глаза всякому почтенному отцу семейства? Какъ не чувствовать мнѣ угрызенія совѣсти, зная, что даромъ бременю землю? И что скажутъ потомъ мои дѣти?—«Вотъ», скажутъ: «отецъ—скотина: не оставилъ намъ никакого состоянія!»

Уже извѣстно, что Чичиковъ сильно заботился о своихъ потомкахъ. Такой чувствительный предметъ! Иной, можетъ-быть, и не такъ бы глубоко запустилъ руку, если бы не вопросъ, который, неизвѣстно почему, приходитъ самъ собою: «а что скажутъ дѣти?» И вотъ будущій родоначальникъ, какъ осторожный котъ, покося только однимъ глазомъ въ бокъ, не глядитъ ли откуда хозяинъ, хватаетъ поспѣшно все, что къ нему поближе: мыло ли стоитъ, свѣчи ли, сало, канарейка ли попалась подъ лапу, словомъ—не пропускаетъ ничего. Такъ жаловался герой нашъ, а между тѣмъ дѣятельность никакъ не умирала въ головѣ его; тамъ все хотѣло что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился онъ, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничилъ себя во всемъ, вновь изъ чистоты и приличнаго положенія опустился въ грязь и низменную жизнь. И, въ ожиданіи лучшаго, принужденъ былъ даже заняться званіемъ повѣреннаго,—званіемъ, еще не пріобрѣтшимъ у насъ гражданства, толкаемымъ со всѣхъ сторонъ, плохо уважаемымъ мелкою тварью и даже самими довѣрителями, осужденнымъ на пресмыканіе въ передникъ, грубости и прочее, но нужда заставила рѣшиться на все. Изъ порученій досталось ему, между прочимъ, одно: похлопотать о заложеніи въ опекунскій совѣтъ нѣсколькихъ сотъ крестьянъ. Имѣніе было разстроено въ послѣдней степени. Разстроено оно было скотскими падежами, плутами-приказчиками, неурожаями, повальными болѣзнями, истребившими лучшихъ работниковъ, и, наконецъ, безтолковьемъ самого помѣщика, убиравшаго себѣ въ Москвѣ домъ въ послѣднемъ вкусѣ и убившаго на эту уборку все состояніе свое до послѣдней копѣйки, такъ что ужъ не на что было ѣсть. По этой-то причинѣ понадобилось, наконецъ, заложить послѣднее оставшееся имѣніе. Закладъ въ казну былъ тогда еще дѣло новое, на которое рѣшались не безъ страха. Чичиковъ, въ качествѣ повѣреннаго, прежде расположивши всѣхъ

(безъ предварительнаго расположенія, какъ извѣстно, не можетъ быть даже взята простая справка или выправка,—все же хоть по бутылкѣ мадеры придется влить во всякую глотку),—итакъ, расположивши всѣхъ, кого слѣдуетъ, объяснилъ онъ, что вотъ какое между прочимъ обстоятельство: половина крестьянъ вымерла, такъ чтобы не было какихъ-нибудь потомъ привязокъ... «Да вѣдь они по ревизской сказкѣ числятся?»,—сказалъ секретарь. «Числятся»,—отвѣчалъ Чичиковъ. «Ну, такъ чего же вы оробѣли?»,—сказалъ секретарь: «одинъ умеръ, другой родится, а все въ дѣло годится». Секретарь, какъ видно, умѣлъ говорить и въ рифму. А между тѣмъ героя нашего осѣнила вдохновеннѣйшая мысль, какая когда-либо приходила въ человѣческую голову. «Эхъ, я Акимъ-простота!»—сказалъ онъ самъ въ себѣ: «ищу рукавицъ, а обѣ за поясомъ! Да накупи я всѣхъ этихъ, которые вымерли, пока еще не подавали новыхъ ревизскихъ сказокъ, пріобрѣти ихъ, положимъ, тысячу, да, положимъ, опекунскій совѣтъ дастъ по двѣсти рублей на душу: вотъ ужъ двѣсти тысячъ капиталу! А теперь же время удобное: недавно была эпидемія, народу вымерло, слава Богу, не мало. Помѣщики поproигрывались въ карты, закутили и промотались, какъ слѣдуетъ; все полѣзло въ Петербургъ служить: имѣнія брошены, управляются, какъ ни попало, подати уплачиваются съ каждымъ годомъ труднѣе; такъ мнѣ съ радостью уступитъ ихъ каждый, уже потому только, чтобы не платить за нихъ подушныхъ денегъ; а можетъ, въ другой разъ такъ случится, что съ иного и я еще зашибу за это копѣйку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы какъ нибудь еще не досталось, чтобы не вывести изъ этого исторіи. Ну, да вѣдь данъ же человѣку на что-нибудь умъ. А главное то хорошо, что предметъ-то покажется всѣмъ не вѣроятнымъ, никто не повѣритъ. Правда, безъ земли нельзя ни купить, ни заложить. Да вѣдь я куплю на выводъ, на выводъ; теперь земли въ Таврической и Херсонской губерніяхъ отдаются даромъ, только заселяй. Туда я ихъ всѣхъ и переселю! въ Херсонскую ихъ! пусть ихъ тамъ живутъ! А переселеніе можно сдѣлать законнымъ образомъ, какъ слѣдуетъ, по судамъ. Если захотятъ освидѣтельствовать крестьянъ—пожалуй, я и тутъ не прочь; почему же нѣтъ? Я представлю и свидѣтельство за собственноручнымъ подписаніемъ капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка, или по имени, данному при крещеніи: сельцо Павловское». И вотъ такимъ образомъ составился въ головѣ нашего героя сей странный сюжетъ, за который, не знаю, будутъ ли благодарны ему читатели, а ужъ какъ благодаренъ авторъ, такъ и выразить трудно, ибо, что ни говори, не приди въ голову Чичикова эта мысль, не явилась бы на свѣтъ сія поэма.

Перекрестясь, по русскому обычаю, приступилъ онъ къ исполненію. Подъ видомъ избранія мѣста для жительства и подъ другими предлогами, предпринялъ онъ заглянуть въ тѣ и другіе углы нашего

государства, и преимущественно въ тѣ, которые болѣе другихъ пострадали отъ несчастныхъ случаевъ: неурожаевъ, смертностей и прочаго, и прочаго, словомъ—гдѣ бы можно удобнѣе и дешевле накупить потребнаго народа. Онъ не обращался наобумъ ко всякому помѣщику, но избиралъ людей болѣе по своему вкусу, или такихъ, съ которыми бы можно было съ меньшими затрудненіями дѣлать подобныя сдѣлки, стараясь прежде познакомиться, расположить къ себѣ, чтобы, если можно, болѣе дружбою, а не покупкою пріобрѣсти мужиковъ. Итакъ читатели не должны негодовать на автора, если лица, донынѣ являвшіяся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова; здѣсь онъ—полный хозяинъ, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. Съ нашей стороны, если, точно, падетъ обвиненіе за блѣдность и невзрачность лицъ и характеровъ, скажемъ только то, что никогда вначалѣ не видно всего широкаго теченья и объема дѣла. Вьѣздъ въ какой бы ни было городъ, хоть даже въ столицу, всегда какъ-то блѣденъ; сначала все сѣро и однообразно: тянутся безконечные заводы да фабрики, закопченныя дымомъ, а потомъ уже выглянутъ углы шестиэтажныхъ домовъ, магазины, вывѣски, громадныя перспективы улицъ, всѣ въ колокольняхъ, колоннахъ, статуяхъ, башняхъ, съ городскимъ блескомъ, шумомъ и громомъ, и всѣмъ, что на диво произвела рука и мысль человѣка. Какъ произвелись первыя покупки, читатель уже видѣлъ; какъ пойдетъ дѣло далѣе, какія будутъ удачи и неудачи герою, какъ придется разрѣшить и преодолѣть ему болѣе трудныя препятствія, какъ предстанутъ колоссальные образы, какъ двигнутся сокровенные рычаги широкой повѣсти, раздастся далече ея горизонтъ, и вся она приметъ величавое лирическое теченіе, то увидитъ потомъ. Еще много пути предстоитъ совершить всему походному экипажу, состоящему изъ господина среднихъ лѣтъ, брички, въ которой ѣздятъ холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже извѣстныхъ поименно, отъ Засѣдателя до подлеца-чубараго. Итакъ, вотъ весь налицо герой нашъ, каковъ онъ есть! Но потребуютъ, можетъ-быть, заключительнаго опредѣленія одной чертою: кто же онъ относительно качествъ нравственныхъ? Что онъ не герой, исполненный совершенствъ и добродѣтелей,—это видно. Кто же онъ? Сталобыть, подлецъ? Почему-жъ подлецъ? Зачѣмъ же быть такъ строгу къ другимъ? Теперь у насъ подлецовъ не бываетъ: есть люди благонамѣренные, пріятные, а такихъ, которые бы на всеобщій позоръ выставили свою физіогномію подъ публичную оплеуху, отыщется развѣ какихъ-нибудь два-три человѣка, да и тѣ уже говорятъ теперь о добродѣтели. Справедливѣе всего назвать его *хозяинъ, пріобрѣтатель*. Пріобрѣтеніе—вина всего: изъ-за него произвелись дѣла, которымъ свѣтъ даетъ названіе *не очень чистыхъ*. Правда, въ такомъ характерѣ есть уже что-то отталкивающее, и тотъ же читатель, который на жизненной своей дорогѣ будетъ друженъ съ такимъ человѣкомъ, будетъ

водить съ нимъ хлѣбъ-соль и проводить пріятно время, станетъ глядѣть на него косо, если онъ очутится героемъ драмы или поэмы. Но мудръ тотъ, кто не гнушается никакимъ характеромъ, но, вперя въ него испытующій взглядъ, извѣдываетъ его до первоначальныхъ причинъ. Быстро все превращается въ человѣкѣ; не успѣешь оглянуться, какъ уже выросъ внутри страшный червь, самовластно обратившій къ себѣ всѣ жизненные соки. И не разъ, не только широкая страсть, но ничтожная страстишка къ чему-нибудь мелкому разрасталась въ рожденномъ на лучшіе подвиги, заставляла его позабывать великія и святыя обязанности и въ ничтожныхъ побрякушкахъ видѣть великое и святое. Безчисленны, какъ морскіе пески, человѣческія страсти, и всѣ не похожи одна на другую, и всѣ онѣ, низкія и прекрасныя, вначалѣ покорны человѣку и потомъ уже становятся страшными властелинами его. Блаженъ избравшій себѣ изъ всѣхъ прекраснѣйшую страсть: растетъ и десятерится съ каждымъ часомъ и минутой безмѣрное его блаженство, и входитъ онъ глубже и глубже въ безконечный рай своей души. Но есть страсти, которыхъ избранье не отъ человѣка. Уже родились онѣ съ нимъ въ минуту рожденья его въ свѣтъ, и не дано ему силъ отклониться отъ нихъ. Высшими начертаньями онѣ ведутся, и есть въ нихъ что-то вѣчно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить имъ, все равно, въ мрачномъ ли образѣ, или перенесшись свѣтлымъ явленьемъ, возрадующимъ міръ,—одинаково вызваны онѣ для невѣдомаго человѣкомъ блага. И, можетъ-быть, въ семъ же самомъ Чичиковѣ страсть, его влекущая, уже не отъ него, и въ холодномъ его существованіи заключено то, что потомъ повергнетъ въ прахъ и на колѣни человѣка предъ мудростью небесъ. И еще тайна, почему сей образъ предсталъ въ нынѣ являющейся на свѣтъ поэмѣ.

Но не то тяжело, что будутъ недовольны героемъ; тяжело то, что живетъ въ душѣ неотразимая увѣренность, что тѣмъ же самымъ героемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглубже ему въ душу, не шевельни на днѣ ея того, что ускользаетъ и прячется отъ свѣта, не обнаружь сокровеннѣйшихъ мыслей, которыхъ никому другому не ввѣряетъ человѣкъ, а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову и другимъ людямъ,—и всѣ были бы радешеньки и приняли бы его за интереснаго человѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы, какъ живой, предъ глазами, зато, по окончаніи чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, тѣшащему всю Россію. Да, мои добрые читатели, вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную человѣческую бѣдность. «Зачѣмъ?» говорите вы: «къ чему это? Развѣ мы не знаемъ сами, что есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же представляйте

намъ прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемъ мы!»— «Зачѣмъ ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ хозяйствѣ идетъ скверно?» говоритъ помѣщикъ приказчику: «я, братъ, это знаю безъ тебя да у тебя рѣчей разъѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ позабыть это, не знать этого—я тогда счастливъ». И вотъ тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя средства для приведенія себя въ забвенье. Спитъ умъ, можетъ-быть, обрѣтшій бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона—и пошелъ помѣщикъ забываться по-міру, съ душою, отъ крайности готовою на низости, которыхъ бы самъ ужаснулся прежде.

Еще падетъ обвиненіе на автора со стороны такъ называемыхъ патріотовъ, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накопляютъ себѣ капитальцы, устраивая судьбу свою на счетъ другихъ; но какъ только случится что-нибудь, по мнѣнію ихъ, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда горькая правда,— они выбѣгутъ со всѣхъ угловъ, какъ пауки, увидѣвшіе, что запуталась въ паутину муха, и подымутъ вдругъ крики: «Да хорошо ли выводить это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше,—хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: развѣ это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?» На такія мудрыя замѣчанія, особенно насчетъ мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя прибрать въ отвѣтъ. А развѣ вотъ что. Жили въ одномъ отдаленномъ уголкѣ Россіи два обитателя. Одинъ былъ отецъ семейства, по имени Кифа Мокіевичъ, человѣкъ права кроткаго, проводившій жизнь халатнымъ образомъ. Семействомъ своимъ онъ не занимался; существованье его было обращено болѣе въ умозрительную сторону и занято слѣдующимъ, какъ онъ называлъ, философическимъ вопросомъ: «Вотъ, напримѣръ, звѣрь», говорилъ онъ, ходя по комнатѣ: «звѣрь родится нагишомъ. Почему же именно нагишомъ? Почему не такъ, какъ птица: почему не вылупливается изъ яйца? Какъ, право, того... совсѣмъ не поймешь натуры, какъ побольше въ нее углубишься!» Такъ мыслилъ обитатель Кифа Мокіевичъ. Но не въ этомъ еще главное дѣло. Другой обитатель былъ Мокій Кифовичъ, родной сынъ его. Былъ онъ то, что нызываютъ на Руси богатырь, и въ то время, когда отецъ занимался рожденьемъ звѣря, двадцатилѣтняя плечистая натура его такъ и порывалась развернуться. Ни за что не умѣлъ онъ взяться слегка: все—или рука у кого-нибудь затрещитъ, или волдырь вскочитъ на чьемъ-нибудь носу. Въ домѣ и въ сосѣдствѣ все—отъ дворовой дѣвки до дворовой собаки—бѣжало прочь, его завидя; даже собственную кровать въ спальнѣ изломалъ онъ въ куски. Таковъ былъ Мокій Кифовичъ, а впрочемъ былъ онъ доброй души. Но не въ этомъ еще главное дѣло. А главное дѣло вотъ въ чемъ. «Помилуй, батюшка

баринъ, Кифа Мокіевичъ», говорила отцу и своя, и чужая дворня: «что у тебя за Мокій Кифовичъ? Никому нѣтъ отъ него покоя, такой припертѣнь!»—«Да, шаловливъ, шаловливъ», говорилъ обыкновенно на это отецъ: «да вѣдь какъ быть? Драться съ нимъ поздно, да и меня же всѣ обвинятъ въ жестокости; а человѣкъ онъ честолюбивый; укори его при другомъ-третьемъ—онъ уймется, да вѣдь гласность-то—вотъ бѣда! городъ узнаетъ, назоветъ его совсѣмъ собакой. Что, право, думаютъ, мнѣ развѣ не больно? развѣ я не отецъ? Что занимаюсь философіей, да иной разъ нѣтъ времени, такъ ужъ я и не отецъ? Анъ, вотъ нѣтъ же, отецъ! отецъ, чортъ ихъ побери, отецъ! У меня Мокій Кифовичъ вотъ тутъ сидитъ, въ сердцѣ!» Тутъ Кифа Мокіевичъ билъ себя весьма сильно въ грудь кулакомъ и приходилъ въ совершенный азартъ. «Ужъ если онъ и остается собакой, такъ пусть же не отъ меня объ этомъ узнаютъ, пусть не я выдалъ его!» И показавъ такое отеческое чувство, онъ оставлялъ Мокія Кифовича продолжать богатырскіе свои подвиги, а самъ обращался вновь къ любимому предмету, задавъ себѣ вдругъ какой-нибудь подобный вопросъ: «Ну, а если бы слонъ родился въ яйцѣ, вѣдь скорлупа, чай, сильно бы толста была,—пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрѣльное орудіе выдумать». Такъ проводили жизнь два обитателя мирнаго уголка, которые неожиданно, какъ изъ окошка, выглянули въ концѣ нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвѣчать скромно на обвиненье со стороны нѣкоторыхъ горячихъ патріотовъ, до времени занимающихся какой-нибудь философіей или приращеніями на счетъ суммъ нѣжно любимаго ими отечества, думающихъ не о томъ, чтобы не дѣлать дурного, а о томъ, чтобы только не говорили, что они дѣлаютъ дурное. Но нѣтъ, не патріотизмъ и не первое суть причины обвиненій; другое скрывается подъ ними. Къ чему таить слово? Кто-же, какъ не авторъ, долженъ сказать святую правду? Вы боитесь глубокоустремленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокій взоръ, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмѣетесь даже отъ души надъ Чичиковымъ; можетъ-быть, даже похвалите автора—скажете: «Однакожъ, кое-что онъ ловко подмѣтилъ! долженъ быть веселаго нрава человѣкъ!» И послѣ такихъ словъ, съ удвоившеюся гордостью, обратитесь къ себѣ, самодовольная улыбка покажется на лицѣ вашемъ, и вы прибавите: «А вѣдь должно согласиться, престранные и пресмѣшные бываютъ люди въ нѣкоторыхъ провинціяхъ, да и подлецы притомъ немалые!» А кто изъ васъ, полный христіанскаго смиренья, не гласно, а въ тишинѣ, одинъ, въ минуты уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собой, углубитъ во-внутрь собственной души сей тяжелый запросъ: «А нѣтъ ли и во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?» Да, какъ бы не такъ! А вотъ пройди въ это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имѣющій чинъ ни слишкомъ большой, ни слишкомъ малый,—онъ въ ту же минуту толкнетъ

подъ руку своего сосѣда и скажетъ ему, чуть не фыркнувъ отъ смѣха: «Смотри, смотри: вонъ Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ!» И потомъ, какъ ребенокъ, позабывъ всякое приличіе, должное званію и лѣтамъ, побѣжитъ за нимъ вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиковъ! Чичиковъ! Чичиковъ!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабывъ, что герой нашъ, спавшій во все время разсказа его повѣсти, уже проснулся и легко можетъ услышать такъ часто повторяемую свою фамилію. Онъ же человѣкъ обидчивый и недоволенъ, если о немъ изъясняются неуважительно. Читателю съ полугоря, разсердится ли на него Чичиковъ, или нѣтъ; но что до автора, то онъ ни въ какомъ случаѣ не долженъ ссориться съ своимъ героемъ: еще не мало пути и дороги придется имъ пройти вдвоемъ рука объ руку; двѣ большія части впереди— это не бездѣлица.

«Эхе-хе! что-жъ ты?»—сказалъ Чичиковъ Селифану: «ты?..»

«Что?»—сказалъ Селифанъ медленнымъ голосомъ.

«Какъ что? Гусь ты! Какъ ты ѣдешь? Ну же, потрогивай!»

И въ самомъ дѣлѣ Селифанъ давно уже ѣхалъ, зажмуря глаза, изрѣдка только потряхивая впросонкахъ вожжами по бокамъ дремавшихъ тоже лошадей; а съ Петрушки уже давно, нивѣсть въ какомъ мѣстѣ, слетѣлъ картузъ, и онъ самъ, опрокинувшись назадъ, уткнулъ свою голову въ колѣно Чичикову, такъ что тотъ долженъ былъ дать ей щелчка. Селифанъ пріободрился и, отшлепавши нѣсколько разъ по спинѣ чубараго, послѣ чего тотъ пустился рысцой, да помахавши сверху кнутомъ на всѣхъ, примолвилъ тонкимъ пѣвучимъ голоскомъ: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли какъ пухъ легонькую бричку. Селифанъ только помахивалъ да покрикивалъ: «эхъ! эхъ!» плавно подскакивая на козлахъ, по мѣрѣ того, какъ тройка то взлетала на пригорокъ, то неслась духомъ съ пригорка, которыми была усѣяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть замѣтнымъ накатомъ внизъ. Чичиковъ только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушкѣ, ибо любилъ быструю ѣзду. И какой же русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чортъ побери все!» его ли душѣ не любить ея? Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ, и самъ летишь, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сторонъ лѣсъ съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ; летитъ вся дорога нивѣсть куда въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканьи, гдѣ не успѣваетъ означиться пропадающій предметъ, только небо надъ головою да легкія тучи, да продирающійся мѣсяцъ одни кажутся недвижны. Эхъ, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у бойкаго

народа ты могла только родиться,—въ той землѣ, что не любитъ шутить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на полсвѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ схваченъ винтомъ, а наскоро живьемъ, съ однимъ топоромъ да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій расторопный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода да рукавицы, и сидитъ, чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ, да замахнулся, да затянулъ пѣсню—кони вихремъ, спицы въ колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ—и вотъ она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вонъ уже видно вдали, какъ что-то пылитъ и сверлитъ воздухъ.

Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься? Дымомъ дымится подъ тобою дорога, гремятъ мосты, все отстаетъ, остается позади. Остановился пораженный Божьимъ чудомъ созерцатель: не молнія ли это, сброшенная съ неба? Что значитъ это наводящее ужасъ движеніе? и что за невѣдомая сила заключена въ сихъ невѣдомыхъ свѣтомъ коняхъ? Эхъ, кони, кони,—что за кони! Вихри ли сидятъ въ вашихъ гривахъ? Чуткое ли ухо горитъ во всякой вашей жилкѣ? Заслышали съ вышины знакомую пѣсню—дружно и разомъ напрягли мѣдныя груди и, почти не тронувъ копытами земли, превратились въ однѣ вытянутыя линіи, летящія по воздуху, и мчится, вся вдохновенная Богомъ!.. Русь, куда-жъ несешься ты? дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вѣтромъ разорванный въ куски воздухъ; летитъ мимо все, что ни есть на землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства.

Приложенія къ первому тому Мертвыхъ душъ.

I.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ ПЕРВАГО ТОМА

МЕРТВЫХЪ ДУШЪ

(въ 1846 г.).

Къ читателю отъ сочинителя.

Кто бы ты ни былъ, мой читатель, на какомъ бы мѣстѣ ни стоялъ, въ какомъ бы званіи ни находился, почтенъ ли ты высшимъ чиномъ или человѣкъ простого сословія, но если тебя вразумилъ Богъ грамотѣ и попалась уже тебѣ въ руки моя книга, я прошу тебя помочь мнѣ.

Въ книгѣ, которая передъ тобой, которую, вѣроятно, ты уже прочелъ въ ея первомъ изданіи, изображенъ человѣкъ, взятый изъ нашего же государства. Ѣздитъ онъ по нашей Русской землѣ, встрѣчается съ людьми всякихъ сословій, отъ благородныхъ до простыхъ. Взятъ онъ больше затѣмъ, чтобы показать недостатки и пороки русскаго человѣка, а не его достоинства и добродѣтели, и всѣ люди, которые окружаютъ его, взяты также затѣмъ, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшіе люди и характеры будутъ въ другихъ частяхъ. Въ книгѣ этой многое описано невѣрно не такъ, какъ есть и какъ дѣйствительно происходитъ въ Русской землѣ, потому что я не могъ узнать всего: мало жизни человѣка на то, что бы узнать одному и сотую часть того, что дѣлается на нашей землѣ. Притомъ, отъ моей собственной оплошности, незрѣлости и поспѣшности, произошло множество всякихъ ошибокъ и промаховъ, такъ что на всякой страницѣ есть, что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня. Не пренебреги такимъ дѣломъ. Какого бы ни былъ ты самъ высокаго образованія и жизни высокой, и какою бы ничтожною не показалась въ глазахъ твоихъ моя книга, и какимъ бы ни показалось тебѣ мелкимъ дѣломъ ее исправлять и писать на нее замѣчанія,—я прошу тебя это сдѣлать. А ты, читатель невысокаго образованія и простого званія, не считай себя такимъ невѣжею, чтобы ты не могъ меня чему-нибудь поучить. Всякій человѣкъ, кто жилъ и видѣлъ свѣтъ и встрѣчался съ людьми, замѣтилъ что-нибудь такое, что другой не замѣтилъ, и узналъ что-нибудь такое, чего другіе не знаютъ. А потому не лиши меня твоихъ замѣчаній: не можетъ быть, чтобы ты не

нашелся чего-нибудь сказать на какое-нибудь мѣсто во всей книгѣ, если только внимательно прочтешь ее.

Какъ бы, напримѣръ, хорошо было, если бы хотя одинъ изъ тѣхъ, которые богаты опытомъ и познаніемъ жизни и знаютъ кругъ тѣхъ людей, которые мною описаны, сдѣлалъ свои замѣтки сплошь на всю книгу, не пропуская ни одного листа ея, и принялся бы читать ее не иначе, какъ взявши въ руки перо и положивши передъ собою листъ почтовой бумаги, и послѣ прочтенія нѣсколькихъ страницъ припомнилъ бы себѣ жизнь свою и всѣхъ людей, съ которыми встрѣчался, и всѣ происшествія, случившіяся передъ его глазами, и все, что видѣлъ самъ или что слышалъ отъ другихъ подобнаго тому, что изображено въ моей книгѣ, или же противоположнаго тому, — все бы это описалъ въ такомъ точно видѣ, въ какомъ оно предстало его памяти, и посылалъ бы ко мнѣ всякій листъ, по мѣрѣ того, какъ онъ испишется, покуда такимъ образомъ не прочтется имъ вся книга. Какую бы кровную онъ оказалъ мнѣ услугу! О слогѣ или красотѣ выраженій здѣсь нечего заботиться: дѣло въ *дѣлѣ* и въ *правдѣ* дѣла, а не въ слогѣ. Нечего ему также предо мною чиниться, если бы захотѣлось меня попрекнуть, или побранить, или указать мнѣ вредъ, я произвелъ, намѣсто пользы, необдуманнымъ и невѣрнымъ изображеніемъ чего бы то ни было. За все буду ему благодаренъ.

Хорошо бы также, если бы кто нашелся изъ сословія высшаго, отдаленный всѣмъ—и самой жизнью, и образованьемъ, отъ того круга людей, который изображенъ въ моей книгѣ, но знающій зато жизнь того сословія, середи котораго живетъ, и рѣшился бы такимъ же самымъ образомъ прочесть сызнова мою книгу и мысленно припомнить себѣ всѣхъ людей сословія высшаго, съ которыми встрѣчался на вѣку своемъ, и разсмотрѣть внимательно, нѣтъ ли какого сближенія между этими сословіями и не повторяется ли иногда то же самое въ кругѣ высшемъ, что дѣлается въ низшемъ? и все, что ни придетъ ему на умъ по этому поводу, то-есть, всякое происшествіе высшаго круга, служащее въ подтвержденіе или въ опроверженіе этого, описалъ бы, какъ оно случилось передъ его глазами, не пропуская ни людей съ ихъ нравами, склонностями и привычками, ни бездушныхъ вещей, ихъ окружающихъ, отъ одеждъ до мебелей и стѣнъ домовъ, въ которыхъ живутъ они. Мнѣ нужно знать это сословіе, которое есть цвѣтъ народа. Я не могу выдать послѣднихъ томовъ моего сочиненія по тѣхъ поръ, покуда сколько-нибудь не узнаю русскую жизнь со всѣхъ ея сторонъ, хотя въ такой мѣрѣ, въ какой мнѣ нужно ее знать для моего сочиненія.

Не дурно также, если бы кто-нибудь такой, кто надѣленъ способностью воображать или живо представлять себѣ различныя положенія людей и преслѣдовать ихъ мысленно на разныхъ поприщахъ,— словомъ, кто способенъ углубляться въ мысль всякаго читаемаго

имъ автора, или развивать ее, прослѣдилъ бы пристально всякое лицо, выведенное въ моей книгѣ, и сказалъ бы мнѣ, какъ оно должно поступить въ такихъ и такихъ случаяхъ, что съ нимъ, судя по началу, должно случиться далѣе, какія могутъ ему представиться обстоятельства новыя, и что было бы хорошо прибавить къ тому, что уже мной описано: все это желалъ бы я принять въ соображенье къ тому времени, когда воспослѣдуетъ изданіе новое этой книги, въ другомъ и лучшемъ видѣ.

Объ одномъ прошу крѣпко того, кто захотѣлъ бы надѣлить меня своими замѣчаніями: не думать въ это время, какъ онъ будетъ писать, что пишетъ онъ ихъ для человѣка ему равнаго по образованію, который одинаковыхъ съ нимъ вкусовъ и мыслей, и можетъ уже многое смекнуть и самъ безъ объясненія; но, вмѣсто того, воображать себѣ, что передъ нимъ стоитъ человѣкъ, несравненно его низшій образованьемъ, ничему почти неучившійся. Лучше даже, если, намѣсто меня, онъ себѣ представитъ какого-нибудь деревенскаго дикаря, котораго вся жизнь прошла въ глуши, съ которымъ нужно входить въ подробнѣйшее объясненіе всякаго обстоятельства и быть просту въ рѣчахъ, какъ съ ребенкомъ, опасаясь ежеминутно, чтобъ не употребить выраженій свыше его понятія. Если это безпрерывно будетъ имѣть въ виду тотъ, кто станетъ дѣлать замѣчанья на мою книгу, то его замѣчанья выйдутъ болѣе значительны и любопытны, чѣмъ онъ думаетъ самъ, а мнѣ принесутъ истинную пользу.

Итакъ, если бы случилось, что моя сердечная просьба была бы уважена моими читателями и нашлись бы изъ нихъ дѣйствительно такія добрыя души, которыя захотѣли бы сдѣлать все такъ, какъ я хочу, то вотъ какимъ образомъ они могутъ мнѣ переслать свои замѣчанія: сдѣлавши сначала пакетъ на мое имя, завернуть его потомъ въ другой пакетъ, или на имя Ректора С.-Петербургскаго Университета, Его Превосходит. Петра Александровича Плетнева, адресуя прямо въ С.-Петербургскій Университетъ, или на имя Профессора Московскаго Университета, Его Высокород. Степана Петровича Шевырева, адресуя прямо въ Московскій Университетъ, смотря потому, къ кому какой городъ ближе.

А всѣхъ какъ журналистовъ, такъ и вообще литераторовъ, благодаря искренно за всѣ ихъ прежніе отзывы о моей книгѣ, которые, несмотря на нѣкоторую неумѣренность и увлеченія, свойственныя человѣку, принесли, однакожъ, пользу большую какъ головѣ, такъ и душѣ моей, прошу не оставить и на этотъ разъ меня своими замѣчаніями. Увѣряю искренно, что все, что ни будетъ ими сказано на вразумленье или поученье мое, будетъ принято мною съ благодарностью.

III.

ОКОНЧАНІЕ XI ГЛАВЫ

въ передѣланномъ видѣ.

Судили, судили и рѣшили на томъ, чтобы разспросить покупщиковъ, у которыхъ Чичиковъ торговалъ и купилъ эти загадочныя мертвыя души. Прокурору выпалъ жребій (идти) переговорить къ Собакевичу, а предсѣдатель вызвался самъ идти къ Коробочкѣ. А потому отправимся и мы вслѣдъ за ними и посмотримъ, что такое тамъ разузнали.

ГЛАВА...

Собакевичъ квартировалъ съ супругой въ домѣ нѣсколько поодаль отъ шумныхъ мѣстъ. Домъ выбралъ этакой крѣпкій, чтобы потолокъ не проломился и можно бы въ немъ жить благополучно. Хохяинъ былъ купецъ Колотыркинъ, человѣкъ тоже прочный. Собакевичъ былъ съ супругой; дѣтей при немъ не было. Онъ началъ уже скучать и помышлялъ объ отъѣздѣ, ожидалъ только оброка за землю, которую нанимали подъ рѣпу трое городскихъ мѣщанъ, да окончанья какого-то моднаго капота на ватѣ, который вздумала заказать городскому портному супруга. Онъ уже, сидя на креслѣ, начиналъ побранивать и мошенничество, и прихоть, и самъ все глядѣлъ не на жену, а на уголъ печки. Въ это время вошелъ прокуроръ. Собакевичъ сказалъ: «Прошу», и, приподнявшись, сѣлъ опять на стулъ. Прокуроръ подошелъ къ ручкѣ Феодуліи Ивановны и, приложившись къ ней, сѣлъ также на стулъ. Феодулія Ивановна, получивши себѣ на руку поцѣлуй, сѣла также на стулъ. Всѣ три стула были выкрашены зеленой масляной краской, съ намалеванными кувшинчиками по уголкамъ.

«Пришелъ съ вами переговорить объ дѣлѣ»,—сказалъ прокуроръ.

«Душенька, ступай въ свою комнату! Тамъ тебя, вѣрно, ждетъ портниха».

Феодулія пошла въ свою комнату.

Прокуроръ началъ такъ: «Позвольте васъ спросить: какого (рода) людей продали вы Павлу Ивановичу Чичикову?»

«Какъ какого рода»?—сказалъ Собакевичъ. «На это крѣпость есть; тамъ означено, какого рода: одинъ каретникъ...»

«По городу, однакожъ»,—сказалъ прокуроръ, нѣсколько замявшись: «по городу разнеслись слухи...»

«Много въ городѣ дураковъ, оттого и слухи»,—сказалъ спокойно Собакевичъ.

«Однакожъ, Михаилъ Семенычъ, такіе слухи, что, просто, голова кружится: что души—не души, что цѣль совсѣмъ не та, чтобы пере-

селить, и что самъ Чичиковъ—загадочный человѣкъ. Оказываются такія подозрѣнія... по городу пошли такіе пересуды...»

«Да позвольте спросить васъ: вы сами баба, что ли?»—спросилъ Собакевичъ.

Этотъ вопросъ озадачилъ прокурора. Онъ самъ у себя никогда еще не спрашивалъ, баба ли онъ, или что другое.

«Вы бы съ этакими запросами посовѣстились даже и приходить ко мнѣ»,—сказалъ Собакевичъ.

Прокуроръ началъ извиняться.

«Вы бы пошли къ какимъ-нибудь пряхамъ, что по вечерамъ говорятъ объ вѣдьмахъ. Ужъ если Богъ не далъ о чемъ поумнѣй завести разговоръ, играли бы въ бабки съ малыми ребятами. Что вы въ самомъ дѣлѣ пришли смущать честнаго человѣка? Что я вамъ, въ насмѣшку, что ли? Въ службѣ своей, какъ слѣдуетъ, не упражняетесь; чтобы отечеству какъ-нибудь послужить и на пользу ближнему, —храня товарищей, о томъ не думаете; а вотъ только, чтобы быть подальше другихъ. Куда дураки подтолкнутъ, туда и плететесь. Такъ себѣ за ничто и пропадете, и добраго слѣда послѣ васъ не останется».

Прокуроръ совсѣмъ не нашелся, что отвѣчать на такое неожиданное поученіе. Разбитый въ прахъ и уничтоженный, пошелъ онъ отъ Собакевича; а Собакевичъ ему вслѣдъ: «Убирайся себѣ, собака!»

Въ это время вошла Феодулія. «Что это отъ тебя прокуроръ такъ скоро вышелъ?»—сказала она.

«Угрызенье совѣсти ощутилъ, такъ и вышелъ»,—сказалъ Собакевичъ. «Вотъ тебѣ, душа моя, примѣръ въ глазахъ. Какой старый человѣкъ, ужъ и волосъ сѣдой въ головѣ, а я знаю, что онъ до сихъ поръ по чужимъ женамъ ходитъ. У нихъ ужъ обычай у всѣхъ: собаки всѣ. Мало того, что даромъ бременятъ землю, да еще дѣла такія дѣлаютъ, что ихъ всѣхъ бы въ одинъ мѣшокъ да въ воду! Весь городъ—разбойничій вертепъ. Не зачѣмъ намъ здѣсь оставаться больше, уѣдемъ!»

Супруга хотѣла было представить, что еще не готовъ капотъ и нужно купить для праздника какія-то ленты на чепцы, но Собакевичъ сказалъ: «Это душа моя, все модныя выдумки; онѣ тебя къ добру не доведутъ». Велѣлъ собирать все въ дорогу; самъ пошелъ, вмѣстѣ съ квартальнымъ, къ мѣщанамъ и взялъ съ нихъ оброкъ за рѣпу; потомъ зашелъ къ портнихѣ и взялъ капотъ недошитый, такъ, какъ былъ въ работѣ, съ воткнутой иголкой и ниткой, съ тѣмъ, чтобы дошить его въ деревнѣ, и выѣхалъ изъ города, приговаривая, что опасно даже заѣзжать въ этотъ (городъ), потому что мошенникъ сидитъ на мошенникѣ, и можно легко самому погрязнуть вмѣстѣ съ ними во всякихъ порокахъ.

Прокуроръ, между тѣмъ, такъ былъ озадаченъ пріемомъ Собакевича, что недоумѣвалъ, какъ и разсказать объ этомъ предсѣдателю

Но и предсѣдатель тоже немного успѣлъ въ объясненіяхъ. Начать съ того, что, поѣхавши на дрожкахъ, попалъ онъ въ такой грязный и узкій переулокъ, что во всю дорогу то правое колесо выше лѣваго, то лѣвое выше праваго. Отъ этого ударилъ онъ самого себя весьма (сильно) палкой въ подбородокъ, потомъ затылкомъ.... и, въ заключенье, забрызгался грязью. Въѣхалъ онъ къ протопопу среди чавканья, шлепанья грязи, свиного хрюканья. Оставивши дрожки и пробравшись пѣшкомъ, позади всякихъ клѣтуховъ, вступилъ, наконецъ, въ сѣни. Здѣсь онъ прежде спросилъ полотенце и вытеръ лицо. Коробочка встрѣтила его такъ же, какъ и Чичикова, съ тѣмъ же меланхолическимъ видомъ. На шеѣ у ней было что-то наверчено, въ родѣ фланели. Въ комнатѣ было безчисленное множество мухъ и какое-то отвратительное для нихъ блюдо, къ которому онѣ, казалось, уже привыкли. Коробочка попросила его садиться.

Предсѣдатель, начавши сначала тѣмъ, что зналъ нѣкогда ея мужа, потомъ вдругъ перешелъ къ такому вопросу: «Скажите, пожалуйста, точно ли къ вамъ, въ ночное время, съ пистолетомъ въ рукѣ, пріѣзжалъ одинъ человѣкъ, покушавшійся васъ убить, если вы не отдадите какихъ-то душъ? И не можете ли вы объяснить намъ, какое было его намѣренье?»

«Да ужъ какъ не могу! Возьмите вѣдь мое положеніе: двадцать пять рублей бумажками! Вѣдь я не знаю, право: я вдова, я человѣкъ неопытный; меня не трудно обмануть въ дѣлѣ, въ которомъ я, признаться вамъ сказать, батюшка, ничего не знаю. Пенькѣ-то я знаю цѣну сало тоже продала третья...»

«Да разскажите прежде пообстоятельнѣе: какъ это? Пистолеты при немъ были?»

«Нѣтъ, батюшка, пистолетовъ, оборони Богъ, я не видала. А мое дѣло вдовье—я не могу знать, почемъ ходятъ мертвыя души. Ужъ, батюшка, не оставьте, поясните, по крайней мѣрѣ, чтобы я знала цѣну-то настоящую».

«Какую цѣну? Что за цѣна, матушка? Какая цѣна?»

«Да мертвая-то душа почемъ теперь ходитъ?»

«Да она дура отъ роду или рехнулась»,—подумалъ предсѣдатель, глядя ей въ глаза.

«Что-жъ, двадцать пять рублей? Вѣдь я не знаю: можетъ-быть, онѣ пятьдесятъ или больше».

«А покажите бумажку»,—сказалъ предсѣдатель и посмотрѣлъ ее противъ свѣта, не фальшивая ли. Но бумажка была—какъ бумажка.

«Да разскажите же вы, какъ онъ у васъ купилъ? что купилъ? Я въ голову... ничего не могу сообразить...»

«Купилъ»—сказала Коробочка. «Да вы-то, батюшка, что-жъ вы-

то не хотите мнѣ сказать, почемъ ходитъ мертвая душа, чтобъ я знала настоящую цѣну мертвыхъ душъ?»

«Да помилуйте, что это вы говорите! Гдѣ-жъ видано, чтобы мертвыхъ продавали?»

«Да что-жъ вы цѣны не хотите сказать?»

«Да что-жъ цѣны? Помилуйте, какая цѣна! Скажите мнѣ серьезно: какъ было дѣло? Угрожалъ онъ вамъ чѣмъ, хотѣлъ обольстить?»

«Нѣтъ, батюшка; да вы, право... Теперь я вижу, что вы тоже покупщикъ».—И посмотрѣла подозрительно въ глаза.

«Да я предсѣдатель, матушка, здѣшней палаты...»

«Нѣтъ, батюшка, какъ хотите, вы это ужъ того... изволите такъ... хотите сами меня обмануть. Да вѣдь что-жъ вамъ изъ того? вѣдь вамъ же хуже. Я бы вамъ продала и птичьихъ (перьевъ): у меня о Рождествѣ и птичьи перья будутъ».

«Матушка, говорю вамъ, что я предсѣдатель. Что мнѣ ваши птичьи перья? Не покупаю ничего».

«Да вѣдь торгъ—честное дѣло»,—продолжала Коробочка. «Сегодня я тебѣ, завтра ты мнѣ продашь. Что-жъ, если мы станемъ этакъ другъ друга обманывать, да гдѣ-жъ и правда тогда? Вѣдь это передъ Богомъ грѣхъ».

«Матушка, я не покупщикъ, я предсѣдатель!»

«Да Богъ знаетъ. Можетъ быть, вы и предсѣдаете; вѣдь я не знаю. Что-жъ? Я вдова. Да что-жъ вы такъ разспрашиваете? Нѣтъ, батюшка, я вижу, что вы сами... того... хотите купить ихъ».

«Матушка, я вамъ совѣтую полѣчиться»,—сказалъ предсѣдатель, разсердившись. «У васъ вотъ тутъ недостаетъ»...—сказалъ онъ, постучавши себѣ пальцемъ по лбу, и вышелъ отъ Коробочки.

Коробочка такъ на этомъ и осталась, что это былъ покупщикъ, и удивлялась только тому, какой сердитый сталъ народъ на бѣломъ свѣтѣ и какъ трудно бѣдной вдовѣ. Предсѣдатель изломалъ колесо въ дрожкахъ и забрызгался вонючею грязью. Вотъ все, что пріобрѣлъ онъ въ этой неудачной экспедиціи, включая сюда разбитый палкою подбородокъ. Подъѣзжая къ дому, встрѣтилъ онъ прокурора, который тоже ѣхалъ на дрожкахъ не въ духѣ, повѣсивши (голову).

«Ну, что узнали отъ Собакевича?»

Прокуроръ повѣсилъ голову и сказалъ: «Во всю жизнь не былъ трактованъ»...

«А что?»

«Оплевалъ совсѣмъ»,—сказалъ прокуроръ съ огорченнымъ видомъ.

«Какъ?»

«Говоритъ, что на службѣ отъ меня проку нѣтъ: ни одного доноса не подалъ на товарищей. Въ другихъ мѣстахъ прокуроръ, что недѣля, посылаетъ доносъ; я выставлялъ: «*челъ*» на всякомъ листкѣ,

даже и тогда, когда иной разъ и слѣдовало бы подать доносъ,—не задерживалъ ни одной бумаги».

Прокуроръ истинно сокрушался.

«Такъ что-жъ онъ объ Чичиковѣ говоритъ?»—сказалъ предсѣдатель.

«Что говоритъ? Бабами назвалъ всѣхъ, обругалъ дураками».

Предсѣдатель задумался. Въ это время подъѣхали третьи дрожки; на нихъ сидѣлъ вице-губернаторъ.

«Господа! я долженъ васъ извѣстить, что нужно быть осторожну. Говорятъ, дѣйствительно въ нашу губернію назначается генералъ-губернаторъ». И предсѣдатель, и прокуроръ разинули ротъ. Предсѣдатель подумалъ про себя: «Вотъ кстати пріѣдетъ на расхлебки! Заварили супъ такой, что чортъ и вкусъ въ немъ какой отыщетъ! Увидитъ, какая безтолочь въ городѣ!»

«Одно за другимъ!»—подумалъ огорченный прокуроръ.

«Не знаете о томъ ничего, кто назначенъ въ генералъ-губернаторы, какого нрава, какого свойства?»

«Ничего еще неизвѣстно»,—сказалъ (вице-губернаторъ).

Въ это время подъѣхалъ на дрожкахъ почтмейстеръ.

«Господа! могу васъ поздравить съ генералъ-губернаторомъ».

«Слышали, да вѣдь еще неизвѣстно»,—сказалъ вице-губернаторъ.

«Извѣстно даже и кто»,—сказалъ почтмейстеръ: «князь Однозоровскій-Чементинскій».

«Что-жъ говорятъ?»

«Строжайшій человѣкъ, судырь мой»,—сказалъ почтмейстеръ: «дальновиднѣйшій и крутѣйшаго нрава. Былъ онъ прежде въ какомъ-то этакомъ, понимаете, казенномъ большомъ построеніи. Завелись тамъ кое-какіе грѣхи. Всѣхъ, сударь, распушилъ, стеръ въ прахъ, такъ что, понимаете, и подметать было нечего».

«А здѣсь въ городѣ нѣтъ никакой надобности въ строгихъ мѣрахъ».

«Палата, судырь мой, свѣдѣній; человѣкъ размѣра, понимаете, колоссальнаго!»—продолжалъ почтмейстеръ. «Случилось одинъ разъ»...

«Однакожъ»,—сказалъ почтмейстеръ: «мы говоримъ на улицѣ при кучерахъ. Лучше-жъ заѣдемъ».

Всѣ опомнились. А ужъ на улицѣ собрались наблюдатели и глядѣли, разинувъ рты, на разговаривающихъ съ четырехъ дрожекъ. Кучера закричали, и четверо дрожекъ потянулись къ предсѣдателю.

«Кстати чортъ принесъ этого Чичикова»,—думалъ предсѣдатель, снимая съ себя въ передней забрызганную грязью шубу.

«У меня идетъ кругомъ голова»,—говорилъ (прокуроръ), снимая съ себя шубу.

«Я все не могу разобрать этого дѣла»,—сказалъ вице-губернаторъ, скидая шубу.

Почтмейстеръ ничего не сказалъ, сбросилъ просто.

Вошли въ комнату, гдѣ вдругъ явилась закуска. Губернскія власти (не обходятся) безъ закуски, и если въ губерніи хоть два чиновника сойдется, самъ-третей является закуска.

Предсѣдатель подошелъ и налилъ себѣ самой горькой полынной водки, сказавши: Я, хоть убей, не знаю, кто таковъ этотъ Чичиковъ».

«Я и подавно»,—сказалъ прокуроръ. «Этакого запутаннаго дѣла я и въ бумагахъ не читывалъ, и не имѣю духу приступить...»

«А какъ человѣкъ между тѣмъ... свѣтскаго лоску»,—сказалъ почтмейстеръ, наливая сначала темной и розовой и составивъ себѣ смѣсь изъ разныхъ водокъ: «очевидно былъ въ Парижѣ. Я думаю, что едва ли не дипломатикомъ служилъ».

«Ну, господа!»—сказалъ въ это время, входя, полицеймейстеръ, извѣстный благотворитель города, любимецъ купечества и чудотворецъ въ угощеніяхъ: «Господа! о Чичиковѣ я ничего не могъ узнать. Въ собственныхъ бумагахъ его порыться не могъ; изъ комнаты не выходитъ, чѣмъ-то заболѣлъ. Разспрашивалъ людей. Лакей пришелъ Петрушка, кучеръ Селифанъ. Первый былъ не въ трезвомъ состояніи, да и всегда былъ таковъ». При этомъ полицеймейстеръ подошелъ къ водкѣ и составилъ смѣсь изъ трехъ водокъ. «Петрушка говоритъ, что баринъ какъ баринъ, водился съ людьми, кажется хорошими: съ Перекроевымъ... Назвалъ много помѣщиковъ—все коллежскіе и статскіе совѣтники. Кучеръ Селифанъ—«неглупымъ человѣкомъ», говоритъ, «показывался всѣми за то, что службу хорошо исполнилъ. Былъ въ таможнѣ, при какихъ-то казенныхъ постройкахъ», а въ какихъ именно—не могъ сказать. Лошади три: «одна куплена», говоритъ, «три года назадъ тому; сѣрая», говоритъ, «вымѣнена на сѣрую, третья куплена... А самъ Чичиковъ дѣйствительно называется Павелъ Ивановичъ и точно коллежскій совѣтникъ».

Всѣ чиновники задумались.

«Порядочный человѣкъ, и коллежскій совѣтникъ», подумалъ прокуроръ: «и рѣшиться на такое дѣло, какъ увозить губернаторскую дочку, или возымѣть безуміе покупать мертвыя (души), пугать по ночамъ спокойныхъ престарѣлыхъ помѣщицъ—это прилично какому-нибудь гусарскому юнкеру, а не коллежскому совѣтнику».

«Если коллежскій совѣтникъ, какъ же пуститься въ такое уголовное преступленіе, какъ дѣлать бумажки!» подумалъ вице-губернаторъ, который былъ самъ коллежскій совѣтникъ, любилъ играть на флейтѣ и душу скорѣй имѣлъ склонную къ искусствамъ изящнымъ, а не къ преступленью.

«Воля ваша, господа, а это дѣло какъ-нибудь нужно кончить: пріѣдетъ генералъ-губернаторъ, увидитъ, что у насъ, просто, чортъ знаетъ что».

«Какъ же вы думаете поступить?»

Полицеймеcтеръ: «Я думаю, надобно поступить рѣшительно».

«Какъ же рѣшительно?»—сказалъ предсѣдатель.

«Задержать его, какъ подозрительнаго человѣка».

«А если онъ насъ задержитъ, какъ подозрительныхъ людей?»

«Какъ такъ?»

«Ну, а если онъ подосланъ? Ну, что если онъ съ тайными порученьями? Мертвыя души! Гм! Будто купить, а, можетъ-быть, это—розысканіе обо всѣхъ тѣхъ умершихъ, о которыхъ было подано—«отъ неизвѣстныхъ случаевъ?»

Эти слова погрузили всѣхъ въ молчаніе. Прокурора эти слова поразили. Предсѣдатель тоже, сказавши ихъ, задумался. Обѣимъ прійти...

«Что-жъ, какъ поступить, господа?»—сказалъ полицеймейстеръ, благотворитель (города) и благодѣтель купечества, и, произведши смѣшеніе водки сладкой (и) горькой, выпилъ, закусивши.

Человѣкъ подалъ бутылку мадеры и рюмки.

«Я, право, не знаю, какъ поступить»,—(сказалъ предсѣдатель).

«Господа!»—сказалъ почтмейстеръ, выпивши рюмку мадеры и засунувши въ ротъ ломоть голландскаго сыру съ балыкомъ и масломъ: «я того мнѣнія, что это дѣло хорошенько нужно изслѣдовать, разобрать хорошенько, и разобрать камерально,—сообща, собравшись всѣмъ, какъ въ англійскомъ парламентѣ, понимаете, чтобы досконально раскрылось до всѣхъ изгибовъ, понимаете».

«Что-жъ, соберемся»,—сказалъ полицеймеcтеръ.

«Да»,—сказалъ предсѣдатель: «собраться и рѣшить вкупѣ, что такое Чичиковъ».

«Это благоразумнѣе всего—рѣшить, что такое Чичиковъ».

«Да, отберемъ мнѣнія у всѣхъ и рѣшимъ, что такое Чичиковъ».

Сказавши это, всѣ въ одно время пожелали выпить шампанскаго и разошлись довольные тѣмъ, что комитетъ этотъ все объяснитъ и покажетъ ясно и досконально, что такое Чичиковъ.

IV.

Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ.

А. Одна изъ первоначальныхъ редакцій.

«Послѣ кампаніи двѣнадцатаго года, сударь ты мой»,—такъ началъ почтмейстеръ, несмотря на то, что въ комнатѣ сидѣлъ не одинъ сударь, а цѣлыхъ шестеро,—«послѣ кампаніи двѣнадцатаго года вмѣстѣ съ ранеными присланъ былъ и капитанъ Копѣйкинъ. Подъ Краснымъ ли, или подъ Лейпцигомъ, только, сударь мой, вы можете себѣ представить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сдѣлано было насчетъ раненыхъ никакихъ, знаете, этакихъ распоряженій;

этотъ какой-нибудь инвалидный капиталъ былъ уже заведенъ, можете вообразить себѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, гораздо послѣ. Капитанъ Копѣйкинъ видитъ: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, лѣвая. Навѣдался было домой къ отцу; отецъ говоритъ: «Мнѣ нечѣмъ тебя кормить· я», можете представить себѣ, «самъ едва достаю хлѣбъ». Вотъ мой капитанъ Копѣйкинъ рѣшился отправиться, сударь мой, въ Петербургъ, чтобы просить государя, не будетъ ли какой монаршей милости: что вотъ де такъ и такъ, въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, жизнью жертвовалъ, проливалъ кровь... Ну, какъ-то тамъ, знаете, съ обозами или фурами казенными—словомъ, сударь мой, дотащился онъ кое-какъ до Петербурга. Ну, можете представить себѣ: этакой, какой-нибудь, то-есть, капитанъ Копѣйкинъ и очутился вдругъ въ столицѣ, которой подобной, такъ сказать, нѣтъ въ мірѣ. Вдругъ передъ нимъ свѣтъ, такъ сказать, нѣкоторое поле жизни, (какъ) сказочная Шехеразада, понимаете, этакая. Вдругъ какой-нибудь этакой, можете представить себѣ, Невскій проспектъ, или тамъ, знаете, какая-нибудь Гороховая, чортъ возьми, или тамъ этакая какая-нибудь Литейная; тамъ шпицъ этакой какой-нибудь въ воздухѣ; мосты тамъ висятъ этакимъ чортомъ, можете представить себѣ, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія—словомъ, Семирамида, сударь, да и полно. Понатолкался было насчетъ квартиры, только все это кусается страшно: гардины тамъ, шторы, понимаете, ковры—Персія такая; ну, просто, то-есть, идешь по улицѣ, а ужъ носъ твой такъ и слышитъ, что пахнетъ тысячами; а у моего капитана Копѣйкина весь ассигнаціонный банкъ, понимаете, состоитъ изъ какихъ-нибудь четырехъ синенькихъ. Ну, какъ-то тамъ пріютился въ Ревельскомъ трактирѣ за рубль въ сутки; обѣдъ—щи этакіе, кусокъ битой говядины. Ну, заживаться, видитъ, нечего; на другой же день, сударь мой, рѣшился идти къ министру. А государя, нужно вамъ знать, въ то время не было еще въ столицѣ; войска, можете себѣ представить, еще не возвращались изъ-за границы. Копѣйкинъ мой, вставшій поранѣе, поскребъ себѣ лѣвой рукой бороду, потому что платить цырюльнику—все это составитъ, въ нѣкоторомъ родѣ, счетъ, натянулъ свою мундиришку и на деревяжкѣ своей, можете вообразить, отправился къ министру. Разспросилъ у будочника квартиру. «Вонъ», говоритъ—указалъ ему на домъ на Дворцовой набережной: избенка, понимаете, мужичья; стеклышки въ окнахъ, можете себѣ представить, полутора-саженныя зеркала, все это мраморъ, вездѣ металлическія галантереи. Какая-нибудь ручка у дверей, что нужно, знаете, забѣжать прежде въ мелочную лавочку, да купить на грошъ мыла, да прежде часа два теретъ имъ руки, да потомъ уже рѣшиться ухватиться за нее. Словомъ, сударь мой, гебены, лаки такіе, что просто, въ нѣкоторомъ родѣ, ума помраченіе. Одинъ швейцаръ уже смотритъ генералиссимусомъ: вызолоченная булава, графская физіономія, какъ от-

кормленный жирный мопсъ какой-нибудь, батистовые воротнички, канальство!.. Копѣйкинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себѣ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себѣ представить, какую-нибудь Америку или Индію—раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу этакую. Ну, разумѣется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, потому что, можете представить себѣ, пришелъ еще въ такое время, когда министръ, въ нѣкоторомъ родѣ, едва поднялся съ постели, и камердинеръ, можетъ-быть, поднесъ ему какую-нибудь серебряную лоханку для разныхъ, понимаете, умываній этакихъ. Ждетъ мой Копѣйкинъ часа четыре, какъ вотъ входитъ, наконецъ, адъютантъ или тамъ другой дежурный чиновникъ: «министръ», говоритъ, «сейчасъ выйдетъ въ пріемную». А въ пріемной ужъ, понимаете, народу, какъ бобовъ на тарелкѣ, все это четвертаго класса, полковники, а кое-гдѣ и толстые золотые макароны на эполетахъ—генералитетъ, словомъ, такой... Наконецъ, министръ выходитъ. Ну, подошелъ къ одному, къ другому: «Зачѣмъ вы? зачѣмъ вы? что вамъ угодно?» Наконецъ—къ Копѣйкину. Копѣйкинъ, собравшись съ духомъ: «Такъ и такъ, ваше превосходительство, проливалъ, въ нѣкоторомъ родѣ, кровь, лишился, такъ сказать, руки и ноги, работать не могу—осмѣлился просить монаршей милости». Министръ видитъ: человѣкъ на деревяжкѣ, и правый рукавъ пустой пристегнутъ къ мундиру: «хорошо», говоритъ: «понавѣдайтесь на-дняхъ». Вотъ, сударь мой, не прошло четырехъ или пяти дней, мой Копѣйкинъ является опять. Министръ, понимаете, тотчасъ его узналъ: «а!» говоритъ: «на этотъ разъ ничего не могу вамъ сказать, какъ только то, что вамъ нужно будетъ ожидать пріѣзда государя: тогда, безъ сомнѣнія, будутъ сдѣланы распоряженія насчетъ раненыхъ, а безъ монаршей, такъ сказать, воли я ничего не могу сдѣлать». Поклонъ, понимаете, и—прощайте. Копѣйкинъ мой, можете вообразить себѣ, вышелъ въ положеніи, въ нѣкоторомъ родѣ, сомнительномъ, не получивши, такъ сказать, ни да, ни нѣтъ. А между тѣмъ, можете вообразить себѣ, столичная жизнь становится для него съ каждымъ часомъ затруднительнѣе. Думаетъ себѣ: «пойду опять къ министру: какъ хотите, ваше высокопревосходительство, послѣдній кусокъ доѣдаю; не поможете, долженъ умереть, въ нѣкоторомъ родѣ, съ голода». Приходитъ,—говорятъ: «нельзя, министръ не принимаетъ, приходите завтра»; на другой день—тоже, а швейцаръ на него просто и смотрѣть не хочетъ. У моего Копѣйкина всего-на-всего остается какой-нибудь полтинникъ. То, бывало, ѣдалъ щи, говядины кусокъ; а теперь въ лавочкѣ возьметъ какую-нибудь селедку или огурецъ соленый да хлѣба на два гроша—словомъ, голодаетъ бѣдняга, а между тѣмъ аппетитъ, просто, волчій. Проходитъ мимо этакого какого-нибудь ресторана, поваръ тамъ собака, можете себѣ представить, иностранецъ, бѣлье на немъ чистѣйшее голландское, работаетъ тамъ

фензервъ какой-нибудь, котлетки съ трюфелями,—словомъ, разсупеделикасетъ такой, что просто себя, то-есть, съѣлъ отъ аппетита. Пройдетъ ли мимо Милютинскихъ лавокъ, тамъ изъ окна выглядываетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, семга этакая, вишенки—по пяти рублей штучка, арбузъ—громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, ищетъ дурака, который бы заплатилъ сто рублей,—словомъ на всякомъ шагу соблазнъ такой—слюнки текутъ, а онъ слышитъ между тѣмъ все: «завтра». Такъ можете вообразить себѣ, каково его положеніе: тутъ съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а ему подносятъ все одно и то же блюдо: «завтра». Наконецъ, сдѣлалось бѣднягѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, невтерпежъ: рѣшился, во что бы ни стало, пролѣзть къ министру. Дождался у подъѣзда, не пройдетъ ли еще какой проситель, и тамъ съ какимъ-то генераломъ, понимаете, проскользнулъ со своей деревяжкой въ пріемную. Министръ, по обыкновенію, выходитъ: «зачѣмъ вы? зачѣмъ вы?» «А»? говоритъ, увидѣвши Копѣйкина: «вѣдь я уже объявилъ вамъ, что вы должны ожидать рѣшенія».—«Помилуйте, ваше высокопревосходительство: не имѣю, такъ сказать, куска хлѣба»... «Что-жъ дѣлать? Я для васъ ничего не могу сдѣлать, старайтесь, покамѣстъ, помочь себѣ сами, ищите сами средствъ».—«Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, въ нѣкоторомъ родѣ, судить, какія средства могу сыскать, не имѣя ни руки, ни ноги». Онъ-то хотѣлъ прибавить: «а носомъ и подавно ничего не сдѣлаешь, только развѣ высморкаешься, да и для того нужно купить платокъ». Только министръ, сударь мой,—или ужъ онъ ему надоѣлъ такъ, или въ самомъ дѣлѣ онъ, можетъ, занятъ былъ дѣлами государственными,—началъ, можете себѣ представить, сердиться. «Ступайте же», говоритъ, «у меня много такихъ, какъ вы, ожидайте спокойно». А мой Копѣйкинъ,—голодъ, знаете, пришпорилъ его: «какъ хотите», говоритъ, «ваше высокопревосходительство, не сойду съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не дадите надлежащей резолюціи». И, сударь мой! Можете себѣ представить, министръ вышелъ изъ себя. Въ самомъ дѣлѣ, до тѣхъ поръ, можетъ-быть, еще не было въ лѣтописяхъ міра, такъ сказать, чтобы какой-нибудь Копѣйкинъ осмѣлился такъ говорить съ министромъ. Можете себѣ представить, каковъ долженъ быть разсерженный министръ, такъ сказать, государственный человѣкъ, въ нѣкоторомъ родѣ. «Грубіянъ!»—закричалъ онъ. «Гдѣ фельдъ-егерь? Позвать фельдъ-егеря, препроводить его», говоритъ, «съ фельдъ-егеремъ на мѣсто жительства». А фельдъ-егерь ужъ тамъ, понимаете, и стоитъ: трехъ-аршинный мужчина какой-нибудь; ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиковъ—словомъ, дантистъ этакой... Вотъ его, раба Божія, схватили, сударь мой, да въ телѣжку съ фельдъ-егеремъ. «Ну», Копѣйкинъ думаетъ «по крайней мѣрѣ не нужно платить прогоновъ, спасибо и за то». Вотъ онъ, сударь мой, ѣдетъ на фельдъ-егерѣ, да, ѣдучи на фельдъ-егерѣ,

въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, разсуждаетъ самъ себѣ: «Когда министръ», говоритъ, «самъ сказалъ, чтобы я поискалъ средствъ помочь себѣ—хорошо», говоритъ, «я», говоритъ, «найду средства». Ну, ужъ какъ только его доставили на мѣсто и куда именно привезли—ничего этого неизвѣстно. Такъ, понимаете, и слухи о капитанѣ Копѣйкинѣ канули въ рѣку забвенія, въ какую-нибудь этакую Лету, какъ называютъ поэты. Но, позвольте, господа, вотъ тутъ-то и начинается, можно сказать, нить завязки романа. Итакъ, куда дѣлся Копѣйкинъ—неизвѣстно; но не прошло, можете представить себѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ появилась въ рязанскихъ лѣсахъ шайка разбойниковъ, и атаманъ-то этой шайки былъ, сударь мой, не кто другой, какъ нашъ капитанъ Копѣйкинъ. Набралъ изъ разныхъ бѣглыхъ солдатъ нѣкоторымъ образомъ банду цѣлую. Это было, можете себѣ представить, тотчасъ послѣ войны: все привыкло, знаете, къ распускной жизни, всякому жизнь—копѣйка, забубешь вездѣ такой, хоть трава не расти—словомъ, сударь мой, у него просто армія. По дорогамъ никакого проѣзда нѣтъ, и все это собственно, такъ сказать, устремлено на одно только казенное. Если проѣзжающій по какой-нибудь своей надобности—ну, спросятъ только «зачѣмъ?» да и ступай своей дорогой. А какъ только какой-нибудь фуражъ казенный, провіантъ или деньги—словомъ, все, что носитъ, такъ сказать, имя казны—спуска никакого. Ну, можете себѣ представить, казенный карманъ опустошается ужасно. Услышитъ ли, что въ деревнѣ приходитъ срокъ платить казенный оброкъ,—онъ ужъ тамъ. Тотъ же часъ требуетъ къ себѣ старосту: «подавай, братъ, казенные оброки и подати». Ну, мужикъ видитъ: этакой безногій чортъ, на воротникѣ-то у него, понимаете, жаръ-птица, красное сукно—пахнетъ, чортъ возьми, оплеухой. «На, батюшка, вотъ тебѣ, отвяжись только». Думаетъ: «ужъ вѣрно какой-нибудь капитанъ-исправникъ, а можетъ, еще и хуже». Только, сударь мой, деньги, понимаете, приметъ онъ, какъ слѣдуетъ, и тутъ же крестьянамъ пишетъ расписку, чтобы, нѣкоторымъ образомъ, оправдать ихъ: что деньги точно, молъ, взяты и подати сполна всѣ выплачены, а принялъ вотъ такой-то капитанъ Копѣйкинъ; еще даже и печать свою приложитъ—словомъ, сударь мой, грабитъ, да и полно. Посыланы были нѣсколько разъ команды изловить его, но Копѣйкинъ мой и въ усъ не дуетъ. Голодеры, понимаете, собрались все такіе... Но наконецъ, можетъ быть, испугавшись, самъ видя, что дѣло, такъ сказать, заварилъ не на шутку, и что преслѣдованія ежеминутно усиливались, а между тѣмъ деньжонокъ у него набрался капиталецъ порядочный, онъ, сударь мой, за границу, и за границу-то, сударь мой, понимаете, въ Соединенные Штаты. И пишетъ оттуда, сударь мой, письмо къ государю краснорѣчивѣйшее, какъ только можете вообразить. Въ древности Платоны и Демосѳены какіе-нибудь —все это, можно сказать, тряпка, дьячокъ въ сравненіи съ нимъ.

«Не подумай, государь», говоритъ: «чтобъ я того и того»... Круглоту періодовъ запустилъ такую... «Необходимость», говоритъ, «была причиною моего поступка; проливалъ кровь, не щадилъ, нѣкоторымъ образомъ, жизни, и хлѣба, какъ бы сказать, для пропитанія нѣтъ теперь у меня. Не наказуй», говоритъ, «моихъ сотоварищей, потому что они невинны, ибо вовлечены, такъ сказать, собственно мною, а окажи лучше монаршую свою милость, чтобы впредь, то-есть, если тамъ попадутся раненые, такъ чтобы примѣромъ за ними этакое, можете себѣ представить, смотрѣніе...»—словомъ, краснорѣчиво необыкновенно. Ну, государь, понимаете, былъ тронутъ. Дѣйствительно его монаршему сердцу было прискорбно: хотя онъ, точно, былъ преступникъ и достоинъ, въ нѣкоторомъ родѣ, смертельнаго наказанія, но, видя, такъ сказать, какъ можетъ невинный иногда произойти—подобное упущеніе, да и невозможно, впрочемъ, чтобы въ тогдашнее смутное время все было можно вдругъ устроить, одинъ Богъ, можно сказать, только развѣ безъ проступковъ,—словомъ, сударь мой, государь изволилъ на этотъ разъ оказать безпримѣрное великодушіе: повелѣлъ остановить преслѣдованіе виновныхъ, а въ то же время издалъ строжайшее предписаніе составить комитетъ исключительно съ тѣмъ, чтобы заняться улучшеніемъ участи всѣхъ, то-есть, раненыхъ—и вотъ, сударь мой, это была, такъ сказать, причина, въ силу которой положено было основаніе инвалидному капиталу, обезпечившему, можно сказать, теперь раненыхъ совершенно, такъ что подобнаго попеченія дѣйствительно ни въ Англіи, ни въ разныхъ другихъ просвѣщенныхъ государствахъ не имѣется. Такъ вотъ кто, сударь мой, этотъ капитанъ Копѣйкинъ. Теперь, я полагаю, вотъ что въ Соединенныхъ Штатахъ денежки онъ, безъ сомнѣнія, прожилъ, да вотъ и воротился къ намъ, чтобы еще какъ-нибудь попробовать, не удастся ли, такъ сказать, въ нѣкоторомъ родѣ, новое предпріятіе.

В. Редакція, зачеркнутая цензоромъ.

«Послѣ кампаніи двѣнадцатаго года, сударь ты мой»,—такъ началъ почтмейстеръ, несмотря на то, что въ комнатѣ сидѣлъ не одинъ сударь, а цѣлыхъ шестеро,—«послѣ кампаніи двѣнадцатаго года, вмѣстѣ съ ранеными присланъ былъ и капитанъ Копѣйкинъ. Подъ Краснымъ ли, или подъ Лейпцигомъ, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сдѣлано было насчетъ раненыхъ никакихъ, знаете, этакихъ распоряженій: этотъ какой-нибудь инвалидный капиталъ былъ уже заведенъ, можете представить себѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, гораздо послѣ. Капитанъ Копѣйкинъ видитъ: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, лѣвая. Навѣдался было домой къ отцу; отецъ говоритъ: «Мнѣ нечѣмъ тебя кормить, я», можете представить себѣ, «самъ едва достаю хлѣбъ».

Вотъ мой капитанъ Копѣйкинъ рѣшился отправиться, сударь мой, въ Петербургъ, чтобы просить государя, не будетъ ли какой монаршей милости: «что вотъ де, такъ и такъ, въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, жизнію жертвовалъ, проливалъ кровь»... Ну, какъ-то тамъ, знаете, съ обозами или фурами казенными, словомъ, сударь мой, дотащился онъ кое-какъ до Петербурга. Ну, можете представить себѣ, этакой какой-нибудь, то-есть, капитанъ Копѣйкинъ и очутился вдругъ въ столицѣ, которой подобной, такъ сказать, нѣтъ въ мірѣ! Вдругъ предъ нимъ—свѣтъ, такъ сказать, нѣкоторое поле жизни, сказочная Шехеразада. Вдругъ какой-нибудь этакой, можете представить себѣ, Невскій проспектъ, или тамъ, знаете, какая-нибудь Гороховая, чортъ возьми, или тамъ этакая какая-нибудь Литейная; тамъ шпицъ этакой какой-нибудь въ воздухѣ; мосты тамъ висятъ этакимъ чортомъ, можете представить себѣ, безъ всякаго, то-есть, прикосновенія—словомъ, Семирамида, сударь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры—Персія цѣликомъ! ногой, такъ сказать, попираешь капиталы. Ну, просто, то-есть, идешь по улицѣ, а ужъ носъ твой такъ и слышитъ, что пахнетъ тысячами; а у моего капитана Копѣйкина весь ассигнаціонный банкъ, понимаете, состоитъ изъ какихъ-нибудь десяти синюхъ. Ну, какъ-то тамъ пріютился въ Ревельскомъ трактирѣ, за рубль въ сутки; обѣдъ—щи, кусокъ битой говядины. Видитъ, заживаться нечего. Разспросилъ, куда обратиться. Говорятъ, есть, въ нѣкоторомъ родѣ, высшая комиссія, правленье, понимаете, этакое, и начальникомъ генералъ-аншефъ такой-то. А государя, нужно вамъ знать, въ то время не было еще въ столицѣ; войска, можете себѣ представить, еще не возвращались изъ Парижа, все было за границей. Копѣйкинъ мой, вставшій поранѣе, поскребъ себѣ лѣвой рукой бороду,—потому что платить цырюльнику—это составитъ, въ нѣкоторомъ родѣ, счетъ,—натащилъ на себя мундиришка и на деревяжкѣ своей, можете вообразить, отправился къ самому начальнику, къ вельможѣ. Разспросилъ квартиру. «Вонъ», говорятъ, указавъ ему на домъ на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки въ окнахъ, можете себѣ представить, полутора-саженныя зеркала, такъ что вазы и все, что тамъ ни есть въ комнатахъ, кажутся какъ бы въ-наружѣ: могъ бы, въ нѣкоторомъ родѣ, достать съ улицы рукой; драгоцѣнные мраморы на стѣнахъ, металлическія галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, такъ что нужно, знаете, забѣжать напередъ въ мелочную лавочку, да купить на грошъ мыла, да прежде часа два тереть имъ руки, да потомъ уже рѣшиться ухватиться за нее—словомъ: лаки на всемъ такіе—въ нѣкоторомъ родѣ ума помраченіе. Одинъ швейцаръ уже смотритъ генералиссимусомъ: вызолоченная булава, графская физіогномія, какъ откормленный жирный мопсъ какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!..

Копѣйкинъ мой встащился кое-какъ съ своей деревяжкой въ пріемную, прижался тамъ въ уголку себѣ, чтобы не толкнуть локтемъ, можете себѣ представить, какую-нибудь Америку или Индію—раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу этакую. Ну, разумѣется, что онъ настоялся тамъ вдоволь, потому что, можете представить себѣ, пришелъ еще въ такое время, когда генералъ, въ нѣкоторомъ родѣ, едва поднялся съ постели, и камердинеръ, можетъ-быть, поднесъ ему какую-нибудь серебряную лоханку для разныхъ, понимаете, умываній этакихъ. Ждетъ мой Копѣйкинъ часа четыре, какъ вотъ входитъ, наконецъ, адъютантъ или тамъ другой дежурный чиновникъ. «Генералъ», говоритъ, «сейчасъ выйдетъ въ пріемную». А въ пріемной уже народу, какъ бобовъ на тарелкѣ. Все это не то, что нашъ братъ холопъ, все четвертаго или пятаго класса, полковники, а кое-гдѣ и толстый макаронъ блеститъ на эполетѣ—генералитетъ, словомъ, такой. Вдругъ въ комнатѣ, понимаете, пронеслась чуть замѣтная суета, какъ эфиръ какой-нибудь тонкій. Раздалось тамъ и тамъ: «шу, шу», и, наконецъ, тишина настала страшная. Вельможа входитъ. Ну... можете представить себѣ: государственный человѣкъ! Въ лицѣ, такъ сказать... ну, сообразно съ званіемъ, понимаете... съ высокимъ чиномъ... такое и выраженье, понимаете. Все, что ни было въ передней, разумѣется, въ ту же минуту въ струнку, ожидаетъ, дрожитъ, ждетъ рѣшенья, въ нѣкоторомъ родѣ, судьбы. Министръ или вельможа подходитъ къ одному, къ другому: «Зачѣмъ вы? зачѣмъ вы? что вамъ угодно? какое ваше дѣло?» Наконецъ, сударь мой, къ Копѣйкину. Копѣйкинъ, собравшись съ духомъ: «Такъ и такъ, ваше превосходительство: проливалъ кровь, лишился, въ нѣкоторомъ родѣ, руки и ноги, работать не могу, осмѣливаюсь просить монаршей милости». Министръ видитъ—человѣкъ на деревяжкѣ и правый рукавъ пустой пристегнутъ къ мундиру: «Хорошо», говоритъ, «понавѣдайтесь на-дняхъ». Копѣйкинъ мой выходитъ чуть не въ восторгѣ: одно то, что удостоился аудіенціи, такъ сказать, съ первостатейнымъ вельможею; а другое то, что вотъ, теперь, наконецъ, рѣшится, въ нѣкоторомъ родѣ, насчетъ пенсіона. Въ духѣ, понимаете, такомъ, подпрыгиваетъ по тротуару. Зашелъ въ Палкинскій трактиръ выпить рюмку водки, пообѣдалъ, сударь мой, въ Лондонѣ, приказалъ подать себѣ котлетку съ каперсами, пулярку спросилъ съ разными финтерлеями; спросилъ бутылку вина, ввечеру отправился въ театръ, однимъ словомъ, понимаете, кутнулъ. На тротуарѣ, видитъ, идетъ какая-то стройная англичанка, какъ лебедь, можете себѣ представить, этакой. Мой Копѣйкинъ, кровь-то, знаете разыгралась въ немъ, побѣжалъ было за ней на своей деревяжкѣ, трюхъ, трюхъ, слѣдомъ—«да нѣтъ», подумалъ, «пусть послѣ, когда получу пенсіонъ, теперь ужъ я что-то расходился слишкомъ». Вотъ, сударь мой, какихъ-нибудь черезъ три-четыре дня является Копѣйкинъ мой снова къ министру, дождался выхода. «Такъ и такъ»,

говоритъ: «пришелъ», говоритъ, «услышать приказъ вашего высокопревосходительства по одержимымъ болѣзнямъ и за ранами»... и тому подобное, понимаете, въ должномъ слогѣ. Вельможа, можете вообразить, тотчасъ его узналъ: «А», говоритъ, «хорошо», говоритъ, «на этотъ разъ ничего не могу сказать вамъ болѣе, какъ только то, что вамъ нужно будетъ ожидать пріѣзда государя; тогда, безъ сомнѣнія, будутъ сдѣланы распоряженія насчетъ раненыхъ, а безъ монаршей, такъ сказать, воли я ничего не могу сдѣлать». Поклонъ, понимаете, и— прощайте. Копѣйкинъ, можете вообразить себѣ, вышелъ въ положеніи самомъ неопредѣленномъ. Онъ-то уже думалъ, что вотъ ему завтра такъ и выдадутъ деньги: «На, тебѣ, голубчикъ, пей да веселись»; а вмѣсто того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вотъ онъ совой такой вышелъ съ крыльца, какъ пудель, понимаете, котораго поваръ облилъ водой: и хвость у него между ногъ, и уши повѣсилъ! «Ну, нѣтъ», думаетъ себѣ: «пойду въ другой разъ, объясню, что послѣдній кусокъ доѣдаю—не поможете, долженъ умереть, въ нѣкоторомъ родѣ, съ голода». Словомъ, приходитъ, онъ, сударь мой, опять на Дворцовую набережную, говорятъ: «Нельзя, не принимаетъ, приходите завтра». На другой день—тоже; а швейцаръ на него, просто, и смотрѣть не хочетъ. А между тѣмъ у него изъ синюхъ-то, понимаете, ужъ остается только одна въ карманѣ. То, бывало, ѣдалъ щи, говядины кусокъ; а теперь въ лавочкѣ возьметъ какую-нибудь селедку или огурецъ соленый, да хлѣба на два гроша, словомъ—голодаетъ бѣдняга, а между тѣмъ аппетитъ, просто, волчій. Проходитъ мимо этакаго какого-нибудь ресторана—поваръ тамъ, можете себѣ представить, иностранецъ, французъ этакой съ открытой физіогноміей, бѣлье на немъ голландское, фартукъ бѣлизною равный снѣгамъ, работаетъ тамъ фензервъ какой-нибудь, котлетки съ трюфелями, словомъ —разсупе-деликасетъ такой, что, просто, себя, то-есть, съѣлъ бы отъ аппетита. Пройдетъ ли мимо Милютинскихъ лавокъ, тамъ изъ окна выглядываетъ, въ нѣкоторомъ родѣ, семга этакая, вишенки—по пяти рублей штучка, арбузъ—громадище, дилижансъ этакой, высунулся изъ окна и, такъ сказать, ищетъ дурака, который бы заплатилъ сто рублей, словомъ—на всякомъ шагу соблазнъ такой—слюнки текутъ, а онъ слышитъ, между тѣмъ, все: «завтра». Такъ можете вообразить себѣ, каково его положеніе: тутъ, съ одной стороны, такъ сказать, семга и арбузъ, а съ другой-то ему подносятъ все одно и то же блюдо: «завтра». Наконецъ, сдѣлалось бѣднягѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, невтерпежъ: рѣшился во что бы то ни стало пролѣзть штурмомъ, понимаете. Дождался у подъѣзда, не пройдетъ ли еще какой проситель, и тамъ съ какимъ-то генераломъ, понимаете, проскользнулъ съ своей деревяжкой въ пріемную. Вельможа, по обыкновенію, выходитъ: «Зачѣмъ вы? Зачѣмъ вы?» «А», говоритъ, увидѣвши Копѣйкина: «вѣдь я уже объявилъ вамъ, что вы должны ожидать рѣшенія».—«Поми-

луйте, ваше высокопревосходительство,—не имѣю, такъ сказать, куска хлѣба...»—«Что-жъ дѣлать? Я для васъ ничего не могу сдѣлать; старайтесь покамѣстъ помочь себѣ сами, ищите сами средствъ».—«Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, въ нѣкоторомъ родѣ, судить, какія средства могу сыскать, не имѣя ни руки, ни ноги».—«Но», говоритъ сановникъ, «согласитесь: я не могу васъ содержать, въ нѣкоторомъ родѣ, на свой счетъ; у меня много раненыхъ, всѣ они имѣютъ равное право... Вооружитесь терпѣніемъ. Пріѣдетъ государь, я могу вамъ дать честное слово, что его монаршая милость васъ не оставитъ».—«Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать», говоритъ Копѣйкинъ, и говоритъ, въ нѣкоторомъ отношеніи, грубо. Вельможѣ, понимаете, сдѣлалось уже досадно. Въ самомъ дѣлѣ: тутъ со всѣхъ сторонъ генералы ожидаютъ рѣшеній, приказаній; дѣла, такъ сказать, важныя, государственныя, требующія самоскорѣйшаго исполненія,—минута упущенія можетъ быть важна, а тутъ еще привязался сбоку неотвязчивый чортъ.—«Извините», говоритъ, «мнѣ некогда... меня ждутъ дѣла важнѣе вашихъ». Напоминаетъ способомъ, въ нѣкоторомъ родѣ, тонкимъ, что пора, наконецъ, и выйти. А мой Копѣйкинъ,—голодъ-то, знаете, пришпорилъ его: «Какъ хотите, ваше высокопревосходительство», говоритъ, «не сойду съ мѣста до тѣхъ поръ, пока не дадите резолюцію». Ну... можете представить: отвѣчать такимъ образомъ вельможѣ, которому стоитъ только слово, такъ вотъ ужъ и полетѣлъ вверхъ тарашки, такъ что и чортъ тебя не отыщетъ... Тутъ если нашему брату скажетъ чиновникъ однимъ чиномъ поменьше подобное, такъ ужъ и грубость. Ну, а тамъ размѣръ то, размѣръ каковъ: «генералъ-аншефъ и какой-нибудь капитанъ Копѣйкинъ! 90 рублей и нуль! Генералъ, понимаете, больше ничего, какъ только взглянулъ, а взглядъ—огнестрѣльное оружіе: души ужъ нѣтъ—ужъ она ушла въ пятки. А мой Копѣйкинъ, можете вообразить, ни съ мѣста, стоитъ, какъ вкопанный. «Что же вы?» —говоритъ генералъ и принялъ его, какъ говорится, въ лопатки. Впрочемъ, сказать правду, обошелся онъ еще довольно милостиво: иной бы пугнулъ такъ, что дня три вертѣлась бы послѣ того улица вверхъ ногами, а онъ сказалъ только: «Хорошо», говоритъ: «если вамъ здѣсь дорого жить и вы не можете въ столицѣ покойно ожидать рѣшенія вашей участи, такъ я васъ вышлю на казенный счетъ. Позвать фельдъ-егеря! препроводить его на мѣсто жительства!» А фельдъ-егерь ужъ тамъ, понимаете, и стоитъ: трехъ-аршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиковъ,—словомъ, дантистъ этакой... Вотъ его, раба Божія, схватили, сударь мой, да на телѣжку, съ фельдъ-егеремъ. «Ну», Копѣйкинъ думаетъ, «по крайней мѣрѣ не нужно платить прогоновъ, спасибо и за то». Вотъ онъ, сударь мой, ѣдетъ на фельдъ-егерѣ, да, ѣдучи на фельдъ-егерѣ, въ нѣкоторомъ родѣ, такъ сказать, разсуждаетъ самъ себѣ: «Когда

генералъ говоритъ, чтобы я поискалъ самъ средствъ помочь себѣ,—хорошо», говоритъ, «я», говоритъ, «найду средства!» Ну, ужъ какъ только его доставили на мѣсто и куда именно привезли—ничего этого неизвѣстно. Такъ, понимаете, и слухи о капитанѣ Копѣйкинѣ канули въ рѣку забвенія, въ какую-нибудь этакую Лету, какъ называютъ поэты. Но, позвольте, господа, вотъ тутъ-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итакъ, куда дѣлся Копѣйкинъ—неизвѣстно; но не прошло, можете представить себѣ, двухъ мѣсяцевъ, какъ появилась въ рязанскихъ лѣсахъ шайка разбойниковъ, и атаманъ-то этой шайки былъ, сударь мой, не кто другой...

Похожденія Чичикова
или
Мертвыя души.

ПОЭМА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ГЛАВА I.

Зачѣмъ же изображать бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? Что-жъ дѣлать, если уже таковы свойства сочинителя и, заболѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, уже и не можетъ изображать онъ ничего другого, какъ только бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства? И вотъ опять попали мы въ глушь, опять наткнулись на закоулокъ. Зато какая глушь и какой закоулокъ!

Какъ бы исполинскій валъ какой-то безконечной крѣпости, съ наугольниками и бойницами, шли, извиваясь, на тысячу слишкомъ верстъ горныя возвышенія. Великолѣпно возносились они надъ безконечными пространствами равнинъ, то отломами, известковато-глинистаго свойства, въ видѣ отвѣсныхъ стѣнъ, исчерченныхъ проточинами и рытвинами, то миловидно кругливѣшеюся зеленою выпуклостью, покрытой, какъ мерлушками, молодымъ кустарникомъ, подымавшимся отъ срубленныхъ деревъ, то, наконецъ, темными гущами лѣса, какимъ-то чудомъ еще уцѣлѣвшими отъ топора. Рѣка то, вѣрная своимъ берегамъ, давала вмѣстѣ съ ними колѣна и повороты, то отлучалась прочь въ луга, затѣмъ, чтобы, извившись тамъ въ нѣсколько извивовъ, блеснуть, какъ огонь, передъ солнцемъ, скрыться въ рощи березъ, осинъ и ольхъ и выбѣжать оттуда въ торжествѣ, въ

сопровожденіи мостовъ, мельницъ и плотинъ, какъ бы гонявшихся за нею на всякомъ поворотѣ.

Въ одномъ мѣстѣ крутой бокъ возвышеній убирался гуще въ зеленыя кудри деревъ. Искусственнымъ насажденьемъ, благодаря неровности гористаго оврага, сѣверъ и югъ растительнаго царства собрались сюда вмѣстѣ. Дубъ, ель, лѣсная груша, кленъ, вишнякъ и терновникъ, чилига и рябина, опутанная хмелемъ, то помогая другъ (другу) въ ростѣ, то заглушая другъ друга, карабкались по всей горѣ, отъ низу до верху. Вверху же, у самаго ея темени, примѣшивались къ ихъ зеленымъ верхушкамъ красныя крышки господскихъ строеній, коньки и гребни сзади скрывшихся избъ, верхняя надстройка господскаго дома съ рѣзнымъ балкономъ и большимъ полукруглымъ окномъ. И надъ всѣмъ этимъ собраньемъ деревъ и крышъ возносилась свыше всего своими пятью позлащенными, играющими верхушками старинная деревенская церковь. На всѣхъ ея главахъ стояли золотые прорѣзные кресты, утвержденные золотыми прорѣзными же цѣпями, такъ что издали, казалось, висѣло на воздухѣ ничѣмъ неподдержанное, сверкавшее горячими червонцами золото. И все это, въ опрокинутомъ видѣ, верхушками, крышками, крестами внизъ, миловидно отражалось въ рѣкѣ, гдѣ безобразно-дуплистыя ивы, однѣ стоя у береговъ, другія совсѣмъ въ водѣ, опустивши туда и вѣтви и листья, опутанные склизкой бодягой, плававшей по водѣ вмѣстѣ съ желтыми кувшинчиками, точно какъ (бы) разсматривали это чудное изображеніе.

Видъ былъ очень хорошъ, но видъ сверху внизъ, съ надстройки дома на отдаленья, былъ еще лучше. Равнодушно не могъ выстоять на балконѣ никакой гость и посѣтитель. Отъ изумленья у него захватывало въ груди духъ, и онъ только вскрикивалъ: «Господи, какъ здѣсь просторно!» Безъ конца, безъ предѣловъ открывались пространства: за лугами, усѣянными рощами и водяными мельницами, въ нѣсколько зеленыхъ поясовъ, зеленѣли лѣса; за лѣсами, сквозь воздухъ, уже начинавшій становиться мглистымъ, желтѣли пески, и вновь лѣса, уже синѣвшіе, какъ моря или туманъ, далеко разливавшійся; и вновь пески, еще блѣднѣй, но все желтѣвшіе. На отдаленномъ небосклонѣ лежали гребнемъ мѣловыя горы, блиставшія бѣлизною даже и въ ненастное время, какъ бы освѣщало ихъ вѣчное солнце. По ослѣпительной бѣлизнѣ ихъ, у подошвъ, мѣстами гипсовыхъ, мелькали какъ бы дымившіяся туманносизыя пятна. Это были отдаленныя деревни; но ихъ уже не могъ разсмотрѣть человѣческій глазъ. Только вспыхивавшая при солнечномъ освѣщеніи искра золотой церковной маковки давала знать, что это было людное большое селеніе. Все это облечено было въ тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшіе до слуха отголоски воздушныхъ пѣвцовъ, пропадавшіе въ пространствахъ. Словомъ—гость, стоявшій на балконѣ, и послѣ какого-нибудь двухчасового созерцанія ничего

другого не могъ выговорить, какъ только: «Господи, какъ здѣсь просторно!»

Кто-жъ былъ жилецъ и владѣтель этой деревни, къ которой, какъ къ неприступной крѣпости, нельзя было и подъѣхать отсюда, а нужно было подъѣзжать съ другой стороны, гдѣ вразсыпку дубы встрѣчали привѣтливо подъѣзжавшаго гостя, распростирая развѣсистыя вѣтви, какъ дружескія объятья, и провожая его къ лицу того самаго дома, котораго верхушку видѣли мы сзади и который стоялъ теперь весь на-лицо, имѣя по одну сторону рядъ избъ, выказывавшихъ коньки и рѣзные гребни, а по другую—церковь, блиставшую золотомъ крестовъ и золотыми прорѣзными узорами висѣвшихъ въ воздухѣ цѣпей. Какому счастливцу принадлежалъ этотъ закоулокъ?

Помѣщику Тремалаханскаго уѣзда, Андрею Ивановичу Тѣнтѣтникову, молодому тридцатитрехлѣтнему счастливцу и притомъ еще и неженатому человѣку.

Кто-жъ онъ, что-жъ онъ, какихъ качествъ, какихъ свойствъ человѣкъ? У сосѣдей, читательницы, у сосѣдей слѣдуетъ разспросить. Сосѣдъ, принадлежавшій къ фамиліи ловкихъ, уже нынѣ вовсе исчезающихъ, отставныхъ штабъ-офицеровъ-брандеровъ, изъяснялся о немъ выраженіемъ: «Естественнѣйшій скотина!» Генералъ, проживавшій въ десяти верстахъ, говорилъ: «Молодой человѣкъ, неглупый, но много забралъ себѣ въ голову. Я бы могъ быть ему полезнымъ, потому что у меня не безъ связей и въ Петербургѣ, и даже при...» генералъ рѣчи не оканчивалъ. Капитанъ-исправникъ давалъ такой оборотъ отвѣту: «А вотъ я завтра же къ нему за недоимкой!» Мужикъ его деревни на вопросъ о томъ, какой у нихъ баринъ, ничего не отвѣчалъ. Стало-быть, мнѣніе о немъ было неблагопріятное.

Безпристрастно же сказать—онъ не былъ дурной человѣкъ, онъ просто, коптитель неба. Такъ какъ уже не мало есть на бѣломъ свѣтѣ людей, которые коптятъ небо, то почему-жъ и Тѣнтѣтникову не коптить его? Впрочемъ, вотъ на выдержку день изъ его жизни, совершенно похожій на всѣ другіе, и пусть изъ него судитъ читатель самъ, какой у него былъ характеръ, и какъ его жизнь соотвѣтствовала окружавшимъ его красотамъ.

Поутру просыпался онъ очень поздно и, приподнявшись, долго сидѣлъ на своей кровати, протирая глаза. И такъ какъ глаза на бѣду были маленькіе, то протиранье ихъ производилось необыкновенно долго, и во все это время у дверей стоялъ человѣкъ Михайло, съ рукомойникомъ и полотенцемъ. Стоялъ этотъ бѣдный Михайло часъ, другой, отправлялся потомъ на кухню, потомъ вновь приходилъ, — баринъ все еще протиралъ глаза и сидѣлъ на кровати. Наконецъ, подымался онъ съ постели, умывался, надѣвалъ халатъ и выходилъ въ гостиную затѣмъ, чтобы пить чай, кофей, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлѣба безжалостно и на-

соривая повсюду трубочной золы безсовѣстно. И два часа просиживалъ онъ за чаемъ. И этого мало: онъ бралъ еще холодную чашку и съ ней подвигался къ окну, обращенному на дворъ; у окна же происходила всякій день слѣдующая сцена.

Прежде всего ревѣлъ Григорій, дворовый человѣкъ въ качествѣ буфетчика, относившійся къ домоводкѣ Перфильевнѣ почти въ сихъ выраженіяхъ: «Душонка ты возмутительная, ничтожность этакая! Тебѣ бы, гнусной, молчать!»

«А не хочешь ли вотъ этого?»—выкрикивала ничтожность, или Перфильевна, показывая кукишъ,—баба, жесткая въ поступкахъ, несмотря на то, что охотница была до изюму, пастилы и всякихъ сластей, бывшихъ у нея подъ замкомъ.

«Вѣдь ты и съ приказчикомъ сцѣпишься, мелочь ты анбарная!» —ревѣлъ Григорій.

«Да и приказчикъ воръ такой же, какъ и ты. Думаешь, баринъ не знаетъ васъ? вѣдь онъ здѣсь, вѣдь онъ все слышитъ».

«Гдѣ баринъ?»

«Да вотъ онъ сидитъ у окна; онъ все видитъ».

И точно, баринъ сидѣлъ у окна и все видѣлъ.

Къ довершенію содома, кричалъ-кричмя дворовый ребятишка, получившій отъ матери затрещину, визжалъ борзой кобель, присѣвъ задомъ къ землѣ, по поводу горячаго кипятка, которымъ обкатилъ его, выглянувши изъ кухни, поваръ. Словомъ, все голосило и верещало невыносимо. Баринъ все видѣлъ и слышалъ. И только тогда, когда это дѣлалось до такой степени несносно, что мѣшало даже ничѣмъ не заниматься, высылалъ онъ сказать, чтобы шумѣли потише.

За два часа до обѣда уходилъ къ себѣ въ кабинетъ затѣмъ, чтобы заняться серьезно сочиненіемъ, долженствовавшимъ обнять всю Россію со всѣхъ точекъ—съ гражданской, политической, религіозной, философической, разрѣшить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временемъ, и опредѣлить ясно ея великую будущность, словомъ—все такъ и въ томъ видѣ, какъ любитъ задавать себѣ современный человѣкъ. Впрочемъ, колоссальное предпріятіе больше ограничивалось однимъ обдумываніемъ: изгрызалось перо, являлись на бумагѣ рисунки, и потомъ все это отодвигалось на сторону, бралась намѣсто того въ руки книга и уже не выпускалась до самаго обѣда. Книга эта читалась вмѣстѣ съ супомъ, соусомъ, жаркимъ и даже съ пирожнымъ, такъ что иныя блюда оттого стыли, а другія принимались вовсе нетронутыми. Затѣмъ слѣдовала трубка съ кофеемъ, игра въ шахматы съ самимъ собой. Что же дѣлалось потомъ до самаго ужина — право, и сказать трудно. Кажется, просто ничего не дѣлалось.

И этакъ проводилъ время, одинъ-одинешенекъ въ цѣломъ (мірѣ), молодой тридцатитрехлѣтній человѣкъ, сидень-сиднемъ, въ халатѣ и безъ галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотѣлось даже

подняться вверхъ, не хотѣлось даже растворять окна затѣмъ, чтобы забрать свѣжаго воздуха въ комнату, и прекрасный видъ деревни, которымъ не могъ равнодушно любоваться никакой посѣтитель, точно не существовалъ для самого хозяина. Изъ этого можетъ читатель видѣть, что Андрей Ивановичъ Тѣнтѣтниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать. Родятся ли уже такіе характеры, или потомъ образуются, какъ порожденіе печальныхъ обстоятельствъ, сурово обстанавливающихъ человѣка? Вмѣсто отвѣта на это, лучше разсказать исторію его воспитанія и дѣтства.

Казалось, все клонилось къ тому, чтобы вышло изъ него что-то путное. Двѣнадцатилѣтній мальчикъ, остроумный, полузадумчиваго свойства, полуболѣзненный, попалъ онъ въ учебное заведеніе, котораго начальникомъ на ту пору былъ человѣкъ необыкновенный. Идолъ юношей, диво воспитателей, несравненный Александръ Петровичъ одаренъ былъ чутьемъ слышать.....*) Какъ зналъ онъ свойства русскаго человѣка! Какъ зналъ онъ дѣтей! Какъ умѣлъ двигать! Не было шалуна, который, сдѣлавши шалость, не пришелъ бы къ нему самъ и не повинился во всемъ. Этого мало: она получалъ строгое..... но шалунъ уходилъ отъ него, не повѣсивши носъ, но поднявъ его. И было что-то ободряющее, что-то говорившее: «Впередъ! Поднимайся скорѣе на ноги, несмотря, что ты упалъ». Не было у него и рѣчи къ нимъ о хорошемъ поведеніи. Онъ обыкновенно говорилъ: «Я требую ума, а не чего-либо другого. Кто помышляетъ о томъ, чтобы быть умнымъ, тому некогда шалить: шалость должна исчезнуть сама собою». И точно, шалости исчезали сами собою. Презрѣнію товарищей подвергался тотъ, кто не стремился быть.... Обидчѣйшія прозвища должны были переносить взрослые ослы и дураки отъ самыхъ малолѣтнихъ и не смѣли ихъ тронуть пальцемъ. «Это ужъ слишкомъ!» говорили многіе: «умники выйдутъ люди заносчивые».—«Нѣтъ, это не слишкомъ», говорилъ (онъ): «неспособныхъ я не держу долго; съ нихъ довольно одного курса, а для умныхъ у меня другой курсъ». И точно, всѣ способные выдерживали у него другой курсъ. Многихъ рѣзвостей онъ не удерживалъ, видя въ нихъ начало развитія свойствъ душевныхъ и говоря, что онѣ ему нужны, какъ сыпи врачу—затѣмъ, чтобы узнать достовѣрно, что именно заключено внутри человѣка.

Какъ любили его всѣ мальчики! Нѣтъ, никогда не бываетъ такой привязанности у дѣтей къ своимъ родителямъ. Нѣтъ, ни даже въ безумные годы безумныхъ увлеченій не бываетъ такъ сильна неугасимая страсть, какъ сильна была любовь къ нему. До гроба, до позднихъ дней благодарный воспитанникъ, поднявъ бокалъ въ день рожде-

*) Точки поставлены на мѣстѣ неразобранныхъ словъ. *Ред.*

нія своего чуднаго воспитателя, уже давно бывшаго въ могилѣ... закрывалъ глаза и лилъ слезы по немъ. Его малѣйшее одобреніе уже бросало въ дрожь и въ радостный трепетъ и толкало честолюбивое желанье всѣхъ превзойти. Малоспособныхъ онъ не держалъ долго; для нихъ у него былъ коротенькій курсъ; но способные должны были у него выдерживать двойное ученье. И послѣдній классъ, который былъ у него для однихъ избранныхъ, вовсе не походилъ на тѣ, какіе бываютъ въ другихъ заведенья(хъ). Тутъ только онъ требовалъ отъ воспитанника всего того, чего иные неблагоразумно (требуютъ) отъ дѣтей,—того высшаго ума, который умѣетъ не посмѣяться, но вынести всякую насмѣшку, спустить дураку и не раздражиться, и не выйти изъ себя, не мстить ни въ какомъ (случаѣ) и пребывать въ гордомъ покоѣ невозмущенной души; и все, что способно образовать изъ человѣка твердаго мужа, тутъ было употреблено въ дѣйствіе, и онъ самъ дѣлалъ съ ними безпрерывныя пробы. О, какъ онъ зналъ науку жизни!

Учителей у него не было много. Большую часть наукъ читалъ онъ самъ. Безъ педантскихъ терминовъ, напыщенныхъ воззрѣній и взглядовъ, умѣлъ онъ передать самую душу науки, такъ что и малолѣтнему было видно, на что она ему нужна. Изъ наукъ были избраны тѣ, которыя способны образовать изъ человѣка гражданина земли своей. Большая часть лекцій состояла въ разсказахъ о томъ, что ожидаетъ юношу впереди, и весь горизонтъ его поприща умѣлъ онъ очертить такъ, что юноша, еще находясь на лавкѣ, мыслями и душой жилъ уже тамъ, на службѣ. Ничего не скрывалъ: всѣ огорченья и преграды, какія только воздвигаются человѣку на пути его, всѣ искушенія и соблазны, ему предстоящіе, собиралъ онъ предъ нимъ во всей наготѣ, не скрывая ничего. Все было ему извѣстно, точно, какъ бы перебылъ онъ самъ во всѣхъ званіяхъ и должностяхъ. Оттого ли, что сильно уже развилось честолюбіе, оттого ли , что въ самыхъ глазахъ необыкновеннаго наставника было что-то говорящее юношѣ *впередъ*! это словцо, знакомое русскому человѣку, производящее такія чудеса надъ его чуткой природой,—но юноша съ самаго начала искалъ только трудностей, алча дѣйствовать только тамъ, гдѣ трудно, гдѣ больше препятствій, гдѣ нужно было показать большую силу души. Немногіе выходили изъ этого курса, но зато были крѣпыши, были обкуренные порохомъ люди. Въ службѣ они удержались на самыхъ шаткихъ мѣстахъ, тогда какъ многіе, и умнѣйшіе ихъ, не вытерпѣвъ изъ-за мелочныхъ непріятностей, бросили все или же, осовѣвъ, облѣнившись, очутились въ рукахъ взяточниковъ и плутовъ. Но они не пошатнулись и, зная и жизнь, и человѣка, и умудренные мудростью возымѣли сильное вліяніе даже на дурныхъ людей.

Пылкое сердце честолюбиваго мальчишки долго билось при одной мысли о томъ, что онъ попадаетъ наконецъ въ это отдѣленіе,

Что, казалось, могло быть лучше этого воспитателя для нашего Тѣнтѣтникова! Но нужно же, чтобы въ то самое время, когда онъ переведенъ былъ въ этотъ курсъ избранныхъ,—чего такъ сильно желалъ,—необыкновенный наставникъ скоропостижно (умеръ)! О, какой былъ для него ударъ, какая страшная первая потеря! Ему казалось, какъ бы... Все перемѣнилось въ училищѣ. На мѣсто Александра Петровича поступилъ какой-то Федоръ Ивановичъ. Налегъ онъ тотъ же часъ на какіе-то внѣшніе порядки; сталъ требовать отъ дѣтей того, что можно требовать только отъ взрослыхъ. Въ свободной ихъ развязности почудилось ему что-то необузданное. И точно какъ бы на зло своему предшественнику объявилъ съ перваго дня, что для него умъ и успѣхи ничего не значатъ, что онъ будетъ смотрѣть только на хорошее (поведеніе). Странно: хорошаго-то поведенія и не добился Федоръ Ивановичъ. Завелись шалости потаенныя. Все было въ струнку днемъ и шло попарно, а по ночамъ развелись кутежи.

Съ науками тоже случилось что-то странное. Выписаны были новые преподаватели, съ новыми взглядами и новыми углами и точками воззрѣній. Забросали слушателей множествомъ новыхъ терминовъ и словъ; показали они въ своемъ изложеніи и логическую связь, и слѣдованіе за новыми открытіями, и горячку собственнаго увлеченія; но, увы! не было только жизни въ самой наукѣ. Мертвечиной отозвалась въ устахъ ихъ мертвая наука. Однимъ словомъ, все пошло навыворотъ. Потерялось уваженіе къ начальству и власти: стали насмѣхаться и надъ наставниками, и надъ преподавателями; директора стали называть Федькой, булкой и другими разными именами. Развратъ завелся уже вовсе не дѣтскій: завелись такія дѣла, что нужно было многихъ выключить и выгнать. Въ два года узнать нельзя было заведенія.

Андрей Ивановичъ былъ нрава тихаго. Его не могли увлечь ни ночныя оргіи товарищей, которые обзавелись какой-то дамой передъ самыми окнами директорской квартиры, ни кощунство ихъ надъ святыней изъ-за того только, что попался не весьма умный попъ. Нѣтъ, душа его и сквозь сонъ слышала небесное свое происхожденіе. Его не могли увлечь; но онъ повѣсилъ носъ. Честолюбіе уже было возбуждено, а дѣятельности и поприща ему не было. Лучше-бъ было и не возбуждать его. Онъ слушалъ горячившихся на кафедрахъ профессоровъ, а вспоминалъ прежняго наставника, который, не горячась, умѣлъ говорить понятно. Какихъ предметовъ и какихъ курсовъ онъ не слушалъ! Медицину, философію, и даже право, и всеобщую исторію человѣчества въ такомъ огромномъ видѣ, что профессоръ въ три года успѣлъ только прочесть введеніе, да развитіе общинъ какихъ-то нѣмецкихъ городовъ,—и Богъ знаетъ, чего онъ не слушалъ! Но все это оставалось въ головѣ его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму, онъ слышалъ только, что не такъ должно пре-

подаваться, а какъ—не зналъ. И вспоминалъ онъ часто объ Александрѣ Петровичѣ, и такъ ему бывало грустно, что не зналъ онъ, куда дѣться отъ тоски.

Но молодость счастлива тѣмъ, что у ней есть будущее. По мѣрѣ того, какъ приближалось время къ выпуску, сердце его билось. Онъ говорилъ себѣ: «Вѣдь это еще не жизнь; это только приготовленіе къ жизни; настоящая жизнь на службѣ: тамъ подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголокъ, такъ поражавшій всякаго гостя-посѣтителя, не поклонившись праху своихъ родителей, по обычаю всѣхъ честолюбцевъ, понесся онъ въ Петербургъ, куда, какъ извѣстно, стремится изо всѣхъ сторонъ Россіи наша пылкая молодежь—служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки безцвѣтнаго, холоднаго, какъ ледъ, общественнаго обманчиваго образованія. Честолюбивое стремленіе Андрея Ивановича осадилъ, однакоже, съ самаго начала его дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ Онуфрій Ивановичъ. Онъ объявилъ, что главное дѣло въ хорошемъ почеркѣ, а не въ чемъ-либо другомъ, что безъ этого не попадешь ни въ министры, ни въ государственные люди. Съ большимъ трудомъ и съ помощью дядиныхъ протекцій, наконецъ, онъ опредѣлился въ какой-то департаментъ. Когда ввели его въ великолѣпный свѣтлый залъ, съ паркетами и письменными лакированными столами, походившій на то, какъ бы засѣдали здѣсь первые вельможи государства, трактовавшіе о судьбѣ всего государства, и увидѣлъ онъ легіоны красивыхъ пишущихъ господъ, шумѣвшихъ перьями и склонившихъ голову на-бокъ, и посадили его самого за столъ, предложа тутъ же переписать какую-то бумагу, какъ нарочно нѣсколько мелкаго содержанія (переписка шла о трехъ рубляхъ, производившаяся полгода)—необыкновенно странное чувство проникнуло неопытнаго юношу: сидѣвшіе вокругъ его господа показались ему такъ похожими на учениковъ! Къ довершенію сходства, иные изъ нихъ читали глупый переводный романъ, засунувъ его въ большіе листы разбираемаго дѣла, какъ бы занимались самымъ дѣломъ, и въ то же время вздрагивая при всякомъ появленіи начальника. Такъ это все ему показалось странно, такъ занятія прежнія значительнѣе нынѣшнихъ, пріуготовленіе къ службѣ лучше самой службы. Ему стало жалко по школѣ. И вдругъ, какъ живой, предсталъ предъ нимъ Александръ Петровичъ—и чуть-чуть онъ не заплакалъ. Комната закружилась, перемѣшались чиновники и столы, и чуть удержался онъ отъ мгновеннаго потемнѣнія. «Нѣтъ», подумалъ онъ въ себѣ, очнувшись: «примусь за дѣло, какъ бы оно ни казалось вначалѣ мелкимъ!» Скрѣпясь духомъ и сердцемъ, рѣшился онъ служить по примѣру прочихъ.

Гдѣ не бываетъ наслажденій? Живутъ они и въ Петербургѣ, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещитъ по улицамъ сердитый, тридцатиградусный морозъ; взвизгиваетъ исчадье сѣвера,

вѣдьма-вьюга, заметая тротуары, слѣпя глаза, пудря мѣховые воротники, усы людей и морды мохнатыхъ скотовъ, но привѣтливо, и сквозь летающіе перекрестно охлопья, свѣтитъ вверху окошко гдѣ-нибудь и въ четвертомъ этажѣ: въ уютной комнаткѣ, при скромныхъ стеариновыхъ свѣчахъ, подъ шумокъ самовара, ведется согрѣвающій и сердце и душу разговоръ, читается свѣтлая страница вдохновеннаго русскаго поэта, какими наградилъ Богъ свою Россію, и такъ возвышенно-пылко трепещетъ молодое сердце юноши, какъ не водится и подъ полуденнымъ небомъ.

Скоро Тѣнтѣтниковъ свыкнулся съ службою, но только она сдѣлалась у него не первымъ дѣломъ и цѣлью, какъ онъ полагалъ было вначалѣ, но чѣмъ-то вторымъ. Она служила ему распредѣленіемъ времени, заставивъ его болѣе дорожить остававшимися минутами. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, уже начиналъ было думать, что въ племянникѣ будетъ прокъ, какъ вдругъ племянникъ подгадилъ. Въ числѣ друзей Андрея Ивановича, которыхъ у него было довольно, попалось два человѣка, которые были то, что называется огорченные люди. Это были тѣ безпокойно странные характеры, которые не могутъ переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется въ ихъ глазахъ несправедливостью. Добрые по началу, но безпорядочные сами въ своихъ дѣйствіяхъ, требуя къ себѣ снисхожденія и въ то же время исполненные нетерпимости къ другимъ, они подѣйствовали на него сильно и пылкой рѣчью, и образомъ благороднаго негодованія противъ общества. Они, разбудивши въ немъ первы и духъ раздражительности, заставили замѣчать всѣ тѣ мелочи, на которыя онъ прежде и не думалъ обращать вниманіе. Федоръ Федоровичъ Лѣницынъ, начальникъ одного изъ отдѣленій, помѣщавшихся въ великолѣпныхъ залахъ, вдругъ ему не понравился. Онъ сталъ отыскивать въ немъ бездну недостатковъ. Ему показалось, что Лѣницынъ, въ разговорахъ съ высшими, весь превращался въ какой-то приторный сахаръ, и—въ уксусъ, когда обращался къ нему подчиненный; что будто, по примѣру всѣхъ мелкихъ людей, бралъ онъ на замѣчаніе тѣхъ, которые не являлись къ нему съ поздравленіемъ въ праздники, мстилъ тѣмъ, которыхъ имена не находились у швейцара на листѣ; и, вслѣдствіе этого, онъ почувствовалъ къ нему отвращеніе нервическое. Какой-то злой духъ толкалъ его сдѣлать что-нибудь непріятное Федору Федоровичу. Онъ на то наискивался съ какимъ-то особымъ наслажденіемъ и въ томъ успѣлъ. Разъ поговорилъ онъ съ нимъ до того крупно, что ему объявлено было отъ начальства—либо просить извиненія, либо выходить въ отставку. Онъ подалъ въ отставку. Дядя, дѣйствительный статскій совѣтникъ, пріѣхалъ къ нему, перепуганный и умоляющій: «Ради самого Христа! помилуй, Андрей Ивановичъ! что это ты дѣлаешь? Оставлять такъ выгодно начатый карьеръ изъ-за того только, что попался не такой, какой

хочется, начальникъ! Помилуй! что ты? что ты? Вѣдь, если на это глядѣть, тогда и въ службѣ никто-бы не остался. Образумься, отринь гордость, самолюбіе, поѣзжай и объяснись съ нимъ!»

«Не въ томъ дѣло, дядюшка»,—сказалъ племянникъ. Мнѣ не трудно попросить у него извиненія. Я виноватъ: онъ начальникъ и такъ не слѣдовало говорить съ нимъ. Но дѣло вотъ въ чемъ. У меня есть другая служба: триста душъ крестьянъ, имѣніе въ разстройствѣ, управляющій—дуракъ. Государству утраты немного, если вмѣсто меня сядетъ въ канцелярію другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человѣкъ не заплатятъ податей. Я—что вы подумаете?—помѣщикъ, который... служба... Если я позабочусь о сохраненіи, сбереженіи и улучшеніи участи ввѣренныхъ мнѣ людей и представлю государству триста исправнѣйшихъ, трезвыхъ работящихъ подданныхъ—чѣмъ моя служба будетъ хуже службы какого-нибудь начальника отдѣленія, Лѣницына?»

Дѣйствительный статскій совѣтникъ остался съ открытымъ ртомъ отъ изумленія Такого потока словъ онъ не ожидалъ. Немного подумавши, началъ онъ было въ такомъ родѣ: «Но все же... но какъ же таки... какъ же запропастить себя въ деревню? Какое же общество можетъ быть между...? Здѣсь все-таки на улицѣ попадется навстрѣчу генералъ, князь. Пройдешь и самъ мимо какого-нибудь... тамъ... ну, и газовое освѣщеніе, промышленная Европа; а вѣдь тамъ, что ни попадется, все это или мужикъ, или баба. За что-жъ, такъ, за что-жъ себя осудить на невѣжество на всю жизнь свою?»

Но убѣдительныя представленія дяди на племянника не произвели дѣйствія. Деревня начинала представляться какимъ-то привольнымъ пріютомъ, воспоительницею думъ и помышленій, единственнымъ поприщемъ полезной дѣятельности. Ужъ онъ откопалъ и новѣйшія книги по части сельскаго хозяйства. Словомъ—черезъ недѣли двѣ послѣ этого разговора былъ онъ уже въ окрестности тѣхъ мѣстъ, гдѣ пронеслось его дѣтство, невдалекѣ отъ того прекраснаго уголка, которымъ не могъ налюбоваться никакой гость и посѣтитель. Новое чувство въ немъ встрепенулось. Въ душѣ стали просыпаться прежнія, давно не выходившія наружу, впечатлѣнія. Онъ уже многія мѣста позабылъ вовсе и смотрѣлъ любопытно, какъ новичокъ, на прекрасные виды. И вотъ, неизвѣстно отчего, вдругъ забилось у него сердце. Когда же дорога понеслась узкимъ оврагомъ въ чащу огромнаго заглохнувшаго лѣса и онъ увидѣлъ вверху, внизу, надъ собой и подъ собой, трехсотлѣтніе дубы, тремъ человѣкамъ въ обхватъ, въ-перемежку съ пихтой, вязомъ и осокоромъ, перераставшимъ вершину тополя, и когда на вопросъ: «чей лѣсъ?» ему сказали: «Тѣнтѣтникова»; когда, выбравшись изъ лѣса, понеслась дорога лугами, мимо осиновыхъ рощъ, молодыхъ и старыхъ ивъ и лозъ, въ виду тянувшихся вдали возвышеній, и двумя мостами перелетѣла въ разныхъ мѣстахъ одну

и ту же рѣку, оставляя ее то вправо, то влѣво отъ себя, и когда на вопросъ: «чьи луга и поемныя мѣста?» отвѣчали ему: «Тѣнтѣтникова»; когда поднялась потомъ дорога на гору и пошла по ровной возвышенности,—съ одной стороны мимо не снятыхъ хлѣбовъ, пшеницы, ржи и ячменя, съ другой же стороны мимо всѣхъ прежде проѣханныхъ имъ мѣстъ, которыя всѣ вдругъ показались въ сокращенномъ отдаленіи, и когда, постепенно темнѣя, входила и вошла потомъ дорога подъ тѣнь широкихъ развилистыхъ деревъ, размѣстившихся вразсыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали родныя избы мужиковъ и красныя крыши каменныхъ господскихъ строеній, и блеснули золотые верхи (церкви), когда пылко забившееся сердце и безъ вопроса знало, куда пріѣхало: ощущенья, непрестанно накоплявшіяся, исторгнулись наконецъ въ громогласныхъ словахъ: «Ну, не дуракъ ли я былъ доселѣ? Судьба назначила мнѣ быть обладателемъ земного рая, а я закабалилъ себя кропателемъ мертвыхъ бумагъ? Воспитавшись, просвѣтясь, сдѣлавъ запасъ свѣдѣній, нужныхъ для распространенія добра между подвластными, для улучшенія цѣлой области, для исполненія многообразныхъ обязанностей помѣщика, который является въ одно и то же время и судьей, и распорядителемъ, блюстителемъ порядка, ввѣрить это мѣсто невѣжѣ-управителю, а себѣ предпочесть заочное производство дѣлъ между людьми, которыхъ я и въ глаза не видалъ, которыхъ я ни характеровъ, ни качествъ не знаю,—предпочесть настоящему управленіе бумажное, фантастическое управленіе провинціями, отстоящими за тысячи верстъ, гдѣ не была никогда нога моя и гдѣ могу надѣлать только кучи несообразностей и глупостей!

А между тѣмъ его ожидало другое зрѣлище. Узнавши о пріѣздѣ барина, мужики собрались къ крыльцу. Сороки, кички, повойники, зипуны и картинно-окладистыя бороды красиваго населенія обступили его кругомъ. Когда раздались слова: «Кормилецъ нашъ! вспомнилъ...» и невольно заплакали старики и старухи, помнившіе и его дѣда, и прадѣда, не могъ онъ самъ удержаться отъ слезъ. И думалъ онъ про себя: «Столько любви! и за что?—За то, что я никогда не видалъ ихъ, никогда не занимался ими!» И далъ онъ себѣ обѣтъ дѣлить съ (ними) труды и занятія.

И сталъ онъ хозяйничать, распоряжаться. Уменьшилъ барщину, убавивъ дни работъ на помѣщика и прибавивъ времени мужику. Дурака-управителя выгналъ. Самъ сталъ входить во все, показываться на поляхъ, на гумнѣ, въ овинахъ, на мельницахъ, у пристани, при грузкѣ и сплавкѣ барокъ и плоскодонокъ, такъ что лѣнивые стали даже почесываться. Но продолжалось это не долго. Мужикъ смѣтливъ: онъ понялъ скоро, что баринъ, хоть и прытокъ, и есть въ немъ тоже охота взяться за многое, но какъ именно, какимъ образомъ взяться, этого еще не смыслитъ, говоритъ грамотѣйно и не вдолбежъ. Вышло то, что баринъ и мужикъ какъ-то не то, чтобы совершенно не поняли

другъ друга, но, просто, не спѣлись вмѣстѣ, не приспособились выводить одну и ту же ноту.

Тѣнтѣтниковъ сталъ замѣчать, что на господской землѣ все выходило какъ-то хуже, чѣмъ на мужичьей. Сѣялось раньше, всходило позже, а работали, казалось, хорошо. Онъ самъ присутствовалъ и приказалъ выдать даже по чапорухѣ водки за усердные труды. У мужиковъ уже давно колосилась рожь, высыпался овесъ, кустилось просо, а у него едва начиналъ только идти хлѣбъ въ трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словомъ сталъ замѣчать баринъ, что мужикъ просто плутуетъ, несмотря на всѣ льготы. Попробовалъ было укорить, но получилъ такой отвѣтъ: «Какъ можно, баринъ, чтобы мы о господской, то-есть, выгодѣ не радѣли! Сами изволили видѣть, какъ старались, когда пахали и сѣяли—по чапорухѣ водки приказали подать». Что было на это возражать?

«Да отчего же теперь вышло скверно?»—допрашивалъ баринъ.

«Кто его знаетъ? Видно, червь подъѣлъ снизу. Да и лѣто вишь ты какое: совсѣмъ дождей не было».

Но баринъ видѣлъ, что у мужиковъ червь не подъѣдалъ снизу, да и дождь шелъ какъ-то странно, полосою: мужику угодилъ, а на барскую ниву хоть бы каплю выронилъ.

Еще труднѣй ему было ладить съ бабами. То и дѣло отпрашивались онѣ отъ работъ, жалуясь на тягость барщины. Странное дѣло! онъ уничтожилъ вовсе всякіе приносы холста, ягодъ, грибовъ и орѣховъ, на половину сбавилъ съ нихъ другихъ работъ, думая, что бабы обратятъ это время на домашнее хозяйство, обошьютъ, одѣнутъ своихъ мужей, умножатъ огороды. Не тутъ-то было! Праздность, драка, сплетни и всякія ссоры завелись между прекраснымъ поломъ такія, что мужья то и дѣло приходили къ нему съ такими словами: «Баринъ, уйми бѣса-бабу! Точно чортъ какой—житья нѣтъ отъ ней!»

Хотѣлъ онъ было, скрѣпя свое сердце, приняться за строгость; но какъ быть строгимъ? Баба приходила такой бабой; такъ развизгивалась, такая была хворая, больная, такихъ сквернихъ, гадкихъ наворачивала не себя тряпокъ; ужъ откуда она ихъ набирала, Богъ ее вѣсть. «Ступай, ступай себѣ только съ глазъ моихъ! Богъ съ тобой!»—говорилъ бѣдный Тѣнтѣтниковъ, и вслѣдъ за тѣмъ видѣлъ, какъ больная, вышедъ за ворота, схватывалась съ сосѣдкой за какую-нибудь рѣпу и такъ отламывала ей бока, какъ не сумѣетъ и здоровый мужикъ.

Вздумалъ онъ было попробовать какую-то школу между ними завести, но отъ этого вышла такая чепуха, что онъ и голову повѣсилъ; лучше было и не задумывать! Въ дѣлахъ судейскихъ и разбирательствахъ оказались ровно ни къ чему всѣ эти юридическія тонкости, на которыя навели его профессора-философы. И та сторона вретъ, и другая вретъ, и чортъ ихъ разберетъ! И видѣлъ онъ, что нужнѣй было тонкостей юридическихъ и философскихъ книгъ простое познанье

человѣка; и видѣлъ онъ, что въ немъ чего-то недостаетъ, а чего—Богъ вѣсть. И случилось обстоятельство, такъ часто случающееся: ни мужикъ не узналъ барина, ни баринъ мужика; и мужикъ сталъ дурной стороной, и баринъ дурной стороной. Все это значительно охладило и рвеніе помѣщика. При работахъ онъ уже присутствовалъ безъ вниманія. Шумѣли ли тихо косы въ покосахъ, метали-ль стога, клались ли клади, вблизи-ль ладилось сельское дѣло—его глаза глядѣли подальше; вдали-ль производилась работа—его глаза отыскивали предметы поближе, или смотрѣли въ сторону на какой-нибудь извивъ рѣки, по берегамъ которой ходилъ красноносый, красноногій мартынъ, разумѣется—птица, а не человѣкъ. Они смотрѣли любопытно, какъ онъ, поймавъ у берега рыбу, держалъ ее поперекъ въ носу, какъ бы раздумывая, глотать или не глотать,—и глядя въ то же время пристально вдоль рѣки, гдѣ въ отдаленіи бѣлѣлся другой мартынъ, еще не поймавшій рыбы, но глядѣвшій пристально на мартына, уже поймавшаго рыбу. Или же, зажмуривъ вовсе глаза и приподнявъ голову кверху, къ пространствамъ небеснымъ, предоставлялъ онъ обоняньею впивать запахъ полей, а слуху поражаться голосами воздушнаго пѣвучаго населенія, когда оно отовсюду, отъ небесъ и отъ земли, соединяется въ одинъ звукосогласный хоръ, не переча другъ другу. Во ржи бьетъ перепелъ, въ травѣ дергаетъ дергунъ, надъ (нимъ) урчатъ и чиликаютъ перелетающія коноплянки, блеетъ поднявшійся на воздухъ барашекъ, трелитъ жаворонокъ, исчезая въ свѣтѣ, и звонами трубъ отдается турлыканье журавлей, строящихъ въ треугольники свои вереницы въ небесахъ высоко. Откликается вся въ звуки превратившаяся окрестность... Творецъ! какъ еще прекрасенъ Твой міръ въ глуши, въ деревушкѣ, вдали отъ подлыхъ большихъ дорогъ и городовъ! Но и это стало ему наскучать. Скоро онъ и вовсе пересталъ ходить въ поля, засѣлъ въ комнаты, отказался принимать даже съ докладами приказчика.

Прежде изъ сосѣдей завернетъ къ нему бывало отставной гусаръ-поручикъ, прокуренный насквозь трубочный куряка, или же рѣзкаго направленія недоучившійся студентъ, набравшійся мудрости изъ современныхъ брошюръ и газетъ. Но и это стало ему надоѣдать. Разговоры ихъ начали ему казаться какъ-то поверхностными, европейски-открытое обращеніе съ потрепкой по колѣну, также и низпоклонства и развязности—начали ему казаться уже черезчуръ прямыми и открытыми. Онъ рѣшился съ ними разознакомиться со всѣми и произвелъ это даже довольно рѣзко. Именно, когда наипріятнѣйшій во всѣхъ поверхностныхъ разговорахъ обо всемъ, представитель уже нынѣ отходящихъ полковниковъ-брандеровъ и съ тѣмъ вмѣстѣ передовой начинавшагося новаго образа мыслей, Варваръ Николаевичъ Вишнепокромовъ, пріѣхалъ къ нему затѣмъ, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философіи, и литературы, и мо-

рали, и даже состоянія финансовъ въ Англіи,—онъ выслалъ сказать, что его нѣтъ дома, и въ то же время имѣлъ неосторожность показаться передъ окошкомъ. Гость и хозяинъ встрѣтились взорами. Одинъ, разумѣется, проворчалъ сквозь зубы: «скотина!» другой послалъ ему съ досады тоже что-то вродѣ свиньи. Тѣмъ и кончились сношенія. Съ тѣхъ поръ не заѣзжалъ къ нему никто.

Онъ этому былъ радъ и предался обдумыванью большого сочиненія о Россіи. Какъ обдумывалось это сочиненіе—читатель уже видѣлъ. Установился странный, безпорядочный порядокъ. Нельзя сказать, однакоже, чтобы не было минутъ, въ которыя какъ будто пробуждался онъ отъ сна. Когда привозила почта газеты и журналы и попадалось ему въ печати знакомое имя прежняго товарища, уже преуспѣвавшаго на видномъ поприщѣ государственной службы или приносившаго посильную дань наукамъ и дѣлу всемірному, тайная тихая грусть подступала ему подъ сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездѣйствіе свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. Съ необыкновенной силой воскресало предъ нимъ школьное минувшее время, и представалъ вдругъ, какъ живой, Александръ Петровичъ... Градомъ лились изъ глазъ его слезы...

Что значили эти рыданія? Обнаруживала ли ими болѣющая душа скорбную тайну своей болѣзни,—что не успѣлъ образоваться и окрѣпнуть начинавшій въ немъ строиться высокій внутренній человѣкъ;—что, неиспытанный измлада въ борьбѣ съ неудачами, не достигнулъ онъ до высокаго состоянія возвышаться и крѣпнуть отъ преградъ и препятствій; что, растопившись подобно разогрѣтому металлу, богатый запасъ великихъ ощущеній не принялъ послѣдней закалки; что слишкомъ для него рано умеръ необыкновенный наставникъ и что нѣтъ теперь никого во всемъ свѣтѣ, кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть шатаемыя вѣчными колебаньями силы и лишенную упругости, немощную волю, кто бы крикнулъ душѣ пробуждающимъ крикомъ это бодрящее слово: *впередъ*, котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій и званій, и промысловъ, русскій человѣкъ?

Гдѣ же тотъ, кто бы на родномъ языкѣ русской души нашей умѣлъ бы намъ сказать это всемогущее слово *впередъ*? кто, зная всѣ силы и свойства и всю глубину нашей природы, однимъ чародѣйнымъ мановеньемъ могъ бы устремить насъ на высокую жизнь? Какими слезами, какою любовью заплатилъ бы ему благородный русскій человѣкъ! Но вѣка проходятъ за вѣками, позорной лѣнью и безумной дѣятельностью незрѣлаго юноши объемлется... и не дается Богомъ мужъ, умѣющій произносить его!

Одно обстоятельство чуть было не разбудило его, чуть было не произвело переворота въ его характерѣ: случилось что-то похожее на любовь. Но и тутъ дѣло кончилось ничѣмъ. Въ сосѣдствѣ, въ де-

сяти верстахъ отъ его деревни, проживалъ генералъ, отзывавшійся, какъ мы уже видѣли, не весьма благосклонно о Тѣнтѣтниковѣ. Генералъ жилъ генераломъ, хлѣбосольствовалъ, любилъ, чтобы сосѣди пріѣзжали изъявлять ему почтеніе, самъ визитовъ не платилъ, говорилъ хрипло, читалъ книги и имѣлъ дочь, существо невиданное, странное. Она была что-то живое, какъ сама жизнь.

Имя ей было Улинька. Воспиталась она какъ-то странно. Ее учила англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще въ дѣтствѣ. Отцу было некогда. Впрочемъ, любя дочь до безумія, онъ могъ только избаловать ее. Какъ въ ребенкѣ, возросшемъ на свободѣ, въ ней было все своенравно. Если бы кто увидалъ, какъ внезапный гнѣвъ собиралъ вдругъ строгія морщины на прекрасномъ челѣ ея и какъ она спорила пылко съ отцомъ своимъ, онъ бы подумалъ, что это было капризнѣйшее созданіе. Но гнѣвъ ея вспыхивалъ только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или дурномъ поступкѣ съ кѣмъ бы то ни было. И никогда не споривала она за себя самое и не оправдывала себя. Гнѣвъ этотъ исчезнулъ бы въ минуту, если бы она увидѣла въ несчастіи того самаго, на кого гнѣвалась. При первой просьбѣ о подаяніи кого бы то ни было, она готова была бросить ему весь свой кошелекъ, со всѣмъ, что въ немъ ни было, не вдаваясь ни въ какія разсужденья и расчеты. Было въ ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослѣдъ за мыслью—выраженіе лица, выраженіе разговора, движеніе рукъ; самыя складки платья какъ бы стремились въ ту же сторону и, казалось, какъ бы она сама вотъ улетитъ вослѣдъ за собственными словами. Ничего не было въ ней утаеннаго. Ни передъ кѣмъ не побоялась бы она обнаружить своихъ мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотѣлось говорить. Ея очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того безтрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней какъ-то смущался недобрый человѣкъ и нѣмѣлъ; самый развязный и бойкій на слова не находилъ съ нею слова и терялся, а застѣнчивый могъ разговориться съ нею, какъ никогда въ жизни своей ни съ кѣмъ, и съ первыхъ минутъ разговора ему уже казалось, что гдѣ-то и когда-то онъ зналъ ее и какъ бы эти самыя черты ея ему гдѣ-то уже видѣлись, что случилось это во дни какого-то незапамятнаго младенчества, въ какомъ-то родномъ домѣ, веселымъ вечеромъ, при радостныхъ играхъ дѣтской толпы: и надолго послѣ того становился ему скучнымъ разумный возрастъ человѣка.

Точно то же случилось съ нею и съ Тѣнтѣтниковымъ. Неизъяснимое новое чувство вошло къ нему въ душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась.

Генералъ принималъ сначала Тѣнтѣтникова довольно хорошо и радушно, но сойтись между собою они не могли. Разговоры ихъ окан-

чивались споромъ и какимъ-то непріятнымъ ощущеніемъ съ обѣихъ сторонъ, потому что генералъ не любилъ противорѣчія и возраженія; Тѣнтѣтниковъ, съ своей стороны, тоже былъ человѣкъ щекотливый. Разумѣется, что ради дочери прощалось многое отцу, и миръ у нихъ держался, покуда не пріѣхали гостить къ генералу родственницы: графиня Бордырева и княжна Юзякина, отсталыя фрейлины прежняго двора, но удержавшія и донынѣ кое-какія связи, вслѣдствіе чего генералъ передъ ними немножко подличалъ. Съ самаго ихъ пріѣзда, Тѣнтѣтникову показалось, что онъ сталъ къ нему холоднѣе, не замѣчалъ его, или обращался какъ съ лицомъ безсловеснымъ; говорилъ ему какъ-то пренебрежительно: *любезнѣйшій, послушай, братецъ*, и даже *ты*. Это его, наконецъ, взорвало. Скрѣпя сердце и стиснувъ зубы, онъ, однакоже, имѣлъ присутствіе духа сказать необыкновенно учтивымъ и мягкимъ голосомъ, между тѣмъ какъ пятна выступили на лицѣ его и все внутри его кипѣло: «Я благодарю васъ, генералъ, за расположеніе. Словомъ *ты* вы меня вызываете на тѣсную дружбу, обязывая и меня говорить вамъ *ты*. Но различіе въ лѣтахъ препятствуетъ такому фамильярному между нами обращенію». Генералъ смутился. Собирая слова и мысли, сталъ онъ говорить, хотя нѣсколько несвязно, что слово *ты* было имъ сказано не въ томъ смыслѣ, что старику иной разъ позволительно сказать молодому человѣку *ты* (о чинѣ своемъ онъ не упомянулъ ни слова).

Разумѣется, съ этихъ поръ знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самомъ началѣ. Потухнулъ свѣтъ, на минуту было передъ нимъ блеснувшій, и послѣдовавшія за нимъ сумерки стали еще сумрачнѣй. Все поворотило на жизнь, которую читатель видѣлъ въ началѣ главы—на лежанье и бездѣйствіе. Въ домѣ завелись гадость и безпорядокъ. Половая щетка оставалась по цѣлому дню посреди комнаты вмѣстѣ съ соромъ. Панталоны заходили даже въ гостиную. На щеголеватомъ столѣ передъ диваномъ лежали засаленныя подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но чуть не клевали домашнія куры. Взявши перо, безсмысленно чертилъ онъ на бумагѣ по цѣлымъ часамъ рогульки, домики, избы, телѣги, тройки. Но иногда, все позабывши, перо чертило само собой, безъ вѣдома хозяина, маленькую головку съ тонкими чертами, съ быстрымъ пронзительнымъ взглядомъ и приподнятой прядью волосъ, и въ изумленіи видѣлъ хозяинъ, какъ выходилъ портретъ той, съ которой портрета не написалъ бы никакой живописецъ-художникъ. И еще грустнѣе ему становилось и, вѣря тому, что нѣтъ на землѣ счастья, оставался онъ еще болѣе послѣ того скучнымъ и безотвѣтнымъ.

Таково было состояніе души Андрея Ивановича Тѣнтѣтникова. Въ то время, когда, по обыкновенію, подсѣлъ онъ къ окну глазѣть обычнымъ порядкомъ, но къ изумленію своему не слыхалъ ни Григо-

рія, ни Перфильевны, во дворѣ напротивъ было нѣкоторое движенье и нѣкоторая суета. Поварченокъ и поломойка бѣжали отворять ворота. Въ воротахъ показались кони, точь-въ-точь, какъ лѣпятъ иль рисуютъ ихъ на тріумфальныхъ воротахъ: морда направо, морда налѣво, морда посерединѣ. Свыше ихъ, на козлахъ—кучеръ и лакей, въ широкомъ сюртукѣ, опоясавшій себя носовымъ платкомъ. За ними господинъ, въ картузѣ и шинели, закутанный въ косынку радужныхъ цвѣтовъ. Когда экипажъ изворотился передъ крыльцомъ, оказалось, что былъ онъ не что другое, какъ рессорная легкая бричка. Господинъ, необыкновенно приличной наружности, соскочилъ на крыльцо съ быстротой и ловкостью почти военнаго человѣка.

Андрей Ивановичъ струсилъ: онъ принялъ его за чиновника отъ правительства. Надобно сказать, что въ молодости своей онъ было замѣшался въ одно неразумное дѣло. Два философа изъ гусаръ начитавшіеся всякихъ брошюръ, да не докончившій учебнаго курса эстетикъ, да промотавшійся игрокъ затѣяли какое-то филантропическое общество, подъ верховнымъ распоряженіемъ стараго плута и масона и тоже карточнаго игрока, но краснорѣчивѣйшаго человѣка. Общество было устроено съ обширною цѣлью—доставить прочное счастіе всему человѣчеству, отъ береговъ Темзы до Камчатки. Касса денегъ потребовалась огромная; пожертвованья собирались съ великодушныхъ членовъ неимовѣрныя. Куда это все пошло—зналъ объ этомъ только одинъ верховный распорядитель. Въ общество это затянули его два пріятеля, принадлежавшіе къ классу огорченныхъ людей, добрые люди, но которые, отъ частыхъ тостовъ во имя науки, просвѣщенія и будущихъ одолженій человѣчеству, сдѣлались потомъ формальными пьяницами. Тѣнтѣтниковъ скоро спохватился и выбылъ изъ этого круга. Но общество успѣло уже запутаться въ какихъ-то другихъ дѣйствіяхъ, даже не совсѣмъ приличныхъ дворянину, такъ что потомъ завязались дѣла и съ полиціей... А потому немудрено, что, и вышедши и разорвавши всякія сношенія съ ними, Тѣнтѣтниковъ не могъ однакоже, оставаться покоенъ: на совѣсти у него было не совсѣмъ ловко. Не безъ страха глядѣлъ онъ и теперь на растворившуюся дверь.

Страхъ его, однакоже, прошелъ вдругъ, когда гость раскланялся съ ловкостью неимовѣрной, сохраняя почтительное положеніе головы, нѣсколько на-бокъ, и въ короткихъ, но опредѣлительныхъ словахъ изъяснилъ, что уже издавна ѣздитъ онъ по Россіи, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилуетъ предметами замѣчательными, не говоря ужъ объ обиліи промысловъ и разнообразіи почвъ; что онъ увлекся картиннымъ мѣстоположеніемъ его деревни; что, несмотря, однакоже, на мѣстоположеніе, онъ не дерзнулъ бы обезпокоить его неумѣстнымъ заѣздомъ своимъ, если бы не случилось, по поводу весеннихъ разлитій и дурныхъ дорогъ, внезапной изломки въ экипажѣ его, требующей руки помощи

со стороны кузнецовъ и мастеровъ; что при всемъ томъ, однакоже, если бы даже и ничего не случилось въ его бричкѣ, онъ бы не могъ отказать себѣ въ удовольствіи засвидѣтельствовать ему лично свое почтеніе.

Окончивъ рѣчь, гость, съ обворожительной пріятностью, подшаркнулъ ногой, обутой въ щегольской лайковый полусапожекъ, застегнутый на перламутровыя пуговки, и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнулъ тутъ же нѣсколько назадъ съ легкостью резиноваго мячика.

Успокоившійся Андрей Ивановичъ заключилъ, что это долженъ быть какой-нибудь любознательный ученый профессоръ, который ѣздитъ по Россіи, можетъ-быть, затѣмъ, чтобы собирать какія-нибудь растенія или, можетъ-быть, предметы ископаемые. Тотъ же часъ изъявилъ онъ ему всякую готовность споспѣшествовать во всемъ; предложилъ своихъ мастеровъ, колесниковъ и кузнецовъ; просилъ расположиться, какъ въ собственномъ домѣ; усадилъ его въ большія вольтеровскія (кресла) и приготовился слушать его разсказъ по части естественныхъ наукъ.

Гость, однакоже, коснулся больше событій внутренняго міра. Уподобилъ жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду вѣроломными вѣтрами; упомянулъ о томъ, что долженъ былъ перемѣнить много должностей, что много потерпѣлъ за правду, что даже самая жизнь его была не разъ въ опасности со стороны враговъ, и много еще разсказалъ онъ такого, что показывало въ немъ скорѣе практическаго человѣка. Въ заключеніе же рѣчи, высморкался онъ въ бѣлый батистовый платокъ такъ громко, какъ Андрей Ивановичъ еще и не слыхалъ. Подчасъ попадается въ оркестрѣ такая пройдоха-труба, которая когда хватитъ, покажется, что крякнуло не въ оркестрѣ, но въ собственномъ ухѣ. Точно такой же звукъ раздался въ пробужденныхъ покояхъ дремавшаго дома, и немедленно вослѣдъ за нимъ воспослѣдовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловкимъ встряхнутьемъ носового батистоваго платка.

Читатель, можетъ-быть, уже догадался, что гость былъ не другой кто, какъ нашъ почтенный, давно нами оставленный Павелъ Ивановичъ Чичиковъ. Онъ немножко постарѣлъ: какъ видно, не безъ бурь и тревогъ было для него это время. Казалось, какъ бы и самый фракъ на немъ немножко поизветшалъ, и бричка, и кучеръ, и слуга, и лошади, и упряжь какъ бы поистерлись и поизносились. Казалось, какъ бы и самые финансы даже не были въ завидномъ состояніи. Но выраженіе лица, приличіе, обхожденіе остались тѣ же. Даже какъ бы еще пріятнѣе сталъ онъ въ поступкахъ и оборотахъ, еще ловче подвертывалъ подъ ножку ножку, когда садился въ кресла. Еще болѣе было мягкости въ выговорѣ рѣчей, осторожной умѣренности въ словахъ и выраженіяхъ, болѣе умѣнія держать себя и болѣе такту во всемъ. Бѣлѣй и

чище снѣговъ были на немъ воротнички и манишка, и, несмотря на то, что былъ онъ съ дороги, ни пушинки не сѣло къ нему на фракъ,—хоть приглашай сей же часъ его на именинный обѣдъ. Щеки и подбородокъ выбриты были такъ, что одинъ слѣпой могъ не полюбоваться пріятной выпуклостью круглоты ихъ.

Въ домѣ тотъ же часъ произошло преобразованіе. Половина его, дотолѣ пребывавшая въ слѣпотѣ, съ заколоченными ставнями, вдругъ прозрѣла и озарилась. Все начало размѣщаться въ освѣтившихся комнатахъ, и скоро все приняло такой видъ: комната, опредѣленная быть спальней, вмѣстила въ себѣ вещи, необходимыя для ночного туалета; комната, опредѣленная быть кабинетомъ... но прежде необходимо знать, что въ этой комнатѣ было три стола: одинъ письменный—передъ диваномъ, другой ломберный—между окнами, передъ зеркаломъ, третій угольный—въ углу, между дверью въ спальню и дверью въ необитаемый залъ съ инвалидною мебелью, служившій теперь передней, въ который дотолѣ съ годъ не заходилъ никто. На этомъ угольномъ столѣ помѣстилось вынутое изъ чемодана платье, и именно: панталоны подъ фракъ, панталоны новые, панталоны сѣренькіе, два бархатныхъ жилета и два атласныхъ и сюртукъ. Все это размѣстилось одно на другомъ пирамидкой и прикрылось сверху носовымъ шелковымъ платкомъ. Въ другомъ углу, между дверью и окномъ, выстроились рядкомъ сапоги: одни не совсѣмъ новые, другіе совсѣмъ новые, лакированные полусапожки и спальные. Они также стыдливо занавѣсились шелковымъ носовымъ платкомъ,—такъ, какъ бы ихъ тамъ вовсе не было. На письменномъ столѣ тотчасъ же въ большомъ порядкѣ размѣстились: шкатулка, банка съ одеколономъ, календарь и два какіе-то романа, оба вторые тома. Чистое бѣлье помѣстилось въ комодѣ, уже находившемся въ спальнѣ; бѣлье же, которое слѣдовало прачкѣ, завязано было въ узелъ и подсунуто подъ кровать. Чемоданъ, по опростаньи его, былъ тоже подсунутъ подъ кровать. Сабля, ѣздившая по дорогамъ для внушенія страха ворамъ, помѣстилась тоже въ спальнѣ, повиснувши на гвоздѣ, невдалекѣ отъ кровати. Все приняло видъ чистоты и опрятности необыкновенной. Нигдѣ ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздухъ какъ-то облагородился: въ немъ утвердился пріятный запахъ здороваго, свѣжаго мужчины, который бѣлья не занашиваетъ, въ баню ходитъ и вытираетъ себя мокрой губкой по воскреснымъ днямъ. Въ переднемъ залѣ покушался было утвердиться на время запахъ служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемѣщенъ былъ на кухню, какъ оно и слѣдовало.

Въ первые дни Андрей Ивановичъ опасался за свою независимость, чтобы какъ-нибудь гость не связалъ его не стѣснилъ какими-нибудь измѣненіями въ образѣ жизни и не разрушился бы порядокъ дня его, такъ удачно заведенный; но опасенія были напрасны. Павелъ Ивановичъ нашъ показалъ необыкновенно гибкую способность приспосо-

биться ко всему. Одобрилъ философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обѣщаетъ столѣтнюю жизнь. Объ уединеніи выразился весьма счастливо, именно, что оно питаетъ великія мысли въ человѣкѣ. Взглянувъ на библіотеку и отозвавшись съ похвалой о книгахъ вообще, замѣтилъ, что онѣ спасаютъ отъ праздности человѣка. Выронилъ словъ немного, но съ вѣсомъ. Въ поступкахъ же своихъ показался онъ также еще болѣе кстати. Во-время являлся, во-время уходилъ; не затруднялъ хозяина запросами въ часы неразговорчивости его; съ удовольствіемъ игралъ съ нимъ въ шахматы, съ удовольствіемъ молчалъ. Въ то время, когда одинъ пускалъ кудреватыми облаками трубочный дымъ, другой, не куря трубки, придумывалъ, однакоже, соотвѣтствовавшее тому занятіе: вынималъ, напримѣръ, изъ кармана серебряную съ чернью табакерку и, утвердивъ ее между двухъ пальцевъ лѣвой руки, оборачивалъ ее быстро пальцемъ правой, въ подобіе того, какъ земная сфера обращается около своей оси, или же такъ по ней барабанилъ пальцемъ, въ присвистку. Словомъ—не мѣшалъ хозяину. «Я въ первый разъ вижу человѣка, съ которымъ можно жить», говорилъ про себя Тѣнтѣтниковъ: «вообще этого искусства у насъ мало. Между нами есть довольно людей, и умныхъ, образованныхъ, и добрыхъ, но людей постоянно-ровнаго характера, людей, съ которыми можно бы прожить вѣкъ и не поссориться—я не знаю, много ли у насъ можно отыскать такихъ людей. Вотъ первый человѣкъ, котораго я вижу». Такъ отзывался Тѣнтѣтниковъ о своемъ гостѣ.

Чичиковъ, съ своей стороны, былъ очень радъ, что поселился на время у такого мирнаго и смирнаго хозяина. Цыганская жизнь ему надоѣла. Пріотдохнуть, хотя на мѣсяцъ, въ прекрасной деревнѣ, въ виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и въ гемороидальномъ отношеніи.

Трудно было найти лучшій уголокъ для отдохновенія. Весна, долго задерживаемая холодами, вдругъ началась во всей красѣ своей, и жизнь заиграла повсюду. Уже голубѣли пролѣски, и по свѣжему изумруду первой зелени желтѣлъ одуванчикъ, лилово-розовый анемонъ наклонялъ нѣжную головку. Рои мошекъ и кучи насѣкомыхъ показались на болотахъ; за ними въ догонъ бѣгалъ ужъ водяной паукъ, а за ними всякая птица въ сухіе тростники собралась отвсюду. И все собиралось поближе см(отрѣть) другъ друга. Вдругъ населилась земля, проснулись лѣса, луга зазвучали. Въ деревнѣ пошли хороводы. Гулянью былъ просторъ. Что яркости въ зелени! что свѣжести въ воздухѣ! что птичьяго крику въ садахъ! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пѣла, какъ бы на свадьбѣ.

Чичиковъ ходилъ много. Прогулкамъ и гуляньямъ былъ раздолъ повсюду. То направлялъ прогулку свою по плоской вершинѣ возвышеній, въ виду разстилавшихся внизу долинъ, по которымъ повсюду оставались еще большія озера отъ водополія, и островами на нихъ

темнѣли еще безлистные лѣса; или же вступалъ въ гущи, въ лѣсные овраги, гдѣ столпя... густо дерева, отягченныя птичьими гнѣздами, вмѣсти... каркающихъ вороновъ, перекрестными летаньями помрачавшихъ небо. По просохнувшей землѣ можно было отправляться къ пристани, откуда съ горохомъ, ячменемъ и пшеницей отчаливали первыя суда, между тѣмъ, какъ въ то же время съ оглушительнымъ шумомъ неслась повергаться вода на колеса начинавшей работать мельницы. Ходилъ онъ наблюдать первыя весеннія работы, глядѣть, какъ свѣжая орань черной полосою проходила по зелени, и засѣватель, постукивая рукою о сито, висѣвшее у него на груди, горстью разбрасывалъ сѣмена ровно, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону.

Чичиковъ вездѣ побывалъ. Перетолковалъ и переговорилъ и съ приказчикомъ, и съ мужикомъ, и мельникомъ. Узналъ все, обо всемъ, и что, и какъ, и какимъ образомъ хозяйство идетъ, и на сколько хлѣба продается, и что выбираютъ весной и осенью за умолъ муки, и какъ зовутъ каждаго мужика, и кто съ кѣмъ въ родствѣ, и гдѣ купилъ корову, и чѣмъ кормитъ свинью, словомъ—все. Узналъ и то, сколько перемерло мужиковъ; оказалось—немного. Какъ умный человѣкъ, замѣтилъ онъ вдругъ, что незавидно идетъ хозяйство у Андрея Ивановича: повсюду упущенія, нерадѣніе, воровство, не мало и пьянства. И думалъ: «Какая, однакоже, скотина Тѣнтѣтниковъ! Такое имѣніе и этакъ запустить! Можно бы имѣть пятьдесятъ тысячъ годового доходу».

Не разъ, посреди такихъ прогулокъ, приходило ему на мысль сдѣлаться когда-нибудь самому,—т. е., разумѣется, не теперь, но послѣ, когда обдѣлается главное дѣло и будутъ средства въ рукахъ,—сдѣлаться самому мирнымъ владѣльцемъ подобнаго помѣстья. Тутъ, разумѣется, сейчасъ представлялась ему даже и молодая, свѣжая, бѣлолицая бабенка, изъ купеческаго или другого богатаго сословія, которая бы даже знала и музыку. Представлялось ему и молодое поколѣніе, долженствовавшее увѣковѣчить фамилію Чичиковыхъ: рѣзвунчикъ-мальчишка и красавица-дочка, или даже два мальчугана, двѣ и даже три дѣвчонки, чтобы было всѣмъ извѣстно, что онъ дѣйствительно жилъ и существовалъ, а не то, что прошелъ какой-нибудь тѣнью или призракомъ по землѣ,—чтобы не было стыдно и передъ отечествомъ. Тогда ему начинало представляться даже и то, что недурно бы и къ чину нѣкоторое прибавленіе: статскій совѣтникъ, напримѣръ, чинъ почтенный и уважительный... Мало ли чего не приходитъ въ умъ, во время прогулокъ, человѣку, что человѣка такъ часто уноситъ отъ скучной настоящей минуты, теребитъ, дразнитъ, шевелитъ воображеніе и бываетъ ему любо даже тогда, когда увѣренъ онъ самъ, что это никогда не сбудется!

Людямъ Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они такъ

же, какъ и онъ, обжились въ ней. Петрушка сошелся очень скоро съ буфетчикомъ Григоріемъ, хотя сначала они оба важничали и дулись другъ передъ другомъ нестерпимо. Петрушка пустилъ Григорію пыль въ глаза своею бывалостью въ разныхъ мѣстахъ; Григорій же осадилъ его сразу Петербургомъ, въ которомъ Петрушка не былъ. Послѣдній хотѣлъ было подняться и выѣхать на дальности разстоянія тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ онъ бывалъ; но Григорій назвалъ ему такое мѣсто, какого ни на какой картѣ нельзя было отыскать, и насчиталъ тридцать тысячъ слишкомъ верстъ, такъ что служитель Павла Ивановича совсѣмъ осовѣлъ, разинулъ ротъ и былъ поднятъ на смѣхъ тутъ же всею дворней. Дѣло, однакожъ, кончилось между ними самой тѣсной дружбой. Въ концѣ деревни Лысый Пименъ, дядя всѣхъ крестьянъ, держалъ кабакъ, которому имя было Акулька. Въ этомъ заведеніи видѣли ихъ всѣ часы дня. Тамъ стали они свои други, или то, что называютъ въ народѣ—кабацкіе завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревнѣ, что ни вечеръ, пѣлись пѣсни, заплетались и расплетались весенніе хороводы. Породистыя стройныя дѣвки, какихъ уже трудно теперь найти въ большихъ деревняхъ, заставляли его по нѣсколькимъ часамъ стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: всѣ бѣлогрудыя, бѣлошейныя, у всѣхъ глаза рѣпой, у всѣхъ глаза съ поволокой, походка павлиномъ и коса до пояса. Когда, взявшись обѣими руками за бѣлыя руки, медленно двигался онъ съ ними въ хороводѣ, или же выходилъ на нихъ стѣной, въ ряду другихъ парней, и, выходя также стѣной навстрѣчу имъ, громко выпѣвали, усмѣхаясь, горластыя дѣвки: «Бояре, покажите жениха!» и тихо померкала вокругъ окольность, и раздававшійся далеко за рѣкой возвращался грустнымъ назадъ отголосокъ напѣва,—не зналъ онъ и самъ тогда, что съ нимъ дѣлалось. Во снѣ и наяву, утромъ и въ сумерки, все мерещилось ему потомъ, что въ обѣихъ рукахъ его бѣлыя руки, и движется онъ въ хороводѣ.

Конямъ Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и засѣдатель, и самый чубарый нашли пребываніе у Тѣнтѣтникова совсѣмъ не скучнымъ, овесъ отличнымъ, а расположеніе конюшенъ необыкновенно удобнымъ: у всякаго стойло, хотя и отгороженное, но черезъ перегородки можно было видѣть и другихъ лошадей, такъ что, если бы пришла кому-нибудь изъ нихъ, даже самому дальнему, блажь вдругъ заржать, можно было ему отвѣтствовать тѣмъ же тотъ же часъ.

Словомъ, всѣ обжились, какъ дома. Что же касается до той надобности, ради которой Павелъ Ивановичъ объѣзжалъ пространную Россію, то-есть—до мертвыхъ душъ, то насчетъ этого предмета онъ сдѣлался очень остороженъ и деликатенъ, если бы даже пришлось вести дѣло съ дураками круглыми. Но Тѣнтѣтниковъ, какъ бы то ни было, читаетъ книги, философствуетъ, старается изъяснить себѣ

всякія причины всего—зачѣмъ и почему? «Нѣтъ, лучше поискать, нельзя ли съ другого конца», Такъ думалъ онъ. Раздобаривая почасту съ дворовыми людьми, онъ, между прочимъ, отъ нихъ развѣдалъ, что баринъ ѣздилъ прежде довольно нерѣдко къ сосѣду-генералу, что у генерала барышня, что баринъ было къ барышнѣ, да и барышня тоже къ барину... но потомъ вдругъ за что-то не поладили и разошлись. Онъ замѣтилъ и самъ, что Андрей Ивановичъ карандашомъ и перомъ все рисовалъ какія-то головки, одна на другую похожія.

Одинъ разъ, послѣ обѣда, оборачивая по обыкновенію пальцемъ серебряную табакерку вокругъ ея оси, сказалъ онъ такъ: «У васъ все есть, Андрей Ивановичъ, одного только недостаетъ».

«Чего?» спросилъ тотъ, выпуская кудреватый дымъ.

«Подруги жизни», сказалъ Чичиковъ.

Ничего не сказалъ Андрей Ивановичъ. Тѣмъ разговоръ и кончился.

Чичиковъ не смутился, выбралъ другое время, уже передъ ужиномъ, и, разговаривая о томъ и о семъ, сказалъ вдругъ: «А право, Андрей Ивановичъ, вамъ бы очень не мѣшало жениться».

Хоть бы слово сказалъ на это Тѣнтѣтниковъ, точно, какъ бы и самая рѣчь объ этомъ была ему непріятна.

Чичиковъ не смутился. Въ третій разъ выбралъ онъ время уже послѣ ужина и сказалъ такъ: «А все-таки, какъ ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вамъ жениться: впадете въ ипохондрію».

Слова ли Чичикова были на этотъ разъ такъ убѣдительны, или же расположеніе духа въ этотъ день у него было особенное настроено къ откровенности—онъ вздохнулъ, сказалъ, пустивши кверху трубочный дымъ: «На все нужно родиться счастливцемъ, Павелъ Ивановичъ», и разсказалъ все, какъ было, всю исторію знакомства съ генераломъ и разрыва.

Когда услышалъ Чичиковъ, отъ слова до слова, все дѣло, и увидѣлъ, что изъ-за одного слова *ты* произошла такая исторія, онъ оторопѣлъ. Съ минуту смотрѣлъ пристально въ глаза Тѣнтѣтникову' не зная, какъ рѣшить объ немъ: дуракъ ли онъ круглый, или только придурковатъ, и наконецъ—

«Андрей Ивановичъ! помилуйте!» сказалъ онъ, взявши его за обѣ руки: «какое-жъ оскорбленіе! что-жъ тутъ оскорбительнаго въ словѣ *ты*?»

«Въ самомъ словѣ нѣтъ ничего оскорбительнаго», сказалъ Тѣнтѣтниковъ: «но въ смыслѣ слова, но въ голосѣ, съ которымъ сказано оно, заключается оскорбленіе. *Ты*!—это значитъ: «Помни, что ты дрянь; я принимаю тебя потому только, что нѣтъ никого лучше; а пріѣхала какая-нибудь княжна Юзякина—ты знай свое мѣсто, стой у порога». Вотъ что это значитъ!» Говоря это, смирный и кроткій

Андрей Ивановичъ засверкалъ глазами; въ головѣ его послышалось раздраженіе оскорбленнаго чувства.

«Да хоть бы даже и въ этомъ смыслѣ, что-жъ тутъ такого?» сказалъ Чичиковъ.

«Какъ! Вы хотите, чтобы я продолжалъ бывать у него послѣ такого поступка?»

«Да какой же это поступокъ? Это даже не поступокъ», сказалъ хладнокровно Чичиковъ.

«Какъ не поступокъ?» спросилъ въ изумленіи Тѣнтѣтниковъ.

«Это генеральская привычка, а не поступокъ: они всѣмъ говорятъ *ты*. Да впрочемъ, почему-жъ этого и не позволить заслуженному, почтенному человѣку?»...

«Это другое дѣло», сказалъ Тѣнтѣтниковъ. «Если бы онъ былъ старикъ, бѣднякъ, не гордъ, не чванливъ, не генералъ, я бы тогда позволилъ ему говорить мнѣ *ты* и принялъ бы даже почтительно».

«Онъ совсѣмъ дуракъ», подумалъ про себя Чичиковъ: «оборвышу позволить, а генералу не позволить!..»—«Хорошо!» сказалъ онъ вслухъ: «положимъ, онъ васъ оскорбилъ, зато вы и поквитались съ нимъ: онъ вамъ, и вы ему. Ссориться, оставляя личное, собственное (дѣло),— это, извините... Если уже избрана цѣль, ужъ нужно итти напроломъ. Что глядѣть на то, что человѣкъ плюется! Человѣкъ всегда плюется: онъ такъ ужъ созданъ. Да вы не отыщете теперь во всемъ свѣтѣ такого, которой бы не плевался».

«Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!» думалъ про себя въ недоумѣніи Тѣнтѣтниковъ, совершенно озадаченный такими словами.

«Какой, однакоже, чудакъ этотъ Тѣнтѣтниковъ!» думалъ между тѣмъ Чичиковъ.

«Андрей Ивановичъ! я буду съ вами говорить какъ братъ съ братомъ. Вы человѣкъ неопытный—позвольте мнѣ обдѣлать это дѣло. Я съѣзжу къ его превосходительству и объясню, что случилось это съ вашей стороны по недоразумѣнію, по молодости и незнанію людей и свѣта».

«Подличать передъ нимъ я не намѣренъ!» сказалъ, оскорбившись, Тѣнтѣтниковъ: «да и васъ не могу на это уполномочить».

«Подличать я не способенъ», сказалъ, оскорбившись, Чичиковъ. «Провиниться въ другомъ проступкѣ, по человѣчеству, могу, но въ подлости—никогда... Извините, Андрей Ивановичъ, за мое доброе желаніе, я не ожидалъ, чтобы слова мои принимали вы въ такомъ обидномъ смыслѣ». Все это было сказано съ чувствомъ достоинства.

«Я виноватъ, простите!» сказалъ торопливо тронутый Тѣнтѣтниковъ, схвативъ его за обѣ руки. «Я не думалъ васъ оскорбить. Клянусь, ваше доброе участіе мнѣ дорого! Но оставимъ этотъ разговоръ. Не будемъ больше никогда объ этомъ говорить!»

«Въ такомъ случаѣ, я такъ поѣду къ генералу».

«Зачѣмъ?» спросилъ Тѣнтѣтниковъ, смотря въ недоумѣніи ему въ глаза!

«Засвидѣтельствовать почтеніе».

«Странный человѣкъ этотъ Чичиковъ!» подумалъ Тѣнтѣтниковъ.

«Странный человѣкъ этотъ Тѣнтѣтниковъ!» подумалъ Чичиковъ.

«Я завтра же, Андрей Ивановичъ, около десяти часовъ утра къ нему и поѣду. По-моему, чѣмъ скорѣй засвидѣтельствовать почтеніе человѣку, тѣмъ лучше. Такъ какъ бричка моя еще не пришла въ надлежащее состояніе, то позвольте мнѣ взять у васъ коляску. Я бы завтра же, этакъ около десяти часовъ утра, къ нему бы и съѣздилъ».

«Помилуйте, что за просьба? Вы полный господинъ: и экипажъ, и все въ вашемъ расположеніи».

Послѣ такого разговора, они простились и разошлись спать, не безъ разсужденія о странностяхъ другъ друга.

Чудная, однакоже, вещь! На другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочилъ онъ въ коляску съ легкостью почти военнаго человѣка, одѣтый въ новый фракъ, бѣлый галстукъ и жилетъ, и покатился свидѣтельствовать почтеніе генералу, Тѣнтѣтниковъ пришелъ въ такое волненіе духа, какого давно не испытывалъ. Весь этотъ ржавый и дремлющій ходъ его мыслей превратился въ дѣятельно-безпокойный. Возмущеніе нервическое обуяло вдругъ всѣми чувствами доселѣ погруженнаго въ безпечную лѣнь байбака. То садился онъ на диванъ, то подходилъ къ окну, то принимался за книгу, то хотѣлъ мыслить—безуспѣшное хотѣнье! мысль не лѣзла къ нему въ голову. То старался ни о чемъ не мыслить—безуспѣшное старанье! отрывки чего-то, похожаго на мысль, концы и хвостики мыслей лѣзли и отовсюду наклевывались къ нему въ голову. «Странное состояніе!» сказалъ онъ и придвинулся къ окну—глядѣть на дорогу, прорѣзавшую дуброву, въ концѣ которой еще курилась неуспѣвшая улечься пыль. Но, оставивъ Тѣнтѣтникова, послѣдуемъ за Чичиковымъ.

ГЛАВА II.

Добрые кони въ полчаса съ небольшимъ пронесли Чичикова чрезъ десятиверстное пространство: сначала дубровою, потомъ хлѣбами, начинавшими зеленѣть посреди свѣжей орани, потомъ горной окраиной, съ которой поминутно открывались виды на отдаленья; потомъ широкою аллеей липъ, едва начинавшихъ развиваться, внесли его въ самую середину деревни. Тутъ аллея липъ своротила направо и, превратясь въ улицу тополей, огороженныхъ снизу плетеными коробками, уперлась въ чугунныя сквозныя ворота, сквозь которыя глядѣлъ кудряво богатый рѣзной фронтонъ генеральскаго дома, опиравшійся на восемь коринѳскихъ колоннъ. Повсюду несло масляной краской, все обновлявшей и ничему не дававшей состарѣться. Дворъ чистотой подобенъ былъ паркету. Съ почтеніемъ соскочилъ Чичиковъ, приказалъ о себѣ

доложить генералу и былъ введенъ къ нему прямо въ кабинетъ. Генералъ поразилъ его величественной наружностью. Онъ былъ въ атласномъ стеганомъ халатѣ великолѣпнаго пурпура. Открытый взглядъ, лицо мужественное, усы и большіе бакенбарды съ просѣдью, стрижка на затылкѣ низкая, подъ гребенку, шея сзади толстая, называемая въ три этажа, или въ три складки, съ трещиной поперекъ: словомъ—это былъ одинъ изъ тѣхъ картинныхъ генераловъ, которыми такъ богатъ былъ знаменитый 12-й годъ. Генералъ Бетрищевъ, какъ и многіе изъ насъ, заключалъ въ себѣ при кучѣ достоинствъ и кучу недостатковъ. То и другое, какъ водится въ русскомъ человѣкѣ, было набросано у него въ какомъ-то картинномъ безпорядкѣ. Въ рѣшительныя минуты—великодушіе, храбрость, безграничная щедрость, умъ во всемъ и, въ примѣсь къ этому, капризы, честолюбіе, самолюбіе и тѣ мелкія личности ,безъ которыхъ не обходится ни одинъ русскій, когда онъ сидитъ безъ дѣла и нѣтъ рѣшитель..... Онъ не любилъ всѣхъ, которые ушли впередъ его по службѣ, и выражался о нихъ ѣдко, въ колкихъ эпиграммахъ. Всего больше доставалось его прежнему сотоварищу, котораго считалъ онъ ниже себя и умомъ, и способностями, и который, однакоже, обогналъ его и былъ уже генералъ-губернаторомъ двухъ губерній, и, какъ нарочно, тѣхъ, въ которыхъ находились его помѣстья, такъ что онъ очутился какъ бы въ зависимости отъ него. Въ отместку язвилъ онъ его при всякомъ случаѣ, порочилъ всякое распоряженіе и видѣлъ во всѣхъ мѣрахъ и дѣйствіяхъ его верхъ неразумія. Въ немъ было все какъ-то странно, начиная съ просвѣщенія, котораго онъ былъ поборникъ и ревнитель; любилъ также знать то, чего другіе не знаютъ, и не любилъ тѣхъ людей, которые знаютъ что-нибудь такое, чего онъ не знаетъ. Словомъ, онъ любилъ похвастать умомъ. Воспитанный полуиностраннымъ воспитаніемъ, онъ хотѣлъ сыграть въ то же время роль русскаго барина. И не мудрено, что съ такой неровностью въ характерѣ, съ такими крупными, яркими противоположностями, онъ долженъ былъ неминуемо встрѣтить множество непріятностей по службѣ, вслѣдствіе которыхъ и вышелъ въ отставку, обвиняя во всемъ какую-то враждебную партію и не имѣя великодушія обвинить въ чемъ-либо себя самого. Въ отставкѣ сохранилъ онъ ту же картинную величавую осанку. Въ сюртукѣ ли, во фракѣ ли, въ халатѣ—онъ былъ все тотъ же. Отъ голоса до малѣйшаго тѣлодвиженія, въ немъ все было властительное, повелѣвающее, внушавшее въ низшихъ чинахъ если не уваженіе, то по крайней мѣрѣ робость.

Чичиковъ почувствовалъ то и другое: и уваженіе, и робость. Наклоня почтительно голову на-бокъ и разставивъ руки на отлетъ, какъ бы готовился приподнять ими подносъ съ чашками, онъ изумительно-ловко нагнулся всѣмъ корпусомъ и сказалъ: «Счелъ долгомъ представиться вашему превосходительству. Питая уваженіе къ доб-

лестямъ мужей, спасавшихъ отечество на бранномъ полѣ, счелъ долгомъ представиться лично вашему превосходительству».

Генералу, какъ видно, не понравился такой приступъ. Сдѣлавши весьма благосклонное движеніе головою, онъ сказалъ: «Весьма радъ познакомиться. Милости просимъ садиться. Вы гдѣ служили?»

«Поприще службы моей», сказалъ Чичиковъ, садясь въ кресла не посрединѣ, но наискось, и ухватившись рукою за ручку креселъ: «началось въ казенной палатѣ, ваше превосходительство. Дальнѣйшее же теченіе оной совершалъ по разнымъ мѣстамъ: былъ и въ надворномъ судѣ, и въ комиссіи построенія, и въ таможнѣ. Жизнь мою можно уподобить какъ бы судну среди волнъ, ваше превосходительство. Терпѣніемъ, можно сказать, повитъ, спеленатъ и, будучи, такъ сказать, самъ одно олицетворенное терпѣніе... А что было отъ враговъ, покушавшихся на самую жизнь, такъ это ни слова, ни краски, ни самая, такъ сказать, кисть не сумѣетъ передать, такъ на склонѣ жизни своей ищу только уголка, гдѣ бы провесть остатокъ дней. Пріостановился же покуда у близкаго сосѣда вашего превосходительства»...

«У кого это?»

«У Тѣнтѣтникова, ваше превосходительство».

Генералъ поморщился.

«Онъ, ваше превосходительство, весьма раскаивается, въ томъ, что не оказалъ должнаго уваженія»...

«Къ чему»?

«Къ заслугамъ вашего превосходительства. Не находитъ словъ... Говоритъ: «Если бы я только могъ чѣмъ-нибудь... потому что точно», говоритъ, «умѣю цѣнить мужей, спасавшихъ отечество», говоритъ».

«Помилуйте, что-жъ онъ? Да вѣдь я не сержусь», сказалъ смягчившійся генералъ. «Въ душѣ моей я искренно полюбилъ его и увѣренъ, что современемъ онъ будетъ преполезный человѣкъ».

«Совершенно справедливо изволили выразиться, ваше превосходительство: истинно преполезный человѣкъ; можетъ побѣждать и даромъ слова и владѣетъ перомъ».

«Но пишетъ я чай, пустяки—какіе-нибудь стишки?»

«Нѣтъ, ваше, превосходительство, не пустяки...Онъ что-то дѣльное... Онъ пишетъ... и сторію, ваше превосходительство».

«Исторію? о чемъ исторію?»

«Исторію»... тутъ Чичиковъ остановился, и оттого ли, что предъ нимъ сидѣлъ генералъ, или, просто, чтобы придать болѣе важности предмету, прибавилъ: «исторію о генералахъ, ваше превосходительство».

«Какъ о генералахъ? о какихъ генералахъ?»

«Вообще о генералахъ, ваше превосходительство, въ общности. То-есть, говоря собственно, объ отечественныхъ генералахъ».

Чичиковъ совершенно спутался и потерялся, чуть не плюнулъ самъ и мысленно сказалъ въ себѣ: «Господи, что за вздоръ такой несу!»

«Извините, я не очень понимаю. Что-жъ это выходитъ, исторію какого-нибудь времени, или отдѣльныя біографіи? и притомъ всѣхъ ли, или только участвовавшихъ въ 12-мъ году?»

«Точно такъ, ваше превосходительство, участвовавшихъ въ 12-мъ году!» Проговоривши это, онъ подумалъ въ себѣ: «Хоть убей, не понимаю!»

«Такъ что-жъ онъ ко мнѣ не пріѣдетъ? Я бы могъ собрать ему весьма много любопытныхъ матеріаловъ».

«Робѣетъ, ваше превосходительство».

«Какой вздоръ! Изъ какого-нибудь пустого слова, что между нами произнесъ... Да я совсѣмъ не такой человѣкъ. Я, пожалуй къ нему самъ готовъ пріѣхать».

«Онъ къ тому не допуститъ, онъ самъ пріѣдетъ», сказалъ Чичиковъ оправился и совершенно ободрился и подумалъ: «Экая оказія! какъ генералы пришлись кстати! а вѣдь языкъ взболтнулъ сдуру».

Въ кабинетѣ послышался шорохъ. Орѣховая дверь рѣзного шкафа отворилась сама собою и на отворившейся обратной половинѣ ся, ухватившись рукой за мѣдную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы въ темной комнатѣ вдругъ вспыхнула прозрачная картина, освѣщенная сильно сзади лампами,—одна она бы такъ не поразила внезапностью своего явленія, какъ фигурка эта. Видно было, что взошла съ тѣмъ, чтобы что-то сказать, но увидя незнакомаго человѣка... Съ нею вмѣстѣ, казалось, влетѣлъ солнечный лучъ, какъ будто разсмѣялся нахмурившійся кабинетъ генерала. Чичиковъ въ первую минуту не могъ дать себѣ отчета, что такое именно предъ нимъ стояло. Трудно было сказать, какой земли она была уроженка. Такого чистаго, благороднаго очертанія лица нельзя было отыскать нигдѣ, кромѣ развѣ только на однихъ древнихъ камейкахъ. Прямая и легкая, какъ стрѣлка, она какъ бы возвышалась надъ всѣми своимъ ростомъ. Но это было обольщеніе. Она была вовсе не высокаго роста. Происходило это отъ необыкновеннаго согласнаго соотношенія между собою всѣхъ частей тѣла. Платье сидѣло на ней такъ, что, казалось, лучшія швеи совѣщались между собой, какъ бы получше убрать ее. Но это было также обольщеніе. Одѣлась она какъ будто сама собой: въ двухъ, трехъ мѣстахъ схватила игла кое-какъ неизрѣзанный кусокъ одноцвѣтной ткани, и онъ уже собрался и расположился вокругъ нея въ такихъ сборахъ и складкахъ, что если бы перенести ихъ вмѣстѣ съ нею на картину, всѣ барышни, одѣтыя по модѣ, казались бы передъ ней какими-то пеструшками, издѣліемъ лоскутнаго ряда. И если бы перенесть ее со всѣми этими складками ее обольнувшаго платья на мраморъ, назвали бы его копію геніальныхъ. Одно было нехорошо: она была черезчуръ уже тонка и худа.

«Рекомендую вамъ мою баловницу!» сказалъ генералъ, обратясь

къ Чичикову. «Однакожъ фамиліи вашей, имени и отчества до сихъ поръ не знаю».

«Должно ли быть знаемо имя и отчество человѣка, не ознаменовавшаго себя доблестями?» сказалъ скромно Чичиковъ, наклонивши голову на-бокъ.

«Все же, однакожъ, нужно знать...»

«Павелъ Ивановичъ, ваше превосходительство», сказалъ Чичиковъ, поклонившись съ ловкостью почти военнаго человѣка и отпрыгнувши назадъ съ легкостью резиннаго мячика.

«Улинька!» сказалъ генералъ, обратясь къ дочери: «Павелъ Ивановичъ сейчасъ сказалъ преинтересную новость. Сосѣдъ нашъ Тѣнтѣтниковъ совсѣмъ не такой глупый человѣкъ, какъ мы полагали. Онъ занимается довольно важнымъ дѣломъ: исторіей генераловъ двѣнадцатаго года».

«Да кто же думалъ, что онъ глупый человѣкъ?» проговорила она быстро. «Развѣ одинъ только Вишнепокромовъ, которому ты вѣришь, который и пустой, и низкій человѣкъ!»

«Зачѣмъ же низкій? Онъ пустоватъ, это правда», сказалъ генералъ.

«Онъ подловатъ и гадковатъ, не только-что пустоватъ. Кто такъ обидѣлъ своихъ братьевъ и выгналъ изъ дому родную сестру, тотъ гадкій человѣкъ».

«Да вѣдь это разсказываютъ только».

«Такихъ вещей разсказывать не будутъ напрасно. Я не понимаю, отецъ, какъ съ добрѣйшей душой, какая у тебя, и такимъ рѣдкимъ сердцемъ, ты будешь принимать человѣка, который какъ небо отъ земли отъ тебя, о которомъ самъ знаешь, что онъ дуренъ».

«Вотъ этакъ, вы видите», сказалъ генералъ, усмѣхаясь ,Чичикову: «вотъ этакъ мы всегда съ ней споримъ». И, оборотясь къ спорящей, продолжалъ:

«Душа моя! вѣдь мнѣ-жъ не прогнать его?»

«Зачѣмъ прогонять? Но зачѣмъ и показывать ему такое вниманіе? зачѣмъ и любить?» *).

---

*) Варіантъ изъ другой редакціи.

«А вотъ и нѣтъ, ваше превосходительство»,—сказалъ Чичиковъ Улинькѣ, съ легкимъ поклономъ головы, съ пріятной улыбкой: «По христіанству, именно такихъ мы должны любить». И тутъ же, обратясь къ генералу, сказалъ съ улыбкой, уже нѣсколько плутоватой: «Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о томъ, что такое—**«полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ?»**

«Нѣтъ, не слыхалъ».

«А это прекрасный анекдотъ»,—сказалъ Чичиковъ съ плутоватой улыбкой. «Въ имѣніи, ваше превосходительство, у князя Гукзовскаго, котораго, безъ сомнѣнія, ваше превосходительство, изволите знать»...

«Не знаю».

«Былъ управитель, ваше превосходительство, изъ нѣмцевъ, молодой человѣкъ.

Здѣсь Чичиковъ почелъ долгомъ ввернуть и отъ себя слово.

«Всѣ требуютъ къ себѣ любви, сударыня», сказалъ Чичиковъ. «Что-жъ дѣлать? И скотинка любитъ, чтобы ее погладили; сквозь хлѣвъ просунетъ для этого морду: на, погладь!»

По случаю поставки рекрутъ и прочаго, имѣлъ онъ надобность пріѣзжать въ городъ, и разумѣется, подмазывать судейскихъ. Впрочемъ, и они тоже полюбили, угощали. Вотъ какъ-то одинъ разъ у нихъ на обѣдѣ говоритъ онъ: «Что-жъ, господа, когда-нибудь и ко мнѣ, въ имѣнье къ князю». Говорятъ: «Пріѣдемъ». Скоро послѣ того случилось выѣхать суду на слѣдствіе, по дѣлу, случившемуся во владѣніяхъ графа Трехметьева, котораго, ваше превосходительство, безъ сомнѣнія, тоже изволите знать».

«Не знаю».

«Самого-то слѣдствія они не дѣлали, а всѣмъ судомъ заворотили на экономическій дворъ, къ старику, графскому эконому, да три дня и три ночи безъ просыпу—въ карты. Самоваръ и пуншъ, разумѣется, со стола не сходятъ. Старику-то они ужъ и надоѣли. Чтобы какъ-нибудь отъ нихъ отдѣлаться, онъ и говоритъ: «Вы бы, господа, заѣхали къ княжому управителю-нѣмцу: онъ недалеко отсюда». —«А и въ самомъ дѣлѣ», говорятъ, и съ-полупьяна, небритые и заспанные, какъ были, на телѣги да къ нѣмцу... А нѣмецъ, ваше превосходительство, надобно знать, въ это время только-что женился; женился на институткѣ, молоденькой, субтильной (Чичиковъ выразилъ въ лицѣ своемъ субтильность). Сидятъ они двое за чаемъ, ни о чемъ не думая, вдругъ отворяются двери—и ввалилось сонмище».

«Воображаю—хороши!»—сказалъ генералъ, смѣясь.

«Управитель такъ и оторопѣлъ, говоритъ: Что вамъ угодно?»—«А!» говорятъ, «такъ вотъ ты какъ!» И вдругъ, съ этимъ словомъ, перемѣна лицъ и физіономій... «За дѣломъ! Сколько вина выкуривается по имѣнію? Покажите книги»! Тотъ сюды-туды. «Эй, понятыхъ!» Взяли, связали, да въ городъ, да полтора года и просидѣлъ нѣмецъ въ тюрьмѣ».

«Вотъ на!»—сказалъ генералъ.

Улинька всплеснула руками.

«Жена—хлопотать!»—продолжалъ Чичиковъ. «Ну, что-жъ можетъ какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посовѣтовали пойти на мировую. Отдѣлался онъ двумя тысячами да угостительнымъ обѣдомъ. И на обѣдѣ, когда всѣ уже развеселились, и онъ также, вотъ и говорятъ они ему: «Не стыдно ли тебѣ такъ поступить съ нами? Ты все бы хотѣлъ насъ видѣть прибранными, да выбритыми, да во фракахъ. Нѣтъ, **ты полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ**».

Генералъ расхохотался; болѣзненно застонала Улинька.

«Я не понимаю, папа, какъ ты можешь смѣяться!»—сказала она быстро. Гнѣвъ отуманилъ прекрасный лобъ ея... «Безчестнѣйшій поступокъ, за который, я не знаю, куда бы ихъ слѣдовало всѣхъ услать...»

«Другъ мой, я ихъ ничуть не оправдываю»,—сказалъ генералъ: «но что-жъ дѣлать, если смѣшно? Какъ бишь: «полюби насъ бѣленькими?..»

«Черненькими, ваше превосходительство»,—подхватилъ Чичиковъ.

«Полюби насъ черненькими, а бѣленькими насъ всякій полюбитъ. Ха,ха, ха, ха!». И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно, какъ бы носили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву е: хе,хе, хе, хе, хе. И туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, ибо не носили густыхъ эполетъ.

«Воображаю, хорошъ былъ небритый судъ!»—говорилъ генералъ, продолжая смѣяться.

Генералъ разсмѣялся. «Именно просунетъ морду: погладь его!... Ха, ха, ха! У него не только что рыло все, весь, весь зажилъ въ сажѣ, а вѣдь тоже требуетъ, какъ говорится, поощренія... Ха, ха, ха, ха!» И туловище генерала стало колебаться отъ смѣха. Плечи, носившія нѣкогда густые эполеты, тряслись, точно какъ носили и понынѣ густые эполеты.

Чичиковъ разрѣшился тоже междометіемъ смѣха, но, изъ уваженія къ генералу, пустилъ его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе. И туловище его также стало колебаться отъ смѣха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густыхъ эполетъ.

«Обокрадетъ, обворуетъ казну, да еще и, каналья, наградъ проситъ! Нельзя, говоритъ, безъ поощренія, трудился... Ха, ха, ха, ха!»

Болѣзненное чувство выразилось на благородномъ, миломъ, лицѣ дѣвушки. «Ахъ, папа! Я не понимаю, какъ ты можешь смѣяться! На меня эти безчестные поступки наводятъ уныніе и ничего болѣе. Когда я вижу, что въ глазахъ совершается обманъ въ виду всѣхъ и не наказываются эти люди всеобщимъ презрѣніемъ, я не знаю, что со мной дѣлается, я на ту пору становлюсь зла, даже дурна: я думаю, думаю»... И чуть сама не заплакала.

«Только, пожалуйста, не гнѣвайся на насъ», сказалъ генералъ. «Мы тутъ ни въ чемъ не виноваты. Не правда ли?» сказалъ онъ, обращаясь къ Чичикову. «Поцѣлуй меня и уходи къ себѣ. Я сейчасъ стану одѣваться къ обѣду. Вѣдь ты», сказалъ онъ, посмотрѣвъ Чичикову въ глаза: «надѣюсь, обѣдаешь у меня?»

«Если только, ваше превосходительство...»

«Безъ чиновъ, что тутъ? Я вѣдь еще, слава Богу, могу накормить. Щи есть».

Бросивъ ловко обѣ руки на отлетъ, Чичиковъ признательно и почтительно наклонилъ голову книзу, такъ что на время скрылись изъ его взоровъ всѣ предметы въ комнатѣ, и остались видны ему только одни носки своихъ собственныхъ полусапожекъ. Когда же, пробывъ нѣсколько времени въ такомъ почтительномъ расположеніи, приподнялъ онъ голову снова кверху, онъ уже не увидалъ Улиньки. Она исчезнула. Намѣсто ея предсталъ, въ густыхъ усахъ и бакенбардахъ, великанъ-камердинеръ, съ серебряной лаханкой и рукомойникомъ въ рукахъ.

«Ты мнѣ позволишь одѣваться при себѣ?»

«Не только одѣваться, но можете совершить при мнѣ все, что угодно вашему превосходительству».

Опустя съ одной руки халатъ и засуча рукава рубашки на богатырскихъ рукахъ, генералъ сталъ умываться, брызгаясь и фыркая какъ утка. Вода съ мыломъ летѣла во всѣ стороны.

«Любятъ, любятъ, точно любятъ поощреніе», сказалъ онъ, вытирая

со всѣхъ сторонъ свою шею... «Погладь, погладь его! а вѣдь безъ поощренія такъ и красть не станетъ! Ха, ха, ха!»

Чичиковъ былъ въ духѣ неописанномъ. Вдругъ налетѣло на него вдохновеніе. «Генералъ весельчакъ и добрякъ—попробовать!» подумалъ онъ, и,увидя, что камердинеръ съ лаханью вышелъ, вскрикнулъ: «Ваше превосходительство! такъ какъ вы уже такъ добры ко всѣмъ и внимательны, имѣю къ вамъ крайнюю просьбу».

«Какую?»—Чичиковъ осмотрѣлся вокругъ.

«Есть, ваше превосходительство, дряхлый старичишка-дядя, у него триста душъ и двѣ тысячи... и, кромѣ меня, наслѣдниковъ никого. Самъ управлять имѣніемъ, по дряхлости, не можетъ, а мнѣ не передаетъ тоже. И какой странный приводитъ резонъ! «Я», говоритъ: «племянника не знаю; можетъ-быть, онъ мотъ. Пусть онъ докажетъ мнѣ, что онъ надежный человѣкъ: пусть пріобрѣтетъ прежде самъ собой триста душъ; тогда я ему отдамъ и свои триста душъ».

«Да что-жъ онъ, выходитъ, совсѣмъ дуракъ?» спросилъ генералъ.

«Дуракъ бы еще пусть, это при немъ бы и оставалось. Но положеніе-то мое, ваше превосходительство! У старикашки завелась какая-то ключница, а у ключницы дѣти. Того и смотри, все перейдетъ имъ».

«Выжилъ глупый старикъ изъ ума и больше ничего», сказалъ генералъ. «Только я не вижу, чѣмъ тутъ я могу пособить?» говорилъ онъ, смотря съ изумленіемъ на Чичикова.

«Я придумалъ вотъ что. Если вы всѣхъ мертвыхъ душъ вашей деревни, ваше превосходительство, передадите мнѣ въ такомъ видѣ, какъ бы онѣ были живыя, съ совершеніемъ купчей крѣпости, я бы тогда эту крѣпость представилъ старику, и онъ наслѣдство бы мнѣ отдалъ».

Тутъ генералъ разразился такимъ смѣхомъ, какимъ врядъ ли когда смѣялся человѣкъ. Какъ былъ, такъ и повалился онъ въ кресла. Голову забросилъ назадъ и чуть не захлебнулся. Весь домъ встревожился. Предсталъ камердинеръ. Дочь прибѣжала въ испугѣ.

«Отецъ, что съ тобой случилось?» говорила она въ страхѣ, съ недоумѣніемъ смотря ему въ глаза.

Но генералъ долго не могъ издать никакого звука.

«Ничего, другъ мой; не заботься. Ступай къ себѣ; мы сейчасъ явимся обѣдать. Будь спокойна. Ха, ха, ха!»

И, нѣсколько разъ задохнувшись, вырвался съ новою силою генеральскій хохотъ, раздаваясь отъ передней до послѣдней комнаты.

Чичиковъ былъ въ безпокойствѣ.

«Дядя-то, дядя! въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха! Мертвецовъ вмѣсто живыхъ получитъ! Ха, ха!»

«Опять пошелъ!» думалъ про себя Чичиковъ. «Экъ его, щекотливый какой! Какъ не разорвется!»

«Ха, ха, ха!» продолжалъ генералъ. «Экой оселъ! Вѣдь придетъ

же въ умъ этакое требованіе: «пусть прежде самъ собой изъ ничего достанетъ триста душъ, такъ тогда дамъ ему триста душъ!» Вѣдь онъ оселъ!»

«Оселъ, ваше превосходительство».

«Ну, да и твоя-то штука попотчивать старика мертвыми! Ха, ха, ха! Я бы Богъ знаетъ что далъ, чтобы посмотрѣть, какъ ты ему поднесешь на нихъ купчую крѣпость. Ну, что онъ? Каковъ онъ изъ себя? Очень старъ»?

«Лѣтъ восемьдесятъ».

«Однакожъ и движется, бодръ? Вѣдь онъ долженъ же быть и крѣпокъ, потому что при немъ вѣдь живетъ и ключница?..»

«Какая крѣпость! Песокъ сыплется, ваше превосходительство!»

«Экой дуракъ! Вѣдь онъ дуракъ?»

«Дуракъ, ваше превосходительство».

«Однакожъ, выѣзжаетъ? бываетъ въ обществахъ? держится еще на ногахъ?»

«Держится, но съ трудомъ».

«Экой дуракъ! Но крѣпокъ, однакожъ? Есть еще зубы?»

«Два зуба всего, ваше превосходительство».

«Экой оселъ! Ты, братецъ, не сердись... Хоть онъ тебѣ и дядя, а вѣдь онъ оселъ».

«Оселъ, ваше превосходительство. Хоть и родственникъ, и тяжело сознаваться въ этомъ, но что-жъ дѣлать?»

Вралъ Чичиковъ: ему вовсе не тяжело было сознаться, тѣмъ болѣе, что врядъ ли у него былъ когда-либо какой дядя.

«Такъ, ваше превосходительство, отпустите мнѣ»...

«Чтобъ отдать тебѣ мертвыхъ душъ? Да за такую выдумку я ихъ тебѣ съ землей, съ жильемъ! Возьми себѣ все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старикъ-то, старикъ! Ха, ха, ха, ха! Въ какихъ дуракахъ будетъ дядя! Ха, ха, ха, ха!..»

И генеральскій смѣхъ пошелъ отдаваться вновь по генеральскимъ—покоямъ*).

ГЛАВА II.

«Если полковникъ Кошкаревъ точно сумасшедшій, то это недурно», говорилъ Чичиковъ, очутившись опять посреди открытыхъ полей и пространствъ, когда все исчезло и только остался одинъ небесный сводъ да два облака въ сторонѣ.

«Ты, Селифанъ, разспросилъ ли хорошенько, какъ дорога къ полковнику Кошкареву?»

«Я, Павелъ Ивановичъ, изволите видѣть, такъ какъ все хлопо-

*) Послѣ того значительный пропускъ.

талъ около коляски, такъ мнѣ некогда было; а Петрушка разспрашивалъ у кучера».

«Вотъ и дуракъ! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно; Петрушка глупъ; Петрушка, чай, и теперь пьянъ».

«Вѣдь тутъ не мудрость какая!» сказалъ Петрушка, полуоборотясь и глядя искоса. «Окромѣ того, что, спустясь съ горы, взять лугомъ, ничего больше и нѣтъ».

«А ты, окромѣ сивухи, ничего и въ ротъ не бралъ? Хорошъ, очень хорошъ! Ужъ вотъ можно сказать: удивилъ красотой Европу!» Сказавъ это, Чичиковъ погладилъ свой подбородокъ и подумалъ: «Какая, однакожъ, разница между просвѣщеннымъ гражданиномъ и грубой лакейской физіогноміей!»

Коляска стала между тѣмъ спускаться. Открылись опять луга и пространства, усѣянныя осиновыми рощами.

Тихо вздрагивая на упругихъ пружинахъ, продолжалъ бережно спускаться незамѣтнымъ косогоромъ покойный экипажъ и, наконецъ, понесся лугами, мимо мельницъ, съ легкимъ громомъ по мостамъ, съ небольшой покачкой по тряскому мякишу низменной земли. И хоть бы одинъ бугорокъ или кочка дали себя почувствовать бокамъ! Утѣшенье, а не коляска.

Быстро пролетали мимо ихъ кусты лозъ, тонкія ольхи и серебристые тополи, ударяя вѣтвями сидѣвшихъ на козлахъ Селифана и Петрушку. Съ послѣдняго ежеминутно сбрасывали они картузъ. Суровый служитель соскакивалъ съ козелъ, бранилъ глупое дерево и хозяина, который насадилъ его, но привязать картуза или даже придержать рукою все не хотѣлъ, надѣясь, что въ послѣдній разъ и дальше не случится. Къ деревьямъ же скоро присоединилась береза, тамъ ель. У корней гущина; трава—синяя ирь и желтый лѣсной тюльпанъ. Лѣсъ затемнѣлъ и готовился превратиться въ ночь. Но вдругъ отовсюду, промежъ вѣтвей и пней, сверкнули проблески свѣта, какъ бы сіяющія зеркала. Деревья зарѣдѣли, блески становились больше... и вотъ передъ ними озеро—водная равнина версты четыре въ поперечникѣ. На супротивномъ берегу, надъ озеромъ, высыпалась сѣрыми бревенчатыми избами деревня. Крики раздавались въ водѣ. Человѣкъ 20, по поясъ, по плеча и по горло въ водѣ, тянули къ супротивному берегу неводъ. Случилась оказія. Вмѣстѣ съ рыбою запутался какъ-то круглый человѣкъ, такой же мѣры въ вышину, какъ и въ толщину, точный арбузъ или боченокъ. Онъ былъ въ отчаянномъ положеніи и кричалъ во всю глотку: «Телепень Денисъ, передавай Козьмѣ! Козьма, бери конецъ у Дениса! Не напирай такъ, Ѳома Большой! Ступай туды, гдѣ Ѳома Меньшой. Черти! говорю вамъ, оборвете сѣти!» Арбузъ, какъ видно, боялся не за себя: потонуть, по причинѣ толщины, онъ не могъ, и, какъ бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверхъ; и если бы сѣло къ нему на спину еще двое, онъ бы,

какъ упрямый пузырь, остался съ ними на верхушкѣ воды, слегка только подъ ними покряхтывая да пуская носомъ волдыри. Но онъ боялся крѣпко, чтобы не оборвался неводъ и не ушла рыба, и потому, сверхъ прочаго, тащили его еще накинутыми веревками нѣсколько человѣкъ, стоявшихъ на берегу.

«Долженъ быть баринъ, полковникъ Кошкаревъ»,—сказалъ Селифанъ.

«Почему?»

«Оттого, что тѣло у него, изволите видѣть, побѣлѣй, чѣмъ у другихъ, и дородство почтительное, какъ у барина».

Барина, запутаннаго въ сѣти, притянули между тѣмъ уже значительно къ берегу. Почувствовавъ, что можетъ достать ногами, онъ сталъ на ноги, и въ это время увидѣлъ спускавшуюся съ плотины коляску и въ ней сидящаго Чичикова.

«Обѣдали?»—закричалъ баринъ, подходя съ пойманною рыбою на берегъ, весь опутанный въ сѣть,— какъ, въ лѣтнее время, дамская ручка въ сквозную перчатку,—держа одну руку надъ глазами козырькомъ въ защиту отъ солнца, другую же пониже—на манеръ Венеры Медицейской, выходящей изъ бани.

«Нѣтъ», сказалъ Чичиковъ, приподымая картузъ и продолжая раскланиваться изъ коляски.

«Ну, такъ благодарите же Бога!»

«А что?»—спросилъ Чичиковъ любопытно, держа надъ головою картузъ.

«А вотъ что! Брось, Фома Меньшой, сѣть да приподыми осетра изъ лаханки! Телепень Кузьма, ступай, помоги!»

Двое рыбаковъ приподняли изъ лаханки голову какого-то чудовища.—«Вона какой князь! изъ рѣки зашелъ!» кричалъ круглый баринъ. «Поѣзжайте во дворъ! Кучеръ, возьми дорогу пониже черезъ огородъ! Побѣги, телепень Фома Большой, снять перегородку! Онъ васъ проводитъ, а я сейчасъ»...

Длинноногій, босой Фома Большой, какъ былъ, въ одной рубашкѣ, побѣжалъ впередъ коляски черезъ всю деревню, гдѣ у всякой избы развѣшены были бредни, сѣти и морды: всѣ мужики были рыбаки; потомъ вынулъ изъ какого-то огорода перегородку, и огородами выѣхала коляска на площадь, близъ деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши городскихъ строеній.

«Чудаковатъ этотъ Кошкаревъ»,—думалъ онъ про себя.

«А вотъ я и здѣсь!»—раздался голосъ сбоку. Чичиковъ оглянулся. Баринъ уже ѣхалъ возлѣ него, одѣтый; травяно-зеленый нанковый сюртукъ, желтые штаны, и шея безъ галстука, на манеръ купидона! Бокомъ сидѣлъ онъ на дрожкахъ, занявши собою всѣ дрожки. Онъ хотѣлъ было что-то сказать ему, но толстякъ уже исчезъ. Дрожки показались снова на томъ мѣстѣ, гдѣ вытаскивали рыбу. Раздались

снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой! Козьма да Денисъ»; Когда же подъѣхалъ онъ къ крыльцу дома, къ величайшему изумленію его, толстый баринъ былъ уже на крыльцѣ и принялъ его въ свои объятія. Какъ онъ успѣлъ такъ слетать—было непостижимо. Они поцѣловались, по старому русскому обычаю, троекратно навкрестъ: баринъ былъ стараго покроя.

«Я привезъ вамъ поклонъ отъ его превосходительства», сказалъ Чичиковъ.

«Отъ какого превосходительства?»

«Отъ родственника вашего, отъ генерала Александра Дмитріевича».

«Кто это Александръ Дмитріевичъ?»

«Генералъ Бетрищевъ», отвѣчалъ Чичиковъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ.

«Незнакомъ», сказалъ онъ съ изумленіемъ.

Чичиковъ пришелъ еще въ большое изумленіе.

«Какъ же это?.. Я надѣюсь, по крайней мѣрѣ, что имѣю удовольствіе говорить съ полковникомъ Кошкаревымъ?»

«Нѣтъ, не надѣйтесь. Вы пріѣхали не къ нему, а ко мнѣ. Петръ Петровичъ Пѣтухъ! Пѣтухъ Петръ Петровичъ!» подхватилъ хозяинъ.

Чичиковъ остолбенѣлъ. «Какъ же?» оборотился онъ къ Селифану и Петрушкѣ, которые тоже оба разинули ротъ и выпучили глаза, одинъ сидя на козлахъ, другой стоя у дверецъ коляски. «Какъ же вы, дураки? Вѣдь вамъ сказано: къ полковнику Кошкареву... А вѣдь это Петръ Петровичъ Пѣтухъ...»

«Ребята сдѣлали отлично! Ступай на кухню: тамъ вамъ дадутъ по чапорухѣ водки», сказалъ Петръ Петровичъ Пѣтухъ. «Откладывайте коней и ступайте сей же часъ въ людскую!»

«Я совѣщусь: такая нежданная ошибка...» говорилъ Чичиковъ.

«Не ошибка. Вы прежде попробуйте, каковъ обѣдъ, да потомъ скажете: ошибка ли это? Покорнѣйше прошу», сказалъ Пѣтухъ, взявши Чичикова подъ руку и вводя его во внутренніе покои. Изъ покоевъ вышли имъ навстрѣчу двое юношей, въ лѣтнихъ сюртукахъ,— тонкіе, точно ивовые хлысты; цѣлымъ аршиномъ выгнало ихъ вверхъ выше отцовскаго роста.

«Сыны мои, гимназисты, пріѣхали на праздники... Николаша, ты побудь съ гостемъ; а ты, Алексаша, ступай за мною». Сказавъ это, хозяинъ исчезнулъ.

Чичиковъ занялся съ Николашей. Николаша, кажется, былъ будущій человѣкъ-дрянцо. Онъ разсказалъ съ первыхъ же разовъ Чичикову, что въ губернской гимназіи нѣтъ никакой выгоды учиться, что они съ братомъ хотятъ ѣхать въ Петербургъ, потому что провинція не стоитъ того, чтобы въ ней жить...

«Понимаю», подумалъ Чичиковъ: «кончится дѣло кондитерскими

да бульварами...»—«А что?» спросилъ онъ вслухъ: «въ какомъ состояніи имѣніе вашего батюшки?»

«Заложено», сказалъ на это самъ батюшка, снова очутившійся въ гостиной: «заложено».

«Плохо», подумалъ Чичиковъ. «Этакъ скоро не останется ни одного имѣнія. Нужно торопиться».—«Напрасно, однакоже» сказалъ онъ съ видомъ соболѣзнованья: «поспѣшили заложить».

«Нѣтъ, ничего», сказалъ Пѣтухъ. «Говорятъ, выгодно. Всѣ закладываютъ: какъ же отставать отъ другихъ? Притомъ же все жилъ здѣсь: дай-ка еще попробую прожить въ Москвѣ. Вотъ сыновья тоже уговариваютъ, хотятъ просвѣщенія столичнаго».

«Дуракъ! дуракъ!» думалъ Чичиковъ: «промотаетъ все, да и дѣтей сдѣлаетъ мотишками. Имѣньице порядочное. Поглядишь—и мужикамъ хорошо, и имъ недурно. А какъ просвѣтятся тамъ у ресторановъ да по театрамъ,—все пойдетъ къ чорту. Жилъ бы себѣ, кулебяка, въ деревнѣ».

«А вѣдь я знаю, что вы думаете?» сказалъ Пѣтухъ.

«Что?» спросилъ Чичиковъ, смутившись.

«Вы думаете: «Дуракъ, дуракъ этотъ Пѣтухъ: зазвалъ обѣдать, а обѣда до сихъ поръ нѣтъ». Будетъ готовъ, почтеннѣйшій. Не успѣетъ стриженая дѣвка косы заплесть, какъ онъ поспѣетъ».

«Батюшка! Платонъ Михалычъ ѣдетъ?» сказалъ Алексаша, глядя въ въ окно.

«Верхомъ на гнѣдой лошади!» подхватилъ Николаша, нагибаясь къ окну.

«Гдѣ, гдѣ?» закричалъ Пѣтухъ, подступивши къ окну.

«Кто это Платонъ Михайловичъ?» спросилъ Чичиковъ у Алексаши.

«Сосѣдъ нашъ, Платонъ Михайловичъ Платоновъ, прекрасный человѣкъ, отличный человѣкъ», сказалъ самъ Пѣтухъ.

Между тѣмъ вошелъ въ комнату самъ Платоновъ, красавецъ, стройнаго роста, съ свѣтлорусыми блестящими волосами, завивавшимися въ кудри. Гремя мѣднымъ ошейникомъ, мордатый песъ, собака-страшилище, именемъ Ярбъ, вошелъ вслѣдъ за нимъ.

«Обѣдали?» спросилъ хозяинъ.

«Обѣдалъ».

«Что-жъ вы, смѣяться, что ли, надо мной пріѣхали? Что мнѣ въ васъ послѣ обѣда?»

Гость, усмѣхнувшись, сказалъ: «Утѣшу васъ тѣмъ, что ничего не ѣлъ: вовсе нѣтъ аппетита».

«А каковъ былъ уловъ, если-бъ вы видѣли! Какой осетрище пожаловалъ! Какіе карасищи, карпищи какіе!»

«Даже досадно васъ слушать. Отчего вы всегда такъ веселы?»

«Да отчего же скучать? помилуйте!»—сказалъ хозяинъ.

«Какъ отчего скучать?—оттого, что скучно».

«Мало ѣдите, вотъ и все. Попробуйте-ка хорошенько пообѣдать. Вѣдь это въ послѣднее время выдумали скуку; прежде никто не скучалъ

«Да полно хвастать! Будто ужъ вы никогда не скучали?»

«Никогда! Да и не знаю, даже и времени нѣтъ для скучанья. По утру проснешься—вѣдь тутъ сейчасъ поваръ, нужно заказывать обѣдъ, тутъ чай, тутъ приказчикъ, тамъ на рыбную ловлю, а тутъ и обѣдъ. Послѣ обѣда не успѣешь всхрапнуть—опять поваръ, нужно заказывать ужинъ; тутъ пришелъ поваръ— заказывать нужно на завтра обѣдъ... Когда же скучать?»

Во все время разговора Чичиковъ разсматривалъ гостя, который его изумлялъ необыкновенной красотой своей, стройнымъ, картиннымъ ростомъ, свѣжестью неистраченной юности, дѣвственной чистотой ни однимъ прыщикомъ неопозореннаго лица. Ни страсти, ни печали, ни даже что-либо похожее на волненіе и безпокойство не дерзнули коснуться его дѣвственнаго лица и положить на немъ морщину, но съ тѣмъ вмѣстѣ и не оживили его. Оно оставалось какъ-то сонно, несмотря на ироническую усмѣшку, временами его оживлявшую.

«Я также, если позволите замѣтить»,—сказалъ онъ: «не могу понять, какъ при такой наружности, какова ваша, скучать. Конечно, если недостача денегъ, или враги, какъ есть иногда такіе, которые готовы покуситься даже на самую жизнь...»

«Повѣрьте»,—прервалъ красавецъ-гость: «что для разнообразія я бы желалъ иногда имѣть какую-нибудь тревогу: ну, хоть бы кто разсердилъ меня—и того нѣтъ. Скучно, да и только».

«Стало-быть, недостаточность земли по имѣнію, малое количество душъ?»

«Ничуть. У насъ съ братомъ земли на десять тысячъ десятинъ и при нихъ больше тысячи человѣкъ крестьянъ».

«Странно, не понимаю. Но можетъ-быть, неурожаи, болѣзни? много вымерло мужеска пола людей?»

«Напротивъ, все въ наилучшемъ порядкѣ, и братъ мой отличнѣйшій хозяинъ».

«И при этомъ скучать! не понимаю», сказалъ—Чичиковъ и пожалъ плечами.

«А вотъ мы скуку сейчасъ прогонимъ»,—сказалъ хозяинъ. «Бѣжи, Алексаша, проворнѣй на кухню и скажи повару, чтобы поскорѣй прислалъ намъ растегайчиковъ. Да гдѣ-жъ ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка? Зачѣмъ не даютъ закуски?»

Но дверь растворилась. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка явились съ салфетками, накрыли столъ, поставили подносъ съ шестью графинами разноцвѣтныхъ настоекъ. Скоро вокругъ подносовъ и графиновъ обстановилось ожерелье тарелокъ со всякой подстрекающей снѣдью. Слуги поворачивались расторопно, безпрестанно принося,

что-то въ закрытыхъ тарелкахъ, сквозь которыя слышно было ворчавшее масло. Ротозѣй Емельянъ и воръ Антошка расправлялись отлично. Названія эти были имъ даны такъ только—для поощренія. Баринъ былъ вовсе не охотникъ браниться, онъ былъ добрякъ; но ужъ русскій человѣкъ какъ-то безъ прянаго слова не обойдется. Оно ему нужно, какъ рюмка водки для сваренія въ желудкѣ. Что жъ дѣлать? такая натура: ничего прѣснаго не любитъ.

Закускѣ послѣдовалъ обѣдъ. Здѣсь добродушный хозяинъ сдѣлался совершеннымъ разбойникомъ. Чуть замѣчалъ у кого одинъ кусокъ—подкладывалъ ему тутъ же другой, приговаривая: «Безъ пары, ни человѣкъ, ни птица не могутъ жить на свѣтѣ». У кого два—подваливалъ ему третій, приговаривая: «Что-жъ за число два? Богъ любитъ троицу». Съѣдалъ гость три—онъ ему. «Гдѣ-жь бываетъ телѣга о трехъ колесахъ? Кто-жъ строитъ избу о трехъ углахъ?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять—опять. Чичиковъ съѣлъ чего-то чуть ли не двѣнадцать ломтей и думалъ: «Ну, теперь ничего не приберетъ больше хозяинъ». Не тутъ-то было: хозяинъ, не говоря ни слова, положилъ ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренаго на вертелѣ, съ почками, да и какого теленка!

«Два года воспитывалъ на молокѣ»,—сказалъ хозяинъ: «ухаживалъ, какъ за сыномъ!»

«Не могу»,—сказалъ Чичиковъ.

«Вы попробуйте да потомъ скажите: *не могу*».

«Не взойдетъ, нѣтъ мѣста».

«Да вѣдь и въ церкви не было мѣста, взошелъ городничій—нашлось. А была такая давка, что и яблоку негдѣ было упасть. Вы только попробуйте: этотъ кусокъ тотъ же городничій».

Попробовалъ Чичиковъ—дѣйствительно, кусокъ былъ въ родѣ городничаго: нашлось ему мѣсто, а казалось, ничего нельзя было помѣстить.

«Ну, какъ этакому человѣку ѣхать въ Петербургъ или Москву? Съ этакимъ хлѣбосольствомъ онъ тамъ въ три года проживется въ пухъ!» То-есть, онъ не зналъ того, что теперь это усовершенствовано: и безъ хлѣбосольства можно все спустить не въ три года, а въ три мѣсяца.

Онъ то и дѣло подливалъ да подливалъ; чего-жъ не допивали гости, давалъ допить Алексашѣ и Николашѣ, которые такъ и хлопали рюмку за рюмкой: впередъ видно было, на какую часть человѣческихъ познаній обратятъ они вниманіе по пріѣздѣ въ столицу. Съ гостями было не то: въ силу, въ силу перетащились они на балконъ и въ силу помѣстились въ креслахъ. Хозяинъ, какъ сѣлъ въ свое, какое-то четырехмѣстное, такъ тутъ же и заснулъ. Тучная собственность его, превратившись въ кузнечный мѣхъ, стала издавать, черезъ открытый ротъ и носовые продухи, такіе звуки, какіе рѣдко приходятъ въ голову

и новаго сочинителя: и барабанъ, и флейта, и какой-то отрывистый гулъ, точный собачій лай.

«Экъ его насвистываетъ!»—сказалъ Платоновъ.

Чичиковъ разсмѣялся.

«Разумѣется, если этакъ пообѣдаешь, какъ тутъ придти скукѣ! Тутъ сонъ придетъ—не правда ли?»

«Да. Но я, однакоже,—вы меня извините,—не могу понять, какъ можно скучать. Противъ скуки есть такъ много средствъ».

«Какія же?»

«Да мало ли для молодого человѣка? Танцовать, играть на какомъ-нибудь инструментѣ... а не то—жениться».

«На комъ?»

«Да будто въ окружности нѣтъ хорошихъ и богатыхъ невѣстъ?»

«Да нѣтъ».

«Ну, поискать въ другихъ мѣстахъ, поѣздить». И богатая мысль сверкнула вдругъ въ головѣ Чичикова. «Да вотъ прекрасное средство!» сказалъ онъ, глядя въ глаза Платонову.

«Какое?»

«Путешествіе».

«Куда-жъ ѣхать?»

«Да если вамъ свободно, такъ поѣдемъ со мной»,—сказалъ Чичиковъ и подумалъ про себя, глядя на Платонова: А это было бы хорошо. Тогда бы можно издержки пополамъ, а починку коляски отнести вовсе на его счетъ».

«А вы куда ѣдете?»

«Покамѣстъ ѣду я не столько по своей нуждѣ, сколько по надобности другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ... Конечно, родственники родственниками; но отчасти, такъ сказать, и для самого себя: ибо видѣть свѣтъ, коловращенье людей—кто что ни говори, есть какъ бы живая книга, вторая наука». И сказавши это, помышлялъ Чичиковъ между тѣмъ такъ: «Право, было бы хорошо. Можно даже и всѣ издержки на его счетъ, даже и отправиться на его лошадяхъ, а мои бы покормились у него въ деревнѣ».

«Почему-жъ не проѣздиться?» думалъ между тѣмъ Платоновъ.—«Дома же мнѣ дѣлать нечего, хозяйство и безъ того на рукахъ у брата; стало-быть, разстройства никакого. Почему-жъ въ самомъ дѣлѣ не проѣздиться!»—«А согласны ли вы», сказалъ онъ вслухъ: «погостить у брата денька два? Иначе онъ меня не отпуститъ».

«Съ большимъ удовольствіемъ, хоть три».

«Ну, такъ по рукамъ! ѣдемъ!» сказалъ, оживясь, Платоновъ.

Они хлопнули по рукамъ. «Ѣдемъ!»

«Куда, куда?» вскричалъ хозяинъ, проснувшись и выпуча на нихъ глаза.—«Нѣтъ, сударики! и колеса у коляски приказано снять, а

вашего жеребца, Платонъ Михайлычъ, угнали отсюда за пятнадцать верстъ. Нѣтъ, вотъ вы сегодня переночуйте, а завтра послѣ ранняго обѣда и поѣзжайте себѣ».

Что было дѣлать съ Пѣтухомъ? Нужно было остаться. Зато награждены они были удивительнымъ весеннимъ вечеромъ. Хозяинъ устроилъ гулянье на рѣкѣ. Двѣнадцать гребцовъ, въ двадцать четыре весла, съ пѣснями, понесли ихъ по гладкому хребту зеркальнаго озера. Изъ озера они пронеслись въ рѣку, безпредѣльную, съ пологими берегами на обѣ стороны, подходя безпрестанно подъ протянутые поперекъ рѣки канаты для ловли. Хоть бы струйкой шевельнулись воды; только безмолвно являлись передъ ними, одинъ за другимъ, виды, и роща за рощей тѣшила взоры разнообразнымъ размѣщеніемъ деревъ. Гребцы, хвативши разомъ въ двадцать четыре весла, подымали вдругъ всѣ весла вверхъ—и катеръ, самъ собой, какъ легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Парень-запѣвало,плечистый дѣтина, третій отъ руля, починалъ чистымъ, звонкимъ голосомъ, выводя какъ бы изъ соловьинаго горла начинальные запѣвы пѣсни: пятеро подхватывало, шестеро выносило, и разливалась она, безпредѣльная, какъ Русь. И Пѣтухъ, встрепенувшись, пригаркивалъ, поддавая, гдѣ не хватало у хора силы, и самъ Чичиковъ чувствовалъ, что онъ русскій. Одинъ только Платоновъ думалъ: «Что хорошаго въ этой заунывной пѣснѣ? Отъ нея еще большая тоска находитъ на душу».

Возвращались назадъ уже сумерками. Впотьмахъ ударяли весла по водамъ, уже не отражавшимъ неба. Въ темнотѣ пристали они къ берегу, по которому разложены были огни; на треногахъ варили рыбаки уху изъ живо-трепещущихъ ершей. Все уже было дома. Деревенская скотина и птица уже давно была пригнана, и пыль отъ нихъ уже улеглась, и пастухи, пригнавшіе ихъ, стояли у воротъ, ожидая кринки молока и приглашенія къ ухѣ. Въ сумеркахъ слышался тихій гомонъ людской, бреханье собакъ, гдѣ-то отдававшееся изъ чужихъ деревень. Мѣсяцъ подымался, и начали озаряться потемнѣвшія окрестности, и все озарилось. Чудныя картины! Но некому было ими любоваться. Николаша и Алексаша, вмѣсто того, чтобы пронестись, въ это время, передъ ними на двухъ лихихъ жеребцахъ, въ обгонку другъ друга, думали о Москвѣ, о кондитерскихъ, о театрахъ, о которыхъ натолковалъ имъ заѣзжій изъ столицы кадетъ; отецъ ихъ думалъ о томъ, какъ бы окормить своихъ гостей; Платоновъ зѣвалъ. Всѣхъ живѣй оказался Чичиковъ. «Эхъ, право! заведу когда-нибудь деревеньку!» И стали ему представляться и бабенка, и Чичонки.

А за ужиномъ опять объѣлись. Когда вошелъ Павелъ Ивановича въ отведенную комнату для спанья и, ложась въ постель, пощупалъ животикъ свой: «Барабанъ!» сказалъ (онъ): «никакой городничій не взойдетъ». Надобно такое стеченіе обстоятельствъ, что за стѣной былъ кабинетъ хозяина. Стѣна была тонкая, и слышалось все, что

тамъ ни говорилось. Хозяинъ заказывалъ повару, подъ видомъ ранняго завтрака, на завтрашній день рѣшительный обѣдъ,—и какъ заказывалъ! У мертваго родился бы аппетитъ.

«Да кулебяку сдѣлай на четыре угла», говорилъ онъ съ присасываніемъ и забирая къ себѣ духъ. «Въ одинъ уголъ положи ты мнѣ щеки осетра да вязиги, въ другой гречневой кашицы, да грибочковъ съ лучкомъ, да молокъ сладкихъ, да мозговъ, да еще чего знаешь тамъ этакого... какого-нибудь тамъ того... Да чтобы она съ одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а съ другого пусти ее полегче. Да исподку-то... пропеки се такъ, чтобы всю ее прососало, проняло бы такъ, чтобы она вся, знаешь, этакъ разтого—не то, чтобы разсыпалась, а истаяла бы во рту какъ снѣгъ какой, такъ чтобы и не услышалъ». Говоря это, Пѣтухъ присмактывалъ и подшлепывалъ губами.

«Чортъ побери! не дастъ спать», думалъ Чичиковъ и закуталъ голову въ одѣяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одѣяло было слышно:

«А въ обкладку къ осетру подпусти свеклу звѣздочкой, да сняточковъ, да груздочковъ, да тамъ, знаешь, рѣпушки, да морковки, да бобковъ, тамъ чего-нибудь этакого, знаешь, того разтого, чтобы гарниру, гарниру всякаго побольше. Да въ свиной сычугъ положи ледку, чтобы онъ взбухнулъ хорошенько».

Много еще заказывалъ блюдъ Пѣтухъ. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопрѣть хорошенько»! Заснулъ Чичиковъ уже на какомъ-то индюкѣ.

На другой день до того объѣлись гости, что Платоновъ уже не могъ ѣхать верхомъ. Жеребецъ былъ отправленъ съ конюхомъ Пѣтуха. Они сѣли въ коляску. Мордатый песъ лѣниво пошелъ за коляской: онъ тоже объѣлся.

«Это уже слишкомъ», сказалъ Чичиковъ, когда выѣхали они со двора.

«А не скучаетъ, вотъ что досадно»!

«Было бы у меня, какъ у тебя, семьдесятъ тысячъ въ годъ доходу», подумалъ Чичиковъ: «да я бы скуку и на глаза къ себѣ не пустилъ. Вонъ откупщикъ Муразовъ,—легко сказать,—десять милліоновъ... Экой кушъ»!

«Что, вамъ ничего заѣхать? Мнѣ бы хотѣлось проститься съ сестрой и съ зятемъ».

«Съ большимъ удовольствіемъ», сказалъ Чичиковъ.

«Это первый у насъ хозяинъ. Онъ, сударь мой, получаетъ 200 тысячъ годового доходу съ такого имѣнія, которое лѣтъ восемь назадъ и двадцати не давало».

«Ахъ, да это конечно препочтенный человѣкъ! Это преинтересно будетъ съ этакимъ человѣкомъ познакомиться. Какъ же? Да вѣдь это сказать... А какъ по фамиліи»?

«Костанжогло».

«А имя и отчество? позвольте узнать».

«Константинъ Федоровичъ».

«Константинъ Федоровичъ Костанжогло. Очень будетъ интересно познакомиться. Поучительно узнать этакого человѣка».

Платоновъ принялъ на себя руководить Селифаномъ, что было нужно, потому что тотъ едва держался на козлахъ. Петрушка два раза сторчакомъ слетѣлъ съ коляски, такъ что необходимо было, наконецъ, привязать его веревкой къ козламъ. «Экая скотина»! повторялъ только Чичиковъ.

«Вотъ, поглядите-ка, начинаются его земли», сказалъ Платоновъ: «совсѣмъ другой видъ».

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ все поле сѣянный лѣсъ—ровныя какъ стрѣлки дерева; за ними другой, повыше, тоже молодникъ; за ними старый лѣснякъ, и все одинъ выше другого. Потомъ опять полоса поля, покрытая густымъ лѣсомъ, и снова такимъ же образомъ молодой лѣсъ, и опять старый. И три раза проѣхали, какъ сквозь ворота стѣнъ, сквозь лѣса. «Это все у него выросло какихъ-нибудь лѣтъ въ восемь, въ десять, что у другого и въ двадцать не вырастетъ».

«Какъ же это онъ сдѣлалъ»?

«Разспросите у него. Это землевѣдъ такой—у него ничего нѣтъ даромъ. Мало, что онъ почву знаетъ, какъ знаетъ, какое сосѣдство для кого нужно, возлѣ какого хлѣба какія дерева. Всякій у него три, четыре должности разомъ отправляетъ. Лѣсъ у него, кромѣ того, что для лѣса, нуженъ затѣмъ, чтобы въ такомъ-то мѣстѣ на столько-то влаги прибавить полямъ, на столько-то унавозить падающимъ листомъ, на столько-то дать тѣни... Когда вокругъ засуха, у него нѣтъ засухи; когда вокругъ неурожай, у него нѣтъ неурожая. Жаль, что я самъ мало эти вещи знаю, не умѣю разсказать, а у него такія штуки... Его называютъ колдуномъ. Много, много у него всякаго... А все, однакоже, скучно»...

«Въ самомъ дѣлѣ, это изумительный мужъ», подумалъ Чичиковъ. «Весьма прискорбно, что молодой человѣкъ поверхностенъ и не умѣетъ разсказать».

Наконецъ, показалась деревня. Какъ бы городъ какой, высыпалась она множествомъ избъ на трехъ возвышеніяхъ, увѣнчанныхъ тремя церквями, перегражденная повсюду исполинскими скирдами и кладями. «Да», подумалъ Чичиковъ: «видно, что живетъ хозяинъ-тузъ». Избы все крѣпкія; улицы торныя; стояла ли гдѣ телѣга—телѣга была крѣпкая и повешенькая; мужикъ попадался съ какимъ-то умнымъ выраженіемъ лица; рогатый скотъ на отборъ; даже крестьянская свинья глядѣла дворянином. Такъ и видно, что здѣсь именно живутъ тѣ мужики, которые гребутъ, какъ поется въ пѣснѣ, серебро лопатой. Не было тутъ англійскихъ парковъ и газоновъ со всякими

затѣями; но, по-старинному, шелъ проспектъ амбаровъ и рабочихъ домовъ вплоть до самаго дома, чтобы все было видно барину, что ни дѣлается вокругъ его; на высокой крышѣ дома возвышался башней высокій фонарь, не для красы и видовъ, но для наблюденія за работающими въ отдаленныхъ поляхъ. У крыльца ихъ встрѣтили слуги, расторопные, совсѣмъ не похожіе на пьяницу Петрушку, хоть на нихъ и не было фраковъ, а козацкіе чекмени синяго домашняго сукна.

Хозяйка дома выбѣжала сама на крыльцо. Свѣжа она была, какъ кровь съ молокомъ; хороша, какъ Божій день; походила, какъ двѣ капли, на Платонова, съ той разницей только, что не была вяла какъ онъ, но разговорчива и весела.

«Здравствуй, братъ! Ну, какъ же я рада, что ты пріѣхалъ. А Константина нѣтъ дома; но онъ скоро будетъ».

«Гдѣ-жъ онъ»?

«У него есть дѣло на деревнѣ съ какими-то покупщиками», говорила она, вводя гостей въ комнату.

Чичиковъ съ любопытствомъ разсматривалъ жилище этого необыкновеннаго человѣка, который получалъ 200 тысячъ, думая по немъ отыскать въ немъ свойства самого хозяина, какъ по оставшейся раковинѣ заключаютъ объ устрицѣ или улиткѣ, нѣкогда въ ней сидѣвшей и оставившей свое отпечатлѣніе. Но нельзя было вывести никакого заключенія. Комнаты всѣ просты, даже пусты: ни фресковъ, ни картинъ, ни бронзъ и цвѣтовъ, ни этажерокъ съ фарфоромъ, ни даже книгъ. Словомъ, все показывало, что главная жизнь существа, здѣсь обитавшаго, проходила вовсе не въ четырехъ стѣнахъ комнаты, но въ полѣ, и самыя мысли не обдумывались заблаговременно сибаритскимъ образомъ у огня, предъ каминомъ, въ покойныхъ креслахъ, но тамъ же, на мѣстѣ дѣла, приходили въ голову, и тамъ же, гдѣ приходили, тамъ и претворялись въ дѣло. Въ комнатахъ могъ только замѣтить Чичиковъ слѣды женскаго домоводства: на столахъ и стульяхъ были поставлены чистыя липовыя доски и на нихъ лепестки какихъ-то цвѣтковъ, приготовленные къ сушкѣ...

«Что это у тебя, сестра, за дрянь такая наставлена?» сказалъ Платоновъ.

«Какъ дрянь!» сказала хозяйка. «Это лучшее средство отъ лихорадки. Мы вылѣчили имъ прошлый (годъ) всѣхъ мужиковъ. А это для настоекъ; а это для варенья. Вы все смѣетесь надъ вареньями да надъ соленьями, а потомъ, когда ѣдите, сами же похваливаете».

Платоновъ подошелъ къ фортепіано и сталъ разбирать ноты.

«Господи! что за старина!» сказалъ онъ. «Ну, не стыдно ли тебѣ, сестра?»

«Ну, ужъ извини, братъ, музыкой мнѣ и подавно некогда заниматься. У меня осьмилѣтняя дочь, которую я должна учить. Сдать ее на руки чужеземной гувернанткѣ затѣмъ только, чтобы самой

имѣть свободное время для музыки,—нѣтъ, извини, братъ, этого-то не сдѣлаю».

«Какая ты, право, стала скучная, сестра!» сказалъ братъ и подошелъ къ окну. «А, вотъ онъ! идетъ, идетъ!» сказалъ Платоновъ.

Чичиковъ тоже устремился къ окну. Къ крыльцу подходилъ лѣтъ сорока человѣкъ, живой, смуглой наружности, въ сюртукѣ верблюжьяго сукна. О нарядѣ своемъ онъ не думалъ. На немъ былъ триповый картузъ. По обѣимъ сторонамъ его, снявъ шапки, шли два человѣка нижняго сословія,—шли, разговаривая о чемъ-то съ нимъ толкуя: одинъ—простой мужикъ, другой—какой-то заѣзжій кулакъ и пройдоха, въ синей сибиркѣ. Такъ какъ остановились они всѣ около крыльца, то и разговоръ ихъ былъ слышенъ въ комнатахъ.

«Вы вотъ что лучше сдѣлайте: вы откупитесь у вашего барина. Я вамъ, пожалуй, дамъ взаймы: вы послѣ мнѣ отработаете».

«Нѣтъ, Константинъ Федоровичъ, что ужъ откупаться? Возьмите насъ. Ужъ у васъ всякому уму выучишься. Ужъ этакого умнаго человѣка нигдѣ во всемъ свѣтѣ нельзя сыскать. А вѣдь теперь бѣда та, что себя никакъ не убережешь. Цѣловальники такія завели теперь настойки, что съ одной рюмки такъ станетъ задирать въ животѣ, что воды ведро бы выпилъ: не успѣешь опомниться, какъ все спустишь. Много соблазну. Лукавый, что ли, міромъ ворочаетъ, ей Богу! Все заводятъ, чтобы сбить съ толку мужиковъ: и табакъ, и всякіе такіе... Что-жъ дѣлать, Константинъ Федоровичъ? Человѣкъ—не удержишься».

«Послушай: да вѣдь вотъ въ чемъ дѣло. Вѣдь у меня все-таки неволя. Это правда, что съ перваго разу все получишь—и корову, и лошадь; да вѣдь дѣло въ томъ, что я такъ требую съ мужиковъ, какъ нигдѣ. У меня работай—первое; мнѣ ли, или себѣ, но ужъ я не дамъ никому залежаться. Я и самъ работаю какъ волъ, и мужики у меня, потому что испыталъ, братъ: вся дрянь лѣзетъ въ голову оттого, что не работаешь. Такъ вы объ этомъ всѣ подумайте міромъ и потолкуйте между собою».

«Да мы-съ толковали ужъ объ этомъ, Константинъ Федоровичъ. Ужъ это и старики говорятъ: «что говорить! вѣдь всякій мужикъ у васъ богатъ: ужъ это не даромъ; и священники такіе сердобольные. А вѣдь у насъ и тѣхъ взяли, и хоронить некому».

«Все-таки ступай и переговори».

«Слушаю-съ».

«Такъ ужъ того-съ, Константинъ Федоровичъ, ужъ сдѣлайте милость... посбавьте», говорилъ шедшій по другую сторону заѣзжій кулакъ въ синей сибиркѣ.

«Ужъ я сказалъ: торговаться я не охотникъ. Я не то, что другой помѣщикъ, къ которому ты подъѣдешь подъ самый срокъ уплаты въ ломбардъ. Вѣдь я васъ знаю всѣхъ: у васъ есть списки всѣхъ, кому когда слѣдуетъ уплачивать. Что-жъ тутъ мудренаго? Ему приспи-

читъ, ну, онъ тебѣ и отдастъ за полцѣны. А мнѣ что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи: мнѣ въ ломбардъ не нужно уплачивать».

«Настоящее дѣло, Константинъ Федоровичъ. Да вѣдь я того-съ, оттого только, чтобы и впредь имѣть съ вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять». Кулакъ вынулъ изъ-за пазухи пукъ засаленныхъ ассигнацій. Костанжогло прехладнокровно взялъ ихъ и, не считая, сунулъ въ задній карманъ своего сюртука.

«Гм!» подумалъ Чичиковъ: «точно какъ бы носовой платокъ!» Костанжогло показался въ дверяхъ гостиной. Онъ еще болѣе поразилъ Чичикова смуглостью лица, жесткостью черныхъ волосъ, мѣстами до времени посѣдѣвшихъ, живымъ выраженіемъ глазъ и какимъ-то желчнымъ отпечаткомъ пылкаго южнаго происхожденія. Онъ былъ не совсѣмъ русскій. Онъ самъ не зналъ, откуда вышли его предки. Онъ не занимался своимъ родословіемъ, находя, что это въ строку нейдетъ и въ хозяйствѣ вещь лишняя. Онъ думалъ, что онъ русскій, да и не зналъ другого языка, кромѣ русскаго.

Платоновъ представилъ Чичикова. Они поцѣловались.

«Я, чтобы вылѣчиться отъ хандры, придумалъ, Константинъ, проѣздиться по разнымъ губерніямъ», сказалъ Платоновъ: «и вотъ Павелъ Ивановичъ предложилъ ѣхать съ нимъ».

«Прекрасно», сказалъ Костанжогло. «Въ какія же мѣста?» продолжалъ онъ, привѣтливо обращаясь къ Чичикову: «предполагаете теперь направить путь»?

«Признаюсь», сказалъ Чичиковъ, привѣтливо наклоня голову на-бокъ и въ то же время поглаживая рукой кресельную ручку: «ѣду я, покамѣстъ, не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого: генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но съ другой стороны, такъ сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользѣ, которая можетъ быть въ гемороидальномъ отношеніи, увидать свѣтъ, коловращенье людей—есть, такъ сказать, живая книга, та же наука».

«Да, заглянуть въ иные уголки не мѣшаетъ».

«Превосходно изволили замѣтить: именно истинно, дѣйствительно не мѣшаетъ. Видишь вещи, которыхъ бы не видѣлъ; встрѣчаешь людей, которыхъ бы не встрѣтилъ. Разговоръ съ инымъ тотъ же червонецъ, какъ вотъ, напримѣръ, теперь представился случай... Къ вамъ прибѣгаю ,почтеннѣйшій Константинъ Федоровичъ, научите, научите, оросите жажду мою вразумленьемъ истины. Жду, какъ манны, сладкихъ словъ вашихъ».

«Чему же, однако?... чему научить»? сказалъ Костанжогло, смутившись. «Я и самъ учился на мѣдныя деньги».

«Мудрости, почтеннѣйшій, мудрости,—мудрости управлять труд-

нымъ кормиломъ сельскаго хозяйства, мудрости извлекать доходы вѣрные, пріобрѣсть имущество не мечтательное, а существенное, исполняя тѣмъ долгъ гражданина, заслужа уваженіе соотечественниковъ».

«Знаете ли что», сказалъ Костанжогло, смотря на него въ размышленіи: «останьтесь денекъ у меня. Я покажу вамъ все управленіе и разскажу обо всемъ. Мудрости тутъ, какъ вы увидите, никакой нѣтъ».

«Конечно, останьтесь», сказала хозяйка и, обратясь къ брату, прибавила: «Братъ, оставайся: куда тебѣ торопиться?»

«Мнѣ все равно. Какъ Павелъ Ивановичъ?»

«Я то-жъ, я съ большимъ удовольствіемъ... Но вотъ обстоятельство: родственникъ генерала Бетрищева, нѣкто полковникъ Кошкаревъ»...

«Да вѣдь онъ сумасшедшій».

«Это такъ, сумасшедшій. Я бы къ нему и не ѣхалъ, но генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и, такъ сказать, благотворитель»...

«Въ такомъ случаѣ знаете что?» сказалъ (Костанжогло). «поѣзжайте, къ нему и десяти верстъ нѣтъ. У меня стоятъ готовыя пролетки—поѣзжайте къ нему теперь же. Вы успѣете къ чаю возвратиться назадъ».

«Превосходная мысль!» вскрикнулъ Чичиковъ, взявши шляпу.

Пролетки были ему поданы и въ полчаса примчали его къ полковнику. Вся деревня была въ-разброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревенъ по всѣмъ улицамъ. Выстроены были какіе-то дома, въ родѣ присутственныхъ мѣстъ. На одномъ было написано золотыми буквами: *Депо земледѣльческихъ орудій;* на другомъ: *Главная счетная экспедиція;* далѣе: *Комитетъ сельскихъ дѣлъ; Школа нормальнаго просвѣщенія поселянъ.* Словомъ, чортъ знаетъ, чего не было!

Полковника онъ засталъ за пульпитромъ стоячей конторки, съ перомъ въ зубахъ. Полковникъ принялъ Чичикова отмѣнно ласково. По виду, онъ былъ предобрѣйшій, преобходительный человѣкъ: сталъ ему разсказывать о томъ, сколькихъ трудовъ ему стоило возвесть имѣніе до нынѣшняго благосостоянія; съ соболѣзнованіемъ жаловался, какъ трудно дать понять мужику, что есть высшія побужденія, которыя доставляетъ человѣку просвѣщенная роскошь, искусство и художество; что бабъ онъ до сихъ поръ не могъ заставить надѣть корсетъ, тогда какъ въ Германіи, гдѣ онъ стоялъ съ полкомъ въ 14-мъ году, дочь мельника умѣла играть даже на фортепіано; что, однакоже, несмотря на все упорство со стороны невѣжества, онъ непремѣнно достигнетъ того, что мужикъ его деревни, идя за плугомъ, будетъ въ то же время читать книгу о громовыхъ отводахъ Франклина, или Виргиліевы Георгики, или Химическое изслѣдованіе почвъ.

«Да, какъ бы не такъ»!—подумалъ Чичиковъ. «А вотъ я до сихъ поръ еще «Графини Лавальеръ» не прочелъ: все нѣтъ времени».

Много еще говорилъ полковникъ о томъ, какъ привести людей къ благополучію. Костюмъ у него имѣлъ большое значеніе: онъ ручался головой, что если только одѣть половину русскихъ мужиковъ въ нѣмецкіе штаны,—науки возвысятся, торговля подымется, и золотой вѣкъ настанетъ въ Россіи.

Чичиковъ слушалъ-слушалъ, глядя ему пристально въ глаза, и наконецъ сказалъ: «съ этимъ, кажется, чиниться нечего»; и тутъ же объявилъ, что такъ и такъ,имѣется надобность вотъ въ какихъ душахъ, съ совершеньемъ такихъ-то крѣпостей и всѣхъ обрядовъ.

«Сколько могу видѣть изъ словъ вашихъ»,—сказалъ полковникъ, нимало не смутясь: «это просьба, не такъ ли»?

«Такъ точно».

«Въ такомъ случаѣ изложите ее письменно. Просьба пойдетъ въ контору принятія рапортовъ и донесеній. Контора, помѣтивши, препроводитъ ее ко мнѣ; отъ меня поступитъ она въ комитетъ сельскихъ дѣлъ;оттолѣ, по сдѣланіи выправокъ, къ управляющему. Управляющій совокупно съ секретаремъ»...

«Помилуйте!»—вскрикнулъ Чичиковъ: «вѣдь этакъ затянется Богъ знаетъ! Да какъ же трактовать объ этомъ письменно? Вѣдь это такого рода дѣло... Души вѣдь нѣкоторымъ образомъ... мертвыя».

«Очень хорошо. Вы такъ и напишите, что души нѣкоторымъ образомъ мертвыя».

«Но вѣдь какъ же—мертвыя? Вѣдь этакъ же нельзя написать. Онѣ хотя и мертвыя, но нужно, чтобы казались , какъ бы были живыя».

«Хорошо. Вы такъ и напишите: н о н у ж н о, или т р е б у е т с я, ж е л а е т с я, и щ е т с я, ч т о б ы к а з а л о с ь, к а к ъ б ы ж и в ы я. Безъ бумажнаго производства нельзя этого сдѣлать. Примѣръ—Англія и самъ даже Наполеонъ. Я вамъ отряжу комиссіонера, который васъ проводитъ по всѣмъ мѣстамъ».

Онъ ударилъ въ звонокъ. Явился какой-то человѣкъ.

«Секретарь! Позвать ко мнѣ комиссіонера»! Предсталъ комиссіонеръ, какой-то не то мужикъ, не то чиновникъ. «Вотъ онъ васъ проводитъ по нужнѣйшимъ мѣстамъ».

Что было дѣлать съ полковникомъ? Чичиковъ рѣшился, изъ любопытства, пойти съ комиссіонеромъ смотрѣть всѣ эти самонужнѣйшія мѣста. Контора подачи рапортовъ существовала только на вывѣскѣ, и двери были заперты. Правитель дѣлъ ея Хрулевъ былъ переведенъ во вновь образовавшійся комитетъ сельскихъ построекъ. Мѣсто его заступилъ камердинеръ Березовскій; но онъ тоже былъ куда-то откомандированъ комиссіей построенія. Толкнулись они въ департаментъ сельскихъ дѣлъ—тамъ передѣлка; разбудили какого-то пьянаго , но не добрались отъ него никакого толку. «У насъ безтолковщина»,—сказалъ наконецъ Чичикову комиссіонеръ. Барина за носъ водятъ. Всѣмъ у насъ распоряжается комиссія построенія: отрыва-

етъ всѣхъ отъ дѣла, посылаетъ куда угодно. Только и выгодно у насъ, что въ комиссіи построенія». Онъ, какъ видно, былъ недоволенъ на комиссію построенія. Далѣе Чичиковъ не хотѣлъ и смотрѣть. Пришедши, разсказалъ полковнику, что такъ и такъ, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссіи подачи рапортовъ и вовсе нѣтъ.

Полковникъ вскипѣлъ благороднымъ негодованіемъ, крѣпко пожавши руку Чичикову, въ знакъ благодарности. Тутъ же, схвативши бумагу и перо, написалъ восемь строжайшихъ запросовъ: на какомъ основаніи комиссія построенія самоуправно распорядилась съ неподвѣдомственными ей чиновниками? какъ могъ допустить главноуправляющій, чтобы представитель, не сдавши своего поста, отправился на слѣдствіе? и какъ могъ видѣть равнодушно комитетъ сельскихъ дѣлъ, что даже не существуетъ контора подачи рапортовъ и донесеній?

«Ну, пойдетъ кутерьма!» подумалъ Чичиковъ,—и хотѣлъ уже уѣхать.

«Нѣтъ, я васъ не отпущу. Теперь уже собственное мое честолюбіе затронуто. Я докажу, что значитъ органическое, правильное устройство хозяйства. Я поручу ваше дѣло такому человѣку, который одинъ стоитъ всѣхъ: окончилъ университетскій курсъ. Вотъ каковы у меня крѣпостные люди! Чтобы не терять драгоцѣннаго времени, покорнѣйше прошу посидѣть у меня въ библіотекѣ», сказалъ полковникъ, отворяя боковую дверь. «Тутъ книги, бумага, перья, карандаши, все. Пользуйтесь, пользуйтесь всѣмъ: вы—господинъ. Просвѣщеніе должно быть открыто всѣмъ».

Такъ говорилъ Кошкаревъ, введя его въ книгохранилище. Это былъ огромный залъ, снизу до верху уставленный книгами. Были тамъ даже и чучела животныхъ. Книги по всѣмъ частямъ: по части лѣсоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства; спеціальные журналы—по всѣмъ частямъ, которые только разсылаются съ обязанностью подписокъ, но никто ихъ не читаетъ. Видя, что все это были книги не для пріятнаго препровожденія, онъ обратился къ другому шкафу—изъ огня въ полымя: все книги философскія. Шесть огромныхъ томищей предстало ему предъ глаза, подъ названіемъ: «Предуготовительное вступленіе въ область мышленія, Теорія общности, совокупности, сущности, и въ примѣненіи къ уразумѣнію органическихъ началъ обоюднаго раздвоенія общественной производительности». Что ни разворачивалъ Чичиковъ книгу, на всякой страницѣ—*проявленіе, развитіе, абстрактъ, замкнутость и сомкнутость*, и чортъ знаетъ, чего тамъ не было! «Это не по мнѣ», сказалъ Чичиковъ, и оборотился къ третьему шкафу, гдѣ были книги по части искусствъ. Тутъ вытащилъ какую-то огромную книгу съ нескромными мифологическими картинками и началъ ихъ разсматривать. Такого рода картинки нравятся холостякамъ среднихъ лѣтъ, а иногда и тѣмъ

старикашкамъ, которые подзадориваютъ себя балетами и прочими пряностями. Окончивши разсматриваніе одной книги, Чичиковъ вытащилъ уже было и другую въ томъ же родѣ, какъ появился полковникъ Кошкаревъ, съ сіяющимъ видомъ и бумагою.

«Все сдѣлано, и сдѣлано отлично! Человѣкъ, о которомъ я вамъ говорилъ, рѣшительный геній. За это я поставлю его выше всѣхъ и для него одного заведу цѣлый департаментъ. Вы посмотрите, какая свѣтлая голова и какъ въ нѣсколько минутъ онъ рѣшилъ все».

«Ну, слава те, Господи!»—подумалъ Чичиковъ и приготовился слушать. Полковникъ сталъ читать:

«Приступая къ обдумыванію возложеннаго на меня вашимъ высокородіемъ порученія, честь имѣю симъ донести на оное:

«I-е. Въ самой просьбѣ господина коллежскаго совѣтника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумѣніе, ибо неосмотрительнымъ образомъ ревизскія души названы умершими. Подъ симъ, вѣроятно, они изволили разумѣть близкія къ смерти, а не умершія. Да и самое таковое названіе уже показываетъ изученіе наукъ эмпирическое, вѣроятно, ограничившееся приходскимъ училищемъ, ибо душа безсмертна».

«Плутъ!»—сказалъ, остановившись, Кошкаревъ съ самодовольствіемъ: «Тутъ онъ немножко кольнулъ васъ. Но сознайтесь, какое бойкое перо!»

«Во II-хъ, никакихъ незаложенныхъ ревизскихъ, не только близкихъ къ смерти, но и всякихъ прочихъ, по имѣнію не имѣется, ибо всѣ въ совокупности не токмо заложены безъ изъятія, но и перезаложены, съ прибавкой по полутораста рублей на душу, кромѣ небольшой деревни Гурмайловки, находящейся въ спорномъ положеніи, по случаю тяжбы съ помѣщикомъ Предищевымъ и вслѣдствіе того подъ запрещеніемъ, о чемъ объявлено въ 42 номерѣ «Московскихъ Вѣдомостей».

«Такъ зачѣмъ же вы мнѣ этого не объявили прежде? Зачѣмъ изъ пустяковъ держали?»—сказалъ съ сердцемъ Чичиковъ.

«Да! да вѣдь нужно было, чтобы все это вы увидѣли сквозь форму бумажнаго производства. Этакъ не штука. Безсознательно можетъ и дуракъ увидѣть, но нужно сознательно».

Въ-сердцахъ, схвативши шапку, Чичиковъ—бѣгомъ изъ дому, мимо всякихъ приличій, да въ дверь: онъ былъ сердитъ. Кучеръ стоялъ съ пролеткой наготовѣ, зная, что лошадей нечего откладывать, потому что о кормѣ пошла бы письменная просьба, и резолюція выдать овесъ лошадямъ вышла бы только на другой день. Полковникъ, однакожъ, выбѣжалъ; онъ насильно пожалъ ему руку, прижалъ ее къ сердцу и благодарилъ его за то, что онъ далъ ему случай увидѣть на дѣлѣ ходъ производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины управленія заржавѣ-

ютъ и ослабѣваютъ; что, вслѣдствіе этого событія, пришла ему счастливая мысль—устроить новую комиссію, которая будетъ называться комиссіею наблюденія за комиссіею построенія, такъ что уже тогда никто не осмѣлится украсть.

Чичиковъ пріѣхалъ, сердитый и недовольный, поздно, когда уже давно горѣли свѣчи.

«Что это вы такъ запоздали?»—сказалъ Костанжогло, когда онъ показался въ дверяхъ.

«О чемъ вы это такъ долго съ нимъ толковали?»—сказалъ Платоновъ.

«Этакого дурака я еще отъ роду не видывалъ»,—сказалъ Чичиковъ.

«Это еще ничего»,—сказалъ Костанжогло.«Кошкаревъ—утѣшительное явленіе. Онъ нуженъ затѣмъ, что въ немъ отражаются карикатурно и виднѣй глупости всѣхъ нашихъ умниковъ,—вотъ этихъ всѣхъ умниковъ, которые, не узнавши прежде своего, набираются дури въ чужи. Вонъ каковы помѣщики теперь наступили: завели и конторы, и мануфактуры, и школы, и комиссію, и чортъ ихъ знаетъ, чего не завели! Вотъ каковы эти умники! Было поправились послѣ француза двѣнадцатаго года, такъ вотъ теперь все давай разстраивать сызнова. Вѣдь хуже француза разстроили, такъ что теперь какой-нибудь Петръ Петровичъ Пѣтухъ еще хорошій помѣщикъ».

«Да вѣдь и онъ заложилъ теперь въ ломбардъ,» — сказалъ Чичиковъ.

«Ну, да, все въ ломбардъ, все пойдетъ въ ломбардъ». Сказавъ это, Костанжогло сталъ понемногу сердиться. «Вонъ шляпный, свѣчной заводы,—изъ Лондона мастеровъ выписалъ свѣчныхъ, торгашомъ сдѣлался! Помѣщикъ—этакое званіе почтенное—въ мануфактуристы, фабриканты! Прядильныя машины... кисеи шлюхамъ городскимъ, дѣвкамъ»...

«Да вѣдь и у тебя же есть фабрики»,—замѣтилъ Платоновъ.

«А кто ихъ заводилъ? Сами завелись! накопилось шерсти, сбыть некуда—я и началъ ткать сукна, да и сукна толстыя, простыя,—по дешевой цѣнѣ ихъ тутъ же на рынкахъ у меня и разбираютъ,—мужику надобныя, моему мужику. Рыбью шелуху сбрасывали на мой берегъ въ продолженіе шести лѣтъ сряду промышленники,—ну, куда ее дѣвать? я началъ изъ нея варить клей, да сорокъ тысячъ и взялъ. Вѣдь у меня все такъ».

«Экой чортъ!»—думалъ Чичиковъ, глядя на него въ оба глаза: «загребистая какая лапа!»

«Да и то потому занялся, что набрело много работниковъ, которые умерли бы съ голоду; голодный годъ, и все по милости этихъ фабрикантовъ, упустившихъ посѣвы. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Всякій годъ другая фабрика, смотря по тому, отъ чего накопилось остатковъ и выбросковъ. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство,—всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что отталкиваешь,

говоришь: не нужно! Вѣдь я не строю для этого дворцовъ съ колоннами да съ фронтонами».

«Это изумительно... Изумительнѣе же всего то, что всякая дрянь даетъ доходъ»,—сказалъ Чичиковъ.

«Да помилуйте! Если бы только брать дѣло по-просту, какъ оно есть; а то вѣдь всякій—механикъ: всякій хочетъ открыть ларчикъ съ инструментомъ, а не просто. Онъ для этого съѣздилъ нарочно въ Англію; вотъ въ чемъ дѣло! Дурачье!» Сказавши это, Костанжогло плюнулъ. И вѣдь глупѣе въ-сотеро станетъ послѣ того, какъ возвратится изъ-за границы!»

«Ахъ, Константинъ! ты опять разсердился»,—сказала съ безпокойствомъ жена. «Вѣдь ты знаешь, что это для тебя вредно».

«Да вѣдь какъ не сердиться? Добро бы это было чужое, а то вѣдь это близко собственному сердцу; вѣдь досадно то, что русскій характеръ портится; вѣдь теперь явилось въ русскомъ характерѣ донъ-кишотство, котораго никогда не было! Просвѣщеніе придетъ ему въ умъ—сдѣлается Донъ-Кишотомъ: заведетъ такія школы, что дураку въ умъ не войдетъ! Выйдетъ изъ школы такой человѣкъ, что никуда не годится, ни въ деревню, ни въ городъ, только что пьяница, да чувствуетъ свое достоинство. Въ человѣколюбіе пойдетъ—сдѣлается Донъ-Кишотомъ человѣколюбія: настроитъ на милліонъ безтолковѣйшихъ больницъ да заведеній съ колоннами, разорится да и пуститъ по міру всѣхъ: вотъ тебѣ и человѣколюбіе!»

Чичикову не до просвѣщенія было дѣло. Ему хотѣлось обстоятельно разспросить о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ; но никакъ не далъ ему Костанжогло вставить слова: желчныя рѣчи уже лились изъ устъ его, такъ что уже онъ ихъ не могъ удержать.

«Думаютъ, какъ просвѣтить мужика... да ты сдѣлай его прежде богатымъ да хорошимъ хозяиномъ, а тамъ онъ самъ выучится. Вѣдь какъ теперь, въ это время, весь свѣтъ поглупѣлъ, такъ вы не можете себѣ представить! Что пишутъ теперь эти щелкоперы! Пуститъ какой-нибудь книжку, и такъ вотъ всѣ и бросятся на нее... Вотъ что стали говорить: «Крестьянинъ ведетъ ужъ очень простую жизнь; нужно познакомить его съ предметами роскоши, внушить ему потребности свыше состоянія»... Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней чортъ знаетъ какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ осьмнадцатилѣтняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ, какъ пузырь,—такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да хлѣбопашецъ у насъ всѣхъ почтеннѣе,—что вы его трогаете? Дай Богъ, чтобы всѣ были (какъ) хлѣбопашецъ!»

«Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ доходливѣй заниматься?»—спросилъ Чичиковъ.

«Законнѣе, а не то, что доходнѣе. Воздѣлывай землю въ потѣ лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ опытомъ вѣковъ доказано, что въ земледѣльческомъ званіи человѣкъ нравственнѣй, чище, благороднѣй, выше. Не говорю—не заниматься другимъ, но чтобы въ основаніе легло хлѣбопашество—вотъ что! Фабрики заведутся сами собой, да заведутся законныя фабрики,—того, что нужно здѣсь, подъ рукой человѣку на мѣстѣ, а не эти всякія потребности, разслабившія теперешнихъ людей. Не эти фабрики, что потомъ, для поддержки и для сбыту, употребляютъ всѣ гнусныя мѣры, развращаютъ, растлѣваютъ несчастный народъ. Да вотъ же не заведу у себя, какъ ты тамъ ни говори въ ихъ пользу, никакихъ этихъ внушающихъ высшія потребности производствъ, ни табака, ни сахара, хоть бы потерялъ милліонъ. Пусть же, если входитъ развратъ въ міръ, такъ не черезъ мои руки! Пусть я буду передъ Богомъ правъ... Я двадцать лѣтъ живу съ народомъ; я знаю, какія отъ этого слѣдствія».

«Для меня изумительнѣе всего, какъ, при благоразумномъ управленіи, изъ останковъ, изъ обрѣзковъ получается и всякая дрянь даетъ доходъ».

«Гм! политическіе экономы!»—говорилъ Костанжогло, не слушая его, съ выраженіемъ желчнаго сарказма въ лицѣ. «Хороши политическіе экономы! Дуракъ на дуракѣ сидитъ и дуракомъ погоняетъ—дальше своего глупаго носа не видитъ! Оселъ, а еще взлѣзетъ на кафедру, надѣнетъ очки... Дурачье!» И во гнѣвѣ онъ плюнулъ.

«Все это такъ и все справедливо, только, пожалуйста, не сердись»,—сказала жена: «какъ будто нельзя говорить объ этомъ, не выходя изъ себя».*)

---

*) *Варіантъ изъ другой редакціи.*

«Да я и строеній для этого не строю; у меня нѣтъ зданій съ колоннами да фронтонами. Мастеровъ я не выписываю изъ-за границы, а ужъ крестьянъ отъ хлѣбопашества ни за что не оторву; на фабрикахъ у меня работаютъ только въ голодный годъ, все пришлые, изъ-за куска хлѣба. Этакихъ фабрикъ у меня, братъ, наберется много. Разсмотри только попристальнѣе свое хозяйство, ты увидишь—всякая тряпка пойдетъ въ дѣло, всякая дрянь дастъ доходъ, такъ что послѣ отталкиваешь только да говоришь: не нужно!»

«Это изумительно»,—сказалъ Чичиковъ, исполнившись участья: «изумительно, изумительно! Изумительнѣе же всего то, что всякая дрянь даетъ доходъ».

«Гм! да не только это!..» Рѣчи Скудронжогло не кончилъ: желчь въ немъ пробудилась, и ему хотѣлось побранить сосѣдей-помѣщиковъ. «Вонъ опять одинъ умникъ—что вы думаете, у себя завелъ?—Богоугодныя заведенія, каменное строеніе въ деревнѣ! Христолюбивое дѣло!.. Ужъ хочешь помогать, такъ ты помогай всякому мужику исполнить этотъ долгъ, а не отрывай его отъ христіанскаго долга. Помоги сыну пригрѣть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его съ плечъ своихъ. Дай лучше ему возможность пріютить у себя въ дому ближняго и брата, дай ему на это денегъ, помоги всѣми силами, а не отлучай его: онъ

«Слушая васъ, почтеннѣйшій Константинъ Федоровичъ, вникаешь, такъ сказать, въ смыслъ жизни, щупаешь самое ядро дѣла. Но, оставивъ общечеловѣческое, позвольте обратить вниманіе на приватное. Если бы, положимъ, сдѣлавшись помѣщикомъ, возымѣлъ я мысль въ непродолжительное время разбогатѣть такъ, чтобы тѣмъ, такъ сказать, исполнить существенную обязанность гражданина, то какимъ образомъ, какъ поступить?»

«Какъ поступить, чтобы разбогатѣть?»—подхватилъ Костанжогло. «А вотъ какъ»...

«Пойдемъ ужинать»,—сказала хозяйка, поднявшись съ дивана, и выступила на средину комнаты, закутывая въ шаль молодые, продрогнувшіе свои члены.

совсѣмъ отстанетъ отъ всякихъ христіанскихъ обязанностей. Донъ-Кихоты, просто, по всѣмъ частямъ!.. Двѣсти рублей выходитъ на человѣка въ годъ въ богоугодномъ заведеніи!.. Да я на эти деньги буду у себя въ деревнѣ десять человѣкъ содержать!» Скудронжогло разсердился и плюнулъ.

Чичиковъ не интересовался богоугоднымъ заведеніемъ: онъ хотѣлъ повесть рѣчь о томъ, какъ всякая дрянь даетъ доходъ. Но Скундронжогло уже разсердился, желчь въ немъ закипѣла, и слова полились:

«А вотъ другой Донъ-Кихотъ просвѣщенія; завелъ школы! Ну, что, напримѣръ, полезнѣе человѣку, какъ знанье грамоты? А вѣдь какъ распорядился? Вѣдь ко мнѣ приходятъ мужики изъ его деревни. «Что это», говорятъ: «батюшка, такое? сыновья наши совсѣмъ отъ рукъ отбились, помогать въ работахъ не хотятъ, всѣ въ писаря хотятъ, а вѣдь писарь нуженъ одинъ. Вѣдь вотъ что вышло!»

Чичикову тоже не было надобности до школъ, но Платоновъ подхватилъ этотъ предметъ: «Да вѣдь этимъ останавливаться не нужно, что теперь не надобны писаря: послѣ будетъ надобность. Работать нужно для потомства».

«Да будь, братецъ, хоть ты уменъ! Ну, что вамъ далось это потомство? Всѣ думаютъ, что они какіе-то Петры Великіе. Да ты смотри себѣ подъ ноги, а не гляди въ потомство; хлопочи о томъ, чтобы мужика сдѣлать достаточнымъ да богатымъ, да чтобы было у него время учиться по охотѣ своей, а не то, что съ палкой въ рукѣ говорить: «Учись!» Чортъ знаетъ, съ котораго конца начинаютъ!.. Ну, послушайте: ну, вотъ я вамъ на судъ...» Тутъ Скундронжогло подвинулся ближе къ Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть въ дѣло, взялъ его на абордажъ, другими словами—засунулъ палецъ въ петлю его фрака. «Ну, что можетъ быть яснѣе? У тебя крестьяне затѣмъ, чтобы ты имъ покровительствовалъ въ ихъ крестьянскомъ быту. Въ чемъ же бытъ? въ чемъ же занятія крестьянина?—Въ хлѣбопашествѣ? Такъ старайся, чтобы онъ былъ хорошимъ хлѣбопашцемъ. Ясно? Нѣтъ, нашлись умники, говорятъ: «Изъ этого состоянія его нужно вывести. Онъ ведетъ слишкомъ грубую, простую жизнь: нужно познакомить его съ предметами роскоши». Что сами, благодаря этой роскоши, стали тряпки, а не люди, и болѣзней, чортъ знаетъ, какихъ понабрались, и ужъ нѣтъ ни одного осьмнадцатилѣтняго мальчишки, который бы не испробовалъ всего: и зубовъ у него нѣтъ, и плѣшивъ,—такъ хотятъ теперь и этихъ заразить. Да слава Богу, что у насъ осталось хотя одно еще здоровое сословіе, которое не познакомилось съ этими прихотями! За это мы, просто, должны благодарить Бога. Да, хлѣбопашцы для меня всѣхъ почтеннѣе. Дай Богъ, чтобы всѣ были хлѣбопашцы!»

«Такъ вы полагаете, что хлѣбопашествомъ всего выгоднѣе заниматься?»—спросилъ Чичиковъ.

«Законнѣе, а не то, что выгоднѣе. Воздѣлывай землю въ потѣ лица своего...

Чичиковъ схватился со стула съ ловкостью почти военнаго человѣка, коромысломъ подставилъ ей руку и повелъ ее парадно черезъ двѣ комнаты въ столовую, гдѣ уже на столѣ стояла суповая чашка и, лишенная крышки, разливала пріятное благоуханье супа, напитаннаго свѣжею зеленью и первыми кореньями весны. Всѣ сѣли за столъ. Слуги проворно поставили разомъ на столъ всѣ блюда, въ закрытыхъ соусникахъ, и все, что нужно, и тотчасъ ушли: Костанжогло не любилъ, чтобы лакеи слушали господскіе разговоры, а еще болѣе, чтобы глядѣли ему въ ротъ въ то время, когда онъ ѣстъ.

Нахлебавшись супу и выпивши рюмку какого-то отличнаго питья, похожаго на венгерское, Чичиковъ сказалъ хозяину такъ:

«Позвольте, почтеннѣйшій, вновь обратить васъ къ предмету прекращеннаго разговора. Я спрашивалъ васъ о томъ, какъ быть, какъ поступить, какъ лучше приняться»*)...

. . . . . .

...«Имѣніе, за которое если бы онъ запросилъ и 40 тысячъ, я бы ему тутъ же отсчиталъ».

«Гм!» Чичиковъ задумался. «А отчего же вы сами»,—проговорилъ онъ съ нѣкоторою робостью: «не покупаете его?»

«Да нужно знать наконецъ предѣлы. У меня и безъ того много хлопотъ около своихъ имѣній. Притомъ у насъ дворяне и безъ того уже кричатъ на меня, будто я, пользуясь крайностями и разореннымъ ихъ положеніями, скупаю земли за безцѣнокъ. Это мнѣ ужъ наконецъ надоѣло».

«Какъ вообще люди способны къ злословію!»—сказалъ Чичиковъ.

«А ужъ какъ въ нашей губерніи,—не можете себѣ представить: меня иначе и не называютъ, какъ сквалыгой и скупцомъ первой степени. Себя они во всемъ извиняютъ. «Я», говоритъ, «конечно промотался, но потому, что жилъ высшими потребностями жизни, поощ-

это намъ всѣмъ сказано; это не даромъ сказано. Опытомъ вѣковъ доказано, что въ земледѣльческомъ званіи человѣкъ чище нравами. Гдѣ хлѣбопашество легло въ основаніе быта общественнаго, тамъ изобиліе и довольство; бѣдности нѣтъ, роскоши нѣтъ, а есть довольство. Воздѣлывай землю—сказано человѣку, трудись... что тутъ хитрить! Я говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мнѣ ли, себѣ ли, сосѣду ли, только трудись. Въ дѣятельности, я твой первый помощникъ. Нѣтъ у тебя скотины, вотъ тебѣ лошадь, вотъ тебѣ корова, вотъ тебѣ телѣга. Всѣмъ, что нужно, готовъ тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не въ устройствѣ и вижу у тебя безпорядокъ и бѣдность. Не потерплю праздности: я затѣмъ надъ тобой, чтобы ты трудился». Гм! думаютъ увеличить доходы заведеніями да фабриками! Да ты подумай прежде о томъ, чтобы всякій мужикъ былъ у тебя богатъ, такъ тогда ты и самъ будешь богатъ безъ фабрикъ и безъ заводовъ, и безъ глупыхъ (затѣй)».

*) Послѣ этого утрачена изъ тетради одна четвертка, или двѣ страницы. Въ первомъ изданіи второго тома «Мертвыхъ Душъ» С. П. Шевыревъ сдѣлалъ къ этому мѣсту такое примѣчаніе: «Здѣсь въ разговорѣ между Констанжогло и Чичиковымъ пропускъ. Должно полагать, что Костанжогло предложилъ Чичикову пріобрѣсти покупкою имѣнье сосѣда его, помѣщика Хлобуева». *Ред.*

рялъ промышленниковъ (мошенниковъ, то-есть, которые тру...); а этакъ, пожалуй, можно прожить свиньею, какъ Костанжогло».

«Желалъ бы я быть этакой свиньей?»—сказалъ Чичиковъ.

«И вздоръ. Какія высшія потребности? Кого они надуваютъ? Книги хоть онъ и заведетъ, но вѣдь ихъ не читаетъ. Дѣло кончится картами да..... И все оттого, что не задаю обѣдовъ да не занимаю имъ денегъ. Обѣдовъ я потому не даю, что это меня бы тяготило: я къ этому не привыкъ. А пріѣзжай ко мнѣ ѣсть то, что я ѣмъ,—милости просимъ. Не даю денегъ взаймы—это вздоръ. Пріѣзжай ко мнѣ въ самомъ дѣлѣ нуждающійся, да разскажи мнѣ обстоятельно, какъ ты распорядишься съ моими деньгами: если я увижу изъ твоихъ словъ, что ты употребишь ихъ умно и деньги принесутъ тебѣ явную прибыль, —я тебѣ не откажу и не возьму даже процентовъ».

«Это, однакоже, нужно принять къ свѣдѣнію»,—подумалъ Чичиковъ.

«И никогда не откажу»,—продолжалъ Костанжогло. Но бросать денегъ на вѣтеръ я не стану. Ужъ пусть меня въ этомъ извинятъ! Чортъ побери! онъ затѣваетъ тамъ какой-нибудь обѣдъ любовницѣ, или на сумасшедшую ногу убираетъ мебелями домъ, или съ распутницей въ маскарадъ, юбилей тамъ какой-нибудь въ память того, что онъ даромъ прожилъ на свѣтѣ, а ему давай деньги взаймы!..»

Здѣсь Костанжогло плюнулъ и чуть-чуть не выговорилъ нѣсколько неприличныхъ и бранныхъ словъ въ присутствіи супруги. Суровая тѣнь темной ипохондріи омрачила его лицо. Вдоль лба и поперекъ его собрались морщины, обличители гнѣвнаго движенія взволнованной желчи.

«Позвольте мнѣ, досточтимый мною, обратить васъ вновь къ предмету прекращеннаго разговора»,—сказалъ Чичиковъ, выпивая еще рюмку малиновки, которая дѣйствительно была отличная. «Если бы, положимъ, я пріобрѣлъ то самое имѣніе, о которомъ вы изволили упомянуть, то во сколько времени и какъ скоро можно разбогатѣть въ такой степени»...

«Если вы хотите»,—подхватилъ сурово и отрывисто Костанжогло, полный нерасположенія духа: «разбогатѣть скоро, такъ вы никогда не разбогатѣете; если же хотите разбогатѣть, не спрашиваясь о времени, то разбогатѣете скоро».

«Вотъ оно какъ!»—сказалъ Чичиковъ.

«Да»,—сказалъ Костанжогло отрывисто, точно какъ бы онъ сердился на самого Чичикова: «надобно имѣть любовь къ труду: безъ этого ничего нельзя сдѣлать. Надобно полюбить хозяйство,—да! И повѣрьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что въ деревнѣ тоска... да я бы умеръ отъ тоски, если бы хотя одинъ день провелъ въ городѣ такъ, какъ проводятъ они въ этихъ глупыхъ своихъ клубахъ, трактирахъ, да театрахъ. Дураки, дурачье, ослиное поколѣніе! Хозяину

нельзя, нѣтъ времени скучать. Въ жизни его и на полвершка нѣтъ пустоты—все полнота. Одно это разнообразіе занятій, и притомъ какихъ занятій!—занятій, истинно возвышающихъ духъ. Какъ бы то ни было, но вѣдь тутъ человѣкъ идетъ рядомъ съ природой, съ временами года, соучастникъ и собесѣдникъ всего, что совершается въ твореніи. Разсмотрите-ка круговой годъ работъ: какъ, еще прежде, чѣмъ наступитъ весна, все ужъ на-сторожѣ и ждетъ ея; подготовка сѣмянъ, переборка, перемѣрка по амбарамъ хлѣба и пересушка; установленіе новыхъ тяголъ. Все обсматривается впередъ и все разсчитывается въ началѣ. А какъ взломаетъ ледъ, да пройдутъ рѣки, да просохнетъ все и пойдетъ взрываться земля—по огородамъ и садамъ работаетъ заступъ, по полямъ соха и борона; садка, сѣвы и посѣвы. Понимаете ли, что это? Бездѣлица! грядущій урожай сѣютъ! Блаженство всей земли сѣютъ! Пропитаніе милліоновъ сѣютъ! Наступило лѣто... А тутъ покосы, покосы... И вотъ закипѣла вдругъ жатва; за рожью пошла рожь, а тамъ пшеница, а тамъ и ячмень, и овесъ. Все кипитъ; нельзя пропустить минуты: хоть двадцать глазъ имѣй, всѣмъ имъ работа. А какъ отпразднуется все, да пойдетъ свозиться на гумны, складываться въ клади, да зимнія запашки; да чинки къ зимѣ амбаровъ, ригъ, скотныхъ дворовъ, и въ то же время всѣ бабьи работы, да подведешь всему итогъ и увидишь, что сдѣлано,—да вѣдь это... А зима! Молотьба по всѣмъ гумнамъ; перевозка перемолотаго хлѣба изъ ригъ въ амбары. Идешь на мельницу, идешь и на фабрики, идешь взглянуть и на рабочій дворъ, идешь и къ мужику, какъ онъ тамъ на себя копышется. Да для меня, просто, если плотникъ хорошо владѣетъ топоромъ, я два часа готовъ предъ нимъ простоять: такъ веселитъ меня работа. А если видишь еще, что все это съ какой цѣлью творится, какъ вокругъ тебя все множится да множится, принося плодъ да доходъ,—да я и разсказать не могу, что тогда въ тебѣ дѣлается. И не потому, что растутъ деньги,—деньги деньгами,—но потому, что все это дѣло рукъ твоихъ; потому что видишь, какъ ты всему причина, ты творецъ и отъ тебя, какъ отъ какого-нибудь мага, сыплется изобиліе и добро на все. Да гдѣ вы найдете мнѣ равное наслажденіе?»—сказалъ Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, морщины исчезнули. Какъ царь, въ день торжественнаго вѣнчанія своего, сіялъ онъ весь, и казалось, какъ бы лучи исходили изъ его лица. «Да въ цѣломъ мірѣ не отыщете вы подобнаго наслажденія! Здѣсь именно подражаетъ Богу человѣкъ: Богъ предоставилъ Себѣ дѣло творенія, какъ высшее всѣхъ наслажденіе, и требуетъ отъ человѣка также, чтобы онъ былъ подобнымъ творцомъ благоденствія вокругъ себя. И это называютъ скучнымъ дѣломъ!..»

Какъ пѣнія райской птички, заслушался Чичиковъ сладкозвучныхъ хозяйскихъ рѣчей. Глотали слюнку его уста. Самые глаза умаслились и выражали сладость, и все бы онъ слушалъ.

«Константинъ! пора вставать»,—сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Всѣ встали. Подставивъ руку коромысломъ, повелъ Чичиковъ обратно хозяйку, но уже недоставало ловкости въ его оборотахъ, потому что мысли были заняты существенными оборотами.

«Что ни разсказывай, а все, однакоже, скучно»,—говорилъ, идя позади ихъ, Платоновъ.

«Гость не глупый человѣкъ»,—думалъ хозяинъ: «внимателенъ, степененъ въ словахъ и не щелкоперъ». И подумавши такъ, сталъ онъ еще веселѣе, какъ бы самъ разогрѣлся отъ своего разговора, и какъ бы празднуя, что нашелъ человѣка, умѣющаго слушать умные совѣты.

Когда потомъ помѣстились они всѣ въ уютной комнаткѣ, озаренной свѣчками, насупротивъ балкона и стеклянной двери въ садъ, и глядѣли къ нимъ оттолѣ звѣзды, блиставшія надъ вершинами заснувшаго сада,—Чичикову сдѣлалось такъ пріятно, какъ не бывало давно: точно какъ бы послѣ долгихъ странствованій приняла уже его родная крыша и, по совершеніи всего, онъ уже получилъ все желаемое и бросилъ скитальческій посохъ, сказавши: «довольно!» Такое обаятельное расположеніе навелъ ему на душу разумный разговоръ гостепріимнаго хозяина. Есть для всякаго человѣка такія рѣчи, которыя какъ бы ближе и родственнѣй ему другихъ рѣчей. И часто неожиданно, въ глухомъ, забытомъ захолустьи, на безлюдьи безлюдномъ, встрѣтишь человѣка, котораго грѣющая бесѣда заставитъ позабыть тебя и бездорожье дороги, и безпріютность ночлеговъ, и безпутность современнаго шума, и лживость обмановъ, обманывающихъ человѣка. И живо врѣжется, разъ навсегда и навѣки, проведенный такимъ образомъ вечеръ, и все удержитъ вѣрная память: и кто соприсутствовалъ, и кто на какомъ мѣстѣ сидѣлъ, и что было въ рукахъ его,—стѣны, углы и всякую бездѣлушку.

Такъ и Чичикову замѣтилось все въ тотъ вечеръ: и эта милая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженіе, воцарившееся въ лицѣ умнаго хозяина, но даже и рисунокъ обоевъ,..... и поданная Платонову трубка съ янтарнымъ мундштукомъ, и дымъ, который онъ сталъ пускать въ толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смѣхъ миловидной хозяйки, прерываемый словами: «полно, не мучь его», и веселыя свѣчки, и сверчокъ въ углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, глядѣвшая къ нимъ оттолѣ, облокотясь на вершины деревъ, осыпанная звѣздами, оглашенная соловьями, громкопѣвно высвистывавшими изъ глубины зеленолиственныхъ чащей.

«Сладки мнѣ ваши рѣчи, досточтимый мною Константинъ Федодоровичъ!»—произнесъ Чичиковъ. «Могу сказать, что не встрѣчалъ во всей Россіи человѣка, подобнаго вамъ по уму».

Онъ улыбнулся. Онъ самъ чувствовалъ, что не несправедливы были эти слова. «Нѣтъ, ужъ если хотите знать умнаго человѣка,

такъ у насъ дѣйствительно есть одинъ, о которомъ точно можно сказать—умный человѣкъ, котораго я и подметки не стою.

«Кто-жъ бы это такой могъ быть?»—съ изумленіемъ спросилъ Чичиковъ.

«Это нашъ откупщикъ Муразовъ».

«Въ другой уже разъ про него слышу!»—вскрикнулъ Чичиковъ.

«Это человѣкъ, который не то что имѣньемъ помѣщика, цѣлымъ государствомъ управитъ. Будь у меня государство, я бы его сей же часъ сдѣлалъ министромъ финансовъ».

«И, говорятъ, человѣкъ, превосходящій мѣру всякаго вѣроятія: десять милліоновъ, говорятъ, нажилъ».

«Какое десять! перевалило за сорокъ. Скоро половина Россіи будетъ въ его рукахъ».

«Что вы говорите!»—вскрикнулъ Чичиковъ, вытаращивъ глаза и разинувъ ротъ.

«Всенепремѣнно. Это ясно. Медленно богатѣетъ тотъ, у кого какія-нибудь сотни тысячъ; а у кого милліоны, у того радіусъ великъ: что ни захватитъ, такъ вдвое и втрое противу самого себя: поле-то, поприще слишкомъ просторно. Тутъ ужъ и соперниковъ нѣтъ. Съ нимъ некому тягаться. Какую цѣну чему ни назначитъ, такая и останется: некому перебить».

«Господи, Боже ты мой!»—проговорилъ Чичиковъ, перекрестившись. Смотрѣлъ Чичиковъ въ глаза Костанжогло,—захватило духъ въ груди ему. «Уму непостижимо! Каменѣетъ мысль отъ страха! Изумляются мудрости Промысла въ разсматриваніи букашки: для меня болѣе изумительно то, что въ рукахъ смертнаго могутъ обращаться такія громадныя суммы. Позвольте спросить насчетъ одного обстоятельства: скажите, вѣдь это, разумѣется, вначалѣ пріобрѣтено не безъ грѣха?»

«Самымъ безукоризненнымъ путемъ и самыми справедливыми средствами».

«Не повѣрю, невѣроятно! Если бы тысячи, но милліоны...»

«Напротивъ, тысячи трудно безъ грѣха, а милліоны наживаются легко. Милліонщику нечего прибѣгать къ кривымъ путямъ; прямой дорогой такъ и ступай, все бери, что ни лежитъ передъ тобой. Другой не подыметъ: всякому не по силамъ,—нѣтъ соперниковъ. Радіусъ великъ; говорю: что ни захватитъ—вдвое или втрое противъ... А съ тысячи что—десятый, двадцатый процентъ».

«И что всего непостижимѣй—что дѣло вѣдь началось съ копѣйки!»

«Да иначе и не бываетъ. Это законный порядокъ вещей»,—сказалъ Костанжогло. «Кто родился съ тысячами, воспитался на тысячахъ, тотъ уже не пріобрѣтетъ, у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нѣтъ! Начинать нужно съ начала, а не съ середины,—съ копѣйки, а не съ рубля,—снизу, а не сверху: тутъ только узнаешь хорошо

людъ и бытъ, среди которыхъ придется потомъ изворачиваться. Какъ вытерпишь на собственной кожѣ то да другое, да какъ узнаешь, что всякая копѣйка алтыннымъ гвоздемъ прибита, да какъ перейдешь всѣ мытарства,—тогда тебя умудритъ и вышколитъ (такъ), что ужъ не дашь промаха ни въ какомъ предпріятіи и не оборвешься. Повѣрьте, это правда. Съ начала нужно начинать, а не съ середины. Кто говоритъ мнѣ: «Дайте мнѣ 100 тысячъ—я сейчасъ разбогатѣю»,я тому не повѣрю: онъ бьетъ наудачу, а не навѣрняка. Съ копѣйки нужно начинать».

«Въ такомъ случаѣ я разбогатѣю»,—сказалъ Чичиковъ, невольно помысливъ о мертвыхъ душахъ: «ибо дѣйствительно начинаю съ ничего».

«Константинъ, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать», —сказала хозяйка: «а ты все болтаешь».

«И непремѣнно разбогатѣете»,—сказалъ Костанжогло, не слушая хозяйки. «Къ вамъ потекутъ рѣки, рѣки золота. Не будете знать, куда дѣвать доходы».

Какъ очарованный, сидѣлъ Павелъ Ивановичъ въ золотой области возрастающихъ грезъ и мечтаній. Кружились его мысли. По золотому ковру грядущихъ прибытковъ золотые узоры вышивало разыгравшееся воображеніе, и въ ушахъ его отдавались слова: «рѣки, рѣки потекутъ»...

«Право, Константинъ, Павлу Ивановичу пора спать».

«Да что-жъ тебѣ? Ну, и ступай, если захотѣлось»,—сказалъ хозяинъ и остановился, потому что громко по всей комнатѣ раздалось храпѣніе Платонова, а вслѣдъ за нимъ Ярбъ затянулъ еще громче. Замѣтивъ, что въ самомъ дѣлѣ пора на ночлегъ, онъ растолкалъ Платонова, сказавши: «полно тебѣ храпѣть!» и пожелалъ Чичикову спокойной ночи. Всѣ разбрелись и скоро заснули по своимъ постелямъ.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали. Онъ обдумывалъ, какъ сдѣлаться помѣщикомъ не фантастическаго, но существеннаго имѣнія. Послѣ разговора съ хозяиномъ все становилось такъ ясно! Возможность разбогатѣть казалась такъ очевидной! Трудное дѣло хозяйства становилось теперь такъ легко и понятно, и такъ казалось свойственно самой его натурѣ! Только бы сбыть въ ломбардъ этихъ мертвецовъ да завести не фантастическое помѣстье! Уже онъ видѣлъ себя дѣйствующимъ и правящимъ именно такъ, какъ поучалъ Костанжогло—расторопно, осмотрительно, ничего не заводя новаго, не узнавши насквозь всего стараго, все высмотрѣвши собственными глазами, всѣхъ мужиковъ узнавши, всѣ излишества отъ себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранѣе предвкушалъ онъ то удовольствіе, которое будетъ онъ чувствовать, когда заведется стройный порядокъ и бойкимъ ходомъ двигнутся всѣ пружины хозяйственной машины, толкая дѣятельно другъ друга. Трудъ закипитъ,—и подобно тому, какъ въ ходкой мельницѣ шибко вымалывается изъ зерна мука, пойдетъ вымалываться изъ всякаго

дрязгу и хламу чистаганъ да чистаганъ. Чудный хозяинъ такъ и стоялъ предъ нимъ ежеминутно. Это былъ первый человѣкъ во всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уваженіе личное. Доселѣ уважалъ онъ человѣка или за хорошій чинъ, или за большіе достатки; собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человѣка: Костанжогло былъ первый. Онъ понялъ, что съ этимъ нечего подыматься на какія-нибудь штуки. Его занималъ другой прожектъ—купить имѣніе Хлобуева. Десять тысячъ у него было; пятнадцать тысячъ предполагалъ онъ попробовать занять у Костанжогло, такъ какъ онъ самъ объявилъ уже, что готовъ помочь всякому желающему разбогатѣть; остальныя—какъ-нибудь, или заложивши въ ломбардъ, или такъ просто, заставивши ждать. Вѣдь и это можно: ступай, возись по судамъ, если есть охота! И долго онъ объ этомъ думалъ. Наконецъ сонъ, который уже цѣлые четыре часа держалъ весь домъ, какъ говорится, въ объятіяхъ, принялъ наконецъ и Чичикова въ свои объятія. Онъ заснулъ крѣпко.

ГЛАВА IV.

На другой день все обдѣлалось, какъ нельзя лучше. Костанжогло далъ съ радостью десять тысячъ, безъ процентовъ, безъ поручительства,—просто, подъ одну росписку; такъ былъ онъ готовъ помогать всякому на пути къ пріобрѣтенію. Этого мало: онъ самъ взялся сопровождать Чичикова къ Хлобуеву, съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть вмѣстѣ съ нимъ имѣніе. Чичиковъ былъ въ духѣ. Послѣ сытнаго завтрака, всѣ они отправились, сѣвши всѣ трое въ коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина слѣдовали за ними порожнякомъ. Ярбъ бѣжалъ впереди, сгоняя съ дороги птицъ. Цѣлыя 15 верстъ тянулись по обѣимъ сторонамъ лѣса и пахатныя земли Костанжогло. Какъ только они прекратились, все пошло иначе: хлѣбъ жиденькій, намѣсто лѣсовъ пни. Деревенька, несмотря на красивое мѣстоположеніе, показывала издали запущеніе. Новый каменный домъ, необитаемый, оставшійся вчернѣ въ про....., выглянулъ прежде всего,за нимъ другой,обитаемый. Хозяина нашли они растрепаннаго, заспаннаго, недавно проснувшагося. Ему было лѣтъ сорокъ; галстукъ у него былъ повязанъ на сторону; на сюртукѣ была заплата, на сапогѣ дырка.

Пріѣзду гостей онъ обрадовался, какъ Богъ вѣсть чему: точно какъ бы увидѣлъ онъ братьевъ, съ которыми надолго разставался.

«Константинъ Федоровичъ! Платонъ Михайловичъ! Вотъ одолжили пріѣздомъ! Дайте протереть глаза! А ужъ, право, думалъ, что ко мнѣ никто не заѣдетъ. Всякъ бѣгаетъ меня, какъ чумы: думаетъ, попрошу взаймы. Охъ, трудно трудно, Константинъ Федоровичъ! Вижу—самъ всему виной. Что дѣлать? свинья-свиньей зажилъ. Извините, господа, что принимаю васъ въ такомъ нарядѣ: сапоги, какъ видите, съ дырами. Чѣмъ прикажете потчивать?»

«Безъ церемоніи. Мы къ вамъ за дѣломъ. Вотъ вамъ покупщикъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ»,—сказалъ Костанжогло.

«Душевно радъ познакомиться. Дайте прижать мнѣ вашу руку». Чичиковъ далъ ему обѣ.

«Хотѣлъ бы очень, почтеннѣйшій Павелъ Ивановичъ, показать вамъ имѣніе, стоящее вниманія... Да что, господа, позвольте спросить: вы обѣдали?»

«Обѣдали, обѣдали»,—сказалъ Костанжогло, желая отдѣлаться. «Не будемъ мѣшкать и пойдемъ теперь же».

«Въ такомъ случаѣ, пойдемъ». Хлобуевъ взялъ въ руки картузъ. «Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое».

Гости надѣли на головы картузы, и всѣ пошли улицею деревни. Съ обѣихъ сторонъ глядѣли слѣпыя лачуги, съ окнами крохотными, заткнутыми онучами.

«Пойдемъ осматривать безпорядки и безпутство мое»,—говорилъ Хлобуевъ. «Конечно, вы сдѣлали хорошо, что пообѣдали. Повѣрите ли, Константинъ Федоровичъ, курицы нѣтъ въ домѣ—до того дожилъ!»

Онъ вздохнулъ и, какъ бы чувствуя, что мало будетъ участія со стороны Константина Федоровича, подхватилъ подъ руку Платонова и пошелъ съ нимъ впередъ, прижимая крѣпко его къ груди своей. Костанжогло и Чичиковъ остались позади и, взявшись подъ руки, слѣдовали за ними въ отдаленіи.

«Трудно, Платонъ Михайловичъ, трудно!»—говорилъ Хлобуевъ Платонову. «Не можете вообразить, какъ трудно! Безнадежье, безхлѣбье, безсапожье—вѣдь это для васъ слова иностраннаго языка. Трынъ-трава бы это было все, если бы былъ молодъ и одинъ. Но когда всѣ эти невзгоды станутъ тебя ломать подъ старость, а подъ бокомъ жена, пятеро дѣтей,—сгрустнется, поневолѣ сгрустнется...»

«Ну, да если вы продадите деревню—это васъ поправитъ?»—спросилъ Платоновъ.

«Какое поправитъ!»—сказалъ Хлобуевъ, махнувши рукой. «Все пойдетъ на уплату долговъ, а для себя не останется и тысячи».

«Такъ что-жъ вы будете дѣлать?»

«А Богъ знаетъ».

«Какъ же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться изъ такихъ обстоятельствъ».

«Что жъ предпринять?»

«Что-жъ, вы, стало-быть, возьмите какое-нибудь мѣсто».

«Вѣдь я губернскій секретарь. Какое-жъ мнѣ могутъ дать мѣсто? Мѣсто мнѣ могутъ дать ничтожное. Какъ мнѣ взять жалованье—пять сотъ? А вѣдь у меня жена, пятеро дѣтей».

«Пойдите въ управляющіе».

«Да кто-жъ мнѣ повѣритъ имѣніе? Я промоталъ свое».

«Ну, да если голодъ и смерть грозятъ, нужно же что-нибудь пред-

принимать. Я спрошу, не можетъ ли братъ мой черезъ кого-либо въ городѣ выхлопотать какую-нибудь должность».

«Нѣтъ, Платонъ Михайловичъ»,—сказалъ Хлобуевъ, вздохнувши и сжавши крѣпко его руку. «Не гожусь я теперь никуда: одряхлѣлъ прежде старости своей, и поясница болитъ отъ прежнихъ грѣховъ, и ревматизмъ въ плечѣ. Куда мнѣ! что разорять казну? И безъ того теперь завелось много служащихъ ради доходныхъ мѣстъ. Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе!»

«Вотъ плоды безпутнаго поведенія!»—подумалъ Платоновъ. «Это хуже моей спячки».

А между тѣмъ, какъ они такъ говорили между собой, Костанжогло, идя съ Чичиковымъ позади ихъ, выходилъ изъ себя.

«Вотъ смотрите»,—сказалъ Костанжогло, указывая пальцемъ: «довелъ мужика до какой бѣдности! Вѣдь ни телѣги, ни лошади. Случился падежъ—ужъ тутъ нечего глядѣть на свое добро: тутъ все свое продай да снабди мужика скотиной, чтобы онъ не оставался и одного дня безъ средствъ производить работу. А вѣдь теперь и годами не поправишь. И мужикъ уже излѣнился, загулялъ, сдѣлался пьяница. Да этимъ только, что одинъ годъ далъ ему пробыть безъ работы, ты ужъ его развратилъ навѣки: ужъ привыкъ къ лохмотью и бродяжничеству... А земля-то какова? разглядите землю!» говорилъ онъ, указывая на луга, которые показались скоро за избами. «Все поемныя мѣста! Да я заведу ленъ, да тысячъ на пять одного льну отпущу; рѣпой засѣю, на рѣпѣ выручу тысячи четыре. А вонъ смотрите—по косогору рожь поднялась; вѣдь это все падаль. Онъ хлѣба не сѣялъ—я это знаю. А вонъ овраги... да здѣсь я заведу такіе лѣса, что воронъ не долетитъ до вершины. И этакое сокровище-землю бросить! Ну, ужъ если нечѣмъ было пахать, такъ копай заступомъ подъ огородъ какой—огородомъ бы взялъ. Самъ возьми въ руку заступъ, жену, дѣтей, дворню заставь; умри,....., на работѣ! Умрешь по крайней мѣрѣ, исполняя долгъ, а не то—обожравшись свиньей за обѣдомъ!» Сказавши это, плюнулъ Костанжогло, и желчное расположеніе осѣнило сумрачнымъ облакомъ его чело.

Когда подошли они ближе и стали надъ крутизной, обросшей чилизникомъ, и вдали блеснулъ извивъ рѣки и темный отрогъ, и въ перспективѣ ближе показалась часть скрывавшагося въ рощахъ дома генерала Бетрищева, а за нимъ лѣсомъ обросшая, курчавая гора, пылившая синеватою пылью отдаленія, по которой вдругъ догадался Чичиковъ, что это должно быть Тѣнтѣтникова,—(онъ сказалъ): «Здѣсь если завести лѣса,—да деревенскій видъ можетъ превзойти красотою...»

«А вы охотникъ до видовъ!»—сказалъ Костанжогло, вдругъ на него взглянувши строго. «Смотрите, погонитесь тамъ за видами,—оста-

нетесь безъ хлѣба и безъ видовъ. Смотрите на пользу, а не на красоту. Красота сама придетъ. Примѣръ вамъ города: лучше и красивѣе до сихъ поръ города, которые сами построились, гдѣ каждый строился по своимъ надобностямъ и вкусамъ; а тѣ, которые выстроились по шнурку,—казармы казармами... Въ сторону красоту! Смотрите на потребности...»

«Жалко то, что долго нужно дожидаться: такъ бы хотѣлось увидѣть все въ томъ видѣ, какъ хочется...»

«Да что вы 25-лѣтній развѣ юноша? ..... Петербургскій чиновникъ. ..... Терпѣнье! Шесть лѣтъ работайте сряду: садите, сѣйте, ройте землю, не отдыхая ни на минуту. Трудно, трудно. Но зато потомъ, какъ расшевелите хорошенько землю, да станетъ она помогать вамъ сама, такъ это не то, что какой-нибудь .....; нѣтъ, батюшка, у васъ, сверхъ вашихъ какихъ-нибудь 70-ти рукъ, будутъ работать 700 невидимыхъ. Все вдесятеро! У меня теперь ни пальцемъ не двигнутъ,—все дѣлается само собою. Да, природа любитъ терпѣнье: и это законъ, данный ей Самимъ Богомъ, ублажавшимъ терпѣливыхъ».

«Слушая васъ, чувствуешь прибытокъ силъ. Духъ воздвигается».

«Вона земля какъ вспахана!»—вскрикнулъ Костанжогло съ ѣдкимъ чувствомъ прискорбія, показывая на косогоръ. «Я не могу здѣсь больше оставаться: мнѣ смерть—глядѣть на этотъ безпорядокъ и запустѣніе. Вы теперь можете съ нимъ покончить и безъ меня. Отберите у этого дурака поскорѣе сокровище, онъ только безчеститъ Божій даръ». И, сказавши это, Костанжогло уже омрачился желчнымъ расположеніемъ взволнованнаго духа, простился съ Чичиковымъ и, нагнавши хозяина, сталъ также прощаться.

«Помилуйте, Константинъ Федоровичъ»,—говорилъ удивленный хозяинъ: «только-что пріѣхали—и назадъ!»

«Не могу. Мнѣ крайняя надобность быть дома»,—сказалъ Костанжогло. Простился, сѣлъ и уѣхалъ на своихъ пролеткахъ.

Казалось, какъ будто Хлобуевъ понялъ причину его отъѣзда.

«Не выдержалъ Константинъ Федоровичъ»,—сказалъ онъ: «не весело такому хозяину, каковъ онъ, глядѣть на этакое безпутное управленіе. Повѣрьте. Павелъ Ивановичъ, что даже хлѣба не сѣялъ въ этомъ году. Какъ честный человѣкъ! Сѣмянъ не было, не говоря ужъ о томъ, что нечѣмъ. Вашъ братецъ, Платонъ Михайловичъ, говорятъ, отличный хозяинъ; о Константинѣ Федоровичѣ—что ужъ говорить! это Наполеонъ своего рода. Часто, право, думаю: ну, зачѣмъ столько ума дается въ одну голову? ну, что бы хоть каплю его въ мою глупую. Тутъ, смотрите, господа, осторожнѣе черезъ мостъ, чтобъ не бултыхнуться въ лужу. Доски весною приказывалъ поправить..... Жаль больше всего мнѣ мужичковъ бѣдныхъ: имъ нуженъ примѣръ, но съ меня что за примѣръ? Что прикажете дѣлать? Возьмите ихъ, Павелъ Ивановичъ, въ свое распоряженіе. Какъ пріучить ихъ къ порядку, когда

самъ безпорядоченъ? Я бы ихъ отпустилъ давно на волю, но изъ этого не будетъ никакого толку. Вижу, что прежде нужно привести ихъ въ такое состояніе, чтобы умѣли жить. Нуженъ строгій и справедливый человѣкъ, который пожилъ бы съ ними долго и собственнымъ примѣромъ неутомимой дѣятельности ..... Русскій человѣкъ, вижу по себѣ, не можетъ безъ понукателя: такъ и задремлетъ, такъ и закиснетъ».

«Странно», сказалъ Платоновъ: «отчего русскій человѣкъ способенъ такъ задремать и закиснуть, что, если не смотришь за простымъ человѣкомъ, сдѣлается и пьяницей, и негодяемъ?»

«Отъ недостатка просвѣщенія», замѣтилъ—Чичиковъ.

«Богъ вѣсть, отчего. Вѣдь вотъ мы просвѣтились, слушали въ университетѣ, а на что годимся? Ну, чему я выучился? Порядку жить не только не выучился, а еще больше—выучился искусству побольше издерживать деньги на всякія новыя утонченности да комфорты, больше познакомился съ такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я безтолково учился?—Нѣтъ, вѣдь такъ и другіе товарищи. Два, три человѣка извлекли себѣ настоящую пользу, да и оттого, можетъ-быть, что и безъ того были умны, а прочіе вѣдь только и стараются узнать то, что портитъ здоровье да и выманиваетъ деньги. Ей Богу! А что я ужъ думаю: иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все сдѣлать— и ничего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтрашняго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объѣшься, что только хлопаешь глазами, и языкъ не ворочается — какъ сова сидишь, глядя на всѣхъ—право! И этакъ всѣ».

«Да»,—сказалъ Чичиковъ, усмѣхнувшись: «эта исторія бываетъ».

«Мы совсѣмъ не для благоразумія рождены. Я не вѣрю, чтобы изъ насъ былъ кто-нибудь благоразумнымъ. Если я вижу, что иной даже и порядочно живетъ, собираетъ и копитъ деньгу, не вѣрю я и тому. На старости и его чортъ попутаетъ: спуститъ потомъ все вдругъ. И всѣ такъ, право: и просвѣщенные, и непросвѣщенные. Нѣтъ, чего-то другого недостаетъ, а чего—и самъ не знаю».

На возвратномъ пути были виды тѣ же. Неопрятный безпорядокъ такъ и выказывалъ отовсюду безобразную свою наружность. Прибавилась только новая лужа посереди улицы. Все было опущено и запущено какъ у мужиковъ, такъ и у барина. Сердитая баба, въ замасленной дерюгѣ, прибила до полусмерти бѣдную дѣвчонку и ругала на всѣ бока кого-то въ третьемъ лицѣ, призывая всѣхъ чертей. Подальше два мужика глядѣли съ равнодушіемъ стоическимъ на гнѣвъ пьяной бабы. Одинъ чесалъ у себя пониже спины, другой зѣвалъ. Зѣвота видна была на строеніяхъ, крыши также зѣвали. Платоновъ, глядя на нихъ, зѣвнулъ. Заплата на заплатѣ. На одной избѣ, вмѣсто крыши, лежали цѣликомъ ворота; провалившіяся окна подперты были жер-

дями, стащенными съ господскаго амбара. Какъ видно, въ хозяйствѣ исполнялась система Тришкина кафтана: отрѣзывались обшлага и фалды на заплату локтей.

«Незавидное у васъ хозяйство»,—сказалъ (Чичиковъ), когда они, осмотрѣвъ, подъѣхали..... Вошедши въ комнаты дома, они были поражены какъ бы смѣшеніемъ нищеты съ блестящими бездѣлушками позднѣйшей роскоши. Какой-то Шекспиръ сидѣлъ на чернильницѣ; на столѣ лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себѣ самому спины. Хозяйка была одѣта со вкусомъ и по модѣ, говорила о городѣ да о театрѣ, который тамъ завелся. Дѣти были рѣзвы и веселы. Мальчики и дѣвочки были прекрасно одѣты—очень мило и со вкусомъ. Лучше бы одѣлись въ пестрядевыя юбки, простыя рубашки и бѣгали себѣ по двору и не отличались ничѣмъ отъ крестьянскихъ дѣтей. Къ хозяйкѣ скоро пріѣхала гостья, какая-то пустомеля и болтунья. Дамы ушли на свою половину. Дѣти убѣжали вслѣдъ за ними. Мужчины остались одни.

«Такъ какая же будетъ ваша цѣна?»—сказалъ Чичиковъ. «Спрашиваю, признаться, чтобъ услышать крайнюю, послѣднюю цѣну, ибо помѣстье въ худшемъ положеніи, чѣмъ ожидалъ».

«Въ самомъ скверномъ, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ Хлобуевъ. «И это еще не все. Я не скрою: изъ ста душъ, числящихся по ревизіи, только пятьдесятъ въ живыхъ: такъ что у насъ распорядилась холера; прочіе отлучились безпашпортно, такъ что почитайте ихъ какъ бы умершими, такъ что если ихъ вытребовать по судамъ, такъ все имѣніе останется по судамъ. Потому-то я и прошу всего только тридцать пять тысячъ».

Чичиковъ сталъ, разумѣется, торговаться.

«Помилуйте, какъ же тридцать пять? За этакое тридцать пять! Ну, возьмите 25 тысячъ».

Платонову сдѣлалось совѣстно. «Покупайте, Павелъ Ивановичъ», сказалъ онъ. «За имѣніе можно всегда дать эту (цѣну). Если вы не дадите за него тридцати пяти тысячъ, мы съ братомъ складываемся и покупаемъ».

«Очень хорошо, согласенъ»,—сказалъ Чичиковъ, испугавшись. «Хорошо, только съ тѣмъ, чтобы половину денегъ черезъ годъ».

«Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ! этого-то ужъ никакъ не могу. Половину мнѣ дайте теперь же, а остальныя черезъ ..... Вѣдь мнѣ эти же самыя деньги выдастъ ломбардъ: было бы только чѣмъ .....».

«Какъ же, право? я ужъ не знаю»,—сказалъ Чичиковъ: «у меня всего-на-всего теперь десять тысячъ»,—сказалъ Чичиковъ,—сказалъ и совралъ: всего у него было двадцать, включая деньги, занятыя у Костанжогло; но какъ-то жалко такъ много дать за однимъ разомъ.

«Нѣтъ, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ! Я говорю, что необходимо мнѣ нужны пятнадцать тысячъ».

«Я вамъ займу 5 тысячъ»,—подхватилъ Платоновъ.

«Развѣ этакъ!»—сказалъ Чичиковъ и подумалъ про-себя: «А это, однакоже, кстати, что онъ даетъ взаймы». Изъ коляски была принесена шкатулка, и тутъ же было изъ нея вынуто 10.000 Хлобуеву; остальныя же пять тысячъ обѣщано было привезти ему завтра; то-есть, обѣщано: предполагалось же привезти три, другія—потомъ, денька черезъ два или три, а если можно, то и еще нѣсколько просрочить. Павелъ Ивановичъ какъ-то особенно не любилъ выпускать изъ рукъ денегъ. Если-жъ настояла крайняя необходимость, то все-таки, казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То-есть, онъ поступалъ, какъ всѣ мы. Вѣдь намъ пріятно же поводить просителя: пусть его натретъ себѣ спину въ передней! Будто ужъ и нельзя подождать ему! Какое намъ дѣло то того, что, можетъ-быть, всякій часъ ему дорогъ и терпятъ отъ того дѣла его! Приходи, братецъ, завтра, а сегодня мнѣ какъ-то некогда.

«Гдѣ-жъ вы послѣ этого будете жить?»—спросилъ Платоновъ Хлобуева. «Есть у васъ другая деревушка?»

«Да въ городъ нужно переѣзжать: тамъ есть у меня домишка. Все же равно, это было нужно сдѣлать, не для себя, а для дѣтей: имъ нужны будутъ учителя Закону Божію, музыкѣ, танцованью. Вѣдь ни за какія деньги въ деревнѣ нельзя достать».

«Куска хлѣба нѣтъ, а дѣтей учитъ танцованью!»—подумалъ Чичиковъ.

«Странно!»—подумалъ Платоновъ.

«Однакожъ нужно намъ чѣмъ-нибудь вспрыснуть сдѣлку»,—сказалъ Хлобуевъ. «Эй, Кирюшка! принеси, братъ, бутылку шапманскаго».

«Куска хлѣба нѣтъ, а шампанское есть»,—подумалъ Чичиковъ.

Платоновъ не зналъ, что и думать.

Шампанскимъ (Хлобуевъ) обзавелся по необходимости. Онъ послалъ въ городъ: что дѣлать?—въ лавочкѣ не даютъ квасу въ долгъ безъ денегъ, а пить хочется. А французъ, который недавно пріѣхалъ съ винами изъ Петербурга, всѣмъ давалъ въ долгъ. Нечего дѣлать, нужно было брать бутылку шампанскаго.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуевъ развязался: сталъ милъ и уменъ, сыпалъ остротами и анекдотами. Въ рѣчахъ его обнаружилось столько познанія людей и свѣта! Такъ хорошо и вѣрно видѣлъ онъ многія вещи, такъ мелко и ловко очерчивалъ немногими словами сосѣдей-помѣщиковъ, такъ видѣлъ ясно недостатки и ошибки всѣхъ, такъ хорошо зналъ исторію разорившихся баръ: и почему, и какъ, и отчего они разорились; такъ оригинально и смѣшно умѣлъ передавать малѣйшія ихъ привычки,—что они оба были совершенно обворожены его рѣчами и готовы были признать его за умнѣйшаго человѣка.

«Мнѣ удивительно»,—сказалъ Чичиковъ: «какъ вы, при такомъ умѣ, не найдете средствъ и оборотовъ?»

«Средства-то есть»,— сказалъ Хлобуевъ, и тутъ (же) выгрузилъ имъ цѣлую кучу прожектовъ. Всѣ они были до того нелѣпы, такъ странны, такъ мало истекали изъ познанія людей и свѣта, что оставалось пожимать только плечами да говорить: «Господи Боже! какое необъятное разстояніе между знаніемъ свѣта и умѣніемъ пользоваться этимъ знаніемъ!» Все основывалось на потребности достать откуда-нибудь вдругъ сто или двѣсти тысячъ. Тогда, казалось ему, все бы устроилось, какъ слѣдуетъ, и хозяйство бы пошло, и прорѣхи всѣ бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести въ возможность выплатить всѣ долги. И оканчивалъ онъ рѣчь свою: «Но что прикажете дѣлать? Нѣтъ, да и нѣтъ такого благодѣтеля, который бы рѣшился дать двѣсти или хоть сто тысячъ взаймы. Видно, ужъ Богъ не хочетъ».

«Еще бы»,—подумалъ Чичиковъ: «этакому дураку послалъ Богъ двѣсти тысячъ!»

«Есть у меня, пожалуй, трехмилліонная тетушка»,—сказалъ Хлобуевъ: «старушка богомольная: на церкви и монастыри даетъ, но помогать ближнему тугенька. Прежнихъ временъ тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней однѣхъ канареекъ сотни четыре, моськи, приживалки и слуги, какихъ ужъ теперь нѣтъ. Меньшому изъ слугъ будетъ лѣтъ подъ 60, хоть она и зоветъ его: «Эй, малый!» Если гость какъ-нибудь себя не такъ поведетъ, такъ она за обѣдомъ прикажетъ обнести его блюдомъ,—и обнесутъ. Вотъ какъ!

Платоновъ усмѣхнулся.

«А какъ ея фамилія и гдѣ проживаетъ?»—спросилъ Чичиковъ.

«Живетъ она у насъ же въ городѣ, Александра Ивановна Ханасарова».

«Отчего-жъ вы не обратитесь къ ней?»—сказалъ съ участіемъ Платоновъ. «Мнѣ кажется, если бы она вошла въ положеніе вашего семейства, она бы не могла отказать».

«Ну, нѣтъ, можетъ. У тетушки натура крѣпковата. Это старушка-кремень, Платонъ Михайловичъ! Да къ тому-жъ есть и безъ меня угодники, которые около нея увиваются. Тамъ есть одинъ, который мѣтитъ въ губернаторы: приплелся ей въ родню... «Сдѣлай мнѣ такое одолженіе», сказалъ онъ вдругъ, обратясь (къ Платонову): «на будущей недѣлѣ я даю обѣдъ всѣмъ сословіямъ въ городѣ»...

Платоновъ растопырилъ глаза. Онъ еще не зналъ того, что на Руси въ городахъ и столицахъ, водятся такіе мудрецы, которыхъ жизнь—совершенно необъяснимая загадка. Все, кажется, прожилъ, кругомъ въ долгахъ, ниоткуда никакихъ средствъ, а задаетъ обѣдъ: и всѣ обѣдающіе говорятъ, что это послѣдній, что завтра же хозяина потащатъ въ тюрьму. Проходитъ послѣ того 10 лѣтъ—мудрецъ все еще держится на свѣтѣ, еще больше прежняго кругомъ въ долгахъ, и такъ же задаетъ

обѣдъ, на которомъ все обѣдающіе думаютъ, что онъ послѣдній, и всѣ увѣрены, что завтра же потащатъ хозяина въ тюрьму.

Домъ Хлобуева въ городѣ представлялъ необыкновенное явленіе. Сегодня попъ въ ризахъ служилъ тамъ молебенъ; завтра давали репетицію французскіе актеры. Въ иной день ни крошки хлѣба нельзя было отыскать; въ другой хлѣбосольный пріемъ всѣхъ артистовъ и художниковъ и великодушная подача всѣмъ. Бывали такія подчасъ тяжелыя времена, что другой давно бы на его мѣстѣ повѣсился или застрѣлился; но его спасало религіозное настроеніе, которое страннымъ образомъ совмѣщалось въ немъ съ безпутною его жизнью. Въ эти горькія минуты читалъ (онъ) житія страдальцевъ и тружениковъ, воспитывавшихъ духъ свой быть превыше несчастій. Душа его въ это время вся размягчалась, умилялся духъ, и слезами исполнялись глаза его. Онъ молился, и—странное дѣло!—почти всегда приходила къ нему откуда-нибудь неожиданная помощь: или кто-нибудь изъ старыхъ друзей его вспоминалъ о немъ и присылалъ ему деньги; или какая-нибудь проѣзжая незнакомка, нечаянно услышавъ о немъ исторію, съ стремительнымъ великодушіемъ женскаго сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось гдѣ-нибудь въ пользу его дѣло, о которомъ онъ никогда и не слышалъ. Благоговѣйно признавалъ онъ тогда необъятное милосердіе Провидѣнія, служилъ благодарственный молебенъ и вновь начиналъ безпутную жизнь свою.

«Жалокъ онъ мнѣ, право жалокъ»,—сказалъ Чичикову Платоновъ, когда они, простившись съ нимъ, выѣхали отъ него *).

«Блудный сынъ!»—сказалъ Чичиковъ. «О такихъ людяхъ и жалѣть нечего».

И скоро они оба перестали о немъ думать: Платоновъ—потому, что лѣниво и полусонно смотрѣлъ на положенія людей, такъ же, какъ и на все въ мірѣ. Сердце его сострадало и щемило при видѣ страданій другихъ, но впечатлѣнія какъ-то не впечатлѣвались глубоко въ его душѣ. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ не думалъ о Хлобуевѣ. Онъ потому не думалъ о Хлобуевѣ, что и о себѣ самомъ не думалъ; Чичиковъ по-

*) *Варіантъ изъ другой редакціи.*

«Дуракъ!»—подумалъ Чичиковъ. «Да я бы за этакой тетушкой ухаживалъ, какъ нянька за ребенкомъ!»

«Что-жъ, вѣдь этакъ разговаривать сухо»,—сказалъ Хлобуевъ. «Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанскаго».

«Нѣтъ, нѣтъ, я больше не могу пить»,—сказалъ Платоновъ.

«Я также»,—сказалъ Чичиковъ, и оба отказались они рѣшительно.

«Ну, такъ, по крайней мѣрѣ, дайте мнѣ слово побывать у меня въ городѣ: 8-го іюня я даю маленькій обѣдъ нашимъ городскимъ сановникамъ».

«Помилуйте!»—вскрикнулъ Платоновъ. «Въ такомъ состояніи, разорившись совершенно—и еще обѣдъ».

«Что-жъ дѣлать? нельзя это долгъ»,—сказалъ Хлобуевъ. «Они меня также угощали».

тому не думалъ о Хлобуевѣ, что, въ самомъ дѣлѣ, всѣ его мысли были заняты не на шутку пріобрѣтенною покупкою. Какъ бы то ни было, но очутившись вдругъ, послѣ фантастическаго, настоящимъ, дѣйствительнымъ владѣльцемъ уже не фантастическаго имѣнія, онъ сталъ задумчивъ, и предположенія, и мысли стали степенѣй и давали невольно значительное выраженіе ли(цу). «Терпѣніе, трудъ!» Вещь нет(рудная): съ ними я познакомился, такъ сказать, съ пеленъ дѣтскихъ. Мнѣ они не въ новость. Но станетъ ли теперь, въ эти годы, столько терпѣнія, сколько въ молодости?» Какъ бы то ни было, какъ ни разсматривалъ, на какую сторону ни оборачивалъ пріобрѣтенную покупку, видѣлъ что во всякомъ случаѣ покупка была выгодна. Можно было поступить и такъ, чтобы заложить имѣніе въ ломбардъ, прежде выпродавъ по кускамъ лучшія земли. Можно было распорядиться и такъ, чтобы заняться самому хозяйствомъ и сдѣлаться помѣщикомъ по образцу Костанжогло, пользуясь его совѣтами, какъ сосѣда и благодѣтеля. Можно было поступить даже и такъ, чтобы перепродать въ частныя руки имѣніе (разумѣется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себѣ бѣглыхъ и мертвецовъ. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть изъ этихъ мѣстъ и не заплатить Костанжогло денегъ, взятыхъ у него взаймы. Странная мысль! не то, чтобы Чичиковъ возымѣлъ (ее), но она вдругъ, сама собой, предстала, дразня, и усмѣхаясь, и прищуриваясь на него. Непотребница! егоза! И кто творецъ этихъ вдругъ набѣгающихъ мыслей?... Онъ почувствовалъ удовольствіе,—удовольствіе оттого, что сталъ теперь помѣщикомъ,—помѣщикомъ не фантастическимъ, но дѣйствительнымъ, помѣщикомъ, у котораго есть уже и земли, и угодья, и люди,—люди не мечтательные, въ воображеніи пребывающіе, но существующіе. И понемногу началъ онъ и подпрыгивать, и потирать себѣ руки, и подмигивать себѣ самому, и вытрубилъ на кулакѣ, приставивши его себѣ ко рту, какъ бы на трубѣ, какой-то маршъ, и даже выговорилъ вслухъ нѣсколько поощрительныхъ словъ и названій себѣ самому, въ родѣ мордашки и каплунчика. Но потомъ, вспомнивши, что онъ не одинъ, притихнулъ вдругъ, постарался кое-какъ замять неумѣренный порывъ восторгновенія; и когда Платоновъ, принявши кое-какіе изъ этихъ звуковъ за обращенную къ нему рѣчь, спросилъ у него: «чего?» онъ отвѣчалъ: «ничего».

Тутъ только, оглянувшись вокругъ себя, онъ увидѣлъ, что они уже давно ѣхали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у нихъ справа и слѣва. Бѣлые (стволы) лѣсныхъ березъ и осинъ, блестя какъ снѣжный частоколъ, стройно и легко возносились на нѣжной зелени недавно развившихся листьевъ. Соловьи взапуски громко щелкали изъ рощи. Лѣсные тюльпаны желтѣли въ травѣ. Онъ не могъ себѣ дать отчета, какъ онъ успѣлъ очутиться въ этомъ прекрасномъ мѣстѣ, когда еще недавно были открытыя поля. Между деревъ

мелькала бѣлая каменная церковь, а на другой сторонѣ выказалась изъ-(за) рощи рѣшетка. Въ концѣ улицы показался господинъ, шедшій къ нимъ навстрѣчу, въ картузѣ, съ суковатой палкой въ рукахъ. Аглицкій песъ, на высокихъ тонкихъ ножкахъ, бѣжалъ передъ нимъ.

«А вотъ и братъ»,—сказалъ Платоновъ. «Кучеръ, стой!» И вышелъ изъ коляски, Чичиковъ также. Псы уже успѣли облобызаться. Тонконогій, проворный Азоръ лизнулъ, проворнымъ языкомъ своимъ, Ярба въ морду, потомъ лизнулъ Платонову руки, потомъ вскочилъ на Чичикова и лизнулъ его въ ухо.

Братья обнялись.

«Помилуй, Платонъ, что это ты со мною дѣлаешь?»—сказалъ остановившійся братъ, котораго звали Василіемъ.

«Какъ что?»—равнодушно отвѣчалъ Платонъ.

«Да какъ же въ самомъ дѣлѣ? три дня отъ тебя ни слуху, ни духу! Конюхъ отъ Пѣтуха привелъ твоего жеребца. «Поѣхалъ», говоритъ, «съ какимъ-то бариномъ», Ну, хоть бы слово сказалъ: куда, зачѣмъ, на сколько времени? Помилуй, братецъ, какъ же можно этакъ поступать? А я, Богъ знаетъ, чего не передумалъ въ эти дни!»

«Ну что-жъ дѣлать? позабылъ»,—сказалъ Платоновъ. «Мы заѣхали къ Константину Федоровичу: онъ тебѣ кланяется, сестра—также. Павелъ Ивановичъ, рекомендую вамъ: братъ Василій.—Братъ Василій! это Павелъ Ивановичъ Чичиковъ».

Оба, приглашенные ко взаимному знакомству, пожали другъ другу руки и, снявши картузы, поцѣловались.

«Кто бы такой былъ этотъ Чичиковъ?»—думалъ братъ Василій. «Братъ Платонъ на знакомства неразборчивъ». И оглянулъ онъ Чичикова, насколько позволяло приличіе, и увидѣлъ, что это былъ человѣкъ, по виду, очень благонамѣренный.

Съ своей стороны, Чичиковъ оглянулъ также, насколько позволяло приличіе, брата Василія и увидѣлъ, что братъ пониже Платона, волосомъ темнѣй его и лицомъ далеко не такъ красивъ, но въ чертахъ его лица было гораздо больше жизни и одушевленія, больше сердечной доброты. Видно было, что онъ меньше дремалъ. Но на эту часть Павелъ Ивановичъ мало обращалъ вниманія.

«Я рѣшился, Вася, проѣздиться, вмѣстѣ съ Павломъ Ивановичемъ, по святой Руси. Авось-либо это размычетъ хандру мою».

«Какъ же такъ вдругъ рѣшился?»—сказалъ озадаченный братъ Василій; и онъ чуть было не прибавилъ: «И еще ѣхать съ человѣкомъ, котораго видишь въ первый разъ, который, можетъ-быть, и дрянь, и чортъ знаетъ что!» Полный недовѣрія, онъ оглянулъ искоса Чичикова и увидѣлъ благоприличіе изумительное.

Они повернули направо въ ворота. Дворъ былъ старинный: домъ тоже старинный, какихъ теперь не строятъ—съ навѣсами, подъ высокой крышей. Двѣ огромныя липы росли посреди двора и покрывали

почти половину его своею тѣнью. Подъ ними было множество деревянныхъ скамеекъ. Цвѣтущія сирени и черемухи бисернымъ ожерельемъ обходили дворъ вмѣстѣ съ оградой, совершенно скрывавшейся подъ ихъ цвѣтами и листьями. Господскій домъ былъ совершенно закрытъ, только однѣ двери и окна миловидно глядѣли снизу сквозь вѣтви. Сквозь прямыя, какъ стрѣлы, лѣсины деревъ, бѣлѣлись кухни, кладовыя и погреба. Все было въ рощѣ. Соловьи высвистывали громко, оглашая всю рощу. Невольно вносилось въ душу какое-то безмятежно-пріятное чувство. Такъ и отзывалось все тѣми беззаботными временами, когда жилось всѣмъ добродушно и все было просто и несложно. Братъ Василій пригласилъ Чичикова садиться. Они сѣли на скамьяхъ подъ липами.

Парень, лѣтъ 17, въ красивой рубашкѣ розовой ксандрейки, принесъ и поставилъ передъ ними графины съ разноцвѣтными фруктовыми квасами всѣхъ сортовъ, то густыми, какъ масло, то шипѣвшими, какъ газовые лимонады. Поставивши графины, схватилъ онъ заступъ, стоявшій у дерева, и ушелъ въ садъ. У братьевъ Платоновыхъ такъ же, какъ и у зятя Костанжогло, собственно слугъ не было: они были всѣ садовники, всѣ дворовые исправляли по очереди эту должность. Братъ Василій все утверждалъ, что слуги не сословіе: подать что-нибудь можетъ всякій, и для этого не стоитъ заводить особыхъ людей; что будто русскій человѣкъ потуда хорошъ и расторопенъ и не лѣнтяй, покуда онъ ходитъ въ рубашкѣ и зипунѣ; но что, какъ только заберется въ нѣмецкій сюртукъ, станетъ вдругъ неуклюжъ и нерасторопенъ, и лѣнтяй, и рубашки не перемѣняетъ, и въ баню перестаетъ вовсе ходить, и спитъ въ сюртукѣ, и заведутся у него подъ сюртукомъ нѣмецкимъ и клопы, и блохъ несчетное множество. Въ этомъ, можетъ-быть, онъ былъ и правъ. Въ деревнѣ ихъ народъ одѣвался особенно щеголевато: кички у женщинъ были всѣ въ золотѣ, а рукава на рубахахъ—точныя коймы турецкой шали. «Это квасы, которыми издавна славится нашъ домъ»,—сказалъ братъ Василій.

Чичиковъ налилъ стаканъ изъ перваго графина—точный липецъ, который онъ нѣкогда пивалъ въ Польшѣ: игра какъ у шампанскаго, а газъ такъ и шибнулъ пріятнымъ крючкомъ изо рта въ носъ. «Нектаръ!» сказалъ онъ. Выпилъ стаканъ отъ другого графина—еще лучше.

«Напитокъ напитковъ!»—сказалъ Чичиковъ. «Могу сказать, что у почтеннѣйшаго вашего зятя, Константина Федоровича, пилъ первѣйшую наливку, а у васъ—первѣйшій квасъ».

«Да вѣдь и наливка тоже отъ насъ: вѣдь это сестра завела. Въ какую же сторону и въ какія мѣста предполагаете ѣхать?»—спросилъ братъ Василій.

«Бду я»,—сказалъ Чичиковъ, слегка покачиваясь на лавкѣ и рукой поглаживая себя по колѣну(и) наклоняясь: «не столько по своей нуждѣ, сколько по нуждѣ другого. Генералъ Бетрищевъ, близкій пріятель и,

можно сказать, благотворитель, просилъ навѣстить родственниковъ. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, такъ сказать, и для самого себя; ибо, не говоря уже о пользѣ въ гемороидальномъ отношеніи, видѣть свѣтъ и коловращенье людей—есть уже само по себѣ, такъ сказать, живая книга и вторая наука».

Братъ Василій задумался. «Говоритъ этотъ человѣкъ нѣсколько витіевато, но въ словахъ его, однакожъ, есть правда», подумалъ (онъ). Нѣсколько помолчавъ, сказалъ онъ, обратясь къ Платону: «Я начинаю думать, Платонъ, что путешествіе можетъ, точно, расшевелить тебя. У тебя не что другое, какъ душевная спячка. Ты, просто, заснулъ,—и заснулъ не отъ пресыщенія или усталости, но отъ недостатка живыхъ впечатлѣній и ощущеній. Вотъ я совершенно напротивъ. Я бы очень желалъ не такъ живо чувствовать и не такъ близко принимать къ сердцу все, что ни случается.»

«Вольно-жъ принимать все близко къ сердцу»,—сказалъ Платонъ. «Ты выискиваешь себѣ безпокойства и самъ сочиняешь себѣ тревоги».

«Какъ сочинять, когда и безъ того на всякомъ шагу непріятность?»—сказалъ Василій. «Слышалъ ты, какую безъ тебя сыгралъ съ нами штуку Лѣницынъ?—Захватилъ пустошь, гдѣ у насъ празднуется красная горка. Во-первыхъ, пустоши этой я ни за какія деньги... Здѣсь у меня крестьяне празднуютъ всякую весну красную горку, съ ней связаны воспоминанія деревни; а для меня обычай—святая вещь и за него готовъ пожертвовать всѣмъ».

«Не знаетъ, потому и захватилъ»,—сказалъ Платонъ: «человѣкъ новый, только-что пріѣхалъ изъ Петербурга; ему нужно объяснить, растолковать».

«Знаетъ, очень знаетъ. Я посылалъ ему сказать, но онъ отвѣчалъ грубостью».

«Тебѣ нужно было съѣздить самому, растолковать. Переговори съ нимъ самъ».

«Ну, нѣтъ. Онъ черезчуръ уже заважничалъ. Я къ нему не поѣду. Изволь, поѣзжай самъ, если хочешь ты».

«Я бы поѣхалъ, но вѣдь я не мѣшаюсь... Онъ можетъ меня и провести, и обмануть».

«Да если угодно, такъ я поѣду»,—сказалъ Чичиковъ: «скажите дѣльцо».

Василій взглянулъ на него и подумалъ: «Экой охотникъ ѣздить!»

«Вы мнѣ подайте только понятіе, какого рода онъ человѣкъ»,—сказалъ Чичиковъ: «и въ чемъ дѣло».

«Мнѣ совѣстно наложить на васъ такую непріятную комиссію. Человѣкъ онъ, по-моему, дрянь: изъ простыхъ мелкопомѣстныхъ дворянъ нашей губерніи, выслужился въ Петербургѣ, женившись тамъ на чьей-то побочной дочери, и заважничалъ. Тонъ задаетъ. Да у насъ народъ живетъ не глупый: мода намъ не указъ. а Петербургъ не церковь».

«Конечно»,—сказалъ Чичиковъ: «а дѣло въ чемъ?»

«Видите ли? ему, точно нужна земля. Да если бы онъ не такъ поступалъ, я бы съ охотою отвелъ въ другомъ мѣстѣ даромъ, не то что... А теперь занозистый человѣкъ подумаетъ»...

«По моему, лучше переговориться: можетъ-быть, дѣло-то... Мнѣ поручали дѣла и не раскаивались... Вотъ тоже и генералъ Бетрищевъ»...

«Но мнѣ совѣстно, что вамъ придется говорить съ такимъ человѣкомъ»..

«...*) и наблюдая особенно, чтобъ это было втайнѣ»,—сказалъ Чичи-

---

*) Передъ этимъ словомъ въ рукописи отрѣзаны двѣ страницы; приводимъ соотвѣтствующее мѣсто изъ другой редакціи:

«...дѣло, по-настоящему, вздоръ. У него нѣтъ достаточно земли,—ну, онъ и захватилъ чужую пустошь, т.-е. онъ разсчитывалъ, что она не нужна, и о ней хозяева..., а у насъ, какъ нарочно, уже испоконъ вѣка собираются крестьяне-праздновать тамъ красную горку. По этому-то поводу я готовъ пожертвовать лучше другими, лучшими землями, чѣмъ отдать ее. Обычай для меня—святыня».

«Стало-быть, вы готовы уступить ему другія земли?»

«То-есть, если бы онъ не такъ со мной поступилъ; но онъ хочетъ, какъ я вижу, знаться судомъ. Пожалуй, посмотримъ, кто выиграетъ. Хоть на планѣ и не такъ ясно, но свидѣтели-старики еще живы и помнятъ».

«Гм!»—подумалъ Чичиковъ: «оба-то, какъ живу, съ душкомъ». И сказалъ вслухъ: «А мнѣ кажется, что это дѣло обдѣлать можно миролюбно. Все зависитъ отъ посредника. Письмен... . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . «что и для васъ самихъ будетъ очень выгодно перевесть, напримѣръ, на мое имя всѣхъ умершихъ душъ, какія по сказкамъ послѣдней ревизіи числятся въ имѣніяхъ вашихъ, такъ, чтобы я за нихъ платилъ подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредствомъ купчей крѣпости, какъ бы эти души были живыя».

«Вотъ тебѣ на!»—подумалъ Лѣницынъ: «это что-то престранное». И нѣсколько даже отодвинулся со стуломъ назадъ, потому что совершенно озадачился.

«Я никакъ въ томъ не сомнѣваюсь, что вы на это дѣло совершенно будете согласны»,—сказалъ Чичиковъ:«потому что это дѣло совершенно въ томъ родѣ, какъ мы сейчасъ говорили. Совершено оно будетъ между солидными людьми втайнѣ, и соблазна никому».

(Что тутъ дѣлать?) Лѣницынъ очутился въ затруднительномъ положеніи. Онъ никакъ не могъ предвидѣть, чтобы мнѣніе, имъ незадолго изъявленное, привело его къ такому быстрому осуществленію на дѣлѣ. Предложеніе было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоноснаго ни для кого не могло быть въ этомъ поступкѣ:помѣщики, все равно,заложили бы также эти души наравнѣ съ жизыми; стало-быть, казнѣ убытку не можетъ быть никогда; разница въ томъ, что они были бы въ однѣхъ рукахъ, а тогда были бы въ разныхъ. Но тѣмъ не менѣе онъ затруднился. Онъ былъ законникъ и дѣлецъ, и дѣлецъ въ хорошую сторону. Неправо не рѣшилъ бы онъ дѣла ни за какіе подкупы. Но тутъ онъ остановился, не зная, какое имя дать этому дѣйствію—правое ли оно, или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился къ нему съ такимъ предложеніемъ, онъ могъ бы сказать: «Это вздоръ, пустяки! Я не хочу играть въ куклы, или дурачиться». Но гость уже такъ ему понравился, такъ они сошлись во многомъ насчетъ успѣховъ просвѣщенья и наукъ,—какъ отказать? Лѣницынъ находился въ затруднительномъ положеніи.

ковъ: «ибо не столько самое преступленіе, сколько соблазнъ вредоносенъ».

«А,это такъ,это такъ»,—сказалъ Лѣницынъ, наклонивъ совершенно голову набокъ.

«Какъ пріятно встрѣтить единомысліе!»—сказалъ Чичиковъ. «Есть и у меня дѣло, и законное, и незаконное вмѣстѣ: съ виду незаконное, въ существѣ законное. Имѣя надобность въ залогахъ, никого не хочу вводить въ рискъ платежемъ по два рубля за живую душу. Ну, случится, лопну,—чего Боже сохрани,—непріятно вѣдь владѣльцу: я и рѣшился воспользоваться бѣглыми и мертвыми, еще не вычеркнутыми изъ ревизіи чтобы за однимъ разомъ сдѣлать и христіанское дѣло, и снять съ бѣднаго владѣльца тягость уплаты за нихъ

Но въ это время, точно какъ будто затѣмъ, чтобы помочь горю, вошла въ комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Лѣницына, блѣдная, и худенькая, какъ всѣ петербургскія дамы, и одѣтая со вкусомъ, какъ всѣ петербургскія дамы. За нею былъ вынесенъ мамкой на рукахъ ребенокъ-первенецъ, плодъ нѣжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Чичиковъ, разумѣется, подсшелъ тотъ же часъ къ дамѣ, и, не говоря уже о приличномъ привѣтствіи, однимъ пріятнымъ наклоненьемъ головы на-бокъ много расположилъ ее въ свою пользу. Затѣмъ подбѣжалъ къ ребенку. Тотъ было разревѣлся; но, однакоже, Чичикову удалось словами: «Агу, агу, душенька!»—прищелкиваньемъ пальцевъ и сердоликовой печаткой отъ часовъ переманить его на руки къ себѣ. Взявши его къ себѣ на руки,началъ онъ приподымать его кверху и тѣмъ возбудилъ въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, которая очень обрадовала обоихъ родителей.

Но отъ удовольствія ли, или отъ чего-нибудь другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо. Жена Лѣницына закричала: «Ахъ, Боже мой! онъ вамъ испортилъ весь фракъ».

Чичиковъ посмотрѣлъ: рукавъ новешенькаго фрака былъ весь испорченъ.«Пострѣлъ бы тебя побралъ, чертенокъ проклятый!»—пробормоталъ онъ въ-сердцахъ про себя.

Хозяинъ, и хозяйка, и мамка—всѣ побѣжали за одеколономъ; со всѣхъ сторонъ принялись его вытирать.

«Ничего,ничего,совершенно ничего»,—говорилъ Чичиковъ.«Можетъ ли что-нибудь невинный ребенокъ?» И въ то же время думалъ про себя: «Да вѣдь какъ мѣтко обдѣлалъ,канальченокъ проклятый!»—«Золотой возрастъ!»—сказалъ онъ,когда уже его совершенно вытерли и пріятное выраженіе возвратилось на его лицѣ.

«А вѣдь точно»,—сказалъ хозяинъ, обратившись къ Чичикову, тоже съ пріятной улыбкой: «что можетъ быть завиднѣй ребяческаго возраста? никакихъ заботъ, никакихъ мыслей о будущемъ...»

«Состоянье, на которое можно сей же часъ помѣняться»,—сказалъ Чичиковъ.

«За глаза»,—сказалъ Лѣницынъ.

Но, кажется, оба соврали: предложи имъ такой обмѣнъ, они бы тутъ же на попятный дворъ. Да и что за радость сидѣть у мамки на рукахъ да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенецъ удалились съ мамкой, потому что и на немъ требовалось кое-что поправить: наградивъ Чичикова, онъ и себя не позабылъ (наградить).

Это, повидимому, незначительное обстоятельство склонило еще болѣе хозяина на сторону Чичикова. Какъ въ самомъ дѣлѣ отказать такому пріятному, обходительному гостю, который столько ласкъ оказалъ его малюткѣ и такъ великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Лѣницынъ думалъ такъ: «Почему-жъ, въ самомъ дѣлѣ, не исполнить его просьбы, если ужъ такое его желаніе?».....

податей. Мы только между собой сдѣлаемъ формальнымъ образомъ купчую, какъ на живыя».

«Это, однакоже, что-то такое престранное,»—подумалъ Лѣницынъ и отодвинулся со стуломъ немного назадъ. «Да дѣло-то, однакоже.... такого рода...» началъ (онъ).

«А соблазну не будетъ, потому что втайнѣ,»—отвѣчалъ Чичиковъ: «и притомъ между благонамѣренными людьми».

«Да все-таки, однакоже, дѣло какъ-то»...

«А соблазну никакого»,—отвѣчалъ весьма прямо и открыто Чичиковъ. «Дѣло такого рода, какъ сейчасъ разсуждали: между людьми благонамѣренными, благоразумныхъ лѣтъ и, кажется, хорошаго чину, и притомъ втайнѣ». И, говоря это, глядѣлъ онъ открыто и благородно ему въ глаза.

Какъ ни былъ изворотливъ Лѣницынъ, какъ ни былъ свѣдущъ вообще въ дѣлопроизводствахъ, но тутъ какъ-то совершенно пришелъ въ недоумѣнье, тѣмъ болѣе, что какимъ-то страннымъ образомъ онъ какъ бы запутался въ собственныя сѣти. Онъ вовсе не былъ способенъ на несправедливости и не хотѣлъ бы сдѣлать ничего несправедливаго, даже и втайнѣ. «Экая удивительная оказія!» думалъ онъ про себя. «Прошу входить въ тѣсную дружбу даже съ хорошими людьми! Вотъ тебѣ и задача!

Но судьба и обстоятельства какъ бы нарочно благопріятствовали Чичикову. Точно за тѣмъ, чтобы помочь этому затруднительному дѣлу, вошла въ комнату молодая хозяйка, супруга Лѣницына, блѣдная худенькая, низенькая, но одѣтая по-петербургскому, большая охотница до людей comme il faut. За нею былъ вынесенъ на рукахъ мамкой ребенокъ-первенецъ, плодъ нѣжной любви недавно бракосочетавшихся супруговъ. Ловкимъ подходомъ съ прискочкой и наклоненіемъ головы на-бокъ, Чичиковъ совершенно обворожилъ петербургскую даму, а вслѣдъ за нею и ребенка. Сначала тотъ было разревѣлся, но словами: «Агу, агу, душенька», и прищелкиваніемъ пальцевъ, и красотой сердоликовой печатки отъ часовъ, Чичикову удалось его переманить къ себѣ на руки. Потомъ онъ началъ его приподымать къ самому потолку и возбудилъ этимъ въ ребенкѣ пріятную усмѣшку, чрезвычайно обрадовавшую обоихъ родителей. Но, отъ внезапнаго удовольствія или чего-либо другого, ребенокъ вдругъ повелъ себя нехорошо.

«Ахъ, Боже мой!»—вскрикнула жена Лѣницына: «онъ вамъ испортилъ весь фракъ!»

Чичиковъ посмотрѣлъ: рукавъ новешенькаго фрака былъ весь испорченъ. «Пострѣлъ бы тебя взялъ, чертенокъ!» подумалъ онъ въ сердцахъ.

Хозяинъ, хозяйка, мамка—всѣ побѣжали за одеколономъ; со всѣхъ сторонъ принялись его вытирать.

«Ничего, ничего, совершенно ничего!»—говорилъ Чичиковъ, ста-

раясь сообщить лицу своему, сколько возможно, веселое выраженіе. «Можетъ ли что испортить ребенокъ въ это золотое время своего возраста?» повторялъ онъ; а въ то же время думалъ: «Да вѣдь какъ бестія, волки-бъ его съѣли, мѣтко обдѣлалъ, канальченокъ проклятый!»

Это, повидимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина въ пользу дѣла Чичикова. Какъ отказать такому гостю, который оказалъ столько невинныхъ ласкъ малюткѣ и великодушно поплатился за то собственнымъ фракомъ? Чтобы не подать дурного примѣра, рѣшились рѣшить дѣло секретно, ибо не столько самое дѣло, сколько соблазнъ вредоносенъ.

«Позвольте-жъ и мнѣ, въ вознагражденіе за услугу, заплатить вамъ также услугой. Хочу быть посредникомъ вашимъ по дѣлу съ братьями Платоновыми. Вамъ нужна земля, не такъ ли?...»

ГЛАВА ...

Все на свѣтѣ обдѣлываетъ свои дѣла. *Что кому требитъ, тотъ то и теребитъ*, говоритъ пословица. Путешествіе по сундукамъ произведено было съ успѣхомъ, такъ что кое-что отъ этой экспедиціи перешло въ собственную шкатулку. Словомъ, благоразумно было обстроено. Чичиковъ не то, чтобы укралъ, но попользовался. Вѣдь всякій изъ насъ чѣмъ-нибудь попользуется: тотъ казеннымъ лѣсомъ, тотъ экономическими суммами, тотъ крадетъ у дѣтей своихъ ради какой-нибудь пріѣзжей актрисы, тотъ у крестьянъ ради мебели Гамбса или кареты. Что-жъ дѣлать, если завелось такъ много всякихъ заманокъ на свѣтѣ? и дорогіе рестораны съ сумасшедшими цѣнами, и маскарады, и гулянья, и плясанья съ цыганками. Вѣдь трудно удержаться, если всѣ, со всѣхъ сторонъ, дѣлаютъ то же, да и мода велитъ—изволь удержать себя! Чичикову слѣдовало бы уже и выѣхать, но дороги испортились. Въ городѣ между тѣмъ готова была начаться другая ярмарка—собственно дворянская *). Прежняя была больше конная,

---

*) *Отрывокъ изъ другой редакціи.*

Въ то самое время, когда Чичиковъ въ персидскомъ новомъ халатѣ изъ золотистой термаламы, развалясь на диванѣ, торговался съ заѣзжимъ контрабандистомъ-купцомъ, жидовскаго происхожденія и нѣмецкаго выговора, и передъ ними уже лежали купленная штука первѣйшаго голландскаго полотна на рубашки и двѣ бумажныя коробки съ отличнѣйшимъ мыломъ первостатейнѣйшаго свойства (это мыло было то самое, которое онъ нѣкогда пріобрѣталъ на радзивиловской таможнѣ; оно имѣло, дѣйствительно, свойство сообщать непостижимую нѣжность и бѣлизну щекамъ изумительную),—въ то время, когда онъ, какъ знатокъ, покупалъ эти необходимые для воспитаннаго человѣка продукты, раздался громъ подъѣхавшей кареты, отозвавшійся легкимъ дрожаньемъ комнатныхъ оконъ и стѣнъ, и вошелъ его превосходительство Алексѣй Ивановичъ Лѣницынъ.

«На судъ вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашняго дня купленная вещица!» При этомъ Чичиковъ надѣлъ на голову ермолку, вышитую золотомъ и бусами, и очутился, какъ персидскій шахъ, исполненный достоинства и величія.

Но его превосходительство, не отвѣчая на вопросъ, сказалъ:

скотомъ, сырыми произведеніями, да разными крестьянскими, скупаемыми прасолами и кулаками. Теперь же все, что куплено на Нижегородской ярмаркѣ краснопродавцами панскихъ товаровъ, привезено сюда. Наѣхали истребители русскихъ кошельковъ, французы съ помадами и француженки съ шляпками, истребители добытыхъ кровью и трудами денегъ—эта египетская саранча, по выраженію

«Мнѣ нужно съ вами поговорить объ дѣлѣ». Въ лицѣ его замѣтно было разстройство. Почтенный купецъ нѣмецкаго выговора былъ тотъ же часъ высланъ, и они остались (одни).

«Знаете ли вы, какая непріятность? Отыскалось другое завѣщаніе старухи, сдѣланное назадъ тому пять (лѣтъ). Половина имѣнья отдается на монастырь, а другая—обѣимъ воспитанницамъ пополамъ, и ничего больше никому».

Чичиковъ оторопѣлъ.

«Но это завѣщаніе—вздоръ. Оно ничего не значитъ: оно уничтожено вторымъ».

«Но вѣдь это не сказано въ послѣднемъ завѣщаніи, что имъ уничтожается первое».

«Это само собою разумѣется: послѣднее уничтожаетъ первое. Это вздоръ. Это первое завѣщаніе никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я былъ при ней. Кто его подписалъ? кто были свидѣтели?»

«Засвидѣтельствовано оно, какъ слѣдуетъ, въ судѣ. Свидѣтелемъ былъ бывшій совѣстный судья Бурмиловъ и Хахановъ».

«Худо»,—подумалъ Чичиковъ: «Хахановъ, говорятъ, честенъ; Бурмиловъ—старый ханжа, читаетъ по праздникамъ апостола въ церквахъ».—«Но вздоръ, вздоръ»,—сказалъ вслухъ и тутъ же почувствовалъ рѣшимость на всѣ штуки. «Я знаю это лучше: я участвовалъ при послѣднихъ минутахъ покойницы. Мнѣ это лучше всѣхъ извѣстно. Я готовъ присягнуть самолично!»

Слово это и рѣшимость на минуту успокоили Лѣницина.

Онъ былъ очень взволнованъ и уже начиналъ было подозрѣвать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикаціи относительно завѣщанія (хотя онъ и представить себѣ не могъ, чтобы дѣло было, какъ оно было дѣйствительно). Теперь укорилъ себя въ подозрѣніи. Готовность присягнуть была явнымъ доказательствомъ, что Чичиковъ... Не знаемъ мы, точно ли достало бы духа у Павла Ивановича присягнуть на святомъ, но сказать это достало духа.

«Будьте покойны (и не заботьтесь ни о чемъ, я отправлюсь) и переговорю объ этомъ дѣлѣ съ нѣкоторыми юрисконсультами. Съ вашей стороны тутъ ничего не должно прилагать; вы должны быть совершенно въ сторонѣ. Я же теперь могу жить въ городѣ, сколько мнѣ угодно».

Чичиковъ тотъ же часъ приказалъ подать экипажъ и отправился къ юрисконсульту. Этотъ юрисконсультъ былъ опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лѣтъ, какъ онъ находился подъ судомъ, и такъ умѣлъ распорядиться, что никакъ нельзя было отрѣшить отъ должности. Всѣ знали, что его, за подвиги его, слѣдовало бы, шесть разъ слѣдовало послать на поселенье. Кругомъ и со всѣхъ сторонъ былъ онъ въ подозрѣніяхъ, но никакихъ нельзя было возвести явныхъ и доказанныхъ уликъ. Тутъ было дѣйствительно что-то таинственное, и его бы можно было смѣло признать колдуномъ, если бы исторія, нами описанная, принадлежала временамъ невѣжества.

Юрисконсультъ поразилъ холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшаго совершенную противоположность (весьма) хорошимъ мебелямъ краснаго дерева, золотымъ часамъ подъ стекляннымъ колпакомъ, люстрѣ, сквозившей сквозь кисейный чехолъ, ее сохранявшій, и вообще всему, что было вокругъ и носило на себѣ яркую печать блистательнаго европейскаго просвѣщенія.

Не останавливаясь, однакожъ, скептической наружностью юрисконсульта,

Костанжогло, которая, мало того, что все сожретъ, да еще и яицъ послѣ себя оставитъ, зарывши ихъ въ землю.

Только неурожай да несчастный въ самомъ ..... удержали многихъ помѣщиковъ по деревнямъ. Зато чиновники, какъ не терпящіе неурожая, развернулись; жены ихъ на бѣду также. Начитавшись разныхъ книгъ, распущенныхъ въ послѣднее время съ цѣлью внушить всякія новыя

Чичиковъ объяснилъ затруднительные пункты дѣла и въ заманчивой перспективѣ изобразилъ необходимо послѣдующую благодарность за добрый совѣтъ и участіе.

Юрисконсультъ отвѣчалъ на это изображеніемъ невѣрности всего земного и далъ тоже искусно замѣтить, что журавль въ небѣ ничего не значитъ, а нужно синицу въ руку.

Нечего дѣлать: нужно было дать синицу въ руки. Скептическая холодность философа вдругъ исчезла. Оказалось, что это былъ наидобродушнѣйшій человѣкъ, наиразговорчивый и наиприятнѣйшій въ разговорахъ, не уступавшій ловкостью оборотовъ самому Чичикову.

«Позвольте вамъ вмѣсто того, чтобы заводить длинное дѣло,—вы, вѣрно, не хорошо разсмотрѣли самое завѣщаніе: тамъ, вѣрно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время къ себѣ. Хотя, конечно, подобныхъ вещей на домъ брать запрещено, но если хорошенько попросить нѣкоторыхъ чиновниковъ... Я съ своей стороны употреблю мое участіе!

«Понимаю»,—подумалъ Чичиковъ и сказалъ: «Въ самомъ дѣлѣ, я, хорошо не помню, есть ли тамъ приписочка, или нѣтъ»,—точно какъ будто и не самъ писалъ это завѣщаніе.

«Лучше всего вы это посмотрите. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ», продолжалъ онъ весьма добродушно: «будьте всегда покойны и не смущайтесь ничѣмъ, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни въ чемъ не отчаивайтесь: нѣтъ дѣла неисправимаго. Смотрите на меня: я всегда покоенъ. Какіе бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствіе мое непоколебимо». Лицо юрисконсульта философа пребывало, дѣйствительно, въ необыкновенномъ спокойствіи, такъ что Чичиковъ много...

«Конечно, это первая вещь»,—сказалъ (онъ). «Но согласитесь, однакожъ, что могутъ быть такіе случаи и дѣла, такія дѣла и такіе поклепы со стороны враговъ, и такія затруднительныя положенія, что отлетитъ всякое спокойствіе».

«Повѣрьте мнѣ, это малодушіе»,— отвѣчалъ очень покойно и добродушно философъ-юристъ. «Старайтесь только, чтобы производство дѣла было все основано на бумагахъ, чтобы на словахъ ничего не было. И какъ только увидите, что дѣло идетъ къ развязкѣ и удобно къ рѣшенію, старайтесь— не то, чтобы оправдывать и защищать себя,—нѣтъ, просто спутать новыми вводными, и такъ...»

«То-есть, чтобы...»

«Спутать, спутать—и ничего больше»—отвѣчалъ философъ: «ввести въ это дѣло постороннія, другія обстоятельства, которыя запутали (бы) сюда и другихъ; сдѣлать сложнымъ—и ничего больше. И тамъ пусть пріѣзжій петербургскій чиновникъ разбираетъ, пусть его разбираетъ!»—повторилъ онъ, смотря съ необыкновеннымъ удовольствіемъ въ глаза Чичикову, какъ смотритъ учитель ученику, когда объясняетъ ему заманчивое мѣсто изъ русской грамматики.

«Да, хорошо, если подберешь такія обстоятельства, которыя способны пустить въ глаза мглу»,—сказалъ Чичиковъ, смотря тоже съ удовольствіемъ въ глаза философа, какъ ученикъ, который понялъ заманчивое мѣсто, объясняемое учителемъ.

«Подберутся обстоятельства, подберутся! Повѣрьте: отъ частаго упражненія и голова сдѣлается находчивою. Прежде всего помните, что вамъ будутъ помогать. Въ сложности дѣла выигрышъ многимъ: и чиновниковъ нужно больше, и жалованья имъ больше... Словомъ, втянуть въ дѣло побольше лицъ. Нѣтъ нужды, что

потребности человѣчеству, возымѣли жажду необыкновенную испытать всѣхъ новыхъ наслажденій. Французъ открылъ новое заведеніе—какой-то дотолѣ неслыханный въ губерніи вокзалъ, съ ужиномъ, будто бы по необыкновенно дешевой цѣнѣ и половину на кредитъ. Этого было достаточно, чтобы (не только) столоначальники, но даже и всѣ канцелярскіе, въ надеждѣ на будущія взятки съ просителей..... Зародилось желаніе пощеголять другъ передъ другомъ лошадьми и кучерами. Ужъ это столкновеніе сословій для увеселенія!.. Несмотря на мерзкую погоду и слякоть, щегольскія коляски пролетали взадъ и впередъ. Откуда взялись онѣ, Богъ вѣсть, но въ Петербургѣ не подгадили бы... Купцы, приказчики, ловко приподымая шляпы, запрашивали барынь. Рѣдко гдѣ в дны были бородачи въ мѣховыхъ горлатныхъ шапкахъ. Все было европейскаго вида съ бритыми подбородками, все..... и съ гнилыми зубами.

«Пожалуйте, пожалуйста! Да ужъ извольте только взойти-съ въ лавку! Господинъ, господинъ!»—покрикивали кое-гдѣ мальчишки.

Но ужъ на нихъ съ презрѣніемъ смотрѣли познакомленные съ

иные напрасно попадутъ: да вѣдь имъ же оправдаться..., имъ нужно отвѣчать на бумаги, имъ нужно окупиться... Вотъ ужъ и хлѣбъ... Повѣрьте мнѣ, что, какъ только обстоятельства становятся критическія, первое дѣло спутать. Такъ можно спутать, такъ все перепутать, что никто ничего не пойметъ. Я почему спокоенъ?—Потому что знаю: пусть только дѣла мои пойдутъ похуже, да я всѣхъ впутаю въ свое—и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея,—всѣхъ запутаю. Я знаю всѣ ихъ обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочетъ упечь. Тамъ, пожалуй, пусть ихъ выпутываются. Да покуда они выпутаются, другіе успѣютъ нажиться. Вѣдь только въ мутной водѣ и ловятся раки. Всѣ только ждутъ, чтобы запутать». Здѣсь юристъ-философъ посмотрѣлъ Чичикову въ глаза опять съ тѣмъ наслажденьемъ, съ какимъ учитель объясняетъ ученику еще заманчивѣйшее мѣсто изъ русской грамматики.

«Нѣтъ, этотъ человкъ, точно, мудрецъ»,—подумалъ про себя Чичиковъ, и разстался съ юрисконсультомъ въ непріятнѣйшемъ и въ наилучшемъ расположеніи духа.

Совершенно успокоившись и укрѣпившись, онъ съ небрежною ловкостью бросился на эластическія подушки коляски, приказалъ Селифану откинуть кузовъ назадъ (къ юрисконсульту онъ ѣхалъ съ поднятымъ кузовомъ и даже застегнутый кожей) и расположился, точь-въ-точь, какъ отставной гусарскій полковникъ или самъ Вишнепокромовъ, ловко подвернувши одну ножку подъ другую, обратя съ пріятностью ко встрѣчнымъ лицо, сіяющее изъ (подъ) шелковой новой шляпы, надвинутой нѣсколько на ухо. Селифану было приказано держать направленіе къ гостиному двору. Купцы, и пріѣзжіе, и туземные, стоя у дверей лавокъ, почтительно снимали шляпы, и Чичиковъ, не безъ достоинства, приподнималъ имъ въ отвѣтъ свою. Многіе изъ нихъ уже были ему знакомы; другіе, были хоть пріѣзжіе, но очарованные ловкимъ видомъ умѣющаго держать себя господина, привѣтствовали его, какъ знакомые. Ярмарка въ городѣ Тьфуславлѣ не прекращалась: отошла конная и земледѣльческая, началась—съ красными товарами для господъ просвѣщенья высшаго. Купцы, пріѣхавшіе на колесахъ, располагали назадъ не иначе возвращаться, какъ на санях.

«Пожалуйте-съ, пожалуйте-съ!»—говорилъ у суконной лавки, учтиво рисуясь, съ открытою головою, нѣмецкій сюртукъ московскаго шитья, съ шляпой въ рукѣ

Европой посред....; изрѣдка только съ чувствомъ достоинства произносили: «Шт.....», или: «здѣсь сукны зиберъ, клеръ и черныя».

«Есть сукна брусничныхъ цвѣтовъ съ искрой?» — спросилъ Чичиковъ.

«Отличныя сукна»,—сказалъ купецъ, приподнимая одной рукой картузъ, а другой указывая на лавку. Чичиковъ взошелъ въ лавку. Ловко приподнялъ доску ..... и очутился на другой сторонѣ его, спиною къ товарамъ, вознесеннымъ отъ низу до потолка, штука на штукѣ, и—лицомъ къ покупателю. Опершись ловко обѣими руками и слегка покачиваясь на нихъ всѣмъ корпусомъ, произнесъ: «Какихъ суконъ пожелаете?»

«Съ искрой оливковыхъ или бутылочныхъ, приближающихся, такъ сказать, къ брусникѣ»,—сказалъ Чичиковъ.

«Могу сказать, что получите первѣйшаго сорта, лучше котораго только въ просвѣщенныхъ столицахъ можно найти. Малый! подай сукно сверху, что за 34-мъ номеромъ. Да не то, братецъ! Что ты вѣчно выше своей сферы, точно пролетарій какой! Бросай его сюда. Вотъ

на отлетѣ, только чуть державшій круглый подбородокъ и выраженіе тонкости просвѣщенья въ лицѣ.

Чичиковъ вошелъ въ лавку. «Покажите-ка мнѣ, любезнѣйшій, суконца».

Благопріятный купецъ тотчасъ приподнялъ вверхъ открывавшуюся доску у стола и, сдѣлавши такимъ образомъ себѣ проходъ, очутился въ лавкѣ, спиною къ товару и лицомъ къ покупателю. Ставши спиной къ товарамъ и лицомъ къ покупателю, купецъ, съ обнаженной головою и шляпой на отлетѣ, еще разъ привѣтствовалъ Чичикова. Потомъ надѣлъ шляпу и, пріятно нагнувшись, обѣими же руками упершись, въ столъ, сказалъ такъ: «Какого рода сукно-съ? англійскихъ мануфактуръ, или отечественной фабрикаціи предпочитаете?»

«Отечественной фабрикаціи»,—сказалъ Чичиковъ: «но только лучшаго сорта, который называется аглицкимъ».

«Какихъ цвѣтовъ пожелаете имѣть?»—вопросилъ купецъ, все такъ (же) пріятно колеблясь на двухъ, упершихся въ столъ, рукахъ.

«Цвѣтовъ темныхъ, оливковыхъ или бутылочныхъ съ искрою, приближающихся, такъ сказать, къ брусникѣ»,—сказалъ Чичиковъ.

«Могу сказать, что получите первѣйшаго сорта, какое-съ можете въ обѣихъ столицахъ», говорилъ купецъ, полѣзши доставать сверху штуку; бросилъ ее ловко на столъ, разворотилъ съ другого конца и поднесъ его къ свѣту. «Каковъ отливъ-съ! Самаго моднаго, послѣдняго вкуса!» Сукно блистало, какъ шелковое. Купецъ чутьемъ пронюхалъ, что предъ нимъ стоитъ знатокъ суконъ и не захотѣлъ начинать съ десятирублеваго.

«Порядочное»,—сказалъ Чичиковъ, слегка погладивши. «Но знаете ли, почтеннѣйшій? покажите-ка мнѣ сразу то, что вы напослѣди показываете, да и цвѣту больше того... больше искрасна».

«Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой ноньче въ... входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства».

Штука упала сверху. Купецъ ее развернулъ еще съ большимъ искусствомъ, поймалъ другой конецъ и развернулъ точно шелковую матерію, поднесъ ее Чичикову такъ, что (тотъ) имѣлъ возможность не только разсмотрѣть его, но даже понюхать, сказавши только: «Вотъ-съ сукно-съ! цвѣту наваринскаго дыму съ пламенемъ».

суконцо!» И, разворотивши его съ другого конца, купецъ поднесъ Чичикову къ самому носу, такъ что тотъ могъ не только погладить рукой шелковистый лоскъ, но даже и понюхать.

«Хорошо, но все не то»,—сказалъ Чичиковъ. «Вѣдь я служилъ на таможнѣ, такъ мнѣ высшаго сорта, какое есть, и притомъ больше искрасна, не къ бутылкѣ, но къ брусникѣ чтобы приближалось».

«Понимаю-съ: вы истинно желаете такого цвѣта, какой нынче въ моду входитъ. Есть у меня сукно отличнѣйшаго свойства. Предувѣдомляю, что высокой цѣны, но и высокаго достоинства».

Европеецъ полѣзъ. Штука упала. Развернулъ онъ ее съ искусствомъ прежнихъ временъ, даже на время позабывъ, что онъ принадлежитъ уже къ позднѣйшему поколѣнію, и поднесъ къ свѣту, даже вышедши изъ лавки, и тамъ его показалъ, прищурясь къ свѣту и сказавши: «Отличный цвѣтъ! Сукно наваринскаго дыму съ пламенемъ».

Сукно понравилось; о цѣнѣ условились, хотя она и «съ прификсомъ», какъ утверждалъ купецъ. Тутъ произведено было ловкое дранье обѣими руками. Заворочено оно было въ бумагу, по-русски, съ быстротою неимовѣрной. Свертокъ завертѣлся подъ легкою бичевкой, охватившей его животрепещущимъ узломъ. Ножницы перерѣзали бичевку, и все было уже въ колескѣ. Купецъ приподымалъ картузъ. Приподымающій картузъ..... причину: онъ вынулъ изъ кармана деньги *).

«Покажите чернаго сукна»,—раздался голосъ.

«Вотъ, чортъ побери, Хлобуевъ»,—сказалъ про себя Чичиковъ и поворотился спиною, чтобы не видать его, находя неблагоразумнымъ съ своей стороны заводить съ нимъ какое-либо объясненіе насчетъ наслѣдства. Но онъ уже его увидѣлъ.

«Что это, право, Павелъ Ивановичъ, не съ умысломъ ли уходите

---

*) *Варіантъ изъ другой редакціи.*

О цѣнѣ условились. Желѣзный аршинъ, подобный жезлу чародѣя, отхваталъ тутъ же Чичикову на фракъ (и) на панталоны. Сдѣлавши ножницами нарѣзку, купецъ произвелъ обѣими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончаніи котораго поклонился Чичикову съ наиобольстительнѣйшею пріятностью. Сукно тутъ же было свернуто и ловко заверчено въ бумагу; свертокъ завертѣлся подъ легкой бичевкой. Чичиковъ хотѣлъ было лѣзть въ карманъ, но почувствовалъ пріятное окруженіе своей поясницы чьей-то весьма деликатной рукой, и уши его услышали: «Что вы здѣсь покупаете, почтеннѣйшій?»

«А, пріятнѣйше-неожиданная встрѣча!»—сказалъ Чичиковъ.

«Пріятное столкновеніе»,—сказалъ голосъ того же самаго, который окружилъ его поясницу. Это былъ Вишнепокромовъ. «Готовился было пройти лавку безъ вниманія, вдругъ вижу знакомое лицо—какъ отказаться отъ пріятнаго удовольствія! Нечего сказать, сукна въ этомъ году несравненно лучше. Вѣдь это стыдъ, срамъ! Я никакъ не могъ, бывало, отыскать... Я готовъ сорокъ рублей... возьми пятьдесятъ даже, но дай хорошаго. По мнѣ или имѣть вещь, которая бы, точно, была уже отличнѣйшая, или ужъ лучше вовсе не имѣть. Не такъ ли?»

«Совершенно такъ!»—сказалъ Чичиковъ. «Зачѣмъ же трудишься, какъ не затѣмъ, чтобы, точно, имѣть, хорошую вещь?»

отъ меня? Я васъ нигдѣ не могу найти, а вѣдь дѣла такого рода, что намъ нужно серьезно переговорить».

«Почтеннѣйшій, почтеннѣйшій»,—сказалъ Чичиковъ, пожимая ему руки: «повѣрьте, что все хочу съ вами побесѣдовать, да времени совсѣмъ нѣтъ». А самъ думалъ: «Чортъ бы тебя побралъ!» И вдругъ увидѣлъ входящаго Муразова. «Ахъ, Боже! Афанасій Васильевичъ! Какъ здоровье ваше?»

«Какъ вы?»—сказалъ Муразовъ, снимая шляпу. Купецъ и Хлобуевъ сняли шляпу.

«Да вотъ поясница, да и сонъ какъ-то все не то. Ужъ отъ того ли, что мало движенія»...

Но Муразовъ, вмѣсто того, чтобы углубиться въ причину припадковъ Чичикова, обратился къ Хлобуеву: «А я, Семенъ Семеновичъ, увидавши, что вы взошли въ лавку,—за вами. Мнѣ нужно кое-о-чемъ переговорить, такъ не хотите ли заѣхать ко мнѣ?»

«Какъ же, какъ же!»—сказалъ поспѣшно Хлобуевъ и вышелъ съ нимъ.

«О чемъ бы у нихъ разговоры?»—подумалъ (Чичиковъ).

«Афанасій Васильевичъ—почтенный и умный человѣкъ»,—сказалъ купецъ: «и дѣло свое знаетъ, но просвѣтительности нѣтъ. Вѣдь купецъ есть негоціантъ, а не то что купецъ. Тутъ съ этимъ соединено и буджетъ, и реакцыя, а иначе выйдетъ павпуризмъ». Чичиковъ махнулъ рукой.

«Павелъ Ивановичъ, я васъ ищу вездѣ»,—раздался позади голосъ Лѣницына. Купецъ почтительно снялъ шляпу.

«Ахъ, Федоръ Федорычъ!»

«Ради Бога, ѣдемте ко мнѣ: мнѣ нужно переговорить»,—сказалъ онъ. Чичиковъ взглянулъ—на немъ не было лица. Расплатившись съ купцомъ, онъ вышелъ изъ лавки.

«Васъ жду, Семенъ Семеновичъ»,—сказалъ Муразовъ, увидѣвши входящаго Хлобуева: «пожалуйте ко мнѣ въ комнатку». И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

«Скажите, вѣдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что».

«Да какъ вамъ сказать, Афанасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанію самое нечистое. Тутъ, Афанасій Васильевичъ, завелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ...»

«Позвольте, Семенъ Семеновичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите

мнѣ: сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?»

«Мои обстоятельства трудныя»,—сказалъ Хлобуевъ. «Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, 100 тысячъ, если не больше,—словомъ, мнѣ это невозможно».

«Ну, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?»

«Ну, я бы тогда нанялъ себѣ квартиру, занялся бы воспитаніемъ дѣтей. О себѣ нечего уже думать: карьеръ мой конченъ, потому что мнѣ не служить: я ужъ никуда не гожусь».

«И все-таки жизнь останется праздная, а въ праздности приходятъ искушенія, о которыхъ бы и не подумалъ человѣкъ, занявшись работою».

«Не могу, никуда не гожусь: осовѣлъ, болитъ поясница».

«Да какъ же жить безъ работы? Какъ быть на свѣтѣ безъ должности, безъ мѣста? Помилуйте! Взгляните на всякое твореніе Божіе: всякое чему-нибудь да служитъ, имѣетъ свое отправленіе. Даже камень, и тотъ затѣмъ, чтобы употреблять на дѣло, а человѣкъ, разумнѣйшее существо, чтобы оставался безъ пользы,—статочное ли это дѣло?»

«Ну, да я все-таки не безъ дѣла. Я могу заняться воспитаніемъ дѣтей».

«Нѣтъ, Семенъ Семеновичъ, нѣтъ! это всего труднѣе. Какъ воспитать тому дѣтей, кто самъ себя не воспитывалъ? Дѣтей вѣдь только можно воспитать примѣромъ собственной жизни. А ваша жизнь годится имъ въ примѣръ? Чтобы выучиться развѣ тому, какъ (въ) праздности проводить время да играть въ карты? Нѣтъ, Семенъ Семеновичъ, отдайте дѣтей мнѣ: вы ихъ испортите. Подумайте не шутя: васъ сгубила праздность,—вамъ нужно отъ нея бѣжать. Какъ жить на свѣтѣ неприкрѣпленну ни къ чему? Какой-нибудь да должно исполнять долгъ. Поденщикъ,—вѣдь и тотъ служитъ. Онъ ѣстъ грошовый хлѣбъ, да вѣдь онъ его добываетъ и чувствуетъ интересъ своего занятія».

«Ей Богу, пробовалъ, Афанасій Васильевичъ, старался преодолѣть! Что-жъ дѣлать, остарѣлъ, сдѣлался неспособенъ. Ну, какъ мнѣ поступить? Неужели опредѣлиться мнѣ въ службу? Ну, какъ же мнѣ, въ сорокъ пять лѣтъ, сѣсть за одинъ столъ съ начинающими канцелярскими чиновниками? Притомъ я неспособенъ къ взяткамъ—и себѣ помѣшаю, и другимъ повредю. Тамъ ужъ у нихъ и касты свои образовались. Нѣтъ, Афанасій Васильевичъ, думалъ, пробовалъ, перебиралъ всѣ мѣста,—вездѣ буду неспособенъ. Только развѣ въ богадѣльню...»

«Богадѣльня (тѣмъ), которые трудились; а тѣмъ, которые весели-

лись все время въ молодости, отвѣчаютъ, какъ муравей стрекозѣ: «Поди, попляши!» Да и въ богадѣльнѣ сидя, тоже трудятся и работаютъ въ вистъ не играютъ. Семенъ Семеновичъ», говорилъ (Муразовъ), смотря ему въ лицо пристально: «вы обманываете и себя, и меня».

Муразовъ глядѣлъ пристально ему въ лицо; но бѣдный Хлобуевъ ничего не могъ отвѣчать. Муразову стало его жалко. *)

---

*) *Варіантъ изъ другой редакціи.*

Старикъ раскланялся со всѣми и обратился прямо къ Хлобуеву: «Извините меня: я, увидѣвши издали, какъ вы вошли въ лавку, рѣшился васъ побезпокоить. Если вамъ будетъ черезъ... свободно и по дорогѣ мимо моего дома, такъ сдѣлайте милость, зайдите на малость времени. Мнѣ съ вами нужно будетъ переговорить».

Хлобуевъ сказалъ: «Очень хорошо, Афанасій Васильевичъ».

И старикъ, раскланявшись снова со всѣми, вышелъ.

«У меня просто голова кружится»,—сказалъ Чичиковъ: «какъ подумаешь, что у этого человѣка 10 милліоновъ. Это, просто, даже невѣроятно».

«Противозаконная, однакожъ, вещь»,—сказалъ Вишнепокромовъ: «капиталы не должны быть въ однѣхъ (рукахъ). Это теперь предметъ трактатовъ во всей Европѣ. Имѣешь деньги,—ну, сообщай другимъ: угощай, давай балы, производи благодѣтельную роскошь, которая даетъ хлѣбъ мастерамъ, ремесленникамъ».

«Это я не могу понять»,—сказалъ Чичиковъ. «Десять милліоновъ—и живетъ какъ простой мужикъ! Вѣдь это съ десятью милліонами, чортъ знаетъ что, можно сдѣлать. Вѣдь это можно такъ завести, что и общества другого у тебя не будетъ, какъ генералы да князья».

«Да-съ»,—прибавилъ купецъ: «дѣйствительно, это непросвѣтительность. Если купецъ почетный, такъ ужъ онъ не купецъ: онъ нѣкоторымъ образомъ есть уже негоціантъ. Я ужъ тогда долженъ себѣ взять и ложу въ театрѣ, и дочь ужъ я за простого полковника—нѣтъ-съ, не выдамъ: я за генерала, иначе ее не выдамъ. Что мнѣ полковникъ? обѣдъ мнѣ ужъ долженъ кондитеръ поставлять, а не то, что кухарка...»

«Да что говорить! помилуйте!»—сказалъ Вишнепрокомовъ: «съ десятью милліонами чего не сдѣлать? Дайте мнѣ десять милліоновъ,—вы посмотрите, что я сдѣлаю!

«Нѣтъ»,—подумалъ Чичиковъ: «ты-то не много сдѣлаешь толку съ десятью милліонами. А вотъ если бы мнѣ десять милліоновъ, я бы, точно, кое-что сдѣлалъ».

«Да, если бы мнѣ десять милліоновъ!»—подумалъ Хлобуевъ: «я бы не такъ теперь поступилъ, какъ прежде,—не прожилъ бы такъ безумно. Послѣ такого страшнаго опыта узнаешь цѣну всякой копѣйки. Э, теперь бы я не такъ... » И потомъ, нѣсколько минутъ подумавши, спросилъ себя внутренно: «точно ли бы теперь умнѣй распорядился?» и, махнувши рукой, прибавилъ: «Кой чортъ! я думаю, такъ же бы растратилъ, какъ прежде», и, вышедши изъ лавки, отправился къ Муразову, желая знать, что объявитъ ему Муразовъ.

«Васъ жду, Петръ Петровичъ!»—сказалъ Муразовъ, увидѣвши входящаго Хлобуева. «Пожалуйте ко мнѣ въ комнатку». И онъ повелъ Хлобуева въ комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливѣе которой нельзя было найти и у чиновника, получающаго семьсотъ рублей въ годъ жалованья.

«Скажите, вѣдь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? Послѣ тетушки все-таки вамъ досталось кое-что».

«Да какъ вамъ сказать, Афанасій Васильевичъ? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мнѣ досталось всего пятьдесятъ душъ крестьянъ и тридцать тысячъ денегъ, которыми я долженъ былъ расплатиться съ частью моихъ долговъ,—и у меня вновь ровно ничего. А главное дѣло, что дѣло по этому завѣщанію самое нечистое. Тутъ, Афанасій Васильевичъ, зазелись такія мошенничества! Я вамъ сейчасъ разскажу, и вы подивитесь, что такое дѣлается. Этотъ Чичиковъ...»

«Послушайте, Семенъ Семеновичъ... Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете—идете въ четыре часа утра, когда никто не подымался».

«Это—другое дѣло, Афанасій Васильевичъ. Я знаю, что это я дѣлаю не для человѣка, но для Того, Кто приказалъ намъ быть всѣмъ на свѣтѣ. Что-жъ дѣлать! Я вѣрю, что Онъ милостивъ ко мнѣ, что какъ я ни мерзокъ, ни гадокъ, но Онъ меня можетъ простить и принять, тогда какъ люди оттолкнутъ ногою и наилучшій изъ друзей продастъ меня, да еще и скажетъ потомъ, что онъ продалъ изъ благой цѣли».

Огорченное чувство выразилось въ лицѣ Хлобуева. Старикъ прослезился, но ничего не .....

«Такъ послужите же Тому, Который такъ милостивъ. Ему такъ же угоденъ трудъ, какъ и молитва. Возьмите какое ни есть занятіе, но возьмите, какъ бы вы дѣлали для Него, а не для людей. Ну, просто, хоть воду толките въ ступѣ, но помышляйте только, что вы дѣлаете для Него. Ужъ этимъ будетъ выгода, что для дурного не останется времени—для проигрыша въ карты, для пирушки съ объѣдалами, для свѣтской жизни. Эхъ, Семенъ Семеновичъ! Знаете вы Ивана Потапыча?»

«Знаю и очень уважаю».

«Вѣдь хорошій былъ торговецъ: полмилліона было; да какъ увидѣлъ во всемъ прибытокъ—и распустился. Сына по-французски сталъ учить, дочь—за генерала. И уже не въ лавкѣ, или въ биржевой улицѣ, а все какъ бы встрѣтить пріятеля да затащить въ трактиръ пить чай; тамъ цѣлые дни—чай, да и обанкрутился. А тутъ Богъ несчастье послалъ: сынъ ..... Теперь онъ, видите ли, приказчикомъ у меня. Началъ сызнова. Дѣла-то поправились его. Онъ могъ бы опять торговать на пятьсотъ тысячъ. «Приказчикомъ былъ, приказчикомъ хочу и умереть. Теперь», говоритъ, «я сталъ здоровъ и свѣжъ, а тогда у меня брюхо-де заводилось, да и водяная начиналась... Нѣтъ!» говоритъ. И чаю онъ теперь въ ротъ не беретъ. Щи да кашу—и больше ничего, да-съ. А ужъ молится онъ такъ, какъ никто изъ насъ не молится; а ужъ помогаетъ онъ бѣднымъ такъ, какъ никто изъ насъ не помогаетъ; а другой радъ бы помочь, да деньги свои прожилъ».

Бѣдный Хлобуевъ задумался.

«Позвольте, Петръ Петровичъ; прежде чѣмъ говорить объ этомъ Чичиковѣ, позвольте поговорить собственно о васъ. Скажите мнѣ: сколько, по вашему заключенію, было бы для васъ удовлетворительно и достаточно затѣмъ, чтобы совершенно выпутаться изъ обстоятельствъ?»

«Да чтобы выпутаться изъ обстоятельствъ, расплатиться совсѣмъ и быть въ возможности жить самымъ умѣреннымъ образомъ, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, 100 тысячъ, если не больше».

«Ну, если бы это у васъ было, какъ бы вы тогда повели жизнь свою?»

«Ну, я бы тогда нанялъ себѣ квартирку, занялся бы воспитаніемъ дѣтей, потому что мнѣ самому уже не служить: я ужъ никуда не гожусь».

Старикъ взялъ его за обѣ руки. «Семенъ Семеновичъ! Если бы вы знали, какъ мнѣ васъ жалко! Я объ васъ все время думалъ. И вотъ послушайте. Вы знаете, что въ монастырѣ есть затворникъ, который никого не видитъ. Человѣкъ этотъ большого ума,—такого ума, что я не знаю. (Онъ не говоритъ); но ужъ если дастъ совѣтъ... Я началъ ему говорить, что вотъ у меня есть этакой пріятель, но имени не ....., что болѣетъ онъ вотъ чѣмъ. Онъ началъ слушать да вдругъ прервалъ словами: «Прежде Божье дѣло, чѣмъ свое. Церковь строятъ, а денегъ нѣтъ: сбирать нужно на церковь!» Да и захлопнулъ дверью. Я думалъ, что-жъ это значитъ? Не хочетъ, видно, дать совѣта. Да и зашелъ къ нашему архимандриту. Только-что я въ дверь, а онъ мнѣ съ первыхъ же словъ: не знаю ли я такого человѣка, которому бы можно было поручить сборъ на церковь, который бы былъ изъ дворянъ, или купцовъ, повоспитаннѣй другихъ, смотрѣлъ бы на то, какъ на спасеніе свое? Я такъ съ перваго же разу и остановился: «Ахъ, Боже мой! Да вѣдь это схимникъ назначаетъ эту должность Семену Семеновичу. Дорога для его болѣзни хороша. Переходя съ книгой отъ помѣщика къ крестьянину и отъ крестьянина къ мѣщанину, онъ узнаетъ и то, какъ кто живетъ и кто въ чемъ нуждается,—такъ что воротится потомъ, обошедши нѣсколько губерній, такъ узнаетъ мѣстность и край получше всѣхъ тѣхъ людей, которые живутъ въ городахъ... А этакіе люди теперь нужны». Вотъ мнѣ князь сказывалъ, что онъ много бы далъ,

---

«А почему-жъ вы никуда не годитесь?»

«Да куда-жъ мнѣ? сами посудите: мнѣ нельзя начинать съ канцелярскаго писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мнѣ сорокъ, у меня ужъ и поясница болитъ, я облѣнился; а должности мнѣ поважнѣе не дадутъ; я вѣдь не на хорошемъ счету. Я признаюсь вамъ: я бы и самъ не взялъ наживной должности. Я человѣкъ хоть и дрянной, и картежникъ, и все, что хотите, но взятокъ брать я не стану. Мнѣ не ужиться съ Красноносовымъ, да Самосвистовымъ».

«Но все, извините-съ, я не могу понять, какъ же быть безъ дорогъ; какъ идти не по дорогѣ; какъ ѣхать, когда нѣтъ земли подъ ногамъ; какъ плыть, когда челнъ не на водѣ? А вѣдь жизнь—путешествіе. Извините, Петръ Петровичъ, господа вѣдь, про которыхъ вы говорите, все же они на какой-нибудь дорогѣ, все же они трудятся. Ну, положимъ, какъ-нибудь сворстили, какъ случается со всякимъ грѣшнымъ; да есть надежда, что опять набредутъ. Кто идетъ—нельзя, чтобъ не пришелъ; есть надежда, что и набредетъ. Но какъ тому попасть на какую -нибудь дорогу, кто остается праздно? Вѣдь дорога не придетъ ко мнѣ».

«Повѣрьте мнѣ, Афанасій Васильевичъ, я чувствую совершенно справедливость...; но говорю вамъ, что во мнѣ рѣшительно погибла всякая дѣятельность; не вижу я, что могу сдѣлать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свѣтѣ. Я чувствую, что я рѣшительно безполезное бревно. Прежде, покамѣстъ былъ помоложе, такъ мнѣ казалось, что все дѣло въ деньгахъ, что если бы мнѣ въ руки сотни тысячъ, я бы осчастливилъ множество: помогъ бы бѣднымъ художникамъ, завелъ бы библіотеки, полезныя заведенія, собралъ бы коллекціи. Я человѣкъ не безъ вкуса и, знаю, во многомъ могъ бы гораздо лучше распорядиться тѣхъ нашихъ богачей, которые все это дѣлаютъ безтолково. А теперь вижу, что и это суета, и въ этомъ не много толку. Нѣтъ, Афанасій Васильевичъ, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вамъ. На малѣйшее дѣло неспособенъ».

чтобы достать такого чиновника, который бы зналъ не по бумагамъ дѣло, а точно узналъ, какъ они на дѣлѣ, потому что изъ бумагъ, говорятъ, ничего ужъ не видать: такъ все запуталось».

«Вы меня совершенно смутили, сбили, Афанасій Васильевичъ»,— сказалъ Хлобуевъ, въ изумленіи смотря на него. «Я даже не вѣрю тому, что вы точно мнѣ это говорите: для этого нуженъ неутомимый, дѣятельный человѣкъ. Притомъ какъ же мнѣ бросить жену, дѣтей, которымъ ѣсть нечего?»

«О супругѣ и дѣтяхъ не заботьтесь. Я возьму ихъ на свое попеченіе, и учителя будутъ у дѣтей. Чѣмъ вамъ ходить съ котомкой и выпрашивать милостыню для себя, благороднѣе и лучше просить для Бога. Я вамъ дамъ простую (кибитку), тряски не бойтесь: это для вашего здоровья. Я дамъ вамъ на дорогу денегъ, чтобы вы могли мимоходомъ дать тѣмъ, которые посильнѣе другихъ нуждаются. Вы здѣсь можете много добрыхъ дѣлъ сдѣлать: вы ужъ не ошибетесь, а кому дадите, тотъ точно будетъ стоить. Этакимъ образомъ ѣздя, вы точно узнаете всѣхъ, кто ..... Это не то, что иной чиновникъ, котораго всѣ боятся и отъ котораго .....; а съ вами, зная, что вы просите на церковь, охотно разговорятся».

«Я вижу, это прекрасная мысль, и я бы очень (желалъ) исполнить хоть часть; но, право, мнѣ кажется, это свыше силъ».

«Да что же по нашимъ силамъ?»—сказалъ Муразовъ. «Вѣдь ничего нѣтъ по нашимъ силамъ; все свыше нашихъ силъ. Безъ помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собираетъ силы. Перекрестясь, говоритъ человѣкъ: «Господи, помилуй!» гребетъ и доплываетъ до берега. Объ этомъ не нужно и помышлять долго; это нужно, просто, принять за повелѣніе Божіе. Кибитка будетъ вамъ сейчасъ готова; а вы забѣгите къ отцу архимандриту за книгой и за благословеньемъ, да и въ дорогу».

«Повинуюсь вамъ и принимаю не иначе, какъ за указаніе Божіе».— «Господи, благослови»,—сказалъ онъ внутренно, и почувствовалъ, что бодрость и сила стала проникать къ нему въ душу. Самый умъ его какъ бы сталъ пробуждаться надеждой на исходъ изъ своего печальнонеисходнаго положенія. Свѣтъ сталъ мерцать вдали...

Но оставивши Хлобуева, обратимся къ Чичикову *).

---

*) *Варіантъ изъ другой редакціи.*

«Послушайте, Петръ (Петровичъ)! Но вѣдь вы же молитесь, ходите въ церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вамъ хоть и не хочется рано вставать, но вѣдь вы встаете же и идете,—идете, въ четыре часа утра, когда никто не подымается».

«Это—другое дѣло, Афанасій Васильевичъ. Я это дѣлаю для спасенія души, потому что убѣжденъ, что этимъ хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что какъ я ни (вѣренъ самому себѣ) дуренъ, но смиренныя молитвы и нѣкоторое насиліе себя что-нибудь значатъ у Бога. Скажу вамъ, что я молюсь,—даже и безъ вѣры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть Господинъ, отъ Котораго

А между тѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, по судамъ шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которыхъ и не слышалъ никто. Какъ птицы слетаются на мертвечину, такъ все налетѣло на несмѣтное имущество, оставшееся послѣ старухи: доносы на Чичикова, на подложность послѣдняго завѣщанія, доносы на подложность и перваго завѣщанія, улики въ покражѣ и въ утаеніи суммъ. Явились даже улики на Чичикова въ покупкѣ мертвыхъ душъ, въ провозѣ контра-

все зависитъ, какъ лошадь и скотина домашняя слышитъ господина, имѣющаго право».

«Стало-быть, вы молитесь затѣмъ, чтобы угодить Тому, Которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это даетъ вамъ силу и заставляетъ васъ подыматься рано съ постели. Повѣрьте, что если вы взялись за должность свою такимъ образомъ, какъ бы вы ею служили Тому, Кому вы молитесь, у васъ бы появилась дѣятельность, и васъ никто изъ людей не въ силахъ охладить».

«Афанасій Васильевичъ! вновь скажу вамъ—это другое. Въ первомъ случаѣ я вижу, что я все-таки дѣлаю. Говорю вамъ, что я готовъ пойти въ монастырь и самые тяжкіе, какіе на меня ни наложатъ, труды и подвиги, я буду исполнять, потому что я вижу, для Кого дѣлаю. Не мое дѣло разсуждать. Тамъ я увѣренъ, что взыщется(съ тѣхъ), которые заставили меня дѣлать; тамъ я повинуюсь и знаю, что Богу повинуюсь».

«А зачѣмъ же такъ вы не разсуждаете и въ дѣлахъ свѣта? Вѣдь и въ свѣтѣ мы должны служить Богу, а не кому иному. Если другому служимъ, мы потому только служимъ, будучи увѣрены, что такъ Богъ велитъ, а безъ того мы бы и не служили. Что-жъ другое всѣ способности и дары, которые разные у всякаго? Вѣдь это орудія моленья нашего: то—словами, а это—дѣломъ. Вѣдь вамъ же въ монастырь нельзя идти: вы прикрѣплены къ міру, у васъ семейство».

Здѣсь Муразовъ замолчалъ. Хлобуевъ тоже замолчалъ.

«Такъ вы полагаете, что если бы, напримѣръ, у (васъ) было двѣсти тысячъ, такъ вы (бы) могли упрочить жизнь и повести отнынѣ жизнь разсчетливѣе?»

«То-есть, по крайней мѣрѣ, я займусь тѣмъ, что можно будетъ сдѣлать,—займусь воспитаніемъ дѣтей, буду имѣть въ возможности доставить имъ хорошихъ учителей».

«А сказать ли вамъ на это, Петръ Петровичъ, что чрезъ два года будете опять кругомъ въ долгахъ, какъ (въ) шнуркахъ?»

Хлобуевъ нѣсколько помолчалъ и началъ съ разстановкою: «Однакожъ, послѣ этакихъ опытовъ»...

«Да что-жъ тутъ толковать!»—сказалъ Муразовъ. «Вы человѣкъ съ доброй душой: къ вамъ придетъ пріятель, попроситъ взаймы—вы ему дадите; увидите бѣднаго человѣка—вы захотите помочь; пріятный гость придетъ къ вамъ—захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенію, а разсчетъ и позабываете. И позвольте вамъ, наконецъ, сказать по искренности, что дѣтей-то своихъ вы не въ состояніи воспитать. Дѣтей своихъ воспитать можетъ только тотъ отецъ, который ужъ самъ выполнилъ долгъ свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсѣмъ не такъ воспитана, чтобы дѣтей воспитать. Я даже думаю,—извините меня, Петръ Петровичъ,—не во вредъ ли дѣтямъ будетъ даже и быть съ вами!»

Хлобуевъ призадумался; онъ началъ себя мысленно осматривать со всѣхъ сторонъ и наконецъ почувствовалъ, что Муразовъ былъ правъ отчасти.

«Знаете ли, Петръ Петровичъ? отдайте мнѣ на руки это—дѣтей, дѣла; оставьте и семью вашу, и дѣтей: я ихъ приберегу. Вѣдь обстоятельства ваши таковы, что вы въ моихъ рукахъ; вѣдь дѣло идетъ къ тому, чтобы умирать съ голоду. Тутъ уже на все нужно рѣшаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?»

банды во время бытности его еще при таможнѣ. Выкопали все, разузнали его прежнюю исторію, Богъ вѣсть, откуда все это пронюхали и знали; только были улики даже и въ такихъ дѣлахъ, объ которыхъ, думалъ Чичиковъ, кромѣ его и четырехъ стѣнъ, никто не зналъ. Покамѣстъ все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя вѣрная записка юрисконсульта, которую онъ вскорѣ получилъ, нѣсколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была крат-

---

«И очень уважаю, даже несмотря на то, что онъ ходитъ въ сибиркѣ».

«Иванъ Потапычъ былъ милліонщикъ, выдалъ дочерей своихъ за чиновниковъ, жилъ какъ царь; а какъ обанкрутился—что-жъ дѣлать?—пошелъ въ приказчики. Не весело-то было ему съ серебрянаго блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни къ чему не подымались. Теперь Иванъ Потапычъ могъ бы хлебать съ серебрянаго блюда, да ужъ не хочетъ.. У него ужъ набралось бы опять, да онъ говоритъ: «Нѣтъ, Афанасій Ивановичъ, служу я теперь ужъ не себѣ, и для себя, а потому, что Богъ такъ... По своей волѣ не хочу ничего дѣлать. Слушаю васъ, потому что Бога хочу слушаться, а не людей, и такъ какъ Богъ иначе не говоритъ, какъ устами лучшихъ людей только говоритъ. Вы умнѣе меня, а потому не я отвѣчаю, а вы».—Вотъ что говоритъ Иванъ Потапычъ; а онъ, если сказать по правдѣ, въ нѣсколько разъ умнѣе меня».

«Афанасій Васильевичъ! вашу власть и я готовъ надъ собою... вашъ слуга и что хотите; отдаюсь вамъ. Но не давайте работы свыше силъ: я не Потапычъ, и говорю вамъ, что ни на что доброе не гожусь».

«Не я-съ, Петръ Петровичъ, наложу-съ (на) васъ, а такъ какъ вы хотѣлибы послужить, какъ говорите сами, такъ (вотъ) вамъ богоугодное дѣло. Строится въ одномъ мѣстѣ церковь доброхотнымъ дательствомъ благочестивыхъ людей. Денегъ не станетъ, нуженъ сборъ. Надѣньте простую сибирку... вѣдь вы теперь простой человѣкъ, разорившійся дворянинъ и тотъ же нищій: что-жъ тутъ чиниться?—да съ книгой въ рукахъ, на простой телѣжкѣ, и отправляйтесь по городамъ и деревнямъ. Отъ архіерея вы получите благословенье и шнуровую книгу, да и съ Богомъ».

Петръ Петровичъ былъ изумленъ этой совершенно новой должностью? Ему, все-таки дворянину нѣкогда древняго рода, отправиться съ книгой въ рукахъ просить на церковь, трястись на телѣгѣ! А вывернуться и уклониться нельзя: дѣло богоугодное.

«Призадумались?»—сказалъ Муразовъ. «Вы здѣсь двѣ службы сослужите: одну службу Богу, а другую—мнѣ».

«Какую же вамъ?»

«А вотъ какую. Такъ какъ вы отправитесь по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ я еще не былъ, такъ вы узнаете-съ на мѣстѣ все: какъ тамъ живутъ мужички, гдѣ побогаче, гдѣ терпятъ нужду и въ какомъ состояніи всѣ. Скажу вамъ, что мужичковъ люблю оттого, можетъ-быть, что и я самъ изъ мужиковъ. Но дѣло въ томъ, что завелось межъ ними много всякой мерзости. Раскольники тамъ и всякіе-съ бродяги смущаютъ ихъ, иные и противъ властей ихъ возстановляютъ, а если человѣкъ притѣсненъ, такъ онъ легко возстаетъ. что-жъ, будто трудно подстрекнуть человѣка, который, точно, терпитъ. Да дѣло въ томъ, что не снизу должна начинаться расправа. Дѣло плохо, когда пойдутъ на кулакъ; ужъ тутъ никакого толку не будетъ—только ворамъ пожива. Вы—человѣкъ умный, вы разсмотрите, узнаете, гдѣ дѣйствительно терпитъ человѣкъ отъ другихъ, а гдѣ отъ собственнаго неспокойнаго нрава, да и разскажете мнѣ потомъ все это. Я вамъ на всякій случай небольшую сумму дамъ на раздачу тѣмъ, которые уже и дѣйствительно терпятъ безвинно. Съ вашей стороны будетъ также полезно утѣшить ихъ словомъ и получше истолковать имъ то, что Богъ велитъ переносить безропотно, и молиться въ это время, когда несчастливъ, а не буйствовать и расправляться самому. Словомъ, говорите имъ, никого не воз-

каго содержанія: «Спѣшу васъ увѣдомить, что по дѣлу будетъ возня; но помните, что тревожиться никакъ не слѣдуетъ. Главное дѣло—спокойствіе. Обдѣлаемъ все». Записка эта успокоила совершенно его. «Точно геній»,—сказалъ Чичиковъ. Въ довершеніе хорошаго, портной въ это время принесъ платье. Онъ получилъ желаніе сильное посмотрѣть на самого себя въ новомъ фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ. Натянулъ штаны, которые обхватили его чудеснымъ образомъ со всѣхъ сторонъ, такъ что хоть рисуй. Ляжки такъ (молодецки) славно обтянуло, икры тоже; сукно обхватило всѣ малости, сообща имъ еще боль-

---

нуждая ни противъ кого, а всѣхъ примиряя. Если увидите въ комъ противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усиліе».

«Афанасій Васильевичъ! дѣло, которое вы мнѣ поручаете»,—сказалъ Хлобуевъ: «святое дѣло; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человѣку почти святой жизни, который бы и самъ уже (умѣлъ) прощать другимъ».

«Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно-съ. Дѣло въ томъ, что вы все-таки пріѣдете съ большими познаніями тѣхъ мѣстъ, и будете имѣть понятіе, въ какомъ положеніи находится тотъ край. Чиновникъ никогда не столкнется съ лицомъ, да и мужикъ-то съ нимъ не будетъ откровененъ. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому—и къ мѣщанину, и къ купцу, и будете имѣть случай разспросить всякаго. Говорю-съ вамъ это по той причинѣ, что генералъ-губернаторъ особенно теперь нуждается въ такихъ людяхъ; и вы, мимо всякихъ канцелярскихъ повышеній, получите такое мѣсто, гдѣ не безполезна будетъ ваша жизнь».

«Попробую, приложу старанья, сколько хватитъ силъ»,—сказалъ Хлобуевъ. И въ голосѣ его было замѣтно ободреніе, спина распрямилась и голова приподнялась, какъ у человѣка, которому свѣтитъ надежда. «Вижу, что васъ Богъ наградилъ разумѣньемъ, и вы знаете иное лучше насъ, близорукихъ людей».

«Теперь позвольте васъ спросить»,—сказалъ Муразовъ: «что-жъ Чичиковъ и какого рода (дѣло)?»

«А (про) Чичикова я вамъ разскажу вещи неслыханныя. Дѣлаетъ онъ такія дѣла... Знаете ли, Афанасій Васильевичъ, что завѣщаніе вѣдь ложное? Отыскалось настоящее, гдѣ все имѣніе принадлежитъ воспитанницамъ».

«Что вы говорите? Да ложное-то завѣщаніе кто смастерилъ?»

«Въ томъ-то и дѣло, что премерзѣйшее дѣло! Говорятъ: Чичиковъ, и что подписано завѣщаніе уже послѣ смерти: нарядили какую-то бабу намѣсто покойницы и она ужъ подписала. Словомъ, дѣло соблазнительнѣйшее. Подозрѣваютъ въ участіи и чиновниковъ. Ужъ говорятъ, и генералъ-губернаторъ знаетъ. Говорятъ, тысячи просьбъ поступило съ разныхъ сторонъ. Къ Марьѣ Еремѣевнѣ теперь подъѣзжаютъ женихи; двое ужъ чиновныхъ лицъ изъ-за нея дерутся. Вотъ какого рода дѣло, Афанасій Васильевичъ!»

«Не слышалъ я объ этомъ ничего, а дѣло, точно, не безъ грѣха. Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, признаюсь, для меня презагадочный (человѣкъ)»,—сказалъ Муразовъ.

«Я подалъ отъ себя также просьбу, затѣмъ, чтобы напомнить, что существуетъ ближайшій наслѣдникъ...»

« А по мнѣ пусть ихъ передерутся»,—думалъ Хлобуевъ, выходя.—«Афанасій Васильевичъ не глупъ. Онъ далъ мнѣ это порученіе, вѣрно, обдумавши. Исполнить его—вотъ и все». Онъ сталъ думать о дорогѣ, въ то время, когда Муразовъ все еще повторялъ въ себѣ: «Презагадочный для меня человѣкъ Павелъ Ивановичъ Чичиковъ! Вѣдь если бы съ этакой волей и настойчивостью да на доброе дѣло!»

шую упругость. Какъ затянулъ онъ позади себя пряжку, животъ сталъ точно барабанъ. Онъ ударилъ по немъ тутъ щеткой, прибавивъ: «Вѣдь какой дуракъ! а въ цѣломъ онъ составляетъ картину». Фракъ, казалось, былъ сшитъ еще лучше штановъ: ни морщинки, всѣ бока обтянуты, выгнулся на перехватѣ, показавши весь его перегибъ. На замѣчаніе Чичикова, (что) подъ правой мышкой немного жало, портной только улыбался: отъ этого еще лучше прихватывало по таліи. «Будьте покойны, будьте покойны насчетъ работы», повторялъ онъ съ нескрытымъ торжествомъ: «кромѣ Петербурга, нигдѣ такъ не сошьютъ». Портной былъ самъ изъ Петербурга и на вывѣскѣ выставилъ: *Иностранецъ изъ Лондона и Парижа*. Шутить онъ не любилъ и двумя городами разомъ хотѣлъ заткнуть глотку всѣмъ другимъ портнымъ, такъ, чтобы впередъ никто не появился съ такими городами, а пусть себѣ пишетъ изъ какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».

Чичиковъ великодушно расплатился съ портнымъ и, оставшись одинъ, сталъ разсматривать себя на досугѣ въ зеркало, какъ артистъ съ эстетическимъ чувствомъ и con amore. Оказалось, что все какъ-то было еще лучше, чѣмъ прежде; щечки интереснѣе, подбородокъ заманчивѣй, бѣлые воротнички давали тонъ щекѣ, атласный, синій галстукъ давалъ тонъ воротничкамъ, новомодныя складки манишки давали тонъ галстуку, богатый бархатный (жилетъ) давалъ (тонъ) манишкѣ, а фракъ наваринскаго дыма съ пламенемъ, блистая какъ шелкъ, давалъ тонъ всему. Поворотился направо—хорошо! Поворотился налѣво—еще лучше! Перегибъ такой, какъ у камергера или у такого господина, который такъ и чешетъ по-французски, который, даже и разсердясь, выбраниться не смѣетъ на русскомъ языкѣ, а распечетъ французскимъ діалектомъ: деликатность такая! Онъ попробовалъ, склоня голову нѣсколько на-бокъ, принять позу, какъ бы адресовался къ дамѣ среднихъ лѣтъ и послѣдняго просвѣщенія: выходила, просто, картина. Художникъ, бери кисть и пиши! Въ удовольствіи, онъ совершилъ тутъ же легкій прыжокъ, въ родѣ антраша. Вздрогнулъ комодъ и шлепнулась на землю стклянка съ одеколономъ; но это не причинило никакого помѣшательства. Онъ назвалъ, какъ и слѣдовало, глупую стклянку дурой и подумалъ: «Къ кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше...» Какъ вдругъ въ передней—въ родѣ нѣкотораго бряканья сапоговъ со шпорами, и жандармъ въ полномъ вооруженіи, какъ (будто) въ лицѣ его было цѣлое войско: «Приказано сей же часъ явиться къ генералъ-губернатору!» Чичиковъ такъ и обомлѣлъ. Передъ нимъ торчало страшилище съ усами, лошадиный хвостъ на головѣ, черезъ плечо перевязь, черезъ другое перевязь, огромнѣйшій палашъ привѣшенъ къ боку. Ему показалось, что при другомъ боку висѣло и ружье, и чортъ знаетъ что: цѣлое войско въ одномъ только! Онъ началъ было возражать, (страшилище) грубо заговорило: «Приказано сей же часъ». Сквозь дверь въ переднюю онъ увидѣлъ, что тамъ

мелькало и другое страшилище; взглянулъ въ окошко—и экипажъ. Что тутъ дѣлать? Такъ, какъ былъ во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, долженъ былъ сѣсть и, дрожа всѣмъ тѣломъ, отправился къ генералъ-губернатору, и жандармъ съ нимъ.

Въ передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! васъ князь уже ждетъ», сказалъ дежурный чиновникъ. Передъ нимъ, какъ въ туманѣ, мелькнула передняя съ курьерами, принимавшими пакеты, потомъ зала, черезъ которую онъ прошелъ, думая только: «Вотъ какъ схватитъ, да безъ суда, безъ всего, прямо въ Сибирь!» Сердце его забилось съ такой силою, съ какой не бьется даже у наиревнивѣйшаго любовника. Наконецъ, растворилась роковая дверь: предсталъ кабинетъ съ портфелями, шкафами и книгами, и князь, гнѣвный, какъ самъ гнѣвъ.

«Губитель, губитель!»—сказалъ Чичиковъ: «онъ меня зарѣжетъ, какъ волкъ агнца».

«Я васъ пощадилъ, я позволилъ вамъ остаться въ городѣ, тогда какъ вамъ слѣдовало бы въ острогъ; а вы запятнали себя вновь безчестнѣйшимъ мошенничествомъ, какимъ когда-либо запятналъ себя человѣкъ!» Губы князя дрожали отъ гнѣва.

«Какимъ же, ваше сіятельство, безчестнѣйнимъ поступкомъ и мошенничествомъ?»—спросилъ Чичиковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

«Женщина»,—произнесъ князь, подступая нѣсколько ближе и смотря прямо въ глаза Чичикову: «женщина, которая подписывала, по вашей диктовкѣ, завѣщаніе, схвачена и станетъ съ вами на очную ставку».

Свѣтъ помутился въ очахъ Чичикова.

«Ваше сіятельство! Скажу всю истину дѣла. Я виноватъ; точно, виноватъ; но не такъ виноватъ: меня обнесли враги».

«Васъ не можетъ никто обнесть, потому что въ васъ мерзостей въ нѣсколько разъ больше того, что можетъ (выдумать) послѣдній лжецъ. Вы во всю жизнь, я думаю, не дѣлали небезчестнаго дѣла. Всякая копѣйка, добытая вами, (добыта безчестнѣйшимъ образомъ), есть воровство и безчестнѣйшее дѣло, за которое кнутъ и Сибирь! Нѣтъ, теперь полно! Съ сей же минуты будешь отведенъ въ острогъ и тамъ, на-ряду съ послѣдними мерзавцами и разбойниками, ты долженъ (ждать) разрѣшенія участи своей. И это милостиво еще, потому что хуже ихъ въ нѣсколько (разъ): они въ армякѣ и тулупѣ, а ты...» Онъ взглянулъ на фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ и, взявшись за шнурокъ, позвонилъ.

«Ваше сіятельство»,—вскрикнулъ Чичиковъ: «умилосердитесь! Вы отецъ семейства. Не меня пощадите—старуха-мать».

«Врешь!»—вскричалъ гнѣвно князь. «Такъ же ты меня тогда умолялъ дѣтьми и семействомъ, которыхъ у тебя никогда не было, теперь—матерью».

«Ваше сіятельство! я мерзавецъ и послѣдній негодяй»,—сказалъ Чичиковъ голосомъ..... «Я дѣйствительно лгалъ, я не имѣлъ ни дѣтей, ни семейства; но, вотъ Богъ свидѣтель, я всегда хотѣлъ имѣть жену, исполнить долгъ человѣка и гражданина, чтобы дѣйствительно потомъ заслужить уваженіе гражданъ и начальства... Но что за бѣдственныя стеченія обстоятельствъ! Ваше сіятельство! кровью нужно было добывать насущное существованіе. На всякомъ шагу соблазны и искушеніе... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была—точно вихорь буйный или судно среди волнъ, по волѣ вѣтровъ. Я—человѣкъ, ваше сіятельство.»

Слезы вдругъ хлынули ручьями изъ глазъ его. Онъ повалился въ ноги князю, такъ, какъ былъ: во фракѣ наваринскаго пламени съ дымомъ, въ бархатномъ жилетѣ съ атласнымъ галстухомъ, чудесно сшитыхъ штанахъ и головной прическѣ, изливавшей токъ сладкаго дыханія первѣйшаго одеколона, и ударился лбомъ.

«Поди прочь отъ меня! Позвать, чтобы его взяли, солдатъ!»—сказалъ князь взошедшимъ.

«Ваше сіятельство!»—кричалъ (Чичиковъ) и обхватилъ обѣими руками сапогъ князя.

Чувство содроганія пробѣжало по всѣмъ жиламъ (князя).

«Подите прочь, говорю вамъ!»—сказалъ онъ, усиливаясь вырвать свою ногу изъ объятія Чичикова.

«Ваше сіятельство! не сойду съ мѣста, покуда не получу милости»,—говорилъ (Чичиковъ), не выпуская сапогъ князя и проѣхавшись, вмѣстѣ съ ногой, по полу съ фракомъ наваринскаго пламени и дыма.

«Подите, говорю вамъ!»—говорилъ онъ съ тѣмъ неизъяснимымъ чувствомъ отвращенія, какого чувствуетъ человѣкъ при видѣ безобразнѣйшаго насѣкомаго, котораго нѣтъ духу раздавить ногой. Онъ встряхнулъ такъ, что Чичиковъ почувствовалъ ударъ сапога въ носъ, губы и округленный подбородокъ, но не выпустилъ сапога и еще съ большей силой держалъ его въ своихъ объятіяхъ. Два дюжихъ жандарма въ силахъ оттащили его и, взявши подъ руки, повели черезъ всѣ комнаты. Онъ былъ блѣдный, убитый, въ томъ безчувственно-страшномъ состояніи, въ какомъ бываетъ человѣкъ, видящій передъ собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

Въ самыхъ дверяхъ на лѣстницѣ навстрѣчу—Муразовъ. Лучъ надежды вдругъ скользнулъ. Въ одинъ мигъ, съ силой неестественной вырвался онъ изъ рукъ обоихъ жандармовъ и бросился въ ноги изумленному старику.

«Батюшка, Павелъ Ивановичъ! что съ вами?»

«Спасите! ведутъ въ острогъ, на смерть...» Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промзглый, сырой чуланъ, съ запахомъ сапоговъ и онучъ гарнизон-

ныхъ солдатъ, некрашенный столъ, два скверныхъ стула, съ желѣзной рѣшеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой только дымило, а тепла не давало,—вотъ обиталище, гдѣ помѣщенъ былъ нашъ (герой), уже начинавшій вкушать сладость жизни и привлекать вниманіе соотечественниковъ въ тонкомъ новомъ фракѣ наваринскаго пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять съ собой необходимыя вещи, взять шкатулку, гдѣ были деньги, быть-можетъ, достигнутыя..... Бумаги, крѣпости на мертвыхъ—все было теперь у чиновниковъ. Онъ повалился на землю, и безнадежная грусть плотояднымъ червемъ обвилась около его сердца. Съ возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничѣмъ не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свѣтѣ. Но и надъ Чичиковымъ не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Часъ спустя, двери тюрьмы растворились: взошелъ старикъ Муразовъ.

Если бы истерзанному палящей жаждой, покрытому прахомъ и пылью дороги, изнуренному, изможденному путнику влилъ кто въ засохнувшее горло струю ключевой воды,—не такъ бы ею онъ освѣжился, не такъ оживился, какъ оживился бѣдный (Чичиковъ).

«Спаситель мой!»—сказалъ Чичиковъ, вдругъ схвативши съ полу, на который бросился въ разрывающей его печали, его руку, быстро поцѣловалъ и прижалъ къ груди. «Богъ да наградитъ васъ за то, что посѣтили несчастнаго!»

Онъ залился слезами.

Старикъ глядѣлъ на него скорбно-болѣзненнымъ взоромъ и говорилъ только: «Ахъ, Павелъ, Павелъ Ивановичъ! Павелъ Ивановичъ, что вы сдѣлали!»

«Что-жъ дѣлать! Сгубила проклятая! Не зналъ мѣры; не сумѣлъ во-время остановиться. Сатана проклятый обольстилъ, вывелъ изъ предѣловъ разума и благоразумія человѣческаго. Преступилъ, преступилъ! Но только какъ же можно этакъ поступить? Дворянина, дворянина, безъ суда, безъ слѣдствія, бросить въ тюрьму!.. Дворянина, Афанасій Васильевичъ! Да вѣдь какъ же не дать время зайти къ себѣ, распорядиться съ вещами? Вѣдь тамъ у меня все осталось безъ присмотра. Шкатулка, Афанасій Васильевичъ, шкатулка! вѣдь тамъ все имущество. Потомъ пріобрѣлъ, кровью, лѣтами трудовъ, лишеній... Шкатулка, Афанасій Васильевичъ! Вѣдь все украдутъ, разнесутъ! О, Боже!»

И, не въ силахъ будучи удержать порыва вновь подступившей къ сердцу грусти, онъ громко зарыдалъ голосомъ, проникнувшимъ толщу стѣнъ острога и глухо отозвавшимся въ отдаленіи, сорвалъ съ себя атласный галстукъ и, схвативши рукою около воротника, разорвалъ на себѣ фракъ наваринскаго пламени съ дымомъ.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ! какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него не видали страшнаго своего положенія».

«Благодѣтель, спасите, спасите!»—отчаянно закричалъ бѣдный Павелъ Ивановичъ, повалившись къ нему въ ноги. «Князь васъ любитъ, для васъ все сдѣлаетъ».

«Нѣтъ, Павелъ Ивановичъ, не могу, какъ бы ни хотѣлъ, какъ бы ни желалъ. Вы подпали подъ неумолимый законъ, а не подъ власть какого человѣка».

«Искусилъ шельма сатана, извергъ человѣческаго рода!»

Ударился головою въ стѣну, а рукой хватилъ по столу такъ, что разбилъ въ кровь кулакъ, но ни боли въ головѣ, ни жестокости удара не почувствовалъ.

«Павелъ Ивановичъ, успокойтесь, подумайте какъ бы примириться съ Богомъ, а не съ людьми; о бѣдной душѣ своей помыслите».

«Но вѣдь судьба какая, Афанасій Васильевичъ! Досталась ли хоть одному человѣку такая судьба? Вѣдь съ терпѣніемъ, можно сказать, кровавымъ, добывалъ копѣйку, трудами, трудами, не то, чтобы кого ограбилъ, или казну обворовалъ, какъ дѣлаютъ. Зачѣмъ добывалъ копѣйку? Затѣмъ, чтобы въ довольствѣ прожить остатокъ дней; оставить женѣ, дѣтямъ, которыхъ намѣревался пріобрѣсть для блага, для службы отечеству. Вотъ для чего хотѣлъ пріобрѣсти. Покривилъ, не спорю, покривилъ... что жъ дѣлать? Но вѣдь покривилъ только тогда, когда увидѣлъ, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямикъ. Но вѣдь я трудился, я изощрялся. Если бралъ, такъ съ богатыхъ. А эти мерзавцы, которые по судамъ, берутъ тысячи съ казны, небогатыхъ людей грабятъ, послѣднюю копѣйку сдираютъ съ того, у кого нѣтъ ни чего!.. Что-жъ за несчастье такое; скажите,—всякій разъ, что какъ только начинаешь достигать плодовъ и, такъ сказать, уже касаться рукой, вдругъ буря, подводный камень, сокрушеніе въ щепки всего корабля. Вотъ подъ три(ста) тысячъ было капиталу; трехъэтажный домъ былъ уже; два раза уже деревню покупалъ... Ахъ, Афанасій Васильевичъ! за что-жъ такая.....? За что-же такіе удары? Развѣ и безъ того жизнь моя не была, какъ судно среди волнъ? Гдѣ справедливость небесъ? Гдѣ награда за терпѣніе, за постоянство безпримѣрное? Вѣдь я три раза сызнова начиналъ; все потерявши, начиналъ вновь съ копѣйки, тогда какъ иной давно бы съ отчаянія запилъ и сгнилъ въ кабакѣ. Вѣдь сколько нужно было побороть, сколько вынести! Вѣдь всякая (копѣйка) выработана, такъ сказать, всѣми силами души!.. Положимъ, другимъ доставалось легко, но вѣдь для меня была *всякая копѣйка*, какъ говоритъ пословица, *алтыннымъ гвоздемъ прибита*, и эту алтыннымъ гвоздемъ прибитую копѣйку я доставалъ, видитъ Богъ, съ этакой желѣзной неутомимостью».

Онъ зарыдалъ громко, отъ нестерпимой боли сердца, упалъ на стулъ, и оторвалъ совсѣмъ висѣвшую, разорванную полу фрака, и швырнулъ ее прочь отъ себя, и запустивши обѣ руки себѣ въ волоса, объ укрѣпленіи которыхъ прежде такъ старался, безжалостно рвалъ

ихъ, услаждаясь болью, которою хотѣлъ заглушить ничѣмъ неугасимую боль сердца.

Долго сидѣлъ молча предъ нимъ Муразовъ, глядя на это необыкновенное . . . . ., въ первый разъ имъ виданное. А несчастный ожесточенный человѣкъ, еще недавно порхавшій вокругъ съ развязной ловкостью свѣтскаго или военнаго человѣка, метался теперь въ растрепанномъ, непристойномъ (видѣ), въ разорванномъ фракѣ и разстегнутыхъ шароварахъ, (съ) окровавленнымъ разбитымъ кулакомъ, изливая хулу на враждебныя силы, перечащія человѣку.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! какой бы изъ васъ былъ человѣкъ, если бы такъ же, и силою, и терпѣніемъ, да подвизались бы на добрый трудъ, имѣя лучшую цѣль! Боже мой, сколько бы вы надѣлали добра! Если бы хоть кто-нибудь изъ тѣхъ людей, которые любятъ добро, да употребили бы столько усилій для него, какъ вы для добыванья своей копѣйки, да сумѣли бы такъ пожертвовать для добра и собственнымъ самолюбіемъ, и честолюбіемъ, не жалѣя себя, какъ вы не жалѣли для добыванія своей копѣйки,—Боже мой, какъ процвѣла бы наша земля!.. Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ! Не то жаль, что виноваты вы стали предъ другими, а то жаль, что предъ собой стали виноваты—передъ богатыми силами и дарами, которые достались въ удѣлъ вамъ. Назначенье ваше—быть великимъ человѣкомъ, а вы себя запропастили и погубили».

Есть тайны души: какъ бы ни далеко отшатнулся отъ прямого пути заблуждающійся, какъ бы ни ожесточился чувствами безвозвратный преступникъ, какъ бы ни коснѣлъ твердо въ своей совращенной жизни; но если попрекнешь его имъ же, его же достоинствами, имъ опозоренными, въ немъ (все) поколеблется невольно, и весь онъ потрясется.

«Афанасій Васильевичъ»,—сказалъ бѣдный Чичиковъ и схватилъ его обѣими руками за руки: «О, если бы удалось мнѣ освободиться, возвратить мое имущество! Клянусь вамъ, повелъ бы отнынѣ совсѣмъ другую жизнь! Спасите, благодѣтель, спасите!»

«Что-жъ могу я сдѣлать? Я долженъ воевать съ закономъ. Положимъ, если бы я даже и рѣшился на это; но вѣдь князь справедливъ,—онъ ни за что не отступитъ».

«Благодѣтель! вы все можете сдѣлать. Не законъ меня устрашитъ—я передъ закономъ найду средства,—но то, что неповинно я брошенъ въ тюрьму, что я пропаду здѣсь, какъ собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... Спасите!»

Онъ обнялъ ноги старика, облилъ ихъ слезами.

«Ахъ, Павелъ Ивановичъ, Павелъ Ивановичъ!»—говорилъ старикъ Муразовъ, качая (головою): «какъ васъ ослѣпило это имущество! Изъ-за него вы и бѣдной души своей не слышите».

«Подумаю и о душѣ, но спасите!»

«Павелъ Ивановичъ!..»—сказалъ старикъ Муразовъ и остановился. «Спасти васъ не въ моей власти,—вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сдѣлать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павелъ Ивановичъ,—я попрошу у васъ награды за труды: бросьте всѣ эти поползновенья на эти пріобрѣтенья. Говорю вамъ по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества,—а у меня его больше чѣмъ у васъ,—я бы не заплакалъ. Ей, ей, (дѣло) не въ этомъ имуществѣ, которое могутъ у меня конфисковать, а въ томъ, котораго никто не можетъ украсть и отнять! Вы ужъ пожили на свѣтѣ довольно. Вы сами называете жизнь свою судномъ среди волнъ. У васъ есть уже, чѣмъ прожить остатокъ дней. Поселитесь себѣ въ тихомъ уголкѣ, поближе къ церкви и простымъ, добрымъ людямъ; или, если знобитъ сильное желанье оставить по себѣ потомковъ, женитесь на небогатой, доброй дѣвушкѣ, привыкшей къ умѣренности и простому хозяйству. Забудьте этотъ шумный міръ и всѣ его обольстительныя прихоти; пусть и онъ васъ позабудетъ: въ немъ нѣтъ успокоенья. Вы видите: все въ немъ врагъ, искуситель, или предатель».

«Непремѣнно, непремѣнно! Я уже хотѣлъ, уже намѣревался повести жизнь, какъ слѣдуетъ, думалъ заняться хозяйствомъ, умѣрить жизнь. Демонъ-искуситель сбилъ, совлекъ съ пути, сатана, чортъ, исчадье!»

Какія-то невѣдомыя дотолѣ, незнаемыя чувства, ему необъяснимыя, пришли къ нему, какъ будто хотѣло въ немъ что-то пробудиться что-то далекое, что-то ....., что-то подавленное изъ дѣтства суровымъ, мертвымъ поученьемъ, безпривѣтностью скучнаго дѣтства, пустынностью родного жилища, безсемейнымъ одиночествомъ, нищетой и бѣдностью первоначальныхъ впечатлѣній, и какъ будто то, что..... суровымъ взглядомъ судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимнею вьюгой окно, хотѣло вырваться на волю. Стенанье изнеслось изъ устъ его и, наложивъ обѣ ладони на лицо свое, скорбнымъ голосомъ произнесъ онъ: «Правда, правда!»

«И познанье людей, и опытность не помогли на незаконномъ основаньи. А если бы къ этому да основанье законное!.. Эхъ, Павелъ Ивановичъ, зачѣмъ вы себя погубили? Проснитесь: еще не поздно, есть еще время...»

«Нѣтъ, поздно, поздно!»—застоналъ онъ голосомъ, отъ котораго у Муразова чуть не разорвалось сердце. «Начинаю чувствовать, слышу, что не такъ, не такъ иду, и что далеко отступился отъ прямого (пути), но ужъ не могу! Нѣтъ, не такъ воспитанъ. Отецъ мнѣ твердилъ нравоученья, билъ, заставлялъ переписывать съ нравственныхъ правилъ, а самъ кралъ передо мною у сосѣдей лѣсъ и меня еще заставлялъ помогать ему. Завязалъ при мнѣ неправую тяжбу; развратилъ сиротку, которой онъ былъ опекуномъ. Примѣръ сильнѣй правилъ. Вижу,

чувствую, Афанасій Васильевичъ, что жизнь веду не такую, но нѣтъ большого отвращенья отъ порока: огрубѣла натура; нѣтъ любви къ добру, этой прекрасной наклонности къ дѣламъ богоугоднымъ, обращающейся въ натуру, въ привычку... Нѣтъ такой охоты подвизаться для добра, какова есть для полученья имущества. Говорю правду—что-жъ дѣлать!»

Сильно вздохнулъ старикъ...

«Павелъ Ивановичъ! у васъ столько воли, столько терпѣнья. Лѣкарство горько, но вѣдь больной принимаетъ, зная, что иначе не выздоровѣетъ. У васъ нѣтъ любви къ добру,—дѣлайте добро насильно безъ любви къ нему. Вамъ это зачтется еще въ большую заслугу, чѣмъ тому, кто дѣлаетъ добро по любви къ нему. Заставьте (себя) только нѣсколько разъ—потомъ получите и любовь. Повѣрьте, все дѣлаетъ. *Царство нудится*, сказано намъ. Только насильно пробираясь къ нему... насильно нужно пробираться, брать его насильно. Эхъ, Павелъ Ивановичъ! вѣдь (у) васъ есть эта сила, которой нѣтъ у другихъ, это желѣзное терпѣнье—и вамъ ли не одолѣть? Да вы, мнѣ кажется, были бы богатырь. Вѣдь теперь люди—безъ воли все,—слабые».

Замѣтно было, что слова эти вонзились въ самую душу Чичикову и задѣли что-то славолюбивое на днѣ ея. Если не рѣшимость, то что-то крѣпкое и на нее похожее блеснуло въ глазахъ его...

«Афанасій Васильевичъ!»—сказалъ онъ твердо: «если только вымолите мнѣ избавленье и средства уѣхать отсюда съ какимъ-нибудь имуществомъ, я даю вамъ слово начать другую (жизнь); куплю деревеньку, сдѣлаюсь хозяиномъ, буду копить деньги не для себя, но для того, чтобы помогать другимъ, буду дѣлать добро, сколько будетъ силъ; позабуду себя и всякія городскія объѣденія и пиршества, повѣду простую, трезвую жизнь».

«Богъ васъ да подкрѣпитъ въ этомъ намѣреніи!»—сказалъ обрадованный старикъ. «Буду стараться изо всѣхъ силъ, чтобы вымолить у князя ваше освобожденье. Удастся или не удастся, это Богъ (знаетъ). Во всякомъ случаѣ, участь ваша, вѣрно, смягчится. Ахъ, Боже мой! обнимите же, позвольте мнѣ васъ обнять. Какъ вы меня, право, обрадовали! Ну, съ Богомъ, сейчасъ же иду къ князю».

Чичиковъ остался (одинъ).

Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердѣйшій изъ металловъ, всѣхъ долѣе противящійся огню: когда усилить въ горнилѣ огонь, дуютъ мѣха и восходитъ нестерпимый жаръ огня,—бѣлѣетъ упорный и превращается также въ жидкость; подается и крѣпчайшій мужъ въ горнилѣ несчастій, когда, усиливаясь, они нестерпимымъ огнемъ своимъ жгутъ отвердѣлую природу...

«Самъ не умѣю и не чувствую, но всѣ силы употреблю, чтобы другимъ дать почувствовать; самъ дурной и ничего ....., но всѣ силы употреблю, чтобы другихъ настроить; самъ дурной христіанинъ, но

всѣ силы (употреблю), чтобы не подать соблазна. Буду трудиться, буду работать въ потѣ лица въ деревнѣ и займусь честно, такъ, чтобы имѣть доброе вліяніе и на другихъ. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, будто я уже совсѣмъ негодный! Есть способности къ хозяйству; я имѣю качества бережливости, расторопности и благоразумія, даже постоянства. Стоитъ только рѣшиться...»

Такъ думалъ Чичиковъ и полупробужденными силами души, казалось, что-то осязалъ. Казалось, природа его темнымъ чутьемъ стала слышать, что есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человѣку на землѣ, который можно исполнять всюду, на всякомъ углѣ, несмотря на всякія обстоятельства, смятенья и движенья, летающія вокругъ человѣка, съ того мѣста и угла, на которомъ онъ поставленъ. И трудолюбивая жизнь, удаленная отъ шума городовъ и тѣхъ оболщеній, которыя отъ праздности выдумалъ, позабывши трудъ, человѣкъ, такъ сильно стала передъ нимъ рисоваться, что онъ уже почти позабылъ всю непріятность своего положенія и, можетъ-быть, готовъ былъ даже возблагодарить Провидѣніе за этотъ тяжелый (ударъ), если только выпустятъ его и отдадутъ хотя часть... Но одностворчатая дверь его нечистаго чулана растворилась, вошла чиновная особа—Самовитовъ, эпикуреецъ, собой лихачъ, въ плечахъ аршинъ, ноги стройныя, отличный товарищъ, кутила и продувная бестія, какъ выражались о немъ сами товарищи. Въ военное время человѣкъ этотъ надѣлалъ бы чудесъ: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимыя, опасныя мѣста, украсть подъ носомъ у самого непріятеля пушку,—это его бы дѣло. Но, за неимѣньемъ военнаго поприща, на которомъ бы, можетъ быть, его сдѣлали бы честнымъ человѣкомъ, онъ пакостилъ отъ всѣхъ силъ. Непостижимое дѣло! странныя онъ имѣлъ убѣжденія и правила: съ товарищами онъ былъ хорошъ, никого не продавалъ и, давши слово, держалъ; но высшее надъ собою начальство онъ считалъ чѣмъ-то въ родѣ непріятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всякимъ слабымъ мѣстомъ, проломомъ или упущеніемъ.

«Знаемъ все объ вашемъ положеніи, все услышали!»—сказалъ онъ, когда увидѣлъ, что дверь за нимъ плотно затворилась. «Ничего, ничего! Не робѣйте: все будетъ поправлено. Всѣ станемъ работать за васъ и—ваши слуги. Тридцать тысячъ на всѣхъ—и ничего больше».

«Будто?»—вскрикнулъ Чичиковъ: «и я буду совершенно оправданъ?»

«Кругомъ! еще вознагражденіе получите за убытки».

«И за трудъ?

«Тридцать тысячъ. Тутъ уже все вмѣстѣ—и нашимъ, и генералъ-губернаторскимъ, и секретарю».

«Но, позвольте, какъ же я могу?.. Мои всѣ вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, подъ присмотромъ»...

«Черезъ часъ получите все. По рукамъ, что ли?»

Чичиковъ далъ руку. Сердце его билось, и онъ не довѣрялъ, чтобы это было возможно...

«Пока прощайте! Поручилъ вамъ (сказать) нашъ общій пріятель, что главное дѣло—спокойствіе и присутствіе духа».

«Гм!»—подумалъ Чичиковъ: «понимаю—юрисконсультъ!»

Самовитовъ скрылся. Чичиковъ, оставшись, все еще не довѣрялъ словамъ, какъ не прошло часа послѣ этого разговора, какъ была принесена шкатулка: бумаги, деньги—все въ наилучшемъ порядкѣ. Самовитовъ явился въ качествѣ распорядителя: выбранилъ поставленныхъ часовыхъ за то, что небдительны, смотрителю приказалъ потребовать еще лишнихъ солдатъ для усиленія присмотра, взялъ не только шкатулку, но отобралъ даже всѣ такія бумаги, которыя могли бы чѣмъ-нибудь компрометировать Чичикова, связалъ все это вмѣстѣ, запечаталъ и повелѣлъ самому солдату отнести немедленно къ самому Чичикову, въ видѣ необходимыхъ ночныхъ и спальныхъ вещей, такъ что Чичиковъ, вмѣстѣ съ бумагами, получилъ даже и все теплое, что нужно было для покрытія бреннаго его тѣла. Это скорое доставленіе обрадовало его несказанно. Онъ возымѣлъ сильную надежду, и уже начали ему вновь грезиться кое-какія приманки: вечеромъ театръ, плясунья, за которою онъ волочился. Деревня и тишина стали казаться блѣднѣй, городъ и шумъ—опять ярче, яснѣй... О, жизнь!

А между тѣмъ завязалось дѣло размѣра безпредѣльнаго въ судахъ и палатахъ. Работали перья писцовъ и, понюхивая табакъ, трудились казусныя головы, любуясь, какъ художники, крючковатой строкой. Юрисконсультъ, какъ скрытый магъ, незримо ворочалъ всѣмъ механизмомъ; всѣхъ опуталъ рѣшительно, прежде, чѣмъ кто успѣлъ осмотрѣться. Путаница увеличилась. Самовитовъ превзошелъ самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, гдѣ караулилась схваченная женщина, онъ явился прямо и вошелъ такимъ молодцомъ и начальникомъ, что часовой сдѣлалъ ему честь и вытянулся въ струнку. «Давно ты здѣсь стоишь?»—«Съ утра, ваше благородіе».—«Долго до смѣны?»—«Три часа, ваше благородіе».—«Ты мнѣ будешь нуженъ. Я скажу офицеру, чтобы намѣсто тебя отрядилъ другого».—«Слушаю, ваше благородіе!» И, уѣхавъ домой, ни минуты не медля, чтобы не замѣшивать никого и всѣ концы въ воду, самъ нарядился жандармомъ, оказался въ усахъ и бакенбардахъ—самъ чортъ бы не узналъ. Явился въ домѣ, гдѣ былъ Чичиковъ, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдалъ ее двумъ чиновнымъ молодцамъ, докамъ тоже, а самъ прямо явился, въ усахъ и съ ружьемъ, какъ слѣдуетъ, къ часовымъ: «Ступай къ ..... меня прислалъ командиръ выстоять, намѣсто тебя, смѣну». Обмѣнился и сталъ самъ съ ружьемъ. Только этого было и нужно. Въ это время, намѣсто прежней бабы очутилась другая, ни чего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куда-то такъ, что и

потомъ не узнали, куда она дѣлась. Въ то время, когда Самовитовъ подвизался въ лицѣ воина, юрисконсультъ произвелъ чудеса на гражданскомъ поприщѣ: губернатору далъ знать стороною, что прокуроръ на него пишетъ доносъ; жандармскому чиновнику далъ знать, (что) секретно проживающій чиновникъ пишетъ на него доносы; секретно проживавшаго чиновника увѣрилъ, что есть еще секретнѣйшій чиновникъ, который на него доноситъ,—и всѣхъ привелъ въ такое положеніе, что къ нему должны всѣ были обратиться за совѣтами. Произошла такая безтолковщина: доносъ сѣлъ верхомъ на доносѣ, и пошли открываться такія дѣла, которыхъ и солнце не видывало, и даже такія, которыхъ и не было. Все пошло въ работу и въ дѣло: и кто незаконнорожденный сынъ, и какого рода и званья, и у кого любовница, и чья жена за кѣмъ волочится. Скандалы, соблазны и все такъ замѣшалось и сплелось вмѣстѣ съ исторіей Чичикова, съ мертвыми душами, что никоимъ образомъ нельзя было понять, которое изъ этихъ дѣлъ было главнѣйшая чепуха: оба казались равнаго достоинства. Когда стали, наконецъ, поступать бумаги къ генералъ-губернатору, бѣдный князь ничего не могъ понять. Весьма умный и расторопный чиновникъ, которому поручено было сдѣлать экстрактъ, чуть не сошелъ съ ума: никакимъ образомъ нельзя было поймать нити дѣла. Князь былъ въ это время озабоченъ множествомъ другихъ дѣлъ, одно другого непріятнѣйшихъ. Въ одной части губерніи оказался голодъ. Чиновники, посланные раздать хлѣбъ, какъ-то не такъ распорядились, какъ слѣдовало. Въ другой части губерніи расшевелились раскольники. Кто-то пропустилъ между ними, что народился антихристъ, который и мертвымъ не даетъ покой, скупая какія-то мертвыя души. Каялись и грѣшили и, подъ видомъ изловить антихриста, укокошили не-антихристовъ. Въ другомъ мѣстѣ мужики взбунтовались противъ помѣщиковъ и капитанъ-исправниковъ. Какіе-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступаетъ такое время, что мужики должны (быть) помѣщики и нарядиться во фраки, а помѣщики нарядиться въ армяки и будутъ мужики,—и цѣлая волость, не размысля того, что слишкомъ много выйдетъ тогда помѣщиковъ и капитанъ-исправниковъ, отказалась платить..... подать. Нужно было прибѣгнуть къ насильственнымъ мѣрамъ. Бѣдный князь былъ въ самомъ разстроенномъ состояніи духа. Въ это время доложили ему, что пришелъ откупщикъ. «Пусть войдетъ», сказалъ князь. Старикъ взошелъ.

«Вотъ вамъ Чичиковъ! Вы стояли за него и защищали. Теперь онъ попался въ такомъ дѣлѣ, на какое послѣдній воръ не рѣшился».

«Позвольте вамъ доложить, ваше сіятельство, что я не очень понимаю это дѣло».

«Подлогъ завѣщанія, и еще какой!... Публичное наказаніе плетьми за этакое дѣло!»

«Ваше сіятельство,—скажу не съ тѣмъ, чтобы защищать Чичикова, но вѣдь это—дѣло не доказанное: слѣдствіе еще не сдѣлано».

«Улика: женщина, которая была наряжена намѣсто умершей, схвачена. Я ее хочу разспросить нарочно при васъ». Князь позвонилъ и далъ приказъ позвать ту женщину.

Муразовъ замолчалъ.

«Безчестнѣйшее дѣло! И, къ стыду, замѣшались первые чиновники города, самъ губернаторъ. Онъ не долженъ быть тамъ, гдѣ воры и бездѣльники!»—сказалъ князь съ жаромъ.

«Вѣдь губернаторъ—наслѣдникъ; онъ имѣлъ право на притязанія; а что другіе-то со всѣхъ сторонъ прицѣпились, такъ это-съ, ваше сіятельство, человѣческое дѣло. Умерла-съ богатая, распоряженія умнаго и справедливаго не сдѣлала; слетѣлись со всѣхъ сторонъ охотники поживиться—человѣческое дѣло»...

«Но вѣдь мерзости зачѣмъ же дѣлать?... Подлецы!»—сказалъ князь съ чувствомъ негодованія. «Ни одного чиновника нѣтъ у меня хорошаго: всѣ мерзавцы!»

«Ваше сіятельство! да кто-жъ изъ насъ, какъ слѣдуетъ, хорошъ? Всѣ чиновники нашего города—люди, имѣютъ достоинства и многіе очень знающіе въ дѣлѣ, а отъ грѣха всякъ близокъ».

«Послушайте, Афанасій Васильевичъ: скажите мнѣ,—я васъ одного знаю за честнаго человѣка,—что у васъ за страсть защищать всякаго рода мерзавцевъ?»

«Ваше сіятельство»,—сказалъ Муразовъ: «кто бы ни былъ человѣкъ, котораго вы называете мерзавцемъ, но вѣдь онъ человѣкъ. Какъ же не защищать человѣка, когда знаешь, что онъ половину золъ дѣлаетъ отъ грубости и невѣдѣнья? Вѣдь мы дѣлаемъ несправедливости на всякомъ шагу и всякую минуту бываемъ причиной несчастія другого, даже и не съ дурнымъ намѣреніемъ. Вѣдь ваше сіятельство сдѣлали также большую несправедливость».

«Какъ!»—воскликнулъ съ изумленіемъ князь, совершенно пораженный такимъ нежданнымъ оборотомъ рѣчи.

Муразовъ остановился, помолчалъ, какъ бы соображая что-то, и, наконецъ, сказалъ: «Да вотъ хоть бы по дѣлу Дѣрпѣнникова».

«Афанасій Васильевичъ! преступленіе противъ коренныхъ государственныхъ законовъ, равное измѣнѣ землѣ своей!»

«Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который, по неопытности своей, былъ обольщенъ и сманенъ другими, осудить такъ, какъ и того, который былъ одинъ изъ зачинщиковъ? Вѣдь участь постигла равная и Дѣрпѣнникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а вѣдь преступленія ихъ не равны».

«Ради Бога»...—сказалъ князь съ замѣтнымъ волненіемъ: «вы что-нибудь знаете объ этомъ? скажите. Я именно недавно послалъ еще прямо въ Петербургъ объ смягченіи его участи».

«Нѣтъ, ваше сіятельство, я не насчетъ того говорю, чтобы я зналъ что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило въ его пользу, да онъ самъ не согласится, потому что чрезъ это пострадалъ бы другой. А я думаю только то, что не изволили-ль вы тогда слишкомъ поспѣшить? Извините, ваше сіятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы нѣсколько разъ приказывали мнѣ откровенно говорить. У меня-съ, когда я еще былъ начальникомъ, много было всякихъ работниковъ, и дурныхъ, и хорошихъ. (Слѣдовало бы тоже) принять во вниманіе и прежнюю жизнь человѣка, потому что, если не разсмотришь все хладнокровно, а накричишь съ перваго раза,—запугаешь только его, да и признанія настоящаго не добьешься; а какъ съ участіемъ его разспросишь, какъ братъ брата,—самъ-съ все выскажетъ и даже не проситъ о смягченіи, и ожесточенія ни противъ кого нѣтъ, потому что ясно видитъ, что не я его наказываю: я законъ».

Князь задумался. Въ это время вошелъ молодой чиновникъ и почтительно остановился съ портфелемъ. Забота, трудъ выражались на его молодомъ и еще свѣжемъ лицѣ. Видно было, что онъ не даромъ служилъ по особымъ порученіямъ. Это былъ одинъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которые занимались дѣлопроизводствомъ con amore. Не сгорая ни честолюбіемъ, ни желаніемъ прибытковъ, ни подражаніемъ другимъ, онъ занимался только потому, что былъ убѣжденъ, что ему нужно быть здѣсь, а не на другомъ мѣстѣ, что для этого дана ему жизнь. Слѣдить, разобрать по частямъ и, поймавши всѣ нити запутаннѣйшаго дѣла, разъяснить его, разобрать по частямъ—это было его дѣло. И труды, и старанія, и безсонныя ночи вознаграждались ему изобильно, если дѣло, наконецъ, начинало передъ нимъ объясняться, сокровенныя причины обнаруживаться, и онъ чувствовалъ, что можетъ передать его все въ немногихъ словахъ, отчетливо и ясно, такъ что всякому будетъ очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученикъ, когда предъ нимъ раскрывалась какая-(нибудь) труднѣйшая фраза и обнаруживался настоящій смыслъ мысли великаго писателя, какъ радовался онъ, когда предъ нимъ распутывалось запутаннѣйшее дѣло. Зато *)...

«...хлѣбомъ въ мѣстахъ, гдѣ голодъ; я эту часть получше знаю чиновниковъ: разсмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сіятельство, я поговорю и съ раскольниками. Они-то съ нашимъ братомъ, съ простымъ человѣкомъ, охотнѣе разговорятся, такъ, Богъ вѣсть, можетъ-быть, помогу уладиться съ ними миролюбиво. А чиновники не сладятъ: завяжется объ этомъ переписка, да притомъ они такъ уже запутались въ бумагахъ, что ужъ дѣла изъ-за нихъ и не видятъ. А денегъ-то отъ васъ я не возьму, потому что, ей

*) Послѣ этого въ рукописи большой пропускъ.

Богу, стыдно въ такое время думать о своей прибыли, когда умираютъ съ голода. У меня есть въ запасѣ готовый хлѣбъ; я и теперь еще послалъ въ Сибирь, и къ будущему лѣту вновь подвезутъ».

«Васъ можетъ только наградить одинъ Богъ за такую службу, Афанасій Васильевичъ. А я вамъ не скажу ни одного слова, потому что,—вы сами можете чувствовать,—всякое слово тутъ безсильно. Но позвольте мнѣ одно сказать насчетъ той просьбы. Скажите сами: имѣю ли я право оставить это дѣло безъ вниманія, и справедливо ли, честно ли съ моей стороны будетъ простить мерзавцевъ»?

«Ваше сіятельство, ей Богу, этакъ нельзя назвать, тѣмъ болѣе, что изъ (нихъ) есть многіе весьма достойные. Затруднительны положенія человѣка, ваше сіятельство, очень, очень затруднительны. Бываетъ такъ, что кажется кругомъ виноватъ человѣкъ; а какъ войдешь—даже и не онъ».

«Но что скажутъ они сами, если оставлю? Вѣдь есть изъ нихъ, которые послѣ этого еще больше подымутъ носъ и будутъ даже говорить, что они напугали. Они первые будутъ не уважать»...

«Ваше сіятельство, позвольте мнѣ вамъ дать свое мнѣніе: соберите ихъ всѣхъ, дайте имъ знать, что вамъ все извѣстно, и представьте имъ ваше собственное положеніе точно такимъ самымъ образомъ, какъ вы его изволили изобразить сейчасъ передо мной, и спросите у нихъ совѣта: что (бы) изъ нихъ каждый сдѣлалъ на вашемъ положеніи»?

«Да вы думаете, имъ будутъ доступны движенія благороднѣйшія, чѣмъ каверзничать и наживаться? Повѣрьте, они надо мной посмѣются».

«Не думаю-съ, ваше сіятельство. У человѣка, даже и у того, кто похуже другихъ, все-таки чувство справедливо. Развѣ ужъ жидъ какой-нибудь, а не русскій... Нѣтъ, ваше сіятельство, вамъ нечего скрываться. Скажите такъ точно, какъ изволили передо (мной). Вѣдь они васъ поносятъ, какъ человѣка честолюбиваго, гордаго, который и слышать ничего не хочетъ, увѣренъ въ себѣ,—такъ пусть же увидятъ все, какъ оно есть. Что-жъ вамъ? Вѣдь ваше дѣло правое. Скажите имъ такъ, какъ бы вы не предъ ними, а предъ Самимъ Богомъ принесли свою исповѣдь».

«Афанасій Васильевичъ»,—сказалъ князь въ раздумьи: «я объ этомъ подумаю, а покуда благодарю васъ очень за совѣтъ».

«А Чичикова, ваше сіятельство, прикажите отпустить».

«Скажите этому Чичикову, чтобы онъ убирался отсюда, какъ можно поскорѣй, и чѣмъ дальше, тѣмъ лучше. Его-то уже я бы никогда не простилъ».

Муразовъ поклонился и прямо отъ князя отправился къ Чичикову. Онъ нашелъ Чичикова уже въ духѣ, весьма покойно занимавшагося довольно порядочнымъ обѣдомъ, который былъ ему принесенъ въ фаянсовыхъ судкахъ изъ какой-то весьма порядочной кухни. По первымъ фразамъ разговора старикъ замѣтилъ тотчасъ, что Чичи-

ковъ уже успѣлъ переговорить кое-съ-кѣмъ изъ чиновниковъ-казусниковъ. Онъ даже понялъ, что сюда вмѣшалось невидимое участіе знатока-юрисконсульта.

«Послушайте-съ, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ онъ: «я привезъ вамъ свободу на такомъ условіи, чтобы сейчасъ васъ не было въ городѣ. Собирайте всѣ пожитки свои—да и съ Богомъ, не откладывая ни минуты, потому что дѣло еще хуже. Я знаю-съ, васъ тутъ одинъ человѣкъ настраиваетъ; такъ объявляю вамъ по секрету, что такое еще дѣло одно открывается, что ужъ никакія силы не спасутъ этого. Онъ, конечно, радъ другихъ топить, чтобы не скучно, да дѣло къ раздѣлкѣ. Я васъ оставилъ въ расположеніи хорошемъ,—лучшемъ, нежели въ какомъ теперь. Совѣтую вамъ-съ не въ шутку. Ей, ей, дѣло не въ этомъ имуществѣ, изъ-за котораго спорятъ люди и рѣжутъ другъ друга, точно какъ можно завести благоустройство въ здѣшней жизни, не помысливши о другой жизни. Повѣрьте-съ, Павелъ Ивановичъ, что покамѣстъ, брося все, изъ-за чего грызутъ и ѣдятъ другъ друга на землѣ, не подумаютъ о благоустройствѣ душевнаго имущества, —не установится благоустройство и земного имущества. Наступятъ времена голода и бѣдности, какъ во всемъ народѣ, такъ и порознь во всякомъ... Это-съ ясно. Что ни говорите, вѣдь отъ души зависитъ тѣло. Какъ же хотѣть, чтобы (шло), какъ слѣдуетъ? Подумайте не о мертвыхъ душахъ, а(о) своей живой душѣ, да и съ Богомъ на другую дорогу! Я то-жъ выѣзжаю завтрашній день. Поторопитесь! не то— безъ меня бѣда будетъ».

Сказавши это, старикъ вышелъ. Чичиковъ задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажнымъ. «Муразовъ правъ», сказалъ онъ: «пора на другую дорогу!» Сказавши это, онъ вышелъ изъ тюрьмы. Часовой потащилъ за нимъ шкатулку..... Селифанъ и Петрушка обрадовались, какъ Богъ знаетъ чему, освобожденію барина. «Ну, любезные», сказалъ Чичиковъ, обратившись (къ нимъ) милостиво: «нужно укладываться, да ѣхать».

«Покатимъ, Павелъ Ивановичъ»,—сказалъ Селифанъ. «Дорога, должно-быть, установилась: снѣгу выпало довольно. Пора ужъ, право, выбраться изъ города. Надоѣлъ онъ такъ, что и глядѣть на него не хотѣлъ бы».

«Ступай къ каретнику, чтобы поставилъ коляску на полозки»,— сказалъ Чичиковъ, а самъ пошелъ въ городъ, но ни (къ кому) не хотѣлъ заходить отдавать прощальныхъ визитовъ. Послѣ всего этого событія было и неловко,—тѣмъ болѣе, что о немъ множество ходило въ городѣ самыхъ неблагопріятныхъ исторій. Онъ избѣгалъ всякихъ (встрѣчъ) и зашелъ потихоньку только къ тому купцу, у котораго купилъ сукна наваринскаго пламени съ дымомъ, взялъ вновь четыре аршина на фракъ и на штаны и отправился самъ къ тому же портному. За двойную (цѣну) мастеръ рѣшился усилить рвеніе и засадилъ всю

ночь работать при свѣчахъ портное народонаселеніе иглами, утюгами и зубами, и фракъ на другой день былъ готовъ, хотя и немножко поздно. Лошади всѣ были запряжены. Чичиковъ, однакожъ, фракъ примѣрилъ. Онъ былъ хорошъ, точь-въ-точь какъ прежній. Но, увы! онъ замѣтилъ, что въ головѣ уже бѣлѣло что-то гладкое, и примолвилъ грустно: «И зачѣмъ было предаваться такъ сильно сокрушенію? А рвать волосъ не слѣдовало бы и подавно». Расплатившись съ портнымъ, онъ выѣхалъ наконецъ изъ города въ какомъ-то странномъ положеніи. Это былъ не прежній Чичиковъ; это была какая-то развалина прежняго Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояніе души съ разобраннымъ строеніемъ, которое разобрано съ тѣмъ, чтобы строить изъ него же новое, а новое еще не начиналось, потому что не пришелъ еще отъ архитектора опредѣлительный планъ, и работники остались въ недоумѣніи. Часомъ прежде его отправился старикъ Муразовъ, въ рогоженной кибиткѣ, вмѣстѣ съ Потапычемъ, а часомъ послѣ отъѣзда Чичикова пошло приказаніе, что князь, по случаю отъѣзда въ Петербургъ, желаетъ видѣть всѣхъ чиновниковъ до едина.

Въ большомъ залѣ генералъ-губернаторскаго дома собралось все чиновное сословіе города, начиная отъ губернатора до титулярнаго совѣтника: правители канцелярій и дѣлъ, совѣтники, асессоры, Кислоѣдовъ, Красноносовъ, Самовитовъ, не бравшіе, бравшіе, кривившіе душой, полукривившіе и вовсе не кривившіе. Всѣ не безъ волненія и безпокойства ожидали выхода генералъ-губернатора. Князь вышелъ ни мрачный, ни ясный: взоръ его былъ твердъ такъ же, какъ и шагъ. Все чиновное собраніе поклонилось, многіе—въ поясъ. Отвѣтивъ легкимъ поклономъ, князь началъ:

«Уѣзжая въ Петербургъ, я почелъ приличнымъ повидаться съ вами со всѣми и даже объяснить вамъ отчасти причину. У насъ завязалось дѣло очень соблазнительное. Я полагаю, что многіе изъ предстоящихъ знаютъ, о какомъ дѣлѣ я говорю. Дѣло это повело за собою открытіе и другихъ, не менѣе безчестныхъ дѣлъ, въ которыхъ замѣшались даже, наконецъ, и такіе люди, которыхъ я доселѣ почиталъ честными. Извѣстна мнѣ даже и сокровенная цѣль спутать такимъ образомъ все, чтобы оказалась полная невозможность рѣшить формальнымъ порядкомъ. Знаю даже и кто главный, и чьимъ сокровеннымъ.....,хотя онъ и очень искусно скрылъ свое участіе. Но дѣло въ томъ, что я намѣренъ это слѣдить не формальнымъ слѣдованіемъ по бумагамъ, а военнымъ быстрымъ судомъ, какъ въ военное (время), и надѣюсь, что государь мнѣ дастъ это право, когда я изложу все это дѣло. Въ такомъ случаѣ, когда нѣтъ возможности произвести дѣло гражданскимъ образомъ, когда горятъ шкафы съ (бумагами), и, наконецъ, излишествомъ лживыхъ постороннихъ показаній и ложными доносами стараются затемнить и безъ того довольно темное дѣло,—

я полагаю военный судъ единственнымъ средствомъ и желаю знать мнѣніе ваше».

Князь остановился, какъ (бы) ожидая отвѣта. Все стояло, потупивъ глаза въ землю. Многіе были блѣдны.

«Извѣстно мнѣ также еще одно дѣло, хотя производившіе его въ полной увѣренности, что оно никому не можетъ быть извѣстно. Производство его уже пойдетъ не по бумагамъ, потому что истцомъ и челобитчикомъ я буду уже самъ и представлю очевидныя доказательства».

Кто-то вздрогнулъ среди чиновнаго собранія; нѣкоторые изъ боязливѣйшихъ тоже смутились.

«Само по себѣ, что главнымъ зачинщикамъ должно послѣдовать лишеніе чиновъ и имущества, прочимъ отрѣшеніе отъ мѣстъ. Само собою разумѣется, что въ числѣ ихъ пострадаетъ и множество невинныхъ. Что-жъ дѣлать? дѣло слишкомъ безчестное и вопіетъ о правосудіи. Хотя я знаю, что это будетъ даже и не въ урокъ другимъ, потому что на мѣсто выгнанныхъ явятся другіе, и тѣ самые, которые дотолѣ были честны, сдѣлаются безчестными, и тѣ самые, которые удостоены будутъ довѣренности, обманутъ и продадутъ, — несмотря на все это, я долженъ поступить жестоко, потому что вопіетъ правосудіе. Знаю, что будутъ меня обвинять въ суровой жестокости, но знаю, что тѣ будутъ еще..... обвин..... я долженъ обратить такихъ только въ одно безчувственное орудіе правосудія, которое должно упасть на головы».....

Содроганіе невольно пробѣжало по всѣмъ лицамъ.

Князь былъ спокоенъ. Ни гнѣва, ни возмущенія душевнаго не выражало его лицо.

«Теперь тотъ самый, у котораго въ рукахъ участь многихъ, и котораго никакія просьбы не въ силахъ были умолить, тотъ самый теперь васъ всѣхъ проситъ. Все будетъ позабыто, изглажено, прощено; я буду вамъ ходатаемъ за всѣхъ, если исполните мою просьбу. Вотъ моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаніями нельзя искоренить неправды: она слишкомъ уже глубоко вкоренилась. Безчестное дѣло брать взятки сдѣлалось необходимостью и потребностью даже и для такихъ людей, которые и не рождены быть безчестными. Знаю, что уже почти невозможно многимъ идти противу всеобщаго теченія. Но я теперь долженъ, какъ въ рѣшительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякій гражданинъ несетъ все и жертвуетъ всѣмъ, я долженъ сдѣлать кличъ, хотя къ тѣмъ, у которыхъ еще есть въ груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово *благородство*. Что тутъ говорить о томъ, кто болѣе изъ насъ виноватъ! Я, можетъ-быть, больше всѣхъ виноватъ; я, можетъ-быть, слишкомъ сурово васъ принялъ вначалѣ; можетъ-быть, излишней подозрительностью я оттолкнулъ изъ васъ тѣхъ, которые искренно хотѣли мнѣ быть полезными,

хотя и я съ своей стороны могъ бы также сдѣлать..... Если они уже дѣйствительно любили справедливость и добро своей земли, не слѣдовало бы имъ оскорбиться и надменностью моего обращенія, слѣдовало бы имъ подавить въ себѣ собственное честолюбіе и пожертвовать своею личностью. Не можетъ быть, чтобы я не замѣтилъ ихъ самоотверженія и высокой любви къ добру и не принялъ бы, наконецъ, отъ нихъ полезныхъ и умныхъ совѣтовъ. Все-таки скорѣй подчиненному слѣдуетъ примѣняться къ нраву начальника, чѣмъ начальнику къ нраву подчиненнаго. Это законнѣй по крайней мѣрѣ и легче, потому что у подчиненныхъ одинъ начальникъ, а у начальника сотня подчиненныхъ. Но оставимъ теперь въ сторонѣ, кто кого больше виноватъ. Дѣло въ томъ, что пришло намъ спасать нашу землю; что гибнетъ уже земля наша не отъ нашествія двадцати иноплеменныхъ языковъ, а отъ насъ самихъ; что уже, мимо законнаго управленія, образовалось другое правленіе, гораздо сильнѣйшее всякаго законнаго. Установились свои условія, все оцѣнено, и цѣны даже приведены во всеобщую извѣстность. И никакой правитель, хотя бы онъ былъ мудрѣе всѣхъ законодателей и правителей, не въ силахъ поправить зла, какъ (ни) ограничивай онъ въ дѣйствіяхъ дурныхъ чиновниковъ приставленьемъ въ надзиратели другихъ чиновниковъ. Все будетъ безуспѣшно, покуда не почувствовалъ изъ насъ всякъ, что онъ такъ же, какъ въ эпоху возстанія народовъ вооружался противъ....., такъ долженъ возстать противъ неправды. Какъ русскій, какъ связанный съ вами единокровнымъ родствомъ, одной и той же кровью, я теперь обращаюсь (къ) вамъ. Я обращаюсь къ тѣмъ изъ васъ, кто имѣетъ понятіе какое-нибудь о томъ, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долгъ, который на всякомъ мѣстѣ предстоитъ человѣку. Я приглашаю разсмотрѣть ближе свой долгъ и обязанность земной своей должности, потому что это уже намъ всѣмъ темно представляется, и мы едва».....

ВЫБРАННЫЯ МѢСТА ИЗЪ ПЕРЕПИСКИ СЪ ДРУЗЬЯМИ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Я былъ тяжело боленъ; смерть уже была близко. Собравши остатокъ силъ своихъ и воспользовавшись первою минутой полной трезвости моего ума, я написалъ духовное завѣщаніе, въ которомъ, между прочимъ, возлагалъ обязанность на друзей моихъ издать, послѣ моей смерти, нѣкоторыя изъ моихъ писемъ. Мнѣ хотѣлось хотя симъ искупить безполезность всего, доселѣ мною напечатаннаго, потому что въ письмахъ моихъ, по признанію тѣхъ, къ которымъ они были писаны, находится болѣе нужнаго для человѣка, нежели въ моихъ сочиненіяхъ. Небесная милость Божія отвела отъ меня руку смерти. Я почти выздоровѣлъ; мнѣ стало легче. Но чувствую, однако, слабость силъ моихъ, которая возвѣщаетъ мнѣ ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ и, приготовляясь къ отдаленному путешествію къ Святымъ Мѣстамъ, необходимому душѣ моей, во время котораго можетъ все случиться, я захотѣлъ оставить при разставаньи что-нибудь отъ себя моимъ соотечественникамъ. Выбираю самъ изъ моихъ послѣднихъ писемъ, которыя мнѣ удалось получить назадъ, все, что болѣе относится къ вопросамъ, занимающимъ нынѣ общество, отстранивши все, что можетъ получить смыслъ только послѣ моей смерти, съ исключеніемъ всего, что могло имѣть значеніе только для немногихъ. Прибавляю двѣ-три статьи литературныя и, наконецъ, прилагаю самое завѣщаніе, съ тѣмъ, чтобы, въ случаѣ моей смерти, если бы она застигла меня на пути моемъ, возымѣло оно тотчасъ свою законную силу, какъ засвидѣтельствованное всѣми моими читателями.

Сердце мое говоритъ мнѣ, что книга моя нужна и что она можетъ быть полезна. Я думаю такъ не потому, чтобы имѣлъ высокое о себѣ понятіе и надѣялся на умѣнье свое быть полезнымъ, но потому, что никогда еще доселѣ не питалъ такого сильнаго желанія быть полезнымъ. Отъ насъ уже довольно бываетъ протянуть руку съ тѣмъ, чтобы помочь; помогаемъ же не мы, помогаетъ Богъ, ниспосылая силу слову безсильному. Итакъ, сколь бы ни была моя книга незначительна и ничтожна, но я позволяю себѣ издать ее въ свѣтъ и прошу моихъ соотечественниковъ прочитать ее нѣсколько разъ; въ то же время прошу тѣхъ изъ нихъ, которые имѣютъ достатокъ, купить нѣсколько ея экземпляровъ и раздать тѣмъ, которые сами купить не могутъ, увѣдомляя ихъ при этомъ случаѣ, что всѣ деньги, какія перевысятъ

издержки на предстоящее мнѣ путешествіе, будутъ обращены, съ одной стороны, въ подкрѣпленіе тѣмъ, которые, подобно мнѣ, почувствуютъ потребность внутреннюю отправиться къ наступающему Великому посту во Святую Землю и не будутъ имѣть возможности совершить это одними собственными средствами; съ другой стороны— въ пособіе тѣмъ, которыхъ я встрѣчу на пути уже туда идущихъ и которые всѣ помолятся у Гроба Господня за моихъ читателей, своихъ благотворителей.

Путешествіе мое хотѣлъ бы я совершить, какъ добрый христіанинъ, и потому испрашиваю здѣсь прощенія у всѣхъ моихъ соотечественниковъ во всемъ, чѣмъ ни случилось мнѣ оскорбить ихъ. Знаю, что моими необдуманными и незрѣлыми сочиненіями нанесъ я огорченіе многимъ, а другихъ даже вооружилъ противъ себя, вообще же во многихъ произвелъ неудовольствіе. Въ оправданіе могу сказать только то, что намѣреніе мое было доброе и что я никого не хотѣлъ ни огорчать, ни вооружать противъ себя; но одно мое собственное неразуміе, одна моя поспѣшность и торопливость были причиной тому, что сочиненія мои предстали въ такомъ несовершенномъ видѣ и почти всѣхъ привели въ заблужденіе насчетъ ихъ настоящаго смысла; за все же, что ни встрѣчается въ нихъ умышленно-оскорбляющаго, прошу простить меня съ тѣмъ великодушіемъ, съ какимъ только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всѣхъ тѣхъ, съ которыми надолго или на короткое время случилось мнѣ встрѣтиться на дорогѣ жизни. Знаю, что мнѣ случилось многимъ наносить непріятности, иным, быть-можетъ, и умышленно. Вообще въ обхожденіи моемъ съ людьми всегда было много непріятно-отталкивающаго. Отчасти это происходило оттого, что я избѣгалъ встрѣчъ и знакомствъ, чувствуя, что не могу еще произнести умнаго и нужнаго слова человѣку (пустыхъ же и ненужныхъ словъ произносить мнѣ не хотѣлось, и будучи въ то же время убѣжденъ, что, по причинѣ безчисленнаго множества моихъ недостатковъ, мнѣ было необходимо хотя немного воспитать самого себя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ людей. Отчасти же это происходило и отъ мелочного самолюбія, свойственнаго только такимъ изъ насъ, которые изъ грязи пробрались въ люди и считаютъ себя въ правѣ глядѣть спѣсиво на другихъ. Какъ бы то ни было, но я прошу прощенія во всѣхъ личныхъ оскорбленіяхъ, которыя мнѣ случилось нанести кому-либо, начиная отъ временъ моего дѣтства до настоящей минуты. Прошу также прощенія у моихъ собратьевъ-литераторовъ за всякое съ моей стороны пренебреженіе или неуваженіе къ нимъ, оказанное умышленно, или неумышленно; кому же изъ нихъ почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что онъ христіанинъ. Какъ говѣющій передъ исповѣдью, которую гововится отдать Богу, проситъ прощенія у своего брата, такъ я прошу у него прощенія; и такъ, какъ никто въ такую минуту не смѣетъ не простить своего брата, такъ и онъ не

долженъ посмѣть не простить меня. Наконецъ, прошу прощенія у моихъ читателей, если и въ этой самой книгѣ встрѣтится что-нибудь непріятное и кого-нибудь изъ нихъ оскорбляющее. Прошу ихъ не питать противъ меня гнѣва сокровеннаго, но вмѣсто того выставить благородно всѣ недостатки, какіе могутъ быть найдены ими въ этой книгѣ,—какъ недостатки писателя, такъ и недостатки человѣка: мое неразуміе, недомысліе, самонадѣянность, пустую увѣренность въ себѣ, словомъ—все, что бываетъ у всѣхъ людей, хотя они того и не видятъ, и что, вѣроятно, еще въ большей мѣрѣ находится во мнѣ.

Въ заключеніе прошу всѣхъ въ Россіи помолиться обо мнѣ, начиная отъ святителей, которыхъ уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы, какъ у тѣхъ, которые смиренно не вѣруютъ въ силу молитвъ своихъ, такъ и у тѣхъ, которые не вѣруютъ вовсе въ молитву и даже не считаютъ ее нужною; но какъ бы ни была безсильна и черства ихъ молитва, я прошу помолиться обо мнѣ этою самой безсильною и черствою ихъ молитвой. Я же у Гроба Господня буду молиться о всѣхъ моихъ соотечественникахъ, не исключая изъ нихъ ни единаго; моя молитва будетъ такъ же безсильна и черства, если святая небесная милость не превратитъ ее въ то, чѣмъ должна быть наша молитва.

1846, іюль.

I.

Завѣщаніе.

Находясь въ полномъ присутствіи памяти и здраваго разсудка, излагаю здѣсь мою послѣднюю волю.

I. Завѣщаю тѣла моего не погребать по тѣхъ поръ, пока не покажутся явные признаки разложенія. Упоминаю объ этомъ потому, что уже во время самой болѣзни находили на меня минуты жизненнаго онѣмѣнія, сердце и пульсъ переставали биться... Будучи въ жизни своей свидѣтелемъ многихъ печальныхъ событій отъ нашей неразумной торопливости во всѣхъ дѣлахъ, даже и въ такомъ, какъ погребеніе, я возвѣщаю это здѣсь въ самомъ началѣ моего завѣщанія, въ надеждѣ, что, можетъ-быть, посмертный голосъ мой напомнитъ вообще объ осмотрительности. Предать же тѣло мое землѣ, не разбирая мѣста, гдѣ лежать ему; ничего не связывать съ оставшимся прахомъ. Стыдно тому, кто привлечется какимъ-нибудь вниманіемъ къ гніющей персти, которая уже не моя: онъ поклонится червямъ, ее грызущимъ. Прошу лучше помолиться покрѣпче о душѣ моей, а вмѣсто всякихъ погребальныхъ почестей угостить отъ меня простымъ обѣдомъ нѣсколькихъ не имущихъ насущнаго хлѣба.

II. Завѣщаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о такомъ пустякѣ, христіанина недостойномъ. Кому же

изъ близкихъ моихъ я былъ дѣйствительно дорогъ, тотъ воздвигнетъ мнѣ памятникъ иначе: воздвигнетъ онъ его въ самомъ себѣ своею неколебимою твердостью въ жизненномъ дѣлѣ, бодреньемъ и освѣженьемъ всѣхъ вокругъ себя. Кто послѣ моей смерти вырастетъ выше духомъ, нежели какъ былъ при жизни моей, тотъ покажетъ, что онъ, точно, любилъ меня и былъ мнѣ другомъ, и симъ только воздвигнетъ мнѣ памятникъ; потому что и я, какъ ни былъ самъ по себѣ слабъ и ничтоженъ, всегда ободрялъ друзей моихъ, и никто изъ тѣхъ, кто сходился поближе со мною въ послѣднее время,—никто изъ нихъ, въ минуту своей тоски и печали, не видалъ на мнѣ унылаго вида, хотя и тяжки бывали мои собственныя минуты, и тосковалъ я не меньше другихъ: пускай же объ этомъ вспомнитъ всякъ изъ нихъ послѣ моей смерти, сообразя всѣ слова, мной ему сказанныя, и перечтя всѣ письма, къ нему писанныя за годъ передъ симъ.

III. Завѣщаю вообще никому не оплакивать меня, и грѣхъ себѣ возьметъ на душу тотъ, кто станетъ почитать смерть мою какою-нибудь значительною или всеобщею утратой. Если бы даже и удалось мнѣ сдѣлать что-нибудь полезнаго и начиналъ бы я уже исполнять свой долгъ дѣйствительно такъ, какъ слѣдуетъ, и смерть унесла бы меня при началѣ дѣла, замышленнаго не на удовольствіе нѣкоторымъ, но надобнаго всѣмъ,—то и тогда не слѣдуетъ предаваться безплодному сокрушенію. Если бы даже вмѣсто меня умеръ въ Россіи мужъ, дѣйствительно ей нужный въ теперешнихъ ея обстоятельствахъ, то и отъ того не слѣдуетъ приходить въ уныніе никому изъ живущихъ, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всѣмъ нужные, то это знакъ гнѣва небеснаго, отъемлющаго симъ орудія и средства, которыя помогли бы инымъ подвигнуться ближе къ цѣли, насъ зовущей. Не унынію должны мы предаваться при всякой внезапной утратѣ, но оглянуться строго на самихъ себя, помышляя уже не о чернотѣ другихъ и не о чернотѣ всего міра, но о своей собственной чернотѣ. Страшна душевная чернота, и зачѣмъ это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоитъ предъ глазами!

IV. Завѣщаю всѣмъ моимъ соотечественникамъ (основываясь единственно на томъ, что всякій писатель долженъ оставить послѣ себя какую-нибудь благую мысль въ наслѣдство читателямъ), завѣщаю имъ лучшее изъ всего, что произвело перо мое,—завѣщаю имъ мое сочиненіе, подъ названіемъ: *Прощальная повѣсть*. Оно, какъ увидятъ, относится къ нимъ. Его носилъ я долго въ своемъ сердцѣ, какъ лучшее свое сокровище, какъ знакъ небесной милости ко мнѣ Бога. Оно было источникомъ слезъ, никому не зримыхъ, еще отъ временъ дѣтства моего. Его оставляю имъ въ наслѣдство. Но умоляю, да не оскорбится никто изъ моихъ соотечественниковъ, если услышитъ въ немъ что-нибудь похожее на поученіе. Я писатель, а долгъ писателя—не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу; строго

взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространится какая-нибудь польза душѣ и не останется отъ него ничего въ поученіе людямъ. Да вспомнятъ также мои соотечественники, что, и не бывши писателемъ, всякій отходящій отъ міра братъ нашъ имѣетъ право оставить что-нибудь въ видѣ братскаго поученія, и въ этомъ случаѣ нечего глядѣть ни на малость его званія, ни на безсиліе, ни на самое неразуміе его: нужно помнить только то, что человѣкъ, лежащій на смертномъ одрѣ, можетъ иное видѣть лучше тѣхъ, которые кружатся среди міра. Несмотря, однако, на всѣ таковыя права мои, я бы все не дерзнулъ заговорить о томъ, о чемъ они услышатъ въ *Прощальной повѣсти*; ибо не мнѣ, худшему всѣхъ душою, страждущему тяжкими болѣзнями собственнаго несовершенства, произносить такія рѣчи. Но меня побуждаетъ къ тому другая , важнѣйшая причина. Соотечественники! страшно!.. Замираетъ отъ ужаса душа при одномъ только предслышаніи загробнаго величія и тѣхъ духовныхъ высшихъ твореній Бога, предъ которыми пыль все величіе его твореній, здѣсь нами зримыхъ и насъ изумляющихъ. Стонетъ весь умирающій составъ мой, чуя исполинскія возрастанія и плоды, которыхъ сѣмена мы сѣяли въ жизни, не прозрѣвая и не слыша, какія страшилища отъ нихъ подымутся... Можетъ-быть, *Прощальная повѣсть* моя подѣйствуетъ сколько-нибудь на тѣхъ, которые до сихъ поръ еще считаютъ жизнь игрушкою, и сердце ихъ услышитъ хотя отчасти строгую тайну ея и сокровеннѣйшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!—не знаю и не умѣю какъ васъ назвать въ эту минуту—прочь пустое приличіе! Соотечественники! я васъ любилъ,—любилъ тою любовью, которую не высказываютъ, которую мнѣ далъ Богъ, за которую благодарю Его, какъ за лучшее благодѣяніе, потому что любовь эта была мнѣ въ радость и утѣшеніе среди наитягчайшихъ моихъ страданій. Во имя этой любви прошу васъ выслушать сердцемъ мою *Прощальную повѣсть*. Клянусь, я не сочинялъ и не выдумывалъ ея: она выпѣлась сама собою изъ души, которую воспиталъ Самъ Богъ испытаніями и горемъ, а звуки ея взялись изъ сокровенныхъ силъ нашей русской породы, намъ общей, по которой я близкій родственникъ вамъ всѣмъ *).

V. Завѣщаю по смерти моей не спѣшить ни хвалой, ни осужденіемъ моихъ произведеній въ публичныхъ листкахъ и журналахъ: все будетъ такъ же пристрастно, какъ и при жизни. Въ сочиненіяхъ моихъ гораздо больше того, что нужно осудить, нежели того, что заслуживаетъ хвалу. Всѣ нападенія на нихъ были въ основаніи болѣе или менѣе справедливы. Передо мною никто не виноватъ; неблагороденъ и несправедливъ будетъ тотъ, кто попрекнетъ мною кого-либо въ какомъ бы

*) **Прощальная повѣсть** не можетъ явиться въ свѣтъ: что могло имѣть значеніе по смерти, то не имѣетъ смысла при жизни.

то ни было отношеніи. Объявляю также во всеуслышаніе, что, кромѣ доселѣ напечатаннаго, ничего не существуетъ изъ моихъ произведеній: все, что было въ рукописяхъ, мною сожжено, какъ безсильное и мертвое, писанное въ болѣзненномъ и принужденномъ состояніи. А потому, если бы кто-нибудь сталъ выдавать что-либо подъ моимъ именемъ, прошу считать это презрѣннымъ подлогомъ. Но возлагаю вмѣсто того обязанность на друзей моихъ собрать всѣ мои письма, писанныя къ кому-либо, начиная съ конца 1844 года, и,—сдѣлавши изъ нихъ строгій выборъ только того, что можетъ доставить какую-нибудь пользу душѣ, а все прочее, служащее для пустого развлеченія, отвергнувши,—издать отдѣльною книгою. Въ этихъ письмахъ было кое-что послужившее въ пользу тѣмъ, къ которымъ они были писаны. Богъ милостивъ; можетъ-быть, послужатъ они въ пользу и другимъ, и снимется чрезъ то съ души моей хотя часть суровой отвѣтственности за безполезность прежде написаннаго.

VI. (По кончинѣ моей, никто изъ моихъ уже не имѣетъ права принадлежать себѣ, но—всѣмъ тоскующимъ, страдающимъ и претерпѣвающимъ какое-нибудь жизненное горе. Чтобы домъ и деревня ихъ походили скорѣй на гостиницу и страннопріимный домъ, чѣмъ на обиталище помѣщика; чтобы всякій, кто ни пріѣхалъ, былъ ими принятъ, какъ родной и близкій сердцу человѣкъ; чтобы радушно и родственно разспросили они его обо всѣхъ обстоятельствахъ его жизни, дабы узнать, не понадобится ли въ чемъ ему помочь, или же, по крайней мѣрѣ, дабы умѣть ободрить и освѣжить его, чтобы никто изъ ихъ деревни не уѣзжалъ сколько-нибудь неутѣшеннымъ. Если же путникъ простого званія привыкнулъ къ нищенской жизни и ему неловко, почему-либо, помѣститься въ помѣщичьемъ домѣ, то чтобы онъ отведенъ былъ къ зажиточному и лучшему крестьянину по деревнѣ, который былъ бы, притомъ, жизни примѣрной и умѣлъ бы помогать собрату умнымъ совѣтомъ; чтобы онъ разспросилъ своего гостя такъ же радушно обо всѣхъ обстоятельствахъ, ободрилъ, освѣжилъ и снабдилъ разумнымъ напутствіемъ, донеся потомъ обо всемъ владѣльцамъ, дабы и они могли, съ своей стороны, прибавить къ тому свой совѣтъ или вспомоществованіе, какъ и что найдутъ приличнымъ, чтобъ такимъ образомъ никто изъ ихъ деревни не уѣзжалъ и не уходилъ сколько-нибудь неутѣшеннымъ).

VII. Завѣщаю... но я вспомнилъ, что уже не могу этимъ располагать. Неосмотрительнымъ образомъ похищено у меня право собственности: безъ моей воли и позволенія опубликованъ мой портретъ. По многимъ причинамъ, которыя мнѣ объявлять не нужно, я не хотѣлъ этого, не продавалъ никому права на его публичное изданіе и отказывалъ всѣмъ книгопродавцамъ, доселѣ приступавшимъ ко мнѣ съ предложеніемъ, и только въ такомъ случаѣ предполагалъ себѣ это позволить, если бы помогъ мнѣ Богъ совершить тотъ трудъ, которымъ мысль моя была

занята во всю жизнь мою, и притомъ такъ совершить его, чтобы всѣ мои соотечественники сказали въ одинъ голосъ, что я честно исполнилъ свое дѣло, и даже пожелали бы узнать черты лица того человѣка, который до времени работалъ въ тишинѣ и не хотѣлъ пользоваться незаслуженной извѣстностью. Съ этимъ соединялось другое обстоятельство: портретъ мой въ такомъ случаѣ могъ распродаться вдругъ во множествѣ экземпляровъ, принеся значительный доходъ тому художнику, который долженъ былъ гравировать его. Художникъ этотъ уже нѣсколько лѣтъ трудится въ Римѣ надъ гравированіемъ безсмертной картины Рафаэля: Преображеніе Господне. Онъ всѣмъ пожертвовалъ для труда своего,—труда убійственнаго, пожирающаго и годы и здоровье, и съ такимъ совершенствомъ исполнилъ свое дѣло, подходящее нынѣ къ концу, съ какимъ не исполнялъ еще ни одинъ изъ граверовъ. Но, по причинѣ высокой цѣны и малаго числа знатоковъ, эстампъ его не можетъ разойтись въ такомъ количествѣ, чтобы вознаградить его за все; мой портретъ ему помогъ бы. Теперь планъ мой разрушенъ: разъ опубликованное изображеніе кого бы то ни было дѣлается уже собственностью каждаго, занимающагося изданіями гравюръ и литографій. Но если бы случилось такъ, что, послѣ моей смерти, письма, послѣ меня изданныя, доставили бы какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже однимъ только чистосердечнымъ стремленіемъ ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидѣть и портретъ мой, то я прошу всѣхъ таковыхъ издателей благородно отказаться отъ своего права; тѣхъ же моихъ читателей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется извѣстностью, завели у себя какой-нибудь портретъ мой, прошу уничтожить его тутъ же, по прочтеніи сихъ строкъ, тѣмъ болѣе, что онъ сдѣланъ дурно и безъ сходства, и покупать только тотъ, на которомъ будетъ выставлено: *Гравировалъ Іордановъ*. Симъ будетъ сдѣлано, по крайней мѣрѣ, справедливое дѣло. А еще будетъ справедливѣе, если тѣ, которые имѣютъ достатокъ, станутъ, вмѣсто портрета моего, покупать самый эстампъ Преображенія Господня, который, по признанію даже чужеземцевъ, есть вѣнецъ гравировальнаго дѣла и составляетъ славу русскую.

Завѣщаніе мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всѣхъ журналахъ и вѣдомостяхъ, дабы, по случаю невѣдѣнія его, никто не сдѣлался передо мною невинно-виноватымъ и тѣмъ бы не нанесъ упрека на свою душу.

1845.

II.

ЖЕНЩИНА ВЪ СВѢТѢ.

письмо къ .....ой.

Вы думаете, что никакого вліянія на общество имѣть не можете; я думаю напротивъ. Вліяніе женщины можетъ быть очень велико, именно теперь, въ нынѣшнемъ порядкѣ или безпорядкѣ общества, въ которомъ съ одной стороны представляется утомленная образованность гражданская, а съ другой какое-то охлажденіе душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворенія. Чтобы произвести это оживотвореніе, необходимо содѣйствіе женщины. Эта истина въ видѣ какого-то темнаго предчувствія пронеслась вдругъ по всѣмъ угламъ міра, и все чего-то теперь ждетъ отъ женщины. Оставивши все прочее въ сторону, посмотримъ на нашу Россію, и въ особенности на то, что у насъ такъ часто передъ глазами—на множество всякаго рода злоупотребленій. Окажется, что большая часть взятокъ, (несправедливостей по службѣ) и тому подобнаго, въ чемъ обвиняютъ нашихъ чиновниковъ и нечиновниковъ всѣхъ классовъ, произошла или отъ расточительности ихъ женъ, которыя такъ жадничаютъ блистать въ свѣтѣ большомъ и маломъ и требуютъ на то денегъ отъ мужей, или же отъ пустоты ихъ домашней жизни, преданной какимъ-то идеальнымъ мечтамъ, а не существу ихъ обязанностей, которыя въ нѣсколько разъ прекраснѣе и возвышеннѣе всякихъ мечтаній. Мужья не позволили бы себѣ и десятой доли произведенныхъ ими безпорядковъ, если бы ихъ жены хотя сколько-нибудь исполнили свой долгъ. Душа жены—хранительный талисманъ для мужа, оберегающій его отъ нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дорогѣ, и проводникъ, возвращающій его съ кривой на прямую; и наоборотъ, душа жены можетъ быть его зломъ и погубить его навѣки. Вы сами это почувствовали и выразились объ этомъ такъ хорошо, какъ до сихъ поръ еще никогда не выражались никакія женскія строки. Но вы говорите, что всѣмъ другимъ женщинамъ предстоятъ поприща, а вамъ нѣтъ. Вы имъ видите работу повсюду: или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словомъ—всячески помогать, а себѣ одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачѣмъ я не на ихъ мѣстѣ!» Знайте, что это общее ослѣпленіе. Всякому теперь кажется, что онъ могъ бы надѣлать много добра на мѣстѣ и въ должности другого, и только не можетъ сдѣлать его въ своей должности. Это причина всѣхъ золъ. Нужно подумать теперь о томъ всѣмъ намъ, какъ на своемъ собственномъ мѣстѣ сдѣлать добро. Повѣрьте, что Богъ не даромъ повелѣлъ каждому быть на томъ мѣстѣ, на которомъ онъ теперь стоитъ. Нужно только хорошо осмотрѣться

вокругъ себя. Вы говорите: зачѣмъ вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которыя вамъ представляются теперь такъ ясно; зачѣмъ не разстроено ваше имѣніе, чтобы заставить васъ ѣхать въ деревню, быть помѣщицей и заняться хозяйствомъ; зачѣмъ вашъ мужъ не занятъ какою-нибудь общеполезною трудною должностью, чтобы вамъ хоть здѣсь ему помогать и быть силою, его освѣжающею, и зачѣмъ, вмѣсто всего этого, предстоятъ вамъ одни пустые выѣзды въ свѣтъ и пустое, выдохшееся свѣтское общество, которое теперь вамъ кажется безлюднѣе самого безлюдья! Но тѣмъ не менѣе свѣтъ все же населенъ; въ немъ люди, и притомъ такіе же, какъ и вездѣ. Они и болѣютъ, и страждутъ, и нуждаются, и безъ словъ вопіютъ о помощи,—и, увы! даже не знаютъ, какъ попросить о ней. Какому же нищему слѣдуетъ прежде помогать: тому ли, кто еще можетъ выходить на улицу и просить, или тому, который не въ силахъ уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чѣмъ вы можете быть кому-нибудь полезны въ свѣтѣ; что для этого нужно имѣть столько всякаго рода орудій, нужно быть такою и умной, и всезнающей женщиной, что у васъ уже кружится голова при одномъ помышленіи обо всемъ этомъ. А если для этого нужно быть только тѣмъ, что вы уже есть? А если у васъ уже есть именно такія орудія, которыя теперь нужны? Все, что вы ни говорите о самой себѣ, совершенная правда: вы, точно, слишкомъ молоды, не пріобрѣли ни познанія людей, ни познанія жизни, словомъ—ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другимъ; можетъ-быть даже, вы и никогда этого не пріобрѣтете; но у васъ есть другія орудія, съ которыми вамъ все возможно. Во-первыхъ, вы имѣете уже красоту, во-вторыхъ—неопозоренное, неоклеветанное имя, въ-третьихъ—власть, которой сами въ себѣ не подозрѣваете,—власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Богъ не даромъ повелѣлъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредѣлено, чтобы всѣхъ равно поражала красота,—даже и такихъ, которые ко всему безчувственны и ни къ чему неспособны. Если уже одинъ безсмысленный капризъ красавицы бывалъ причиною переворотовъ всемірныхъ и заставлялъ дѣлать глупости наиумнѣйшихъ людей, что же было бы тогда, если бы этотъ капризъ былъ осмысленъ и направленъ къ добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно съ другими женщинами! Стало-быть, это орудіе сильное. Но вы имѣете еще высшую красоту—чистую прелесть какой-то особенной, одной вамъ свойственной невинности, которую я не умѣю опредѣлить словомъ, но въ которой такъ и свѣтится всѣмъ ваша голубиная душа. Знаете ли, что мнѣ признавались наиразвратнѣйшіе изъ нашей молодежи, что предъ вами ничто дурное не приходило имъ въ голову, что они не отваживаются сказать въ вашемъ присутствіи не только двусмысленнаго слова, которымъ потчиваютъ другихъ избранницъ, но даже

просто никакого слова, чувствуя, что все будетъ передъ вами какъ-то грубо и отзовется чѣмъ-то ухарскимъ и неприличнымъ? Вотъ уже одно вліяніе, которое совершается безъ вашего вѣдома отъ одного вашего присутствія! Кто не смѣетъ себѣ позволить при васъ дурной мысли, тотъ уже ея стыдится; а такое обращеніе на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шагъ человѣка къ тому, чтобы быть лучше. Стало-быть, это орудіе также сильное. Въ прибавленіе ко всему, вы имѣете уже Самимъ Богомъ водворенное вамъ въ душу стремленіе, или, какъ называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даромъ внушена вамъ эта жажда, отъ которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замужъ за человѣка благороднаго, умнаго, имѣющаго всѣ качества, чтобы сдѣлать счастливою жену свою, какъ уже, намѣсто того, чтобы сокрыться въ глубину вашего домашняго счастія, мучитесь мыслію, что вы недостойны такого счастія, что не имѣете права имъ пользоваться въ то время, когда вокругъ васъ такъ много страданій, когда ежеминутно раздаются вѣсти о бѣдствіяхъ всякаго рода: о голодѣ, пожарахъ, тяжелыхъ горестяхъ душевныхъ и страшныхъ болѣзняхъ ума, которыми заражено текущее поколѣніе. Повѣрьте, это не даромъ. Кто заключилъ въ душѣ своей такое небесное безпокойство о людяхъ, такую ангельскую тоску о нихъ среди самыхъ развлекательныхъ увеселеній, тотъ много, много можетъ для нихъ сдѣлать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убѣгайте же свѣта, среди котораго вамъ назначено быть; не спорьте съ Провидѣніемъ. Въ васъ живетъ та невѣдомая сила, которая нужна теперь для свѣта: самый вашъ голосъ, отъ постояннаго устремленія вашей мысли летѣть на помощь человѣку, пріобрѣлъ уже какіе-то родные звуки всѣмъ, такъ что, если вы заговорите въ сопровожденіи чистаго взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей устъ вашихъ, которая однимъ только вамъ свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила съ нимъ какая-то небесная родная сестра. Вашъ голосъ сталъ всемогущъ; вы можете повелѣвать и быть такимъ деспотомъ, какъ никто изъ насъ. Повелѣвайте же безъ словъ, однимъ присутствіемъ вашимъ; повелѣвайте самымъ безсиліемъ своимъ, на которое вы такъ негодуете; повелѣвайте именно тою женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынѣшняго свѣта. Съ вашей робкой неопытностію, вы теперь въ нѣсколько разъ больше сдѣлаете, нежели женщина умная и все испытавшая съ своей гордой самонадѣянностію: ея наиумнѣйшія убѣжденія, съ которыми она бы захотѣла обратить на путь нынѣшній свѣтъ, въ видѣ злыхъ эпиграммъ посылаются обратно на ея же голову; но ни у кого не посмѣетъ пошевелиться на губахъ эпиграмма, когда однимъ умоляющимъ взоромъ, безъ словъ, вы попросите кого-нибудь изъ насъ, чтобы онъ сдѣлался лучшимъ. Отчего вы такъ испугались разсказовъ о свѣтскомъ развратѣ? Онъ, точно, есть, и еще даже въ большей мѣрѣ, нежели вы думаете; но вамъ

и знать объ этомъ не должно. Вамъ ли бояться жалкихъ соблазновъ свѣта? Влетайте въ него смѣло, съ тою же сіяющею вашей улыбкою; входите въ него, какъ въ больницу, наполненную страждущими, но не въ качествѣ доктора, приносящаго строгія предписанія и горькія лѣкарства: вамъ не слѣдуетъ и разсматривать, какими болѣзнями кто боленъ. У васъ нѣтъ способности распознавать и исцѣлять болѣзни, и я вамъ не дамъ такого совѣта, какой бы мнѣ слѣдовало дать всякой другой женщинѣ, къ тому способной. Ваше дѣло только приносить страждущему вашу улыбку, да тотъ голосъ, въ которомъ слышится человѣку прилетѣвшая съ небесъ его сестра,—ничего больше. Не останавливайтесь долго надъ одними и спѣшите къ другимъ, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всѣхъ углахъ міра ждутъ и не дождутся ничего другого, какъ только тѣхъ родныхъ звуковъ, того самаго голоса, который у васъ уже есть. Не болтайте со свѣтомъ о томъ, о чемъ онъ болтаетъ; заставьте его говорить о томъ, о чемъ вы говорите. Храни васъ Богъ отъ всякаго педантства и отъ всѣхъ тѣхъ разговоровъ, которые исходятъ изъ устъ какой-нибудь нынѣшней львицы. Вносите въ свѣтъ тѣ же самые простодушные ваши разсказы, которые такъ говорливо у васъ изливаются, когда вы бываете въ кругу домашнихъ и близкихъ вамъ людей, когда такъ и сіяетъ всякое простое слово вашей рѣчи, а душѣ всякаго, кто васъ ни слушаетъ, кажется, какъ будто бы она лепечетъ съ ангелами о какомъ-то небесномъ младенчествѣ человѣка. Эти-то именно рѣчи вносите и въ свѣтъ.

1846.

III.

ЗНАЧЕНІЕ БОЛѢЗНЕЙ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....У.

....Силы мои слабѣютъ ежеминутно, но не духъ. Никогда еще тѣлесные недуги не были такъ изнурительны. Часто бываетъ такъ тяжело, такъ тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всемъ составѣ тѣла, что радъ бываешь, какъ Богъ знаетъ чему, когда, наконецъ, оканчивается день и доберешься до постели. Часто, въ душевномъ безсиліи, восклицаешь: «Боже! гдѣ же наконецъ берегъ всего?» Но потомъ, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себѣ внутрь—ничего уже не издаетъ душа, кромѣ однѣхъ слезъ и благодаренія. О, какъ нужны намъ недуги! Изъ множества пользъ, которыя я уже извлекъ изъ нихъ, укажу вамъ только на одну: нынѣ каковъ я ни есть, но я все же сталъ лучше, нежели былъ прежде; не будь этихъ недуговъ, я бы задумалъ, что сталъ уже такимъ, какимъ слѣдуетъ мнѣ быть. Не говорю уже о томъ, что самое здоровье, которое безпрестанно подталкиваетъ русскаго человѣка на какіе-то прыжки

и желаніе порисоваться своими качествами передъ другими, заставило бы меня надѣлать уже тысячу глупостей. Притомъ нынѣ, въ мои свѣжія минуты, которыя даетъ мнѣ милость небесная и среди самыхъ страданій, иногда приходятъ ко мнѣ мысли, несравненно лучшія прежнихъ, и я вижу самъ, что теперь все, что ни выйдетъ изъ-подъ пера моего, будетъ значительнѣе прежняго. Не будь тяжкихъ болѣзненныхъ страданій, куда-бъ я теперь не занесся! какимъ бы значительнымъ человѣкомъ вообразилъ себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоскѣ, что недугъ можетъ остановить вдругъ тотъ трудъ мой, на которомъ основана вся моя значительность, и та польза, которую такъ желаетъ принесть душа моя, останется въ одномъ безсильномъ желаніи, а не въ исполненіи, и не дамъ я никакихъ процентовъ на данные мнѣ Богомъ таланты, и буду осужденъ, какъ послѣдній изъ преступниковъ,—слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу словъ, какъ благодарить небеснаго Промыслителя за мою болѣзнь. Принимайте же и вы покорно всякій недугъ, вѣря впередъ, что онъ нуженъ. Молитесь Богу только о томъ, чтобы открылось передъ вами его чудное значеніе и вся глубина его высокаго смысла.

1846.

IV.
О ТОМЪ, ЧТО ТАКОЕ СЛОВО.

Пушкинъ, когда прочиталъ слѣдующіе стихи изъ оды Державина къ Храповицкому:

За слова меня пусть гложетъ,
За дѣла сатирикъ чтитъ—

сказалъ такъ: «Державинъ не совсѣмъ правъ: слова поэта суть уже его дѣла». Пушкинъ правъ. Поэтъ на поприщѣ слова долженъ быть такъ же безукоризненъ, какъ и всякій другой на своемъ поприщѣ. Если писатель станетъ оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиною неискренности, или необдуманности, или поспѣшной торопливости его слова, тогда и всякій несправедливый судья можетъ оправдаться въ томъ, что взялъ взятки и торговалъ правосудіемъ, складывая вину на свои тѣсныя обстоятельства, на жену, на большое семейство, словомъ—мало ли на что можно сослаться! У человѣка вдругъ явятся тѣсныя обстоятельства. Потомству нѣтъ дѣла до того, кто былъ виною, что писатель сказалъ глупость или нелѣпость, или же выразился вообще необдуманно и незрѣло. Оно не станетъ разбирать, кто толкалъ его подъ руку: близорукій ли пріятель, подстрекавшій его на рановременную дѣятельность, журналистъ ли, хлопотавшій только о выгодѣ своего журнала. Потомство

не приметъ въ уваженіе ни кумовства, ни журналистовъ, ни собственной его бѣдности и затруднительнаго положенія. Оно сдѣлаетъ упрекъ ему, а не имъ. «Зачѣмъ ты не устоялъ противу всего этого? Вѣдь ты же почувствовалъ самъ честность званія своего; вѣдь ты же умѣлъ предпочесть его другимъ, выгоднѣйшимъ должностямъ и сдѣлалъ это не вслѣдствіе кокой-нибудь фантазіи, но потому, что въ себѣ услышалъ на то призваніе Божіе; вѣдь ты же получилъ въ добавку къ тому умъ, который видѣлъ подальше, пошире и поглубже дѣла, нежели тѣ, которые тебя подталкивали! Зачѣмъ же ты былъ ребенкомъ, а не мужемъ, получа все, что нужно для мужа?» Словомъ, еще какой-нибудь обыкновенный писатель могъ бы оправдываться обстоятельствами, но не Державинъ. Онъ слишкомъ повредилъ себѣ тѣмъ, что не сжегъ по крайней мѣрѣ цѣлой половины одъ своихъ. Эта половина одъ представляетъ явленіе поразительное: никто еще доселѣ такъ не посмѣялся надъ самимъ собой, надъ святынею своихъ лучшихъ вѣрованій и чувствъ, какъ сдѣлалъ это Державинъ въ этой несчастной половинѣ своихъ одъ. Точно, какъ бы онъ силился здѣсь намалевать карикатуру на самого себя: все, что въ другихъ мѣстахъ у него такъ прекрасно, такъ свободно, такъ проникнуто внутреннею силою душевнаго огня, здѣсь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего—здѣсь повторены тѣ же самые обороты, выраженія и даже цѣликомъ фразы, которые имѣютъ такую орлиную замашку въ его одушевленныхъ одахъ и которые тутъ просто смѣшны и походятъ на то, какъ бы карликъ надѣлъ панцырь великана, да еще и не такъ, какъ слѣдуетъ. Сколько людей теперь произноситъ сужденіе о Державинѣ, основываясь на его пошлыхъ одахъ! Сколько усомнилось въ искренности его чувствъ потому только, что нашли ихъ во многихъ мѣстахъ выраженными слабо и бездушно! Какіе двусмысленные толки составились о самомъ его характерѣ, душевномъ благородствѣ и даже неподкупности того самаго правосудія, за которое онъ стоялъ! И все потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню. Пріятель нашъ П*** имѣетъ обыкновеніе, отрывши, какія ни попало, строки извѣстнаго писателя, тотъ же часъ ихъ тиснуть въ журналѣ, не взвѣсивъ хорошенько, къ чести ли это, или къ безчестію его. Онъ скрѣпляетъ все дѣло извѣстною оговоркою журналистовъ: «Надѣемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщеніе сихъ драгоцѣнныхъ строкъ; въ великомъ человѣкѣ все достойно любопытства», и тому подобное. Все это пустяки. Какой-нибудь мелкій читатель останется благодаренъ; но потомство плюнетъ на эти драгоцѣнныя строки, если въ нихъ бездушно повторено то, что уже извѣстно, и если не дышитъ отъ нихъ святыня того, что должно быть свято. Чѣмъ истины выше, тѣмъ нужно быть осторожнѣе съ ними: иначе онѣ вдругъ обратятся въ общія мѣста, а общимъ мѣстамъ уже не вѣрятъ. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемѣрные

или даже, просто, неприготовленные проповѣдыватели Бога, дерзавшіе произносить имя Его неосвященными устами. Обращаться съ словомъ нужно честно: оно есть высшій подарокъ Бога человѣку. Бѣда произносить его писателю въ тѣ поры, когда онъ находится подъ вліяніемъ страстныхъ увлеченій, досады, или гнѣва, или какого-нибудь личнаго нерасположенія къ кому бы то ни было, словомъ—въ тѣ поры, когда не пришла еще въ стройность его собственная душа: изъ него такое выйдетъ слово, которое всѣмъ опротивѣетъ; и тогда съ самымъ чистѣйшимъ желаніемъ добра можно произвести зло. Тотъ же нашъ пріятель П*** тому порука: онъ торопился всю свою жизнь, спѣша дѣлиться всѣмъ съ своими читателями, сообщать имъ все, чего ни набирался самъ, не разбирая, созрѣла ли мысль въ его собственной головѣ такимъ образомъ, дабы стать близкою и доступною всѣмъ, словомъ—выказывалъ передъ читателемъ себя всего во всемъ своемъ неряшествѣ. И что-жъ? Замѣтили ли читатели тѣ благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли отъ него то, чѣмъ онъ хотѣлъ съ ними подѣлиться? Нѣтъ, они замѣтили въ немъ одно только неряшество и неопрятность, которыя прежде всего замѣчаетъ человѣкъ, и ничего отъ него не приняли. Тридцать лѣтъ работалъ и хлопоталъ, какъ муравей, этотъ человѣкъ, торопясь всю жизнь свою передать поскорѣе въ руки всѣмъ все, что ни находилось, на пользу просвѣщенія и образованія русскаго,—и ни одинъ человѣкъ не сказалъ ему спасибо; ни одного признательнаго юноши я не встрѣтилъ, который бы сказалъ, что онъ обязанъ ему какимъ-нибудь новымъ свѣтомъ или прекраснымъ стремленіемъ къ добру, которое бы внушило его слово. Напротивъ, я долженъ былъ даже спорить и стоять за чистоту самыхъ намѣреній и за искренность словъ его предъ такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мнѣ было трудно даже убѣдить кого-либо, потому что онъ сумѣлъ такъ замаскировать себя предъ всѣми, что рѣшительно нѣтъ возможности показать его въ томъ видѣ, каковъ онъ дѣйствительно есть. (Заговоритъ ли онъ о патріотизмѣ, онъ заговоритъ о немъ такъ, что патріотизмъ его кажется подкупной; о любви къ царю, которую питаетъ онъ искренно и свято въ душѣ своей, изъяснится онъ такъ, что это походитъ на одно раболѣпство и какое-то корыстное угожденіе. Его искренній, непритворный гнѣвъ противу всякаго направленія, вреднаго Россіи, выразится у него такъ, какъ бы онъ подавалъ доносъ на какихъ-то нѣкоторыхъ, ему одному извѣстныхъ людей. Словомъ, на всякомъ шагу онъ самъ свой клеветникъ). Опасно шутить писателю со словомъ. «Слово гнило да не исходитъ изъ устъ вашихъ!» Если это слѣдуетъ примѣнить ко всѣмъ намъ безъ изъятія, то во сколько кратъ болѣе оно должно быть примѣнено къ тѣмъ, у которыхъ поприще—слово, и которымъ опредѣлено говорить о прекрасномъ и возвышенномъ. Бѣда, если о предметахъ святыхъ и возвышенныхъ станетъ раздаваться

гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилыхъ предметахъ. Всѣ великіе воспитатели людей налагали долгое молчаніе именно на тѣхъ, которые владѣли даромъ слова, именно въ тѣ поры и въ то время, когда больше всего хотѣлось имъ пощеголять словомъ и рвалась душа сказать даже много полезнаго людямъ: они слышали, какъ можно опозорить то, что стремишься возвысить, и какъ на всякомъ шагу языкъ нашъ есть нашъ предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои»,—говоритъ Іисусъ Сирахъ: «растопи золото и серебро, какое имѣешь, дабы сдѣлать изъ нихъ вѣсы, которые взвѣшивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста».

1844.

V.

ЧТЕНІЯ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ ПЕРЕДЪ ПУБЛИКОЮ.

ПИСЬМО КЪ Л**.

Я радъ, что наконецъ начались у насъ публичныя чтенія произведеній нашихъ писателей. Мнѣ уже писали объ этомъ кое-что изъ Москвы: тамъ читали разныя литературныя современности, а въ томъ числѣ и мои повѣсти. Я думалъ всегда, что публичное чтеніе у насъ необходимо. Мы какъ-то охотнѣе готовы дѣйствовать сообща, даже и читать; поодиночкѣ изъ насъ всякъ лѣнивъ и, пока видитъ, что другіе не тронулись, самъ не тронется. Искусные чтецы должны создаться у насъ: среди насъ мало рѣчистыхъ говоруновъ, способныхъ щеголять въ палатахъ и парламентахъ, но много есть людей, способныхъ всякому *сочувствовать*. Передать, подѣлиться ощущеніемъ у многихъ обращается даже въ страсть, которая становится еще сильнѣе по мѣрѣ того, какъ живѣе начинаютъ замѣчать они, что не умѣютъ изъясниться словомъ (признакъ природы эстетической). Къ образованію чтецовъ способствуетъ также и языкъ нашъ, который какъ бы созданъ для искуснаго чтенія, заключая въ себѣ всѣ оттѣнки звуковъ и самые смѣлые переходы отъ возвышеннаго до простого въ одной и той же рѣчи. Я даже думаю, что публичныя чтенія со временемъ замѣнятъ у насъ спектакли. Но я бы желалъ, чтобы въ нынѣшнія наши чтенія избиралось что-нибудь истинно стоящее публичнаго чтенія, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться надъ нимъ предварительно. Въ нашей современной литературѣ нѣтъ ничего такого, да и нѣтъ надобности читать современное: публика его прочтетъ и безъ того, благодаря страсти къ новизнѣ. Всѣ эти новыя повѣсти (въ томъ числѣ и мои) не такъ важны, чтобы сдѣлать изъ нихъ публичное чтеніе. Намъ нужно обратиться къ нашимъ поэтамъ, къ тѣмъ высокимъ произведеніямъ стихотворнымъ, которыя у нихъ долго обдумывались и обра-

ботывались въ головѣ, надъ которыми и чтецъ долженъ поработать долго. Наши поэты до сихъ поръ почти неизвѣстны публикѣ. Въ журналахъ о нихъ говорили много, разбирали ихъ даже весьма многословно, но высказывали больше самихъ себя, нежели разбираемыхъ поэтовъ. Журналы достигнули только того, что сбили и спутали понятія публики о нашихъ поэтахъ, такъ что въ глазахъ ея личность каждаго поэта теперь двоится, и никто не можетъ представить себѣ опредѣлительно, что такое изъ нихъ всякъ въ существѣ своемъ. Одно только искусное чтеніе можетъ установить о нихъ ясное понятіе. Но, разумѣется, нужно, чтобы самое чтеніе произведено было такимъ чтецомъ, который способенъ передать всякую неуловимую черту того, что читаетъ. Для этого не нужно быть пламеннымъ юношей, который готовъ сгоряча и не переводя духа прочесть въ одинъ вечеръ и трагедію и комедію, и оду, и все, что ни попало. Прочесть, какъ слѣдуетъ, произведеніе лирическое—вовсе не бездѣлица: для этого нужно долго его изучать. Нужно раздѣлить искренно съ поэтомъ высокое ощущеніе, наполнявшее его душу; нужно и душою и сердцемъ почувствовать всякое слово его—и тогда уже выступать на публичное его чтеніе. Чтеніе это будетъ вовсе не крикливое, не въ жару и горячкѣ. Напротивъ, оно можетъ быть даже очень спокойное, но въ голосѣ чтеца послышится невѣдомая сила, свидѣтель истинно-растроганнаго внутренняго состоянія. Сила эта сообщится всѣмъ и произведетъ чудо: потрясутся и тѣ, которые не потрясались никогда отъ звуковъ поэзіи. Чтеніе нашихъ поэтовъ можетъ принести много публичнаго добра. У нихъ есть много прекраснаго, которое не только совсѣмъ позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публикѣ въ какомъ-то низкомъ смыслѣ, о которомъ и не помышляли благородные сердцемъ наши поэты. Не знаю, кому принадлежитъ мысль—сбратить публичныя чтенія въ пользу бѣднымъ, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда такъ много страждущихъ внутри Россіи отъ голода, пожаровъ, болѣзней и всякаго рода несчастій. Какъ бы утѣшились души отъ насъ удалившихся поэтовъ такимъ употребленіемъ ихъ произведеній!

1843.

VI.

О ПОМОЩИ БѢДНЫМЪ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ А. О. СМ—РН—ВОЙ.

...Обращаюсь къ нападеніямъ вашимъ на глупость (петербургской) молодежи, которая затѣяла подносить золотые вѣнки и кубки чужеземнымъ пѣвцамъ и актрисамъ въ то самое время, когда въ Россіи голодаютъ цѣлыя губерніи. Это происходитъ не отъ глупости и не отъ ожесточенія сердецъ, даже и не отъ легкомыслія,—это происходитъ

отъ человѣческой, всѣмъ намъ общей безпечности. Эти несчастія и ужасы, производимые голодомъ, далеки отъ насъ; они совершаются внутри провинцій, они не передъ нашими глазами,—вотъ разгадка и объясненіе всего! Тотъ же самый, кто заплатилъ, дабы насладиться пѣніемъ Рубини, сто рублей за кресла въ театрѣ, продалъ бы свое послѣднеее имущество, если бы довелось ему быть свидѣтелемъ на дѣлѣ хотя одной изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода, передъ которыми ничто всякіе страхи и ужасы, выставляемые въ мелодрамахъ. За пожертвованіемъ у насъ не станетъ дѣло: мы всѣ готовы жертвовать. Но пожертвованія собственно въ пользу бѣдныхъ у насъ дѣлаются теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякій увѣренъ, дойдетъ ли, какъ слѣдуетъ, до мѣста назначенія его пожертвованіе, попадетъ ли оно именно въ тѣ руки, въ которыя должно попасть. Большею частію случается такъ, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая въ рукѣ, вся расхлещется по дорогѣ, прежде нежели донесется,—и нуждающемуся приходится посмотрѣть только на одну сухую руку, въ которой нѣтъ ничего. Вотъ о какомъ предметѣ слѣдуетъ подумать прежде, нежели начнутъ собирать пожертвованія. Объ этомъ мы съ вами послѣ потолкуемъ, потому что это дѣло ничуть не маловажное и стоитъ того, чтобы о немъ толково потолковать. А теперь поговоримъ о томъ, гдѣ скорѣе нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, съ которымъ случилось несчастіе внезапное, которое вдругъ, въ одну минуту, лишило его всего за однимъ разомъ: или пожаръ, сжегшій все до тла, или падежъ, выморившій весь скотъ, или смерть, похитившая единственную подпору, словомъ—всякое лишеніе внезапное, гдѣ вдругъ является человѣку бѣдность, къ которой онъ еще не успѣлъ привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы помощь эта произведена была истинно-христіанскимъ образомъ; если же она будетъ состоять въ одной только выдачѣ денегъ, она ровно ничего не будетъ значить и не обратится въ добро. Если вы не обдумали прежде въ собственной головѣ всего положенія того человѣка, которому хотите помочь, и не принесли съ собою ему наученія, какъ отнынѣ слѣдуетъ вести ему жизнь, онъ не получитъ большого добра отъ вашей помощи. Цѣна поданной помощи рѣдко равняется цѣнѣ утраты; вообще, она едва составляетъ половину того, что человѣкъ потерялъ, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русскій человѣкъ способенъ на всѣ крайности: увидя, что съ полученными небольшими деньгами онъ не можетъ вести жизнь, какъ прежде, онъ съ горя можетъ прокутить вдругъ то, что ему дано на долговременное содержаніе. А потому наставьте его, какъ ему изворотиться именно съ тою самою помощію, которую вы принесли ему; объясните ему истинное значеніе несчастія, чтобы онъ видѣлъ, что оно послано ему затѣмъ, дабы онъ измѣнилъ прежнее житіе свое, дабы отнынѣ онъ сталъ уже не прежній, но какъ бы другой человѣкъ и вещественно, и нравственно. Вы сумѣете

это сказать умно, если только вникнете хорошенько въ его природу и въ его обстоятельства. Онъ васъ пойметъ: несчастіе умягчаетъ человѣка: природа его становится тогда болѣе чуткой и доступной къ пониманію предметовъ, превосходящихъ понятіе человѣка, находящагося въ обыкновенномъ и вседневномъ положеніи; онъ какъ бы весь обращается тогда въ разогрѣтый воскъ, изъ котораго можно лѣпить все, что ни захотите. Всего лучше: однакожъ, если бы всякая помощь производилась черезъ руки опытныхъ и умныхъ священниковъ. Они одни въ силахъ истолковать человѣку святой и глубокій смыслъ несчастія, которое, въ какихъ бы ни являлось образахъ и видахъ кому бы то ни было на землѣ, обитаетъ ли онъ въ избѣ, или палатахъ, есть тотъ же крикъ небесный, вопіющій человѣку о перемѣнѣ всей его прежней жизни.

1844.

VII.

ОБЪ ОДИССЕѢ, ПЕРЕВОДИМОЙ ЖУКОВСКИМЪ.

ПИСЬМО КЪ Н. М. ЯЗЫКОВУ.

Появленіе Одиссеи произведетъ эпоху. Одиссея есть рѣшительно совершеннѣйшее произведеніе всѣхъ вѣковъ. Объемъ ея великъ; Иліада предъ нею эпизодъ. Одиссея захватываетъ весь древній міръ, публичную и домашнюю жизнь, всѣ поприща тогдашнихъ людей, съ ихъ ремеслами, знаніями, вѣрованіями... словомъ, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы въ ней было пропущено. Въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ служила она неизсякаемымъ колодцемъ для древнихъ, а потомъ и для всѣхъ поэтовъ. Изъ нея черпались предметы для безчисленнаго множества трагедій, комедій; все это разнеслось по всему свѣту, сдѣлалось достояніемъ всѣхъ, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна: въ Европѣ ея не оцѣнили. Виною этого отчасти недостатокъ перевода, который бы передавалъ художественно великолѣпнѣйшее произведеніе древности, отчасти недостатокъ языка, въ такой степени богатаго и полнаго, на которомъ отразились бы всѣ безчисленныя, неуловимыя красоты какъ самого Гомера, такъ и вообще эллинской рѣчи; отчасти же недостатокъ, наконецъ, и самаго народа, въ такой степени одареннаго чистотою дѣвственнаго вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь переводъ первѣйшаго поэтическаго творенія производится на языкѣ, полнѣйшемъ и богатѣйшемъ всѣхъ европейскихъ языковъ.

Вся литературная жизнь Жуковскаго была какъ бы приготовленіемъ къ этому дѣлу. Нужно было его стиху выработаться на сочиненіяхъ и переводахъ изъ поэтовъ всѣхъ націй и языковъ, чтобы сдѣ-

латься потомъ способнымъ передать вѣчный стихъ Гомера,—уху его наслушаться всѣхъ лиръ, дабы сдѣлаться до того чуткимъ, чтобы и оттѣнокъ эллинскаго звука не пропалъ; нужно было, мало того, что влюбиться ему самому въ Гомера, получить еще страстное желаніе заставить всѣхъ соотечественниковъ своихъ влюбиться въ Гомера, на эстетическую пользу души каждаго изъ нихъ; нужно было совершиться внутри самого переводчика многимъ такимъ событіямъ, которыя привели въ большую стройность и спокойствіе его собственную душу, необходимыя для передачи произведенія, замышленнаго въ такой стройности и спокойствіи; нужно было, наконецъ, сдѣлаться глубже христіаниномъ, дабы пріобрѣсти тотъ прозирающій, углубленный взглядъ на жизнь, котораго никто не можетъ имѣть, кромѣ христіанина, уже постигнувшаго значеніе жизни. Вотъ сколькимъ условіямъ нужно было выполниться, чтобы переводъ Одиссеи вышелъ не рабская передача, но послышалось бы въ немъ *слово жисо*, и вся Россія приняла бы Гомера, какъ родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не переводъ, но скорѣе возсозданіе, возстановленіе, воскресеніе Гомера. Переводъ какъ бы еще болѣе вводитъ въ древнюю жизнь, нежели самъ оригиналъ. Переводчикъ незримо сталъ какъ бы истолкователемъ Гомера, сталъ какъ бы какимъ-то зрительнымъ, выясняющимъ стекломъ передъ читателемъ, сквозь которое еще опредѣлительнѣе и яснѣе выказываются всѣ безчисленныя его сокровища.

По-моему, всѣ нынѣшнія обстоятельства какъ бы нарочно обстановились такъ, чтобы сдѣлать появленіе Одиссеи почти необходимымъ въ настоящее время: въ литературѣ, какъ и во всемъ,—охлажденіе. Какъ очаровываться, такъ и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожныя больныя произведенія вѣка, съ примѣсью всякихъ непереваривавшихся идей, нанесенныхъ политическими и прочими броженіями, стали значительно упадать; только одни задніе чтецы, привыкшіе держаться за хвосты журнальныхъ вождей, еще кое-что перечитываютъ, не замѣчая въ простодушіи, что козлы, ихъ предводившіе, давно уже остановились въ раздумьѣ, не зная сами, куда повести заблудшія стада свои. Словомъ, именно то время, когда слишкомъ важно появленіе произведенія стройнаго во всѣхъ частяхъ своихъ, которое изображало бы жизнь съ отчетливостью изумительной и отъ котораго повѣвало бы спокойствіемъ и простотой, почти младенческой.

Одиссея произведетъ у насъ вліяніе, какъ *вообще на всѣхъ*, такъ и *отдѣльно на каждаго*.

Разсмотримъ то вліяніе, которое она можетъ у насъ произвести *вообще на всѣхъ*. Одиссея есть именно то произведеніе, въ которомъ заключились всѣ нужныя условія, дабы сдѣлать ее чтеніемъ всеобщимъ и народнымъ. Она соединяетъ всю увлекательность сказки и всю простую правду человѣческаго похожденія, имѣющаго равную

заманчивость для всякаго человѣка, кто бы онъ ни былъ. Дворянинъ, мѣщанинъ, купецъ, грамотей и неграмотей, рядовой солдатъ, лакей, дѣти обоего пола, начиная съ того возраста, когда ребенокъ начинаетъ любить сказку,—ее прочитаютъ и выслушаютъ безъ скуки—обстоятельство слишкомъ важное, особенно если примемъ въ соображеніе то, что Одиссея есть вмѣстѣ съ тѣмъ самое нравственное произведеніе и что единственно затѣмъ и предпринята древнимъ поэтомъ, чтобы въ живыхъ образахъ начертать законы дѣйствій тогдашнему человѣку.

Греческое многобожіе не соблазнитъ нашего народа. Народъ нашъ уменъ: онъ растолкуетъ, не ломая головы, даже то, что приводитъ втупикъ умниковъ. Онъ здѣсь увидитъ только доказательство того, какъ трудно человѣку самому, безъ пророковъ и безъ откровенія свыше, дойти до того, чтобы узнать Бога въ истинномъ видѣ, и въ какихъ нелѣпыхъ видахъ онъ представляетъ себѣ ликъ Его, раздробивши единство и единосиліе на множество образовъ и силъ. Онъ даже не посмѣется надъ тогдашними язычниками, признавъ ихъ ни въ чемъ невиноватыми: пророки имъ не говорили, Христосъ тогда не родился, апостоловъ не было. Нѣтъ, народъ нашъ скорѣе почешетъ у себя въ затылкѣ, почувствовавъ то, что онъ, зная Бога въ Его истинномъ видѣ, имѣя въ рукахъ уже письменный законъ Его, имѣя даже истолкователей закона въ отцахъ духовныхъ, молится лѣнивѣе и выполняетъ долгъ свой хуже древняго язычника. Народъ смекнетъ, почему та же верховная сила помогала и язычнику за его добрую жизнь и усердную молитву, несмотря на то, что онъ, по невѣжеству, взывалъ къ ней въ образѣ Посейдоновъ, Кроніоновъ, Гефестовъ, Геліосовъ, Кипридъ и всей вереницы, которую наплело играющее воображеніе грековъ. Словомъ, многобожіе отложитъ онъ въ сторону, а извлечетъ изъ Одиссеи то, что ему слѣдуетъ изъ нея извлечь,—то, что ощутительно въ ней видимо всѣмъ, что легло въ духъ ея содержанія и для чего написана сама Одиссея, то-есть, что человѣку вездѣ, на всякомъ поприщѣ, предстоитъ много бѣдъ, что нужно съ ними бороться,—для того и жизнь дана человѣку, — что ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ унывать, какъ не унывалъ и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался къ своему сердцу, не подозрѣвая самъ, что таковымъ внутреннимъ обращеніемъ къ самому себѣ онъ уже творилъ ту внутреннюю молитву Богу, которую въ минуты бѣдствій совершаетъ всякій человѣкъ, даже не имѣющій никакого понятія о Богѣ. Вотъ то *общее*, тотъ живой духъ ея содержанія, которымъ произведетъ на всѣхъ впечатлѣніе Одиссея, прежде, нежели одни восхитятся ея поэтическими достоинствами, вѣрностью картинъ и живостью описаній; прежде, нежели другіе поразятся раскрытіемъ сокровищъ древности въ такихъ подробностяхъ, въ какихъ не сохранили ее ни ваяніе, ни живопись, ни вообще всѣ древніе памятники; прежде, нежели третьи останутся изумлены необыкновеннымъ познаніемъ всѣхъ изгибовъ души человѣ-

ческой, которые всѣ были вѣдомы всевидѣвшему слѣпцу; прежде, нежели четвертые будутъ поражены глубокимъ вѣдѣніемъ государственнымъ, знаніемъ трудной науки править людьми и властвовать ими, чѣмъ обладалъ также божественный старецъ, законодатель и своего, и грядущихъ поколѣній, словомъ — прежде, нежели кто-либо завлечется чѣмъ-нибудь отдѣльно въ Одиссеѣ сообразно своему ремеслу, занятіямъ, наклонностямъ и своей личной особенности. И все потому, что слишкомъ осязательно слышенъ этотъ духъ ея содержанія, эта внутренняя сущность его, что ни въ одномъ твореніи не проступаетъ она такъ сильно наружу, проникая все и преобладая надъ всѣмъ, особенно, когда разсмотримъ еще, какъ ярки всѣ эпизоды, изъ которыхъ каждый въ силахъ застѣнить главное.

Отчего-жъ такъ сильно это слышится всѣмъ? Оттого, что залегло это глубоко въ самую душу древняго поэта. Видишь на всякомъ шагу, какъ хотѣлъ онъ облечь во всю обворожительную красоту поэзіи то, что хотѣлъ бы утвердить навѣки въ людяхъ, какъ стремился укрѣпить въ народныхъ обычаяхъ то, что въ нихъ похвально, напомнить человѣку лучшее и святѣйшее, что есть въ немъ и что онъ способенъ позабыть всякую минуту,—оставить въ каждомъ лицѣ своемъ примѣръ каждому на его отдѣльномъ поприщѣ, а всѣмъ вообще оставить въ своемъ неутомимомъ Одиссеѣ примѣръ на общечеловѣческомъ поприщѣ.

Это строгое почитаніе обычаевъ, это благоговѣйное уваженіе власти и начальниковъ, несмотря на ограниченные предѣлы самой власти, эта дѣвственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгнѣвіе старцевъ, это радушное гостепріимство, это уваженіе и почти благоговѣніе къ человѣку, какъ представителю образа Божія, это вѣрованіе, что ни одна благая мысль не зарождается въ головѣ его безъ верховной воли высшаго насъ Существа, и что ничего не можетъ онъ сдѣлать своими собственными силами, словомъ— все, всякая малѣйшая черта въ Одиссеѣ говоритъ о внутреннемъ желаніи поэта всѣхъ поэтовъ оставить древнему человѣку живую и полную книгу законодательства въ то время, когда еще не было ни законодателей, ни учредителей порядковъ, когда еще никакими гражданскими и письменными постановленіями не были опредѣлены отношенія людей, когда люди еще многаго не вѣдали и даже не предчувствовали, и когда одинъ только божественный старецъ все видѣлъ, слышалъ, соображалъ и предчувствовалъ,—слѣпецъ, лишенный зрѣнія, общаго всѣмъ людямъ, и вооруженный тѣмъ внутреннимъ окомъ, котораго не имѣютъ люди!

И какъ искусно сокрытъ весь трудъ многолѣтнихъ обдумываній подъ простотой самаго простодушнѣйшаго повѣствованія! Кажется, какъ бы, собравъ весь людъ въ одну семью и усѣвшись среди нихъ самъ, какъ дѣдъ среди внуковъ, готовый даже съ ними ребячиться,

ведетъ онъ добродушный разсказъ свой и только заботится о томъ, чтобы не утомить никого, не запугать неумѣстною длиннотой поученія, но раззѣять и разнести его невидимо по всему творенію, чтобы, играя, набрались всѣ того, что дано не на игрушку человѣку, и незамѣтно бы надышались тѣмъ, что зналъ онъ и видѣлъ лучшаго на своемъ вѣку и въ своемъ вѣкѣ. Можно бы почесть все за изливающуюся безъ приготовленія сказку, если бы по внимательномъ разсмотрѣніи уже потомъ не открывалась удивительная постройка всего цѣлаго и порознь каждой пѣсни. Какъ глупы нѣмецкіе умники, выдумавшіе, будто Гомеръ—миѳъ, а всѣ творенія его—народныя пѣсни и рапсодіи!

Но разсмотримъ то вліяніе, которое можетъ произвесть у насъ Одиссея *отдѣльно на каждаго*. Во-первыхъ, она подѣйствуетъ на пишущую нашу братію, на сочинителей нашихъ. Она возвратитъ многихъ къ свѣту, проведя ихъ, какъ искусный лоцманъ, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, неорганизовавшимися писателями. Она снова напомнитъ намъ всѣмъ, въ какой безхитростной простотѣ нужно возсоздавать природу, какъ уяснять всякую мысль до ясности почти ощутительной, въ какомъ уравновѣшенномъ спокойствіи должна изливаться рѣчь наша. Она вновь дастъ почувствовать всѣмъ нашимъ писателямъ ту старую истину, которую вѣкъ мы должны помнить и которую всегда позабываемъ, а именно: по тѣхъ поръ не приниматься за перо, пока все въ головѣ не установится въ такой ясности и порядкѣ, что даже ребенокъ въ силахъ будетъ понять и удержать все въ памяти. Еще болѣе, нежели на самихъ писателей, Одиссея подѣйствуетъ на тѣхъ, которые еще готовятся въ писатели, и, находясь въ гимназіяхъ и университетахъ, видятъ передъ собою еще туманно и неясно свое будущее поприще: ихъ она можетъ навести съ самаго начала на прямой путь, избавивъ отъ лишняго шатанія по кривымъ закоулкамъ, по которымъ натолкались изрядно ихъ предшественники.

Во-вторыхъ, Одиссея подѣйствуетъ на вкусъ и на развитіе эстетическаго чувства. Она освѣжитъ критику. Критика устала и запуталась отъ разборовъ загадочныхъ произведеній новѣйшей литературы, съ горя бросилась въ сторону и, уклонившись отъ вопросовъ литературныхъ, понесла дичь. По поводу Одиссеи можетъ появиться много истинно-дѣльныхъ критикъ, тѣмъ болѣе, что врядъ ли есть на свѣтѣ другое произведеніе, на которое можно было бы взглянуть съ такихъ многихъ сторонъ, какъ на Одиссею. Я увѣренъ, что толки, разборы, разсужденія, замѣчанія и мысли, ею возбужденныя, будутъ раздаваться у насъ въ журналахъ въ продолженіе многихъ лѣтъ. Читатели будутъ отъ этого не въ убыткѣ: критики не будутъ ничтожны. Для нихъ потребуется много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхоглядъ не найдется даже, что и сказать объ Одиссеѣ.

Въ-третьихъ, Одиссея своею русскою одеждой, въ которую облекъ

ее Жуковскій, можетъ подѣйствовать значительно на очищеніе языка. Еще ни у кого изъ нашихъ писателей, не только у Жуковскаго, во всемъ, что ни писалъ онъ доселѣ, но даже у Пушкина и Крылова, которые часто точнѣе его на слова и выраженія, не достигла до такой полноты русская рѣчь. Тутъ заключились всѣ ея извороты и обороты во всѣхъ видоизмѣненіяхъ. Безконечно-огромные періоды, которые у всякаго другого были бы вялы, темны, и періоды сжатые, краткіе, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы рѣчь, у него такъ братски улегаются другъ возлѣ друга, всѣ переходы и встрѣчи противоположностей совершаются въ такомъ благозвучіи, все такъ и сливается въ одно, улетучивая тяжелый громоздъ всего цѣлаго, что, кажется, какъ бы пропалъ вовсе всякій слогъ и складъ рѣчи: ихъ нѣтъ, какъ нѣтъ и самого переводчика. Намѣсто его стоитъ предъ глазами, во всемъ величіи, старецъ Гомеръ, и слышатся тѣ величавыя, вѣчныя рѣчи, которыя не принадлежатъ устамъ какого-нибудь человѣка, но которыхъ удѣлъ—вѣчно раздаваться въ мірѣ. Здѣсь-то увидятъ наши писатели, съ какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выраженія, какъ всякому простому слову можно возвратить его возвышенное достоинство умѣньемъ помѣстить его въ надлежащемъ мѣстѣ, и какъ много значитъ для такого сочиненія, которое назначается на всеобщее употребленіе и есть сочиненіе геніальное, это наружное благоприличіе, эта внѣшняя обработка всего: тутъ малѣйшая соринка замѣтна и всѣмъ бросается въ глаза. Жуковскій сравниваетъ весьма справедливо эти соринки съ бумажками, которыя стали бы валяться въ великолѣпно убранной комнатѣ, гдѣ все сіяетъ ясностью зеркала, начиная отъ потолка до паркета: всякій вошедшій прежде всего увидитъ эти бумажки, именно по тому же самому, почему бы онъ ихъ вовсе не примѣтилъ въ неприбранной, нечистой комнатѣ.

Въ-четвертыхъ, Одиссея подѣйствуетъ въ любознательномъ отношеніи, какъ на занимающихся науками, такъ и на неучившихся никакой наукѣ, распространяя живое познаніе древняго міра. Ни въ какой исторіи не начитаешь того, что отыщешь въ ней: отъ нея такъ и дышитъ временемъ минувшимъ; древній человѣкъ, какъ живой, такъ и стоитъ передъ глазами, какъ будто ты еще вчера его видѣлъ и говорилъ съ нимъ. Такъ его и видишь во всѣхъ его дѣйствіяхъ, во всѣ часы дня: какъ приготовляется онъ благоговѣйно къ жертвоприношенію, какъ бесѣдуетъ чинно съ гостемъ за пировою кратерой, какъ одѣвается, какъ выходитъ на площадь, какъ слушаетъ старца, какъ поучаетъ юношу; его домъ, его колесница, его спальня, малѣйшая мебель въ домѣ, отъ подвижныхъ столовъ до ременной закладки у дверей,—все передъ глазами, еще свѣжѣе, нежели въ отрытой изъ земли Помпеѣ.

Наконецъ, я даже думаю, что появленіе Одиссеи произведетъ впечатлѣніе на современный духъ нашего общества вообще. Именно

въ нынѣшнее время, когда таинственною волей Провидѣнія сталъ слышаться повсюду болѣзненный ропотъ неудовлетворенія, голосъ неудовольствія человѣческаго на все, что ни есть на свѣтѣ: на порядокъ вещей, на время, на самого себя; когда всѣмъ, наконецъ, начинаетъ становиться подозрительнымъ то совершенство, въ которое возвели насъ наша новѣйшая гражданственность и просвѣщеніе; когда слышна у всякаго какая-то безотчетная жажда быть не тѣмъ, чѣмъ онъ есть, можетъ-быть, происшедшая отъ прекраснаго источника—быть лучше; когда сквозь нелѣпые крики и опрометчивыя проповѣдыванія новыхъ, еще темно услышанныхъ идей, слышно какое-то всеобщее стремленіе стать ближе къ какой-то желанной серединѣ, найти настоящій законъ дѣйствій, какъ въ массахъ, такъ и отдѣльно взятыхъ особахъ—словомъ, въ это именно время Одиссея поразитъ величавою патріархальностію древняго быта, простою несложностью общественныхъ пружинъ, свѣжестью жизни, непритупленною, младенческою ясностью человѣка. Въ Одиссеѣ услышитъ сильный упрекъ себѣ нашъ девятнадцатый вѣкъ, и упрекамъ не будетъ конца, по мѣрѣ того, какъ станетъ онъ поболѣе всматриваться въ нее и вчитываться.

Что можетъ быть, напримѣръ, уже сильнѣе того упрека, который раздается въ душѣ, когда разглядишь, какъ древній человѣкъ, съ своими небольшими орудіями, со всѣмъ несовершенствомъ своей религіи, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибѣгать къ коварству для истребленія врага, съ своею непокорною, жестокою, несклонною къ повиновенію природою, съ своими ничтожными законами, умѣлъ, однакоже, однимъ только простымъ исполненіемъ обычаевъ старины и обрядовъ,—которые не безъ смысла были установлены древними мудрецами и заповѣданы передаваться въ видѣ святыни отъ отца къ сыну,—однимъ только простымъ исполненіемъ этихъ обычаевъ дойти до того, что пріобрѣлъ какую-то стройность и даже красоту поступковъ, такъ что все въ немъ сдѣлалось величаво съ ногъ до головы, отъ рѣчи до простого движенія и даже до складки платья, и кажется, какъ бы дѣйствительно слышишь въ немъ богоподобное происхожденіе человѣка? А мы, со всѣми нашими огромными средствами и орудіями къ совершенствованію, съ опытами всѣхъ вѣковъ, съ гибкою, переимчивою нашею природою, съ религіею, которая именно дана на то, чтобы сдѣлать изъ насъ святыхъ и небесныхъ людей,—со всѣми этими орудіями, умѣли дойти до какого-то неряшества и неустройства, какъ внѣшняго, такъ и внутренняго, умѣли сдѣлаться лоскутными, мелкими, отъ головы до самаго платья нашего, и, ко всему еще въ прибавку, опротивѣли до того другъ другу, что не уважаемъ никто никого, даже не выключая и тѣхъ, которые толкуютъ объ уваженіи ко всѣмъ.

Словомъ, на страждущихъ и болѣющихъ отъ своего европейскаго совершенства Одиссея подѣйствуетъ. Много напомнитъ она имъ мла-

денчески-прекраснаго, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себѣ человѣчество, какъ свое законное наслѣдство. Многіе надъ многимъ призадумаются. А между тѣмъ многое изъ временъ патріархальныхъ, съ которыми есть такое сродство въ русской природѣ, разнесется невидимо по лицу Русской земли. Благоухающими устами поэзіи навѣвается на души то, чего не внесешь въ нихъ никакими законами и никакою властію.

VIII.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ И ДУХОВЕНСТВѢ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т...МУ.

Напрасно смущаетесь вы нападеніями, которыя теперь раздаются на нашу Церковь въ Европѣ. Обвинять въ равнодушіи духовенство наше будетъ также несправедливость. Зачѣмъ хотите вы, чтобы наше духовенство, доселѣ отличавшееся величавымъ спокойствіемъ, столь ему пристойнымъ, стало въ ряды европейскихъ крикуновъ и начало, подобно имъ, печатать опрометчивыя брошюры? Церковь наша дѣйствовала мудро. Чтобы защищать ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаемъ плохо нашу Церковь. Духовенство наше не бездѣйствуетъ. Я очень знаю, что въ глубинѣ монастырей и въ тишинѣ келій готовятся неопровержимыя сочиненія въ защиту Церкви нашей. Но дѣла свои они дѣлаютъ лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требуетъ такой предметъ, совершаютъ свой трудъ въ глубокомъ спокойствіи, молясь, воспитывая самихъ себя, изгоняя изъ души своей все страстное, похожее на неумѣстную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту безстрастія небеснаго, на которой ей слѣдуетъ пребывать, дабы быть въ силахъ заговорить о такомъ предметѣ. Но и эти защиты еще не послужатъ къ полному убѣжденію западныхъ католиковъ. Церковь наша должна святиться въ насъ, а не въ словахъ нашихъ. Мы должны быть Церковь наша и нами же должны возвѣстить ея правду. Они говорятъ, что Церковь наша безжизненна. Они сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильнымъ выводомъ: мы трупы, а не Церковь наша, и по насъ они назвали и Церковь нашу трупомъ. Какъ намъ защищать нашу Церковь и какой отвѣтъ мы можемъ дать имъ, если они намъ зададутъ такіе запросы: «А сдѣлала ли ваша Церковь васъ лучшими? Исполняетъ ли всякъ у васъ, какъ слѣдуетъ, свой долгъ?» Что мы тогда станемъ отвѣчать имъ, почувствовавши вдругъ въ душѣ и совѣсти своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва знаемъ ее даже и теперь? Владѣемъ сокровищемъ, которому цѣны нѣтъ, и не только не заботимся о томъ, чтобы это по-

чувствовать, но не знаемъ даже, гдѣ положили его. У хозяина спрашиваютъ показать лучшую вещь въ его домѣ, а самъ хозяинъ не знаетъ, гдѣ лежитъ она. Эта Церковь, которая, какъ цѣломудренная дѣва, сохранилась одна только отъ временъ апостольскихъ въ непорочной первоначальной чистотѣ своей, эта Церковь, которая вся съ своими глубокими догматами и малѣйшими обрядами наружными какъ бы снесена прямо съ неба для русскаго народа, которая одна въ силахъ разрѣшить всѣ узлы недоумѣнія и вопросы наши, которая можетъ произвести неслыханное чудо въ виду всей Европы, заставивъ у насъ всякое сословіе, званіе и должность войти въ ихъ законныя границы и предѣлы и, не измѣнивъ ничего въ государствѣ, дать силу Россіи, изумить весь міръ согласною стройностью того же самаго организма, которымъ она доселѣ пугала,—и эта Церковь нами незнаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы до сихъ поръ не ввели въ нашу жизнь!

Нѣтъ, храни насъ Богъ защищать теперь нашу Церковь! Это значитъ уронить ее. Только и есть для насъ возможна одна пропаганда—жизнь наша. Жизнью нашею мы должны защищать нашу Церковь, которая вся есть *жизнь*; благоуханіемъ душъ нашихъ должны мы возвѣстить ея истину. Пусть миссіонеръ католичества западнаго бьетъ себя въ грудь, размахиваетъ руками и краснорѣчіемъ рыданій и словъ исторгаетъ скоро высыхающія слезы. Проповѣдникъ же католичества восточнаго долженъ выступить такъ передъ народъ, чтобы уже отъ одного его смиреннаго вида, потухнувшихъ очей и тихаго, потрясающаго гласа, исходящаго изъ души, въ которой умерли всѣ желанія міра, все бы подвигнулось еще прежде, нежели онъ объяснилъ бы самое дѣло, и въ одинъ голосъ заговорило бы къ нему: «Не произноси словъ: слышимъ и безъ нихъ святую правду твоей Церкви!»

IX.
О ТОМЪ ЖЕ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т...МУ.

Замѣчаніе, будто власть Церкви оттого у насъ слаба, что наше духовенство мало имѣетъ свѣтскости и ловкости обращенія въ обществѣ, есть такая нелѣпость, какъ и утвержденіе, будто духовенство у насъ вовсе отстранено отъ всякаго прикосновенія съ жизнію уставами нашей Церкви и связано въ своихъ дѣйствіяхъ правительствомъ. Духовенству нашему указаны законныя и точныя границы въ его соприкосновеніяхъ со свѣтомъ и людьми. Повѣрьте, что если бы стали они встрѣчаться съ нами чаще, участвуя въ нашихъ ежедневныхъ собраніяхъ и гульбищахъ или входя въ семейныя дѣла, это было бы нехорошо. Духовному предстоитъ много искушеній, гораздо болѣе даже, нежели

намъ: какъ разъ завелись бы тѣ интриги въ домахъ, въ которыхъ обвиняютъ римско-католическихъ поповъ. Римско-католическіе попы именно оттого сдѣлались дурными, что черезчуръ сдѣлались свѣтскими. У духовенства нашего два законныхъ поприща, на которыхъ они съ нами встрѣчаются: исповѣдь и проповѣдь. На этихъ двухъ поприщахъ, изъ которыхъ первое бываетъ только разъ или два въ годъ, а второе можетъ быть всякое воскресенье, можно сдѣлать очень много. И если только священникъ, видя многое дурное въ людяхъ, умѣлъ до времени молчать о немъ и долго соображать въ себѣ самомъ, какъ ему сказать такимъ образомъ, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то онъ уже скажетъ объ этомъ такъ сильно на исповѣди и проповѣди, какъ никогда ему не сказать на ежедневныхъ съ нами бесѣдахъ. Нужно, чтобы онъ говорилъ стоящему среди свѣта человѣку съ какого-то возвышеннаго мѣста, чтобы не его присутствіе слышалъ въ это время человѣкъ, но присутствіе Самого Бога, внимающаго равно имъ обоимъ, и слышался бы обоюдный страхъ отъ Его незримаго присутствія. Нѣтъ, это даже хорошо, что духовенство наше находится въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ насъ. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никакимъ измѣненіямъ и прихотямъ нашихъ глупыхъ модъ, они отдѣлились отъ насъ. Одежда ихъ прекрасна и величественна. Это не безсмысленное, оставшееся отъ осьмнадцатаго вѣка рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско- католическихъ священниковъ. Она имѣетъ смыслъ: она по образу и подобію той одежды, которую носилъ Самъ Спаситель. Нужно, чтобы и въ самой одеждѣ своей они носили себѣ вѣчное напоминаніе о Томъ, Чей образъ они должны представлять намъ, чтобы и на одинъ мигъ не позабылись и не растерялись среди развлеченій и ничтожныхъ нуждъ свѣта; ибо съ нихъ тысячу кратъ болѣе взыщется, нежели съ каждаго изъ насъ; чтобы слышали безпрестанно, что они—какъ бы другіе и высшіе люди. Нѣтъ, покамѣстъ священникъ еще молодъ и жизнь ему неизвѣстна, онъ не долженъ даже и встрѣчаться съ людьми иначе, какъ на исповѣди и проповѣди. Если же и можно ему входить въ бесѣду, то развѣ съ мудрѣйшими и опытнѣйшими изъ нихъ, которые могли бы познакомить его съ душою и сердцемъ человѣка, изобразить ему жизнь въ ея истинномъ видѣ и свѣтѣ, а не въ томъ, въ какомъ она является неопытному человѣку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и надъ самимъ собою. Онъ долженъ со Спасителя брать примѣръ, Который долгое время провелъ въ пустынѣ и не прежде, какъ послѣ сорокадневнаго предуготовительнаго поста, вышелъ къ людямъ учить ихъ. Нѣкоторые изъ нынѣшнихъ умниковъ выдумали, будто нужно толкаться среди свѣта для того, чтобы узнать его. Это просто вздоръ. Опроверженіемъ такого мнѣнія служатъ всѣ свѣтскіе люди, которые толкаются вѣчно среди свѣта и при всемъ томъ бываютъ всѣхъ пустѣе. Воспитываются для свѣта.

не посреди свѣта, но вдали отъ него, въ глубокомъ внутреннемъ созерцаніи, въ изслѣдованіи собственной души своей, ибо тамъ законы всего и всему: найди только прежде ключъ къ своей собственной душѣ; когда же найдешь, тогда этимъ же самымъ ключомъ отопрешь души всѣхъ.

X.

О ЛИРИЗМѢ НАШИХЪ ПОЭТОВЪ.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Поведемъ рѣчь о статьѣ, надъ которою произнесенъ смертный приговоръ, т.-е. о статьѣ подъ названіемъ: *О лиризмѣ нашихъ поэтовъ*. Прежде всего благодарность за смертный приговоръ! Вотъ уже во второй разъ я спасенъ тобою, о, мой истинный наставникъ и учитель! Прошлый годъ твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотѣлъ послать Плетневу въ «Современникъ» мои сказанія о русскихъ поэтахъ; теперь ты вновь предалъ уничтоженію новый плодъ моего неразумія. Только ты меня еще останавливаешь, тогда какъ всѣ другіе торопятъ, неизвѣстно зачѣмъ. Сколько глупостй успѣлъ бы я уже надѣлать, если бы только послушался другихъ моихъ пріятелей! Итакъ, вотъ тебѣ прежде всего моя благодарственная пѣснь; а затѣмъ обратимся къ самой статьѣ. Мнѣ стыдно, когда помыслю, какъ до сихъ поръ еще я глупъ и какъ не умѣю заговорить ни о чемъ, что поумнѣе. Всего нелѣпѣе выходятъ мысли и толки о литературѣ. Тутъ какъ-то особенно становится все у меня напыщенно, темно и невразумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умомъ, но даже чую сердцемъ, не въ силахъ передать. Слышитъ душа многое, а пересказать или написать ничего не умѣю. Основаніе статьи моей справедливо, а между тѣмъ объяснился я такъ, что всякимъ выраженіемъ вызвалъ на противорѣчіе. Вновь повторю то же самое: въ лиризмѣ нашихъ поэтовъ есть что-то такое, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй, именно—что-то близкое къ библейскому,—то высшее состояніе лиризма, которое чуждо увлеченій страстныхъ и есть твердый возлетъ въ свѣтѣ разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносовѣ и Державинѣ, даже у Пушкина слышится этотъ строгій лиризмъ повсюду, гдѣ ни коснется онъ высокихъ предметовъ. Вспомни только стихотворенія его: къ пастырю церкви, «Пророкъ» и, наконецъ, этотъ таинственный побѣгъ изъ города, напечатанный уже послѣ его смерти. Перебери стихи Языкова, и увидишь, что онъ всякій разъ становится какъ-то неизмѣримо выше и страстей, и самого себя, когда прикоснется къ чему-нибудь высшему. Приведу одно изъ его даже молодыхъ стихотвореній, подъ названіемъ «Геній»; оно же не длинно:

Когда, гремя и пламенѣя,
Пророкъ на небо улеталъ,
Огонь могучій проникалъ
Живую душу Елисея.
Святыми чувствами полна,
Мужала, крѣпла, возвышалась
И вдохновеньемъ озарялась
И Бога слышала она.
Такъ геній радостно трепещетъ,
Свое величье познаетъ,
Когда предъ нимъ гремитъ и блещетъ
Иного генія полетъ;
Его воскреснувшая сила
Мгновенно зрѣетъ для чудесъ,
И міру новыя свѣтила—
Дѣла избранника небесъ.

Какой свѣтъ и какая строгость величія! Я изъяснялъ это тѣмъ, что наши поэты видѣли всякій высокій предметъ въ его законномъ соприкосновеніи съ верховнымъ источникомъ лиризма—Богомъ, одни сознательно, другіе безсознательно, потому что русская душа, вслѣдствіе своей русской природы, уже слышитъ это какъ-то сама собой, неизвѣстно почему. Я сказалъ, что два предмета вызывали у нашихъ поэтовъ этотъ лиризмъ, близкій къ библейскому. Первый изъ нихъ—*Россія*. При одномъ этомъ имени какъ-то вдругъ просвѣтляется взглядъ у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозоръ, все становится у него шире, и онъ самъ какъ бы облекается величіемъ, становясь превыше обыкновеннаго человѣка. Это что-то болѣе, нежели обыкновенная любовь къ отечеству. Любовь къ отечеству отозвалась бы приторнымъ хвастаньемъ. Доказательствомъ тому наши такъ-называемые квасные патріоты. (Послѣ ихъ похвалъ, впрочемъ довольно чистосердечныхъ, только плюнешь на Россію). Между тѣмъ заговоритъ Державинъ о Россіи—слышишь въ себѣ неестественную силу и какъ бы самъ дышишь величіемъ Россіи. Одна простая любовь къ отечеству не дала бы силъ не только Державину, но даже и Языкову, выражаться такъ широко и торжественно всякій разъ, гдѣ ни коснется онъ Россіи. Напримѣръ, хоть бы въ стихахъ, гдѣ онъ изображаетъ, какъ наступилъ было на нее Баторій:

... Повелительный Стефанъ
Въ одинъ могущественный станъ
Уже сбиралъ толпы густыя,
Да ниспровергнетъ псковитянъ,
Да уничтожится Россія!
Но ты, къ отечеству любовь,
Ты, чѣмъ гордились наши дѣды,
Ты ополчилась: кровь за кровь—
И онъ не праздновалъ побѣды!

Это богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется съ какимъ-то невольнымъ пророчествомъ о Россіи, рождается

отъ невольнаго прикосновенія мысли къ верховному Промыслу, который такъ явно слышенъ въ судьбѣ нашего отечества. Сверхъ любви участвуетъ здѣсь сокровенный ужасъ при видѣ тѣхъ событій, которымъ повелѣлъ Богъ совершиться въ землѣ, назначенной быть нашимъ отечествомъ, прозрѣніе прекраснаго новаго зданія, которое покамѣстъ не для всѣхъ видимо зиждется и которое можетъ слышать всеслышащимъ ухомъ поэзіи поэтъ или же такой духовѣдецъ, который уже можетъ въ *зернѣ* прозрѣвать его *плодъ*. Теперь начинаютъ это слышать понемногу и другіе люди, но выражаются такъ неясно, что слова ихъ похожи на безуміе. Тебѣ напрасно кажется, что нынѣшняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущемъ Россіи, слѣдуетъ какому-то модному повѣтрію. Они не умѣютъ вынашивать въ головѣ мыслей, торопятся ихъ объявлять міру, не замѣчая того, что ихъ мысли еще—глупые ребята, вотъ и все. И въ еврейскомъ народѣ четыреста пророковъ пророчествовали вдругъ: изъ нихъ одинъ только бывалъ избранникъ Божій, котораго сказанія вносились въ святую книгу еврейскаго народа; всѣ же прочіе, вѣроятно наговаривали много лишняго, но тѣмъ не менѣе они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умѣли сказать здраво и ясно; иначе народъ побилъ бы ихъ камнями. Зачѣмъ же ни Франція, ни Англія, ни Германія не заражены этимъ повѣтріемъ и не пророчествуютъ о себѣ, а пророчествуетъ только одна Россія? Затѣмъ, что она сильнѣе другихъ слышитъ Божію руку на всемъ, что ни сбывается въ ней, и чуетъ приближеніе иного царствія. Оттого и звуки становятся библейскими у нашихъ поэтовъ. И этого не можетъ быть у поэтовъ другихъ націй, какъ бы ни сильно они любили свою отчизну и какъ бы ни жарко умѣли выражать такую любовь свою. И въ этомъ не спорь со мною, прекрасный другъ мой!

Но перейдемъ къ другому предмету, гдѣ также слышится у нашихъ поэтовъ тотъ высокій лиризмъ, о которомъ идетъ рѣчь, то-есть, *любви къ царю*. Отъ множества гимновъ и одъ царямъ, поэзія наша, уже со временъ Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выраженіе. Что чувства въ ней искренни—объ этомъ нечего и говорить. Только тотъ, кто надѣленъ мелочнымъ остроуміемъ, способнымъ на одни мгновенныя, легкія соображенія, увидитъ здѣсь лесть и желаніе получить что-нибудь, и такое соображеніе оснуетъ на какихъ-нибудь ничтожныхъ и плохихъ одахъ тѣхъ же поэтовъ. Но тотъ, кто болѣе, нежели остроуменъ, кто мудръ, тотъ становится передъ тѣми одами Державина, гдѣ онъ очертываетъ властелину широкій кругъ его благотворныхъ дѣйствій, гдѣ самъ, со слезою на глазахъ, говоритъ ему о тѣхъ слезахъ, которыя готовы застроиться изъ глазъ, не только русскихъ, но даже безчувственныхъ дикарей, обитающихъ на концахъ его имперіи, отъ одного только прикосновенія той милости и той любви, какую можетъ показать

народу одна полномощная власть. Тутъ многое такъ сказано сильно, что если бы даже и нашелся такой государь, который позабылъ бы на время долгъ свой, то, прочитавши сіи строки, вспомнитъ онъ вновь его и умилится самъ передъ святостью званія своего. Только холодные сердцемъ попрекнутъ Державина за излишнія похвалы Екатеринѣ; но кто сердцемъ не камень, тотъ не прочтетъ безъ умиленія тѣхъ замѣчательныхъ строфъ, гдѣ поэтъ говоритъ, если и перейдетъ его мраморный истуканъ въ погомство, такъ это потому только,

Что пѣлъ я россовъ ту царицу,
Какой другой намъ не найти
Ни здѣсь, ни впредь въ пространномъ мірѣ...
Хвались, хвались моя тѣмъ лира!

Не прочтетъ онъ также безъ непритворнаго душевнаго волненія сихъ уже почти предсмертныхъ стиховъ:

Холодна старость духъ, у лиры гласъ отъемлетъ:
Екатерины муза дремлетъ.
. . . . . Пѣть
Ужъ не могу. Другимъ пѣвцамъ гремѣть
Мои оставлю ветхи струны,
Да черплютъ вновь изъ нихъ перуны
Тѣхъ чистыхъ пламенныхъ огней,
Какъ пѣлъ я трехъ царей.

Старикъ у дверей гроба не будетъ лгать. При жизни своей носилъ онъ, какъ святыню, эту любовь, унесъ и за гробъ ее, какъ святыню. Но не объ этомъ рѣчь. Откуда взялась эта любовь? вотъ вопросъ. Что весь народъ слышитъ ее какимъ-то сердечнымъ чутьемъ, а потому и поэтъ, какъ чистѣйшее отраженіе того же народа, долженъ былъ ее услышать въ высшей степени—это объяснитъ только одну половину дѣла. Полный и совершенный поэтъ ничему не предается безотчетливо, не провѣривъ его мудростію полнаго своего разума. Имѣя ухо слышать впередъ, заключа въ себѣ стремленіе возсоздавать въ полнотѣ ту же вещь, которую другіе видятъ отрывочно, съ одной или двухъ сторонъ, а не со всѣхъ четырехъ, онъ не могъ не прозрѣвать развитія полнѣйшаго этой власти. Какъ умно опредѣлялъ Пушкинъ значеніе полномощнаго монарха! и какъ онъ вообще былъ уменъ во всемъ, что ни говорилъ въ послѣднее время своей жизни! «Зачѣмъ нужно», говорилъ онъ, «чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самого закона? Затѣмъ, что законъ—дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь; нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха—автоматъ: много-много, если оно достигнетъ того, до чего достигнули

Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и выѣденнаго яйца не стоитъ. Государство безъ полномощнаго монарха то же, что оркестръ безъ капельмейстера: какъ ни хороши будь всѣ музыканты, но, если нѣтъ среди нихъ одного такого, который бы движеніемъ палочки всему подавалъ знакъ, никуда не пойдетъ концертъ. (А, кажется, онъ самъ ничего не дѣлаетъ, не играетъ ни на какомъ инструментѣ, только слегка помахиваетъ палочкой, да поглядываетъ на всѣхъ, и уже одинъ взглядъ его достаточенъ на то, чтобы умягчить, въ томъ и другомъ мѣстѣ, какой-нибудь шаршавый звукъ, который испустилъ бы иной дуракъ-барабанъ или неуклюжій тулумбасъ). При немъ и мастерская скрипка не смѣетъ слишкомъ разгуляться на счетъ другихъ: блюдетъ онъ общій строй, всего оживитель, верховодецъ верховнаго согласія!» Какъ мѣтко выражался Пушкинъ! Какъ понималъ онъ значеніе великихъ истинъ! (Это внутреннее существо—силу самодержавнаго монарха онъ даже отчасти выразилъ въ одномъ своемъ стихотвореніи, которое между прочимъ ты самъ напечаталъ въ посмертномъ собраніи его сочиненій, выправилъ даже въ немъ стихъ, а смыслъ не угадалъ. Тайну его теперь открою. Я говорю объ одѣ императору Николаю, появившейся въ печати подъ скромнымъ именемъ: *Къ Н****. Вотъ ея происхожденіе. Былъ вечеръ въ Аничковомъ дворцѣ, одинъ изъ тѣхъ вечеровъ, къ которымъ, какъ извѣстно, приглашались одни избранные изъ нашего общества. Между ними былъ тогда и Пушкинъ. Все въ залахъ уже собралось; но государь долго не выходилъ. Отдалившись отъ всѣхъ въ другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей отъ дѣлъ минутой, онъ развернулъ Иліаду и увлекся нечувствительно ея чтеніемъ во все то время, когда въ залахъ давно уже гремѣла музыка и кипѣли танцы. Сошелъ онъ на балъ уже нѣсколько поздно, принеся на лицѣ своемъ слѣды иныхъ впечатлѣній. Сближеніе этихъ двухъ противоположностей скользнуло незамѣченнымъ для всѣхъ, но въ душѣ Пушкина, оно оставило сильное впечатлѣніе, и плодомъ ея была слѣдующая величественная ода, которую повторю здѣсь всю, она же вся въ одной строфѣ:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ,
Тебя мы долго ожидали.
И свѣтелъ ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ
И вынесъ намъ свои скрижали.
И что-жъ? Ты насъ обрелъ въ пустынѣ подъ шатромъ.
Въ безумствѣ суетнаго пира—
Поющихъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смутились мы, твоихъ чуждаяся лучей;
Въ порывѣ гнѣва и печали,
Ты проклялъ насъ, безсмысленныхъ дѣтей,
Разбивъ листы своей скрижали.

Нѣтъ, ты непроклялъ насъ. Ты любишь съ высоты
Сходить подъ тѣнь долины малой,
Ты любишь громъ небесъ и также внемлешь ты
Журчанью пчелъ надъ розой алой.

Оставимъ личность императора Николая, (и) разберемъ, что такое монархъ вообще, какъ Божій помазанникъ, обязанный стремить ввѣренный ему народъ къ тому свѣту, въ которомъ обитаетъ Богъ, и въ правѣ ли былъ Пушкинъ уподобить его древнему Боговидцу Моисею? Тотъ изъ людей, на рамена котораго обрушилась судьба милліоновъ его собратій, кто страшною отвѣтственностію за нихъ предъ Богомъ освобожденъ уже отъ всякой отвѣтственности предъ людьми, кто болѣетъ ужасомъ этой отвѣтственности и льетъ, можетъ-быть, незримо такія слезы и страждетъ такими страданіями, о которыхъ и помыслить не умѣетъ стоящій внизу человѣкъ, кто среди самыхъ развлеченій слышитъ вѣчный, неумолкаемо раздающійся въ ушахъ кликъ Божій, неумолкаемо къ нему вопіющій,—тотъ можетъ быть уподобленъ древнему Боговидцу, можетъ, подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши вѣтрено-кружащееся племя, которое, намѣсто того, чтобы стремиться къ тому, къ чему все должно стремиться на землѣ, суетно скачетъ около своихъ же, отъ себя самихъ созданныхъ кумировъ. Но Пушкина остановило еще высшее значеніе той же власти, которую вымолило у Небесъ немощное безсиліе человѣчества, вымолило ее крикомъ не о правосудіи небесномъ, передъ которымъ не устоялъ бы ни одинъ человѣкъ на землѣ, но крикомъ о небесной любви Божіей, которая бы все умѣла простить намъ: и забвеніе долга нашего, и самый ропотъ нашъ,—все, что не прощаетъ на землѣ человѣкъ, чтобы одинъ затѣмъ только собралъ всю власть въ себя самого и отдѣлился бы отъ всѣхъ насъ и сталъ выше всего на землѣ, чтобы чрезъ то стать ближе, равно ко всѣмъ, снисходить съ вышины ко всему и внимать всему, начиная отъ грома небесъ и лиры поэта до незамѣтныхъ увеселеній нашихъ.

Кажется, какъ бы въ этомъ стихотвореніи Пушкинъ, задавши вопросъ себѣ самому, что такое эта власть, самъ же упалъ въ прахъ предъ величіемъ возникнувшаго въ душѣ его отвѣта. Не мѣшаетъ замѣтить, что это былъ тотъ поэтъ, который былъ слишкомъ гордъ и независимостію своихъ мнѣній, и своимъ личнымъ достоинствомъ. Никто не сказалъ такъ о себѣ, какъ онъ:

Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный,
Къ нему не заростетъ народная тропа:
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа.

Хотя въ *Наполеоновомъ столпѣ* виноватъ, конечно, ты; но положимъ, если бы даже стихъ остался въ своемъ прежнемъ видѣ, онъ

все-таки послужилъ бы доказательствомъ, и даже еще большимъ, какъ Пушкинъ, чувствуя свое личное преимущество, какъ человѣка, передъ многими изъ вѣнценосцевъ, слышалъ въ то же время всю малость званія своего передъ званіемъ вѣнценосца и умѣлъ благоговѣйно поклониться передъ тѣми изъ нихъ, которые показали міру величество своего званія.

Поэты наши прозрѣвали значеніе высшее монарха, слыша, что онъ неминуемо долженъ, наконецъ, сдѣлаться весь одна *любовь*, и такимъ образомъ станетъ видно всѣмъ, почему государь есть образъ Божій, какъ это признаетъ, покуда чутьемъ, вся земля наша. Значеніе государя въ Европѣ неминуемо приблизится къ тому же выраженію. Все къ тому ведетъ, чтобы вызвать въ государяхъ высшую, Божескую любовь къ народамъ. Уже раздаются вопли страданій душевныхъ всего человѣчества, которыми заболѣлъ почти каждый изъ нынѣшнихъ европейскихъ народовъ, и мечется, бѣдный, не зная самъ, какъ и чѣмъ себѣ помочь: всякое постороннее прикосновеніе жестоко разболѣвшимся его ранамъ; всякое средство, всякая помощь, придуманная умомъ, ему груба и не приноситъ цѣленія. Эти крики усилятся, наконецъ, до того, что разорвется отъ жалости и безчувственное сердце, и сила еще доселѣ небывалаго состраданія вызоветъ силу другой, еще доселѣ небывалой любви. Загорится человѣкъ любовію ко всему человѣчеству,—такою, какою никогда еще не загорался. Изъ насъ, людей частныхъ, возымѣть такую любовь во всей силѣ никто не возможетъ; она останется въ идеяхъ и въ мысляхъ, а не въ дѣлѣ; могутъ проникнуться ею вполнѣ одни только тѣ, которымъ уже постановлено въ непремѣнный законъ полюбить всѣхъ, какъ одного человѣка. Все полюбивши въ своемъ государствѣ, до единаго человѣка всякаго сословія и званія, и обративши все, что ни есть въ немъ, какъ бы въ собственное тѣло свое, возболѣвъ духомъ о всѣхъ, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущемъ народѣ своемъ, государь пріобрѣтетъ тотъ всемогущій голосъ любви, который одинъ только можетъ быть доступенъ разболѣвшемуся человѣчеству, и котораго прикосновеніе будетъ не жестко его ранамъ, который одинъ можетъ только внести примиреніе во всѣ сословія и обратить въ стройный оркестръ государство. Тамъ только исцѣлится вполнѣ народъ, гдѣ постигнетъ монархъ высшее значеніе свое—быть образомъ Того на землѣ, Который Самъ есть любовь. Въ Европѣ не приходило никому въ умъ опредѣлять высшее значеніе монарха. Государственные люди, законоискусники и правовѣдцы смотрѣли на одну его сторону, именно, какъ на высшаго чиновника въ государствѣ, (постановленнаго отъ людей), а потому не знаютъ даже, какъ быть съ этой властію, (какъ ей указать настоящія границы), когда, вслѣдствіе ежедневно измѣняющихся обстоятельствъ, бываетъ нужно то расширить ея предѣлы, то ограничить ее; а черезъ это и государь, и народъ поставлены тамъ

между собою въ странное положеніе: они глядятъ другъ на друга чуть не такимъ же точно образомъ, какъ на противниковъ, желающихъ воспользоваться властію одинъ на счетъ другого. Высшее значеніе монархіи прозрѣли у насъ поэты, а не законовѣдцы—услышали съ трепетомъ волю Бога создать ее въ Россіи въ ея законномъ видѣ; оттого и звуки ихъ становятся библейскими*) всякій разъ, какъ только излетаетъ изъ устъ ихъ слово *царь*. Это слышатъ у насъ и не поэты, потому что страницы нашей исторіи слишкомъ явно говорятъ о волѣ Промысла: да образуется въ Россіи эта власть въ ея полномъ и совершенномъ видѣ. Всѣ событія въ нашемъ отечествѣ, начиная отъ порабощенія татарскаго, видимо клонятся къ тому, чтобы собрать могущество въ руки одного, дабы одинъ былъ въ силахъ произвесть этотъ знаменитый переворотъ всего въ государствѣ, все потрясти и, всѣхъ разбудивши, вооружить каждаго изъ насъ тѣмъ высшимъ взглядомъ на самого себя, безъ котораго невозможно человѣку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть въ себѣ самомъ ту же брань всему невѣжественному и темному, какую воздвигнулъ царь въ своемъ государствѣ; чтобы потомъ, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и все придетъ въ сознаніе силъ своихъ, могъ бы также одинъ, всѣхъ впереди, съ свѣтильникомъ въ рукѣ, устремить, какъ одну душу, весь народъ свой къ тому верховному свѣту, къ которому просится Россія. Смотри также, какимъ чуднымъ средствомъ, еще прежде, нежели могло объясниться полное значеніе этой власти какъ самому государю, такъ и его подданнымъ, уже брошены были сѣмена взаимной любви въ сердца! Ни одинъ царскій домъ не начинался такъ необыкновенно, какъ начался домъ Романовыхъ. Его начало было уже подвигъ любви. Послѣдній и низшій подданный въ государствѣ принесъ и положилъ свою жизнь, для того, чтобы дать намъ царя, и сею чистою жертвою связалъ уже неразрывно государя съ подданнымъ. Любовь вошла въ нашу кровь, и завязалось у насъ всѣхъ кровное родство съ царемъ. (И такъ слился и сталъ одно-едино съ подвластнымъ повелитель, что намъ всѣмъ теперь видится всеобщая бѣда—государь ли позабудетъ своего подданнаго и отрѣшится отъ него, или подданный позабудетъ своего государя и отъ него отрѣшится). Какъ явно тоже оказывается воля Бога—избрать для этого фамилію Романовыхъ, а не другую! Какъ непостижимо это возведеніе на престолъ никому неизвѣстнаго отрока! Тутъ же рядомъ стояли древнѣйшіе родомъ, и притомъ мужи доблести, которые только-что спасли свое отечество: Пожарскій, Трубецкой, наконецъ князья, по прямой линіи происходившіе отъ Рюрика. Всѣхъ ихъ мимо произошло избраніе, и ни одного голоса не было противъ: никто не посмѣлъ предъявлять правъ своихъ! И случилось это въ то смутное время, когда всякій могъ вздорить и

*) См. примѣчанія. *Ред.*

оспаривать, и набирать шайки приверженцевъ. И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линіи родственникомъ царю, отъ котораго недавній ужасъ ходилъ по всей землѣ, (такъ что не только имъ притѣсняемые и казнимые бояре, но даже и самый народъ, который, почти ничего не потерпѣлъ отъ него, долго повторялъ поговорку: «добро была голова, да слава Богу, что земля прибрала»). И при всемъ томъ все единогласно, отъ бояръ до послѣдняго бобыля, положило, чтобъ онъ былъ на престолѣ. Вотъ какія у насъ дѣлаются дѣла! Какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ, которые слышали полное опредѣленіе царя въ книгахъ Ветхаго Завѣта и которые въ то же время такъ близко видѣли волю Бога во всѣхъ событіяхъ въ нашемъ отечествѣ,—какъ же ты хочешь, чтобы лиризмъ нашихъ поэтовъ не былъ исполненъ библейскихъ отголосковъ? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы облечь такою суровою трезвостью, ихъ звуки; для этого потребно полное и твердое убѣжденіе разума не одно безотчетное чувство любви; иначе звуки ихъ вышли бы мягкими, какъ у тебя въ прежнихъ твоихъ молодыхъ сочиненіяхъ, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нѣтъ, есть что-то крѣпкое, слишкомъ крѣпкое у нашихъ поэтовъ, чего нѣтъ у поэтовъ другихъ націй. Если тебѣ этого не видится, то еще не доказываетъ, чтобы его вовсе не было. Вспомни самъ, что въ тебѣ не всѣ стороны русской природы; напротивъ, нѣкоторыя изъ нихъ взошли въ тебѣ на такую высокую степень и такъ развились просторно, что чрезъ это не дали мѣста другимъ, и ты уже сталъ исключеніемъ изъ обще-русскихъ характеровъ. Въ тебѣ заключились вполнѣ всѣ мягкія и нѣжныя струны нашей славянской природы; но тѣ густыя и крѣпкія ея струны, отъ которыхъ проходитъ тайный ужасъ и содроганіе по всему составу человѣка, тебѣ не такъ извѣстны. А онѣ-то и есть родники того лиризма о которомъ идетъ рѣчь. Этотъ лиризмъ уже ни къ чему не можетъ возноситься, какъ только къ одному верховному источнику своему—Богу. Онъ суровъ, онъ пугливъ, онъ не любитъ многословія; ему приторно все, что ни есть на землѣ, если только онъ не видитъ на немъ напечатлѣнія Божьяго. Въ комъ хотя одна крупица этого лиризма, тотъ, несмотря на всѣ несовершенства и недостатки, заключаетъ въ себѣ суровое, высшее благородство душевное, передъ которымъ дрожитъ самъ и которое заставляетъ его бѣжать отъ всего, похожаго на выраженіе признательности со стороны людской. Собственный лучшій его подвигъ ему вдругъ опротивѣетъ, если на него послѣдуетъ ему какая-нибудь награда: онъ слишкомъ чувствуетъ, что все высшее должно быть выше награды. (Только по смерти Пушкина обнаружились его истинныя отношенія къ государю и тайны двухъ его лучшихъ сочиненій. Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послѣ того, какъ вслѣдствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ

слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, неопрятно-запальчивыхъ выходокъ, производимыхъ всякими квасными и некрасными патріотами, перестали вѣрить у насъ на Руси искренности всѣхъ печатныхъ изліяній,—Пушкину было опасно выходить: его бы какъ разъ назвали подкупнымъ или чего-то ищущимъ человѣкомъ. Но теперь, когда появились только послѣ его смерти эти сочиненія, вѣрно, не отыщется во всей Россіи такой человѣкъ, который посмѣлъ бы назвать Пушкина льстецомъ или угодливымъ кому бы то ни было. Чрезъ то святыня высокаго чувства сохранена. И теперь всякъ, кто даже и не въ силахъ постигнуть дѣло собственнымъ умомъ, приметъ его на вѣру, сказавши: «если самъ Пушкинъ думалъ такъ, то уже, вѣрно, это сущая истина»). Царственные гимны нашихъ поэтовъ изумляли самихъ чужеземцевъ своимъ величественнымъ складомъ и слогомъ. Еще недавно Мицкевичъ сказалъ объ этомъ на лекціяхъ Парижу, и сказалъ въ такое время, когда и самъ онъ былъ раздраженъ противъ насъ, и все въ Парижѣ на насъ негодовало. Несмотря, однакожъ, на то, онъ объявилъ торжественно, что въ одахъ и гимнахъ нашихъ поэтовъ ничего нѣтъ рабскаго или низкаго, но, напротивъ, что-то свободно-величественное; и тутъ же, хотя это не понравилось никому изъ земляковъ его, отдалъ честь благородству характеровъ нашихъ писателей. Мицкевичъ правъ. Наши писатели, точно, заключили въ себѣ черты какой-то высшей природы. Въ минуты сознанія своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальствомъ, если бы ихъ жизнь не была тому подкрѣпленіемъ. Вотъ что говоритъ о себѣ Пушкинъ, помышляя о будущей судьбѣ своей:

И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ
И милость къ падшимъ призывалъ.

Стоитъ только вспомнить Пушкина, чтобы видѣть, какъ вѣренъ этотъ портретъ. (Какъ онъ весь оживлялся и вспыхивалъ, когда дѣло шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Какъ выжидалъ онъ первой минуты царскаго благоволенія къ нему, чтобы заикнуться не о себѣ, а о другомъ несчастномъ, упадшемъ! Черта истинно русская). Вспомни только то умилительное зрѣлище, какое представляетъ посѣщеніе всѣмъ народомъ ссыльныхъ, отправляющихся въ Сибирь, когда всякъ несетъ отъ себя—кто пищу, кто деньги, кто христіански-утѣшительное слово. Ненависти нѣтъ къ преступнику, нѣтъ также донкишотскаго порыва сдѣлать изъ него героя, собирать его факсимиле, портреты, или смотрѣть на него изъ любопытства, какъ дѣлается въ просвѣщенной Европѣ. Здѣсь что-то болѣе: не желаніе оправдать его или вырвать изъ рукъ

правосудія, но воздвигнуть упадшій духъ его, утѣшить, какъ братъ утѣшаетъ брата, какъ повелѣлъ Христосъ намъ утѣшать другъ друга. (Пушкинъ высоко слишкомъ цѣнилъ всякое стремленіе воздвигнуть падшаго. Вотъ отчего такъ гордо затрепетало его сердце, когда услышалъ онъ о пріѣздѣ государя въ Москву во время ужасовъ холеры,— черта, которую едва ли показалъ кто-либо изъ вѣнценосцевъ, и которая вызвала у него эти замѣчательные стихи:

Небесами
Клянусь, кто жизнію своей
Игралъ предъ сумрачнымъ недугомъ,
Чтобъ ободрить угасшій взоръ,
Клянусь, тотъ будетъ Небу другомъ,
Какой бы ни былъ приговоръ
Земли слѣпой.

Онъ умѣлъ также оцѣнить и другую черту въ жизни другого вѣнценосца, Петра. Вспомни стихотвореніе «Пиръ на Невѣ», въ которомъ онъ съ изумленіемъ спрашиваетъ о причинѣ необыкновеннаго торжества въ царскомъ домѣ, раздающагося кликами по всему Петербургу и по Невѣ, потрясенной пальбой пушекъ. Онъ перебираетъ всѣ случаи, радостные царю, которые могли быть причиною такого пированія: родился-ли государю наслѣдникъ его престола, именинница-ль на его, побѣжденъ-ли непобѣдимый врагъ, прибылъ-ли флотъ, давлявшій любимую страсть государя, и на все это отвѣчаетъ:

Нѣтъ, онъ съ подданнымъ мирится,
Виноватому вину
Забывая, веселится,
Чарку пѣнитъ съ нимъ одну.
Оттого-то пиръ веселый,
Рѣчь гостей хмельна, шумна,
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Только одинъ Пушкинъ могъ почувствовать всю красоту такого поступка. Умѣть не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощеніе, какъ побѣду надъ врагомъ,—это истинно божеская черта. Только на небесахъ умѣютъ поступать такъ. Тамъ только радуются обращенію грѣшника еще болѣе, нежели самому праведнику, и всѣ сонмы невидимыхъ силъ участвуютъ въ небесномъ пиршествѣ Бога. Пушкинъ былъ знатокъ и оцѣнщикъ вѣрный всего великаго въ человѣкѣ. Да и какъ могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всѣхъ нашихъ писателей? Замѣчательно, что во всѣхъ другихъ земляхъ писатель находится въ какомъ-то неуваженіи отъ общества, относительно своего личнаго характера. У насъ напротивъ. У насъ даже и тотъ, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавецъ душою, но даже временами и вовсе подленекъ, во гулбинѣ Россіи отнюдь не почитается такимъ. Напро-

тивъ, у всѣхъ вообще, даже и у тѣхъ, которые едва слышатъ о писателяхъ, живетъ уже какое-то убѣжденіе, что писатель есть что-то высшее, что онъ непремѣнно долженъ быть благороденъ, что ему многое неприлично, что онъ не долженъ и позволить себѣ того, что прощается другимъ. Въ одной изъ нашихъ губерній, во время дворянскихъ выборовъ, одинъ дворянинъ, который съ тѣмъ вмѣстѣ былъ и литераторъ, подалъ было свой голосъ въ пользу человѣка, совѣсти нѣсколько запятнанной—всѣ дворяне обратились къ нему тутъ же и его попрекнули сказавши съ укоризною: «А еще и писатель!»

1846

XI.

СПОРЫ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ Л**.

Споры о нашихъ европейскихъ и славянскихъ началахъ, которые, какъ ты говоришь, пробираются уже въ гостиныя, показываютъ только то, что мы начинаемъ просыпаться, но еще не вполнѣ проснулись; а потому не мудрено, что съ обѣихъ сторонъ наговаривается весьма много дичи. Всѣ эти славянисты и европисты,—или же старовѣры и нововѣры, или же восточники и западники, а что они въ самомъ дѣлѣ, не умѣю сказать, потому что покамѣстъ они мнѣ кажутся только карикатурами на то, чѣмъ хотятъ быть,—всѣ они говорятъ о двухъ разныхъ сторонахъ одного и того же предмета, никакъ не догадываясь, что ничуть не спорятъ и не перечатъ другъ другу. Одинъ подошелъ слишкомъ близко къ строенію, такъ что видитъ одну часть его; другой отошелъ отъ него слишкомъ далеко, такъ что видитъ весь фасадъ, но по частямъ не видитъ. Разумѣется, правды больше на сторонѣ славянистовъ и восточниковъ, потому что они все-таки видятъ весь фасадъ и, стало-быть, все-таки говорятъ о главномъ, а не о частяхъ. Но и на сторонѣ европистовъ и западниковъ тоже есть правда, потому что они говорятъ довольно подробно и отчетливо о той стѣнѣ, которая стоитъ передъ ихъ глазами; вина ихъ въ томъ только, что изъ-за карниза, вѣнчающаго эту стѣну, не видится имъ верхушка всего строенія, то-есть, глава, куполъ и все, что ни есть въ вышинѣ. Можно бы посовѣтовать обоимъ—одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступиться немного подалѣе. Но на это они не согласятся, потому что духъ гордости обуялъ обоими. Всякій изъ нихъ увѣренъ, что онъ окончательно и положительно правъ, и что другой окончательно и положительно лжетъ. Кичливости больше на сторонѣ славянистовъ: они хвастуны; изъ нихъ каждый воображаетъ о себѣ, что онъ открылъ Америку, и найденное имъ зернышко раздуваетъ въ рѣпу. Разумѣется,

что такимъ строптивымъ хвастовствомъ вооружаютъ они еще болѣе противъ себя европистовъ, которые давно бы готовы были отъ многаго отступиться, потому что и сами начинаютъ слышать многое, прежде неслышанное, но упорствуютъ, не желая уступить слишкомъ раскозырявшемуся человѣку. (Всѣ эти споры еще ничего, если бы только они оставались въ гостиныхъ да въ журналахъ. Но дурно то, что два противоположныя мнѣнія, находясь въ такомъ незрѣломъ и неопредѣленномъ видѣ, переходятъ уже въ головы многихъ должностныхъ людей. Мнѣ сказывали, что случается (особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должность и власть раздѣлена въ рукахъ двухъ) такимъ образомъ, что въ одно и то же время одинъ дѣйствуетъ совершенно въ европейскомъ духѣ, а другой старается подвизаться рѣшительно въ древнерусскомъ, укрѣпляя всѣ прежніе порядки, противоположные тѣмъ, которые замышляетъ собрать его. И оттого какъ дѣламъ, такъ и самимъ подчиненнымъ чиновникамъ приходитъ бѣда: они не знаютъ, кого слушаться. А такъ какъ оба мнѣнія, несмотря на всю свою рѣзкость, окончательно всѣмъ не опредѣлились, то, говорятъ, этимъ пользуются всякаго рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, подъ маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное мѣсто и производить на немъ плутни въ качествѣ какъ поборника старины, такъ и поборника новизны). Вообще, споры суть вещи такого рода, къ которымъ люди умные и пожилые покамѣстъ не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь: это ея дѣло. Повѣрь, уже такъ заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались, затѣмъ именно, дабы умные могли въ это время надуматься вдоволь. Къ спорамъ прислушивайся, но въ нихъ не вмѣшивайся. Мысль твоего сочиненія, которымъ хочешь заняться, очень умна, и я даже увѣренъ, что ты исполнишь это дѣло лучше всякаго литератора. Но объ одномъ тебя прошу: производи его въ минуты, сколько возможно, хладнокровныя и спокойныя. Храни тебя Богъ отъ запальчивости и горячки, хотя бы даже въ малѣйшемъ выраженіи. Гнѣвъ вездѣ неумѣстенъ, а больше всего въ дѣлѣ правомъ, потому что затемняетъ и мутитъ его. Вспомни, что ты человѣкъ не только немолодой, но даже и весьма въ лѣтахъ. Молодому человѣку еще какъ-нибудь присталъ гнѣвъ; по крайней мѣрѣ, въ глазахъ нѣкоторыхъ онъ придаетъ ему какую-то картинную наружность. Но если старикъ начнетъ горячиться, онъ дѣлается, просто, гадокъ; молодежь какъ разъ подыметъ его на зубки и выставитъ смѣшнымъ. Смотри же, чтобъ не сказали о тебѣ: «Экъ, скверный старикашка! всю жизнь валялся на-боку, ничего не дѣлая, а теперь выступилъ укорять другихъ, зачѣмъ они не такъ дѣлаютъ!» Изъ устъ старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Духъ чистѣйшаго незлобія и кротости долженъ проникать величавыя рѣчи старца, такъ, чтобы молодежь ничего не нашлась

сказать ему въ возраженіе, почувствовавъ, что неприличны будутъ ея рѣчи, и что сѣдина есть уже святыня.

1844

XII.

ХРИСТІАНИНЪ ИДЕТЪ ВПЕРЕДЪ.

ПИСЬМО КЪ Щ.....ВУ.

Другъ мой! считай себя не иначе, какъ школьникомъ и ученикомъ. Не думай, чтобы ты уже былъ старъ для того, чтобы учиться, чтобы силы твои достигнули настоящей зрѣлости и развитія и что характеръ и душа твоя получили уже настоящую форму и не могутъ быть лучшими. Для христіанина нѣтъ оконченнаго курса: онъ вѣчно ученикъ и до самаго гроба ученикъ. По обыкновенному, естественному ходу, человѣкъ достигаетъ полнаго развитія ума своего въ тридцать лѣтъ. Отъ тридцати до сорока еще кое-какъ идутъ впередъ его силы; дальше же этого срока въ немъ ничто не подвигается, и все имъ производимое не только не лучше прежняго, но даже слабѣе и холоднѣе прежняго. Но для христіанина этого не существуетъ, и, гдѣ для другихъ предѣлъ совершенства, тамъ для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые изъ людей, переваливаясь за сорокалѣтній возрастъ, тупѣютъ, устаютъ и слабѣютъ. Перебери всѣхъ философовъ и первѣйшихъ всесвѣтныхъ геніевъ: лучшая пора ихъ была только во время ихъ полнаго мужества; потомъ они уже понемногу выживали изъ своего ума, а въ старости впадали даже въ младенчество. Вспомни о Кантѣ, который въ послѣдніе годы обезпамятѣлъ вовсе и умеръ, какъ ребенокъ. Но пересмотри жизнь всѣхъ святыхъ: ты увидишь, что они крѣпли въ разумѣ и силахъ духовныхъ по мѣрѣ того, какъ приближались къ дряхлости и смерти. Даже и тѣ изъ нихъ, которые отъ природы не получили никакихъ блестящихъ даровъ и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потомъ разумомъ рѣчей своихъ. Отчего-жъ это? Оттого, что у нихъ пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бываетъ у всякаго человѣка только въ лѣта его юности, когда онъ видитъ передъ собою подвиги, за которые наградою всеобщее рукоплесканіе, когда ему мерещится радужная даль, имѣющая такую заманку для юноши. Угаснула предъ нимъ даль и подвиги—угаснула и сила стремящая. Но передъ христіаниномъ сіяетъ вѣчно даль, и видятся вѣчные подвиги. Онъ, какъ юноша, алчетъ жизненной битвы; ему есть съ чѣмъ воевать и гдѣ подвизаться, потому что взглядъ его на самого себя, безпрестанно просвѣтляющійся, открываетъ ему новые недостатки въ себѣ самомъ, съ которыми нужно производить новыя битвы. Оттого и всѣ его силы не только не могутъ

въ немъ заснуть или ослабѣть, но еще возбуждаются безпрестанно; а желаніе быть лучшимъ и заслужить рукоплесканія на небесахъ придаетъ ему такія шпоры, какихъ не можетъ дать наисильнѣйшему честолюбцу его ненасытимѣйшее честолюбіе. Вотъ причина, почему христіанинъ тогда идетъ впередъ, когда другіе назадъ, и отчего становится онъ, чѣмъ дальше, умнѣе.

Умъ не есть высшая въ насъ способность. Его должность не больше, какъ полицейская: онъ можетъ только привести въ порядокъ и разставить по мѣстамъ все то, что у насъ ужъ есть. Онъ самъ не двигнется впередъ, покуда не двигнутся въ насъ двѣ другія способности, отъ которыхъ онъ умнѣетъ. Отвлеченными чтеніями, размышленіями и безпрестанными слушаніями всѣхъ курсовъ наукъ его заставишь только слишкомъ немного уйти впередъ; иногда это даже подавляетъ его, мѣшая его самобытному развитію. Онъ несравненно въ большей зависимости находится отъ душевныхъ состояній: какъ только забушуетъ страсть, онъ уже вдругъ поступаетъ слѣпо и глупо; если же покойна душа и не кипитъ никакая страсть, онъ и самъ проясняется и поступаетъ умно. Разумъ есть несравненно высшая способность; но она пріобрѣтается не иначе, какъ побѣдою надъ страстьми. Его имѣли въ себѣ только тѣ люди, которые не пренебрегли своимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Но и разумъ не даетъ полной возможности человѣку стремиться впередъ. Есть высшая еще способность; имя ей—мудрость, и ее можетъ дать намъ одинъ Христосъ. Она не надѣляется никому изъ насъ при рожденіи, никому изъ насъ не есть природная, но есть дѣло высшей благодати небесной. Тотъ, кто уже имѣетъ и умъ и разумъ, можетъ не иначе получить мудрость, какъ молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у Бога, возводя душу свою до голубинаго незлобія и убирая все внутри себя до возможнѣйшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищъ, гдѣ не пришло въ порядокъ душевное хозяйство и нѣтъ полнаго согласія во всемъ. Если же она вступитъ въ домъ, тогда начинается для человѣка небесная жизнь, и онъ постигаетъ всю чудную сладость быть ученикомъ. Все становится для него учителемъ; весь міръ для него учитель: ничтожнѣйшій изъ людей можетъ быть для него учитель. Изъ совѣта самаго простого извлечетъ онъ мудрость совѣта; глупѣйшій предметъ станетъ къ нему своею мудрою стороною, и вся вселенная передъ нимъ станетъ, какъ одна открытая книга ученія: больше всѣхъ будетъ онъ черпать изъ нея сокровищъ, потому что больше всѣхъ будетъ слышать, что онъ ученикъ. Но если только возмнитъ онъ хотя на мигъ, что ученіе его кончено, и онъ уже не ученикъ, и оскорбится онъ чьимъ бы то ни было урокомъ или поученіемъ, мудрость вдругъ отъ него отнимается, и останется онъ впотьмахъ, какъ царь Соломонъ въ свои послѣдніе дни.

1846

XIII.

КАРАМЗИНЪ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ П. М. ЯЗЫКОВУ.

Я прочелъ съ большимъ удовольствіемъ похвальное слово Карамзину, написанное Погодинымъ. Это лучшее изъ сочиненій Погодина въ отношеніи къ благопристойности какъ внутренней, такъ и внѣшней: въ немъ нѣтъ его обычныхъ грубо-неуклюжихъ замашекъ и топорнаго неряшества слога, такъ много ему вредящаго. Все здѣсь, напротивъ того, стройно, обдумано и расположено въ большомъ порядкѣ. Всѣ мѣста изъ Карамзина прибраны такъ умно, что Карамзинъ какъ бы весь очертывается самимъ собою и, своими же словами взвѣсивъ и оцѣнивъ самого себя, становится какъ живой передъ глазами читателя. Карамзинъ представляетъ, точно, явленіе необыкновенное. Вотъ о комъ изъ нашихъ писателей можно сказать, что онъ весь исполнилъ долгъ, ничего не зарылъ въ землю и на данные ему пять талантовъ истинно принесъ другіе пять. Карамзинъ первый показалъ, что писатель можетъ быть у насъ независимъ и почтенъ всѣми равно, какъ именитѣйшій гражданинъ въ государствѣ. Онъ первый возвѣстилъ торжественно, что писателя не можетъ стѣснить цензура, и если уже онъ исполнился чистѣйшимъ желаніемъ блага въ такой мѣрѣ, что желаніе это, занявши всю его душу, стало его плотію и пищею, тогда никакая цензура для него не строга, и ему вездѣ просторно. Онъ это сказалъ и доказалъ. Никто, кромѣ Карамзина, не говорилъ такъ смѣло и благородно, не скрывая никакихъ своихъ мнѣній и мыслей, хотя они и не соотвѣтствовали во всемъ тогдашнему правительству, и слышишь невольно, что онъ одинъ имѣлъ на то право. Какой урокъ нашему брату писателю! И какъ смѣшны послѣ этого изъ насъ тѣ, которые утверждаютъ, что въ Россіи нельзя сказать полной правды, и что она у насъ колетъ глаза! Самъ же выразится такъ нелѣпо и грубо, что болѣе, нежели самою правдою, колетъ тѣми заносчивыми словами, которыми скажетъ свою правду, словами запальчивыми, выказывающими неряшество растрепанной души своей, и потомъ самъ и изумляется, и негодуетъ, что отъ него никто не принялъ и не выслушалъ правды! Нѣтъ, имѣй такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имѣлъ Карамзинъ, и тогда возвѣщай свою правду: все тебя выслушаетъ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго въ государствѣ, и выслушаетъ съ такою любовію, съ какою не выслушивается ни въ какой землѣ ни парламентскій защитникъ правъ, ни лучшій нынѣшній проповѣдникъ, собирающій вокругъ себя верхушку моднаго общества; и съ такою любовію можетъ выслушать только одна чудная наша Россія, (о которой идетъ слухъ, будто она вовсе не любитъ правды).

1846

XIV.

О ТЕАТРѢ, ОБЪ ОДНОСТОРОННЕМЪ ВЗГЛЯДѢ НА ТЕАТРЪ И ВООБЩЕ ОБЪ ОДНОСТОРОННОСТИ.

ПИСЬМО КЪ ГР. А. П. Т...МУ.

Вы очень односторонни, и стали недавно такъ односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точкѣ состоянія душевнаго, на которой теперь стоите вы, нельзя не сдѣлаться односторонникъ всякому человѣку. Вы помышляете только объ одномъ душевномъ спасеніи вашемъ и, не найдя еще той именно дороги, которою вамъ предназначено достигнуть его, почитаете все, что ни есть въ мірѣ, соблазномъ и препятствіемъ къ спасенію. Монахъ не строже васъ. Такъ и ваши нападенія на театръ односторонни и несправедливы. Вы подкрѣпляете себя тѣмъ, что нѣкоторыя вамъ извѣстныя духовныя лица возстаютъ противъ театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше: точно ли они возстаютъ противъ театра, или только противу того вида, въ которомъ онъ намъ теперь является. Церковь начала возставать противъ театра въ первые вѣка всеобщаго водворенія христіанства, когда театры одни оставались прибѣжищемъ уже повсюду изгнаннаго язычества и притономъ безчинныхъ его вакханалій. Вотъ почему такъ сильно гремѣлъ противъ нихъ Златоустъ. Но времена измѣнились. Міръ весь перечистился сызнова поколѣніями свѣжихъ народовъ Европы, которыхъ образованіе началось уже на христіанскомъ грунтѣ, и тогда сами святители начали первые вводить театръ: театры завелись при духовныхъ академіяхъ. Нашъ Димитрій Ростовскій, справедливо поставляемый въ рядъ св. отцовъ Церкви, слагалъ у насъ пьесы для представленія въ лицахъ. Стало быть, не театръ виноватъ. Все можно извратить и всему можно дать дурной смыслъ, человѣкъ же на это способенъ. Но надобно смотрѣть на вещь въ ея основаніи и на то, чѣмъ она должна быть, а не судить о ней по карикатурѣ, которую на нее сдѣлали. Театръ ничуть не бездѣлица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображеніе то, что въ немъ можетъ помѣститься вдругъ толпа изъ пяти, шести тысячъ человѣкъ, и что вся эта толпа, ни въ чемъ не сходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можетъ вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однѣми слезами и засмѣяться однимъ всеобщимъ смѣхомъ. Это такая каѳедра, съ которой можно много сказать міру добра. Отдѣлите только собственно называемый высшій театръ отъ всякихъ балетныхъ скаканій, водевилей, мелодрамъ и тѣхъ мишурно-великолѣпныхъ зрѣлищъ для глазъ, угождающихъ разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театръ, на которомъ представля-

ются высокія трагедіи и комедіи, долженъ быть въ совершенной независимости отъ всего. Странно и соединить Шекспира съ плясуньями или плясунами въ лайковыхъ штанахъ. Что за сближеніе? Ноги—ногами, а голова—головой. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы это поняли: театръ высшихъ драматическихъ представленій тамъ отдѣленъ и пользуется одинъ поддержкою правительствъ; но поняли это въ отношеніи порядка внѣшняго. Слѣдовало подумать не шутя о томъ, какъ поставить всѣ лучшія произведенія драматическихъ писателей такимъ образомъ, чтобы публика привлекалась къ нимъ вниманіемъ, и открылось бы ихъ нравственное благотворное вліяніе, которое есть у всѣхъ великихъ писателей. Шекспиръ, Шериданъ, Мольеръ, Гете, Шиллеръ, Бомарше, даже Лессингъ, Реньяръ и многіе другіе изъ второстепенныхъ писателей прошедшаго вѣка ничего не произвели такого, чтобы отвлекло отъ уваженія къ высокимъ предметамъ; къ нимъ даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипѣло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ, занимавшихся вопросами политическими и разносившихъ неуваженіе къ святынѣ. У нихъ, если и попадаются насмѣшки, то надъ лицемѣріемъ, надъ кощунствомъ, надъ кривымъ толкованіемъ права, а иногда надъ тѣмъ, что составляетъ корень человѣческихъ доблестей: напротивъ, чувство добра слышится строго даже и тамъ, гдѣ брызжутъ эпиграммы. Частое повтореніе высокодраматическихъ сочиненій, то-есть, тѣхъ истинно-классическихъ пьесъ, гдѣ обращено вниманіе на природу и душу человѣка, станетъ необходимо укрѣплять общество въ правилахъ болѣе недвижныхъ, заставитъ нечувствительно характеры болѣе устоиваться въ самихъ себѣ, тогда какъ все это наводненіе пустыхъ и легкихъ пьесъ, начиная съ водевилей и недодуманныхъ драмъ до блестящихъ балетовъ и даже оперъ, ихъ только разбрасываетъ, разсѣваетъ, становитъ общество легкимъ и вѣтренымъ. Развлеченный милліонами блестящихъ предметовъ, раскидывающихъ мысли на всѣ стороны, свѣтъ не въ силахъ встрѣтиться прямо со Христомъ. Ему далеко до небесныхъ истинъ христіанства. Онъ ихъ испугается, какъ мрачнаго монастыря, если не подставишь ему незримыя ступени къ христіанству, если не возведешь его на нѣкоторое высшее мѣсто, откуда ему станетъ виднѣе весь необъятный кругозоръ христіанства, и понятнѣе то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Среди свѣта есть много такого, что для всѣхъ, отдалившихся отъ христіанства, служитъ незримою ступенью къ христіанству. Въ томъ числѣ можетъ быть и театръ, если будетъ обращенъ къ своему высшему назначенію. Нужно ввести на сцену во всемъ блескѣ всѣ совершеннѣйшія драматическія произведенія всѣхъ вѣковъ и народовъ. Нужно давать ихъ чаще, какъ можно чаще, повторяя безпрерывно одну и ту же пьесу. И это можно сдѣлать. Можно всѣ пьесы сдѣлать вновь свѣжими, новыми, любопытными для всѣхъ отъ мала до велика, если только сумѣешь ихъ поставить, какъ слѣдуетъ,

на сцену. Это вздоръ, будто онѣ устарѣли и публика потеряла къ нимъ вкусъ. Публика не имѣетъ своего каприза; она пойдетъ, куда поведутъ ее: Не попотчивай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала къ нимъ вкуса и и не потребовала бы ихъ. Возьми самую заигранѣйшую пьесу и поставь ее, какъ нужно, та же публика повалитъ толпою. Мольеръ ей будетъ въ новость, Шекспиръ станетъ заманчивѣе наисовременнѣйшаго водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была дѣйствительно и вполнѣ художественно, чтобы дѣло это поручено было не кому другому, какъ первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется въ труппѣ. И не мѣшать уже сюда никакого приклеища сбоку, секретаря-чиновника; пусть тотъ одинъ распоряжается во всемъ. Нужно даже особенно позаботиться о томъ, чтобы вся отвѣтственность легла на него одного, чтобы онъ рѣшился публично, передъ глазами всей публики сыграть самъ по порядку одну за другою всѣ второстепенныя роли, дабы оставить живые образцы второстепеннымъ актерамъ, которые заучиваютъ свои роли по мертвымъ образцамъ, дошедшимъ до нихъ по какому-то темному преданію, которые образовались книжнымъ ученіемъ и не видятъ себѣ никакого живого интереса въ своихъ роляхъ. Одно это исполненіе первымъ актеромъ второстепенныхъ ролей можетъ привлечь публику видѣть двадцать разъ сряду ту же пьесу. Кому не любопытно видѣть, какъ Щепкинъ или Каратыгинъ станутъ играть тѣ роли, которыхъ никогда дотолѣ не играли! Потомъ же, когда первоклассный актеръ, разыгравши всѣ роли, возвратится вновь на свою прежнюю, онъ получитъ взглядъ еще полнѣйшій, какъ на собственную свою роль, такъ и на всю пьесу; а пьеса получитъ вновь еще сильнѣйшую занимательность для зрителей этою полнотою своего исполненія,—вещью, доселѣ неслыханною! Нѣтъ выше того потрясенія, которое производитъ на человѣка совершенно согласованное согласіе всѣхъ частей между собою, которое доселѣ могъ только слышать онъ въ одномъ музыкальномъ оркестрѣ и которое въ силахъ сдѣлать то, что драматическое произведеніе можетъ быть дано болѣе разовъ сряду, нежели наилюбимѣйшая опера. Что ни говори, а звуки души и сердца, выражаемые словомъ, въ нѣсколько разъ разнообразнѣе музыкальныхъ звуковъ. Но, повторяю, все это возможно только въ такомъ случаѣ, когда дѣло будетъ сдѣлано истинно такъ, какъ слѣдуетъ, и полная отвѣтственность всего, по части репертуарной, возляжетъ на первокласснаго актера, то-есть, трагедіею будетъ завѣдывать первый трагическій актеръ, а комедіею первый комическій актеръ, когда одни они будутъ исключительные хоровожди такого дѣла. (Говорю исключительно, потому что знаю, какъ много у насъ есть охотниковъ прикомандироваться сбоку во всякомъ дѣлѣ. Чуть только явится какое мѣсто и при немъ какія-нибудь денежныя выгоды, какъ уже вмигъ пристегнется сбоку секретарь. Откуда онъ возьмется, Богъ

вѣсть: точно какъ изъ воды выйдетъ; докажетъ тутъ же свою необходимость ясно, какъ дважды два; заведетъ вначалѣ бумажную кропотню только по экономическимъ дѣламъ, потомъ станетъ понемногу впутываться во все, и дѣло пойдетъ изъ рукъ вонъ. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили всѣ должности, сбили и спутали отношенія подчиненныхъ къ начальникамъ и обратно начальниковъ къ подчиненнымъ. Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о всѣхъ должностяхъ, какія ни есть въ нашемъ государствѣ. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предѣлахъ, мы находили, что онѣ именно то, что имъ слѣдуетъ быть, всѣ до единой какъ бы свыше созданы для насъ съ тѣмъ, чтобы отвѣчать на всѣ потребности нашего государственнаго быта, а всѣ сдѣлались не тѣмъ оттого, что всякъ, какъ бы наперерывъ, старался или разрушить предѣлы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ея предѣловъ. Всякій, даже честный и умный человѣкъ, старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнѣй и выше своего мѣста, полагая, что онъ этимъ-то именно облагородитъ и себя, и свою должность. Мы перебрали тогда всѣхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всѣхъ стремятся выступить изъ предѣловъ своей должности. Гдѣ секретарь заведенъ только въ качествѣ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гдѣ же онъ поставленъ дѣйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать: корчитъ передъ этимъ подчиненнымъ роль его начальника, заведетъ у себя переднюю, заставитъ ждать себя по цѣлымъ часамъ, словомъ, вмѣсто того, чтобы облегчить доступъ подчиненнаго къ начальнику, только затруднитъ его. И все это иногда дѣлается не съ другимъ какимъ умысломъ, какъ только затѣмъ, чтобы облагородить свое секретарское мѣсто. Я зналъ даже нѣкоторыхъ совсѣмъ недурныхъ и неглупыхъ людей, которые передъ моими же глазами такъ поступали съ подчиненными своего начальника, что я краснѣлъ за нихъ же. Мой Хлестаковъ былъ въ эту минуту ничто передъ ними. Все это, конечно, еще бы ничего, если бы отъ этого не происходило слишкомъ много печальныхъ послѣдствій. Много истинно-полезныхъ и нужныхъ людей иногда бросали службу единственно изъ-за скотинства секретаря, требовавшаго къ себѣ того же самого уваженія, которымъ они были обязаны только одному начальнику, и за неисполненіе того мстившаго имъ оговорами, внушеніями о нихъ дурного мнѣнія, словомъ—всѣми тѣми мерзостями, на которыя способенъ только безчестный человѣкъ. Конечно, въ управленіяхъ по части искусствъ, художествъ, и тому подобнаго, правитъ или комитетъ, или одинъ непосредственный начальникъ, и не бываетъ мѣста секретарю-посреднику: тамъ онъ опредѣленъ только записывать опредѣленія другихъ или вести хозяйственную часть; но иногда случается и такъ, отъ лѣности членовъ или чего другого,

что онъ, мало-по-малу втираясь, становится посредникомъ и даже вершителемъ въ дѣлѣ искусства. И тогда выходитъ просто чортъ знаетъ что: пирожникъ принимается за сапоги, а къ сапожнику поступаетъ печенье пироговъ. Выходитъ инструкція для художника, писанная вовсе не художникомъ; является предписаніе, котораго даже и понять нельзя, зачѣмъ оно предписано. Часто удивляются, какъ такой-то человѣкъ, будучи всегда умнымъ человѣкомъ, могъ выпустить преглупую бумагу, а въ ней онъ и душой не виноватъ: бумага вышла изъ такого угла, откуда и подозрѣвать никто не могъ, по пословицѣ: «писалъ писачка, а имя ему собачка»).

Нужно, чтобы въ дѣлѣ какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главномъ мастерѣ того мастерства, (а отнюдь не на какомъ-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновникѣ, который можетъ быть только употребленъ для однихъ хозяйственныхъ расчетовъ, да для письменнаго дѣла). Только самъ мастеръ можетъ учить своей наукѣ, слыша вполнѣ ея потребности, и никто другой. Одинъ только первоклассный актеръ-художникъ можетъ сдѣлать хорошій выборъ пьесъ, дать имъ строгую сортировку; одинъ онъ знаетъ тайну, какъ производить репетиціи, понимаетъ, какъ важны частыя считовки и полныя предуготовительныя повторенія пьесы. Онъ даже не позволитъ актеру выучить роль на дому, но сдѣлаетъ такъ, чтобы все выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою въ голову каждаго во время репетицій, такъ чтобы всякій, окруженный тутъ же обстанавливающими его обстоятельствами, уже невольно отъ одного соприкосновенія съ ними слышалъ вѣрный тонъ своей роли. Тогда и дурной актеръ можетъ нечувствительно набраться хорошаго: покуда актеры еще не заучили наизустъ своихъ ролей, имъ возможно перенять многое у лучшаго актера. Тутъ всякій, не зная даже самъ какимъ образомъ, набирается правды и естественности, какъ въ рѣчахъ, такъ и въ тѣлодвиженіяхъ. Тонъ вопроса даетъ тонъ отвѣту. Сдѣлай вопросъ напыщенный, получишь и отвѣтъ напыщенный; сдѣлай простой вопросъ, простой и отвѣтъ получишь. Всякій наипростѣйшій человѣкъ уже способенъ отвѣчать въ тактъ. Но если только актеръ заучилъ у себя на дому свою роль, отъ него изойдетъ напыщенный, заученный отвѣтъ, и этотъ отвѣтъ уже останется въ немъ навѣкъ: его ничѣмъ не переломишь; ни одного слова не перейметъ онъ тогда отъ лучшаго актера; для него станетъ глухо все окруженіе обстоятельствъ и характеровъ, обступающихъ его роль, такъ же, какъ и вся пьеса станетъ ему глуха и чужда, и онъ, какъ мертвецъ, будетъ двигаться среди мертвецовъ. Только одинъ истинный актеръ-художникъ можетъ слышать жизнь, заключенную въ пьесѣ, и сдѣлать такъ, что жизнь эта сдѣлается видною и живою для всѣхъ актеровъ; одинъ онъ можетъ слышать законную мѣру репетицій—какъ ихъ производить, когда прекратить и сколько ихъ достаточно для того,

дабы возмогла пьеса явиться въ полномъ совершенствѣ своемъ передъ публикою. Умѣй только заставить актера-художника взяться за это дѣло, какъ за его собственное, родное дѣло, докажи ему, что это его долгъ и что честь его же искусства того требуетъ отъ него—и онъ это сдѣлаетъ, онъ это исполнитъ, потому что любитъ свое искусство. Онъ сдѣлаетъ даже больше, позаботясь, чтобы и послѣдній изъ актеровъ сыгралъ хорошо, сдѣлавъ строгое исполненіе всего цѣлаго какъ бы своею собственною ролью. Онъ не допуститъ на сцену никакой пошлой и ничтожной пьесы, (какую допустилъ бы иной чиновникъ, заботящійся только о приращеніи сборной денежной кассы),—потому не допуститъ, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнетъ се. Ему невозможно такое, если бы онъ даже и вздумалъ оказать какіе-нибудь притѣснительные поступки или прижимки относительно ввѣренныхъ ему актеровъ, (какія дѣлаются людьми чиновными): его не допуститъ къ тому его собственная извѣстность. (Какой-нибудь чиновникъ-секретарь производитъ отважно свою пакость въ увѣренности, что какъ онъ ни напакости, о томъ никто не узнаетъ, потому что и самъ онъ незамѣтная пѣшка. Но сдѣлай что-нибудь несправедливое Щепкинъ или Каратыгинъ, о томъ заговоритъ вдругъ весь городъ. Вотъ почему особенно важно, чтобы главная отвѣтственность во всякомъ дѣлѣ падала на человѣка, уже извѣстнаго всѣмъ до единаго въ обществѣ). Наконецъ, живя весь въ своемъ искусствѣ, которое стало уже его высшею жизнью, котораго чистоту блюдетъ онъ какъ святыню, художникъ-актеръ не допуститъ никогда, чтобы театръ сталъ проповѣдникомъ разврата. Итакъ, не театръ виноватъ. Прежде очистите театръ отъ хлама, его загромоздившаго, и потомъ уже разбирайте и судите, что такое театръ. Я заговорилъ здѣсь о театрѣ не потому, чтобы хотѣлъ говорить собственно о немъ, но потому, что сказанное о театрѣ можно примѣнить почти ко всему. Много есть такихъ предметовъ, которые страждутъ изъ-за того, что извратили смыслъ ихъ; а такъ какъ вообще на свѣтѣ есть много охотниковъ дѣйствовать сгоряча, по пословицѣ: «разсердясь на вши, да шубу въ печь», то чрезъ это уничтожается много того, что послужило бы всѣмъ на пользу. Односторонніе люди и притомъ фанатики—язва для общества; бѣда той землѣ и государству, гдѣ въ рукахъ такихъ людей очутится какая-либо власть. У нихъ нѣтъ никакого смиренія христіанскаго и сомнѣнія въ себѣ; они увѣрены, что весь свѣтъ вретъ и одни они только говорятъ правду. Другъ мой, смотрите за собою покрѣпче: вы теперь именно находитесь въ этомъ опасномъ состояніи. Хорошо, что покуда вы внѣ всякой должности, и вамъ не ввѣрено никакого управленія; иначе вы, котораго я знаю, какъ наиспособнѣйшаго къ отправленію самыхъ трудныхъ и сложныхъ должностей, могли бы надѣлать больше зла и безпорядковъ, нежели самый неспособный изъ неспособнѣйшихъ. Берегитесь и въ самыхъ сужденіяхъ своихъ обо всемъ! Не будьте

похожи на тѣхъ святошей, которые желали бы разомъ уничтожить все, что ни есть на свѣтѣ, видя во всемъ одно бѣсовское. Ихъ удѣлъ—впадать въ самыя грубыя ошибки. Нѣчто тому подобное случилось недавно въ литературѣ. Нѣкоторые стали печатно объявлять, что Пушкинъ былъ деистъ, а не христіанинъ; точно, какъ будто бы они побывали въ душѣ Пушкина; точно какъ будто бы Пушкинъ непремѣнно обязанъ былъ въ стихахъ своихъ говорить о высшихъ догматахъ христіанскихъ, за которые и самъ святитель Церкви принимается не иначе, какъ съ великимъ страхомъ, приготовя себя къ тому глубочайшею святостію своей жизни. По ихъ понятіямъ, слѣдовало бы все высшее въ христіанствѣ облекать въ риомы и сдѣлать изъ того какія-то стихотворныя игрушки. Пушкинъ слишкомъ разумно поступалъ, что, не дерзая переносить въ стихи того, чѣмъ еще не проникалась вся насквозь его душа, предпочиталъ лучше остаться нечувствительною ступенью къ высшему для всѣхъ тѣхъ, которые слишкомъ отдалились отъ Христа, нежели оттолкнуть ихъ совсѣмъ отъ христіанства такими же бездушными стихотвореніями, какія пишутся тѣми, которые выставляютъ себя христіанами. Я не могу даже понять, какъ могло притти въ умъ критику, печатно, въ виду всѣхъ, взводить на Пушкина такое обвиненіе, и что сочиненія его служатъ къ развращенію свѣта, тогда какъ самой цензурѣ предписано, въ случаѣ, если бы смыслъ какого сочиненія не былъ вполнѣ ясенъ, толковать его въ прямую и выгодную для автора сторону, а не въ кривую и вредящую ему. Если это постановлено въ законъ цензурѣ, безмолвной и безгласной, не имѣющей даже возможности оговориться передъ публикою, то во сколько разъ больше должна это поставить себѣ въ законъ критика, которая можетъ изъясниться и оговориться въ малѣйшемъ дѣйствіи своемъ! Публично выставлять нехристіаниномъ человѣка и даже противникомъ Христа, основываясь на нѣкоторыхъ несовершенствахъ его души и на томъ, что онъ увлекался свѣтомъ такъ же, какъ и всякъ изъ насъ имъ увлекался,—развѣ это христіанское дѣло? Да и кто же изъ насъ христіанинъ? Этакъ я могу обвинить самого критика въ его нехристіанствѣ. Я могу сказать, что христіанинъ не возьмѣтъ такой увѣренности въ умѣ своемъ, чтобы рѣшить такое темное дѣло, которое извѣстно одному Богу, зная, что умъ нашъ вполнѣ проясняется и можетъ обнимать со всѣхъ сторонъ предметъ только отъ святости нашей жизни, а жизнь его еще не такъ; можетъ-быть, свята. Христіанинъ передъ тѣмъ, чтобы обвинить какого-либо въ такомъ уголовномъ преступленіи, каково есть непризнаніе Бога въ томъ видѣ, въ какомъ повелѣлъ признавать Его Самъ Божій Сынъ, сходившій на землю, задумается, потому что дѣло это страшное. Онъ скажетъ и то: въ поэзіи многое есть еще тайна, да и вся поэзія есть тайна; трудно и надъ простымъ человѣкомъ произнести судъ свой, произнести же судъ окончательный и полный надъ поэтомъ можетъ одинъ тотъ, кто заключилъ въ себѣ

самомъ поэтическое существо и есть самъ уже почти равный ему поэтъ,—какъ и во всякомъ даже простомъ мастерствѣ понемногу можетъ судить всякъ, но вполнѣ судить можетъ только самъ мастеръ того мастерства. Словомъ, христіанинъ покажетъ прежде всего смиреніе, свое первое знамя, по которому можно узнать, что онъ христіанинъ. Христіанинъ, намѣсто того, чтобы говорить о тѣхъ мѣстахъ въ Пушкинѣ, которыхъ смыслъ еще теменъ и можетъ быть истолкованъ на двѣ стороны, станетъ говорить о томъ, что ясно, что было имъ произведено въ лѣта разумнаго мужества, а не увлекающейся юности. Онъ приведетъ его величественные стихи пастырю Церкви, гдѣ Пушкинъ самъ говоритъ о себѣ, что даже и въ тѣ годы, когда онъ увлекался суетою и прелестію свѣта, его поражалъ даже одинъ видъ служителя Христова.

Но и тогда струны лукавой
Мгновенно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавый
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.
И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палима
Отвергла прахъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Вотъ на какое стихотвореніе Пушкина укажетъ критикъ-христіанинъ! Тогда критика его получитъ смыслъ и сдѣлаетъ добро: она еще сильнѣй укрѣпитъ самое дѣло, показавши, какъ даже и тотъ человѣкъ, который заключалъ въ себѣ всѣ разнородные вѣрованія и вопросы своего времени, такъ сбивчивые, такъ отдаляющіе насъ отъ Христа, какъ даже и тотъ человѣкъ, въ лучшія и свѣтлѣйшія минуты своего поэтическаго ясновидѣнія, исповѣдалъ выше всего высоту христіанскую. Но какой теперь смыслъ критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши въ нихъ сомнѣніе и подозрѣніе въ Пушкинѣ? Бездѣлица—выставить наиумнѣйшаго человѣка своего времени не признающимъ христіанства,—человѣка, на котораго умственное поколѣніе смотритъ, какъ на вождя и на передового, сравнительно передъ другими людьми! Хорошо еще, что критикъ былъ безталантливъ и не могъ пустить въ ходъ подобную ложь, и что самъ Пушкинъ оставилъ тому опроверженіе въ своихъ же стихахъ; (но будь иначе, что другое, кромѣ безвѣрья, намѣсто вѣры, могъ бы распространить онъ?) Вотъ что можно сдѣлать, будучи одностороннимъ! Другъ мой, храни васъ Богъ отъ односторонности: съ нею всюду человѣкъ произ-

ведетъ зло: въ литературѣ, на службѣ, въ семьѣ, въ свѣтѣ, словомъ—вездѣ! Односторонній человѣкъ самоувѣренъ; односторонній человѣкъ дерзокъ; односторонній человѣкъ всѣхъ вооружитъ противъ себя. Односторонній человѣкъ ни въ чемъ не можетъ найти середины. Односторонній человѣкъ не можетъ быть истиннымъ христіаниномъ: онъ можетъ быть только фанатикомъ. Односторонность въ мысляхъ показываетъ только то, что человѣкъ еще на дорогѣ къ христіанству, но не достигнулъ его, потому что христіанство даетъ уже многосторонность уму. Словомъ — храни васъ Богъ отъ односторонности! Глядите разумно на всякую вещь и помните, что въ ней могутъ быть двѣ совершенно противоположныя стороны, изъ которыхъ одна до времени вамъ не открыта. Театръ и театръ—двѣ разныя вещи, равно какъ и восторгъ самой публики бываетъ двухъ родовъ: иное дѣло восторгъ отъ того, когда какая-нибудь балетная танцовщица подыметъ ногу повыше, и опять иное дѣло восторгъ отъ того, когда могущественный лицедѣй потрясающимъ словомъ подыметъ выше всѣ высокія чувства въ человѣкѣ. Иное дѣло—слезы отъ того, что какой-нибудь заѣзжій пѣвецъ расщекотитъ музыкальное ухо человѣка,—слезы, которыя, какъ я слышу, проливаютъ теперь въ Петербургѣ и немузыканты; и опять иное дѣло—слезы отъ того, когда живымъ представленіемъ высокаго подвига человѣка весь насквозь просвѣжается зритель и по выходѣ изъ театра принимается съ новою силою за долгъ свой, видя подвигъ геройскій въ такомъ его исполненіи. Другъ мой, мы призваны въ міръ не за тѣмъ, чтобы истреблять и разрушать, но, (подобно Самому Богу), все направлять къ добру,—даже и то, что уже испортилъ человѣкъ и обратилъ во зло. Нѣтъ такого орудія въ мірѣ, которое не было бы предназначено на службу Бога. Тѣ же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идоловъ своихъ, по одержаніи надъ ними царемъ Давидомъ побѣды, обратились на восхваленіе истиннаго Бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышавъ хвалу Ему на тѣхъ инструментахъ, на которыхъ она дотолѣ не раздавалась.

1845

XV.

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЛИРИЧЕСКАГО ПОЭТА ВЪ НЫНѢШНЕЕ ВРЕМЯ.

ДВА ПИСЬМА КЪ Н. М. ЯЗЫКОВУ.

1.

Твое стихотвореніе «Землетрясеніе» меня восхитило. Жуковскій также былъ отъ него въ восторгѣ. Это, по его мнѣнію, лучшее, не только изъ твоихъ, но даже изъ всѣхъ русскихъ стихотвореній. Взять событіе изъ минувшаго и обратить его къ настоящему—какая умная и богатая

мысль! А примѣненіе къ поэту, довершающее оду, таково, что его слѣдуетъ всякому изъ насъ, каково бы ни было его поприще, примѣнить къ самому себѣ въ эту тяжелую годину всемірнаго землетрясенія, когда все помутилось отъ страха за будущее. Другъ, передъ тобою разверзается живоносный источникъ. Въ словахъ твоихъ поэту:

И приноси дрожащимъ людямъ
Молитвы съ горней вышины—

заключаются слова тебѣ самому. Тайна твоей музы тебѣ открывается. Нынѣшнее время есть именно поприще для лирическаго поэта. Сатирою ничего не возьмешь; простою картиною дѣйствительности, оглянутой глазомъ современнаго свѣтскаго человѣка, никого не разбудишь: богатырски задремалъ нынѣшній вѣкъ. Нѣтъ, отыщи въ минувшемъ событіе, подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его въ виду всѣхъ, какъ поражено было оно гнѣвомъ Божіимъ въ свое время; бей въ прошедшемъ настоящее, и въ двойную силу облечется твое слово: живѣе черезъ то выступитъ прошедшее, и крикомъ закричитъ настоящее. Разогни книгу Ветхаго Завѣта: ты найдешь тамъ каждое изъ нынѣшнихъ событій, увидишь яснѣе дня, въ чемъ оно преступило предъ Богомъ, и такъ очевидно изображенъ надъ нимъ совершившійся страшный судъ Божій, что встрепенется настоящее. У тебя есть на то орудія и средства: въ стихѣ твоемъ есть сила, и упрекающая, и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Однихъ нужно поднять, другихъ попрекнуть: поднять тѣхъ, которые смутились отъ страховъ и безчинствъ, ихъ окружающихъ; попрекнуть тѣхъ, которые въ святыя минуты небеснаго гнѣва и страданій повсюдныхъ дерзаютъ предаваться буйству всякихъ скаканій и позорнаго ликованія. Нужно, чтобы твои стихи стали такъ въ глазахъ всѣхъ, какъ начертанныя на воздухѣ буквы, явившіяся на пиру Валтасара, отъ которыхъ все пришло въ ужасъ, еще прежде, нежели могло проникнуть самый ихъ смыслъ. А если хочешь быть еще понятнѣе всѣмъ, то, набравшись духа библейскаго, опустись съ нимъ, какъ со свѣточемъ, во глубины русской старины и въ ней порази позоръ нынѣшняго времени, и углуби въ то же время глубже въ насъ то, передъ чѣмъ еще позорнѣе станетъ позоръ нашъ. Стихъ твой не будетъ вялъ, не бойся; старина даетъ тебѣ краски и уже одною собою вдохновитъ тебя! Она такъ живьемъ и шевелится въ нашихъ лѣтописяхъ. На-дняхъ попалась мнѣ книга: «Царскіе выходы». Тутъ уже одни слова и названія царскихъ убранствъ, дорогихъ тканей и каменьевъ—сущія сокровища для поэта; всякое слово такъ и ложится въ стихъ. Дивишься драгоцѣнности нашего языка: что ни звукъ, то и подарокъ; все зернисто, крупно, какъ самъ жемчугъ, и право, иное названіе еще драгоцѣннѣе самой вещи. Да если только уберешь такими словами стихъ свой—цѣликомъ унесешь читателя въ минувшее. Мнѣ, послѣ прочтенія трехъ страницъ изъ этой книги, такъ и видѣлся вездѣ царь старинныхъ, прежнихъ

временъ, благоговѣйно идущій къ вечернѣ въ старинномъ царскомъ своемъ убранствѣ.

1844

2.

Пишу къ тебѣ подъ вліяніемъ того-жъ стихотворенія твоего «Землетрясеніе». Ради Бога, не оставляй начатаго дѣла! Перечитывай строго Библію, набирайся русской старины и, при свѣтѣ ихъ, приглядывайся къ нынѣшнему времени. Много, много предстоитъ тебѣ предметовъ, и грѣхъ тебѣ ихъ не видѣть. Жуковскій недаромъ доселѣ называлъ твою поэзію восторгомъ, никуда не обращеннымъ. Стыдно тратить лирическую силу въ видѣ холостыхъ выстрѣловъ на воздухъ, тогда какъ она дана тебѣ на то, чтобы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокругъ: все теперь предметы для лирическаго поэта; всякъ человѣкъ требуетъ лирическаго воззванія къ нему; куда ни поворотишься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освѣжить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего, сильнымъ лирическимъ упрекомъ, умныхъ, но унывшихъ людей. Проймешь ихъ, если покажешь имъ дѣло въ настоящемъ видѣ, то-есть, что человѣкъ, предавшійся унынію, есть дрянь во всѣхъ отношеніяхъ, каковы бы ни были причины уныній, потому что уныніе проклято Богомъ. Истинно-русскаго человѣка поведешь на брань даже и противъ уныній, поднимешь его превыше страха и колебаній земли, какъ поднялъ поэта въ своемъ «Землетрясеніи».

Воззови, въ видѣ лирическаго сильнаго воззванія, къ прекрасному, но дремлющему человѣку. Брось ему съ берега доску и закричи во весь голосъ, чтобы спасалъ свою бѣдную душу. Уже онъ далеко отъ берега, уже несетъ и несетъ его ничтожная верхушка свѣта, несутъ обѣды, ноги плясавицъ, ежедневно сонное опьяненіе; нечувствительно облекается онъ плотію и сталъ уже весь плоть, и уже почти нѣтъ въ немъ души. Завопи воплемъ и выставь ему вѣдьму-старость, къ нему идущую, которая вся изъ желѣза, предъ которою желѣзо есть милосердіе, которая ни крохи чувства не отдаетъ назадъ и обратно. О, если-бъ ты могъ сказать ему то, что долженъ сказать мой Плюшкинъ, если доберусь до третьяго тома «Мертвыхъ душъ»!

Опозорь, въ гнѣвномъ дифирамбѣ, новѣйшаго лихоимца нынѣшнихъ временъ и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяніями и тряпками и себя, и мужа, и презрѣнный порогъ ихъ богатаго дома, и гнусный воздухъ, которымъ тамъ дышатъ, чтобы, какъ отъ чумы, отъ нихъ побѣжало все бѣгомъ и безъ оглядки.

Возвеличь, въ торжественномъ гимнѣ, незамѣтнаго труженика, какой, къ чести высокой породы русской, находится посреди отважнѣйшихъ взяточниковъ, который не беретъ даже и тогда, какъ все

беретъ вокругъ него. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотѣла носить старомодный чепецъ и стать предметомъ насмѣшекъ другихъ, нежели допустить своего мужа сдѣлать несправедливость и подлость. Выставь ихъ прекрасную бѣдность такъ, чтобы, какъ святыня, она засіяла у всѣхъ въ глазахъ, и каждому изъ нихъ захотѣлось бы самому быть бѣднымъ.

Ублажи гимномъ того исполина, какой выходитъ только изъ Русской земли, который вдругъ пробуждается отъ позорнаго сна, становится вдругъ другимъ: плюнувши въ виду всѣхъ на свою мерзость и гнуснѣйшіе пороки, становится первымъ ратникомъ добра. Покажи, какъ совершается это богатырское дѣло въ истинно-русской душѣ; но покажи такъ, чтобы невольно затрепетала въ каждомъ русская природа и чтобы все, даже въ грубомъ и низшемъ сословіи, вскрикнуло: «Эхъ молодецъ»! почувствовавши, что и для него самого возможно такое дѣло.

Много, много предметовъ для лирическаго поэта—въ книгѣ не вмѣстишь, не только въ письмѣ. Всякое истинное русское чувство глохнетъ, и некому его вызвать! Дремлетъ наша удаль, дремлетъ рѣшимость и отвага на дѣло, дремлетъ наша крѣпость и сила, дремлетъ умъ нашъ среди вялой и бабьей свѣтской жизни, которую привили къ намъ, подъ именемъ просвѣщенія, пустыя и мелкія нововведенія. Стряхни же сонъ съ очей своихъ и порази сонъ другихъ. На колѣна предъ Богомъ, и проси у Него гнѣва и любви! Гнѣва—противу того, что губитъ человѣка, любви—къ бѣдной душѣ человѣка, которую губятъ со всѣхъ сторонъ и которую губитъ онъ самъ. Найдешь слова, найдутся выраженія; огни, а не слова, излетятъ отъ тебя, какъ отъ древнихъ пророковъ, если только, подобно имъ, сдѣлаешь это дѣло роднымъ и кровнымъ своимъ дѣломъ, если только, подобно имъ, посыпавъ пепломъ главу, раздравши ризы, рыданіемъ вымолишь себѣ у Бога на то силу, и такъ возлюбишь спасеніе земли своей, какъ возлюбили они спасеніе богоизбраннаго своего народа.

1844

XVI.

СОВѢТЫ.

ПИСЬМО КЪ С. П. ШЕВЫРЕВУ.

Уча другихъ, также учишься. Посреди моего болѣзненнаго и труднаго времени, къ которому присоединились еще и тяжелыя страданія душевныя, я долженъ былъ вести такую дѣятельную переписку, какой никогда у меня не было дотолѣ. Какъ нарочно, почти со всѣми близкими моей душѣ случились въ это время внутреннія событія и потрясенія. Все какимъ-то инстинктомъ обращалось ко мнѣ, требуя

помощи и совѣта. Тутъ только узналъ я близкое родство человѣческихъ душъ между собою. Стоитъ только хорошенько выстрадаться самому, какъ уже всѣ страдающіе становятся тебѣ понятны и почти знаешь, что нужно сказать имъ. Этого мало; самый умъ проясняется: дотолѣ сокрытыя положенія и поприща людей становятся тебѣ извѣстны, и дѣлается видно, что кому изъ нихъ потребно. Въ послѣднее время мнѣ случалось даже получать письма отъ людей, мнѣ почти вовсе незнакомыхъ, и давать на нихъ отвѣты такіе, какихъ бы я не сумѣлъ дать прежде. А между прочимъ я ничуть не умнѣе никого. Я знаю людей, которые въ нѣсколько разъ умнѣе и образованнѣе меня, и могли бы дать совѣты въ нѣсколько разъ полезнѣйшіе моихъ; но они этого не дѣлаютъ и даже не знаютъ, какъ это сдѣлать. Великъ Богъ, насъ умудряющій! И чѣмъ же умудряющій?—тѣмъ самымъ горемъ, отъ котораго мы бѣжимъ и хотимъ сокрыться. Страданіями и горемъ опредѣлено намъ добывать крупицы мудрости, не пріобрѣтаемой въ книгахъ. Но кто уже пріобрѣлъ одну изъ этихъ крупицъ, тотъ уже не имѣетъ права скрывать ее въ себѣ отъ другихъ. Она не твое, но Божіе достояніе. Богъ ее выработалъ въ тебѣ; всѣ же дары Божіи даются намъ затѣмъ, чтобы мы служили имъ собратіямъ нашимъ: Онъ повелѣлъ, чтобы ежеминутно учили мы другъ друга. Итакъ, не останавливайся, учи и давай совѣты! Но, если хочешь, чтобы это принесло въ то же время тебѣ самому пользу, дѣлай такъ, какъ думаю я и какъ положилъ себѣ отнынѣ дѣлать всегда. Всякій совѣтъ и наставленіе, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человѣку, стоящему на самой низкой ступени образованія, съ которымъ у тебя ничего не можетъ быть общаго, обрати въ то же время къ самому себѣ, и то же самое, что посовѣтовалъ другому, посовѣтуй себѣ самому; тотъ же самый упрекъ, который сдѣлалъ другому, сдѣлай тутъ же себѣ самому. Повѣрь, все придется къ тебѣ самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрекъ, которымъ бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Дѣйствуй оружіемъ обоюдоострымъ. Если даже тебѣ случится разсердиться на кого бы то ни было, разсердись въ то же время и на себя. самого, хотя за то, что сумѣлъ разсердиться на другого. И это дѣлай непремѣнно! Ни въ какомъ случаѣ не своди глазъ съ самого себя. Имѣй всегда въ предметѣ себя прежде всѣхъ. Будь эгоистъ въ этомъ случаѣ. Эгоизмъ тоже не дурное свойство; вольно было людямъ дать ему такое скверное толкованіе, а въ основаніе эгоизма легла сущая правда. Позаботься прежде о себѣ, а потомъ о другихъ; стань прежде самъ почище душою, а потомъ уже старайся, чтобы другіе были чище.

1846

XVII.

ПРОСВѢЩЕНІЕ.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Еще разъ пишу къ тебѣ съ дороги. Братъ, благодарю за все! У Гроба Господа испрошу, да поможетъ мнѣ отдать тебѣ хотя часть того умнаго добра, которымъ надѣлялъ меня ты. Вѣруй, и да не смущается твое сердце! Въ Москву ты пріѣдешь, какъ въ родную свою семью. Она предстанетъ тебѣ желанною пристанью, и въ ней покойнѣе будетъ тебѣ, нежели здѣсь. Ни пустой шумъ суеты, ни громъ экипажа не смутитъ тебя: объѣдутъ бережно и улицу, въ которой бы будешь жить. Если кто и пріѣдетъ тебя навѣстить, старый ли другъ твой, или же дотолѣ незнакомый человѣкъ, онъ станетъ впередъ просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У насъ умѣютъ и даже знаютъ, какъ почтить того, кто сдѣлалъ цѣликомъ свое дѣло. Кто такъ безукоризненно, такъ честно употреблялъ всѣ дары свои, не давая задремать своимъ способностямъ, не лѣнясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранилъ свѣжую старость свою, какъ бы молодость, въ то время, какъ всѣ вокругъ истратили ее на пустые соблазны и какъ молодые превратились въ хилыхъ стариковъ, тотъ имѣетъ право на вниманіе благоговѣйное. Какъ патріархъ ты будешь въ Москвѣ, и на вѣсъ золота примутъ отъ тебя юноши старческія слова твои. Твоя Одиссея принесетъ много общаго добра: это тебѣ предрекаю. Она возвратитъ къ свѣжести современнаго человѣка, усталаго отъ безпорядка жизни и мыслей; она обновитъ въ глазахъ его много того, что брошено имъ, какъ ветхое и ненужное для быта; она возвратитъ его къ простотѣ. Но не меньше добра, если еще не больше, принесутъ тѣ труды, на которые навелъ тебя Самъ Богъ и которые ты держишь покуда разумно подъ спудомъ. Въ нихъ окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди впередъ! Да не испугаетъ тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встрѣтилъ. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всѣми видимъ—наша Церковь. Уже готовится она вдругъ вступить въ полныя права свои и засіять свѣтомъ на всю землю. Въ ней заключено все, что нужно для жизни истинно-русской, во всѣхъ ея отношеніяхъ, начиная отъ государственнаго до простого семейственнаго, всему настрой, всему направленіе, всему законная и вѣрная дорога. По мнѣ, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведеніе въ Россію, минуя нашу Церковь, не испросивъ у ней на то благословенія. Нелѣпо даже и къ мыслямъ нашимъ прививать какія бы то ни было европейскія идеи, покуда не окрестить ихъ она свѣтомъ Христовымъ. Увидишь, какъ это вдругъ и въ твоихъ же глазахъ будетъ

признано всѣми въ Россіи какъ вѣрующими, такъ и невѣрующими, какъ вдругъ выступитъ всѣми узнанная наша Церковь. Была на то воля Промысла, чтобы непостижимая слѣпота пала на глаза многихъ. Разбирая пристально нить событій міра, вижу всю мудрость Божію, попустившую временному раздѣленію Церквей, повелѣвшую одной стоять неподвижно и какъ бы вдали отъ людей, а другой—волноваться вмѣстѣ съ людьми; одной—не принимать въ себя никакихъ нововведеній, кромѣ тѣхъ, которыя были внесены святыми людьми лучшихъ временъ христіанства и первоначальными Отцами Церкви, другой—мѣняясь и примѣняясь ко всѣмъ обстоятельствамъ времени, духу и привычекъ людей, вносить всѣ нововведенія, сдѣланныя даже порочными и несвятыми епископами; одной—на время какъ бы умереть для міра, другой—на время какъ бы овладѣть всѣмъ міромъ; одной—подобно скромной Маріи, отложивши всѣ попеченія о земномъ, помѣститься у ногъ Самого Господа, затѣмъ, чтобы лучше наслушаться словъ Его, прежде, нежели примѣнять и передавать ихъ людямъ, другой же—подобно заботливой хозяйкѣ Марфѣ, гостепріимно хлопотать около людей, передавая имъ еще не взвѣшенныя всѣмъ разумомъ слова Господни. Благую часть избрала первая, что такъ долго прислушивалась къ словамъ Господа, вынося упреки недальновидной сестры своей, которая уже было осмѣлилась называть ее *мертвымъ* трупомъ и даже заблудшею и отступившею отъ Господа. Не легко примѣнить слово Христово къ людямъ, и слѣдовало ей прежде сильно проникнуться имъ самой. Зато въ нашей Церкви сохранилось все, что нужно для просыпающагося нынѣ общества. Въ ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чѣмъ больше вхожу въ нее сердцемъ, умомъ и помышленіемъ, тѣмъ больше изумляюсь чудной возможности примиренія тѣхъ противорѣчій, которыя не въ силахъ примирить теперь Церковь западная. Западная Церковь была еще достаточна для прежняго несложнаго порядка, еще могла кое-какъ управлять міромъ и мирить его со Христомъ во имя односторонняго и неполнаго развитія человѣчества. Теперь же, когда человѣчество стало достигать развитія полнѣйшаго во всѣхъ своихъ силахъ, во всѣхъ свойствахъ какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ, она его только отталкиваетъ отъ Христа: чѣмъ больше хлопочетъ о примиреніи, тѣмъ больше вноситъ раздоръ, будучи не въ силахъ освѣтить узкимъ свѣтомъ всякій нынѣшній предметъ со всѣхъ его сторонъ. Всѣ сознаются въ томъ, что этимъ самымъ введеніемъ въ себя множества постановленій человѣческихъ, сдѣланныхъ такими епископами, которые еще не достигнули святостію жизни своей до полной и многосторонней христіанской мудрости, она сузила взглядъ свой на жизнь и міръ и не можетъ обхватить ихъ. Полный и всесторонній взглядъ на жизнь остался на ея гостеприимной половинѣ, видимо сбереженной для позднѣйшаго и полнѣйшаго образованія человѣка. Въ ней просторъ не только душѣ и сердцу человѣка,

но и разуму, во всѣхъ его верховныхъ силахъ. Въ ней дорога и путь, какъ устремить все въ человѣкѣ въ одинъ согласный гимнъ верховному Существу. Другъ, не смущайся ничѣмъ! Если бы седмерицею кратъ были запутаннѣе нынѣшнія обстоятельства—все примиритъ и распутаетъ наша Церковь. Уже какимъ-то невѣдомымъ чутьемъ даже наши свѣтскіе люди, толкающіеся среди насъ, начинаютъ слышать, что есть какое-то сокровище, отъ котораго спасеніе,—которое среди насъ и котораго не видимъ. Блеснетъ сокровище, и на всемъ отсвѣтится блескъ его. И время уже недалеко. Мы повторяемъ теперь еще безсмысленно слово «просвѣщеніе». Даже и не задумались надъ тѣмъ, откуда пришло это слово и что оно значитъ. Слова этого нѣтъ ни на какомъ языкѣ; оно только у насъ. Просвѣтить не значитъ научить, или наставить, или образовать, или даже освѣтить, но всего насквозь высвѣтлить человѣка во всѣхъ его силахъ, а не въ одномъ умѣ, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято изъ нашей Церкви, которая уже почти тысячу лѣтъ его произноситъ, несмотря на всѣ мраки и невѣжественныя тьмы, отвсюду ее окружавшіе, и знаетъ, зачѣмъ произноситъ. Недаромъ архіерей, въ торжественномъ служеніи своемъ, подъемля въ обѣихъ рукахъ и троесвѣщникъ, знаменующій Троицу Бога, и двусвѣщникъ, знаменующій Его сходившее на землю Слово въ двойномъ естествѣ Его, и Божескомъ, и человѣческомъ, всѣхъ ими освѣщаетъ, произнося: «Свѣтъ Христовъ освѣщаетъ всѣхъ!» Недаромъ также въ другомъ мѣстѣ служенія гремятъ отрывочно, какъ бы съ неба, вслухъ всѣмъ слова: «Свѣтъ просвѣщенія!» и ничего къ нимъ не прибавляется больше.

1846

XVIII.

ЧЕТЫРЕ ПИСЬМА КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ ПО ПОВОДУ „МЕРТВЫХЪ ДУШЪ“.

1.

Вы напрасно негодуете на неумѣренный тонъ нѣкоторыхъ нападеній на «Мертвыя Души»: это имѣетъ свою хорошую сторону. Иногда нужно имѣть противу себя озлобленныхъ. Кто увлеченъ красотами, тотъ не видитъ недостатковъ и прощаетъ все; но кто озлобленъ, тотъ постарается выкопать въ насъ всю дрянь и выставить ее такъ ярко наружу, что поневолѣ ее увидишь. Истину такъ рѣдко приходится слышать, что уже за одну крупицу ея можно простить всякій оскорбительный голосъ, съ какимъ бы она ни произносилась. Въ критикахъ Булгарина, Сенковскаго и Полевого есть много справедливаго, начиная даже съ даннаго мнѣ совѣта поучиться прежде русской грамотѣ, а потомъ уже писать. Въ самомъ дѣлѣ, если бы я не торопился печа-

таніемъ рукописи и подержалъ ее у себя съ годъ, я бы увидѣлъ потомъ и самъ, что въ такомъ неопрятномъ видѣ ей никакъ нельзя было явиться въ свѣтъ. Самыя эпиграммы и насмѣшки надо мною были мнѣ нужны, несмотря на то, что съ перваго раза пришлось очень не по сердцу. О, какъ намъ нужны безпрестанные щелчки и этотъ оскорбительный тонъ, и эти ѣдкія, пронимающія насквозь насмѣшки! На днѣ души нашей столько таится всякаго мелкаго, ничтожнаго самолюбія, щекотливаго, сквернаго честолюбія, что насъ ежеминутно слѣдуетъ колоть, поражать, бить всѣми возможными орудіями, и мы должны благодарить ежеминутно насъ поражающую руку.

Я бы желалъ, однакожъ, побольше критикъ не со стороны литераторовъ, но со стороны людей, занятыхъ дѣломъ самой жизни. Со стороны практическихъ людей, какъ на бѣду, кромѣ литераторовъ, не отозвался никто. А между тѣмъ «Мертвыя Души» произвели много шума, много ропота; задѣли за живое многихъ и насмѣшкою, и правдою, и карикатурою; коснулись порядка вещей, который у всѣхъ ежедневно передъ глазами, хоть исполненъ промаховъ, анахронизмовъ, явнаго незнанія многихъ предметовъ; мѣстами даже съ умысломъ помѣщено обидное и задѣвающее, авось кто-нибудь меня выбранитъ хорошенько, и въ брани, въ гнѣвѣ выскажетъ мнѣ правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голосъ! А могъ всякъ. И какъ бы еще умно! Служащій чиновникъ могъ бы мнѣ явно доказать, въ виду всѣхъ, неправдоподобность мною изображеннаго событія приведеніемъ двухъ-трехъ дѣйствительно случившихся дѣлъ, и тѣмъ бы опровергъ меня лучше всякихъ словъ, или тѣмъ же самымъ образомъ могъ бы защитить и оправдать справедливость мною описаннаго. Приведеніемъ событія случившагося лучше доказывается дѣло, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованіями. Могъ бы то же сдѣлать и купецъ, и помѣщикъ, словомъ—всякій грамотей, сидитъ, ли онъ сиднемъ на мѣстѣ, или рыскаетъ вдоль и поперекъ по всему лицу Русской земли. Сверхъ собственнаго взгляда своего, всякій человѣкъ, съ того мѣста или ступеньки въ обществѣ, на которую поставили его должность, званіе и образованіе, имѣетъ случай видѣть тотъ же предметъ съ такой стороны, съ которой кромѣ его никто другой не можетъ видѣть. По поводу «Мертвыхъ Душъ» могла бы написаться всею толпою читателей другая книга несравненно любопытнѣйшая «Мертвыхъ Душъ», которая могла бы научить не только меня, но и самихъ читателей, потому что—нечего таить грѣха—всѣ мы очень плохо знаемъ Россію.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышаніе! Точно, какъ бы вымерло все, какъ бы въ самомъ дѣлѣ обитаютъ въ Россіи не живыя, а какія-то «мертвыя души». И меня же упрекаютъ въ плохомъ знаніи Россіи! Какъ будто непремѣнно силою Святого Духа долженъ узнать я все, что ни дѣлается во всѣхъ углахъ ея,—безъ наученія научиться!

Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самимъ званіемъ писателя на сидячую, затворническую жизнь, и притомъ еще больной, и притомъ еще принужденный жить вдали отъ Россіи? какими путями могу я научиться? Меня же не научатъ этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть одинъ учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дамъ сильный отвѣтъ Богу за то, что не исполнилъ, какъ слѣдуетъ, своего дѣла; но знаю, что дадутъ за меня отвѣтъ и другіе. И говорю это недаромъ; видитъ Богъ, говорю недаромъ!

1843

2.

Я предчувствовалъ, что всѣ лирическія отступленія въ поэмѣ будутъ приняты въ превратномъ смыслѣ. Они такъ неясны, такъ мало вяжутся съ предметами, проходящими предъ глазами читателя, такъ невпопадъ складу и замашкѣ всего сочиненія, что ввели въ равное заблужденіе какъ противниковъ, такъ и защитниковъ. Всѣ мѣста, гдѣ ни заикнулся я неопредѣленно о писателѣ, были отнесены на мой счетъ; я краснѣлъ даже отъ изъясненій ихъ въ мою пользу. И подѣломъ мнѣ! Ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало выдавать и сочиненія, которое, хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-какъ бѣлыми нитками, подобно платью, приносимому портнымъ только для примѣрки. Дивлюсь только тому, что мало было сдѣлано упрековъ въ отношеніи къ искусству и творческой наукѣ. Этому помѣшало какъ гнѣвное расположеніе моихъ критиковъ, такъ и непривычка всматриваться въ постройку сочиненія. Слѣдовало показать, какія части чудовищно-длинны въ отношеніи къ другимъ, гдѣ писатель измѣнилъ самому себѣ, не выдержавъ своего собственнаго, уже разъ принятаго тона. Никто не замѣтилъ даже, что послѣдняя половина книги обработана меньше первой, что въ ней великіе пропуски, что главныя и важныя обстоятельства сжаты и сокращены, неважныя и побочныя распространены, что не столько выступаетъ внутренній духъ всего сочиненія, сколько мечется въ глаза пестрота частей и лоскутность его. Словомъ— можно было много сдѣлать нападеній несравненно дѣльнѣйшихъ, выбранить меня гораздо больше, нежели теперь бранятъ, и выбранить за дѣло. Но рѣчь не о томъ. Рѣчь о лирическомъ отступленіи, на которое больше всего напали журналисты, видя въ немъ признаки самонадѣянности, самохвальства и гордости, доселѣ еще не слыханной ни въ одномъ писателѣ. Разумѣю то мѣсто въ послѣдней главѣ, когда, изобразивъ выѣздъ Чичикова изъ города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится самъ на его мѣсто и, пораженный скучнымъ однообразіемъ предметовъ, пустынною безпріютностію пространствъ и грустною тѣснію, несущеюся по всему лицу

земли Русской отъ моря до моря, обращается въ лирическомъ воззваніи къ самой Россіи, спрашивая у нея самой объясненія непонятнаго чувства, его объявшаго, то-есть: зачѣмъ и почему ему кажется, что будто все, что ни есть въ ней, отъ предмета одушевленнаго до бездушнаго, вперило на него свои глаза и чего-то ждетъ отъ него. Слова эти были приняты за гордость и доселѣ неслыханное хвастовство, между тѣмъ, какъ они ни то, ни другое. Это, просто, нескладное выраженіе истиннаго чувства. Мнѣ и донынѣ кажется то же. Я до сихъ поръ не могу выносить тѣхъ заунывныхъ, раздирающихъ звуковъ нашей пѣсни, которая стремится по всѣмъ безпредѣльнымъ русскимъ пространствамъ. Звуки эти вьются около моего сердца, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущаетъ въ себѣ того же. Кому, при взглядѣ на эти пустынныя, доселѣ незаселенныя и безпріютныя пространства не чувствуется тоска, кому въ заунывныхъ звукахъ нашей пѣсни не слышатся болѣзненные упреки ему самому, именно ему самому, тотъ или уже весь исполнилъ свой долгъ, какъ слѣдуетъ, или же онъ нерусскій въ душѣ. Разберемъ дѣло, какъ оно есть. Вотъ уже почти полтораста лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилищемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла, и до сихъ поръ остаются такъ же пустынны, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно, какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышитъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовою станціею, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель съ черствымъ отвѣтомъ: «Нѣтъ лошадей!» Отчего это? Кто виноватъ? Мы (или правительство? Но) правительство во все время дѣйствовало безъ устали. Свидѣтелемъ тому цѣлые томы постановленій, узаконеній и учрежденій, множество настроенныхъ домовъ, множество изданныхъ книгъ, множество заведенныхъ заведеній всякаго рода: учебныхъ, человѣколюбивыхъ, богоугодныхъ и, словомъ, даже такихъ, какихъ нигдѣ въ другихъ государствахъ не заводятъ правительства. Сверху раздаются вопросы, отвѣты снизу. Сверху раздавались иногда такіе вопросы, которые свидѣтельствуютъ о рыцарски-великодушномъ движеніи многихъ государей, дѣйствовавшихъ даже въ ущербъ собственнымъ выгодамъ. А какъ было на это все отвѣтствовано снизу? Дѣло вѣдь въ примѣненіи, въ умѣньи приложить данную мысль такимъ образомъ, чтобы она принялась и поселилась въ насъ. Указъ, какъ бы онъ обдуманъ и опредѣлителенъ ни былъ, есть не болѣе, какъ бланковый листъ, если не будетъ снизу такого же чистаго желанія примѣнить его къ дѣлу тою именно стороною, какой нужно, какой слѣдуетъ и какую можетъ прозрѣть только тотъ, кто просвѣтленъ понятіемъ о справедливости Божеской, а не человѣческой. Безъ того

все обратится во зло. Доказательство тому всѣ наши тонкіе плуты и взяточники, которые умѣютъ обойти всякій указъ, для которыхъ новый указъ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большею сложностію всякое отправленіе дѣлъ, бросить новое бревно подъ ноги человѣку. Словомъ—вездѣ, куда ни обращусь, вижу, что виноватъ примѣнитель, стало-быть, нашъ же братъ: или виноватъ тѣмъ, что поторопился, желая слишкомъ скоро прославиться (и схватить орденишку); или виноватъ тѣмъ, что слишкомъ сгоряча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованіе; не спросясь разума, не разсмотрѣвъ въ жару самаго дѣла, сталъ имъ ворочать, какъ знатокъ, и потомъ вдругъ, также по русскому обычаю, простылъ, увидѣвши неудачу; или же виноватъ, наконецъ, тѣмъ, что, изъ-за какого-нибудь оскорбленнаго мелкаго честолюбія, все бросилъ и то мѣсто, на которомъ было началъ такъ благородно подвизаться, сдалъ первому плуту—(пусть пограбитъ людей). Словомъ—у рѣдкаго изъ насъ доставало столько любви къ добру, чтобы онъ рѣшился пожертвовать изъ-за него и честолюбіемъ, и самолюбіемъ, и всѣми мелочами легко раздражающагося своего эгоизма и положилъ самому себѣ въ непремѣнный законъ—служить землѣ своей, а не себѣ, помня ежеминутно, что взялъ онъ мѣсто для счастія другихъ, а не для своего. Напротивъ, въ послѣднее время, какъ бы еще нарочно, старался русскій человѣкъ выставить всѣмъ на видъ свою щекотливость во всѣхъ родахъ и мелочь раздражительнаго самолюбія своего на всѣхъ путяхъ. Не знаю, много ли изъ насъ такихъ, которые сдѣлали все, что имъ слѣдовало сдѣлать, и которые могутъ сказать открыто передъ цѣлымъ свѣтомъ, что ихъ не можетъ попрекнуть ни въ чемъ Россія, что не глядитъ на нихъ укоризненно всякій бездушный предметъ ея пустынныхъ пространствъ, что все ими довольно и ничего отъ нихъ не ждетъ. Знаю только то, что я слышалъ себѣ упрекъ. Слышу его и теперь. И на моемъ поприщѣ писателя, какъ оно ни скромно, можно было кое-что сдѣлать на пользу болѣе прочную. Что изъ того, что въ моемъ сердцѣ обитало всегда желаніе добра и что единственно изъ-за него я взялся за перо. Какъ исполнилъ его? Ну, хоть бы и это мое сочиненіе, которое теперь вышло и которому названіе «Мертвыя Души»,—произвело ли оно то впечатлѣніе, какое должно было произвести, если бы только было написано такъ, какъ слѣдуетъ? Своихъ же собственныхъ мыслей, простыхъ, неголоволомныхъ мыслей, я не сумѣлъ передать, и самъ же подалъ поводъ къ истолкованію ихъ въ превратную и скорѣе вредную, нежели полезную, сторону. Кто виноватъ? Неужели мнѣ говорить, что меня подталкивали просьбы пріятелей или нетерпѣливыя желанія любителей изящнаго, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мнѣ говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимыя для моего прожитія деньги, я долженъ былъ поторопиться безвременнымъ выпускомъ моей книги?

Нѣтъ, кто рѣшился исполнить свое дѣло честно, того не могутъ поколебать никакія обстоятельства, тотъ протянетъ руку и попроситъ милостыню, если ужъ до того дойдетъ дѣло, тотъ не посмотритъ ни на какія временныя нареканія, ниже пустыя приличія свѣта. Кто изъ пустыхъ приличій свѣта портитъ дѣло, нужное своей землѣ, тотъ ея не любитъ. Я почувствовалъ презрѣнную слабость моего характера, мое подлое малодушіе, безсиліе любви моей, а потому и услышалъ болѣзненный упрекъ себѣ во всемъ, что ни есть въ Россіи. Но высшая сила меня подняла: проступковъ нѣтъ неисправимыхъ, и тѣ же пустынныя пространства, нанесшія тоску мнѣ на душу, меня восторгнули великимъ просторомъ своего пространства, широкимъ поприщемъ для дѣлъ. Отъ души было произнесено это обращеніе къ Россіи: «Въ тебѣ ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться ему?» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовалъ; я это чувствую и теперь. Въ Россіи теперь на всякомъ шагу можно сдѣлаться богатыремъ. Всякое званіе и мѣсто требуетъ богатырства. Каждый изъ насъ опозорилъ до того святыню своего званія и мѣста (всѣ мѣста святы), что нужно богатырскихъ силъ на то, чтобы вознести ихъ на законную высоту. Я слышалъ то великое поприще, которое никому изъ другихъ народовъ теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что передъ нимъ только такой просторъ и только его душѣ знакомо богатырство—вотъ отчего у меня исторгнулось то восклицаніе, которое приняли за мое хвастовство и мою самонадѣянность!

1843

3.

Охота же тебѣ, будучи такимъ знатокомъ и вѣдателемъ человѣка, задавать мнѣ тѣ же пустые запросы, которые умѣютъ задать и другіе! Половина ихъ относится къ тому, что еще впереди. Ну, что толку въ подобномъ любопытствѣ? Одинъ только запросъ уменъ и достоинъ тебя, и я бы желалъ, чтобы его мнѣ сдѣлали и другіе, хотя не знаю, сумѣлъ ли бы на него отвѣчать умно, именно запросъ: отчего герои моихъ послѣднихъ произведеній, и въ особенности «Мертвыхъ Душъ», будучи далеки отъ того, чтобы быть портретами дѣйствительныхъ людей, будучи сами по себѣ свойства совсѣмъ непривлекательнаго, неизвѣстно почему близки душѣ, точно, какъ бы въ сочиненіи ихъ участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще годъ назадъ мнѣ было бы неловко отвѣчать на это даже и тебѣ. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому близки душѣ, что они изъ души; всѣ мои послѣднія сочиненія—исторія моей собственной души. А чтобы получше все это объяснить, опредѣлю тебѣ себя самого, какъ писателя. Обо мнѣ много толковали, разбирая кое-какія мои стороны, но главнаго существа моего не опредѣлили. Его слышалъ одинъ только Пушкинъ. Онъ мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было

этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глазъ, мелькнула бы крупно въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго, точно, нѣтъ у другихъ писателей. Оно впослѣдствіи углубилось во мнѣ еще сильнѣе отъ соединенія съ нимъ нѣкотораго душевнаго обстоятельства. Но этого я не въ состояніи былъ открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило съ большей силою въ «Мертвыхъ Душахъ». «Мертвыя Души» не потому такъ испугали Россію и произвели такой шумъ внутри ея, чтобы онѣ раскрыли какія-нибудь ея раны или внутреннія болѣзни, и не потому также, чтобы представили потрясающія картины торжествующаго зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодѣи; прибавь я только одну добрую черту любому изъ нихъ, читатель помирился бы съ ними всѣми. Но пошлость всего вмѣстѣ испугала читателей. Испугало ихъ то, что одинъ за другимъ слѣдуютъ у меня герои одинъ пошлѣе другого, что нѣтъ ни одного утѣшительнаго явленія, что негдѣ даже и пріотдохнуть или духъ перевести бѣдному читателю, и что, по прочтеніи всей книги, кажется, какъ бы точно вышелъ изъ какаго-то душнаго погреба на Божій свѣтъ. Мнѣ бы скорѣе простили, если бы я выставилъ картинныхъ изверговъ; но пошлости не простили мнѣ. Русскаго человѣка испугала его ничтожность болѣе, нежели всѣ его пороки и недостатки. Явленіе замѣчательное! Испугъ прекрасный! Въ комъ такое сильное отвращеніе отъ ничтожнаго, въ томъ, вѣрно, заключено все то, что противоположно ничтожному. Итакъ, вотъ въ чемъ мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мнѣ въ такой силѣ, если бы съ нимъ не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная исторія. Никто изъ читателей моихъ не зналъ того, что, смѣясь надъ моими героями, онъ смѣялся надо мною.

Во мнѣ не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока, который бы высунулся видиѣе всѣхъ моихъ прочихъ пороковъ, все равно, какъ не было также никакой картинной добродѣтели, которая могла бы придать мнѣ какую-нибудь картинную наружность; но зато, вмѣсто того, во мнѣ заключилось собраніе всѣхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и притомъ въ такомъ множествѣ, въ какомъ я еще не встрѣчалъ доселѣ ни въ одномъ человѣкѣ. Богъ далъ мнѣ многостороннюю природу. Онъ поселилъ мнѣ также въ душу, уже отъ рожденія моего, нѣсколько хорошихъ свойствъ; но лучшее изъ нихъ за которое не умѣю, какъ возблагодарить Его, было *желаніе быть лучшимъ*. Я не любилъ никогда моихъ дурныхъ качествъ, и если бы небесная любовь Божія не распорядила такъ, чтобы они открылись передо мною постепенно и понемногу, намѣсто того, чтобы открылись

вдругъ и разомъ передъ моими глазами, въ то время, какъ я не имѣлъ еще никакого понятія о всей неизмѣримости Его безконечнаго милосердія,—я бы повѣсился. По мѣрѣ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мнѣ желаніе избавляться отъ нихъ; необыкновеннымъ душевнымъ событіемъ я былъ наведенъ на то, чтобы передавать ихъ моимъ героямъ. Какого рода было это событіе, знать тебѣ не слѣдуетъ: если бы я видѣлъ въ этомъ пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявилъ. Съ этихъ поръ я сталъ надѣлять своихъ героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дѣлалось: взявши дурное свойство мое, я преслѣдовалъ его въ другомъ званіи и на другомъ поприщѣ, старался себѣ изобразить его въ видѣ смертельнаго врага, нанесшаго мнѣ самое чувствительное оскорбленіе, преслѣдовалъ его злобою, насмѣшкою и всѣмъ, чѣмъ ни попало. Если бы кто видѣлъ тѣ чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалѣ для меня самого, онъ бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебѣ только то, что когда я началъ читать Пушкину первыя главы изъ «Мертвыхъ Душъ», въ томъ видѣ, какъ онѣ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смѣялся при моемъ чтеніи (онъ же былъ охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнѣе, сумрачнѣе, а наконецъ сдѣлался совершенно мраченъ. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинъ, который такъ зналъ Россію, не замѣтилъ, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидѣлъ, что значитъ дѣло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человѣка видѣ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствіе свѣта*. Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлѣніе, которое могли произвести «Мертвыя Души». Я увидѣлъ, что многія изъ гадостей не стоятъ злобы; лучше показать всю ничтожность ихъ, которая должна быть навѣки ихъ удѣломъ. Притомъ мнѣ хотѣлось попробовать, что скажетъ вообще русскій человѣкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостію. Вслѣдствіе уже давно принятаго плана «Мертвыхъ Душъ» для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однакожъ, ничуть не портреты съ ничтожныхъ людей; напротивъ, въ нихъ собраны черты тѣхъ, которые считаютъ себя лучшими другихъ, разумѣется, только въ разжалованномъ видѣ изъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромѣ моихъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелей, есть и твои. Я тебѣ это покажу послѣ, когда будетъ тебѣ нужно; до времени это моя тайна. Мнѣ потребно было отобрать отъ всѣхъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить законнымъ ихъ владѣльцамъ. Не спрашивай, зачѣмъ первая часть должна быть вся *пошлость*, и зачѣмъ въ ней всѣ лица до единаго дол-

жны быть пошлы: на это дадутъ тебѣ отвѣтъ другіе томы. Вотъ и все! Первая часть, несмотря на всѣ свои совершенства, главное дѣло сдѣлала: она поселила во всѣхъ отвращеніе отъ моихъ героевъ и отъ ихъ ничтожности; она разнесла нѣкоторую мнѣ нужную тоску и собственное наше неудовольствіе на самихъ насъ. Покамѣстъ для меня этого довольно; за другимъ я и не гонюсь. Конечно, все это вышло бы гораздо значительнѣе, если бы я, не торопясь выдачею въ свѣтъ, обработалъ книгу получше. Герои мои еще не отдѣлились вполнѣ отъ меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселилъ я ихъ твердо на той землѣ, на которой имъ быть долженствовало, и не вошли они въ кругъ нашихъ обычаевъ, обставясь всѣми обстоятельствами дѣйствительно русской жизни. Еще вся книга не болѣе, какъ недоносокъ; но духъ ея разнесся уже отъ нея незримо, и самое ея раннее появленіе можетъ быть полезно мнѣ тѣмъ, что подвигнетъ моихъ читателей указать всѣ промахи относительно общественныхъ и частныхъ порядковъ внутри Россіи. Вотъ, если бы ты, вмѣсто того, чтобы предлагать мнѣ пустые запросы (которыми напичкалъ половину письма своего и которые ни къ чему не ведутъ, кромѣ удовлетворенія какого-то праздная любопытства), собралъ всѣ дѣльныя замѣчанія на мою книгу какъ свои, такъ и другихъ умныхъ людей, занятыхъ, подобно тебѣ, жизнію опытною и дѣльною, да присоединилъ бы къ этому множество событій и анекдотовъ, какіе ни случались въ околоткѣ вашемъ и во всей губерніи, въ подтвержденіе или въ опроверженіе всякаго дѣла въ моей книгѣ, какихъ можно бы десятками прибрать на всякую страницу; тогда бы ты сдѣлалъ доброе дѣло, и я бы сказалъ тебѣ мое крѣпкое спасибо. Какъ бы отъ этого раздвинулся мой кругозоръ! Какъ бы освѣжилась моя голова, и какъ бы успѣшнѣе пошло мое дѣло! Но того, о чемъ я прошу, никто не исполняетъ; моихъ запросовъ никто не считаетъ важными, а только уважаетъ свои; а иной даже требуетъ отъ меня какой-то искренности и откровенности, не понимая самъ, чего онъ требуетъ. И къ чему это пустое любопытство знать впередъ, и эта пустая, ни къ чему не ведущая торопливость, которою, какъ я замѣчаю, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, какъ въ природѣ совершается все чинно и мудро, въ какомъ стройномъ законѣ, и какъ все разумно исходитъ одно изъ другого! Одни мы, Богъ вѣсть изъ чего, мечемся. Все торопится, все въ какой-то горячкѣ. Ну, взвѣсилъ ли ты хорошенько слова свои: «Второй томъ нуженъ теперь необходимо?» Чтобы я изъ-за того только, что есть противъ меня всеобщее неудовольствіе, сталъ торопиться вторымъ томомъ, такъ же глупо, какъ и то, что я поторопился первымъ. Да развѣ ужъ я совсѣмъ выжилъ изъ ума? Неудовольствіе это мнѣ нужно; въ неудовольствіи человѣкъ хоть что-нибудь мнѣ выскажетъ. И откуда вывелъ ты заключеніе, что второй томъ именно теперь нуженъ? Залѣзъ ты развѣ въ мою голову? почувствовалъ существо второго тома? По-твоему, онъ

нуженъ теперь, а по-моему не раньше, какъ черезъ два-три года, да и то еще, принимая въ соображеніе попутный ходъ обстоятельствъ и времени. Кто-жъ изъ насъ правъ? Тотъ ли, у кого второй томъ уже сидитъ въ головѣ, или тотъ, кто даже и не знаетъ, изъ чего состоитъ второй томъ? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Самъ человѣкъ лежитъ на-боку, къ дѣлу настоящему лѣнивъ, а другого торопитъ, точно, какъ будто непремѣнно другой долженъ изо всѣхъ силъ тянуть отъ радости, что его пріятель лежитъ на-боку. Чуть замѣтятъ, что хотя одинъ человѣкъ занялся серьезно какимъ-нибудь дѣломъ, ужъ его торопятъ со всѣхъ сторонъ, и потомъ его же выбранятъ, если сдѣлаетъ глупо,—скажутъ: «зачѣмъ поторопился»? Но оканчиваю тебѣ поученіе. На твой умный вопросъ я отвѣчалъ и даже сказалъ тебѣ то, чего доселѣ не говорилъ еще никому. Не думай, однакоже, послѣ этой исповѣди, чтобы я самъ былъ такой же уродъ, каковы мои герои. Нѣтъ, я не похожъ на нихъ. Я люблю добро, я ищу его и сгораю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ. И это вздоръ, что выпустили глупые свѣтскіе умники, будто человѣку только и возможно воспитать себя, покуда онъ въ школѣ, а послѣ ужъ и черты нельзя измѣнить въ себѣ: только въ глупой свѣтской башкѣ могла образоваться такая глупая мысль. Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тѣмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмѣялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмѣяться. Я оторвался уже отъ многаго тѣмъ, что, лишивши картиннаго вида и рыцарской маски, подъ которою выѣзжаетъ козыремъ всякая мерзость наша, поставилъ ее рядомъ съ той гадостію, которая всѣмъ видна. И, когда повѣряю себя на исповѣди передъ Тѣмъ, Кто повелѣлъ мнѣ быть въ мірѣ и освобождаться отъ моихъ недостатковъ вижу много въ себѣ пороковъ; но они уже не тѣ, которые были въ прошломъ году: святая сила помогла мнѣ отъ тѣхъ оторваться. А тебѣ совѣтую не пропустить мимо ушей этихъ словъ, но, по прочтеніи моего письма, остаться одному на нѣсколько минутъ, и, отъ всего отдѣляясь, взгляну хорошенько на самого себя, перебравши передъ собою всю свою жизнь, чтобы провѣрить на дѣлѣ истину словъ моихъ. Въ этомъ же моемъ отвѣтѣ найдешь отвѣтъ и на другіе запросы, если попристальнѣе вглядишься. Тебѣ объяснится также и то, почему не выставлялъ я до сихъ поръ читателю явленій утѣшительныхъ и не избиралъ въ мои герои добродѣтельныхъ людей. Ихъ въ головѣ не выдумаешь. Пока не станешь самъ, хотя сколько-нибудь, на нихъ походить; пока не добудешь постоянствомъ и не завоюешь силою въ душу нѣсколько добрыхъ качествъ,—мертвечина будетъ все, что ни напишетъ перо твое и, какъ земля отъ неба, будетъ далеко отъ правды. Выдумывать кошмаровъ—я также не выдумывалъ,

кошмары эти давили мою собственную душу: что было въ душѣ, то изъ нея вышло.

1843.

4.

Затѣмъ сожженъ второй томъ «Мертвыхъ Душъ», что такъ было нужно. «*Не оживетъ, аще не умретъ*», говоритъ апостолъ. Нужно прежде умереть, для того, чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилѣтній трудъ, производимый съ такими болѣзненными напряженіями, гдѣ всякая строка досталась потрясеніемъ, гдѣ было много такого, что составляло мои лучшія помышленія и занимало мою душу. Но все было сожжено, и притомъ въ ту минуту, когда, видя передъ собою смерть, мнѣ очень хотѣлось оставить послѣ себя хоть что-нибудь, обо мнѣ лучше напоминающее. Благодарю Бога, что далъ мнѣ силу это сдѣлать. Какъ только пламя унесло послѣдніе листы моей книги, ея содержаніе вдругъ воскреснуло въ очищенномъ и свѣтломъ видѣ, подобно фениксу изъ костра, и я вдругъ увидѣлъ, въ какомъ еще безпорядкѣ было то, что я считалъ уже порядочнымъ и стройнымъ. Появленіе второго тома, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ, произвело бы скорѣе вредъ, нежели пользу. Нужно принимать въ соображеніе не наслажденіе какихъ-нибудь любителей искусствъ и литературы, но всѣхъ читателей, для которыхъ писались «Мертвыя Души». Вывести нѣсколько прекрасныхъ характеровъ, обнаруживающихъ высокое благородство нашей породы, ни къ чему не поведетъ. Оно возбудитъ только одну пустую гордость и хвастовство. Многіе у насъ уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не въ мѣру русскими доблестями, и думаютъ вовсе не о томъ, чтобы ихъ углубить и воспитать въ себѣ, но чтобы выставить ихъ напоказъ и сказать Европѣ: «Смотрите, нѣмцы: мы лучше васъ!» Это хвастовство—губитель всего. Оно раздражаетъ другихъ и наноситъ вредъ самому хвастуну. Наилучшее дѣло можно превратить въ грязь, если только имъ похвалишься и похвастаешь. А у насъ, еще не сдѣлавши дѣла, имъ хвастаются,—хвастаются будущимъ! Нѣтъ, по мнѣ, уже лучше временное уныніе и тоска отъ самого себя, нежели самонадѣянность въ себѣ. Въ первомъ случаѣ, человѣкъ, по крайней мѣрѣ, увидитъ свою презрѣнность, подлое ничтожество свое и вспомнитъ невольно о Богѣ, возносящемъ и выводящемъ все изъ глубины ничтожества; въ послѣднемъ же случаѣ, онъ убѣжитъ отъ самого себя прямо въ руки къ чорту, отцу самонадѣянности, дымнымъ надменіемъ своихъ доблестей надмевающему человѣка. Нѣтъ, бываетъ время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколѣніе къ прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бываетъ время, что даже вовсе не слѣдуетъ говорить о высокомъ и прекрасномъ, не показавши тутъ же ясно, какъ

день, путей и дорогъ къ нему для всякаго. Послѣднее обстоятельство было мало и слабо развито во второмъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», а оно должно было быть едва ли не главное; а потому онъ и сожженъ. Не судите обо мнѣ и не выводите своихъ заключеній: вы ошибетесь подобно тѣмъ изъ моихъ пріятелей, которые, создавши изъ меня свой собственный идеалъ писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателѣ, начали было отъ меня требовать, чтобы я отвѣчалъ ими же созданному идеалу. Создалъ меня Богъ и не скрылъ отъ меня назначенія моего. Рожденъ я вовсе не затѣмъ, чтобы произвести эпоху въ области литературной. Дѣло мое проще и ближе: дѣло мое есть то, о которомъ прежде всего долженъ подумать всякій человѣкъ, не только одинъ я. Дѣло мое—*душа* и *прочное дѣло жизни*. А потому и образъ дѣйствій моихъ долженъ быть проченъ, и сочинять я долженъ прочно. Мнѣ не зачѣмъ торопиться; пусть ихъ торопятся другіе! Жгу, когда нужно жечь, и, вѣрно, поступаю какъ нужно, потому что безъ молитвы не приступаю ни къ чему. Опасенія же ваши насчетъ хилаго моего здоровья, которое, можетъ-быть, не позволитъ мнѣ написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами бываетъ мнѣ такъ тяжело, что безъ Бога и не перенесъ бы. Къ изнуренію силъ прибавилась еще и зябкость въ такой мѣрѣ, что не знаю, какъ и чѣмъ согрѣться: нужно дѣлать движеніе, а дѣлать движеніе—нѣтъ силъ. Едва часъ въ день выберется для труда, и тотъ не всегда свѣжій. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тотъ, Кто горемъ, недугами и препятствіями ускорилъ развитіе силъ и мыслей моихъ, безъ которыхъ я бы и не замыслилъ своего труда, Кто выработалъ большую половину его въ головѣ моей, Тотъ дастъ силу совершить и остальную—положить на бумагу. Дряхлѣю тѣломъ, но не духомъ. Въ духѣ, напротивъ, все крѣпнетъ и становится тверже; будетъ крѣпость и въ тѣлѣ. Вѣрю, что, если придетъ урочное время, въ нѣсколько недѣль совершится то, надъ чѣмъ провелъ пять болѣзненныхъ лѣтъ.

1846.

XIX.

НУЖНО ЛЮБИТЬ РОССІЮ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т. . . . . МУ.

Безъ любви къ Богу никому не спастись, а любви къ Богу у васъ нѣтъ. Въ монастырѣ ея не найдется; въ монастырь идутъ одни тѣ, которыхъ уже позвалъ туда Самъ Богъ. Безъ воли Бога нельзя и полюбить Его. Да и какъ полюбить Того, Котораго никто не видалъ? Какими молитвами и усиліями вымолить у Него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свѣтѣ добрыхъ и прекрасныхъ людей, которые добиваются жарко этой любви и слышатъ одну только черствость да холодную пустоту въ душахъ. Трудно полюбить Того, Кого никто не видалъ. Одинъ Христосъ принесъ и возвѣстилъ намъ тайну, что въ

любви къ братьямъ получаемъ любовь къ Богу. Стоитъ только полюбить ихъ такъ, какъ приказалъ Христосъ, и сама собой выйдетъ въ итогѣ любовь къ Богу Самому. Идите же въ міръ и пріобрѣтите прежде любовь къ братьямъ.

Но какъ полюбить братьевъ? Какъ полюбить людей? Душа хочетъ любитъ одно прекрасное, а бѣдные люди такъ несовершенны, и такъ въ нихъ мало прекраснаго? Какъ же сдѣлалъ это? Поблагодарите Бога прежде всего за то, что вы русскій. Для русскаго теперь открывается этотъ путь, и этотъ путь—есть сама Россія. Если только возлюбитъ русскій Россію, возлюбитъ и все, что ни есть въ Россіи. Къ этой любви насъ ведетъ теперь Самъ Богъ. Безъ болѣзней и страданій, которыя въ такомъ множествѣ накопились внутри ея и которыхъ виною мы сами, не почувствовалъ бы никто изъ насъ къ ней состраданія. А состраданіе есть уже начало любви. Уже крики на безчинства, неправды и взятки не просто негодованіе благородныхъ на безчестныхъ, но вопль всей земли, послышавшей, что чужеземные враги вторгнулись въ безчисленномъ множествѣ, разсыпались по домамъ и наложили тяжелое ярмо на каждаго человѣка; уже и тѣ, которые приняли добровольно къ себѣ въ домы этихъ враговъ душевныхъ, хотятъ отъ нихъ освободиться сами, и не знаютъ, какъ это сдѣлать, и все сливается въ одинъ потрясающій вопль, уже и безчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни въ комъ,—ея нѣтъ таки и у васъ. Вы еще не любите Россію: вы умѣете только печалиться да раздражаться слухами обо всемъ дурномъ, что въ ней ни дѣлается; въ васъ все это производитъ только одну черствую досаду да уныніе. Нѣтъ, это еще не любовь, далеко вамъ до любви, это развѣ только одно слишкомъ отдаленное еще ея предвѣстіе. Нѣтъ, если вы дѣйствительно полюбите Россію, у васъ пропадетъ тогда сама собою та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многихъ честныхъ и даже умныхъ людей,—то-есть будто въ теперешнее время они уже ничего не могутъ сдѣлать для Россіи, и будто они ей уже не нужны совсѣмъ; напротивъ, тогда только во всей силѣ вы почувствуете, что любовь всемогуща и что съ нею можно все сдѣлать. Нѣтъ, если вы дѣйствительно полюбите Россію, вы будете рваться служить ей; не въ губернаторы, но въ капитанъ-исправники пойдете, послѣднее мѣсто, какое ни отыщется въ ней, возьмете, предпочитая одну крупицу дѣятельности на немъ всей вашей нынѣшней бездѣйственной и праздной жизни. Нѣтъ, вы еще не любите Россіи. А не полюбивши Россіи, не полюбить вамъ своихъ братьевъ, а не полюбивши своихъ братьевъ, не возгорѣться вамъ любовью къ Богу, а не возгорѣвшись любовью къ Богу, не спастись вамъ.

1844.

XX.

НУЖНО ПРОѢЗДИТЬСЯ ПО РОССІИ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ ГР. А. П. Т.....МУ.

Нѣтъ выше званія, какъ монашеское, и да сподобитъ насъ Богъ когда-нибудь надѣть простую рясу чернеца, такъ желанную душѣ моей, о которой уже и помышленіе мнѣ въ радость. Но безъ зова Божія этого не сдѣлать. Чтобы имѣть право удалиться отъ міра, нужно умѣть распроститься съ міромъ. «Раздай все имущество свое нищимъ и тогда ступай въ монастырь»,—такъ говорится всѣмъ туда идущимъ. У васъ есть богатство, вы его можете раздать нищимъ; но что же мнѣ раздать? Имущество мое не въ деньгахъ. Богъ мнѣ помогъ накопить нѣсколько умнаго и душевнаго добра и далъ нѣкоторыя способности, полезныя и нужныя другимъ—стало-быть, я долженъ раздать это имущество неимущимъ его, а потомъ уже идти въ монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны къ вашему богатству и вамъ было бы тяжело съ нимъ разстаться, тогда другое дѣло, но вы къ нему охладѣли, для васъ оно теперь ничто—гдѣ-жъ вашъ подвигъ и ваше пожертвованіе? Или, выбросивши за окошко ненужную вещь, значитъ сдѣлать добро своему брату, разумѣя добро въ высокомъ смыслѣ христіанскомъ? Нѣтъ, для васъ такъ же, какъ и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь вашъ—Россія! Облеките же себя умственно рясой чернеца и, всего себя, умертвивши для себя, но не для нея, ступайте подвизаться въ ней. Она теперь зоветъ сыновъ своихъ еще крѣпче, нежели когда-либо прежде. Уже душа въ ней болитъ, и раздается крикъ ея душевной болѣзни. Другъ мой! или у васъ безчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русскаго Россія. Вспомните, что когда приходила бѣда ей, тогда изъ монастырей выходили монахи и становились въ ряды съ другими спасать ее. Чернецы Ослабя и Пересвѣтъ, съ благословенія самого настоятеля, взяли въ руки мечъ, противный христіанину, и легли на кровавомъ полѣ битвы, а вы не хотите взять поприще мирнаго гражданина, и гдѣ же?—въ самомъ сердцѣ Россіи. Не отговаривайтесь вашею неспособностью, у васъ есть много того, что теперь для Россіи потребно и нужно. Бывши губернаторомъ въ двухъ совершенно противоположныхъ губерніяхъ, исполнивши это дѣло, несмотря на всѣ ваши тогдашніе недостатки, получше многихъ, вы набрались прямыхъ и положительныхъ свѣдѣній о дѣлахъ, внутри происходящихъ, и узнали въ истинномъ видѣ Россію. Но не это главное, и я бы васъ не склонялъ такъ служить, несмотря на всѣ свѣдѣнія ваши, если бы не видѣлъ въ васъ одно то свойство, которое, по моему мнѣнію, значительнѣе всѣхъ другихъ прочихъ,—свойство, не хлопотавъ ничего, не работая самому, почти лѣнясь, умѣть заставить всѣхъ другихъ работать. У васъ все двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь,

спрашивали у васъ самихъ: «отчего это?» вы отвѣчали: «Все отъ чиновниковъ, попались хорошіе чиновники, которые не даютъ ничего мнѣ дѣлать самому»; и когда шло дѣло до представленія къ наградамъ, вы всегда выводили впередъ вашихъ чиновниковъ, приписывая все имъ, а себѣ ничего. Вотъ ваше главное достоинство, не говоря уже объ умѣніи выбрать самихъ чиновниковъ. Не мудрено, что у васъ чиновники рвались изо всѣхъ силъ, и одинъ записался до того, что нажилъ чахотку и умеръ, какъ ни старались вы оттащить его отъ дѣла. Чего не сдѣлаетъ русскій человѣкъ, если станетъ такимъ образомъ поступать съ нимъ начальникъ! Это ваше свойство слишкомъ теперь нужно, именно теперь, въ это время себялюбія, когда всякъ начальникъ думаетъ о томъ, какъ бы выставить впередъ себя и приписать все одному себѣ. Говорю вамъ, что съ этимъ вашимъ свойствомъ вы теперь слишкомъ нужны Россіи... и грѣхъ вамъ, что вы даже не слышите этого! Грѣхъ было бы и мнѣ, если-бъ я не выставилъ вамъ этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его отъ васъ просятъ неимущіе, а вы, какъ скряга, заперли его подъ замокъ и еще прикидываетесь глухимъ. Положимъ, вамъ теперь неприлично занять то же самое мѣсто, какое занимали назадъ тому десять лѣтъ, не потому, чтобы оно было нужно для васъ,—слава Богу, честолюбія вы не имѣете и въ вашихъ глазахъ никакая служба не низка;—но потому, что ваши способности, развившись, требуютъ уже для собственной пищи другого, просторнѣйшаго поприща. Что-жъ? развѣ мало мѣстъ и поприщъ въ Россіи? Оглянитесь и осмотритесь хорошенько, и вы его отыщете. Вамъ нужно проѣздиться по Россіи. Вы знали ее назадъ тому десять лѣтъ: это теперь недостаточно. Въ десять лѣтъ внутри Россіи столько совершается событій, сколько въ другомъ государствѣ не совершается въ полвѣка. Вы сами замѣтили, живя здѣсь за границей, что въ послѣдніе два, три года даже начали выходить изъ нея и люди совершенно другіе, не похожіе ни въ чемъ съ тѣми, которыхъ вы знали еще не такъ давно. Чтобы узнать, что такое *Россія нынѣшняя*, нужно непремѣнно по ней проѣздиться самому. Слухамъ не вѣрьте никакимъ. Вѣрно только то, что еще никогда не бывало въ Россіи такого необыкновеннаго разнообразія и несходства въ мнѣніяхъ и вѣрованіяхъ всѣхъ людей, никогда еще различіе образованій и воспитанія не оттолкнуло такъ другъ отъ друга всѣхъ и не произвело такого разлада во всемъ. Сквозь все это пронесся духъ сплетней, пустыхъ новозаносныхъ выводовъ, глупѣйшихъ слуховъ, одностороннихъ и ничтожныхъ заключеній. Все это сбило и опутало до того у каждаго его мнѣнія о Россіи, что рѣшительно нельзя вѣрить никому: нужно самому узнавать, нужно проѣздиться по Россіи. Это особенно хорошо для того, кто побылъ нѣкоторое время отъ нея вдали и пріѣхалъ съ неотуманенной и свѣжей головою. Онъ увидитъ много того, чего не увидитъ человѣкъ, находящійся въ самомъ омутѣ, раздражительный и чувствительный къ животрепещущимъ

интересамъ минуты. Сдѣлайте ваше путешествіе вотъ какимъ образомъ: прежде всего выбросьте изъ вашей головы всѣ до одного ваши мнѣнія о Россіи, какія у васъ ни есть, откажитесь отъ собственныхъ своихъ выводовъ, какіе уже успѣли сдѣлать, представьте себя ровно незнающимъ ничего и поѣзжайте какъ въ новую, дотолѣ вамъ неизвѣстную землю. Такимъ же самымъ образомъ, какъ русскій путешественникъ, пріѣзжая въ каждый значительный европейскій городъ, спѣшитъ увидѣть всѣ ея древности и примѣчательности, такимъ же точно образомъ и еще съ большимъ любопытствомъ, пріѣхавши въ первый уѣздный или губернскій городъ, старайтесь узнать его достопримѣчательности. Онѣ не въ архитектурныхъ строеніяхъ и древностяхъ, но въ людяхъ. Клянусь, человѣкъ стоитъ того, чтобъ его разсматривали съ большимъ любопытствомъ, нежели фабрику и развалину. Попробуйте только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно-братской любви къ нему, и вы отъ него уже не оторветесь — такъ онъ станетъ для васъ занимателенъ. Познакомьтесь прежде всего съ тѣми изъ нихъ, которые составляютъ соль каждаго города или округа; такихъ бываетъ человѣка два или три въ каждомъ городѣ. Они вамъ въ немногихъ чертахъ очертятъ весь городъ, такъ что вамъ будетъ видно уже самому, гдѣ и въ какихъ мѣстахъ производить наиболѣе наблюденіе надъ нынѣшними вещами. Въ разговорѣ съ человѣкомъ передовымъ изъ каждаго сословія (съ вами же всѣ такъ охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы отъ него узнаете, что такое всякое сословіе въ нынѣшнемъ его видѣ. Расторопный и бойкій купецъ вдругъ вамъ объяснитъ, что такое въ ихъ городѣ купечество; порядочный и трезвый мѣщанинъ дастъ понятіе о мѣщанствѣ. Отъ чиновника-дѣльца узнаете должностное производство, а общій цвѣтъ и духъ общества услышите сами. На передовыхъ людей однакожъ не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь разспросить двухъ или трехъ человѣкъ изъ каждаго сословія. Не позабывайте того, что теперь всѣ между собою въ ссорѣ, и всякъ другъ на друга лжетъ и клевещетъ безпощадно. Съ духовенствомъ вы сойдетесь вдругъ, потому что съ нимъ вообще вы знакомитесь скоро; отъ нихъ узнаете остальное. И если вы такимъ образомъ проѣздите только по главнымъ городамъ и пунктамъ Россіи, то уже увидите ясно, какъ день, гдѣ и на какомъ мѣстѣ вы можете быть полезны и о какой должности слѣдуетъ вамъ просить. А покуда вы уже одной поѣздкой вашей можете сдѣлать много добра, если только захотите. Въ самомъ путешествіи этомъ предстанутъ вамъ такіе христіанскіе подвиги, какихъ въ самомъ монастырѣ не встрѣтите. Во-первыхъ, будучи пріятны въ разговорѣ нравясь каждому, вы можете, какъ посторонній и свѣжій человѣкъ, стать третьимъ, примиряющимъ лицомъ. Знаете ли, какъ это важно, какъ это теперь нужно Россіи, и какой въ этомъ высокій подвигъ. Спаситель оцѣнилъ его едва ли не выше всѣхъ другихъ: Онъ прямо

называетъ миротворцевъ сынами Божіими. А миротворцу у насъ поприще повсюду. Все перессорилось: дворяне у насъ между собою, какъ кошки съ собаками; купцы между собою, какъ кошки съ собаками; мѣщане между собою, какъ кошки съ собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающею силою на дружескую работу, между собою, какъ кошки съ собаками; даже честные и добрые люди между собою въ разладѣ; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединеніе, въ то время, когда кого-нибудь изъ нихъ сильно станутъ преслѣдовать. Вездѣ поприще примирителю. Не бойтесь, примирять не трудно. Людямъ трудно самимъ умириться между собою, но, какъ только станетъ между ними третій, онъ ихъ вдругъ примиритъ. Оттого-то у насъ всегда имѣлъ такую силу третейскій судъ, истое произведеніе земли нашей, успѣвавшій доселѣ болѣе всѣхъ другихъ судовъ. Въ природѣ человѣка, а особенно русскаго, есть чудное свойство: какъ только замѣтитъ онъ, что другой сколько-нибудь къ нему наклоняется или показываетъ снисхожденіе, онъ самъ уже готовъ чуть не просить прощенія. Уступить никто не хочетъ первый, но какъ только одинъ рѣшился на великодушное дѣло, другой уже рвется, какъ бы перещеголять его великодушіемъ. Вотъ почему у насъ скорѣй, чѣмъ гдѣ-либо, могутъ быть прекращены самыя застарѣлыя ссоры и тяжбы, если только станетъ среди тяжущихся человѣкъ истинно-благородный, уважаемый всѣми и притомъ еще знатокъ человѣческаго сердца. А примиреніе, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только нѣсколько частныхъ людей, которые изъ-за несогласія во мнѣніи насчетъ одного какого-нибудь предмета, перечащихъ другъ другу въ дѣйствіяхъ, согласились подать другъ другу руку, плутамъ было бы уже худо! Итакъ, вотъ вамъ одна часть подвиговъ, какіе вамъ могутъ представиться на каждомъ шагу вашей поѣздки по Россіи. Есть и другая не меньше вашихъ. Вы можете оказать большую услугу духовенству тѣхъ городовъ, черезъ которые будете проѣзжать, познакомивъ ихъ лучше съ обществомъ, среди котораго они живутъ, введя ихъ въ познаніе тѣхъ вещей и продѣлокъ, о которыхъ не говоритъ вовсе на исповѣди нынѣшній человѣкъ, считая ихъ долженствующими быть внѣ христіанской жизни. Это очень нужно, потому что многіе изъ духовныхъ, какъ я знаю, уныли отъ множества безчинствъ, возникнувшихъ въ послѣднее время, почти увѣрились, что ихъ никто теперь не слушаетъ, что слова и проповѣдь роняются на воздухъ, и зло пустило такъ глубоко свои корни, что нельзя уже и думать объ его искорененьи. Это несправедливо. Грѣшитъ нынѣшній человѣкъ, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде. Но грѣшитъ не отъ преизобилья своего собственнаго разврата, не отъ безчувственности и не отъ того, чтобы хотѣлъ грѣшить, но отъ того, что не видитъ грѣховъ своихъ. Еще не ясно и не всѣмъ открылась страшная истина нынѣшняго вѣка. что теперь всѣ грѣшатъ до единаго,

но грѣшатъ не прямо, а косвенно. Этого еще не услышалъ хорошо и самъ проповѣдникъ; оттого и проповѣдь его роняется на воздухъ, и люди глухи къ словамъ его. Сказать: «не крадьте, не роскошничайте, не берите взятокъ, молитесь и давайте милостыню неимущимъ»— теперь ничто, и ничего не сдѣлаетъ. Кромѣ того, что всякій скажетъ: «да вѣдь уже это извѣстно», но еще оправдается передъ самимъ собой и найдетъ себя чуть не святымъ. Онъ скажетъ: «красть я не краду: положи передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь, я ее не трону; я даже прогналъ за воровство своего собственнаго человѣка; живу я, конечно, роскошно, но у меня нѣтъ ни дѣтей, ни родственниковъ, мнѣ не для кого копить, роскошью я доставляю зато пользу, хлѣбъ мастеровымъ, ремесленникамъ, купцамъ, фабрикантамъ; взятку я беру только съ богатаго, который самъ проситъ объ этомъ, которому это не въ разореніе; молиться я молюсь, вотъ и теперь стою въ церкви, крещусь и бью поклоны; помогать—помогаю: ни одинъ нищій не уходитъ отъ меня безъ мѣднаго гроша, ни отъ одного пожертвованія на какое-нибудь благотворительное заведеніе еще не отказывался». Словомъ—онъ увидитъ себя не только правымъ, послѣ такой проповѣди, но еще возгордится своей безгрѣшностью.

Но, если поднять передъ нимъ завѣсу и показать ему хотя часть тѣхъ ужасовъ, которые онъ производитъ косвенно, не прямо, тогда онъ заговоритъ другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что онъ, убирая свой домъ и заводя у себя все на барскую ногу, вредитъ соблазномъ, поселяя въ другомъ, менѣе богатомъ, такое же желаніе, который изъ-за того, чтобы не отстать отъ него, разоряетъ не только собственное, но и чужое имущество, грабитъ и пускаетъ по міру людей; да вслѣдъ за этимъ и представить ему одну изъ тѣхъ ужасныхъ картинъ голода внутри Россіи, отъ которыхъ дыбомъ поднимется у него волосъ, и которыхъ, можетъ-быть, не случилось бы, если бы не сталъ онъ жить на барскую ногу, да задавать тонъ обществу и кружить головы другимъ. Показать такимъ же самымъ образомъ всѣмъ модницамъ, которыя не любятъ никуда появляться въ однихъ и тѣхъ же платьяхъ и, не донашивая ничего, нашиваютъ кучи новаго, слѣдуя за малѣйшимъ уклоненіемъ моды,—показать имъ, что онѣ вовсе не тѣмъ грѣшатъ, что занимаются этой суетностью и тратятъ деньги, но тѣмъ, что сдѣлали такой образъ жизни необходимостью для другихъ, что мужъ иной жены схватилъ уже изъ-за этого взятку съ своего же брата-чиновника (положимъ, этотъ чиновникъ былъ богатъ; но, чтобы доставить взятку, онъ долженъ былъ насѣсть на менѣе богатаго, а тотъ съ своей стороны насѣлъ на какого-нибудь засѣдателя или станового пристава, а становой приставъ уже невольно былъ принужденъ грабить нищихъ и неимущихъ); да вслѣдъ за этимъ и выставить всѣмъ модницамъ картину голода. Тогда имъ не пойдетъ на умъ какая-нибудь шляпка или модное платье: увидятъ онѣ, что

не спасетъ ихъ отъ страшнаго отвѣта передъ Богомъ и деньга, выброшенная нищему, даже и тѣ человѣколюбивыя заведенія, которыя заводятъ онѣ въ городахъ насчетъ ограбленныхъ провинцій. Нѣтъ, человѣкъ не безчувственъ, человѣкъ подвигнется, если только ему покажешь дѣло, какъ есть. Онъ теперь подвигнется еще болѣе, чѣмъ когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грѣховъ его отъ невѣдѣнья, а не отъ разврата. Онъ, какъ спасителя, облобызаетъ того, который заставитъ его обратить взглядъ на самого себя. Только слегка приподыми проповѣдникъ завѣсу и укажи ему хотя одно изъ тѣхъ ежеминутныхъ преступленій, которыя онъ совершаетъ, у него уже отнимается духъ хвастать безгрѣшностью своей; не станетъ онъ оправдывать свою роскошь подлыми, жалкими софизмами, будто бы нужна она затѣмъ, чтобы доставить хлѣбъ мастеровымъ, онъ и самъ тогда смекнетъ, что разорить полъ-деревни или полъуѣзда затѣмъ, чтобы доставить хлѣбъ столяру Гамбсу, есть выводъ, который могъ бы образоваться только въ пустой головѣ эконома XIX вѣка, а не въ здоровой головѣ умнаго человѣка. А что же, если проповѣдникъ подниметъ всю цѣпь того множества косвенныхъ преступленій, которыя совершаетъ человѣкъ своею неосмотрительностью, гордостію и самоувѣренностію въ себѣ, и покажетъ всю опасность нынѣшняго времени, среди котораго всякъ можетъ погубить разомъ нѣсколько душъ, не только одну свою, среди которой, даже не будучи безчестнымъ, можно заставить другихъ быть безчестными и подлецами одною только своею неосмотрительностію, словомъ—если только сколько-нибудь покажетъ, какъ всѣ опасно ходятъ? Нѣтъ, люди не будутъ глухи къ словамъ его, не уронится на воздухъ ни одно его слово проповѣди. А вы можете на это навести многихъ священниковъ, сообщая свѣдѣнія о всѣхъ продѣлкахъ нынѣшняго люда, которыя вы наберете въ дорогѣ. Но не однимъ священникамъ, вы можете и другимъ людямъ сдѣлать этимъ пользу. Всѣмъ теперь нужны эти свѣдѣнія.

Жизнь нужно показать человѣку,—жизнь, взятую подъ угломъ ея нынѣшнихъ запутанностей, а не прежнихъ,—жизнь, оглянутую не поверхностнымъ взглядомъ свѣтскаго человѣка, но взвѣшенную и оцѣненную такимъ оцѣнщикомъ, который взглянулъ на нее высшимъ взглядомъ христіанина. Велико незнаніе Россіи посреди Россіи. Все живетъ въ иностранныхъ журналахъ и газетахъ, а не въ землѣ своей. Городъ не знаетъ города, человѣкъ—человѣка, люди, живущіе за одной стѣной, кажется, какъ бы живутъ за морями. Вы можете во время вашей поѣздки ихъ познакомить между собою и произвести взаимный благодѣтельный размѣнъ, какъ расторопный купецъ: забравши свѣдѣнія въ одномъ городѣ, продать ихъ съ барышомъ въ другомъ, всѣхъ обогатить и въ то же время разбогатѣть самому больше всѣхъ. Подобный подвигъ предстоитъ вамъ на всякомъ шагу—и вы того не видите! Очнитесь! Куриная слѣпота на глазахъ вашихъ! Не

залучить вамъ любви къ себѣ въ душу. Не полюбить вамъ людей до тѣхъ поръ, пока не послужите имъ. Какой слуга можетъ привязаться къ своему господину, который отъ него вдали и на котораго еще не поработалъ онъ лично? Потому и любимо такъ сильно дитя матерью, что она долго его носила въ себѣ, все употребила на него, и вся изъ-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь вашъ—Россія.

1845.

XXI.

ЧТО ТАКОЕ ГУБЕРНАТОРША.

ПИСЬМО КЪ А. О. С.....ОЙ.

Я радъ, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но въ сторону наши здоровья: мы должны позабыть о нихъ, такъ же, какъ и о себѣ. Итакъ, вы возвращаетесь вновь въ вашъ губернскій городъ. Вы должны съ новыми силами возлюбить его: онъ вашъ, онъ ввѣренъ вамъ, онъ долженъ быть вашимъ роднымъ. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствіе относительно дѣятельности общественной въ немъ совершенно безполезно, что общество испорчено въ корнѣ. Вы просто устали—вотъ и все! Дѣятельность губернаторшѣ предстоитъ всюду, на всякомъ шагу. Она даже и тогда производитъ вліяніе, когда ничего не дѣлаетъ. Вы сами уже знаете, что дѣло не въ суетахъ и въ опрометчивыхъ бросаньяхъ на все. Передъ вами два живые примѣра, которыхъ вы сами назвали. Предшественница ваша Ж*** завела кучу благотворительныхъ заведеній, а съ ними вмѣстѣ—и кучу бумажной переписки и возни, экономовъ, секретарей, кражу, безтолковщину, и прославилась благотворительностью въ Петербургѣ, и надѣлала кутерьму въ К***. Княгиня же О***, бывшая до нея губернаторшей въ томъ же вашемъ городѣ К***, не завела никакихъ заведеній, ни пріютовъ, не прошумѣла нигдѣ дальше своего города, не имѣла даже никакого вліянія на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и офиціальное; а между тѣмъ донынѣ никто въ городѣ не можетъ о ней вспомнить безъ слезъ, и всякъ, начиная отъ купца до послѣдняго бобыля, до сихъ поръ еще повторяетъ: «нѣтъ, не будетъ другой никогда княгини О***!» А кто это повторяетъ? Тотъ же самый городъ, для котораго, вы полагаете, ничего невозможно сдѣлать, то же самое общество, которое вы считаете испорченнымъ навѣки. Итакъ, будто бы ужъ ничего нельзя сдѣлать? Вы устали—вотъ и все! Устали оттого, что принялись слишкомъ сгоряча, слишкомъ понадѣялись на собственныя силы: женская прыть васъ увлекла... Повторяю вамъ вновь то же самое, что прежде: ваше вліяніе сильно. Вы первое лицо въ городѣ, съ васъ будутъ перенимать все до послѣдней бездѣлушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во всемъ.

Если вы только собственныя ваши дѣла станете обдѣлывать хорошо, то и симъ уже сдѣлаете вліяніе, потому что заставите другихъ заняться получше собственными дѣлами. Гоните роскошь (покамѣстъ нѣтъ другого дѣла), уже и это благородное дѣло, оно же притомъ не требуетъ ни суеты, ни издержекъ; не пропускайте ни одного собранія и бала, пріѣзжайте именно затѣмъ, чтобы показаться въ одномъ и томъ же платьѣ; три, четыре, пять, шесть разъ надѣвайте одно и то же платье. Хвалите на всѣхъ только то, что дешево, просто. Словомъ, гоните эту гадкую сѣверную роскошь, эту язву Россіи, источницу взятокъ, несправедливостей и мерзостей, какія у насъ есть. Если вамъ только одно это удастся сдѣлать, то вы уже болѣе принесете существенной пользы, чѣмъ сама княгиня О***. А это, какъ вы сами видите, даже не требуетъ никакихъ пожертвованій, даже и времени не отнимаетъ. Другъ мой, вы устали. Изъ вашихъ же прежнихъ писемъ я вижу, что для начала вы уже успѣли сдѣлать много хорошаго (если бы не слишкомъ торопились, вышло бы еще больше): о васъ уже распространились слухи внѣ К***; кое-что изъ нихъ дошло и до меня. Но вы еще очень поспѣшны, вы еще слишкомъ увлекаетесь, васъ еще слишкомъ шевелитъ и сражаетъ всякая непріятность и гадость. Другъ мой, вспомните вновь мои слова, въ справедливости которыхъ, говорите, что сами убѣдились: глядѣть на весь городъ, какъ лѣкарь глядитъ на лазаретъ. Глядите же такъ, но прибавьте къ этому еще кое-что, а именно: увѣрьте самоё себя, что всѣ больные, находящіеся въ лазаретахъ, суть ваши родные и близкіе къ сердцу вашему люди, тогда все передъ вами измѣнится: вы съ людьми примиритесь и будете враждовать только съ ихъ болѣзнями. Кто вамъ сказалъ, что болѣзни эти неизлѣчимы? Это вы сами себѣ сказали, потому что не нашли въ рукахъ у себя средства. Что-жъ, развѣ вы всезнающій докторъ? А зачѣмъ вы не обратились съ просьбой о помощи къ другимъ? Развѣ я даромъ просилъ васъ сообщить все, что ни есть въ вашемъ городѣ, ввести меня въ познаніе вашего города, чтобы я имѣлъ полное понятіе о вашемъ городѣ. Зачѣмъ же вы этого не сдѣлали, тѣмъ болѣе, что сами увѣрены, будто я могу на многое произвести больше вліянія, чѣмъ вы; тѣмъ болѣе, что сами же приписываете мнѣ нѣкоторое не всѣмъ общее познаніе людей; тѣмъ болѣе, наконецъ, что сами говорите, будто я вамъ помогъ въ вашемъ душевномъ дѣлѣ болѣе, чѣмъ кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумѣлъ бы такъ же помочь и вашимъ неизлѣчимымъ больнымъ? Вѣдь вы позабыли, что я могу помолиться, молитва моя можетъ достигнуть и до Бога, Богъ можетъ послать уму моему вразумленіе, а умъ, вразумленный Богомъ, можетъ сдѣлать кое-что получше того ума, который не вразумленъ Имъ.

До сихъ поръ въ вашихъ письмахъ вы мнѣ давали только общія понятія о вашемъ городѣ, въ чертахъ общихъ, которыя могутъ прина-

длежать всякому губернскому городу; но и общія ваши не полны. Вы понадѣялись на то, что я знаю Россію, какъ пять моихъ пальцевъ; а я въ ней ровно не знаю ничего. Если я и зналъ кое-что, то и это со времени моего отъѣзда уже измѣнилось. Въ самомъ составѣ управленія губерній произошли значительныя перемѣны: многія мѣста и чиновники отошли отъ зависимости губернатора и поступили въ вѣдомство и управленіе другихъ министерствъ; завелись новые чиновники и мѣста, словомъ—губернія и губернскій городъ являются относительно многихъ сторонъ въ другомъ видѣ, а я просилъ васъ ввести меня *совершенно* въ ваше положеніе, не какое-нибудь *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видѣлъ отъ мала до велика все, что васъ окружаетъ.

Вы сами говорите, что въ небольшое время пребыванія вашего въ К*** узнали Россію болѣе, чѣмъ во всю свою прежнюю жизнь. Зачѣмъ же вы не подѣлились со мною вашими знаніями? Говорите, что не знаете даже, съ котораго конца начать, что куча свѣдѣній, вами набранныхъ въ голову, еще въ безпорядкѣ (NB. причина неудачъ). Я вамъ помогу ихъ привести въ порядокъ, но только выполните слѣдующую за симъ просьбу добросовѣстно, какъ только можно,—не такъ, какъ привыкли исполнять вашъ братъ—страстная женщина, которая изъ десяти словъ восемь пропуститъ и отвѣтитъ только на два, затѣмъ, что они пришлись ей какъ-нибудь по-сердцу, но такъ, какъ нашъ братъ—холодный, безстрастный мужчина, или, лучше, какъ дѣловой толковый чиновникъ, который, ничего не принимая особенно къ своему сердцу, отвѣчаетъ ровно на всѣ пункты.

Вы должны ради меня начать вновь разсмотрѣніе вашего губернскаго города. Во-первыхъ, вы мнѣ должны назвать всѣ главныя лица въ городѣ по именамъ, отчествамъ и фамиліямъ, всѣхъ чиновниковъ до единаго. Мнѣ это нужно. Я долженъ быть имъ такъ же другомъ, какъ вы сами должны быть другомъ имъ всѣмъ безъ исключенія. Во-вторыхъ, вы должны мнѣ написать, въ чемъ именно должность каждаго. Все это вы должны узнать лично отъ нихъ самихъ, а не отъ кого-либо другого. Разговорившись со всякимъ, вы должны спросить его, въ чемъ состоитъ его должность, чтобы онъ назвалъ вамъ всѣ ея *предметы* и означилъ ея *предѣлы*. Это будетъ первый вопросъ. Потомъ попросите его, чтобы онъ изъяснилъ вамъ, чѣмъ именно и сколько въ этой должности, подъ условіемъ нынѣшнихъ обстоятельствъ, можно сдѣлать добра. Это будетъ второй вопросъ. Потомъ, чѣмъ именно и сколько въ этой же самой должности можно надѣлать зла. Это будетъ третій вопросъ. Узнавши, отправляйтесь къ себѣ въ комнату и тотъ же часъ все это на бумагу для меня. Вы уже симъ два дѣла сдѣлаете разомъ: кромѣ того, что дадите мнѣ средство, впослѣдствіи вамъ пригодится, вы узнаете сами изъ собственныхъ отвѣтовъ чиновника, какъ понимаетъ онъ свою должность, чего ему недостаетъ, словомъ—своимъ отвѣ-

томъ онъ обрисуетъ самого себя. Онъ васъ можетъ даже навести на кое-что сдѣлать теперь же... Но не въ этомъ дѣло: до времени лучше не торопитесь; не дѣлайте ничего даже и тогда, если бы вамъ показалось, что можете кой-что сдѣлать, и что въ силахъ чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальнѣй всмотрѣться; довольствуйтесь покамѣстъ тѣмъ, чтобы передать мнѣ. Потомъ на той же страничкѣ, насупротивъ того же мѣста или на другомъ лоскуткѣ бумаги: ваши собственныя замѣчанія——что вы замѣтили о каждомъ господинѣ въ особенности, что говорятъ о немъ другіе, словомъ—все, что можно прибавить о немъ со стороны.

Потомъ такія же свѣдѣнія доставьте мнѣ обо всей женской половинѣ вашего города. Вы же были такъ умны, что сдѣлали имъ всѣмъ визиты и почти ихъ всѣхъ узнали. Впрочемъ, узнали несовершенно, я въ этомъ увѣренъ. Относительно женщинъ вы руководствуетесь первыми впечатлѣніями: которая вамъ не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете все избранныхъ и лучшихъ. Другъ мой, за это я вамъ дѣлаю упрекъ. Вы должны всѣхъ любить, особенно тѣхъ, въ которыхъ побольше дрянца,—по крайней мѣрѣ побольше узнать ихъ, потому что отъ этого зависитъ многое и онѣ могутъ имѣть большое вліяніе на мужей. Не торопитесь, не спѣшите ихъ наставлять, но просто только разспрашивайте; вы же имѣете даръ выспрашивать. Узнайте не только дѣла и занятія каждой, но даже образъ мыслей, вкусы: что кто любитъ, что кому изъ нихъ нравится, на чемъ конекъ каждой. Мнѣ все это нужно.

По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а безъ того я даже не понимаю, какъ можно кому-либо дать какой-либо совѣтъ: всякій совѣтъ, какой ему ни дашь, будетъ обращенъ къ нему своей трудной стороной, будетъ не легокъ, неудобоисполнимъ. Словомъ, женщинъ всѣхъ насквозь, чтобы я имѣлъ совершенное понятіе о вашемъ городѣ!

Сверхъ характеровъ и лицъ обоего пола, запишите всякое случившееся происшествіе, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще духъ губерніи, запишите безхитростно, въ такомъ видѣ, какъ было, или какъ, въ какомъ его передали вамъ вѣрные люди. Запишите также двѣ, три сплетни на выдержку, какія первыя вамъ попадутся, чтобы я зналъ, какого рода сплетни у васъ плетутся. Сдѣлайте, чтобы это записыванье сдѣлалось постояннымъ вашимъ занятіемъ, чтобы на это былъ опредѣленъ положенный часъ въ днѣ. Представляйте себѣ въ мысляхъ, систематически и во всей полнотѣ, весь объемъ города, чтобы видѣть вдругъ, не пропустили ли вы мнѣ чего-либо записать, чтобы я получилъ, наконецъ, полное понятіе о вашемъ городѣ.

И если вы меня такимъ образомъ познакомите со всѣми лицами, съ ихъ должностями, и какъ онѣ ими понимаются, и, наконецъ, даже

съ характеромъ самыхъ событій, у васъ случающихся, тогда я вамъ кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тѣхъ же поръ ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мнѣ бы этого не хотѣлось. Мнѣ бы хотѣлось говорить такія слова, которыя попали бы прямо, куда слѣдуетъ, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены,—такой дать совѣтъ, чтобы вы въ ту же минуту сказали: «онъ легокъ, его можно привести въ исполненіе».

Вотъ однакоже кое-что впередъ и то не для васъ, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить вниманіе на то, чтобы совѣтники губернскаго правленія были честные люди. Это главное. Какъ только будутъ честные совѣтники, тотъ же часъ будутъ честные капитанъ-исправники, засѣдатели, словомъ—все станетъ честно. Надобно вамъ знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользаетъ отъ всякаго преслѣдованія, есть та, которую чиновникъ беретъ съ чиновника по командѣ сверху внизъ; это идетъ иногда безконечной лѣстницей. Капитанъ-исправникъ и засѣдатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что съ нихъ берутъ, и что имъ нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое мѣсто. Эта купля и продажа можетъ производиться передъ глазами и въ то же время никѣмъ не быть замѣчена. Храни васъ Богъ даже и преслѣдовать. Старайтесь только, чтобы сверху было все честно: снизу будетъ все честно само собою. До времени, пока не вызрѣло зло, не преслѣдуйте никого; лучше дѣйствуйте тѣмъ временемъ нравственно. Мысль ваша, что губернаторъ всегда имѣетъ возможность сдѣлать много зла и мало добра, и что на поприщѣ добра онъ обрѣзанъ въ дѣйствіяхъ, не совсѣмъ справедлива. Губернаторъ можетъ всегда имѣть вліяніе *нравственное*, даже очень большое, подобно, какъ и вы можете имѣть большое *нравственное* вліяніе, хотя и не имѣете власти, установленной закономъ. Повѣрьте, что не сдѣлай онъ визита какому-нибудь господину, объ этомъ будетъ весь городъ говорить: станутъ разспрашивать, за что и почему, и этотъ самый господинъ изъ-за этой единственной боязни струситъ сдѣлать подлость, которую онъ не струсилъ бы совершить предъ лицомъ власти и закона. Вашъ поступокъ, т. е. вашъ и вашего супруга, съ уѣзднымъ судьей N** уѣзда, котораго вы нарочно вызвали въ городъ съ тѣмъ, чтобы примирить его съ прокуроромъ, почтить его радушнымъ угощеніемъ и дружескимъ пріемомъ за прямоту, благородство и честность, повѣрьте, сдѣлалъ уже свое дѣйствіе. Мнѣ нравится при этомъ случаѣ то, что судья (который, какъ оказалось, былъ просвѣщеннѣйшій человѣкъ) одѣтъ былъ такимъ образомъ, что его, какъ вы говорите, не приняли бы въ переднюю петербургскихъ гостиныхъ. Хотѣлъ бы я въ эту минуту поцѣловать полу его заношеннаго фрака. Повѣрьте, что наилучшій образъ дѣйствій въ нынѣшнее время—не вооружаться жестоко и

жарко противу взяточниковъ и дурныхъ людей, и не преслѣдовать ихъ, но стараться, вмѣсто того, выставлять на видъ всякую честную черту, дружески, въ виду всѣхъ, пожимать руку прямого, честнаго человѣка. Повѣрьте, какъ только будетъ узнано во всей губерніи, что губернаторъ поступаетъ дѣйствительно такъ, все дворянство уже будетъ на его сторонѣ. Въ дворянствѣ нашемъ есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это—чувство благородства,—не того благородства, которымъ заражено дворянство другихъ земель, то-есть, не благородства рожденія или происхожденія и не европейскаго point d'honneur, но настоящаго, нравственнаго благородства. Даже въ такихъ губерніяхъ и такихъ мѣстахъ, гдѣ, если разобрать порознь иного дворянина, выйдетъ просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь дѣйствительно благородный подвигъ—все вдругъ подымется точно какимъ-то электричествомъ, и люди, которые дѣлаютъ пакости, сдѣлаютъ вдругъ благороднѣйшее дѣло. И потому всякій благородный поступокъ губернатора прежде всего найдетъ откликъ въ дворянствѣ, а это важно. Губернаторъ долженъ непремѣнно имѣть нравственное вліяніе на дворянъ; только симъ однимъ онъ можетъ подвигнуть ихъ на поднятіе невидныхъ должностей и неприманчивыхъ мѣстъ. А это нужно, потому что, если дворянинъ изъ той же губерніи возьметъ какое-нибудь мѣсто съ тѣмъ, чтобы показать, какъ надобно служить, то, каковъ бы онъ ни былъ самъ, хотя и лѣнтяй и многимъ нехорошъ, но исполнитъ такъ свое дѣло, какъ никогда не исполнитъ присланный чиновникъ, хотя бы онъ исшатался вѣкъ въ канцеляріяхъ. Словомъ, ни въ какомъ случаѣ не должно упускать изъ виду того, что это тѣ же самые дворяне, которые въ двѣнадцатомъ году несли все на жертву, все, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причинѣ совершонныхъ гадостей, предать иного чиновника суду, то въ такомъ случаѣ нужно, чтобы онъ преданъ былъ *съ отрѣшеніемъ отъ дѣлъ*. Это очень важно. Ибо, если онъ будетъ преданъ суду безъ отрѣшенія отъ дѣлъ, то все служащее будетъ еще долго держать его сторону, онъ еще долго станетъ юлить и найдетъ средства такъ все запутать, что никогда не добраться до истины. Но какъ только онъ будетъ преданъ суду *съ отрѣшеніемъ отъ дѣлъ*, онъ повѣситъ вдругъ носъ, сдѣлается никому не страшенъ, на него пойдутъ со всѣхъ сторонъ улики, все выйдетъ на чистую воду и вдругъ узнается дѣло. Но, другъ, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутаго съ мѣста чиновника, какъ бы онъ дуренъ ни былъ: онъ несчастенъ. Онъ долженъ съ рукъ вашего мужа перейти на ваши руки, не объясняйтесь съ нимъ сами и не принимайте его, но слѣдуйте за нимъ издали. Вы хорошо сдѣлали, что выгнали надзирательницу при домѣ умалишенныхъ за то, что она вздумала продавать булки, назначенныя этимъ несчастнымъ,—преступленье вдвойнѣ гадкое, пріемля въ соображенье то, что сумасшедшіе не могутъ даже и пожаловаться! А потому из-

гнанье ея нужно было сдѣлать публично и гласно. Но не бросайте никакого человѣка, не отрѣзывайте возврата никому, слѣдуйте за отрѣшеннымъ: иногда съ горя, съ отчаянія, со стыда впадаетъ онъ еще въ большія преступленія. Дѣйствуйте или чрезъ вашего духовника, или вообще чрезъ какого-нибудь умнаго священника, который бы навѣщалъ его и давалъ бы вамъ отчетъ о немъ безпрестанно, а главное, старайтесь, чтобы онъ не оставался безъ какого-нибудь труда и дѣла. Не подобьтесь въ этомъ случаѣ мертвому закону, но живому Богу, который всѣми бичами несчастій поражаетъ человѣка, но не оставляетъ его до самаго конца его жизни. Каковъ бы ни былъ преступникъ, но если земля его еще носитъ и громъ Божій не поразилъ его—это значитъ, что онъ держится на свѣтѣ для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помогъ ему и спасъ его. Если же васъ, во время ли описаній, которыя вы станете дѣлать для меня, или же во время вашихъ собственныхъ изслѣдованій всякихъ недуговъ, будутъ слишкомъ поражать наши печальныя стороны и возмутится ваше сердце,— въ такомъ случаѣ совѣтую вамъ бесѣдовать объ этомъ почаще съ архіереемъ; онъ же, какъ видно изъ словъ вашихъ, умный человѣкъ и добрый пастырь. Покажите ему весь лазаретъ вашъ и обнаружьте предъ нимъ всѣ болѣзни больныхъ вашихъ. Хотя бы даже онъ былъ не большой знатокъ въ наукѣ лѣчить, то и тогда вы должны ввести его непремѣнно во всѣ припадки, признаки и явленія болѣзней. Старайтесь ему очертить все до послѣдняго такъ живо, чтобы оно такъ и носилось у него передъ глазами, чтобы городъ вашъ, какъ живой, пребывалъ бы безпрестанно въ мысляхъ его, какъ онъ долженъ безпрестанно пребывать въ вашихъ мысляхъ, чтобы чрезъ то самое его мысли стремились сами собой на безпрестанную о немъ молитву. Повѣрьте, что отъ этого самая проповѣдь его съ каждымъ воскресеньемъ будетъ направляться болѣе и болѣе къ сердцамъ слушателей, и онъ сумѣетъ потомъ выставить многое на-чистоту и, не указывая лично ни на кого, сумѣетъ поставить каждаго лицомъ къ лицу къ его собственной мерзости такъ, что самъ хозяинъ плюнетъ на свое же добро. Обратите также вниманіе на городскихъ священниковъ, узнайте ихъ всѣхъ непремѣнно; отъ нихъ зависитъ все, и дѣло улучшенія нашего въ ихъ рукахъ, а не въ рукахъ кого-либо другого. Не пренебрегайте никѣмъ изъ нихъ, несмотря на простоту и невѣжество многихъ. Ихъ скорѣе можно возвратить къ своему долгу, чѣмъ кого-либо изъ насъ; у насъ, свѣтскихъ, есть гордость, честолюбіе, самолюбіе, самоувѣренность въ своемъ совершенствѣ, вслѣдствіе которыхъ никто у насъ не послушается словъ и увѣщаній своего брата, какъ бы справедливы ни были, наконецъ самыя развлеченія... Духовный же, каковъ бы онъ ни былъ, онъ все-таки болѣе или менѣе чувствуетъ, что ему должно быть всѣхъ смиреннѣе и всѣхъ ниже; притомъ уже въ самомъ ежедневно отправляемомъ имъ служеніи онъ слышитъ себѣ напоминаніе, словомъ—онъ

ближе всѣхъ насъ къ возврату на путь свой; а, возвратясь на его самъ, можетъ возвратить и всѣхъ насъ. И потому, хотя бы вы встрѣтили изъ нихъ вовсе неспособнаго, не пренебрегайте, но поговорите съ нимъ хорошенько. Разспросите у каждаго, что такое его приходъ, чтобы онъ далъ вамъ полное понятіе, каковы у него въ приходѣ люди, и какъ онъ самъ понимаетъ и знаетъ ихъ. Не позабудьте, что я до сихъ поръ не знаю, что такое въ вашемъ городѣ мѣщанство и купечество; что они также начинаютъ модничать и курить сигарки, это дѣло повсюдное; мнѣ нужно взять изъ среды ихъ *живьемъ* котораго-нибудь, чтобы я видѣлъ его съ ногъ до головы во всѣхъ подробностяхъ. Итакъ, узнайте объ нихъ обо всѣхъ въ подробности... Одну сторону того дѣла вы узнаете отъ священниковъ, другую отъ полицмейстера, если потрудитесь съ нимъ хорошенько разговориться объ этомъ предметѣ, третью сторону узнаете отъ нихъ самихъ, если не побрезгуете разговориться съ которымъ-нибудь изъ нихъ, хотя при выходѣ изъ церкви въ воскресный день. Всѣ забранныя свѣдѣнія послужатъ къ тому, что очертятъ передъ вами примѣрный образъ мѣщанина и купца, чѣмъ онъ долженъ быть на самомъ дѣлѣ; въ уродѣ вы почувствуете идеалъ того, чего карикатурой сталъ уродъ. Если-жъ вы это почувствуете, тогда призывайте священниковъ и толкуйте съ ними: вы имъ скажете именно то, что имъ нужно—самое существо всякаго званія, то-есть, чѣмъ должно быть оно у насъ, и карикатуру на это званіе, то-есть, чѣмъ оно стало вслѣдствіе злоупотребленія нашего. Больше не прибавляйте ничего. Онъ будетъ самъ наведенъ на умъ, если только станетъ исправлять свою собственную жизнь. Священникамъ нашимъ особенно нужна бесѣда съ такими уже готовыми людьми, которые умѣли бы въ немногихъ, но яркихъ и мѣткихъ чертахъ очертить имъ предѣлы и обязанности всякаго званія и должности. Часто, единственно изъ-за этого, иной изъ нихъ не знаетъ, какъ ему быть съ прихожанами и слушателями, изъясняется общими мѣстами, не обращенными никакой стороной непосредственно къ предмету. Войдите также въ его собственное положеніе, помогите его женѣ и дѣтямъ, если приходъ у него бѣденъ. Кто погрубѣй и позадористѣй, погрозите тому *архіереемъ*; но вообще старайтесь лучше дѣйствовать нравственно. Напоминайте имъ, что обязанность ихъ слишкомъ страшна, что отвѣтъ они дадутъ больше, чѣмъ кто-нибудь изъ людей всякаго другого званія, что теперь и синодъ, и самъ государь обращаютъ особенное вниманіе на жизнь священника, что всѣмъ готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже всѣ до единаго въ государствѣ частные люди начинаютъ замѣчать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте имъ почаще тѣ страшныя истины, отъ которыхъ поневолѣ содрогается ихъ душа. Словомъ—не пренебрегайте никакъ городскими священниками: съ помощію ихъ губернаторша можетъ произве-

сти много нравственнаго вліянія на купечество, мѣщанство и всякое простое сословіе, обитающее въ городѣ,—такъ много вліянія, какъ даже вы представить себѣ не можете. Я назову вамъ только немного изъ того, что она можетъ сдѣлать, и укажу на средства, какъ она можетъ это сдѣлать: во-первыхъ... но я вспомнилъ, что я совершенно не имѣю никакого понятія о томъ, какого рода въ вашемъ городѣ мѣщанство и купечество: слова мои могутъ прійтись не совсѣмъ кстати, лучше не произносить ихъ вовсе; скажу вамъ только то, что вы изумитесь потомъ, когда увидите, сколько на этомъ поприщѣ предстоитъ вамъ такихъ подвиговъ, отъ которыхъ въ нѣсколько разъ больше пользы, чѣмъ отъ пріютовъ и всякихъ благотворительныхъ заведеній, которые не только не сопряжены ни съ какими пожертвованіями и трудами, но обратятся въ удовольствіе, въ отдохновеніе и развлеченье духа.

Старайтесь всѣхъ избранныхъ и лучшихъ въ городѣ подвигнуть также на дѣятельность общественную: всякій изъ нихъ можетъ сдѣлать много почти подобнаго вамъ. Ихъ можно подвигнуть. Если вы мнѣ дадите только полное понятіе объ ихъ характерахъ, образѣ жизни и занятіяхъ, я вамъ скажу, чѣмъ и какъ ихъ можно подстрекнуть: есть въ русскомъ человѣкѣ сокровенныя струны, которыхъ онъ самъ не знаетъ, по которымъ можно такъ ударить, что онъ весь встрепенется. Вы мнѣ уже назвали нѣкоторыхъ въ вашемъ городѣ какъ людей умныхъ и благородныхъ; я увѣренъ, что ихъ отыщется даже и болѣе. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на непріятныя замашки, грубость, черствость, неловкость обращенія, ни даже фанфаронство, щелкоперность поступковъ и всякія черезчуръ ловкія развязности. Мы всѣ въ послѣднее время обзавелись чѣмъ-то заносчиво-непріятнымъ въ обращеніи, но при всемъ томъ въ глубинѣ душъ нашихъ пребываетъ болѣе чѣмъ когда-либо добрыхъ чувствъ, несмотря на то, что мы загромоздили ихъ всякимъ хламомъ и даже просто заплевали ихъ сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше насъ, мужчинъ: въ нихъ больше великодушія, больше отважности на все благородное; не глядите на то, что онѣ закружились въ вихрѣ моды и пустоты. Если только сумѣете заговорить съ ними языкомъ самой души, если только сколько-нибудь вы умѣете очертить передъ женщиной ея высокое поприще, котораго ждетъ теперь отъ нея міръ,—ея небесное поприще быть воздвижницей насъ на все прямое, благородное и честное, кликнуть кличъ человѣку на благородное стремленіе, то таже самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнетъ вся вдругъ, взглянетъ на самоё себя, на свои брошенныя обязанности, подвигнетъ себя самоё на все честное, подвигнетъ своего мужа на исполненіе честное долга и, швырнувши далеко въ сторону свои тряпки, всѣхъ поворотитъ къ дѣлу. Клянусь, женщины у насъ очнутся прежде

мужчинъ, благородно попрекнутъ насъ, благородно хлеснутъ и погонятъ насъ бичомъ стыда и совѣсти, какъ глупое стадо барановъ, прежде чѣмъ каждый изъ насъ успѣетъ очнуться и почувствовать, что ему слѣдовало давно побѣжать самому, не дожидаясь бича. Васъ полюбятъ, и полюбятъ сильно, да нельзя имъ не полюбить васъ, если узнаютъ вашу душу; но до того времени вы всѣхъ ихъ любите до единаго, никакъ не взирая на то, если бы кто-нибудь васъ и не любилъ.

Но письмо мое становится длинно. Чувствую, что начинаю говорить вещи, можетъ-быть, не совсѣмъ приходящіяся кстати ни вашему городу, ни вамъ въ настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мнѣ подробныхъ свѣдѣній ни о чемъ. До сихъ поръ я точно какъ въ лѣсу. Слышу только о какихъ-то неизлѣчимыхъ болѣзняхъ и не знаю, чѣмъ кто боленъ. А у меня обычай не вѣрить по слухамъ никакимъ неизлѣчимостямъ, и никогда не назову я никакую болѣзнь неизлѣчимой по тѣхъ поръ, пока не пощупаю ее моей собственной рукою. Итакъ, разсмотрите же вновь, ради меня, весь городъ, опишите все и всѣхъ, не избавляя никого отъ трехъ неизбѣжныхъ вопросовъ: въ чемъ состоитъ его должность, сколько на ней можно сдѣлать добра и сколько зла. Поступите какъ прилежная ученица: сдѣлайте для этого тетрадку и не забывайте быть въ вашихъ объясненіяхъ со мной какъ можно обстоятельнѣй, не позабывайте, что я глупъ, рѣшительно глупъ, по тѣхъ поръ, пока не введутъ меня въ самое подробнѣйшее познаніе. Лучше воображайте, что передъ вами стоитъ ребенокъ или такой невѣжда, которому до послѣдней бездѣлушки нужно все истолковать: тогда только письмо ваше будетъ такъ, какъ слѣдуетъ. Я не знаю, отчего вы меня почитаете какимъ-то всезнайкой. Что мнѣ случилось вамъ кой-что предсказать и предсказанное сбылось,—это произошло единственно отъ того, что вы меня ввели въ тогдашнее положеніе души вашей. Велика важность этакъ угадать! Стоитъ только попристальнѣе вглядѣться въ настоящее, будущее вдругъ выступитъ само собою. Дуракъ тотъ, кто думаетъ о будущемъ мимо настоящаго. Онъ или совретъ, или скажетъ загадку. Я васъ между прочимъ еще побраню за слѣдующія ваши строки, которыя здѣсь выставлю вамъ передъ глаза: «*Грустно и даже горестно видѣть вблизи состояніе Россіи, но впрочемъ не слѣдуетъ объ этомъ говорить. Мы должны съ надеждой и свѣтлымъ взоромъ смотрѣть въ будущее, которое въ рукахъ милосердаго Бога*». Въ рукахъ милосердаго Бога все: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Отъ того и вся бѣда наша, что мы не глядимъ въ настоящее, а глядимъ въ будущее. Отъ того и бѣда вся, что иное въ немъ горестно и грустно, другое просто гадко; если же дѣлается не такъ, какъ бы намъ хотѣлось, мы махнемъ на все рукой и давай палить глаза въ будущее. Отъ того Богъ и ума намъ не дастъ; отъ того и будущее виситъ у насъ у всѣхъ точно на воздухѣ: слышатъ нѣкоторые, что оно хорошо, благодаря нѣкоторымъ передо-

вымъ людямъ, которые тоже услышали его чутьемъ и еще не провѣрили законнымъ ариѳметическимъ выводомъ; но какъ достигнуть до этого будущаго, никто не знаетъ. Оно точно кислый виноградъ. Бездѣлицу позабыли: позабыли, что пути и дороги къ этому *свѣтлому* будущему сокрыты именно въ этомъ *темномъ* и *запутанномъ* настоящемъ, котораго никто не хочетъ узнавать; всякъ считаетъ его низкимъ и недостойнымъ своего вниманія и даже сердится, если выставляютъ его на видъ всѣмъ. Введите же хотя меня въ познаніе настоящаго. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мнѣ всякую мерзость. Для меня мерзости не въ диковинку: я самъ довольно мерзокъ. Пока я еще мало входилъ въ мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходилъ отъ многаго въ уныніе, и мнѣ становилось страшно за Россію; съ тѣхъ же поръ, какъ я сталъ побольше всматриваться въ мерзости, я просвѣтлѣлъ духомъ: передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговѣлъ еще болѣе предъ Провидѣньемъ. И теперь больше всего благодарю Бога за то, что сподобилъ Онъ меня, хотя отчасти, узнать мерзости, какъ мои собственныя, такъ и бѣдныхъ моихъ собратьевъ. И если есть во мнѣ какая-нибудь капля ума, свойственнаго не всѣмъ людямъ, такъ это отъ того, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если мнѣ удалось оказать помощь душевную нѣкоторымъ близкимъ моему сердцу, а въ томъ числѣ и вамъ, такъ это отъ того, что всматривался я побольше въ эти мерзости. И если я пріобрѣлъ наконецъ любовь къ людямъ не мечтательную, но существенную, такъ это все же наконецъ отъ того же самаго, что всматривался я побольше во всякія мерзости.

Не пугайтесь же мерзостью, и особенно не отвращайтесь отъ тѣхъ людей, которые вамъ кажутся почему-либо мерзки. Увѣряю васъ, что придетъ время, когда многіе у насъ на Руси изъ *чистенькихъ* горько заплачутъ, закрывъ руками лицо свое, именно отъ того, что считали себя слишкомъ чистыми, что хвалились чистотой своей и всякимъ возвышеннымъ стремленіемъ куда-то, считая себя чрезъ это лучшими другихъ. Помните же все это и, помолясь, примитесь снова за свои дѣла бодрѣй, свѣжѣй, чѣмъ когда-либо прежде. Перечтите разъ пять, шесть мое письмо, именно изъ-за того, что въ немъ все разбросано и нѣтъ строгаго логическаго порядка, чему впрочемъ виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось все въ васъ, вопросы мои сдѣлались бы вашими вопросами, а желанье мое вашимъ желаньемъ, чтобы всякое слово и буква преслѣдовали васъ и мучили по тѣхъ поръ, пока не исполните моей просьбы такимъ именно образомъ, какъ я хочу.

1846.

XXII.

РУССКІЙ ПОМѢЩИКЪ.

письмо къ Б. И. Б....У.

Главное то, что ты уже пріѣхалъ въ деревню и положилъ себѣ непремѣнно быть помѣщикомъ; прочее все придетъ само собою. Не смущайся мыслями, будто прежнія узы, связывавшія помѣщика съ крестьянами, исчезнули навѣки. (Что онѣ исчезли, это правда; что виноваты тому сами помѣщики, это тоже правда; но) чтобы навсегда или навѣки онѣ исчезнули,—плюнь ты на такія слова: сказать ихъ можетъ только тотъ, кто далѣе своего носа ничего не видитъ. Русскаго ли человѣка, который такъ умѣетъ быть благодарнымъ за всякое добро, какому его не надоумишь, русскаго ли человѣка трудно привязать къ себѣ? Такъ можно привязать, что послѣ будешь думать только о томъ, какъ бы его отвязать отъ себя. Если только исполнишь въ точности все то, что теперь тебѣ скажу, то къ концу же года увидишь, что я правъ. Возьмись за дѣло помѣщика, какъ слѣдуетъ за него взяться въ настоящемъ и законномъ смыслѣ. Собери прежде всего мужиковъ и объясни имъ, что такое ты, и что такое они: что помѣщикъ ты надъ ними не потому, чтобы тебѣ хотѣлось повелѣвать и быть помѣщикомъ; но потому, что ты уже есть помѣщикъ, что ты родился помѣщикомъ, что взыщетъ съ тебя Богъ, если-бъ ты промѣнялъ это званіе на другое, потому что всякій долженъ служить Богу на своемъ мѣстѣ, а не на чужомъ, равно какъ и они также, родясь подъ властью, должны покоряться той самой власти, подъ которою родились, потому что нѣтъ власти, которая бы не была отъ Бога. И покажи имъ это тутъ же въ Евангеліи, чтобы они все это видѣли до единаго. Потомъ скажи имъ, что заставляешь ихъ трудиться и работать вовсе не потому, чтобы нужны были тебѣ деньги на твои удовольствія, (и въ доказательство тутъ же сожги предъ ними ассигнаціи), и сдѣлай такъ, чтобы они видѣли дѣйствительно, что деньги тебѣ нуль; но что потому ты заставляешь ихъ трудиться, что Богомъ повелѣно человѣку трудомъ и потомъ снискивать себѣ хлѣбъ, и прочти имъ тутъ-же это въ Св. Писаніи, чтобы они это видѣли. Скажи имъ всю правду: что съ тебя взыщетъ Богъ за послѣдняго негодяя въ селѣ, и что поэтому самому ты еще болѣе будешь смотрѣть за тѣмъ, чтобы они работали честно не только тебѣ, но и себѣ самимъ; ибо знаешь, да и они знаютъ, что, залѣнившись, мужикъ на все способенъ—сдѣлается и воръ, и пьяница, погубитъ свою душу, да и тебя поставитъ въ отвѣтъ передъ Богомъ. И все, что имъ не скажешь, подкрѣпи тутъ же словами Св. Писанія; покажи имъ пальцемъ и самыя буквы, которыми это написано; заставь каждаго передъ тѣмъ перекреститься, ударить поклонъ и поцѣловать самую книгу, въ которой это написано. Словомъ—чтобы они видѣли ясно, что ты во всемъ, что до нихъ клонится, сообразуешься съ волею Божіею,

а не съ своими какими-нибудь европейскими или иными затѣями. Мужикъ это пойметъ; ему не нужно много словъ. Объяви имъ всю правду: что душа человѣка дороже всего на свѣтѣ, и что прежде всего ты будешь глядѣть за тѣмъ, чтобы не погубилъ изъ нихъ кто-нибудь своей души и не предалъ бы ее на вѣчную муку. Во всѣхъ упрекахъ и выговорахъ, которые станешь дѣлать уличенному въ воровствѣ, лѣности или пьянствѣ, ставь его передъ лицомъ Бога, а не передъ своимъ лицомъ; покажи ему, что онъ грѣшитъ противъ Бога, а не противъ тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, собери сосѣдей. Попрекни бабу, зачѣмъ не отваживала отъ зла своего мужа и не грозила ему страхомъ Божіимъ; попрекни сосѣдей, зачѣмъ допустили, что ихъ же братъ, среди ихъ же, зажилъ собакою и губитъ ни про-что свою душу; докажи имъ, что дадутъ за то всѣ отвѣтъ Богу. Устрой такъ, чтобы на всѣхъ легла отвѣтственность и чтобы все, что ни окружаетъ человѣка, упрекало бы и не давало бы ему слишкомъ разстегнуться. Собери силу вліянія, а съ нею и отвѣтственность на головы примѣрныхъ хозяевъ и лучшихъ мужиковъ. Растолкуй имъ ясно, что они не затѣмъ, чтобы только самимъ хорошо жить, но чтобы и другихъ учить хорошему житію, что пьяница не можетъ учить пьяницу и что это ихъ долгъ. Негодяямъ же и пьяницамъ повели, чтобы они оказывали добрымъ мужикамъ такое же уваженіе, какъ бы старостѣ, приказчику, попу или даже самому тебѣ; чтобы, когда еще они завидятъ издали примѣрнаго мужика и хозяина, летѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ и все бы ему давало дорогу; а который посмѣлъ бы оказать ему какое-нибудь неуваженіе или не послушаться умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ ты, невымытое рыло! Самъ весь зажилъ въ сажѣ, такъ что глазъ не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему въ ноги и попроси, чтобы навелъ тебя на разумъ; не наведетъ на разумъ—собакой пропадешь». А примѣрныхъ мужиковъ. призвавши къ себѣ и, если они старики, посадивши ихъ передъ собою, потолкуй съ ними о томъ, какъ они могутъ наставлять и учить добру другихъ, исполняя такимъ образомъ именно то, что повелѣлъ намъ Богъ. Такъ поступи только въ теченіе одного года, и увидишь самъ, какъ все пойдетъ на ладъ; даже и хозяйство отъ этого сдѣлается лучше, О главномъ только позаботься, прочее все приползетъ само собою. Христосъ недаромъ сказалъ «*сія вся вамъ приложатся*». Въ крестьянскомъ быту эта истина еще виднѣе, нежели въ нашемъ: у нихъ богатый хозяинъ и хорошій человѣкъ—синонимы. И въ которую деревню заглянула только христіанская жизнь, тамъ мужики лопатами гребутъ серебро.

Но вотъ, однакоже, тебѣ совѣтъ и въ хозяйствѣ. Только раскуси его хорошенько, и не будешь въ накладѣ. Два человѣка уже благодарятъ меня: одинъ изъ нихъ тебѣ знакомый К**. Собственно о томъ,

какими отраслями хозяйства слѣдуетъ заниматься и какъ заниматься, я тебѣ не скажу: это знаешь ты лучше меня; притомъ и деревня твоя мнѣ не извѣстна такъ, какъ моя собственная ладонь; а относительно всякихъ нововведеній ты уменъ и смекнулъ самъ, что не только слѣдуетъ придерживаться всего стараго, но всмотрѣться въ него насквозь, чтобы изъ него же извлечь для него улучшеніе. Но я тебѣ дамъ совѣтъ насчетъ соприкосновенія помѣщика съ крестьяниномъ въ хозяйственныхъ дѣлахъ и работахъ, что покамѣстъ нужнѣе всего прочаго. Припомни отношенія прежнихъ помѣщиковъ-хозяевъ къ ихъ мужикамъ: будь патріархомъ, самъ начинателемъ всего и передовымъ во всѣхъ дѣлахъ. Заведи, чтобы при началѣ всякаго общаго дѣла, какъ-то: посѣва, покосовъ и уборки хлѣба, былъ пиръ на всю деревню, чтобы въ эти дни былъ общій столъ для всѣхъ мужиковъ на твоемъ дворѣ, какъ бы въ день самаго Свѣтлаго Воскресенія, и обѣдалъ бы ты самъ вмѣстѣ съ ними, и вмѣстѣ съ ними вышелъ бы на работу, и въ работѣ былъ бы передовымъ, подстрекая всѣхъ работать молодцами, похваливая тутъ же удальца и укоряя тутъ же лѣнивца. Когда же наступитъ осень и кончатся полевыя работы, воспразднуй такимъ же образомъ и еще большимъ пиршествомъ окончаніе работъ, въ сопровожденіи торжественнаго и благодарственнаго молебна. Мужика не бей: съѣздить его въ рожу еще не большое искусство; это сумѣетъ сдѣлать и становой, и засѣдатель, и даже староста; мужикъ къ этому уже привыкъ и только-что почешетъ у себя слегка въ затылкѣ. Но умѣй пронять его хорошенько словомъ; ты же на мѣткія слова мастеръ. Ругни его при всемъ народѣ, но такъ, чтобы тутъ же осмѣялъ его весь народъ; это будетъ для него въ нѣсколько разъ полезнѣе всякихъ подзатыльниковъ и зуботычекъ. Держи у себя въ запасѣ всѣ синонимы *молодца* для того, кого нужно подстрекнуть, и всѣ синонимы *бабы* для того, кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лѣнтяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словомъ— назови всѣмъ, чѣмъ только не хочетъ быть русскій человѣкъ. Въ комнатѣ не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянскихъ работахъ, и, гдѣ ни появляйся, появляйся такъ, чтобы отъ твоего прихода глядѣло все живѣе и веселѣе, изворачиваясь молодцомъ и щеголемъ въ работѣ. Подай и отъ себя силы словами: «Подхватимъ-ка разомъ, ребята, всѣ вмѣстѣ!» Возьми самъ въ руки топоръ или косу; это будетъ тебѣ въ добро и полезнѣе для твоего здоровья всякихъ Маріенбадовъ, медицинскихъ моціоновъ и вялыхъ прогулокъ.

Замѣчанія твои о школахъ совершенно справедливы. Учить мужика грамотѣ затѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которыя издаютъ для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжонка не полѣзетъ въ голову, и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый,

богатырскимъ сномъ. Ты и самъ будешь дѣлать то же, когда станешь почаще выходить на работы. Деревенскій священникъ можетъ сказать гораздо больше истинно нужнаго для мужика, нежели всѣ эти книжонки. Если въ комъ истинно уже зародится охота къ грамотѣ, и притомъ вовсе не затѣмъ, чтобы сдѣлаться плутомъ-конторщикомъ, но затѣмъ, чтобы прочесть тѣ книги, въ которыхъ начертанъ Божій законъ человѣку,—тогда другое дѣло. Воспитай его какъ сына и на него одного употреби все, что употребилъ бы ты на всю школу. Народъ нашъ не глупъ, что бѣжитъ, какъ отъ чорта, отъ всякой письменной бумаги; онъ знаетъ, что тамъ притонъ всей человѣческой путаницы, крючкотворства и каверзничествъ. По-настоящему, ему не слѣдуетъ и знать, есть ли какія-нибудь другія книги, кромѣ святыхъ.

(Кстати о священникѣ. Ты напрасно хлопочешь объ его перемѣнѣ и затѣваешь просить архіерея, чтобы онъ далъ тебѣ болѣе знающаго и опытнаго: такого священника онъ тебѣ не дастъ, потому что такой священникъ повсюду нуженъ. Выбрось даже изъ головы, чтобы могъ отыскаться священникъ, вполнѣ отвѣчающій твоему идеалу. Никакая семинарія и никакая школа не можетъ такъ воспитать священника. Въ семинаріи онъ получаетъ только начальное основаніе своего воспитанія, образуется же вполнѣ въ дѣлѣ жизнью. Будь самъ ему наставникомъ, ты же понялъ такъ хорошо обязанности сельскаго священника. Если священникъ дуренъ, то этому почти всегда виноваты сами помѣщики. Они, намѣсто того, чтобы призрѣть его у себя въ домѣ какъ родного, поселить въ немъ желаніе бесѣды лучшей, которая могла бы его чему-нибудь поучить, бросятъ его среди мужиковъ, молодого и неопытнаго, когда онъ еще и не знаетъ, что такое мужикъ; поставятъ его въ такое положеніе, что онъ еще долженъ потворствовать и угождать имъ, намѣсто того, чтобы уже съ самаго начала имѣть надъ ними нѣкоторую власть, и послѣ этого вопіютъ, что у нихъ священники дурные, что они пріобрѣли мужицкія ухватки и ничѣмъ не отличаются отъ простыхъ мужиковъ. Да я спрашиваю: кто не огрубѣетъ даже изъ приготовленныхъ и воспитанныхъ? А ты сдѣлай вотъ какъ. Заведи, чтобы священникъ обѣдалъ съ тобою всякій день. Читай съ нимъ вмѣстѣ духовныя книги: тебя же это чтеніе теперь занимаетъ и питаетъ болѣе всего. А самое главное,—бери съ собою священника повсюду, гдѣ ни бываешь на работахъ, чтобы сначала онъ былъ при тебѣ въ качествѣ помощника, чтобы онъ видѣлъ самолично всю продѣлку твою съ мужиками. Тутъ онъ увидитъ ясно, что такое помѣщикъ, что такое мужикъ, и каковы должны быть ихъ отношенія между собою. А между тѣмъ и къ нему будетъ больше уваженія со стороны мужиковъ, когда они увидятъ, что онъ идетъ съ тобою объ-руку. Сдѣлай такъ, чтобы онъ не нуждался въ домѣ своемъ, чтобы былъ обезпеченъ относительно собственнаго своего хозяйства, и черезъ то имѣлъ бы возможность быть съ тобою безпрестанно. Повѣрь, что онъ такъ привыкнетъ къ тебѣ,

что ему будетъ скучно безъ тебя. А привыкнувши къ тебѣ, онъ отъ тебя нечувствительно наберется и познанія вещей, и познанія человѣка, и много всякаго добра, потому что въ тебѣ, слава Богу, всего этого довольно, и ты умѣешь такъ ясно и хорошо выражаться, что всякъ невольно усвояетъ себѣ не только твои мысли, но даже и образъ ихъ выраженія—и самыя слова твои.

Что же до проповѣди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебѣ скажу вотъ что. Я скорѣе того мнѣнія, что священнику, не вполнѣ наставленному въ своемъ дѣлѣ и не ознакомленному съ людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповѣди. Подумалъ ли ты о томъ, какое трудное дѣло сказать умную проповѣдь и особенно мужикамъ? Нѣтъ, лучше немного потерпи, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока и священникъ побольше осмотрится, да и ты также; а до того времени посовѣтую тебѣ то, что одному уже посовѣтовалъ, и что, кажется, пошло ему въ прокъ. Возьми Святыхъ Отцовъ и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоустъ, имѣя дѣло съ народомъ-невѣжею, принявшимъ только наружное христіанство, но въ сердцахъ оставшимся грубыми язычниками, старался быть особенно доступнымъ къ понятіямъ человѣка простого и грубаго, и говорилъ такимъ живымъ языкомъ о предметахъ нужныхъ, а даже часто очень высокихъ, что цѣликомъ можно обратить мѣста изъ проповѣдей его къ нашему мужику, и онъ пойметъ. Возьми Златоуста и читай его вмѣстѣ съ твоимъ священникомъ, и притомъ съ карандашомъ въ рукѣ, чтобы отмѣчать тутъ же всѣ такія мѣста, а такихъ мѣстъ у Златоуста десятками во всякой проповѣди. И эти самыя мѣста пусть онъ скажетъ народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чѣмъ меньше, тѣмъ лучше. Но нужно, чтобы передъ тѣмъ, какъ произносить ихъ народу, священникъ прочиталъ ихъ нѣсколько разъ съ тобою вмѣстѣ, затѣмъ, чтобы умѣть ихъ произнести ему не только съ одушевленіемъ, но такимъ убѣдительнымъ голосомъ, какъ бы онъ хлопоталъ о какой-нибудь собственной выгодѣ своей, отъ которой зависитъ благополучіе его жизни. Увидишь, что это будетъ дѣйствительнѣе, нежели его собственная проповѣдь. Народу нужно мало говорить, но мѣтко,—не то онъ можетъ привыкнуть къ проповѣди такъ же, какъ привыкнулъ къ ней высшій кругъ, который ѣздитъ слушать знаменитыхъ европейскихъ проповѣдниковъ такимъ же самымъ образомъ, какъ ѣздитъ въ оперу или въ спектакль. У К. К* священникъ не говоритъ никакой проповѣди, но, зная насквозь всѣхъ мужиковъ, поджидаетъ только исповѣди. И на исповѣди такъ прометъ изъ нихъ всякаго, что онъ какъ изъ бани выходитъ изъ церкви. З** послалъ къ нему; нарочно исповѣдывать 30 человѣкъ рабочихъ съ своей фабрики, пьяницъ и мошенниковъ первѣйшаго разбора, а самъ сталъ на паперти церковной, чтобы посмотрѣть имъ въ лица въ то время, какъ они будутъ выходить изъ церкви. Всѣ вышли красные, какъ раки.

А кажется немного и держалъ ихъ на исповѣди; по 4 и 5 человѣкъ исповѣдывалъ вдругъ. И послѣ того, по сказанію самого З**, въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ не показывался ни одинъ изъ нихъ въ кабакѣ, такъ что окружные цѣловальники не могли приложить ума, отъ чего это случилось).

Но довольно. Поработай усердно только годъ, а тамъ дѣло уже само собою пойдетъ работаться такъ, что не нужно будетъ тебѣ и рукъ прилагать. Разбогатѣешь ты какъ крезъ, въ противность тѣмъ подслѣповатымъ людямъ, которые думаютъ, будто выгоды помѣщика идутъ врознь съ выгодами мужиковъ. Ты имъ докажешь дѣломъ, а не словами, что они врутъ, и что если только помѣщикъ взглянулъ глазомъ христіанина на свою обязанность, то не только онъ можетъ укрѣпить старыя связи, о которыхъ толкуютъ, будто онѣ исчезнули навѣки,—связями во Христѣ, которыхъ уже ничто не можетъ быть сильнѣе. И ты, не служа доселѣ ревностно ни на какомъ поприщѣ, сослужишь такую службу государю въ званіи помѣщика, какой не сослужитъ иной великочиновный человѣкъ. Что ни говори, но поставить 800 подданныхъ, которые всѣ какъ одинъ могутъ быть примѣромъ всѣмъ окружающимъ своею истинно-примѣрною жизнію—это дѣло не бездѣльное и служба истинно-законная и великая.

1846.

XXIII.

ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖИВОПИСЕЦЪ ИВАНОВЪ.

ПИСЬМО КЪ М. Ю. ВЕЛИГУРСКОМУ.

Пишу къ вамъ объ Ивановѣ. Что за непостижимая судьба этого человѣка! Ужъ дѣло его стало, наконецъ, всѣмъ объясняться; всѣ увѣрились, что картина, которую онъ работаетъ,—явленіе небывалое, приняли участіе въ художникѣ, хлопочутъ со всѣхъ сторонъ о томъ, чтобы даны были ему средства кончить ее, (чтобы не умеръ надъ ней съ голоду художникъ,—говорю буквально: не умеръ съ голоду)—и до сихъ поръ ни слуху, ни духу изъ Петербурга. (Ради Христа разберите, что это все значитъ. Сюда принеслись нелѣпые слухи, будто художники и всѣ профессора нашей Академіи Художествъ, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою все, что было доселѣ призведено нашимъ художествомъ, изъ зависти стараются о томъ, чтобъ ему не были даны средства на окончаніе. Это ложь, я въ этомъ увѣренъ. Художники наши благородны, и если бы они узнали все то, что вытерпѣлъ бѣдный Ивановъ изъ-за своего безпримѣрнаго самоотверженія и любви къ труду, рискуя дѣйствительно умереть съ голоду, они бы съ нимъ подѣлились братски своими собственными деньгами, а не то, чтобы внушать другимъ такое жестокое дѣло. Да и чего имъ опасаться Иванова? Онъ идетъ своею собственною дорогою и никому не помѣха.

Онъ) не только не ищетъ профессорскаго мѣста и житейскихъ выгодъ, но даже просто ничего не ищетъ, потому что уже давно умеръ для всего въ мірѣ, кромѣ своей работы. Онъ молитъ (о нищенскомъ содержаніи,) о томъ содержаніи, которое дается только начинающему работать ученику, а не о томъ, которое слѣдуетъ ему, какъ мастеру, сидящему надъ такимъ колоссальнымъ дѣломъ, какого не затѣвалъ доселѣ никто; и этого (нищенскаго) содержанія, о которомъ всѣ стараются и хлопочутъ, не можетъ онъ допроситься, несмотря на хлопоты всѣхъ. Воля ваша, я вижу во всемъ этомъ волю Провидѣнія, уже такъ опредѣлившую, чтобы Ивановъ вытерпѣлъ, выстрадалъ и вынесъ все: другому ничему не могу приписать.

Доселѣ раздавался ему упрекъ въ медленности. Говорили всѣ: «Какъ! восемь лѣтъ сидѣлъ надъ картиною, и до сихъ поръ картинѣ нѣтъ конца!» Но теперь этотъ упрекъ затихнулъ, когда увидѣли, что и капля времени у художника не пропала даромъ, что однихъ этюдовъ, приготовленныхъ имъ для картины, наберется на цѣлый залъ и можетъ составить отдѣльную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картинъ Брюлова и Бруни), требовала слишкомъ много времени для работы, особенно при тѣхъ малыхъ денежныхъ средствахъ, которыя не давали ему возможности имѣть нѣсколько моделей вдругъ, и притомъ такихъ, какихъ бы онъ хотѣлъ. Словомъ—теперь всѣ чувствуютъ нелѣпость упрека въ медленности и лѣни такому художнику, который, какъ труженикъ, сидѣлъ всю жизнь свою надъ работою и позабылъ даже, существуетъ ли на свѣтѣ какое-нибудь наслажденіе, кромѣ работы. Еще болѣе будетъ стыдно тѣмъ, которые упрекали его въ медленности, когда узнаютъ и другую сокровенную причину медленности. Съ производствомъ этой картины связалось собственное душевное дѣло художника,—явленіе слишкомъ рѣдкое въ мірѣ, явленіе, въ которомъ вовсе не участвуетъ произволъ человѣка, но воля Того, Кто выше человѣка. Такъ уже было опредѣлено, чтобы надъ этою картиною совершилось воспитаніе собственно художника, какъ въ рукотворномъ дѣлѣ искусства, такъ и въ мысляхъ, направляющихъ искусство къ законному и высшему назначенію. Предметъ картины, какъ вы уже знаете, слишкомъ значителенъ. Изъ евангельскихъ мѣстъ взято самое труднѣйшее для исполненія, доселѣ еще небранное никѣмъ изъ художниковъ даже прежнихъ богомольно-художественныхъ вѣковъ, а именно—первое появленіе Христа народу. Картина изображаетъ пустыню на берегу Іордана. Всѣхъ виднѣе Іоаннъ Креститель, проповѣдающій и крестящій во имя Того, Котораго еще никто не видалъ изъ народа. Его обступаетъ толпа нагихъ и раздѣвающихся, одѣвающихся и одѣтыхъ, выходящихъ изъ водъ и готовыхъ погрузиться въ воды; въ толпѣ этой стоятъ и будущіе ученики Самого Спасителя. Все, отправляя свои различныя тѣлесныя движенія,

устремляется внутреннимъ ухомъ къ рѣчамъ пророка, какъ бы схватывая изъ устъ его каждое слово и выражая на лицахъ различныя чувства: на однихъ уже полная вѣра; на другихъ еще сомнѣніе; третьи уже колеблются; четвертые понурили головы въ сокрушеніи и покаяніи; есть и такіе, на которыхъ видна еще кора и безчувственность сердечная. Въ это самое время, когда все движется такими различными движеніями, показывается вдали Тотъ Самый, во имя Котораго уже совершилось крещеніе—и здѣсь настоящая минута картины. Предтеча взятъ именно въ тотъ мигъ, когда, указавши на Спасителя перстомъ, произноситъ: «*Се Агнецъ, вземляй грѣхи міра!*» И вся толпа, не оставляя выраженія лицъ своихъ, устремляется или глазомъ, или мыслью къ Тому, на Котораго указалъ пророкъ. Сверхъ прежнихъ, не успѣвшихъ сбѣжать съ лицъ, впечатлѣній, пробѣгаютъ по всѣмъ лицамъ новыя впечатлѣнія. Чуднымъ свѣтомъ освѣтились лица передовыхъ избранныхъ, тогда какъ другіе стараются еще войти въ смыслъ непонятныхъ словъ, недоумѣвая, какъ можетъ одинъ взять на себя грѣхи всего міра, а третьи сомнительно колеблютъ головой, говоря: «отъ Назарета пророкъ не приходитъ». А Онъ, въ небесномъ спокойствіи и чудномъ отдаленіи, тихою и твердою стопою уже приближается къ людямъ.

Бездѣлица—изобразить на лицахъ весь этотъ ходъ *обращенія человѣка ко Христу*! Есть люди, которые увѣрены, что великому художнику все доступно: земля, море, человѣкъ, (лягушка, драка и пирушка людей, игра въ карты) и моленіе Богу, словомъ—все можетъ достаться ему легко, будь только онъ талантливый художникъ, да поучись въ академіи. Художникъ можетъ изобразить только то, что онъ *почувствовалъ*, и о чемъ въ головѣ его составилась уже полная идея; иначе картина будетъ мертвая, академическая картина. Ивановъ сдѣлалъ все, что другой художникъ почелъ бы достаточнымъ для окончанія картины. Вся матеріальная часть, все, что относится до умнаго и строгаго размѣщенія группы въ картинѣ, исполнено въ совершенствѣ. Самыя лица получили свое типическое, согласно Евангелію, сходство и съ тѣмъ вмѣстѣ сходство еврейское. Вдругъ слышишь по лицамъ, въ какой землѣ происходитъ дѣло. Ивановъ повсюду ѣздилъ нарочно изучать для того еврейскія лица. Все, что ни касается до гармоническаго размѣщенія цвѣтовъ, одежды человѣка и до обдуманной ея наброски на тѣло, изучено въ такой степени, что всякая складка привлекаетъ вниманіе знатока. Наконецъ, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотритъ историческій живописецъ, видъ всей живописной пустыни, окружающей группу, исполненъ такъ, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущіе въ Римѣ. Ивановъ для этого просиживалъ по нѣсколькимъ мѣсяцамъ въ нездоровыхъ Понтійскихъ болотахъ и пустынныхъ мѣстахъ Италіи, перенесъ въ свои этюды всѣ дикія захолустья, находящіяся вокругъ Рима, изучилъ всякій камушекъ и древесный листокъ, словомъ—сдѣлалъ

все, что могъ сдѣлать, все изобразилъ, чему только нашелъ образецъ. Но какъ изобразить то, чему еще не нашелъ художникъ образца? Гдѣ могъ найти онъ образецъ для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины—представить въ лицахъ весь ходъ человѣческаго обращенія ко Христу? Откуда могъ онъ взять его? Изъ головы? Создать воображеніемъ? Постигнуть мыслью? Нѣтъ, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображеніе. Ивановъ напрягалъ воображеніе, елико могъ, старался на лицахъ всѣхъ людей, съ какими ни встрѣчался, ловить высокія движенія душевныя, оставался въ церквахъ слѣдить за молитвою человѣка—и видѣлъ, что все безсильно и недостаточно и не утверждаетъ въ его душѣ полной идеи о томъ, что нужно. И это было предметомъ сильныхъ страданій его душевныхъ и виною того, что картина такъ долго затянулась. Нѣтъ, пока въ самомъ художникѣ не произошло истиннаго обращенія ко Христу, не изобразить ему того на полотнѣ! Ивановъ молилъ Бога о ниспосланіи ему такого полнаго обращенія, лилъ слезы въ тишинѣ, прося у Него же силъ исполнить Имъ же внушенную мысль; а въ это время упрекали его въ медленности и торопили его! Ивановъ просилъ у Бога, чтобы огнемъ благодати испепелилъ въ немъ ту холодную черствость, которою теперь страждутъ многіе наилучшіе и наидобрѣйшіе люди, и вдохновилъ бы его такъ изобразить это обращеніе, чтобы умилился и нехристіанинъ, взглянувши на его картину; а его въ это время укоряли даже знавшіе люди, даже пріятели, думая, что онъ просто лѣнится, и помышляли серьезно о томъ, нельзя ли голодомъ и отнятіемъ всѣхъ средствъ заставить его кончить картину. Сострадательнѣйшіе изъ нихъ говорили : «самъ же виноватъ: пусть бы большая картина шла своимъ чередомъ, въ промежуткахъ могъ бы онъ работать малыя картины, брать за нихъ деньги и не умереть съ голода»,—говорили, не вѣдая того, что художнику, которому трудъ его, по волѣ Бога, обратился въ его душевное дѣло, уже невозможно заняться никакимъ другимъ трудомъ, и нѣтъ у него промежутковъ; не устремится и мысль его ни къ чему другому, какъ онъ ее ни принуждай и ни насилуй. Такъ вѣрная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбитъ уже никого другого, никому не продастъ за деньги своихъ ласкъ, хотя бы этимъ средствомъ и могла спасти отъ бѣдности и себя, и мужа. Вотъ каковы были обстоятельства душевныя Иванова! Вы скажете: «Да зачѣмъ же онъ не изложилъ всего этого на бумагѣ? зачѣмъ не описалъ ясно своего дѣйствительнаго положенія? тогда бы ему вдругъ были высланы деньги». Да, какъ бы не такъ! Попробуй кто-нибудь изъ насъ, еще не доказавшій силъ, еще не умѣющій самому себѣ высказать себя, объясниться съ людьми, стоящими на другихъ поприщахъ, которые не могутъ, весьма естественно, даже постигнуть, что можетъ существовать въ искусствѣ его высшая степень, свыше той, на которой оно стоитъ въ нынѣшнемъ модномъ вѣкѣ! Неужели ему

сказать: «Я произведу одно такое дѣло, которое васъ потомъ изумитъ, но котораго вамъ не могу теперь разсказать, потому что многое, покуда, и мнѣ самому еще не совсѣмъ понятно, а вы, во все то время, какъ я буду сидѣть надъ работою, ждите терпѣливо и давайте мнѣ деньги на содержаніе?» Тогда, пожалуй, явится много такихъ охотниковъ, которые заговорятъ такимъ же образомъ; да имъ развѣ безумецъ дастъ деньги. Положимъ даже, что Ивановъ могъ бы въ это неясное время выразиться ясно и сказать такъ: «Мнѣ внушена кѣмъ-то свыше преслѣдующая меня мысль—изобразить кистью обращеніе человѣка ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сдѣлать, не обратившись истинно самъ. А потому ждите покуда во мнѣ самомъ не произойдетъ этого обращенія, и давайте до того времени мнѣ деньги на мое содержаніе и на мою работу». Да ему тогда въ одинъ голосъ закричимъ мы всѣ: «Что ты, братъ, за нескладицу городишь? за дураковъ, что ли, насъ принялъ? Что за связь у души съ картиною? Душа сама по себѣ, а картина сама по себѣ. (Что намъ ждать твоего обращенія? Ты долженъ быть и безъ того христіанинъ; вѣдь вотъ мы же всѣ истинные христіане»). Вотъ что мы скажемъ всѣ Иванову, и каждый изъ насъ почти правъ. Не будь этихъ же самыхъ тяжелыхъ его обстоятельствъ и внутреннихъ терзаній душевныхъ, которыя силою заставили его обратиться жарче другихъ къ Богу и дали ему способность къ Нему прибѣгать и жить въ Немъ такъ, какъ не живетъ въ Немъ нынѣшній свѣтскій художникъ, и выплакать слезами тѣ чувства, которыхъ онъ силился добыть прежде одними размышленіями—не изобразить бы ему никогда того, что начинаетъ онъ уже изображать теперь на полотнѣ, и онъ дѣйствительно бы обманулъ и себя, и другихъ, несмотря на все желаніе не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться съ людьми во время переходнаго состоянія душевнаго, когда, по волѣ Бога, начнется переработка въ собственной природѣ человѣка. Я это знаю и отчасти даже испыталъ самъ. Мои сочиненія тоже связались чуднымъ образомъ съ моею душою и моимъ внутреннимъ воспитаніемъ. Въ продолженіе болѣе шести лѣтъ я ничего не могъ работать для свѣта. Вся работа производилась во мнѣ и собственно для меня. А существовалъ я дотолѣ,—не позабудьте,—единственно доходами съ моихъ сочиненій. Всѣ почти знали, что я нуждался; но были увѣрены, что это происходитъ отъ собственнаго моего упрямства, что мнѣ стоитъ только присѣсть да написать небольшую вещь, чтобы получить большія деньги; а я не въ силахъ былъ произвести ни одной строки, а когда, послушавшись совѣта одного неразумнаго человѣка, вздумалъ было заставить себя насильно написать кое-какія статейки для журнала, это было мнѣ въ такой степени трудно, что ныла моя голова, болѣли всѣ чувства, я маралъ и раздиралъ страницы, и послѣ двухъ, трехъ мѣсяцевъ такой пытки такъ разстроилъ здоровье, которое и безъ того было

плохо, что слегъ въ постель, а присоединившіеся къ тому недуги нервическіе и наконецъ недуги отъ неумѣнья никому въ свѣтѣ изъяснить состояніе своего положенія до того меня изнурили, что былъ я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Одинъ разъ, въ прибавленіе ко всему этому, я очутился въ городѣ, гдѣ не было почти ни души мнѣ близкой, безъ всякихъ средствъ, рискуя умереть, не только отъ болѣзни и страданій душевныхъ, но даже отъ голода. Это было уже давно тому. (Спасенъ я былъ государемъ: нежданно ко мнѣ пришла отъ него помощь. Услышалъ ли онъ сердцемъ, что бѣдный подданный его на своемъ неслужащемъ и незамѣтномъ поприщѣ помышлялъ сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другіе на своихъ служащихъ и замѣтныхъ поприщахъ, или это было просто обычное движеніе милости его; но эта помощь меня подняла вдругъ. Мнѣ было пріятно въ эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. Къ причинамъ, побудившимъ взяться съ новою силою за трудъ, присоединилась еще и мысль,—если удостоитъ меня Богъ сдѣлаться точно человѣкомъ близкимъ для многихъ людей и достойнымъ точно любви всѣхъ тѣхъ, которыхъ люблю,—сказать имъ: «не забывайте же, меня бы не было, можетъ-быть, на свѣтѣ, если-бъ не государь».) Вотъ каковы бываютъ положенія! Въ прибавленіе скажу вамъ, что въ это же самое время я долженъ былъ слышать обвиненія въ эгоизмѣ: многіе не могли мнѣ простить моего неучастія въ разныхъ дѣлахъ, которыя они затѣвали, по ихъ мнѣнію, для блага общаго. Слова мои, что я не могу писать и не долженъ работать ни для какихъ журналовъ и альманаховъ, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я велъ въ чужихъ краяхъ, приписана была сибаритскому желанію наслаждаться красотами Италіи. Я не могъ даже изъяснить никому изъ самыхъ близкихъ моихъ друзей, что, кромѣ нездоровья, мнѣ нужно было временное отдаленіе отъ нихъ самихъ, затѣмъ именно, чтобы не попасть въ фальшивыя отношенія съ ними и не нанести имъ же непріятностей—я даже этого не могъ объяснить! Я слышалъ самъ, что мое душевное состояніе до того сдѣлалось странно, что ни одному человѣку въ мірѣ не могъ бы я разсказать его понятно. Силясь открыть хотя одну часть себя, я видѣлъ тутъ же передъ моими глазами, какъ моими же словами туманилъ и кружилъ голову слушавшему меня человѣку, и горько раскаивался за одно даже желаніе быть откровеннымъ. Клянусь, бываютъ такъ трудны положенія, что ихъ можно уподобить только положенію того человѣка, который находится въ летаргическомъ снѣ, который видитъ самъ, какъ его погребаютъ живого—и не можетъ даже пошевельнуть пальцемъ и подать знака, что онъ еще живъ. Нѣтъ, храни Богъ, въ эти минуты переходнаго состоянія душевнаго пробовать объяснять себя какому-нибудь человѣку; нужно бѣжать къ одному Богу, и ни къ кому болѣе. Противъ меня стали несправедливы многіе, даже близкіе мнѣ люди,

и были въ то же время совсѣмъ невиноваты: я бы самъ сдѣлалъ то же, находясь на ихъ мѣстѣ.

То же самое и въ дѣлѣ Иванова: если бы случилось, чтобы онъ умеръ отъ бѣдности и недостатка средствъ, вдругъ бы все исполнилось негодованія противу тѣхъ, которые допустили это; пошли бы обвиненія въ безчувственности и зависти къ нему другихъ художниковъ. Иной драматическій поэтъ составилъ бы изъ этого чувствительную драму, которою растрогалъ бы слушателей и подвигнулъ бы гнѣвомъ противу враговъ его. И все это было бы ложь, потому что, точно, никто не былъ бы истинно виновенъ въ его смерти. Одинъ только человѣкъ былъ бы безчестенъ и виноватъ, и этотъ человѣкъ былъ бы—я: я испробовалъ почти то же состояніе, испробовалъ его на собственномъ тѣлѣ, и не объяснилъ того другимъ! И вотъ почему я теперь пишу къ вамъ. Устройте же это дѣло; не то—грѣхъ будетъ на вашей собственной душѣ; съ моей души я уже снялъ его этимъ самымъ письмомъ; теперь онъ повиснулъ на васъ. (Сдѣлайте такъ, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержаніе, которое онъ проситъ, но еще сверхъ того единовременная награда, именно за то самое, что онъ работалъ долго надъ своею картиною и не хотѣлъ въ это время ничего работать посторонняго, какъ ни заставляли его другіе люди, и какъ ни заставляла его собственная нужда). Не скупитесь: деньги всѣ вознаградятся. Достоинство картины уже начинаетъ обнаруживаться всѣмъ. Весь Римъ начинаетъ говорить гласно, судя даже по нынѣшнему ея виду, въ которомъ далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобнаго явленія еще не показывалось отъ временъ Рафаэля и Леонарда-да-Винчи. Будетъ окончена картина (—бѣднѣйшій дворъ въ Европѣ заплатитъ за нее охотно тѣ деньги, какія теперь платятъ за вновь находимыя картины прежнихъ великихъ мастеровъ). Такимъ картинамъ не бываетъ цѣна меньше ста или двухсотъ тысячъ. (Устройте такъ, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотверженіе и безпримѣрную любовь къ искусству, чтобы это послужило въ урокъ художникамъ. Урокъ этотъ нуженъ, чтобы видѣли всѣ другіе, какъ нужно любить искусство,—что нужно, какъ Ивановъ, умереть для всѣхъ приманокъ жизни; какъ Ивановъ, учиться и считать себя вѣкъ ученикомъ; какъ Ивановъ, отказывать себѣ во всемъ, даже и въ лишнемъ блюдѣ въ праздничный день; какъ Ивановъ, надѣть простую плисовую куртку, когда оборвались всѣ средства, и пренебречь пустыми приличіями; какъ Ивановъ, вытерпѣть все и при высокомъ и нѣжномъ образованіи душевномъ, при большей чувствительности ко всему, вынести всѣ колкія пораженія и даже то, когда угодно было нѣкоторымъ провозгласить его сумасшедшимъ и распустить этотъ слухъ такимъ образомъ, чтобы онъ собственными своими ушами, на всякомъ шагу, могъ его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для ху-

дожниковъ молодыхъ и выступающихъ на поприще художества, чтобы не думали они о томъ, какъ заводить галстучки да сертучки, да дѣлать долги для поддержанія какого-то вѣса въ обществѣ; чтобы знали впередъ, что подкрѣпленіе и помощь со стороны правительства ожидаетъ только тѣхъ, которые уже не помышляютъ о сертучкахъ да о пирушкахъ съ товарищами, но отдались своему дѣлу, какъ монахъ монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишкомъ велика, чтобы невольно почесали у себя въ затылкѣ всѣ другіе. Не бойтесь, эту сумму онъ не возьметъ себѣ; можетъ-быть, изъ нея и копѣйки не возьметъ для себя: эта сумма будетъ вся употреблена на вспомоществованіе истиннымъ труженикамъ искусства, которыхъ знаетъ художникъ лучше, нежели какой-либо чиновникъ, и распоряженія по этому дѣлу будутъ произведены лучше чиновническихъ. За чиновникомъ мало ли что можетъ водиться: у него можетъ случиться и жена-модница, и пріятели-ѣдоки, которыхъ нужно угощать обѣдомъ; чиновникъ заведетъ и штатъ, и блескъ; станетъ даже утверждать, что для поддержанія чести русской націи нужно задать пыли иностранцамъ, и потребуетъ на это деньги. Но тотъ, кто самъ подвизался на томъ поприщѣ, которому потомъ долженъ помочь, кто слышалъ вопль потребности и нужды истиной, а не подѣльной, кто терпѣлъ самъ и видѣлъ, какъ терпятъ другіе, и соскорбѣлъ имъ, и дѣлился послѣдней рубашкой съ неимущимъ труженикомъ въ то время, когда и самому нечего было ѣсть и не во что одѣться, какъ дѣлалъ это Ивановъ, тотъ—другое дѣло. Тому можно смѣло повѣрить милліонъ и спать спокойно: не пропадетъ даромъ копѣйки изъ этого милліона). Поступите же справедливо, а письмо мое покажите другимъ, какъ моимъ, такъ и вашимъ пріятелямъ, и особенно такимъ, которыхъ управленію ввѣрена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могутъ случиться на всѣхъ поприщахъ, и все-таки не нужно допускать, чтобы они умерли съ голоду. Если случится, что одинъ, отдѣлившись отъ всѣхъ другихъ, займется крѣпче всѣхъ своимъ дѣломъ, хотя бы даже и своимъ собственнымъ, но если онъ скажетъ, что это повидимому собственное его дѣло будетъ нужно для всѣхъ, считайте его какъ бы на службѣ у людей и выдавайте насущное прокормленіе. А чтобы удостовѣриться, нѣтъ ли здѣсь какого обмана, потому что подъ такимъ видомъ можетъ пробраться лѣнивый и ничего не дѣлающій человѣкъ, слѣдите за его собственною жизнію: его собственная жизнь скажетъ все. Если онъ такъ же, какъ Ивановъ, плюнулъ на всѣ приличія и условія свѣтскія, надѣлъ простую куртку и, отогнавши отъ себя мысль не только объ удовольствіяхъ и пирушкахъ, но даже мысль завестись когда-либо женою и семействомъ или какимъ-либо хозяйствомъ, ведетъ жизнь истинно-монашескую, корпя день и ночь надъ своею работою и молясь ежеми-

нутно,—тогда нечего долго разсуждать, а нужно дать ему средства работать; не зачѣмъ также торопить и подталкивать его—оставьте его въ покоѣ: подтолкнетъ его Богъ безъ васъ: ваше дѣло только смотрѣть за тѣмъ, чтобы онъ не умеръ съ голода. Не давайте ему большого содержанія; давайте ему бѣдное и нищенское, даже и не соблазняйте его соблазнами свѣта. Есть люди, которые должны вѣкъ остаться нищими. Нищенство есть блаженство, котораго еще не раскусилъ свѣтъ; но кого Богъ удостоилъ отвѣдать его сладость и кто уже возлюбилъ истинно свою нищенскую сумку, тотъ не продастъ ея ни за какія сокровища здѣшняго міра.

1846.

XXIV.

ЧѢМЪ МОЖЕТЪ БЫТЬ ЖЕНА ДЛЯ МУЖА ВЪ ПРОСТОМЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ ПРИ НЫНѢШНЕМЪ ПОРЯДКѢ ВЕЩЕЙ ВЪ РОССІИ.

Долго думалъ я, на кого изъ васъ напасть: на васъ, или на вашего мужа? Наконецъ рѣшаюсь напасть на васъ: женщина скорѣе способна очнуться и двинуться. Положеніе васъ обоихъ, хотя вы считаете себя на верху блаженства, по мнѣ, не только не блаженно, но даже хуже положенія тѣхъ, которые считаютъ себя въ горѣ и несчастіи. У васъ обоихъ есть много хорошихъ качествъ душевныхъ, сердечныхъ и даже умственныхъ, и нѣтъ только того, безъ чего все это ни къ чему не послужитъ: нѣтъ внутри себя управленія собою. Никто изъ васъ не господинъ себѣ. Въ васъ нѣтъ характера, признавая характеромъ *крѣпость воли*. Вашъ мужъ, чувствуя этотъ недостатокъ въ себѣ, женился нарочно затѣмъ, чтобы найти въ женѣ себѣ возбужденіе на всякое дѣло и подвигъ. Вы за него вышли замужъ затѣмъ, чтобы онъ былъ вашимъ возбудителемъ во всякомъ дѣлѣ жизни. Оба другъ отъ друга ждутъ того, чего нѣтъ у обоихъ. Говорю вамъ: положеніе ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, какъ мыло въ водѣ. Всѣ ваши достоинства и добрыя качества исчезнутъ въ безпорядкѣ дѣйствій, который одинъ сдѣлается вашимъ характеромъ, и будете вы оба—олицетворенное безсиліе. Молите Бога о *крѣпости*. У Бога можно все вымолить, даже крѣпость, которую, какъ извѣстно, никакими средствами не можетъ достать безсильный и слабый человѣкъ. Поступите только умно. *Молись и къ берегу гребись*, говоритъ пословица. Произносите въ себѣ и поутру, и въ полдень, и ввечеру, и во всѣ часы дня: «Боже, собери меня всю въ самое меня и укрѣпи!» и дѣйствуйте въ продолженіе цѣлаго года такъ, какъ я вамъ сейчасъ скажу, не разсуждая покуда, зачѣмъ и къ чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приходъ и расходъ чтобы былъ въ вашихъ рукахъ. Не ведите общей

расходной книги, но съ самаго начала года сдѣлайте смѣту всему впередъ, обнимите всѣ нужды ваши, сообразите впередъ, сколько можете и сколько вы должны издержать въ годъ сообразно вашему достатку, и все приведите въ круглыя суммы. Раздѣлите ваши деньги на семь почти равныхъ кучъ. Въ первой кучѣ будутъ деньги на квартиру, съ отопкою, водою, дровами и всѣмъ, что ни относится до стѣнъ дома и чистоты двора; во второй кучѣ—деньги на столъ и на все съѣстное съ жалованьемъ повару и продовольствіемъ всего, что ни живетъ въ вашемъ домѣ; въ третьей кучѣ—экипажъ: карета, кучеръ, лошади, сѣно, овесъ, словомъ—все, что относится къ этой части; въ четвертой кучѣ—деньги на гардеробъ, то-есть, все, что нужно для васъ обоихъ затѣмъ, чтобы показаться въ свѣтъ или сидѣть дома; въ пятой кучѣ будутъ ваши карманныя деньги, въ шестой кучѣ—деньги на чрезвычайныя издержки, какія могутъ встрѣтиться: перемѣна мебели, покупка новаго экипажа и даже вспомоществованіе кому-нибудь изъ вашихъ родственниковъ, если бы онъ возымѣлъ внезапную надобность; седьмая куча—Богу, то-есть, деньги на церковь и на бѣдныхъ. Сдѣлайте такъ, чтобы эти семь кучъ пребывали у васъ несмѣшанными, какъ бы семь отдѣльныхъ министерствъ. Ведите расходъ каждый особо, и ни подъ какимъ предлогомъ не занимайте изъ одной кучи въ другую. Какія ни представлялись бы вамъ въ это время выгодныя покупки и какъ бы ни соблазняли онѣ васъ своею дешевизною,—не покупайте. На это можете отважиться послѣ, когда побольше укрѣпитесь; а теперь не позабывайте ни на мигъ, что все это вами дѣлается для покупки твердаго характера, а эта покупка покамѣстъ для васъ нужнѣе всякой другой покупки. И потому будьте въ этомъ случаѣ упрямы, просите Бога объ упрямствѣ. Даже и тогда, когда бы оказалась надобность помочь бѣдному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится въ опредѣленной на то кучѣ. Если бы даже вы были свидѣтельницею картины несчастія, раздирающаго сердце, и видѣли бы сами, что денежная помощь можетъ помочь, не смѣйте и тогда дотрогиваться до другихъ кучъ, но поѣзжайте по всему городу, по всѣмъ вашимъ знакомымъ и старайтесь преклонить ихъ на жалость: просите, молите, будьте готовы даже на униженіе себя, чтобы это осталось вамъ въ урокъ, чтобы вы помнили вѣчно, какъ вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, какъ вы должны были изъ-за этого подвергнуться униженію и даже осмѣянію публичному; чтобы это не выходило у васъ изъ ума, чтобы вы черезъ это пріучались обрѣзывать себя въ расходахъ по каждой кучѣ и заранѣе помышлять о томъ, чтобы къ концу года оставался отъ каждой остатокъ для бѣдныхъ, а не сходились бы только концы съ концами. Если вы будете держать это въ головѣ своей безпрестанно, то вы никогда не заѣдете безъ надобности сильной въ магазинъ и не купите себѣ неожиданно какое-нибудь украшеніе для камина или стола, на что

такъ падки у насъ какъ дамы, такъ и мужчины (послѣдніе еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будутъ невольно и нечувствительно сжиматься, и дойдетъ наконецъ до того, что вы почувствуете сами, что вамъ не нужно имѣть больше одной кареты и пары лошадей, больше четырехъ блюдъ за столомъ, что званый обѣдъ можетъ также насытить людей и на простомъ сервизѣ, съ прибавкою одного лишняго блюда да бутылки вина, разнесеннаго безъ всякихъ тонкостей въ простыхъ рюмкахъ. Вы даже не только не сгорите отъ стыда, если пойдетъ по городу слухъ, что у васъ не comme il faut, но еще посмѣетесь тому сами, увѣрившись истинно, что настоящее comme il faut есть то, какого требуетъ отъ человѣка Тотъ Самый, Который создалъ его, а не тотъ, который приводитъ въ систему обѣды, даже и не тотъ, который сочиняетъ всякій день мѣняющіеся этикеты, даже и не сама мадамъ Сихлеръ. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итогъ всякой кучѣ каждый мѣсяцъ и пересчитывайте въ послѣдній день мѣсяца все вмѣстѣ, сравнивая всякую вещь одну съ другою, чтобы умѣть узнавать, во сколько разъ одна нужнѣе другой, чтобы видѣть ясно, отъ какой прежде нужно отказаться, въ случаѣ необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что изъ нужнаго есть самое нужнѣйшее.

Держитесь этого строго въ продолженіе цѣлаго года, крѣпитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь Богу, чтобы укрѣпилъ васъ—и вы окрѣпнете непремѣнно. Важно то, чтобы въ человѣкѣ хотя что-нибудь окрѣпнуло и стало непреложнымъ; отъ этого невольно установится порядокъ и во всемъ прочемъ. Укрѣпясь въ дѣлѣ вещественнаго порядка, вы укрѣпитесь нечувствительно въ дѣлѣ душевнаго порядка. Распредѣлите ваше время; положите всему непремѣнные часы. Не оставайтесь поутру съ вашимъ мужемъ; гоните его на должность въ его департаментъ, ежеминутно напоминая ему о томъ, что онъ весь долженъ принадлежать общему дѣлу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на васъ, а не на немъ), что онъ женился именно затѣмъ, чтобы, освободя себя отъ мелкихъ заботъ, всего отдать отчизнѣ, и жена дана ему не на помѣху службѣ, а въ укрѣпленіе его на службѣ. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своемъ поприщѣ, и черезъ то встрѣтились бы весело передъ обѣдомъ и обрадовались бы такъ другъ другу, какъ бы нѣсколько лѣтъ не видались, чтобы вамъ было что пересказать другъ другу и не попотчивалъ бы одинъ другого зѣвотою: разскажите ему все, что вы дѣлали въ вашемъ домѣ и домашнемъ хозяйствѣ, и пусть онъ разскажетъ вамъ все, что производилъ въ департаментѣ своемъ для общаго хозяйства. Вы должны знать непремѣнно существо его должности, и въ чемъ состоитъ его часть, и какія дѣла случилось ему вершить въ тотъ день, и въ чемъ именно они состояли. Не пренебрегайте этимъ и помните, что жена должна быть

помощницею мужа. Если только въ теченіе одного года вы будете внимательно выслушивать отъ него все, то на другой годъ будете въ силахъ подать ему даже совѣтъ, будете знать, какъ ободрить его при встрѣчѣ съ какою-нибудь непріятностію по службѣ, будете знать, какъ заставить его перенести и вытерпѣть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на все прекрасное.

Начните же съ этого дня исполнять все, что я вамъ теперь сказалъ. Крѣпитесь, молитесь и просите Бога безпрерывно, да поможетъ вамъ собрать всю себя въ себѣ и держать себя. Все у насъ теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка сталъ всякъ человѣкъ; обратилъ самъ себя въ подлое подножіе всего и въ раба самыхъ пустѣйшихъ и мелкихъ обстоятельствъ, и нѣтъ теперь нигдѣ свободы въ ея истинномъ смыслѣ. Эту свободу одинъ мой пріятель, который съ вами лично не знакомъ, но котораго, однакоже, знаетъ вся Россія, опредѣляетъ такъ: «Свобода не въ томъ, чтобы говорить произволу своихъ желаній: *да*, но въ томъ, чтобы умѣть сказать имъ: *нѣтъ*». Онъ правъ, какъ сама правда. Никто теперь въ Россіи не умѣетъ сказать самому себѣ этого твердаго *нѣтъ*. Нигдѣ я не вижу мужа. Пусть же безсильная женщина ему о томъ напомнитъ! Стало такъ теперь все чудно, что жена же должна повелѣть мужу, дабы онъ былъ ея глава и повелитель.

1845.

XXV.

СЕЛЬСКІЙ СУДЪ И РАСПРАВА.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ М.

Никакъ не пренебрегайте расправою и судомъ. Не поручайте этого дѣла управителю и никому въ деревнѣ: эта часть важнѣе самаго хозяйства. Судите сами. Этимъ однимъ вы укрѣпите связь помѣщика съ крестьянами. Судъ—Божье дѣло, и я не знаю, что можетъ быть этого выше. Недаромъ такъ чествуется въ народѣ тотъ, кто умѣетъ произносить правый судъ. Къ вамъ повалитъ не только ваша деревня, но и всѣ окружные мужики изъ другихъ селеній, какъ только узнаютъ, что вы умѣете давать расправу. Не пренебрегайте никѣмъ изъ приходящихъ и судите всѣхъ, хотя бы даже и въ незначительной ссорѣ или дракѣ. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдетъ въ добро его душѣ, и чего бы вы никакъ не нашлись сказать въ другое время, не найдя, къ чему прицѣпиться.

Судите всякаго человѣка двойнымъ судомъ и всякому дѣлу давайте двойную расправу. Одинъ судъ долженъ быть человѣческій: на немъ оправдайте праваго и осудите виновнаго. Старайтесь, чтобъ это было при свидѣтеляхъ; чтобы тутъ стояли и другіе мужики, чтобы всѣ видѣли ясно, какъ день, чѣмъ одинъ правъ и чѣмъ другой виноватъ. Другой же судъ сдѣлайте Божескій: и на немъ осудите и праваго, и

виноватаго. Выведите ясно первому, какъ онъ самъ былъ тому виною, что другой его обидѣлъ, а второму—какъ онъ вдвойнѣ виноватъ и предъ Богомъ, и предъ людьми; одного укорите, зачѣмъ не простилъ своему брату, какъ повелѣлъ Христосъ; а другого попрекните, зачѣмъ онъ обидѣлъ Самого Христа въ своемъ братѣ; а обоимъ вмѣстѣ дайте выговоръ за то, что не примирились сами собою и пришли на судъ, и возьмите слово съ обоихъ исповѣдаться непремѣнно попу на исповѣди во всемъ. (Если такой судъ вы будете произносить, вы будете сами полномочны, какъ Богъ, потому что Богъ васъ уполномочитъ.) Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямыхъ и правыхъ познаній. (Если бы многіе изъ государственныхъ людей начинали свое поприще не бумажными занятіями, а умной расправой дѣлъ между простыми людьми, они бы лучше узнали духъ земли, свойство народа и вообще душу человѣка, и не заимствовали бы потомъ изъ чужеземныхъ земель намъ неприличныхъ нововведеній.) Правосудіе у насъ могло бы исполняться лучше, нежели во всѣхъ другихъ государствахъ, потому что изъ всѣхъ народовъ только въ одномъ русскомъ заронилась эта вѣрная мысль, что нѣтъ человѣка праваго и что правъ одинъ только Богъ. Эта мысль, какъ непреложное вѣрованіе, разнеслась повсюду въ нашемъ народѣ. Вооруженный ею, даже простой и неумный человѣкъ получаетъ въ народѣ власть и прекращаетъ ссоры. Мы только, люди высшіе, не слышимъ ея, потому что набрались пустыхъ рыцарски-европейскихъ понятій о правдѣ. Мы только споримъ изъ-за того, кто правъ, кто виноватъ; а если разобрать каждое изъ дѣлъ нашихъ, придешь къ тому же знаменателю, то-есть—оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша въ повѣсти Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика разсудить городового солдата съ бабою, подравшихся въ банѣ за деревянную шайку, снабдила его такою инструкціею: «Разбери, кто правъ, кто виноватъ, да обоихъ и накажи».

1845.

XXVI.

СТРАХИ И УЖАСЫ РОССІИ.

ПИСЬМО КЪ ГРАФИНѢ.....ОЙ.

На ваше длинное письмо, которое вы писали съ такимъ страхомъ, которое просили сей же часъ истребить послѣ прочтенія и на которое отвѣчать не иначе, какъ чрезъ вѣрныя руки, и отнюдь не по почтѣ, я отвѣчаю не только не по секрету, но, какъ вы видите, въ печатной книгѣ, которую, можетъ-быть, прочтетъ половина грамотной Россіи. Побудило меня къ тому то, что, можетъ-быть, мое письмо послужитъ въ то же время отвѣтомъ и прочимъ, которые, подобно вамъ, смущаются тѣми же страхами. То, что, вы мнѣ объявляете по секрету, есть

еще не болѣе какъ одна часть всего дѣла; а вотъ если бы я вамъ разсказалъ то, что я знаю (а знаю я безъ всякаго сомнѣнія далеко еще не все), тогда бы, точно, помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, какъ бы убѣжать изъ Россіи. Но куда бѣжать? вотъ вопросъ. Европѣ пришлось еще труднѣе, нежели Россіи. Разница въ томъ, что тамъ никто еще этого вполнѣ не видитъ. Все, не выключая даже государственныхъ людей, пребываетъ покуда на верхушкѣ верхнихъ свѣдѣній, то-есть, пребываетъ въ томъ заколдованномъ кругѣ познаній, который нанесенъ журналами въ видѣ скороспѣлыхъ выводовъ, опрометчивыхъ показаній, выставленныхъ, сквозь лживыя призмы всякихъ партій, вовсе не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ они есть. Погодите, скоро поднимутся снизу такіе крики, именно въ тѣхъ съ виду благоустроенныхъ государствахъ, которыхъ наружнымъ блескомъ мы такъ восхищаемся, стремясь отъ нихъ все перенимать и приспособлять къ себѣ, что закружится въ головѣ у самыхъ тѣхъ знаменитыхъ государственныхъ людей, которыми вы такъ любовались въ палатахъ и камерахъ. Въ Европѣ завариваются теперь повсюду такія сумятицы, что не поможетъ никакое человѣческое средство, когда онѣ вскроются, и передъ ними будетъ ничтожная вещь тѣ страхи, которые вамъ видятся теперь въ Россіи. Въ Россіи еще брезжитъ свѣтъ, есть еще пути и дороги къ спасенію, и слава Богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «всѣ падаютъ духомъ, какъ бы въ ожиданіи чего-то неизбѣжнаго», равно какъ и слова: «каждый думаетъ только о спасеніи личныхъ выгодъ, о сохраненіи собственной пользы, точно, какъ на полѣ сраженія послѣ потерянной битвы всякій думаетъ только о спасеніи жизни: sauve qui peut», дѣйствительно справедливы; такъ оно теперь дѣйствительно есть; такъ быть должно: такъ повелѣлъ Богъ, чтобъ оно было. Всякъ долженъ подумать теперь о себѣ, именно о своемъ собственномъ спасеніи. Но насталъ другой родъ спасенія. Не бѣжать на кораблѣ изъ земли своей, спасая свое презрѣнное земное имущество; но, спасая свою душу, не выходя вонъ изъ государства, долженъ всякъ изъ насъ спасать себя самого въ самомъ сердцѣ государства. На кораблѣ своей должности, службы долженъ теперь всякъ изъ насъ выноситься изъ омута, глядя на Кормщика Небеснаго. Кто даже и не въ службѣ, тотъ долженъ теперь вступить на службу и ухватиться за свою должность, какъ утопающій хватается за доску, безъ чего не спастись никому. Служить же теперь долженъ изъ насъ всякъ не такъ, какъ бы служилъ онъ въ прежней Россіи, но въ другомъ небесномъ государствѣ, главой котораго уже Самъ Христосъ, а потому и всѣ свои отношенія ко власти-ли, высшей надъ нами, къ людямъ-ли, равнымъ и кружащимся вокругъ насъ, къ тѣмъ-ли, которые насъ ниже и находятся подъ нами, должны мы выполнить такъ, какъ повелѣлъ Христосъ, а не кто другой. И ужъ нечего теперь глядѣть на какіе-нибудь щелчки,

которые стали бы наноситься, отъ кого бы то ни было, нашему честолюбію или самолюбію,—нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому и должна быть выполнена такъ, какъ повелѣлъ Христосъ, а не кто другой. Только однимъ этимъ средствомъ и можетъ всякъ изъ насъ теперь спастись. И плохо будетъ тому, кто объ этомъ не помыслитъ теперь же. Помутится умъ его, омрачатся мысли, и не найдетъ онъ угла, куда скрыться отъ своихъ страховъ. Вспомните *Египетскія тьмы*, которыя съ такой силой передалъ царь Соломонъ, когда Господь, желая наказать однихъ, наслалъ на нихъ невѣдомые, непонятные страхи и тьмы. Слѣпая ночь обняла ихъ вдругъ среди бѣла дня; со всѣхъ сторонъ уставились на нихъ ужасающіе образы; дряхлыя страшилища съ печальными лицами стали неотразимо въ глазахъ ихъ; безъ желѣзныхъ цѣпей сковала ихъ всѣхъ боязнь и лишила всего: всѣ чувства, всѣ побужденія, всѣ силы въ нихъ, погибнули, кромѣ одного страха. И произошло это только въ тѣхъ, которыхъ наказалъ Господь; другіе въ то же время не видали никакихъ ужасовъ: для нихъ былъ день и свѣтъ.

Смотрите же, чтобы не случилось съ вами чего-нибудь подобнаго. Лучше молитесь и просите Бога о томъ, чтобы вразумилъ васъ, какъ быть вамъ на вашемъ собственномъ мѣстѣ и на немъ исполнить все, сообразно съ закономъ Христа. Дѣло идетъ теперь не на шутку. Прежде чѣмъ приходить въ смущенье отъ окружающихъ безпорядковъ, не дурно заглянуть всякому изъ насъ въ свою собственную душу. Загляните также и вы въ свою. Богъ вѣсть, можетъ-быть, тамъ увидите такой же безпорядокъ, за который браните другихъ; можетъ-быть, тамъ обитаетъ растрепанный, неопрятный гнѣвъ, способный всякую минуту овладѣть вашею душою, на радость врагу Христа; можетъ-быть, тамъ поселилась малодушная способность падать на всякомъ шагу въ унынiе—жалкая дочь безвѣрья въ Бога; можетъ-быть, тамъ еще таится тщеславное желанье гоняться за тѣмъ, что блеститъ и пользуется извѣстностію свѣтской; можетъ-быть, тамъ обитаетъ гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить въ ничто все добро, какое имѣемъ. Богъ вѣсть, что можетъ быть въ душѣ нашей. Лучше въ нѣсколько разъ больше смутиться отъ того, что внутри насъ самихъ, нежели отъ того, что внѣ и вокругъ насъ. Что же касается до страховъ и ужасовъ въ Россіи, то они не безъ пользы: посреди ихъ многіе воспитались такимъ воспитаньемъ, котораго не дадутъ никакія школы. Самая затруднительность обстоятельствъ, предоставивши новые изворoты уму, разбудила дремавшія способности многихъ, и въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрываютъ преферансъ, уже незримо образовываются на разныхъ поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дѣла. Еще пройдетъ десятокъ лѣтъ, и вы увидите, что Европа пріѣдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не

продаютъ больше на европейскихъ рынкахъ. Я бы вамъ назвалъ многихъ такихъ, которые составятъ когда-нибудь красоту земли Русской и принесутъ ей вѣковѣчное добро; но къ чести вашего пола я долженъ сказать, что женщинъ еще больше. Цѣлое жемчужное ожерелье ихъ хранитъ моя память. Всѣ онѣ, начиная съ вашихъ дочерей, которыя такъ живо напомнили мнѣ, во сколько разъ родство по душѣ выше всякаго кровнаго родства (дай Богъ, чтобъ наилучшая сестра съ такой готовностью исполняла просьбу своего брата, съ какою онѣ исполняли малѣйшее желаніе души моей),—начиная съ нихъ и продолжая тѣми, о которыхъ вы даже едва слышали, и оканчивая тѣми, о которыхъ вы, можетъ-быть, и не услышите никогда, но которыя совершеннѣе всѣхъ тѣхъ, о коихъ вы слышали. Всѣ онѣ не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себѣ явленье необыкновенное. Только одна Россія могла произвести подобное разнообразіе характеровъ, и только въ нынѣшнее время трудныхъ обстоятельствъ, разслабленья и развращенья общаго, повсемѣстной ничтожности общества могли онѣ образоваться. Но всѣхъ перевысила одна, которую я и въ глаза не знаю, и о которой до меня достигнулъ одинъ только темный разсказъ. Не думалъ я, чтобы могло существовать на землѣ подобное совершенство. Произвести такое умное и великодушное дѣло и произвести его такъ, какъ умѣла сдѣлать она; сдѣлать такъ, чтобы отклонить отъ себя и подозрѣнье въ ея собственномъ участіи и разложить весь подвигъ на другихъ такимъ образомъ, что эти другіе стали хвастаться ею сдѣланнымъ дѣломъ, какъ бы собственнымъ своимъ, въ полной увѣренности, что они его сдѣлали; такъ умно обдумать уже впередъ, какъ убѣжать отъ извѣстности, тогда какъ само дѣло уже необходимо должно бы кричать о себѣ и обнаружить ее, успѣть въ этомъ и остаться въ неизвѣстности—нѣтъ, подобной мудрости еще не встрѣчалъ я ни въ комъ изъ нашей братьи мужескаго пола! И передо мною показались въ ту минуту блѣдными всѣ женскіе идеалы, создаваемые поэтами: они то же передъ этой истиной, что бредъ воображенья передъ полнымъ разумомъ. Жалки мнѣ также показались въ эту минуту всѣ тѣ женщины, которыя гонятся за блистающей извѣстностью. И гдѣ же явилось такое чудо? Въ незамѣтномъ захолустьѣ Россіи, въ то время именно, когда стало труднѣй изворачиваться человѣку, когда запутались обстоятельства всѣхъ, и наступили пугающіе васъ страхи и ужасы Россіи.

1846.

XXVII.

БЛИЗОРУКОМУ ПРІЯТЕЛЮ.

Вооружился взглядомъ современной близорукости и думаешь, что вѣрно судишь о событіяхъ! Выводы твои—гниль: они сдѣланы

безъ Бога. Что ссылаешься ты на исторію? Исторія для тебя мертва,— только закрытая книга. Безъ Бога не выведешь изъ нея великихъ выводовъ; выведешь одни только ничтожные и мелкіе. (Россія не Франція; элементы французскіе—не русскіе). Ты позабылъ даже своеобразность каждаго народа и думаешь, что одни и тѣ же событія могутъ дѣйствовать одинакимъ образомъ на каждый народъ. Тотъ же самый молотъ, когда упадаетъ на стекло, раздробляетъ его вдребезги, а когда упадаетъ на желѣзо, куетъ его. Мысли твои (о финансахъ) основаны на чтеніи иностранныхъ книгъ да на англійскихъ журналахъ, а потому суть мертвыя мысли. Стыдно тебѣ, будучи умнымъ человѣкомъ, не войти до сихъ поръ въ собственный умъ свой, который могъ бы самобытно развиться, а захламостить его чужеземнымъ навозомъ. Не вижу и въ проектахъ твоихъ участія Божьяго; не слышу въ словахъ письма твоего, несмотря на весь блескъ ума и остроумія, чтобы Богъ присутствовалъ въ твоихъ мысляхъ въ то время, когда ты писалъ его; не вижу я на твоей мысли освященія небеснаго. Нѣтъ, не сдѣлаешь ты добра (на своей должности), хотя и желаешь того; не принесутъ твои дѣла того плода, котораго ждешь. Съ прекрасными намѣреніями можно сдѣлать зло, какъ уже многіе и сдѣлали его. Въ послѣднее время не столько безпорядковъ произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадѣялись на свои силы да на умъ свой. Ты гордъ, и чѣмъ же гордъ? хоть бы уже своимъ умомъ; нѣтъ, ты загромоздилъ соромъ свой умъ, дѣйствительно замѣчательный и великій, и сдѣлалъ его чужестранцемъ самому себѣ. Ты гордъ чужимъ, мертвымъ умомъ и выдаешь его за свой. Смотри за собою; ты ходишь опасно. Ты мѣтишь въ государственные люди, и будешь человѣкомъ государственнымъ, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тѣмъ строже теперь смотри за собою. Не заводи этихъ улучшеній, которыми уже наполнилась твоя голова (еще прежде, чѣмъ ты вступилъ въ свою должность), и помни, что всякимъ малѣйшимъ неосмотрительнымъ поступкомъ можно произвести теперь большое зло. Уже и въ твоихъ нынѣшнихъ проектахъ видна скорѣе боязнь, нежели предусмотрительность. Всѣ мысли твои направлены къ тому, чтобы избѣгнуть чего-то угрожающаго въ будущемъ. Не будущаго, но настоящаго опасайся. О настоящемъ велитъ намъ заботиться Богъ. Кто омрачается боязнію отъ будущаго, отъ того, значитъ, уже отступилась святая сила. Кто съ Богомъ, тотъ глядитъ свѣтло впередъ и есть уже въ настоящемъ творецъ блистающаго будущаго. А ты гордъ: ты и теперь уже ничего не хочешь видѣть; ты самоувѣренъ; ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что всѣ обстоятельства (Россіи) тебѣ открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не можетъ; ты стремишься изо всѣхъ силъ быть похожимъ на тѣхъ (государственныхъ) людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имѣли въ себѣ все для того, чтобы сдѣлать множество добра, которые

даже пламенѣли желаніемъ сдѣлать добро, даже работали, какъ муравьи, всю свою жизнь, и при всемъ томъ не осталось послѣ нихъ никакого слѣда, и самая память о нихъ позабыта: какъ исчезнувшій кругъ на водѣ, исчезнула жизнь ихъ посреди Россіи. И до сихъ поръ еще, къ нашему стыду, указываютъ намъ европейцы на своихъ великихъ людей, которыхъ умнѣе бываютъ у насъ иногда и невеликіе люди; но тѣ хоть какое-нибудь оставили послѣ себя дѣло *прочное*, а мы производимъ кучи дѣлъ—и всѣ, какъ пыль, сметаются они съ земли вмѣстѣ съ нами. «Ты гордъ»—говорю тебѣ, и вновь повторяю тебѣ: «ты гордъ»; сторожи надъ собою и спасай себя отъ гордости заранѣе. Начни съ того, что увѣрь самого себя, что ты всѣхъ глупѣе и что съ этихъ только поръ слѣдуетъ серьезно поумнѣть тебѣ, и слушай съ такимъ вниманіемъ всякаго дѣльца, какъ бы ровно ничего не зналъ и всему отъ него хотѣлъ поучиться. Но тебѣ еще загадка слова мои; они на тебя не подѣйствуютъ. Тебѣ нужно или какое-нибудь несчастіе, или потрясеніе, чтобы встрѣтилась тебѣ какая-нибудь невыносимѣйшая непріятность (на службѣ), чтобы нашелся такой человѣкъ, который сильно оскорбилъ бы тебя и опозорилъ такъ въ виду всѣхъ, что отъ стыда не зналъ бы ты, куда сокрыться, и разорвалъ бы однимъ разомъ всѣ чувствительнѣйшія струны твоего самолюбія. Онъ будетъ твой истинный братъ и избавитель. О, какъ намъ бываетъ нужна публичная, данная въ виду всѣхъ, оплеуха!

1844.

XXXVIII.

ЗАНИМАЮЩЕМУ ВАЖНОЕ МѢСТО.

Во имя Бога берите всякую должность, какая-бъ ни была вамъ предложена, и не смущайтесь ничѣмъ. Придется ли вамъ ѣхать къ черкесамъ на Кавказъ или попрежнему занять мѣсто генералъ-губернатора—вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которыхъ вы говорите, то все теперь затруднительно; все стало сложно; вездѣ много работы. Чѣмъ больше вхожу умомъ въ существо нынѣшнихъ вещей, тѣмъ менѣе могу рѣшить, какая должность теперь труднѣе и какая легче. Для того, кто нехристіанинъ, все стало теперь трудно; для того же, кто внесъ Христа во всѣ дѣла и во всѣ дѣйствія своей жизни, все легко. Не скажу вамъ, чтобы вы сдѣлались вполнѣ христіаниномъ, но вы близки къ тому. Васъ не шевелитъ уже честолюбіе, васъ не завлекаютъ впередъ уже ни чины, ни награды; вы уже вовсе не думаете о томъ, чтобы порисоваться передъ Европой и сдѣлать изъ себя историческое лицо. Словомъ—вы взошли именно на ту степень состоянія душевнаго, на которой нужно быть тому, кто захотѣлъ бы сдѣлать теперь пользу Россіи. Чего-жъ вамъ бояться? Я даже не понимаю, какъ можетъ чего-либо бояться тотъ, кто уже постигнулъ.

что нужно дѣйствовать повсюду, какъ христіанинъ. Онъ на всякомъ мѣстѣ мудрецъ, вездѣ знатель дѣла. Поѣдете вы на Кавказъ—вы прежде всего пристально осмотритесь. Христіанское смиреніе васъ не допуститъ ни къ какой быстрой поспѣшности. Вы, какъ ученикъ, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного стараго офицера, не разспросивъ его о его собственноличныхъ схваткахъ съ непріятелемъ, зная, что только изъ знанія подробностей выводится знаніе цѣлаго. Вы заставите всѣхъ разсказать себѣ порознь всѣ подвиги бранной и бивачной жизни; разспросите и циціановцевъ, и ермоловцевъ, и офицеровъ нынѣшней эпохи и, когда заберете все, что нужно, обнимете всѣ частности, соедините всѣ отдѣльныя цифры и подведете имъ итогъ—выйдетъ въ итогѣ самъ собою планъ полководцу: не нужно будетъ и головы ломать, ясно будетъ все, какъ день, что вамъ нужно дѣлать. И когда весь планъ будетъ уже въ головѣ вашей, вы и тогда не будете торопиться; христіанское смиреніе васъ къ тому не допуститъ. Не объявляя его никому, вы разспросите всякаго замѣчательнаго офицера, какъ бы онъ поступилъ на вашемъ мѣстѣ; вы не оставите неуслышаннымъ ни одного мнѣнія, ни даже совѣта отъ кого бы то ни было, хотя бы отъ стоящаго на низкомъ мѣстѣ, зная, что иногда Богъ можетъ внушить и простому человѣку умное мнѣніе. Для этого вы не станете собирать военныхъ совѣтовъ, зная, что не въ преньяхъ и спорахъ дѣло, но поодиночкѣ выслушаете каждаго, кто бы ни захотѣлъ съ вами говорить. Словомъ, вы всѣхъ выслушаете, но сдѣлаете такъ, какъ повелитъ вамъ ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелитъ вамъ разумно, потому что всѣхъ выслушаетъ. Вы будете не въ состояніи сдѣлать неразумное дѣло, потому что неразумныя дѣла дѣлаются отъ гордости и увѣренности въ себѣ. Но христіанское смиреніе спасетъ васъ повсюду и отгонитъ то самоослѣпленіе, которое находитъ на многихъ даже очень умныхъ людей, которые, узнавши только одну половину дѣла, уже думаютъ, что узнали все, и летятъ опрометью дѣйствовать; тогда какъ, увы, даже и въ томъ дѣлѣ, которое повидимому, насквозь намъ извѣстно, можетъ скрываться цѣлая половина неизвѣстная. Нѣтъ, Богъ отъ васъ отгонитъ это грубое ослѣпленіе. Чего-жъ вамъ бояться Кавказа?

Придется ли вамъ попрежнему быть генералъ-губернаторомъ гдѣ-нибудь въ Россіи—та же христіанская мудрость осѣнитъ васъ. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри Россіи,—гораздо труднѣе, чѣмъ когда-либо прежде и, можетъ-быть, труднѣе чѣмъ на Кавказѣ: много злоупотребленій; завелись такія лихоимства, которыхъ истребить нѣтъ никакихъ средствъ человѣческихъ. Знаю и то, что образовался другой незаконный ходъ дѣйствій мимо законовъ государства и уже обратился почти въ законный, такъ что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально въ то самое, на что другіе глядятъ поверхностно, не подозрѣвая ничего,

то закружится голова у наиумнѣйшаго человѣка. Но вы и тутъ поступите умно. Христіанское смиреніе заставитъ васъ и здѣсь не предаваться покуда выводамъ гордаго ума, но терпѣливо обсмотрѣться. Зная, подъ какимъ множествомъ вліяній постороннихъ находится теперь всякъ человѣкъ, и какъ всѣ они имѣютъ соприкосновеніе съ отправленіемъ его должности, вы прежде полюбопытствуете узнать каждаго изъ занимающихъ главныя должности, узнать его со всѣхъ сторонъ съ его домашней и семейной жизнью, съ его образомъ мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпіоновъ. Нѣтъ, вы разспросите его самого. Онъ вамъ скажетъ все и съ вами разговорится, потому что въ лицѣ вашемъ есть уже что-то такое, что внушаетъ къ вамъ довѣрчивость во всѣхъ; съ помощью этого вы узнаете то, чего не узнаетъ никогда крикунъ-нахрапъ, или такъ-называемый распекатель. Вы не будете преслѣдовать за несправедливость никого отдѣльно до тѣхъ поръ, покуда не выступитъ передъ вами ясно вся цѣпь, необходимымъ звеномъ которой есть вами замѣченный чиновникъ. Вы уже знаете, что вина такъ теперь разложилась на всѣхъ, что никакимъ образомъ нельзя сказать вначалѣ, кто виноватъ болѣе другихъ: есть безвинно-виноватые и виновно-невинные. По этому-то самому вы теперь будете несравненно осторожнѣй и осмотрительнѣй, чѣмъ когда-либо прежде. Вы станете покрѣпче всматриваться въ душу человѣка, зная, что въ ней ключъ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а безъ того не сдѣлать ничего. А узнавать душу можетъ одинъ только тотъ, кто началъ уже работать надъ собственной душой своей, какъ начали это дѣлать теперь вы. Если вы узнаете плута не только какъ плута, но и какъ человѣка вмѣстѣ, если вы узнаете всѣ душевныя его силы, данныя ему на добро и которыя онъ поворотилъ во зло или вовсе не употребилъ, тогда вы сумѣете такъ попрекнуть его имъ же самимъ, что онъ не найдетъ себѣ мѣста, куда ему укрыться отъ самого же себя. Дѣло вдругъ приметъ другой оборотъ, если покажешь человѣку—чѣмъ онъ виноватъ передъ самимъ собой, а не передъ другимъ. Тутъ потрясешь такъ его всего, что въ немъ явится вдругъ отвага быть другимъ, и тогда только вы почувствуете, какъ благодарна наша русская порода, даже и въ плутѣ. Ваше нынѣшнее генералъ-губернаторство будетъ совсѣмъ другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежняго управленія (которое однакожъ принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите) состояла, по моему мнѣнію, именно въ томъ, что вы не вполнѣ вѣрно опредѣлили себѣ существо этой должности. Вы приняли генералъ-губернатора за постояннаго начальника и хозяйственнаго правителя губерніи, котораго благодѣтельное вліяніе можетъ быть ощутительно въ губерніи только отъ долговременнаго его пребыванія на одномъ мѣстѣ. Одинъ государственный нашъ мужъ опредѣлилъ такъ эту должность: «генералъ-губернаторъ есть министръ

внутреннихъ дѣлъ, остановившійся на дорогѣ». Опредѣленіе это точно и болѣе согласно съ тѣмъ, чего требуетъ само правительство отъ этой должности. Должность эта болѣе временная, чѣмъ постоянная. Генералъ-губернаторъ посылается затѣмъ, чтобы ускорить біеніе государственнаго пульса внутри губерніи, привести въ быстрѣйшее движеніе все правительственное производство въ губернскихъ мѣстахъ, какъ связанныхъ между собою, такъ и независимыхъ, состоящихъ подъ управленіемъ отдѣльныхъ министерствъ, дать толчокъ всему, своимъ полномочіемъ облегчить затруднительность многихъ мѣстъ въ ихъ сношеніяхъ съ отдаленными министерствами, не внося никакихъ новыхъ элементовъ и ничего не заводя отъ себя, все заставить обращаться быстрѣй въ законахъ и границахъ, уже указанныхъ и опредѣленныхъ. Власть эту, состоящую въ верховномъ блюденіи надъ тѣмъ, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который самъ долженъ изворачиваться въ хозяйствѣ и принять на себя всѣ мелочные расходы; вы захватили себѣ часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генералъ-губернатору, и этимъ самымъ уменьшили значеніе высшей вашей должности. Вы сочли ваше мѣсто пожизненнымъ, вы захотѣли вашими собственными учрежденіями оставить по себѣ памятникъ вашего пребыванія— стремленіе прекрасное, но если-бъ вы уже тогда были тѣмъ, чѣмъ вы есть теперь, то-есть, болѣе христіаниномъ, вы позаботились бы и о другомъ памятникѣ. Устроить дороги, мосты и всякія сообщенія, и устроить ихъ такъ умно, какъ устроили ихъ вы, есть дѣло истинно нужное; но угладить многія внутреннія дороги, которыя до сихъ поръ задерживаютъ русскаго человѣка въ стремленьи къ полному развитію силъ его и которыя мѣшаютъ ему пользоваться какъ дорогами, такъ и всякими другими внѣшностями образованія, о которыхъ мы такъ усердно хлопочемъ, есть дѣло еще нужнѣйшее. Пушкинъ, когда видѣлъ заботу не о главномъ, но о томъ, что уже исходитъ изъ главнаго, обыкновенно выражался пословицей: «было бы корыто, а свиньи будутъ». Мосты, дороги и всѣ эти сообщенія суть свиньи, а не что-либо другое: были бы города, а они сами прибѣгутъ. Въ Европѣ о нихъ не много хлопотали, но какъ только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели ихъ безъ всякаго пособія правительствъ, и теперь развилось ихъ такое множество, что стали уже серьезно задавать другъ другу вопросы: «Зачѣмъ эта скорость сообщеній? Что выиграло человѣчество чрезъ эти желѣзныя и всякія дороги, что пріобрѣло оно во всѣхъ родахъ своего развитія, и что пользы въ томъ, что одинъ городъ теперь обѣднѣлъ, а другой сдѣлался толкучимъ рынкомъ, да увеличилось число праздношатающихся по всему міру?» Въ Россіи давно бы уже завелась вся эта дрянь сама собою, съ такими удобствами, какихъ и въ Европѣ нѣтъ, если бы только многіе изъ насъ позаботились прежде о дѣлѣ внутреннемъ такъ, какъ слѣ-

дуетъ. «О семъ помыслите прежде», сказалъ Спаситель, «а сія вся вамъ приложатся». Ваши подвиги въ отношеніи нравственномъ были гораздо значительнѣй. Кого я ни слышалъ, всѣ отзываются съ уваженіемъ о вашихъ распоряженіяхъ; всѣ говорятъ, что вы искоренили многія неправды, что постановили многихъ истинно-благородныхъ и прекрасныхъ чиновниковъ. Я это узналъ, хотя вы по скромности мнѣ не сказали. Но вы бы сдѣлали еще болѣе, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время, и что не о томъ слѣдовало заботиться, чтобъ только при васъ все было хорошо, но именно о томъ, чтобы послѣ васъ все было хорошо. Вы должны были безпрестанно представлять себѣ, что послѣ васъ приметъ эту должность слабый и бездарный послѣдователь, который не только не поддержитъ вами заведеннаго порядка, но еще испортитъ его, а потому уже съ самаго начала вы должны были помышлять о томъ, чтобы дѣйствовать такъ прочно и закалить сдѣланное такъ крѣпко, чтобы послѣ васъ никто уже не могъ своротить того, что разъ направлено. Вы должны были рубить зло въ корнѣ, а не въ вѣтвяхъ, и дать такой толчокъ всеобщему движенію всего, чтобы послѣ васъ пошла сама собой работать машина, такъ чтобы не зачѣмъ было надъ ней стоять и надсмотрщику, и симъ только воздвигнули бы памятникъ вѣчный вашего генералъ-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсѣмъ поступите иначе, а потому не пренебрегайте никакъ этой должности, если-бъ она была вамъ вновь предложена. Никогда не былъ еще такъ важенъ и нуженъ генералъ-губернаторъ, какъ въ нынѣшнее время. Я вамъ назову уже нѣсколько подвиговъ такихъ, которыхъ никто теперь не можетъ сдѣлать кромѣ генералъ-губернатора.

Во-первыхъ, ввести всякую должность въ ея законныя границы и всякаго чиновника губерніи въ полное познаніе его должности. Это дѣло очень не бездѣльное. Въ послѣднее время всѣ почти губернскія должности нечувствительнымъ образомъ выступили изъ предѣловъ и границъ, указанныхъ закономъ. Однѣ слишкомъ стали обрѣзаны и стѣснены, другія раздвинулись въ дѣйствіяхъ въ ущербъ прочимъ: прямыя мѣста обезсилѣли и ослабѣли отъ введенія множества косвенныхъ и временныхъ. Въ послѣднее время стали особенно чувствоваться полномочіе и развязанныя руки тамъ, гдѣ нужно препятствовать въ дѣйствіяхъ, и связанныя руки тамъ, гдѣ нужно споспѣшествовать имъ. Возвратить всякую должность въ ея законный кругъ тѣмъ болѣе стало теперь трудно, что сами чиновники сбились въ своихъ понятіяхъ о ней. Получая ее по наслѣдству отъ предшественника въ томъ видѣ, какой далъ ей послѣдній, они всѣ соображаются болѣе или менѣе съ этимъ видомъ, а не съ первообразомъ ея, который уже почти вышелъ у всѣхъ изъ головы. Отъ этого многіе благонамѣренные и даже весьма умные начальники хотѣли уже уничтожить или вовсе преобразовать тѣ должности, которыя слѣдовало только возвратить

себѣ. Дѣло это можетъ произвести только высшій и полномочный начальникъ, если онъ не пренебрежетъ вникнуть самъ въ существо всякой должности. Всѣ наши должности въ ихъ первообразѣ прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Разсмотримъ нарочно организмъ губерніи.

Первое лицо—губернаторъ; онъ является въ нѣсколькихъ видахъ своей власти. Онъ начальникъ и правитель полномочный во всемъ, что ни относится до хозяйственнаго и полицейскаго управленія по всей губерніи, какъ городового (разумѣя здѣсь все, что ни относится ко внутреннему устройству городовъ и содержанью среди ихъ порядка) такъ и земскаго, включая сюда все, что производится въ земляхъ внѣ городовъ: взъемъ податей, распредѣленье повинностей, устройство дорогъ, постройки и поправки всѣхъ родовъ. Въ первомъ случаѣ въ его полномъ и непосредственномъ распоряженіи губернскій полицмейстеръ и городничіе всѣхъ городовъ; во второмъ случаѣ—капитанъ-исправники и земскіе засѣдатели, которые относятся къ нему посредствомъ губернскаго правленія, образованнаго въ духѣ коллегіальныхъ правленій съ совѣтниками, а не въ видѣ собственной канцеляріи съ секретаремъ, такъ что отвѣтственность во всякомъ важномъ злоупотребленіи, если бъ его сдѣлалъ губернаторъ, падаетъ непремѣнно на совѣтниковъ и чиновниковъ, и при всемъ полномочьи своемъ онъ уже ограниченъ. Онъ болѣе нежели присутственный членъ и свидѣтель дѣловыхъ производствъ въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, отъ него вовсе не зависящихъ и состоящихъ подъ управленіемъ своихъ особыхъ министерствъ; если только эти мѣста совершаютъ какія-нибудь сдѣлки и условія, относительно ли отдачи внаймы или на откупа казенныхъ земель, озеръ, или вообще относительно всякихъ продажъ, закупокъ и совершенія на нихъ условій, онъ долженъ быть уже тамъ. Никакіе казенные подряды и сдѣлки не могутъ быть произведены безъ его личнаго присутствія. Такимъ образомъ мѣста, вовсе отъ него не зависящія относительно внутреннихъ своихъ производствъ, уже обрѣзаны его присутствіемъ на всѣхъ путяхъ къ злоупотребленіямъ.

Весь снарядъ юстиціи, какъ-то: всѣ суды уѣздные, такъ и высшая ихъ инстанція—гражданская палата, находясь въ полномъ завѣдываніи своего министерства, кажется, въ независимости отъ губернатора, но на всѣхъ путяхъ несправедливостей они ограничены на всякомъ шагу губернаторомъ, который во время объѣздовъ своихъ по всей губерніи, случающихся не менѣе двухъ разъ въ годъ, имѣетъ право, заглянувши въ судъ, потребовать на выдержку два-три рѣшенныя дѣла, провѣрить ихъ у себя на дому, вмѣстѣ съ секретаремъ своимъ, и такимъ образомъ держать въ страхѣ ихъ всѣхъ. Словомъ—не имѣя никакого начальства надъ мѣстами, зависящими отъ другихъ начальниковъ, онъ имѣетъ право остановить злоупотребленье повсюду, гдѣ бы оно ни было.

На дворянъ онъ можетъ имѣть только вліяніе нравственное. Въ обрядѣ же должностныхъ его соприкосновеній съ дворянствомъ устроено такъ, чтобы онъ имѣлъ съ ними дѣло въ лицѣ ихъ же представителя, губернскаго предводителя, и такимъ образомъ посредствомъ его одного поладить съ ними со всѣми; и здѣсь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься съ ними со всѣми и ладить, принимая въ соображеніе то различіе воспитаній, нравовъ, образовъ мыслей и то безчисленное разнообразіе характеровъ, какого не представляетъ ни одно изъ европейскихъ дворянствъ и которое заключилось только въ нашемъ. Званіе предводителя дворянства, будучи почти равное чиномъ званію губернатора, имѣя право на первое мѣсто послѣ него въ губерніи, уже симъ самымъ указываетъ имъ на необходимость быть друзьями, иначе имъ обоимъ было бы неловко въ отношеніяхъ свѣтскихъ и непросторно на поприщѣ должностномъ. Самыя мѣста капитанъ-исправника и засѣдателей, которые, будучи избираемы дворянствомъ, находятся потомъ въ полной зависимости отъ губернатора, указываютъ на необходимость взаимнаго подкрѣпленія одного въ другомъ. Грозя именемъ губернатора, предводитель можетъ много сдѣлать тамъ, гдѣ не хватитъ собственной власти; равно какъ и губернаторъ посредствомъ предводителя можетъ успѣшнѣе и сильнѣе дѣйствовать на дворянъ.

Всюду могутъ случиться просмотры, неправда можетъ проскользнуть вездѣ; за самимъ губернаторомъ могутъ завестись грѣхи. И это предусмотрѣно: есть отдѣльное лицо, отъ всѣхъ независимое, долженствующее держать себя отъ всѣхъ въ сторонѣ, даже и отъ самого губернатора—это прокуроръ, который есть око закона, безъ котораго ни одна бумага не можетъ выйти изъ губерніи. Ни одно производство дѣлъ по всѣмъ губернскимъ мѣстамъ не можетъ его миновать. Оно не рѣшено, если онъ не помѣтилъ на всѣхъ его страницахъ свое слово: «читалъ». Никому не подлежитъ онъ самъ во всей губерніи; никому не даетъ отчета, кромѣ министра юстиціи, съ которымъ однимъ только въ прямомъ сношеніи, и всегда можетъ подать протестъ на все, что ни вершится въ губерніи.

Словомъ—все полно и вездѣ слышна законодальная мудрость какъ въ установленіи самихъ властей, такъ и въ соприкосновеніяхъ ихъ между собою. Я уже и не говорю о тѣхъ учрежденіяхъ, гдѣ еще далѣе простерлось правительственное предвидѣнье, упомяну только о совѣстномъ судѣ, подобнаго которому не знаю въ другихъ государствахъ. По моему мнѣнію, это верхъ человѣколюбія, мудрости и познанія душевнаго. Всѣ тѣ случаи, гдѣ тяжело и жестоко прикосновеніе закона; всѣ дѣла, относящіяся до малолѣтнихъ, умалишенныхъ; все, что можетъ рѣшить одна только совѣсть человѣка, и гдѣ можетъ быть несправедливъ справедливѣйшій законъ; все, что должно быть кончено полюбовно и миролюбиво въ высокомъ христіанскомъ смыслѣ,

безъ проволочекъ по высшимъ инстанціямъ—есть уже его предметъ. И какъ умно, что выборъ совѣстнаго судьи зависитъ отъ дворянства, которое избираетъ обыкновенно на это мѣсто того, на кого падаетъ всеобщій голосъ, какъ на человѣколюбивѣйшаго и безкорыстнѣйшаго человѣка. Какъ хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никакихъ наградъ, и что нѣтъ здѣсь никакой мірской приманки человѣку. Одно время мнѣ очень желалось занять это мѣсто. Какъ много можно рѣшить на немъ запутаннѣйшихъ спорныхъ дѣлъ! Сами тяжущіеся мимо собственныхъ выгодъ своихъ перенесутъ дѣло въ совѣстный судъ, какъ только пронесется слухъ, что судья судитъ истинно по совѣсти и уже прославился мудростью своего божескаго суда. Кому изъ насъ не хочется примириться?

Однимъ словомъ, чѣмъ больше всматриваешься въ организмъ управленія губерній, тѣмъ болѣе изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Самъ Богъ строилъ незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно такъ, чтобы споспѣшествовать въ добрыхъ дѣйствіяхъ, подавая руку другъ другу, и останавливать только на пути къ злоупотребленіямъ. Я даже и придумать не могу, для чего тутъ нуженъ какой-нибудь прибавочный чиновникъ; всякое новое лицо тутъ не у мѣста, всякое нововведеніе ненужная вставка; а между тѣмъ нашлись же такіе правители губерній, какъ вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разныхъ чиновниковъ по особымъ порученіямъ, множество всякихъ временныхъ и слѣдственныхъ комитетовъ, разложили и раздробили дѣйствія всякой должности и сбили чиновниковъ такъ, что они потеряли и послѣднія понятія о предѣлахъ точныхъ своего поприща. Хорошо, что вы этого не сдѣлали, потому что вы и тогда понимали это дѣло лучше другихъ. Вы очень хорошо знаете, что приставить новаго чиновника для того, чтобы ограничить прежняго въ его воровствѣ, значитъ сдѣлать двухъ воровъ намѣсто одного. Да и вообще система ограниченія самая мелочная система. Человѣка нельзя ограничить человѣкомъ; на слѣдующій годъ окажется надобность ограничить и того, который приставленъ для ограниченія, и тогда ограниченіямъ не будетъ конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всѣмъ другимъ системамъ отрицательнымъ, могла образоваться только въ государствахъ колоніальныхъ, которыя составились изъ народа всякаго сброда, не имѣющаго національной цѣлизны и духа народнаго, гдѣ неизвѣстны ни самоотверженіе, ни благородство, а только однѣ корыстныя личныя выгоды. Нужно оказать довѣріе къ благородству человѣка, а безъ того не будетъ вовсе благородства. Кто знаетъ, что на него глядятъ подозрительно, какъ на мошенника, и приставляютъ къ нему со всѣхъ сторонъ надсмотрщиковъ, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать ихъ; нужно напирать на то, чтобы каждый держалъ самъ себя въ рукахъ, а не на то, чтобы

его держали другіе; чтобы онъ былъ строже къ себѣ въ нѣсколько разъ самого закона, чтобы онъ видѣлъ самъ, чѣмъ онъ подлецъ передъ своей должностью; словомъ—чтобы онъ былъ введенъ въ значеніе высшей своей должности. А это можетъ сдѣлать только одинъ генералъ-губернаторъ, если онъ не пренебрежетъ постигнуть самъ всякую должность въ ея истинномъ существѣ и мысленно прослужить самъ на мѣстѣ того чиновника, котораго бы захотѣлъ онъ ввести въ полное значеніе должности. Вслѣдствіе этого всѣ ваши сношенія съ чиновниками будутъ самоличны, безъ всякихъ секретарей и мертвой бумажной переписки, а отъ этого и ваша собственная канцелярія сдѣлается маленькой и вовсе не будетъ походить на тѣ чудовищныя, огромныя канцеляріи, какія заводятъ другіе начальники. Эти же громадныя канцеляріи, какъ вы уже сами знаете, наносятъ много вреда тѣмъ, что отберутъ у всѣхъ чиновниковъ ихъ дѣло, образуютъ собою вдругъ новую инстанцію и, стало-быть, новыя затрудненія, дадутъ нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримому, въ видѣ простого секретаря, но чрезъ руки котораго станутъ проходить всѣ дѣла; у секретаря явится какая-нибудь любовница, изъ-за нея интриги, ссоры, а съ ними вмѣстѣ и самъ чортъ путаницы, который какъ тутъ во всякое время; и дѣло кончится тѣмъ, что, сверхъ нанесенія новыхъ безпорядковъ и сложностей, пожрется несмѣтное количество казенныхъ суммъ. Храни васъ Богъ отъ заведенія канцеляріи. Иначе и не объясняйтесь ни съ кѣмъ, какъ лично. Какъ можно пренебречь разговоромъ съ человѣкомъ, особенно, если разговоръ близокъ къ нему самому, къ исполненію его обязанностей и долга, стало-быть, близокъ къ самой душѣ его? Какъ можно промѣнять такой разговоръ на пустые газетные толки и мертвыя рѣчи о всякомъ враньѣ, набираемомъ изъ лживыхъ европейскихъ журналовъ? О долгѣ человѣка можно такъ разговориться, что обоимъ покажется, какъ бы они бесѣдуютъ съ ангелами въ присутствіи Самого Бога. Говорите же такъ съ вашимъ подчиненнымъ, то есть—наставительно и питательно его душѣ! Не забудьте, что—на русскомъ языкѣ. Я разумѣю не тотъ языкъ, который изворачивается теперь въ житейскомъ обиходѣ, и не книжный языкъ, и не языкъ, образовавшійся во время всякихъ злоупотребленій нашихъ, но тотъ истинно-русскій языкъ, который незримо носится по всей Русской землѣ, несмотря на чужеземствованіе наше въ землѣ своей, который еще не прикасается къ дѣлу жизни нашей, но, однакожъ, всѣ слышатъ, что онъ истинно-русскій языкъ. На этомъ языкѣ начальникъ называется отцомъ. Будьте же съ ними, какъ отецъ съ дѣтьми; а отецъ съ дѣтьми не заводитъ бумажныхъ переписокъ и напрямикъ изъясняется съ каждымъ изъ нихъ. Такъ поступая, введете каждаго вы въ познаніе его должности и сдѣлаете истинно-великій подвигъ.

А вотъ вамъ другой подвигъ, котораго никто не можетъ совершить,

кромѣ генералъ-губернатора, и который въ нынѣшнее время есть дѣло даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство въ познаніе истинное своего званія. Сословіе это въ своемъ истинно-русскомъ ядрѣ прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышитъ. Многіе едва только догадываются, другіе пребываютъ въ совершенномъ объ этомъ невѣжествѣ, третьи берутъ себѣ въ идеалъ дворянства государствъ иностранныхъ, четвертые даже не задаютъ себѣ вопроса: нужно ли на свѣтѣ дворянство? Если же и находятся между ними такіе, которые имѣютъ объ этомъ какія-нибудь свѣтлыя мысли, то мысли эти еще не раздаются въ массахъ, и масса ихъ не слышитъ. Въ послѣднее время, кромѣ всего прочаго, возстановился даже въ дворянствѣ нѣкоторый духъ недовѣрія къ правительству. Во время послѣднихъ европейскихъ возмущеній и всякаго рода смутъ нѣкоторые изъ злоумышленниковъ старались особенно распустить въ нашемъ дворянствѣ слухъ, будто правительство ищетъ обезсилить ихъ значеніе и довести ихъ до ничтожества. Бѣглецы, выходцы за границу и всякаго рода недоброжелатели Россіи писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранныхъ газетъ, съ тѣмъ именно умысломъ, чтобы заронить вражду между дворянствомъ и правительствомъ: съ одной стороны показать государю Россіи партію какихъ-то фантастическихъ бояръ, оспаривающихъ самую власть; а съ другой стороны показать дворянству, что государь не благоволитъ къ нимъ и вообще не любитъ этого званія, то-есть, имъ хотѣлось заварить въ Россіи какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самимъ сыграть какую-нибудь роль. Расчетъ былъ на то, что взаимное опасеніе и подозрительность есть страшная вещь и можетъ со временемъ произвести дѣйствительно разрывъ самыхъ священнѣйшихъ связей. Но, слава Богу, уже прошли тѣ времена, чтобы нѣсколько сорванцовъ могли возмутить цѣлое государство. Проектъ такъ и остался фантастическимъ проектомъ, тѣмъ не менѣе однакожъ искры недоразумѣній и взаимнаго недовѣрія заронились, и я знаю многихъ дворянъ, которые увѣрены серьезно, что государь не любитъ ихъ сословія, и отъ этого даже тоскуютъ. Дѣло это имъ разрѣшите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любитъ это сословіе больше всѣхъ другихъ, но любитъ его въ его истинно-русскомъ значеніи, въ томъ прекрасномъ видѣ, въ какомъ оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не можетъ быть иначе. Ему ли не любить цвѣтъ своего народа? а у насъ дворянство есть цвѣтъ нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословіе. Но слѣдуетъ, чтобы дворянство само себя показало и опредѣлило значеніе своего званія, потому что въ томъ видѣ, въ какомъ оно теперь, при этомъ отсутствіи единства въ общемъ духѣ, при этомъ разнообразіи мыслей, воспитанія, жизни, привычекъ, при такомъ сбивчивомъ образѣ понятій о самихъ себѣ

никому не могутъ они подать дѣйствительной и полной идеи о томъ, что такое въ нашей землѣ дворянство. А оттого никакой мудрецъ не можетъ теперь знать, какъ ему съ ними быть. Слѣдуетъ, чтобы дворянство само вступило въ свое истинное и полное значеніе. И здѣсь-то вы можете истинно имъ всѣмъ помочь, потомъ что, будучи сами русскій дворянинъ и уже понимая высшее значеніе нашего дворянства, вы лучше всѣхъ будете въ силахъ это объяснить. Не нужно для этого много словъ, потому что начало всего того, что вы имъ объявите, у нихъ въ груди. Дворянство наше представляетъ явленіе, точно, необыкновенное. Оно образовалось у насъ совсѣмъ иначе, нежели въ другихъ земляхъ. Началось оно не насильственнымъ приходомъ, въ качествѣ вассаловъ съ войсками, всегдашнихъ оспаривателей верховной власти и вѣчныхъ угнетателей сословія низшаго; началось оно у насъ личными выслугами предъ царемъ, народомъ и всей землей, выслугами, основанными на достоинствахъ нравственныхъ, а не на силѣ. Въ нашемъ дворянствѣ нѣтъ гордости какими-нибудь преимуществами своего сословія, какъ въ другихъ земляхъ; нѣтъ спеси нѣмецкаго дворянства: никто не хвастается у насъ родомъ или древностью происхожденія, хотя наши дворяне всѣхъ древнѣе, — хвастаются развѣ только какіе-нибудь англоманы, которые заразились этимъ на время, во время проѣзда чрезъ Англію; можетъ быть, только изрѣдка похвастается кто-нибудь своимъ предкомъ и то такимъ, который сослужилъ истинно-вѣрную службу царю и землѣ своей; а похвастайся онъ плохимъ предкомъ, на него выпустятъ тутъ же эпиграмму его же собратья дворяне. Однимъ только позволяетъ себѣ всякъ изъ нихъ похвастаться—это чувствомъ своего нравственнаго благородства, которое уже Богъ имъ вложилъ въ грудь. И если дойдетъ дѣло до того, чтобы выказать какимъ-нибудь поступкомъ это внутреннее высшее благородство, у насъ ни одинъ не отстанетъ отъ другого, хотя бы самъ былъ всѣхъ хуже и весь зажилъ въ грязи и сажѣ. Дворянство у насъ есть какъ бы сосудъ, въ которомъ заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей Русской земли затѣмъ, чтобы подать понятіе всѣмъ прочимъ сословіямъ, почему сословіе высшее называется цвѣтомъ народа. И если вы только имъ скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете передъ нимъ то поприще, которое теперь всѣмъ предстоитъ имъ на передачу и увѣковѣченіе именъ своихъ въ потомствѣ; если ясно покажете имъ, что вся Русская земля взываетъ о помощи, и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства слѣдуетъ показать тѣмъ, которые уже отъ рожденія получили благородство, то увидите, что сердца ихъ чокнутся съ вашимъ сердцемъ, какъ рюмки во время пирушки. Не скрывайте отъ нихъ дѣла, объясните имъ всю правду. Зачѣмъ заставлять ихъ узнавать то же самое изъ лживыхъ иностран-

ныхъ газетъ и давать сорванцамъ кружить имъ головы? Обнаружьте имъ всю правду начисто. Скажите имъ, что Россія, точно, несчастна, что несчастна отъ грабительствъ и неправды, которыя до такой наглости еще не возносили рогъ свой; что болитъ сердце у государя такъ, какъ никто изъ нихъ не знаетъ, не слышитъ и не можетъ знать. Да можетъ ли быть иначе при видѣ этого вихря возникнувшихъ запутанностей, которыя застѣнили всѣхъ другъ отъ друга и отняли почти у каждаго просторъ дѣлать добро и пользу истинную своей землѣ, при видѣ повсемѣстнаго помраченья и всеобщаго уклоненья всѣхъ отъ духа земли своей, при видѣ, наконецъ, этихъ безчестныхъ взяточниковъ и плутовъ, продавцовъ правосудья и грабителей, которые, какъ вороны, налетѣли со всѣхъ сторонъ клевать еще живое наше тѣло и въ мутной водѣ ловить свою презрѣнную выгоду. Когда вы это имъ скажете, да вслѣдъ за этимъ покажете, что теперь имъ всѣмъ предстоитъ сослужить истинно-благородную и высокую службу царю, а именно: такъ же великодушно, какъ нѣкогда становились въ ряды противу непріятеля, такъ же великодушно стать теперь на неприманчивыя мѣста и должности, опозоренныя низкими разночинцами, тогда увидите, какъ встрепенется наше дворянство. Отбою не будетъ отъ желающихъ вступить въ службу и занять самыя невидныя мѣста. И отслуживши, не потребуютъ они себѣ за это ни наградъ, ни отличій, ни даже привилегій и преимуществъ, довольные тѣмъ, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словомъ—только покажите имъ высоту ихъ званія, и вы увидите, какъ благородна ихъ природа. Вы можете указать имъ также то второе великое дѣло, которое они могутъ сдѣлать, воспитавши ввѣренныхъ имъ крестьянъ такимъ образомъ, чтобы они стали образцомъ этого сословія для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многіе въ Европѣ надъ древнимъ патріархальнымъ бытомъ, котораго стихіи исчезнули повсюду, кромѣ Россіи, и начинаютъ гласно говорить о преимуществахъ нашего крестьянскаго быта, испытавши безсиліе всѣхъ установленій и учрежденій нынѣшнихъ, для ихъ улучшенія. А потому вамъ слѣдуетъ склонить дворянъ, чтобы они разсмотрѣли попристальнѣй истинно-русскія отношенія помѣщика къ крестьянамъ, а не тѣ фальшивыя и ложныя, которыя образовались во время ихъ позорной беззаботности о своихъ собственныхъ помѣстьяхъ, преданныхъ въ руки наемниковъ и управителей; чтобы позаботились о нихъ истинно, какъ о своихъ кровныхъ и родныхъ, а не какъ о чужихъ людяхъ, и такъ бы взглянули на нихъ, какъ отцы на дѣтей своихъ. Симъ только однимъ могутъ возвесть они это сословіе въ то состояніе, въ какомъ слѣдуетъ ему пребыть, которое, какъ нарочно, не носитъ у насъ названья ни вольныхъ, ни рабовъ, но называется крестьянами отъ имени Самого Христа. Все это можетъ вполнѣ объяснить дворянству генералъ-губернаторъ, если о томъ помыслитъ заблаговременно и войдетъ самъ въ полное

значенье нашего дворянства. И это будетъ вашъ второй великій подвигъ.

А вотъ вамъ третій подвигъ, котораго тоже никто не можетъ сдѣлать, кромѣ генералъ-губернатора. Всѣ европейскія государства теперь болѣютъ необыкновенной сложностью всякихъ законовъ и постановленій. Повсюду замѣтно одно замѣчательное явленье, а именно: законы собственно гражданскіе выступили изъ предѣловъ и ворвались въ области, имъ не принадлежащія. Съ одной стороны они вторгнулись въ область, состоявшую долго подъ управленіемъ народныхъ обычаевъ; съ другой стороны они вторгнулись въ область, долженствующую оставаться вѣчно подъ управленіемъ Церкви. Случилось это не насильственно: разливъ гражданскихъ законовъ произошелъ самъ собою, встрѣтивши повсюду пустыя, себя не ограждавшія мѣста. Мода подорвала обычаи, уклоненіе духовенства отъ прямой жизни во Христѣ оставило на произволъ всѣ частныя отношенія каждаго человѣка въ его частномъ быту. Законы гражданскіе взяли и то другое, какъ оставленныхъ сиротъ, подъ свою опеку и оттого только стали такъ сложны. Сами же по себѣ они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законнымъ образомъ должно принадлежать обычаямъ и то, что должно поступить въ вѣчное владѣнье Церкви, тогда ихъ можетъ заключить только одна книга, которая обнимаетъ одни крупныя уклоненья отъ общественнаго порядка и отношенія собственно государственныя. Всѣ до единаго теперь видятъ, что множество дѣлъ, злоупотребленій и всякихъ кляузъ произошло именно отъ того, что европейскіе философы-законодатели стали заранѣе опредѣлять всѣ возможные случаи уклоненій, до малѣйшихъ подробностей, и тѣмъ открыли всякому, даже благородному и доброму, пути къ безконечнымъ и несправедливѣйшимъ тяжбамъ, которыя затѣвать прежде почелъ бы онъ безчестнѣйшимъ дѣломъ, но которыя онъ затѣваетъ теперь смѣло, увидя въ какомъ-нибудь пунктѣ постановленій возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владѣнье другого. Онъ уже идетъ горой, какъ герой на приступъ, и не глядитъ вовсе на своего супротивника, хотя бы тотъ лишился черезъ это послѣдней своей рубашки, хотя бы онъ пошелъ по-міру со всей семьей своей. Человѣколюбивый производитъ теперь безстыднѣйшимъ образомъ въ виду всѣхъ жестокое дѣло и даже имъ хвастается, тогда какъ онъ устыдился бы и самой мысли о томъ, если бы служитель Церкви поставилъ ихъ обоихъ лицомъ ко Христу, а не презрѣннымъ выгодамъ личнымъ, и если бы завелось такъ, какъ и быть должно, чтобы во всѣхъ дѣлахъ запутанныхъ, казусныхъ, темныхъ, словомъ—во всѣхъ тѣхъ дѣлахъ, гдѣ угрожаетъ проволочка по инстанціямъ, мирила человѣка съ человѣкомъ Церковь, а не гражданскій законъ. Но вотъ вопросъ: какъ это сдѣлать? Какъ сдѣлать, чтобы гражданскому закону отдано было дѣйствительно

только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаямъ возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаевъ, и чтобы за Церковью вновь утверждено было то, что должно вѣчно принадлежать Церкви? Словомъ, какъ возвратить все на свое мѣсто? Въ Европѣ сдѣлать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможетъ въ напрасныхъ бореньяхъ и ничего не успѣетъ. Въ Россіи есть возможность; въ Россіи можетъ это нечувствительно совершиться— не какими-нибудь нововведеніями, переворотами и реформами и даже не засѣданьями, не комитетами, не преньями и не журнальными толками и болтовней; въ Россіи можетъ этому дать начало всякій генералъ-губернаторъ ввѣренной его управленію области, и какъ просто!— ничѣмъ другимъ, какъ только собственной жизнью своей. Патріархальностью жизни своей и простымъ образомъ обращенья со всѣми онъ можетъ вывести вонъ моду съ ея пустыми этикетами и укрѣпить тѣ русскіе обычаи, которые въ самомъ дѣлѣ хороши и могутъ быть примѣнены съ пользой къ нынѣшнему быту. Онъ можетъ сильно подѣйствовать на то, что отношенія между собою какъ жителей городовъ, такъ и помѣщиковъ станутъ проще; а уничтоженье этой сложности свѣтскихъ отношеній, какая нынѣ, уменьшитъ непремѣнно ссоры и неудовольствія, которыя возникнули, какъ вихри, между обителями городовъ. Такъ же, какъ на водвореніе обычаевъ, можетъ подѣйствовать генералъ-губернаторъ и на законное водворенье Церкви въ нынѣшнюю жизнь русскаго человѣка: во-первыхъ, примѣромъ собственной жизни, а во-вторыхъ, и самими мѣрами—не принудительными и насильственными, но въ нѣсколько разъ сильнѣйшими всякихъ насильственныхъ. Объ этомъ когда-нибудь мы съ вами поговоримъ послѣ, когда вы дѣйствительно возьмете должность; а до того времени скажу вамъ только вотъ что: если уже простой обычай сильнѣе всякаго письменнаго закона, а между прочимъ, что такое обычай, если разсмотрѣть его строго? Иногда онъ просто не имѣетъ никакого значенья въ нынѣшнее время, установленъ неизвѣстно зачѣмъ, пришелъ неизвѣстно откуда, не слышно даже авторитета, его утвердившаго; иногда онъ тянется еще отъ временъ язычества, противоположенъ христіанству и всѣмъ элементамъ новой жизни. И если при всемъ этомъ обычай такъ силенъ, что его трудно бываетъ изгладить въ продолженіе многихъ лѣтъ,—что же, если введется такой обычай, который основанъ на разумѣ, единоустно и единодушно будетъ признанъ всѣми и освященъ свыше Самимъ Христомъ и его Церковью? Такой обычай пойдетъ вовѣки вѣковъ и не сокрушитъ его никакая сила, какія бы ни наступили всемірныя колебанья. Но этотъ предметъ великъ; о немъ нужно поговорить умно, а я для того глупъ. Послѣ, когда Богъ поможетъ и вразумитъ меня, можетъ-быть, что-нибудь скажу. Работъ вамъ будетъ много. Крѣпитесь и берите твердо должность генералъ-губернатора, если только она будетъ вамъ предложена. Вы исполните

ее теперь именно такъ, какъ слѣдуетъ, и сообразно тому, чего требуетъ само правительство, то-есть—бодрящею, освѣжающею силою пронестись по всей области, всѣхъ воздвигнуть, всѣхъ освѣжить, всѣхъ настроить, всему дать толчокъ и обратиться потомъ въ другую губернію затѣмъ, чтобы и тамъ произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непремѣнно должна быть временная, иначе она не имѣла бы смысла, потому что внутренній организмъ губерніи достаточенъ и полонъ, и нѣтъ надобности въ другомъ управителѣ, кромѣ гражданскаго губернатора. Съ Богомъ же, и не бойтесь ничего! Но, хотя бы пришлось вамъ занять и другую должность, руководствуйтесь тѣми же правилами. Не забывайте нигдѣ, что вы на время. Устройте такъ дѣла, чтобы они не только при васъ шли хорошо, но и послѣ васъ; чтобы не могъ ничего сдвинуть вашъ преемникъ, но вступилъ бы невольно уже самъ въ утвержденныя вами границы, держась вами даннаго законнаго направленія. Христосъ научитъ васъ, какъ закалять дѣло накрѣпко и навѣки. Будьте отецъ истинный всѣмъ вамъ подвластнымъ чиновникамъ и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братски руку всякому освобождаться отъ его собственныхъ пороковъ и недостатковъ. Имѣйте на всѣхъ вліяніе, но вліяніе единственно затѣмъ, чтобы заставить каждаго имѣть на самого себя вліяніе. Смотрите также, чтобы никто не опирался черезчуръ и слишкомъ на васъ, какъ на собственный посохъ свой, подобно тому, какъ римско-католическія дамы опираются на духовниковъ своихъ, безъ воли которыхъ онѣ не смѣютъ переступить въ другую комнату, и ждутъ для этого исповѣди; но чтобы помнилъ человѣкъ, что нянька ему дается на время, а не навсегда, и что какъ только отступаетъ отъ него наставникъ, тутъ-то ему и слѣдуетъ блюсти за собой осторожнѣй, чѣмъ когда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже некому теперь смотрѣть за нимъ, и содержа, какъ святыню, въ своей памяти всякое слово, ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при разставаніи съ вами, если бы случилось вамъ оставлять вашу должность, но чтобы бодрѣй и свѣжѣй еще глядѣлъ каждый впередъ, а потому ко дню разставанья копите все, что хотѣли бы вы сказать въ наставленіе каждому: въ этотъ день будутъ для нихъ святы всѣ слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примутъ и послѣ васъ исполнятъ. Для меня наилучшая минута—время разставанья съ моими друзьями; всякъ изъ друзей моихъ, кто теперь ни разстается со мной, разстается весело и свѣтлѣетъ духомъ. Вамъ подтвердятъ это всѣ тѣ, которые разставались со мной въ послѣднее время. Я даже увѣренъ, что когда буду умирать, со мной простятся весело всѣ меня любившіе: никто изъ нихъ не заплачетъ и будетъ гораздо свѣтлѣе духомъ послѣ моей смерти, чѣмъ при жизни моей. Еще скажу вамъ слово насчетъ любви и всеобщаго расположенія къ себѣ, за которыми многіе такъ гоняются.

Заискивать любви къ себѣ есть незаконное дѣло и не должно занимать человѣка. Смотрите на то—любите ли вы другихъ, но не на то—любятъ ли васъ другіе. Кто требуетъ платежа за любовь свою, тотъ подлъ и далеко не христіанинъ. О, какъ я благодаренъ за то, что еще отъ дѣтства вселилъ въ меня Богъ непонятное мнѣ самому чувство бѣжать отъ всякихъ неумѣстныхъ изліяній, даже родственныхъ и дружественныхъ, какъ отъ чего-то приторнаго и непріятнаго! Какъ это вѣрно, что полная любовь не должна принадлежать никому на землѣ! Она должна быть передаваема по начальству, и всякій начальникъ, какъ только замѣтитъ ея устремленье къ себѣ, долженъ въ ту же минуту обращать ее къ постановленному надъ нимъ высшему начальству, чтобы такимъ образомъ добралась она до своего законнаго источника, и передалъ бы ее торжественно въ виду всѣхъ всѣми любимый царь Самому Богу.

1845.

XXIX.

ЧЕЙ УДѢЛЪ НА ЗЕМЛѢ ВЫШЕ.

ИЗЪ ПИСЬМА КЪ У.....МУ.

Никакъ не могу сказать вамъ, чей удѣлъ на землѣ выше, и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда былъ поглупѣе, я предпочиталъ одно званіе другому; теперь же вижу, что участь всѣхъ равно завидна. Всѣ получатъ равное воздаяніе—какъ тотъ, которому ввѣренъ былъ одинъ талантъ, и онъ принесъ на него другой, такъ и тотъ, которому дано было пять талантовъ, и который принесъ на нихъ другіе пять. Даже, я думаю, участь перваго еще лучше, именно отъ того, что онъ не пользовался на землѣ извѣстностью и не вкушалъ очаровательнаго напитка земной славы, подобно послѣднему. Чудна милость Божія, опредѣлившая равное воздаяніе всякому, исполнившему честно долгъ свой, царь ли онъ, или послѣдній нищій. Всѣ они тамъ, уравняются, потому что всѣ внидутъ въ радость Господа своего и будутъ пребывать *равно* въ Богѣ. Конечно, Самъ Христосъ сказалъ въ другомъ мѣстѣ: «*Въ дому Отца Моего обители многи суть*»; но какъ помыслю объ этихъ обителяхъ, какъ помыслю о томъ, что должны быть у Бога обители, не могу удержаться отъ слезъ и знаю, что никакъ бы не рѣшилъ, какую изъ нихъ выбрать себѣ, если бы только дѣйствительно былъ удостоенъ небеснаго царствія и вопрошенъ: «какую изъ нихъ хочешь?» Знаю только то, что сказалъ бы «Послѣднюю, Господи, но лишь бы она была въ дому Твоемъ!» Кажется, ничего бы не желалось больше, какъ только служить тѣмъ избраннымъ, которые уже удостоились созерцать во всемъ величіи Его славу, лежать бы только у ногъ ихъ и цѣловать святыя ихъ ноги!

1845.

XXX.

НАПУТСТВІЕ.

На письмо твое теперь не буду отвѣчать; отвѣтъ будетъ послѣ. Все вижу и слышу: страданія твои велики. Съ такою нѣжною душою терпѣть такія грубыя обвиненія; съ такими возвышенными чувствами жить посреди такихъ грубыхъ, неуклюжихъ людей, каковы жители пошлаго городка, въ которомъ ты поселился, которыхъ уже одно безчувственное, топорное прикосновеніе въ силахъ разбить, даже безъ ихъ вѣдома, лучшую драгоцѣнность сердечную, медвѣжьею лапою ударить по тончайшимъ струнамъ душевнымъ,—даннымъ на то, чтобы выпѣть небесные звуки,—разстроить и разорвать ихъ, видѣть, въ прибавленіе ко всему этому, ежедневно происходящія мерзости и терпѣть презрѣніе отъ презрѣнныхъ — все это тяжело, знаю. Твои страданія тѣлесныя тяжелы не меньше. Твои нервическіе недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агоніи, которою ты одержимъ теперь,—все это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебѣ, какъ только: тяжело! Но вотъ тебѣ утѣшеніе. Это еще начало; оскорбленій тебѣ будетъ еще больше: предстанутъ тебѣ еще сильнѣйшія борьбы съ (взяточниками), подлецами всѣхъ сортовъ и безстыднѣйшими людьми, для которыхъ ничего нѣтъ святого, которые не только въ силахъ произвести то гнусное дѣло, о которомъ ты пишешь (т. е. подписаться подъ чужую руку),—дерзнуть ввести такое ужасное преступленіе на невинную душу, видѣть своими глазами кару, постигшую оклеветанна́го, и не содрогнуться,—не только подобное гнусное дѣло, но еще въ нѣсколько разъ гнуснѣйшія, о которыхъ одинъ разсказъ можетъ лишить навѣки сна человѣка сердобольнаго. (О, лучше бы вовсе не родиться этимъ людямъ! весь сонмъ небесныхъ силъ содрогнется отъ ужаса загробнаго наказанія, ихъ ждущаго, отъ котораго никто уже ихъ не избавитъ). Встрѣтятся тебѣ безчисленныя новыя пораженія, неожиданныя вовсе. На твоемъ почти беззащитномъ поприщѣ (и незамѣтной должности) все можетъ случиться. Твои нервическіе припадки и недуги будутъ также еще сильнѣе, тоска будетъ убійственнѣе, и печали будутъ сокрушительнѣе. Но вспомни: призваны въ міръ мы вовсе не для праздниковъ и пированій—на битву мы сюда призваны; праздновать же побѣду будемъ *тамъ*. А потому мы ни на мигъ не должны позабыть, что вышли на битву, и нечего тутъ выбирать, гдѣ поменьше опасности: какъ добрый воинъ, долженъ бросаться изъ насъ всякъ туда, гдѣ пожарче битва. Всѣхъ насъ озираетъ свыше небесный Полководецъ, и ни малѣйшее наше дѣло не ускользаетъ отъ Его взора. Не уклоняйся же отъ поля сраженія, а, выступивши на сраженіе, не ищи непріятеля безсильнаго, но сильнаго. За сраженіе съ небольшимъ горемъ и мелкими бѣдами не много получишь

славы. (Не велика слава для русскаго сразиться съ миролюбивымъ нѣмцемъ, когда знаешь впередъ, что онъ побѣжитъ; нѣтъ, съ черкесомъ, котораго все дрожитъ, считая непобѣдимымъ, съ черкесомъ схватиться и побѣдить его, вотъ слава, которою можно похвалиться!) Впередъ же, прекрасный мой воинъ! Съ Богомъ, добрый товарищъ! Съ Богомъ, прекрасный другъ мой!

1846.

XXXI.

ВЪ ЧЕМЪ ЖЕ НАКОНЕЦЪ СУЩЕСТВО РУССКОЙ ПОЭЗІИ И ВЪ ЧЕМЪ ЕЯ ОСОБЕННОСТЬ.

Несмотря на внѣшніе признаки подражанія, въ нашей поэзіи есть очень много своего. Самородный ключъ ея уже билъ въ груди народа тогда, какъ самое имя еще не было ни на чьихъ устахъ. Струи его пробираются въ нашихъ пѣсняхъ, въ которыхъ мало привязанности къ жизни и ея предметамъ, но много привязанности къ какому-то безграничному разгулу, къ стремленію, какъ бы унестись куда-то вмѣстѣ съ звуками. Струи его пробиваются въ пословицахъ нашихъ, въ которыхъ видна необыкновенная полнота народнаго ума, умѣвшаго сдѣлать все своимъ орудіемъ: иронію, насмѣшку, наглядность, мѣткость живописнаго соображенія, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимаетъ насквозь природу русскаго человѣка, задирая за все ея живое. Струи его пробиваются, наконецъ, въ самомъ словѣ церковныхъ пастырей,—словѣ простомъ, некраснорѣчивомъ, но замѣчательномъ по стремленію стать на высоту того святого безстрастія, на которую опредѣлено взойти христіанину, по стремленію направить человѣка не къ увлеченіямъ сердечнымъ, но къ высшей, умной трезвости духовной. Все это пророчило для нашей поэзіи какое-то другимъ народамъ невѣдомое, своеобразное и самобытное развитіе. Но не изъ сихъ трехъ источниковъ, уже въ насъ пребывавшихъ, ведетъ начало наша сладкозвучная поэзія, нынѣ насъ услаждающая; такъ же, какъ и строеніе нынѣшняго нашего гражданскаго порядка произошло не изъ началъ, уже пребывавшихъ прежде въ землѣ нашей. Гражданское строеніе наше произошло также не правильнымъ, постепеннымъ ходомъ событій, не медленно-разсудительнымъ введеніемъ европейскихъ обычаевъ,—которое было бы уже невозможно по той причинѣ, что уже слишкомъ вызрѣло европейское просвѣщеніе, слишкомъ великъ былъ наплывъ его, чтобы не ворваться рано или поздно со всѣхъ сторонъ въ Россію и не произвести безъ такого вождя, каковъ былъ Петръ, гораздо большаго разладу во всемъ, нежели какой дѣйствительно потомъ наступилъ,—гражданское строеніе наше произошло отъ потрясенія, отъ того богатырскаго потрясенія всего го-

сударства, которое произвелъ царь-преобразователь, когда воля Бога вложила ему мысль ввести молодой свой народъ въ кругъ европейскихъ государствъ и вдругъ познакомить его со всѣмъ, что ни добыла себѣ Европа долгими годами кровавыхъ бореній и страданій. Крутой поворотъ былъ нуженъ русскому народу, и европейское просвѣщеніе было огниво, которымъ слѣдовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массѣ. Огниво не сообщаетъ огня кремню, но, покамѣстъ имъ не ударишь, не издастъ кремень огня. Огонь излетѣлъ вдругъ изъ народа. Огонь этотъ былъ восторгъ,—восторгъ отъ пробужденія, восторгъ вначалѣ безотчетный: никто еще не услышалъ, что онъ пробудился затѣмъ, чтобы, съ помощію европейскаго свѣта, разсмотрѣть поглубже самого себя, а не копировать Европу; все только услышало, что онъ пробудился. Уже самый этотъ крутой поворотъ всего государства, произведенный однимъ человѣкомъ,—и притомъ самимъ царемъ, который великодушно отказался на время отъ царскаго званія своего, рѣшился извѣдать самъ всякое ремесло и съ топоромъ въ рукѣ стать передовымъ во всякомъ дѣлѣ, дабы не произошло никакихъ безпорядковъ, слѣдующихъ при малѣйшемъ измѣненіи государственныхъ формъ,—былъ дѣломъ, достойнымъ восторга. Переворотъ, который обыкновенно на нѣсколько лѣтъ обливаетъ кровью потрясенное государство, если производится бореніями внутреннихъ партій, былъ произведенъ, въ виду всей Европы, въ такомъ порядкѣ, какъ блистательный маневръ хорошо выученнаго войска. Россія вдругъ облеклась въ государственное величіе, заговорила громами и блеснула отблескомъ европейскихъ наукъ. Все въ молодомъ государствѣ пришло въ восторгъ, издавши тотъ крикъ изумленія, который издаетъ дикарь при видѣ навезенныхъ блестящихъ скоровищъ. Восторгъ этотъ отразился въ нашей поэзіи, или лучше—онъ создалъ ее. Вотъ почему поэзія съ перваго стихотворенія, появившагося въ печати, приняла у насъ торжествующее выраженіе, стремясь высказать въ одно и то же время восхищеніе отъ свѣта, внесеннаго въ Россію, изумленіе отъ великаго поприща, ей предстоящаго, и благодарность царямъ, того виновникамъ. Съ этихъ поръ стремленіе къ свѣту стало нашимъ элементомъ, шестымъ чувствомъ русскаго человѣка, и оно-то дало ходъ нашей нынѣшней поэзіи, внеся новое, свѣтоносное начало, котораго не видно было ни въ одномъ изъ тѣхъ трехъ источниковъ ея, о которыхъ упомянуто въ началѣ.

Что такое Ломоносовъ, если разсмотрѣть его строго? Восторженный юноша, котораго манитъ свѣтъ наукъ да поприще, ожидающее впереди. Случаемъ онъ попалъ въ поэты: восторгъ отъ нашей новой побѣды заставилъ его набросать первую оду. Впопыхахъ занялъ онъ у сосѣдей нѣмцевъ размѣръ и форму, какіе у нихъ на ту пору случились, не разсмотрѣвъ, приличны ли они русской рѣчи. Нѣтъ и слѣдовъ творчества въ его реторически составленныхъ одахъ; но восторгъ

уже слышенъ въ нихъ повсюду, гдѣ ни прикоснется онъ къ чему-нибудь близкому науколюбивой его душѣ. Коснулся онъ сѣвернаго сіянія, бывшаго предметомъ его ученыхъ изслѣдованій—и плодомъ этого прикосновенія была ода: «Вечернее размышленіе о Божіемъ величествѣ», вся величественная отъ начала до конца, какой никому не написать, кромѣ Ломоносова. Тѣ же причины породили извѣстное посланіе къ Шувалову «о пользѣ стекла». Всякое прикосновеніе къ любезной сердцу его Россіи, на которую глядитъ онъ подъ угломъ ея сіяющей будущности, исполняетъ его силы чудотворной. Среди холодныхъ строфъ польются вдругъ у него такія строфы, что не знаешь самъ, гдѣ ты находишься. Точно, какъ бы, выражаясь его же словами:

Божественный пророкъ Давидъ
Священными шумитъ струнами
И Бога полными устами
Исайя восхищенъ гремитъ.

Всю Русскую землю озираетъ онъ отъ края до края съ какой-то свѣтлой вышины, любуясь и не налюбуясь ея безпредѣльностью и дѣвственною природою. Въ описаніяхъ слышенъ взглядъ скорѣе ученаго натуралиста, нежели поэта; но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста въ поэта. Изумительнѣе всего то, что, заключа стихотворную рѣчь свою въ узкія строфы нѣмецкаго ямба, онъ ничуть не стѣснилъ языка: языкъ у него движется въ узкихъ строфахъ такъ же величественно и свободно, какъ полноводная рѣка въ нестѣсненныхъ берегахъ. Онъ у него свободнѣе и лучше въ стихахъ, нежели въ прозѣ, и не даромъ Ломоносова называютъ отцомъ нашей стихотворной рѣчи. Изумительно то, что начинатель уже явился господиномъ и законодателемъ языка. Ломоносовъ стоитъ впереди нашихъ поэтовъ, какъ вступленіе впереди книги. Его поэзія—начинающійся разсвѣтъ. Она у него, подобно вспыхивающей зарницѣ, освѣщаетъ не все, но только нѣкоторыя строфы. Сама Россія является у него только въ общихъ географическихъ очертаніяхъ. Онъ какъ бы заботится только о томъ, чтобы набросать одинъ очеркъ громаднаго государства, намѣтить точками и линіями его границы, предоставивъ другимъ наложить краски; онъ самъ какъ бы первоначальный, пророческій набросокъ того, что впереди.

Съ руки Ломоносова оды вошли въ обычай. Торжество, побѣда, тезоименитство, даже иллюминація и фейерверкъ стали предметомъ одъ. Слагатели ихъ выразили только бездарную прыть намѣсто восторга. Исключить изъ нихъ можно одного Петрова, нечуждаго силы и стихотворнаго огня: онъ былъ дѣйствительно поэтъ, несмотря на жесткій и черствый стихъ свой. Всѣ прочіе напомнили только реторически-холодный складъ ломоносовскихъ одъ и показали, намѣсто благозвучія ломоносовскаго языка, трескотню и безпорядокъ словъ,

терзающій ухо. Но огниво уже ударило по кремню; поэзія уже вспыхнула: еще не успѣлъ отнести руку отъ лиры Ломоносовъ, какъ уже заводилъ первыя пѣсни Державинъ.

Въ эпоху Екатерины, которой царствованіе можно назвать блестящею выставкою первыхъ русскихъ произведеній, когда на всѣхъ поприщахъ стали выказываться русскіе таланты,—съ битвами вознеслись полководцы, съ учрежденіями внутренними государственные дѣльцы, съ переговорами дипломаты, а съ академіями словесники и ученые, —появился и поэтъ, Державинъ, съ тою же картинно-величавою наружностью, какъ и всѣ люди временъ Екатерины, развернувшіеся въ какой-то еще дикой свободѣ, со множествомъ недоконченнаго и не вполнѣ отдѣланнаго въ частяхъ, какъ случается съ тѣми произведеніями, которыя выставляются нѣсколько торопливо на показъ. Мысль о сходствѣ Ломоносова съ Державинымъ, приходящая въ умъ при первомъ взглядѣ на нихъ обоихъ, исчезнетъ вдругъ, какъ только всмотришься покрѣпче въ Державина. Всѣмъ, даже самымъ воспитаніемъ, послѣдній представляетъ совершенную противоположность первому. Какъ первый весь предался наукамъ, считая стихотворство свое только развлеченіемъ и дѣломъ отдохновенія, такъ другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образованіе науками лишнимъ и ненужнымъ. То же самодержавное, государственное величіе Россіи слышится и у него; но уже видны не одни только географическіе очерки государства: выступаютъ люди и жизнь. Не отвлеченныя науки, но наука жизни его занимаетъ. Оды его обращаются уже къ людямъ всѣхъ сословій и должностей, и слышно въ нихъ стремленіе начертать законъ правильныхъ дѣйствій человѣка во всемъ, даже въ самыхъ его наслажденіяхъ. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще болѣе исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумѣваетъ умъ рѣшить, откуда взялся въ немъ этотъ гиперболическій размахъ его рѣчи. Остатокъ ли это нашего сказочнаго русскаго богатырства, которое, въ видѣ какого-то темнаго пророчества, носится до сихъ поръ надъ нашею землею, прообразуя что-то высшее, насъ ожидающее, или же это навѣялось на него отдаленнымъ татарскимъ его происхожденіемъ, степями, гдѣ бродятъ бѣдные останки ордъ, распаляющіе свое воображеніе разсказами о богатыряхъ въ нѣсколько верстъ вышиною, живущихъ по тысячѣ лѣтъ на свѣтѣ—что бы то ни было, но это свойство въ Державинѣ изумительно. Иногда, Богъ вѣсть, какъ издалека забираетъ онъ слова и выраженія затѣмъ именно, чтобы стать ближе къ своему предмету. Дико, громадно все; но, гдѣ только помогла ему сила вдохновенія, тамъ весь этотъ громоздъ служитъ на то, чтобы неестественною силою оживить предметъ, такъ что кажется, какъ бы тысячью глазами глядитъ онъ. Стоитъ пробѣжать его «Водопадъ», гдѣ, кажется, какъ бы цѣлая эпопея слилась въ одну стремящуюся оду. Въ «Водопадѣ»

передъ нимъ пигмеи другіе поэты. Природа тамъ какъ бы высшая нами зримой природы, люди могучѣе нами знаемыхъ людей, а наша обыкновенная жизнь передъ величественною жизнію, тамъ изображенною, точно муравейникъ, который гдѣ-то далеко копышется вдали. О Державинѣ можно сказать, что онъ—пѣвецъ величія. Все у него величаво: величавъ образъ Екатерины, величава Россія, созерцающая себя въ осьми моряхъ своихъ; его полководцы—орлы; словомъ—все у него величаво. Замѣтно, однакоже, что постояннымъ предметомъ его мыслей, болѣе всего его занимавшимъ, было—начертить образъ какого-то крѣпкаго мужа, закаленнаго въ дѣлѣ жизни, готоваго на битву не съ однимъ какимъ-нибудь временемъ, но со всѣми вѣками;—изобразить его такимъ, какимъ онъ долженъ былъ изникнуть, по его мнѣнію, изъ крѣпкихъ началъ нашей русской породы, воспитавшись на непотрясаемомъ камнѣ нашей Церкви. Часто, бросивши въ сторону то лицо, которому надписана ода, онъ ставитъ на его мѣсто того же своего непреклоннаго, правдиваго мужа. Тогда глубокія истины изглашаются у него голосомъ, который далеко выше обыкновеннаго: возвращается святое, высокое значеніе тому, что привыкли называть мы общими мѣстами, и, какъ изъ устъ самой Церкви, внимаешь вѣчнымъ словамъ его. Сравнительно съ другими поэтами, у него все глядитъ исполиномъ: его поэтическіе образы, не имѣя полной окончательности пластической, какъ бы теряются въ какомъ-то духовномъ очертаніи и оттого пріемлютъ еще болѣе величія. Напримѣръ: поэтъ изображаетъ старца Каспія въ то время, когда онъ, разсерженный бурею,

Встаетъ въ упоръ ея волнамъ:
То скачетъ въ твердь, то, въ адъ стремяся,
Трезубцемъ бьетъ по кораблямъ;
Столбомъ власы сѣдые вьются,
И гласъ его гремитъ въ горахъ.

Тутъ, казалось, хотѣлъ создаться *зримо* образъ старца Каспія, но потерялся въ какомъ-то духовномъ, *незримомъ* очертаніи: ухо слышитъ одинъ гулъ гремящаго моря, и, вмѣстѣ съ сѣдыми власами старца, подъемлется волосъ на головѣ самого читателя, пораженнаго суровымъ величіемъ картины. Всё у него крупно. Слогъ у него такъ крупенъ, какъ ни у кого изъ нашихъ поэтовъ. Разъявъ анатомическимъ ножомъ, увидишь, что это происходитъ отъ необыкновеннаго соединенія самыхъ высокихъ словъ съ самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кромѣ Державина. Кто бы посмѣлъ, кромѣ его, выразиться такъ, какъ выразился онъ въ одномъ мѣстѣ о томъ же своемъ величественномъ мужѣ, въ ту минуту, когда онъ все уже исполнилъ, что нужно на землѣ:

И смерть какъ гостью ожидаетъ,
Крутя задумавшись усы.

Кто, кромѣ Державина, осмѣлился бы соединить такое дѣло, каково ожиданіе смерти, съ такимъ ничтожнымъ дѣйствіемъ, каково крученіе усовъ? Но какъ черезъ это ощутительнѣе видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается въ душѣ! Но надобно сказать, что какъ это, такъ и всѣ другія исполинскія свойства Державина, дающія ему преимущество надъ прочими поэтами нашими, превращаются вдругъ у него въ неряшество и безобразіе, какъ только оставляетъ его одушевленіе. Тогда все въ безпорядкѣ: рѣчь, языкъ, слогъ,—все скрипитъ, какъ телѣга съ невымазанными колесами, и стихотвореніе—точно трупъ, оставленный душою. Слѣды собственнаго недоконченнаго образованія какъ въ умственномъ, такъ и въ нравственномъ смыслѣ, отразились очень замѣтно на его твореніяхъ. Мужъ, проповѣдывавшій другимъ о томъ, какъ править собою, не умѣлъ управить себя, далеко не сталъ самимъ собою и долженъ былъ напряженною силою вдохновенія добираться до себя же, чтобы заговорить о томъ, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай полное воспитаніе такому мужу—не было бы поэта выше Державина; теперь же остается онъ, какъ невоздѣланная громадная скала, передъ которою никто не можетъ остановиться, не будучи пораженъ, но передъ которою долго не застаивается никто, спѣша къ другимъ мѣстамъ, болѣе плѣнительнымъ.

Еще Державинъ ударялъ въ струны своей лиры, какъ уже все вокругъ него измѣнилось: вѣкъ Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, какъ сновидѣніе. Наступилъ вѣкъ Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Все застегнулось и, какъ бы почувствовавъ, что уже раскинулось черезчуръ нараспашку, стало наперерывъ пріобрѣтать наружное благоприличіе и стройность поступковъ. Французы стали вполнѣ образцы всему, и такъ же, какъ щеголи Парижа завладѣли надолго нашимъ обществомъ, ловкіе французскіе поэты завладѣли было на время нашими поэтами. Къ чести, однакожъ, вѣрнаго поэтическаго чутья нашего нужно сказать то, что въ образецъ пошелъ одинъ Лафонтенъ, затѣмъ именно, что былъ ближе къ природѣ: Дмитріевъ, Хемницеръ и Богдановичъ стали производить подобныя ему, въ простотѣ, творенія, обработывая тѣ же предметы. Русскій языкъ вдругъ получилъ свободу и легкость перелетать отъ предмета къ предмету,—легкость, незнакомую Державину. Намѣсто оды стали пробовать всѣ роды и формы поэзіи. Дмитріевъ показалъ много таланта, вкуса, простоты и приличія во всемъ, которыми убилъ напыщенность и высокопарность, нанесенныя бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатаго содержанія нашей поэзіи: одно общесвѣтское стало ея предметомъ, и она сдѣлалась сама похожею на умнаго и ловкаго свѣтскаго человѣка, когда онъ сидитъ въ гостиной и ведетъ

разговоръ совсѣмъ не затѣмъ, чтобы повѣдать душевную исповѣдь свою или подвинуть другихъ на какое-нибудь важное дѣло, но затѣмъ, чтобы просто повести разговоръ и пощеголять умѣньемъ вести его обо всѣхъ предметахъ. Послѣдніе звуки Державина умолкнули, какъ умолкаютъ послѣдніе звуки церковнаго органа, и поэзія наша, по выходѣ изъ церкви, очутилась вдругъ на балѣ. Отъ одного только Капниста послышался ароматъ истинно-душевнаго чувства и какая-то особенная антологическая прелесть, дотолѣ незнакомая. Вотъ его «Деревенскій домикъ въ Обуховкѣ»:

Пріютный домъ мой подъ соломой,
По мнѣ, ни низокъ, ни высокъ;
Для дружбы есть въ немъ уголокъ,
А къ двери, нищему знакомой,
Забыла лѣнь прибить замокъ.

Но не могла оставаться долго наша поэзія на этой поверхностной свѣтской верхушкѣ. Уже пробуждена была сильно ея чуткость отъ петровскаго удара европейскимъ огнивомъ. Вдругъ примѣтила она, что отъ французовъ, кромѣ ловкости, ничего не перейметъ въ свое воспитаніе, и обратилась къ нѣмцамъ. Въ нѣмецкой литературѣ происходило въ это время явленіе странное. Неясныя грезы, таинственныя преданія, необъяснимыя чудесныя происшествія, темные призраки невидимаго міра, мечты и страхи, сопровождающіе дѣтство человѣка, стали предметомъ нѣмецкихъ поэтовъ. Можно бы назвать такую поэзію шалостію школьника, если бы въ ней не слышался тотъ младенческій лепетъ, которымъ подаетъ о себѣ вѣсть безсмертный духъ человѣка, требующій себѣ живой пищи. Чуткая поэзія наша остановилась съ любопытствомъ младенца передъ такимъ явленіемъ. Ея собственныя славянскія начала напомнили ей вдругъ о чемъ-то и у нея похожемъ. Но при всемъ томъ мы сами никакъ бы не столкнулись съ нѣмцами, если бы не явился среди насъ такой поэтъ, который показалъ намъ весь этотъ новый, необыкновенный міръ сквозь ясное стекло своей собственной природы, намъ болѣе доступной, нежели нѣмецкая. Этотъ поэтъ—Жуковскій, наша замѣчательнѣйшая оригинальность! Чудною, высшею волею вложено было ему въ душу, отъ дней младенчества, непостижимое ему самому стремленіе къ незримому и таинственному. Въ душѣ его, точно какъ въ героѣ его баллады Вадимѣ, раздавался небесный звонокъ, зовущій въ даль. Изъ-за этого зова бросался онъ на все неизъяснимое и таинственное повсюду, гдѣ оно ни встрѣчалось ему, и сталъ облекать его въ звуки, близкіе нашей душѣ. Все въ этомъ родѣ у него взято у чужихъ, и больше у нѣмцевъ—почти все переводы. Но на переводахъ такъ отпечаталось это внутреннее стремленіе, такъ зажгло и одушевило ихъ своею живостію, что сами нѣмцы, выучившіеся по-русски, признаются, что передъ нимъ оригиналы кажутся копіями, а переводы его кажутся

истинными оригиналами. Не знаешь, какъ назвать его—переводчикомъ или оригинальнымъ поэтомъ. Переводчикъ теряетъ собственную личность, но Жуковскій показалъ ее больше всѣхъ нашихъ поэтовъ. Пробѣжавъ оглавленіе стихотвореній его, видишь: одно взято изъ Шиллера, другое изъ Уланда, третье у Вальтеръ Скотта, четвертое у Байрона, и все—вѣрнѣйшій сколокъ, слово въ слово, личность каждаго поэта удержана, негдѣ было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь нѣсколько стихотвореній вдругъ и спросишь себя: чьи стихотворенія читалъ?—не предстанетъ передъ глаза твои ни Шиллеръ, ни Уландъ, ни Вальтеръ Скоттъ, но поэтъ, отъ нихъ всѣхъ отдѣльный, достойный помѣститься не у ногъ ихъ, но сѣсть съ ними рядомъ, какъ равный съ равнымъ. Какимъ образомъ сквозь личности всѣхъ поэтовъ пронеслась его собственная личность—это загадка, но она такъ и видится всѣмъ. Нѣтъ русскаго, который бы не составилъ себѣ изъ самихъ же произведеній Жуковскаго вѣрнаго портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни въ комъ изъ переведенныхъ имъ поэтовъ не слышно такъ сильно стремленіе уноситься въ заоблачное, чуждое всего видимаго, ни въ комъ также изъ нихъ не видится это твердое признаніе незримыхъ силъ, хранящихъ повсюду человѣка, такъ что, читая его, чувствуешь на всякомъ шагу, какъ бы самъ, выражаясь стихами Державина·

Подъ надзираніе ты преданъ
Невидимыхъ, безсмертныхъ силъ,
И легіснамъ заповѣданъ
Всѣхъ ангеловъ, чтобъ цѣлъ ты былъ.

Переводя, производилъ онъ переводами такое дѣйствіе, какъ самобытный и самоцвѣтный поэтъ. Внеся это новое, дотолѣ незнакомое нашей поэзіи стремленіе въ область незримаго и тайнаго, онъ отрѣшилъ ее самое отъ матеріализма не только въ мысляхъ и образѣ ихъ выраженія, но и въ самомъ стихѣ, который сталъ легокъ и безтѣлесенъ, какъ видѣніе. Переводя, онъ оставилъ переводами початки всему оригинальному, внесъ новые формы и размѣры, которые стали потомъ употреблять всѣ другіе наши поэты. Лѣнь ума помѣшала ему сдѣлаться преимущественно поэтомъ-изобрѣтателемъ,—лѣнь выдумывать, а не недостатокъ творчества. Признаки творчества показалъ онъ въ себѣ уже съ самаго начала своего поприща: «Свѣтлана» и «Людмила» разнесли въ первый разъ грѣющіе звуки нашей славянской природы, болѣе близкіе нашей душѣ, нежели какіе раздавались у другихъ поэтовъ. Доказательствомъ тому то, что они произвели впечатлѣніе сильное на всѣхъ въ то время, когда поэтическое чутье у насъ было еще слабо развито. Элегическій родъ нашей поэзіи созданъ имъ. Есть еще первоначальнѣйшая причина, отъ которой произошла и самая лѣнь ума: это—свойство *оцѣнивать*, которое, поселившись властительно въ его умѣ, заставляло его останавливаться съ любовью

надъ всякимъ готовымъ произведеніемъ. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое такъ изумляло Пушкина. Пушкинъ сильно на него сердился за то, что онъ не пишетъ критикъ. По его мнѣнію, никто, кромѣ Жуковскаго, не могъ такъ разъять и опредѣлить всякое художественное произведеніе. Это свойство разбирать и оцѣнивать отражается въ его живописныхъ описаніяхъ природы, которыя всѣ его собственныя, самобытныя произведенія. Взявши картину, его плѣнившую, онъ не оставляетъ ея до тѣхъ поръ, покуда не исчерпаетъ всей, разъявъ какъ бы анатомическимъ ножомъ ея неуловимѣйшую подробность. Кто уже могъ написать стихотвореніе о солнцѣ, гдѣ подстережены всѣ видоизмѣненія солнечныхъ лучей и волшебство картинъ, ими производимыхъ въ разные часы дня, равно какъ съ такою же живописною подробностію изобразить въ «Отчетѣ о лунѣ» волшебство лунныхъ ночей, съ цѣлымъ рядомъ ночныхъ картинъ, ими производимыхъ,—тотъ, разумѣется, долженъ былъ заключить въ себѣ въ большой степени свойство *оцѣнивать*. Его «Славянка» съ видами Павловска—точная живопись. Благоговѣйная задумчивость, которая проносится сквозь всѣ его картины, исполняетъ ихъ того грѣющаго, теплаго свѣта, который наводитъ необыкновенное успокоеніе на читателя. Становишься тише во всѣхъ своихъ порывахъ, и какою-то тайною замыкаются твои собственныя уста.

Въ послѣднее время въ Жуковскомъ сталъ замѣчаться переломъ поэтическаго направленія. По мѣрѣ того, какъ стала передъ нимъ проясняться чище та незримо-свѣтлая даль, которую онъ видѣлъ дотолѣ въ неясно-поэтическомъ отдаленіи, пропадала страсть и вкусъ къ призракамъ и привидѣніямъ нѣмецкихъ балладъ. Самая задумчивость уступила мѣсто свѣтлости душевной. Плодомъ этого была «Ундина», твореніе, принадлежащее вполнѣ Жуковскому: нѣмецкій пересказчикъ того же самаго преданія въ прозѣ не могъ служить его образцомъ. Полный создатель свѣтлости этого поэтическаго созданія есть Жуковскій. Съ этихъ поръ онъ добылъ какой-то прозрачный языкъ, который ту же вещь показываетъ еще виднѣе, нежели какъ она есть у самого хозяина, у котораго онъ взялъ ее. Даже прежняя воздушная неопредѣленность стиха его исчезла: стихъ его сталъ крѣпче и тверже; все пріуготовлялось въ немъ на то, дабы обратить его къ передачѣ совершеннѣйшаго поэтическаго произведенія, которое, будучи произведено такимъ образомъ, какъ производится имъ, при такомъ напоеніи всего себя духомъ древности и при такомъ просвѣтленномъ, высшемъ взглядѣ на жизнь, покажетъ непремѣнно первоначальный, патріархальный бытъ древняго міра въ свѣтѣ родномъ и близкомъ всему человѣчеству,—подвигъ, далеко высшій всякаго собственнаго созданія, который доставитъ Жуковскому значеніе всемірное. Передъ другими нашими поэтами Жуковскій то же, что ювелиръ передъ прочими мастерами. то-есть, мастеръ, занимающійся послѣднею

отдѣлкою дѣла. Не его дѣло добыть въ горахъ алмазъ—его дѣло оправить этотъ алмазъ такимъ образомъ, чтобы онъ заигралъ всѣмъ своимъ блескомъ и выказалъ бы вполнѣ свое достоинство всѣмъ. Появленіе такого поэта могло произойти только среди русскаго народа, въ которомъ такъ силенъ геній воспріимчивости, данный ему, можетъ быть, на то, чтобы оправить въ лучшую оправу все, что не оцѣнено, не воздѣлано и пренебрежено другими народами.

Въ то время, когда Жуковскій стоялъ еще въ первой порѣ своего поэтическаго развитія, отрѣшая нашу поэзію отъ земли и существенности и унося ее въ область безтѣлесныхъ видѣній, другой поэтъ, Батюшковъ, какъ бы нарочно ему въ отпоръ, сталъ прикрѣплять ее къ землѣ и тѣлу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Какъ тотъ терялся весь въ неясномъ еще для него самого идеальномъ, такъ этотъ весь потонулъ въ роскошной прелести видимаго, которое такъ ясно слышалъ и такъ сильно чувствовалъ. Все прекрасное во всѣхъ образахъ, даже и незримыхъ, онъ какъ бы силился превратить въ осязательную нѣгу наслажденія. Онъ слышалъ, выражаясь его же выраженіемъ, «стиховъ и мыслей сладострастье». Казалось, какъ бы какая-то внутренняя сила, пребывающая въ лонѣ поэзіи нашей, храня ее отъ крайности какого бы то ни было увлеченія, создала этого поэта именно затѣмъ, чтобы въ то время, когда одинъ станетъ приносить звуки сѣверныхъ пѣвцовъ Европы, другой обвѣялъ бы ее ароматическими звуками полудня, познакомившись съ Аріостомъ, Тассомъ, Петраркою, Парни и нѣжными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стихъ, начинавшій принимать воздушную неопредѣленность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древнихъ, и той звучащей нѣги, какая слышна у южныхъ поэтовъ новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдругъ два разнородныя начала въ нашу поэзію; изъ двухъ началъ вмигъ образовалось третье: явился Пушкинъ. Въ немъ середина. Ни отвлеченной идеальности перваго, ни преизобилія сладострастной роскоши второго. Все уравновѣшено, сжато, сосредоточено, какъ въ русскомъ человѣкѣ, который немногоглаголивъ на передачу ощущенія, но хранитъ и совокупляетъ его долго въ себѣ, такъ что отъ этого долговременнаго ношенія оно имѣетъ уже силу взрыва, если выступитъ наружу. Приведу примѣръ. Поэта поразилъ видъ Казбека, одной изъ высочайшихъ кавказскихъ горъ, на верхушкѣ которой увидѣлъ онъ монастырь, показавшійся ему рѣющимъ въ небесахъ ковчегомъ. У другого поэта полились бы пылкіе стихи на нѣсколько страницъ. У Пушкина все въ десяти строкахъ, и стихотвореніе оканчиваетъ онъ симъ внезапнымъ обращеніемъ:

Далекій, вожделѣнный брегъ!
Туда-бъ, сказавъ: «прости» ущелью,

Подняться къ горной вышинѣ!
Туда-бъ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!

Именно одно это могъ бы сказать русскій человѣкъ, въ то время, какъ и французъ, и англичанинъ, и нѣмецъ пустились бы на подробный отчетъ ощущеній. Никто изъ нашихъ поэтовъ не былъ еще такъ скупъ на слова и выраженія, какъ Пушкинъ, такъ не смотрѣлъ осторожно за самимъ собою, чтобы не сказать неумѣреннаго и лишняго, пугаясь приторности и того и другого.

Что-жъ было предметомъ его поэзіи? Все стало ея предметомъ, и ничто въ особенности. Нѣмѣетъ мысль предъ безчисленностью его предметовъ. Чѣмъ онъ не поразился и предъ чѣмъ онъ не остановился? Отъ заоблачнаго Кавказа и картиннаго черкеса до бѣдной сѣверной деревушки съ балалайкою и трепакомъ у кабака,—вездѣ, всюду: на модномъ балѣ, въ избѣ, въ степи, въ дорожной кибиткѣ—все становится его предметомъ. На все, что ни есть во внутреннемъ человѣкѣ, начиная отъ его высокой и великой черты до малѣйшаго вздоха его слабости и ничтожной примѣты, его смутившей, онъ откликнулся такъ же, какъ откликнулся на все, что ни есть въ природѣ видимой и внѣшней. Все становится у него отдѣльною картиною; все предметъ его; изо всего какъ ничтожнаго, такъ и великаго, онъ исторгаетъ одну электрическую искру того поэтическаго огня, который присутствуетъ во всякомъ твореніи Бога,—его высшую сторону, знакомую только поэту, не дѣлая изъ нея никакого примѣненія къ жизни въ потребность человѣку, не обнаруживая никому, зачѣмъ исторгнута эта искра, не подставляя къ ней лѣстницы ни для кого изъ тѣхъ, которые глухи къ поэзіи. Ему ни до кого не было дѣла. Онъ заботился только о томъ, чтобы сказать однимъ одареннымъ поэтическимъ чутьемъ: «смотрите, какъ прекрасно твореніе Бога!» и, не прибавляя ничего больше, перелетать къ другому предмету затѣмъ, чтобы сказать также: «смотрите, какъ прекрасно Божіе твореніе!» Отъ этого, сочиненія его представляютъ явленіе изумительное противорѣчіемъ тѣхъ впечатлѣній, какія они порождаютъ въ читателяхъ. Въ глазахъ людей весьма умныхъ, но не имѣющихъ поэтическаго чутья, они—отрывки недосказанные, легкіе, мгновенные; въ глазахъ людей, одаренныхъ поэтическимъ чутьемъ, они—полныя поэмы, обдуманныя, оконченныя, все заключающія въ себѣ, что имъ нужно.

На Пушкинѣ оборвались всѣ вопросы, которые дотолѣ не задавались никому изъ нашихъ поэтовъ и въ которыхъ виденъ духъ просыпающагося времени. Зачѣмъ, къ чему была его поэзія? Какое новое направленіе мысленному міру далъ Пушкинъ? Что сказалъ онъ нужное своему вѣку? Подѣйствовалъ ли на него, если не спасительно, то разрушительно? Произвелъ ли вліяніе на другихъ, хотя личностью собственнаго характера, геніальными заблужденіями, какъ Байронъ и какъ

даже многіе второстепенные и низшіе поэты? Зачѣмъ онъ данъ былъ міру и что доказалъ собою? Пушкинъ данъ былъ міру на то, чтобы доказать собою, что такое самъ поэтъ, и ничего больше,—что такое поэтъ, взятый не подъ вліяніемъ какого-нибудь времени или обстоятельствъ и не подъ условіемъ также собственнаго, личнаго характера, какъ человѣка, но въ независимости отъ всего; чтобы, если захочетъ потомъ какой-нибудь высшій душевный анатомикъ разъять и объяснить себѣ, что такое въ существѣ своемъ поэтъ, это чуткое созданіе, на все откликающееся въ мірѣ и себѣ одному не имѣющее отклика, то чтобы онъ удовлетворенъ былъ, увидѣвъ это въ Пушкинѣ. Одному Пушкину опредѣлено было показать въ себѣ это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякій отдѣльный звукъ, порождаемый въ воздухѣ. При мысли о всякомъ поэтѣ представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышленіи о Шиллерѣ не предстанетъ вдругъ эта свѣтлая, младенческая душа, грезившая о лучшихъ и совершеннѣйшихъ идеалахъ, создавшая изъ нихъ себѣ міръ и довольная тѣмъ, что могла жить въ этомъ поэтическомъ мірѣ? Кому, читающему Байрона, не предстанетъ самъ Байронъ, этотъ гордый человѣкъ, облагодѣтельствованный всѣми дарами Неба и не могшій простить ему своего незначительнаго тѣлеснаго недостатка, отъ котораго ропотъ перенесся въ поэзію его? Самъ Гете, этотъ Протей изъ поэтовъ, стремившійся обнять все какъ въ мірѣ природы, такъ и въ мірѣ наукъ, показалъ уже симъ самымъ наукообразнымъ стремленіемъ своимъ личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-нѣмецкаго притязанія подладиться ко всѣмъ временамъ и вѣкамъ. Всѣ наши русскіе поэты: Державинъ, Жуковскій, Батюшковъ удержали свою личность. У одного Пушкина ея нѣтъ. Что схватишь изъ его сочиненій о немъ самомъ? Поди, улови его характеръ какъ человѣка! На мѣсто его предстанетъ тотъ же чудный образъ, на все откликающійся и одному себѣ только не находящій отклика. Всѣ сочиненія его—полный персоналъ орудій поэта. Ступай туда, выбирай себѣ всякъ по рукѣ любое, и выходи съ нимъ на битву; но самъ поэтъ на битву съ нимъ не вышелъ. Зачѣмъ не вышелъ?—это другой вопросъ. Онъ самъ на него отвѣчаетъ стихами:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Пушкинъ слышалъ значеніе свое лучше тѣхъ, которые задавали ему запросы, и съ любовію исполнялъ его. Даже и въ тѣ поры, когда метался онъ самъ въ чаду страстей, поэзія была для него святыня,—точно какой-то храмъ. Не входилъ онъ туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносилъ онъ туда необдуманнаго, опрометчиваго изъ собственной жизни своей; не вошла туда нагишомъ растрепанная дѣй-

ствительность. А между тѣмъ все тамъ—исторія его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышалъ одно только благоуханіе; но какія вещества перегорѣли въ груди поэта затѣмъ, чтобы издать это благоуханіе, того никто не можетъ услышать. И какъ онъ лелѣялъ ихъ въ себѣ! какъ вынашивалъ ихъ! Ни одинъ итальянскій поэтъ не отдѣлывалъ такъ сонетовъ своихъ, какъ обработывалъ онъ эти легкія, повидимому мгновенныя созданія. Какая точность во всякомъ словѣ! Какая значительность всякаго выраженія! Какъ все округлено, окончено и замкнуто! Всѣ онѣ точно перлы; трудно и рѣшить, которая элегія лучше—словно сверкающіе зубы красавицы, которые уподобляетъ царь Соломонъ овцамъ-юницамъ, только-что вышедшимъ изъ купели, когда онѣ всѣ, какъ одна, и всѣ равно прекрасны.

Какъ ему говорить было о чемъ-нибудь потребномъ современному обществу въ его современную минуту, когда хотѣлось откликнуться на все, что ни есть въ мірѣ, и когда всякій предметъ равно звалъ его? Онъ хотѣлъ было изобразить въ «Онѣгинѣ» современнаго человѣка и разрѣшить какую-то современную задачу—и не могъ. Столкнувши съ мѣста своихъ героевъ, самъ сталъ на ихъ мѣстѣ и, въ лицѣ ихъ, поразился тѣмъ, чѣмъ поражается поэтъ. Поэма вышла собраніе разрозненныхъ ощущеній, нѣжныхъ элегій, колкихъ эпиграммъ, картинныхъ идиллій, и, по прочтеніи ея, намѣсто всего, выступаетъ тотъ же чудный образъ на все откликнувшагося поэта. Его совершеннѣйшія произведенія: «Борисъ Годуновъ» и «Полтава»—тотъ же вѣрный откликъ минувшему. Ничего не хотѣлъ онъ ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникамъ не замышлялъ онъ выборомъ этихъ двухъ сюжетовъ; не видно также, чтобы онъ исполнился особеннаго участія къ кому-нибудь изъ выведенныхъ здѣсь героевъ и предпринялъ бы изъ-за того эти двѣ поэмы, такъ мастерски и художественно отработанныя. Онъ изумился только необычайности двухъ историческихъ событій и хотѣлъ, чтобы, подобно ему, изумились другіе.

Чтеніе поэтовъ всѣхъ народовъ и вѣковъ порождало въ немъ тотъ же откликъ. Герой испанскій Донъ-Жуанъ, этотъ неистощимый предметъ безчисленнаго множества драматическихъ поэмъ, далъ ему вдругъ идею сосредоточить все дѣло въ небольшой собственной драматической картинѣ, гдѣ еще съ большимъ познаніемъ души выставленъ неотразимый соблазнъ развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышнѣе сама Испанія. Гете въ «Фаустѣ» навелъ его вдругъ на идею сжать въ двухъ-трехъ страничкахъ главную мысль германскаго поэта—и дивишься, какъ она мѣтко понята и какъ сосредоточена въ одно крѣпкое ядро, несмотря на всю ея неопредѣленную разбросанность у Гете. Суровыя терцины Данта внушили ему мысль, въ такихъ же терцинахъ и въ духѣ самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое въ Царскомъ Селѣ, олицетворить науку въ видѣ строгой

жены, собирающей въ школу дѣтей, и себя въ видѣ школьника, вырвавшагося изъ класса въ садъ, затѣмъ, чтобы остановиться передъ древними статуями, съ лирами и циркулями въ рукахъ, говорившими ему живѣе науки, гдѣ видно, какъ уже рано пробуждалась въ немъ эта чуткость на все откликаться.

И какъ вѣренъ его откликъ, какъ чутко его ухо! Слышишь запахъ, цвѣтъ земли, времени, народа. Въ Испаніи онъ испанецъ (съ грекомъ —грекъ, на Кавказѣ—вольный горецъ, въ полномъ смыслѣ этого слова; съ отжившимъ человѣкомъ онъ дышитъ стариною времени минувшаго; заглянетъ къ мужику въ избу—онъ русскій весь съ головы до ногъ: всѣ черты нашей природы въ немъ отозвались, и все окинуто иногда однимъ словомъ, однимъ чутко найденнымъ и мѣтко прибраннымъ прилагательнымъ именемъ.

Свойство это въ немъ разрасталось постепенно, и онъ откликнулся бы потомъ цѣликомъ на всю русскую жизнь такъ же, какъ откликался на всякую отдѣльную ея черту. Мысль о романѣ, который бы повѣдалъ простую, безыскусственную повѣсть прямо-русской жизни, занимала его въ послѣднее время неотступно. Онъ бросилъ стихи единственно затѣмъ, чтобы не увлечься ничѣмъ по сторонамъ и быть проще въ описаніяхъ, и самую прозу упростилъ онъ до того, что даже не нашли никакого достоинства въ первыхъ повѣстяхъ его. Пушкинъ былъ этому радъ и написалъ «Капитанскую дочку», рѣшительно лучшее русское произведеніе въ повѣствовательномъ родѣ. Сравнительно съ «Капитанскою дочкою», всѣ наши романы и повѣсти кажутся приторною размазнею. Чистота и безыскусственность взошли въ ней на такую высокую степень, что сама дѣйствительность кажется передъ нею искусственною и карикатурною. Въ первый разъ выступили истинно-русскіе характеры: простой комендантъ крѣпости, капитанша, поручикъ; сама крѣпость съ единственною пушкою; безтолковщина времени и простое величіе простыхъ людей, все—не только самая правда, но еще какъ бы лучше ея. Такъ оно и быть должно: на то и призваніе поэта, чтобы изъ насъ же взять насъ и насъ же возвратить намъ въ очищенномъ и лучшемъ видѣ. Все показывало въ Пушкинѣ, что онъ на то былъ рожденъ и къ тому стремился. Почти въ одно время съ «Капитанскою дочкою» оставилъ онъ мастерскія пробы романовъ : «Рукопись села Горохина», «Царскій арапъ» и сдѣланный карандашемъ набросокъ большого романа: «Дубровскій». Въ послѣднее время набрался онъ много русской жизни и говорилъ обо всемъ такъ мѣтко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучшихъ стиховъ; но еще замѣчательнѣе было то, что строилось внутри самой души его и готовилось освѣтить передъ нимъ еще больше жизнь. Отголоски этого слышны въ изданномъ уже по смерти его стихотвореніи, (въ которомъ звуками, почти апокалипсическими, изображенъ побѣгъ изъ города, обреченнаго гибели, и часть его собственнаго душевнаго состоянія).

Много готовилось Россіи добра въ этомъ человѣкѣ... Но, становясь мужемъ, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться съ большими дѣлами, не подумалъ онъ о томъ, какъ управиться съ ничтожными и малыми. Внезапная смерть унесла его вдругъ отъ насъ—и все въ государствѣ услышало вдругъ, что лишилось великаго человѣка. Вліяніе Пушкина, какъ поэта, на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только въ началѣ его поэтическаго поприща, когда онъ первыми молодыми стихами своими напомнилъ было лиру Байрона; когда же пришелъ онъ въ себя и сталъ наконецъ не Байронъ, а Пушкинъ, общество отъ него отвернулось. Но вліяніе его было сильно на поэтовъ. Не сдѣлалъ того Карамзинъ въ прозѣ, что онъ въ стихахъ. Подражатели Карамзина послужили жалкою карикатурою на него самого и довели какъ слогъ, такъ и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то онъ былъ для всѣхъ поэтовъ, ему современныхъ, точно сброшенный съ неба поэтическій огонь, отъ котораго, какъ свѣчки, зажглись другіе самоцвѣтные поэты. Вокругъ него образовалось ихъ цѣлое созвѣздіе: Дельвигъ, поэтъ-сибаритъ, который нѣжился всякимъ звукомъ своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпомъ всего напитка поэзіи, глоталъ его по каплѣ, какъ знатокъ винъ, присматриваясь къ цвѣту и обоняя самый запахъ; Козловъ, гармоническій поэтъ, отъ котораго раздались какіе-то дотолѣ неслыханные, музыкально-сердечные звуки; Баратынскій, строгій и сумрачный поэтъ, который показалъ такъ рано самобытное стремленіе мыслей къ міру внутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отдѣлкѣ ихъ, тогда какъ онѣ еще не вызрѣли въ немъ самомъ; темный и неразвившійся, сталъ себя выказывать людямъ и сдѣлался чрезъ то для всѣхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всѣхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на дѣятельность Пушкинъ; другихъ же просто создалъ. Я разумѣю здѣсь нашихъ такъ-называемыхъ антологическихъ поэтовъ, которые произвели понемногу; но если изъ этихъ немногихъ душистыхъ цвѣтковъ сдѣлать выборъ, то выйдетъ книга, подъ которою подпишетъ свое имя лучшій поэтъ. Стоитъ назвать обоихъ Туманскихъ, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и нѣкоторыхъ другихъ, которые не выказали бы собственнаго поэтическаго огня и благоуханныхъ движеній душевныхъ, если бы не были зажжены огнемъ поэзіи Пушкина. Даже прежніе поэты стали перестраивать ладъ лиръ своихъ. Извѣстный переводчикъ Иліады Гнѣдичъ, прелагатель псалмовъ Θ. Глинка, партизанъ-поэтъ Давыдовъ, наконецъ самъ Жуковскій, наставникъ и учитель Пушкина въ искусствѣ стихотворномъ, сталъ потомъ учиться самъ у своего ученика. Сдѣлались поэтами даже тѣ, которые не рождены были поэтами, которымъ готовилось поприще не менѣе высокое, судя по тѣмъ духовнымъ силамъ, какія они показали даже въ стихотворныхъ своихъ опытахъ, какъ-то: Веневитиновъ, такъ рано отъ насъ похищенный, и Хомяковъ, слава Богу, еще живущій для какого-то

свѣтлаго будущаго, покуда еще ему самому не разоблачившагося. Сила возбудительнаго вліянія Пушкина даже повредила многимъ, особенно Баратынскому, и еще одному поэту, о которомъ будетъ рѣчь ниже,—повредила именно тѣмъ, что они стали передавать невызрѣвшія движенія души своей, тогда какъ самая душа не набралась еще поэзіи, доступной и близкой другимъ, и когда опредѣлено было имъ совершить прежде свое внутреннее воспитаніе и до времени умолкнуть. Всѣхъ соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворныхъ созданій, которую показалъ Пушкинъ. Позабывъ и общество, и всякія современныя связи съ нимъ человѣка, и всякія требованія земли своей, все жило въ какой-то поэтической Элладѣ, повторяя стихи Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Изъ поэтовъ времени Пушкина болѣе всѣхъ отдѣлился Языковъ. Съ появленіемъ первыхъ стиховъ его всѣмъ послышалась новая лира, разгулъ и буйство силъ, удаль всякаго выраженія, свѣтъ молодого восторга и языкъ, который въ такой силѣ, совершенствѣ и строгой подчиненности господину еще не являлся дотолѣ ни въ комъ. Имя *Языковъ* пришлось ему не даромъ: владѣетъ онъ языкомъ, какъ арабъ дикимъ конемъ своимъ, и еще какъ бы хвастается своею властію. Откуда ни начнетъ періодъ, съ головы ли, съ хвоста, онъ выведетъ его картинно, заключитъ и замкнетъ такъ, что остановишься пораженный. Все, что выражаетъ силу молодости, не разслабленной, но могучей, полной будущаго, стало вдругъ предметомъ стиховъ его. Такъ и брызжетъ юношеская свѣжесть отъ всего, къ чему онъ ни прикоснется. Вотъ его купанье въ рѣкѣ:

Покровы прочь! Передъ челом
Протянемъ руки удалыя
И—бухъ!
Блистательнымъ дождемъ
Взлетаютъ брызги водяныя.
Какая сильная волна!
Какая свѣжесть и прохлада!
Какъ сладострастна, какъ нѣжна
Меня обнявшая наяда!

Вотъ у него игра въ свайку, которую онъ назвалъ прямо-русскою игрою. Юноши-молодцы стали въ кружокъ:

Тяжкій гвоздь стойкомъ и плотно
Бьетъ въ кольцо—кольцо бренчитъ.
Вешній вечеръ беззаботно
И невидимо летитъ.

Все, что вызываетъ въ юношѣ отвагу—море, волны, буря, пиры и сдвинутыя чаши, братскій союзъ на дѣло, твердая какъ кремень вѣра въ будущее, готовность ратовать за отчизну—выражается у него съ силою неестественною. Когда появились его стихи отдѣльною книгою, Пушкинъ сказалъ съ досадою: «Зачѣмъ онъ назвалъ ихъ: «Стихотворенія Языкова»? ихъ бы слѣдовало назвать просто :«хмель»! Человѣкъ съ обыкновенными силами ничего не сдѣлаетъ подобнаго; тутъ потребно буйство силъ». Живо помню восторгъ его въ то время, когда прочиталъ онъ стихотвореніе Языкова къ Давыдову, напечатанное въ журналѣ. Въ первый разъ увидѣлъ я тогда слезы на лицѣ Пушкина (Пушкинъ никогда не плакалъ; онъ самъ себѣ сказалъ въ посланіи къ Овидію: «Суровый славянинъ, я слезъ не проливалъ, но понимаю ихъ»). Я помню тѣ строфы, которыя произвели у него слезы: первая, гдѣ поэтъ, обращаясь къ Россіи, которую уже было признали безсильною и немощною, взываетъ такъ:

Чу! труба продребезжала!
Русь! тебѣ надменный зовъ!
Вспомяни-жъ, какъ ты встрѣчала
Всѣ нашествія враговъ!
Созови отъ странъ далекихъ
Ты своихъ богатырей,
Со степей, съ равнинъ широкихъ,
Съ рѣкъ великихъ, съ горъ высокихъ,
Отъ осьми твоихъ морей.

И потомъ строфа, гдѣ описывается неслыханное самопожертвованіе—предать огню собственную столицу со всѣмъ, что ни есть въ ней священнаго для всей земли:

Пламень въ небо упирая,
Лютъ пожаръ Москвы ревetъ.
Златоглавая, святая,
Ты ли гибнешь? Русь, впередъ!
Громче буря истребленья!
Крѣпче смѣлый ей отпоръ!
Это жертвенникъ спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксовъ костеръ!

У кого не брызнутъ слезы послѣ такихъ строфъ? Стихи его точно разымчивый хмель; но въ хмелѣ слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентскія пирушки не изъ бражничества и пьянства, но отъ радости, что есть мочь въ рукѣ и поприще впереди, что понесутся они, студенты,

На благородное служенье
Во славу чести и добра.

Бѣда только, что хмель перешелъ мѣру и что самъ поэтъ загулялся черезчуръ на радости отъ своего будущаго, какъ и многіе изъ насъ на Руси, и осталось дѣло только въ одномъ могучемъ порывѣ.

Всѣхъ глаза устремились на Языкова. Всѣ ждали чего-то необыкновеннаго отъ новаго поэта, отъ стиховъ котораго пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дѣло. Но дѣла не дождались. Вышло еще нѣсколько стихотвореній, повторившихъ слабѣе то же самое; потомъ тяжелая болѣзнь посѣтила поэта и отразилась на его духѣ. Въ послѣднихъ стихахъ его уже не было ничего, шевелившаго русскую душу. Въ нихъ раздались скучанія среди нѣмецкихъ городовъ, безучастныя записки разъѣздовъ, перечень однообразно-страдальческаго дня. Все это было мертво русскому духу. Не примѣтили даже необыкновенной отработки позднѣйшихъ стиховъ его. Его языкъ, еще болѣе окрѣпнувшій, ему же послужилъ въ улику: онъ былъ на тощихъ мысляхъ и бѣдномъ содержаніи, что панцырь богатыря на хиломъ тѣлѣ карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нѣтъ вовсе мыслей, а одни пустозвонкіе стихи, и что онъ даже и не поэтъ. Все пришло противъ него въ ропотъ. Отголоски этого ропота раздались нелѣпо въ журналахъ, но въ основаніи ихъ была правда. Языковъ не сказалъ же, говоря о поэтѣ, словами Пушкина:

Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

У него, напротивъ, вотъ что говоритъ поэтъ:

Когда тебѣ на подвигъ все готово,
Въ чемъ на землѣ небесный виденъ даръ,
Могучей мысли свѣтъ и жаръ
И огнедышащее слово—
Иди ты въ міръ, да слышитъ онъ поэта.

Положимъ, это говорится объ идеальномъ поэтѣ; но идеалъ свой онъ взялъ изъ своей же природы. Если бы въ немъ самомъ уже не было началъ тому, не могъ бы и представить онъ себѣ такого поэта. Нѣтъ, не силы его оставили, не бѣдность таланта и мыслей виною пустоты содержанія послѣднихъ стиховъ его, какъ самоувѣренно возгласили критики, и даже не болѣзнь (болѣзнь дается только къ ускоренію дѣла, если человѣкъ проникнетъ смыслъ ея)—нѣтъ, другое его обезсилило: свѣтъ любви погаснулъ въ душѣ его—вотъ почему примерк нулъ и свѣтъ поэзіи. Полюби потребное и нужное душѣ съ такою силою, какъ полюбилъ ты прежде хмель юности своей—и вдругъ подымутся твои мысли наравнѣ со стихомъ, раздастся огнедышащее слово: изобразишь намъ ту же пошлость болѣзненной жизни своей, но изобразишь такъ, что содрогнется человѣкъ отъ проснувшихся желѣзныхъ силъ своихъ и возблагодаритъ Бога за недугъ, давшій ему это почувствовать. Не по стопамъ Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стихъ свой; не для элегій и антологическихъ стихотвореній, но для диѳирамба и гимна родился онъ; это услышали

всѣ. И уже скорѣе отъ Державина, нежели отъ Пушкина, долженъ былъ онъ засвѣтить свѣтильникъ свой. Стихъ его только тогда и входилъ въ душу, когда онъ весь въ лирическомъ свѣту; предметъ у него только тогда живъ, когда онъ или движется, или звучитъ, или сіяетъ, а не тогда когда пребываетъ въ покоѣ. Удѣлы поэтовъ не равны. Одному опредѣлено быть вѣрнымъ зеркаломъ и отголоскомъ жизни—на то и данъ ему многосторонній, описательный талантъ. Другому повелѣно быть передовою, возбуждающею силою общества во всѣхъ его благородныхъ и высшихъ движеніяхъ—и на то данъ ему лирическій талантъ. Не попадетъ талантъ на свою дорогу, потому что не устремляетъ глазъ высшихъ на самого себя. Но Промыслъ лучше печется о человѣкѣ. Бѣдою, зломъ и болѣзнію насильно приводитъ онъ его къ тому, къ чему онъ не пришелъ бы самъ. Уже и въ лирѣ Языкова замѣтно стремленіе къ повороту на его законную дорогу. Отъ него услышали недавно стихотвореніе «Землетрясеніе», которое, по мнѣнію Жуковскаго, есть наше лучшее стихотвореніе.

Изъ поэтовъ времени Пушкина отдѣлился князь Вяземскій. Хотя онъ началъ писать гораздо прежде Пушкина, но такъ какъ его полное развитіе было при немъ, то упомянемъ о немъ здѣсь. Въ князѣ Вяземскомъ—противоположность Языкову: сколько въ томъ поражаетъ нищета мыслей, столько въ этомъ обиліе ихъ. Стихъ употребленъ у него, какъ первое попавшееся орудіе: никакой наружной отдѣлки его, никакого также сосредоточенія и округленія мысли, затѣмъ, чтобы выставить ее читателю, какъ драгоцѣнность: онъ не художникъ и не заботится обо всемъ этомъ. Его стихотворенія—импровизація, хотя для такихъ импровизацій нужно имѣть слишкомъ много всякихъ даровъ и слишкомъ приготовленную голову. Въ немъ собралось обиліе необыкновенное всѣхъ качествъ: наглядка, наблюдательность, неожиданность выводовъ, чувство, умъ, остроуміе, веселость и даже грусть; каждое стихотвореніе его—пестрый фараонъ всего вмѣстѣ. Онъ не поэтъ по призванію: судьба, надѣливши его всѣми дарами, дала ему какъ бы въ придачу талантъ поэта, затѣмъ, чтобы составить изъ него что-то полное. Въ его книгѣ: «Біографія Фонвизина» обнаружилось еще виднѣе обиліе всѣхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ, въ одно и то же время, политикъ, философъ, тонкій оцѣнщикъ и критикъ, положительный государственный человѣкъ и даже опытный вѣдатель практической стороны жизни, словомъ—всѣ тѣ качества, которыя долженъ заключать въ себѣ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ. И если бы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонвизина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ почти фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навѣрно, что подобнаго по достоинству историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа.

Но отсутствіе большого и полнаго труда есть болѣзнь князя Вяземскаго, и это слышится въ самыхъ его стихотвореніяхъ. Въ нихъ замѣтно отсутствіе внутренняго гармоническаго согласованія въ частяхъ, слышенъ разладъ: слово не сочеталось со словомъ, стихъ со стихомъ, возлѣ крѣпкаго и твердаго стиха, какого нѣтъ ни у одного поэта, помѣщается другой, ничѣмъ на него непохожій; то вдругъ защемитъ онъ чѣмъ-то вырваннымъ живьемъ изъ самаго сердца, то вдругъ оттолкнетъ отъ себя звукомъ, почти чуждымъ сердцу, раздавшимся совершенно не въ тактъ съ предметомъ; слышна неспособность въ себя, не полная жизнь своими силами; слышится на днѣ всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человѣка, одареннаго способностями разнообразными и очутившагося безъ такого дѣла, которое бы заняло всѣ до единой его способности, тяжелѣе участи послѣдняго бѣдняка. Только тотъ трудъ, который заставляетъ цѣликомъ всего человѣка обратиться къ себѣ и уйти въ себя, есть нашъ избавитель. На немъ только, какъ говоритъ поэтъ,

Душа прямится, крѣпнетъ воля,
И наша собственная доля
Опредѣляется виднѣй.

Въ то время, когда наша поэзія совершала такъ быстро своеобразный ходъ свой, воспитываясь поэтами всѣхъ вѣковъ и націй, обвѣваясь звуками всѣхъ поэтическихъ странъ, пробуя всѣ тоны и аккорды, одинъ поэтъ оставался въ сторонѣ. Выбравши себѣ самую незамѣтную и узкую тропу, шелъ онъ по ней почти безъ шуму, пока не переросъ другихъ, какъ крѣпкій дубъ перерастаетъ всю рощу, вначалѣ его скрывавшую. Этотъ поэтъ—Крыловъ. Выбралъ онъ себѣ форму басни, всѣми пренебреженную, какъ вещь старую, негодную для употребленія и почти дѣтскую игрушку—и въ сей баснѣ умѣлъ сдѣлаться народнымъ поэтомъ. Это наша крѣпкая русская голова, тотъ самый умъ, который съ родни уму нашихъ пословицъ, тотъ самый умъ, которымъ крѣпокъ русскій человѣкъ, умъ выводовъ, такъ-называемый задній умъ. Пословица не есть какое-нибудь впередъ поданное мнѣніе или предположеніе о дѣлѣ, но уже подведенный итогъ дѣлу, отсѣдъ, отстой уже перебродившихъ и кончившихся событій, окончательное извлеченіе силы дѣла изъ всѣхъ сторонъ его, а не изъ одной. Это выражается и въ поговоркѣ: *«одна рѣчь не пословица»*. Вслѣдствіе этого задняго ума, или ума окончательныхъ выводовъ, которымъ преимущественно надѣленъ предъ другими русскій человѣкъ, наши пословицы значительнѣе пословицъ всѣхъ другихъ народовъ. Сверхъ полноты мыслей, уже въ самомъ образѣ выраженія въ нихъ отразилось много народныхъ свойствъ нашихъ; въ нихъ все есть: издѣвка, насмѣшка, попрекъ, словомъ—все шевелящее и задирающее за живое: какъ стоглазый Аргусъ, глядитъ изъ нихъ каждая на человѣка. Всѣ великіе люди, отъ Пушкина до Суворова и Петра, благоговѣли передъ нашими посло-

вицами. Уваженіе къ нимъ выразилось многими поговорками: «*пословица не даромъ молвится*», или «*во вѣкъ не сломится*». Извѣстно, что если сумѣешь замкнуть рѣчь ловко прибранною пословицей, то симъ объяснишь ее вдругъ народу, какъ бы сама по себѣ ни была она свыше его понятія.

Отсюда-то ведетъ свое происхожденіе Крыловъ. Его басни отнюдь не для дѣтей. Тотъ ошибется грубо, кто назоветъ его баснописцемъ въ такомъ смыслѣ, въ какомъ были баснописцы Лафонтенъ, Дмитріевъ, Хемницеръ и, наконецъ, Измайловъ. Его притчи—достояніе народное и составляютъ книгу мудрости самого народа. Звѣри у него мыслятъ и поступаютъ слишкомъ по-русски: въ ихъ продѣлкахъ между собою слышны продѣлки и обряды производствъ внутри Россіи. Кромѣ вѣрнаго звѣринаго сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медвѣдь, волкъ, но даже самъ горшокъ поворачивается какъ живой, они показали въ себѣ еще и русскую природу. Даже оселъ, который у него до того опредѣлился въ характерѣ своемъ, что стоитъ ему высунуть только уши изъ какой-нибудь басни, какъ уже читатель вскрикиваетъ впередъ: «это оселъ Крылова!» даже оселъ, несмотря на свою принадлежность климату другихъ земель, явился у него русскимъ человѣкомъ. Нѣсколько лѣтъ производя кражу по чужимъ огородамъ, онъ возгорѣлся вдругъ честолюбіемъ, захотѣлъ ордена и заважничалъ страхъ, когда хозяинъ повѣсилъ ему на шею звонокъ, не размысля того, что теперь всякая кража и пакость его будутъ видны всѣмъ и привлекутъ отовсюду побои на его бока. Словомъ—всюду у него Русь и пахнетъ Русью. Всякая басня его имѣетъ, сверхъ того, историческое происхожденіе. Несмотря на свою неторопливость и, повидимому, равнодушіе къ событіямъ современнымъ, поэтъ, однакожъ, слѣдилъ всякое событіе внутри государства: на все подавалъ свой голосъ и въ голосѣ этомъ слышалась разумная середина, примиряющій третейскій судъ, которымъ такъ силенъ русскій умъ, когда достигаетъ до своего полнаго совершенства. Строго взвѣшеннымъ и крѣпкимъ словомъ такъ разомъ онъ и опредѣлитъ дѣло, такъ и означитъ, въ чемъ его истинное существо. Когда нѣкоторые черезчуръ военные люди стали было уже утверждать, что все въ государствахъ должно быть основано на одной военной силѣ и въ ней одной спасеніе, а чиновники штатскіе начали, въ свою очередь, притрунивать надъ всѣмъ, что ни есть военнаго, изъ-за того только, что нѣкоторые обратили военное дѣло въ одни погончики да петлички, онъ написалъ знаменитый споръ пушекъ съ парусами, въ которомъ вводитъ обѣ стороны въ ихъ законныя границы симъ замѣчательнымъ четверостишіемъ:

Держава всякая сильна,
Когда устроены въ ней мудро части:
Оружіемъ—врагамъ она грозна,
А паруса—гражданскія въ ней власти.

Какая мѣткость опредѣленія! Безъ пушекъ не защитишься, а безъ парусовъ и вовсе не поплывешь. Когда у нѣкоторыхъ доброжелательныхъ, но недальнозоркихъ начальниковъ утвердилось было странное мнѣніе, что нужно опасаться бойкихъ, умныхъ людей и обходить ихъ въ должностяхъ изъ-за того единственно, что нѣкоторые изъ нихъ были когда-то шалуны и замѣшались въ безразсудное дѣло, онъ написалъ не меньше замѣчательную басню: «Двѣ бритвы», и въ ней справедливо попрекнулъ начальниковъ, которые

Людей съ умомъ боятся
И держатъ при себѣ охотнѣй дураковъ.

Особенно слышно, какъ онъ вездѣ держитъ сторону ума, какъ проситъ не пренебрегать умнаго человѣка, но умѣть съ нимъ обращаться. Это отразилось въ баснѣ «Музыканты», которую заключилъ онъ словами: «По мнѣ, ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй!» Не потому онъ это сказалъ, чтобы хотѣлъ похвалить пьянство, но потому, что заболѣла его душа при видѣ, какъ нѣкоторые, набравши къ себѣ, намѣсто мастеровъ дѣла, людей Богъ вѣсть какихъ, еще и хвастаются тѣмъ, говоря, что хоть мастерства они и не смыслятъ, но зато отличнѣйшаго поведенія. Онъ зналъ, что съ умнымъ человѣкомъ все можно сдѣлать и не трудно обратить его къ хорошему поведенію, если сумѣешь умно говорить съ нимъ, но дурака трудно сдѣлать умнымъ, какъ ни говори съ нимъ. «*Въ ворѣ — что въ морѣ, а въ дуракѣ—что въ прѣсномъ молокѣ*», говоритъ наша пословица. Но и умному дѣлаетъ онъ также крѣпкія замѣтки, сильно попрекнувши его въ баснѣ «Прудъ и Рѣка», за то, что далъ задремать своимъ способностямъ, и строго укоривши въ баснѣ «Сочинитель и Разбойникъ» за развратное и злое ихъ направленіе. Вообще его занимали вопросы важные. Въ книгѣ его всѣмъ есть уроки, всѣмъ степенямъ въ государствѣ, начиная отъ главы, которому говоритъ онъ:

Властитель хочетъ ли народы удержать?
Держи бразды не вкруть, но мощною рукою,—

и до послѣдняго труженика, работающаго въ низкихъ рядахъ государственныхъ, которому указываетъ онъ на высокій удѣлъ въ видѣ пчелы, не ищущей отличать своей работы:

Но сколь и тотъ почтенъ, кто, въ низости сокрытый,
За всѣ труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится
И мыслью оживленъ одной,
Что къ пользѣ общей онъ трудится.

Слова эти останутся доказательствомъ вѣчнымъ, какъ благородна была душа самого Крылова. Ни одинъ изъ поэтовъ не умѣлъ сдѣлать свою мысль такъ ощутительною и выражаться такъ доступно всѣмъ, какъ Крыловъ. Поэтъ и мудрецъ слились въ немъ воедино. У него живописно все, начиная отъ изображенія природы плѣнительной, грозной

и даже грязной, до передачи малѣйшихъ оттѣнковъ разговора, выдающихъ живьемъ душевныя свойства. Все такъ сказано мѣтко, такъ найдено вѣрно и такъ усвоено крѣпко вещи, что даже и опредѣлить нельзя, въ чемъ характеръ пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предметъ, какъ бы не имѣя словесной оболочки, выступаетъ самъ собою натурою передъ глаза. Стиха его также не схватишь. Никакъ не опредѣлишь его свойства: звученъ ли онъ? легокъ ли? тяжелъ ли? Звучитъ онъ тамъ, гдѣ предметъ у него звучитъ; движется, гдѣ предметъ движется; крѣпчаетъ, гдѣ крѣпнетъ мысль, и становится вдругъ легкимъ, уступаетъ легковѣсной болтовнѣ дурака. Его рѣчь покорна и послушна мысли и летаетъ, какъ муха, то являясь вдругъ въ длинномъ, шестистопномъ стихѣ, то въ быстромъ, одностопномъ; разсчитаннымъ числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую невыразимую ея духовность. Стоитъ вспомнить величественное заключеніе басни «Двѣ бочки»:

Великій человѣкъ лишь виденъ на дѣлахъ,
И думаетъ свою онъ крѣпку думу
Безъ шуму.

Тутъ отъ самаго размѣщенія словъ какъ бы слышится величіе ушедшаго въ себя человѣка.

Отъ Крылова вдругъ можно перейти къ другой сторонѣ нашей поэзіи—сатирической. У насъ у всѣхъ много иронiи. Она видна въ нашихъ пословицахъ и пѣсняхъ, и что всего изумительнѣе, часто тамъ, гдѣ видимо страждетъ душа и не расположена вовсе къ веселости. Глубина этой самобытной иронiи еще предъ нами не разоблачилась, потому что воспитываясь всѣми европейскими воспитаніями, мы и тутъ отдалились отъ родного корня. Наклонность къ иронiи, однакожъ, удержалась, хотя и не въ той формѣ. Трудно найти русскаго человѣка, въ которомъ бы не соединялось, вмѣстѣ съ умѣньемъ предъ чѣмъ-нибудь истинно возблагоговѣть, свойство — надъ чѣмъ-нибудь истинно посмѣяться. Всѣ наши поэты заключали въ себѣ это свойство. Державинъ крупною солью разсыпалъ его у себя въ большей половинѣ одъ своихъ. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземскаго; оно слышно даже у такихъ поэтовъ, которые въ характерѣ своемъ имѣли нѣжное меланхолическое расположеніе: у Капниста, у Жуковскаго, у Карамзина, у князя Долгорукаго; оно есть что-то сродное намъ всѣмъ. Естественно, что у насъ должны были развиться писатели собственно сатирическіе. Уже въ то время, когда Ломоносовъ настраивалъ свою лиру на высокій лирическій ладъ, князь Кантемиръ находилъ пищу для сатиры и хлесталъ ею глупости едва начинавшагося общества. Въ разныя эпохи появлялось у насъ множество сатиръ, эпиграммъ, насмѣшливыхъ перелицовокъ наизнанку извѣстнѣйшихъ произведеній и всякаго рода пародій ѣдкихъ, злыхъ, которыя останутся, вѣроятно, всегда въ рукописяхъ и въ которыхъ всюду видна большая сила. Стоитъ вспоминть пародіи князя Горча-

кова, сатиру на литераторовъ Войекова: «Домъ сумасшедшихъ», и талантливыя пародіи Михайла Дмитріева, гдѣ желчь Ювенала соединилась съ какимъ-то особеннымъ славянскимъ добродушіемъ. Но сатира скоро попросила себѣ поприща обширнѣйшаго и перешла въ драму. Театръ начался у насъ такъ же, какъ и повсюду, сначала подражаніями; потомъ стали пробиваться черты оригинальныя. Въ трагедіи явились нравственная сила и незнаніе человѣка подъ условіемъ взятой эпохи и вѣка; въ комедіи—легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, безъ взгляда на душу человѣка. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмѣльницкаго, Загоскина, А. Писарева помнятся съ уваженіемъ: но все это поблѣднѣло передъ двумя яркими произведеніями: передъ комедіями: Фонвизина «Недоросль» и Грибоѣдова «Горе отъ ума», которыя весьма остроумно назвалъ князь Вяземскій двумя современными трагедіями. Въ нихъ уже не легкія насмѣшки надъ смѣшными сторонами общества, но раны и болѣзни нашего общества, тяжелыя злоупотребленія внутреннія, которыя безпощадною силою ироніи выставлены въ очевидности потрясающей. Обѣ комедіи взяли двѣ разныя эпохи. Одна поразила болѣзни отъ непросвѣщенія, другая —отъ дурно-понятаго просвѣщенія.

Комедія Фонвизина поражаетъ огрубѣлое звѣрство человѣка, происшедшее отъ долгаго безчувственнаго, непотрясаемаго застоя въ отдаленныхъ углахъ и захолустьяхъ Россіи. Она выставила такъ страшно эту кору огрубѣнія, что въ ней почти не узнаешь русскаго человѣка. Кто можетъ узнать что-нибудь русское въ этомъ злобномъ существѣ, исполненномъ тиранства, какова Простакова, мучительница крестьянъ, мужа и всего, кромѣ своего сына? А между тѣмъ чувствуешь, что нигдѣ въ другой землѣ, ни во Франціи, ни въ Англіи не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь къ своему дѣтищу есть наша сильная русская любовь, которая въ человѣкѣ, потерявшемъ свое достоинство, выразилась въ такомъ извращенномъ видѣ, въ такомъ чудномъ соединеніи съ тиранствомъ, такъ что, чѣмъ болѣе она любитъ свое дитя, тѣмъ болѣе ненавидитъ все, что не есть ея дитя. Потомъ характеръ Скотинина—другой типъ огрубѣнія. Его неуклюжая природа, не получивъ на свою долю никакихъ сильныхъ и неистовыхъ страстей, обратилась въ какую-то болѣе спокойную, въ своемъ родѣ художественную любовь къ скотинѣ, намѣсто человѣка: свиньи сдѣлались для него то же, что для любителя искусствъ картинная галлерея. Потомъ супругъ Простаковой—несчастное убитое существо, въ которомъ и тѣ слабыя силы, какія держались, забиты понуканіями жены,—полное притупленіе всего! Наконецъ, самъ Митрофанъ, который, ничего не заключая злобнаго въ своей природѣ, не имѣя желанія наносить кому-либо несчастіе, становится нечувствительно, съ помощью угожденій и баловства, тираномъ всѣхъ, и всего болѣе тѣхъ, которые его сильнѣе любятъ, то-есть, матери и няньки, такъ что наносить имъ

оскорбленіе—сдѣлалось ему уже наслажденіемъ. Словомъ—лица эти какъ бы уже не русскія; трудно даже и узнать въ нихъ русскія качества, исключая только развѣ одну Еремѣевну да отставного солдата. Съ ужасомъ слышишь, что уже на нихъ не подѣйствуешь ни вліяніемъ Церкви, ни обычаями старины, отъ которыхъ удерживалось въ нихъ одно пошлое, и только одному желѣзному закону здѣсь мѣсто. Все въ этой комедіи кажется чудовищною карикатурою на русское, а между тѣмъ нѣтъ ничего въ ней карикатурнаго: все взято живьемъ отъ природы и провѣрено знаніемъ души. Это тѣ неотразимо-страшные идеалы огрубѣнія, до которыхъ можетъ достигнуть только одинъ человѣкъ Русской земли, а не другого народа.

Комедія Грибоѣдова взяла другое время общества—выставила болѣзни отъ дурно понятаго просвѣщенія, отъ принятія глупыхъ свѣтскихъ мелочей намѣсто главнаго, словомъ—взяла донкишотскую сторону нашего европейскаго образованія, несвязавшуюся смѣсь обычаевъ, сдѣлавшую русскихъ не русскими, но иностранцами. Типъ Фамусова такъ же глубоко постигнутъ, какъ и Простаковой. Такъ же наивно, какъ хвастается Простакова своимъ невѣжествомъ, онъ хвастается полупросвѣщеніемъ какъ собственнымъ, такъ и всего того сословія, къ которому принадлежитъ: хвастается тѣмъ, что московскія дѣвицы верхнія выводятъ нотки, словечка два не скажутъ, все съ ужимкой; что дверь у него отперта для всѣхъ, какъ званыхъ, такъ и незваныхъ, особенно для иностранныхъ; что канцелярія у него набита ничего не дѣлающею роднею. Онъ и благопристойный степенный человѣкъ и волокита, и читаетъ мораль и мастеръ такъ пообѣдать, что въ три дня не сварится. Онъ даже вольнодумецъ, если соберется съ подобными себѣ стариками, и въ то же время готовъ не допустить на выстрѣлъ къ столицамъ молодыхъ вольнодумцевъ, которыхъ именемъ честитъ всѣхъ, кто не подчинился принятымъ свѣтскимъ обычаямъ ихъ общества. Въ существѣ своемъ это одно изъ тѣхъ вывѣтрившихся лицъ, въ которыхъ, при всемъ ихъ свѣтскомъ comme il faut, не осталось ровно ничего, которыя своимъ пребываніемъ въ столицѣ и службою такъ же вредны обществу, какъ другіе ему вредны своею неслужбою и огрубѣлымъ пребываніемъ въ деревнѣ. Вредны, во-первыхъ, собственнымъ имѣніямъ своимъ—тѣмъ, что, предавши ихъ въ руки наемниковъ и управителей, требуя отъ нихъ только денегъ для своихъ баловъ и обѣдовъ званыхъ и незваныхъ, они разрушили истинно-законныя узы, связавшія помѣщиковъ съ крестьянами; вредны, во-вторыхъ, на служащемъ поприщѣ—тѣмъ, что, доставляя мѣста однимъ только ничего не дѣлающимъ родственникамъ своимъ, отняли у государства истинныхъ дѣльцовъ и отвадили охоту служить у честнаго человѣка; вредны, наконецъ, въ-третьихъ, духу правительства своею двусмысленною жизнію—тѣмъ, что подъ личиною усердія (къ царю) и благонамѣренности, требуя поддѣльной нравственности отъ

молодыхъ людей и развратничая въ то же время сами, возбудили негодованіе молодежи, неуваженіе къ старости и заслугамъ и наклонность къ вольнодумству дѣйствительному у тѣхъ, которые имѣютъ некрѣпкія головы и способны вдаваться въ крайности. Не меньше замѣчателенъ другой типъ: отъявленный мерзавецъ Загорѣцкій, вездѣ ругаемый и, къ изумленію, всюду принимаемый, лгунъ, плутъ, но въ то же время мастеръ угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленіемъ ему того, къ чему онъ грѣховно падокъ, готовый, въ случаѣ надобности, сдѣлаться патріотомъ и ратоборцемъ нравственности, зажечь костры и на нихъ предать пламени всѣ книги, какія ни есть на свѣтѣ, а въ томъ числѣ и сочинителей даже самыхъ басенъ (за ихъ вѣчныя насмѣшки надъ львами и орлами) и симъ обнаружившій, что, не боясь ничего, даже самой позорнѣйшей брани, боится, однакожъ, насмѣшки, какъ чортъ креста. Не меньше замѣчателенъ третій типъ: глупый либералъ Репетиловъ, рыцарь пустоты во всѣхъ ея отношеніяхъ, рыскающій по ночнымъ собраніямъ, радующійся, какъ Богъ вѣсть какой находкѣ, когда удается ему пристегнуться къ какому-нибудь обществу, которое шумитъ о томъ, чего онъ не понимаетъ, чего и разсказать даже не умѣетъ, но котораго бредни слушаетъ онъ съ чувствомъ, въ увѣренности, что попалъ наконецъ на настоящую дорогу и что тутъ кроется дѣйствительно какое-то общественное дѣло, которое, хотя еще не созрѣло, но какъ разъ созрѣетъ, если только о немъ пошумятъ побольше, станутъ почаще собираться по ночамъ да позадористѣе между собою спорить. Не меньше замѣчателенъ четвертый типъ: глупый (фрунтовикъ) Скалозубъ, понявшій службу единственно въ умѣньи различать форменныя отлички, но, при всемъ томъ, удержавшій какой-то свой особенный философскій (либеральный) взглядъ на чины, признающійся откровенно, что онъ ихъ считаетъ какъ необходимые каналы къ тому, чтобы попасть въ генералы, а тамъ ему хоть трава не расти; всѣ прочія тревоги ему ни по чемъ, а обстоятельства времени и вѣка для него не головоломная наука: онъ искренно увѣренъ, что весь міръ можно успокоить, давши ему въ Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замѣчательный также типъ и старуха Хлестова, жалкая смѣсь пошлости двухъ вѣковъ, удержавшая изъ старинныхъ временъ только одно пошлое съ притязаніями на уваженіе отъ новаго поколѣнія, съ требованіями почтенія къ себѣ отъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ сама презираетъ, готовая выбранить вслухъ и встрѣчнаго, и поперечнаго за то только, что не такъ къ ней сѣлъ, или передъ нею оборотился, ни къ чему не питающая никакой любви и никакого уваженія, но покровительница арапченокъ, мосекъ и людей въ родѣ Молчалина, словомъ—старуха-дрянь въ полномъ смыслѣ этого слова. Самъ Молчалинъ—тоже замѣчательный типъ. Мѣтко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамѣстъ тихомолкомъ пробирающееся въ люди, но въ которомъ, по словамъ Чацкаго, гото-

вится будущій Загорѣцкій. Такое скопище уродовъ общества, изъ которыхъ каждый окарикатурилъ какое-нибудь мнѣніе, правило, мысль извративши по-своему законный смыслъ ихъ, должно было вызвать въ отпоръ ему другую крайность, которая обнаружилась ярко въ Чацкомъ. Въ досадѣ и въ справедливомъ негодованіи противу ихъ всѣхъ, Чацкій переходитъ также въ излишество, не замѣчая, что черезъ это самое и черезъ этотъ невоздержный языкъ свой онъ дѣлается самъ нетерпимъ и даже смѣшонъ. Всѣ лица комедіи Грибоѣдова суть такія же дѣти полупросвѣщенія, какъ Фонвизиновы—дѣти непросвѣщенія, русскіе уроды, временныя, преходящія лица, образовавшіяся среди броженія новой закваски. Прямо-русскаго типа нѣтъ ни въ комъ изъ нихъ: не слышно русскаго гражданина. Зритель остается въ недоумѣніи насчетъ того, чѣмъ долженъ быть русскій человѣкъ. Даже то лицо, которое взято, повидимому, въ образецъ, то-есть, самъ Чацкій, показываетъ только стремленіе чѣмъ-то сдѣлаться, выражаетъ только негодованіе противу того, что презрѣнно и мерзко въ обществѣ, но не даетъ въ себѣ образца обществу.

Обѣ комедіи исполняютъ плохо сценическія условія: въ семъ отношеніи ничтожная французская пьеса ихъ лучше. Содержаніе, взятое въ интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о немъ не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержаніе и соображая съ нимъ выходы и уходы лицъ своихъ. Степень потребности побочныхъ характеровъ и ролей измѣрена также не въ отношеніи къ герою пьесы, но въ отношеніи къ тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствіемъ своимъ на сценѣ, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. Въ противномъ же случаѣ, то-есть, если бы они выполнили и эти необходимыя условія всякаго драматическаго творенія и заставили каждое изъ лицъ, такъ мѣтко схваченныхъ и постигнутыхъ, изворотиться передъ зрителемъ въ живомъ дѣйствіи, а не въ разговорѣ—это были бы два высокія произведенія нашего генія. И теперь даже ихъ можно назвать истинно-общественными комедіями, и подобнаго выраженія, сколько мнѣ кажется, не принимала еще комедія ни у одного изъ народовъ. Есть слѣды общественной комедіи у грековъ; но Аристофанъ руководился болѣе личнымъ расположеніемъ, нападалъ на злоупотребленія одного какого-нибудь человѣка и не всегда имѣлъ въ виду истину: доказательствомъ тому то, что онъ дерзнулъ осмѣять Сократа. Наши комики двигнулись общественною причиною, а не собственною, возстали не противъ одного лица, но противъ цѣлаго множества злоупотребленій, противъ уклоненія всего общества отъ прямой дороги. Общество сдѣлали они какъ бы собственнымъ своимъ тѣломъ; огнемъ негодованія лирическаго зажглась безпощадная сила ихъ насмѣшки. Это—продолженіе той же брани свѣта со тьмою, внесенной въ Россію Петромъ, которая всякаго

благороднаго русскаго дѣлаетъ уже невольно ратникомъ свѣта. Обѣ комедіи ничуть не созданія художественныя и не принадлежатъ фантазіи сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились онѣ почти сами собою, въ видѣ какого-то грознаго очищенія. Вотъ почему по слѣдамъ ихъ не появлялось въ нашей литературѣ ничего имъ подобнаго и, вѣроятно, долго не появится.

Со смертію Пушкина остановилось движеніе поэзіи нашей впередъ. Это, однакоже, не значитъ, чтобы духъ ея угаснулъ; напротивъ, онъ, какъ гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота въ воздухѣ возвѣщаетъ его приближеніе. Уже явились и теперь люди не безъ талантовъ. Но еще все находится подъ сильнымъ вліяніемъ гармоническихъ звуковъ Пушкина; еще никто не можетъ вырваться изъ этого заколдованнаго, имъ очерченнаго круга и показать собственныя силы. Еще даже не слышитъ никто, что вокругъ него настало другое время, образовались стихіи новой жизни и раздаются вопросы, которые дотолѣ не раздавались; а потому ни въ комъ изъ нихъ еще нѣтъ самоцвѣтности. Ихъ даже не слѣдуетъ называть по именамъ, кромѣ одного Лермонтова, который себя выставилъ впередъ больше другихъ и котораго уже нѣтъ на свѣтѣ. Въ немъ слышатся признаки таланта первостепеннаго; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звѣзда, которой управленіе захотѣлось ему надъ собою признать. Попавши съ самаго начала въ кругъ того общества, которое справедливо можно было назвать временнымъ и переходнымъ, которое, какъ бѣдное растеніе, сорвавшееся съ родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степямъ, слыша само, что не прирасти ему ни къ какой другой почвѣ и его жребій—завянуть и пропасть,—онъ уже съ раннихъ поръ сталъ выражать то раздирающее сердце равнодушіе ко всему, которое не слышалось еще ни у одного изъ нашихъ поэтовъ. Безрадостныя встрѣчи, безпечальныя разставанія, странныя, безсмысленныя любовныя узы, неизвѣстно зачѣмъ заключаемыя и неизвѣстно зачѣмъ разрываемыя, стали предметомъ стиховъ его и подали случай Жуковскому весьма вѣрно опредѣлить существо этой поэзіи словомъ *безочарованіе*. Съ помощію таланта Лермонтова, оно сдѣлалось было на время моднымъ. Какъ нѣкогда съ легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свѣту *очарованіе* и стало моднымъ, какъ потомъ съ тяжелой руки Байрона пошло въ ходъ *разочарованіе*, порожденное, можетъ-быть, излишнимъ очарованіемъ, и стало также на время моднымъ, такъ наконецъ пришла очередь и *безочарованію*, родному дѣтищу Байроновскаго разочарованія. Существованіе его, разумѣется, было кратковременнѣе всѣхъ прочихъ, потому что въ безочарованіи ровно нѣтъ никакой приманки ни для кого. Признавши надъ собою власть какого-то обольстительнаго демона, поэтъ покушался не разъ изобразить его образъ, какъ бы желая стихами отъ

него отдѣлаться. Образъ этотъ не вызначенъ опредѣлительно, даже не получилъ того обольстительнаго могущества надъ человѣкомъ, которое онъ хотѣлъ ему придать. Видно, что выросъ онъ не отъ собственной силы, но отъ усталости и лѣни человѣка сражаться съ нимъ. Въ неоконченномъ его стихотвореніи, названномъ: «Сказка для дѣтей», образъ этотъ получаетъ больше опредѣлительности и больше смысла. Можетъ-быть, съ окончаніемъ этой повѣсти, которая есть его лучшее стихотвореніе, отдѣлался бы онъ отъ самого духа и вмѣстѣ съ нимъ и отъ безотраднаго своего состоянія (примѣты тому уже сіяютъ въ стихотвореніяхъ «Ангелъ», «Молитва», и нѣкоторыхъ другихъ), если бы только сохранилось въ немъ самомъ побольше уваженія и любви къ своему таланту. Но никто еще не игралъ такъ легкомысленно съ своимъ талантомъ и такъ не старался показать къ нему какое-то даже хвастливое презрѣніе, какъ Лермонтовъ. Незамѣтно въ немъ никакой любви къ дѣтямъ своего же воображенія. Ни одно стихотвореніе не выносилось въ немъ, не возлелѣялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось въ себѣ самомъ; самый стихъ не получилъ еще своей собственной твердой личности и блѣдно напоминаетъ то стихъ Жуковскаго, то Пушкина; повсюду—излишество и многорѣчіе. Въ его сочиненіяхъ прозаическихъ гораздо больше достоинства. Никто еще не писалъ у насъ такою правильною, прекрасною и благоуханною прозою. Тутъ видно больше углубленія въ дѣйствительность жизни—готовился будущій великій живописецъ русскаго быта... Но внезапная смерть вдругъ его отъ насъ унесла. Слышно страшное въ судьбѣ нашихъ поэтовъ. Какъ только кто-нибудь изъ нихъ, упустивъ изъ виду свое главное поприще и назначеніе, бросался на другое или же опускался въ тотъ омутъ свѣтскихъ отношеній, гдѣ не слѣдуетъ ему быть и гдѣ нѣтъ мѣста для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдругъ изъ нашей среды. Три первостепенныхъ поэта: Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ, одинъ за другимъ, въ виду всѣхъ, были похищены насильственною смертію, въ теченіе одного десятилѣтія, въ порѣ самаго цвѣтущаго мужества, въ полномъ развитіи силъ своихъ — и никого это не поразило: даже не содрогнулось вѣтреное племя!

Но пора, однакоже, сказать въ заключеніе, что такое наша поэзія, вообще, зачѣмъ она была, къ чему служила и что сдѣлала для всей Русской земли нашей. Имѣла ли она вліяніе на духъ современнаго ей общества, воспитавши и облагородивши каждаго, сообразно его мѣсту, и возвысивши понятія всѣхъ вообще, сообразно духу земли и кореннымъ силамъ народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была, просто, вѣрною картиною нашего общества,—картиною полною и подробною, яснымъ зеркаломъ всего нашего быта? Не была она ни тѣмъ, ни другимъ; ни того, ни другого она не сдѣлала. Она была почти незнаема и невѣдома нашимъ обществомъ,

которое въ то время воспитывалось другимъ воспоминаніемъ, подъ вліяніемъ гувернеровъ французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, подъ вліяніемъ выходцевъ изъ всѣхъ странъ, всѣхъ возможныхъ сословій, съ различными образами мыслей, правилъ и направленій. Общество наше,—чего не случалось еще доселѣ ни съ однимъ народомъ,—воспитывалось въ невѣдѣніи земли своей посреди самой земли своей. Даже языкъ былъ позабытъ, такъ что поэзіи нашей были даже отрѣзаны дороги и пути къ тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она къ обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила въ гостиную какое-нибудь стихотворное произведеніе, или же плодъ незрѣлой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведеніе, не отвѣчавшее какимъ-нибудь чужеземно-вольнодумнымъ мыслямъ, занесеннымъ въ голову общества чужеземными воспитателями, бывало причиною, что общество узнавало о существованіи среди него поэта. Словомъ—поэзія наша не поучала общество, ни выражала его. Какъ бы слыша, что ея участь не для современнаго общества, неслась она все время выше общества; если-жъ и опускалась къ нему, то развѣ затѣмъ только, чтобы хлеснуть его бичемъ сатиры, а не передавать его жизнь въ образецъ потомству. Дѣло странное: предметомъ нашей поэзіи все же были мы, но мы въ ней не узнаемъ себя. Когда поэтъ показываетъ намъ наши лучшія стороны, намъ это кажется преувеличеннымъ, и мы почти готовы не вѣрить тому, что говоритъ намъ о насъ же Державинъ. Когда же выставляетъ писатель наши низкія стороны, мы опять не вѣримъ, и намъ это кажется карикатурою. Есть, точно, въ томъ и другомъ какъ бы какая-то преувеличенная сила, хотя въ самомъ дѣлѣ преувеличенія нѣтъ. Причиною перваго то, что наши лирическіе поэты, владѣя тайною прозрѣвать въ зернѣ, почти непримѣтномъ для простыхъ глазъ, будущій великолѣпный плодъ его, выставляли очищеннѣе всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирическіе наши писатели, нося въ душѣ своей, хотя еще и неясно, идеалъ уже лучшаго русскаго человѣка, видѣли яснѣе все дурное и низкое дѣйствительно-русскаго человѣка. Сила негодованія благороднаго давала имъ силу выставлять ярче ту же вещь, нежели какъ ее можетъ увидѣть обыкновенный человѣкъ. Вотъ отчего въ послѣднее время, сильнѣе всѣхъ прочихъ свойствъ нашихъ, развилась у насъ насмѣшливость. Все смѣется у насъ одно надъ другимъ, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смѣющееся надъ всѣмъ равно, надъ стариною и надъ новизною, и благоговѣющее только предъ однимъ нестарѣющимъ и вѣчнымъ. Итакъ, поэзія наша не выразила намъ нигдѣ русскаго человѣка вполнѣ, ни въ томъ *идеалѣ*, въ какомъ онъ долженъ быть, ни въ той *дѣйствительности*, въ какой онъ и нынѣ есть. Она собрала только въ кучу безчисленные оттѣнки разнообразныхъ качествъ нашихъ; она совокупила только

въ одно казнохранилище отдѣльно взятыя стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспѣло еще время живописать себя цѣликомъ и хвастаться собою, что еще нужно намъ самимъ прежде организоваться, стать собою и сдѣлаться русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа къ тому, чтобы принять ей принадлежащую форму; еще не успѣли мы вывести итоговъ изъ множества всякихъ элементовъ и началъ, нанесенныхъ отовсюду въ нашу землю; еще во всякомъ изъ насъ безтолковая встрѣча чужеземнаго съ своимъ и неразумное извлеченіе того самаго вывода, для котораго повелѣна Богомъ эта встрѣча. Слыша это, поэты какъ бы заботились только о томъ, чтобы не пропало въ этой борьбѣ лучшее изъ нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, гдѣ находили, и спѣшили его вынесть на свѣтъ, не заботясь о томъ, гдѣ и какъ его поставить. Такъ бѣдный хозяинъ изъ обхваченнаго пламенемъ дома старается выхватить только то, что есть въ немъ драгоцѣннѣйшаго, не заботясь о прочемъ. Поэзія наша звучала не для современнаго ей времени, но чтобы,—если настанетъ, наконецъ, то благодатное время, когда мысль о внутреннемъ построеніи человѣка въ такомъ образѣ, въ какомъ повелѣлъ ему состроиться Богъ изъ самородныхъ началъ земли, сдѣлается, наконецъ, у насъ общею по всей Россіи, и равно желанною всѣмъ,—то чтобы увидѣли мы, что есть дѣйствительно въ насъ лучшаго собственно нашего, и не позабыли бы его вмѣстить въ свое построеніе. Наши собственныя сокровища станутъ намъ открываться больше и больше, по мѣрѣ того, какъ мы станемъ внимательнѣе вчитываться въ нашихъ поэтовъ. По мѣрѣ большаго и лучшаго ихъ узнанія, намъ откроются и другія ихъ высшія стороны, доселѣ почти никѣмъ не замѣчаемыя: увидимъ, что они были не одними казначеями сокровищъ нашихъ, но отчасти даже и строителями нашими, или дѣйствительно имѣя о томъ мысль, или ея не имѣя, но показавши своею высшею отъ насъ природою которое-нибудь изъ нашихъ народныхъ качествъ, которое въ нихъ развилось виднѣе, затѣмъ именно, чтобы блеснуть предъ нами во всей красѣ своей. Это стремленіе Державина начертать образъ непреклоннаго, твердаго мужа въ какомъ-то библейско-исполинскомъ величіи, не было стремленіемъ произвольнымъ: начала ему онъ услышалъ въ нашемъ народѣ. Широкія черты человѣка величаваго носятся и слышатся по всей Русской земллѣ такъ сильно, что даже,жеземцы, заглянувшіе во внутрь Россіи, ими поражаются еще прежде, нежели успѣваютъ нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно одинъ изъ нихъ, издавшій свои записки съ тѣмъ именно, чтобы показать Европѣ съ дурной стороны Россію *), не могъ скрыть изумленія своего при видѣ простыхъ обитателей деревенскихъ избъ нашихъ. Какъ пораженный, оста-

*) Маркизъ Кюстинъ.

навливался онъ передъ нашими маститыми, бѣловласыми старцами' сидящими у пороговъ избъ своихъ, которые казались ему величавыми патріархами древнихъ библейскихъ временъ. Не одинъ разъ сознался онъ, что нигдѣ въ другихъ земляхъ Европы, гдѣ ни путешествовалъ онъ, не представлялся ему образъ человѣка въ такомъ величіи, близкомъ къ патріархально-библейскому. И эту мысль повторилъ онъ нѣсколько разъ на страницахъ своей растворенной ненавистью къ намъ книги. Это свойство *чуткости*, которое въ такой высокой степени обнаружилось въ Пушкинѣ, есть наше народное свойство. Вспомнимъ только одни названія, которыми народъ самъ характеризуетъ въ себѣ это свойство, напримѣръ: названіе *ухо*, которое дается такому человѣку, въ которомъ всѣ жилки горятъ и говорятъ, который мигъ не постоитъ безъ дѣла; *удача*—всюду спѣющій и вездѣ успѣвающій, и множество есть у насъ другихъ названій, опредѣляющихъ различные оттѣнки и уклоненія этого свойства. Свойство это велико: не полонъ и суровъ выйдетъ русскій мужъ, начертанный Державинымъ, если не будетъ въ немъ чутья откликаться живо на всякій предметъ въ природѣ, изумляясь на всякомъ шагу красотѣ Божьяго творенія. Этотъ умъ, умѣющій найти законную середину всякой вещи, который обнаружился въ Крыловѣ, есть нашъ *истинно-русскій умъ*. Только въ Крыловѣ отразился тотъ вѣрный тактъ русскаго ума, который, умѣя выразить истинное существо всякаго дѣла, умѣетъ выразить его такъ, что никого не оскорбитъ выраженіемъ и не возстановитъ ни противъ себя, ни противъ мысли своей даже несходныхъ съ нимъ людей, однимъ словомъ—тотъ вѣрный тактъ, который мы потеряли среди нашего свѣтскаго образованія и который сохранился доселѣ у нашего крестьянина. Крестьянинъ нашъ умѣетъ говорить со всѣми себя высшими, (даже съ царемъ,) такъ свободно, какъ никто изъ насъ, и ни однимъ словомъ не покажетъ неприличія, тогда какъ мы часто не умѣемъ поговорить даже съ равнымъ себѣ такимъ образомъ, чтобы не оскорбить его какимъ-нибудь выраженіемъ. Зато уже, въ комъ изъ насъ дѣйствительно образовался этотъ сосредоточенный, вѣрный, истинно-русскій тактъ ума—онъ у насъ пользуется уваженіемъ всѣхъ; ему всѣ позволятъ сказать то, чего никому другому не позволятъ; на него никто ужъ и не сердится. У всѣхъ нашихъ писателей бывали враги, даже у самыхъ незлобнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ душою (стоитъ вспомнить Карамзина и Жуковскаго); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дѣло добра, которая такъ и буйствуетъ въ стихахъ Языкова, есть удаль нашего русскаго народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое даетъ у насъ вдругъ молодость и старцу, и юношѣ, если только предстанетъ случай рвануться всѣмъ на дѣло, невозможное ни для какого другого народа,—которое вдругъ сливаетъ у насъ всю разнородную массу, между собою враждующую, въ

одно чувство, такъ что и ссоры, и личныя выгоды каждаго—все позабыто, и вся Россія—одинъ человѣкъ. Всѣ эти свойства, обнаруженныя нашими поэтами, суть наши народныя свойства, въ нихъ только виднѣе развившіяся; поэты берутся не откуда же нибудь изъ-за моря, но исходятъ изъ своего народа. Это—огни, изъ него же излетѣвшіе, передовые вѣстники силъ его. Сверхъ того поэты наши сдѣлали добро уже тѣмъ, что разнесли благозвучіе, дотолѣ небывалое. Не знаю, въ какой другой литературѣ показали стихотворцы такое безконечное разнообразіе оттѣнковъ звука, чему отчасти, разумѣется, способствовалъ самъ поэтическій языкъ нашъ. У каждаго свой стихъ и свой особенный звонъ. Этотъ металлическій, бронзовый стихъ Державина, котораго до сихъ поръ, не можетъ еще позабыть наше ухо; этотъ густой, какъ смола или струя столѣтняго токая, стихъ Пушкина; этотъ сіяющій, праздничный стихъ Языкова влетающій какъ лучъ въ душу, весь сотканный изъ свѣта; этотъ облитый ароматами полудня стихъ Батюшкова, сладостный, какъ медъ изъ горнаго ущелья; этотъ легкій, воздушный стихъ Жуковскаго, порхающій, какъ неясный звукъ эоловой арфы; этотъ тяжелый, какъ бы влачащійся по землѣ стихъ Вяземскаго, проникнутый подчасъ ѣдкою, щемящею русскою грустью—всѣ они, точно разнозвонные колокола или безчисленные клавиши одного великолѣпнаго органа, разнесли благозвучіе по Русской землѣ. Благозвучіе не такъ пустое дѣло, какъ думаютъ тѣ, которые незнакомы съ поэзіею. Подъ благозвучіе, какъ подъ колыбельную, прекрасную пѣсню матери, убаюкивается народъ-младенецъ еще прежде, нежели можетъ входить въ значеніе словъ самой пѣсни, и нечувствительно сами собою стихаютъ и умиряются его дикія страсти. Оно такъ же бываетъ нужно, какъ во храмѣ куреніе кадильное, которое уже невидимо настрояетъ душу къ слышанію чего-то лучшаго еще прежде, нежели началось самое служеніе. Поэзія наша пробовала всѣ аккорды, воспитывалась литературами всѣхъ народовъ, прислушивалась къ лирамъ всѣхъ поэтовъ, добывала какой-то всемірный языкъ затѣмъ, чтобы приготовить всѣхъ къ служенію болѣе значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тѣхъ пустякахъ, о которыхъ еще продолжаетъ вѣтрено лепетать молодое, не давшее себѣ отчета, нынѣшнее поколѣніе поэтовъ; нельзя служить и самому искусству,—какъ ни прекрасно это служеніе,—не уразумѣвъ его цѣли высшей и не опредѣливъ себѣ, зачѣмъ дано намъ и искусство; нельзя повторять Пушкина. Нѣтъ, не Пушкинъ или кто другой долженъ стать теперь въ образецъ намъ: другія уже времена пришли. Теперь уже ничѣмъ не возьмешь—ни своеобразіемъ ума своего, ни картинною личностью характера, ни гордостью движеній своихъ: христіанскимъ, высшимъ воспитаніемъ долженъ воспитаться теперь поэтъ. Другія дѣла наступаютъ для поэзіи. Какъ во время младенчества народовъ служила она къ тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая въ нихъ

браннолюбивый духъ, такъ придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человѣка—на битву уже не за временную нашу свободу, (права и привилегіи,) но за нашу душу, которую Самъ небесный Творецъ нашъ считаетъ перломъ своихъ созданій. Много предстоитъ теперь для поэзіи—возвращать въ общество то, что есть истинно-прекраснаго, и что изгнано изъ него нынѣшнею безсмысленною жизнію. Нѣтъ, не напомнятъ они уже никого изъ нашихъ прежнихъ поэтовъ. Самая рѣчь ихъ будетъ другая; она будетъ ближе и родственнѣе нашей русской душѣ: еще въ ней слышнѣе выступятъ наши народныя начала. Еще не бьетъ всею силою кверху тотъ самородный ключъ нашей поэзіи, который уже кипѣлъ и билъ въ груди нашей природы тогда, когда и самое слово *поэзія* не было ни на чьихъ устахъ. Еще никто не черпалъ изъ самой глубины тѣхъ трехъ источниковъ, о которыхъ упомянуто въ началѣ этой статьи. Еще доселѣ загадка—этотъ необъяснимый разгулъ, который слышится въ нашихъ пѣсняхъ, несется куда-то мимо жизни и самой пѣсни, какъ бы сгорая желаніемъ лучшей отчизны, по которой тоскуетъ со дня созданія своего человѣкъ. Еще ни въ комъ не отразилась вполнѣ та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена въ нашихъ многоочитыхъ пословицахъ, умѣвшихъ сдѣлать такіе великіе выводы изъ бѣднаго, ничтожнаго своего времени, гдѣ въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ и въ такой мутной лужѣ изворачивался русскій человѣкъ, и которыя говорятъ только о томъ, какіе огромные выводы можетъ сдѣлать нынѣшній русскій человѣкъ изъ нынѣшняго широкаго времени, въ которое нанесены итоги всѣхъ вѣковъ и, какъ не разобранный товаръ, сброшены въ одну безпорядочную кучу. Еще тайна для многихъ этотъ необыкновенный лиризмъ,—рожденіе верховной трезвости ума,—который исходитъ отъ нашихъ церковныхъ пѣсней и каноновъ и покуда такъ же безотчетно возноситъ духъ поэта, какъ безотчетно подмываютъ его сердце родные звуки нашей пѣсни. Наконецъ, самъ необыкновенный языкъ нашъ есть еще тайна. Въ немъ всѣ тоны и оттѣнки, всѣ переходы звуковъ отъ самыхъ твердыхъ до самыхъ нѣжныхъ и мягкихъ; онъ безпредѣленъ и можетъ, живой какъ жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая съ одной стороны высокія слова изъ языка церковно-библейскаго, а съ другой стороны выбирая на выборъ мѣткія названія изъ безчисленныхъ своихъ нарѣчій, разсыпанныхъ по нашимъ провинціямъ, имѣя возможность такимъ образомъ въ одной и той же рѣчи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанію непонятливѣйшаго человѣка,—языкъ, который самъ по себѣ уже поэтъ и который недаромъ былъ на время позабытъ нашимъ лучшимъ обществомъ: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземныхъ нарѣчіяхъ всю дрянь, какая ни пристала къ намъ вмѣстѣ съ чужеземнымъ образованіемъ, чтобы всѣ тѣ неясные звуки, неточныя названія вещей,—дѣти

мыслей невыяснившихся и сбивчивыхъ, которыя потемняютъ языки,— не посмѣли помрачить младенческой ясности нашего языка и возвратились бы къ нему, уже готовые мыслить и жить своимъ умомъ, а не чужеземнымъ. Все это еще орудія, еще матеріалы, еще глыбы, еще въ рудѣ дорогіе металлы, изъ которыхъ выкуется иная, сильнѣйшая рѣчь. Пройдетъ эта рѣчь уже насквозь всю душу и не упадетъ на безплодную землю. Скорбію ангела загорится наша поэзія и, ударивши по всѣмъ струнамъ, какія ни есть въ русскомъ человѣкѣ, внесетъ въ самыя огрубѣлыя души святыню того, чего никакія силы и орудія не могутъ утвердить въ человѣкѣ; вызоветъ намъ нашу Россію,—нашу русскую Россію, не ту, которую показываютъ намъ грубо какіе-нибудь квасные патріоты, и не ту, которую вызываютъ къ намъ изъ-за моря очужеземившіеся русскіе, но ту, которую извлечетъ она изъ насъ же, и покажетъ такимъ образомъ, что всѣ до единаго, какихъ бы ни были они различныхъ мыслей, образовъ воспитанія и мнѣній, скажутъ въ одинъ голосъ: «Это наша Россія; намъ въ ней пріютно и тепло, и мы теперь дѣйствительно у себя дома, подъ своею родною крышею, а не на чужбинѣ!»

XXXII.

СВѢТЛОЕ ВОСКРЕСЕНІЕ.

Въ русскомъ человѣкѣ есть особенное участіе къ празднику Свѣтлаго Воскресенія. Онъ это чувствуетъ живѣе, если ему случится быть въ чужой землѣ. Видя, какъ повсюду въ другихъ странахъ день этотъ почти не отличенъ отъ другихъ дней,—тѣ же всегдашнія занятія, та же вседневная жизнь, то же будничное выраженіе на лицахъ,— онъ чувствуетъ грусть и обращается невольно къ Россіи. Ему кажется, что тамъ какъ-то лучше празднуется этотъ день, и самъ человѣкъ радостнѣе и лучше, нежели въ другіе дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдругъ представятся—эта торжественная полночь, этотъ повсемѣстный колокольный звонъ, который какъ бы всю землю сливаетъ въ одинъ гулъ, это восклицаніе «Христосъ воскресъ!» которое замѣняетъ въ этотъ день всѣ другія привѣтствія, этотъ поцѣлуй, который только раздается у насъ—и онъ готовъ почти воскликнуть: «Только въ одной Россіи празднуется этотъ день такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться!» Разумѣется, это мечта; она исчезнетъ вдругъ, какъ только онъ перенесется на самомъ дѣлѣ въ Россію, или даже только припомнитъ, что день этотъ есть день какой-то полусонной бѣготни и суеты, пустыхъ визитовъ, умышленныхъ незаставаній другъ друга, намѣсто радостныхъ встрѣчъ,—если-жъ и встрѣчъ, то основанныхъ на самыхъ корыстныхъ расчетахъ; что честолюбіе кипитъ у насъ въ этотъ день еще больше, нежели во всѣ другіе, и гово-

рятъ не о воскресеніи Христа, но о томъ, кому какая награда выйдетъ, и кто что получитъ; что даже и самъ народъ, о которомъ идетъ слава, будто онъ больше всѣхъ радуется, уже пьяный попадается на улицахъ, едва только успѣла кончиться торжественная обѣдня, и не успѣла еле заря освѣтить земли. Вздохнетъ бѣдный русскій человѣкъ, если только все это припомнитъ ссбѣ (и увидитъ, что это развѣ только карикатура и посмѣяніе надъ праздникомъ, а самаго праздника нѣтъ). Для пресформы только какой-нибудь начальникъ чмокнетъ въ щеку инвалида, желая показать подчиненнымъ чиновникамъ, какъ нужно любить своего брата, да какой-нибудь (отсталый) патріотъ, въ досадѣ на молодежь, которая бранитъ старинные русскіе наши обычаи, утверждая, что у насъ ничего нѣтъ, прокричитъ гнѣвно: «У насъ все есть—и семейная жизнь, и семейныя добродѣтели, и обычаи у насъ соблюдаются свято; и долгъ свой исполняемъ мы такъ, какъ нигдѣ въ Европѣ; и мы—народъ на удивленіе всѣмъ».

Нѣтъ, не въ видимыхъ знакахъ дѣла, не въ патріотическихъ возгласахъ (и не въ поцѣлуяхъ, данныхъ инвалиду), но въ томъ, чтобы въ самомъ дѣлѣ взглянуть въ этотъ день на человѣка, какъ на лучшую свою драгоцѣнность,—такъ обнять и прижать его къ себѣ, какъ наироднѣйшаго своего брата, такъ ему обрадоваться, какъ бы своему наилучшему другу, съ которымъ нѣсколько лѣтъ не видались и который вдругъ неожиданно къ намъ пріѣхалъ. Еще сильнѣе! еще больше! потому что узы, насъ съ нимъ связывающія, сильнѣе земного кровнаго нашего родства, и породнились мы съ нимъ по нашему прекрасному небесному Отцу, въ нѣсколько разъ намъ ближайшему нашего земного отца, и день этотъ мы—въ своей истинной семьѣ, у Него Самого въ дому. День этотъ есть тотъ святой день, въ который празднуетъ святое, небесное свое братство все человѣчество до единаго, не исключивъ изъ него ни одного человѣка.

Какъ бы этотъ день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому вѣку, когда мысли о счастіи человѣчества сдѣлались почти любимыми мыслями всѣхъ; когда обнять все человѣчество, какъ братьевъ, сдѣлалось любимою мечтою молодого человѣка; когда многіе только и грезятъ о томъ, какъ преобразовать все человѣчество, какъ возвысить внутреннее достоинство человѣка; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христіанство въ силахъ это произвесть; когда стали утверждать, что слѣдуетъ ближе ввести Христовъ законъ, какъ въ семейственный, такъ и въ государственный бытъ; (когда стали даже поговаривать о томъ, чтобы все было общее—и дома, и земли;) когда подвиги сердоболія и помощи несчастнымъ стали разговоромъ даже модныхъ гостиныхъ; когда, наконецъ, стало тѣсно отъ всякихъ человѣколюбивыхъ заведеній, (странноприимныхъ домовъ и пріютовъ). Какъ бы, казалось, девятнадцатый вѣкъ долженъ былъ радостно воспраздновать этотъ день, который такъ по сердцу

всѣмъ великодушнымъ и честолюбивымъ его движеніямъ! Но на этомъ-то самомъ днѣ, какъ на пробномъ камнѣ, видишь, какъ блѣдны всѣ его христіанскія стремленія и какъ всѣ они въ однѣхъ только (мечтахъ и) мысляхъ, а не на дѣлѣ. И если, въ самомъ дѣлѣ, придется ему обнять въ этотъ день своего брата, какъ брата—онъ его не обниметъ. Все человѣчество готовъ онъ обнять, какъ брата, а брата не обниметъ. Отдѣлись отъ этого человѣчества, которому онъ готовитъ такое великодушное объятіе, одинъ человѣкъ, его оскорбившій, которому повелѣваетъ Христосъ въ ту же минуту простить,—онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ, несогласный съ нимъ въ какихъ-нибудь ничтожныхъ человѣческихъ мнѣніяхъ,—онъ уже не обниметъ его. Отдѣлись отъ этого человѣчества одинъ, страждущій виднѣе другихъ тяжелыми язвами своихъ душевныхъ недостатковъ, больше всѣхъ другихъ требующій состраданія къ себѣ,—онъ оттолкнетъ его и не обниметъ. И достанется его объятіе только тѣмъ, которые ничѣмъ еще не оскорбили его, съ которыми не имѣлъ онъ и случая столкнуться, которыхъ онъ никогда не зналъ и даже не видалъ въ глаза. Вотъ какого рода объятія всему человѣчеству даетъ человѣкъ нынѣшняго вѣка, и часто именно тотъ самый, который думаетъ о себѣ, что онъ истинный человѣколюбецъ и совершенный христіанинъ! (Христіанинъ! Выгнали на улицу Христа, въ лазареты и больницы, намѣсто того, чтобы призвать Его къ себѣ въ домы, подъ родную крышу свою, и думаютъ, что они христіане!)

Нѣтъ, не воспраздновать нынѣшнему вѣку Свѣтлаго праздника такъ, какъ ему слѣдуетъ праздноваться. Есть страшное препятствіе, есть непреоборимое препятствіе, имя ему—*гордость*. Она была извѣстна и въ прежніе вѣка, но то была гордость болѣе ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родомъ и званіемъ, но не доходила она до того страшнаго духовнаго развитія, въ какомъ предстала теперь. Теперь явилась она въ двухъ видахъ. Первый видъ ея—гордость чистотою своею.

Обрадовавшись тому, что стало во многомъ лучше своихъ предковъ, человѣчество нынѣшняго вѣка влюбилось въ чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевною красотою своею и считать себя лучшимъ другихъ. Стоитъ только приглядѣться, какимъ рыцаремъ благородства выступаетъ изъ насъ теперь всякъ, какъ безпощадно и рѣзко судитъ о другомъ. Стоитъ только прислушаться къ тѣмъ оправданіямъ, какими онъ оправдываетъ себя въ томъ, что не обнялъ своего брата даже въ день Свѣтлаго Воскресенія. Безъ стыда и не дрогнувъ душою, говоритъ онъ: «Я не могу обнять этого человѣка: онъ мерзокъ, онъ подлъ душою, онъ запятналъ себя безчестнѣйшимъ поступкомъ; я не пущу этого человѣка даже въ переднюю свою; я даже не хочу дышать однимъ воздухомъ съ нимъ; я сдѣлаю кругъ для того, чтобы объѣхать его и не встрѣчаться съ нимъ. Я не

могу жить съ подлыми и презрѣнными людьми—неужели мнѣ обнять такого человѣка, какъ брата?» Увы! позабылъ бѣдный человѣкъ девятнадцатаго вѣка, что въ этотъ день нѣтъ ни подлыхъ, ни презрѣнныхъ людей, но всѣ люди—братья той же семьи, и всякому человѣку имя *братъ*, а не какое-либо другое. Все разомъ и вдругъ имъ позабыто: позабыто, что, можетъ-быть, затѣмъ именно окружили его презрѣнные и подлые люди, чтобы, взглянувши на нихъ, взглянулъ онъ на себя и поискалъ бы въ себѣ того же самаго, чего такъ испугался въ другихъ. Позабыто, что онъ самъ можетъ на всякомъ шагу, даже не примѣтивъ того самъ, сдѣлать то же подлое дѣло, хотя въ другомъ только видѣ,—въ видѣ, не пораженномъ публичнымъ позоромъ, но которое, однакоже, выражаясь пословицею, есть *тотъ же блинъ, только на другомъ блюдѣ*. Все позабыто! Позабыто имъ то, что, можетъ-быть, оттого развелось такъ много подлыхъ и презрѣнныхъ людей, что сурово и безчеловѣчно ихъ оттолкнули лучшіе и прекраснѣйшіе люди и тѣмъ заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить къ себѣ презрѣніе! Богъ вѣсть, можетъ-быть, иной совсѣмъ былъ не рожденъ безчестнымъ человѣкомъ; можетъ-быть, бѣдная душа его, безсильная сражаться съ соблазнами, просила и молила о помощи, и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостію душевною, поддержалъ бы ее на краю пропасти; можетъ-быть, одной капли любви къ нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогою любви было трудно достигнуть къ его сердцу! Будто уже до того окаменѣла въ немъ природа, что никакое чувство не могло въ немъ пошевелиться, когда и разбойникъ благодаренъ за любовь, когда и звѣрь помнитъ ласкавшую его руку! Но все позабыто человѣкомъ девятнадцатаго вѣка, и отталкиваетъ онъ отъ себя брата, какъ богачъ отталкиваетъ покрытаго гноемъ нищаго отъ великолѣпнаго крыльца своего. Ему нѣтъ дѣла до страданій его; ему бы только не видать гноя ранъ его. Онъ даже не хочетъ услышать исповѣди его, боясь, чтобы не поразилось обоняніе его смраднымъ дыханіемъ устъ несчастнаго, гордый благоуханіемъ чистоты своей. Такому ли человѣку воспраздновать праздникъ небесной любви?

Есть другой видъ гордости, еще сильнѣйшій перваго—гордость ума. Никогда еще не возрастала она до такой силы, какъ въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Она слышится въ самой боязни каждаго прослыть дуракомъ. Все вынесетъ человѣкъ вѣка: вынесетъ названіе плута, подлеца; какое хочешь, дай ему названіе, онъ снесетъ его—и только не снесетъ названія дурака. Надъ всѣмъ онъ позволитъ посмѣяться—и только не позволитъ посмѣяться надъ умомъ своимъ. Умъ его для него святыня. Изъ-за малѣйшей насмѣшки надъ умомъ своимъ, онъ готовъ сію же минуту поставить своего брата на благородное разстояніе и посадить, не дрогнувши, ему пулю въ лобъ. Ничему и ни во что

онъ не вѣритъ; только вѣритъ въ одинъ умъ свой: чего не видитъ его умъ, того для него нѣтъ. Онъ позабылъ даже, что умъ идетъ впередъ, когда идутъ впередъ всѣ нравственныя силы въ человѣкѣ, и стоитъ безъ движенія и даже идетъ назадъ, когда не возвышаются нравственныя силы. Онъ позабылъ и то, что нѣтъ всѣхъ сторонъ ума ни въ одномъ человѣкѣ; что другой человѣкъ можетъ видѣть именно ту сторону вещи, которую онъ не можетъ видѣть, и, стало-быть, знать то, чего онъ не можетъ знать. Не вѣритъ онъ этому, и все, чего не видитъ онъ самъ, то для него ложь. И тѣнь христіанскаго смиренія не можетъ къ нему прикоснуться изъ-за гордыни его ума. Во всемъ онъ усомнится: въ сердцѣ человѣка, котораго нѣсколько лѣтъ зналъ, въ правдѣ, въ Богѣ усомнится, но не усомнится въ своемъ умѣ. Уже ссоры и брани начались не за какія-нибудь существенныя права, не изъ-за личныхъ ненавистей—нѣтъ, не чувственныя страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуютъ лично изъ несходства мнѣній, изъ-за противорѣчій въ мірѣ мысленномъ. Уже образовались цѣлыя партіи, другъ друга не видѣвшія, никакихъ личныхъ сношеній еще не имѣвшія—и уже другъ друга ненавидящія. Поразительно: въ то время, когда уже было начали думать люди, что образованіемъ выгнали злобу изъ міра, злоба другою дорогою, съ другого конца входитъ въ міръ,—дорогою ума, и на крыльяхъ журнальныхъ листовъ, какъ всепогубляющая саранча, нападаетъ на сердца людей повсюду. Уже и самаго ума почти не слышно. Уже и умные люди начинаютъ говорить, хоть противъ собственнаго своего убѣжденія, изъ-за того только, чтобы не уступить противной партіи, изъ-за того только, что гордость не позволяетъ сознаться передъ всѣми въ ошибкѣ—уже одна чистая злоба воцарилась намѣсто ума.

И человѣку ли такого вѣка умѣть полюбить и почувствовать христіанскую любовь къ человѣку? Ему ли исполниться того свѣтлаго простодушія и ангельскаго младенчества, которое собираетъ всѣхъ людей въ одну семью? Ему ли услышать благоуханіе небеснаго братства нашего? Ему ли воспраздновать этотъ день? Исчезнуло даже и то наружно-добродушное выраженіе прежнихъ простыхъ вѣковъ, которое давало видъ, какъ будто бы человѣкъ былъ ближе къ человѣку. Гордый умъ девятнадцатаго вѣка истребилъ его. Діаволъ выступилъ уже безъ маски въ міръ. Духъ гордости пересталъ уже являться въ разныхъ образахъ и пугать суевѣрныхъ людей: онъ явился въ собственномъ своемъ видѣ. Почуя, что признаютъ его господство, онъ пересталъ уже чиниться съ людьми. Съ дерзкимъ безстыдствомъ смѣется въ глаза имъ же, его признающимъ; глупѣйшіе законы даетъ міру, какіе доселѣ еще никогда не давались—и міръ это видитъ и не смѣетъ ослушаться! Что значитъ эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустилъ вначалѣ человѣкъ какъ мелочь, какъ невинное дѣло, и которая теперь какъ полная хозяйка, уже стала распоряжаться въ

домахъ нашихъ, выгоняя все, что есть главнѣйшаго и лучшаго въ человѣкѣ? Никто не боится преступать нѣсколько разъ въ день первѣйшіе и священнѣйшіе законы Христа, и между тѣмъ боится не исполнить ея малѣйшаго приказанія, дрожа передъ нею, какъ робкій мальчишка. Что значитъ, что даже и тѣ, которые сами надъ нею смѣются, пляшутъ, какъ легкіе вѣтреники, подъ ея дудку? Что значатъ эти такъ называемыя безчисленныя приличія, которыя стали сильнѣе всякихъ коренныхъ постановленій? Что значатъ эти странныя власти, образовавшіяся мимо законныхъ—постороннія, побочныя вліянія? Что значитъ, что уже правятъ міромъ швеи, портные и ремесленники всякаго рода, а Божіи помазанники остались въ сторонѣ? Люди темные, никому неизвѣстные, не имѣющіе мыслей и чистосердечныхъ убѣжденій, правятъ мнѣніями и мыслями умныхъ людей, и газетный листокъ, признаваемый лживымъ всѣми, становится нечувствительнымъ законодателемъ его неуважающаго человѣка! Что значатъ всѣ незаконные эти законы, которые видимо, въ виду всѣхъ, чертитъ исходящая снизу нечистая сила—и міръ это видитъ весь, и, какъ очарованный, не смѣетъ шевельнуться? Что за страшная насмѣшка надъ человѣчествомъ! (И къ чему при такомъ ходѣ вещей сохранять еще наружные святые обычаи Церкви, небесный Хозяинъ которой не имѣетъ надъ нами власти? Или это еще новая насмѣшка духа тьмы?) Но зачѣмъ этотъ (утратившій значеніе) праздникъ? Зачѣмъ онъ (вновь) приходитъ (глуше и глуше) скликать въ одну семью разошедшихся людей (и, грустно окинувши всѣхъ, уходитъ какъ незнакомый и чужой всѣмъ? Всѣмъ ли точно онъ незнакомъ и чуждъ? Но) зачѣмъ же уцѣлѣли (кое-гдѣ) люди, которымъ кажется, какъ бы они свѣтлѣютъ въ этотъ день и празднуютъ свое младенчество,—то младенчество, отъ котораго небесное лобзаніе, какъ бы лобзаніе вѣчной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратилъ гордый нынѣшній человѣкъ? Зачѣмъ еще не позабылъ человѣкъ навѣки это младенчество, и, какъ бы видѣнное въ какомъ-то отдаленномъ снѣ, оно еще шевелитъ нашу душу? Зачѣмъ все это, и къ чему это? Будто неизвѣстно, зачѣмъ? Будто не видно, къ чему? Затѣмъ, чтобы хотя нѣкоторымъ, еще слышащимъ весеннее дыханіе этого праздника, сдѣлалось вдругъ такъ грустно, такъ грустно, какъ грустно ангелу на небѣ, и, завопивъ раздирающимъ сердце воплемъ, упали бы они къ ногамъ своихъ братьевъ, умоляя хотя бы одинъ этотъ день вырвать изъ ряду другихъ дней, одинъ бы день только провести не въ обычаяхъ девятнадцатаго вѣка, но въ обычаяхъ вѣчнаго вѣка, въ одинъ бы день только обнять и обхватить человѣка, какъ виноватый другъ обнимаетъ великодушнаго, все ему простившаго друга, хотя бы только затѣмъ, чтобы завтра же оттолкнуть его отъ себя и сказать ему, что онъ намъ чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать такъ, хотя бы только насильно заставить себя это сдѣлать, ухватиться бы за это, какъ утопающій хва-

тается за доску! Богъ вѣсть, можетъ-быть, за одно это желаніе уже готова сброситься съ небесъ намъ лѣстница и протянуться рука, помогающая возлетѣть по ней.

Но и одного дня не хочетъ провести такъ человѣкъ девятнадцатаго вѣка! И непонятною тоскою уже загорѣлась земля; черствѣе и черствѣе становится жизнь; все мельчаетъ и мелѣетъ, и возрастаетъ только въ виду всѣхъ одинъ исполинскій образъ скуки, достигая съ каждымъ днемъ неизмѣримѣйшаго роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится въ Твоемъ мірѣ!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздникъ этотъ празднуется, какъ слѣдуетъ, и празднуется такъ въ одной его землѣ? Мечта ли это? Но зачѣмъ же эта мечта не приходитъ ни къ кому другому, кромѣ русскаго? Что значитъ въ самомъ дѣлѣ, что (самый праздникъ исчезъ, а) видимые призраки его такъ ясно носятся по лицу земли нашей: раздаются слова: «*Христосъ Воскресъ!*» и поцѣлуй, и всякій разъ также торжественно выступаетъ святая полночь, и гулы всезвонныхъ колоколовъ гудятъ и гудутъ по всей землѣ, точно какъ бы будятъ насъ! Гдѣ носятся такъ очевидно призраки, тамъ недаромъ носятся; гдѣ будятъ, тамъ разбудятъ. Не умираютъ тѣ обычаи, которымъ опредѣлено быть вѣчными. Умираютъ въ буквѣ, но оживаютъ въ духѣ. Померкаютъ временно, умираютъ въ пустыхъ и вывѣтрившихся толпахъ, но воскресаютъ съ новою силою въ избранныхъ, затѣмъ, чтобы въ сильнѣйшемъ свѣтѣ отъ нихъ разлиться по всему міру. Не умретъ изъ нашей старины ни зерно того, что есть въ ней истинно-русскаго и что освящено Самимъ Христомъ. Разнесется звонкими струнами поэтовъ, развозвѣстится благоухающими устами святителей, вспыхнетъ померкнувшее—и праздникъ Свѣтлаго Воскресенія воспразднуется, какъ слѣдуетъ, прежде у насъ, нежели у другихъ народовъ! На чемъ же основываясь, на какихъ опираясь данныхъ, заключенныхъ въ сердцахъ нашихъ, можемъ сказать это? Лучше ли мы другихъ народовъ? (Ближе ли жизнію ко Христу, чѣмъ они? Никого мы не лучше, а жизни еще неустроеннѣй и безпорядочнѣй всѣхъ ихъ. «Хуже мы всѣхъ прочихъ»—вотъ что мы должны всегда говорить о себѣ). Но есть въ нашей природѣ то, что намъ пророчитъ это. Уже самое неустройство наше намъ это пророчитъ. Мы еще растопленный металлъ, не отлившійся въ свою національную форму; еще намъ возможно выбросить, оттолкнуть отъ себя намъ неприличное и внести въ себя все, что уже невозможно другимъ народамъ, получившимъ форму и закалившимся въ ней. Что есть много въ коренной природѣ нашей, нами позабытой, близкаго закону Христа—доказательство тому уже то, что безъ меча пришелъ къ намъ Христосъ, и приготовленная земля сердецъ нашихъ призывала сама собою Его слово, что есть уже начало братства Христова въ самой нашей славянской природѣ, и побратаніе людей было у насъ роднѣе дома и кровнаго братства,

что еще нѣтъ у насъ непримиримой ненависти сословія противъ сословія и тѣхъ озлобленныхъ партій, какія видятся въ Европѣ и которыя поставляютъ препятствіе непреоборимое къ соединенію людей и братской любви между ними, что есть, наконецъ, у насъ отвага, никому не сродная, и если предстанетъ намъ всѣмъ какое-нибудь дѣло, рѣшительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, напримѣръ, сбросить съ себя вдругъ и разомъ всѣ недостатки наши, все позорящее высокую природу человѣка, то съ болію собственнаго тѣла, не пожалѣвъ самихъ себя, какъ въ двѣнадцатомъ году, не пожалѣвъ имуществъ, жгли домы свои и земные достатки, такъ рванется у насъ все сбрасывать съ себя позорящее и пятнающее насъ: ни одна душа не отстанетъ отъ другой, и въ такія минуты всякія ссоры, ненависти, вражды—все бываетъ позабыто, братъ повиснетъ на груди у брата, и вся Россія—одинъ человѣкъ. Вотъ на чемъ основываясь, можно сказать, что праздникъ Воскресенія Христова воспразднуется прежде у насъ, нежели у другихъ. И твердо говоритъ мнѣ это душа моя; и это не мысль, выдуманная въ головѣ. Такія мысли не выдумываются. Внушеніемъ Божіимъ порождаются онѣ разомъ въ сердцахъ многихъ людей, другъ друга не видавшихъ, живущихъ на разныхъ концахъ земли, и въ одно время, какъ бы изъ однихъ устъ, изглашаются. Знаю я твердо, что не одинъ человѣкъ въ Россіи, хотя я его и не знаю, твердо вѣритъ тому и говоритъ: «У насъ прежде, нежели во всякой другой землѣ, воспразднуется Свѣтлое Воскресеніе Христово!»

О СОВРЕМЕННИКѢ.

(Письмо къ П. А. Плетневу).

4 дек. 1846 г.

Наконецъ поговорю съ тобой о «Современникѣ». «Современникъ» вышелъ плохимъ журналомъ, несмотря на прекрасную цѣль, которую ты имѣлъ въ виду. Даже эта самая прекрасная цѣль, во имя которой ты предпринялъ его, не обнаружилась никому очевидно и ясно изъ самаго журнала; напротивъ, всякъ спрашивалъ въ недоумѣніи другъ у друга: «Объясните мнѣ, зачѣмъ и для чего издаетъ Плетневъ свой журналъ? что хочетъ онъ сказать имъ? что значатъ эти общія мѣста въ его программѣ, эти повторенія о безпристрастіи, о безкорыстной любви къ искусству, о стремленіи къ истинѣ и т. п., которыя обѣщаетъ всякій журналистъ и которыхъ не исполняетъ никто?» Тощее содержаніе его тоненькихъ книжекъ, не живой, безучастный, вялый и неопредѣленный слогъ его сужденій обо всемъ

современномъ задавалъ только загадку рѣшать: зачѣмъ онъ названъ «Современникомъ»? Будемъ говорить откровенно. У тебя нѣтъ качествъ журналиста: ни юношескаго живого участія ко всѣмъ волненіямъ современнымъ, ни того трепета любопытства къ вопросамъ, раздающимся въ массѣ общества, ни, наконецъ, энциклопедическаго науколюбиваго стремленія обнимать съ равной охотой все, что ни относится къ развитію познаній человѣческихъ во всѣхъ родахъ. Твоя антологическая душа получила только на долю себѣ одинъ возвышенный даръ—услаждаться благоуханьемъ прекрасныхъ цвѣтовъ поэзіи и обонять ароматъ высшихъ движеній души человѣческой. Не пѣвцу «Миниха» и нѣкоторыхъ другихъ прекрасныхъ элегій, свидѣтельствующихъ о чистотѣ вкуса и скромной тишинѣ души самого пѣвца, выступать было на поприще полемическое. «Современникъ» даже и при Пушкинѣ не былъ тѣмъ, чѣмъ долженъ быть журналъ, несмотря на то, что Пушкинъ задалъ себѣ цѣль болѣе положительную и близкую къ исполненію. Онъ хотѣлъ сдѣлать четвертное обозрѣніе въ родѣ англійскихъ, въ которомъ могли бы помѣщаться статьи болѣе обдуманныя и полныя, чѣмъ какія могутъ быть въ еженедѣльникахъ и ежемѣсячникахъ, гдѣ сотрудники, обязанные торопиться, не имѣютъ даже времени пересмотрѣть то, что написали сами. Впрочемъ, сильнаго желанія издавать этотъ журналъ въ немъ не было, и онъ самъ не ожидалъ отъ него большой пользы. Получивши разрѣшеніе на изданіе его, онъ уже хотѣлъ было отказаться. Грѣхъ лежитъ на моей душѣ: я умолилъ его. Я обѣщался быть вѣрнымъ сотрудникомъ. Въ статьяхъ моихъ онъ находилъ много того, что можетъ сообщить журнальную живость изданію, какой онъ въ себѣ не признавалъ. Онъ дѣйствительно въ то время слишкомъ высоко созрѣлъ для того, чтобы заключать въ себѣ это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я могъ принимать живѣй къ сердцу то, для чего онъ уже простылъ. Моя настойчивая рѣчь и обѣщаніе дѣйствовать его убѣдили; но слова моего я бы не могъ исполнить даже и тогда, если бы онъ былъ живъ. Не зналъ я, какими путями поведетъ меня Провидѣніе, какъ отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и какъ умру я надолго для всего того, что шевелитъ современнаго человѣка. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всѣхъ утратой, а для тебя еще скорбнѣйшей, чѣмъ для всѣхъ, пораженный сиротствомъ современнаго общества, очутившагося безъ поэзіи, какъ безъ свѣта,—осужденнаго выслушивать пустыя и черствыя пренія и споры объ искусствѣ намѣсто дѣлъ самого искусства,—пораженный этимъ сиротствомъ, которое впрочемъ началось уже и при Пушкинѣ, ты взялся горячо за изданіе журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой въ началѣ поприща Пушкина. Въ пылу великодушнаго увлеченія своего ты даже позабылъ то, что не мы управляемъ дѣлами и событіями, но чертится

свыше всему чередъ свой. Ты даже не примѣтилъ того, что имѣлъ такую цѣль, которой ни въ какомъ случаѣ нельзя было достигнуть листками періодическаго ежемѣсячнаго изданія. «Современникъ», какъ журналъ, не удался бы даже и тогда, если бы ты заключалъ въ себѣ всѣ качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себѣ, чѣмъ можетъ быть нужно нынѣшнему времени появленье новаго журнала. Это энциклопедическое образованіе публики посредствомъ журналовъ уже не такъ теперь потребно, какъ было прежде. Публика уже болѣе приготовлена. Уже все зоветъ нынѣ человѣка къ занятіямъ болѣе сосредоточеннымъ, не только значительность современныхъ вопросовъ, но даже самая пустота современнаго общества и легковѣсная вѣтреность дѣлъ его приглашаютъ нынѣ человѣка взглянуть строго на самого себя, вопросить съ большей отчетливостью свои силы и опредѣлить себѣ трудъ не временный, минутный, но тотъ живительный и полный, который отвѣтствуетъ однѣмъ тѣмъ способностямъ, которыми своеобразно надѣленъ изъ насъ каждый уже отъ самаго рожденья своего. Никакой новый журналъ не можетъ дать теперь обществу пищи питательной и существенной. «Современникъ» долженъ отбросить отъ себя названье журнала; онъ долженъ сжаться попрежнему въ книги намѣсто листовъ и болѣе еще, чѣмъ при Пушкинѣ, походить на альманахъ: онъ долженъ скорѣй напомнить собой «Сѣверные Цвѣты» барона Дельвига, съ которымъ было у тебя такъ много сходства въ умѣньи наслаждаться и нѣжиться благоуханными звуками поэзіи. Пусть лучше будетъ выходить онъ три раза всякій годъ въ урочныя времена: первый разъ ко дню Свѣтлаго Воскресенья, какъ свѣтлый подарокъ на праздникъ, во второй разъ къ 1-му октября, т- е. ко времени, когда всѣ съѣзжаются у насъ изъ дачъ и деревень въ города, въ третій разъ—къ новому году; словомъ—пусть онъ будетъ современенъ тѣмъ эпохамъ, когда съ большей жадностью встрѣчается новая книга. Все собственно журнальное въ немъ не должно имѣть мѣста: ни возвѣщенья о новостяхъ ежедневныхъ, ни политическія извѣстія, ни поименованія всѣхъ выходящихъ книгъ, развѣ только одинъ строгій отчетъ о замѣчательнѣйшихъ изъ нихъ за всю треть въ такомъ видѣ, чтобъ онъ самъ собой могъ уже составить замѣчательную литературную статью. Нужно, чтобы здѣсь ничто не поминало читателю о томъ, что есть какія-нибудь распри въ литературѣ и существуетъ журнальная полемика. Самыя статьи должны быть допущены сосредоточенныя, полныя, которыя ничѣмъ не походили бы на торопливыя, отрывочныя статьи журналовъ. Нужно, чтобы здѣсь были одни лучшіе цвѣты современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только такимъ изданіемъ, которое будетъ выходить не болѣе трехъ разъ въ году: въ три мѣсяца можно набрать книжку. Современное намъ время, слава Богу, не безъ талантовъ. Часть прозаическая альманаха можетъ быть теперь гораздо значительнѣй и богаче,

чѣмъ когда-либо прежде. Поименуемъ нарочно тѣхъ современныхъ писателей, статьями которыхъ можетъ украситься «Современникъ». Прежде всего слѣдуетъ назвать графа Соллогуба, который безспорно есть нынѣшній нашъ лучшій повѣствователь. Никто не щеголяетъ такимъ правильнымъ, ловкимъ и свѣтскимъ языкомъ. Слогъ его точенъ и приличенъ во всѣхъ выраженьяхъ и оборотахъ. Остроты, наблюдательности, познаній всего того, чѣмъ занято наше высшее модное общество, у него много. Одинъ только недостатокъ: не набралась еще собственная душа автора содержанья болѣе строгаго и не доведенъ еще онъ своими внутренними событіями къ тому, чтобы строже и отчетливѣй взглянуть вообще на жизнь. Но, если и это въ немъ совершится, онъ будетъ вполнѣ вѣрный живописецъ лучшаго общества; значительность твореній его выиграетъ больше чѣмъ сто на сто. Непосредственно за нимъ слѣдуетъ назвать другого писателя, который скрылъ свое имя подъ выдуманнымъ: козакъ Луганскій. Онъ не поэтъ, не владѣетъ искусствомъ вымысла, не имѣетъ даже стремленья производить творческія созданія; онъ видитъ всюду дѣло и глядитъ на всякую вещь съ ея дѣльной стороны. Умъ твердый и дѣльный виденъ во всякомъ его словѣ, а наблюдательность и природная острота вооружаютъ живостью его слово. Все у него правда и взято такъ, какъ есть въ природѣ. Ему стоитъ, не прибѣгая ни къ завязкѣ, ни къ развязкѣ, надъ которыми такъ ломаетъ голову романистъ, взять любой случай, случившійся въ Русской землѣ, первое дѣло, котораго производству онъ былъ свидѣтелемъ и очевидцемъ, чтобы вышла сама собой наизанимательнѣйшая повѣсть. По мнѣ, онъ значительнѣй всѣхъ повѣствователей-изобрѣтателей. Можетъ-быть, я сужу здѣсь пристрастно, потому что писатель этотъ болѣе другихъ угодилъ личности моего собственнаго вкуса и своеобразью моихъ собственныхъ требованій: каждая его строчка меня учитъ и вразумляетъ, придвигая ближе къ познанью русскаго быта и нашей народной жизни; но зато всякъ согласится со мной, что этотъ писатель полезенъ и нуженъ всѣмъ намъ въ нынѣшнее время. Его сочиненія—живая и вѣрная статистика Россіи. Все, что ни достанетъ онъ изъ своей многовмѣщающей памяти и что ни разскажетъ достовѣрнымъ языкомъ своимъ, будетъ драгоцѣннымъ подаркомъ для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчалъ Н. Павловъ, писатель, который первыми тремя повѣстями своими получилъ съ перваго раза право на почетное мѣсто между нашими прозаическими писателями и который повредилъ себѣ только тѣмъ, что, не захотѣвши быть самимъ собой, вздумалъ копировать (въ трехъ новыхъ повѣстяхъ своихъ) тѣхъ модныхъ новеллистовъ, которые гораздо его ниже. Онъ могъ бы всегда, не прибѣгая ни къ напряженнымъ вымысламъ поэтическимъ, ни къ мозаичнымъ искусственнымъ украшеніямъ рѣчи, такъ изуродовавшимъ благородный и ясный слогъ его. взять на выдержку первое психоло-

гическое явленье нашего общества и разсказать его такъ отчетливо и умно, что повѣсть его имѣла бы всѣ принадлежности тѣхъ строгихъ классическихъ произведеній, которыя остаются навсегда образцами въ литературѣ. Я вижу тоже много достоинствъ въ писателѣ, который подписываетъ подъ своими сочиненіями имя: Кулишъ. Цвѣтистый слогъ и большое познаніе нравовъ и обычаевъ Малой Россіи говорятъ о томъ, что онъ могъ бы прекрасно написать исторію этой земли. Онъ могъ бы еще съ большимъ успѣхомъ составитъ живыя статьи для альманаха и въ нихъ разсказать просто о нравахъ и обычаяхъ прежнихъ временъ, не вставляя этого въ повѣсть или драматическій разсказъ, подобно тому, какъ нѣкогда разсказывалъ Корниловичъ о временахъ до Петра и при Петрѣ. Романъ же его, довольно любопытный по частямъ, вялъ и скученъ въ цѣломъ: эти драгоцѣнные перлы свѣдѣній историческихъ, которые разсыпаны на страницахъ его, погибаютъ тамъ совершенно безплодно. Мнѣ сказывали, что вообще въ послѣднее время *повѣсть* сдѣлала у насъ успѣхъ, и нѣсколько молодыхъ писателей показали особенное стремленье къ наблюденью жизни дѣйствительной. Изъ того, что удалось прочесть мнѣ самому, я замѣтилъ также тому признаки, хотя постройка самихъ повѣстей мнѣ показалась особенно неискусна и неловка; въ разсказѣ замѣтилъ я излишество и многословіе, а въ слогѣ отсутствіи простоты. Но я увѣренъ, что если въ каждомъ изъ этихъ писателей прежде сформируется человѣкъ, чѣмъ писатель,—все прочее придетъ само собою, и каждый изъ нихъ, обнаружа еще сильнѣй особенности пера своего, не покажетъ ни одного изъ этихъ недостатковъ. Не могу не упомянуть о писателѣ, выступившемъ на литературное поприще драмою «*Смерть Ляпунова*». Не имѣя въ себѣ полной зрѣлости строенья драматическаго, которое доступно однимъ только опытнымъ драматургамъ, драма эта имѣетъ въ себѣ много тѣхъ достоинствъ, которыя пророчатъ въ творцѣ ея писателя замѣчательнаго. Слышать живость минувшаго и умѣть заговорить о немъ такимъ живымъ языкомъ—это свойство великое! Я бы на его мѣстѣ такъ и впился въ русскія лѣтописи и ни на мигъ не оторвался бы отъ этого чтенія. Онъ можетъ много извлечь оттуда прекрасныхъ предметовъ. Почему знать, можетъ-быть, отъ такого чтенія родилась бы въ немъ благословенная мысль написать правдивую исторію времени, его преимущественно поразившаго. Вполнѣ историческое произведеніе, исполненное писателемъ, умѣющимъ такъ живо чувствовать историческіе характеры, и написанное такимъ живымъ перомъ, будетъ въ нѣсколько разъ значительнѣй историческихъ драмъ. Кстати о молодыхъ и начинающихъ писателяхъ. Мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы ты отыскалъ Прокоповича и умѣлъ склонить его взяться за перо повѣствователя. Изъ всѣхъ тѣхъ, которые воспитывались со мною вмѣстѣ въ школѣ и начали писать въ одно время со мной, у него раньше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, показалась

наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива; все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило въ немъ плодовитѣйшаго романиста. Онъ задремалъ теперь, я это знаю; онъ далъ заснуть въ себѣ желанію дѣйствовать на поприщѣ просторномъ, самый кругъ его сталъ тѣсенъ и передъ нимъ мало жизненнаго поля для наблюденій. Но жизнь вездѣ жизнь, и, чѣмъ меньше ея просторъ и тѣснѣе ея кругъ, тѣмъ основательнѣй и глубже онъ можетъ быть нами изслѣдуемъ и проникнутъ. Уже самая своя собственная душевная повѣсть, предметомъ которой будетъ взято собственное пробужденіе отъ мертвеннаго застоя, заставляющее съ ужасомъ взглянуть человѣка на животно-истраченную жизнь свою, можетъ быть высокимъ предметомъ для романа... Какой бы праздникъ былъ душѣ моей, если бы я встрѣтилъ въ «Современникѣ» повѣсть, подъ которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я попрежнему не могу быть работящимъ и ревностнымъ вкладчикомъ въ твой «Современникъ». Ты уже самъ почувствовалъ, что меня нельзя назвать писателемъ въ строгомъ классическомъ смыслѣ. Изъ всѣхъ тѣхъ, которые начали писать со мною вмѣстѣ, еще въ лѣта моего школьнаго юношества, у меня менѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ, замѣчались тѣ свойства, которыя составляютъ необходимыя условія писателя. Скажу тебѣ, что даже въ самыхъ раннихъ помышленіяхъ моихъ о будущемъ поприщѣ моемъ, никогда не представлялось мнѣ поприще писателя. Столкнулся я съ нимъ почти нечаянно. Нѣкоторыя мои наблюденія надъ нѣкоторыми сторонами жизни, мнѣ нужными для дѣла душевнаго, издавна меня занимавшаго, были виной того, что я взялся за перо и вздумалъ преждевременно подѣлиться съ читателемъ тѣмъ, чѣмъ мнѣ слѣдовало подѣлиться уже потомъ, по совершеніи моего собственнаго воспитанія. Мнѣ доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сихъ поръ, какъ ни бьюсь, не могу обработать слогъ и языкъ свой, первыя необходимыя орудія всякаго писателя: они у меня до сихъ поръ въ такомъ неряшествѣ, какъ ни у кого даже изъ дурныхъ писателей, такъ что надо мной имѣетъ право посмѣяться едва начинающій школьникъ. Все мною написанное замѣчательно только въ психологическомъ значеніи, но оно никакъ не можетъ быть образцомъ словесности, и тотъ наставникъ поступитъ неосторожно, кто посовѣтуетъ своимъ ученикамъ учиться у меня искусству писать или подобно мнѣ живописать природу: онъ заставитъ ихъ производить карикатуры. Доказательство этому можешь видѣть на нѣкоторыхъ молодыхъ и неопытныхъ подражателяхъ моихъ, которые именно черезъ это самое подражаніе стали несравненно ниже самихъ себя, лишивъ себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоскомъ всего и отражать въ себѣ дѣйствительность, какъ она есть вокругъ насъ,—стремленья, которое трево-

житъ поэта во все продолженіе его жизни и умираетъ въ немъ только съ его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чемъ, кромѣ того, что близко моей собственной душѣ. Итакъ, если я почувствую, что чистосердечный голосъ мой будетъ истинно нуженъ кому-нибудь, и слово мое можетъ принести какое-нибудь внутреннее примиренье человѣку, тогда у тебя въ «Современникѣ» будетъ моя статья; если-жъ нѣтъ—ея не будетъ, и ты на меня за это никакъ не гнѣвайся. Я здѣсь не упомянулъ также ни объ одномъ изъ тѣхъ современныхъ прозаическихъ писателей нашихъ, которые, будучи заняты собственными изданіями или же сидя надъ трудами болѣе отвлеченными, требующими полнаго вниманія, не имѣютъ ни возможности, ни досуга поработать для твоего «Современника»—ихъ не слѣдуетъ и безпокоить. Здѣсь кстати я долженъ тебя побранить. Ты былъ несправедливъ, приписывая безучастное невниманіе многихъ литераторовъ къ твоему журналу ихъ равнодушію къ общему дѣлу, нелюбви къ искусству, деньголюбію и т. п. У всякаго есть свое внутреннее дѣло; у всякаго совершается въ душѣ свое собственное событіе, на время его отвлекающее отъ участія въ дѣлѣ общемъ; и никакъ нельзя требовать, чтобы другой жертвовалъ собой и своей собственной цѣлью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цѣли, къ которой мы предположили себѣ стремиться. Каждому опредѣляетъ Богъ дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мѣрять всѣхъ однимъ и тѣмъ же аршиномъ. А потому уважай и самый отказъ другого даже и тогда, если бы онъ не захотѣлъ объявить причины, почему не можетъ дать статьи въ «Современникъ». Довольствуйся тѣмъ, что дадутъ. Если только одни поименованные мною писатели дадутъ статьи свои, то и этого уже будетъ достаточно. Но я знаю, что дадутъ еще и другіе, которыхъ я не назвалъ. Вопреки людямъ, жалующимся на недостатокъ талантовъ въ нынѣшнее время, я вижу ихъ теперь гораздо больше, чѣмъ когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто изъ нихъ не умѣлъ стать самимъ собой и это причина ихъ непримѣтности; но многіе изъ нихъ уже болѣютъ этимъ желаніемъ, хотя и не знаютъ, какъ удовлетворить ему. Стремленье узнать назначенье свое есть теперь страданье многихъ людей, одаренныхъ способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездѣйственности на поприщѣ литературномъ.

Стихотворная часть «Современника» можетъ быть также весьма богата, не взирая на то, что, повидимому, въ современномъ обществѣ угаснуло расположеніе къ поэзіи. Слава Богу, еще здравствуетъ самъ патріархъ нашей поэзіи: еще Небо хранитъ намъ Жуковскаго. Въ награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному изъ всѣхъ насъ дано почувствовать свѣжесть молодости въ старческія лѣта и силу юноши для дѣла поэтическаго. Его нынѣшніе труды далеко полновѣснѣй и значительнѣй прежнихъ. Не нужно судить о немъ

по тѣмъ стихотворнымъ сказкамъ и повѣстямъ, которыя были помѣщены въ послѣднее время въ «Современникѣ». Онѣ не могли и не должны были произвесть никакого впечатлѣнія на общество, и нечего удивляться, что общество, оцѣнивая всякое новое произведеніе относительно своихъ собственныхъ потребностей душевныхъ, ища въ немъ отвѣта на тревожныя исканія свои, назвало эти стихотворенія ребячествомъ Жуковскаго. Они были, точно, назначены для малолѣтнихъ дѣтей. Повѣсти и сказки эти должны были выйти особой книжкой подъ названіемъ: «*Подарокъ дѣтямъ отъ Жуковскаго*». Онъ сдѣлалъ ошибку, пославши ихъ въ журналъ. Я говорилъ это ему тогда же, совѣтуя или ничего не посылать, или послать то, что пришлось бы по душѣ взрослому человѣку. Но теперь я знаю, что онъ пришлетъ тебѣ въ альманахъ который-нибудь изъ тѣхъ перловъ, которые выработались въ глубинѣ его собственной души, гдѣ въ послѣднее время такъ много произошло прекраснаго. Еще, слава Богу, здравствуютъ два другіе первоклассные наши поэты: князь Вяземскій и Языковъ, и могутъ подарить «Современникъ» новыми, дотолѣ нераздававшимися отъ нихъ звуками,—звуками, исторгнутыми изъ выстрадавшагося сердца, пѣснями самой души, уже набравшейся строгаго содержанія высшей поэзіи. Самые наши молодые, недавно показавшіеся поэты, которыхъ я здѣсь не называю по именамъ, которые показали покуда одно благозвучіе, легкость и щегольство стихосложенія, но еще не показали истинныхъ и вѣрныхъ ощущеній своихъ, могутъ заговорить струнами поэзіи, болѣе намъ близкой. Поэзія есть чистая исповѣдь души, а не порожденіе искусства или хотѣнія человѣческаго; поэзія есть правда души, а потому и всѣмъ равно можетъ быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишкомъ высокая способность и дается однимъ только всемірнымъ геніямъ, которыхъ появленіе слишкомъ рѣдко на землѣ; опасно и вступать на этотъ путь другому. Многіе даже изъ первоклассныхъ талантовъ становились ниже себя, зашедши въ область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшіе таланты, когда событіями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспѣваетъ время, когда жажда исповѣди душевной становится сильнѣе и сильнѣе. Много поэтическихъ звуковъ издадутъ даже и тѣ, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасныхъ цвѣтковъ, много драгоцѣнныхъ вкладовъ нанесутъ къ тебѣ со всѣхъ сторонъ въ твой «Современникъ». Ты самъ, хотя уже давно не пробовалъ звуковъ оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, вѣрно, испыталъ въ это время тоже не мало скорбныхъ минутъ и никѣмъ не услышаннаго горя; твоя душа, вѣрно, томилась также желаніемъ передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состояніе ея, и, не найдя его нигдѣ, обратилась наконецъ къ тому родному всѣмъ намъ Существу, которое одно умѣетъ

принимать любовно на грудь къ себѣ тоскующаго и скорбящаго и къ которому наконецъ все живущее обратится. Припомни же всѣ эти минуты, какъ минуты скорбей, такъ и минуты высшихъ утѣшеній, тебѣ ниспосланныхъ; передай ихъ, изобрази въ той правдѣ, въ какой онѣ были. Тебѣ помогутъ слезы умиленія и растроганныя чувства признательной души твоей; они помогутъ тебѣ передать съ такой силой, съ какой не сумѣетъ передать ихъ великій, владѣющій чародѣйствомъ вымысла, но еще не выстрадавшійся поэтъ. «Современникъ» тогда оправдаетъ данное ему названіе, но оправдаетъ его въ другомъ—высшемъ смыслѣ: онъ будетъ современенъ всѣмъ высшимъ минутамъ русскаго писателя и человѣка. Онъ тогда ближе приблизится къ той (цѣли), которая доселѣ такъ отдаленно и неясно представлялась въ твоихъ мысляхъ: онъ соединитъ эстетическимъ союзомъ прекраснаго братства всѣхъ пишущихъ. Одинъ только ты въ Россіи можешь предпринять и выполнить такое изданіе, потому что одинъ только ты питалъ о немъ постоянную мысль; одинъ только ты не имѣлъ въ виду денежныхъ интересовъ и вознагражденій за труды; одинъ ты безотчетно питалъ чистую, младенческую любовь къ искусству, сдѣлавшую тебя другомъ лучшихъ поэтовъ нашихъ и превратившую для тебя самое искусство въ твое собственное, какъ бы родное и семейственное дѣло. Стало-быть, одному только тебѣ можетъ быть ввѣрено такое изданіе. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всѣхъ отношеніяхъ драгоцѣннымъ подаркомъ: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какія могутъ только быть произведены у насъ въ Россіи (граверовъ выбери русскихъ, иностранцевъ сюда не вмѣшивай). Мѣру книгамъ дай небольшую, немного чѣмъ побольше «Сѣверныхъ Цвѣтовъ», словомъ—чтобы и по достоинству, и по виду изданье походило на драгоцѣнность. Все это можешь исполнить одинъ только ты, потому что, не имѣя въ виду пользоваться доходами съ него для своего собственнаго содержанія и прокормленія, ты можешь все употребить на красоту самаго изданія и такимъ образомъ доставить хлѣбъ бѣднымъ художникамъ нашимъ, которымъ приходится иногда претерпѣвать горькую чашу.

Итакъ, если все это, что я теперь сказалъ, пришлось тебѣ по сердцу, то, благословясь, приступай съ Богомъ къ составленію первой книжки «Современника» ко времени наступающаго праздника Свѣтлаго Воскресенія 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей въ видѣ программы или вступленія въ самую книгу. До того же времени дай его прочесть всѣмъ тѣмъ, отъ которыхъ ты пожелалъ бы имѣть статью. Какъ ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я увѣренъ, что по прочтеніи его, всякъ согласится вмѣстѣ съ тобой и со мной въ необходимости такого изданія въ Россіи и вѣрно дастъ тебѣ наилучшее изъ своихъ произведеній. Въ газетныхъ листахъ ты можешь объявить

о немъ только немногими словами—именно, что «Современникъ» будетъ выходить въ трехъ книгахъ въ означенные сроки; прибавь къ этому одни только имена тѣхъ, которыхъ статьи будутъ помѣщены—этого достаточно. Пусть лучше все остальное, какъ достоинство статей, такъ и роскошь самаго изданія, будетъ пріятной неожиданностью для каждаго читателя.

АВТОРСКАЯ ИСПОВѢДЬ.

1847.

Всѣ согласны въ томъ, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразныхъ толковъ, какъ «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». И—что всего замѣчательнѣй, чего не случилось, можетъ-быть, доселѣ еще ни въ какой литературѣ—предметомъ толковъ и критикъ стала не книга, но авторъ. Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеньемъ. Какъ, однакоже, ни были потрясающи и обидны для человѣка благороднаго и честнаго многія заключенія и выводы, но, скрѣпясь, сколько достало небольшихъ силъ моихъ, я рѣшился стерпѣть все и воспользоваться этимъ случаемъ, какъ указаньемъ свыше—разсмотрѣть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегалъ совѣтами, мнѣньями, осужденьями и упреками, увѣряясь, чѣмъ далѣе, болѣе, что если только истребишь въ себѣ тѣ щекотливыя струны, которыя способны раздражаться и гнѣваться, и приведешь себя въ состояніе все выслушивать спокойно, тогда услышишь тотъ средній голосъ, который получается въ итогѣ тогда, когда сложишь всѣ голоса и сообразишь крайности обѣихъ сторонъ, словомъ—тотъ всѣми искомый средній голосъ, который недаромъ называютъ «гласомъ народа и гласомъ Божіимъ». Но на этотъ разъ, несмотря на то, что многіе упреки были истинно полезны душѣ моей, я не услышалъ этого средняго голоса и не могу сказать, чѣмъ рѣшилось дѣло и чѣмъ опредѣлено считать мою книгу. Въ итогѣ мнѣ послышались три разныя мнѣнія: *первое*, что книга есть произведеніе неслыханной гордости человѣка, возмнившаго, что онъ сталъ выше всѣхъ своихъ читателей, имѣетъ право на вниманье всей Россіи и можетъ преобразовывать цѣлое общество; *второе*, что книга эта есть твореніе добраго, но впавшаго въ прелесть и въ обольщенье человѣка, у котораго закружилась голова отъ похвалъ, отъ самоуслажденія своими достоинствами, который вслѣдствіе этого сбился и спутался; *третье*, что книга есть произведеніе христіанина, глядящаго съ вѣрной точки на вещи и ставящаго всякую вещь на ея законное мѣсто. На сторонѣ каждаго изъ этихъ мнѣній находятся равно просвѣщенные и умные люди, а также и равно вѣрующіе христіане. Стало-быть, ни одно изъ этихъ мнѣній, будучи справедливо *отчасти*, никакъ не можетъ быть справедливо *вполнѣ*. Справедливѣе всего слѣдовало бы назвать эту книгу вѣрнымъ зеркаломъ человѣка. Въ ней находится то же, что во всякомъ человѣкѣ:

прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живетъ у всякаго человѣка, если только онъ почувствовалъ, что такое добро; сознанье искреннее своихъ недостатковъ и рядомъ съ нимъ высокое мнѣнье о своихъ достоинствахъ; желанье искреннее учиться самому и рядомъ съ нимъ увѣренность, что можешь научить многому и другихъ; смиренье и рядомъ съ нимъ гордость, и, можетъ-быть, гордость въ самомъ смиреніи; упреки другимъ въ томъ самомъ, на чемъ поскользнулся самъ и за что достоинъ еще большихъ упрековъ. Словомъ, то же, что въ каждомъ человѣкѣ, съ той только разницей, что здѣсь слетѣли всѣ условія и приличія и все, что таитъ внутри человѣкъ, выступило наружу; съ той еще разницей, что завопило это крикливѣй и громче, какъ въ писателѣ, у котораго все, что ни есть въ душѣ, просится на свѣтъ; ударилось ярче всѣмъ въ глаза, какъ въ человѣкѣ, получившемъ на долю больше способностей сравнительно съ другимъ человѣкомъ. Словомъ, книга можетъ послужить только доказательствомъ великой истины словъ апостола Павла, сказавшаго, что весь человѣкъ есть ложь.

Но къ этому заключенію, можетъ-быть, болѣе всѣхъ прочихъ справедливому, никто не пришелъ, потому что торжественный тонъ самой книги и необыкновенный слогъ ея сбилъ болѣе или менѣе всѣхъ и не поставилъ никого на надлежащую точку воззрѣнія. Издавая ее подъ вліяніемъ страха смерти своей, который преслѣдовалъ меня во все время болѣзненнаго моего состоянія, даже и тогда, когда я уже былъ внѣ опасности, я нечувствительно перешелъ въ тонъ, мнѣ несвойственный и ужъ вовсе неприличный еще живущему человѣку. Изъ боязни, что мнѣ не удастся окончить того сочиненія моего, которымъ занята была постоянно мысль моя въ теченіе десяти лѣтъ, я имѣлъ неосторожность заговорить впередъ кое-о-чемъ изъ того, что должно было мнѣ доказать въ лицѣ выведенныхъ героевъ повѣствовательнаго сочиненія. Это обратилось въ неумѣстную проповѣдь, странную въ устахъ автора, въ какія-то мистическія непонятныя мѣста, невяжущіяся съ остальными письмами. Наконецъ—разнообразный тонъ самихъ писемъ, писанныхъ къ людямъ разныхъ характеровъ и свойствъ, писанныхъ въ разныя времена моего душевнаго состоянія. Одни были писаны въ то время, когда я, воспитываясь самъ упреками, прося и требуя ихъ отъ другихъ, считалъ въ то же время надобностью раздавать ихъ и другимъ; другія были писаны въ то время, когда я сталъ чувствовать, что упреки слѣдуетъ приберечь для самого себя, въ рѣчахъ же съ другими слѣдуетъ употреблять одну только братскую любовь: отъ этого и мягкость, и рѣзкость встрѣтились почти вмѣстѣ. Наконецъ, непомѣщеніе многихъ тѣхъ статей, которыя должны были войти въ книгу, какъ связывавшіяся и объясняющія многое. Наконецъ, моя собственная темнота и неумѣнье выражаться,—принадлежности не вполнѣ организовавшагося писателя,—все это споспѣше-

ствовало тому, чтобы сбить не одного читателя и произвести безчисленное множество выводовъ и заключеній невпопадъ. Гордость отыскали въ тѣхъ словахъ, которыя подвигнуты были, можетъ-быть, совершенно противоположною причиною; гдѣ же была дѣйствительно гордость, тамъ ея не замѣтили; назвали уничиженьемъ то, что было вовсе не уничиженьемъ. А что главнѣе всего: не было двухъ человѣкъ, совершенно сходныхъ между собою въ мысляхъ, когда только доходило дѣло до разбора книги по частямъ, что весьма справедливо дало замѣтить нѣкоторымъ, что въ сужденьяхъ своихъ о моей книгѣ всякій выражалъ болѣе самого себя, чѣмъ меня или мою книгу. Разумѣется, всему виною—я. А потому во всѣхъ нападеніяхъ на мои личныя нравственныя качества, какъ ни оскорбительны они для человѣка, въ комъ еще не умерло благородство, я не имѣю права обвинять никого.

Сдѣлаю вскользь замѣчанья два на то, что не относится до моихъ нравственныхъ качествъ. Меня изумило, когда люди умные стали дѣлать придирки къ словамъ, совершенно яснымъ, и, остановившись надъ двумя-тремя мѣстами, стали выводить заключенія, совершенно противоположныя духу всего сочиненія. Изъ двухъ-трехъ словъ, сказанныхъ такому помѣщику, у котораго всѣ крестьяне земледѣльцы, озабоченные круглый годъ работой, вывести заключеніе, что я воюю противъ просвѣщенья народнаго,—это показалось мнѣ очень странно, тѣмъ болѣе, что я полжизни думалъ самъ о томъ, какъ бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умному для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нѣтъ такихъ умныхъ книгъ, мнѣ казалось, что слово устное пастырей Церкви полезнѣй и нужнѣй для мужиковъ всего того, что можетъ сказать ему нашъ братъ-писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоялъ за просвѣщенье народное; но мнѣ казалось, что еще прежде, чѣмъ просвѣщенье самого народа, полезнѣй просвѣщенье тѣхъ, которые имѣютъ ближайшія столкновенія съ народомъ, отъ которыхъ часто терпитъ народъ. Мнѣ казалось, наконецъ, гораздо болѣе требовавшимъ вниманія къ себѣ не сословіе земледѣльцевъ, но то мелкое сословіе, нынѣ увеличивающееся, которое вышло изъ земледѣльцевъ, которое занимаетъ разныя мелкія мѣста и, не имѣя никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредитъ всѣмъ, затѣмъ, чтобы жить на счетъ бѣдныхъ. Для этого-то сословія мнѣ казались наиболѣе необходимыми книги умныхъ писателей, которые, почувствовавши сами ихъ долгъ, умѣли бы имъ ихъ объяснить. А землепашецъ нашъ мнѣ всегда казался нравственнѣе всѣхъ другихъ и менѣе другихъ нуждающимся въ наставленіяхъ писателя. Тоже не менѣе страннымъ показалось мнѣ, когда изъ одного мѣста моей книги, гдѣ я говорю, что въ критикахъ, на меня нападавшихъ, есть много справедливаго, вывели заключенія, что я отвергаю всѣ достоинства моихъ сочиненій и не согласенъ съ тѣми

критиками, которые говорили въ мою пользу*). Я очень помню и совсѣмъ не позабылъ, что по поводу небольшихъ моихъ достоинствъ явились у насъ очень замѣчательныя критики, которыя навсегда останутся памятниками любви къ искусству, которыя возвысили въ глазахъ общества значеніе поэтическихъ созданій. Но неловко же мнѣ говорить самому о своихъ достоинствахъ, да и съ какой стати? О недостаткахъ моихъ литературныхъ я заговорилъ, потому что пришлось кстати, по поводу психологическаго вопроса, который есть главный предметъ всей моей книги. Какъ же не соображать этихъ вещей! Не менѣе странно также,—изъ того, что я выставилъ ярко на видъ наши русскіе элементы, дѣлать выводъ, будто я отвергаю потребность просвѣщенія европейскаго и считаю ненужнымъ для русскаго знать весь трудный путь совершенствованія человѣческаго. И прежде, и теперь мнѣ казалось, что русскій гражданинъ долженъ знать дѣла Европы. Но я былъ убѣжденъ всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь изъ виду свои русскія начала, то знанія эти не принесутъ добра, собьютъ, спутаютъ и разбросаютъ мысли, намѣсто того, чтобы сосредоточить и собрать ихъ. И прежде, и теперь я былъ увѣренъ въ томъ, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только съ помощью этого знанія можно почувствовать, что именно слѣдуетъ намъ брать и заимствовать изъ Европы, которая сама этого не говоритъ. Мнѣ казалось всегда, что прежде, чѣмъ вводить что-либо новое, нужно, не какъ-нибудь, но въ корнѣ узнать старое; иначе примѣненіе самаго благодѣтельнѣйшаго въ наукѣ открытія не будетъ успѣшно. Съ этою цѣлью я и заговорилъ преимущественно о старомъ.

Словомъ, всѣ эти односторонніе выводы людей умныхъ и притомъ такихъ, которыхъ я вовсе не считалъ односторонними, всѣ эти придирки къ словамъ, а не къ смыслу и духу сочиненія, показываютъ мнѣ то, что никто не былъ въ покойномъ расположеніи, когда читалъ мою книгу; что уже впередъ установилось какое-то предубѣжденіе, прежде чѣмъ она явилась въ свѣтъ, и всякій глядѣлъ на нее вслѣдствіе уже заготовленнаго впередъ взгляда, останавливаясь только надъ тѣмъ, что укрѣпляло его въ предубѣжденіи и раздражало, и проходя мимо все то, что способно опровергнуть предубѣжденія, а самого читателя успокоить. Сила этого страннаго раздраженія была такъ велика, что даже разрушила всѣ тѣ приличія, которыя доселѣ еще сохранялись относительно писателя. Почти въ глаза автору стали говорить, что онъ сошелъ съ ума, и приписывали ему рецепты отъ умственнаго разстройства. Не могу скрыть, что меня еще болѣе опечалило, когда люди также умные, и притомъ не раздраженные, провозгласили

*) На завѣщаніе не слѣдовало упираться: въ немъ судишь себя строго, потому что готовишься предстать на судъ предъ Того, предъ Которымъ ни одинъ человѣкъ не бываетъ правъ.

печатно, что въ моей книгѣ ничего нѣтъ новаго, что же и ново въ ней, то ложь, а не истина. Это показалось мнѣ жестоко. Какъ бы то ни было, но въ ней есть моя собственная исповѣдь; въ ней есть изліяніе и души и сердца моего. Я еще не признанъ публично безчестнымъ человѣкомъ, которому бы никакого довѣрія нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть въ заблужденіе, какъ и всякій человѣкъ, могу сказать ложь въ томъ смыслѣ, какъ и весь человѣкъ есть ложь; но назвать все, что излилось изъ души и сердца моего, ложью—это жестоко. Это несправедливо такъ же, какъ несправедливо и то, что въ книгѣ моей ничего нѣтъ новаго. Исповѣдь человѣка, который провелъ нѣсколько лѣтъ внутри себя, который воспитывалъ себя, какъ ученикъ, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное въ юности, и который при томъ не во всемъ похожъ на другихъ, и имѣетъ нѣкоторыя свойства, ему одному принадлежащія,—исповѣдь такого человѣка не можетъ не представить чего-нибудь новаго. Какъ бы то ни было, но въ такомъ дѣлѣ, гдѣ замѣшалось дѣло души, нельзя такъ рѣшительно возвѣщать приговоръ. Тутъ наиглубокомысленнѣйшій душевѣдецъ призадумается. Въ душевномъ дѣлѣ трудно и надъ человѣкомъ обыкновеннымъ произнести судъ свой. Есть такія вещи, которыя не подвластны холодному разсужденію, какъ бы уменъ ни былъ разсуждающій, которыя постигаются только въ минуты тѣхъ душевныхъ настроеній, когда собственная душа наша расположена къ исповѣди, къ обращенію на себя, къ осужденію себя, а не другихъ. Словомъ, въ этой рѣшительности, съ какою былъ произнесенъ этотъ приговоръ, мнѣ показалась большая собственная самоувѣренность судившаго—въ умѣ своемъ и въ поверхности своей точки воззрѣнія. Не съ тѣмъ я здѣсь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но съ тѣмъ, чтобы показать только, какъ на всякомъ шагу мы близки къ тому, чтобы впасть въ тотъ порокъ, въ которомъ только-что попрекнули своего брата; какъ, укоривши въ самоувѣренности другого, мы тутъ же въ собственныхъ словахъ показываемъ свою собственную самоувѣренность; какъ, укоривши въ неснисходительности другого, мы тутъ же бываемъ неснисходительны и придирчивы сами. Благороденъ, по крайней мѣрѣ, тотъ, кто имѣетъ духу въ этомъ сознаться и не стыдится, хотя бы въ глазахъ всего свѣта, сказать, что онъ ошибся. Но довольно. Вовсе не затѣмъ, чтобы защищать себя съ нравственныхъ сторонъ моихъ, я подаю теперь голосъ. Нѣтъ, я считаю обязанностью отвѣчать только на тотъ запросъ, который сдѣланъ мнѣ почти единоустно отъ лица читателей всѣхъ моихъ прежнихъ сочиненій,—запросъ: зачѣмъ я оставилъ тотъ родъ и то поприще, которое за собою уже утвердилъ, гдѣ былъ почти господинъ, и принялся за другое, мнѣ чуждое?

Чтобы отвѣчать на этотъ запросъ, я рѣшаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повѣсть моего авторства,

чтобы дать возможность всякому справедливѣе обсудить меня, чтобы увидалъ читатель, перемѣнялъ ли я поприще свое, умничалъ ли самъ отъ себя, желая дать себѣ другое направленіе, или въ моей судьбѣ такъ же, какъ и во всемъ, слѣдуетъ признать участіе Того, Кто располагаетъ міромъ не всегда сообразно тому, какъ намъ хочется, и съ Которымъ трудно бороться человѣку. Можетъ-быть, эта чистосердечная повѣсть моя послужитъ объясненіемъ хотя нѣкоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многихъ, въ недавно вышедшей моей книгѣ. Если бы случилось такъ, я былъ бы этому истинно радъ, потому что вся эта странная исторія меня утомила сильно, и мнѣ не легко самому отъ этого вихря недоразумѣній.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я выслужусь и все это доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ моихъ дѣлъ и занятій. Первые мои опыты, первыя упражненія въ сочиненьяхъ, къ которымъ я получилъ навыкъ въ послѣднее время пребыванья моего въ школѣ, были почти всѣ въ лирическомъ и серьезномъ родѣ. Ни я самъ, ни сотоварищи мои, упражнявшіеся также вмѣстѣ со мной въ сочиненіяхъ, не думали, что мнѣ придется быть писателемъ комическимъ и сатирическимъ, хотя, несмотря на мой меланхолическій отъ природы характеръ, на меня часто находила охота шутить и даже надоѣдать другимъ моими шутками; хотя въ самихъ раннихъ сужденіяхъ моихъ о людяхъ находили умѣнье замѣчать тѣ особенности, которыя ускользаютъ отъ вниманья другихъ людей, какъ крупныя, такъ мелкія и смѣшныя. Говорили, что я умѣю не то что передразнить, но *угадать* человѣка, то-есть, угадать, что онъ долженъ въ такихъ и такихъ случаяхъ сказать, съ удержаньемъ самаго склада и образа его мыслей и рѣчей. Но все это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думалъ о томъ, что сдѣлаю современемъ изъ этого употребленіе.

Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ-быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшныя лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣш-

ныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза. Молодость, во время которой не приходятъ на умъ никакіе вопросы, подталкивала. Вотъ происхожденіе тѣхъ первыхъ моихъ произведеній, которыя однихъ заставили смѣяться такъ же беззаботно и безотчетно, какъ и меня самого, а другихъ приводили въ недоумѣніе рѣшить, какъ могли человѣку умному приходить въ голову такія глупости. Можетъ-быть, съ лѣтами и съ потребностью развлекать себя, веселость эта исчезнула бы, а съ нею вмѣстѣ и мое писательство. Но Пушкинъ заставилъ меня взглянуть на дѣло серьезно. Онъ уже давно склонялъ меня приняться за большое сочиненіе и наконецъ, одинъ разъ, послѣ того, какъ я ему прочелъ одно небольшое изображеніе небольшой сцены, но которое, однакожъ, поразило его больше всего мной прежде читаннаго, онъ мнѣ сказалъ: «Какъ съ этой способностью угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлять его вдругъ всего, какъ живого, съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это, просто, грѣхъ»! Вслѣдъ за этимъ началъ онъ представлять мнѣ слабое мое сложеніе, мои недуги, которые могутъ прекратить мою жизнь рано; привелъ въ примѣръ Сервантеса, который, хотя и написалъ нѣсколько очень замѣчательныхъ и хорошихъ повѣстей, но если бы не принялся за «Донкишота», никогда бы не занялъ того мѣста, которое занимаетъ теперь между писателями, и, въ заключеніе всего, отдалъ мнѣ свой собственный сюжетъ, изъ котораго онъ хотѣлъ сдѣлать самъ что-то въ родѣ поэмы и котораго, по словамъ его, онъ бы не отдалъ другому никому. Это былъ сюжетъ «Мертвыхъ Душъ». (Мысль «Ревизора» принадлежитъ также ему). На этотъ разъ я и самъ уже задумался серьезно,— тѣмъ болѣе, что стали приближаться такіе года, когда само собой приходитъ запросъ всякому поступку: зачѣмъ и для чего его дѣлаешь? Я увидѣлъ, что въ сочиненіяхъ моихъ смѣюсь даромъ, напрасно, самъ не зная зачѣмъ. Если смѣяться, такъ уже лучше смѣяться сильно и надъ тѣмъ, что дѣйствительно достойно осмѣянья, всеобщаго. Въ «Ревизорѣ» я рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, всѣ несправедливости, какія дѣлаются въ тѣхъ мѣстахъ и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ больше всего требуется отъ человѣка справедливости, и за однимъ разомъ посмѣяться надъ всѣмъ. Но это, какъ извѣстно, произвело потрясающее дѣйствіе. Сквозь смѣхъ, который никогда еще во мнѣ не появлялся въ такой силѣ, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствовалъ, что уже смѣхъ мой не тотъ, какой былъ прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ моихъ тѣмъ, чѣмъ былъ дотолѣ, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вмѣстѣ съ молодыми моими лѣтами. Послѣ «Ревизора», я почувствовалъ болѣе, нежели когда-либо прежде, потребность сочиненія полнаго, гдѣ было бы уже не одно то, надъ чѣмъ слѣдуетъ смѣяться. Пушкинъ находилъ, что сюжетъ «Мертвыхъ Душъ»

хорошъ для меня тѣмъ, что даетъ полную свободу изъѣздить вмѣстѣ съ героемъ всю Россію и вывести множество самыхъ разнообразныхъ характеровъ. Я началъ было писать, не опредѣливши себѣ обстоятельнаго плана, не давши себѣ отчета, что такое именно долженъ быть самъ герой. Я думалъ просто, что смѣшной проектъ, исполненіемъ котораго занятъ Чичиковъ, наведетъ меня самъ на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мнѣ самомъ охота смѣяться создастъ сама собою множество смѣшныхъ явленій, которыя я намѣренъ былъ перемѣшать съ трогательными. Но на всякомъ шагу я былъ останавливаемъ вопросами: зачѣмъ? къ чему это? что долженъ сказать собою такой-то характеръ? что должно выразить собою такое-то явленіе? Спрашивается: что нужно дѣлать, когда приходятъ такіе вопросы? Прогонять ихъ? Я пробовалъ, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности въ томъ и другомъ героѣ, я не могъ почувствовать и любви къ дѣлу изобразить его. Напротивъ, я чувствовалъ что-то въ родѣ отвращенія: все у меня выходило натянуто, насильно и даже то, надъ чѣмъ я смѣялся, становилось печально.

Я увидѣлъ ясно, что больше не могу писать безъ плана, вполнѣ опредѣлительнаго и яснаго, что слѣдуетъ хорошо объяснить прежде самому себѣ цѣль сочиненія своего, его существенную полезность и необходимость, вслѣдствіе чего самъ авторъ возгорѣлся бы любовью истинной и сильной къ труду своему, которая животворитъ все и безъ которой нейдетъ работа,—словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣдился самъ авторъ, что, творя твореніе свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что, исполняя его, онъ служитъ въ то же самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ. Мысль о службѣ у меня никогда не пропадала. Прежде чѣмъ вступить на поприще писателя, я перемѣнилъ множество разныхъ мѣстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тѣми, которые надо мной были постановлены. Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мнѣ недоставало затѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотѣлъ служить. Я не зналъ тогда, что нужно для этого побѣдить въ себѣ всѣ щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взялъ мѣсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тѣхъ, которые будутъ несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое мѣсто, что позабыть нужно обо всѣхъ огорченіяхъ собственныхъ. Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаетъ истинно-честно служить Россіи, нужно имѣть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всѣ другія чувства,—нужно имѣть много любви къ человѣку вообще и сдѣлаться истиннымъ христіаниномъ, во всемъ смыслѣ этого слова. А потому и немудрено,

что, не имѣя этого въ себѣ, я не могъ служить такъ, какъ хотѣлъ, несмотря на то, что сгоралъ дѣйствительно желаніемъ служить честно. Но какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросилъ все: и прежнія свои должности, и Петербургъ, и общества близкихъ душѣ моей людей, и самую Россію, затѣмъ, чтобы вдали и въ уединеніи отъ всѣхъ обсудить, какъ это сдѣлать, какъ произвести такимъ образомъ свое твореньe, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей. Чѣмъ болѣе обдумывалъ я свое сочиненіе, тѣмъ болѣе чувствовалъ, что оно можетъ дѣйствительно принести пользу. Чѣмъ болѣе я обдумывалъ мое сочиненіе, тѣмъ болѣе видѣлъ, что не случайно слѣдуетъ мнѣ взять характеры, какіе попадутся, но избрать одни тѣ, на которыхъ замѣтнѣй и глубже отпечатлѣлись истинно-русскія, коренныя свойства наши. Мнѣ хотѣлось въ сочиненіи моемъ выставить преимущественно тѣ высшія свойства русской природы, которыя еще не всѣми цѣнятся справедливо, и преимущественно тѣ низкія, которыя еще недостаточно всѣми осмѣяны и поражены. Мнѣ хотѣлось сюда собрать одни яркія психологическія явленія, помѣстить тѣ наблюденія, которыя я дѣлалъ издавна сокровенно надъ человѣкомъ, которыхъ не довѣрялъ дотолѣ перу, чувствуя самъ незрѣлость его, которыя, бывъ изображены вѣрно, послужилъ бы разгадкой многаго въ нашей жизни, словомъ—чтобы, по прочтеніи моего сочиненія, предсталъ какъ бы невольно весь русскій человѣкъ, со всѣмъ разнообразіемъ богатствъ и даровъ, доставшихся на его долю, преимущественно передъ другими народами, и со всѣмъ множествомъ тѣхъ недостатковъ, которые находятся въ немъ, также преимущественно передъ всѣми другими народами. Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства, что къ нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сила смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, если бы даже нашелъ ихъ въ себѣ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будетъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ случаѣ, когда узнаешь очень хорошо самъ, что дѣйствительно въ нашей природѣ есть достоинства и что въ ней дѣйствительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвѣсить и оцѣнить то и другое и объяснить себѣ самому ясно, чтобы не возвести въ достоинство того, что есть грѣхъ нашъ, и не поразить смѣхомъ вмѣстѣ съ недостатками нашими и того, что есть въ насъ достоинство. Мнѣ не хотѣлось даромъ тратить силу. Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ начали говорить, что я смѣюсь не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самимъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всѣмъ человѣкомъ, но и надъ мѣстомъ, надъ самою должностью, которую онъ занимаетъ (чего я никогда даже не имѣлъ и въ мысляхъ), я увидалъ, что нужно

со смѣхомъ быть очень осторожнымъ,—тѣмъ болѣе, что онъ заразителенъ и стоитъ только тому, кто поостроумнѣй, посмѣяться надъ одной стороной дѣла, какъ уже, во слѣдъ за нимъ, тотъ, кто потупѣе и поглупѣй, будетъ смѣяться надъ всѣми сторонами дѣла. Словомъ, я видѣлъ ясно, какъ дважды два четыре, что прежде, покамѣстъ не опредѣлю себѣ самому опредѣлительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мнѣ нельзя приступить; а чтобы опредѣлить себѣ русскую природу, слѣдуетъ узнать получше природу человѣка вообще и душу человѣка вообще: безъ этого не станешь на ту точку воззрѣнія, съ которой видятся ясно недостатки и достоинства всякаго народа.

Съ этихъ поръ человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе на узнаніе тѣхъ вѣчныхъ законовъ, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. Все, гдѣ только выражалось познаніе людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустынника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ немъ ключъ къ душѣ человѣка, и что еще никто изъ душезнателей не всходилъ на ту высоту познанія душевнаго, на которой стоялъ Онъ. Повѣркой разума повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой, и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно. Къ этому привелъ меня и анализъ надъ моею собственной душой: я увидѣлъ тоже математически ясно, что говорить и писать о высшихъ чувствахъ и движеніяхъ человѣка нельзя по воображенію: нужно заключить въ себѣ самомъ хотя небольшую крупицу этого, словомъ—нужно сдѣлаться лучшимъ. Это можетъ показаться довольно страннымъ, особенно для тѣхъ, которые получили въ юности совершенно оконченное и полное воспитаніе. Но надобно сказать, что я получилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученіи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ свои занятія. Я наблюдалъ надъ собой, какъ учитель надъ ученикомъ не въ книжномъ ученіи, но и въ простомъ нравственномъ, глядя на себя самого, какъ на школьника. Я помѣстилъ кое-что изъ этихъ продѣлокъ надъ самимъ собою въ книгѣ моихъ писемъ, вовсе не затѣмъ, чтобы пощеголять чѣмъ-нибудь (да и не знаю, чѣмъ тутъ щеголять), но изъ желанія добра: авось кому-нибудь принесетъ это пользу: я былъ увѣренъ, что много, подобно мнѣ, воспитались въ школѣ плохо и потомъ, подобно мнѣ, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышалъ, какъ многіе жаловались, что не могутъ отстать отъ дурныхъ привычекъ, при всемъ желаніи своемъ отстать отъ нихъ. Я и помѣ-

стилъ это, кое-какъ приспособивши къ другому, и помѣстилъ это я не иначе, какъ увидѣвши на опытѣ, что многое изъ этого уже пришло въ пользу нѣкоторымъ людямъ, которыхъ я зналъ. Въ отвѣтъ же тѣмъ, которые попрекаютъ мнѣ, зачѣмъ я выставилъ свою внутреннюю клѣть, могу сказать то, что все-таки я еще не монахъ, а писатель. Я поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ всѣ тѣ писатели, которые говорили, что было на душѣ. Если бы и съ Карамзинымъ случилась эта внутренняя исторія во время его писательства, онъ бы ее также выразилъ. Но Карамзинъ воспитался въ юношествѣ. Онъ образовался уже, какъ человѣкъ и гражданинъ, прежде чѣмъ выступилъ на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считалъ ни для кого соблазнительнымъ открыть публично, что я стараюсь быть лучшимъ, чѣмъ я есмь. Я не нахожу соблазнительнымъ томиться и сгорать явно, въ виду всѣхъ, желаніемъ совершенства, если сходилъ затѣмъ Самъ Сынъ Божій, чтобы сказать намъ всѣмъ: «Будьте совершенны такъ, какъ совершененъ Отецъ вашъ небесный». Что же касается до обвиненій, будто я, изъ желанія похвастаться смиреніемъ, въ книгѣ моей показалъ уничиженіе паче гордости, то на это скажу, что ни смиренія, ни уничиженія здѣсь нѣтъ. Пришедшіе къ этому заключенію обманулись сходствомъ признаковъ. Противнымъ дѣйствительно я казался себѣ самому вовсе не отъ смиренія, но потому, что въ мысляхъ моихъ чѣмъ далѣе, тѣмъ яснѣе представлялся идеалъ прекраснаго человѣка, тотъ благостный образъ, какимъ долженъ быть на землѣ человѣкъ, и мнѣ становилось всякій разъ послѣ этого противно глядѣть на себя. Это не смиреніе, но скорѣе то чувство, которое бываетъ у завистливаго человѣка, который, увидѣвши въ чужихъ рукахъ вещь лучшую, бросаетъ свою и не хочетъ уже глядѣть на нее. Притомъ мнѣ посчастливилось встрѣтить на вѣку своемъ, и особенно въ послѣднее время, нѣсколько такихъ людей, передъ душевными качествами которыхъ показались мнѣ мелкими мои качества, и всякій разъ я негодовалъ на себя за то, что не имѣю того, что имѣютъ другіе. Тутъ нужно обвинять развѣ завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь къ исторіи. Итакъ, на нѣкоторое время занятіемъ моимъ сталъ не русскій человѣкъ и Россія, но человѣкъ и душа человѣка вообще. Все меня приводило въ это время къ изслѣдованію общихъ законовъ души нашей: мои собственныя душевныя обстоятельства, наконецъ, обстоятельства внѣшнія, надъ которыми мы не властны и которыя всякій разъ обращали меня противовольно вновь къ тому же предмету, какъ только я отъ него отдалялся. Нѣсколько разъ, упрекаемый въ недѣятельности, я принимался за перо, хотѣлъ насильно заставить себя написать хоть что-нибудь въ родѣ небольшой повѣсти или какого-нибудь литературнаго сочиненія, и не могъ произвести ничего. Усилія мои оканчивались почти всегда болѣзнію, страданіями и, наконецъ, такими припадками, вслѣдствіе которыхъ нужно

было надолго отложить всякое занятіе. Что мнѣ было дѣлать? Виноватъ я развѣ былъ въ томъ, что не въ силахъ былъ повторять то же, что говорилъ или писалъ въ мои юношескіе годы? Какъ будто двѣ весны бываютъ въ возрастѣ человѣческомъ! И если всякъ человѣкъ подверженъ этимъ необходимымъ перемѣнамъ при переходѣ изъ возраста въ возрастъ, почему же одинъ писатель долженъ быть исключеніемъ? Развѣ писатель также не человѣкъ? Я не совращался съ своего пути. Я шелъ тою же дорогою. Предметъ у меня былъ всегда одинъ и тотъ же: предметъ у меня былъ—жизнь, а не что другое. Жизнь я преслѣдовалъ въ ея дѣйствительности, а не въ мечтахъ воображенія, и пришелъ къ Тому, Кто есть источникъ жизни. Отъ малыхъ лѣтъ была во мнѣ страсть замѣчать за человѣкомъ, ловить душу его въ малѣйшихъ чертахъ и движеніяхъ его, которыя пропускаются безъ вниманія людьми—и я пришелъ къ Тому, Который одинъ полный вѣдатель души и отъ Кого одного я могъ только узнать полнѣе душу. Я не успокоился по тѣхъ поръ, покуда не разрѣшились мнѣ нѣкоторые собственные мои вопросы относительно меня самого, и только тогда, когда нашелъ удовлетвореніе въ нѣкоторыхъ главныхъ вопросахъ, могъ приступить вновь къ моему сочиненію, первая часть котораго составляетъ еще понынѣ загадку, потому что заключаетъ въ себѣ нѣкоторую часть переходнаго состоянія моей собственной души, тогда какъ еще не вполнѣ отдѣлилось во мнѣ то, чему слѣдовало отдѣлиться.

Какъ только кончилось во мнѣ это состояніе, и жажда знать человѣка вообще удовлетворилась, во мнѣ родилось желаніе сильное знать Россію. Я сталъ знакомиться съ людьми, отъ которыхъ могъ чему-нибудь поучиться и разузнать, что дѣлается на Руси; старался наиболѣе знакомиться съ такими опытными практическими людьми всѣхъ сословій, которые обращены были лицомъ ко всякимъ продѣлкамъ внутри Россіи. Мнѣ хотѣлось сойтись съ людьми всѣхъ сословій и отъ каждаго что-нибудь узнать. Всякій должностный и чѣмъ-нибудь занятый человѣкъ сталъ въ глазахъ моихъ интересенъ. Прежде всего я хотѣлъ опредѣлить себѣ всякую должность, всякое сословіе, всякое мѣсто и всякое званіе въ государствѣ. Мнѣ казалось это необходимымъ для писателя, который беретъ людей на разныхъ поприщахъ. Не содержа въ собственной головѣ своей весь долгъ и всю обязанность того человѣка, котораго описываешь, не выставишь его, какъ слѣдуетъ, вѣрно и притомъ такъ, чтобы онъ дѣйствительно былъ въ урокъ и въ поученіе живущему. Изъ-за этого я старался завести переписку съ такими людьми, которые могли мнѣ что-нибудь сообщать. Прочихъ я просилъ набрасывать легкіе портреты и характеры, первые, какіе имъ попадутся. Все это было мнѣ нужно не затѣмъ, чтобы въ головѣ моей не было ни характеровъ, ни героевъ: ихъ было у меня уже много; они выработались изъ познанія природы человѣческой гораздо полнѣй-

шаго, чѣмъ какое было во мнѣ прежде; но свѣдѣнія эти мнѣ, просто, нужны были, какъ нужны этюды съ натуры художнику, который пишетъ большую картину своего собственнаго сочиненія. Онъ не переводитъ этихъ рисунковъ къ себѣ на картину, но развѣшиваетъ ихъ вокругъ по стѣнамъ, затѣмъ, чтобы держать передъ собою неотлучно, чтобы не погрѣшить ни въ чемъ противъ дѣйствительности, противъ времени или эпохи, какая имъ взята. Я никогда ничего не создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я никогда не *писалъ* портрета, въ смыслѣ простой копіи. Я *создавалъ* портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенія, а не воображенія. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображеніе, тѣмъ у меня вѣрнѣй выходило созданіе. Мнѣ нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ, потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображеніе—и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никакъ не могъ объяснить никому, а потому и никогда почти не получалъ такихъ писемъ, какихъ я желалъ. Всѣ только удивлялись тому, какъ могъ я требовать такихъ мелочей и пустяковъ, тогда какъ имѣю такое воображеніе, которое можетъ само творить и производить. Но воображеніе мое до сихъ поръ не подарило меня ни однимъ замѣчательнымъ характеромъ и не создало ни одной такой вещи, которую гдѣ-нибудь не подмѣтилъ мой взглядъ въ натурѣ. Я помѣстилъ въ книгѣ моей: «Переписка съ друзьями» нѣсколько писемъ къ помѣщикамъ и къ разнымъ должностнымъ лицамъ (изъ нихъ большая часть не напечатана) вовсе не затѣмъ, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньемъ анекдотическихъ фактовъ. Возраженія такого рода отъ людей практическихъ и опытныхъ для меня важны тѣмъ, что поставляютъ меня ближе къ дѣлу, раскрывая мнѣ глубже внутренность Россіи. Но вмѣсто дѣлъ, интересныхъ для всякаго русскаго человѣка, и нашихъ русскихъ вопросовъ, занялись моей собственной личностью и исписали цѣлые листы о томъ, имѣю ли я право мѣшаться въ подобныя дѣла. Я сдѣлалъ въ то же время воззваніе ко всѣмъ читателямъ «Мертвыхъ Душъ»,—воззваніе нѣсколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень зналъ, что надъ нимъ многіе посмѣются; но я готовъ былъ выдержать всякое осмѣяніе, лишь бы только добиться своего. Я думалъ, что, можетъ, хоть пять, шесть человѣкъ захотятъ исполнить мою просьбу такъ, какъ я желалъ. Я не требовалъ собственно поправокъ на «Мертвыя Души»: мнѣ хотѣлось, подъ этимъ предлогомъ, добыть частныхъ записокъ, воспоминаній о тѣхъ характерахъ и лицахъ, съ которыми случилось кому встрѣтиться на вѣку, изображеній тѣхъ случаевъ, гдѣ пахнетъ Русью.

Зная, что у всѣхъ насъ есть какая-то лѣнь на подъемъ, на работу, вслѣдствіе которыхъ почти всякому изъ насъ трудно что-нибудь доставать изъ своей памяти, я думалъ, что чтеніе «Мертвыхъ Душъ» можетъ расшевелить, особенно, если и карандашъ, и бумага будетъ при этомъ подъ рукой. Я выставилъ свой адресъ и просилъ прислать мнѣ въ письмѣ только тѣхъ, которые не захотѣли бы печатать, но вообще я считалъ гораздо полезнѣе сдѣлать ихъ всеобщею извѣстностью. Мнѣ казалось даже необходимымъ и въ нынѣшнее время это распространеніе извѣстій о Россіи посредствомъ живыхъ фактовъ, потому что въ это время, которое недаромъ называютъ переходнымъ, почти у всякаго человѣка, на всѣхъ поприщахъ, замѣтно стремленье преобразовывать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противъ всякаго зла. Я думалъ, что теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, нужно намъ обнаружить наружу все, что ни есть внутри Руси, чтобы мы почувствовали, изъ какого множества разнородныхъ началъ состоитъ наша почва, на которой мы всѣ стремимся сѣять, и лучше бы осмотрѣлись прежде, чѣмъ произносить что-либо такъ рѣшительно, какъ нынѣ всѣ произносятъ. Я питалъ втайнѣ надежду, что чтеніе «Мертвыхъ Душъ» наведетъ нѣкоторыхъ на мысль писать свои собственныя записки, что многіе почувствуютъ даже нѣкоторое обращеніе на самихъ себя, потому что и въ самомъ авторѣ, въ то время, когда писаны были «Мертвыя Души», произошло нѣкоторое обращеніе на самого себя. Я думалъ, что тотъ, кто уже находится на склонѣ дней своихъ и тревожимъ мыслью, что жизнь его протекла безъ пользы, и онъ сдѣлалъ мало для общаго добра земли своей, почувствуетъ сильнѣе, что онъ вѣрнымъ и живымъ изображеніемъ людей, характеровъ и случаевъ своего времени можетъ познакомить съ Русью людей молодыхъ и начинающихъ дѣйствовать, и такимъ образомъ больше чѣмъ вознаградитъ прекрасно за свою недѣятельность. Молодой же, тотъ, кто вступаетъ еще на поприще, кто еще ни къ чему не охладѣлъ и потому имѣетъ живость взгляда, кого любопытно занимаетъ все, можетъ изобразить эпоху современную, какъ она представляется молодымъ глазамъ юноши. Словомъ, я думалъ, какъ дитя; я обманулся нѣкоторыми: я думалъ, что въ нѣкоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не зналъ еще тогда, что мое имя въ ходу только затѣмъ, чтобы попрекнуть другъ друга и посмѣяться другъ надъ другомъ. Я думалъ, что многіе сквозь самый смѣхъ слышатъ мою добрую натуру, которая смѣялась вовсе не изъ злобнаго желанья. Но на мое приглашеніе я не получилъ записокъ; въ журналахъ мнѣ отвѣчали насмѣшками. Привожу все это затѣмъ, чтобы показать, какъ я употреблялъ всѣ силы держаться на своемъ поприщѣ и придумывалъ всѣ средства, которыя могли двинуть мою работу, не имѣя и въ мысляхъ оставлять званіе писателя. Не могу не замѣтить при этомъ случаѣ, что многіе изъявили изумленіе тому, что я такъ желаю извѣстій о Россіи и въ

то же время самъ остаюсь внѣ Россіи, не соображая того, что, кромѣ болѣзненнаго состоянія моего здоровья, потребовавшаго теплаго климата, мнѣ нужно было это удаленіе отъ Россіи затѣмъ, чтобы пребывать живѣе мыслью въ Россіи. Для тѣхъ, которые не могутъ этого почувствовать, объяснюсь, хотя мнѣ нѣсколько трудно объясняться во всемъ томъ, что составляетъ свойства, собственно мнѣ принадлежащія. Почти у всѣхъ писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеніемъ,—способность представлять предметы отсутствующіе такъ живо, какъ бы они были предъ нашими глазами. Способность эта дѣйствуетъ въ насъ тогда, когда мы отдалимся отъ предметовъ, которые описываемъ. Вотъ почему поэты большею частію избирали эпоху, отъ насъ отдалившуюся, и погружались въ прошедшее. Прошедшее, отрывая насъ отъ всего, что ни есть вокругъ насъ, приводитъ душу въ то тихое, спокойное настроеніе, которое необходимо для труда. У меня не было влеченія къ прошедшему. Предметъ мой была современность и жизнь въ ея нынѣшнемъ быту, можетъ-быть, оттого, что умъ мой былъ всегда наклоненъ къ существенности и къ пользѣ, болѣе осязательной. Чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе усиливалось во мнѣ желаніе быть писателемъ современнымъ. Но я видѣлъ въ то же время, что, изображая современность, нельзя находиться въ томъ высоко настроенномъ и спокойномъ состояніи, какое необходимо для произведенія большого и стройнаго труда. Настоящее слишкомъ живо, слишкомъ шевелитъ, слишкомъ раздражаетъ; перо писателя нечувствительно и незамѣтно переходитъ въ сатиру. Притомъ, находясь самъ въ ряду другихъ и болѣе или менѣе дѣйствуя съ ними, видишь передъ собою только тѣхъ людей, которые стоятъ близко отъ тебя: всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я сталъ думать о томъ, какъ бы выбраться изъ ряду другихъ и стать на такое мѣсто, откуда бы я могъ увидать всю массу, а не людей только, возлѣ меня стоящихъ,—какъ бы, отдалившись отъ настоящаго, обратить его нѣкоторымъ образомъ для себя въ прошедшее. Мое разстроившееся здоровье и вмѣстѣ съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, но которыхъ тогда не умѣлъ еще переносить, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имѣлъ влеченія и страсти къ чужимъ краямъ Я не имѣлъ также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываетъ снѣдаемъ юноша, жадный впечатлѣній. Но! странное дѣло! даже въ дѣтствѣ, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышлялъ только объ одной службѣ, а не о писательствѣ, мнѣ всегда казалось, что въ жизни моей мнѣ предстоитъ какое-то большое самопожертвованіе и что, именно, для службы моей отчизнѣ я долженъ буду воспитаться гдѣ-то вдали отъ нея. Я не зналъ, ни какъ это будетъ, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомъ, но видѣлъ самого себя такъ живо въ какой-то чужой землѣ тоскующимъ

по своей отчизнѣ, картина эта такъ часто меня преслѣдовала, что я чувствовалъ отъ нея грусть. Можетъ-быть, это было, просто, то непонятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, ѣхать въ чужіе края, единственно затѣмъ, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей
Вздыхать о сумрачной Россіи.

Какъ бы то ни было, но это противувольное мнѣ самому влеченіе было такъ сильно, что не прошло пяти мѣсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному. Проектъ и цѣль моего путешествія были очень неясны. Я зналъ только то, что ѣду вовсе не затѣмъ, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорѣй, чтобы натерпѣться, точно какъ бы предчувствовалъ, что узнаю цѣну Россіи только внѣ Россіи, и добуду любовь къ ней вдали отъ нея. Едва только я очутился въ морѣ, на чужомъ кораблѣ, среди чужихъ людей (пароходъ былъ англійскій, и на немъ ни души русской), мнѣ стало грустно; мнѣ сдѣлалось такъ жалко друзей и товарищей моего дѣтства, которыхъ я оставилъ и которыхъ я всегда любилъ, что прежде, чѣмъ вступить на твердую землю, я уже подумалъ о возвратѣ. Три дня только я пробылъ въ чужихъ краяхъ и, несмотря на то, что новость предметовъ начала меня завлекать, я поспѣшилъ на томъ же самомъ пароходѣ возвратиться, боясь, что иначе мнѣ не удастся возвратиться. Съ тѣхъ поръ я далъ себѣ слово не питать и мысли о чужихъ краяхъ— и точно, во все время пребыванья моего въ Петербургѣ, въ продолженіе цѣлыхъ семи лѣтъ, не приходили мнѣ никогда на мысли чужіе края, покамѣстъ обстоятельства моего здоровья, нѣкоторыя огорченья и наконецъ потребность большаго уединенія не заставили меня оставить Россію.

Два раза я возвращался потомъ въ Россію, одинъ разъ даже съ тѣмъ, чтобы въ ней остаться навсегда. Я думалъ, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать все, я въ силахъ буду узнать многое. Но, странное дѣло! среди Россіи я почти не увидалъ Россіи. Всѣ люди, съ которыми я встрѣчался, большею частью любили поговорить о томъ, что дѣлается въ Европѣ, а не въ Россіи. Я узналъ только то, что дѣлается въ англійскомъ клубѣ, да кое-что изъ того, что я и самъ уже зналъ. Извѣстно, что всякій изъ насъ окруженъ своимъ кругомъ близкихъ знакомыхъ, изъ-за котораго трудно ему увидать людей постороннихъ; во-первыхъ, уже потому, что съ близкими обязанъ быть чаще, а во-вторыхъ, потому, что кругъ друзей такъ уже самъ по себѣ пріятенъ, что нужно имѣть слишкомъ много самоотверженья, чтобы изъ него вырваться. Всѣ, съ которыми мнѣ случилось познакомиться, надѣляли меня уже готовыми выводами, заключеніями, а не просто фактами, которыхъ я искалъ. Я замѣтилъ вообще нѣкоторую перемѣну въ мысляхъ и умахъ. Всякъ глядѣлъ на вещи

взглядомъ болѣе философическимъ, чѣмъ когда-либо прежде, во всякой вещи хотѣлъ увидать ея глубокій смыслъ и сильнѣйшее значеніе: движенье, вообще показывающее большой шагъ общества впередъ. Но съ другой стороны, отъ этого произошла торопливость дѣлать выводы и заключенья изъ двухъ-трехъ фактовъ о всемъ цѣломъ и безпрестанная позабывчивость того, что не всѣ вещи и не всѣ стороны соображены и взвѣшены. Я замѣтилъ, что почти у всякаго образовывалась въ головѣ своя собственная Россія, и отъ того безконечные споры. Мнѣ нужно было не того: мнѣ нужно было, просто, такихъ бесѣдъ, какъ бывали въ старину, когда всякъ разсказывалъ только то, что видѣлъ, слышалъ на своемъ вѣку, и разговоръ казался собраньемъ анекдотовъ, а не разсужденьемъ. Это мнѣ нужно было уже и потому, что я и самъ начиналъ невольно заражаться этой торопливостью заключать и выводить, всеобщимъ повѣтріемъ нынѣшняго времени.

Провинціи наши меня еще болѣе изумили. Тамъ даже имя *Россія* не раздается на устахъ. Раздавалось, какъ мнѣ показалось, на устахъ только то, что было прочитано въ новѣйшихъ романахъ, переведенныхъ съ французскаго. Словомъ—во все пребыванье мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое; духъ мой упадалъ, и самое желанье знать ее ослабѣвало. Но какъ только я выѣзжалъ изъ нея, она совокуплялась вновь въ моихъ мысляхъ цѣлой, желанье знать ее пробуждалось во мнѣ вновь, и охота знакомиться со всякимъ свѣжимъ человѣкомъ, недавно выѣхавшимъ изъ Россіи, становилась вновь сильна. Во мнѣ рождалось даже умѣнье выспрашивать, и часто въ одинъ часъ разговора я узнавалъ то, чего не могъ, живя въ Россіи, узнать въ продолженіе недѣли. Всякій знаетъ, что за границей знакомства дѣлаются гораздо легче, что на водахъ въ Германіи и на зимовьяхъ въ Италіи сходятся люди, которые, можетъ-быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы вѣкъ незнакомыми. Вотъ что заставило меня предпочесть пребыванье внѣ Россіи, даже и въ отношеніи къ тому, чтобы побольше слышать о Россіи. Я очень долго думалъ о томъ, какимъ бы образомъ узнать многое, дѣлающееся въ Россіи, живя въ Россіи. Разъѣздами по государству не много возьмешь: останутся въ головѣ только станціи да трактиры. Знакомства въ городахъ и деревняхъ тоже довольно трудны для разъѣзжающаго не по казенной надобности: могутъ принять за кого-нибудь шпіона, и пріобрѣтешь развѣ только сюжетъ для комедіи, которой имя *безтолковщина*. Если-жъ узнаютъ, что разъѣзжающій есть и писатель вмѣстѣ, тогда положенье еще смѣшнѣе: половина читающей Россіи увѣрена серьезно, что я живу единственно для осмѣянья всего, что ни есть въ человѣкѣ, отъ головы до ногъ. А между тѣмъ никогда еще до сихъ поръ не чувствовалъ я такъ сильно потребности знать современное состояніе нынѣшняго русскаго человѣка,—тѣмъ болѣе, что теперь такъ разошлись

всѣ въ образахъ мыслей, такъ вихорь недоразумѣній обуялъ всѣхъ, что никто не въ силахъ судить вѣрно другъ друга, и нужно какъ бы ощупать собственною рукою всякую вещь, не довѣряя никому. Я не могъ быть безъ этихъ свѣдѣній. Нынѣ избранные характеры и лица моего сочиненія крупнѣй прежнихъ. Чѣмъ выше достоинство взятаго лица, тѣмъ ощутительнѣй, тѣмъ осязательнѣй нужно выставить его передъ читателемъ. Для этого нужны всѣ тѣ безчисленныя мелочи и подробности, которыя говорятъ, что взятое лицо дѣйствительно жило на свѣтѣ; иначе оно станетъ идеальнымъ, будетъ блѣдно и, сколько ни навяжи ему добродѣтелей, будетъ все ничтожно. Нужно, чтобы русскій читатель дѣйствительно почувствовалъ, что выведенное лицо взято именно изъ того самаго тѣла, изъ котораго созданъ и онъ самъ, что это живое и его собственное тѣло. Тогда только сливается онъ самъ съ своимъ героемъ и нечувствительно принимаетъ отъ него тѣ внушенія, которыхъ никакимъ разсужденьемъ и никакою проповѣдью не внушишь. Это полное воплощенье въ плоть, это полное округленье характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу въ умѣ своемъ весь этотъ прозаическій существенный дрязгъ жизни, когда, содержа въ головѣ всѣ крупныя черты характера, соберу въ тоже время вокругъ его все тряпье до малѣйшей булавки, которое кружится ежедневно вокругъ человѣка, словомъ—когда соображу все отъ мала до велика, ничего не пропустивши. У меня въ этомъ отношеніи умъ тотъ самый, какой бываетъ у большей части русскихъ людей, то-есть, способный больше выводить, чѣмъ выдумывать. Мнѣ всегда нужно было выслушать слишкомъ много людей, чтобы образовалось во мнѣ собственное мое мнѣніе, и тогда только мое мнѣніе находили здравымъ и умнымъ. Когда же я не всѣхъ выслушаю и потороплюсь выводомъ, оно выходило только рѣзко и необыкновенно. Даже въ нынѣшней моей книгѣ: «Переписка съ друзьями», въ которой многое походитъ на одни предположенія, собственно предположеній нѣтъ. Въ ней все выводы; но дѣло въ томъ, что одни выводы взяты изъ всѣхъ сторонъ дѣла и потому всѣмъ ясны, другіе изъ нѣкоторыхъ, не всѣмъ извѣстныхъ, и потому темны, а для многихъ кажутся даже и вовсе нелѣпицей. Вотъ отчего въ рѣдкомъ моемъ сочиненіи не встрѣчается рядомъ и зрѣлость и незрѣлость, и мужъ и ребенокъ, и учитель и ученикъ.

Итакъ, всего того, что мнѣ нужно, я не могъ достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не могъ работать? Какъ воевать съ собою, если сдѣлался требователенъ къ самому себѣ? Какъ полетѣть воображеньемъ,—если-бъ оно и было,—если разсудокъ на всякомъ шагу задаетъ вопросъ: «зачѣмъ?» Зачѣмъ случились многія такія обстоятельства, которыхъ я не призывалъ? Зачѣмъ мнѣ опредѣлено было не иначе пріобрѣсти познанье души человѣка, какъ произведя строгій анализъ надъ собственною душою? Зачѣмъ желаньемъ изобразить русскаго

человѣка я возгорѣлся не прежде, какъ узнавши получше общіе законы дѣйствій человѣческихъ, а узналъ ихъ не прежде, какъ пришедши къ Тому, Кто одинъ вѣдатель и дѣйствій человѣческихъ, и всѣхъ малѣйшихъ нашихъ душевныхъ тайнъ?.. Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня? Зачѣмъ, наконецъ, были такія обстоятельства, о которыхъ я не могу даже сказать, но которыя заставляли меня, противъ воли моей собственной, входить глубже въ душу человѣка? Зачѣмъ вѣнцомъ всѣхъ эстетическихъ наслажденій во мнѣ осталось свойство восхищаться красотой души человѣка вездѣ, гдѣ бы я ее ни встрѣтилъ? Зачѣмъ жажда знать душу человѣка такъ томила меня постоянно отъ дней моей юности? Опредѣлите мнѣ прежде, зачѣмъ все это произошло, и тогда спрашивайте: зачѣмъ я не могу писать того, что писалъ? Я старался дѣйствовать наперекоръ обстоятельствамъ и этому порядку, не отъ меня начертанному. Я пробовалъ нѣсколько разъ писать попрежнему, какъ писалось въ молодости, то-есть, какъ попало, куда ни поведетъ перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-какъ въ письмахъ къ моимъ знакомымъ и друзьямъ, я захотѣлъ тотчасъ же изъ этого сдѣлать употребленье, и едва только оправился отъ тяжкой болѣзни моей, какъ составилъ изъ нихъ книгу, постаравшись дать ей кое-какой порядокъ и послѣдовательность, чтобы она походила на дѣльную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное къ нѣкоторымъ, общество приметъ на свой счетъ, особенно послѣ завѣщанья, обращеннаго къ лицу всѣхъ соотечественниковъ. Я боялся самъ разсматривать ея недостатки, а почти закрылъ глаза на нее, зная, что если разсмотрю я построже мою книгу, можетъ, она будетъ такъ же уничтожена, какъ я уничтожалъ «Мертвыя Души» и какъ уничтожалъ все, что ни писалъ въ послѣднее время. Я думалъ, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчаніе, введу и объясню мое трудное положеніе, почему я не могъ писать въ это время, обращу вниманіе на практическое и на дѣло жизни. Я думалъ вслѣдъ ея заговорить о томъ, что раскроетъ предо мною побольше Русь, освѣжитъ, оживитъ меня и заставитъ меня взяться за перо. Не тутъ-то было: все обрушилось на меня упреками. Я услышалъ только толки о томъ, что не рѣшается толками. Руки мои опустились. Порывъ, который, мнѣ показалось, началъ было во мнѣ пробуждаться, погасъ, и я нечувствительно самъ собой пришелъ теперь къ тому вопросу, который я до сихъ поръ и не думалъ еще задавать въ себѣ: долженъ ли я въ самомъ дѣлѣ писать? долженъ ли я оставаться на этомъ поприщѣ, отъ котораго въ послѣднее время такъ явно меня все отвлекало? Положимъ, если бы даже я въ силахъ былъ какъ-нибудь побѣдить себя, перо мое получило бы бѣглость и страницы полились непринужденно одна за другою—таково ли душевное состоянье мое, чтобы

сочиненья мои были дѣйствительно въ это время полезны и нужны нынѣшнему обществу? Бросимъ взглядъ на нынѣшнее состояніе общества: благопріятно ли нынѣшнее время для писателя вообще и вслѣдъ за тѣмъ для такого писателя, какъ я?

Всѣ болѣе или менѣе согласились называть нынѣшнее время переходнымъ. Всѣ, болѣе чѣмъ когда либо прежде, нынѣ чувствуютъ, что міръ въ дорогѣ, а не у пристани, даже и не на ночлегѣ, не на временной станціи, или отдыхѣ. Все чего-то ищетъ, ищетъ уже не внѣ, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевѣсъ и надъ политическими, и надъ учеными, и надъ всякими другими вопросами. И мечъ, и громъ пушекъ не въ силахъ занимать міръ. Вездѣ обнаруживается болѣе или менѣе мысль о внутреннемъ строеніи: все ждетъ какого-то болѣе стройнѣйшаго порядка. Мысль о строеніи, какъ себя, такъ и другихъ, дѣлается общею. Со всѣми замѣчательными, стоящими впереди другихъ людьми случились какіе-нибудь душевные внутренніе перевороты, съ иными даже въ такіе годы, въ какіе никогда невозможны были доселѣ перемѣны въ человѣкѣ и улучшенія. Всякъ болѣе или менѣе чувствуетъ, что онъ не находится въ томъ именно состояніи своемъ, въ какомъ долженъ быть, хотя и не знаетъ, въ чемъ именно должно состоять это желанное состояніе. Но это желанное состояніе ищется всѣми; уши всѣхъ чутко обращены въ ту сторону, гдѣ думаютъ услышать хоть что-нибудь о вопросахъ, всѣхъ занимающихъ. Никто не хочетъ читать другой книги, кромѣ той, гдѣ можетъ содержаться хотя намекъ на эти вопросы. Надобны ли въ это время сочиненія такого писателя, который одаренъ способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь въ томъ видѣ, какъ она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Опредѣлимъ себѣ прежде, что такое тотъ писатель, котораго главный талантъ состоитъ въ творчествѣ.

Всѣ болѣе или менѣе согласны въ томъ, что писатель-творецъ творитъ трворенье свое въ поученье людей. Требованья отъ него слишкомъ велики—и справедливо: для того, чтобы передавать одну вѣрную копію съ того, что видишь передъ глазами, есть также другіе писатели, одаренные иногда въ высшей степени способностью живописать, но лишенные способности *творить*. Но кто создаетъ, кто трудится надъ этимъ долго, кому приходится дорого его созданіе, тотъ долженъ уже потрудиться недаромъ. Нужно, чтобы въ созданьи его жизнь сдѣлала какой-нибудь шагъ впередъ и чтобы онъ, постигнувши современность, ставши въ уровень съ вѣкомъ, умѣлъ обратно воздать ему за наученье себя наученьемъ его. Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣляютъ поэтовъ и вообще писателей, надѣленныхъ творчествомъ, эстетики какъ нынѣшняго времени, такъ и прежнихъ временъ. Возвратить людей въ томъ же видѣ, въ какомъ и взялъ, для писателя-творца даже невозможно: это дѣло сдѣлаетъ лучше его тотъ, кто, владѣя

бѣглою кистью, можетъ рисовать всякую минуту все, что проходитъ предъ его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничѣмъ.

Стало-быть, въ нынѣшнее время, когда всѣ такъ заняты вопросомъ жизни, такой писатель можетъ, болѣе чѣмъ кто-либо другой, быть рѣшителемъ современныхъ вопросовъ; но когда и въ какомъ случаѣ? Въ такомъ случаѣ и тогда, когда ужъ онъ все разрѣшилъ себѣ, что ни тревожитъ его самого. Если онъ, при всѣхъ великихъ дарахъ, при картинной живописи въ словѣ, при орлиной силѣ взгляда, при возносящей силѣ лиризма и поражающей силѣ сарказма, и пріобрѣтетъ полное познаніе земли своей и своего народа въ корнѣ и въ вѣтвяхъ, воспитается, какъ гражданинъ своей земли и какъ гражданинъ всего человѣчества, и какъ кремень станетъ во всемъ томъ, въ чемъ повелѣно быть крѣпкой скалой человѣку, тогда онъ выступай на поприще. Владѣя такими средствами, орудіями, станетъ подавать онъ обществу людей, потребныхъ ему въ нынѣшнее время, въ современную эпоху и одѣнетъ ихъ портретною живостью, которая дѣлаетъ то, что изображенный образъ преслѣдуетъ насъ повсюду такъ, что нельзя и оторваться. Разумѣется, что съ такими средствами ему ничего не будетъ стоить выгнать изъ головъ всѣхъ тѣхъ героевъ, которыхъ напустили туда модные писатели. Заговори только съ обществомъ, намѣсто самыхъ жаркихъ разсужденій, этими живыми образами, которые, какъ полные хозяева, входятъ въ души людей—и двери сердецъ растворятся сами навстрѣчу къ принятію ихъ, если только почувствуютъ, хоть каплю почувствуютъ, что они взяты изъ нашей природы, изъ того же тѣла. Тогда, разумѣется, кто можетъ подѣйствовать нынѣ сильнѣй такого писателя, и кто можетъ быть болѣе его нужнымъ нынѣшнему времени и нынѣшней эпохѣ? Но если онъ, имѣя дѣйствительно нѣкоторыя изъ тѣхъ орудій, самъ еще не воспитался такъ, какъ гражданинъ земли своей и гражданинъ всемірный, если онъ, покорный общему нынѣшнему влеченію всѣхъ, самъ еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его вліяніе можетъ быть скорѣй вредно, чѣмъ полезно. Это строеніе себя самого непремѣнно обнаружится во всемъ, что ни будетъ выходить изъ-подъ пера его. Чѣмъ онъ самъ менѣе похожъ на другихъ людей, чѣмъ онъ необыкновеннѣе, чѣмъ отличнѣе отъ другихъ, чѣмъ своеобразнѣе, тѣмъ больше можетъ произвести всеобщихъ заблужденій и недоразумѣній. То, что въ немъ есть не болѣе, какъ естественное явленіе, законный ходъ его необыкновеннаго организма, состояніе временное духа, можетъ показаться другимъ людямъ верховною точкою, до которой слѣдуетъ всѣмъ дойти. Чѣмъ больше одушевится онъ любовью къ героямъ и лицамъ своимъ, чѣмъ больше отдѣлаетъ, чѣмъ съ большею живостью выставитъ ихъ, тѣмъ больше вреда. Примѣръ тому въ глазахъ нашихъ. Извѣстная французская писательница, больше всѣхъ другихъ надѣленная талантами, въ немного лѣтъ произ-

вела сильнѣйшее измѣненіе въ нравахъ, чѣмъ всѣ писатели, заботившіеся о развращеніи людей. Она, можетъ-быть, и въ помышленіи не имѣла проповѣдывать развратъ, а обнаружила только временное заблужденіе свое, отъ котораго потомъ, можетъ-быть, и отказалась, переступивши въ другую эпоху своего состоянія душевнаго; а слово уже брошено. *Слово какъ воробей*, говоритъ наша пословица: *выпустивши его, не схватишь потомъ.*

Я самъ писатель ,не лишенный творчества, я владѣю также нѣкоторыми изъ тѣхъ даровъ, которые способны увлекать. Покорный общему стремленію, которое не отъ насъ, но совершается по волѣ Того..., я помышляю о своемъ собственномъ строеніи, какъ помышляютъ и другіе, и чувствую, что и теперь нахожусь далеко отъ того, къ чему стремлюсь, а потому не долженъ выступать. Самая вышедшая книга: «Переписка съ друзьями» служитъ тому доказательствомъ. Если и эта книга, которая не болѣе, какъ разсужденіе, говорятъ, неопредѣлительностью своею производитъ заблужденія , распространяетъ даже ложныя мысли, если и изъ этихъ писемъ, говорятъ, остаются въ головѣ, какъ живыя картины, цѣликомъ фразы и страницы; что же бы было, если бы я выступилъ съ живыми образами повѣствовательнаго сочиненія намѣсто этихъ писемъ? Я самъ слышу, что я тутъ гораздо сильнѣй, чѣмъ въ разсужденіяхъ. Теперь еще можетъ меня оспаривать критика, а тогда врядъ ли бы въ силахъ былъ меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и такъ застряли бы крѣпко въ головы, что критикамъ бы ихъ оттуда не вытащить. Не нужно упускать того изъ виду, что всѣ выставленныя лица и характеры должны были доказать истину моихъ собственныхъ убѣжденій, а мои убѣжденія... Какъ сравню эту книгу съ уничтоженными мною «Мертвыми Душами», не могу не возблагодарить за насланное мнѣ внушеніе ихъ уничтожить. Въ книгѣ моихъ писемъ я все-таки стою на высшей точкѣ, нежели въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ». Темнота выраженія во многихъ мѣстахъ сбиваетъ только читателя, но если бы пояснѣе выразилъ ту же самую мысль, со мною бы многіе перестали спорить. Въ уничтоженныхъ «Мертвыхъ Душахъ» гораздо больше выражалось моего переходнаго состоянія, гораздо меньшая опредѣлительность въ главныхъ основаніяхъ и мысль двигательнѣй, а уже много увлекательности въ частяхъ, и герои были соблазнительны. Словомъ—какъ честный человѣкъ, я долженъ былъ бы оставить перо, даже и тогда, если бы дѣйствительно почувствовалъ позывъ къ нему. На это дѣло слѣдуетъ взглянуть благоразумно. Всѣ тѣ, которые легкомысленно требуютъ отъ меня продолженія писать и въ то же время бранятъ мою нынѣш(нюю книгу), должны, по крайней мѣрѣ, разсмотрѣть поближе все это дѣло и не пропустить всѣхъ тѣхъ обстоятельствъ, которыхъ не пропускаетъ никакой судья, если только произноситъ надъ кѣмъ-либо судъ свой. Мнѣ кажется, что теперь

не только тотъ, кто пишетъ, но всякій умъ вообще, если только наклоненъ къ тому, чтобы дѣлать выводы и заключенія, а самъ въ то же время еще..., долженъ удержаться отъ дѣятельности. Изъ людей умныхъ должны выступать на поприще только тѣ, которые кончили свое воспитаніе и создались, какъ граждане земли своей, а изъ писателей только такіе, которые, любя Россію такъ же пламенно, какъ тотъ, который далъ себѣ названіе Луганскаго, козака, умѣютъ по слѣдамъ его живописать природу, какъ она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошаго въ русскомъ и руководствуясь единственно желаньемъ ввести всѣхъ въ дѣйствительное положеніе русскаго человѣка.

Мнѣ, вѣрно, потяжелѣй, чѣмъ кому-либо другому, отказаться отъ писательства, когда это составляло единственный предметъ всѣхъ моихъ помышленій, когда я все прочее оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что мило человѣку на землѣ, затѣмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ труда своего. Мнѣ не легко отказаться отъ писательства: однѣ изъ лучшихъ минутъ въ жизни моей были тѣ, когда я наконецъ клалъ на бумагу то, что выносилось долговременно въ моихъ мысляхъ; когда я и до сихъ поръ увѣренъ, что едва ли есть высшее изъ наслажденій, какъ наслажденіе *творить*. Но, повторяю вновь, какъ честный человѣкъ, я долженъ положить перо даже и тогда, если бы чувствовалъ позывъ къ нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сдѣлать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что,—скажу откровенно,—жизнь потеряла бы для меня тогда вдругъ всю цѣну, и не писать для меня совершенно значило бы то же, что не жить. Но нѣтъ лишеній, вослѣдъ которымъ намъ не посылается замѣна, въ свидѣтельство того, что ни на малое время не оставляетъ человѣка Создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не можетъ быть безъ какого-нибудь желанія. Какъ земля, на время освобожденная отъ пашни, износитъ другія травы, покуда, вновь не обратится подъ пашню, оплодотворенная и удобренная ими, такъ и во мнѣ, какъ только способность писать меня оставила, мысли какъ бы сами вновь возвратились къ тому, о чемъ я помышлялъ въ самомъ дѣтствѣ. Мнѣ захотѣлось служить, въ какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незамѣтной должности, но служить землѣ своей, такъ служить, какъ я хотѣлъ нѣкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нѣкогда хотѣлъ. Мысль о службѣ меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ поприщѣ могу также служить землѣ своей. Но и тогда, однакоже, я помышлялъ, какъ только кончу большое сочиненіе, вступить, по примѣру другихъ, въ службу и взять мѣсто. Планы мои и виды были только горды и заносчивы. Мнѣ казалось, что если только доказать, что я точно знаю русскаго человѣка въ корнѣ и въ существенныхъ его началахъ, какъ въ тѣхъ,

которыя обнаружены всѣмъ, такъ равно и въ тѣхъ, которыя въ немъ покуда скрыты и видны не для всѣхъ, что знаю душу человѣка не по книгамъ и разсказамъ, но по опыту, влекомый отъ младенчества желаніемъ знать человѣка; то мнѣ дадутъ такое мѣсто, гдѣ я буду въ соприкосновеніи съ людьми разныхъ сословій, съ многими людьми въ соприкосновеніи личномъ, а не посредствомъ бумагъ и канцелярій,— гдѣ я могу употребить съ дѣйствительною пользой мое знаніе человѣка, и гдѣ могу быть полезнымъ многимъ людямъ, а для себя самого пріобрѣсти еще большее познаніе человѣка. Мнѣ казалось, что больше всего страждетъ все на Руси отъ взаимныхъ недоразумѣній, и что больше намъ нуженъ всякій такой человѣкъ, который бы, при нѣкоторомъ познаніи души и сердца и при нѣкоторомъ знаніи вообще, проникнутъ былъ желаніемъ истиннымъ мирить. Я видѣлъ и уже испыталъ, какъ личнымъ переговоромъ и объясненіемъ прекращать можно было много такихъ дѣлъ, которыя никогда не оканчиваются на бумагѣ. Я думалъ, что хоть теперь и нѣтъ такихъ мѣстъ, но что я получу послѣ того, какъ выйдетъ вполнѣ мое сочиненіе, и приготовлялъ уже въ мысляхъ и самый проектъ, въ которомъ намѣревался изъяснить, какъ вслѣдствіе тѣхъ способностей, какія у меня есть, я могу быть нужетъ и полезенъ Россіи. Замыслы мои были горды, но такъ какъ они были основаны только на успѣхѣ моего сочиненія, то и упали вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ оставила меня способность производить созданія поэтическія. Теперь въ глазахъ моихъ всѣ должности равны, всѣ мѣста равно значительны, отъ малаго до великаго, если только на нихъ взглянешь значительно, и мнѣ кажется, что если только хотя сколько-нибудь умѣешь цѣнить человѣка и понимать его достоинство, которое въ немъ бываетъ даже и среди множества недостатковъ, и если только при этомъ хоть сколько-нибудь имѣешь истинно-христіанской любви къ человѣку и, въ заключеніе, проникнутъ точно любовью къ Россіи,— то, мнѣ кажется, на всякомъ мѣстѣ можно сдѣлать много добра. Сила вліянія нравственнаго выше всякихъ силъ. Мѣсто и должность сдѣлались для меня, какъ для плывущаго по морю пристань и твердая земля. Я убѣжденъ, что теперь всякому, кто пламенѣетъ желаніемъ добра, кто русскій и кому дорога честь земли Русской, должно..... также брать многія мѣста и должности въ государствѣ, съ такой же ревностью, какъ становился нѣкогда изъ насъ всякъ въ ряды противъ непріятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила. Съ другой стороны я убѣжденъ, что мѣсто и должность нужны для самого себя, для... Какъ ни бурно нынѣшнее время, какъ ни мятутся и ни волнуются вокругъ умы, какъ ни возмущаетъ тебя собственный умъ твой; но можно остаться среди всего этого въ тишинѣ, если съ тѣмъ именно возьмешь свое мѣсто, чтобы на немъ исполнить долгъ такимъ образомъ, чтобы не стыдно было дать и за который дашь отвѣтъ Небу. Какъ бы то ни было, но жизнь для насъ уже не загадка. Она была тогда

загадка, когда умнѣйшіе изъ людей, отъ мыслителей до поэтовъ, надъ ней задумывались и приходили только къ сознанію, что не знаютъ, что такое жизнь. Но когда Одинъ, всѣхъ наиумнѣйшій, сказалъ твердо, не колеблясь никакимъ сомнѣніяемъ, что Онъ знаетъ, что такое жизнь; когда этотъ Одинъ признанъ всѣми за величайшаго человѣка изъ всѣхъ доселѣ бывшихъ, даже и тѣми, которые не признаютъ въ Немъ Его божественности, тогда слѣдуетъ повѣрить Ему на слово, даже и въ такомъ случаѣ, если бы Онъ былъ просто человѣкъ. Стало-быть, вопросъ рѣшенъ: что такое жизнь?

Этого мало. Намъ данъ полнѣйшій законъ всѣхъ дѣйствій нашихъ, —тотъ законъ, котораго не можетъ стѣснить или остановить никакая власть, который можно внести даже въ тюремныя стѣны, но котораго, однакожъ, нельзя исполнять на воздухѣ: нужно для того стоять хоть на какомъ-нибудь земномъ грунтѣ. Находясь въ должности и на мѣстѣ, все-таки идешь по дорогѣ; не имѣя опредѣленнаго мѣста и должности, идешь черезъ кусты и овраги, какъ попало, хотя и та же цѣль. По дорогѣ итти легче, нежели безъ дороги. Если взглянешь на мѣсто и должность, какъ на средство къ достиженію не цѣли земной, но цѣли небесной, во спасеніе своей души—увидишь, что законъ, данный Христомъ, данъ какъ бы для тебя самого, какъ бы устремленъ лично къ тебѣ самому, затѣмъ, чтобы ясно показать тебѣ, какъ быть на своемъ мѣстѣ во взятой тобою должности. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ высшими, такъ что если хотя немного онъ изъ того исполнитъ, всѣ высшіе его полюбятъ. Христіанину сказано ясно, какъ ему быть съ тѣми, которые его пониже, такъ что если хотя отчасти онъ это исполнитъ, всѣ низшіе ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемірность человѣколюбиваго закона Христова, все это отношеніе человѣка къ человѣчеству можетъ изъ насъ перенести всякъ на свое небольшое поприще. Стоитъ только всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми происходятъ у насъ частыя непріятности наищекотливѣйшія, обратить именно въ тѣхъ самыхъ ближнихъ и братьевъ, которыхъ повелѣваетъ больше всего прощать и любить Христосъ. Стоитъ только не смотрѣть на то, какъ другіе съ тобою поступаютъ, а смотрѣть на то, какъ самъ поступаешь съ другими. Стоитъ только не смотрѣть на то, какъ тебя любятъ другіе, а смотрѣть только на то, любишь ли самъ ихъ. Стоитъ только, не оскорбляясь ничѣмъ, подавать первому руку на примиренье. Стоитъ поступать такъ въ продолженіе небольшого времени, и увидишь, что и тебѣ легче съ другими, и другимъ легче съ тобою, и въ силахъ будешь точно произвести много полезныхъ дѣлъ почти на незамѣтномъ мѣстѣ. Труднѣй всего на свѣтѣ тому, кто не прикрѣпилъ себя къ мѣсту, не опредѣлилъ себѣ, въ чемъ его должность: ему труднѣй всего примѣнить къ себѣ законъ Христовъ, который на то, чтобы исполняться на землѣ, а не на воздухѣ; а потому и жизнь должна быть для него вѣчной загадкой. Предъ нимъ узникъ въ тюрьмѣ

имѣетъ преимущество: онъ знаетъ, что онъ узникъ, а потому и знаетъ, что брать изъ закона. Предъ нимъ нищій имѣетъ преимущество: онъ тоже при должности, онъ нищій, а потому и знаетъ, что брать изъ закона Христова. Но человѣкъ, не знающій, въ чемъ его должность, гдѣ его мѣсто, не опредѣлившій себѣ ничего и не остановившійся ни на чемъ, пребываетъ ни въ мірѣ, ни внѣ міра, не узнаетъ, кто ближній его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать (весь міръ не полюбишь, если не начнешь прежде любить тѣхъ, которые стоятъ поближе къ тебѣ и имѣютъ случай огорчить тебя): онъ ближе всѣхъ къ холодной черствости душевной.

Итакъ, послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначенье человѣка—служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято мѣсто въ земномъ государствѣ затѣмъ, чтобы служить на немъ Государю Небесному, и потому имѣть въ виду Его законъ. Только такъ служа, можно угодить всѣмъ: государю, и народу, и землѣ своей.

Увѣрившись въ этомъ, я уже готовъ былъ жадно взять всякую должность, хотя, соображаясь со своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить съ русскимъ человѣкомъ, чтобы, если возвратится мнѣ способность писать, набрались у меня матеріалы. Одною изъ главныхъ причинъ моего путешествія къ Святымъ Мѣстамъ, было желанье искреннее помолиться и испросить благословеній на честное исполненіе должности, на вступленіе въ жизнь у Самого Того, Кто открылъ намъ тайну жизни, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда проходили стопы Его; поблагодарить за все, что не случилось въ моей жизни; испросить дѣятельности и напутственнаго освѣженія на дѣло, для котораго я себя воспитывалъ и къ которому приготовлялъ себя. Тутъ я не нахожу ничего страннаго, если и ученикъ, по окончаніи своего ученія, спѣшитъ сказать благодарственное слово учителю. Если сынъ спѣшитъ на могилу отца передъ тѣмъ, какъ предстоитъ ему поприще; почему же и мнѣ не поклониться той могилѣ, которой поклоняются всѣ, на которой всѣ получаютъ себѣ какое-нибудь напутствіе, гдѣ вдохновляются всѣ, даже и не поэты? Странно, можетъ-быть, то, что я объ этомъ сказалъ въ печатной книгѣ; но я въ то время только-что оправился отъ тяжкой болѣзни. Я былъ слабъ; я не думалъ, что буду въ силахъ совершить это путешествіе. Мнѣ хотѣлось, чтобы помолились обо мнѣ тѣ, которыхъ вся жизнь стала одною молитвой. Я не зналъ, какъ сдѣлать, чтобы голосъ мой достигнулъ въ глубину келій и стѣнъ затворниковъ, въ мысли, что авось кто-либо изъ прочитавшихъ донесетъ имъ мое слово. Я просилъ обо мнѣ и другихъ молиться, потому что не зналъ, чья молитва изъ насъ угоднѣй Тому, Кому мы всѣ молимся. Знаю только то, что наипрезрѣннѣйшій изъ насъ можетъ

завтра же сдѣлаться лучше всѣхъ насъ, и его молитва будетъ всѣхъ ближе къ Богу. За это не слѣдовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: *просящему дай.*

Какъ случилось, что я долженъ обо всемъ входить въ объясненія съ читателемъ, этого я самъ не могу понять. Знаю только то, что никогда, даже съ наиискреннѣйшими пріятелями, я не хотѣлъ изъясняться насчетъ сокровеннѣйшихъ моихъ помышленій. Я рѣшился твердо не открывать ничего изъ душевной своей исторіи, выносить всякія заключенія о себѣ, какія бы ни раздавались, въ увѣренности, что когда выйдетъ второй и третій томъ «Мертвыхъ Душъ», все будетъ объяснено ими и никто не будетъ дѣлать запроса: что такое самъ авторъ? хотя авторъ и долженъ былъ весь спрятаться за своихъ героевъ. Но, начавши нѣкоторыя объясненія по поводу моихъ сочиненій, я долженъ былъ неминуемо заговорить о себѣ самомъ, потому что сочиненія связаны тѣсно съ дѣломъ моей души. Богъ вѣсть, можетъ-быть, и въ этомъ была также воля Того, безъ воли Котораго ничто не дѣлается на свѣтѣ; можетъ-быть, произошло это именно затѣмъ, чтобы дать мнѣ возможность взглянуть на себя самого. Мнѣ легко было почувствовать нѣкоторую гордость, особенно послѣ того, какъ удалось мнѣ дѣйствительно избавиться отъ многихъ недостатковъ. Эта гордость во мнѣ бы жила безпрестанно, и ея бы мнѣ никто не указалъ. Извѣстно, что достаточно пріобрѣсти въ обращеніяхъ съ людьми нѣкоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить ихъ уже не замѣчать въ насъ нашихъ недостатковъ. Но, когда выставишься передъ лицо незнакомыхъ людей, передъ лицо всего свѣта, и разберутъ по ниткѣ всякое твое дѣйствіе, всякій поступокъ, и люди всѣхъ возможныхъ убѣжденій, предубѣжденій, образовъ мыслей взглянуть на тебя каждый по-своему, и посыплются со всѣхъ сторонъ упреки впопадъ и невпопадъ, ударятъ и съ умысломъ, и невзначай по всѣмъ чувствительнымъ струнамъ твоимъ—тутъ поневолѣ взглянешь на себя съ такихъ сторонъ съ какихъ бы никогда на себя не взглянулъ; станешь въ себѣ отыскивать тѣхъ недостатковъ, которыхъ никогда бы не вздумалъ прежде отыскивать. Это та страшная школа, отъ которой или точно свихнешь съ ума, или поумнѣешь больше, чѣмъ когда-либо. Не безъ стыда и краски въ лицѣ я перечитываю самъ многое въ моей книгѣ, но при всемъ томъ благодарю Бога, давшаго мнѣ силы издать ее въ свѣтъ. Мнѣ нужно было имѣть зеркало, въ которое бы я могъ глядѣться и видѣть получше себя, а безъ этой книги врядъ ли бы имѣлъ я это зеркало. Итакъ, замышленная отъ искренняго желанія принести пользу другимъ, книга моя принесла прежде всего пользу мнѣ самому.

Но да позволено мнѣ будетъ сказать здѣсь нѣсколько словъ относительно полезности ея другимъ. Точно ли безполезна моя книга другимъ и особенно обществу въ его нынѣшнемъ, современномъ видѣ? Мнѣ кажется, всѣ судившіе ее взглянули на нее какими- то широкими

глазами, какъ-то уже слишкомъ сгоряча. Нужно было судить о ней похладнокровнѣе. Вмѣсто того, чтобы выступать ратниками за все общество и вызывать меня на судъ передъ всю Россію, нужно было разсмотрѣть дѣло проще, разсмотрѣть книгу, что такое она въ своемъ основаніи, а не останавливаться надъ частями и подробностями прежде, чѣмъ объяснялся вполнѣ внутренній смыслъ ея. Отъ этого вышли пустыя придирки къ словамъ и приписанье многому такого смысла, который мнѣ никогда и въ умъ не могъ придти.

Начать съ того, что я всегда имѣлъ право сказать о томъ, о чемъ говорилъ въ моей книгѣ, если бы только выразился попроще и поприличнѣе. Учить общество въ томъ смыслѣ, какой нѣкоторыя мнѣ приписали, я вовсе не думалъ. *Учить* я принималъ въ томъ простомъ значеніи, въ какомъ повелѣваетъ намъ Церковь учить другъ друга и безпрестанно, умѣя съ такой же охотой принимать и отъ другихъ совѣты, съ какой подавать ихъ самому. А я былъ готовъ въ то время принимать и отъ другихъ совѣты. Я не представлялъ себѣ общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителемъ. Я не всходилъ съ моей книги на каѳедру, требуя, чтобы всѣ по ней учились. Я пришелъ къ своимъ собратьямъ, соученикамъ, какъ равный имъ ученикъ; принесъ нѣсколько тетрадей, которыя успѣлъ записать со словъ. Того же Учителя, у Котораго мы всѣ учимся; принесъ на выборъ, чтобы всякій взялъ, что кому придется. Тутъ были письма, писанныя къ людямъ разныхъ характеровъ, разныхъ склонностей, и притомъ находившихся на разныхъ степеняхъ своего собственнаго душевнаго состоянія, которыя никакъ не могли приттиться равно всѣмъ Я думалъ, что каждый схватитъ только, что нужно ему, а на другое не обратитъ вниманія. Я не думалъ, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будетъ кричать: «Это мнѣ не нужно!» и сердиться за то. Я никакой новой науки не брался проповѣдать. Какъ ученикъ, кое въ чемъ успѣвшій больше другого, я хотѣлъ только открыть другимъ, какъ полегче выучить уроки, которые даются намъ наилучшимъ Учителемъ. Я думалъ, что, по прочтеніи книги, будетъ мнѣ сказано: «Благодарю тебя, собратъ», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не «завѣщаніе», которое я помѣстилъ довольно неосторожно, въ которомъ намекалъ о поученіи, которое обязанъ дать всякій авторъ поэтическими созданіями своими, никто бы и не вздумалъ мнѣ приписывать этого апостольства, несмотря даже на рѣшительный слогъ и нѣкоторую лирическую торжественность рѣчи. Но въ книгѣ моей отыщетъ много себѣ полезнаго всякъ, кто уже глядитъ въ собственную душу свою.

Что же касается до мнѣнія, будто книга моя должна произвести вредъ, съ этимъ не могу согласиться ни въ какомъ случаѣ. Въ книгѣ, несмотря на всѣ ея недостатки, слишкомъ явно выступило желанье добра.. Несмотря на многія неопредѣленныя и темныя мѣста, главное

видно въ ней ясно, и послѣ чтенія ея приходишь къ тому же заключенію, что верховная инстанція всего есть Церковь и разрѣшенье вопросовъ въ жизни—въ ней. Стало-быть, во всякомъ случаѣ, послѣ книги моей читатель обратится къ Церкви, а въ Церкви встрѣтитъ и учителей Церкви, которые укажутъ, что слѣдуетъ ему взять изъ моей книги для себя, а, можетъ-быть, дадутъ ему, намѣсто моей книги, другія позначительнѣе, полезнѣе и для которыхъ онъ оставитъ мою книгу, какъ ученикъ бросаетъ склады, когда выучится читать по верхамъ.

Въ заключеніе всего я долженъ замѣтить: сужденья большею частію были слишкомъ ужъ рѣшительны, слишкомъ рѣзки, и всякъ, укорявшій меня въ недостаткѣ смиренья истиннаго, не показалъ смиренья относительно меня самого. Положимъ, я въ гордости своей, основавшись на многихъ достоинствахъ, мнѣ приписанныхъ всѣми, могъ подумать, что я стою выше всѣхъ и имѣю право произносить судъ надъ другимъ. Но, на чемъ основываясь, могъ судить меня рѣшительно тотъ, кто не почувствовалъ, что онъ стоитъ выше меня? Какъ бы то ни было, но чтобы произнести полный судъ надъ чѣмъ бы то ни было, нужно быть выше того, котораго судишь. Можно дѣлать замѣчанія по частямъ на то и на другое, можно давать и мнѣнія, и совѣты; но выводить, основываясь на этихъ мнѣніяхъ, обо всемъ человѣкѣ, объявлять его рѣшительно помѣшавшимся, сошедшимъ съ ума, называть лжецомъ и обманщикомъ, надѣвшимъ личину набожности приписывать подлыя и низкія цѣли—это такого рода обвиненія, которыхъ я бы не въ силахъ былъ взвести даже на отъявленнаго мерзавца, который заклейменъ клеймомъ всеобщаго презрѣнія. Мнѣ кажется, что прежде, чѣмъ произносить такія обвиненія, слѣдовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о томъ, каково было бы намъ самимъ, если бы такія обвиненія обрушились на насъ публично ,въ виду всего свѣта. Не мѣшало бы подумать прежде, чѣмъ произносить такое обвиненіе: «Не ошибаюсь ли я самъ? Вѣдь я тоже человѣкъ. Дѣло здѣсь душевное. Душа человѣка—кладязь, не для всѣхъ доступный, и на видимомъ сходствѣ нѣкоторыхъ признаковъ нельзя основываться. Часто и наискуснѣйшіе врачи принимали одну болѣзнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разрѣзывали уже мертвый трупъ». Нѣтъ, въ книгѣ: «Переписка съ друзьями», какъ ни много недостатковъ во всѣхъ отношеніяхъ, но есть также въ ней много того, что не скоро можетъ быть доступно всѣмъ. Нечего утверждаться на томъ, что прочелъ два или три раза книгу: иной и десять разъ прочтетъ, и ничего изъ этого не выйдетъ. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно имѣть или очень простую и добрую душу, или быть слишкомъ многостороннимъ человѣкомъ, который, при умѣ, обнимающемъ со всѣхъ сторонъ, заключалъ бы высокій поэтическій талантъ и душу, умѣющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумѣніе были для меня очень тяжелы,—тѣмъ болѣе, что я думалъ, что въ книгѣ моей скорѣй зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы отъ множества упрековъ: изъ нихъ многіе были такъ страшны, что не дай ихъ Богъ никому получать! Не могу не изъявить также и благодарности тѣмъ, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовавъ, что ихъ уже слишкомъ много для немощной натуры человѣка, рукой скорбящаго брата приподымали меня, повелѣвая ободриться. Богъ да вознаградитъ ихъ! Я не знаю выше подвига, какъ подать руку изнѣмогшему духомъ.

ПИСЬМО КЪ В. А. ЖУКОВСКОМУ.

Неаполь. 18/8 генваря 10.
1847 декабря 29.

Виноватъ передъ тобой, душа моя! Всякой день собираюсь писать—и непостижимая *неохота* удерживаетъ. Передо мной опять Неаполь, Везувій и море! Дни бѣгутъ въ занятіяхъ; время летитъ такъ, что не знаешь, откуда взять лишній часъ. Учусь, какъ школьникъ, всему тому, чему пренебрегъ выучиться въ школѣ. Но что разсказывать объ этомъ! Хотѣлось бы поговорить о томъ, о чемъ съ однимъ тобой могу говорить: о нашемъ миломъ *искусствѣ*, для котораго живу и для котораго учусь теперь, какъ школьникъ. Такъ какъ теперь предстоитъ мнѣ путешествіе въ Іерусалимъ, то хочу тебѣ исповѣдаться; кому же, какъ не тебѣ? Вѣдь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грѣхи—здѣсь. Вотъ уже скоро двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступавшій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. Комнаты этой уже нѣтъ; но я ее вижу какъ теперь, всю, до малѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаніемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!.. Что насъ свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнѣйшее обыкновеннаго родства. Отъ чего? отъ того, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дѣло рѣшить, въ какой степени я поэтъ; знаю только то, что прежде, чѣмъ понимать значеніе и цѣль искусства, я уже чувствовалъ чутьемъ всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени этого перваго свиданья нашего оно уже стало *главнымъ и первымъ* въ моей жизни, а все прочее, *вторымъ*. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землѣ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина, и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давалъ себѣ отчета (да и могъ ли тогда его дать?), что должно быть предметомъ

моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственныя обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось какъ бы независимо отъ моего собственнаго (свободнаго) произволенія. Никогда, напримѣръ, я не думалъ, что мнѣ придется быть сатирическимъ писателемъ и смѣшить моихъ читателей. Правда, что, еще бывши въ школѣ, чувствовалъ я временами расположеніе къ веселости и надоѣдалъ товарищамъ неумѣстными шутками. Но это были временные припадки; вообще же я былъ характера скорѣй меланхолическаго и склоннаго къ размышленію. Впослѣдствіи присоединилась къ этому болѣзнь и хандра. И эти-то самыя болѣзнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась въ моихъ первыхъ произведеніяхъ. Чтобъ развлекать самого себя, я выдумывалъ безъ дальнѣйшей цѣли и плана героевъ, становилъ ихъ въ смѣшныя положенія—вотъ происхожденіе моихъ повѣстей! Страсть наблюдать за человѣкомъ, питаемая мною еще сызмала, придала имъ нѣкоторую естественность; ихъ даже стали называть вѣрными снимками съ натуры. Еще одно обстоятельство: мой смѣхъ вначалѣ былъ добродушенъ, я совсѣмъ не думалъ осмѣивать что-либо съ какой-нибудь цѣлью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышалъ, что обижаются и даже сердятся на меня цѣликомъ сословія и классы общества, что я, наконецъ, задумался. «Если сила смѣха такъ велика, что ея боятся, стало-быть, ее не слѣдуетъ тратить по-пустому». Я рѣшился собрать все дурное, какое только я зналъ, и за однимъ разомъ надъ нимъ посмѣяться—вотъ происхожденіе «Ревизора»! Это было первое мое произведеніе, замышленное съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, что впрочемъ не удалось: въ комедіи стали видѣть желаніе осмѣять узаконенный порядокъ вещей и правительственныя формы, тогда какъ у меня было намѣреніе осмѣять только самоуправное отступленіе нѣкоторыхъ лицъ отъ форменнаго и узаконеннаго порядка. Представленіе «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлѣніе. Я былъ сердитъ и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго виной тому, что меня не поняли. Мнѣ хотѣлось убѣжать отъ всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшаго своего дѣла. Уже давно занимала меня мысль *большого сочиненья*, въ которомъ бы предстало все, что ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человѣкѣ, и обнаружилось бы предъ нами виднѣй *свойство* нашей русской природы. Я видѣлъ и обнималъ порознь много частей, но планъ цѣлаго никакъ не могъ предо мной выясниться и опредѣлиться въ такой силѣ, чтобы я могъ уже приняться и начать писать. На всякомъ шагу я чувствовалъ, что мнѣ многаго недостаетъ, что я не умѣю еще ни завязывать, ни развязывать событій и что мнѣ нужно выучиться постройкѣ большихъ твореній у великихъ мастеровъ. Я принялся за нихъ, начиная съ нашего любезнаго Гомера. Уже мнѣ показалось было, что я начинаю кое-что понимать и пріобрѣтать даже

ихъ пріемы и замашки,—а способность творить все не возвращалась. Отъ напряженія болѣла голова. Съ большими усиліями удалось мнѣ кое-какъ выпустить въ свѣтъ первую часть «Мертвыхъ Душъ», какъ бы затѣмъ, чтобы увидѣть на ней, какъ я былъ еще далекъ отъ того, къ чему стремился. Послѣ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы—и ничего не выходило. Я думалъ, что уже способность писать просто отнялась отъ меня. И вдругъ болѣзни и тяжкія душевныя состоянія оторвали меня разомъ отъ всего и даже отъ самой мысли объ искусствѣ, обратили къ тому, къ чему прежде, чѣмъ сдѣлался писатель, уже имѣлъ я охоту —къ наблюденію внутреннему надъ человѣкомъ и надъ *душой человѣческой*. О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе, когда начнешь дѣло съ собственной своей души! На этомъ-то пути поневолѣ встрѣтишься б л и ж е съ Тѣмъ, Который одинъ изъ всѣхъ, доселѣ бывшихъ на землѣ, показалъ въ Себѣ полное познаніе души человѣческой; божественность Котораго если бы даже и отвергнулъ міръ, то ужъ этого послѣдняго свойства никакъ не въ силахъ отвергнуть, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда сдѣлается уже не *слѣпъ*, а просто *глупъ*. Этимъ крутымъ поворотомъ, происшедшимъ не отъ моей воли, наведенъ я былъ заглянуть глубже въ душу вообще и узнать, что существуютъ ея высшія степени и явленія. Съ этихъ поръ способность творить стала пробуждаться; живые образы начинаютъ выходить ясно изъ мглы; чувствую, что работа пойдетъ, что даже и языкъ будетъ правиленъ и звученъ, а слогъ окрѣпнетъ. И, можетъ-быть, будущій уѣздный учитель словесности прочтетъ ученикамъ своимъ страницу будущей моей прозы непосредственно вослѣдъ за твоей, примолвивши: «оба писателя правильно писали, хотя и не похожи другъ на друга». Выпускъ книги «Переписка съ друзьями», съ которою (отъ радости, что расписалось перо) я такъ поспѣшилъ, не подумавши, что прежде, чѣмъ принести какую-нибудь пользу, могъ сбить ею съ толку многихъ, пришелся въ пользу мнѣ самому. На этой книгѣ я увидѣлъ, гдѣ и въ чемъ я перешелъ въ то излишество, въ которое, въ эпоху нынѣшняго переходнаго состоянія общества, попадаетъ почти всякій идущій впередъ человѣкъ. Несмотря на пристрастіе сужденій объ этой книгѣ и разномысліе ихъ, въ итогѣ послышался общій голосъ, указавшій мнѣ мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не долженъ преступать. Въ самомъ дѣлѣ, не мое дѣло поучать проповѣдью. Искусство и безъ того уже поученье. Мое дѣло говорить *живыми образами*, а не разсужденіями. Я долженъ выставить *жизнь* лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопросъ: могъ ли бы я безъ этого большого крюку сдѣлаться достойнымъ производителемъ искусства? Могъ ли бы я выставить жизнь въ ея глубинѣ такъ, чтобы она пошла въ поученіе? Какъ изображать людей, если не узналъ прежде, что такое *душа человѣ-*

ческая? Писатель, если только онъ одаренъ творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, какъ человѣкъ и гражданинъ земли своей, а потомъ уже принимайся за перо! Иначе все будетъ невпопадъ. Что пользы поразить позорнаго и порочнаго, выставя его на видъ всѣмъ, если не ясенъ въ тебѣ самомъ идеалъ ему противоположнаго прекраснаго человѣка? Какъ выставлять недостатки и недостоинство человѣческое, если не задалъ самому себѣ запроса: въ чемъ же достоинство человѣка? и не далъ на это себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго отвѣта. Какъ осмѣивать исключенія, если еще не узналъ хорошо тѣ правила, изъ которыхъ выставляешь на видъ исключенія? Это будетъ значить разрушить старый домъ прежде, чѣмъ имѣешь возможность выстроить на мѣсто его новый. Но искусство не разрушеніе. Въ искусствѣ таятся сѣмена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и въ тѣ времена, когда все было невѣжественно. Подъ звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сихъ поръ понятіе общества объ искусствѣ, всѣ однакоже говорятъ: «искусство есть примиреніе съ жизнью». Это правда. Истинное созданіе искусства имѣетъ въ себѣ что-то успокаивающее и примирительное. Во время чтенія душа исполняется стройнаго согласія, а по прочтеніи удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается въ сердцѣ движеніе негодованія противъ брата, но скорѣе въ немъ струится елей всепрощающей любви къ брату; и вообще не устремляешься на *порицаніе* дѣйствій другого, но на *созерцаніе* самого себя. Если же созданіе поэта не имѣетъ въ себѣ этого свойства, то оно есть одинъ только благородный, горячій порывъ, плодъ временного состоянія автора. Оно останется, какъ примѣчательное явленіе, но не назовется созданіемъ искусства. Подѣломъ. Искусство есть примиреніе съ жизнью!

Искусство есть водвореніе въ душу стройности и порядка, а не смущенія и разстройства. Искусство должно изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, чтобы каждый изъ насъ почувствовалъ, что это *живые люди*, созданные и взятые изъ того же тѣла, изъ котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всѣ доблестныя *народныя* наши качества и свойства, не выключая даже и тѣхъ, которыя, не имѣя простора свободно развиваться, не всѣми замѣчены и оцѣнены такъ вѣрно, чтобы каждый почувствовалъ ихъ и въ себѣ самомъ и загорѣлся бы желаніемъ развить и возлелѣять въ себѣ самомъ то, что имъ заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ всѣ дурныя наши народныя качества и свойства такимъ образомъ, чтобы слѣды ихъ каждый изъ насъ отыскалъ прежде въ себѣ самомъ и подумалъ бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дѣйствуя, искусство исполнитъ свое назначеніе и внесетъ порядокъ и стройность въ общество!

Итакъ, благословясь и помолясь, обратимся же сильнѣй, чѣмъ когда-либо прежде, къ нашему милому искусству. Что качается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда Богъ удостоитъ быть достойнымъ сколько-нибудь того), хочу заняться крѣпко «Мертвыми Душами». Съѣзжу въ Іерусалимъ (чего стало даже и совѣстно не сдѣлать); поблагодарю, какъ сумѣю, за все бывшее; помолюсь, да укрѣпится душа и соберутся силы, и съ Богомъ за дѣло. Очень, очень бы хотѣлось, чтобы привелъ Богъ насъ опять пожить вмѣстѣ, въ Москвѣ, вблизи другъ отъ друга. Перечитывать написанное и быть судьей другъ друга теперь будетъ еще больше нужно, чѣмъ прежде. Затѣмъ отъ всей души поздравляю тебя съ новымъ годомъ. Дай Богъ, чтобъ былъ онъ намъ обоимъ очень, очень плодотворенъ, плодотворнѣе всѣхъ прошедшихъ. Прощай ,мой родной! Цѣлую тебя и обнимаю крѣпко. Пиши ко мнѣ. Твое письмо еще застанетъ меня въ Неаполѣ. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вмѣстѣ съ Рейтернами.

Твой Г.

Если письмо это найдешь не безъ достоинства, то прибереги его. Его можно будетъ при второмъ изданіи «Переписки» поставить впереди книги намѣсто «Завѣщанія», имѣющаго выброситься, а заглавіе дать ему: *Искусство есть примиреніе съ жизнью.*

Все хочу спросить и все забываю: есть ли у тебя латынскій надстрочный переводъ Одиссеи, напечатанный недавно въ Парижѣ вмѣстѣ съ подлинникомъ. Весьма красивое изданіе. Весь Гомеръ въ одномъ томѣ, въ большую осьмушку, editore Ambrosio Firmin Didot. Parisiis. 1846. Мнѣ онъ показался весьма удовлетворительнымъ и для тебя полезнѣйшимъ прочихъ.

Адресъ мой: въ Неаполь, poste restante, или еще лучше въ hotel de Rome, а чтобъ не попало письмо въ городъ Римъ, слово Неаполь нужно выставить позамѣтнѣй.

ДВѢ ГЛАВЫ ИЗЪ МАЛОРОССІЙСКОЙ ПОВѢСТИ „СТРАШНЫЙ КАБАНЪ“.

I.

Учитель.

Прибытіе новаго лица въ благословенныя мѣста голтвянскія надѣлало болѣе шуму, нежели пронесшіеся за два года предъ тѣмъ слухи о прибавкѣ рекрутъ, нежели внезапно поднявшаяся цѣна на соль, вывозимую изъ Крыма украинскими степовиками. Въ шинкѣ, по улицамъ, на мельницѣ, въ винокурнѣ только и рѣчей было, что про пріѣзжаго учителя. Догадливые политики въ сѣрыхъ кобенякахъ и свитахъ, пуская дымъ себѣ подъ носъ съ самымъ флегматическимъ

видомъ, пытались опредѣлить вліяніе такого лица, которому судьба, казалось, при рожденіи указала высоту, чуть-чуть не надъ головами всѣхъ мірянъ, которое живетъ въ панскихъ покояхъ и обѣдаетъ за однимъ столомъ съ обладательницею пятидесяти душъ ихъ селенія. Поговаривали, что званія учителя для него мало, что, безъ всякаго сомнѣнія, вліяніе его будетъ накинуто и на хозяйственную систему; по крайней мѣрѣ, уже, вѣрно, не отъ другого кого-либо будетъ зависѣть наряженіе подводъ, отпускъ муки, сала и проч. Нѣкоторые съ значительнымъ видомъ давали замѣтить, что едва ли и самъ приказчикъ не будетъ теперь нулемъ. Одинъ только *мирошникъ* *), Солопій Чубко, дерзнулъ утверждать, что старшинамъ со стороны его нечего опасаться, что готовъ онъ держать закладъ объ новой шапкѣ изъ сѣрыхъ рѣшетиловскихъ смушковъ, если смыслитъ учитель, какъ остановить пятерню и поворотить застоявшійся жерновъ. Но важная осанка, блистательное торжество надъ дьячкомъ, громоподобный басъ, приведшій въ умиленіе всѣхъ прихожанъ, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнѣніе объ учителѣ потверждалось. И если въ честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезныя сожительницы ихъ не ударили себя лицомъ въ грязь: одаренныя тѣмъ звонкимъ и пронзительнымъ языкомъ, который, по неисповѣдимымъ велѣніямъ судьбы, у женщинъ почти вчетверо быстрѣе поворачивается, нежели у мужчинъ, онѣ гибко развертывали его въ опроверженіе и защиту достоинствъ учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемыя взвизгиваньемъ и бранью, раздавались по мирнымъ закоулкамъ села Мандрыкъ. А какъ почтеннѣйшія обитательницы его имѣли похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицамъ то и дѣло, что находили кумушекъ, уцѣпившихся такъ плотно другъ за друга, какъ подлипало цѣпляется за счастливца, какъ скряга за свой боковой карманъ, когда улица уходитъ въ глушь и одинокій фонарь отливаетъ потухающій свѣтъ свой на палевыя стѣны уснувшаго города. Болѣе всего доставалось муженькамъ, пытавшимся разнимать ихъ: очипки, черепья какъ градъ летѣли имъ на голову, и часто раздраженная кумушка, въ пылу своего гнѣва, вмѣсто чужого, колотила собственнаго сожителя.

Въ это время педагогъ нашъ почти освоился въ домѣ Анны Ивановны. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ семинаристовъ, *убоявшихся бездны премудрости*, которыми***ская семинарія снабжаетъ не слишкомъ зажиточныхъ пановъ въ Малороссіи, рублей за сто въ годъ, въ качествѣ домашняго учителя.—Впрочемъ, Иванъ Осиповичъ дошелъ даже до богословія и залетѣлъ бы не вѣсть куда, вѣроятно, еще далѣе, если бы не шалуны его товарищи, которые безпрестанно подсмѣивались надъ усами и колючею его бородой.

*) Мельникъ.

Съ годами, когда одни выходили совсѣмъ, а на мѣсто ихъ поступали моложе и моложе,—ему, наконецъ, не давали прохода: то бросали цѣпкимъ репейникомъ въ бороду и усы, то привѣшивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову пескомъ или подсыпали въ табакерку его чемерки, такъ что Иванъ Осиповичъ, наскучa быть безмолвнымъ зрителемъ безпрестанно мѣнявшагося вѣтренаго поколѣнія и дѣтской игрушкой, принужденъ былъ бросить семинарію и опредѣлиться *на ваканцію**).

Перемѣщеніе это сдѣлало важную эпоху и переломъ въ его жизни. Безпрестанныя насмѣшки и проказы шалуновъ замѣстило, наконецъ, какое-то почтеніе, какая-то особенная пріязнь и расположеніе. Да и какъ было не почувствовать невольнаго почтенія, когда онъ появлялся, бывало, въ праздникъ въ своемъ свѣтлосинемъ сюртукѣ,—замѣтьте: въ свѣтло-синемъ сюртукѣ, это не маловажно. Долгомъ поставлю надоумить читателя, что сюртукъ вообще (не говоря уже о синемъ), будь только онъ не изъ смураго сукна, производитъ въ селахъ, на благословенныхъ берегахъ Голтвы, удивительное вліяніе: гдѣ ни показывается онъ, тамъ шапки съ самыхъ неповоротливыхъ головъ перелетаютъ въ руки, и солидныя, вооруженныя черными, сѣдыми усами, загорѣвшія лица отмѣриваютъ въ поясъ почтительные поклоны. Всѣхъ сюртуковъ, полагая въ то число и хламиду дьячка, считалось въ селѣ три; но какъ величественная тыква гордо громоздится и заслоняетъ прочихъ поселенцевъ богатой *бакши***), такъ и сюртукъ нашего пріятеля затемнялъ прочихъ собратьевъ своихъ. Болѣе всего придавали ему прелести большія костяныя пуговицы, на которыя толпами заглядывались уличные ребятишки. Не безъ удовольствія слышалъ нашъ щеголеватый наставникъ юношества, какъ матери показывали на нихъ груднымъ ребятамъ, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: *цяця*, *цяця!****) За столомъ пріятно было видѣть, какъ чинно, съ какимъ умиленіемъ, почтенный наставникъ, завѣсившись салфеткой, отправлялъ всеобщій процессъ житейскаго насыщенія. Ни слова посторонняго, ни движенія лишняго: весь переселялся онъ, казалось, въ свою тарелку. Опорожнивъ ее такъ, что никакія принадлежащія къ гастрономіи орудія, какъ-то: вилка и ножъ, ничего уже не могли захватить, отрѣзывалъ онъ ломтикъ хлѣба, вздѣвалъ его на вилку и этимъ орудіемъ проходилъ въ другой разъ по тарелкѣ, послѣ чего она выходила чистою, будто изъ фабрики. Но все это, можно сказать, были только наружныя достоинства, выказывавшія въ немъ знаніе тонкихъ обычаевъ свѣта, и читатель дастъ

---

*) Эти слова въ украинскихъ семинаріяхъ значатъ: пойти въ домашніе учители.

**) Нива, засѣянная арбузами, дынями, тыквами и т. п.

***) Хорошо! Хорошо!

большой промахъ, если заключитъ, что тутъ-то были и всѣ способности его. Почтенный педагогъ имѣлъ необъятныя для простолюдина свѣдѣнія, изъ которыхъ иныя держалъ подъ секретомъ, какъ-то: составленіе лекарства противъ укушенія бѣшеныхъ собакъ, искусство окрашивать посредствомъ одной только дубовой коры и острой водки въ лучшій красный цвѣтъ. Сверхъ того, онъ собственноручно приготовлялъ лучшую ваксу и чернила, вырѣзывалъ для маленькаго внучка Анны Ивановны фигурки изъ бумаги; въ зимніе вечера моталъ мотки и даже прялъ.

Удивительно ли, если съ такими дарованіями сдѣлался онъ необходимымъ человѣкомъ въ домѣ, если вся дворня была безъ ума отъ него, несмотря, что лицо его и окладомъ, и цвѣтомъ совершенно походило на бутылку, что огромнѣйшій ротъ его, котораго дерзкимъ покушеніямъ едва полагали преграду оттопырившіяся уши, поминутно строилъ гримасы, приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имѣли цвѣтъ яркой зелени,—глаза, какими, сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ герой въ лѣтописяхъ романовъ не былъ одаренъ. Но, можетъ-быть, женщины видятъ болѣе насъ. Кто разгадаетъ ихъ? Какъ бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна свѣдѣніями учителя въ домашнемъ хозяйствѣ, въ умѣніи дѣлать настойку на шафранѣ и herba rabarbarum, въ искусномъ разматываніи мотковъ и вообще въ великой наукѣ жить въ свѣтѣ. Ключницѣ болѣе всего нравился щегольской сюртукъ его и умѣнье одѣваться; впрочемъ, и она замѣтила, что учитель имѣлъ удивительно умильный видъ, когда изволилъ молчать или кушать. Маленькаго внучка забавляли до чрезвычайности бумажные пѣтухи и человѣчки. Самъ кудлатый Бровко, едва только завидитъ, бывало, его, выходящаго на крыльцо, какъ, ласково помахивая хвостомъ своимъ, побѣжитъ къ нему навстрѣчу и безъ церемоніи цѣлуетъ въ губы, если только учитель, забывъ важность, приличную своему сану, соизволитъ присѣсть подъ величественнымъ фронтономъ. Одни только два старшіе внука и домашніе мальчишки, съ которыми проходилъ онъ *Азъ—Ангелъ*, *Архангелъ*, *Буки—Богъ*, *Божество*, *Богородица*,—боялись краснорѣчивыхъ лозъ грознаго педагога.

Въ краткое пребываніе свое, Иванъ Осиповичъ успѣлъ уже и самъ сдѣлать свои наблюденія и заключить въ головѣ своей, будто на вогнутомъ стеклѣ, миньятюрное отраженіе окружающаго его міра. Первымъ лицомъ, на которомъ остоновилось почтительное его наблюденіе, какъ, вѣрно, вы догадаетесь, была сама владѣтельница помѣстья. Въ лицѣ ея, тронутомъ рѣзкою кистью, которою время съ незапамятныхъ временъ расписываетъ родъ человѣческій и которую, Богъ знаетъ съ какихъ поръ, называютъ морщиною, въ темно-кофейномъ ея капотѣ, въ чепчикѣ (покрой котораго утратился въ толпѣ событій, знаменовавшихъ XVIII-е столѣтіе), въ коричневомъ шушунѣ, въ баш-

макахъ безъ задковъ, глаза его узнали тотъ періодъ жизни, который есть слабое повтореніе минувшихъ, холодный, безцвѣтный переводъ созданій пламеннаго, кипящаго вѣчными страстями поэта,—тотъ періодъ, когда воспоминаніе остается человѣку, какъ представитель и настоящаго, и прошедшаго, и будущаго, когда роковыя шестьдесятъ лѣтъ гонятъ холодъ въ нѣкогда бившія огненнымъ ключомъ жилы и термометръ жизни переходитъ за точку замерзанія. Впрочемъ, вѣчныя заботы и страсть хлопотать нѣсколько одушевляли потухшую жизнь въ чертахъ ея, а бодрость и здоровье были вѣрною порукою еще за тридцать лѣтъ впередъ. Все время отъ пяти часовъ утра до шести вечера, то-есть, до времени успокоенія, было безпрерывною цѣпью занятій. До семи часовъ утра уже она обходила всѣ хозяйственныя заведенія, отъ кухни до погребовъ и кладовыхъ, успѣвала побраниться съ приказчикомъ, накормить куръ и доморощенныхъ гусей, до которыхъ она была охотница. До обѣда, который не бывалъ позже двѣнадцати часовъ, завертывала въ пекарню и сама даже пекла хлѣбы и особеннаго рода крендели на меду и на яйцахъ, которыхъ одинъ запахъ производилъ непостижимое волненіе въ педагогѣ, страстно привязанномъ ко всему, что питаетъ душевную и тѣлесную природу человѣка. Время отъ обѣда до вечера мало ли чѣмъ заняться хозяйкѣ?—красить шерсть, мѣрять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки. Сколько способовъ, секретовъ, домашнихъ средствъ производится въ это время въ дѣйство! Отъ наблюдательнаго взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславія, и потому положилъ онъ за правило разсыпаться, разумѣется, сколько позволяла природная его застѣнчивость, въ похвалахъ необыкновенному ея искусству и знанію хозяйничать, и это, какъ послѣ увидѣлъ онъ, послужило ему въ пользу: почтенная старушка до тѣхъ поръ не закупоривала сладкихъ наливокъ и варенья, покамѣстъ Иванъ Осиповичъ, отвѣдавъ, не объявлялъ превосходной доброты того и другого. Всѣ прочія лица стояли въ тѣни предъ этимъ свѣтиломъ такъ, какъ всѣ строенія во дворѣ, казалось, пресмыкались предъ чуднымъ зданіемъ съ великолѣпнымъ его фронтономъ. Только для глазъ пронырливаго наблюдателя замѣтны были ихъ взаимныя соотношенія и особенный колоритъ, обозначавшій каждаго, и тогда ему открывалось, словно въ муравьиномъ рою, вѣчное движеніе, суматоха и ни на минуту не останавливавшійся шумъ. И педагогъ нашъ, какъ мы уже видѣли, умѣлъ угодить на вкусъ всѣхъ и, какъ могучій чародѣй, приковать къ себѣ всеобщее почтеніе.

Непонятны только были причины, заставившія его сблизиться съ кухмистеромъ. Высокое ли уваженіе, которое Иванъ Осиповичъ невольно чувствовалъ къ его искусству, другое ли какое обстоятельство—мы этого не беремся рѣшать. Довольно, что не прошло двухъ дней—и въ Мандрыкахъ воскресли Орестъ и Пиладъ новаго міра.

Но еще непонятнѣе была власть кухмистера надъ нашимъ педагогомъ, такъ что отъ природы скромный, застѣнчивый учитель, не бравшій ничего въ ротъ, кромѣ лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за нимъ по шинкамъ и по всѣмъ закоулкамъ, куда разгульный кухмистеръ нашъ показывалъ только носъ свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положеніе его мѣстопребыванія. Скоро осмотрѣлъ онъ обступившіе въ неровный кружокъ просторный господскій дворъ—кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовыя, съ особеннымъ удовольствіемъ остановился на густо-разросшемся садѣ, котораго гигантскіе обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увѣнчанные чудесными сновидѣніями, или, вдругъ освободясь отъ грезъ, рѣзали вѣтвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздухъ, и тогда по листамъ ходили непонятныя рѣчи, и мѣрныя величественныя движенія всего ихъ тѣла напоминали древнихъ лицедѣевъ, вызывавшихъ на поприще Мельпомены великія тѣни усопшихъ. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лѣпились около не столь высокопарныхъ жильцовъ сада, зато увѣшанныхъ съ ногъ до головы грушами и яблоками, которыми кипитъ роскошная Украйна. Отсюда продирались они къ кухнѣ, за которою стлались плантаціи гороху, капусты, картофелю и вообще всѣхъ зелій, входящихъ въ микстуру деревенской кухни. Не безъ особеннаго удовольствія вошелъ онъ въ чистую, опрятно выбѣленную и прибранную комнату, опредѣленную для его помѣщенія, съ окошкомъ, глядѣвшимъ на прудъ и на лиловую, окутанную туманомъ, окрестность.

Мы имѣли уже случай замѣтить нѣчто о вліяніи нашего учителя на мандрыковкихъ красавицъ: потупленные взгляды, перешептываніе, низкіе поклоны показывали, что овладѣніе имъ считала каждая изъ нихъ немаловажнымъ дѣломъ. Впрочемъ, не мѣшаетъ припомнить любезному читателю, что на Иванѣ Осиповичѣ былъ синій фабричнаго сукна сюртукъ съ черными, величиною съ большой грошъ, костяными пуговицами; и такъ, ему очень было простительно перетолковать въ свою пользу перемигиванья чернобровыхъ проказницъ. Но, къ счастью или несчастью, чувство, такъ много извѣстное бѣдному человѣчеству, наносившее ему съ незапамятныхъ временъ море нестерпимыхъ мукъ, не касалось нашего педагога. Въ этомъ случаѣ Иванъ Осиповичъ былъ настоящій стоикъ и, несмотря на то, что не дошелъ еще до *философіи*, онъ твердо зналъ, что ни одинъ изъ философовъ, ,начиная отъ Сенеки, Сократа и до лектора***ской семинаріи, не ставилъ ни во что причудливую половину человѣческаго рода ergo, любви не существуетъ. Такія положенія, обратившіяся у него, наконецъ, въ правила, были тверды, слишкомъ тверды... Homo proponit, Deus disponit, говаривалъ часто лекторъ ***ской семинаріи, отсчитывая удары линейкою лѣнивымъ своимъ слушателямъ; а потому и мы въ слѣдующей главѣ увидимъ небольшое обстоятельство, сильно

поколебавшее философію учителя и надвинувшее облако недоразумѣнія на умъ его, доселѣ неуклонно шествовавшій стезею своихъ великихъ наставниковъ и бившій ровнымъ пульсомъ въ своей бутылкообразной сферѣ.

II.

УСПѢХЪ ПОСОЛЬСТВА.

(Кухмистеръ, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную имъ при видѣ мывшейся на берегу пруда Катерины, рѣшается исполнить данное имъ учителю обѣщаніе и быть посланникомъ и представителемъ его страсти. Съ такимъ намѣреніемъ отправляется онъ въ хату козака Харька Потылицы).

Окончивъ туалетъ свой, Онисько не безъ боязни и тайнаго удовольствія переступилъ черезъ порогъ. Бѣсъ какъ будто нарочно дразнилъ его (самъ онъ послѣ признавался въ этомъ), поминутно рисуя передъ нимъ стройныя ножки сосѣдки. «Эхъ, если бы не учитель!» повторялъ онъ нѣсколько разъ самъ себѣ: «ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..» И, въ задумчивости, тихими шагами онъ мѣрялъ широкій выгонъ, по которому бѣжала его дорога. Разноголосный лай прорѣзалъ облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, какъ дикія утки, переполошась, разлетѣлись во всѣ стороны. Поднявъ глаза, увидѣлъ онъ, что далѣе идти некуда. Передъ нимъ торчали ворота, сквозь которыя, какъ сквозь транспарантъ, свѣтилось все недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента... Сердце въ немъ вспрыгнуло... и бѣлокурая красавица, разгоняя хворостиной докучныхъ собакъ, встрѣтила его, отворяя ворота.

Дворъ Харька представлялъ собою большой, на покатости къ пруду, квадратъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ плетнемъ. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо въ чисто выбѣленную хату съ большими, неровной величины, окнами, съ почернѣвшею отъ старости дубовою дверью, съ низенькимъ изъ глины фундаментомъ (*присьбою*), обремененнымъ, по обыкновенію малороссіянъ, бѣльемъ, мисками и какимъ-нибудь инвалидомъ-горшкомъ, которому, несмотря на раны и увѣчье, не даютъ отставки и, въ награду за ревностную службу, наливаютъ помоями. По сторонамъ избы стояли съ растрепанными крышами хлѣвы и амбары. Изъ-за хаты возвышалось гумно; изъ-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверхъ которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. Къ пруду, какъ богатая турецкая шаль, развернулся огородъ козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.

Катерина показалась немного удивленною приходомъ Ониська. Полагая, что его, безъ всякаго сомнѣнія, завлекла нужда къ ея отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила съ нѣкоторою за-

стѣнчивостью: «*Батька* нѣтъ дома, да врядъ ли и къ вечеру будетъ!»

«*Нехай ему такъ легенько икнеться, якъ зъ тыну ввирветься*! Что бы я былъ за олухъ Царя небеснаго, когда бы сталъ убирать постную кашу, когда передъ самымъ носомъ вареники въ сметанѣ?»

Бѣлокурая красавица остановилась въ недоумѣніи, не зная, какъ понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лицѣ ея и ожидала, казалось, изъясненія.

Кухмистеръ почувствовалъ самъ, что выразился не совсѣмъ ясно и притомъ помянулъ отца ея немного шероховатыми словами; онъ продожалъ: «Нелегкая понесла бы меня къ *батькѣ*, когда есть такая хорошенькая дочка».

«А, вотъ что!» проговорила Катерина, усмѣхнувшись и покраснѣвъ. «Милости просимъ!» и пошла впередъ его къ дверямъ хаты.

Дѣвушки въ Малороссіи имѣютъ гораздо болѣе свободы, нежели гдѣ-либо, и потому не должно показаться удивительнымъ, что красавица наша, безъ вѣдома отца, принимала у себя гостя. «Ты пѣшкомъ сюда пришелъ, Онисько?» спросила она его, садясь на *присьбѣ* у дверей хаты и стараясь принять степенный видъ, хотя лукавая улыбка явно измѣняла ей и заставляла противъ воли показать рядъ красивыхъ зубовъ.

«Какъ пѣшкомъ?—Что за нелегкая! неужели она знаетъ про вчерашнее?» подумалъ кухмистеръ.—«Безъ всякаго сомнѣнія, пѣшкомъ моя красавица. Чортъ ли бы заставилъ меня запрягать нарочно панскаго *гнѣдого*, чтобы только перетащиться изъ одного двора въ другой!»

«Однакожъ отъ кухни до *коморы* не такъ-то далеко».

Тутъ, не удержавшись болѣе, она захохотала.

«Нѣтъ, плутовка! самъ лукавый не хитрѣе этой дѣвки!» повторилъ самъ себѣ нѣсколько разъ кухмистеръ и громогласно послалъ учителя къ чорту, позабывъ и пріязнь, и дружбу ихъ.

«Однакожъ, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорѣли на сковородѣ караси съ свѣжепросольными *опенками*, лишь бы только ты еще разъ этакъ засмѣялась».

Сказавъ это, кухмистеръ не утерпѣлъ, чтобъ не обнять ее.

«Вотъ этого-то я ужъ и не люблю!» вскрикнула, покраснѣвъ, Катерина и принявъ на себя сердитый видъ. «Ей Богу, Онисько, если ты въ другой разъ это сдѣлаешь, то я прямехонько пущу тебѣ въ голову вотъ этотъ горшокъ».

При семъ словѣ, сердитое личико немного прояснѣло и улыбка, мгновенно проскользнувшая по немъ, выговорила ясно: «я не въ состояніи буду этого сдѣлать».

«Полно же, полно! *не возомъ зацѣпилъ тебя*. Есть изъ чего сердиться! какъ будто, Богъ знаетъ, какая бѣда—обнять красную дѣвушку».

«Смотри, Онисько: я не сержусь», сказала она, садясь немного

отъ него подалѣе и принявъ снова веселый видъ. «Да что ты, послышалось мнѣ, упомянулъ про учителя?»

Тутъ лицо кухмистера сдѣлало самую жалкую мину и, по крайней мѣрѣ, на вершокъ вытянулось длиннѣе обыкновеннаго. «Учитель... Иванъ Осиповичъ, то-есть... Тьфу, дьявольщина! у меня, какъ будто послѣ запеканки, слова глотаются прежде, нежели успѣваютъ выскочить изо рта. Учитель... вотъ что я тебѣ скажу, *сердце*! Иванъ Осиповичъ *вклепался* *) въ тебя такъ, что... ну, словомъ—разсказать нельзя. Кручинится да горюетъ, какъ покойная бурая, которую *пани* купила у жида, и которая околѣла послѣ *запала*. Что дѣлать? сжалился надъ бѣднымъ человѣкомъ: пришелъ наудачу похлопотать за него».

«Хорошую же ты выбралъ себѣ должность!» прервала Катерина съ нѣкоторою досадой. «Развѣ ты ему сватъ, или *родичъ* какой? Я совѣтовала бы тебѣ еще набрать изо всего околотка бродягъ къ себѣ въ кухню, а самому отправиться по-міру выпрашивать подъ окнами для нихъ милостыни».

«Да это все такъ; однакожъ я знаю, что тебѣ любо, и слишкомъ любо, что вздумалось учителю приволокнуться»...

«Мнѣ любо? Слушай, Онисько: если ты говоришь съ тѣмъ, чтобы посмѣяться надо мною, то съ этого мало тебѣ прибудетъ. Стыдно тебѣ же, что ты обносишь бѣдную дѣвушку! Если же вправду такъ думаешь, то ты, вѣрно, уже наиглупѣйшій изо всего села. Слава Богу, я еще не ослѣпла; слава Богу, я еще при своемъ умѣ... Но ты не съ дуру это сказалъ: я знаю, тебя другое что-то заставило. Ты, вѣрно, думалъ... Нѣтъ, ты недобрый человѣкъ!»

Сказавъ это, она отерла шитымъ рукавомъ своей сорочки слезу, мгновенно блеснувшую и прокатившуюся по жарко зардѣвшей щечкѣ, будто падающая звѣзда по теплому вечернему небу.

«Чортъ побери всѣхъ на свѣтѣ учителей!» думалъ про себя Онисько глядя на зардѣвшееся личико Катерины, на которомъ попрежнему показавшаяся улыбка долго спорила съ непріятнымъ чувствомъ и наконецъ разсѣяла его.

«Убей меня громъ на этомъ самомъ мѣстѣ!» вскричалъ онъ, наконецъ, не могши преодолѣть внутренняго волненія и обхватывая одной рукою кругленькій станъ ея: «если я не такъ же радъ тому, что ты не любишь Ивана Осиповича, какъ старый *Бровко*, когда я вынесу ему помои».

«Нашелъ, чему радоваться! поэтому ты станешь еще болѣе скалить зубы, когда услышишь, что почти всѣ дѣвушки нашего села говорятъ то же».

«Нѣтъ, Катерина, этого не говори. Дѣвушки-то любятъ его. На-

*) То-есть, влюбился.

медни шли мы съ нимъ черезъ село, такъ то и дѣло, что поглядываютъ изъ-за плетня, словно лягушки изъ болота. Глянь направо—такъ и пропала, а съ лѣвой стороны выглядываетъ другая. Только дьяволъ побери ихъ вмѣстѣ съ учителемъ! Я бы отдалъ штофъ лучшей третьепробной водки, чтобъ узнать отъ тебя, Катерина, любишь ли ты меня хоть на копѣйку?»

«Не знаю, люблю ли я тебя; знаю только, что ни за что бы на свѣтѣ не вышла за пьяницу. Кому любо жить съ нимъ? Несчастная доля семьѣ той, гдѣ выберется такой человѣкъ; въ хату и не заглядывай: нищенство да голь; голодныя дѣти плачутъ... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Пусть Богъ милуетъ! Дрожь обдаетъ меня при одной мысли объ этомъ»..

Тутъ прекрасная Катерина пристально взглянула на него. Какъ осужденный, съ поникнутою головою, погрузился кухмистеръ въ свое протекшее. Тяжелыя думы, порожденія тайнаго, угрызенія сердечнаго, вырѣзывались на лицѣ его и показывали ясно, что на душѣ у него не слишкомъ было радостно. Пронзительный взоръ Катерины, казалось, прожигалъ его внутренность и подымалъ наружу всѣ разгульные поступки, проходившіе передъ нимъ длинною, почти безконечною цѣпью.

«Въ самомъ дѣлѣ, на что я похожъ? кому угодно житье мое? только что досаждаю *паніи*. Что я сдѣлалъ до сихъ поръ такого, за что бы сказалъ мнѣ спасибо добрый человѣкъ? Все гулялъ, да гулялъ! Да гулялъ ли когда-нибудь такъ, чтобы и на душѣ, и на сердцѣ было весело? Напьешься, какъ собака, да и протрезвишься тоже, какъ собака, если не протрезвятъ тебя еще хуже. Нѣтъ! прахъ возьми... собачья моя жизнь!»

Прелестная Катерина, казалось, угадывала его философскія разсужденія съ самимъ собою, и потому, положивъ на плечо ему смугленькую руку свою, прошептала вполголоса: «Не правда ли, Онисько, ты не станешь болѣе пить?»

«Не стану, мое *серденько*! не стану: пусть ему всякая всячина! Все для тебя готовъ сдѣлать».

Дѣвушка посмотрѣла на него умильно, и восхищенный кухмистеръ бросился обнимать ее, осыпая градомъ поцѣлуевъ, какими давно не оглашался мирный и спокойный огородъ Харька.

Едва только влюбленные поцѣлуи успѣли раздаться, какъ звонкій и пронзительный голосъ страшнѣе грома поразилъ слухъ разнѣжившихся. Поднявъ глаза, кухмистеръ съ ужасомъ увидѣлъ стоявшую на плетнѣ Симониху.

«Славно! славно! Ай, да ребята! У насъ по селу еще и не знаютъ, какъ парни цѣлуются съ дѣвками, когда батька нѣтъ дома! Славно! Ай, да мандрыковская овечка! Говорите же теперь, что лжетъ поговорка: въ тихомъ омутѣ черти водятся. Такъ вотъ что дѣется! такъ вотъ какія шашни!..»

Со слезами на глазахъ принуждена была красавица уйти въ хату, зная, что ничѣмъ инымъ нельзя было избавиться отъ ядовитыхъ рѣчей содержательницы шинка.

«Типунъ бы тебѣ подъ языкъ, старая вѣдьма!» проговорилъ кухмистеръ: «тебѣ какое дѣло?»

«Мнѣ какое дѣло?» продолжала неутомимая шинкарка: «вотъ прекрасно! Парни изволятъ лазить черезъ плетни въ чужіе огороды, дѣвки подманиваютъ къ себѣ молодцовъ,—и мнѣ нѣтъ дѣла! Изволятъ *женихаться*, цѣлуются,—и мнѣ нѣтъ дѣла! Ты слышалъ ли, Карпо?» вскричала она, быстро оборотясь къ мимо проходившему мужику, который, не обращая ни на что вниманія, шелъ, помахивая батогомъ, впереди такъ же медленно выступавшей коровы: «слышалъ ли ты? постой, на минуточку. Тутъ такая исторія. Харькова дочка...»

«Тьфу, дьяволъ!» вскричалъ кухмистеръ, плюнувъ въ сторону и потерявъ послѣднее терпѣніе. «Самъ сатана перерядился въ эту бабу. Постой, Яга! развѣ не найду уже, чѣмъ отплатить тебѣ».

Тутъ кухмистеръ нашъ занесъ ногу на плетень и въ одно мгновеніе очутился въ панскомъ саду.

Было уже не рано, когда онъ пришелъ на кухню и принялся стряпать ужинъ. Евдоха, однакожъ, не могла не замѣтить во всемъ необыкновенной его разсѣянности. Часто задумчивый кухмистеръ подливалъ уксусу въ сметанную кашу или съ важнымъ видомъ надвигалъ свою шапку на вертелъ и хотѣлъ жарить ее вмѣсто курицы. За ужиномъ, Анна Ивановна никакъ не могла понять, отчего каша была кисла до невѣроятности, а соусъ такъ пересоленъ, что не было никакой возможности взять въ ротъ. Единственно только изъ уваженія къ понесеннымъ имъ въ тотъ день трудамъ оставили его въ покоѣ: въ другое время это не прошло бы даромъ нашему герою.

«Нѣтъ, господинъ учитель!» твердилъ онъ, ложась на свою деревянную лавку и подмащивая подъ голову свою куртку: «не видать вамъ Катерины, какъ ушей своихъ!» И, завернувъ голову, какъ домороценный гусь, погрузился въ мечты, а съ ними и въ сонъ.

ЖЕНЩИНА.

«Адское порожденіе! Зевсъ Олимпіецъ! О! ты неумолимъ въ своей ярости! Ты захотѣлъ наслать бичъ на міръ, ты извлекъ весь ядъ, незамѣтно разлитый въ нѣдрахъ прекрасной земли твоей, сжалъ его въ одну каплю, гнѣвно бросилъ ее свѣтодарною десницей и отравилъ ею чудесное твореніе свое: ты создалъ женщину! Тебѣ завидно стало бѣдное счастіе наше; тебѣ не желалось, чтобы человѣкъ источалъ вѣчное благословеніе изъ нѣдръ благодарнаго сердца; пусть лучше проклятіе сверкаетъ на преступныхъ устахъ его... Ты создалъ женщину!»

Такъ говорилъ, представъ передъ Платона, Телеклесъ, юный ученикъ его. Глаза его кидали пламя; по щекамъ бушевалъ пожаръ, и дрожащія губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его съ негодованіемъ откидывала пурпуровыя волны богатой одежды, и разстегнутая пряжка небрежно висѣла на дѣвственной груди юноши.

«Что, мой божественный учитель? не ты ли представлялъ намъ ее въ богоподобномъ, небесномъ облаченіи? Не твои ли благо-ухапныя уста лили дивныя рѣчи про нѣжную красоту ея? Не ты ли училъ насъ такъ пламенно, такъ невещественно любить ее? Нѣтъ, учитель! твоя божественная мудрость еще младенецъ въ познаніи безконечной бездны коварнаго сердца. Нѣтъ, нѣтъ! и тѣнь свирѣпаго опыта не обхватывала свѣтлыхъ мыслей твоихъ: ты не знаешь женщины».

Огненныя слезы брызнули изъ глазъ его; окутавъ голову хитономъ и закрывъ лицо руками, прислонился онъ къ мраморной колоннѣ, на которой роскошно покоилось богатое коринское оглавіе, осыпанное искрами лучей. Глубокій, тяжелый вздохъ вырвался изъ груди юноши, какъ будто всѣ тайные нервы души, всѣ чувства и все, что находится внутри человѣка, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясеніемъ по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, въ безсиліи разсказать безсмертныя, вѣчныя муки души, переродилась въ одинъ болѣзненный стонъ.

Между тѣмъ вдохновенный мудрецъ въ безмолвіи разсматривалъ его, выражая на лицѣ своемъ думы, еще напечатлѣнныя прежнимъ высокимъ размышленіемъ. Такъ остатки дивнаго сновидѣнія долго еще не разстаются и мѣшаются съ началами идей, покамѣстъ человѣкъ совершенно не входитъ въ міръ дѣйствительности. Свѣтъ сыпался роскошнымъ водопадомъ чрезъ смѣлое отверстіе въ куполѣ на мудреца и обливалъ его сіяніемъ; казалось, въ каждой вдохновенной чертѣ лица его свѣтилась мысль и высокія чувства.

«Умѣешь ли ты любить, Телеклесъ?» спросилъ онъ спокойнымъ голосомъ.

«Умѣю ли любить я!» быстро подхватилъ юноша: «спроси у Зевса, умѣетъ ли онъ маніемъ бровей колебать землю. Спроси у Фидія, умѣетъ ли онъ мраморъ зажечь чувствомъ и воплотить жизнь въ мертвой глыбѣ. Когда въ жилахъ моихъ кипитъ не кровь, но острое пламя, когда всѣ чувства, всѣ мысли, я весь перерождаюсь въ звуки, когда звуки эти горятъ и душа звучитъ одною любовью, когда рѣчи мои—буря, дыханіе—огонь... Нѣтъ, нѣтъ! я не умѣю любить! Скажи же мнѣ, гдѣ тотъ дивный смертный, кто обладаетъ этимъ чувствомъ? Ужъ не открыла ли премудрая Пиѳія это чудо между людьми?»

«Бѣдный юноша! Вотъ что люди называютъ любовью! Вотъ какъ участь готовится для этого кроткаго существа, въ которомъ боги захотѣли отразить красоту, подарить міру благо и въ немъ показать

свое присутствіе на землѣ! Бѣдный юноша! Ты бы сжегъ своимъ раскаленнымъ дыханіемъ это кроткое существо, ты бы возмутилъ бурею страстей это чистое сіяніе! Знаю, ты хочешь говорить мнѣ объ измѣнѣ Алкиноп. Твои глаза были сами свидѣтелями... но были ли они свидѣтелями твоихъ собственныхъ мятежныхъ движеній, совершавшихся въ то время во глубинѣ души твоей? Высмотрѣлъ ли ты напередъ себя? Не весь ли бунтъ страстей кипѣлъ въ глазахъ твоихъ? а когда страсти узнавали истину? Чего хотятъ люди? они жаждутъ вѣчнаго блаженства, безконечнаго счастія, и довольно одной минутной горечи, чтобы заставить ихъ дѣтски разрушить все медленно строившееся зданіе! Пусть глазами твоими смотрѣла сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною измѣной. Но вопроси свою душу: что былъ ты, что была она въ то время, когда ты и жизнь, и счастіе, и море восторговъ находилъ въ алкиноиныхъ объятіяхъ? Переверни огненные листы своей жизни, и найдешь ли ты хотя одну страницу краснорѣчивѣе, божественнѣе той? Захотѣлъ ли бы ты взять всѣ драгоцѣнные камни царей персидскихъ, все золото Ливіи за тѣ небесныя мгновенія? И что противъ нихъ и первая почесть въ Аѳинахъ, и верховная власть въ народѣ! И существо, которое, какъ Прометей, все, что ни исхитило прекраснаго отъ боговъ, принесло въ даръ тебѣ, водворило небо со свѣтлыми его небожителями въ твою душу,—ты поражаешь преступнымъ проклятіемъ, когда вся твоя жизнь должна переродиться въ благодарность, когда ты долженъ весь вылиться слезами, и умиленіемъ, и кроткимъ гимномъ жизнедавцу Зевсу, да продлитъ прекрасную жизнь ея, да отвѣетъ облако печали отъ свѣтлаго чела ея.

«Устреми на себя испытующее око: чѣмъ былъ ты прежде и чѣмъ сталъ нынѣ, съ тѣхъ поръ, какъ прочиталъ вѣчность въ божественныхъ чертахъ Алкиноп; сколько новыхъ тайнъ, сколько новыхъ откровеній постигъ и разгадалъ ты своею безконечною душою и во сколько придвинулся ближе къ верховному благу! Мы зрѣемъ и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннѣе постигаемъ женщину. Посмотри на роскошныхъ персовъ: они переродили своихъ женщинъ въ рабынь, и что же? имъ недоступно чувство изящнаго—безконечное море духовныхъ наслажденій. У нихъ не выбьется изъ сердца искра при видѣ богини Праксителевой; восторженная душа ихъ не заговоритъ съ безсмертною душою мрамора и не найдетъ отвѣтныхъ звуковъ. Что женщина?—Языкъ боговъ! Мы дивимся кроткому, свѣтлому челу мужа; но не подобіе боговъ созерцаемъ въ немъ: мы видимъ въ немъ женщину, мы дивимся въ немъ женщинѣ, и въ ней только уже дивимся богамъ. Она поэзія! она мысль, а мы только воплощеніе ея въ дѣйствительности. На насъ горятъ ея впечатлѣнія, и чѣмъ сильнѣе и чѣмъ въ большемъ объемѣ они отразились, тѣмъ выше и прекраснѣе мы становимся. Пока картина еще въ головѣ художника

и безплотно округляется и создается—она женщина; когда она переходитъ въ вещество и облекается въ осязаемость—она мужчина. Отчего же художникъ съ такимъ несытымъ желаніемъ стремится превратить безсмертную идею свою въ грубое вещество, покоривъ его обыкновеннымъ нашимъ чувствамъ? Оттого, что имъ управляетъ одно высокое чувство—выразить божество въ самомъ веществѣ, сдѣлать доступною хотя часть безконечнаго міра души своей, воплотить въ мужчинѣ женщину. И если ненарокомъ ударятъ въ нее очи жарко понимающаго искусство юноши, что они ловятъ въ безсмертной картинѣ художника? видятъ ли они вещество въ ней? Нѣтъ! оно исчезаетъ, и передъ ними открывается безграничная, безконечная, безплотная идея художника. Какими живыми пѣснями заговорятъ тогда духовныя его струны! какъ ярко отзовутся въ немъ, какъ будто на призывъ родины, и безвозвратно умчавшееся, и неотразимо грядущее! какъ безплотно обнимется душа его съ божественною душою художника! Какъ сольются онѣ въ невыразимомъ духовномъ поцѣлуѣ!.. Что-бъ были высокія добродѣтели мужа, когда бы онѣ не осѣнялись, не преображались нѣжными, кроткими добродѣтелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрѣніе къ пороку перешли бы въ звѣрство. Огними лучи у міра—и погибнетъ яркое разнообразіе цвѣтовъ: небо и земля сольются въ мракъ, еще мрачнѣйшій береговъ Аида. Что такое любовь? Отчизна души, прекрасное стремленіе человѣка къ минувшему, гдѣ совершалось безпорочное начало его жизни, гдѣ на всемъ остался невыразимый слѣдъ невиннаго младенчества, гдѣ все родина. И когда душа потонетъ въ эѳирномъ лонѣ души женщины, когда отыщетъ въ ней своего отца—вѣчнаго Бога, своихъ братьевъ—дотолѣ невыразимыя землею чувства и явленія—что тогда съ нею? Тогда она повторятъ въ себѣ прежніе звуки, прежнюю райскую въ груди Бога жизнь, развивая ее до безконечности...»

Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: передъ ними стояла Алкиноя, незамѣтно вошедшая въ продолженіе ихъ бесѣды. Опершись на истуканъ, она вся, казалось, превратилась въ безмолвное вниманіе, и на прекрасномъ челѣ ея прорывались гордыя движенія богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую свѣтились голубыя жилы, полныя небесной амврозіи, свободно удерживалась въ воздухѣ; стройная, перевитая алыми лентами поножія, нога, въ обнаженномъ, ослѣпительномъ блескѣ, сбросивъ ревнивую обувь, выступила впередъ и, казалось, не трогала презрѣнной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами и полуприкрывавшая два прозрачныя облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линеями на помостъ. Казалось, тонкій, свѣтлый эѳиръ, въ которомъ купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь въ безчисленныхъ лучахъ, коимъ и имени нѣтъ на землѣ,

въ коихъ дрожитъ благовонное море неизъяснимой музыки,—казалось' этотъ эѳиръ облекся въ видимость и стоялъ передъ ними, освятивъ и обоготворивъ прекрасную форму человѣка. Небрежно откинутые назадъ, темные, какъ вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ея и лилися сумрачнымъ каскадомъ на блистательныя плечи. Молнія очей исторгала всю душу...—Нѣтъ! никогда сама Царица любви не была такъ прекрасна, даже въ то мгновенье, когда такъ чудно возродилась изъ пѣны дѣвственныхъ волнъ!..

Въ изумленіи, въ благоговѣніи повергнулся юноша къ ногамъ гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся надъ нимъ полубогини канула на его пылающія щеки.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ТОМЪ II.

Стр.

Драматическіе отрывки и отдѣльныя сцены.

Игроки 3
Утро дѣлового человѣка. . . 33
Тяжба 38
Лакейская 44
Отрывокъ 49
Театральный разъѣздъ послѣ представленія новой комедіи . . 59

Похожденія Чичикова или Мертвыя души.

Поэма. Томъ первый 88
Приложенія къ первому тому Мертвыхъ душъ. I. Предисловіе ко второму изданію перваго тома Мертвыхъ душъ 284
III. Окончаніе IX главы въ передѣланномъ видѣ. 957
IV. Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ А. Одна изъ первоначальныхъ редакцій 293
B. Редакція, зачеркнутая цензоромъ 298

Похожденія Чичикова или Мертвыя души.

Поэма. Томъ второй 04

Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями.

Предисловіе 413
I. Завѣщаніе 415
II. Женщина въ свѣтѣ . . . 420

Стр.

III. Значеніе болѣзней . . . 425
IV. О томъ, что такое слово . 424
V. Чтеніе русскихъ поэтовъ передъ публикою 427
VI. О помощи бѣднымъ. . . . 428
VII. Объ Одиссеѣ, переводимой Жуковскимъ 430
VIII. Нѣсколько словъ о нашей церкви и духовенствѣ 437
IX. О томъ же 438
X. О лиризмѣ нашихъ поэтовъ 440
XI. Споры 451
XII. Христіанинъ идетъ впередъ 453
XIII. Карамзинъ 455
XIV. О театрѣ, объ односторонемъ взглядѣ на театръ и вообще объ односторонности. 456
XV. Предметы для лирическаго поэта въ нынѣшнее время. 446
XVI. Совѣты 467
XVII. Просвѣщеніе 469
XVIII. Четыре письма къ разнымъ лицамъ по поводу «Мертвыхъ душъ» 471
XIX. Нужно любить Россію . 482
XX. Нужно проѣздиться по Россіи 484
XXI. Что такое губернаторша . 490
XXII. Русскій помѣщикъ . . . 501
XXIII. Историческій живописецъ Ивановъ 506

Стр.

XXIV. Чѣмъ [illegible]ть быть жена для мужа въ простомъ домашнемъ быту, при нынѣшнемъ порядкѣ вещей въ Россіи 514

XXV. Сельскій судъ и расправа. 517

XXVI. Страхи и ужасы Россіи . 518

XXVII. Близорукому пріятелю . . 521

XXVIII. Занимающему важное мѣсто. 528

XXIX. Чей удѣлъ на землѣ выше. 538

XXX. Напутствіе 539

Стр.

XXXI. Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность . 540

XXXII. Свѣтлое воскресеніе . . . 574

О «Современникѣ» 581

Авторская исповѣдь 591

Письмо къ В. А. Жуковскому . 620

Отрывки.

Двѣ главы изъ малороссійской повѣсти «Страшный кабанъ» . 624

Женщина 634